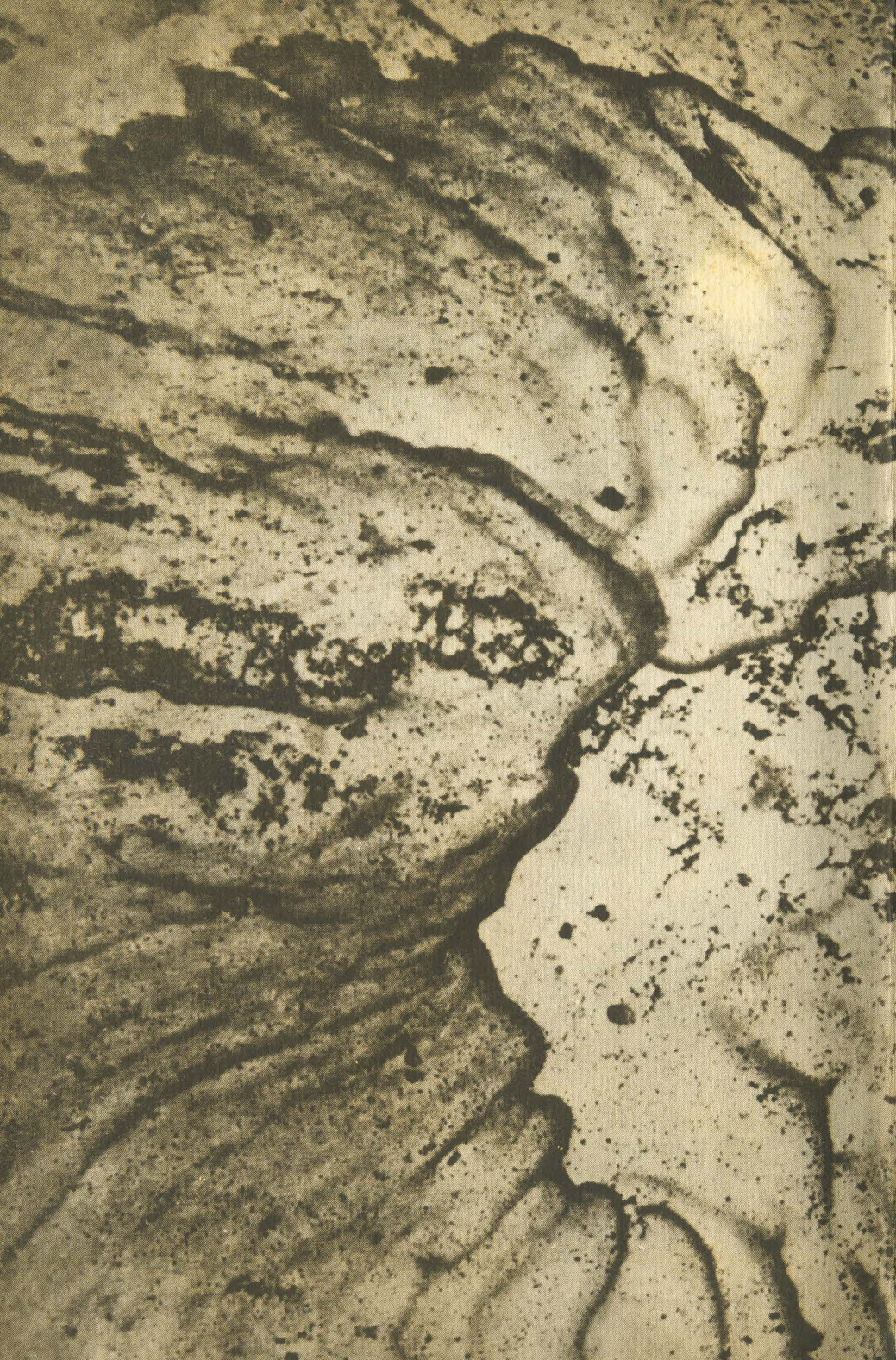


С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XVI







С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ
В ВОСЕМНАДЦАТИ
КНИГАХ



С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ
В ВОСЕМНАДЦАТИ
КНИГАХ

МОСКВА «МЫСЛЬ» 1995

С.М.СОЛОВЬЕВ
СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XVI

**РАБОТЫ
РАЗНЫХ
ЛЕТ**

МОСКВА «МЫСЛЬ» 1995

ББК 63.3(2)

С60

РЕДАКЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Федеральная целевая программа
книгоиздания России

Ответственный редактор
академик И. Д. КОВАЛЬЧЕНКО

Комментарии к XVI книге написаны
кандидатом исторических наук
А. Б. КАМЕНСКИМ

Указатели составлены
Т. В. ЕВСТЕГНЕЕВОЙ

Художник издания
А. Б. КОНОПЛЕВ

Основой настоящей публикации является
Соловьев С. М. Собр. соч. СПб.· Общественная польза, 1901.

ISBN 5-244-00075-6
ISBN 5-244-00753-X

- © Издательство «Мысль». 1995
- © Ю. В. Сокортова Составление
и подготовка текста. 1995
- © А. Б. Каменский. Комментарии. 1995
- © А. Б. Коноплев. Оформление. 1995
- © В. Ю. Станковская. Перевод иностран-
ных текстов. 1995

**ВЗГЛЯД
НА ИСТОРИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОРЯДКА В РОССИИ
ДО ПЕТРА ВЕЛИКОГО
(Публичные чтения)**

ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

Если к каждому частному человеку можно обратиться с вопросом: «Скажи нам, с кем ты знаком, и мы скажем тебе, кто ты таков», то к целому народу можно обратиться со следующими словами: «Расскажи нам свою историю, и мы скажем тебе, кто ты таков».

В настоящее время, когда у нас обнаружилась такая сильная потребность познать свое прошлое, познать, кто мы таковы, я не решился занять ваше внимание, мм. гг. [милостивые государи], изложением событий внешней отечественной истории, но счел более приличным представить в сжатом очерке важнейшую сторону нашей внутренней истории, именно постепенное установление государственного порядка, или, как выражались наши предки, наряда в Русской земле.

Где, при каких природных влияниях действовал народ и с какими чужими народами и государствами изначала и преимущественно должен был иметь дело — вот первые вопросы в истории каждого народа.

Задолго до начала нашего летосчисления знаменитый грек, которого зовут отцом истории, посетил нынешнюю Южную Россию: верным взглядом взглянул он на страну, на племена, в ней жившие, и записал в своей бессмертной книге, что племена эти ведут образ жизни, какой указала им природа страны. Прошло много веков, несколько раз племена сменились одни другими, образовалось могущественное государство; но явление, замеченное Геродотом, остается по-прежнему в силе: ход событий постоянно подчиняется природным условиям.

Перед нами обширная равнина: на огромном расстоянии от Белого моря до Черного и от Балтийского до Каспийского путешественик не встретит никаких сколько-нибудь значительных возвышений, не заметит резких переходов. Однообразие природных форм ослабляет областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинаковые потребности указывают одинаковые средства к их удовлетво-

рению, — и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразия частей и крепкая связь между ними.

Однообразна природа великой восточной равнины, не поразит она путешественника чудесами; одно только поразило в ней наблюдательного Геродота. «В Скифии, — говорит он, — нет ничего удивительного, кроме рек, ее орошающих: они велики и многочисленны». В самом деле, обширному пространству древней Скифии соответствуют исполинские системы рек, которые почти переплетаются между собою и составляют таким образом по всей стране водную сеть, из которой народонаселению трудно было высвободиться для особой жизни. Как везде, так и у нас реки служили проводниками первому народонаселению, по ним сели племена, на них явились первые города. Так как самые большие из них текут на восток или юго-восток, то этим условилось и преимущественное распространение русской государственной области в означенную сторону. Реки много содействовали единству народному и государственному, и при всем том особые речные системы определяли вначале особые системы областей, княжеств. Так, по четырем главным речным системам Русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую составляла озерная область Новгородская; вторую — область Западной Двины, то есть область Кривская, или Полоцкая; третью — область Днепра, то есть область древней собственной Руси; четвертую — область верхней Волги, область Ростовская.

Великая равнина открыта на юго-восток, соприкасается непосредственно со степями Средней Азии: толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра; древняя история видит их здесь постоянно господствующими. Как на ясной памяти истории в нынешней Южной России господство одного кочевого народа сменялось господством другого, жившего далее на восток, так и в древние времена господство скифов сменялось господством сарматов; но от этой перемены история столь же мало выигрывала, как от смены печенегов половцами: переменялись имена, отношения остались прежние, потому что быт народов, сменявших друг друга, был одинаков.

Ясное понятие об этом быте, противоположности его с бытом исторических народов может дать нам предание о походе персидского царя Дария Истаспа в Скифию. Скифы не встретили полчищ персидских, но стали удаляться в глубь страны, засыпая на пути колодцы, источники, истребляя всякое произрастание. Персы начали кружить за ними. Утомленный бесплодною погоней, Дарий наконец послал сказать скифскому царю: «Станный человек! Зачем бежишь ты дальше и дальше? Если почувствуешь себя в силах сопро-

тивляться мне, то стой и бейся; если же нет, то остановись, поднеси своему повелителю в дар землю и воду и вступи с ним в разговор». Скиф отвечал: «Никогда еще ни перед одним человеком не бегал я из страха; не побегу и перед тобою; что делаю я теперь, то привык делать и во время мира; а почему не бьюсь с тобою, тому вот причины: у нас нет ни городов, ни хлебных полей, и потому нам нечего биться с вами из страха, что вы их завоюете или истребите. Но у нас есть отцовские могилы; попробуйте их разорить, так узнаете, будем ли мы биться с вами или нет». Одни кости мертвецов привязывали скифа к стране, и ничего, кроме могил, не оставил он в историческое наследие племенам грядущим.

У берегов Понта, при устьях больших рек, греческие города построили свои колонии для выгодной торговли с варварами. Можно видеть любопытную картину быта греческих колонистов в рассказе Диона Хризостома, который в одной из колоний, именно в Ольвии, искал убежища от преследований Домициана. Когда жители Ольвии увидели заморского оратора, то с греческою жадностью бросились послушать его речей: старики, начальники уселись на ступенях Юпитерова храма; толпа стояла с напряженным вниманием. Дион восхищался античным видом своих слушателей, которые все, подобно грекам Гомера, были с длинными волосами и длинными бородами; но все они были также вооружены: накануне толпы варваров показались перед городом; и в то время, когда Дион произносил свою речь, городские ворота были заперты и на укреплениях развевалось военное знамя; когда же нужно было выступить против варваров, то в рядах колонистов раздавались стихи Илиады, которую почти все ольвинополиты знали наизусть. Быть может, спросят: не производили ли эти греческие колонии хотя медленного, но заметного в истории влияния на быт окружающих варваров? Известия древних показывают между скифами людей царского происхождения, обольщенных красотой греческих женщин и прелестями греческой цивилизации: они строят себе великолепные мраморные дворцы в колониях, даже ездят учиться в Грецию, но погибают от рук единопородцев своих, как отступники отеческого обычая. Вторжение персов в Скифию не произвело ничего, кроме ускоренного движения ее обитателей; попытки Митридата возбудить Восток, мир варваров, против Рима остались также тщетными. Движения из Азии не могли возбудить исторической жизни в странах Понтийских. Но вот слышится предание о противоположном движении — с запада, из Европы — о движении племен, давших стране историю, племен славянских.

Славянское племя не помнит о своем приходе из Азии, о вожде, который вывел его оттуда; но оно сохранило предание о своем первоначальном пребывании на берегах Дуная, о движении оттуда на север и потом о вторичном движении на север и восток вследствие натиска от какого-то сильного врага. Это предание заключает в се-

бе факт, не подлежащий сомнению: древнее пребывание славян в придунайских странах оставило ясные следы в местных названиях; сильных врагов у славян на Дунае было много: с запада — кельты, с севера — германцы, с юга — римляне, с востока — азиатские орды; только на северо-восток открыт был свободный путь, только на северо-востоке славянское племя могло найти себе убежище, где, хотя не без сильных препятствий, успело основать государство и укрепить его в уединении, вдалеке от сильных влияний и натисков Запада, до тех пор пока оно, собравши силы, могло уже без опасения за свою независимость выступить на поприще и обнаружить со своей стороны влияние и на Восток, и на Запад.

Краткие, но ясные указания на быт славян впервые встречаем у Тацита: сравнивая славян с народами европейскими и азиатскими, оседлыми и кочевыми, среди которых они жили, Тацит говорит, что их должно отнести к первым, потому что они строят дома, носят щиты и сражаются пеши; все это, продолжает Тацит, совершенно отлично от сарматов, живущих в кибитке и на лошади. Таким образом, первое достоверное известие о быте славян представляет их нам народом оседлым, резко отличным от кочевников; в первый раз славянин выводится на историческую сцену в виде европейского воина, пеш и со щитом. Такое-то племя явилось в областях нынешней России и расселилось на огромных пространствах, преимущественно по берегам больших рек.

Славяне жили особыми родами. «Каждый жил с родом своим, на своем месте, и владел родом своим», — говорит наш древний летописец. Когда умирал князь, старшина, глава рода, то место его занимал старший сын, который был для младших братьев вместо отца; по смерти последнего старшиною рода становился следующий за ним брат и так далее, всегда старший в целом роде. Таким образом, старшинство не переходило прямо от отца к сыну, не было исключительным достоянием одной линии, но каждый член рода имел право в свою очередь получать его. Легко понять, что при таком порядке вещей тишина и согласие внутри родов не могли долго сохраняться. Связь между членами общества была только чисто родовая и слабела тем более, отношения становились тем неопределеннее, чем в отдаленнейших степенях родства находился старшина к остальным членам рода; чем более размножались и расходились родовые линии, тем запутаннее и спорнее становились права на старшинство: отсюда необходимо происходили несогласия, усобицы. При столкновениях отдельных родов дела также с трудом могли решаться миролюбиво, потому что каждый род, старшина каждого рода должен был блюсти честь и выгоды последнего и не уступать другим: отсюда необходимо также восстание рода на род, о чем свидетельствует летописец. Чтобы восстановить согласие, единство, наряд между родами, единственным средством было отдать решение родовых споров судьбе беспристрастному, призвать Князя —

нарядника из чужа, из чужого рода: так и сделали несколько северных племен — славянских и финских, чем и положили начало Русскому государству в половине IX века.

Прежде нежели обратимся к следствиям этого великого события, бросим взгляд на состояние других европейских народов в означенное время. В других странах Европы в половине IX века происходили явления также великой важности. Знаменитая роль франкского племени и вождей его кончилась в начале IX века, когда оружием Карла Великого политические идеи Рима и Римская церковь покорили себе окончательно варварский мир и вождь франков был провозглашен императором Римским. Духовное единство Западной Европы было скреплено окончательно с помощью Рима; теперь выступало на сцену другое, новое начало, принесенное варварами, германцами на почву империи; теперь начинается материальное распадение Карловой монархии, начинаются вырабатываться отдельные государства, члены западноевропейской конфедерации. IX век был веком образования государств как для Восточной, так и для Западной Европы, веком великих исторических определений, которые действуют во все продолжение новой европейской истории, действуют до сих пор. В то время, когда на Западе совершается трудный, болезненный процесс разложения Карловой монархии и образования новых государств, новых национальностей, Скандинавия, эта старинная колыбель народов, высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет места на родной земле; но континент уже занят, скандинавам нет более возможности двигаться к югу сухим путем, как двигались их предшественники, — им открыто только море, они должны довольствоваться грабежами, опустошением морских и речных берегов.

В Византии происходит также важное явление: богословские споры, волновавшие ее до сих пор, прекратились; в 842 году, в год восшествия на престол императора Михаила, с которого наш летописец начинает свое летосчисление, созван был последний — Седьмой Вселенский Собор для окончательного утверждения догмата, как будто бы для того, чтобы этот окончательно установленный догмат передать славянским народам, среди которых в то же самое время начинает распространяться христианство; тогда же, в помощь этому распространению, является перевод Св. Писания на славянском языке благодаря святой ревности Кирилла и Мефодия. По следам знаменитых братьев обратимся к нашим западным и южным соплеменникам, судьбы которых должны обратить на себя наше особенное внимание.

По своему положению западные славяне должны были с самого начала войти во враждебные столкновения с германцами, сперва с турингами, а потом с франками. У последних Карловинги сменили Меровингов. Германские племена соединились в одну массу; дух единства, принятый германскими вождями на старинной почве

Римской империи, не переставал одушевлять их, руководить их поступками; потомок Геристала принял титул Римского императора; располагага силами Западной Европы, Карл Великий двинулся на Восточную с проповедью римских начал, единства политического и религиозного. Что же могла противопоставить ему Восточная Европа? Народы, жившие в простоте первоначального быта, разрозненные и враждебные друг другу. Легко было предвидеть, что новый Цезарь получит такие же успехи над младенчествующими народами Восточной Европы, какие старый Цезарь получил некогда при покорении варварского народонаселения Европы Западной. По смерти Карла Великого преемники его уже не могли с таким постоянством и силою действовать против славян, и между последними видим стремление к самостоятельности, чем особенно отличаются князья Моравские. Но эти князья должны были понимать, что для независимого состояния Славянского государства прежде всего была необходима независимая славянская церковь; что с немецким духовенством нельзя было и думать о народной и государственной независимости славян; что с латинским богослужением христианство не могло принести пользы народу, который понимал новую веру только с внешней, обрядовой стороны и, разумеется, не мог не чуждаться ее.

Вот почему князья Моравские должны были обратиться к Византийскому двору, который мог прислать в Моравию славянских проповедников, учивших на славянском языке, могших устроить славянское богослужение и основать независимую славянскую церковь; близкий и недавний пример Болгарии должен был указать Моравским князьям на этот путь. Со стороны Византии нечего было опасаться притязаний, подобных германским: она была слишком слаба для этого, — и вот из Моравии отправляется в Константинополь посольство с просьбою о славянских учителях; просьба исполнена: знаменитые братья Кирилл и Мефодий распространяют славянское богослужение в Моравии и Паннонии. Но не западным славянам суждено было основать среди себя независимую славянскую церковь: в последнее десятилетие IX века на границах славянского мира явились венгры. Политика Дворов — Византийского и Немецкого — с самого начала обратила этот народ в орудие против Моравской державы. К несчастью для последней, в 894 году умер знаменитый князь ее Святополк; в то время, когда западным славянам нужно было сосредоточивать все свои силы для отпора двум могущественным врагам — немцам и венграм, моравские владения разделились на части между сыновьями Святополка; вражда последних погубила страну, которая стала добычею венгров.

Разрушение Моравской державы и основание Венгерского государства в Паннонии имели важные следствия для славянского мира: славяне южные были отделены от северных; уничтожено было

центральное владение, которое начало было соединять их, где произошло столкновение, загорелась сильная борьба Востоком и Западом, между славянским и германским племенем, где с помощью Византии основалась славянская церковь; теперь Моравия пала, и связь славян с югом, с Грецией рушилась; венгры стали между ними. Славянская церковь не могла утвердиться еще, как была постигнута бурей, отторгнута от Византии, которая одна могла дать ей питание и укрепление. Таким образом, с уничтожением самой крепкой связи с Востоком, самой крепкой основы народной самостоятельности, западные славяне должны были по необходимости примкнуть к западному римско-германскому миру и в церковном и политическом отношении. Самостоятельное Славянское государство могло образоваться и окрепнуть только на отдаленном востоке, куда не достигали западные влияния, ни материальные, ни духовные. К судьбе этого-то государства мы теперь и обратимся.

Мы видели, как среди северных племен явился князь, призванный для установления наряда в Земле, взволнованной родовыми усобицами. Установление наряда среди племен, сосредоточение их около одного правительственного начала дали им силу; эту силу северных объединенных племен князь пользуются для того, чтобы подчинить себе, сосредоточить под своею властью и остальные племена, обитавшие в нынешней Средней и Южной России. Теперь предстоит нам вопрос: в каких же отношениях нашелся князь к племенам, призвавшим его и к подчинившимся впоследствии? Для решения этого вопроса должно обратиться к понятиям племен, призвавшим власть. Летописец прямо дает знать, что несколько отдельных родов, поселившись вместе, не имели возможности жить общею жизнью вследствие усобиц; нужно было постороннее начало, которое условило бы возможность связи между ними, возможность жить вместе. Племена знали по опыту, что мир, наряд, возможен только тогда, когда все живущие вместе составляют один род, с одним общим родоначальником; и вот они хотят восстановить это прежнее единство; хотят, чтобы все роды соединились под одним общим старшиною, князем, который ко всем родам был бы одинаков, чего можно было достичь только тогда, когда этот старшина, князь, не принадлежал ни к одному роду, был из чужого рода. Они призвали князя, не имея возможности с этим именем соединить какое-либо другое новое значение, кроме значения родоначальника, старшего в роду.

Из этого значения князя уяснится нам круг его власти, его отношения к призвавшим племенам. Князь должен был княжить и владеть по буквальному смыслу летописи; он думал и гадал о своем владении, как старшина о своем роде, думал о строе зёмском, о ратях, об уставе земском. Вождь на войне, он был судьей во время мира; он наказывал преступников; его двор — место суда, его слуги — исполнители судебных приговоров; всякая перемена, всякий новый

устав проистекал от него. Но если круг власти призванного князя был такой же, какой был круг власти прежнего родоначальника, то в первое время на отношениях князя к племенам отражалась еще вся неопределенность прежних родовых отношений, которой следствия и постепенное исчезновение мы увидим после. Теперь же мы должны обратиться к вопросу первой важности, а именно: что стало с прежними родоначальниками, прежними старшинами, князьями племен? Удержали ли они прежнее значение относительно своих родов и, окружив нового князя из чужого рода, составили высшее сословие, боярство с важным земским значением, с могущественным влиянием на остальное народонаселение?

Соединение многих родов в одно целое, с одним общим князем во главе необходимо должно было поколебать значение прежних старшин, родоначальников; прежняя тесная связь всех родичей под властью одного старшины не была уже теперь более необходима в присутствии другой, высшей, общей власти. Само собою разумеется, что это понижение власти прежних родоначальников происходило постепенно: мы еще видим некоторое время старцев, участвующих в Советах князя, прежде нежели явились всеобщие Советы, или Веча; но общественная жизнь, получая все большее и большее развитие, условливая распадение родов на отдельные семьи, причем прежнее представительное значение старших в целом роде должно было мало-помалу исчезать. Те исследователи, которые предполагают долговременное существование прежних славянских князей, или родоначальников, и те, которые предполагают переход этих старшин в бояр с земским значением, забывают, что родовой быт славянских племен сохранился при своих первоначальных формах, не переходя в быт кланов, где старшинство было уже наследственно в одной линии, переходило от отца к сыну; тогда как у наших славян князь долженствовал быть старшим в целом роде, все линии рода были равны относительно старшинства: каждый член каждой линии мог быть старшим в целом роде, смотря по своему физическому старшинству. Следовательно, одна какая-нибудь линия не могла выдвинуться вперед пред другими, как скоро родовая связь между ними рушилась; никогда линия не могла получить большого значения по своему богатству, потому что при родовой связи имение было общее; как же скоро эта связь рушилась, то имущество разделялось поровну между равными в правах своих линиями: ясно, следовательно, что боярские роды не могли произойти от прежних славянских старшин, родоначальников, по ненаследственности этого звания в одной линии. Из этого ясно видно, что бояре наших первых князей не происходили от старинных родоначальников, но имели происхождение дружинное.

Таково было значение князя, таковы были отношения его к подчиненному народонаселению. Само собою разумеется, что эти отношения устанавливались не вдруг, но постепенно — у одних племен

прежде, у других после: прежде — у племен, участвующих в призвании князя, после — у племен, подчинившихся позднее приемникам Рюрика и более отдаленных от главного места действия, то есть от водного пути между Новгородом и Киевом. Не вдруг, но мало-помалу обнаруживались и перемены в быту племен вследствие подчинения их одной общей власти: дань, за которую сам князь ходил, была первоначальным видом этого подчинения, связи с другими соподчиненными племенами. Но при таком виде подчиненности сознание этой связи, разумеется, было еще очень слабо. Гораздо важнее для общей связи племен и для скрепления связи каждого племени с общим средоточием была обязанность, вследствие которой сами племена должны были доставлять дань в определенное князем место, потому что с этим участие племен в общей жизни принимало более деятельный характер. Но еще более способствовала сознанию о единстве та обязанность племен, по которой они должны были участвовать в походах княжеских на другие племена, на чужие народы: здесь члены различных племен, находившихся до того времени в весьма слабом соприкосновении друг с другом, участвовали в одной общей деятельности, составляли одну дружину под знаменами Русского князя. Здесь наглядным образом приобретали они понятие о своем единстве и, возвратясь домой, передавали это понятие своим родичам, рассказывая им о том, что они сделали вместе с другими племенами под предводительством Русского князя. Наконец, выходу племен из особого, родового быта, сосредоточению каждого из них около известных центров и более крепкой связи всех их с единым, общим для всей Земли средоточием способствовали построение городов князьями, умножение народонаселения, перевод его с севера на юг.

Мы коснулись непосредственного влияния княжеской власти на образование юного общества; но это влияние сильно обнаружилось еще посредством дружины, явившейся вместе с князьями. С самого начала мы видим около князя людей, которые сопровождают его на войну, во время мира составляют его Совет, исполняют его приказания, в виде посадников заступают его место в областях. Эти приближенные к князю люди, эта дружина княжеская, могущественно действуют на образование нового общества тем, что вносят в среду его новое начало, сословное, в противоположность прежнему, родовому. Является общество, члены которого связаны между собою не родовою связью, но товариществом; дружина, пришедшая с первыми князьями, состоит преимущественно из варягов; но в нее открыт доступ храбрым людям из всех стран и народов, преимущественно, разумеется, по самой близости туземцам. С появлением дружины среди славянских племен для их членов открылся свободный и почетный выход из родового быта в быт, основанный на других, новых началах; они получали возможность развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства; получали возможность

личною доблестью приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известною степенью по родовой лестнице. В дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести, по степени той пользы, которую они доставляли князю и Земле. С появлением дружины должно было явиться понятие о лучших, храбрейших людях, которые выделались из толпы людей темных, неизвестных, черных; явилось новое жизненное начало, средство к возбуждению сил в народе и к выходу их; темный, безразличный мир был встревожен, начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии.

Обозначив влияние дружины вообще, мы должны обратиться к вопросу: в каком отношении находилась она к князю и Земле. Для легчайшего решения этого вопроса сравним отношения дружины к князю и Земле в Западной Европе и те же самые отношения у нас на Руси. На Западе около доблестного вождя собиралась толпа отважных людей с целью завоевания какой-нибудь страны, приобретения земель во владение. Здесь вождь зависел более от дружины, чем дружина от него; дружина не находилась к вождю в служебных отношениях; вождь был только первый между равными. «Мы избираем тебя в вожди, — говорила ему дружина, — и, куда поведет тебя твоя судьба, туда пойдем и мы за тобою; но, что будет приобретено общими нашими силами, то должно быть разделено между всеми нами, смотря по достоинству каждого». И действительно, когда дружина овладевала какою-нибудь страной, то каждый член варварского ополчения приобретал участок земли и нужное количество рабов для его обработки.

Но подобные отношения могли ли иметь место у нас на Руси с призыванием князей? Мы видели, что князь был призван северными племенами как нарядник Земли; в значении князя этих племен, в значении князя известной страны, он расширяет свои владения. Около него видим дружину, которая постоянно пополняется новыми членами, пришлецами и туземцами, но ясно, что эти дружинники не могут иметь значения дружинников западных: они не могли явиться для того, чтобы делить Землю, ими не завоеванную, они могли явиться только для того, чтобы служить князю известных племен, известной страны. С другой стороны, если князь с дружиной покорил новые племена, то это покорение было особого рода: во-первых, князь покорял их не с одною дружиною, но соединенными силами всех, прежде подчинившихся племен; во-вторых, покоренные племена были рассеяны на огромном пустынном пространстве; на них налагалась дань — и только; но их не делили между членами дружины. Земли было много у Русского князя; он мог, если хотел, раздавать ее своим дружинникам; но дело в том, выгодно ли было дружинникам брать ее без народонаселения; им гораздо выгоднее было оставаться при князе, ходить с ним за добычею на войну к народам, еще не покоренным, за данью к племенам подчи-

ненным, продавать эту дань чужим народам — одним словом, получать от князя содержание непосредственно.

Замечено было, что князья принимали в свою дружину всякого витязя, из какого бы народа он ни был; каждый пришлец получал место, смотря по своей известности; в древних песнях наших читаем, что князь встречал неизвестных витязей следующими словами:

Гой вы еси, добры молодцы!
Скажитесь, как вас по имени зовут:
А по имени вам мочно место дать,
По изотчеству мочно пожаловати.

Так было везде — так было и у нас. В скандинавских сагах читаем, что при Владимире княгиня, жена его, имела такую же многочисленную дружину, как и сам князь; муж и жена соперничали, у кого будет более знаменитых витязей; если являлся храбрый пришлец, то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. Подтверждение этому известию находим также в наших старинных песнях: так, Владимир, посылая богатыря на подвиги, обращается к нему со следующими словами:

Гой еси, Иван Гоудинович!
Возьми ты у меня, князя, сто человек
Русских могучих богатырей,
У княгини ты бери другое сто.

Чем знаменитее был князь, тем храбрее и многочисленнее были его сподвижники; каков был князь, такова была и дружина: дружина Игорева говорила: «Кто с морем советен» — и шла домой без боя; сподвижники Святослава были все похожи на него. «Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим», — говорили они ему, потому что оставить поле битвы, потерявши князя, считалось страшным позором для доброго дружинника; и хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности: так, Святослав не принял вызова Цимисхиева на поединок, конечно, не из трусости, но из того, чтобы не отделиться от дружины, не покинуть ее на жертву врагам в случае своей смерти. Так, во время похода Владимира Ярославича на греков тысяцкий Вышата сошел на берег к выброшенным бурей воинам и сказал: «Если буду жив, то с ними; если погибну, то с дружиною».

Было уже замечено, что дружина получала содержание от князя — пищу, одежду, коней и оружие. Дружина говорит Игорю: «Отроки Свенельдовы богаты оружием и платьем, а мы босы и наги; пойдем с нами в дань». Хороший князь ничего не жалел для дружины: он знал, что с многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда приобрести богатую добычу; так говорил Владимир и давал частые обильные пиры дружине; так, о сыне его, Мстиславе, говорится, что он очень любил дружину, имения не щадил, в

питье и пище ей не отказывал. При такой жизни вместе, в братском кружку, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум; что члены дружины были главными его советниками во всех делах; так, о Владимире говорится, что он любил дружину и думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском. Святослав не хочет принимать христианства, потому что дружина станет смеяться. Бояре вместе с городскими старцами решают, что должны принести человеческую жертву; Владимир созывает бояр и старцев советоваться о перемене веры.

Кроме дружины войско составляли особые полки, набиравшиеся из народонаселения городского и сельского, к состоянию которого теперь и обратимся. Прежние города славянских племен были не иное что, как огороженные села, жители которых занимались земледелием. Это занятие всего более способствует сохранению родового быта: по смерти общего родоначальника сыновьям его и внукам выгодно поддерживать родовую связь, чтобы соединенными силами обрабатывать землю. Как же скоро среди народонаселения являются другие промыслы, мена, торговля; как скоро для членов рода является возможность избирать то или другое занятие по своим склонностям, является возможность посредством собственной самостоятельной деятельности приобрести более других членов рода, то с тем вместе необходимо должно являться стремление выделиться из рода для самостоятельной жизни, самостоятельной деятельности. Различие занятий и мена условливались тем, что среди городов явился новый элемент народонаселения — воинские отряды, дружины князей. В некоторых городах поселились князья, в других — мужи княжие с воинскими отрядами; этот приплыв народонаселения со средствами к жизни, но не промышленного самого по себе, необходимо должен был породить торговлю и промышленность, которые в свою очередь должны были действовать на ослабление прежнего родового быта. Ослаблению родового быта в новых городах, построенных князьями, содействовало и то, что эти города обыкновенно наполнялись народонаселением, собранным из разных мест, преимущественно с севера. Переселенцы эти были вообще доступнее для принятия новых форм быта, новых условий общественной жизни, чем живущее рассеянно, отдельными родами сельское народонаселение; в городах сталкивались чужеродцы, для которых необходимы были новые отношения, новая гражданская связь. Наконец, ослаблению и падению родового быта в городах должно было много содействовать новое военное деление на десятки и сотни, над которыми поставлялись независимые от родовых старшин начальники — десятские, сотские. Что эти начальники сохраняли свое влияние и во время мира, доказательством служит важное влияние, гражданское значение тысяцкого: эти новые формы соединения, новые, чисто гражданские отношения необходимо должны были наносить удар старым формам быта.

Появление города пробуждало жизнь и в ближайшем к нему сельском народонаселении: в городе образовался правительственный центр, к которому должно было тянуть окружное сельское народонаселение. Сельчане, которые прежде раз в год входили в сношения с княжескою властью при платеже дани, теперь входили в сношения с нею гораздо чаще, потому что в ближайшем городе сидел муж, княж, посадник; потом, как скоро городское народонаселение получило другой характер, чем прежде, то между ним и сельским народонаселением необходимо должна была возникнуть торговля вследствие различия занятий. С другой стороны, подле городов начали появляться села с народонаселением особого рода: князья, их дружинники и вообще горожане стали выводить деревни, населяя их рабами, купленными или взятыми в плен, также наемными работниками. Так посредством городов, этих правительственных колоний, наносился удар родовой особенности, в какой прежде жили племена, и вместо племенных названий встречаем уже областные, заимствованные от главных городов.

Так были положены основы русскому обществу; таковы были перемены, произведенные новыми началами в быте восточных племен славянских. Но легко заметить, что в начертанной картине образования юного русского общества чего-то недостает, и недостает самого главного, недостает — духовного начала. Как в дивном видении ветхозаветного пророка мы видим, что кости складываются с костями, связываются с жилами, облекаются плотию — но духа еще нет в новом теле: этот дух принесен был христианством.

ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

В предшествующую беседу мы видели, как положены были основы русского общества; мы видели, как сложились его части; но мы заметили, что не было еще духовного начала, которое бы дало этим частям духовную связь, духовное единство: это духовное начало явилось вместе с христианством, принесенным в Россию из Византии. Прежде нежели приступим к рассказу о принятии христианства, его распространении и влиянии на новорожденное общество, считаем нужным сказать несколько слов о том князе, которому суждено было сделаться просветителем русского народа. Мы видели, какими способами и путями начало, призванное для установления наряда, исполнило свое назначение в первое время существования русского общества; мы видели, как правительственное начало собирало племена, рассеянные на безмерном пространстве, сосредоточивало их около правительственных центров — около городов; каким образом переводило оно народонаселение из быта племенного в быт областной. С другой стороны, правительственное начало должно было стоять на стороже Русской земли; должно

было постоянно защищать это юное общество, эти первые основы общества от непрестанных вторжений степных варваров — потому что Русское государство, передовое государство европейское, основалось на границах степей, на границах Европы с Азией.

Из князей, которые всего более старались об этом внутреннем наряде, предание выставляет нам два лица, соединенные в нем одним именем, одним прозванием, одинаковым характером деятельности, хотя эти два лица и разных полов: это князь Олег, второй по призыванию, и княгиня Ольга, жена Игоря — третьего князя. Предание выставляет одинаковую деятельность этих двух лиц относительно устройства наряда в Земле, указывая, как эти лица старались определить отношения племен к главному центру, к сосредоточивающему началу; как, собирая эти племена, населяли пустынные страны, строили города. Мы сказали, что предание дает обоим этим лицам одно прозвание — «мудрых»; мы знаем, кого обыкновенно народное предание называет мудрыми, кому приписывает это свойство: оно приписывается тем правительственным лицам, которые преимущественно заботятся о внутреннем наряде, о внутреннем благосостоянии общества.

Иначе рассказывает предание о сыне Ольги: Святослав в предании выставляется героем, вождем дружины по преимуществу, но не нарядником. В предании сохранилась жалоба, что он оставил родную страну для чужой, заботился о чужой стране, а между тем родную Землю без него едва было не взяли печенеги.

С другим характером является сын Святослава — Владимир. Это лицо есть любимый герой Древней Руси. Конечно, его великое значение как Апостола, просветителя Русской земли, дает ему право быть главным героем древней русской истории. Неудивительно потому в народных поэтических сказаниях видеть это лицо совопросником царя Давида, вместе с ним решающим важный вопрос о начале и конце мира. Но с Владимиром соединены еще и другие предания, которые не могут быть объяснены одним его религиозным значением: к княжению Владимира относится цикл богатырских наших песен и сказаний. Витязи, богатыри, главные герои этих преданий, суть сподвижники, дружинники Владимира; Владимир — тот князь, который распоряжается их подвигами. Отчего же в этих сказаниях о геройских подвигах богатырей играет главную роль Владимир, а не отец его Святослав, герой по преимуществу? Если мы обратимся к летописи, то она точно укажет нам, что Владимир совершил много походов, преимущественно с той целью, чтобы скрепить окончательно между племенами связь, ослабевшую во время удаления отца его в Болгарию и во время междоусобий братьев. Но преимущественная деятельность Владимира состояла в том, что он отражал степных варваров, сдерживал их стремления против новорожденного общества; около Киева, около центра русского общества в то время, с целью защиты от нападений варваров

построил ряд городов; все его княжение проходит большею частию в битвах с варварами. Здесь, в этих битвах, идет дело о самых главных интересах общества, народа; здесь совершается борьба за имущество, свободу, жизнь. Неудивительно после того, что подвиги Святослава не могли служить содержанием народных песен и сказаний: они были совершаемы вдали от родной страны и не для родной страны, тогда как подвиги Владимира были совершаемы в виду всей Русской земли и с целию ее защиты от степных варваров: вот почему благодарный народ так удержал в своей памяти Владимира и сделал его героем целого цикла богатырских преданий; а между тем сам Владимир не был богатырем, как был отец его Святослав. Но Владимир, кроме того, заслужил еще народную добрую память другими чертами своего характера: из сличения всех преданий, записанных в летописи и существующих в народных сказаниях, мы видим, что этот князь имел широкую, любящую душу и потому не любил жить одиноко, но любил жить с другими вместе; а известно, как это качество способно приобретать любовь народа и добрую память.

Таков был князь, которому суждено было быть Апостолом России. Знакомство с христианством начинается очень рано в нашем отечестве вследствие ранних походов русских князей и племен на Константинополь: уже во время похода Игоря, третьего русского князя, летопись говорит о христианах, бывших в его войске, и о церкви христианской, находившейся в Киеве. Раннее распространение и усиление христианства на Руси доказываются и тем, что после Игоря жена его Ольга, управлявшая делами нового общества за малолетством сына своего Святослава, принимает христианство: это явление было и следствием распространения христианства, и причиною дальнейшего его распространения. Но когда христианство начало усиливаться на Руси, в тогдашнем центре ее — Киеве, как скоро оно обратило на себя внимание, тогда необходимо было ожидать враждебного столкновения его с древней языческой религией. Когда Ольга увещевала сына своего принять христианство, он отказался: в характере Святослава лежало неодолимое препятствие к тому. Но, как сказано, самый пример Ольги должен был способствовать к усилению христианства, а вместе с успехами последнего должно было возникнуть и сопротивление со стороны язычества. Это сопротивление обозначается в летописи тем, что христиан хотя не притесняли, но смеялись над ними; борьба, таким образом, начиналась насмешками. Есть некоторые известия, что в конце княжения Святослава эта борьба приняла уже другой характер — насмешки превратились в притеснения. Но Святослав, преследуя христианство (если верить этим известиям), оставил, однако, по своему удалении малолетних сыновей своих при бабке их христианке, и есть также известие, что старший сын его Ярополк был приведен к христианству, хотя явно и не принимал его из страха

пред сильной языческой стороною. Есть еще далее известие, что Владимир, князь Новгородский, в борьбе с Ярополком был обязан успехам своим стараниям языческой стороны, которая не хотела Ярополка, но хотела князя вполне язычника.

Верность этого известия подтверждается тем, что, как скоро Владимир осилил брата и занял Киев, тогда мы видим язычество в полном разгаре. Никогда еще, по свидетельству летописи, язычество не выказывалось так резко на Руси, как в начале княжения Владимира; никогда не было приносимо так много жертв, требовались даже человеческие жертвы. Владимир, обязанный торжеством своим языческой стороне, спешит удовлетворить ей, спешит украсить язычество и языческий быт: он ставит изукрашенных идолов, приносит им частые жертвы. Но в этом самом торжестве язычества, этом старании поднять, украсить его, в этом самом мы видим уже признак его скорого падения: стараясь поднять язычество, стараясь украсить его, Владимир и те, которые содействовали ему в этом, истощали все средства язычества и тем резче обнаруживали всю его ничтожность, всю его несостоятельность пред другими религиями, особенно пред христианской. Что бывает иногда в жизни частных людей, то же замечается и в жизни целых обществ: мы видим иногда, что самые ревностные поклонники какого-нибудь начала, оставляя прежний предмет своего поклонения, вдруг переходят на другую сторону и действуют с удвоенною ревностью в ее пользу — это значит, что они в своем сознании истощили все средства своего прежнего поклонения. У нас на Руси, в Киеве, в малых размерах случилось то же самое, что некогда имело место в Риме, при императоре Юлиане: его ревность всего более способствовала падению язычества; он истощил все средства, которые могло дать язычество для умственной и нравственной жизни общества, и тем показал его ничтожность и несостоятельность пред христианством; так и наше языческое общество при Владимире, истощив все средства язычества, приготовило тем самым торжество христианства.

Под 983 годом летописец помещает следующий любопытный рассказ: пришел Владимир из похода против ятвягов, и начали приносить жертвы кумирам; собралась толпа и потребовала человеческой жертвы; кинули жребий — жребий пал на одного из варягов, который исповедовал христианскую веру вместе с отцом своим, принесшим ее из Константинополя. Толпа послала сказать старику, чтобы он отдал сына своего в жертву богам; варяг отвечал: «Ваши боги суть дерево — ныне есть оно, завтра сгниет; один только Бог, Которому кланяются греки, Который сотворил небо и землю; а что сделали ваши боги? Они сами сделаны; не отдам сына своего бесам». Разъяренная толпа убила проповедника — ярость прошла, но проповедь осталась: «Ваши боги — дерево!» — и безответны стояли кумиры Владимира пред этим грозным вызовом. И в самом деле, что могла древняя наша языческая религия дать обществу; что мог-

ла она выставить; что могла ответить на все те важные вопросы, которые задавали ей проповедники других религий, особенно религии христианской?

Одним из главных вопросов, которые беспокоили все северные народы и которые так сильно способствовали распространению между ними христианства, был вопрос о начале мира и о будущей жизни. Болгарское предание о принятии христианства говорит, что Болгарский князь всего более был поражен картиною Страшного Суда; то же самое повторяет предание и о нашем Владимире. В предании Владимир зовет старцев и бояр, чтобы посоветоваться с ними о вере; он говорит им: «Приходили ко мне проповедники разных вер; каждый хвалит свою веру; пришли и греки; они рассказали мне много о начале и конце мира; хитро говорят они, любо их слушать». Что этот вопрос о начале и конце мира сильно занимал северные народы и много способствовал к распространению между ними христианства — это доказывается тем, что подобное же предание находим мы и на противоположном конце Западной Европы, — знак, что это предание верно, верно духу времени и духу народов. Христианские проповедники приходят к одному англо-саксонскому королю; король подобно Владимиру зовет дружину и старшин для совещания, принять ли им новую веру или нет. И вот один из вождей говорит: «Ты, верно, припомнишь, князь, что случается иногда в зимнее время, когда ты с дружиною своей сидишь в теплой комнате, камин пылает, всем так хорошо, а на дворе вьюга, метель, дождь, снег; и вот иногда в это время случится, что маленькая птичка влетит в одну дверь и вылетит в другую: мгновение этого перелета так приятно ей. Но это мгновение кратко, и она снова погружается в бурю, и снова бьет ее ненастье: такова и жизнь наша, если сравнить ее с тем временем, которое ей предшествует и последует, — это время беспокоит и страшит нас своею неизвестностью. Итак, если новое учение даст известие о том, что было и что будет, то стоит принять его».

Так говорят предания, являющиеся совершенно независимо одно от другого в разных концах Европы. На верность их указывает их согласие. Но есть еще другое предание, также несомненно верное: это предание о выборе веры. Оно говорит, что Владимир должен был выбирать из разных вер: язычество показало свою несостоятельность, нужно было переменить его на другую веру — и вот Владимир избирает из многих вер христианскую. Это предание также согласно с обстоятельствами времени и тогдашнего общества. Выбор из многих вер есть особенность русской истории: другим, западным народам нельзя было выбирать из многих вер, им можно было только переменить язычество на христианство. Но русское общество находилось на границах Европы и Азии; здесь, на этих границах, сталкивались не только разные народы, но и разные религии; следовательно, обществу в таких обстоятельствах должно было

выбирать из разных религий. Далее, на Востоке, еще прежде основания Русского государства основалось Казарское царство, которое представляет нам несколько различных народов, соединенных вместе, и несколько различных религий: и вот у казар существовало предание, что их кагану нужно было также выбирать из разных вер; что к нему приходили проповедники от разных народов — азиатский народ выбирает веру иудейскую.

Теперь далее к западу, на границах Европы и Азии, основывается другое общество, с европейским населением и характером; но обстоятельства те же, и то же предание повторяется; на этот раз европейское общество выбирает христианство. Христианство было давно уже знакомо в Киеве вследствие тесных связей с Константинополем: русские люди часто бывали в Константинополе и приносили оттуда рассказы о чудесах греческой религии и гражданственности. Эти бывальцы в Византии, которые вместе с тем бывали и в других странах и имели случай сравнить различные религии, — эти бывалые люди имели полное право сказать Владимиру то, что в предании говорят ему бояре, отправленные им для испытания различных вер: «Лучше греческого богослужения, лучше греческой религии найти нельзя; всякой, отведав раз сладкое, не захочет горького; если ты не примешь христианской веры, то мы уйдем назад в Константинополь».

Митрополит Иларион, современник Владимирового сына Ярослава, Иларион, авторитет которого для нас беспрекословен, говорит, что Владимир беспрестанно слышал о греческой вере, богослужении, о чудесах христианства. Но и для тех, которые не бывали в Константинополе, было свое туземное доказательство в пользу христианства. «Если бы христианство не было лучшею из религий, — говорили они Владимиру, — то твоя бабка Ольга не приняла бы его, а Ольга была мудрейшая из людей».

Таким образом, все было готово к принятию христианства. Прибавим еще и другое обстоятельство: Владимир был взят малюткой из Киева и отвезен в Новгород, где и воспитан; на севере христианство было мало знакомо, язычество господствовало здесь вполне, в борьбе с Ярополком Владимир явился с северными полками, набранными из скандинавов, новгородцев, кривичей, финнов — все ревностных язычников; этот приплыв языческого элемента и был причиною торжества язычества в начале княжения Владимира. Но потом время и место взяли свое, язычество не могло долее противиться; языческая религия, которая удовлетворяла потребностям племен рассеянных, живших особно в родовом быте, не могла уже теперь удовлетворить киевлянам, познакомившимся с христианством. В Совете Владимира было решено, что христианство есть лучшая вера. Не станем повторять дальнейших подробностей о том, как Владимир, не смея прямо приступить к такому великому делу, говорит: «Подожду еще немного» — и предпринимает поход

в Корсунь; заметим, что это предание так верно и естественно, что мы имеем право принять его; оно показывает нам, как Владимир дает обет принять христианство, если Бог христианский поможет ему: мы знаем, что это не первый вождь языческого народа, который принимает христианство вследствие подобных обетов.

И вот Владимир возвращается в Киев христианином, сокрушает идолов; духовенство, приведенное им, проповедует христианство по улицам города. Многие, давно знакомые с христианством, с радостью принимают его; другие колеблются, как прежде колебался и Владимир; некоторые же упорно стоят за старую веру. Тогда Владимир употребляет средство сильнее: он объявляет, чтобы на другой день весь народ явился к реке, и, кто не явится, тот будет врагом князю. Те, которые колебались, ждали чего-нибудь решительного, с радостью пошли теперь к реке, руководствуясь примером князя и бояр, говоря, что если бы христианство не было лучшею религиею, то князь и бояре не приняли бы его. Некоторые, по словам митрополита Илариона, шли неохотно, из страха пред повелевшим; некоторые же, закоренелые язычники, удаляются из Киева, скрываются в лесах и степях. Это известие об удалении некоторых язычников в леса и степи можно принимать в связи с известием об умножении разбоев: закоренелые язычники, удалившись от общества, разумеется, должны были враждебно против него действовать.

Любопытно, что богатыри Владимира, по преданиям, вооружаются против разбойников; все это может вести ко мнению, что эта борьба хотя отчасти носила характер религиозный; приводят разбойника — его отдают митрополиту; разбойник кается в доме последнего. Как бы то ни было, в Киеве христианство принялось без больших затруднений. Но не так было там, где оно не было еще знакомо, — у племен северных и восточных, которые жили еще в простоте первоначального быта, для которых старая языческая религия была еще удовлетворительна. Любопытно видеть, что христианство распространялось у нас тем же путем, каким вначале распространялась и государственная область: проповедники, митрополиты и другие духовные лица идут по великому водному пути — из Киева в Новгород, потом белозерским путем до Ростова. Но христианство встречает здесь, на севере, сильные препятствия: язычество, не удовлетворяясь страдательным противоборством христианству, осмеливается иногда прямо и явно наступать на него; являются иногда волхвы и явно возмущают народ против христианства. Большие смуты произвели они в Ростовской области, так что князь Ярослав должен был сам отправиться на север для усмирения волнений; в Новгороде один волхв возмутил народ до того, что когда епископ вышел с крестом в руке, то на стороне волхва стало все народонаселение; на стороне епископа остался один князь с дружиною, и только особенная смелость князя помешала исполниться намерениям волхва.

Для окончательного торжества христианства и низложения язычества греческое духовенство присоветовало Владимиру меру самую действительную: христианство не могло с надлежащим успехом распространяться среди старого поколения, которое было воспитано в язычестве и потому жило прежними, языческими понятиями; с другой стороны, родители, пропитанные языческими понятиями, не могли воспитать новое поколение в понятиях христианских: и вот по совету греческих епископов Владимир отбирает у лучших граждан детей и отдает их по церквам духовенству учиться грамоте и вместе догматам христианским, воспитываться в христианском духе. Сын его Ярослав то же самое делает в Новгороде. Св. Леонтий подобным же образом поступает в Ростове: не имея возможности сладить с упорным язычеством, Св. Леонтий обращается к молодому поколению, собирает около себя детей и воспитывает их в христианстве, за что и терпит страдальческую кончину от родителей этих детей. Но в Киеве и Новгороде эта мера удалась как нельзя лучше: новое, молодое поколение, воспитанное христиански и выученное грамоте, имело средство узнать догматы новой религии и действовать гораздо сильнее против прежней.

Теперь рассмотрим, каковы были подвиги этого нового, молодого поколения, поколения грамотного, наученного догматам своей религии. Представителями его являются в семействе княжеском уже дети Владимира, и, во-первых, любимые его сыновья — Борис и Глеб. Легко понять, что христианство по самому характеру своему должно было прежде всего подействовать на самые нежные отношения, на отношения семейные, родственные, должно было скрепить их и дать им большую мягкость и нежность. Это и видим мы в Борисе и Глебе, в этих образцах братской любви и благоговения к началам семейным; они падают жертвою этих новых понятий, новых чувств; они являются первыми гражданами нового мира, первыми борцами нового христианского общества против языческого. Потом представителем нового поколения является третий сын Владимира — Ярослав, который был великим князем. Ярослав, говорит летопись, был христианин и умел читать книги; эти два сопоставления чрезвычайно важны; именно по понятиям тогдашнего общества христианство и грамотность были нерасторжимы; следовательно, Ярослав был полным представителем нового поколения. Умея сам читать книги, будучи настоящим христианином, зная догматы своей веры, Ярослав заботился, чтобы и другие имели те же знания: он собирает писцов, которых заставляет переводить, переписывать книги; в Новгороде, как сказано выше, отбирает у лучших граждан детей и отдает их учиться, строит церкви, дает от себя содержание приставленным к ним священникам, которым поручает учить народ. Потом, после семьи княжеской, представителем нового поколения является митрополит Иларион, кото-

рый, понимая различия и превосходство нового порядка вещей пред старым, старался и другим показать это превосходство.

Но этого еще было мало; новое поколение грамотных христиан должно было выставить проповедников не слова только, но и дела — и оно выставило целый ряд подвижников, которые жизнью на самом деле доказали явно превосходство нового порядка вещей и дали окончательное торжество христианству. Мы говорим об этих великих подвижниках христианства, о древних наших иноках, преимущественно иноках Киево-Печерского монастыря, который имеет такое важное значение в нашей древней истории. Как прежде русские люди из Киева ходили в Грецию за добычей, за славой, так теперь новое поколение, воспитавшееся в христианстве, путешествует в Грецию, но не за добычей, не за славою, а за тем, чтобы получить там окончательное просвещение, окончить свое христианское, духовное воспитание.

Таков был Святой Антоний, который отправился с этими целями в Грецию, возвратился иноком и положил основание Киево-Печерской обители. Кроме Антония мы видим еще другого представителя нового поколения: это был Святой Феодосий. В жизни Феодосия всего легче можно видеть эту борьбу старого поколения с новым и торжество последнего. Предание говорит, что когда Владимир велел отбирать детей у лучших людей для учения, то матери полуязычницы плакали по своим детям, как по мертвым: такова была мать и Св. Феодосия. В самой ее любви представитель нового поколения встретил сильное препятствие своим намерениям: она не хотела, чтобы он посвятил себя исключительно религии. Но Феодосий преодолел все препятствия, ушел в Киев, явился к Антонию, вступил в монастырь и был после него игуменом. Но кроме Антония и Феодосия Печерский монастырь выставил целый ряд подвижников христианства, которые своим примером, своими делами так много способствовали распространению христианства в областях русских.

Показав средства, какими христианство распространялось и утверждалось на Руси, обратимся к влиянию этого нового могущественного начала на гражданский быт юного русского общества. Немедленно после принятия новой веры мы видим уже епископов советниками князя, истолкователями воли Божией. Но христианство принято от Византии. Русь составляет одну из епархий, подведомственных Константинопольскому патриарху; для русского духовенства единственным образцом всякого строя служит устройство византийское: отсюда понятно будет гражданское влияние греко-римского мира на юное русское общество. Церковь, по главной задаче своей — действовать на нравственность, должна была прежде всего обратить внимание на отношения семейные, которые по этому самому и подчинились церковному суду. Легко понять, какое влияние должна была оказать церковь, подчинив своему суду

отношения семейные, оскорбление чистоты нравственной и преступления, совершавшиеся по языческим преданиям. Духовенство своим судом вооружилось против всех прежних языческих обычаев, против похищения девиц, против многоженства, против браков в близких степенях родства, против насильственных браков. Церковь взяла женщину под свое покровительство и блюла особенно за ее нравственностью, возвысила ее значение, постановивши обязанности детей к матери наравне с обязанностями к отцу. Семья, до сих пор замкнутая и независимая, подчиняется надзору чуждой власти; христианство отнимает у отцов семейств жреческий характер, который они имели во времена языческие; подле отцов плотских являются отцы духовные; что прежде подлежало суду семейному, теперь подлежит суду церковному. Нужно ли прибавлять, что такое влияние церкви на семейный быт могущественно содействовало к переходу народонаселения от старых форм родового быта к новым, гражданским.

ЧТЕНИЕ ТРЕТИЕ

В прошедших беседах мы видели, как образовалось русское общество и как духовное, религиозное начало действовало при этом образовании. Мы видели, что пред призванием князей племени, обитавшие в областях нынешней России, жили в формах родового быта. При содействии правительственного начала, дружины и церкви, эти формы быта начали уступать место другим гражданским формам. Но родовый быт оставался еще столько могущественным, что в свою очередь действовал на изменявшие его начала, и когда семья княжеская, семья Рюриковичей, стала многочисленна, то между членами ее начинают господствовать чисто родовые отношения, тем более что род Рюрика как род правительственный не мог подчиняться влиянию никакого другого начала.

Князя считают всю Русскую землю в общем нераздельном владении целого рода своего, причем старший в роде, великий князь, сидит на старшем столе, другие родичи, смотря по степени своего старшинства, занимают другие столы, другие волости, более или менее значительные. Когда умер старший, или великий, князь, то достоинства его вместе с главным столом переходят не к старшему сыну его, но к старшему в целом роде княжеском, который и перемещается на главный стол, а вместе с этим перемещаются и остальные родичи на те столы, которые теперь соответствуют их степени старшинства. Связь между старшими и младшими членами рода была чисто родовая, а не государственная. Когда великим князем был отец, дед, то отношения его к младшим членам рода, сыновьям, внукам, были прочны, определены, ясны; но когда с умножением членов рода великим князем бывал троюродный или четвероюрод-

ный дядя или брат, то родственные отношения необходимо ослабевали, а с тем вместе ослабевало уважение, повиновение младших старшему, особенно когда замечали стремление старшего блюсти более выгоды ближайших родичей, ослабевала общая связь рода, увеличивались случаи к враждебным столкновениям между его членами.

Завязались споры между различными линиями о старшинстве, одна линия начала исключать другую. Народонаселение волостей вмешалось в эти споры, стало выбирать князей, которые были ему любы, не обращая внимания на родовые счета Рюриковичей: отсюда новые смуты, новая запутанность, новые усобицы. Мы упоминали, что в отношениях между князем и подчиненным народонаселением оставались еще неопределенности; но князья не имели возможности определить точнее своих отношений к народонаселению волостей, потому что все внимание их было поглощено собственными их родовыми счетами и борьбою, вследствие этих счетов происходившею; доискиваясь старшинства, они переходили из одной волости в другую, не занимаясь установлением прочного порядка вещей в последних, оставляя все по-прежнему.

Таким образом, мы видим, что причиною усобиц, нестроений, характеризующих эпоху от смерти Ярослава I, был тот же родовой быт, для выхода из которого северные племена призвали первых князей. Теперь, следовательно, для прекращения беспорядков, усобиц в самом роде княжеском нужно было, чтобы в нем самом повторилось то же явление, чтобы в нем самом родовые отношения упразднились, уступили место государственным; чтобы старший в роде князь явился государем относительно младших, а последние подчинились его власти как подданные. Для этого, во-первых, нужно было, чтобы великий князь начал иметь не одно родовое значение, как только старший, но чтобы он стал смотреть на остальных родичей как на подданных и при этом имел бы довольно материальной силы, чтобы заставить родичей смотреть на себя как на государя. Во-вторых, нужно было, чтобы князья перестали считать всю землю общим достоянием целого рода, но чтобы каждый утвердился навсегда в своей волости, начал заботиться об увеличении своих материальных сил, расширять свои владения на счет других; чтобы сильнейшие князья начали собирать Русскую землю, присоединяя к одной большой области другие, меньшие. Это явление, перемена в характере великих князей и перемена во взгляде на собственность, произошло на севере, в области Верхней Волги, в княжестве Ростовском; первый князь, который решил изменить родовые отношения, начал поступать не так, как старший в роде, но как государь, был Андрей Боголюбский. Что же за причина этой перемены? Каким образом Андрей Боголюбский получил мысль о ее возможности и необходимости? Так как перемена эта произошла на севере, то там должно искать и причину ее.

В русской истории мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их; государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации; господствующее племя славянское выводит поселения свои все далее и далее в глубь востока. Всем племенам Европы завещано историею высылать поселения в другие части света, распространять в них христианство и гражданственность; западным европейским племенам суждено совершать это дело морским, восточному племени — славянскому — сухим путем. Мы видим с самого начала, что князья наши преимущественно заботятся о населении пустынных пространств, о построении городов; сперва населялись страны юго-западные, потом колонизация шла далее на северо-восток.

Часть населения Северо-Востока, пустынной области Верхней Волги, преимущественно принадлежит Юрию Владимировичу Долгорукому, построившему здесь целый ряд городов, куда он сводил народонаселение из разных мест, из разных племен. Эта новонаселенная область, эти новые города обязаны были князю своим политическим существованием, были его собственностию: князь был здесь хозяином полновластным, здесь не было места никакой неопределенности в отношениях. Среди этого-то нового мира, на этой-то новой почве родился, вырос и возмужал сын Юрия Долгорукого, знаменитый Андрей Боголюбский. С лишком тридцать лет прожил он на севере, принял на себя впечатления окружавшей среды, воспитался в иных отношениях, чем какие существовали между князем и городами на юге; воспитался в отдалении от остальных линий княжеского рода, в отчуждении от их привычных интересов, и тем способнее, следовательно, был он для того, чтобы выделиться из рода, порвать с ним связь. И вот когда в зрелом мужестве явился он на юг, то чужд и враждебен показался он ему; он спешил удалиться на свой родной север, и, когда досталось ему старшинство в целом роде, когда все князья признали его великим князем, Андрей обнаруживает попытку к переменам существующего порядка вещей, имея по отношению своим к северному народонаселению полную свободу действовать и привыкнув пользоваться этою свободой, что давало ему и силу материальную, и сообщало ему единство и постоянство его стремлениям.

Андрей переменяет обращение с младшими князьями-родичами; последние изумились этой перемене, поняли всю опасность для себя от нее и вооружились против новизны. «Мы признали тебя старшим, — говорили они Андрею, — а ты поступаешь с нами не как с родственниками, но как с подручниками». Роковое слово было произнесено, слово новое для выражения понятия нового, понятия подручника, подданного вместо родича. Но этого мало: ставши великим князем, старшим в роде, Андрей не поехал на юг, в Киев, стольный город всех прежних великих князей, он остался на севе-

ре, в своей прежней волости, и оттуда распоряжался делами юга.

Пример подан, почва приготовлена для нового порядка вещей; и северные князья, преемники Андрея, следуют его примеру, пользуются приготовленными им средствами. Они не обращают внимания на родовые отношения, родовые счета, смотрят на себя как на владельцев отдельных областей; не переходят из одной волости в другую, но постоянно живут в одной. Великие князья, пользуясь старшинством, заботятся о том, как бы усилить свои материальные средства, удержать власть и силу в своей семье, дать первенство своему княжеству, увеличить его на счет других. Младшие князья хорошо понимают стремление великих князей, противоборствуют им всеми средствами; но когда один из младших достигнет старшинства, то начинает действовать точно так же, как его предшественник, против которого он сам прежде вооружался. Понятно, что такой великий переворот не мог совершиться скоро; для этого нужны были века борьбы постоянной и кровавой. Наконец, княжество Московское вследствие разных благоприятных обстоятельств пересиливает все остальные; московские князья начинают собирать Русскую землю: постепенно подчиняют и потом присоединяют они к своему владению остальные княжества; постепенно в собственном роде их родовые отношения уступают место государственным, удельные князья теряют права свои одно за другим.

Характер явлений, которые мы видели на севере, обуславливался также самим характером народонаселения северного. Природа роскошная, с лихвою вознаграждающая и слабый труд человека, усиляет деятельность последнего, как телесную, так и умственную; пробужденный раз вспышкой страсти, он может оказать чудеса, но такое напряжение сил не бывает продолжительно. Природа, более скупая на свои дары, требующая постоянного нелегкого труда со стороны человека, держит последнего всегда в возбужденном состоянии: его деятельность не порывиста, но постоянна; постоянно работает он умом, неуклонно стремится к своей цели — понятно, что народонаселение с таким характером в высшей степени способно положить среди себя крепкие основы государственного быта, подчинить своему влиянию народы окружные, отличающиеся другим характером; таково народонаселение Северной Руси, как оно является в истории. Несмотря на то что Юго-Западная Русь, преимущественно Киевская область, была главною сценою древней нашей истории, пограничность ее, близость к полю, к степи, жилищу варварских кочевых народов, делали ее не способною стать государственным ядром для России; отсюда Киевская область вначале и после носит характер пограничного военного поселения до полного государственного развития, начавшегося в Северной Руси.

В Южной Руси, в области Днепровской, зачалась и развилась древняя русская жизнь во всей широте, при всей неопределенности отношений, характеризующей обыкновенное общество юное, толь-

ко что начавшее жить самостоятельною жизнью. Вследствие родовых отношений князья с своими дружинами переходили из одного города в другой; подле, в степях кочевали азиатские хищники, грабившие Русь; на границах степей жили разноименные народцы, составлявшие переход от степняков, или половцев, к оседлому народонаселению. Не могли, по слабости своей, быть самостоятельными между половцами и Русью, все эти народцы примкнули к последней, стали служить князьям ее и в войнах с половцами, и в распрях междоусобных, выбирая вместе с гражданами князей, которые были им любы или которые были сильны. Таковы были составные части народонаселения в Древней Руси; но все это было, выражаясь словами поэта, только еще несогласные начала вещей в общественном хаосе (*discordia semina regum*): князья с дружинами жили сами по себе; города — сами по себе, пограничные народцы — сами по себе. Князья были большею частию необыкновенно храбры, умели и у себя дома, и в чужих странах честь свою взять; дружины уподоблялись своим вождям. Но что значила вся эта храбрость при таком беспорядке? Легко было перессорить князей-родичей, ничего не стоило разрознить интересы князей с интересами граждан и пограничных народцев: вот почему древняя Южная Русь, несмотря на внешний блеск своего быта, не могла устоять ни против стремления северных князей, потомков Долгорукого, ни против натиска азиатской орды. Войска Боголюбского опустошили Киев, который принял князя от руки завоевателя; при брате Боголюбского киевские князья признавались, что не могут обойтись без могущественного северного собственника, и когда явились монголы в первый раз, то Южная Русь хотя выслала против них сонм своих князей-витязей, но эти князья завели распрю и погубили рать; когда же явились монголы во второй раз, то враждебные друг другу князья умели соединиться только в общем бегстве в чужие страны: граждане старых городов не могли и представить себе возможности соединения и поодиночке полегли в развалинах. Такова была судьба Южной, старой Руси.

Различие в характере северного и южного народонаселения обозначается приметно в источниках нашей истории: иностранцы-современники хвалят храбрость дружин Южной Руси; они отличались стремительностью в нападениях, но не отличались стойкостью. Противоположные отзывы встречаем о населении Северной Руси: оно не любит вообще войны, не отличается стремительностию натиска; но где нужно стать крепко и защищаться, там оно неодолимо; здесь, на севере, образовался тот русский воин, которого, по известному выражению, можно убить, но не сдвинуть с места. Северное русское народонаселение, как сказано, не отличается в истории порывистыми движениями; в поведении его мы замечаем преимущественно медленность, осторожность, постоянство в достижении цели; обдуманность, медленность, осторожность в приобре-

тении, стойкость в защите приобретенного. Соответственно характеру народонаселения все на севере принимает характер прочности. О дружинах южных летописец говорит, что они храбро бились с врагами и расплодили Русскую землю. Таково точно назначение старой, Южной Руси: расплодить, распространить Русскую землю, наметить границы.

Но Руси Северной выпал удел — закрепить приобретенное, связать, сплотить части, дать им внутреннее единство, собрать Русскую землю. И вот князья Северной Руси являются полными представителями своего народа, превосходно выполняют назначение Северной Руси. В их поведении мы не замечаем того блеска, какой видим в поведении князей-витязей Юга, смотревших на битву как на суд Божий и при всяком споре прибегавших к этому суду. Северные князья-собственники не любят решать споров своих оружием, прибегают к нему только в крайности или тогда, когда успех несомненен; но от неверной битвы не любят ставить в зависимость того, что приобретено, промышлено долгими трудами. Южные князья прежде всего думают, как бы в битве взять свою часть; северные князья прежде всего думают, как бы без неверной битвы получить пользу для своего владения. Все они похожи друг на друга; в их бесстрастных ликах трудно уловить историчу характеристические черты каждого; все они заняты одною думою, все идут по одному пути, идут медленно, осторожно, но постоянно, неуклонно; каждый ступает шаг вперед пред своим предшественником; каждый готовится для своего преемника возможность ступить еще шаг вперед.

Благодаря этой неуклонности, постоянству в стремлениях северных князей великая цель была достигнута: родовые княжеские отношения рушились, сменились государственными; в княжеских договорах, завещаниях, мы видим ясно постепенность этой смены, пока наконец в завещании Иоанна IV удельный князь становится совершенно подданным великого князя, старшего брата, который носит уже титул царя. Это главное, основное явление — переход родовых отношений между князьями в государственные — условливает ряд других явлений. Господство родовых отношений между князьями имело, как необходимо следует ожидать, могущественное влияние на весь общественный состав Руси, имело могущественное влияние городов на положение дружины: когда родовые отношения между князьями начали сменяться государственными, то эта смена должна была отозваться во всем общественном организме, должна была повлечь изменения и в быте городов и в положении дружины. Отсюда ясно, что великие князья Московские в своих государственных стремлениях должны были встретить сопротивление не со стороны одних князей-родичей, но со стороны всего того, что получило свое бытие или по крайней мере поддерживалось родовыми княжескими отношениями.

Здесь первое место занимает привычка дружинников переходить от одного князя к другому, которую они приобрели в то время, когда Землею владел нераздельно целый род княжеский, и которую они должны были потерять, когда явилось единовластие. Не имея теперь возможности переходить от одного князя к другому в Русской земле, многие из дружинников считали себя вправе отъезжать к чужим государям. К этим противогосударственным стремлениям дружинников присоединились еще противогосударственные стремления потомков прежних князей, которые продолжали питать вражду к новому порядку. Борьба со всеми этими стремлениями и была причиною тех печальных явлений, которые имели место в царствование Иоанна IV. Во время этой борьбы Иоанн IV задал вопрос одному из самых ревностных приверженцев старины, князю Курбскому: «Что лучше — настоящий ли порядок вещей, когда государство успокоилось, пришедши в порядок при едином государе, или прежнее время, когда усобицы терзали Землю?» На этот вопрос отвечал не Курбский: на него отвечала вся Земля, все Московское государство. Но прежде, нежели обратимся к этому ответу, скажем несколько слов о тех обстоятельствах, при которых произошла великая перемена в жизни русского общества, и о следствиях этой перемены во внешних отношениях.

Мы видели, что Русское государство, основанное на границе Европы с Азией, должно было вести постоянную борьбу со степными варварами. От половины IX века до 40-х годов XIII в этой борьбе не было перевеса ни на стороне кочевых орд, ни на стороне славянских племен, объединенных под именем Руси. Печенеги и за ними половцы наносят иногда сильные опустошения Приднепровью; но за то иногда и русские князья входят в глубь степей их, за Дон, и пленят их вежи. Но от 40-х годов XIII века до исхода XIV берут перевес азиатцы, в лице монголов. Не имея тех прочных основ государственного быта, какими обладала Северная Русь, Южная Русь после монгольского опустошения подпала под власть князей Литовских. Это обстоятельство не было губительно для народности южнорусских областей, потому что литовские завоеватели приняли русскую веру, русский язык — все оставалось по-старому; но губительно было для русской жизни на Юго-Западе соединение всех литовских владений с Польшею вследствие восшествия на польский престол Литовского князя Ягайла. С этих пор Юго-Западная Русь должна была вступить в борьбу с Польшею за свою народность, основой которой была вера; успех этой борьбы, возможность для Юго-Западной Руси сохранить свою народность условливались ходом дел в Северной Руси, ее самостоятельностью и могуществом. Монголы опустошили значительную часть Северной Руси, наложили дань на жителей, заставили князей брать от своих ханов ярлыки на княжения.

Так как для нас предметом первой важности была смена старого

порядка вещей новым, переход родовых княжеских отношений в государственные, от чего зависело единство, могущество Руси и перемена всего внутреннего порядка, и так как начало нового порядка вещей на Севере мы замечаем прежде монголов, то монгольские отношения должны быть важны для нас в той мере, в какой содействовали или препятствовали утверждению этого нового порядка вещей. Мы замечаем, что влияние монголов не было здесь главным и решительным. Монголы остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было, следовательно оставляя в полной свободе действовать те новые отношения, какие начались на Севере прежде них. Ярлык ханский не утверждал неприкосновенным на столе ни великого, ни удельного князя, он только обеспечивал волости их от татарского нашествия; в своих борьбах князья не обращали внимания на ярлыки: они знали, что всякий, кто свезет больше денег в Орду, получит ярлык преимущественно перед другими и войско на помощь. Независимо от монголов обнаруживаются на Севере явления, знаменующие новый порядок, — именно ослабление родовой связи, восстание сильнейших князей на слабейших мимо всех родовых прав и счетов, старание приобрести средства к усилению своего княжества на счет других; монголы в этой борьбе являются для князей только орудиями.

Когда борьба кончилась усилением одного княжества на счет всех других, то новое государство пользуется своим единством и силою для того, чтобы победить монголов и начать наступательное движение на Азию. С другой стороны, усиление Северной Руси вследствие нового порядка вещей условливает успешную борьбу ее с королевством Польским, постоянною целию которой становится соединение обеих половин Руси под одну державою; наконец, соединение частей, единовластие, окончание внутренней борьбы дает Северной Руси, или Московскому государству, возможность войти в сношения с европейскими государствами, приготовить себе место среди них. В таком положении находилась Русь в конце XVI века, когда пресеклась Рюрикова династия.

ЧТЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

В прошлых беседах я упоминал о том главном явлении нашей истории, что племена славянские, поселившиеся изначала на западе, выселялись постепенно на восток; следовательно, историку русскому при объяснении явлений отечественной истории никак не должно упускать из виду этого важного обстоятельства, этого постепенного заселения диких, пустынных стран. Но обыкновенное явление, сопровождающее всегда колонизацию, есть борьба, которую должны выдерживать колонисты с прежним варварским насе-

лением: отсюда и в нашей истории эта постоянная борьба с жителями степей. Но мало того: для государства, которое образовалось с помощью колонизации населения, необходимо предстояла борьба с другим элементом, полуварварским, ибо некоторые передовые отряды населения, вдавшегося все глубже и глубже в пустыню, дичают уже по тому самому, что, оторвавшись от государства, находятся в ближайших сношениях с дикарями. Отсюда русскому обществу, которое образовалось посредством колонизации, необходимо было выдержать сильную борьбу, с одной стороны, с азиатскими кочевыми ордами, с другой — с теми одичалыми передовыми отрядами, которые хотя иногда сами оказывали большую помощь государству, ратуя против степных кочевников, но вместе с тем, будучи полудикарями, враждебно смотрели на установление государственного порядка и со своей стороны не менее азиатских орд причиняли бедствия юному государству.

Вредная деятельность этого пограничного народонаселения сказалась преимущественно в начале XVII века, когда на государство Русское послано было страшное испытание. Династия Рюрикова, давшая столько нарядников Русской земле, пресеклась; крамолою свергнут был Годунов, крамолою возведен и свергнут Шуйский; нарушена была духовная и материальная связь областей с правительственным средоточием, части разрознились в противоположных стремлениях. Земля замутилась. Тогда-то открылось свободное попрание действовать тем, которые не хотели установления наряда, тем полудиким толпам, которые основали свое пребывание на границах государства; они кинулись с разных сторон на последнее; к ним пристали внутри государства те, которым хотелось жить на счет государства. Польша выслала в Московское государство толпы своих отверженников общества. Началась страшная борьба, в которой новорожденному Московскому государству надлежало, по-видимому, погибнуть; ибо со всех сторон сыпались на него страшные удары, которые трудно было выдержать, а между тем общественные основы, на которые оно могло опереться, час от часу слабели более и более. Негде было искать спасения. Лучшие, энергические люди, около которых можно было сосредоточиться, погибли жертвами безнарядья; люди, разрознившие свои интересы с интересами государства, брали явно верх.

Но в это-то страшное время сказалась вся сила, все действие того порядка вещей, который окончательно утвердился при Московских государях. Единство религиозное и государственное было так сильно, что, несмотря на все удары, на все бедствия, общество умело соединиться, по-видимому, без всяких внешних средств, соединиться духовно, внутренне, руководствуясь привычным стремлением к единству религиозному и государственному. Земля собралась и очистила государство; народ, по современному выражению, встал как один человек для этого очищения. Тогда-то один

ответ на вопрос Иоанна IV Курбскому: что лучше — прежнее время, когда Земля гибла в междоусобиях, или настоящее, когда она успокоилась единовластием? После страшного испытания Земля дает торжественный ответ на этот вопрос: Земский Совет объявляет, чтобы все было так, как было при прежних великих государях, и выбирает новую династию.

Бедственно было, однако, состояние государства после этого великого испытания; силы его были истощены. Молодой царь, которого избрала Земля, спрашивал у послов Земского Совета: где же средства для управления государством; где ручательство, что прежние смуты не повторятся? Послы выставили ручательством то, что все люди Московского государства уже наказались, то есть узнали по опыту пользу прежних государственных стремлений; узнали, для кого нужны были смуты, самозванцы, кто их поддерживал. И точно, по вступлении на престол царя из новой династии Московское государство показало явно, что его жители наказались уже. Несмотря на страшное расстройство сил государственных; несмотря на то что при таком расстройстве государство должно было еще бороться с сильными врагами внутренними и внешними, первому государю из новой династии удалось успокоить Землю. Во всех затруднительных обстоятельствах он созывает Соборы и всегда находит здесь нужный совет и средства для установления порядка.

Царствование первого государя из новой династии протекло в этом установлении наряда. Но кроме установления наряда мы должны обратить внимание на те новые стремления и новые потребности, которые высказались при этом. Еще гораздо прежде, и особенно во время смут, Московское государство узнало, что для успешной борьбы со внешними и внутренними врагами необходимо было переменить военный строй, потому что при старом строе русские войска оставались почти всегда побежденными. И вот в царствование первого государя из новой династии начинаются преобразования: при Михаиле Феодоровиче уже видим полки, набранные из иностранцев.

Но этого мало: при нем же мы видим и русские полки, выученные иностранному строю; образовались конные — рейтерские, драгунские полки, пехотные — солдатские. Окончательное преобразование войска совершилось в XVIII веке. Но это преобразование военного строя вело необходимо к более важным преобразованиям; оно должно было переменить отношения прежнего разряда ратных людей, носивших название дворян и детей боярских; должно было переменить и отношения тех родов, которые вследствие местничества выдвинулись на первые места в государстве. Западные европейские государства образовались посредством того, что варвары-завоеватели вступили на римскую почву, вследствие чего начало, принесенное германцами, пришло в столкновение с государствен-

ным началом, завещанным Римскою империею. У нас также видим дружину, но она вступила на почву девственную, где никакое государство не оставило следов своих. У нас дружина должна была войти в столкновение с племенами, которые жили под формами родового быта; отсюда необходимое столкновение начала дружинного, начала служебного с началом родовым, отчего произошло известное явление — местничество.

Мы видели, как сильно было родовое начало; если оно так долго господствовало в междукняжеских отношениях, то должно было господствовать и в отношениях дружинных. Но теперь упадок родовых отношений вообще, смена их государственными и необходимость нового военного устройства должны были повести к уничтожению местничества, и вот при царе Феодоре Алексеевиче на Соборе оно было проклято как Богу ненавистное дело. За уничтожением местничества должно было последовать то явление, что все разряды служилых людей без исключения известных родов, которые только вследствие местничества составили из себя что-то замкнутое, недоступное для других, — все разряды служилых людей должны были составить одно сословие, одно тело с равными правами для всех его членов. Должно было явиться дворянское сословие. Но преобразование военного строя должно было вести к другой перемене в быте ратных людей. До сих пор только при объявлении войны они должны были являться в полки, но в мирное время, живя в своих поместьях, они участвовали наравне с остальным народонаселением во всех явлениях областной жизни. Теперь же, когда оказалась нужда изменить военный строй, учредить постоянное войско, то служилые люди не могли уже оставаться в своих поместьях; они должны были выделиться из общей областной жизни, составить особенное сословие, особое тело.

В это же время при первых государях новой династии подтверждено было и то учреждение, которое также имело место по отношению к потребностям служилых людей. Здесь опять мы должны обратить внимание на то явление, которое имеет такое важное значение в нашей истории, на эту обширность и малонаселенность областей России и на постоянное стремление населить их. Мы заметили это стремление с самого начала русской истории. На Севере оно продолжалось. Князья дают своим подданным большие участки земли, дают большие льготы тем из них, которые привлекут на эти участки население из чужих областей. Но когда отдельные области вошли в состав одного государства, то стремление землевладельцев увеличивать население своих участков в ущерб другим явилось в противоположности с интересами государства: владельцы больших земельных участков разными льготами перезывали к себе крестьян с малых участков, розданных в поместья ратным людям, которые за это обязаны были по первому зову правительства являться в полки в полном вооружении, на конях и при-

водить с собою известное число вооруженных людей смотря по величине поместья. Но ясно, что если это поместье не имело надлежащего числа крестьян, перезываемых постоянно на участки богатых вотчинников, то помещик, не получая доходов, не мог исполнять своих обязанностей, не мог являться на войну в исправности. Это заставляло правительство принимать меры к воспрепятствованию перехода крестьян от одного землевладельца к другому. Указания на эти меры мы видим ясно в конце XVI века; в XVII веке государи из новой династии подтверждают их вследствие жалоб мелких помещиков на то, что богатые вотчинники переывают их крестьян на свои земли. Если жалобы мелких владельцев продолжают и имеют своим следствием меры правительства к удержанию крестьян на постоянных местах жительства, то мы имеем полное право заключить, что и в XVI веке эти меры являются следствием тех же жалоб.

Но одним начальным преобразованием военного строя не ограничились первые государи новой династии. Были и другие, столь же важные, нудящие потребности. Мало было завести постоянное войско, нужно было содержать его; нужно было умножить доходы государства. Главным источником доходов должна быть промышленность, торговля; и вот уже при первом государе новой династии видим вызов из-за границы ремесленников, людей, способных завести разные промыслы. Правительство требует от них, чтобы они выучили русских своим мастерствам, утвердили их в России. Так, при Михаиле Феодоровиче видим, что правительство дает 10-, 15-, 20-летние привилегии тем из иностранцев, которые захотят завести в России фабрики и заводы; при Михаиле Феодоровиче были заведены кожевенные, стеклянные, канительные, железные заводы. Около Астрахани и на Тереке заведено виноделие и шелководство.

Но не одних ремесленников и фабрикантов вызывало правительство. Были другие потребности, которые можно было удовлетворить только утверждением науки, и вот Михаил призывает известного ученого Олеария и пишет к нему: «Мы знаем, что ты человек ученый, что ты географ, астроном, землемер; а нам такие люди нужны». Если деду понадобился географ, астроном и землемер, то неудивительно, что внуку понадобилась Академия наук. Но просвещение необходимо было не для удовлетворения одним только материальным потребностям государства; оно было необходимо для очищения нравов: выборные, явившиеся на Собор по случаю взятия Азова казаками, в своих ответах, или сказках, показали ясно необходимость главного улучшения нравственности, указали ясно на главное зло, от которого страдало общество и которое препятствовало утверждению государственного порядка, — на своекорыстное стремление отдельных интересов против интереса государственного. Против этого зла сильно ратовал внук Михаила, и вот

в веке Екатерины II было найдено, что его можно устранить только просвещением, только просвещенным, нравственным воспитанием; век Екатерины откликнулся на требования, высказанные при первом государе новой династии. Но при этой потребности очищения нравственности народной не могло молчать то сословие, которое было поставлено хранителем чистоты нравственной, не могла молчать церковь, и вот в царствование трех первых государей новой династии церковь требует просвещения для улучшения народной нравственности. Прочтем окружное послание Ростовского митрополита Ионы, деяния и правила Соборов 1647 и 1681 гг. — и мы удивимся тождественности этих правил с теми правилами, которые являются при Петре и его преемниках. Здесь и там указывается на одно зло, указывается и одно средство для его уничтожения.

Но церковь имела и другие причины требовать просвещения: явились расколы — следствие невежества и грубости нравов; мало того, вследствие ближайшей связи с Польшей и другими соседними государствами явились стремления других вероисповеданий — католицизма и протестантизма — войти в Московское государство. Православной церкви нужно было бороться, с одной стороны, со своими раскольниками, с другой — с католиками и протестантами. Единственным средством к охранению чистоты православного учения было просвещение, и вот и свои пастыри, и восточные патриархи, приезжавшие в Россию, громко требуют заведения школ. Восточные патриархи, явившиеся по делу Никона, увещевают народ полюбить науку, увещевают пастырей церкви содействовать всеми силами к ее распространению, вследствие чего уже в царствование Михаила Феодоровича заведено было при патриархе Филарете первое училище, а в царствование третьего государя из новой династии, Феодора Алексеевича, при более сильных потребностях заведена была Славяно-греко-латинская академия, и этой академии церковь поручила блюсти за чистотою православного учения.

Так, при трех первых государях новой династии в течение XVII века обозначались явно новые потребности государства и признаны были те же средства для их удовлетворения, которые были употреблены в XVIII веке, в так называемую эпоху преобразования.

Но, говоря об этой деятельности, мы не можем не упомянуть имен трех главных деятелей, содействовавших означенному направлению, — имен Никона, Ордина-Нащокина и Матвеева. Никон по своей энергии и ясному взгляду мог лучше других понимать потребности церкви и удовлетворять им. При нем были исправлены книги. Нас приверженцы невежества называют никонианцами, и это название требует, чтобы мы с благодарностию вспомнили о Никоне. Кроме того, он отличался неусыпными стараниями о чистоте нравственности, об утверждении благочиния в церквах, мона-

стырях, вследствие чего должна была улучшиться и нравственность самого народа.

Что касается до двух поименованных нами светских лиц, то сын бедного псковского дворянина Ордин-Нащокин достиг личными достоинствами до высших государственных степеней: он был хранителем государственной печати, что соответствует настоящему званию министра иностранных дел. На этом важном посту Нащокин понимал новые потребности Московского государства; понимал ясно, что Посольский приказ, находившийся под его ведением, должен был переменить свой характер вследствие более тесного сближения с государствами европейскими. Понимая необходимость преобразования, он вооружался против тех лиц, которые, служа в Посольском приказе, не имели понятия о внешних сношениях и развлекались другими, несовместными с их положением занятиями. Понимая важное значение Посольского приказа, Нащокин называл его оком России, которым она должна смотреть на другие государства, и требовал, чтобы око это было чисто; потребность преобразования Посольского приказа была дознана еще при царе Михаиле, когда важное дело при датском дворе было поручено иностранцу Марселису, по неспособности русских послов. В образованности самого Нащокина свидетельствуют иностранцы; они говорят, что он не уступал в нем ни одному из современных иностранных министров.

О широте планов Нащокина свидетельствуют его намерения относительно торговли с Востоком; он хотел, чтобы Россия была средоточием торговли между Европой и Азией — желание, которое хотел потом исполнить Петр Великий. Нащокин заключил договор с армянскою компаниею, вследствие которого армяне, жившие в Персии, обязывались весь шелк, собираемый в персидских областях, доставлять исключительно на русские рынки. Нащокин заботился также и о заведении русского флота. Неблагоприятные обстоятельства помешали русским овладеть прибалтийскими провинциями в царствование Алексея Михайловича; первый русский корабль назначен был для Востока, для Каспийского моря, для Волги. Знаменитый «Орел» был сожжен казаками Разина; но мысли о заведении флота нельзя было истребить; она приведена в исполнение Петром.

Скажем и о Матвееве. Матвеев подобно Нащокину понимал ясно новые потребности государства и стремился удовлетворить их. Что всего было важнее в обоих этих людях, так это то, что они умели показать превосходство просвещения на самих себе. Ордин-Нащокин был человеком высокой нравственности; до нас дошла грамота, в которой царь жалует его местом и при этом, после подвигов гражданских, вычисляет его высокие христианские подвиги; со службою государственною он умел соединить служение страждущей меньшей братии. Окончив государственную деятельность, Ордин-

Нащокин постригся в монахи, но и здесь показал он, как понимал обязанности инока христианского: он завел больницу, приставил к ней монахов и сам служил больным. О Матвееве отзываются иностранцы, что человек, которого народ называет своим отцом, выше всякой похвалы. Матвеев показал свой ясный взгляд, свою энергию в военной и гражданской службе; он пользовался неограниченной доверенностью царя Алексея Михайловича, участвовал с пользою почти во всех важнейших делах его царствования; а известно, что это царствование было обильно важными явлениями.

Матвееву Московское государство было устроением отношений между Великороссиею и Малороссиею; он часто бывал в Малороссии, знал природу страны и был способен определить ее отношения к Великой России. Столь же велики заслуги его и на поприще дипломатическом; занимаясь отношениями европейскими, он подобно Нащокину не спускал глаз с Востока, завел сношения с Китаем, пославши туда переводчика Спафари; наказ, данный Спафари Матвеевым, показывает всего лучше ясный взгляд этого государственного человека. Но кроме того, деятельность Матвеева важна и в других отношениях. По отзыву иностранцев, он был образованнейший человек из своих современников, старался, чтобы и сын его был также образован; он первый украсил свой дом произведениями искусств; у Матвеева у первого рушилась преграда, отделявшая дотоле семейство хозяина от гостей; к нему собирались не для одних только пиров, но и для умной, трезвой беседы, и в этих беседах принимала участие хозяйка дома, жена Матвеева; девушка, воспитанная в доме Матвеева, перешла отсюда на престол. Легко понять, как она могла действовать на быт при дворе. Но этот быт долженствовал измениться еще и прежде вследствие сильного влияния, которое имел Матвеев, как друг царя. До нас дошло письмо Алексея Михайловича к Матвееву. «Приезжай поскорее, — пишет царь, — мои дети осиротели без тебя, мне не с кем посоветоваться».

И мы не можем не заметить плодов этого влияния: мы видим большую перемену в быте двора, которая объясняет нам воспитание и деятельность Петра. Явление сестры его Софии также объясняется отсюда: София воспитана уже совершенно иначе, нежели прежние царевны, затворницы в своих теремах; следовательно, явление Софии объясняется из тех же причин, как и явление Петра, и оба явления объясняют друг друга. Все уже носит характер новый, все показывает важные преобразования, которые явились прежде преобразований Петровых и которые объясняют их.

Такова была деятельность трех первых государей новой династии, имевшая место в продолжение XVII века. Здесь, на границе двух эпох, двух столетий, нам должно остановиться. Но мы не можем не сказать несколько слов о том отношении, которое имеет настоящий порядок вещей к этим двум эпохам. Мы видели, как

в продолжение XVII века являлись громкие требования преобразования, требования просвещения, науки для обороны веры, для улучшения нравственности. В XVIII веке этим требованиям старались удовлетворить. Наука, просвещение были утверждены и в наш век принесли свой необходимый плод — народное самопознание. Теперь бесспорно самопознание является для нас одною из первых потребностей. Теперь признано, что интерес отечественной истории стал главным интересом нашей ученой литературы; мы видим, как постоянно новые таланты посвящают себя занятию отечественною историею; видим, как со всех сторон обширного отечества собираются памятники, которые должны уяснить наше прошлое. Вот плоды деятельности XVII и XVIII веков. Но самопознание по природе своей не исключительно, не односторонне, требует всех знаний, утверждает на них, питается ими. Теперь, при этом стремлении к самопознанию, не может быть спора об отношениях XVII и XVIII веков к векам предшествовавшим, XIX век показал отношение их; плод науки, просвещения — самопознание народное — соединяет древнюю и новую Россию.

Но стремление к просвещению явилось не в XVII только веке, оно явилось гораздо прежде. Священное предание о необходимости просвещения звучит из глубины XII века; оно пришло не из чужа: оно пришло вместе со светом божественной истины и из века в век передавалось оно как завет от предков к потомкам. Когда только еще образовалось русское общество, когда части его находились еще в брожении и борьбе — тогда в тесной келии монастыря началась наша летопись, и вот летописец, начав рассказ о том, как пошла Русская земля, как образовалось русское общество, на первых страницах своего труда написал эти простые, но бессмертные слова: «Велика бывает польза от учения книжного».

Вот священный завет, полученный нами от предков, и историк русский XIX века, если хочет быть верен своему народу, своей истории, должен повторить слова летописца XII века: велика бывает польза от учения книжного и велика бывает польза от народного самопознания.

**Н. М. КАРАМЗИН
И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
«ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО»**

I

В 1432 году был спор в Орде между великим князем Василием Васильевичем и дядей его Юрием Дмитриевичем Звенигородским, причем последний доказывал права свои летописцами и старыми списками. Сын Василия Иоанн III, приводя новгородцев в свою волю, велел дьяку своему вычислить послам их по летописям все вины Новгорода перед великим князем. Внук Иоанна III, споря с потомком князей ярославских, из летописей брал доказательства в свою пользу. Но во второй половине XVII века непосредственное пользование летописями и старыми списками оказалось уж неудобным: явилась потребность собрать их, явилась потребность составить из них что-нибудь более стройное, выбрать существенное, необходимое для непосредственного пользования. Матвеев составил для царевича Феодора Алексеевича «Описание всех великих князей и царей Российских в лицах с историями»; известный дьяк Грибоедов написал для того же государя Русскую историю в 36 главах.

История Грибоедова написана была для государя и осталась во дворце; но уже при царе Феодоре Алексеевиче учреждена была Славяно-греко-латинская академия в Москве; при брате его Петре училища умножались; понадобились учебные книги, руководства. Руководства для других наук легко было приобрести: стоило только перевести известные сочинения с иностранных языков или составить свои учебники по иностранным образцам. Но откуда было взять руководство к изучению русской истории? Петр Великий велел написать Русскую историю справщику типографии Федору Поликарпову. Поликарпов был человек грамотный, знал по-гречески; но все это не могло дать ему средств к написанию Русской истории, для чего нужно было особое приготовление. Поликарпов мог написать историю Славяно-греко-латинской академии, потому что события этой истории были на его памяти; сбора материалов, больших справок, трудных разысканий не требовалось; но как мог он приступить к составлению Русской истории, когда ничто не было приготовлено, ничто не было приведено в известность, ничто не сведено, не согласено, не оценено? Опыт Поликарпова почему-то не понравился Петру Великому.

Но потребность хотя в каком-нибудь руководстве для изучения отечественной истории была нудящая, и вот Феофан Прокопович составил «Родословную роспись великих князей и царей Русских» на большом листе, где под каждым лицом находилось краткое описание его дел с показанием времени кончины. Этот труд, для нас теперь столь легкий, был тяжек для Феофана как для начинателя. «Произведение это, — говорит он, — маленькое по объему, стоило мне тяжких усилий, потому что я должен был перебрать летописи русские и польские и определить, в которых из них что показано вернее». В то же время в шведском плену Манкиев писал «Ядро Российской истории», изданное позднее и долго употреблявшееся как учебник. На первой части этого труда по самому характеру известий всего более отразились недостатки времени, недостатки ученого приготвления; но во второй части события рассказываются довольно обстоятельно и верно. Вообще труд Манкиева представляет очень замечательную для своего времени попытку, особенно если сравнить его с киевским Синописом.

Тяжкие труды должен был употребить тот, кто хотел составить сколько-нибудь верную роспись владетельных лиц с кратким известием о их деяниях. Кто не хотел, не умел или не мог перебрать летописей и отыскать в них известия достовернейшие, тот предлагал своим читателям и ученикам странности, которые находим в Синописе и в первой части «Ядра». Но вот уж между современниками и сотрудниками Петра Великого нашелся человек, который решился собрать и разобрать материал, дать соотечественникам своим средства узнать и изучить источники русской истории в возможной полноте и вместе дать правило и пример, как пользоваться предложенными источниками: этот человек был В. Н. Татищев.

Заслуга Татищева состояла именно в том, что он начал с того, с чего именно следовало начать: оставил попытку — не по силам ни своим, ни чьим бы то ни было в его время — писать прагматическую русскую историю и употребил тридцатилетний труд для того только, чтобы собрать, свести источники и, оставя этот свод нетронутым, на стороне, в примечаниях попытаться впервые дополнить, уяснить и подвергнуть критике летописные известия. Но важность такого труда не была понята современниками: те, которые были знакомы с иностранными историческими трудами, древними и новыми, хотели Русской истории, а не свода летописей и потому неблагоприятно приняли труд Татищева, отзываясь, что автор его не имеет достаточно философии. С другой стороны, нашлись люди с противоположными понятиями, которые сочли дерзостью попытку подвергнуть критике источники, — и труд Татищева остался неизданным до времен Екатерины II. Между тем дело просвещения в России шло вперед: академики, иностранцы и русские писали исследования по разным отраслям наук, даже по русским древностям; но Русской истории все еще не было. Шувалов предложил

патриотический подвиг написания отечественной истории первому таланту времени — Ломоносову. Ломоносов принял предложение, прося только часы отдыха посвящать наукам естественным и тем самым показывая, при каком сокровище было его сердце; могучий талант его не осилил препятствий, сопряженных с трудом новым, к которому у него не было ни призвания, ни приготовления. Вместо системы он предложил натянутое сходство хода русской истории с ходом римской и, считая целью истории прославление подвигов, представил вместо Русской истории начальную летопись, изукрашенную цветами красноречия.

Глубже взглянул на свое дело князь Щербатов, начавший писать Русскую историю во второй половине XVIII века. Щербатов, подобно всем своим образованным современникам, знал историю всех других народов лучше, чем историю своего, когда начал писать ее, и потому неудивительно, что он не мог понять ее хода, уразуметь ее особенностей; неудивительно, что некоторые явления русской истории показались ему странными; но в том-то и состоит заслуга князя Щербатова, что он обратил особенное внимание на это явление, считая главной обязанностью историка объяснение причин событий. При этом поражает нас еще необыкновенная добросовестность князя Щербатова: считая своею главной обязанностью объяснить причину явления, он не хочет отстать от какою-нибудь трудного явления (как, например, родовые княжеские отношения, характер Иоанна IV и т. п.), пока не объяснит его сколько-нибудь удовлетворительным образом, для чего по несколько раз обращается к одному и тому же предмету. Некоторые явления объяснены Щербатовым удачно, даже удачнее, нежели как объясняли их писатели позднейшие; объяснение других ему не удалось; но за ним осталась заслуга первого объяснения, первой остановки над предметом, заслуживающим внимания в науке.

Мы указали достоинства сочинения князя Щербатова; односторонний отзыв о нем с указанием, слишком уж придирчивым, одних недостатков был сделан современником автора, талантливым Болтиным. Болтин не понял или не хотел понять заслуги Щербатова относительно разработки некоторых более замечательных частей; ему не нравилось в его сочинении отсутствие единства, отсутствие одной общей мысли, одного общего взгляда, который бы проникал все сочинение. Хотя нельзя признать справедливость всех требований Болтина, хотя сочинение Щербатова иногда выигрывает тем, что автор его не руководится каким-нибудь одним взглядом вроде болтинского, что дает ему более простора, позволяет быть более беспристрастным, однако нельзя не признать важной заслуги Болтина, который первый поднял вопрос об отношении древней русской истории к новой, первый привел в живую связь прошедшее с настоящим.

Таковы были важнейшие труды по русской истории в XVIII ве-

ке; но кроме попыток к написанию полной подробной Русской истории мы видим ряд отдельных исследований, принадлежащих иностранным членам Академии, видим прекрасные исследования Байера, исследования тех начальных вопросов, где знаменитый в свое время ученый мог пользоваться доступными для него источниками византийскими и северными; видим многостороннюю, полезную деятельность трудолюбивого, хотя и не очень даровитого Миллера¹; видим важный приуготовительный труд Стриттера, наконец, знаменитое сочинение Шлёцера, легшее прочным основанием критической обработки источников нашей начальной истории; а между тем делались доступными источники для истории времен более позднейших изданиями Миллера, Щербатова, Новикова и других. Были и тени в этой картине: являлись сочинения Емина, Елагина, доведших риторическое направление Ломоносова до последней крайности; но эти сочинения встречены были справедливым негодованием лучших умов времени: против Емина вооружился Шлёцер, против Елагина — знаменитый московский митрополит Платон. Платон своею Церковною историею достойно заключает XVIII век и благословляет наступление XIX, первая четверть которого ознаменовалась появлением *«Истории государства Российского»*. Каково же было отношение этого знаменитого труда к трудам предшествовавшим? Как удовлетворил он требованиям современников и каково было его влияние на труды последующие?

Взгляд автора на предмет труда показан им в предисловии:

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах. а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная страсть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастье.

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие — и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

¹ Следует иметь в виду, что С. М. Соловьев в разных работах написание фамилии Миллер дает двойко: и как Миллер, и как Мюллер (*Примеч. ред.*).

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому... Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю... История, отвергая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний, тем более отечественная... Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть... Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем...

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею... Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами Естества... могли составить одну державу?.. Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разнородных и столь удаленных друг от друга в степенях образования?.. Не надобно быть Русским — надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над седьмою частию мира, открыл страны, никому дотоле не известные, унес их в общую систему Географии, Истории и просветил Божественною Верою без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего».

Здесь в первых строках мы видим определение истории или, лучше сказать, определение важности истории, которая называется священной книгою народов, главною, необходимою, зеркалом их бытия и деятельности и т. д. Следующие затем строки служат как будто распространением, объяснением этого определения: указывается польза истории для правителей, законодателей, потом показывается польза ее для простого гражданина. Далее рассуждается об удовольствии, доставляемом историею. Наконец, говорится о важности русской истории, во-первых, для русского и, во-вторых, для каждого мыслящего, образованного иностранца.

Теперь припомним, как смотрели на тот же самый предмет писатели, предшествовавшие Карамзину, писатели XVIII века.

Татищев во введении к своему труду, предложив определение

истории, под которою разумеет *деяния* в смысле всех явлений или приключений, а не одних только дел человеческих, предложив разделение истории на священную, церковную, политическую и учебную, переходит к пользе истории. По его словам, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, вождь не могут с успехом исполнять всех должностей без знания истории. От пользы истории вообще Татищев переходит к пользе истории отечественной. Он говорит: «Что собственно о пользе русской истории принадлежит, то равно как о всех прочих разуместь должно, и всякому народу и области знание своей собственной истории и географии весьма нужнее, нежели посторонних». Наконец, от пользы отечественной истории для русского Татищев переходит к пользе русской истории для иностранцев и пользе иностранной истории для русских. Здесь он показывает недостаточность одних туземных источников для составления вполне беспристрастной истории; с другой стороны, иностранные историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе историю древних народов, обитавших в нынешней России, и потом иностранцы только чрез познание русской истории могут получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами.

Итак, мы видим, что взгляд историка XIX века на свой предмет в главных чертах сходен со взглядом историка XVIII века: оба смотрят на историю, как на науку опыта; оба следуют одному порядку при изложении ее пользы. Но при сходстве воззрения есть и разница: историк XIX века уже предчувствует в истории науку народного самопознания; говорит, что она есть дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. Мы сказали «предчувствует» потому, что это важное определение несколько не развито в последующей речи, где подобно историку XVIII века историограф подробно развивает пользу истории, как науки опыта, для различных разрядов общественных деятелей. При сходстве воззрения на предмет вообще должна быть разница в подробностях по самому расстоянию, разделявшему время жизни обоих историков, по самому различию характера этого времени. Историк, бывший свидетелем великих политических бурь и потом восстановления порядка; историк, писавший при государе, который был главным виновником этого восстановления, должен был обратить внимание преимущественно на то, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами обуздывалось их бурное стремление, учреждался порядок.

Свидетель великого бедствия, нашествия иноплемеников, историк XIX века видит в истории утешение для простого гражданина в государственных бедствиях: «История должна свидетельствовать, что и прежде бывали бедствия подобные, бывали еще ужаснейшие — и государство не разрушалось». Относительно общего нравственного влияния истории оба писателя опять сходятся в сво-

их воззрениях: по словам Карамзина, история питает нравственное чувство, праведным судом своим располагает душу к справедливости; по словам Татищева, «в истории не токмо нравы, поступки и дела, но из того происходящие приключения описуются, яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благополучие, а порочным, несмысленным, лихоимцам, скупым, робким, превратным и неверным — бесчестие, поношение и оскорбление вечное преследуют, из которого всяк обучаться может, чтоб первое колико возможно приобрести, а другого избежать».

Сказав о пользе, историк XIX века распространяется об удовольствиях, доставляемых историею для сердца и разума, и прямо от приятности истории вообще переходит к большей приятности истории отечественной для русского. Историк XVIII века не говорит вовсе о приятности истории; по его мнению, для русского знание своей истории и географии еще нужнее знания истории и географии чужих стран — и только. Мы не станем отрицать здесь влияния личной природы обоих писателей: Татищев и Карамзин были два разных человека и потому могли различно смотреть на один и тот же предмет; но мы не должны также опускать из внимания различие в характере эпох, которых оба они были представителями в нашей литературе. Главную, единственную причину всех деяний Татищев полагает ум или отсутствие его — глупость; расчетам ума он подчиняет все; нравственное чувство остается у него в стороне: отсюда сухость, жесткость, односторонность в приговорах о некоторых явлениях, непонимание, неумение оценить нежное нравственное чувство, которое иногда заставляет человека действовать вопреки расчетам ума. Но вот наступила вторая половина XVIII века, и лучшие представители времени высказали совершенно иные мнения. «Искусство (опыт) доказало, — говорят они, — что один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина»². «Имей сердце, имей душу — и будешь человеком во всякое время. На все время — мода: на умы мода, на знание мода... Прямое достоинство в человеке — душа. Без нее просвещеннейший умница — жалкая тварь. Невежда без души — зверь. Чем умом величаться? Ум, коль он только что ум, — самая безделица. С прелеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие: без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума»³.

Карамзин был воспитан в этих понятиях, господствовавших между лучшими людьми второй половины XVIII века, и потому неудивительно, что подле ума он постоянно дает место сердцу,

² Бецкий.

³ Фонвизин в «Недоросле».

чувствительности, и, мало того что дает им место, он дает им первое место; неудивительно, что в противоположность Татищеву Карамзин оценивает поступки исторических деятелей преимущественно с нравственной, так сказать сердечной, точки зрения, требует от них прежде всего чувствительности. Для нас, для которых Карамзин и его великая деятельность есть уже явление из мира прошедшего, эта его характеристическая черта очень важна...

Понятно, почему Карамзин кроме пользы распространяется об удовольствиях, доставляемых историею *сердцу* и разуму; говорит, что, еще не думая о пользе, мы уж наслаждаемся в истории созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность. Понятно нам, почему для объяснения важности отечественной истории для русского Карамзин исключительно обращается к сердцу своих читателей: «Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть; сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем».

Карамзин разнится от Татищева и в понятии о важности русской истории для иностранцев. Мы видим, что Татищев полагает пользу изучения русской истории для иностранцев в том, что чрез это уяснится история древних народов, в России обитавших, и в том еще, что иностранцы будут в состоянии опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. И здесь Татищев, как везде, ограничивается одною научною пользою. Карамзин настаивает на занимательности, увлекательности и, так сказать, картинности русской истории, которая должна нравиться и иностранцу. Отдаляясь от Татищева, Карамзин в некоторой степени приближается здесь к другому писателю XVIII века, Ломоносову, который говорит во вступлении в свою «Историю»: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывший наш недостаток во искусстве, каковым Греческие и Латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Карамзин соглашается, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей; но утверждает, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних; начинает перечислять эти выдающиеся, самые красивые характеры в русской истории и оканчивает перечисление словами: «Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская имеет право на внимание».

Но тотчас же после этого он спешит оговориться: «Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для Прагматика, ни красотою для живописца; но История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные».

Сознаваясь в сухости, незанимательности удельного периода, Карамзин, впрочем, не хочет, чтобы этот период, бедный мыслями для прагматика и красотою для живописца, отнял у русской истории много занимательности в сравнении с историею других народов, и потому ищет и в последних темных мест. «Не будем суеверны в нашем высоком понятии о Деесписаниях Древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междоусобии Греческих городов... Скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой Некролог Римских чиновников занимают много листов в Таците... Ливий, плавный, красноречивый, иногда целые книги наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее Половецких набегов».

Несмотря на это, сухость древней русской истории сильно тяготит историка; он даже задает вопрос: нельзя ли освободиться от нее? Нельзя ли события до Иоанна III представить в кратких чертах, на нескольких страницах вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателей? Карамзин, однако, не поддается этому искушению; его спасает нравственное чувство, нравственное, сердечное отношение русского человека к его истории, к судьбам его отцов: «Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготавили наше величие: а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях! Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданина образованному?.. Так я мыслил и писал об *Игорях*, о *Всеволодах*, как *современник*, смотря на них в тусклое зеркало древней Летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если вместо *живых, целых* образов представлял единственно *тени в отрывках*, то не моя вина: я не мог дополнять Летописи!»

Эти слова, сказанные об общей занимательности русской истории, всего лучше определяют взгляд Карамзина на его предмет: он смотрит на историю со стороны искусства. Вот почему так называе-

мый удельный период, по-видимому однообразный в своих явлениях, не представляющий картинных событий и характеров, для него сух, утомителен и может быть выпущен для иностранцев...

Но если Карамзин, с одной стороны, относительно взгляда на историю приближается к Ломоносову, то, с другой — великий талант, необыкновенная добросовестность и тщательное, всестороннее приготовление умерили, возвысили, облагородили в «Истории государства Российского» то направление, которое было доведено до такой крайности в бездарных произведениях Емина и Елагина. Карамзин завидует историкам, описывавшим события современные или близкие к их времени; в подобного рода сочинениях, по его словам, блистает ум, воображение. Деэписание, который избирает любопытнейшее, цветит, украшает, иногда *творит*, не боясь обличения, скажет: *я так видел, так слышал* — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Но, принужденный описывать события отдаленные, известия о которых извлекаются из памятников, Карамзин сознает свою обязанность представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. «Мы не можем, — говорит он, — ныне витийствовать в Истории Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус оставил неизменные правила и навсегда отлучил Деэписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зеркалом минувшего, верным отзывом слов, действительно сказанных Героями веков. Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе Писателя, не удовольствию Читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уж сама собою делается источником удовольствия и пользы».

В приговоре над так называемым удельным периодом Карамзин уже выказал отчасти свой взгляд на древнюю русскую историю; полнейшее выражение этого взгляда мы должны искать в его разделении русской истории на периоды, которым он заключает свое предисловие. Но прежде посмотрим, как делили русскую историю писатели предшествовавшего века.

Татищев не имел в виду обнять всю русскую историю; он хотел остановиться на избрании царя Михаила Федоровича, и потому у него мы не можем искать полной системы русской истории; что же касается до древней русской истории, обнимаемой его сводом летописей, то она у него разделена на три части: 1) от 860 года до нашествия татар; 2) от татар до Иоанна III; 3) от Иоанна III до царя Михаила. Татищев указал грани, но не определил характера периодов. Ломоносов сделал первую попытку в этом роде и определил периоды русской истории, сравнивая их с периодами истории римской, более других ему известной. Он удовлетворялся, как выражается сам, «некоторым общим подобием в порядке деяний российских с римскими, где находит владение первых королей, со-

ответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные грады, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляет согласным самодержавству государей московских». И Ломоносов, следовательно, ограничился только одною древнею историею. Система Шлёцера обняла всю русскую историю до позднейших (относительно автора) времен. Он разделил ее на пять периодов: 1) Россия рождающаяся, от 862 года до Святополка; 2) разделенная, от Ярослава до монголов; 3) угнетенная, от Батые до Иоанна III; 4) победоносная, от Иоанна III до Петра Великого; 5) процветающая, от Петра Великого до Екатерины II.

Карамзин, прежде чем предложить собственное деление, почел нужным опровергнуть Шлёцерово. «Сия мысль, — говорит он, — кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век Св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. 2) Государство делилось и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в одно время великого князя Дмитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век самозванцев ознаменован более злосчастием, нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на Древнейшую, от Рюрика до Иоанна III, на Среднюю, от Иоанна до Петра, и Новую, от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие — второй, изменение гражданских обычаев — третьей. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем».

Чтобы оценить предложенное Карамзиным деление русской истории, взглянем на возражения, которым она подверглась со стороны позднейших писателей. «Карамзин, — говорят возражатели, — деля русскую историю на *древнюю*, *среднюю* и *новую*, очевидно, принимал эти слова в том же значении, в каком понимают их европейские ученые при рассматривании всемирной истории; то есть древняя история представляет мир исчезающий; средняя слугит переходом от древнего к новому; новая объясняет начало и развитие тех элементов, из которых образовалась современная жизнь». Допустить эти основания — значит, по мнению возражателей, прийти к ложным умозаключениям, потому что надобно будет предположить, что со времен Иоанна III, после крутого переворота, начался новый порядок вещей, изменились отношения внутренние и внешние и весь состав государства был потрясен в своих основаниях. Но события говорят противное: Иоанн III и преемники его развивали ту же мысль, которая родилась почти за полтора столетия до него в голове Иоанна Калиты, именно: главною целью всех государей московских было сосредоточить Русскую землю в одно

целое, утвердить ее за своим родом, избавить от чуждого влияния монголов и поляков. Все старое оставалось по-старому, если только согласовалось с политикою государей московских. Удельная система исчезла не вдруг, не при Иоанне III: она стала исчезать при Иоанне Калите и рушилась окончательно при Иоанне IV. Иго монгольское равным образом ослабевало исподволь, с постепенным развитием могущества московского, от Иоанна Калиты до конца княжения Иоанна III, если не Иоанна IV.

Карамзин, продолжают возражатели, отличительным характером древней русской истории постановил систему уделов; но если право удельное определяло порядок престолонаследия и взаимные отношения членов господствующей фамилии, то справедливо ли принимать одно право престолонаследия основанием исторического деления? Не следует ли обращать внимание на другие обстоятельства, особенно когда видим, что удельная система была господствующим явлением, источником событий только от Ярослава до монголов? До Ярослава же главным явлением было быстрое расширение норманнского господства над славянами и основание Руси, а с покорением отечества монголами начался раздел Руси на восточную и западную и образовались два могущественных государства: Московское и Литовское; притом право удельное господствовало у нас до самого прекращения Рюриковой династии в лице царевича Дмитрия Углицкого, последнего удельного князя. Следовательно, в таком случае удельная система будет служить отличительным характером нашей истории не до половины XV века, а полтора столетия далее, до конца XVI века. Наконец, названия *средней* истории для пространства времени от Иоанна III до Петра Великого возражатели не хотят допустить в смысле перехода от древнего порядка вещей к новому, потому что здесь не было аналогических явлений с папизмом и феодализмом. Переход от древнего мира к новому, говорят они, у нас был действительно; но он совершился в одно царствование Петра Великого, в начале XVIII века: здесь предел древнего русского мира и начало тех элементов, из которых образовалась нынешняя сфера наша».

Рассмотрим справедливость этих возражений.

Карамзин признал отличительным характером древней русской истории систему уделов. Мы не будем здесь спорить о названиях, будем придавать им то же самое название, какое придают им возражатели, утверждающие, что право удельное определяло порядок престолонаследия и взаимные отношения членов господствующей фамилии. Возражатели говорят: «Справедливо ли принимать одно право престолонаследия основанием исторического деления и следует ли обращать внимание на другие обстоятельства, особенно когда видим, что удельная система была *господствующим явлением*, источником событий только от Ярослава до монголов?» Остановимся пока здесь и прежде всего очистим этот вопрос. Возража-

тели соглашаются, что удельная система была господствующим явлением, источником событий от Ярослава до монголов; но так как основанием исторического деления мы должны принимать господствующее явление, источник событий, то принимать основанием исторического деления удельную систему справедливо, и Карамзин имел полное право это сделать; причем вопрос — «не следует ли обращать внимание на другие обстоятельства?» — вопрос лишний: следует обращать внимание на все обстоятельства, но следует преимущественно останавливать внимание на господствующем явлении, источнике событий.

Но по мнению возражателей, удельная система была господствующим явлением, источником событий только от Ярослава до монголов, а с покорением отечества монголами начался раздел Руси на Восточную и Западную и образовались два могущественных государства: Московское и Литовское. Но здесь представляется прежде всего вопрос: раздел Руси на две половины — Восточную и Западную — уничтожил ли прежние формы государственной жизни в той и другой половине? На это возражатели отвечают, что удельное право господствовало в восточной половине Руси до самого прекращения Рюриковой династии, а в Западной России удельная система рушилась за сто лет до Иоанна III. Но в таком случае рождается новый вопрос: Русь разделялась ли на два государства, совершенно равные, самостоятельные, идущие по различному историческому пути, никогда после не соединявшиеся? В таком случае надобно оставить всякую мысль о внутреннем единстве русской истории. Или Русь разделилась так, что в одной половине преимущественно сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского народа и эта половина является на первом плане, а судьбы исторические второй половины находятся в зависимости от судеб первой? В таком случае внутреннее единство русской истории не нарушается; историк имеет возможность следить непрерывно за развитием русской жизни в той половине, где она преимущественно развивалась, оставляя на втором плане ту половину, где эта жизнь была остановлена в своем развитии.

На это отвечают: Юго-Западная Русь вошла в состав государства Литовского, на которое должно смотреть как на Русское. Доколе оно было самостоятельно, имело своих князей из дома Гедиминова, сохраняло все черты русской народности и спорило с Москвою о праве господствовать над всею Русью, историк обязан говорить с равною подробностью о делах литовских и московских и вести оба государства рядом, так точно, как до начала XIV столетия он рассказывал о борьбе удельных русских княжеств: Киевского, Черниговского, Галицкого, Суздальского, Рязанского, Новгородского и других. Положение дел будет одно и то же, с тою единственной разностью, что в удельное время было несколько систем, а тут только две: московская и литовская; это будет продолжаться до ис-

хода XVI века. Когда угаснет дом Гедимины и отчина его соединится с Польшею, русский бытописатель изобразит на главном плане государство Московское, или Россию, потому что в недрах ее сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского народа, семена, насажденные Рюриком, Владимиром Св., Ярославом Мудрым, взлелеянные потомками Калиты и принесшие величественный плод под благословенною державою дома Романовых. На втором плане этой картины стоит великое княжество Литовское, опутанное цепями иноплеменников. Историк не обязан рассказывать о всех делах польских, в которых принимало участие Литовское княжество, потому что это предмет посторонний; но он обязан непременно показать, каким образом в Западной Руси под игом поляков постепенно исчезали главные черты ее народности; как она боролась со своими гонителями, чтобы спасти свою веру, свой язык — главное, почти единственное наследие, оставшееся ей от предков; как подавали ей руку помощи мудрый Алексей, Великий Петр, доколе Екатерина II не решила этого старинного, столь запутанного вопроса о Восточной и Западной Руси: та и другая сливаются в одно целое, в одну Российскую империю, и с тех пор литовская история должна умолкнуть.

Во сколько справедлива вторая половина этого рассуждения, во сколько же несправедлива первая, если хотят, что с конца XVI века русский бытописатель изображал на главном плане государство Московское, или Россию, потому что в недрах ее сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского народа; но Северо-Восточная Русь (впоследствии Московское государство) должна находиться на первом плане и в XIII веке, с самого начала отделения, именно по той же самой причине. Понятно, что русский бытописатель, которого обязанность состоит в том, чтобы следить за сохранением и развитием основных русских начал, будет всегда иметь на первом плане те части России, в которых эти начала сохранялись и развивались непрерывно, а на втором — те, в которых означенное развитие было на время насильственно остановлено, потому что тогда только сохранится единство, внутренняя, живая связь русской истории.

Вы говорите совершенно справедливо, что семена, насажденные Рюриком, Владимиром Св., Ярославом Мудрым, были взлелеяны потомками Калиты; но вы не говорите, чтобы эти семена были в то же время взлелеяны и потомками Гедимины: как же после того бытописатель русский решится поставить правление потомков Гедимины на один план с правлением потомков Калиты? С другой стороны, Русь Калиты и его потомков не произошла сама собою; она была результатом предшествующих явлений, результатом деятельности предшествующих князей северо-восточных.

Таким образом, очевидно, бытописатель с самого начала разделения должен поставить Северо-Восточную Русь и ее князей на

первый план; а если возражатели соглашаются, что право удельное господствовало в Северо-Восточной Руси до самого прекращения Рюриковой династии, то должны признать за Карамзиным право постановить удельную систему отличительным характером древней русской истории. Имел ли Карамзин право остановиться на Иоанне III и зачем не продолжал древней истории до пресечения Рюриковой династии — об этом будет речь после, в своем месте; мы возвратимся также и к вопросу о значении Юго-Западной Руси, как понимал это значение Карамзин, и тут в известной степени согласимся с возражателями, покажем основные причины их требования; теперь же мы должны рассмотреть еще некоторые возражения, делаемые Карамзину относительно общего представления событий древней русской истории.

Говорят: «Зачем все пространство времени от Рюрика до половины XV века представляет в ней непрерывную цепь княжеских междоусобий, описанных со всеми мелочными подробностями? Зачем ни одно движение самого незначительного князя не оставлено без внимания, если только оно сохранилось в летописях, между тем как другие важнейшие предметы, имевшие решительное влияние на судьбу нашего отечества, замечены слегка, как будто вскользь, и то в связи с удельными бранями?»

Но если так называемая удельная система, как сами возражатели соглашаются, была господствующим явлением, источником событий в известное время, то спрашиваем: какое же право имел бы историк, предположивший написать полную, подробную картину древней жизни своего отечества, не выставить на первый план господствующего явления в этой жизни со всею полнотою, со всеми подробностями, размещая эти подробности, как следует, по степени их важности? Здесь нет ничтожных движений для историка: каждое движение князя имеет значение при объяснении характера явления, соответствует ли оно, это движение, общему ходу событий или является исключением.

Мы не можем признать за историком права выбора явлений из источников: он имеет только право располагать и уяснять явления; ни одна йота летописи не должна пропасть для истории; но дело в том, что все известия, перемешанные в летописи, должны найти приличное себе место в истории. Упрекают Карамзина в том, зачем он, увлекшись удельными бранями, мало сказал о норманнах, о влиянии Византии, о влиянии монголов... Эти упреки подробнее рассмотрим мы в своем месте; здесь же должны говорить только о взгляде на характер древней русской истории, который, по нашему мнению, у Карамзина вернее, чем у его возражателей. Мы никак не можем согласиться с последним, что норманны, монголы и подобные явления по самому свойству должны стоять на первом плане, а не в тени. На первом плане должно находиться только одно главное, господствующее явление, иначе нарушится единство; и если

признано, что в известный период времени удельная система была господствующим явлением, источником событий, то эта удельная система и должна оставаться на первом плане, а не что-либо другое; все другие явления, как бы они важны ни были, должны рассматриваться по степени их влияния сперва на господствующее явление, а потом и на все другие; тогда только сохранятся научные единство, порядок и ясность. Наконец, упрекают Карамзина в неверности взгляда на самую так называемую удельную систему, говорят: «Карамзин, описывая XII и XIII столетия, выставляет на первом плане обыкновенно князей суздальских, как будто они властвовали над всею Русскою землею; между тем ход событий удостоверяет, что в Русской земле в начале XIII столетия было по крайней мере десять систем, или государств, разделенных на многие уделы и имевших своего великого князя. Многие из них, например галицкие великие князья, играли роль важнее суздальских».

Это возражение заключает в себе противоречие фактам. Мы не станем уж говорить о десяти системах, или государствах, которых князья покидали свои столы и уезжали править десятым государством на основании родового старшинства; мы хотели бы узнать одно: какой из галицких князей играл роль важнее суздальских в начале XIII века? Разве можно поставить наряду значение Ярослава Галицкого и Андрея Боголюбского? Разве Ярослав располагал когда-нибудь Киевским столом, как располагал им Андрей, у которого, несмотря на разбитие его войска, Ростиславичи просят позволения занять Киев? Сын Ярослава Владимир потому только мог спокойно владеть Галичем, что Всеволод Суздальский принял его под свое покровительство; киевский князь, главный на юге, прямо говорит, что он не может быть без Всеволода Суздальского; черниговский князь посылает в Суздаль просить позволения начать войну с другим князем и, не получив этого позволения, не смеет двинуться. Роман Галицкий не может распорядиться Киевскою областью как бы ему хотелось и должен сообразоваться с желанием князя Суздальского. Какие же после того *многие* князья играли роль важнее суздальских?..

Столь же неоснователен упрек, делаемый Карамзину за то, что он допустил среднюю историю в значение перехода от древнего порядка вещей к новому: зачатки этого перехода мы видим еще при последних государях из Рюриковой династии. При первых же государях из династии Романовых он становится вполне ощутителен: в сфере церковной — определением отношений власти церковной к власти гражданской, последовавшим по поводу Никонова дела; в сфере военной — преобразованием сухопутного войска и попытками к заведению флота; в сфере дипломатической — новыми понятиями, внесенными Ординым-Нащокиным, появлением резидентов, деятельным вступлением в союз европейских государств для

борьбы с турками; в сфере служебной — уничтожением местничества; в сфере торговой — обширными видами на Восток; в сфере промышленности — приглашением иностранцев для заведения различных производств и научения им русских людей. Нужно ли распространяться о стремлении к научному образованию, обнаруженному и правительством и частными лицами? Нужно ли распространяться об изменении обычаев, начавшемся в XVII веке? Как же можно после того сказать, что переход от древнего мира к новому совершился в начале XVIII века?..

Неудачность возражений, предложенных позднейшими писателями против деления русской истории, принятой Карамзиным, всего лучше показывает достоинство этого деления. Мы не можем не признать правильности деления русской истории на древнюю и новую и не можем не признать XVII и отчасти XVI века переходным временем. Следовательно, Карамзин имел полное право принять древнюю, среднюю и новую русскую историю.

II

За Введением следует статья: «Об источниках Российской истории до XVII века». Эти источники перечисляются в таком порядке: летописи, Степенная книга, хронографы, жития святых, особенные описания (сказания), Разряды, Родословная книга, письменные каталоги митрополитов и епископов, послания святителей, древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы, грамоты, статейные списки, иностранные современные летописи, государственные бумаги иностранных архивов.

Татищев первый подробно перечислил источники древней русской истории до XVIII века, внимательно рассмотрел Начальную киевскую летопись, которую утвердил за Нестором; первый старался определить место, где остановился Нестор; первый указал на его продолжателей. Труд Татищева лег в основание дальнейших исследований Миллера и Шлёцера. Татищев рассмотрел преимущественно внешнюю сторону летописей; Шлёцер обратил внимание на внутреннюю, поднял вопросы: каким образом приднепровский житель XI века мог достичь известной степени образованности? Как пришел он к мысли написать хронику родной страны, и написать на отечественном языке? Кто были его образцы? Из каких источников черпал он свои известия и каков вообще характер его повествования? Карамзин воспользовался исследованиями своих предшественников и в немногих живо набросанных чертах изобразил начального летописца с его источниками: «Нестор, инок Монастыря Киевопечерского, прозванный отцом Российской Истории, жил в XI веке: одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказ-

ки; видел памятники, могилы Князей, беседовал с Вельможами, старцами Киевскими, путешественниками, жителями иных областей Российских; читал Византийские Хроники, записки церковные и сделался *первым* Летописцем нашего отечества». Так сухие изыскания Татищева, Миллера и Шлёцера под пером Карамзина приняли живой, целостный образ, и сколько стараний было потом употреблено и употребляется для того, чтобы сохранить этот образ неприкосновенным! Живой образ начального летописца, представленный Карамзиным, составляет, следовательно, окончательный результат исследований XVIII века, которые все отправлялись от одного положения, что начальная летопись в целости принадлежит одному лицу, именно преподобному Нестору, киевскому иноку XI века ⁴.

Карамзин в выражении «сделался *первым* летописцем нашего отечества» слово «первым» напечатал курсивом и в примечании отвергнул древнейшего Иоакима, как вымысел. И здесь Карамзин остался верен окончательному результату, добытому историческою критикою в XVIII веке. Татищев признавал важность так называемой Иоакимовой летописи, но, руководствуясь необыкновенною добросовестностию, не решился внести ее известий в свод летописей, а поместил их особо, на том основании, что ему нельзя было ссылаться ни на какую известную рукопись. Болтин, бесспорно, самый талантливый из всех занимавшихся русскою историею в XVIII веке, как своих, так и чужих; Болтин защищал Иоакима против Щербатова, но Шлёцер, исполненный уважения к начальному киевскому летописцу за то, что не нашел в нем генеалогических басен, не мог не отвергнуть Иоакимовой летописи, имевшей несчастье начинаться сказанием о Словене и Вандале. Авторитет Шлёцера надолго решил дело; вопрос об отделении позднейшего составления от древнейших источников не был поднят, и летопись Иоакимова отвергнута, как заключающая в себе одни вымышленные известия; но Шлёцер, отзываясь резко об Иоакимовой летописи, не заподозрил, однако, в подлоге самого Татищева, отдал справедливость его добросовестности ⁵.

Карамзин пошел далее. По его мнению, это *шутка*, затейливая, хотя и неудачная догадка Татищева, который сомневался в истине Несторова повествования и хотел исправить мнимую ошибку; но

⁴ «Между явными нам русскими историками есть древнейший Нестор, бывший монах Печерского монастыря» (Татищев); «Die erste und einzige Quelle der ältesten russischen Geschichte ist *Nestor*» (Schlözer) — «Первым и единственным источником древней русской истории является Нестор» (Шлёцер). — *Примеч. ред.*

⁵ «Nach dem Jahre 1748 kam durch Tatischev, auf die verdächtigste von Tat selbst ehrlich beschriebene Art, ein Stück von einer Chronik zum Vorschein», II, 13 — «После 1748 года Татищев обнаружил подозрительную саму по себе, однако добросовестно им переданную часть летописи». II, 13 (*Примеч. ред.*).

Карамзин не ограничил своего приговора одним Иоакимом: по его мнению, Татищев, равно как составители поздних летописных сборников, выдумали все те лишние известия, которых нет в древнейших списках летописей. Это мнение, не высказанное определенно и резко в разбираемой главе, но повторяемое беспрепятственно в примечаниях, надолго установило господствующий взгляд в нашей исторической критике. Высказывая это мнение, Карамзин шел дальше Шлёцера, сомнения которого не касались тех известий Татищева, которых не было в древнейших списках⁶. Впрочем, должно заметить, что Шлёцер не сравнивал известий XI и XII веков и мнение Карамзина было естественным и необходимым следствием Шлёцеровых мнений о Несторе.

О продолжателях Несторовых Карамзин рассуждает иначе, чем предшествовавшие ему исследователи, то есть, собственно, один исследователь — Татищев, потому что Шлёцер здесь буквально копирует последнего. Карамзин, во-первых, не помещает Сильвестра в числе Несторовых подражателей, как то сделал Татищев; потом мы уж сказали, что Карамзин отвергнул все те лишние известия, которые находились в списках, вошедших в состав татищевского свода, и не встречались в списках, до нас дошедших: вот почему Карамзин не упоминает о том из подражателей Нестора, который так любил описывать наружность князей и которого потому Татищев называет искусным в живописи; по мнению же Карамзина, все эти описания наружностей выдуманы самим Татищевым. Карамзин в числе продолжателей Нестора помещает автора того отрывка, в котором рассказывается об ослеплении Василька Теребовльского, потом указывает безыменных летописцев: Новгородского, Суздальского, Киевского, Волынского, Псковского. Вся характеристика наших летописей заключается в следующем замечании: «К сожалению, они (летописцы) не сказывали всего, что бывает любопытно для потомства; но, к счастью, не вымышляли, и достовернейшие из Летописцев иноземных согласны с ними». Этот отзыв, несмотря на свою краткость, любопытен и важен: долговременное пользование летописями, внимательный пересмотр множества списков с целью собственно историческою для представления по ним судеб государства заставили Карамзина отказаться от того односторонне преувеличенного мнения, какое было высказано Шлёцером о летописях. Карамзин избежал и другой ошибки Шлёцера, то есть собственно Татищева, который говорит⁷, что после 1156 года «по разным спискам видны разные дополнения по 1203 год, где уж во всех летописях разница находится, и хотя редко где противоречат, но в порядке дел один то, другой другое прежде положил или пропустил, таже по пристрастиям или обстоятельст-

⁶ Нестор I, 17

⁷ Нестор I, 58

вам один сего, другой другого оправдает». Из этих слов Татищева Шлёцер вывел, что до начала XIII века для каждого времени был *только один* летописец, который начинал там, где предшественник его окончил; что различия в суждениях летописцев начинаются только после этого времени. Карамзин не повторил этого ошибочного мнения, но и не опровергнул его, вследствие чего оно осталось в силе и воспрепятствовало некоторым позднейшим исследователям заметить, что и до XIII века для каждого времени был *не один только* летописец, что и до XIII века встречаем различные суждения, различные взгляды на одно и то же явление.

Сказав о продолжателях Нестора, Карамзин перечисляет лучшие списки летописей, причем говорит: «В каждом из них есть нечто особенное и действительно историческое, внесенное, как надобно думать, современниками или по их запискам». Эти слова недовольно ясны и повели позднейших исследователей к запутанностям. Начали рассуждать о записках, противопоставляя их летописям, делая их источниками для летописей; но надобно было показать прежде различие между записками и летописью. Словом *записки* мы переводим *мемуары* и, в смысле исторических источников, под этим словом не разумеем ничего более. Итак, в XI, XII, XIII и следующих веках у нас были мемуары! Конечно, не то хотел сказать Карамзин...

Подобно всем предшествовавшим русским историкам, первую главу своей «Истории» Карамзин посвятил рассказу о судьбе народов, населявших нынешнюю русскую государственную область до основания Русского государства. Эта глава превосходна, как искусный перечень преданий, живой рассказ событий, хотя должно заметить, что эти события взяты совершенно отдельно, без указания на связи их с событиями последующими. Зная утомительные исследования о том же предмете писателей предшествовавших (Татищева, Щербатова), нельзя не удивляться искусству, с каким Карамзин сделал первую главу своей «Истории» удобною для чтения легкостью рассказа, выбором подробностей; нельзя не удивляться здравому смыслу, с каким он обошел безрезультатные толки о происхождении народов и народных имен.

Для образца мы должны указать на статью, в которой Карамзин касается вопроса о происхождении славян и первом появлении их в истории. Рассказав о готах, он прибавляет, что историк их, Иорнанд, в числе других покоренных Германарихом народов упоминает и о венедах. «Сие известие, — говорит Карамзин, — для нас любопытно и важно: ибо Венеды, по сказанию Иорнанда, были единоплеменники Славян, предков народа Российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Р. Хр., было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных странах Европы, где река Эридан впадает в Северный Океан и где живут Венеды... Во время Плиния и Тацита, или в первом столетии, Венеды жили близ Вислы

и граничили к югу с Дакиєю. Птоломей, Астроном и Географ II столетия, полагают их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось Венедским. Следственно, ежели Славяне и Венеды составляли один народ, то предки наши были известны и Грекам и Римлянам, обитая на Юг от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем... и считаем Венедов Европейцами, когда История находит их в Европе. Сверх того, они самыми обыкновениями и нравами отличались от Азиатских народов».

Сказав о расселении славян по Европе, от Балтийского моря до Адриатического, от Эльбы до Мореи и Азии, Карамзин переходит к расселению племен славянских в нынешней России. Здесь историограф уже не мог обойти *вечно* спорного вопроса о волохах, потеснивших славян с Дуная. Ближайшим достойным вниманием исследователем, занимавшимся этим вопросом, был Тунман, с которым Карамзин и должен был войти в полемику. Он приступает к вопросу так: «Нестор пишет, что Славяне *издревле обитали* в странах Дунайских и, вытесненные из Мизии Болгарами, а из Паннонии Волохами (доныне живущими в Венгрии), перешли в Россию, в Польшу и другие земли». Надобно сказать, что вопрос о волохах решен Карамзиным проще и, так сказать, основательнее, чем у позднейших исследователей, которые принимают волохов то за кельтов, то за римлян; основательнейшим мнением Карамзина мы назвали потому, что оно основывается на свидетельствах двух летописцев, русского и венгерского. Русский летописец говорит, что венгры, пришедши в Дунайскую область, прогнали оттуда волохов, которые прежде них овладели здесь землею славянской; венгерский летописец подтверждает русского, говоря, что венгры именно нашли на Дунае волохов. Но, справедливо возражая против Тунманова смешения волохов с болгарами, Карамзин, как нередко бывает, увлекся другою ошибкою Тунмана⁸ и повторяет, что славяне были вытеснены из Мизии болгарами, а из Паннонии волохами, тогда как летописец ни полслова не говорит о том, что нашествие болгар на Мизию, на живших там славян, подало повод к изгнанию, переселению последних в северные страны.

Далее, признавая благоразумными замечания митрополита Платона насчет сказания о путешествии апостола Андрея, Карамзин не только приводит это сказание в подтверждение пребывания

⁸ Или скорее Шлёцера, который в 1769 году в своей *Geschichte von Russland* напечатал: «Diese Slaven ein ursprünglich europäisches Volk hatten von je herrin Ungarn, an dem nördlichen Ufer der Donau, gewohnt. Im funften Jahrhundert nach Christi Geburt zog sich ein Theil desselben, von den Wlachen und Bulgaren verdrungen, gegen den Dnepr hin und baute Kiew». — «Эти славяне, по происхождению европейский народ, с давних пор обитали в Венгрии, на северном берегу Дуная. В пятом столетии от Рождества Христова часть их, теснимая волохами и болгарами, потянулась к Днепру и построила там Киев» (*Примеч. ред.*).

славян на севере в I веке, но даже опровергает им Тунмана и Гаттерера. Потом Карамзин предлагает несколько гаданий о том, что, быть может, андрофаги, меланхлены, невры Геродотовы, геты принадлежали к племенам славянским. Но, заплатив невольно дань сфинксу, стерегущему обыкновенно вход в истории каждого народа и предлагающему таинственные загадки историку, Карамзин спешит оговориться: «Историк не должен предлагать вероятностей за истину, доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утвердительного решения вопрос: «Откуда и когда Славяне пришли в Россию?», опишем, как они жили в ней задолго до того времени, в которое образовалось наше Государство». Относительно этой оговорки, впрочем, надобно заметить, что здесь смешаны догадки позднейших исследователей с преданиями, записанными в летописях; на вопрос: «Откуда пришли славяне в Россию?» — отвечает предание, занесенное в летопись; на вопрос: «Когда пришли они?» — отвечает догадка позднейших исследователей. Конечно, нельзя поставить рядом предания о движении славян с Дуная вследствие натиска от волхов с мнениями позднейших ученых, что эти волхи были кельты или римляне Трояновы или что невры, меланхлены и андрофаги были славяне.

Карамзин приводит известие летописи о расселении племен славянских в нынешней России, верно смотрит на предание об основании Киева, хоть напрасно освобождает от общего приговора известие о Киевце Дунайском. Нельзя не остановиться на следующем мнении о полянах: «Многие Славяне, единоплеменные с Ляхами, обитавшими на берегах Вислы, поселились на Днепре, в Киевской губернии, и назвались *Полянами* от чистых *полей* своих. Имя сие исчезло в древней России, но сделалось общим именем Ляхов, основателей Государства Польского».

Если поляне назвались так от местности, от чистых полей нынешней Киевской губернии, то едва ли можно сблизать их с ляхами, обывателями берегов Вислы, которые и назвались от своей местности или от чего-нибудь другого. Если уж сблизать поляны с поляками по созвучию названий, то должно предположить, что это название произошло первоначально на берегах Вислы и переселенцы перенесли его отсюда на берега Днепра. Правилен взгляд на финские племена; но мнение о происхождении литовского племени от смешения славян, финнов и германцев — мнение, казавшееся основательным во времена Карамзина, — теперь отвергнуто наукою вследствие новых изысканий.

Отрицая подчинение финских и латышских племен славянским во времена дорюриковские, Карамзин указывает причину, почему славяне в эти времена не могли быть завоевателями; это потому, что они жили особенно, *по коленам*, но эта форма быта, это любовытное выражение — *по коленам* — не объясняются. По-

коленный быт и междоусобие не только препятствовали славянам российским быть завоевателями, но предавали их в жертву врагам внешним — аварам, казарам и, наконец, варягам. Здесь автор останавливается на вопросе: «Кого Нестор именует варягами?» При решении этого вопроса Карамзин должен был выбирать между разными мнениями, явившимися уже в XVIII столетии; он выбрал мнение о происхождении скандинавском, в пользу которого говорили и ясные свидетельства источников, и авторитеты писателей позднейших; сбивчивое мнение Татищева, натянутое Ломоносова, вынужденное новомиллеровское и забытое Тредьяковского — все эти мнения не могли соперничать с мнением, которое мастерски изложил еще Байер и потом подтвердил первый авторитет времени, Шлёцер, муж ученый и славный, по собственному выражению Карамзина. Глава оканчивается превосходным рассуждением о Несторовой хронологии.

Содержание третьей главы составляет физический и нравственный характер славян древних. Глава начинается определением причин разности народов, и, согласно с Болтиным, главная причина указывается в разности климатов. Славяне были бодрь, сильны, неутомимы благодаря умеренному и даже холодному климату обитаемых ими стран. Нравственные качества славянского племени представлены преимущественно со светлой стороны; не умолчено и о пороках, но вслед за тем приводятся и оправдания: напр., жестокость против греков объясняется местию, какую должны были питать славяне к грекам за жестокости последних. При описании обычаев о славянах западных говорится одинаково подробно, как и о славянах восточных; а так как известий об обычаях славян западных сохранилось в источниках гораздо более, то изложение обычаев, общественного быта, религии славян западных преобладает над описанием быта славян восточных, или русских. Поляне, древляне, радимичи со своим бытом, как описывает его начальный русский летописец, как бы исчезают, и вместо них в памяти читателя необходимо остается Виннета, Аркона, картина избрания герцога в славянской Каринтии, тем более что описания быта славян западных и восточных поставлены рядом, как дополняющие друг друга.

В IV главе Карамзин приступает к рассказу о начале государства Российского. Не он первый долго задумывался над этим событием, стараясь объяснить его: Миллер, Щербатов, Болтин, Шлёцер уже высказали свое мнение относительно побуждений к призванию князей и цели его. Но удивительно здесь то, что все эти писатели, позволяя себе разные толкования летописного известия, никак не хотели принимать этого известия вполне, никак не хотели признать тех побуждений и целей, какие выставлены летописцем, и придумывали свои, тогда как нужно было сделать что-нибудь одно: или отвергнуть вполне известие летописца, или, приняв его, принять вполне, со всеми изложенными в нем побуждениями и целями, и

объяснять эти побуждения и цели, как они представлены у летописца, по обстоятельствам времени, а не придумывать вместо них своих побуждений и целей. Летописец говорит: «Изгнали Варягов за море и начали сами собою владеть; и не было в них правды, восстал род на род, и начались усобицы. Тогда сказали: «Поищем себе князя, который бы владел нами, рядил и судил по правде»».

Теперь у нас при чтении этих строк невольно рождается мысль: как было хорошо, как облегчалось бы понимание русской истории, если бы все ее события были рассказаны в летописях с такою полнотою, как эта! Но как нарочно позднейшие писатели остались недовольны именно этим полным изложением, начали придумывать свои объяснения. Миллер, не обращая никакого внимания на слова летописца, что князья были призваны для избежания внутреннего безнарядья, вследствие отсутствия правды призваны были судить и рядить,— Миллер объявил, что князья были призваны преимущественно для защиты границ. Щербатов пошел дальше: для него догадка Миллера является не как догадка только, но как истина неоспоримая, как будто бы в летописи так именно и сказано, что князья были призваны для защиты границ. «Достоинно примечания и то,— говорит Щербатов,— что новгородцы, избрав себе в государи сих трех князей... единственно токмо препоручили им, дабы они границы от вражеских нападений защищали». Болтин был ближе к истине: он привел в связь явление, которым начинается русская история, с последующими явлениями новгородской истории и объявил, что Рюрик с братьями были призваны с таким же значением, с каким после призывались князья в Новгород; но, имея ложное понятие о значении последующих князей Новгородских, начал, подобно Миллеру и Щербатову, говорить только о защите границ и о предводительстве войскам. Шлёцер принимает мнение предшественников, толкуя, что племенам нужны были только защитники, пограничные стражники. Но он делает уступку летописи и прибавляет, что князья могли быть обержупанами, оберстаршинами, даже судьями; а потом опять сбивается, приводит мнение Миллера, как провидевшего истину, и, чтобы подтвердить миллеровскую истину, начинает толковать о неопределенном значении слова *Князь*, как будто это значение в летописи не определено словами: владеть, судить, рядить по правде!

Карамзин также представил свое объяснение: по его мнению, варяги, будучи образованнее славян и финнов, правили последними без угнетения и насилия; бояре славянские вооружили народ против варягов, изгнали их, но не умели восстановить древних законов и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда вспомнили о выгодном и покойном правлении норманском и призвали князей. Понятно, что это мнение гораздо ближе к делу, гораздо удовлетворительнее, чем мнение предшествовавших писателей; по Карамзину, варяги владели, а не грабили только, как ут-

верждал Шлецер. И действительно, если летописец говорит, что по изгнании варягов изгнавшие стали сами владеть, то ясно, что варяги владели; начавши владеть сами, племена не могли установить наряда, и призваны были князья. Конечно, предположение о высшей образованности варягов введено несколько произвольно; что же касается бояра, то у летописца говорится, что встал род на род; но род предполагает родоначальников; у Карамзина же являются бояре, ибо мы видели, что в предыдущих главах он не остановился над объяснением быта, который он назвал поколенным. Но всего важнее для нас во мнении Карамзина то, что здесь остаются неприкосновенными известия летописи о цели призвания, — важно то, что Карамзин не увлекся авторитетом Шлёцера и отринул господствующее мнение о пограничных стражниках. Но с меньшею справедливостию он отступает от Шлёцера в том, что признает одну догадку и вымыслом известия о новгородских событиях, находящихся в Никоновском списке. Мы не думаем, чтобы было справедливо объяснение Шлёцера, почему эти известия находятся только в Никоновском списке, потому что сам же он приводит свидетельство Степенной книги; но, конечно, Карамзин не мог представить никакого объяснения, зачем эти известия были выдуманы и внесены в Никоновский список и Степенную книгу...

Мысль Шлёцера, что в раздаче Рюриком городов мужам своим лежали начатки феодальной системы, повторена и у Карамзина с оговоркою *«кажется»*; но отвергнуто предположение Шлёцера, что руссы, нападавшие на Константинополь в 866 году, не были руссы Аскольда и Дира; принято мнение большинства писателей с любопытным замечанием, что Аскольд и Дир могли и ранее 864 года овладеть Киевом. При известии о начатках христианства в Киеве помещено следующее объяснение успехов новой религии: «Славяне исповедовали одну Веру, а Варяги — другую; впоследствии увидим, что древние Государи Киевские наблюдали священные обряды первой, следуя внушению весьма естественного благоразумия; но усердие их к чужеземным идолам, которых обожали они единственно в угождение главному своему народу, не могло быть искренним, и самая государственная польза заставляла Князей не препятствовать успехам новой Веры, соединявшей их подданных, Славян, и надежных товарищей, Варягов, узами духовного братства».

Мы не можем разделить теперь мнение Карамзина о значительной разнице между религиею славян и варягов; мы знаем из летописей, что дружина княжеская, под которою Карамзин разумеет варягов, смеялась над христианами, тогда как не видим ни малейших следов отчуждения варягов от славянского язычества. Несмотря на то, замечание Карамзина любопытно в том отношении, что он обратил внимание на отношение религии двух народов, чего не делали писатели предшествовавшие; правда, Татищев обратил

на это внимание, но он киевских идолов Владимирова времени сделал варяжскими. Описание княжения Рюрика Карамзин оканчивает следующими словами: «Память Рюрика, как первого Самодержавца Российского, осталась бессмертною в нашей Истории, и главным действием его княжения было твердое присоединение некоторых Финских племен к народу Славянскому в России, так что Весь, Меря, Мурома наконец обратились в Славян, приняв их обычаи, язык и Веру».

Пятая глава посвящена княжению Олега-правителя. Это княжение, о котором в летопись внесено довольно количество преданий, дает Карамзину возможность впервые выказать свой взгляд, свое мерило для оценки лиц и событий. Олег, пылая славолубием героев, идет на юг с целью завоеваний; в Киеве он хитростию убивает Аскольда и Дира, и Карамзин спешит произнести приговор над этим поступком: «Простота, свойственная нравам IX века, дозволяет верить, что мнимые купцы могли призвать к себе таким образом Владетелей Киевских; но самое общее варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного». Вот изображение Олега после похода на греков: «Сей Герой, смиренный летами, хотел уже тишины и наслаждался всеобщим миром. Никто из соседей не дерзал прервать его спокойствия. Окруженный знаками побед и славы, Государь народов многочисленных, повелитель войска храброго мог казаться грозным и в самом усыплении старости. Он совершил на земле дело свое — и смерть его казалась потомству чудесною». Приведа предание о смерти Олеговой, автор продолжает: «Гораздо важнее и достовернее то, что Летописец повествует о следствиях кончины Олеговой: *народ стонал и проливал слезы*. Что можно сказать сильнее и разительнее в похвалу Государя умершего? И так Олег не только ужасал врагов: он был еще любим своими подданными... Но кровь Аскольда и Дира осталась пятном его славы».

Из предшествовавших Карамзину русских писателей каждый предлагал свое объяснение причин, почему Олег предпринял поход на юг, к Киеву. Так, напр., Татищев торжество Олега над Аскольдом и Диром приписывал тому, что последние приняли христианство и тем вооружили против себя язычников, призвавших Олега; Щербагов, следуя Синопису и «Ядру Российской истории», думал, что Олег хотел воспользоваться слабостью киевских князей, потерпевших поражение под Константинополем; Шлёцер объявил все эти *историзирования и политизирования*⁹ чистыми вымыслами, объявил, что единственным побуждением к походу для Олега был завоевательский дух. Карамзин говорит, что Олег предпринял поход, «пылая славолубием героев». Но Карамзин не последовал

⁹ Wir wollen abhoren, wie unsere Historicker pragmatisch historisieren und politisieren

Шлёцеру мнению о договорах с греками, признал их достоверность и, следуя Болтину, вывел из этих договоров следующее: «Сей договор представляет нам Россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают святость чести и народных торжественных условий; имеют свои законы, утверждающие безопасность личную, собственность, право наследия, силу завещаний; имеют торговлю внутреннюю и внешнюю».

Шестая глава — княжение Игоря — не представляет замечательных особенностей; между этою главою в I томе «Истории государства Российского» и между третьею главою первого тома «Истории Российской» князя Щербатова мало разницы (исключая, разумеется, слога). Мы видели отзыв Карамзина об Олеге; следовательно, имеем право ожидать подобного же об Игоре: «Игорь в войне с Греками не имел успехов Олега; не имел, кажется, и великих свойств его: он сохранил целость Российской Державы, устроенной Олегом; сохранил честь и выгоды ее в договорах с Империею, был язычником, но позволял новообращенным Россиянам славить торжественно Бога Христианского и вместе с Олегом оставил наследникам своим пример благоразумной терпимости, достойный самых просвещенных времен», и проч.

Но большое различие от Щербатова и других предшествовавших писателей находим в начале седьмой главы, где говорится о деятельности княгини Ольги. Предшествовавшие писатели передавали предание о мести Ольгиной над древлянами как факт несомненный во всех подробностях, позволяя себе только иногда наивные восклицания насчет наивности древлян¹⁰. Но такое понимание Шлёцер объявил невероятно жалким и предложил свое образцовое объяснение происхождения преданий об Ольге и разделение их. Карамзин воспользовался замечаниями Шлёцера, но ограничил их и указал важное значение народных преданий для историка: «Прежде всего Ольга наказала убийц Игоревых. Здесь Летописец сообщает нам *многие подробности*¹¹, отчасти не согласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностию Истории и взятые, без всякого сомнения, из народной сказки; но как истинное происшествие должно быть их основанием и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторили Несторовы простые сказания о мести и *хитростях Ольгиных*».

Причиною, побудившею Ольгу к принятию христианства, Щербатов выставлял недостаточность славянского идолослужения, которую Ольга, одаренная великим разумом, не могла не понять, особенно слыша о чистейшей вере греков. По Карамзину, Ольга, будучи одарена умом необыкновенным, могла убедиться в святости

¹⁰ Как, напр, восклицание Ломоносова «О, деревенская простота!»

¹¹ Напечатанное курсивом напечатано так у самого Карамзина

христианского учения, с которым могла познакомиться в Киеве, и пожелала креститься, тем более что достигла уже тех лет, когда смертный чувствует суетность земного величия. О причинах, заставивших ее отправиться в Константинополь за крещением, ни тот, ни другой не говорят. Из предшествовавших писателей одни отвергали летописное предание о предложении греческого императора Ольге, другие старались объяснить его; Карамзин последовал первым.

Касательно войны Святослава с греками Щербатов, поставив рядом известие русского летописца с известиями византийскими, склоняется в пользу последних. Шлёцер разделяет мнение Щербатова, приходит в отчаяние от известий летописи о войне Святослава с греками, никак не хочет согласиться, чтобы эти известия принадлежали Нестору, и единственное утешение находит в надежде, что со временем отыщутся списки, в которых дело рассказывается иначе, чем в списках, до нас дошедших. Карамзин следует Щербатову и Шлёцеру, но не выражается решительно и тем приближается более к первому, чем ко второму.

Восьмая глава, содержащая в себе рассказ об усобицах между сыновьями Святослава, не представляет замечательных особенностей против шестой главы второй книги Щербатова, имеющей то же содержание.

В девятой главе рассказываются события княжения Владимирова. Это княжение, относительно обильнейшее разнородными событиями, чем все предшествовавшие княжения, дает впервые видеть порядок, которому Карамзин, подобно предшествовавшим писателям, будет следовать при распределении событий. Это порядок летописный, хронологический; события следуют друг за другом, как в летописи, по годам, а не совокупаются, по однородности своей, по внутренней связи между ними. Но бессвязность летописная должна была тяготить такого художника, каков был Карамзин: он старается сделать ее незаметною в своей «Истории» и для этого употребляет искусные внешние переходы между событиями, следующими в летописи друг за другом только по порядку лет.

Главное событие княжения Владимирова — великая религиозная перемена: принятие христианства. Явления, относящиеся к религиозной деятельности Владимира сперва как язычника, потом как христианина, как равноапостольного князя, — эти явления естественно выделяются из среды остальных, заставляют историка соединять их объяснением причины перехода от одних к другим, причем и открывается необходимо внутренняя связь между ними. Потом летопись предлагает известия о других, уже второстепенных по своему значению явлениях: о покорении племен славянских, о наступательных войнах на разные страны и народы, о войнах оборонительных против степных варваров, о некоторых внутренних распоряжениях; все эти явления подразделяются на несколько от-

дельных групп, но Карамзин располагает события в порядке летописном, хронологическом. Сперва говорится о хитрости Владимира относительно варягов, о ревности к язычеству, потом о разнородных войнах, и здесь является рассказ о принятии христианства. Известие об убиении двух варягов-христиан вставлено между известиями о войне с ятвягами и радимичами, причем сказано, что Владимир велел бросить жребий, тогда как в летописи об участии князя не говорится. Вообще, рассказ об этом событии любопытен, потому что показывает взгляд Карамзина на то, в каком отношении должен быть рассказ историка к рассказу летописца. В летописи, например, читаем: «Он (Варяг) стояше на сенех с сыном своим... рече: аще суть божи, то единого себе послють бога, да имуть сын мой». У Карамзина: «Отец, держа сына за руку, с твердостью сказал: «Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий»».

Между историками XVIII века был спор о побуждениях Владимира к походу на Курсунь. Щербатов думал, что поход был предпринят с целью принятия крещения; Болтин на основании Татищева утверждал, что поход был предпринят для получения руки царевны Анны. Карамзин принял мнение Щербатова вместе с объяснением, зачем Владимир для принятия христианства хотел предварительно воевать с греками. Касательно известия о начатках книжного учения на Руси при Владимире Щербатов рассуждает так: «И тогда же рассуждая (Владимир), что всеянное семя святого Евангелия не может довольно вкорениться во вновь обращенных из идолопоклонения народах, есть ли прежняя суровость и невежество в них пребудут: чего ради он повелел учредить училищи». Карамзин говорит то же самое: «Владимир взял лучшие, надлежащая меры для истребления языческих заблуждений: он старался просветить Россиян. Чтоб утвердить Веру на знании книг Божественных... Великий Князь завел для отроков училища, бывшие первым основанием народного просвещения в России». Щербатов и Карамзин вполне удовлетворительно объясняют причины этого поступка Владимировича, и мы не можем принять одностороннего объяснения позднейших исследователей¹²; но Щербатов и Карамзин не правы в том, что говорят о заведении училищ, тогда как в летописи об училищах нет ни слова.

Между известиями о войнах печенежских помещен рассказ о пирях Владимира и его благотворительности к народу, после чего следует известие о *вирах*. Это известие разделено на две части, причем слова, относящиеся ко второй части, приставлены к первой. Касательно второй части: «Оже вира, то на оружьи и на конях

¹² См. подробнее об этом в «Истории России», т. I, прим. 261. (Издание Товар. «Общ. Польза», гл. VII, стр. 173, прим. 2) // Соловьев С. М. Соч. Кн. I. М., 1988. С. 308.

буди»; в примечании высказано недоумение, куда отнести *буди*: ко Владимиру или к вире? Но в тексте это слово отнесено к Владимиру. Вторая часть известия представлена в виде увещания к войне, и автор воспользовался этим, чтобы связать два известия, не имеющие отношения друг к другу, — известие о вирах с известием о войне печенежской. В этом последнем известии совершенно правильно объяснено выражение *верховные вои*, чем позабыли воспользоваться некоторые позднейшие исследователи.

Десятая и последняя глава первого тома содержит в себе известие о состоянии древней России от Рюрика до смерти Владимира Святого. Князь Щербатов ведет рассказ о политических событиях от Рюрика до смерти Юрия Долгорукого и тут только останавливается, чтобы взглянуть на внутреннее состояние русского общества в пройденный период. Карамзин счел за нужное остановиться на смерти Владимира Святого, обозреть состояние новоружденного русского общества во время язычества и при первом князе христианском. Этот обзор очень любопытен, потому что в нем, хотя кратко, указано на все важнейшие общественные отношения. В начале представлена огромность Русской государственной области в самый первый век ее бытия, хотя не упомянуты причины столь быстрого распространения государственной области и следствия такой громадности ее для будущего. Указано значение князя в словах призывавших его племен: «Хотим князя, да владеет и правит нами по закону». Мы уж говорили, как этим взглядом отличается Карамзин от всех своих предшественников, которые представляли первых князей в виде пограничных стражников. Указаны отношения дружины к князьям... По нашему мнению, во всей главе дано слишком много значения норманнскому элементу, который совершенно отделен от туземного. Относительно законодательства Карамзин думает, что варяги принесли в Россию общие гражданские законы, которые начали господствовать, вытеснив прежние славянские обычаи. «Варяги, законодатели наших предков, — говорит Карамзин, — были их наставниками и в искусстве войны... (Славяне) заимствовали от Варягов искусство мореплавания». Таким образом, мы видим, что *варяжская система* образовалась впервые в разбираемой главе; начальный период русской истории является уж здесь варяжским, хотя еще и не назван так.

Карамзин упоминает и о влиянии духовенства; не сомневается, что оно в первые времена решало не только церковные, но и многие гражданские дела, но отвергает устав Владимиров на том основании, что в нем находится имя патриарха Фотия. Далее упомянуто кратко о древнем чинопочинии, подробнее, удовлетворительнее — о торговле, деньгах, причем объясняется происхождение кожаных денег и вместе утверждается существование монет серебряных. В статье об успехах разума говорится о переводе Св. Писания, о происхождении языка книжного и народного; потом следует рас-

суждение о ремеслах и искусствах. Заключается глава статьею о нравах, которые представляют, по словам Карамзина, смесь варварства с добродушием. Здесь повторена мысль Болтина, высказанная против Щербатова, что одно просвещение долговременное смягчает сердца людей. Вообще, мы должны заметить, что вся эта глава, как первый опыт многостороннего обзора новорожденного русского общества, имеет важное значение в нашей исторической литературе.

III

Второй том начинается рассказом о любопытных отношениях между сыновьями Св. Владимира. И княжение последнего наступило после усабиц и братоубийств; но эти усабицы произошли вследствие известного столкновения между киевским и древлянским князем спустя довольно долгое время после бесспорного утверждения сыновей Святославовых, каждого на его столе, от отца назначенном. Иной характер носит усабица сыновей Владимировых: здесь прежде всего летописец выводит на сцену двоих братьев — самого старшего и одного из самых младших. Права первого, по-видимому, бесспорны; младший прямо признает их, и, несмотря на то, дружина обнаруживает явное предпочтение в пользу младшего, в Киеве заметно колебание; старший видит в младшем опасного соперника, сознает непрочность свою на отцовском столе, употребляет различные средства, чтобы привлечь к себе киевлян, и, несмотря на кротость младшего брата, который сам лишил себя средств к борьбе, старший злодейством освобождается от соперника, который не перестает казаться ему опасным. Как же наш историк взглянул на эти любопытные отношения? Как изобразил их?

Рассказ летописца, исполненный благоговения к нравственному характеру младшего брата, исполненный глубокого негодования к убийце его, прежде всего произвел сильное впечатление на нравственное чувство историка, и это сильное впечатление определило характер повествования последнего. «Святополк — похититель престола», — читаем мы в начале оглавления первой главы второго тома. Святополк похититель, потому что он злодей. Младший брат падает жертвою своей нежной чувствительности; властолюбец не довольствуется одним преступлением: он убивает еще двоих братьев — так завязывается на Юге кровавая драма. Для ее вполне удовлетворяющей нравственное чувство развязки является мститель с Севера; но прежде на этом Севере, в Новгороде, происходят также события, которые должны были одинаково сильно поразить нравственное чувство историка, и здесь летописец рассказывает о враждах, убийствах; но все забывается, когда Ярослав говорит новгородцам о страшных преступлениях Святополка: многочисленное

войско собирается и выступает с князем для наказания братоубийцы, который заслуживает проклятие современников и потомства. «Имя океянного осталось в летописях неразлучно с именем сего несчастного Князя: ибо злодейство есть несчастье». Отношения между сыновьями Владимира были одним из тех оазисов, которых Карамзин, по его собственному выражению, искал среди пустыни; в рассказе об этих отношениях Карамзин высказался вполне как человек и как повествователь; вот почему этот рассказ так важен для нас. У предшествовавшего историка — князя Щербатова видим попытку объяснить поведение новгородцев; но Карамзин остался вполне верен первому впечатлению, произведенному на него рассказом летописца.

Вторая глава содержит в себе княжение Ярослава в Киеве. Мы не будем останавливаться на приговорах поведению Мстислава Тмутороканского после Лиственской битвы: зная господствующий взгляд автора, мы вправе ожидать подобных приговоров. Но мы должны остановиться над объяснением происхождения так называемой удельной системы. «Ярослав ожидал только возраста сыновей, чтобы вновь подвергнуть Государство бедствиям Удельного Правления... Как скоро большому сыну его, Владимиру, исполнилось шестнадцать лет, Великий Князь отправился с ним в Новгород и дал ему сию область в управление. Здравая Политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться действию слепой любви родительской, которая обратилась в несчастное обыкновение». По Щербатову, Ярослав отдал Новгород Владимиру, «желая себя облегчить в тягости правления, таковым учинившимся ради великого пространства его владений».

И Щербатов почел не бесполезным показать содержание законов Ярославовых, известных под именем Русской правды; но не изложил причины, почему это не бесполезно. По Карамзину: «Сей остаток древности, подобный двенадцати дскам Рима, есть верное зеркало тогдашнего гражданского состояния России и драгоценен для истории». Признавая такую важность Русской правды, Карамзин посвящает ей целую третью главу. Между статью Карамзина о Русской правде и статью Щербатова о том же памятнике огромная разница, показывающая, какие успехи сделала русская наука в конце XVIII и начале XIX века. Карамзин рассматривает сначала, как законодатель утвердил личную безопасность и неотъемлемость собственности, потом общие постановления для улик и оправдания, наконец, законы о наследстве. Мы видели, как уже прежде Карамзин высказал свой взгляд относительно источника древнего русского законодательства: по его мнению, варяги принесли с собою общие гражданские законы в Россию; при изложении Русской правды он остается верен этому взгляду.

Наконец, Карамзин воспользовался Русскою правдою для определения гражданских степеней в древней России и вывел из ее ста-

тей следующие два заключения, важные по влиянию своему на последующие мнения о древнерусской истории. Первое заключение — о телесных наказаниях, причем мнение Монтескьё о древних германских законах прилагается к древним русским, и прилагается не совсем удачно, ибо в предшествующем изложении того, чем виновный платил за вину, заключается опровержение слов Монтескьё, равно как в статье о ключниках и проч. Второе важное заключение состоит в том, что варяги не завоевали Россию, ибо в статье о вирах нет различия между варягом и славянином. В заключение считаем нелишним сравнить следующие отзывы Щербатова и Карамзина о Русской правде. «Я не буду, — говорит Щербатов, — оправдывать сии законы; ибо, дабы полезность их знать, надлежало бы точнее иметь сведение о всех обрядах, нравах, упражнениях и обычаях сих народов и войти в точное состояние их, чего нам невозможно учинить; я могу только то предложить, что ни одни россияне пенями за смертоубийство наказывали, но и все почти северные народы то чинили, которого может быть сии Российские законы подражанием были». По мнению Карамзина, устав Ярослава содержит в себе полную систему нашего древнего законодательства, сообразную с тогдашними нравами.

Мы видим, что Карамзин отвергнул Шлёцерovo деление русской истории на пять главных периодов: на Россию рождающуюся, разделенную и т. д. Мы не постояли за деление Шлёцера, ибо оно чисто внешнее, не дающее ни малейшего понятия о ходе русской истории как русской истории; мы признали деление Карамзина лучшим, причем показали несостоятельность возражений последующих писателей против этого деления. Шлёцер, как сказано, понял два своих первых периода — Россия рождающаяся и Россия разделенная — чисто внешним образом, ибо не показал отношений, необходимой связи между этими двумя периодами, между этими двумя названиями, не показал, что Россия потому была необходима разделенною, что была только что родившеюся. Так понимаем мы дело теперь, но не так понимали его в XVIII веке, не так понимали его и в начале XIX. Карамзин отвергнул деление Шлёцера точно так, как последующие писатели, вместо того чтобы точнее определить деление Карамзина на древнюю, среднюю и новую Русскую историю, отвергли его как несправедливое. Мы видели, на каком основании Карамзин отвергнул Шлёцерovu характеристику первого периода — Россия рождающаяся. «Век Св. Владимира, — говорит он, — был уже веком могущества и славы, а не рождения».

Но, отвергнув, что Россия до половины XI века была рождающеюся, Карамзин естественно не признал связи между Россиею до Ярослава и Россиею после него; отвергнув рождение государства, признав это государство в самом начале могущественным и славным, он по тому самому не признал в последующем периоде постепенного, хотя трудного и медленного возрастания и укрепления

государства; этот период явился для историка только временем бедствий, временем слабости и разрушения. Вот что говорит Карамзин о времени, наступившем по смерти Ярослава I: «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие. Основанная, возвеличенная Единовластием, она утратила силу, блеск и гражданское счастье, будучи снова раздробленною на малые области. Владимир исправил ошибку Святослава, Ярослав Владимирову: наследники их не могли воспользоваться сим примером, не умели соединить частей в целое, и Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трехсот лет. Историк чужеземный не мог бы с удовольствием писать о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными распрями... Но Россия нам Отечество: ее судьба и в славе, и в унижении равно для нас достопамятна. Мы хотим обозреть весь путь Государства Российского, от начала до нынешней степени оного... История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».

При таком взгляде на характер времени, протекшего от смерти Ярослава I до образования Московского государства, Карамзин естественно не остановился над объяснением отношений между потомками Ярослава I. «Изяслав считал себя более равным, нежели Государем братьев своих». Вот все, что находим у него об отношениях между сыновьями Ярослава. Кн. Щербатов об этих отношениях выражается так: «Хотя и видели мы, что каждый из владеющих в России князей особливо свое княжение правил, однако во всем том, что касалось до общего блага и великой важности было, в том они все с общего согласия поступали».

Известно, каким сильным возражением со стороны талантливо-го Неймана подвергся рассказ Карамзина об отношениях между сыновьями Ярослава I¹³. Между этими возражениями есть некоторые, действительно вполне основательные; но со многими нельзя согласиться. Основательно опровергнуты положения, что Игорь получил удел не от отца, а от старшего брата; что уже в то время существовали частные и особенные уделы; что Игорь сначала получил удел первого, а потом второго рода; о доверенности, оказанной Ростиславом Катапану, о торжественном объявлении последнего касательно смерти Ростиславовой; о побуждениях херсонцев убить Катапана; о характере Ростислава; о значении его смерти для тогдашней России; о побуждениях Всеслава Полоцкого к войне с Новгородом; о побуждениях Ярославичей к войне с Всеславом. Нельзя согласиться также с Карамзиным насчет причины победы черни-

¹³ Studien zur gründlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands, S. 113 — Архив историко-юридических сведений, изд. Калачовым, кн. I // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. I. М., 1850.

говцев над половцами; насчет побуждений, которые имел Изяслав, взогнуть торг на гору, потому что мы не можем знать в подробности всех обстоятельств того времени; не можем признать внезапно перехода от дружественных отношений между Ярославичами к враждебным; не думаем, чтобы поведение Олега можно было приписать одному врожденному властолюбию, потому что князь, несправедливо лишенный волости, и без особенного властолюбия мог желать приобрести ее, тем более что ничего не знаем о ласках, которые оказывал ему дядя Всеволод.

Но с другой стороны, неосновательно возражение Неймана против того, что все Ярославичи действовали сообща при переводе Игоря в Смоленск из Владимира. Карамзин имел полное право утверждать это на основании множественной формы *посадиша*, тем более что в рассказе летописца об освобождении Судислава прямо показаны Ярославичи действующими сообща; различие же, которое хочет Нейман установить между первым и вторым случаем, — явная натяжка. Сказав о занятии Тмутороканя Ростиславом Владимировичем, изгнавшим оттуда Глеба, сына Святославова, Карамзин продолжает: «Святослав спешил туда с войском: племянник его, *уважаемая дядю*, отдал ему город без сопротивления; но когда Черниговский Князь удалился, Ростислав снова овладел Тмутороканем». Нейману не понравился этот рассказ; он сравнивает его с рассказом летописца: «Иде Святослав на Ростислава к Тмутороканю; Ростислав же отступи кроме из града, не убоився его, но нехотя противу стрывеви своему оружья взяти». Нейман говорит: «Вот простой рассказ летописи. Ни слова об уважении!» Потом сам задает себе вопрос: «Но разве не доказывает уважение Ростислава к дяде то, что он отступал перед ним и добровольно отдал ему город?» — и отвечает: «Разумеется, не доказывает какого-нибудь особенного уважения со стороны Ростислава, потому что вслед за тем он снова выгнал его сына. Поведение Ростислава должно бы нам казаться в высшей степени странным и необъяснимым, если б обычаи того времени не давали нам ключа к объяснению этой загадки. Уважение к старым родичам, именно к тем, которые заступали место отца, было обязанностью, освященною обычаем, которого никто из благомыслящих людей не смел нарушить. У Ростислава уж не было в живых отца; поэтому брат отца, дядя, заступил для него место отца. Уважение, которым он был ему обязан, было уважением чисто личным: он не смел поднять против него меча. На сына дяди, бывшего с ним одних лет или даже моложе его, эта обязанность не простиралась». Нейман утверждает, что уважение, которое Ростислав питал к дяде, было священной обязанностью, что это уважение было личное, и в то же время говорит, что в летописи об уважении ни слова, а потом говорит, что здесь нет какого-нибудь особенного уважения!..

Далее следующее место летописи: «Ростиславу сущю Тмуторокани и емлюци дань у Касог и в инех странах, сего же убоившеся

Грьци». Карамзин переводит так: «Скоро народы горские, Касоги и другие должны были признать себя данниками юного Героя, так что его славолубие и счастье устрашили Греков». Нейман не соглашается с тем, что Ростислав силою заставлял касогов и другие народы платить себе дань. Он говорит: «Слова летописи, находящиеся во всех списках, указывают на то, что дань бралась без всякого сопротивления и что взимание ее было соединено с покойным обладанием Тмутороканью». Но спрашивается: чего же испугались греки, если Ростислав жил мирно в Тмуторокани, не распространял своих владений и спокойно только пользовался данью, которую издавна некоторые соседние народы платили его княжеству? Почему же они не боялись Глеба Святославича, который до Ростислава княжил в Тмуторокани? Нейман сам понимал неосновательность своего возражения и потому старался прикрыть его новою натяжкой. «Кажется,— говорит он,— что греки не столько боялись Ростислава лично, сколько последствия его деятельности, то есть основания независимого княжества в Тмуторокани». Но чем независимее было это княжество от остальной Руси, тем слабее, тем меньше, следовательно, надлежало бояться его.

Так как одна из целей нашего настоящего исследования — рассмотреть «Историю государства Российского» в связи с предшествовавшими явлениями русской исторической литературы, то мы должны здесь заметить, что некоторые положения Карамзина, справедливо или несправедливо опровергаемые Нейманом, находятся и у князя Щербатова. Например, Щербатов точно так же в перемещении Игоря из Владимира в Смоленск видит общее действие Ярославичей; о поведении Ростислава относительно дяди Щербатов говорит: «Ростислав же, свято ль наблюдая почтение к дяде своему или ради каких других причин, получа известие о пришествии Святослава, из Тмуторокани вышел». Причина страха греков пред Ростиславом у Щербатова выставлена та же, что и у Карамзина; отношения Катапана к Ростиславу рассказаны иначе, именно так, как хочет Нейман, а причина умерщвления Катапана херсонцами та же самая, что и у Карамзина.

Любопытно сравнить у обоих историков начало рассказа о княжении Всеволода Ярославича, потому что здесь впервые обнаружилась эта особенность древней русской истории, что великому князю наследовал брат, а не сын. Щербатов поражен странностью явления и начинает придумывать объяснения ему. Он говорит так: «Всеволод, быв от роду 48-ми лет, взшел после смерти брата своего Изяслава на главное Российское киевское княжение. Хотя сие его восшествие на престол и не совершенно порядочно является, потому что после Изяслава остались сыновья уже в довольном возрасте, чтоб принять правление княжения отца их; однако по невоспоследовавшим от этого никаким смущениям, и потому, что упоминается, что Всеволод дал Ярополку, сыну Изяслава, Владимир с прида-

чею еще Турова, мнится мне, что это возведение его на Киевский престол учинено вследствие учиненного между им и Ярополком какого-то договора; коему обычаю, чтоб брат после брата в престолах наследовал, и впредь почти всегда последовали, яко будем иметь случай о сем яснее предложить». Щербатов яснее, по его мнению, предложил это в конце V книги своей «Истории», где говорит: «О состоянии России, ее законов, обычаев и правлений»; его объяснение здесь состоит в следующем: князья всегда сами предводительствовали войском — это была их главная обязанность; князь малолетний не мог исполнить ее: отсюда и преимущество, какое получили дядья пред племянниками в наследстве престола.

Разумеется, мы только с уважением и любопытством можем смотреть на эту первую остановку над любопытнейшим из явлений нашей древней истории, на первую попытку объяснить его. Таков обычный ход нашей науки — начинать со внешнего, ближайшего к понятиям историка и потом, вглядываясь все внимательнее и внимательнее в глубь веков, объяснять неудобопонятные для нас явления древности согласнее не с нашими, но с тогдашними понятиями и обычаями. Так уж у самого Щербатова мы видим два первых шага на упомянутом поприще: сначала встречаем объяснение договором, явлением чисто случайным, потом древний порядок престолонаследия объясняется уж особенными обстоятельствами того времени, которое требовало всегда совершеннолетнего князя. Карамзин пошел еще далее: он объясняет явление не случайным обстоятельством, не договором и не потребностью постоянной внешней защиты, а тогдашним образом мыслей, тогдашними нравами: «Не сын Изяславов, но Всеволод наследовал престол Великокняжеский. Дядя, по тогдашнему образу мыслей и всеобщему уважению к семейственным связям, имел во всяком случае права старейшинства и заступал место отца для племянников».

Княжение Всеволода Ярославича описано у Карамзина правильнее, чем у Щербатова, относительно подробностей, например генеалогических; смуты, произведенные недовольными князьями, у обоих историков описаны одинаково; у Карамзина, впрочем, действующие лица и события характеризованы согласнее с понятиями новейшего времени; недоверие к Татищеву еще более приближает Карамзина к Щербатову, которого он¹⁴ защищает от Болтина, крепко стоявшего за Татищева. В своде Татищева, например, сказано, что Ярополк Изяславич собирался идти на Всеволода за то, что последний отдал часть его волости Давиду Игоревичу. Карамзин отвергает это на основании древнейших списков; но и в древнейших списках летописи связь выражений такова, что не допускает иного

¹⁴ Прим. 148. (Изд. Тов. «Общ. П.», т. II, гл. III, стр. 346, прим. 3) // Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. II — III. М., 1991. С. 247. Примеч. 148; Соловьев С. М. Соч. Кн. I. М., 1988. С. 680.

объяснения. «Всеволод же послав приведе и (Давида), и вда ему Дорогобуж. Ярополк же хотяше ити на Всеволода». Касательно отношения рассказа Карамзина к рассказу летописца сравним следующее место: у летописца — «приде Ярополк из Ляхов и сотвори мир с Володимером, и иде Володимер вспять Чернигову; Ярополк же седе Володимери». У Карамзина: «Ярополк, не сыскав заступников вне России, скоро умилиствовал Всеволода искренним раскаянием и, заключив мир с его сыном Мономахом в Вольнии, получил обратно свое Княжение».

Сравним несколько мест и в рассказе о княжении Святополка. У летописца: «Наша земля оскудела есть от рати и от продаж»; у Карамзина: «Область Киевская, изнуренная войнами, источенная даяниями, опустела». У летописца Мономах говорит: «Зде стояче через реку, в грозе, створим мир с ними (половцами)»; у Карамзина: «Половцы видят блеск мечей наших и не отвергнут мира». Слова князей на Любечском съезде в летописи: «Почто губим русскую землю, само нося котору деюще? а Половци землю нашу несут розно, и ради суть оже межи наши рати; да поне отселе имем ся в едином сердце и блюдем рускыи земли». У Карамзина: «Они (князья) благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия; что им должно наконец прекратить междоусобие, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душою и сердцем, унять внешних разбойников, Половцев, — успокоить Государство, заслужить любовь народную». Слова дружины Святополковой и Мономаха у летописца: «Они же рекоша: не веремя ныне погубити смерды от роли. И рече Володимер: како я хочу молвити, а на мя хотят молвити твоя дружина и моя, рекуще: хочет погубити смерды и роли смердом? но се дивно ми, оже смердов жалуете и их коний, а сего не помышляюще, оже на весну начнет смерд тот орати лошадыю тою, и приехав Половчин и проч.». У Карамзина: «Дружина Великого Князя говорила, что весна неблагоприятна для военных действий; что если они для конницы возьмут лошадей у земледельцев, то поля останутся не вспаханы и в селах не будет хлеба».

Описание княжения Святополкова, заключающееся в шестой главе второго тома, оканчивается следующим любопытным местом: «Описание времен Святополковых заключим известием, что Нестор при сем Князе кончил свою летопись, сказав нам в 1106 году о смерти доброго девяностолетнего старца Яня, славного Воеводы, жизнью подобного древним Христианским праведникам и сообщившего ему многия сведения для его исторического творения. Отселе путеводителями нашими будут другие, также современные Летописцы». Татищев, как уж было сказано выше, первый начал отыскивать место, где должен был остановиться начальный летописец Нестор; он думал, что отыскал это место под 1093 годом, где находится *Аминь*; другое *аминь* находится там, где явно говорит Сильвестр, игумен Выдубецкого монастыря; следовательно, заключает

Татищев, весь рассказ, заключающийся между двумя именами, между 1094 и 1116 годами принадлежит уже Сильвестру, а не Нестору. Мюллер не соглашается с Татищевым на том основании, что и далее 1093 года, под 1096 годом, говорит так же монах Киево-Печерского, а не Выдубецкого монастыря, а именно при описании нашествия половцев на Киев встречаем выражение: «*Нам сущим по кельям почивающим*». Шлёцер согласился с Мюллером и объявил, что, вероятно, Нестор продолжал писать до 1116 года; что приписка Сильвестра служит не окончанием его труда, но началом. Карамзин (в примечании к приведенному выше месту) согласился с Мюллером и Шлёцером относительно замечания Татищева, но объявил, что Сильвестр был не продолжателем Нестора, а только переписчиком. «*Тут написах*, — говорит Карамзин, — значит *списал*; в конце многих рукописных Евангелий, Псалтирей и других церковных книг видим такие подписи. Если бы Сильвестр... был сочинитель, то он в 6624 году не оставил бы *шести* лет... без описания, которое уже следует за его подписью, и, без сомнения, есть труд иного, для нас безыменного человека. Судя по кратости следующих известий, думаю, что сей безыменный начал писать не прежде 1125 или 1127 года; ибо с сего времени известия делаются вдруг гораздо подробнее». Относительно места, где именно остановился Нестор, Карамзин говорит, что с точностью определить его нельзя: *вероятно*, что оно находится около 1110 года, под которым во многих древних списках встречаем слова Сильвестровы.

В конце главы, заключающей в себе княжение Мономаха, мы с любопытством останавливаемся на оценке характера этого знаменитого деятеля нашей древней истории. И у Щербатова, и у Карамзина находим оценку характера Мономаха, как человека и владельца вообще, без отношения ко времени и народу, которого он был представителем. У Щербатова читаем: «Сей государь, как довольно из истории его можно было приметить, был нрава кроткого, довольно храбр, но не ищущий войны, а паче желая чрез доброе согласие и мирные договоры до желаемого конца достигнуть». У Карамзина: «Владимир отличался Христианским сердечным умилением... не менее хвалят Летописцы нежную его привязанность к отцу... снисхождение к слабому человечеству, милосердие, щедрость, незлобие... Он не сокрушил чуждых Государств, но был защитою, славою, утешением собственного, и никто из древних Князей Русских не имеет более права на любовь потомства: ибо он с живейшим усердием служил отечеству и добродетели». Подобный же отзыв встречаем и о сыне Мономаха Мстиславе. Превосходные достоинства последнего, по мнению Карамзина, удерживали частных князей в границах благоразумной умеренности; кончина его разрушила порядок. Различие в характере новых усобиц, начавшихся по смерти Мстислава, и прежних не показано, равно как не уяснены новые отношения, возникшие между членами Мономахова потом-

ства. Виной смуты выставлена слабость нового великого князя, Ярополка, которая обнаружилась в излишней снисходительности.

Из рассказа летописца и самого автора мы не видим, однако, в чем состояла слабость и излишняя снисходительность Ярополка: мы видим только старание великого князя при распределении волостей удовлетворить как старшим, так и младшим родичам и этим удовлетворением восстановить спокойствие на Руси. Ярополк был уже близок к своей цели, как вдруг страшные движения брата Вячеслава разрушили его добрые намерения и повели к новой усобице, в которой, конечно, мы не имеем права упрекать Ярополка. Касательно Супойской битвы, имевшей такое важное значение в этой усобице, сравним рассказ летописца и рассказ Карамзина. У первого читаем: «И вскоре Ярополк, с дружиною своею и с братьею, нивой своих съждавше, ни нарядившеся гораздо, устремилася боеви, мняще, яко не стояти Ольговичем против нашей силе, и бывшую съступлению обеими полками, и бишася крепко, но вскоре побегоша Половцы Олгове, и погнаша по них Володимерича дружина лутшая, а князя их Володимерича бяхся со Олговичи. И бысть брань люта, и мнози от обоих падаху. Видивше же братья вся, Ярополк, Вячеслав, Гюрди и Андрей, полки своя възмятены, отъехаша в свояси. Тысячный же с бояры их переже гнаша по Половчих, избивша е и воротилася опять на полчище, и не обретоша княжьи своя, и упадоша Олговичем в руже, и тако изымаша е». Из этого рассказа ясно видно, что было причиною неудачи Владимировичей: неосторожность, самонадеянность в самом начале — войска было мало, и то не было устроено; от этого и без того малочисленного войска отделилась еще лучшая дружина для преследования половцев, вследствие чего *все четверо* Мономаховичей, несмотря на то что бились крепко, принуждены были оставить поле сражения, видя полки свои взмятенными. У Карамзина этот рассказ передан так: «В жестокой битве на берегах Супоя Великий Князь лишился всей дружины своей, она гналась за Половцами и была отрезана неприятелями, ибо Ярополк с большею частию войска малодушно оставил место сражения». Но если мы не можем быть довольны рассказом о княжеских отношениях, то в то же время не можем не признать верности замечания Карамзина о времени перемены в новгородском быте.

Рассказ о княжении Всеволода Ольговича и о борьбе Изяслава Мстиславича с дядею Юрием носит такой же характер, как и рассказ о княжении Ярополка. Любопытнее для нас мнения автора о важном событии, после которого главная сцена действия переносится с Юга на Север. Князь Щербатов останавливается на смерти Юрия Долгорукого, помещает обзор внутреннего состояния России и в следующей затем первой главе шестой книги говорит: «Кончина великого князя Георгия великия перемены в России приключила и так, можно сказать, совсем ей новый вид дала; ибо как во все время

жизни своей князь Георгий не престаивал или добиваться, или сохранять киевский престол, самое сие привело в такое ослабление сие первое Российское княжение, что уж после смерти его оно владычествовать другими не могло... Как тогда Суздальское княжение простиралось на Владимир, Ростов, Москву и с одной стороны касалось киевскому и черниговскому, а с другой границам болгар и, сверх того, по пространности своей довольно многолюдно было, то уж силою своею стало власть киевскую превyšать, и частая перемена князей киевских, их междоусобные войны, частые нашествия половцев, а с другой стороны, непрерывное и покойное царствование сего князя Андрея учинило, что сие его княжение еще при жизни его стало владычествующим, или первым, княжением России почитаться». Таким образом, Щербатов ограничился только указанием причин усиления северного Суздальского княжества пред Киевским.

Карамзин взглянул на дело с другой стороны: он не коснулся причин усиления Суздальского княжества и обратил все свое внимание на причины, заставившие Андрея Боголюбского предпочесть Север Югу; по его мнению, Суздальская область вовсе не была сильнее Киевской; она была спокойнее последней, но менее образована; Владимир, по его словам, был обязан своею знаменитостью нелюбви Андреевой к Южной России. «Феатр алчного честолюбия, злодейств, грабительств, междоусобного кровопролития, Россия южная, в течение двух веков опустошаемая огнем и мечом, иноплеменниками и своими, казалась ему обителью скорби и предметом гнева Небесного. Недовольный, может быть, правлением Георгия и с горестию видя народную к нему ненависть, Андрей по совету шурьев своих, Кучковичей, удалился в землю Суздальскую, менее образованную, но гораздо спокойнейшую других. Там он родился и был воспитан; там народ еще не изъвлял мятежного духа... Суздаль, Ростов, дотоль управляемые Наместниками Долгорукого, единодушно признали Андрея Государем. Любимый, уважаемый подданными, сей Князь, славнейший добродетелями, мог бы тогда же завоевать древнюю столицу; но хотел единственно тишины долговременной, благоустройства в своем наследственном уделе; основал новое Великое Княжение Суздальское или Владимирское и приготовил Россию Северо-Восточную быть, так сказать, сердцем Государства нашего, оставив полуденную в жертву бедствиям и раздорам кровопролитным». Тогда как у Щербатова Юго-Западная Русь изнемогла вследствие неблагоприятных обстоятельств, а Северо-Восточная возвысилась, заняла ее место, вследствие того что в ней этих неблагоприятных обстоятельств не было, у Карамзина Северо-Восточная Русь обязана своим возвышением единственно личным достоинствам Андрея Боголюбского и нерасположению его к Юго-Западной Руси, которая казалась ему обителью скорби и предметом гнева Небесного. По мнению Карамзина, сила Андрея заключалась

единственно в его добродетелях: «Сей Князь, славнейший добродетелями, мог бы тогда же (тотчас по смерти отца) завоевать древнюю столицу».

Добродетели Андрея давали ему превосходство, силу пред прочими князьями, разум превосходный заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы: «Андрей Георгиевич, ревностно занимаясь благом Суздальского Княжения, оставался спокойным зрителем отдаленных происшествий. Имея не только доброе сердце, но и разум превосходный, он видел ясно причину государственных бедствий и хотел спасти от них, по крайней мере, свою область: то есть отменить несчастную Систему Уделов, княжил единовластно и не давал городов ни братьям, ни сыновьям».

IV

Мы видели, как оба историка, и Щербатов и Карамзин, признали важность дела Андрея Боголюбского, оставшегося по получении старшинства жить на Севере; оба они остановились на этом событии, оба старались объяснить его: Щербатов приписал его усилению Севера предпочтительно пред Югом, Карамзин — личным отношениям Андрея; ни тот, ни другой не коснулись следствий события. Карамзин при описании побуждений Андрея к предпочтению Севера намекнул об особенностях характера северного народонаселения; но, говоря потом о характере Андрея, о значении его княжения, не повторил этого намека, выразил сожаление, что Андрей, по своему личному расположению, покинул Юг для Севера, и таким образом Карамзин ясно высказал мысль, что и Юг был вполне способен к производству того порядка вещей, который утвердился на Севере. Вот этот любопытный отзыв об Андрее: «Боголюбский, мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соломоном, был, конечно, одним из мудрейших Князей Российских в рассуждении Политики, или той науки, которая утверждает могущество государственное. Он явно стремился к спасительному Единовластию, и мог бы скорее достигнуть своей цели, если бы жил в Киеве, уняв Донских хищников и водворил спокойствие в местах, облагодетельствованных Природою, издавна обогащаемых торговлею и способнейших к гражданскому образованию. Господствуя на берегах Днепра, Андрей тем удобнее подчинил бы себе знаменитые соседственные Уделы: Чернигов, Волынию, Галич; но, ослепленный пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное Государство, нежели восстановить могущество древнего на Юге». Причины смерти Андреевой рассмотрены Карамзиным и Щербатовым независимо от общего характера деятельности этого князя; независимо от нового значения, приобретенного Севером при Андрее, рассмотрено Карамзиным и дело епископа

Феодора, которое он, однако, называет удивительным и важным. На борьбу с Ростиславичами не обращено особенного внимания.

Любопытные события, происходившие на Севере по смерти Андрея Боголюбского, рассказаны у Щербатова и у Карамзина почти одинаково; важное рассуждение летописца, раскрывающее пред нами тогдашние отношения городов друг к другу, у обоих историков не приведено в целости, особо, а некоторые места из всего отдельно вставлены в рассказ о событиях, отчего смысл рассуждения теряет свою силу; вообще важнейшие отношения, которые связуют рассказываемые события с предыдущими, не являются на первом плане; притом, однако, мы должны заметить, что рассказ Карамзина гораздо удовлетворительнее, чем рассказ Щербатова; у первого не встречаем тех неуместных рассуждений о причинах событий, какие находим у второго, каково, например, рассуждение, почему суздальцы и ростовцы обратились в бегство в битве с Михаилом Юрьевичем.

На деятельность Всеволода III оба историка смотрят одинаково. По Щербатову, Всеволод «как силою своею, так и мудростию всю Россию почти в подданстве у себя содержал»; Карамзин в одном месте говорит: «Имея тайные намерения, он (Всеволод) не хотел совершенного падения Черниговских Князей, чтобы не усилить тем Киевского и Смоленского, равно противных замышляемому им Единовластию». В другом месте говорит, что Всеволод подобно Андрею Боголюбскому напомнил России счастливые дни единовластия. Но, признавая в Андрее Боголюбском и Всеволоде III стремления к единовластию, оба историка не признают ничего подобного в их преемниках, порывают предание, постоянно сохранявшееся у северных князей, порывают необходимую связь явлений, вследствие чего период от смерти Всеволода III до самого Иоанна Калиты лишен у них всякого значения; ничто не связывает деятельности Калиты и деятельности Всеволода III.

Вот что говорит Карамзин в начале главы о состоянии России с XI до XIII века: «Ярослав, могущественный и самодержавный, подобно Св. Владимиру, разделил Россию на Княжения; хотел, чтобы старший сын его, называясь Великим Князем, был Главою отечества и меньших братьев и чтобы Удельные Князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели от Киевского, как присяжники и знаменитые слуги его. Отдав ему многолюдную столицу, всю юго-западную Россию и Новгород, он думал, что Изяслав и наследники его, сильнейшие других Князей, могут удерживать их в границах нужного повиновения и наказывать ослушников. Ярослав не предвидел, что самое Великое Княжение раздробится, ослабнет и что Удельные Владетели чрез союзы между собою или с иными народами будут иногда предписывать законы мнимому своему Государю. Уже Всеволод I долженствовал воевать с частным Князем его собственной области, а Святополк II отвечал как подсудимый

на вопросы Князей Удельных. Одаренные мужеством и благоразумием, Мономах и Мстислав I еще умели повелевать Россиею; но преемники их лишились сей власти, основанной на личном уважении, и Киев зависел наконец от Суздаля. Если бы Всеволод III, следуя правилу Андрея Боголюбского, отменил Систему Уделов в своих областях; если бы Константин и Георгий II имели государственные добродетели отца и дяди, то они могли бы восстановить Единовластие. Но Россия, по кончине Всеволода Георгиевича, осиротела без Главы, и сыновья его совсем не думали быть Монархами».

При таком взгляде понятно, почему автор не дал особенного значения знаменитым событиям, последовавшим на Севере по смерти Всеволода III; почему не только Георгий и Константин Всеволодовичи являются недостойными преемниками отца своего и деда, не умевшими поддержать их стремлений, но даже и любопытная, резко выдающаяся деятельность третьего брата, Ярослава, не нашла себе надлежащей оценки. В то время как Мстислав Удалой величается искусным политиком, Ярослав называется только надменным и мстительным, и причину борьбы его с Новгородом являются только эти его качества.

Мы привели взгляд Карамзина на деятельность Андрея Боголюбского, брата его Всеволода III и преемников их, как этот взгляд выражен в начале VII главы III тома. Глава эта, заключающая изображение состояния России с XI до XIII века, очень замечательна и сама по себе, особенно же заслуживает внимания по сравнению с подобною же главой у Щербатова, которую бесконечно превосходит, несмотря на то что при настоящем состоянии науки мы со многим в ней уже не можем согласиться. В сказавшем приведенное мнение о характере деятельности князей, Карамзин говорит, что «Ярослав разделил Государство на четыре области, кроме Полоцкой... в течение времени каждая из оных разделилась еще на особенные Уделы, и Князья первых стали после называться Великими в отношении к частным, или *Удельным*, от них зависевшим»; в примечании же он говорит: «В сем смысле Рязанские, Тверские, иногда Смоленские и Черниговские именовались Великими, а не Местными, как сказал Болтин. Последнее название принадлежит новейшим временам. Князь *Местный* значил то же, что *Поместный*, он был ниже Удельного или Владетельного».

Но здесь прежде всего нужно было определить время, когда князья рязанские, тверские, смоленские стали называться великими. Конечно, не в период с XI до XIII века; Болтин не прав: название *местных* князей не относится к князьям рязанским, тверским, смоленским, а принадлежит действительно позднему времени; но так же точно к позднему времени принадлежит и название *удельных князей* и потому не может быть допущено при изображении периода с XI до XIII века; нельзя согласиться и с тем, чтобы *местный князь* был ниже удельного, потому что в памятниках *мест-*

ный употребляется вместо *удельного*, противопоставляясь великому; например: «Земля наша и сущих окрест нас братий наших, великих князей дръжавы и поместных князей и начальников, елико кто под собою имеет, вси суть в благочестии».

Причиною междоусобий Карамзин вполне справедливо полагает спорное право наследства. «Мы уже заметили выше, — говорит он, — что, по древнему обычаю, не сын, но брат умершего Государя или старший в роде долженствовал быть его преемником. Мономах, убежденный народом властвовать в столице по кончине Святополка-Михаила, нарушил сей обычай; а как родоначальник Владетелей Черниговских был старше Всеволода I, то они в сыновьях и внуках Мономаховых ненавидели похитителей Великокняжеского достоинства и воевали с ними». Карамзин обратил внимание и на то, что состояние соседних государств помешало им воспользоваться усобицами русских князей; заметил неопределенность в отношениях между властью княжескою и городами; указал на значение духовенства, дружины, на состояние войска, торговли, художеств, наук, нравов. Обо всем этом сказано кратко; многого еще остается желать читателю; но высказанные положения большею частию справедливо. Менее других удовлетворительны положения относительно дружины. «Каждый город, — говорит Карамзин, — имел особенных ратных людей, Пасынков, или Отроков Боярских (названных так для отличия от Княжеских), и Гридней, или простых Мечников, означаемых иногда общим именем воинской дружины». Основания, почему пасынков автор считает отроками боярскими, не показаны, и показать их из источников нельзя. Далее, нельзя понять также, почему гридни называются простыми мечниками и что такое будут мечники непростые. Но мы должны заметить также, что вопрос о древней дружине и теперь еще чрезвычайно труден для решения; следовательно, не можем требовать много от первого опыта.

Мы видели, что Карамзин не признал преемства стремлений между Всеволодом III и его потомками; несмотря на то, над Ярославом, самым замечательным из сыновей Всеволода III, произнесен следующий приговор: «Ярослав, в юности жестокий и непримиримый от честолюбия, украшался и важными достоинствами, как мы видели: благоразумием деятельным и бодростию в государственных несчастиях, был возобновителем разрушенного Великаго Княжения». Но, верный своему взгляду, автор не показывает, какая была цель и какие были следствия честолюбия Ярослава, чем это честолюбие разнилось от честолюбия Всеволодова и Андреева.

Не знаем, почему должны мы назвать Ярослава жестоким, если сравнить его поведение с поведением отца и дяди? Если же действительно Ярославу принадлежит честь возобновления разрушенного великаго княжения, то это такой подвиг, который должен поставить его наряду величайших государей, особенно если вспомнить, что на это возобновление он мог употребить не более семи лет. Что-нибудь

одно: или возобновление не было трудно, то есть разрушение, причиненное татарами, не было очень сильно, или Ярославу история не воздает достойной чести, если не только не дает ему места выше или наравне с Мономахом, Андреем Боголюбским и Всеволодом III, но даже ставит его несравненно ниже их. Вследствие того же взгляда, по которому стремления Боголюбского и брата его не передаются в наследство потомкам, Александр Невский изображается только как добродетельный человек, как государь, заслуживший своими нравственными качествами сильную любовь подданных, без показания отношения его деятельности до деятельности предшественников: как в Ярославе не виден сын Всеволода III и племянник Боголюбского, так в Невском не виден сын Ярослава и внук Всеволода III. Вот как описывается погребение Св. Александра, после чего автор переходит к оценке значения этого князя: «Тело Великого Князя уже везли в столицу: несмотря на жестокий зимний холод, Митрополит, Князья, все жители Владимира шли на встречу ко гробу до Боголюбова; не было человека, который бы не плакал и не рыдал; всякому хотелось облобызать мертвого и сказать ему, как живому, чего Россия в нем лишилась. Что может прибавить суд Историка, в похвалу Александра, к сему простому описанию народной горести, основанному на известиях очевидцев? Добрые Россияне включили Невского в лик своих Ангелов-Хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи: столь потомство верило мнению и чувству современников в рассуждении сего Князя! Имя Святого, ему данное, гораздо выразительнее Великого, ибо Великими называют обыкновенно счастливых; Александр же мог добродетелями своими только облегчить жестокую судьбу России, и подданные, ревностно славя его память, доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства Государей и не всегда полагает их во внешнем блеске Государства. Самые легкомысленные Новгородцы, неохотно уступив Александру некоторые права и вольности, единодушно молили Бога за усопшего Князя, говоря, что «он много потрудился за Новгород и за всю землю Русскую» ».

Последние строки, без ведома автора, связывают деятельность Александра Невского с деятельностью его отца и деда и отличают деятельность его от деятельности, например, Мстислава Храброго, который также пользовался сильной народной любовью во всех концах Руси. Александр стремился к изменению новгородского быта точно так же, как стремились к этому его отец и дед, тогда как в Мстиславе мы не видим подобных стремлений.

Вследствие того же основного воззрения автор не допускает связи между деятельностью Ярослава и Василия Ярославичей и деятельностью предшественников их; но всего явственнее выражается этот основной взгляд при изображении усобицы между сыновьями Невского, Дмитрием и Андреем. Упразднение старого обычая, по

которому великокняжеское достоинство принадлежало старшему в роде, — это упразднение не признается явлением, необходимо ведущим к установлению нового порядка вещей, к утверждению единовластия, вследствие чего не признается важным значение тех лиц, которые содействовали этому упразднению, каковы были: Михаил Хоробрит Московский и Андрей Александрович Городецкий. О первом упомянуто вскользь; деятельность второго рассматривается независимо от общего хода событий, без отношения к предыдущему и последующему: Андрей является князем, восставшим против старого обычая для удовлетворения своему честолюбию и не разбиравшим средств для этого удовлетворения, называется злым сыном отца, столь великого и любезного России. Мы заметили уже, что взгляд, по которому нет преемства стремлений между Всеволодом III и потомками его, — этот взгляд историком XIX века наследован от историка XVIII века, есть общий у Карамзина с Щербатовым. Как оба историка сходятся друг с другом при описании событий XIII и начала XIV века, всего яснее видно из отзывов обоих о деятельности великого князя Андрея Александровича: у Щербатова Андрей, «жегомый честолюбием и побуждаемый к оному единым боярином и советником своим Семеном Тонглиевичем, поехал в Орду, где наперед низкими своими поступками и великими дарами у корястолюбивых татарских вельмож вкрался в любовь, и оклеветаньями своими брата своего князя Дмитрия им подозрительна сделал». Потом Щербатов приписывает даже преждевременную смерть Андрея непомерному честолюбию.

По смерти Андрея открывается новая усобица точно с таким же характером, как и усобица между Александровичами, причем Тверской князь Михаил соответствует положением своим Дмитрию, а Юрий Московский — Андрею, с тою разницею, что Юрий еще менее разборчив в средствах, чем Андрей; следовательно, читатель имеет право ожидать от историка такого же строгого приговора и Юрию, какой произнесен был над Андреем. И действительно, в начале описания борьбы встречаем следующие строки: «Современные Летописцы винят одного Князя Московского, который, в противность древнему обыкновению, спорил с дядею о старейшинстве. Сверх того, Георгий по качествам черной души своей заслуживал всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества». Но любопытно, что в конце рассказа приговор этот уже значительно смягчен при описании погребения Юрия: «Князь Иоанн (Калита) и самый народ проливал искренние слезы, умиленный столь бедственною кончиною Государя хотя и не добродетельного, однако ж знаменитого умом и славными предками».

До сих пор при рассматривании деятельности каждого князя в отдельности от общего хода событий, определившегося на Севере со времен Андрея Боголюбского, историку было легко произносить

свои приговоры; но теперь эта легкость начинает исчезать, когда обнаруживаются важные следствия этих постоянных стремлений, значения которых прежде историк не признавал. Борьба идет с прежним характером, деятели употребляют такие же средства для достижения своей цели; но эта цель становится теперь яснее для историка, и он, с одной стороны, принужден признать важность цели, важное значение деятельности лиц, стремившихся к ней; с другой стороны, по нравственному чувству, которое так отличает разбираемого нами писателя, он должен произнести приговор и средствам, употреблявшимся для достижения цели. Мы заметили, что уже относительно характера Юрия Московского наш автор нашелся принужденным смягчить свой прежний приговор: понятно, что эта перемена во взгляде на деятельность князей должна быть еще заметнее при определении деятельности брата Юриева Иоанна Калиты.

Что в его предшественниках являлось бесцельным честолюбием, то теперь называется мудрою политикою: «Благоразумный Иоанн — видя, что все бедствия России произошли от несогласия и слабости Князей, — с самого восшествия на престол старался присвоить себе верховную власть над Князьями древних уделов Владимирских и действительно в том успел... Так Московский Боярин и Воевода... уполномоченный Иоанном, жил в Ростове и казался истинным Государем... Самые Владетели Рязанские должныствовали следовать за Иоанном в походах; а Тверь, сетуя на развалинах и сиротствуя без Александра Михайловича, уже не смела помышлять о независимости. Но обстоятельства переменились, как скоро сей Князь возвратился бодрый, деятельный, честолюбивый. Быв некогда сам на престоле Великокняжеском, мог ли он спокойно видеть на оном врага своего? мог ли не думать о чести, снова уверенный в милости Ханской? Владетели Удельные хотя и повиновались Иоанну, но с неудовольствием и рады были взять сторону Тверского Князя, чтобы ослабить страшное для них могущество первого... Боясь утратить первенство, и лестное для властолюбия, и нужное для спокойствия Государства, Иоанн решился низвергнуть опасного совместника».

Таким образом, Иоанн Калита, после Андрея Боголюбского и Всеволода III, является первым князем, который начинает стараться присвоить себе верховную власть над другими князьями; мысль о единовластии является у него вдруг, без приготовления, без связи с предыдущими явлениями. Этот приговор высказывается еще резче в заключение рассказа о княжении Калиты, где говорится, что последний «указал наследникам путь к единовластию и величию». Но, допустив важность цели, хотя со времен Иоанна Калиты, Карамзин, по нравственному чувству, не мог вполне оправдать средств, которыми эта цель достигалась: «Справедливо хваля Иоанна за сие государственное благодеяние (указание пути к единовла-

стию), простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной Политики. Суд Истории, единственный для Государей — кроме суда Небесного, — не извинит и самого счастливого злодейства: ибо от человека зависит только дело, а следствие — от Бога».

Признание стремлений к единовластию, хотя со времен Иоанна Калиты, было важным шагом вперед у историка XIX века, ибо предшествовавший историк XVIII века, кн. Щербатов, еще не обращает внимания на это значение Калиты и так отзываясь о характере последнего: «Что касается до его обычая, он был человек весьма набожный, щедр к бедным. Однако при сих добродетелях не неприступен был к честолюбию, хотя для достижения до своих намерений скрытым образом и великим терпением доходил, что самое было причиною, что, не проникая оных не столь его, как татары, так и российские князья опасались, однако он достиг до того, что низложил с престола князя Александра Михайловича, и осторожности свои противу сего предприимчивого князя толь далеко распростерл, что наконец и причиною смерти его учинился. Что касается до храбрости, мы не видим, чтоб он где ее показал или б и имел случай показать, ибо весьма убежал от войны. Таковой тихий и скромный его нрав был причиною, что он во всю жизнь за главный предмет себе имел исполнить волю татарскую и слепо во всем им повиновался. Но самый недостаток сей в блистательных способностях и твердости действительно к пользе России послужил, ибо татары, по сим причинам ничего от него не опасаясь, оставили его спокойно сидеть на великом княжении; и сие во все время его правления продолжавшееся спокойствие дало случай великому княжению владимирскому и московскому от опустошений татарских исправиться и долгое сие правление народ неким образом приучил к повиновению великому князю и к обязанности к нему и к его потомству, которое по благосклонности татарской, царствуя после князя Иоанна Даниловича, и достигло наконец до освобождения России от ига их».

И при описании важного события, давшего торжество Москве над Тверью, Иоанну над Александром, именно при описании восстания тверичей против Шевкала и татар его, Карамзин пронизательнее Щербатова. Последний так рассуждает: «Хан Узбек поражен бесновением к магометанскому закону, не токмо употреблял все свои силы, дабы оный в татарских и других нехристианских народах ему подвластных утвердить, но также хотел на разорении вместе и правления великих князей и веры христианския его в России распространить и сего ради послать сего посла (Шевкала)» и проч. Карамзин сомневается в справедливости этого слуха; он говорит: «Бедный народ, уже привыкнув терпеть насилия Татарские, искал облегчения в одних бесполезных жалобах; но содрогнулся от

ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный читатель Алкорана, намерен обратить Россиян в Магометанскую Веру, убить Князя Александра с братьями, сесть на его престоле и все города наши раздать своим Вельможам... Сей слух мог быть неоснователен: ибо Шевкал не имел достаточного войска для произведения в действо намерения столь важного и столь несогласного с Политикою Ханов, хотевших всегда быть покровителями Духовенства и Церкви в набожной России». У Щербатова явление взято отдельно, само по себе, как оно рассказано у летописца; у Карамзина оно уже поверяется рядом других явлений, приводится в связь с общим ходом событий.

Но с другой стороны, мы не должны забывать и тех попыток, которые сделала наука XVIII века для объяснения некоторых любопытнейших явлений внутренней жизни нашего народа, тем более что результаты этих попыток сделались так плодотворны в науке XIX века. Щербатов останавливается на отъезде тверских бояр в Москву и так рассуждает об этом явлении: «Тогда как таковые дела в областях новгородских происходили, князь Александр пребывал в Твери, где вскоре новые ему огорчения от неудовольствия на его тверских бояр учинились, которые и отъехали от него в Москву к великому князю Иоанну. Летописатели наши нимало не повествуют о причинах сего неудовольствия, и трудно без всяких знаков поступка сего князя, его ли оправдать или бояр обвинить. Тако не в утверждение, но токмо яко догадку нужную для связи деяний и проницания тайных причин дел осмелюсь предложить, что долгоевременное пребывание князя Александра в Пскове и оказуемая к нему верность от Псковитян, может быть, склонили его и по приезде в Тверь взять многих псковских бояр с собою и правление им препоручить, что, может статься, и огорчило бояр тверских: ибо точно помянуто, что бояре от него отъехали. Самый сей отъезд боярский требует изъяснения, каким образом они могли покинуть своего природного князя и отъехать к другому: хотя в летописцах и не обретаются изъяснения о сем, но мною, что с основанием могу приложить к изъяснению сего найденное о нраве бояр в грамоте духовной великого князя Иоанна Даниловича: «А что есмь купил село в Ростове Богородичское, а дал есмь Бориску-Воркову, аже иметь сыну моему, которому служить, село будет за ним: не иметь ли служить детям моим, село отоимут»».

Здесь, конечно, нужно было основаться на другом, более ясном свидетельстве княжеских договоров; но важна попытка объяснить одно из любопытнейших явлений нашей древней истории и объяснить темные, недоказанные известия летописи другими дополнительными источниками. Карамзин почти слово в слово повторил замечание Щербатова, даже сослался на то же самое место духовного завещания Калиты, не упомянув также о повторяющемся постоянно в княжеских договорах условии, которое еще определеннее указывает на боярские отъезды: «А боярам меж нас и слугам вольным

воля». Вот как говорит об этом Карамзин: «В сие время многие Бояре Тверские... переехали в Москву с семействами и слугами; что было тогда не бесчестною изменою, но делом весьма обыкновенным. Произвольно вступая на службу Князя Великого, или Удельного, Боярин всегда мог оставить оную, возвратив ему земли и села, от него полученные. Вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчины, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые Вельможи завидовали... Сие могло быть достаточным побуждением для Тверских бояр искать службы в Москве» и прочее.

Сын Калиты Симеон называется у Карамзина хитрым и благо-разумным; но брат его Иоанн, державший после него великое княжение, называется тихим, миролюбивым и слабым, потому что в летописи он назван кротким, тихим и милостивым. Но мы не знаем, имел ли историк право вместо третьего прилагательного «милостивый» поставить *слабый*, тем более что справедливость такого отзыва не видна из дел Иоанновых, как они описаны у летописца. Другое дело — как они описаны у историка: назвав с самого начала Иоанна слабым, историк в каждом его поступке видит признак слабости. Иоанн уклонился от войны с Олегом Рязанским, по словам историка; но должно было прибавить, что с Олегом Рязанским был заключен мир, вовсе не безвыгодный для Москвы, ибо, отдав некоторые волости, Москва приобретала другие; надобно заметить также, что в войне с Олегом Рязанским не всегда был счастлив и сын Иоаннов Димитрий, которого никто не называет слабым. Иоанн, по словам историка, терпеливо сносил послушание новгородцев в первое время своего княжения; но мы должны заметить, что при войне с Рязанью и во время опустошений, причиненных черною смертью, нельзя было думать о Новгороде.

Представление о слабости Иоанна завело так далеко историка, что он приписал ей волнение в других независимых княжествах, как будто Московский князь имел на них тогда какое-нибудь влияние. Наконец, слабости Иоанновой приписывается происшествие в Москве с тысяцким Алексеем Петровичем; но сам историк говорит, что это происшествие осталось под завесою тайны; следовательно, какой же решительный отзыв мы можем произнести о нем и о действиях великого князя по этому случаю? Одним словом, нет ни одного поступка, из которого бы мы могли заключить о слабости Иоанновой; но есть, наоборот, такие, из которых можем заключить о противном. Князь Щербатов выставил их на вид, хотя также принял во внимание отзыв летописца. «Однако при всем сем являлось, — говорит он, — что он толико мудрости к тихому своему обычаю приобщал, что никогда честолюбие других князей не могло осмелиться спокойство его нарушить, как сие видно по здержанию им честолюбия князя Константина Суздальского и по недопущению посла татарского поставить границ между Московского и Рязанского Княжений».

Рассказ о княжении Дмитрия Константиновича Суздальского Карамзин начинает так: «Избранный Ханом Великий Князь въехал во Владимир, к удовольствию жителей обещая снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Он надеялся, как вероятно, перезвать туда и Митрополита; но Алексей, благословив его на Княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обет Святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба». Мы должны заметить, что в источниках не говорится ничего об обещании князя Дмитрия Константиновича снова возвысить достоинство Владимира: притом же мы ничего не можем заключить о намерениях и надеждах Дмитрия по кратковременности его княжения. Восстание малолетнего Дмитрия Московского против Дмитрия Суздальского автор приписывает внушениям вдовствующей княгини московской, митрополита Алексея и верных бояр, которые пеклись о благе отечества и государя. Но почему же боярин Андрея Городецкого Семен Тонильевич, внушивший своему князю мысль о восстании против Дмитрия Переяславского, не представлен также человеком, заботившимся о благе отечества и государя, а, напротив, представлен злодеем? Это потому, что автор не признает ничего общего между деятельностью предшественников Калиты и деятельностью его потомков и в стремлении последних к собранию земли находит перерыв после смерти Симеона Гордого до вступления на престол Дмитрия Иоанновича: «Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело Единодержавия: Иоанн Иоаннович и Дмитрий Суздальский остановили успехи онога и снова дали частным Владетелям надежду быть независимыми от престола Великокняжеского. Надлежало поправить расстроенное сими двумя Князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с тою смелою решительностью, коими немногие Государи славятся в Истории».

Мы видели, что нет основания в Иоанне II видеть князя слабого, расстроившего то, что было сделано его предшественниками. О кратковременном же княжении Дмитрия Суздальского мы решительно не можем произнести никакого приговора; мы видим только одно, что Москва была сильнее Суздаля и, следовательно, при Иоанне II не было расстроено то, что было создано при Калите и Симеоне; видим, что «Провидение», по словам Карамзина, «даровало Дмитрию Московскому пестунов и советников мудрых»; но эти мудрые советники были и при Иоанне: если, как выражается Карамзин, они воспитали величие России во время малолетства Дмитриева, то они не могли губить это величие при отце последнего, кротком, тихом и милостивом князе.

Отношение деятельности Калиты и Симеона Гордого к деятельности Дмитрия Донского определяется так: «Калита и Симеон готовили свободу нашу более умом, нежели силою: настало время обнажить меч. Увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословенные Гением России: ибо гром их пробудил ее

снящую славу и народу уничиженному возвратил благородство духа».

Первым делом в княжении Дмитрия Иоанновича было вторичное изгнание Дмитрия Суздальского из Владимира. Карамзин описывает это событие так: «Юный внук Калиты... выступил с полками, чрез неделю изгнал Дмитрия Константиновича из Владимира, осадил его в Суздале и, в доказательство великодушия, позволил ему там властвовать как своему присяжнику». До нас не дошли договоры между обоими Дмитриями, и потому мы никак не можем определить, в каких отношениях находился после того Суздальский князь к Московскому: в отношении ли присяжника или в других каких-либо. Летописец говорит, что Дмитрий Московский *взял волю свою* над Суздальским; но в чем состоит эта воля — мы не знаем; ближе всего заключить, что Суздальский князь отказался навсегда от притязаний на великое княжение Владимирское. В изгнании князей Галицкого и Стародубского из их отчин Карамзин видит ясно оказавшуюся мысль великого князя или умных бояр его мало-помалу искоренить систему уделов. Но, «отнимая Уделы свойственников дальних, — говорит наш автор, — Великий Князь не хотел поступить так с ближними, и Княжение Московское оставалось еще раздробленным». Это сказано по случаю договора, заключенного между Дмитрием и двоюродным братом его, Владимиром Андреевичем.

Карамзин не признает нужным сравнить этот договор с договорами предшествовавшими и обратить внимание на особенности его; он говорит, что договор был выгоден для обоих. Любопытно посмотреть, как переводятся статьи этого важного договора. В подлиннике: «Жити ны потому, как то отцы наши жили с братом своим с старшим, з дядею нашим с Князем с великим с Семеном. А тебе, брату моему молодшему Князю Володимеру, держати ти подо мною княженъе мое великое честно и грозно, а добра ти мне хотети во всем: а мне, Князю великому, тебе брата своего держати в братстве, без обиды во всем». В переводе: «Мы клянемся жить подобно нашим родителям; мне, Князю Владимиру, уважать тебя, Великого Князя, как отца, и повиноваться твоей верховной власти; а мне, Дмитрию, не обижать тебя и любить, как меньшого брата». Но мы знаем, что в договоре отцов Дмитриева и Владимирова с старшим братом Симеоном не было условия: «держатъ Великое Княжение честно и грозно»; это Карамзин заблагорассудил перевести: «повиноваться твоей верховной власти». Далее в подлиннике: «А которые слуги потягли к дворьскому, а черные люди к сотником, тых ны в службу принимати, но блюсти ни их с одинаго, такоже и численных людей». В переводе: «Людей черных, записанных в Сотни, мы не должны принимать к себе в службу, ни свободных земледельцев, мне и тебе вообще подведомых». Исключив слуг, зависевших от дворского, автор перевел «численных людей» свободными зем-

ледельцами и выражение: «мне и тебе вообще подведомых» — отнес только к численным людям. В подлиннике: «А что наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, как было при наших отцах», в переводе: «Выходцам Ординским отправлять свою службу, как в старину бывало» — и прибавлено замечание: «Сим именем означались Татары, коим наши Князья дозволяли селиться в Российских городах».

Здесь исключены делюи, касательно же ордынцев из договора великого князя Симеона с братьями видно, что это были пленники, выкупленные из Орды. В подлиннике: «А тебе, брату моему молодшему, мне служить без ослушанья по згадце, како будет мне слично и тебе, брату моему молодшему; а мне тебе кормити по твоей службе. А коли ти будет вести со мною на конь, а кто будет твоих бояр и слуг, где кто ни живет, тем быти под твоим стягом»; в переводе: «Ты, меньший брат, участвуй в моих походах воинских, имея под Княжескими знаменами всех бояр и слуг своих; за что во время службы твоей будешь получать от меня жалованье». Здесь переменен порядок условий; обещание: «а мне тебе кормити по твоей службе» — никак не может относиться только к походу; выражение: «кормити по твоей службе» — никак не может относиться ко времени службы. В подлиннике: «А коли мы будет где отпущати своих воевод из Великого Княженья, тебе послати своих воевод с моими воеводами вместе без ослушанья; а кто ся ослушает, того ми казнити, а тебе, брату моему, со мною. А кого коли оставити у тебя бояр, про то ти мене доложити, то ны учините по згадце; кому будет слично ся остати, тому остатися, кому ехати, тому ехати». Это важное условие совершенно исключено в переводе.

За договором между двоюродными братьями следует описание смут нижегородских, в которых великий князь Московский принимал деятельное участие. Вот как рассказывает об этом летописец: во время страшного морового поветрия умер великий князь Нижегородский Андрей Константинович, старший брат Дмитрия Константиновича Суздальского. Последний хотел занять Нижний; но здесь уже засел третий, самый младший брат Борис Константинович, который и не пустил старшего в Нижний. В это самое время сын Дмитриев Василий вынес из Орды отцу в третий раз ярлык на великое княжение Владимирское; но Дмитрий, испытав уже два раза силу Москвы, предпочел теперь отказаться от ярлыка в пользу Дмитрия Московского, с тем чтобы последний помог ему за это овладеть Нижним: «Князь Дмитрий Константинович приде в Новгород Нижний, и не поступися ему княжения новгородского брат его меньший, князь Борис Константинович. Того же лета приде из Орды князь Василий Кирдяпа Суздальский, сын Дмитриев, и вынесе ярлыки на Княжение Великое Владимирское князю Дмитрию Константиновичу Суздальскому; он же не восхоте и оступися великого княжения володимерского Великому Князю

Дмитрею Ивановичю Московскому, а испросил у него силу к Новгороду к Нижнему на своего меньшого брата, на князя Бориса Константиновича».

Карамзин в своем рассказе поставил вынесение ярлыков и отказ Дмитрия Константиновича принять их прежде смерти князя Андрея Константиновича и спора между его братьями, Дмитрием и Борисом, отделил, следовательно, отказ Дмитрия Константиновича принять ярлык от просьбы его к Дмитрию Московскому о присылке войска на помощь: «Между тем в Сарае один Хан сменил другого, преемник Мурутов, Азис, думал также низвергнуть Калитина внука, и Дмитрий Константинович снова получил Ханскую грамоту на Великое Княжение, привезенную к нему из Орды весною сыном его, Василием... но сей Князь, видя слабость свою, дал знать Дмитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиса и навеки отказывается от достоинства Великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель; однако же Дмитрий Иоаннович изъявил ему за то благодарность. Андрей Константинович превратился в Нижнем: желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его, Борисом, Князь Суздальский прибегнул к Московскому» и проч.

Под 1364 годом в летописи помещено известие о большом пожаре в Москве; под 1367-м — известие о заложении каменного Кремля, причем летописец как хочет будто соединить намерение великого князя укрепить свой город каменными стенами с намерением усилиться на счет других князей: «Князь великий Дмитрий Иванович заложил град Москву камени и начаша делати безпрестанно и всех князей русских привожаше под свою волю». Карамзин, описав большой пожар, продолжает: «Видя, сколь деревянные укрепления ненадежны, Великий Князь в общем совете с братом, Владимиром Андреевичем, и с Боярами решился построить каменный Кремль и заложить его весною в 1367 году. Надлежало, не упуская времени, брать меры для безопасности отечества и столицы, когда Россия уже явно действовала против своих тиранов (татар): могли ли они добровольно отказаться от господства над нею и простить ей великодушную смелость?»

Эти слова составляют переход к известию о победах князей Рязанского и Нижегородского над двумя татарскими муразами. Описав эту победу, автор продолжает: «Сии ратные действия предвещали важнейшая. Великий Князь, готовясь к решительной борьбе с Ордою многоглавою, старался утвердить порядок внутри отечества. Своевольство Новгородцев возбудило его негодование» и проч. Здесь также ясно можно видеть, как обыкновенно Карамзин соединяет события, следующие в летописи одно за другим в хронологическом порядке: известие о пожаре соединяется с известием о построении каменной крепости, как причина с следствием; но

немедленно тут же для построения каменного Кремля отыскивается другая причина, потому что это событие необходимо связать с победами Рязанского и Нижегородского над татарами, победами, которые не находились ни в какой связи с московскими событиями по отдельности Рязани и Нижнего от Москвы. Но эти победы представляются подготовлением Московского великого князя к решительной борьбе с Ордою, потому что нужно было сделать переход от борьбы Рязани и Нижнего с татарами к делам московским, а так как эти дела касались Новгорода, то понадобилось сказать, что Димитрий Иоаннович потому хотел унять новгородских разбойников, что старался утвердить порядок внутри отечества, готовясь к решительной борьбе с Ордою...

За рассказом об отношениях Москвы к Новгороду следует рассказ о событиях тверских, который начинается так: «Самая язва не прекратила междоусобия Тверских Князей». Надобно заметить, что язва именно была причиною междоусобий, потому что споры возникли за отчины князей, умерших от язвы. Москва приняла деятельное участие в тверских усобицах; самый деятельный из тверских князей, Михаил Александрович, был зазван в Москву под предлогом дружеских соглашений и задержан здесь. В начале рассказа об этом событии Карамзин говорит: «Прозорливые советники Димитриевы, боясь замыслов Михаила — который назвался Великим Князем Тверским и хотел восстановить независимость своей области,— употребили хитрость». В конце рассказа он отзывается о поступке московских бояр так: «Обман, не достойный Правителей мудрых!»

Здесь должно заметить, что титул великого князя, употребленный Михаилом Тверским, никак не мог возбудить подозрительности в Москве, потому что такой титул употребляли князья Смоленский, Нижегородский, Рязанский, Пронский и никогда Московские князья не оспаривали его у них. Мы не можем умолчать также о любопытном изложении побуждений, заставлявших ехать в Москву: «Михаил желал видеть столицу Димитрия (уже славную тогда в России), узнать его лично, беседовать с благоразумными Вельможами Московскими». Что касается описания всех этих событий у предшествовавшего историка, князя Щербатова, то у него нет таких переходов между событиями, какие употребляются Карамзиным, и чрез это во многих случаях сохраняется большая верность источникам; но зато у Карамзина мы не встречаем тех странностей, которые попадают у Щербатова. Примером таких странностей может служить рассуждение Щербатова о построении каменного Кремля — рассуждение, начавшееся довольно благовидно: «Великий князь Димитрий, не упуская ни единого случая к утверждению своей власти и к усилению России, пользуясь, с одной стороны, несогласиями ханов татарских, а с другой — покоем России и подбострастием к нему всех князей, предпринял

град Москву каменными стенами оградить, чтоб чрез сие учинить ее в состоянии сопротивляться нападениям и толико удержать врагов, чтоб он мог силы собрать; ибо в такое время, в которое искусство осаждать и брать града можно сказать почти не знаемо было, укрепленный град мог долгое время удержать сильнейшее воинство и великим подкреплением быть тому, кому он принадлежал. Сих ради причин великий князь, соглашася с братом своим Владимиром Андреевичем, начали строение сея каменные ограды, которую мно быти прежде построенную, где ныне стена, называемая Китай, может статься, что и самое имя сие было стене сей дано в изъявление подданства ханам татарским, коих единое колено действительно тогда владело Китаем».

Щербатов везде считает свою непременною обязанностью объяснять причины явления, во что бы ни стало. У Дмитрия Московского началась война с Олегом Рязанским; летописцы причин войны не объявляют. Щербатов говорит: «Видим по грамотам великих князей, что прежде толь твердый союз между великим князем и сим Олегом был, что он и во всегдашние посредники в случающихся несогласиях между князем тверским и в князем Дмитрием Иоанновичем избран был; что же помutilo сию дружбу и добрую поверенность? За недостатком известий принуждены здесь сие догадками пополнить: не самое ли сие посредство и было причиною сего несогласия, когда Олег в случающихся по сему делам пристрастие свое к князю тверскому показывал».

Щербатов приводит свое объяснение как догадку; Карамзин поступает решительнее; он говорит: «Явился новый неприятель, который хотя и не думал свергнуть Дмитрия с престола Владимирского, однако ж всеми силами противоборствовал его системе Единовластия, ненавистной для Удельных Князей: то был смелый Олег Рязанский, который еще в государственование Иоанна Иоанновича показал себя врагом Москвы. Озабоченный иными делами, Дмитрий таил свое намерение унижить гордость сего Князя и жил с ним мирно: мы видели, что Рязанцы ходили помогать Москве, теснимой Ольгердом. Не опасаясь уже ни Литвы, ни Татар, Великий Князь скоро нашел причину объявить войну Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому спорить о неясных границах между их владениями». Итак, причиною войны объявлена неуступчивость Олега в пограничных спорах, причем сказано еще, что Олег противоборствовал системе единовластия, хотя этому противоборству противоречит помощь, оказанная рязанцами Москве. О гордости Олега мы ничего не знаем; о пограничных спорах также; заметим еще, что если система единовластия была ненавистна для удельных князей, то она не могла быть ненавистна для Олега, потому что он никогда не был удельным князем, но был великим, независимым от Московского.

Всюду заметны следы этого воззрения, по которому один только

Владимирско-Московский князь был великим, а все другие, и Рязанский, и Нижегородский, и Тверской,— его удельными, ему подчиненными. Так, при описании гибели татарского посла в Нижнем автор говорит: «Вопреки, может быть, слову, данному Ханом, Послы Мамаевы, приехав в Нижний с воинскою дружиною, нагло оскорбили тамошнего Князя Дмитрия Константиновича и граждан: сей Князь, исполняя, как вероятно, предписание Московского, велел или дозволил народу умертвить Послов... Неизвестно, старался ли Дмитрий Константинович, или Великий Князь, оправдать сие дело пред судилищем Ханским; по крайней мере гордый Мамай не стерпел такой явной дерзости и послал войско опустошить пределы Нижегородские... Сия месть не могла удовлетворить гневу Мамаеву: он клялся погубить Дмитрия, и Российские мятежники взялись ему в том поспешествовать».

Так как Нижегородский князь не зависел от Московского, то нет никакой вероятности, чтобы он исполнил предписание последнего; в источниках нет ни малейшего намека на то, чтобы Мамай клялся погубить Дмитрия Московского за нижегородское дело; из них ясно видно только, что враждебные отношения между Мамаем и великим князем Московским начинаются не прежде того времени, как Иван Вельяминов и Некомат вооружили хана против Дмитрия в пользу Михаила Тверского. По поводу Ивана Вельяминова автор говорит: «Мы упоминали о знаменитости Московских чиновников, называемых Тысяцкими, которые, подобно Князьям, имели особенную благородную дружину и были, кажется, избираемы гражданами, согласно с древним обычаем, чтоб предводительствовать их людьми военными».

Чтобы тысяцкие избирались гражданами и имели особенную благородную дружину, на это нет указаний в источниках; в Новгороде тысяцкий действительно избирался вместе с посадником, но это явление принадлежит к особенностям новгородского быта; касательно же других городов есть ясные свидетельства, что тысяцкие назначались князьями — говорится, что такой-то князь дал тысячу такому-то из своих приближенных, сказал ему: «Ты держи тысячу». Что касается дружины тысяцкого, то автор ссылается на одиннадцатую главу IV тома своей «Истории», где действительно опять читаем, что тысяцкий был окружен благородною, многочисленною дружиною; но опять не видим основания такому утверждению; если в летописи сказано, что тысяцкий Алексей Петрович Хвост пострадал от своей дружины, то здесь слово *дружина* употреблено, как часто употребляется в смысле *свои, товарищи, своя братья*, то есть бояре, ибо сейчас же говорится, что в гибели Алексея Петровича подозревались большие бояре Михаил и зять его Василий Васильевич (Вельяминов), которые уже никак не могли быть в дружине тысяцкого.

Неприязнь между Мамаем и великим князем разгорелась; ца-

ревич Арапша напал на русские пределы и разбил соединенные войска московское и нижегородское вследствие оплошности воевод и воинов; эта оплошность в летописи изображается так: «Они же оплошишася и небреженьем хожаху; доспехи своя вскладоша на телеги, а оны в сумы, а у иных сулицы еще не насажены бяху, а щиты и копыя не приготовлены, а ездить порты своя с плеч спускав, а петли растегав: бяше бо им варно, а где наехаху в зажитыи мед или пиво испиваху». У Карамзина: «Утомленные зноем, сняли с себе латы и нагрузили ими телеги; спустив одежду с плеч, искали прохлады, другие рассеялись по окрестным селениям, чтоб пить крепкий мед или пиво. Знамена стояли уединенно, копыя, щиты лежали грудями на траве».

Это только картина; важнее для нас отношение рассказа историка к рассказу летописца в известии о церковных делах, вставленных между делами ордынскими и литовскими. В летописи: «Алексий же митрополит, умолен быв и принужен, не посули быти прошения его, но извествуя святительски, паче же пророчески, рече: азъ не доволен благословити его (Митяя), но оже дастъ ему Бог и Св. Богородица и патриарх и Вселенский собор»; в других летописях: «Алексей же глагола: изневолен есмь благословить его; но ему же дастъ Господь Бог и Пречистая Богородица, и просвещенный патриарх и Вселенский собор того и азъ благословляю». У Карамзина: «Алексей благословил Митяя как своего Наместника, прибавив: «если Бог, Патриарх и Вселенский собор удостоят его править Россійскою Церковью»». Далее автор говорит: «Он (Митяй) медленно готовился к путешествию в Царьград, желая, чтобы Димитрий велел прежде Святителям Россійским поставить его в Епископы». Для подтверждения своих слов он приводит место из Троицкой летописи: «Но и еще дотолѣ, прежде даже не поиде к Царюграду, всхоте без Митрополита поставитися в Епископы» — и в скобках замечает: «а не в Митрополиты, как у Князя Щербатова и Штриттера». Но Щербатов и Стриттер опирались на свидетельство другого летописца, находящееся в Никоновом списке: «И восхоте (Митяй) ити в Царьград к патриарху на поставление и паки на ину мысль преложись, и нача беседовати к великому князю, глагола: писано есть в апостольских правилах сице: два или три епископа да поставляют единаго епископа, тако же и в отеческих правилах писано есть, и ныне убо да снудутся епискупи рустии пять или шесть да мя поставят епископа и *первосвяителя*». Далее в летописи о путешествии Митяя: «Та же приидоша в орду в место половецкое и в пределы татарская, и приходящим им орду и тамо ят бысть Митяй со всеми сущими его Мамаем, и немного удержа его Мамай у себя, и паки отпусти его с миром и с тихостью, еще же и приводит его повеле». У Карамзина: «За пределами Рязанскими, в степях Половецких, Митяй был остановлен Татарами и не испугался, зная уважение их к сану духовному. При-

веденный к Мамаю, он умел хитрою лестию снискать его благоволение».

После изложения дел церковных автор снова обращается к ордынским отношениям, к описанию Куликовской битвы. Это описание очень важно в истории русской исторической критики по характеру источников, из которых почерпаются сведения о событии; эти источники состоят из разного рода более или менее украшенных сказаний, которые должны быть очищены внимательною критикою. Предшествовавшие Карамзину писатели — князь Щербатов, Стриттер — пользовались без критической очистки самым подробным сказанием, какое только могли иметь: не так поступил Карамзин; вот что говорит он об источниках описания Куликовской битвы: «Мы имеем два описания сей войны: одно действительно историческое и современное, находящееся в Ростовской и других достоверных летописях, а другое, напечатанное с разными отменами в Киевском Синописе и в Никоновской Летописи, баснословное и сочиненное, может быть, в исходе XV века Рязанцем, Иереем Софронием, как то именно означено в одном списке его, хранящемся в библиотеке Графа Ф. А. Толстого... Не говоря о сказочном слоге, заметим явную ложь в сей второй повести. Там сказано, что Димитрий, готовясь к походу, советовался в Москве с Киприаном-Митрополитом; что он прикладывался к образу Св. Богоматери, написанному Евангелистом Лукою, и что в Донском сражении убито восемь или даже пятнадцать Князей Белозерских; но Киприана еще не было тогда в Москве; образа, написанного Лукою, — также; и Князь Федор Романович Белозерский, убитый на Дону вместе с сыном, не имел иных родственников, кроме брата, именем Василия, коего сыновья сделались уже гораздо после родоначальниками князей Андомских, Кемских, Белосельских и других. Историки Кн. Щербатов и Штриттер повторили сию сказку. Следуя во всем Ростовскому Летописцу, мы, впрочем, не отвергаем некоторых обстоятельств вероятных и сбыточных, в ней находящихся: ибо думаем, что Автор ее мог пользоваться преданиями современников».

При описании Куликовской битвы также любопытно для нас изображение характера и поведения Олега Рязанского, ибо это изображение показывает нам, в какой степени автор мог предаваться сочувствию источникам, которыми пользовался. В украшенных сказаниях о Куликовской битве сколько превозносится Димитрий, столько же порицается Олег Рязанский, который называется «велеречивым и худым, не сохранившим своего христианства, лстивым сотоньщиком, поборником бесерменским» и т. п. У Карамзина Олег представлен соответственно этому отзыву: «К сим двум главным утеснителям и врагам нашего отечества (Мамаю и Ягайлу) присоединился внутренний изменник, менее опасный могуществом, но зловреднейший коварством: Олег Рязан-

ский, воспитанный в ненависти к Московским Князьям, жестоко-серддый в юности и зрелым умом мужеских лет наученный лукавству. Испытав в поле превосходную силу Дмитрия, он начал искать его благоволения; будучи хитр, умен, велеречив, сделался ему другом, советником в общих делах государственных и посредником... в гражданских делах Великого Княжения с Тверским. Думая, что грозное ополчение Мамаево, усиленное Ягайловым, должно необходимо сокрушить Россию — страшась быть первую жертвою оною и надеясь хитрым предательством не только спасти свое Княжество, но и распространить его владения падением Московского, Олег вошел в переговоры с Моголами и с Литвою).

Князь Щербатов не говорит о характере Олега; он приводит только следующие причины поступка Рязанского князя: «Олег, князь рязанский, предвидя, что первое устремление татар будет на его области, а притом завидуя власти великого князя московского и негодуя на него за отняtie у него Коломны, вознамерился, совокупясь с татарами, воевать против великого князя Дмитрия Иоанновича. Они (Олег и Ягайло) весьма в том уверены были, что великий князь Дмитрий не осмелится ожидать пришествия Мамаева, но как скоро услышит о приближении его, то, оставя свои области, в отдаленные страны уйдет и оставит владимирского и московского великих княжений престолы праздны; и тако надеялись оставленные княжения между собою разделить».

После Куликовской битвы об отношениях Московского великого князя к Рязанскому мы знаем из летописей, что Олег бежал в Литву и что Дмитрий послал своих наместников управлять Рязанью; но до нас дошел от описываемого времени договор, заключенный между Дмитрием и Олегом; следовательно, мы должны заключить, что Олег скоро успел опять утвердиться в своей отчине; как это произошло — источники ничего не говорят. Верный своему взгляду на характеры обоих соперников, Дмитрия и Олега, историк так объясняет это явление: «Хитрый Олег, быв несколько месяцев изгнанником, умел тронуть его (Димитриеву) чувствительность знаками раскаяния и возвратился на престол... Великодушные действуют только на великодушных: суровый Олег мог помнить победы, а не благотворения...»

Любопытно рассуждение автора о значении Куликовской битвы, тем более что князь Щербатов ничего не говорит о нем. Перенесая воображением за четыреста с лишком лет, историк так описывает мысли и чувства предков: «Известие о победе столь решительной произвело восхищение неописанное. Казалось, что независимость, слава и благоденствие нашего отечества утверждены ею навеки; что Орда пала и не восстанет; что кровь Христиан, обagrившая берега Дона, была последнею жертвою для России и совершенно умилостивила Небо. Все поздравляли друг друга, радуясь, что дожили до времен столь счастливых... и ставя Мамаево

побоище выше Алтского и Невского. Увидим, что оно, к сожалению, не имело тех важных, прямых следствий, каких Димитрий и народ его ожидали; но считалось знаменитейшим в преданиях нашей Истории до самых времен Петра Великого или до битвы Полтавской: еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил ее и в несомнительной связи действия с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих».

Автор считал также нужным объяснить, почему Димитрий не хотел воспользоваться победою, гнать Мамаю до берегов Ахтубы и разрушить Сарай. «Не будем обвинять Великого Князя в оплошности, — говорит он. — Татары бежали, однако же все еще сильные числом и могли в Волжских Улусах собрать полки новые; надлежало идти вслед за ними с войском многолюдным: каким образом продовольствовать оное в степях и пустынях? Народу кочующему нужна только паства для скота его, а Россияне должныствовали бы везти хлеб с собою, видя впереди глубокую осень и зиму, имея лошадей, не приученных питаться одною иссохшею травою. Множество раненых требовало призрения, и победители чувствовали нужду в отдохновении. Думая, что Мамай никогда уже не дерзнет восстать на Россию, Димитрий не хотел без крайней необходимости подвергать судьбу Государства дальнейшим опасностям войнны и, в надежде заслужить счастье умеренностью, возвратился в столицу». Здесь мы не видим той причины, приводимой летописцами, которые говорят, что после Куликовской битвы была на Руси радость великая, но была и печаль большая по убитым от Мамаю на Дону; оскудела совершенно вся Земля русская воеводами, и слугами, и всяким воинством, и от этого был страх большой по всей Земле русской...

Об отношениях Москвы и Рязани в последнее время княжения Димитрия Донского в летописях рассказано так: «Князь Олег Рязанский суровейший, взяв Коломну, пришел изгоном. Того же лета (1384) князь великий Димитрий Иванович, собрав воинства многа отовсюду и посла ратью брата своего из двоюродных князя Валодимера Андреевича на великого князя Олега Рязанского и на всю землю его, и тогда на том бою убиша бояр многих московских и лучших мужей новгородских (Нижнего Новгорода) и переславских. Убиша ж тогда и крепкого воеводу великого князя Димитрия Ивановича князя Михаила Андреевича Полотцкого, внука Олгердова. Князь великий Дмитрий Иванович иде в монастырь в Живоначальной Троице и глаголаше с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олегу о вечном мире и о любви». Щербатов, приведя известие летописца о битве между москвичами и рязанцами, говорит: «Впрочем, не обретаем, какой был конец

сего боя, однако потому, что более о происхождении сего похода не поминается, можем заключить, что означенный бой неудачен был московским войскам». Рассказ Карамзина: «Димитрий надеялся вместе с народом, что сие рабство (татарское) будет не долговременно; что падение мятежной Орды неминуемо и что он воспользуется первым случаем освободить себя от ее тиранства. Для того Великий Князь хотел мира и благоустройства внутри отечества; не мстил Князю Тверскому за его вражду и предлагал свою дружбу самому вероломному Олегу. Сей последний неожиданно разграбил Коломну... Димитрий послал туда войско под начальством Князя Владимира Андреевича, но желал усювестить Олега, зная, что сей Князь любим Рязанцами и мог быть своим умом полезен отечеству. Муж, знаменитый святостию, Игумен Сергей, взял на себя дело миротворца».

При описании ссоры между Димитрием Донским и двоюродным братом его Владимиром Андреевичем Карамзин приводит договор, заключенный между ними, и при этом замечает: «Сия грамота наиболее достопамятна тем, что она утверждает новый порядок наследства в Великокняжеском достоинстве, отменяя древний, по коему племянники должныствовали уступать оное дяде. Владимир именно признает Василия и братьев его, в случае Димитриевой смерти, законными наследниками Великого Княжения». Щербатов даже не упоминает об этой достопамятной грамоте.

При изображении характера Димитрия Донского Карамзин следует похвальному слову, которое осталось нам от того времени; но, приведя слова панегирика, Карамзин замечает: «Таким образом Летописцы изображают нам добрые свойства сего Князя; и, славя его, как первого победителя Татар, не ставят ему в вину, что он дал Тохтамышу разорить Великое Княжение, не успел собрать войска сильного и тем продлил рабство отечества до времен своего правнука. Димитрий сделал, кажется, и другую ошибку: имел случай присоединить Рязань и Тверь к Москве, не воспользовался оным: желая ли изъяснить великодушное бескорыстие?.. Может быть, он не хотел изгнанием Михаила Тверского, шурина Ольгердова, раздражить Литвы и думал, что Олег, хитрый, деятельный, любимый подданными, лучше Московских Наместников сохранит безопасность юго-восточных пределов России, если искренно с ним примирится для блага отечества». Мы видели рассказ летописей об окончании войны между Москвою и Рязанью; притом Карамзин уже объяснил раз поведение Димитрия относительно Твери и Рязани, говоря, что Димитрий ждал случая освободить себя от тиранства татар, а потом хотел мира внутри отечества, не мстил князю Тверскому и предлагал дружбу Олегу.

Заметив в договорной грамоте Димитрия Донского с двоюродным братом его Владимиром Андреевичем важную новость, что дядя отказался от старшинства в пользу племянника, Карамзин

не упоминает о столь же важной новости в завещании Дмитрия Донского, который впервые благословляет сына своего Василия Великим Княжением Владимирским и называет это княжение своею отчиною; но о начале княжения Василия Дмитриевича Карамзин говорит: «Дмитрий оставил Россию, готовую снова противоборствовать насилию Ханов: юный сын его, Василий, отложил до времени мысль о независимости и был возведен на престол во Владимире Послом Царским, Шахматом. Таким образом достоинство Великокняжеское сделалось наследием Владетелей Московских. Уже никто не спорил с ними о сей чести». Характер правления Василия Дмитриевича автор выводит из того обстоятельства, что вначале по молодости своей великий князь мог править только с помощью бояр. «Окруженный усердными Боярами и сподвижниками Донского, он (Василий) заимствовал от них сию осторожность в делах государственных, которая ознаменовала его тридцатилетнее княжение и которая бывает свойством Аристократии, движимой более заботливыми предвидениями ума, нежели смелыми внушениями великодушия, равно удаленной от слабости и пылких страстей». Надобно заметить, что и княжение отца Василиева, Дмитрия, началось при тех же самых обстоятельствах; следовательно, чтобы определить характер княжения Василиева, должно было определить и характер княжения Дмитриева.

В начале княжения Василия находим известие о ссоре его с дядею, Владимиром Андреевичем. В летописях не приведена причина ссоры; историк объясняет это явление так: «Опасаясь правды Василиева, Князя Владимира Андреевича, основанных на старейшинстве и на славе воинских подвигов, господствующие Бояре стеснили, кажется, его власть и не хотели дать ему надлежащего участия в правлении: Владимир, ни в чем не нарушив договора, заключенного с Донским, — был всегда ревностным стражем отечества и довольный жребием Князя второстепенного — оскорбился неблагодарностию племянника и со всеми ближними уехал в Серпухов, свой удельный город, а из Серпухова в Торжок».

Должно заметить, что если Владимир Андреевич не нарушал договора, был доволен своим жребием, то он не мог обнаруживать притязаний на права, основанные на старшинстве, от которого он отказался по договору; нарушил ли Серпуховский князь договор свой или нет — неизвестно, следовательно, нет права обвинять его в этом нарушении. С другой стороны, по той же самой причине, то есть по молчанию источников, нет права обвинять и бояр московских. Известно только то, что великий князь, мирясь с дядею, должен был дать ему две волости — обстоятельство, могущее вести к заключению, что дядя не был доволен своим жребием. Договор, заключенный между Василием и Владимиром, замечателен по

сильной недоверчивости, выраженной дядею и племянником друг к другу. Князь Щербатов заметил эту особенность.

При описании борьбы великого князя Василия Дмитриевича с князьями Суздальско-Нижегородскими Карамзин говорит об одном из последних, Симеоне, что великий князь позволил избрать ему убежище в России и Симеон добровольно удалился в *независимую* область Вятскую. Это мнение о независимости Вятки господствовало до последнего времени вопреки ясным свидетельствам источников о противном: потомки князей Суздальских-Нижегородских в договоре с Дмитрием Шемякою называют Вятку прадединою, дединою и отчиною своею наравне с Суздалем, Нижним и Городцом. Великий князь Василий Дмитриевич, овладев тремя последними городами, овладел вместе и Вяткою, которую отдал брату своему Юрию Дмитриевичу, а тот завещал ее своим сыновьям. После описания борьбы Василия с князьями Нижегородскими и Новгородом Великим автор обращается к делам восточным — к нашествию Тамерланову. Известно, что это нашествие ограничилось взятием Ельца; несмотря на то, рассказ о Тамерлане занимает у Карамзина несколько страниц, потому что подробно описываются предшествовавшие его завоевания и образ жизни. Такая долговременная остановка над Тамерланом объясняется тем, что его блистательные, поражающие воображение подвиги были для автора оазисом среди пустыни, и он не преминул воспользоваться ими, чтобы оживить однообразное повествование о событиях, мало говорящих воображению.

О великом князе Василии Дмитриевиче автор произнес следующий приговор: «Василий Дмитриевич преставился на 53 году от рождения, княжив 36 лет, с именем Властителя благоразумного, не имев любезных свойств отца своего, добросердечия, мягкости во нраве, ни пылкого воинского мужества, ни великодушия геройского, но украшенный многими государственными достоинствами, чтимый Князьями, народом, уважаемый друзьями и неприятелями». Это различие между характером отца и сына основывается на том, что до нас дошло похвальное слово Донскому и не дошло подобного же сочинения, написанного в честь сына его. Что же касается до характера сына Василия Дмитриевича Василия Васильевича Темного, то на первых строках рассказа о его княжении находим приговор, которому автор остается верен во все продолжение рассказа: «Новый Великий Князь имел не более десяти лет от рождения. Подобно отцу и деду в начале их государствования, он зависел от Совета Боярского, но не мог равняться с ними ни в счастии, ни в душевных способностях».

Известно, с какими затруднениями соединен был в описываемое время сбор войска: от этого происходило то явление, что, когда неприятель подступал внезапно, великие князья не имели средств отразить его, покидали столицу и уезжали в северные области для

сбора полков: так поступили Дмитрий Донской при нашествии Тохтамыша, Василий Дмитриевич при нашествии Едигея. Но в обоих этих случаях неприятель подходил с юга, и потому великим князьям была возможность удалиться в северные области; но когда неприятель являлся с севера, то куда было удалиться? Так именно случилось в княжение Василия Васильевича, когда дядя его Юрий напал врасплох с севера: великий князь принужден был выйти к нему навстречу с нестройною толпою, какую только мог собрать, и, разумеется, не мог с нею держаться против заранее собранного войска Юриева, бежал на северо-запад, в чужую область Тверскую, оттуда в Кострому, и здесь должен был отдаться в руки дяде, который уже владел всем великим княжеством.

Автор описывает это событие так: «Юный Василий Васильевич ничего не ведал до самого того времени, как Наместник Ростовский прискакал к нему с известием, что Юрий в Переславле. Уже Совет Великокняжеский не походил на Совет Донского или сына его: беспечность и малодушие господствовали в оном. Вместо войска отправили Посольство на встречу к Галицкому Князю с ласковыми словами» и проч. Здесь мы должны для сравнения привести слова того же автора при описании поведения Дмитрия Донского и советников его во время Тохтамышева нашествия: этим описанием поведение великого князя Василия и его совета вполне оправдывается: «Одни увеличивали силу Тохтамышеву; иные говорили, что от важного урона, претерпенного Россиянами в битве Донской, столь кровопролитной, хотя и счастливой, города оскудели людьми военными; наконец, советники Дмитриевы только спорили о лучших мерах для спасения отечества, и Великий Князь, потеряв бодрость духа, вздумал, что лучше обороняться в крепостях, нежели искать гибели в поле. Он удалился в Кострому» и проч. За проигранную битву в 1434 году Василий называется слабодушным; но вот описание битвы того же Василия с двоюродным братом его Василием Косым: «Готовились к битве; но Косой, считая обман дозволенною хитростию, требовал перемирия. Неосторожный Василий заключил оное и распустил воинов для собирания съестных припасов. Вдруг сделалась тревога: полки Вятские во всю прыть устремились к Московскому стану, в надежде пленить Великого Князя, оставленного ратниками. Тут Василий оказал смелую решительность: уведомленный о быстром движении неприятеля, схватил трубу воинскую и, подав голос своим, не тронулся с места. В несколько минут стан наполнился людьми; неприятель вместо оплошности, вместо изумления увидел пред собою блеск оружия и стройные ряды воинов, которые одним ударом смяли его, погнавши, рассеяли». Эта битва, о которой, к счастью, дошли до нас подробности, ясно показывает, что неуспех других битв нисколько не зависел от личности Василия, который отличался не слабодушием, а, напротив, храбростию в битвах. Несмотря на то, когда

потом Василий, застигнутый врасплох татарами и не имея войска, удалился из Москвы за Волгу, по примеру отца и деда, автор говорит: «Махмет с легким войском явился под стенами Москвы, откуда Василий, боязливый, малодушный, бежал за Волгу».

В другой раз, в 1445 году, Василий, надеясь на возможность собрать сильные полки, вышел против татар, но был обманут другими князьями; несмотря на то, схватился с вдвое многочисленным неприятелем, опять показал необыкновенное личное мужество и, однако, был подавлен силами врагов, взят в плен. Автор описывает это событие правильно: «Неприятель опаснейший явился с другой стороны. Царь Казанский, Улу-Махмет, взял Старый Новгород Нижний... и шел к Мурому. Великий Князь собрал войско: Шемяка, Иоанн Андреевич Можайский, брат его Михаил Верейский и Василий Ярославич Боровский... находились под Московскими знаменами. Махмет отступил: передовой отряд наш разбил Татар... Не желая во время тогдашних зимних холодов гнаться за Царем, Великий Князь возвратился в столицу. Весною пришла весть, что Махмет осадил Нижний Новгород, послал двух сыновей, Мамутека и Ягуба, к Суздалию. Уже полки были распущены: надлежало вновь собрать их. Василий Васильевич с одною Московскою ратию пришел в Юрьев... Через несколько дней присоединились к Москвитянам Князья Можайский, Верейский и Боровский, но с малым числом ратников. Шемяка обманул Василия: сам не поехал и не дал ему ни одного воина; а Царевич Бердата, друг и слуга Россиян, еще оставался назади. Великий Князь расположился станом близ Суздаля... Сделалась общая тревога, Великий Князь, схватив оружие, выскочил из шатра и, в несколько минут устроив рать, бодро повел оную вперед... Сражались толпы с толпами, воин с воином долго, упорно; везде число одолело, и Россияне, положив на месте 500 моголов, были истреблены. Сам Великий Князь, личным мужеством заслужив похвалу — имея простреленную руку, несколько пальцев отсеченных, тринадцать язв на голове, плеча и грудь синие от ударов, — отдался в плен».

В этот правильный рассказ, из которого так ясно видны причины неудачи, нисколько не зависевшие от Василия, — в этот рассказ автор не преминул вставить ему укоризну: говоря о малочисленности войска, он прибавляет: «Силы Государства Московского не уменьшились: только Василий не умел подражать деду и словом творить многочисленные воинства». Далее автор говорит: «Несмотря на пороки или недостатки Василия, Россияне Великого Княжения видели в нем единственного законного Властителя и хотели быть ему верными»; а чрез несколько страниц читаем: «Москвитяне... усердно молили Небо избавить их от Властителя недостойного (Шемяки): воспоинали добрые качества слепца (Василия), его ревность в Правоверии, суд без лицепрятия, милость к Князьям Удельным, к народу, к самому Шемяке».

Автор не мог не упомянуть также о важных заслугах Василия Темного для Московского государства, о соединении всех (кроме одного) уделов Московского княжества, об упрочении влияния над Рязанью, над Новгородом. Об отношениях к последнему автор говорит: «Таким образом Великий Князь, смилив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение оно́го». Мы знаем, что Московские великие князья стремились медленно, но постоянно, шаг за шагом, к единовластию; каждый в свою очередь делает новый шаг вперед, у каждого в предсмертных распоряжениях видим что-нибудь новое, упрочивавшее новый порядок вещей.

Василий Темный, желая узаконить новый порядок престолонаследия и отнять у враждебных князей всякий предлог к смуте, еще при жизни назвал старшего сына великим князем, объявив его соправителем. Димитрий Донской первый решился благословить старшего сына великим княжением Владимирским: Василий Дмитриевич не решился сделать этого, зная о притязаниях брата Юрия; Василий Темный не только благословляет старшего сына своего отчиною, великим княжением, но считает великое княжение Владимирское неразрывно соединенным с Московским, вследствие чего Владимир и другие города этого княжества смешивает с городами московскими. При распределении волостей между сыновьями Темный распоряжается так, что старший сын получает городов гораздо больше, чем все остальные братья вместе, не говоря уж о значении городов и о величине областей; таким образом эти младшие сыновья получили удел, но старшему даны были все материальные средства держать младших под своею рукою. Заметим, что и сын Василия Иоанн III также оставил уделы младшим сыновьям. Несмотря на то, Карамзин и здесь не преминул сделать отзыв не к чести Василия: «Таким образом он (Великий) снова восстановил Уделы, довольный тем, что Государство Московское (за исключением Вереи) остается подвластным одному Дому его, и не заботясь о дальнейших следствиях: ибо думал более о временной пользе своих детей, нежели о вечном государственном благе; отнимал города у других Князей только для выгод собственного личного властолюбия; следовал древнему обыкновению, не имев твердости быть навеки основателем новой, лучшей системы правления, или Единовластия... Василий преставился на сорок седьмом году жизни, хотя несправедливо именуемый первым Самодержцем Российским со времен Владимира Мономаха, однако ж действительно приготовив многое для успехов своего преемника: начал худо; не умел повелевать, как отец и дед его повелевали; терял честь и Державу, но оставил Государство Московское сильнейшим прежнего: ибо рука Божия, как бы вопреки малодушному Князю, явно влекла оное к величию, благословив доброе начало Калиты и Донского».

Заметим некоторые частности в повествовании о княжении

Василия Темного. В рассказе о войне Витовта с Новгородом находим следующее место, чрезвычайно важное для статистики Новгородской области в первой половине XV века: «Витовт осадил Порхов... В городе начальствовал Посадник Григорий и знаменитый муж Исаак Борецкий... они выехали к неприятелю и предложили ему 5000 рублей; а Новгородцы, прислав Архиепископа Евфимия с чиновниками в стан Литовский, также старались купить мир серебром. Витовт... взял 10 000 рублей, за пленников же особенною тысячу... Сия дань была тягостна для Новгородцев, которые собирали ее по всем их областям и в Заволочье; каждые десять человек вносили в казну рубль: следственно, в Новгородской земле находилось не более ста десяти тысяч людей, или владельцев, плативших государственные подати». Из этих слов выходит, что Витовт взял с порховцев 5000 да потом с новгородцев 11 000, итого 16 000 рублей; так или почти так значится действительно в Псковской Летописи, где сказано, что новгородцы дали Витовту 15 000 рублей; но здесь для нас главный авторитет представляет Новгородская Летопись, которая говорит, что «Порховичи докончаша за себе 5000 рублей и Новгородцы другую 5000 серебра, а шестую неполную; и то серебро браша на всех местах новгородских и по Заволочию с десяти человек рубль».

В рассказе о споре в Орде между великим князем Василием и дядею его Юрием читаем: Иоанн Димитриевич «умел склонить всех Ханских Вельмож в пользу своего юного Князя, представляя, что им будет стыдно, если Тегиня один доставит Юрию сан Великокняжеский; что сей Мурза необходимо присвоит себе власть и над Россиею и над Литвою, где господствует друг Юриев, Свидригайло». В летописи: «И коли царь его (Тягини) слову тако учинит, и в вас тогда что будет? Князь Юрий князь великий будет на Москве, а в Литве князь великий побратим его Свидригайло, а Тегиня во Орде и во царе волею лучши вас». Потом в рассказе о возобновлении борьбы между Василием и дядею его нас останавливает объяснение любопытное и, по нашему мнению, верное, почему новый порядок вещей был благоприятнее для общего спокойствия, чем старый: «Сын, восходя на трон после отца, оставлял все, как было, окруженный теми же Боярами, которые служили прежнему Государю; напротив того, брат, княживший дотоле в каком-нибудь особенном Уделе, имел своих Вельмож, которые, переезжая с ним в наследованную по кончине брата землю, обыкновенно удаляли тамошних Бояр от правления и вводили новости, часто вредные. Столь явные выгоды и невыгоды вооружили всех против старой мятежной системы наследственной и против Юрия».

Описывая вторичное торжество Юрия над племянником, автор говорит: «Юрий, снова объявив себя Великим Князем, договорными грамотами утвердил союз с племянниками своими... Достоинно замечания, что сии грамоты начинаются словами: *Божиею ми-*

лостью, которые прежде не употреблялись в государственных постановлениях».

Должно заметить, что слова «*Божиею милостию*» употреблены уже прежде в договорной грамоте великого князя Василия Дмитриевича с Тверским князем Михаилом. Приведя потом договор великого князя Василия с Шемякою, Карамзин говорит: «Шемяка, следуя обыкновению, именует Василия старейшим братом, отдает себя в его покровительство, обязывается служить ему на войне и платить часть Ханской дани с условием, чтобы Великий Князь один сносился с Ордою, не допуская Удельных Владетелей ни до каких хлопот». Из этих слов выходит, как будто непосредственное сношение с Ордою было тягостною обязанностью, которую удельные князья старались сложить с себя, тогда как это было одно из важнейших прав великого князя, которое он ревниво берег для одного себя: это был главный признак независимости князя, его старшинства. В рассказе об отношениях новгородских находим следующее справедливое замечание: «Гораздо благоразумнее можно было искать сего предвестия (предвестия близкого падения Новгорода) в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе Великих Князей, которые более и более уверялись, что он под личиною гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрерывные опасности Государства Московского со стороны Моголов и Литвы не позволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслию совершенного покорения сей народной Державы, которую они старались только обирать, зная богатство ее купцов. Так поступил и Василий».

Как в описании княжения Василия Дмитриевича самый длинный рассказ посвящен подвигам Тамерлана, так в описании княжения Василия Темного самый длинный рассказ посвящен Флорентийскому собору, который, бесспорно, имеет важное значение в русской истории, но не может входить в нее со всеми подробностями. Очень любопытен для нас прямо относящийся к русской истории рассказ о приеме Исидора в Москве по отношению к указанному прежде взгляду автора на характер великого князя Василия:

«Таким образом, хитрость, редкий дар слова и великий ум сего честолюбивого Грека (Исидора)... оказались бессильными в Москве, быв побеждены здравым смыслом Великого Князя, уверенного, что перемены в Законе охлаждают сердечное усердие к оному и что неизменные Догматы отцев лучше всяких новых мудрований. Узнав же, что Исидор чрез несколько месяцев тайно ушел из монастыря, благоразумный Василий не велел гнаться за ним» и проч.

При описании восстания Шемяки и князя Можайского автор говорит: «Главными их наущниками и подстрекателями были мятежные Бояре умершего Константина Дмитриевича, завистни-

ки Бояр Великокняжеских». В летописи: «Здумавше сии (Шемьяка и Можайский) своими злыми советники, иже тогда быша у них Константиновичи и прочии бояре их». Здесь под Константиновичами разумеется известный боярин Никита Константинович с братьями, игравший такую важную роль в деле, как враг Темного; автор же под Константиновичами уразумел бояр князя Константина Дмитриевича. В известии об отношениях Василия Темного к князьям Суздальским читаем: «Столь же снисходительно поступил Василий и со внуками Кирдяпы: оставил их господствовать в Нижнем, в Городец, в Суздале с условием, чтобы они признавали его своим верховным повелителем, отдали ему древние ярлыки Ханские на сей Удел, не брали новых и вообще не имели сношения с Ордою».

Карамзин при этом ссылается на договор, заключенный между Василием Темным и одним из потомков Суздальских князей, Иваном Васильевичем; но в этом договоре находим, что Василий Темный пожаловал Ивану Васильевичу только Городец да три волости в Суздале — о Нижнем и Суздале ни слова; о братьях же Ивановых говорится предположительно: «А добыют челом тебе, Великому Князю, моя братья князь Александр и князь Василей, и тебе жаловати их вотчиною, их жеребья по старине, что за ними было. А чем еси мене пожаловал Городецм и жеребьями брата моего княжим Андреевым: и тебе того под мною блюсти, а не вступатися». Для примера, в каком отношении находится рассказ историка к известию источников, сравним рассказ автора о последней битве Василия Темного и Шемьяки с рассказом летописей о том же событии. В летописи: «Ходил князь великий на князя Дмитрия, хотя иди к Галичу, и бысть ему весть, что пошел к Вологде, и князь великий поиде на Иледам да Обнору, хотя иди на него к Вологде. Бывшу же ему у Николы на Обноре, и прииде к нему весть, что опять воротился к Галичу, и князь великий воротился Обнорою на низ да Костромою вверх и прииде на Железный Борок к Ивану Святому, и слышав, что князь Дмитрий в Галиче, а людей около его много, а город крепит, и пушки готовит, и рать пешая у него, и сам пред городом стоит со всею силою. Князь же великий, слышав то и положив упование на Господе Бозе, начат отпущати князей своих и воевод со всею силою своею, а большой был воевода князь Василий Иванович Оболенский, а прочих князей и воевод многое множество; потом же и царевичев отпустил и всех князей их с ними. Придоша же под Галич, а князь Дмитрей таки стояше на горе под городом со всею силою, не поступя ни с места. Воеводы же великого князя поидоша с озера к горе, опасаясь, понеже бо гора крута, и, выправясь из тех врагов, въздоша на гору, и поидоши полки вместе, и бысть сеча зла; и поможе Бог великому князю, многих избиша, а лутших всех изымаша руками, а сам князь едва убеже, а пешую рать мало не всю избиша».

У Карамзина: «Василий уже хотел действовать решительно; призвал многих Князей, Воевод из других городов и составил ополчение сильное. Шемяка, *думая сперва уклониться от битвы*, пошел к Вологде, но, вдруг переменяв мысли, расположился станом близ Галича: укреплял город, *ободрял жителей* и всего более надеялся на свои пушки. Василий, лишенный зрения, не мог сам начальствовать в битве: Князь Оболенский предводительствовал Московскими полками и союзными Татарами. Оставив Государя за собою, под щитами верной стражи, они стройно и бодро приближались к Галичу. Шемяка стоял на крутой горе, за глубокими оврагами; приступ был труден. *То и другое войско готовилось к жестокому кровопролитию с равным мужеством: Московитяне пылали ревностию сокрушить врага ненавистного, гнусного злодеянием и вероломством; Шемяка обещал своим первенство в Великом Княжении со всеми богатствами Московскими*. Полки Василиевы имели превосходство в силах, Дмитриевы выгоду места. Князь Оболенский и Царевичи ожидали засады в дебрях; но Шемяка не подумал о том, воображая, что Москвитяне выйдут из оврагов утомленные, расстроенные и легко будут смяты его войском свежим: он стоял неподвижно и смотрел, как неприятель от берегов озера шел медленно по тесным местам. Наконец Москвитяне достигли горы и дружно устремились на ее высоту; задние ряды их служили твердою опорой для передних, встреченных сильным ударом полков Галицких. Схватка была ужасна: давно Россияне не губили друг друга с таким остервенением... Москвитяне одолели: истребили почти всю пехоту Шемякину и пленили его Бояр; сам Князь едва мог спастись».

После описания княжения Василия Темного, в конце V тома, помещена любопытная глава, содержащая в себе обзор состояния России от нашествия татар до Иоанна III. Она начинается следующими словами: «Наконец мы видим пред собою цель долговременных усилий Москвы: свержение ига, свободу отечества. Предложим Читателю некоторые мысли о тогдашнем состоянии России, следствии ее двувекового порабощения». Из этого вступления читатель уже догадывается, какое могущественное влияние на состояние России от половины XIII до половины XV века будет приписано монголам: на это состояние автор смотрит как на следствие двувекового порабощения. Конечно, читатель здесь с самого начала не может освободиться от некоторого недоумения. Автор говорит: «Предложим мысли о тогдашнем состоянии России, следствии ее двувекового порабощения»; ясно, что автор хочет говорить о состоянии России пред вступлением на престол Иоанна III в шестидесятых годах XV века, ибо только это состояние могло быть следствием *двувекового порабощения*; но в заглавии читаем: «Состояние России от нашествия Татар до Иоанна III». Это различие очень важно, ибо если какое-нибудь нравственное явление, считаю-

щееся в числе следствий двувекового татарского ига, мы найдем в первых годах этого ига, то будем иметь причину усумниться, действительно ли это явление есть следствие ига, зная, что каждое историческое явление для утверждения влияния своего на народную нравственность требует продолжительного времени.

«Разделение нашего отечества,— говорит автор,— и междоусобные войны, истощив его силы, задержали Россиян и в успехах гражданского образования... Порядок, спокойствие, столь нужные для успехов гражданского общества, непрестанно нарушались мечем и пламенем Княжеских междоусобиц, так что в XIII веке мы уже отставали от держав Западных в государственном образовании». Но известно, что в то самое время, как отечество наше страдало от разделения и междоусобий, державы западные страдали от того же самого.

«Сень варварства,— продолжает автор,— омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались... В сие же время Россия, терзаемая Моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтоб не исчезнуть: нам было не до просвещения! Если бы Моголы сделали у нас то же, что в Китае, в Индии, или что Турки в Греции, если бы, оставив степь и кочевание, переселились в наши города, то могли бы существовать и доныне в виде Государства. К счастью, суровый климат России удалил от них сию мысль. Ханы желали единственно быть нашими господами *издали*, не вмешивались в дела гражданские, требовали только серебра и повиновения от Князей. Но так называемые *Послы Ординские* и Баскаки, представляя в России лице Хана, делали, что хотели; самые купцы, самые бродяги Могольские обходились с нами, как с слугами презрительными. Что долженствовало быть следствием? нравственное унижение людей. Забыв гордость народную, мы выучивались низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая Татар, более обманывали и друг друга; откусывая деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иностранных тиранов. От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты (период самый несчастнейший!) отечество наше походило более на темный лес, нежели на Государство: сила казалась правом; кто мог, грабил. не только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; татьба сделалась общею язвою собственности. Когда же сия ужасная тьма неустройства начала проясняться, оцепенение миновало, и закон, душа гражданских обществ, воспрянул от мертвого сна: тогда надлежало прибегнуть к строгости, неизвестной древним Россиянам. Нет сомнения, что жестокие судные казни означают ожесточение сердец и бывают следствием частых злодеяний. Добросердечный Мономах говорил детям: «не убивайте виновного; жизнь Христианина священна»: не менее добросердеч-

ный победитель Мамаев, Димитрий, устави́л торжественную смертную казнь, ибо не видал иного способа устрашать преступников. Легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства; но в XIV столетии уже вешали татей. Россиянин Ярославова века знал побои единственно в драке; иго Татарское ввело телесные наказания: за первую кражу клеймили, за вины государственные секли кнутом. Был ли действителен стыд гражданский там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Мы видели злодеяния и в нашей древней Истории: но сии времена представляют нам черты гораздо ужаснейшего свирепства в иступлениях Княжеской и народной злобы; чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость в нравах. Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами; однако ж действие часто бывает долговременнее причины: внуки имеют некоторые добродетели и пороки своих дедов, хотя живут и в других обстоятельствах. Может быть, самый нынешний характер Россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством Моголов».

Увещание Мономаха детям — не убивать ни правого, ни виноватого — не служит доказательством, что подобных действий не было в его время: если бы не было, то не нужно было бы и запрещать; прежде монгольского нашествия мы знаем, что Андрей Боголюбский казнил Кучковича; следовательно, нельзя сказать, чтобы торжественная смертная казнь была установлена Димитрием Донским. Автор говорит, что от времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты отечество наше походило на темный лес относительно общественной безопасности, и в доказательство приводит одно только известие летописи, что Иоанн Калита прославился уменьшением разбойников и воров. Хотя в источниках можно отыскать и более указаний относительно разбоев, но все же выражение «темный лес» останется слишком резким, особенно если сравним известия из XIV века с многочисленными известиями о состоянии общественной безопасности во времена позднейшие, например в XVII веке, и с известиями о состоянии общественной безопасности в других соседних государствах в XIV же веке — в государствах, которые не знали татар. Телесные наказания не были введены татарами, потому что в Русской Правде встречаем известия о муках и телесных истязаниях, которым подвергался виновный; телесные наказания существовали везде в Европе, но были ограничены известными отношениями сословными; у нас же вследствие известных причин таких сословных отношений не было, откуда в древней нашей истории безразличие касательно телесных наказаний. Если телесные наказания принесены татарами, то каким образом встречаем их в Пскове во время его самостоятельности, в Пскове, который не знал татар?

По мнению автора, внутренний государственный порядок из-

менился также вследствие татарского влияния: города потеряли свой прежний быт. Прежде сам автор сказал, что ханы желали единственно быть нашими господами издали, не вмешивались в дела гражданские, требовали только серебра и повиновения от князей. Если бы города в начале монгольского ига сохраняли свой прежний быт, то легко было бы им удержать его, задаривая ханов при спорах с князьями деньгами, поддерживая то того, то другого князя, как то делали новгородцы.

Но вполне справедливо заметил автор о перемене отношений дружины к князю вследствие утверждения единовластия: «В договорных грамотах XIV и XV веков обыкновенно подтверждалась законная свобода Бояр переходить из службы одного Князя к другому; недовольный в Чернигове, Боярин с своею многочисленною дружиною ехал в Киев, в Галич, во Владимир, где находил новые поместья и знаки всеобщего уважения... Но когда южная Россия обратилась в Литву; когда Москва начала усиливаться, присоединяя к себе города и земли; когда число Владетельных Князей уменьшилось, а власть Государева сделалась неограниченнее в отношении к народу, тогда и достоинство Боярское утратило свою древнюю важность. Где Боярин Василия Темного, им оскорбленный, мог искать иной службы в отечестве? Уже и слабая Тверь готовилась зависеть от Москвы».

Москва, по мнению автора, возвысилась также вследствие монгольского влияния: «Москва, будучи одним из беднейших Уделов Владимирских, ступила первый шаг к знаменитости при Данииле, которому внук Невского, Иоанн Димитриевич, отказал Переславль Залесский и который, победив Рязанского Князя, отнял у него многие земли. Сын Даниилов, Георгий, зять Хана Узбека, присоединил к своей области Коломну, завоевал Можайск и выходил себе в Орде Великое Княжение Владимирское; а брат Георгиев, Иоанн Калита, погубив Александра Тверского, сделался истинным Главою всех иных Князей, обязанный тем не силе оружия, но единственно милости Узбековой, которую снискал он умною лестью и богатыми дарами». Чтобы объяснить, каким образом Иоанн Калита приобрел средства делать богатые дары хану и скупать целые области, автор высказывает мнение, что «иго Татар обогатило казну Великокняжескую исчислением людей, установлением поголовной дани и разными налогами, дотоле неизвестными, собираемыми будто бы для Хана, но хитростию Князей обращенными в их собственный доход: Баскаки, сперва тираны, а после мздоимные друзья наших Владетелей, легко могли быть обманываемы в затруднительных счетах».

Для подтверждения этого мнения автор в примечании ссылается на рассказ свой о кончине Михаила Тверского под 1318 годом, но в этом рассказе можно найти только следующее известие, относящееся к делу, — известие, которое, однако, нисколько не под-

тверждает приведенного мнения: «Призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих Баскаков, обвинявших его в том, что он не платил Хану всей определенной дани. Великий Князь ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бумагами». Здесь мы для большей точности должны сравнить слова автора с рассказом летописца; автор говорит: «Начался суд. Вельможи собрались в особенном шатре, подле Царского; призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих Баскаков, обвинявших его в том, что он не платил Хану всей определенной дани». В летописи: «В един убо день собрашася вси князи ордынские в едину вежу за царев двор, и покладаху многи грамоты со многым замышлением на князя Михаила, глаголюще: «Многы дани поимал еси на городех наших, царю же не дал еси». Таким образом, в летописи нет ни слова о баскаках, что очень для нас важно при определении степени монгольского влияния. Откуда князья ордынские взяли грамоты — об этом также говорит летопись впереди: «Великий же князь Юрий Данилович паки съимася с Кавгадыем, и пойдоста наперед в Орду, поимши князи все низовские с собою, и бояре с городов и от Новгорода, по повелению окаянного Кавгадыя; и написаша многа лжесвидетельства на блаженного великого князя Михаила».

Не признав, как мы видели, в преемниках Боголюбского северных князьях постоянных стремлений к единовластию, не признав значения усобиц княжеских на Севере до времен Калиты, отделив стремления последнего от стремлений его предшественников, автор признал единовластие следствием монгольского влияния и выразил мнение, что Россия без монголов, вероятно, погибла бы от усобиц княжеских: «Могло пройти еще сто лет и более в Княжеских междоусобицах: чем заключились бы оные? вероятно, погибелию нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оное; тогда мы утратили бы и государственное бытие, и Веру, которые спаслися Москвою: Москва же обязана своим величием Ханам». Прежде автор показал нам, что усиление Москвы начинается с тех пор, как Переяславль присоединился к ней; потом Даниил Александрович, победив Рязанского князя, отнял у него многие земли; сын его, Георгий, присоединил Коломну, завоевал Можайск, объявил себя соперником Тверского князя; правда, что брат Юриев, Калита, одолел Тверь с помощью полков татарских, но прежде на Юге наемные полки половецкие играли нередко такую же решительную роль, и, однако, никто не говорит о могущественном влиянии половецком на судьбу древней Южной Руси...

По мнению автора, «одним из достопамятных последствий Татарского господства над Россиею было еще возвышение нашего Духовенства, размножения Монахов и церковных имений. Политика Ханов, утесняя народ и Князей, покровительствовала Церкви и ее служителей; изъявляла особенное к ним благоволение; ласкала

Митрополитов и Епископов, снисходительно внимала их смиренным молениям и часто, из уважения к Пастырям, прелагала гнев на милость к пастве... Знатнейшие люди, отвращаемые от мира всеобщим государственным бедствием, искали мира душевного в святых Обителях и, меняя одежду Княжескую, Боярскую на мантию Инока, способствовали тем знаменитости духовного сана, в коем даже и Государи обыкновенно заключали жизнь. Хань под смертною казнию запрещали своим подданным грабить, тревожить монастыри, обогащаемые вкладами, имением движимым и недвижимым. Всякой, готовясь умереть, что-нибудь отказывал Церкви, особенно во время язвы, которая столь долго опустошала Россию. Владения церковные, свободные от налогов Ордынских и Княжеских, благоденствовали; сверх украшения храмов и продовольствия Епископов, Монахов оставалось еще немало доходов на покупку новых имуществ. Новгородские Святители употребляли Софийскую казну в пользу государственную... Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве Монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов в тихие, безопасные Обители, где слава благочестия награждалась не только уважением, но и достоянием; где гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал! Весьма немногие из нынешних монастырей Российских были основаны прежде или после Татар; все другие остались памятником сего времени).

Справедливо, что хань покровительствовали церкви и ее служителям; но явления, которые выставляются здесь следствием этого покровительства, существовали и прежде татар, существовали в одинаковой степени и в Руси Литовской, и в Новгороде, и во Пскове, неподверженных татарскому влиянию. Так и до татар знатнейшие люди в Руси искали мира душевного в святых обителях; обыкновенно перед смертию отказывали что-нибудь монастырям, церквам... С другой стороны, не должно думать, чтобы татары в своих набегах и послы ханские щадили церкви и монастыри: летописи говорят противное. Наконец, касательно положения, что большая часть монастырей осталась памятником татарского времени, история церкви опровергает его, указывая, что до конца XIII века, то есть во время тягчайшего ига, не возникло ни одного монастыря. Монастыри, и знаменитейшие из них, начинают основываться уже в московскую эпоху, во время, почти безопасное от татарских насилий (см. Историю Российской Церкви, период II, стр. 76 и 152).

Далее, автор совершенно справедливо описывает характер русского духовенства, отличая его от духовенства римского: «Несмотря на свою знаменитость и важность, Духовенство наше не оказывало излишнего властолюбия, свойственного Духовенству Западной Церкви, и, служа Великим Князьям в государственных делах полезным орудием, не спорило с ними о мирской власти. В раздорах Княжеских Митрополиты бывали посредниками, но избирае-

мые единственно с обоюдного согласия, без всякого действительного права; ручались в истине и святости обетов, но могли только убеждать совесть, не касаясь меча мирского, сей обыкновенной угрозы Пап для послушников их воли... Одним словом, Церковь наша вообще не изменялась в своем главном, первобытном характере, смягчая жестокие нравы, умеряя неистовые страсти, проповедуя и Христианские, и государственные добродетели. Милости Ханские не могли ни задобрить, ни усыпить ее Пастырей: они в Батыево время благословляли Россиян на смерть великодушную, при Дмитриии Донском на битвы и победу... История подтверждает истину, предлагаемую всеми Политиками-Философами и только для одних легких умов сомнительную, что Вера есть особенная сила государственная. В Западных странах Европейских Духовная власть присвоила себе мирскую оттого, что имела дело с народами полудикими — Готфами, Лангобардами, Франками, — которые, овладев ими и приняв Христианство, долго не умели согласить оно с своими гражданскими законами, ни утвердить естественных границ между сими двумя властями, а Греческая Церковь воссияла в Державе благоустроенной, и Духовенство не могло столь легко захватить чуждых ему прав. К счастью, Святой Владимир предпочел Константинополь Риму». Читая эти строки, удивляешься, как могло возникнуть против Карамзина возражение, будто бы он не уяснил влияния греческой церкви в русской истории!

Показав степень татарского влияния, автор обращается к вопросу, в каких сферах этого влияния быть не могло: он отрицает влияние татар на обычаи народные, гражданское законодательство, домашнюю жизнь, русский язык, причем замечает: «Вообще с XI века мы не подвинулись вперед в гражданском законодательстве; но, кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов в сей важной части государственного благоустройства... Не менее отстали мы и в искусстве ратном... мы, кроме пороха, в течение сих веков не узнали и не приобрели ничего нового. Состав нашей рати мало изменился. Все Главные чиновники государственные: Бояре Старшие, Большие, Путные (или поместные, коим давались земли, доходы казенные, путевые и другие), Окольничие, или ближние к Государю люди, и Дворяне — были истинным сердцем, лучшею, благороднейшею частию войска и, собственно, именовались Двором Великокняжеским. Второй многочисленнейший род записных людей воинских назывался Детьми Боярскими; в них узнаем прежних Боярских Отроков; а Княжеские обратились в Дворян».

Здесь должно заметить, что дети боярские никак не могли образоваться из боярских отроков, а дворяне из княжеских, ибо во все описываемое время дети боярские занимают степень высшую пред дворянами. Бояре путные определяются у автора поместными, которым давались земли, доходы казенные, путевые и другие; в примечании 115-м о боярах путных он говорит решительно: «Так назы-

вались Бояре, коим давались земли с правом собирать на путях или дорогах пошлину». Это догадка, основанная на слове *путь*, а не на известиях источников.

Что ж касается до положения о происхождении казаков, то оно до сих пор остается удовлетворительнейшим. Вероятно, что имя казаков «в России древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам и Берендеям, которые обитали на берегах Днепра, ниже Киева. Там находим и первое жилище Малороссийских Козаков. Торки и Берендеи назывались Черкасами; Козаки также. Вспомним Касогов, обитавших, по нашим летописям, между Каспийским и Черным морем; вспомним и страну Казахию, полагаемую Императором Константином Багрянородным в сих же местах; прибавим, что Осетинцы и ныне именуют Черкесов Касахами: столько обстоятельств вместе заставляют думать, что Торки и Берендеи назывались Черкасами; назывались и Козаками; что некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, жили, как вольные люди, на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами, приманивали к себе многих Россиян, бежавших от угнетения, смешались с ними и под именем Козаков составили один народ, который сделался совершенно Русским, тем легче, что предки их, с десятого века обитав в области Киевской, уже сами были почти Русскими».

V

Миллер в сочинении своем о Новгороде высказал такое мнение об Иоанне III: «Великому князю Василию наследовал сын его Иоанн, мудрый и мужественный государь, который не только свергнул татарское иго, но и начал подчинять своему скипетру малые княжества и тем положил основание последующей силе и внутреннему величию государства». Шлёцер в введении к своей «Российской истории» говорит об Иоанне: «Наконец явился великий человек, который отомстил за Север, освободил свой угнетенный народ и страх оружия своего распространил до самых столиц своих тиранов. Под творческими руками Иоанна образовалось могущественное государство, которое превосходит величиною все государства мира. Россия исполнинскими шагами пошла от завоевания к завоеванию; большие государства стали ее провинциями; отторгнутые области возвратились под державу своих древних и законных владетелей, и беспокойные соседи должны были покупать мир уступкою целых стран».

Далее, при описании четвертого периода русской истории, он говорит: «Иоанн Васильевич, побуждаемый своею бессмертною супругою Софиею, вооружился для спасения государства, соединил в одно многие малые княжества и чрез это так усилился, что не

только мог свергнуть иго татар, но даже подчинить себе их собственные царства».

Наконец, князь Щербатов так описывает Иоанна: «Он был разумен и дальновиден: свидетельствуют то его дела и мудрые учреждения; ибо никогда нечаянная война его не находила неготового к брани, и все почти свои брани окончил с меньшим, елико возможно, кровопролитием; приобрел себе самодержавную державу над Новым Городом и покорил Тверское Княжение, не толь силою оружия своего, коль мудрыми своими поступками, и принудя и самые вольные народы любить свою власть. Разными образами сыскал способ присоединить к Московскому Княжению в полную себе власть и другие удельные княжения и чрез сие самое прекратить все междоусобия и беспокойства, которые Россию колебали и ослабляли ее. Старался с европейскими государствами иметь союзы и сообщения, дабы чрез сие просветить свои народы в нужных вещах; чего ради и множество чужестранных разных художников в Россию выписывал; а притом сими союзами в Европе хотел учинить некоторый перевес и силе татарской. Тщателен он был содержать союз с Менгли-Гиреем, ханом крымским, как для устрашения всегдашних врагов России, поляков и литовцев, так дабы и более татар большия орды всегда в разделении содержать, от подданства которых он первый почти освободился. Строгий исполнитель веры, во всю жизнь свою показывал совершенное набожие, исполняя то строением храмов, почтением к духовному чину и истреблением ересей. Можно еще сказать, что самая твердость его в греческом католицком законе много ему и в политических делах послужила: ибо, быв почитаем истинным защитником православной веры, ту часть новгородцев, которые не хотели ради разности вер поддаться полякам и литовцам, по самой обязанности к вере, в доброжелательстве к себе удержал; и когда началась брань с князем Александром Литовским, тогда многие князья и с вотчинами своими по единоверию под власть великого князя московского предались. Знающий в военном тогдашнего времени искусстве, но елико можно избегающий от войны, яко от величайшего государствам зла. Хотя сей государь и не во многие походы сам ходил, но я не думаю, чтобы сие было от недостатка личной его храбрости; но за лучшее почитал чрез воевод своих всегда действовать, представляя себе изнутри государства равно действия войск своих учреждать, нежели, обратя свои внимания на единую войну, оставить какую другую часть государства без нужного призрения».

Таково было утвердившееся до Карамзина мнение о значении Иоанна III в нашей истории: Иоанн положил основание силе и величию государства Русского; под творческими его руками образовалось могущественное государство; он собрал Русскую землю; он освободил ее от татарского ига, прекратил все междоусобия и беспокойства. Уже в рассказе о деятельности предшественников Иоан-

новых Карамзин раза два намекает об отношении деятельности их к деятельности Иоанна; так, при определении значения Куликовской битвы мы встречаем замечательные, вполне справедливые слова: Мамаево побоище доказало возрождение сил России «и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих». Здесь предки Иоанна III представлены одинаково с ним великими; разница заключается в большем и меньшем счастье. Потом, рассказав о походе Василия Темного на Новгород, Карамзин заключает: «Таким образом Великий Князь, смилив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение оного».

Читатель на основании этих намеков вправе ожидать, что автор представит Иоанна довершителем дела предков, равно великих, довершителем дела уже легкого, как всякое довершение приготовленного, и встречает в начале описания княжения Иоаннова следующие строки: «Отсель История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости; но Правительство уже действует по законам ума просвещенного. Устраиваются лучшие воинства, призываются Искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских. Посольства Великокняжеские спешат ко всем Дворам знаменитым; Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице: Император, Папа, Короли, Республики, Цари Азиатские приветствуют Монарха Российского, славного победами и завоеваниями, от пределов Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия; Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей Истории Иоанна III, который имел редкое счастье властвовать сорок три года и был достоин оного, властвуя для величия и славы Россиян».

В этой картине нас останавливают слова, что со времен Иоанна III история уже не описывает бессмысленных драк княжеских. Слова эти чрезвычайно важны, потому что в них поставлено главное отличие государственной истории, начинающейся со времен Иоанна III, от истории предшествующей, которая характеризуется бессмысленными драками княжескими. Почему древняя русская исто-

рия принимает здесь у Карамзина такой характер, отчасти объясняется сказанным прежде о значении времени, последовавшего за смертью Ярослава I: «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие. Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трехсот лет. Историк чужеземный не мог бы с удовольствием писать о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обогранные кровию бедных подданных, мелькают перед его глазами в сумраке веков отдаленных». Но если автор не признает смысла в борьбе княжеской ни до Всеволода III, ни после него, то мы видели, что он дает смысл борьбе, начиная со времен Иоанна Калиты, которому и его преемникам он приписывает стремления к единовластию; следовательно, история перестает описывать бессмысленные драки княжеские уже со времен Иоанна Калиты, а не со времен только Иоанна III. «Разновластие исчезает вместе с нашим подданством». Если здесь *исчезает* принять в смысле продолжающегося действия, а не оконченного, то это будет признак не одного княжения Иоаннова, но и предшественников его; принять же в смысле действия оконченного нельзя, ибо разновластие не исчезло в княжение Иоанна III.

«Образуются Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической». Известно, что Россия не вступала в политическую систему Европы до времен Петра Великого; при Иоанне ближайшими могущественными державами были империя Римско-Германская и Турецкая; император Фридрих и сын его Максимилиан, как скоро увидали, что Московский князь не может быть им полезен в Германии и Нидерландах, тотчас же прекратили с ним сношения; сношения с Турциею ограничивались делами торговыми. Важный интерес заключали в себе, как и прежде, отношения к державам соседним: к Швеции, Ливонии, Литве и Ордам Татарским; Московское государство не участвует во времена Иоанна ни в одном общеевропейском событии, следовательно, не занимает места в политической системе Европы. Касательно же политической системы Азии мы ничего не знаем.

«Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества». Эти черты опять общие княжению Иоанна III с княжениями его предшественников; как у него, так и у них были три важные цели: утверждение единовластия, борьба с татарами, борьба с Литвою; разница в средствах, которые приготовлялись предшественниками и которыми пользовался Иоанн. То же должно сказать и о союзах: если Иоанн крепко держался союза с ханом Крымским против Литвы, то это не был первый опыт; дед его Василий Димитриевич также находился в союзе с татарами против Лит-

вы: «Устраиваются лучшие воинства, призываются Искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских». Относительно первого вернее было бы сказать: устраиваются многочисленнейшие воинства; второе — справедливо.

«Посольства великокняжеские спешат ко всем Дворам знаменитым». Мы видим послов московских только при двух знаменитых дворах: Австрийском и Турецком; не видим их ни в Испании, ни во Франции, ни в Англии.

«Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия». Мы не знаем, что автор разумел под этими остатками.

Характер Иоанна вообще представлен правильно: «В лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным и ему природную: ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности, и несправедливости, уважая общее мнение и правило века».

Василий Темный оставил в наследство сыну борьбу с новооснованным царством Казанским. Эта борьба при Иоанне III началась по следующему поводу, описанному у Карамзина согласно с источниками: «Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от него в Уделе на берегу Оки Мещерский городок, названный с того времени Касимовым; жил там в изобилии и спокойствии; имел сношения с Вельможами Казанскими и, тайно приглашенный ими свергнуть их нового Царя, Ибрагима, его пасынка, требовал войска от Иоанна, который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасною Казанью, чтобы успокоить наши восточные границы, подверженные впадениям ее хищного, воинственного народа». Но прежде этого автор приводит еще другую причину похода на Казань, которая служит связью между этим известием о походе и двумя или тремя другими разнородными известиями, а именно: «Истекала, — говорит автор, — седьмая тысяча лет от сотворения мира по Греческим Хронологам: суеверие с концом ее ждало и конца миру: Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества; менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслию независимости, думая, что все ненадолго... Огорчаясь вместе с народом, Великий Князь, сверх того, имел несчастье оплакать преждевременную смерть юной, нежной супруги, Марии... К горестным случаям сего времени Летописцы причисляют и то, что Первосвяtitель Феодосий, добродетельный, ревностный, оставил Митрополию... Наконец Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в Россиянах дух бодрости. Царевич Касим...» и т. д., как уже приведено выше.

Относительно того, что мысль о скором конце мира вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества, автор ссылается на

два источника: во-первых, на предисловие к «Церковному Кругу», где сказано: «Нации мнеша, яко скончеваем седмой тысуци быти и скончанию мира яко же и преже скончеваемей шестой тысуци сицево же мнение объдержаше люди»; во-вторых, на слова псковичей владыке Ионе: «При сем последнем времени о церквах Божиих смущено сильно».

За рассказом о походах казанских следует рассказ о первой войне Новгородской. Рассказ этот вообще правилен, согласен с источниками, и мы должны остановиться только на некоторых немногих местах, требующих объяснения. При описании борьбы сторон в Новгороде мало выставлено значение православия, которое было главным препятствием к соединению Новгорода с Литвою, о чем заметил князь Щербатов. Деятельность Марфы Борецкой автор представляет как явление, противное древним обычновениям и нравам славянским, которые, по мнению автора, удалили женский пол от всякого участия в делах гражданства. Нам не нужно здесь говорить о древних обычновениях и нравах славянских, нам нужно только вспомнить, что Марфа была мать знаменитого семейства Борецких, стоявших на первом плане в Новгороде, а известно, какое обширное влияние имели матери семейств над своими детьми; нам известно, что князья наши, умирая, завещали сыновьям не выступать из воли матери, слушаться ее, полагаться во всем на ее решения, и мы видим действительно, что эти завещания свято исполнялись сыновьями, которые ничего не делали без благословения матери; после этого нам нельзя удивляться, что Марфа Борецкая имела такое влияние на дела в Новгороде.

О договоре новгородцев с Казимиром автор говорит: «Многочисленное посольство отправилось в Литву с богатыми дарами и с предложением, чтобы Казимир был главою Новгородской Державы на основании древних уставов ее гражданской свободы. Он принял все условия и написал грамоту». Но, сравнив эту грамоту с грамотами, которые заключались с великими князьями Московскими, мы находим разницу, а именно: в Казимировой грамоте не встречаем условия держать княжение честно и грозно, не встречаем условия прав короля раздавать волости, грамоты вместе с посадником, не лишать волостей без вины; нет условия о праве короля брать дар со всех волостей новгородских, о праве охотиться в известных местах, посылать своего человека за Волок и проч. Начало явного движения стороны Борецких в пользу Казимира описывается у автора так: «Посол, возвратясь в Новгород, объявил народу о милостивом расположении Иоанном. Многие граждане, знатнейшие чиновники и нареченный Архиепископ Феофил хотели воспользоваться сим случаем, чтоб прекратить опасную распрю с Великим Князем; но скоро открылся мятеж, какого давно не бывало в сей народной Державе». Следует описание значения Марфы Борецкой, после чего автор продолжает: «Видя, что Посольство Боярина Ни-

киты сделало в народе впечатление, противное ее намерению, и расположило многих граждан к дружелюбному сближению с Государем Московским, Марфа предприняла действовать решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились на Вече и торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном» и проч.

Это событие описано не вполне согласно с источниками, где приводится обстоятельство, которым воспользовались Борецкие: в то время как посольство боярина Никиты давало перевес стороне московской, явились послы псковские с такою речью: «Нас великий князь и наш государь поднимает на вас; от вас же, своей отчины, челобитья хочет. Если нам будет надобно, то мы за вас, свою братью, ради отправить посла к великому князю бить челом о мире». Это посольство дало Борецким предлог кричать против Москвы: так объясняется дело из послания к новгородцам митрополита Филиппа, который пишет: «Ваши лиходеи наговаривают вам на великого князя: опасную грамоту он владыке нареченному дал, а между тем псковичей на вас поднимает и сам хочет на вас идти. Дети! такие мысли враг дьявол вкладывает людям: князь великий еще до смерти владыки и до вашего челобитья об опасной грамоте послал сказать псковичам, чтоб они были готовы идти на вас, если вы не исправитесь, а когда вы прислали челобитье, так и его жалованье к вам тотчас пошло». Карамзин приводит послание митрополита, но эти слова опускает; опускает также любопытное указание митрополита на Борецких: «Многие у вас люди молодые, которые еще не навыкли доброй старине, как стоять и побороть по благочестии, а иные, оставшись по смерти отцев не наказанными, как жить в благочестии, собираются в сонм и поощряются на земское нестроение».

Описав покорение Новгорода, автор обращается к его происхождению, устройству, причинам падения. Касательно происхождения новгородского быта он говорит: «Не в правлении вольных городов Немецких, как думали некоторые писатели, но в первобытном составе всех Держав народных, от Афин и Спарты до Унтервальдена или Глариса, надлежит искать образцов Новгородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность, когда они, избирая сановников вместе для войны и суда, оставляли себе право наблюдать за ними, свергать в случае неспособности, казнить в случае измены или несправедливости и решать все важное и чрезвычайное в общих советах». Здесь историк XIX века взглянул на дело гораздо глубже, чем предшественники его, историки XVIII века, которые, удовлетвовавшись внешним, случайным сходством новгородского быта с бытом вольных городов немецких, заключили, что первый образовался по подражанию последнего; Карамзин отвергает это подражание и предполагает общее сходство в начальном образовании общин как в древнем, так и в новом мире.

Но мы не можем вполне согласиться и с его мнением, потому

что быт Новгорода в том виде, в каком он представлен самим автором, не ведет своего происхождения из глубокой древности; сам автор говорит, что новгородцы при пользовании известными правами ссылались на жалованную грамоту Ярослава Великого; сам автор в девятой главе второго тома определил время, когда посадники начали избираться новгородцами. Принимая положение Монтескьё относительно причин твердости государств, Карамзин причину падения Новгорода полагает утрату воинского мужества, происшедшую от усиления торговли и увеличения богатства: «Падение Новгорода ознаменовалось утратою воинского мужества, которое уменьшается в Державах торговых с умножением богатства, располагающего людей к наслаждениям мирным. Сей народ считался некогда самым воинственным в России и, где сражался, там побеждал, в войнах междоусобных и внешних: так было до XIV столетия. Счастливым спасенный от Батыея и почти свободный от ига Монголов, он более и более успевал в купечестве, но слабел доблестью: сия вторая эпоха, цветущая для торговли, бедственная для гражданской свободы, начинается со времен Иоанна Калиты. Богатые Новгородцы стали откупаться серебром от Князей Московских и Литвы. Ополчения Новгородские в XV веке уже не представляют нам ни пылкого духа, ни искусства, ни успехов блестящих. Что кроме неустройства и малодушного богатства видим в последних решительных битвах?»

Но если мы и примем эту причину падения Новгорода, то не можем принять ее одну: если, с одной стороны, новгородцы вследствие умножения богатства теряли воинское мужество, то, с другой стороны, великие князья все более и более усиливались; легко было бороться Новгороду до XIV века с князьями слабыми, ведшими друго с другом постоянные усобицы; трудно и наконец невозможно стало ему бороться с преемниками Калиты, располагавшими всеми силами Северо-Восточной Руси. Сам Карамзин при описании похода отца Иоаннова на Новгород совершенно справедливо указывает причины слабости последнего, говоря: «Летописцы повествуют, что внезапное падение тамошней великолепной Церкви С. Иоанна наполнило сердца ужасом, предвестив близкое падение Новгорода: гораздо благоразумнее можно было искать сего предвестия в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе Великих Князей, которые более и более уверялись, что он под личиною гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности Государства Московского со стороны Моголов и Литвы не позволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслию совершенного покорения сей Державы. Можно еще взять ранее и сказать, что одна только усобица с Московским князем помешала Михаилу Тверскому совершенно покорить Новгород».

Еще до первого похода Иоаннова на Новгород началась пере-

сылка с Римом по поводу сватовства великого князя Московского на Софии Палеолог, племяннице последнего императора Византийского. Это сватовство и брак описаны у Карамзина подробно и вообще верно, связно, без перерыва другими известиями, находящимися в летописях по хронологическому порядку. Что касается следствий этого важного для России события, то автор говорит: «Главным действием сего брака было то, что Россия стала известнее в Европе, которая чтит в Софии племя древних Императоров Византийских и, так сказать, провожала ее глазами до пределов нашего отечества; начались Государственные сношения, пересылки; увидели Москвитян дома и в чужих землях; говорили об их странных обычаях, но угадывали и могущество. Сверх того, многие Греки, приехавшие к нам с Царевною, сделались полезны в России своими знаниями в Художествах и в языках, особенно в Латинском, необходимом тогда для внешних дел Государственных; обогатили спасенными от Турецкого варварства книгами Московские церковные библиотеки и способствовали велелепию нашего Двора сообщением ему пышных обрядов Византийского, так что с сего времени столица Иоаннова могла действительно именоваться Новым Царемградом, подобно древнему Киеву. Следовательно, падение Греции, содействовав возрождению Наук в Италии, имело счастливое влияние на Россию».

Мы должны заметить, что по поводу брака Иоаннова на Софии начались сношения только с одною Венециею; из греков, приехавших с Софиею, сделались полезны в России своими знаниями в художествах и языках очень немногие; автор не мог назвать нам многих. Какие пышные обряды Византийского двора сообщили Московскому двору выездные греки во времена Иоанна III, этого автор также не показал и, по нашему мнению, показать не мог. Не приехавшие с Софиею греки, но сама София имела для Московского Государства великое значение, характер которого так ясно поняли и передали нам современники; автор прошел молчанием их свидетельства; только при известии о кончине Софии говорит вообще о ее влиянии: «Он (Иоанн) лишился тогда супруги: хотя, может быть, и не имел особенной к ней горячности, но ум Софии в самых важных делах Государственных, ее полезные советы и, наконец, долговременная свычка между ими сделали для него сию потерю столь чувствительною, что здоровье Иоанново, дотоле крепкое, расстроилось».

Известие об отправлении в Венецию Толбузина, который имел поручение вывезти оттуда искусного архитектора, составляет естественный переход к известиям о постройках, которыми украсилась Москва при Иоанне III: «Соборный храм Успения, основанный Св. Митрополитом Петром, уже несколько лет грозил падением, и Митрополит Филипп желал воздвигнуть новый по образцу Владимирского. Долго готовились; вызывали отовсюду строителей;

заложили церковь с торжественным обрядом. Сей храм еще не был достроен, когда Филипп Митрополит преставился, испуганный пожаром». Здесь читателя необходимо останавливает пробел между известиями: «вызывали отовсюду строителей» и «храм еще не был достроен». Кто же строил?

Выражение: «вызывали отовсюду строителей» — не соответствует рассказу летописца, который говорит: «Помысли Филипп Митрополит церковь соборную воздвигнути: призва мастера, Ивашка Кривцова да Мышкина, и нача им глаголати, аще имутся делати? Мастери же изымашася». Далее: «Преемник его (Филиппов) Геронтий также ревностно пекся о ее строении; но, едва складенная до сводов, она с ужасным треском упала. Видя необходимость иметь лучших художников, чтоб воздвигнуть храм, достойный быть первым в Российской державе, Иоанн послал в Псков за тамошними каменщиками, учениками Немцев, и велел Толбузину, чего бы то ни стоило, сыскать в Италии Архитектора, опытного для сооружения Успенской кафедральной церкви».

Здесь псковские каменщики противопоставляются архитектору; выходит, что архитектором Успенского собора был вызванный из Италии Аристотель, а каменщиками — вызванные из Пскова работники; но, по летописи, вызванные из Пскова люди были вовсе не каменщиками, но такими же архитекторами, как и Аристотель, и летописец одинаково называет их мастерами церковными; по летописи, выходит, что великий князь сначала хотел поручить строение церкви псковским мастерам, но потом передумал и послал для строения Успенского собора за архитектором в Италию, а псковским архитекторам поручил строение других церквей: они построили Троицкий собор в Сергиеве монастыре, Благовещенский собор на великокняжеском дворе, соборные церкви в Златоустовском и Сретенском монастырях, церковь Риз положения на митрополичьем дворе.

В рассказе о построении Теремного дворца автор говорит: «Сильный пожар обратил весь город в пепел. Государь переехал в какой-то большой дом на Яузу, к церкви Св. Николая Подкопаева, и решился соорудить дворец каменный». В летописи: «Тогда же был князь великий у Николы Подкопаева у Яузы в христианских (крестьянских) дворах». В заключение рассказа читаем: «Угождая Государю, знатные люди также начали строить себе каменные дома: в летописях упоминается о палатах Митрополита, Василия Федоровича Образца и Головы Московского, Дмитрия Владимировича Ховрина». Здесь мы должны указать на неверность, которая может повести к значительным недоразумениям. Звания Головы Московского в описываемое время не было; один из сыновей боярина Владимира Григорьевича Ховрина, Иван Владимирович, носил не звание, но прозвище *Голова*, откуда потомство его получило фамилию Головиных; в летописи под 1485 годом читаем: «Того же лета Дмит-

рей Володимеров сын Ховрин палату кирпичную и ворота заложил, и соверши й» — и потом под тем же годом: «Того же лета Василей Образец и Голова Володимеров сын заложил палаты кирпичны»; здесь разумеется под Головою Иван Владимирович, и его нельзя смешивать с братом его, Дмитрием Владимировичем, который Головою не был и не назывался.

Начиная с княжения Иоанна III, нам важно в «Истории государства Российского» следить за известиями о дипломатических сношениях Московского государства с державами иностранными, проверить эти известия по источникам, потому что источники эти до сих пор большею частию еще не изданы. Начнем с дел крымских и сравним, для примера, известие о посольстве бояр: Семена Борисовича — в 1486 году и Дмитрия Васильевича Шеина — в 1487-м. В «Истории государства Российского» читаем: «Кроме обыкновенных гонцов отправлялись в Тавриду и знаменитые Послы: в 1486 году Семен Борисович, в 1487-м Боярин Дмитрий Васильевич Шеин — с ласковыми грамотами и дарами, весьма умеренными». В источниках находится следующий наказ боярину Семену Борисовичу: «Беречь накрепко, чем царь с королем (Казимиром) не мирился, ни канчивал. А взмолвит царь о том: князь великий с королем послы ссылаются, — ино молвити так: «послы меж их ездят о мелких делах о порубежных, а гладости ни которые и миру осподарю нашему великому князю с королем нет. Что еси пожаловал, послал своих людей на королеву землю, занеж король тебе недруг и осподарю моему недруг, инобы недругу вашему чем истомнее, тем бы лутши, а осподаря нашего великого князя люди безпрестанно емлют королеву землю».

Если Менгли-Гирей спросит: «Я иду; князь великий идет ли?» — то отвечать: «Всхочешь свое дело делати, пойдешь на короля, ино велми добро, а осподаря моего о том обошлешь, и осподарь мой один человек на короля, а твое дело да и свое делает как ему Бог поможет». Учнет царь посла своего посылати к великому князю, ино говорит царю о том, чтобы с послом лишних людей не было. Похочет царь сам поити воевати на литовскую землю, а Семена захочет с собою поняти, и Семену у него отговариватися, а начнет царь свой ход откладывати Семенова для отговора, и Семену с ним поити, а не отговариватися, а поидет король на великого князя, и Семену о том царю говорити, чтоб царь сам сел на конь да пошел на литовскую землю воевати, а самому Семену тогда о своем ходу не отговариватися, а с царем поити. А похочет царь послать воевати литовские земли или сам поити, а всхочет ийти к Путивлю или на Северу, и Семену говорити, чтоб царь послал воевати или сам пошел на Подолье или на киевские места».

В наказе Шеину читаем: «Говорити накрепко, чтоб Менгли-Гирей пошел на Орду или брата своего послал, а какими делами не поидет, говорити о том, чтоб царь на короля пошел. Послу ийти с

царем на Литву только в том случае, когда цари Муртоза и Седихмет пойдут на великого князя, ибо они пойдут по наущению литовскому; если же эти цари не пойдут на Москву, то послу отговариваться от похода с Менгли-Гиреем на Литву; а не отговорится, а за тем будет царю не ити на литовскую землю, и послу с царем поити. Бережи крепко, чтоб царь с королем не мирился. Если же царь скажет, что королев послон у него сидит изыман, и князь великий, что ему приказал о после королеве? — то отвечать: «Король, господине, как тебе недруг, так и моему осподарю недруг: ино чем недругу досаднее, так лутчи». Шеину наказано было не уезжать из Крыма ни весной, ни летом, а беречь того, чтобы царь шел или на Орду, или на короля, а великого князя обсылать обо всем. Для этих обсылок встречаем такое распоряжение: «А се ехати с Дмитрием с Шеиным татаром, а проводити им Дмитрея в Перекоп в Орду: из Тостунова, из Щитова, из Коломны, из Ловичина, из Суражика, из Берендеева, из Ижва». Одних из этих татар послон должен был отпустить, других оставить с собою «в Перекопе на лежанье вестей для».

Об отношениях Иоанна к Литве при жизни Казимира автор рассуждает так: «Несмотря на взаимную ненависть между сими двумя Державами, ни которая не хотела явной войны. Казимир, уже старый и всегда малодушный, боялся твердого, хитрого, деятельного и счастливого Иоанна, увенчанного славою побед; а Великий Князь отлагал войну по внушению государственной мудрости: чем более медлил, тем более усиливался и вернее мог обещать себе успеха, неусыпно стараясь вредить Литве, казался готовым к миру и не отвергал случаев объясняться с Королем в их взаимных неудовольствиях». Мы знаем также, что во все это время Казимир был занят делами прусскими, богемскими и венгерскими, а потом был лишен средств действовать так, как бы ему хотелось, вследствие отношений своих к сеймам и вследствие отношений Литвы к Польше. Выбор существенных черт из дипломатических сношений Иоанна с Казимиром вообще сделан удачно. Известно, что в сношениях Иоанна с сыном Казимировым Александром одним из самых важных спорных пунктов был титул Иоаннов — «государя всея Руси», которого не хотел уступить Александр. О начале спора по этому предмету автор говорит так при известии о посольстве Загряжского в Литву: «В верующей грамоте, данной Загряжскому, Иоанн по своему обыкновению назвал себя Государем всея России».

Здесь выражение: «по своему обыкновению» — может смутить читателя: действительно, во внутренних грамотах титул *всея Руси* употреблялся уже давно великими князьями Московскими; но в сношениях с Литовским двором он был здесь употреблен впервые Иоанном. Как хорошо автор понимал обязанность историка передавать читателям своим речи действующих лиц, всего лучше видно из речи Иоанна III послам литовским, приехавшим за дочерью его

Еленю: «Государь ваш, брат и зять мой, восхотел прочной любви и дружбы с нами: да будет! Отдаем за него дочь свою. Он должен помнить условие, скрепленное его печатием, чтобы дочь наша не переменила закона ни в каком случае, ни принужденно, ни собственною волею. Скажите ему от нас, чтобы он дозволил ей иметь придворную церковь Греческую. Скажите, да любит жену, как Закон Божественный повелевает, и да веселится сердце родителя счастлием супругов! Скажите от нас Епископу и Панам вашей Думы Государственной, чтобы они утверждали Великого Князя Александра в любви к его супруге и в дружбе с нами. Всевышний да благословит сей союз!» В подлиннике эта речь читается так: «И вы от нас молвите брату и зятю нашему, великому князю Александру: на чем наш молвил и лист свой дал, на том бы и стоял, чтобы нашей дочери некоторыми делы к римскому закону не нудил; а и похочет наша дочи приступить к римскому закону, и мы своей дочери на то воли не даем, а князь бы великий Александр на то ей воли не давал же, чтобы меж нас про то любовь и прочная дружба не нарушилася. Да молвите от нас: как оже даст Бог наша дочи будет за ним и он бы нашу дочь, а свою великую княгиню жаловал, держал бы ее так, как Бог указал мужем жены держати, а мы бы, слышечи на своей дочери его жалованье, были о том веселы. Чтобы учинил нас делея, велел бы нашей дочери поставити церковь нашего греческого закона, на переходех у своего двора, у ее хором, чтобы ей близко к церкви ходити, а его бы жалованье в нашей дочери нам добре слышети. Да молвите от нас бискупу, да и панам вашей братьи, всей раде, да и сами того поберегите, чтобы брат наш и зять нашу дочь жаловал, а межи бы нас братство и любовь и прочная дружба не нарушилася доколеи даст Бог».

Встреча великой княгини Елены с женихом Александром Литовским описывается у Карамзина так: «Александр выслал знатнейших чиновников приветствовать Елену на пути и сам встретил ее за три версты от Вильны, окруженный Двором и всеми Думными Панами. Невеста и жених, ступив на разостланное алое сукно и золотую камку, подали руку друг другу, сказали несколько ласковых слов и вместе въехали в столицу, он на коне, она в санях, богато украшенных». В источниках это описание читается так: «И князь великий великую княжну встретил до города за три версты, да тут на жеребце стал и тапкана (экипаж Еленин) стала же, и тут от великого князя послали к тапкане поставь сукна чермного, а у тапканы послали по сукну великого же князя камку бурскую з золотом, и великая княжна из тапканы на камку вышла, а за нею боярыни вышли же, а Князь Великий на сукно с жребца сшел, да по сукну к великой княжне пошел, да великой княжне дал руку, да и к себе ее принял, да и о здоровье испросил, да великой княжне велел опять пойти в тапкану, а боярыням, княгине Марьи, да Русалкине жене, руку дал же, а сам князь великий на жеребца пошел».

О наказе, полученном Еленой от отца, автор говорит: «Иоанн не забыл ничего в своих предписаниях, назначая даже, как Елене одеваться в пути, где и в каких церквах петь молебны, кого видеть, с кем обедать и проч.». В этом и прочем мы находим любопытные известия об обычаях того времени и о некоторых политических отношениях: так, например, если какой-нибудь пан даст обед для Елены, то жене его быть на обеде, а самому ему не быть; Елена не должна была допускать к себе князей, выходцев московских — Шемячича и других, если б захотели ей челом ударить.

Описывая новые неудовольствия, возникшие между Москвою и Литвою, автор говорит: «Все неудовольствия Александровы происходили, кажется, от того, что он жалел о городах, уступленных им России, и с прискорбием оставлял Елену Греческою Христианкою. Иоанн не отнял ничего нового у Литвы после заключения договора; видя же упрямство, несправедливость и грубость зятя, брал свои меры». Из источников оказывается, что дело шло о Торопецких волостях, захваченных боярином Иваном Васильевым, и других порубежных землях и водах. Через посла своего Зенка в 1497 году Александр говорил: «Слали есмо до тебя о тых же наших обидных делех и о поправлению границ старых *подле докончания*, абы еси земли и вод наших велел поступитися».

Мы видели уже, как автор выставил значение Иоанна III в начале рассказа о его княжении; в заключение рассказа он повторяет и распространяет прежде высказанные положения: «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих Государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов: он есть Герой не только Российской, но и Всемирной Истории... Россия около трех веков находилась вне круга Европейской политической деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов. Хотя ничего не делается вдруг; хотя достоятельные усилия Князей Московских, от Калиты до Василия Темного, многое приготовили для Единовластия и нашего внутреннего могущества: но Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней, где еще не имела ни твердого образа, ни полного бытия Государственного. Благотворная хитрость Калиты была хитростью умного слуги Ханского. Великодушный Димитрий победил Мамаю, но видел пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу. Сын Донского, действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл единственно целостность Москвы, неволью уступил Смоленск и другие наши области Витовту и еще искал милости в Ханах; а внук не мог противиться горсти хищников Татарских, испил всю чашу стыда и горести на престоле, униженном его слабостию, и был пленником в Казани, невольником в самой Москве; хотя и смирил наконец внутренних врагов, но восстановлением Уделов подвергнул Великое Княжество новым опасностям междоусобия. Орда с Литвою, как две ужасные тени, заслоняли от нас мир и были единственным политическим горизон-

том России, слабой, ибо она еще не ведала сил, в ее недрах сокровенных. Иоанн, рожденный и воспитанный данником степной Орды, подобно нынешним Киргизским, сделался одним из знаменитых Государей в Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до Царяграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни Императорам, ни гордым Султанам; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, дал себе мудрые правила в Политике внешней и внутренней; силою и хитростию восстанавливая свободу и целостность России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая Уделы, расширяя владения Московские до пустыней Сибирских и Норвежской Лапландии, изобрел благоразумнейшую, на дальновидной умеренности основанную для нас систему войны и мира, которой его преемники должны были единственно следовать постоянно, чтобы утвердить величие Государства. Бракосочетанием с Софиею обратил на себя внимание Держав, раздрав завесу между Европою и нами; с любопытством обозревая Престолы и Царства, не хотел мешаться в дела чужие; принимал союзы, но с условием ясной пользы для России; искал орудий для собственных замыслов и не служил никому орудием, действуя всегда, как свойственно великому, хитрому Монарху, не имеющему никаких страстей в Политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего народа».

На этой в высшей степени замечательной статье мы должны необходимо остановиться, потому что в ней автор дает читателю много средств для правильной оценки знаменитого княжения Иоанна III.

Вполне справедливо мнение автора, что Иоанн был избран Провидением, чтобы решить надолго судьбу народа русского. Действительно, если бы в это важное время, в половине XV века, на престоле Московском явился государь, не столько способный, как Иоанн III, воспользоваться приготовленными от предшественников средствами и необыкновенно благоприятными внешними обстоятельствами, и когда нужно было дать последний удар некоторым обветшалым явлениям для упрочения нового высшего государственного устройства, то судьба юного Московского государства была бы иная. Вполне справедливо замечает автор, что ничего не делается вдруг и что предшествовавшие Иоанну князья Московские, начиная с Калиты, многое приготовили для единовластия и внутреннего могущества России; «но Россия, — говорит Карамзин, — при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней». Действительно, Московское государство пред княжением Иоанна можно сравнить с памятником, который был приготовлен, но еще не был открыт; Иоанну суждено было снять полотно, закрывавшее памятник.

В приведенном рассуждении автор очень верно описывает подвиги предшественников Иоанновых; препятствия, с которыми они должны были бороться. Благодаря этому описанию читателю легко

сравнить положение Иоанна и его предшественников и определить их значение. Великодушный Димитрий Донской победил Мамаю, но видел пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу, тогда как при Иоанне III Волжская Орда была уже так слаба, что Ахмат без битвы бежал от Угры; и когда он был убит Иваном, то сыновья его уже не могли снова усилиться и грозить Москве, подобно Тохтамышу. Сын Донского, действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл единственно целостность Москвы, ибо имел соперником могущественного Витовта, тогда как Иоанн, действуя с таким же благоразумием, но имея соперниками слабых Казимира и Александра, мог присоединить к Москве от Литвы обширные области. Отец Иоанна Василий Васильевич был занят последнею ожесточенною усобицей, наконец, успел победить всех внутренних врагов, соединить почти все уделы, ослабить окончательно Новгород, и если оставил уделы младшим сыновьям, то так же распорядился и сам Иоанн; но у последнего не было соперников ни в дяде, ни в двоюродных братьях; родные доставляли ему мало беспокойства, ибо вследствие распоряжений Василия Темного не имели средств противиться старшему брату, и потому Иоанн, спокойный внутри, имел всю возможность заниматься делами внешними и распространить границы своих владений. Одним словом, мы не можем не повторить вполне справедливого отзыва, сделанного нашим автором о предшественниках Иоанновых в первой главе пятого тома, где он говорит, что Мамаево побоище «доказало возрождение сил России и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, которому судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но *равно великих*».

По словам автора, до Иоанна III Орда с Литвою, как две ужасные тени, заслоняли от нас мир и были единственным политическим горизонтом России, слабой, ибо она еще не ведала сил, в ее недрах сокровенных. При Иоанне III, собственно говоря, горизонт оставался тот же самый, ибо все внимание великого князя было обращено на Литву и на Орду в ее подразделениях, на Орду Волжскую, на Казань и Крым. Правда, начались было сношения с Австрийским двором, но скоро и прекратились без всякого результата, ибо государи увидали, что у них нет общих интересов; сношения с Даниею не имели больших результатов; только сношения с государствами итальянскими принесли пользу, ибо оттуда послы наши привозили художников; сношений со Швециею нельзя считать новыми, ибо новгородцы и прежде сносились с этою державою; сношения с Турциею сменили прежние сношения с Грециею, но ограничили одними торговыми интересами. Карамзин прекрасно определил положение Иоанна относительно государств европейских, кроме соседних: «С любопытством обозревая Престолы и Царства, не хотел мешаться в дела чужие». Действительно, роль Иоанна

ограничивалась только обозрением престолов и царств, разумеется не всех, потому что Испания, Франция и Англия оставались вне политического горизонта; Иоанн не хотел мешаться в дела чужие, ибо дела всех других государств, кроме соседних — Литвы, немцев Ливонских, Швеции, Орды, — были для нас делами чуждыми.

«Совершая сие великое дело, — продолжает Карамзин, — Иоанн преимущественно занимался устройением войска. Летописцы говорят с удивлением о сильных его полках. Он первый, кажется, начал давать земли, или поместья, Боярским Детям, обязанным, в случае войны, приводить с собою несколько вооруженных холопей или наемников, конных или пеших, соразмерно доходам поместья (от сего умножилось число ратников); принимал в службу и многих Литовских, Немецких пленников, волею и неволею: сии иноземцы жили за Москвою-рекою в особенной слободе. С сего времени также начинаются *Разряды*, которые дают нам ясное понятие о внутреннем образовании войска, состоявшего обыкновенно из пяти так называемых полков: Большого, Передового, Правого, Левого и Сторожевого, или Запасного. Каждый имел своего Воеводу, но предводитель Большого Полку был главным». Действительно, как видно из летописи, число войск московских при Иоанне III значительно увеличилось; перемен же в устройстве войска не произошло никаких: обычай давать служилым людям села под условием службы и в награду за нее встречаем в Северной Руси еще во времена Иоанна Калиты. В его завещании читаем распоряжение относительно села Богородицкого, отданного Борису Воркову. «Если этот Ворков, — говорит великий князь, — будет служить которому-нибудь из моих сыновей, то село останется за ним; если же перестанет служить детям моим, то село отнимут». По свидетельству ближайшего ко времени и достойнейшего вероятия писателя Герберштейна, особую слободу за Москвою-рекою для телохранителей своих построил великий князь Василий Иоаннович. Мы теперь знаем, что в некоторых рукописях разряды восходят даже до времен Димитрия Донского. Что при Иоанне III не было сделано перемен в строе русского войска, доказывают разряды его времени, в которых видим древнейшее разделение войска на полки: Большой, Передовой и т. д.

«Князья племени Рюрикова и Св. Владимира служили ему наравне с другими подданными и славились титлом Бояр, Дворецких, Окольных, когда знаменитою, долговременною службою приобрели оное. Василий Темный оставил сыну только четырех Великокняжеских Бояр, Дворецкого, Окольного; Иоанн в 1480 году имел уже 19 Бояр и 9 Окольных, а в 1495 и 1496 годах учредил сам Государственного Казначея, Постельничего, Ясельничего, Конюшего». Звание конюшего и казначея встречаем гораздо ранее; в завещаниях предшественников Иоанновых читаем: «А кто будет моих казначеев и тиунов» и т. д.; о конюшем упоминается в летописи еще под 1185 годом и после.

«Иоанн, как человек, не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит, как Государь, на высшей степени величия. Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо хотел действовать всегда осторожно. Сия осторожность есть вообще благоразумие: оно не пленяет нас подобно великодушной смелости; но успехами медленными, как бы неполными, дает своим творениям прочность. Что оставил миру Александр Македонский? — славу. Иоанн оставил Государство, удивительное пространством, сильное народами, еще сильнее духом правления. то, которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным отечеством. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествие Моголов; Россия нынешняя образована Иоанном, а великие Державы образуются не механическим слеплением частей, как тела минеральные, но превосходным умом Державных. Уже современники первых счастливых дел Иоанновых возвестили в Истории славу его: знаменитый летописец польский, Длугош, в 1480 году заключил свое творение хвалю сего неприятеля Казимира. Немецкие, Шведские Историки шестаго-надесять века согласно приписали ему имя Великого; а новейшие замечают в нем разительное сходство с Петром Первым: оба, без сомнения, велики, но Иоанн, включив Россию в общую Государственную систему Европы и ревностно заимствуя Искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных; не видим также, чтобы пекся о просвещении умов Науками. Призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства, хотел единственно великолепия, силы; и другим иноземцам не заграждал пути в Россию, но единственно таким, которые могли служить ему орудием в делах посольских или торговых; любил изъявлять им только милость, как пристойно великому Монарху, к чести, не к унижению собственного народа. Не здесь, но в Истории Петра можно исследовать, кто из сих двух Венценосцев поступил благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества».

Чрезвычайно важно и вполне справедливо здесь заключение автора, что великие державы образуются не механическим слеплением частей, как тела минеральные, но превосходным умом державным. Чтобы применить это положение к нашей истории, стоит только вспомнить сказанное автором прежде, что ничто не делается вдруг; что достохвальные успехи князей Московских — от Калиты до Василия Темного — многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего могущества; что судьба назначила Иоанну III совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих.

Соединив эти положения, вполне верные, получим положение, также вполне верное, что Россия образовалась не механическим слеплением частей, но превосходным умом целого ряда государей, в числе которых знаменитое место занимает Иоанн III, но не иск-

лючительно, и нельзя сказать, что Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла от нашествия монголов, а Россия нынешняя образована Иоанном: ибо в таком случае какое же значение мы дадим деятельности предшественников Иоанновых, одинаково с ним великих? Какое значение дадим деятельности Иоанна Калиты, собирателя Земли Русской, Дмитрия Донского — победителя Мамаева? Какое значение дадим деятельности Ярослава Всеволодовича, которого автор называет возобновителем разрушенного великого княжения, деятельности сына его, Александра Невского? Что же касается до сравнения деятельности Иоанна III с деятельностью Петра Великого, то отношение между ними ясно: деятельность Иоанна к деятельности Петра относится как начало к концу: Иоанн, наследовавший Московское государство, почти уж собранное, спокойный, следовательно, внутри, первый имел досуг обратить взоры на государства Западной Европы и начал заимствовать оттуда плоды цивилизации, призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства. Преемники его все более и более усиливали эти средства; в XVII веке поняли, что от вызова иностранцев мало пользы; что нельзя оставлять науку и искусство монополиею иностранцев; что для преуспевания и могущества России нужно, чтобы сами русские сравнялись в знании и в искусстве с ними: и вот уже царь Михаил Феодорович вызывает иностранцев, с тем чтобы они учили русских тому, что сами знают, а Петр Великий употребляет для этого решительные, окончательные меры.

«Он (Иоанн) умножил Государственные доходы приобретением новых областей и лучшим порядком в собирании дани, росписав земледельцев на сохи и каждого обложив известным количеством сельских хозяйственных произведений и деньгами, что записывалось в особенные книги». Совершенно справедливо, что государственные доходы умножились приобретением новых областей; что же касается до лучшего порядка в собирании дани, то росписание на сохи существовало гораздо прежде до Иоанна. Относительно торговли можно вполне согласиться с автором, что она должна была усилиться при Иоанне. Наконец, мы должны указать на обстоятельную и живое изложение законов Иоанновых.

Приступая к изображению государственования преемника Иоаннова, Василия, Карамзин определяет так характер нового великого князя: «Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем Самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в Политике внешней и внутренней, решал важные дела в Совете Бояр, учеников и сподвижников Иоанновых, их мнением утверждая собственное, являл скромность в действиях Монархической власти, но умел повелевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для Госу-

дарственного могущества; менее славился воинским счастьем; более опасною для врагов хитростию; не унижил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным Самодержавия». В конце повествования о княжении Василия встречаем новый замечательный отзыв об этом государе: «Василий стоит с честью в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоанном III и IV, и не затмевается их сиянием для глаза наблюдателя; уступая им в редких природных дарованиях: первому — в обширном, плодотворном уме государственном, второму — в силе душевной, в особенной живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели, — он шел путем, указанным ему мудростию отца, не устранялся, двигался вперед шагами, размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приближался к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; был не гением, но добрым Правителем; любил Государство более собственного великого имени и в сем отношении достоин истинной, вечной хвалы, которую немногие Венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василий сохраняют, утверждают Державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны Провидению».

Прежде всего покажем отношение этого отзыва о Василии к отзыву о том же государе предшествовавшего историка князя Щербатова: «Что касается до обычая сего государя, то, хотя не обретаем мы в нем толь блистательных качеств, каковыми отличался его родитель и которыми отличался его сын, царь Иоанн Васильевич, однако, обретает в нем сие набожие несуетверное и на добродетели основанное, которое есть основание твердых правил мудрого правительства; сию мудрость, не спешащую делами и жертвующую иногда тщетную славу для пользы Государства; сию твердость в следствии дел, могущую довести до конца труднейшие предприятия. Он всегда старался отбегать от войны, почитая ее всегда вредною государству, а паче по тогдашним обстоятельствам России; однако, в случае справедливого защищения себя, никогда от нее не убегал; но твердо показывал, что он готов ее со всею бодростию произвести» и проч.

Если от этих отзывов о характере и деятельности Василиевой мы обратимся к отзывам современников о знаменитом сыне Иоанна и Софии, то найдем, что, по отзыву боярина Берсеня, Василий был гораздо строжайшим ревнителем государственного начала, чем отец его Иоанн III; этот отзыв подтверждается Герберштейном, по словам которого Иоанн был начинателем, а Василий совершителем дела. Что же касается до сравнения Василия с отцом его в других отношениях, то с уверенностью можно сказать только, что он менее славился воинским счастьем, чем отец, как справедливо заметил Карамзин.

В начале княжения Василия встречаем со стороны его смелую попытку, которую автор оценивает весьма справедливо: «В августе 1506 года Король Александр умер: Великий Князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительною грамотою ко вдовствующей Елене; но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в Короли; что разноеверие не есть истинное препятствие; что он дает клятву покровительствовать Римский Закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели Государь единоеверный. Наумов должен был сказать то же Виленскому Епископу Войтеху, Пану Николаю Радзивиллу и всем думным Вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием Монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну Державу; Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину; и если бы его желание исполнилось, то Север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах. Эта кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них; повинувся Государю общему, в духе братства, они сделались бы мирными властелинами полунощной Европы». Что же касается до изложения наказа, данного Наумову, то в источниках этот наказ читается так: «Приказал (Василий) сестре, чтоб она похотела и говорила б бискупу и панам и всей раде и земским людям, чтоб похотели его государства и служити б похотели, а нечто учнут опасатца за верою, и государь их в том ни въ чем не нарушит, как было при короле, а жаловать хочет и свыше того. Ко князю Войтеху, бискупу виленскому, пану Николаю Радзивиллу и ко всей раде приказывал о том же, чтоб они похотели его на Государство Литовское». Как здесь, так и во всех сношениях мы видим, что дело идет о государстве Литовском, которое признается отдельным.

И при Василии Иоанновиче вместе с делами литовскими на первом плане стоят дела крымские. При жизни старика Менгли-Гирей начинались неудовольствия, но явного разрыва еще не было. Автор говорит, что Менгли-Гирей всего более желал, чтобы государь позволил пасынку его Абдыл-Летифу, сверженному царю Казанскому, ехать в Тавриду для свидания с матерью; Василий не согласился на это, но дал Летифу вольность, город (Юрьев) и заключил с ним условия. «Они состояли в том, чтоб Летиф клятвенно обязался верно служить России, не выезжать самовольно из ее пределов, не имел сношения с Литвою, ни с другими нашими врагами». Эта договорная грамота Летифа с великим князем вся очень замечательна, ибо показывает положение служилых татарских царевичей,

число которых не ограничивалось в то время одним Летифом. Грамота Летифа как владельца юрьевского вообще похожа на договоры удельных князей с великими; между прочим в ней читаем.

«Куда пойду с тобою, — говорит Летиф, — на твое дело, или куда меня пошлешь на свое дело с своею братиею или с своими людьми, или куда одного меня пошлешь на свое дело, и мне, и моим уланам, и князьям, и козакам нашим, ходя по вашим землям, не брать и не грабить своею рукою ничего, над христианами никаких насилий не делать; не захватывать и не грабить послов и гостей, также русских пленников, которые побегут из Орды. Что у вас, великих князей, Янай-царевич в городке Мещерском и Ших-Авлиар-царевич в Сурожике, то мне, Летифу, им зла не мыслить, их уланов, князя и козаков не принимать, если бы даже которые Уланы, Князь и Козаки ушли от них в Орду, в Казань или в другую какую-нибудь страну и захотели бы оттуда ко мне, то мне их также не принимать. Также мне от тебя, великого князя, татар не принимать. и тебе от меня людей не принимать, кроме Ширипова рода да Баарыкова, да Аргинова, да Кипчакова».

Кроме требования относительно Летифа автор подробно говорит и о других требованиях Менгли-Гиреевых: «Менгли-Гирей убеждал Василия послать судовую рать с пушками для усмирения Астрахани; обещал всеми силами действовать против Сигизмунда; просил ловчих птиц, соболей, рыбьих зубов, лат и серебряной чары; требовал какой-то дани, платимой ему Князьями Одоевскими». Для нас в источниках особенно важны те известия, из которых всего яснее можно видеть характер Крымской Орды и, следовательно, характер ее отношений к Московскому государству. Так, например, Менгли-Гирей писал великому князю Василию: «Брат мой и князь великий Ямгурчай-Салтану опричь десяти портище соболье да 2000 белки, да 300 горностаев не убавливая посыловал, а нынеча от тебя Василий Морозов не привез так... От моих мурз и от князей 20 тех остались, которым пошлина не достава, и ты б им прислал по сукну, а только им не пришлешь, и они молвят — *шерть с нас доллов*, да много нам о том учнут докучати, и нам бы докуки не было».

Мы должны здесь ограничиться только некоторыми указаниями на отношение рассказа историографа к известиям источников, еще не изданных, ибо не можем останавливаться на всех подробностях повествования в делах Василиевых, спеша к тем любопытным временам, взгляд автора на которые отличается более замечательными особенностями. Но мы не можем не остановиться несколько на четвертой главе VII тома, в которой излагается состояние России при Иоанне III и Василии Иоанновиче.

«В сие время, — говорит автор, — отечество наше было как бы новым светом, открытым Царевною Софиею для знатнейших Европейских Держав. Вслед за нею Послы и путешественники являлись в Москву, с любопытством наблюдали физические и нравст-

венные свойства земли, обычаи Двора и народа; записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя история России были известны в Германии и в Италии. Контарини, Павел Иовий, Франциск да-Колло, в особенности Герберштейн старались дать современникам ясное, удовлетворительное понятие о сей новой Державе, которая вдруг обратила на себя внимание их отечества». Этими словами автор указывает на четыре источника, которыми он преимущественно пользовался при изображении России Иоанновой и Василиевой; вся эта четвертая глава VII тома есть не иное что, как прекрасное извлечение из Герберштейновой книги с дополнениями известий из трех других поименованных иностранцев и немногих известий из русских источников.

Мы видели, какое важное влияние уступил автор татарам; он остается верен своему взгляду и, упоминая о жестоких пытках и казнях, описываемых Иовием и Герберштейном, говорит: «Обыкновение ужасное, данное нам Татарским игом вместе с кнутом и всеми телесными, мучительными казнями». Мы видим, однако, в то же время и у народов, не знавших татар, у народов Западной Европы, не менее жестокие пытки и казни. Торговля описывается по Герберштейну, и говорится, что она была в цветущем состоянии. Известия иностранные Герберштейна и других путешественников можно было бы дополнить русскими известиями из статейных списков, преимущественно литовских и крымских, из которых можем узнать, какими правами пользовались купцы того или другого народа в московских владениях, из каких городов русские купцы ездили за границу, в какие именно места ездили они и с какими товарами, каким образом производили торговлю, какие пошлины платили, каким притеснениям подвергались; приняв в соображение последние известия, можно уже с большею уверенностью заключить, в цветущем или не цветущем состоянии находилась торговля в описываемое время.

Автор обратил внимание на любопытный вопрос о земельном владении и высказал положение, что «Князья, Бояре, войны и купцы искони владели землями. Всякая область принадлежала городу; все ее земли считались как бы законною собственностью его жителей, древних господ России, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время, до коего не восходят ни летописи, ни предания».

Говоря о нравах и обычаях, автор приводит свидетельство Павла Иовия, что русские не любят католиков, а евреями гнушаются и не дозволяют им въезжать в Россию; но из статейных литовских списков мы узнаем, что запрещение жидам въезжать в Московское государство последовало только в царствование Иоанна IV. Наконец, приведем из рассматриваемой главы вполне справедливый отзыв автора о состоянии художеств в Московском государстве при Иоанне III и сыне его Василии: «Кроме зодчих, денежников, ли-

тейщиков находились у нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники. Толмач Димитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал Историку Иовию портрет Великого Князя Василия, писанный, без сомнения, не Русским живописцем. Герберштейн упоминает о Немецком слесаре в Москве, женатом на Россиянке. Искусства Европейские с удивительною легкостью переселялись к нам: ибо Иоанн и Василий, по внушению истинно великого ума, деятельно старались присвоить оные России, не имея ни предрасудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства, и мы, послушные воле Государей, рано выучились уважать сии плоды гражданского образования, собственность не вер и не языков, а человечества; мы хвалились исключительным Православием и любили святую древних нравов, но в то же время отдавали справедливость разуму, художеству Западных Европейцев, которые находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом, Россия и в XVI веке следовала правилу: «Хорошее от всякого хорошо» — и никогда не была вторым Китаем в отношении к иноземцам.

Таким образом, видим, что в XVI веке художества переселились к нам, но не утверждались на русской почве, ибо художниками были одни иностранцы; в XVII веке явилось стремление утвердить науки и художества на русской почве, заставить самих русских людей заниматься ими, а в XVIII веке употреблены были для того решительные меры; таким образом, ясно становится для нас отношение Иоанна III и его преемников к Петру Великому, и мы не имеем нужды заниматься решением вопроса, кто из этих двух венценосцев — Иоанн III или Петр Великий — благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества: оба поступили благоразумно и согласно с истинною пользою отечества; один начал, а другой кончил. Вот почему мы заступились за достоинство деления русской истории, предложенного Карамзиным, за введение средней истории — от Иоанна III до Петра Великого.

VI

С восторгом приветствовал Карамзин времена Иоанна III, прельщавшие его рядом громких событий, достойных пера историка, избавлявшие его от мелких событий старины удельной, от бессмысленных драк княжеских, по его выражению. Мы видели, как вследствие этого прельщения историк XIX века не только принял вполне мнения историков XVIII века о значении Иоанна III, но еще более увеличил это значение, не усомнился сравнивать деятельность Иоанна III с деятельностью Петра Великого, прямо отдавая преимущество первой. Еще с большим восторгом приветствовал он знаменитое царствование Иоанна IV, при описании которого талант его мог найти для себя обильную пищу, мог выказаться в полном блеске и достойным образом довершить творение. «Окан-

чиваю Василия Ивановича, — писал Карамзин к Тургеневу, — и мысленно уже смотрю на Грозного: какой славный характер для *исторической живописи!* Жаль, если выдам Историю без сего любопытного царствования, тогда она будет, как павлин без хвоста»¹⁵.

Но прежде описания славного характера для исторической живописи историку нужно было описать правление великой княгини Елены и правление боярское. Малолетство Иоанна IV принадлежит к тем любопытным эпохам, в которые разрешаются великие исторические вопросы, великие исторические борьбы. Северо-Восточная Русь объединилась: образовалось государство благодаря деятельности князей Московских; но около этих князей, ставших теперь государями всея Руси, собрались в виде слуг нового государства потомки князей великих и удельных, лишенных отчин своих потомками Калиты; вокруг великого князя Московского, представителя нового порядка вещей, находившего свой главный интерес в его утверждении и развитии, собрались люди, которые жили в прошедшем всеми лучшими воспоминаниями своими, которые не могли сочувствовать новому, которым самое их первенствующее положение среди служилых людей московских, самый их титул указывали на более блестящее положение, более высокое значение в недавней, очень хорошо всем известной старине. При таком сопоставлении двух начал, из которых одно стремилось к дальнейшему, полному развитию, а другое хотело удержать его при этом стремлении во имя старых исчезнувших отношений, необходимы были столкновения, которые и видим в княжение Иоанна III и сына его, — столкновения, которые выражаются в судьбе Патрикеевых, Ряполовских, Холмского, Берсена.

Но вот великому князю Василию Иоанновичу наследует малолетний сын его Иоанн, который остается все еще малолетним и по смерти матери своей, правившей государством; в челе управления становятся люди, не сочувствовавшие стремлениям князей Московских: как же поступят теперь эти люди? Оправдают ли свое противоборство новому порядку вещей делами благими, делами пользы государственной? Уразумеют ли, что бессмысленно вызывать навсегда исчезнувшую старину, навсегда исчезнувшие отношения, что они этим вызовом могут вызвать только тени, лишенные действительного существования? Сумеют ли признать необходимость нового порядка, но, не отказываясь при этом от старины, сумеют ли заключить сделку между старым и новым во благо, в укрепление государству? Сумеют ли показать, что от старины остались крепкие начала, которые, при искусном соединении с новым, могут упрочить благосостояние государства? Или эти люди не воспользуются благоприятным для себя временем, в стремлении к личным целям разрознят свои интересы с интересом государственным, не сумеют

¹⁵ «Москвит». 1856 г., № 1

даже возвыситься до сознания сословного интереса и, потеряв сочувствие народонаселения, навлекут на себя страшную кару и дадут поведением своим законность, освящение новому порядку вещей, дадут ему возможность достигнуть полного развития?

Вот вопросы, которые должны были решиться в малолетство Иоанна IV. Оба историка — и кн. Щербатов, и Карамзин — в самом начале своего рассказа уже приготавливают читателя к смутам, волнениям, следствиям слабости правления в малолетство государя. Князь Щербатов говорит просто и коротко: «Малолетство великого князя и самое его рождение слабость правления предвещало». Но Карамзин старается ввести читателя в тогдашнее общество московское, заставляет его подслушивать тогдашние толки, мнения, опасения: «Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх: что будет с государством? волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя; никогда, если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу, не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского, ненавистного рода. На троне не бывает предателей: опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, коих имя напоминало измену. Братья государевы и двадцать бояр знаменитых составляли верховную думу. Два человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы: старец Михаил Глинский, ее дядя, честолюбивый, смелый, самим Василием назначенный быть ее главным советником, и конюший боярин, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Полагали, что сии два вельможи, в согласии между собою, будут законодателями думы, которая решала дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние — именем великого князя и его матери».

Все эти: *опасались, полагали* — были бы чрезвычайно важны, если бы хотя из одного слова источников можно было видеть, чего опасались, что полагали в Москве в 1533 и 1534 годах. Остановимся теперь на довольно важном положении, что дума решала дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние — именем великого князя и его матери. До нас дошли грамоты по внутренним делам от времени правления Елены, но в них мы не находим имени последней при имени ее сына; в примечании к означенному положению Карамзин говорит: «Например, во всех бумагах дел внутренних писали: «повелением благоверного и христолюбивого великого князя государя Ивана Васильевича всея Руси и его матери, благочестивой царицы, великой государыни Елены» или «Князь великий и мать его великая княгиня, посоветовав о том с бояры, повелели». Цитируются два места из Синодальной летописи. Но большая разница между известием летописца о решении дела и между известием правительства о нем в грамоте; что форма: «повелением благоверного и христолюбивого великого князя и его матери, благочестивой царицы»

Елены» — есть летописная вольность и не могла употребляться в правительственных грамотах, доказательством служит выражение: *благочестивой царицы*, ибо Елена не могла употреблять такого титула».

Через несколько дней по кончине великого князя Василия уже был заключен брат его, удельный князь Юрий Иванович. При описании этого события Карамзин говорит: «Бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно управлять с сыном, то должна заключить Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать ко вреду отечества; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи — и си мысли, естественным образом, представляясь ему, сильно действовали не только на Юриева меньшого брата, Андрея, но и на племянников, князей Бельских. Князь Симеон Феодорович Бельский и знатный окольничий Иван Лятцкий, родом из Пруссии и муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою: недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество, тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву».

Здесь историк хочет объяснить отъезд князя Бельского и воеводы Лятцкого в Литву и объясняет его слухами: «Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи». Первая часть слуха основана на следующем месте одной летописи: «Дьявол вложа им мысль сию, ведяше бо, аще не пойман будет князь Юрьи, не тако воля его совершится в граблении и в убийствах». Но летописец говорит только, что дьявол, зная, что следствием заточения князя Юрия будут грабежи и убийства, вложил боярам мысль заточить его, и нисколько не говорит, чтобы бояре, желая своевольствовать, именно с этою целью заключили князя Юрия, обычное у летописца объяснение дурного дела внушением дьявола выставлено как говор народный, обвиняющий бояр в намеренном преступлении для достижения своих корыстных целей. Но если историк позволил себе очень свободное толкование слов летописца, то еще большую вольность позволил он себе, придумав совершенно независимо от источников другой слух: «Говорили, что другие родственники государевы должны ждать такой же участи». Этого слуха нет вовсе в летописях; ясно, что историк внес его от себя для объяснения бегства князя Бельского; но этим средством цель достигается все же не вполне, ибо если читатель, поверив объяснению как основанному на источниках, успокоится относительно поступка князя Бельского, то поступок Лятцкого, не принадлежавшего к родственникам государевым, останется без объяснения. Щербатов объясняет дело прямо от себя соперничеством между вельможами.

При описании внешних сношений в правление Елены, именно дел крымских, читаем: «Следствием литовского союза с ханом было то, что царевич Ислам восстал на Саин-Гирея за Россию, как пишут, вспомнив старую с нами дружбу; преклонил к себе вельмож, свергнул хана и начал господствовать под именем царя. Ислам, боясь турков, предложил тесный союз великому князю. Бояре московские, нетерпеливо желая воспользоваться таким добрым расположением нового хана, велели ехать князю Александру Стригину послом в Тавриду; сей чиновник своевольно остался в Новгороде и написал к великому князю, что Ислам обманывает нас: будучи единственно Калгою, именуется царем и недавно, в присутствии литовского посла Горностаевича, дал Сигизмунду клятву быть врагом России. Сие известие было несправедливо: Стригину объявили гнев государев и вместо него отправили князя Мещерского к Исламу». Здесь пропущено, неизвестно почему, очень любопытное известие о причине отказа князя Стригина ехать в Крым; Стригин вот что писал к великому князю: «Ныне Ислам к тебе к государю послал посольством Темеша, и того Темеша в Крыму не знают и имени ему не ведают, и в том Бог волен да ты государь: опалу ли или казнь на меня на своего холопа учинить, а мне противу того исламова посла Темеша не мочно идти!» Щербатов упомянул об этой отговорке князя Стригина.

События, последовавшие за смертью Елены, у обоих историков, у Щербатова и у Карамзина, описываются одинаково, иногда почти слово в слово; но потом рассказ Карамзина полностью содержания начинает превосходить рассказ Щербатова, потому что последний не имел двух важных источников, которыми пользовался первый: Синопальной летописи под № 351¹⁶ и Псковской летописи. Несмотря, однакож, на это большое количество важных источников, и Карамзин находился в одинаково затруднительном положении, зависящем от характера источников нашей древней истории вообще. Во время малолетства великого князя и по смерти матери его, правившей государством, на первом плане являются бояре, которые начинают борьбу между собою, смещают друг с друга. Источники говорят об этих борьбах, этих сменах, но очень неудовлетворительно. У Щербатова было много источников, благодаря которым он мог подробно описать, какой когда гонец отправлялся в Крым, с чем присылали послов своих ногайские князья, и на каком дворе в Москве останавливались эти послы, и сколько с ними было лошадей; но эти источники не сказали ему, что князь Иван Шуйский был удален вследствие усиления стороны князя Ивана Бельского, который сделался правителем.

Карамзин нашел летопись, которая рассказала ему об этом; но

¹⁶ Теперь эта летопись уже не имеет означенного у Карамзина №.

как рассказала? Карамзин, например, не узнал из ее рассказа, куда девался князь Иван Шуйский после окончательного торжества своего над Бельским. Поразительно видеть, как летописцев мало занимали главные причины явлений, как привыкли они к обычным формам в своем рассказе! Например, драгоценный псковский летописец, который рассказывает нам о поведении областных наместников во время правления Шуйских, о переменах, происшедших в этом отношении при Бельском, ничего не знает или не хочет ничего знать ни о Шуйских, ни о Бельском. В Царственной книге встречаем следующий рассказ: «И велел князь великий у себя быти отцу своему Даниилу митрополиту всея России и сказа отцу своему Даниилу митрополиту: много королевы неправды, что сам король на христианство воевод своих посылает, а Татар наводит и много от него кровь льется христианская; да и то сказал князь Василий митрополиту, что хочет воевод своих послать с людьми королевы земли воевати против его неправды. Митрополит же рече великому князю: вы государи православные, пастыри христианству; тебе, государю, подобает христианство от насилия боронити; а нам и всему священному собору за тебя, государя, и за твое войско Бога молити».

Великому князю, разговаривавшему таким образом с митрополитом, было четыре года. В малолетство Димитрия Донского управляли также бояре: собирая здесь и там мимоходные упоминания о том или другом боярине в летописи, подмечая боярские имена в приписках к духовным грамотам великокняжеским, можно отыскать *имена* бояр, бывших в малолетство Димитрия, но только имена, не больше. О могущественных боярах, которые действовали на изменение политики московской в княжение Василия Димитриевича, мы узнаем из письма хана Едигея. При Иоанне III, при Василии Иоанновиче точно так же мы встречаем имена бояр только при описании походов. Теперь мы вследствие возмужалости науки, вследствие возбуждения многих новых важных вопросов следим с напряженным вниманием за этими отрывочными, краткими известиями летописца о действующих лицах, приводим их в связь и достигаем любопытных результатов; но все это совершается с большими усилиями; большая разница, когда сами источники наводят историка на важные вопросы и тут же дают средство разрешить их полностью, обилием подробностей о действующих лицах, живым их представлением или когда историк вследствие извне возбужденных вопросов должен с невероятным усилием допрашивать молчаливые летописи. При этом надобно обращать также внимание на характер таланта в историке; талант Карамзина был именно такого рода, что требовал возбуждения от источников. Нам смешно теперь видеть, как у князя Щербатова из одного Сильвестра сделано два; но если мы войдем в положение Щербатова, впервые начавшего разбираться в источниках времен Иоанна IV, и если обратим вни-

мание на характер этих источников, то подобная странность нам объяснится: в главных источниках, в летописях, о Сильвестре упомянуто один раз мимоходом, а у Курбского это лицо выставлено в полусвете, является таинственным, загадочным.

У Карамзина не найдем уже подобных странностей, во-первых, потому, что Карамзин шел по проложенной дороге, был второй деятель, разбиравшийся в тех же самых материалах; во-вторых, потому, что Карамзин был сильнее Щербатова талантом, не мог так теряться в известиях источников, как иногда терялся Щербатов. Несмотря на то, однако, и у Карамзина по вышеозначенному характеру источников мы не найдем не только сколько-нибудь целостного изображения характеров отдельных действующих лиц, но даже не найдем указаний на характеры, значение целых родов; например: при описании свадьбы царя Иоанна он говорит следующее: «Между тем знатные сановники, окольные, дьяки объезжали Россию, чтоб видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю; он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман Юрьевич, был окольным, а свекор — боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке». Автор счел нужным только под 1547 годом сказать о происхождении Захарьиных-Юрьиных, причем указал только на первого известного прародителя и на ближайшего боярина Юрия Захарьевича, тогда как читатель должен был давно уже быть знаком с этим знаменитым родом, одним из важнейших между боярскими родами Московского княжества, члены которого играли первую роль в княжение Василия Дмитриевича и потом не утратили своего важного значения, несмотря на прилив княжеских фамилий, оттиравших старинные московские боярские роды от первых лет; в каждое княжение кто-нибудь из членов этого рода заставляет говорить о себе летопись; но летопись упоминает о них раз-два, кратко, мимоходом; эти известия записаны и у Карамзина, но не отдельно от других известий: они затерялись и для автора, и для читателя, и целый род, имеющий особенное любопытное значение, потерял его.

То же должно заметить и о лице, которое выступает на главную сцену по кончине великой княгини Елены, именно о князе Василии Васильевиче Шуйском. «Князь Василий Васильевич, — говорит Карамзин, — занимал первое место в совете при отце Иоанновом, занимал оное и при Елене и тем более ненавидел ее временщика (князя Телепнева-Оболенского), который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовал над думою. Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих бояр и чиновников, сей властолюбивый князь жестоким действием самовольства и насилия объявил себя главою правления; в седьмой день по кончине Елениной велел схватить любезнейших юному Иоанну особ: его надзирательницу, боярню Агриппину, и брата ее, князя Телепнева, оковать

цепями, заключить в темницу, несмотря на слезы, на вопль державного отрока».

Здесь о прежней деятельности князя Шуйского говорится только, что он занимал первое место в думе при отце Иоанновом и при матери; но в летописи есть известие о Шуйском, которое говорит нам гораздо более о нем, чем известие о первом месте в думе; это известие, поставленное на место последнего, приготовило бы читателя, дало бы ему знать, каких поступков он должен ждать от Шуйского, человека, способного действовать решительно, быстро, предупредить других и действовать в то же время круто; это известие помещено и у Карамзина под 1514 годом в описании княжения Василия Иоанновича, после рассказа об Оршинской битве: «С первой вестью о нашем несчастье прискакали в Смоленск некоторые раненные в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала; советовались между собою, с епископом Варсонофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал к королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о сем умысле наместнику, князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские: сам Константин (Острожский) с шестью тысячами отборных воинов явился пред городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным: велел на стене, в глазах Литвы, повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них собольи шубы, бархат, камки, а другим привязал к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя». Так вот этот Шуйский, поступивший так решительно в первое время по смерти Елены, вот Шуйский, который поступает и после так же решительно со своими врагами!

Князя Василия Шуйского вменил в правлении брат его Иван, о котором Карамзин говорит так: «Князь Иван Шуйский не оказывал в делах ни ума государственного, ни любви к добру; был единственно грубым самолюбцем; хотел только помощников; но не терпел совместников; повелевал в думе как деспот, и в дворце как хозяин, и величался до нахальства; например, никогда не стоял пред юным Иоанном, садился у него в спальне, опирался локтем о постелью, клал ноги на кресло государево; одним словом, изъяснял всю низкую, малодушную спесь раба-господина. Упрекали Шуйского и в гнусном корыстолюбии; писали, что он расхитил казну и наковал себе из ее золота множество сосудов, велев вырезать на них имена своих предков. По крайней мере его ближние, клеветы, угодники грабили без милосердия во всех областях, где давались им нажиточные места или должности государственные. Владычество Шуйских ознаменовалось слабостью и робким малодушием в политике московской; бояре даже не смели ответствовать Саин-Гирею на его

угрозы; спешили отправить в Тавриду знатного посла и купить вероломный союз варвара обязательством не воевать Казани; хвалились своим терпением пред ханом Саин-Гиреем, изъясняясь, что казанцы терзают Россию, а мы, в угодность ему, не двигаем ни волоса для защиты своей земли. Бояре хотели единственно мира и не имели его; заключили союз с ханом Саин-Гиреем и видели бесполезность оного. Послы ханские были в Москве, а сын его Иминь с шайками своих разбойников грабил в Каширском уезде. Мы удовольствовались извинением, что Иминь не слушается отца и поступает самовольно».

Конечно, всякий, прочтя это описание поведения князя Шуйского, пожелает узнать, откуда взято оно. Оно взято из письма самого Иоанна к князю Курбскому: *упрекали, писали* относится к одному Иоанну. Но слова Иоанна переданы у автора неправильно, и вследствие этой неправильности скрыто особенно важное значение их; они читаются так: «Единого вспомяну; нам бо в юности детства играюще, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершися отца нашего о постелю, ногу положив; к нам же не приклоняся не токмо яко родительски, но еже властелински». В изложении Карамзина выпущены слова: *отца нашего* и прибавлено *кресло*, которого нет в подлиннике. Шуйский опирается локтем и клал ногу на постель отца Иоаннова, и этот поступок кроме нахальства имеет еще другое значение, особенно если мы приведем его в связь с известием о поступке Тучкова, находящимся в том же письме Иоанновом. Сношения с Крымом в правление Шуйские представлены несправедливо. Еще в правление Елены вследствие единовластия, утвердившегося в Крыму, и угроз хана Саин-Гирея, имевшего теперь возможность действовать против Москвы, положено было, в угоду Саину, не начинать наступательных движений на Казань, а стараться кончить дело мирными переговорами: Шуйские продолжали, следовательно, поведение предшествовавшего правительства; но если, с одной стороны, Шуйские приводили в исполнение решение прежнего правительства, то, с другой — они не изменили ни в чем прежних отношений великого князя к хану в ущерб достоинству первого; так, когда в Москве увидели, что шертная грамота, присланная ханом, заключала в себе исчисление подарков, какие именно должно было отправлять в Крым, бояре не приняли этой грамоты, как не принимали подобных прежние великие князья; когда узнали о нападении Иминь-Салтана, то послов крымских отдали под стражу; все эти подробности опущены в рассказе историка.

Шуйские были отстранены от правления; их место заступили князь Бельский и митрополит Иоасаф: об этой перемене историк говорит так: «Сторона Бельских, одержав верх, начала господствовать с умеренностью и благоразумием. Не было ни опал, ни гонений. Правительство стало попечительнее, усерднее к общему благу.

Злоупотребления власти уменьшились. Сменили некоторых худых наместников, и псковитяне освободились от насилий князя Андрея Шуйского, отозванного в Москву. Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новгородцев: возвратил им судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников». Учреждение великого князя Василия в Новгороде состояло в том, что с наместниками начал судить староста купецкий, а с тиунами — целовальники; о перемене же, последовавшей в правление Бельского, псковский летописец говорит следующее:

«Бысть жалование нашего Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси до всей своей русской земли, млада возрастом 11 лет и старейша умом: до своей отчины милосердова, показа милость свою и нача жаловати, грамоты давати по всем гродом большим и по пригородом, и по волостем, лихих людей обыскивати самым крестьянам меж себя по крестному целованию, и их казнити смертною казнию, а не вода к наместником и к их тивуном лихих людей». Итак, в Новгороде выбраны были целовальники для суда с наместниками и тиунами, и не означено, для какого суда; в Пскове же уголовные дела отходили от наместников и тиунов и передавались в ведение самих обывателей, которые должны были руководиться так называемыми губными грамотами. Следовательно, нельзя сказать, что для псковитян сделано было то же, что Василий сделал для новгородцев. Нельзя сказать также, чтобы это было сделано для одних псковитян, ибо летописец ясно говорит, что жалование государя было до всей Русской земли. Слова летописца подтверждаются многими губными грамотами, действительно относящимися к этому времени; но любопытно, что до нас дошли губные грамоты, данные прежде, в правление Шуйских, как, например, грамоты белозерцам и каргопольцам 1539 года. «Народ,— говорит автор,— отдохнул в Пскове; славил милость Великого Князя и добродетель бояр». В летописи: «Начаша Псковичи за Государя Бога молити и Пречистую Богородицу и святых чудотворцев о его жалованьи до своея отчины, что показа милость до сирот своих» — и только! Нам понятно, почему автор прибавил: «и добродетель бояр» — ему показалось странным, как летописец не упоминает ничего о боярах, когда бояре управляли за малолетством великого князя; но именно то, что кажется нам странным в летописи, то мы и должны отличать и сохранять неизменным, как особенность века, общества, литературы.

Бельский был свергнут, умерщвлен Шуйскими, которые снова захватили в свои руки правление, наконец, тринадцатилетний Иоанн, выведенный из терпения поступками князя Андрея Михайловича Шуйского, оставшегося старшим в роде, велел умертвить его. «Варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным вельможею, явила, что бедствия Шуйских не умудрили преемников их; что не закон и не справедливость, а только одна сторона над другою

одержала верх, и насилие уступило насилию: ибо юный Иоанн, без сомнения, еще не мог властвовать сам: князья Глинские с друзьями повелевали его именем, хотя и сказано в некоторых летописях, что с того времени бояре начали иметь страх от государя. Опалы и жестокость нового правления действительно устрешили сердца. Сослали Федора Шуйского-Скопина, князя Юрия Темкина, Фому Головина и многих иных чиновников в отдаленные места, а знатного боярина Ивана Кубенского посадили в темницу; он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался достоинствами, умом, тихим нравом. Казнь, изобретенная варварством, была участию сановника придворного, Афанасия Бутурлина, обвиненного в дерзких словах: ему отрезали язык пред темницею в глазах народа. Через пять месяцев освободив Кубенского, Государь снова возложил на него опалу, также на князей Петра Шуйского, Горбатого, Дмитрия Палецкого и на своего любимца боярина Федора Воронцова; простил их из уважения к ходатайству митрополита, но ненадолго. Летописцы свидетельствуют их невинность, укоряя Федора Воронцова единственно тем, что он желал исключительного первенства между боярами и досадовал, когда Государь без его ведома оказывал другим милости».

Прочтя эти строки, читатель никак не может освободиться от мысли, что все описанное здесь случилось вдруг, непосредственно за казнь Андрея Шуйского, тогда как события эти совершались в течение трех лет! Читатель, чтобы уяснить себе дело, причины опал, должен, разумеется, прежде всего спросить: кто же были эти люди, подвергшиеся опалам? Не упоминаются ли имена их прежде в летописях, и если упоминаются, то при каких случаях? Два самых вопиющих поступка, которые позволили себе Шуйские и сторонники их в малолетстве Иоанна, были: свержение и умерщвление князя Бельского и свержение митрополита Иосафа, потом изгнание Воронцова. Кто же были главные сторонники Шуйских в обоих этих делах?

В первом: «Поиман бысть Великого Князя боярин, князь Иван Федорович Бельской, без Великого Князя ведома, советом боярским, того ради, что его государь в приближении держал и в перво-советниках, да Митрополита Иосафа; и бояре о том вознегодоваша на князя Ивана и на Митрополита и начаше зло советовати со своими советники; а со князем Иваном Васильевичем Шуйским обсылатися в Володимер. А князь Иван Шуйский тое же ночи пригонил из Володимери в Москву без Великого Князя веления, а наперед его припригонил *сын его князь Петр*; а в том совете быша бояря: *Князь Михайло*, да князь *Иван Кубенские*, *Князь Дмитрий Палецкой*». Об изгнании Воронцова говорится: «Великого князя бояря: *Князь Иван* и *Князь Андрей Михайловичи Шуйские*, да *Князь Федор Иванович Шуйский*, да советницы князья: *Дмитрий Шкурлатов*, да князь *Иван Шемяка*, да князь *Иван Турунтай Пронские*, да Алек-

сей Басманов, и иные советницы взволноватся между собою пред Великим Князем и пред Митрополитом, в столовой избе у Великого Князя на совете. Князь Андрей Шуйской, да Кубенской и Палецкой в том совете с ними были же, изымаша Федора Воронцова за то, что его Государь жалует и бережет; и биша его по ланитам, и платие на нем ободраша, и хотеша его убить. И посла к ним Государь Митрополита. И в кою пору от Государя Митрополит ходил к Шуйским, и в ту пору *Фома Петров, сын Головина*, у Митрополита на мантию наступил и мантию на Митрополите подрал».

Итак, вот где являются лица, подвергшиеся опале в продолжение трех лет после казни Андрея Шуйского: из них один только Кубенский подвергся смертной казни; другие после кратковременной опалы оставались с прежним значением, и вот когда после вспыхнуло возмущение и убит был родной дядя Великого князя по матери князь Глинский, виновниками дела летописец называет князя *Федора Шуйского* и князя *Юрия Темкина*, которые вначале как главные советники Андрея Шуйского подверглись заточению тотчас после его казни. Говоря об опалах, которым подверглись эти лица, об одном только Кубенском автор говорит, что он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался постоянствами, умом, тихим нравом. Быть может, Кубенский и отличался умом; но, конечно, читателя поразит известие, что тихим нравом отличался человек, которого мы видим в числе главных действующих при насильственных движениях; читатель, конечно, поспешит узнать, откуда все это свидетельство о Кубенском? Оно взято из Курбского.

Сочинения князя Курбского принадлежат к числу драгоценнейших источников нашей древней истории. Один из самых талантливых вельмож московских и, конечно, самый образованный из них, достойный в этом отношении соперник Грозного, Курбский явился защитником старинных притязаний княжеских и дружинных; не имея возможности бороться с Иоанном другими средствами, он вступил с ним в литературную борьбу, вызвал его на оправдания своих поступков, оправдывая поступки свои и своей партии; с этою же целью, с целью оправдать себя и свою сторону и обвинить Иоанна, написал обзор его царствования. Сочинения Курбского драгоценны тем, что автор их в пылу страсти обнаруживает нам тайные мысли и чувства не только свои, но и целой партии, интересы которой он защищал, и чрез это указывает историку на такие отношения, которые бы без него остались навсегда тайною; но, с другой стороны, сочинения Курбского, как имеющие целью оправдать во всем одних и обвинить во всем других, тем самым чужды беспристрастия и не могут служить источником при определении характеров действующих лиц.

Драгоценнейший источник для истории царствования Иоанна IV, вскрывающий нам главные пружины действий, и в то же

время самый мутный источник относительно подробностей — сочинения Курбского, — разумеется, не могли быть оценены с первого раза как должно; и если Карамзин, пользуясь ими после Щербатова, не понял как следует их значения, то в оправдание его должно сказать, что и последующие ученые долго не могли понять его. У нас так мало были до сих пор знакомы с историческою литературою XVII века, что в 1842 году, во втором издании сочинений князя Курбского, мы встречаем следующие слова издателя: «До появления в свет IX тома Истории государства Российского, у нас признавали Иоанна Государем великим; видели в нем завоевателя трех царств и еще более мудрого, попечительного законодателя. Знали, что он был жестокосерд, но только по темным преданиям, и отчасти извиняли его во многих делах; считая их необходимыми для утверждения благодетельного самодержавия. Сам Петр Великий хотел оправдать его. Это мнение поколебал Карамзин».

Если бы издатель Курбского потрудился познакомиться с историею Щербатова, то, разумеется, сказал бы, что против этого мнения сильно вооружался и князь Щербатов; мы не скажем, впрочем, чтобы оно было впервые поколеблено последним, ибо самое желание Петра Великого оправдать Иоанна показывает нам, что была нужда в этом оправдании. Характер деятельности Иоанна IV, заключаая в себе две противоположные стороны, был предметом спора как для ближайшего, так и для более отдаленного потомства. Ум человеческий не любит соединения противоположностей, и от этой нелюбви много страдала и, к сожалению, еще до сих пор много страдает историческая наука; если известное историческое лицо одною стороною своей деятельности производит благоприятное впечатление, то нет недостатка в писателях, которые стараются показать, что это лицо во всех случаях жизни было образцом совершенства, или, наоборот: найдя в деятельности какого-нибудь исторического лица темные пятна, стараются показать, что и во всех остальных его поступках нет ничего хорошего; а если что и есть хорошее, то принадлежит не ему, а другим. Большая часть писателей поступают в этом случае добросовестно, по убеждениям, не задавая себе вопроса: что случится с историею, если она наполнится деятелями или вполне хорошими, или вполне дурными? Так и при оценке характера Иоанна IV явились противоположные мнения: люди, пораженные величием и нравственною красотою некоторых его деяний, не хотели верить страшным известиям о его жестокостях или старались ослабить эти известия, оправдать самые поступки; другие, наоборот, пораженные известиями о жестокостях, не хотели признавать достоинства других поступков Грозного. В таком виде вопрос перешел к историкам, и первый должен был заняться им князь Щербатов, у которого между другими источниками были и сочинения Курбского.

Первый вопрос, представившийся Щербатову, был вопрос: ве-

рять или не верить известиям Курбского — потому что Курбский писал под влиянием сильной вражды к Иоанну. Имея в виду эту вражду, Щербатов не верит Курбскому, что Иоанн только вследствие клеветы ласкателей своих, вдруг без всякого повода со стороны Сильвестра и Адашева с товарищи удалил их от себя и начал преследовать; Щербатов объясняет перемену в Иоанне другим образом, показывая, что в этой перемене виноваты были и те люди, которых постоянно защищает Курбский. Но, освободив себя от односторонности взгляда Курбского, пополнив то, чего недостает у последнего, Щербатов принимает все частные показания его как истинные; Щербатову нужно было знать только одно: по ненависти к Иоанну Курбский не приписывает ли ему лишних жестокостей?

Убедившись из сличения других источников, что Курбский не преувеличивает дела, Щербатов успокоился и пользовался всеми известиями Курбского как несомненно верными; характер же сочинения князя Курбского, главное достоинство его — указание на отношение деятельности Иоанна IV к деятельности отца и деда, матери и бабушки, как понимал эти отношения Курбский с товарищи, — остались тайною для Щербатова. Тайною остались они и для Карамзина: давая полную веру показаниям Курбского об Иоанне IV, он не хочет знать о его показаниях об Иоанне и сыне его Василии; не хочет знать о той связи, которою соединяется деятельность Иоанна IV с деятельностью отца и деда, которую показал Курбский, хотя с своей точки зрения, но показал, в чем и состоит его главное и, можно сказать, единственное достоинство. С другой стороны, принимая все известия Курбского о царствовании Иоанна IV, внеся их в текст своего рассказа, Карамзин, однако, не хочет принять основной мысли Курбского и таким образом допускает в своем рассказе противоречие, темноту, что делает рассказ неудовлетворительным; отношения Иоанна к Сильвестру и Адашеву описаны по Курбскому, и в то же время Иоанн везде является самостоятельным. Представив деятельность Иоанна везде самостоятельную, Карамзин при описании болезни царя говорит, однако, следующее: «С сего времени он (Иоанн) неприятным образом почувствовал свою от них (Сильвестра и Адашева) зависимость и находил иногда удовольствие не соглашаться с ними, делать по-своему».

Иногда же Карамзин, не желая опустить известия, сообщенного Курбским, и в то же время не желая выставить Иоанна несамостоятельным, переделывает известия Курбского, смягчает их, что, конечно, также не способствует удовлетворительности рассказа. Например, при описании приступа к Казани у Карамзина читаем: «Казанцы воспользовались утомлением наших воинов, верных чести и доблести, ударили сильно и потеснили их, к ужасу грабителей, которые все немедленно обратились в бегство, метались через стену и вопили: секут! секут! Государь увидел сие общее смятение, изменился в лице и думал, что казанцы выгнали все наше

войско из города». «С ним были, — пишет Курбский, — великие синклиты, мужи века отцев наших, поседевшие в добродетелях и в ратном искусстве: они дали совет государю, а государь явил великодушие: взял святую хоругвь и стал перед царскими воротами, чтобы удержать бегущих». У Курбского: «И зело ему не токмо лицо изменяшесь, но и сердце сокрушися. Видевше же сицевое, мудрые и искусные сигклитове его, повелеша хоругвов великую христианскую близу врат градских, нареченных царских, подвинути, и самого царя, хотяще и нехотяще, за бразды коня взяв, близ хоруггови поставиша понеже были нецны, между сигклиты оными, мужие веку еще отцев наших, состаревшиися в добродетелях и во всяких искусствах ратных».

Мы сказали, что указание на связь деятельности Иоанна IV с деятельностью отца и деда составляет главное и, можно сказать, единственное достоинство сочинения Курбского. Не так думали Щербатов и Карамзин; не так думали ученые позднейшие, и потому мы не имеем никакого права оставить такого отзыва недоказанным. Издатель сочинений Курбского в 1842 году дал такой отзыв о достоинстве их:

«История Курбского замечательна не потому только, что она — произведение пера современника, участвовавшего в делах государственных; она имеет высокие достоинства: с природною силою ума, с врожденным даром слова соединяя сведения разнообразные, Курбский постиг тайну исторического искусства, коего образцы имел, без сомнения, пред глазами, и оставил обыкновенную стезю летописцев. Доселе наши историки рассказывали происшествия без всякой связи, без малейшего единства внутреннего, в строгом хронологическом порядке; Курбский смотрел выше: стараясь объяснить причины Иоанновых поступков, добрых и злых, он имел цель определительную и устремлял к ней все свои мысли. (Эта мысль, что первая, блестящая половина царствования Иоанна не есть следствие самостоятельной деятельности его, но следствие советов Сильвестра и Адашева с товарищи.) На сей мысли основано сочинение Курбского; она связывает все события и сообщает им то единство, без которого нет изящного. Руководствуясь ею, автор начертал две картины противоположные: в одной видим блеск и славу, видим ряд героев, завоевателей Казани, Астрахани, Ливонии, грозных мстителей за отечество; двадцатилетний государь ведет их к победам; со знаменем в руке останавливает бегущее войско под стенами Казани или смело, с малочисленною дружиною спешит встретить несметное войско татар крымских. В другой картине видим иное зрелище: тут являюся уже скоморохи и человекоугодники, а храбрые синклиты выходят только на смерть позорную. Страшное слово «убиен» — паки убиен, паки погублен такой-то боярин, такой-то стратиг, — беспрестанно повторяемое, наводит ужас на читателя. Прекрасное в целом, в плане, сочинение Курбского не менее заме-

чательно и в подробностях: историк описывал не по слуху, а по собственным наблюдениям по крайней мере большую часть важнейших событий. Дела минувшие резко запечатлевались в его памяти, и ему стоило только, подобно Ксенофону, нарисовать картину живую, разнообразную. Не только в описании похода казанского, при всяком случае Курбский обнаруживает ум наблюдательный, глубокое познание сердца человеческого; когда он говорит о битвах, мы живо представляем ратное поле, движение войск, сечу; когда рассказывает о беседе царя с Вассианом, мы слышим шипение змеи. Как послушен ему язык русский! Как величественно его изображение доблестей и как язвительны его горькие укоризны! Смело можно сказать: редкий из наших писателей умел владеть так удачно сильным, величественным словом нашим».

Сочинение Курбского, по мнению издателя, прекрасно в целом, в плане, потому что построено на одной главной мысли; но верна ли эта главная мысль? Занявшись этим вопросом, издатель оставляет его нерешенным. Но посмотрим, по крайней мере, искусно ли Курбский провел свою основную мысль, не встречается ли при этом проведение несообразностей, противоречий, отрицающих доверенность у автора и, конечно, мешающих сочинению быть прекрасным в целом, в плане? Курбский приписывает перемену в поведении Иоанна тому, что отдалены были хорошие советники и приближены дурные; но вследствие чего же, когда произошло это удаление хороших и приближение дурных советников? Курбский говорит, что это произошло вследствие совета Вассиана Топоркова: «Такову искру безбожную всеял (Топорков), от него же во всей святой русской земле таков пожар лют возгорелся, о нем же свидетельствовать словесы много непотребна. Понеже делом сия прелютейшая злость произвелася, яко никогда же в нашем языке бывала, от тебя беды начала приемше, яко напред нами плод твоих прелютых дел вкратце изъясвится. Яко многое воинство, так бесчисленное множество всенародных человек ни от кого прежде, только от тебя, Вассиана Топоркова, будучи наквашен, всех тех предреченных различными смертями погубил (Иоанн)». После этого мы ждем немедленно описания следствий совета Вассианова; но проходят года, и ничего подобного не видим; сам Курбский говорит: «Потом паки, аки бы в покаяние вниде, и не мало лет царствовал добре: ужаснулся бо о наказаниях оных от Бога, ово перекопским царем, ово казанским возмущением»; а потом, когда стал говорить об удалении Сильвестра и Адашева и начале казней, все это приписано ласкателям и клеветникам, которые уверили Иоанна, что жена его была отравлена Сильвестром и Адашевым, и Вассиан с его советом забыт.

Обратимся и к подробностям. На первых страницах рассказа Курбского находим описание дурного воспитания Иоаннова: лет двенадцати Иоанн уже привыкал проливать кровь животных — пестуны не останавливали его; будучи лет четырнадцати и больше,

начал уже наносить вред людям — ласкатели хвалили его за это; когда приблизился к семнадцатому году, тогда «прегордые сигклитове начаша подущати его и мстити им свои недружбы, един против другого; и первее убиша мужа пресильного, зело храброго стратига и великородного, именовем князь Иван Бельский. По мале же времени, он же сам повелел убити такожде благородное едино княже, именовем Андрея Шуйского, из рода княжат суздальских».

Здесь говорится, что князь Иван Бельский был убит, когда Иоанн был шестнадцати лет; но это убийство последовало, когда Иоанн был двенадцати лет, то есть в 1542 году. Издатель хвалит Курбского за то, что он возвысился над предшествовавшими русскими историками (то есть летописцами), которые рассказывали происшествия без малейшего единства внутреннего, в строгом хронологическом порядке. Но что же было бы с нашею историею, если бы все летописцы захотели смотреть так же высоко, как Курбский, и так бесцеремонно обращаться с хронологию, относить к 1546 году событие, случившееся в 1542-м? В 1546 году Курбскому было восемнадцать лет: как же он мог забыть, что случилось в это время? Но если забыл, то что же он за историк-очевидец; как можно сказать, что «дела минувшие резко запечатлелись в его памяти, и ему стоило только, подобно Ксенофону, передать верно свои впечатления, чтоб нарисовать картину живую, разнообразную»? Неужели эта картина живая и разнообразная: «убил, по мале времени убил, а потом убил», без всякого изложения причин? Чтобы оценить Курбского, стоит только спросить: какое понятие имели бы мы о времени Иоанна IV, если бы, кроме Курбского, не дошло до нас никаких источников? Как, например, ловко умолчено о характере князя Андрея Шуйского: так как, по взгляду Курбского, все жертвы Иоанновы суть превосходные люди, герои добродетели, то читатели должны причислить и Андрея Шуйского к героям добродетели! А Кубенский назван мужем *тихим*! Но мы еще должны будем возвратиться к Курбскому.

После описания смут, имевших следствием казнь Кубенского и Воронцова, Карамзин приступает к описанию двух важных событий в жизни Иоанна: женитьбы и царского венчания, после которого он первый принял титул царя.

«Великому князю исполнилось семнадцать лет от рождения», — говорит Карамзин, приступая к своему новому рассказу; это было в 1546 году; Иоанн родился в 1530 году, следовательно, в 1546 году ему было только шестнадцать, а не семнадцать лет. Согласно с летописями, автор выводит самого Иоанна объявляющим митрополиту решение свое венчаться царским венцом, затем тотчас же следует принятие царского титула. Здесь, разумеется, всякого остановит это любопытное явление: то, чего не решались сделать возрастные отец и дед, на то решился шестнадцатилетний Иоанн! Автор,

не входя в решение вопроса, мог ли Иоанн сам по себе принять такое решение или нет, намекает, что оно было внушено ему другими: «Он (Иоанн) велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству, как бы утверждающему печатью веры святой союз между государем и народом. Оно было не новое для Московской державы: Иоанн III венчал своего внука на царство (однако ни дед, ни внук не принимали царского титула); но советники великого князя, желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Дмитрия Иоанновича, говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха». Затем следует описание перемены, происшедшей в характере Иоанна вследствие приближения Сильвестра и Адашева: мы уже видели отношение этого описания к сочинению Курбского, и потому нам остается взглянуть на отношение к этому сочинению рассказа нашего автора о вторичной перемене характера Иоаннова вследствие удаления Сильвестра и Адашева.

Карамзин, подобно Щербатову, отступает от Курбского в том, что не ставит главной причиной перемены в Иоанне совет Вассиана Топоркова; но, согласно с некоторыми летописями, указывает эту причину в событиях, происходивших во время болезни Иоанновой:

«Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способы к исправлению в одной Вере, ибо самые дерзкие развратители Царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитить юношу из сетей неги и с помощью набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась, но доверенность его к самому себе увеличилась; благодарный им за мудрые советы, Государь перестал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его человеческой слабости. Такое прямодушие казалось ему непристойною грубостью, оскорбительною для Монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа... Двор был наполнен людьми, преданными этим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие обыкновенные завистники, не терпящие никого

выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев суть хитрые лицемеры. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишне строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели; желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах... Но великодушие, оказанное им после болезни, совершенно успокоило сердца. Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном исполнении святых царских обязанностей, свидетельствовали, казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность — в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года».

Относительно главной мысли Курбского, которую автор, по-видимому, не хочет принимать, — мысль, что все хорошее, совершившееся в царствование Иоанна, было не следствием самостоятельной деятельности его, но следствием деятельности Сильвестра и Адашева, причем Иоанн являлся только покорным исполнителем воли наставников своих, — относительно этой мысли важны в приведенном месте слова, определяющие качества Иоанна: «Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным». Конечно, здесь историку прежде произнесения такого решительного приговора нужно было бы показать из поступков Иоанна, почему он считает ум последнего более острым, чем основательным. Если же действительно ум Иоанна был более остр, чем основателен, то не выйдет ли прав Курбский в своей основной мысли? Особенно покажется он прав читателю, который встретил такое выражение: «Благодарный им за мудрые советы, Государь перестал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве». Так как это было пред 1560 годом, то значит, что до этого времени Иоанн находился под руководством; в этой мысли читатель убедится совершенно, когда увидит, что автор называет Сильвестра и Адашева наставниками Иоанна. Так основная мысль Курбского, несмотря на старания автора отстранить ее, господствует в его рассказе и суждениях.

Курбский таким образом объясняет перемену, происшедшую в Иоанне с 1560 года: «Когда Иоанн оборонился храбрými воеводами своими от врагов окрестных, то платит оборонителям злом за добро. Как же он это начинает? Вот как: прежде всего отгоняет от себя двух мужей, Сильвестра пресвитера и Адашева, ни в чем пред ним не виноватых, отворивши оба уха презлым ласкателям своим, которые заочно клеветали ему на этих святых мужей. Что же они

клеветают и шепчут на ухо? Тогда умерла у царя жена: вот они и сказали, что извели ее те мужи, Сильвестр и Адашев. Царь поверил. Услышав об этом, Сильвестр и Адашев начали умолять то письмами, то через митрополита, чтоб дана была им очная ставка с клеветниками. Что же умышляют клеветники? — писем не допускают до царя, митрополиту запрещают и грозят и царю говорят: «Если допустишь их к себе на очи, то очаруют они тебя и детей твоих; притом все войско и народ любят их больше, чем тебя самого, побьют тебя и нас каменьями. Но если даже этого и не будет, то свяжут тебя опять и покорят в себе в неволю». Царь хвалит совет, начинает любить советников, связывает себя и их клятвами, вооружаясь, как на врагов, на мужей неповинных и на всех добрых, добра хотящих ему и душу за него полагающих. И что же прежде всего делает? Собирает собор из бояр и духовенства. Что же делают на этом соборе? — читают вины вышеозначенных мужей заочно. Митрополит говорит: «Надобно привести обвиненных сюда, чтоб выслушать, что они будут отвечать на обвинения». Все добрые были согласны с ним, но ласкатели вместе с царем возопили: «Нельзя этого сделать, потому что они, ведомые злодеи и волшебники великие, очаруют царя и нас погубят, если придут». И так судили их заочно. Сильвестра заточили на остров, что на Ледовитом море, в монастырь Соловецкий. Адашев отгоняется от очей царских без суда в новозятый город ливонский, назначается туда воеводою, но не надолго: когда враги его услышали, что и там Бог помогает ему, потому что многие города ливонские хотели поддаться ему по причине его доброты, то прилагают клеветы к клеветам, и царь приказал перевести его в Дерпт и держать под стражею; чрез два месяца он занемог здесь горячкою и умер. А Сильвестр еще прежде, чем изгнан был, увидав, что царь не по Боге всякие вещи начинает, претил ему и заставлял много, но он отнюдь не внимал и к ласкательям ум и уши приклонил: тогда пресвитер, видя, что царь уже отвратил от него свое лицо, отошел в монастырь, сто миль от Москвы лежащий, и там, постригшись в монахи, провозждал чистое житие. Но клеветники, услышав, что монахи тамошние держат его в чести, из зависти и из боязни, чтоб царь, услышав об этом, не возвратил его к себе, схвативши его отсюда, завезли на Соловки, хвалясь, что собором осудили его». Итак, по рассказу Курбского, сперва выходит, что дело началось отгнанием Сильвестра и Адашева; что это отгнание последовало по смерти царицы Анастасии, в отравлении которой они были обвинены, а потом вдруг узнаем, что Сильвестр еще прежде сам удалился и постригся в Кириллово-Белозерском монастыре¹⁷; что враги его потом из зависти и страха составили клевету,

¹⁷ Потому что точно так же определяется у Курбского и монастырь, в который отправился Иоанн на богомолье после болезни: «монастырь, сто миль от Москвы лежащий».

осудили заочно и отправили его в Соловки; следовательно, дело началось не клеветой в отраве, а прежде Сильвестр ушел, увидав, что царь отвратил от него лицо свое. Что же заставило Иоанна отвратить лицо от Сильвестра? Об этом Курбский не говорит и, перемешав порядок событий как бы намеренно, поставив позади то, что должно быть впереди, чтобы замаять дело, обмануть читателя, удовольствоваться его одною причиною, тогда как надобно было выставить две, лишил себя доверенности, показал, что или не умел, или не хотел объяснить причины нерасположения царя к Сильвестру, которое заставило последнего удалиться. Об Адашеве Курбский говорит, что он отгоняется от очей царских без суда, назначается в Феллин воеводою уже после смерти царицы Анастасии; но известно, что Адашев еще в мае 1560 года отправлен был в поход на Ливонию в третьих воеводах Большого полка.

Для пояснения и пополнения рассказа Курбского мы должны обратиться к другим источникам: у нас их нет, кроме рассказа самого царя Иоанна в ответном письме его к Курбскому. В этом рассказе мы не находим никакой запутанности, никаких недомолвок и утаек: Иоанн со своей точки зрения рассказывает по порядку все поступки Сильвестра, Адашева и стороны их, возбуждавшие в нем враждебные чувства, до самого путешествия из Можайска с больною царицею Анастасиею, во время которого между нею и Адашевым или его приверженцами произошла сильная размолвка, после чего Иоанн удалил Адашева и его ближайших советников. Сильвестр, видя падение друзей своих, удалился сам в Кириллов монастырь; после этого с членов стороны Сильвестра и Адашева взята была клятва разорвать вечную связь с этими лицами; но они нарушили клятву и стали хлопотать о том, как бы возвратить Сильвестра и Адашева ко двору и дать им прежнее значение; тогда Иоанн употребил меры решительные: начались казни. В рассказе Карамзина мы находим очень слабое влияние известий, сообщаемых Иоанном, влияние рассказа Курбского господствует: удержана резкость, внезапность перехода в отношениях царя к Сильвестру и Адашеву, резкость перехода от расположения к холодности; мы видели, что у Курбского Иоанн, несмотря на совет Вассиана Топоркова, в продолжение нескольких лет не изменялся в своем поведении и в отношениях к Сильвестру и Адашеву, потом вдруг удалил последних по обвинению в отраве Анастасии, что и было бы удовлетворительно для читателя, если бы Курбский под конец не прибавил, что Сильвестр еще прежде удалился, заметив перемену в поведении Иоанна и невнимательность к его советам; Карамзин, допустив перемену в чувствах Иоанна к Сильвестру и Адашеву после болезни, говорит: «Но великодушие, оказанное им (Иоанном) после болезни, совершенно успокоило сердца, хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменился заметно в правилах. Так было до весны 1560 года. В сие время холодность госу-

дарева к Адашеву и Сильвестру столь ясно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора».

Что же дало повод к обнаружению холодности? Путешествие из Можайска, как нам известно по летописям, было в конце 1559 года; оскорбление, здесь нанесенное, было последним, о котором упоминает Иоанн, и вслед за этим видим удаление Адашева и Сильвестра. Относительно причин дальнейшего гонения опять приведен рассказ Курбского, никого не могущий удовлетворить, будто бы враги Сильвестра и Адашева испугались, что первого уважали кирилловские монахи, а второго — граждане ливонские, и поспешили от них избавиться клеветою; опять опущено без внимания известие Иоанна, что дальнейшее гонение произошло вследствие движения приверженцев Сильвестра и Адашева для возвращения своим главам прежнего значения, — известие вполне удовлетворительное, ибо странно было бы предположить, чтобы этого движения со стороны такой многочисленной партии не было. Но если и до сих пор влияние Курбского так могущественно в рассказе Карамзина, то с этих пор оно становится исключительным; все дальнейшее поведение Иоанна рассматривается с точки зрения Курбского; объяснения поступков Иоанновых, встречающиеся в других источниках, или приводятся вскользь в тексте, с возражениями, или относятся к примечаниям, причем важнейшие известия опускаются, как, например, опущено известие Бельского в деле Козлова с боярами.

Таким образом, взгляд Карамзина на характер и деятельность Иоанна IV определен преимущественно под влиянием Курбского, вот почему мы должны были остановиться довольно долго над определением значения этого источника. Теперь нам остается сказать несколько слов о том, как представлены у Карамзина некоторые, более других замечательные события царствования Иоаннова.

В начале описания о нашествии крымского хана Саин-Гирея в 1541 году читаем следующее: «Тайно готовясь к войне, хан приглашал и царя Казанского идти на Россию; к счастью нашему, им неудобно было действовать в одно время: первый ждал весны и подножного корма в степях, а второй, не имея рати судовой, боялся летом оставить за спиною Волгу, где, в случае его бегства, Россияне могли бы утопить казанцев. Ободряемый нашим долговременным терпением и бездействием, Сафа-Гирей в декабре 1540 г., миновав Нижний Новгород, успел беспрепятственно достигнуть Мурома, но далее не мог ступить ни шагу. Сафа-Гирей бежал назад. Этот не весьма удачный поход умножил число недовольных в Казани: тамошние князья и знатнейший из них, Булат, тайно писал в Москву, чтобы государь послал к ним войско; что они готовы убить или выдать нам Сафа-Гирея, который, отнимая собственность у вельмож и народа, шлет казну в Тавриду. Бояре велели немедленно соединиться полкам из семнадцати городов во Владимире. Еще хан Саин-Гирей скрывал свои замыслы, но бояре угадывали, что царь Казан-

ский действовал по согласию с Крымом, и для того, на всякий случай, собрали войска в Коломне. Весною узнали в Москве, что хан двинулся к пределам России со всею ордою».

Здесь известия, что хан Крымский приглашал хана Казанского идти на Россию и что, к счастью, им неудобно было действовать в одно время, — объяснение, придуманное самим автором. Известно, что когда им можно было действовать в одно время, то хан Казанский не боялся оставлять летом за собою Волгу, как то было в 1521 году; по летописям дело объясняется легче: Крымский хан соглашался не беспокоить Москвы большими нашествиями под условием, что Москва не будет стараться изгонять Гиреев из Казани, и, как только узнал, что московские войска двинулись на восток, сам двинулся на север со всею ордою. «Прибежили к великому князю из Крыма два полонянина и сказали великому князю, что приехал перед ними со Москвы в Крым царев человек, и сказал царю, что князь великий воевод своих с многими людьми послал ко Казани, а перед ним и пошли. А царь забыл своей правды и дружбы, начал наряжаться на Русь». Бояре не угадывали, что царь Казанский действовал по согласию с Крымом; они знали наверное, что война с Казанью должна быть вместе и войною с Крымом, и потому спешили собрать войско в Коломне.

Важнейшим делом внешней политики во вторичное правление Шуйских, по признанию Карамзина, было только перемирие с Литвою на семь лет. «Хотели и вечного мира, — говорит автор, — но не согласились, как и прежде, в условиях. Бояре домогались размена пленных: король требовал за то Чернигова и шести других городов. боясь, кажется, чтоб литовские пленники не возвратились к нему с изменою в сердце и чтобы российские не открыли нам новых способов победы». В источниках поведение короля объясняется легче: после Оршинской битвы в его руках было много знатных московских пленников, и он прямо объявлял, что ему нет выгоды менять знатных москвичей на простых литвинов, находившихся в плену у русских; что если последние хотят освобождения своих воевод, то пусть дадут за них города.

Четвертая глава VIII тома принадлежит к числу самых блистательных глав в «Истории государства Российского»: в ней заключается описание взятия Казани. Здесь во всем блеске мог выказаться талант Карамзина, заключающийся в умении живописать знаменитые картинные события. Понятно, если автор ищет пищи своему таланту, если ищет предметов, которые дадут этому таланту высказаться во всей полноте, понятно, следовательно, почему Карамзин так скучал древнею русскою историею и, за недостатком в ней блестящих, картинных событий, брался описывать деяния Тамерлана, почему он так прельщался царствованием Иоанна IV, которое по красивости сравнивал с павлиным хвостом. Это сравнение, вырвавшееся у писателя в откровенной беседе с другом, драго-

ценно для нас, потому что ни один критик не в состоянии придумать выражения, в котором бы так верно, так наглядно высказался характер таланта карамзинского, условивший, разумеется, и взгляд писателя на свой предмет — на историю. «Какой славный характер для исторической живописи!» — восклицал историк об Иоанне IV; вслед за тем у него вырывается сравнение с павлиным хвостом, и это сравнение разоблачает перед нами образ воззрений писателя на свой предмет, разоблачает таинственную связь представлений; такое сравнение не могло явиться даром, без причины: сравниваемые предметы одинаково поразили сравнивающего удивительным сочетанием блестящих цветов. Пораженный этим блеском, писатель истощил свое искусство, чтобы передать его во всей полноте читателю, удержать эту яркость, ослепляющую зрение, желая соблюсти всю силу внешнего впечатления. Понятно, почему Карамзин, принимая авторитет Курбского, однако, отступает от известий последнего при описании блестящих событий первой половины царствования Иоаннова, старается смягчить, переиначить эти показания. Юный монарх совершает великие подвиги: мудрец в собрании архиереев и бояр, указующий на злоупотребления и на средства исправить их; герой на поле ратном, ведущий войско под стены враждебного города и сокрушающий их разумными распоряжениями и личною храбростию, — вот Иоанн! Для красоты описания это лицо необходимо, и необходимо именно в таком положении, в каком выставляют его летописи, а не в таком, в каком видим его у Курбского; если бы Карамзин принял представление Курбского — что все эти подвиги совершены не Иоанном, а руководителями его, которые увлекали слабого, уstraшенного юношу волею-неволею под хоругвь, — то что было бы с картиною? Кто не знает этого описания?

«Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стенах; Россияне — перед ними, под защитою укреплений, под сению знамен, в тишине, неподвижно; звучали только бубны и трубы, неприятельские и наши; ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. Наблюдали друг друга; все было в ожидании. Стан опустел; в его безмолвии слышалось пение иереев, которые служили обедню. Государь оставался в церкви с немногими из ближних людей. Уж восходило солнце. Диакон читал Евангелие, и едва произнес слово: да будет едино стадо и один пастырь! — грянул сильный гром, земля дрогнула, церковь затряслась... Государь вышел на паперть; увидел страшное действие подкопа и густую тьму над всею Казанью: глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди неслись вверх в облаках дыма и пали на город. Священное служение прервалось в церкви. Иоанн спокойно возвратился и хотел дослушать литургию. Когда диакон пред дверьми царскими громогласно молился, да утвердит Всевышний державу Иоанна, да повергнет всякого врага и супостата к ногам его, раздался новый удар: взорвали дру-

гой подкоп, еще сильнее первого, и тогда, воскликнув: с нами Бог! — полки российские быстро двинулись к крепости, и казанцы, твердые, непоколебимые в час гибели и разрушения, вопили: Алла! Алла! — призывали Магомета и ждали наших, не стреляя ни из луков, ни из пищалей; мерили глазами расстояние и вдруг дали опасный залп: пули, каменя, стрелы омрачили воздух. Но Россияне, ободряемые примером начальников, достигли стены. Казанцы давили их бревнами, обливали кипящим варом; уже не береглись, не прятались за щиты: стояли открыто на стенах и помостах, презирая сильный огонь наших бойниц и стрелков. Тут малейшее замедление могло быть гибельно для Россиян. Число их уменьшилось; многие пали мертвые, или раненые, или от страха. Но смелые, геройским забвением смерти, ободрили и спасли боязливых: одни кинулись в пролом; иные взбирались на стены по лестницам, по бревнам; несли друг друга на головах, на плечах; бились с неприятелем в отверстиях... и в ту минуту, как Иоанн, отслушав всю литургию, причастясь Св. Тайн, взяв благословение от своего отца духовного, на бранном коне выехал в поле, знамена христианские уже развевались на крепости! Войско запасное одним кликом приветствовало Государя и победу».

Это описание, так ласкающее наш русский слух, есть произведение могучего таланта. Но наука имеет свои требования, и мы должны сравнить приведенное описание с источником, именно со сказанием, находящимся в Царственной книге: «Того же дни разрядя государь по местом где кому быти, и отступил, да всяк готовится и строит, где кому повелено быти. И всем государь приказал готовиться к третьему часу дни воскресения. И с субботы на неделю в нощи той был государь наедине со отцем своим духовным со Андреем протопопом, и нача вооружатися, юшак на себя класти. И прислал к государю князь Михайло Воротынский: «размысл (инженер) де и зелие под город подставил, а с города де его видели, и невозможно де до третьего часу мешкати». Царь же благочестивый посылает по всем полком возвестити, да вскоре вси уготовятся на брань. Сам же государь иде в церковь, и повеле правило по скору совершити; а самому государю многие слезы от очию своего испущающе, и у Бога милости просяще; свету же приближившуся, отпустил царь воевод, а велел на урочном месте стати у города, а своего царского приходу ожидать. А сам царь государь литургию велел начати, хотяше бо святыни коснутися, и, соверша литургию, отдати Божия Богови, и поехати со свой полк. Литургии же наченшу сштрашно же убо и умилению достойно в то время благочестивого царя видети в церкви вооружена стояща, доспеху убо на нем ничим же прикрыту, но тако и всем сущим с ним вооруженным и тщащимся к смертному часу за благочестие. И се прииде время на литургии чести св. Евангелие, солнцу уже восходящу, и егда кончаше диакон, и возгласи последнюю строку в Евангелии: и будет

едино стадо и един пастырь — и абие якоже сильный гром грянул, и вельми земля дрогну и потрясся. Благочестивый же царь из церковных дверей мало поступи и виде градскую стену подкопом вырвану; и страшно убозрением земля, яко тма являшесь и на великую высоту восходяще, и многие бревна и людей на высоту возметающе поганых. Царю же благоверному на молитву уклонившуся, и слезы к слезам прилагаше, и после того диакону тако глаголющу ектению (следуют слова ектении), и се внезапно второй подкоп градскую стену грознее первого сотвори и множество граждан на высоте являшесь овым на полы перерванным, а иным же рuce и нозе оторвани, и со великой высоты бревна падаху во град, и множество нечестивых побивше. И поиде воинство царское со всех стран на град, и вси воины православнии Бога на помощь призвавшие и кликнувшие: с нами Бог! и со всех сторон вскоре устремишась на поганых. Татарове же во граде скверного своего Магмета лживого и советников его призывают к себе на помощь и говорят: вси помрем за юрт! — и бьющимся обоим в воротах и на стенах крепце. Царь же благочестивый стоя в церкви и моля Создателя Бога, такожде и вси людие с великим воплем и плачем призывая Бога на помощь и священницы служаще в олтари с слезами литоргию свершаху. И се прииде некий ближний царев глагола ему: се, государь, время тебе ехати, яко убо бьющимся твоим со неверными, и многие полки тебя ожидают. Царь же отвеща ему аще до конца пение дождем, да свершенную милость от Христа получим. И се вторая весть прииде от града: великое время царю ехати, да укрепятся воины, видев царя. Царь же, воздохнув из глубины сердца своего и слезы многия пролия, и рече: не остави мене Господи Боже мой! и не отступи от мене, воньми в помощь мою! И прииде к образу чудотворца Сергия, и приложися к нему, и причастися святые воды, и доры вкусив, тако и богородична хлеба и литоргии скончание бывши, благословляет его отец его духовный, изрядный Андрей протопоп, животворящим крестом. Исходит царь из церкви молитвою вооружен и обращя к своим богомольцем рек: меня благословите и простите за православие пострадати, и вы беспрестанно Бога молитесь, а нам молитвою помогайте. И вступает государь в бранное стремя, и всходит на конь и по скору поиде к полку своему ко граду; и виде государь знамена христианские уже на стенах градских».

В этом рассказе, который так тяжел и сух сравнительно со своим воспроизведением у Карамзина, читатель, однако, остановится на любопытном описании положения главного действующего лица, описании, которое проливает большой свет на характер Иоанна; вместе с этим читатель поразится совершенно противоположною постановкою фигуры Иоанновой у Карамзина. В летописи Иоанн, молящийся с глубокими воздыханиями и слезами, проникнутый религиозным чувством, которое одно его поддерживает; у историка

эти черты стерты, и одним словом, словом «спокойно», которого нет в источнике и быть не могло, дан лицу совершенно иной характер: «Иоанн спокойно возвратился и хотел дослушать литургию». Читатель заметил также неверность в одной подробности: источник не говорит, чтобы Иоанн приобщался Св. Тайн.

Представление Иоанна во второй половине его царствования в IX томе «История государства Российского», представление, совершенно согласное с представлением Курбского, проистекает также из господствующего стремления автора, так ясно им самим высказанного в приведенном отзыве его о характере Иоанна IV: если бы историк стал останавливаться над каждым известием, подвергать его критике, указывать на явления объясняющие и некоторые вопросы оставлять нерешенными вследствие недостатка пояснительных свидетельств, то «славный характер для исторической живописи» потерял бы очень много, чего Карамзин, по свойству своего таланта, никак не мог допустить.

Известно, какое впечатление производят на читателя описания казней в IX томе, причем историк-живописец достигает своей цели; но историк настоящего времени не может позволить себе подобного описания казней в подробностях, ибо не может никак поручиться за верность этих подробностей. Откуда почерпнуты они? Из Курбского, Гваньини, Таубе и Крузе. Но эти повествователи или противоречат друг другу в подробностях, или когда имеем возможность сравнить эти подробности с источниками, не подлежащими сомнению, то они оказываются ложными. Так, например, у Курбского читаем об архиепископе Казанском Германе: «И по дву дней обретен во дворе своем мертв епископ оный». Карамзин при этом должен сказать: «Герман не через два дни умер, а в 1567 году, ноября 6-го». В подробностях о кончине князя Владимира Андреевича Курбский противоречит Таубе и Крузе; Гваньини противоречит этим трем повествователям; Одерборн противоречит всем; Карамзин, не обращая большого внимания на Гваньини и Одерборна, останавливается только на свидетельстве писателей более для него авторитетных, именно на Курбском и Таубе с Крузе, и так как они противоречат друг другу, то он решает, кто справедливее: «Таубе и Крузе находились тогда при царе, а Курбский в Литве; сказание первых достовернее». Но эти достоверные свидетели, равно как Курбский, говорят, что вместе с князем Владимиром погибли и все сыновья его, а в памятнике, не подлежащем сомнению, именно в завещании Иоанна, говорится о сыне князя Владимира как о лице живом. Завещание царя было известно автору.

Мы обязаны также обратить внимание на некоторые положения, которые принимаются без возможности проверки и до сих пор имеют силу; таково, например, положение о происхождении донских казаков: «Важнейшим страшилищем для варваров и защитою

для России, между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представляющих смесь европейских с азиатскими чертами, людей неутомимых в ратном деле, природных конников и наездников, иногда упрямых, своевольных, хищных, но подвигами усердия и доблести изгладивших вины свои, — говорим о славных Донских казаках, выступивших тогда на феатре истории. Нет сомнения, что они же назывались прежде Азовскими, которые в течение XV века ужасали всех путешественников в пустынях Харьковских, Воронежских, в окрестностях Дона; грабили московских купцов на дороге в Азов, в Кафу; хватали людей, посылаемых нашими воеводами в степи для разведывания о ногаях или крымцах, и беспокоили набегами Украину. Они считались Российскими беглецами; искали дикой вольности и добычи в опустевших улусах Орды Батыевой, в местах ненаселенных, но плодородных, где Волга сближается с Доном. Отец Иоаннов жаловался на них султану, как государю Азовской земли; но казаки гнушались зависимостью от Магометанского царства, признали над собою верховную власть России — и в 1549 году вождь их Сарызман, именуясь подданным Иоанна, строил крепости на Дону: они завладели сею рекою до самого устья, требовали дани с Азова, воевали Ногаев, Астрахань, Тавриду; не щадили и турков; обязывались служить вдали бдительною стражею для России, своего древнего отечества, и, водрузив знамение креста на пределах Оттоманской империи, поставили грань Иоанновой державы в виду у султана».

Донские казаки, выходцы из пределов Московского государства, никогда не находились в подданстве у турецкого султана; их никак не должно смешивать с турецкими азовскими казаками, которые во время усиления наших донских казаков не переставали враждебно действовать против них и вообще против русских людей: так, в 13-м № Крымских дел под 1569-м годом в рассказе Семена Мальцева читаем: «Послал меня царь и государь в Ногаи, и яз государские дела зделал, и на Переволоке пришли на нас Азовские казаки и меня взяли замертво ранена». Всего яснее о различии азовских казаков от русских, донских, видно из грамоты московского посла в Крым Нагого к государю (Дела Крыма, № 10, стр. 125): Нагой пишет, что ему нельзя послать весть в Москву, потому что «Азовские казаки с твоими государевыми казаками не в миру». Мы не можем теперь принять известие Карамзина об уничтожении опричнины в 1572 году; г. Бередников в примечаниях к изданным им актам Археографической комиссии указал на акты, которыми подтверждается известие летописей о царе Симеоне, а вместе и существование опричнины после 1572 года; мы должны прибавить, что догадка г. Бередникова о тождестве двух названий для одного и того же учреждения вполне подтверждается известием неизданной

летописи из Библиотеки Волынского, хранящейся в Московском архиве Министерства иностранных дел.

Пораженные характером Иоанна IV, переменами, происходившими в образе его действий, занятые преимущественно объяснением этих перемен, оба историка, и Щербатов, и Карамзин, естественно, приписали им гораздо большее влияние на ход событий, чем какое они в самом деле имели; так, например, известный ход знаменитой войны с Баторием приписан исключительно состоянию духа Иоанна и его поведению относительно старых, искусных, опытных воевод, тогда как ход войны с Баторием необходимо условливался тогдашним военным устройством. Для удостоверения в этом стоит только вспомнить, как велись войны с Литвою при отце Иоанна и при нем самом: многочисленные, но нестройные массы войска входили в неприятельские области, опустошали их и возвращались; Литва, подобно Московскому государству, не имела постоянного войска; но здесь и там владельцы земельных участков должны были по требованию государства выступать в поход; но в Литве по известному ее государственному устройству сбор войска происходил гораздо медленнее и являлось его гораздо менее, чем в Московском государстве, чем и объясняются успехи последнего, взятие Смоленска, Полоцка. Но Стефан Баторий переменял прежний образ ведения войны: он вывел в поле дружины ратников иноплеменных, но искусных, привыкших к войне, как своему ремеслу, и предпринял быстрое, наступательное движение, являясь там, где его не ждали, и здесь причина его успеха, ибо и после московские войска в войнах с поляками и шведами постоянно терпели поражения в чистом поле, до тех пор пока не введено и устроено было постоянное войско, пока победитель Полтавский не провозгласил тоста за здоровье своих учителей в военном искусстве. Что же касается до поведения Иоанна IV в войне с Баторием и в сношениях с ханом Крымским после сожжения Москвы, то оно было одинаково с поведением его предшественников в подобных случаях: стоит только вспомнить поведение Иоанна III на берегах Угры; уступать при неудаче и выжидать обстоятельств благоприятнейших, не спуская глаз с цели, было правилом Московских государей.

Щербатов в заключение рассказа о делах Иоанна IV снова обращается к характеру последнего, снова старается объяснить перемену, в нем происшедшую. Карамзин изобразил Иоанна по Курбскому и в то же время, не допуская мысли Курбского, что первая половина царствования не принадлежит Иоанну, отказывается в заключение объяснить характер этого государя и говорит: «Не смотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров». Но ум не успокаивается, пока не разрешит загадок, и потом изображение Иоанна IV, сделанное

Карамзиным, немедленно же встретило сильные возражения, которые будут рассмотрены нами в своем месте¹⁸.

Царствование Иоанна IV, как обыкновенно, оканчивается у Карамзина кратким обзором внутренней деятельности; здесь мы остановимся только на одном важном положении, утвердившемся в науке, — на положении о думных дворянах: «Как в Приказах, так и в областных правительствах или судах главными действующими были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных, в осадах, для письма и для совета, к зависти и неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных, степению ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцов именных; а дьяки Думные уступали в достоинстве только Советникам государственным: боярам, окольниковым и новым Думным Дворянам, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в Думу сановников отличных умов, хотя и не знатных родом». При таком точном определении времени учреждения думных дворян автор ссылается на статью, помещенную в XX части «Древней Российской Вивлиофики»; но он был вправе не руководствоваться показаниями этой статьи, имея в руках источники, которые говорят совершенно противное: дела посольские говорят нам о дворянах, заседавших с боярами в Думе прежде 1572 года, о детях боярских, заседавших в Думе до совершеннолетия Иоанна. Так, при приеме литовских послов в 1542 году читаем: «Да в избе ж были у Великого Князя и дети боярские, которые в думе живут и которые в думе не живут»; при описании переговоров с литовскими послами 1570 года говорится: «А у сего дела бояре были да дворяне, которые живут у государя с бояры».

После Иоанна IV историку представился другой чудный характер для исторической живописи — характер Бориса Годунова. Для описания времен Годунова и самозванца у Карамзина кроме князя Щербатова был еще другой предшественник, историограф XVIII века Миллер, который произнес над Годуновым такой приговор: «Борис Федорович Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления *должен быть включен в число величайших людей своего времени*. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего... Борис принадлежал к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства дозволенными...»

Щербатов, по собственному признанию много пользовавшийся сочинением Миллера, ослабляет несколько приговор последнего

¹⁸ В статье о русской исторической литературе после Карамзина

относительно умственных достоинств Годунова и с самого начала преимущественно выставляет его недостатки нравственные:

«Сей Годунов был человек, исполненный честолюбия, коварный, захватчивый, мстительный и *ничего священным не почитающий, лишь бы что могло довести его до конца его намерений*. Не видно, чтоб он какими знатными своими подвигами приобрел себе какую именитость; ибо, начав свою службу с 1571 года, был рындюю при царевиче Иоанне Иоанновиче в походе против Крымского царя, уже в 1577-м был пожалован крайчим и во время похода царя Иоанна Васильевича оставлен при царевиче Феодоре Иоанновиче вторым, что может быть и было первое основание любви к нему от его младого князя и по восшествии его на престол, ибо легко мог толь хитрый муж вкрасться в сердце младого добродушного князя; в 1579 году был в походе на Лифляндию и против польского короля Стефана Батория, в коем ничего знаменитого учинено не было, а в 1591 году пожалован он в бояре и был на свадьбе царя Иоанна Васильевича на Нагой дружкою, а жена его свахою. Может статься, помогло ему толь скоро достигнуть в чин боярский супружество его на дочери Малюты Скуратова, любимца царя Иоанна Васильевича... Годунов при всех своих пороках был разумен, предвещущ и трудолюбив... Сей муж был одарен великим разумом и искусством и, как видно, довольном трудолюбием; к тому же кажется, что и самое сердце его довольно было преклонно к правосудию и к благодеяниям. Конечно бы, такие естественные дарования могли послужить к великой пользе отечества его, если бы сие отечество не было несчастно тем, что он жил, что сестра его была супругою и что он служил слабому государю. Представив, каков был царь Борис Федорович и что, поощряя его страсти, ввело его в преступления, воззрим на него, яко на друга человека, поврежденного уже счастьем и стечением обстоятельств. Он при вышеозначенных хороших качествах был честолюбив до крайности, яко весь поступок его доказует; пышен, как видно по его зданиям и по великолепию, введенному ко двору и в государство; скрытен в своих делах, яко сие доказуют приезды Князя Шведского, которого прямые причины в сокровении остались, и Князя Датского, которые тогда лишь открылись, когда их он сам открыть восхотел; хитр, мог враждебного ему Митрополита Дионисия привести быть противником желаемого разрушения брака сестры его с царем Феодором, примирившись с Шуйским, дабы им пагубу сделать; непримирим к своей вражде, яко поступок его с самими Шуйскими и другими доказует; коварен и притворен, как явился он яко бы отречениями своими от престола; подозрителен до крайности и мстителен, яко изгнанием и убиением многих из роду Романовых себя оказал, являя притом, что он не усташался проливать безвинные крови: не знающ в военном искусстве и едва ли имеющий довольно бодрости духа, чтоб быть самому в действии военном, ибо по крайней

мере видно, что он нигде вблизи неприятеля не видал; и наконец, не было никакого преступления, которого бы он не готов был сделать для достижения до своих намерений. Что избрание его было чрез единые его происки учинено, что, обмоченный кровию царей своих, ясно в воздание за учиненные убийства он сел на их престол и преступлениями достиг наследником их учиниться, сие по историям царя Феодора Иоанновича и его самого довольно видно; однако, взошед незаконным образом на престол, принял убийственными руками скипетр и державу Владимира Мономаха окроме тех преступлений, которые подозрениями и мщением побужден был сделать, можно сказать, что в правлении своем явил себя мудрым государем: содержал мир с окружными народами, не давая упадать военному чину; правосудие в его царствование со всею точностию, но и с умеренностию к последнему из народа было исполняемо; кичливость бояр и обиды, чиненные ими, благопристойным образом были укрощены; границы Российские укреплены; казна государственная сохранена и умножена; торговля поощрена; во время голода народ спомоществован; здания соделаны, — и словом: мог бы сей назваться великий государь и отец отечества, если бы не хищность, не разврат, не убийства и преступления его до престола довели».

Карамзин принял без проверки приговор предшественников относительно характера Борисова, ибо этот приговор не мог не прельстить его: великий человек, могший быть великим государем и отцом отечества, поддался страсти, честолюбию, которое увлекло его к преступлению, и это преступление отравляет все, губит преступника, несмотря на все его величие, на все стремление к добру, и ввергает государство в бездну зол — какое явление для исторической живописи! Мы думаем, что Пушкин принял характер Бориса, как он представлен у Карамзина, не потому только, что преклонялся пред авторитетом последнего: это представление характера Борисова точно так же прельстило и Пушкина, как прельстило самого Карамзина. Щербатов, сообразуясь с известиями источников, не выставляет деятельности Годунова в выгодном свете, не дает ей видного места до царствования Феодора Иоанновича. Карамзин поступает иначе — он знакомит своих читателей с Годуновым еще в царствование Иоанна IV: уже здесь выставляет его таким, каким он является во все последующее время, и, за неимением известий в источниках, прибегает к догадкам, чтобы возвысить значение Годунова еще при Грозном; приведя известие (неверное, как мы видели) об уничтожении опричнины в 1572 году и упомянув о Малюте Скуратове, автор говорит: «Любовь к нему (к Малюте) государева начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника (?) первой супруги отца Иоаннова, Бориса Феодоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные, и преступное властолюбие. В сие время ужасов

юный Борис, украшенный самыми редкими дарами природы, сановитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона окровавленного, но чистый от крови, с тонкою хитростию избегал гнусного участия в смертоубийствах, ожидая лучших времен и среди зверской опричнины сияя не только красотою, но и тихостию нравственною, наружно уветливый, внутренно неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся под знамена отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев, и, еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе (в 1571 году) дружкою царицы Марфы, а жена его, Мария, свахою, что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. *Может быть*, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность отечества, содействовал уничтожению опричнины».

Таким образом, Годунов с самого начала является пред читателями уже совсем готовый, со всеми дальновидными замыслами, тогда как Щербатов несколько раз повторяет, что замыслы эти созревали постепенно, вследствие обстоятельств. Оба историка согласны в том, что Годунов учредил патриаршество для собственных целей. Для подкрепления себя вообще — по Щербатову; прямо для достижения престола — по Карамзину. «Предложено уже выше, — говорит Щербатов, — каким образом в 1587 году митрополит Дионисий проискамы Годунова был низвержен с престола российской митрополии и на его место Иов, преданный сему гордому любимцу, был посвящен. Коль на самого Иова Годунов ни полагал надежду, коль сан его ни был почтен в России, но данный им пример низвержения митрополита мог также и на сего обратиться, а для сего и надлежало учредить новую степень, до того небывалую, которая бы саном своим отвращала все могущие учиниться покушения и противу его; надлежало польстить духовный российский чин, учиня его под властью из среды их избираемому патриарху; учинить с первого виду полезнейшее дело для церкви российской извлечением ее от повиновения отдаленным и чужеземным патриархам; и наконец, надлежало наградить и паче к себе привязать самого сего Иова». По Карамзину: «Борис, равно славлюбивый и хитрый, промыслил еще дать новый блеск своему господству; Годунов, еще называясь подданным, искал опоры: ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбия — и спасения; обуздывал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть справедливую к убийце Шуйских; имел друзей, но они им держались и с ним бы пали или изменили бы ему в превратности рока; благодворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру и знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на бояр и духовенство; хотел польстить честолюбию Иова титулом высоким, чтобы иметь

в нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника, ибо наступил час решительный, и самовластный вельможа дерзнул наконец приподнять для себя завесу будущего». Смерть царевича Дмитрия и избрание Годунова у обоих историков описаны одинаково; на закон 1592 года оба смотрят также одинаково.

Рассказ о появлении самозванца Карамзин начинает так: «Начинаем повесть, равно истинную и невероятную». Возникновение мысли о самозванстве в голове монаха объясняется следующим образом: «Пользуясь милостию Иова, он (Отрепьев) часто ездил с ним и во дворец: видел пышность царскую и пленился ею; изъяслял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренных тайных беседах произносилось имя Дмитрия-царевича; везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком — мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием Россиян, умиляемых памятию Дмитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу». Описав, как самозванец в первый раз открыл о своем царственном происхождении, Карамзин продолжает: «Так в первый раз открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый диакон вздумал грубою ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престол в державе, где Венценосец считался земным богом, и где народ еще никогда не изменял царям, и где присяга, данная государю избранному, для верноподданных была не менее священной! Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумным; но безумец избрал надежнейший путь к цели — Литву! Там древняя, естественная ненависть к России везде усердно благоприятствовала нашим изменникам от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и самозванец». После разных похождений самозванец открывается Вишневецкому: «Вишневецкие донесли Сигизмунду, что у них истинный наследник Феодоров; и Сигизмунд отвечал, что желает его видеть; он уже был извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами Самозванца: папским нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая. В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедмитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа — усердного сына в непреклонном послушнике. Сим изъясняется легковерие короля и нунция: думали не об исти-

не, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для одних слабых: действовать не открыто, не прямо, а под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностью беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному праву и мнению многих знатных вельмож, решился быть сподвижником бродяги... Но способы его (Лжедмитрия) еще не соответствовали важности замысла. Ополчалась в самом деле рать, а сволочь на Россию. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших подвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Зная свойство мятежных Донских казаков, зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбой, Лжедмитрий послал на Дон с грамотою. Удальцы донские сели на коней, чтоб присоединиться к толпам Самозванца. В городах, селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедмитрия к Россиянам с вестью, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить, а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северской, обрадовались: настало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставлял знамя для собрания вольницы, он поднял и казаков Запорожских. Столько движения, столько гласных происшествий могли ли утаиться от Годунова? Не сомневаясь в убийнии истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь замыслами своих тайных врагов, искал заговора в России, подозревал бояр; призвал в Москву царицу-инокиню, мать Дмитриеву, и ездил к ней в Девиный Монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предположенного кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну; но царица-инокия, равно как и бояре, ничего не знали. Лжедмитрий шел с мечом и с манифестом. Сей манифест довершил действие прежних подметных грамот Лжедмитрия в Украине, где не только подвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили Самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными Ляхами, в витязе ловком и искусном владеть мечом и конем, в военачальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедмитрий был всегда впереди, презирал опасность и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастия Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпанное Мнишеком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Дмитрии-

ею тень: подозревал бояр и вручил им судьбу свою. Никто из Россиян до 1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах всего Углича и коего видел весь Углич мертвого: следовательно, Россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича; но они не любили Бориса! Еще не имел примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя царей и с жадностью слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях Лжедимитрия, Россияне тайно же предавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании: чем судьба решит столь важную прю между Борисом и ложным или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве; расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно. Войско шло, повинувшись царской власти, но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием».

Так объясняются появление и успех самозванца: «Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком». Понятно, что любопытство читателя сильно затрагивается известием, что мысль о самозванстве была внушена Отрепьеву каким-то злым иноком; читатель желает подробностей, он не находит их в примечании, где автор ссылается на Бера, то есть Бурсова, но последний злого инока выставляет не самостоятельным внушителем злой мысли, но орудием врагов Годунова: «Wie nun der Teufel sichtet, dass mit Gifft und Mordt nichts zu verrichten seyn will, Gibt er ihnen (врагам Бориса) einen andern Grif im Sinn, nämlich eine Lüge fürzunehmen, brauchten auch ein recht wunderlich und teufelisch instrument dazu. Es var ein Münch Chrisca Atrepio genannt. Derselbige (weilen er und alle Münche es mit den Verräthern und Mentmachern wider den Boris hieltem) wird dazu bewogen, dass, er sich auf die Fahrt begeben. Dieser hatte solches Befehlig: er solle ins Reich Polen ziehen und in grosser Geheim nach einen solchen Jungling sich umbthun, der dem zu Uglitz ermordeten Demetrie an Alter und Gestalt mogte ätlich zeyn, und wann er solchen antrefe, denselben dahin bereden, das er sich für den Demetrium ausgeben, und dass ihn Gott der Herr zu der Zeit, als er sollen ermordet werden, durch getreue Leute in grosser Geheim davon bringen lassen, und wäre an seiner Stelle ein ander Knabe umbgebracht worden». — «Как только увидел дьявол, что ядом и убийством ничего не достичь, внушает он им (врагам Бориса) другой план, а именно: прибегнуть ко лжи. И для того использовали они поистине необычное и дьявольское орудие. Был один монах, по имени Гришка Отрепьев. Этого самого (поскольку он и все монахи были

заодно с предателями и мошенниками против Бориса) побудили к тому, чтобы он отправился в путь. Имел он такой наказ: проникнуть в Государство Польское и, строго соблюдая тайну, подыскать какого-нибудь юношу, который бы возрастом и лицом походил на убитого в Угличе Димитрия, и будто во время, когда он должен был быть убит, Господь Бог сподобил преданных людей надежно спрятать его, а вместо него был якобы убит другой мальчик» (*Примеч. ред.*).

Князь Щербатов предлагает то же объяснение, догадывается, что самозванец был орудием врагов Борисовых: «Может быть, кто-нибудь вложил в него первые мысли приять на себя сие великое имя. Когда, может статься, он показал некоторую к сему преклонность, то не было ли еще кого из знатных, который как по ненависти на царя Бориса, так и для своего возвышения, поелику легко считал восстановленного сего слабого кумира низринуть и самому его место занять, тайно его к тому побуждал; ибо, в самом деле, не нахожу я почти возможности верить, чтоб сын боярской, быв менее двадцати лет юноша и постриженный в монашеский чин, мог выдумать и еще меньше сам собою упорствовать в таком великом предприятии».

Характер Лжедимитрия, поведение его на престоле, доказательства самозванства его изложены Карамзиным согласно с предшествовавшими историками Мюллером и князем Щербатовым. Что касается до характера Шуйского, то князь Щербатов является адвокатом его против современных писателей. «Не легко, — говорит он, — начертать обычай сего несчастного государя, который был возведен в смутное время на престол, принужден был претерпевать нарекания в несчастиях России, которым он не был причиною и которым помогать не мог. Что он был человек честолюбивый и хитрый, то сие доказует единое следствие его при царе Федоре Иоанновиче о смерти царевича Димитрия, также, что, невзирая на всю неприязнь Бориса Годунова к его роду, он всегда старался снискать его приязнь. Не меньше его хитрость, проницательный разум и дальновидность являются в учинении заговора против Расстриги, и с какою твердостью, остроумием и прозорливостью сие исполнил, ибо и в самом жару толь опасного действия предусматривал, что Польская Республика будет требовать удовольствия за побиенных поляков и за бесчестие послам; все сие, колико могли допустить обстоятельства, отвратил. Неизвестно нам подлинно, употреблял ли он какие происки для получения престола; но думаю, что главный его происк был пред самым сим учиненная отечеству услуга убиением гнусного самозванца, тирана и разорителя веры. Но воззрим на его разум в делах управления государством. Хотя нам остается единый его указ 1607 года о крестьянах, с которого времени их, перешедших на прежние их жилища, возвращать и какое наблюдение о сем должно земское благочиние

иметь, то и в сем мы обретаем столько провидения, разума и справедливости, что он, конечно, и просвещеннейшим временам мог бы честь сделать. Впрочем, поступки его политические в самых трудных обстоятельствах изъясняют его дальновидность. Заключение договоры с королем шведским и требуемая помощь от Швеции показывают, что он проник, коликая есть польза самого короля шведского Карла IX не допустить польскому королю усилиться и Россию ослабить. Естли же, наконец, следствие противное показало, в том не он, а обстоятельства причиною. Если мы воззрим на его храбрость и знание военного искусства, то и в сем случае не можем мы не воздать ему достойной похвалы. Повсюду, где он был употреблен начальником войска, имел успех. Распределение войск, назначение им мест толь великое искусство показывают, а особливо во время похода его под Тулу; и оное есть таково в распоряжении разных отрядов, что может примером искусным нынешним вождам быть. Он, может статья, почти единый чувствовал в тогдашнее время великое сие и неоспоримое правило, что без доброго устроения вся храбрость воинов в ничто обращается: чего ради выбрав из чужестранных писателей и составил ратной устав в 1607 году, который был дополнен царем Михаилом Федоровичем в 1621 году. Что касается до твердости его духа, то оную он в неисчетных случаях показал. Наконец, что касается до его благосердия, то если он во всю жизнь свою сие единое соделал, что присягою своею учинил право Россиянам не быть без суда наказуемым, и чтоб наказание единого виновного на род его не простиралось, за сие бы единое достоин он был вечной хвалы. Одним словом: кто возмет на себя труд сличить сие мое начертание с его историею, тот ясно усмотрит, что сей государь был мудр, долготелен, храбр, искусен в политических и военных делах и что сердце его склонно было к милосердию. Но он был несчастен, а несчастье не токмо лишило его способов полезное что для государства соделать, но и самого свело в монахи и потом в плен, где и скончался».

Таким образом, Щербатов не дает характеру Шуйского, в таком благоприятном свете выставленному, никакого влияния на обстоятельства: вследствие несчастных обстоятельств Шуйский не мог сделать ничего полезного, несмотря на свои достоинства. У Карамзина характер Шуйского представлен гораздо удовлетворительнее: он уже дает видеть читателю, хотя и не совсем ясно, влияние характера и поведения Шуйского на ход событий:

«Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом ков, мог быть только вторым Годуновым лицемером, а не героем добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцарясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве.

Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обогранный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление Россиян делом блестящим, оказав в низложении самозванца и хитростью и неустрасимостью, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и веру! Без сомнения, уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился, однакож, разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностью невыгодною, даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан честною жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность к легковерию, коей желает зломыслие, и в недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Васильевой в борении с неодолимым роком: вкусив всю горечь державства несчастного, уловленного властолюбием, Шуйский пал с величием в развалинах государства! Василий (говорит летописец) нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клеветы Василия изъясляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клеветов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметим еще необыкновенное своеволие в народе и шаткость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца и не видала нужного общего согласия в последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство».

Здесь вместе с влияниями характера Василиева на события показано влияние и некоторых других обстоятельств. У Щербатова на эти обстоятельства обращено более внимания: там он обращает внимание на закон 1592 года, на голод, бывший в царствование Годунова.

Критики, рассматривающие «Историю государства Российского» преимущественно с точки зрения художественной, справедливо предпочитают XII том всем предшествовавшим: события, здесь рассказанные, такого рода, что давали обильную пищу таланту

автора. С точки зрения научной XII том теперь нам кажется слабее предшествовавших, потому что у нас много новых материалов, объясняющих удовлетворительнее эпоху; но статья наша не может иметь целию указание отношений «Истории государства Российского» к настоящим средствам нашей науки, ибо мы имеем дело не с современным сочинением. Карамзин остановился на событиях 1611 года; но взгляд свой на последующие события он высказал в особой статье (О древней и новой России); в этой статье для нас важнее всего именно взгляд автора на отношение между древнею и новою Россиею. Вот этот взгляд:

«Царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора, способствовало сближению Россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так и в нравах, от частных государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах и в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении, ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Это изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым. Явился Петр. В его детские лета самовольства вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софии напомнили России несчастные времена смут боярских; но великий муж созрел уже в юноше и мощною рукою схватил кормило государства, он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и все переменялось. Этою целию было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских. Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую; исправил, умножил войско; одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани; издал многие законы мудрые; привел в самое лучшее состояние торговлю, рудокопни; завел мануфактуры, училища, академии; наконец, поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для Самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не рождаются в такое или такое царствование, но единственно избираются; чтоб выбрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным образом помогали ему на ратном поле, в сенате, в кабинете. Но мы, Россияне, имея пред глазами свою

историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? забудем ли Князей Московских: Иоанна I, Иоанна III, — которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную и — что не менее важно — учредили твердое в ней правление единовластное? Петр нашел средства делать великое. Князья Московские приготовили оное».

В этих словах всего яснее высказывается отношение Карамзина, как историка, к его предшественникам. В продолжение XVIII века громадный образ Петра долго закрывал собою образы своих предшественников, всю древнюю русскую историю: не по мнению только несведущих иноземцев, Петр был творцом нашего величия государственного; русские и самые сведущие были того же мнения и сочинениями своими утверждали его у современников и у потомства. Стоит вспомнить Ломоносова, его осьмую оду:

Ужасный чудными делами,
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни
Послал в Россию человека,
Каков неслыхан был от века
Сквозь все препятства он вознес
Главу победами венчанну,
Россию, варварством поправну,
С собой возвысил до небес

Или в четвертой оде строфу, начинающуюся словами: «Воззри на труд и громку славу». Это оды; а вот и слова прозаика, собирателя материалов Крёкшина: «Егда же благослови Бог из тьмы возсияти свету и возсияти в сердцах сынов российских, даровал свету Петра Великого... Ты (обращается к Петру) нас от небытия в бытие привел; мы до тебя были в неведении и от всех порицаемы невеждами, ничтоже имущи, ничтоже знающи. Ты нас просвети и прослави славою, сотвори искусными в полезных знаниях, разума, мужества, храбрости, премудрости. До тебя все нарицаху нас последними, а ныне нарицают первыми».

Но во второй половине века уже возникла мысль об отношениях древней и новой России, об отношениях деятельности Петра Великого к деятельности его предшественников; возник вопрос: действительно ли свет воссиял только с царствования Петра? Действительно ли русские до Петра занимали последнее место? Действительно ли были достойны презрения? Болтин поставил себе целью доказать противное, и вследствие этого Карамзин в XIX веке мог сказать: «Мы, Россияне, имея перед глазами свою историю, скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Забудем ли Князей Московских: Иоанна I, Иоанна III?» Легко понять, какое важное значение в нашей исторической литературе

имело возбуждение этого вопроса: между древнею и новою Россиею перекинут был мост; Петру Великому нашлись предшественники, узнали, как приготавлилось дело Петра: «Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать — и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком, в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении». Но здание науки строится долго и с трудом великим, тот же Карамзин, который, вследствие трудов предшественников своих, мог перекинуть мост между древнею и новою Россиею, найти *Среднюю Историю* — от Иоанна III до Петра Великого, — тот же самый Карамзин увеличил пропасть, отделявшую древнюю русскую историю от средней, порвал всякую связь между деятельностью Иоаннов московских и предшественников их; «забудем ли Князей Московских Иоанна I, Иоанна III, — которые, можно сказать, *из ничего* воздвигли державу сильную?» Не согласившись назвать Петра творцом величия России, Карамзин не усумнился назвать творцом величия России Иоанна III, потому что об отношениях древней и средней истории не поднимался вопрос ни до него, ни в его время, мысль о значении Иоанна III, как творца величия России, была наследована Карамзиным от его предшественников и развита им с особенною любовью именно под влиянием вопроса, поднятого в исторической литературе Болтиным: при стремлении восстановить значение древней русской истории желалось найти в ней лицо, которое бы можно поставить на одинаковой высоте с главным деятелем новой истории и даже еще показать превосходство главного героя древней истории пред главным героем новой.

Таково было отношение «Истории государства Российского» к источникам и к трудам предшествовавших историков. Теперь мы должны обратиться к другому вопросу: каково было отношение «Истории государства Российского» к последующим трудам по русской истории? Только при решении этого вопроса можно будет понять все великое значение разбираемого творения.

ПИСАТЕЛИ
РУССКОЙ ИСТОРИИ
XVIII ВЕКА ¹

¹ Отрывок из большого сочинения о писателях русской истории вообще. Здесь обозреваются только писатели XVIII века, и притом *русские*.

I. МАНЖИЕВ

В 1770 году было издано Миллером «Ядро Российской истории» и приписано издателем князю Андрею Яковлевичу Хилкову неизвестно на каких основаниях². Миллер издал книгу с трех списков, но после отыскиались древние списки, в которых посвящение было подписано буквами «А. М.», вследствие чего стали думать, что книга сочинена не самим Хилковым, а секретарем его или переводчиком, находившимся с ним вместе в шведском плену³. Из описания рукописей графа Толстого оказалось, что имя сочинителя «Ядра» было *А. Манжиев*, что и утверждено Востоковым в Описании Румянцевского музея⁴.

Посвящение Петру Великому Миллер не приложил к своему изданию, отговариваясь тем, что «оно сочинено темно и нескладно или частым переписыванием испорчено». Вот это посвящение, как оно читается в рукописи Румянцевского музея:

«Всемиловитейший Царь Государь

Вашего Царского Величества всюду пространно и высоко славленное имя дало мне вину, дабы дерзнуть сей убогий мой труд, в котором История Русская собрана, Вашему Величеству восписать; а особно повелело мне то славных Вашего Царского Величества дел и над неприятelmi побед великолепие, которыми свою высокую и вседражайшую Персону Ваше Величество украсил и свою державу в надежности поставило; так, что Вашего Величества

² Ядро Российской истории, сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, в пользу российского юношества и для всех о российской истории краткое понятие иметь желающих. В печать изданное с предисловием о сочинителе сей книги и о фамилии князей Хилковых. М., 1770 (*Примеч. ред.*).

³ См. Митроп. *Евгения*. Словарь русских светских писателей, т. II, стр. 239 // Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России. Сочинение митрополита Евгения [Болховитинова]. Т. II. М., 1845.

⁴ № ССLXX, стр. 391 // *Востоков А. Х.* Описание русских и словенских рукописей Румянцевского музея, составленное Александром Востоковым. СПб., 1842.

держава Россия своим гербом, си есть орлом, который от ядовитых змиев угрызения себя и своих птенцов хранячи, на крутых высоких и неприступных каменных горах гнездится обыкл, здесь приосененна полными усты воспеть долженствует: *in Petra* или, лучше, *in Petro securo* в Петре безопасна и надежна стала, зане великодушием, бдением, попечением и храбростию Вашего Царского Величества Вседражайшей Персоны, от всяких неприятельских ядовитых язв и нападений защищена и обид отомщена, в надежности, как орел на горе жительствует.

— Что о Историях обще належит, когда я природу Историй помышляю, весма помышляю, что они великие видению человеческому приносят ползы; понеже в них, как в чистейшем зеркале, прежде живших бытия, советы, речения и дела так добрые, как злые видим.

— Сие рассуждая, славный ов Василий Кесарь, 45 после Константина Великого, Константинопольский к Леону сыну своему державы наследнику предрагое ово политическое увещание писал: чрез Истории ити не откажи. Тамо бо обрящеши без труда, яже инии собраша с трудом, и оттуда изчерпнеши, и благих добродетели и злычестивых пороки, жития человеческого различная изменення и вещей в нем обращения; мира сего непостоянство и нечестивых стремглавные падежи и да едином обыму словом, злых деяний казни и благих почести. Из них же тех отбегнеши, да не в правоты божия руце впаднеши. Сие обымеши, да почести яже с ними ходят, улучиши. Сие я однак убогое мое делце Вашему Царскому Величеству, Моему Всемилостивейшему Царю Государю, приношу, не с тем мнением, чтоб оно было какого особливого помышления или Вашему Величеству надобное; понеже доволно ведаю, что Ваше Величество свыше всякими ведении освещенно и искуствы наделено; а к тому многих иных подданных, которые много сот крат лучше такие вещи выработать могут, во власти содержит. Но знаючи быть должно и прилично, чтоб всякий мой хотя бы беднейший труд был, тот бы моему Всемилостивейшему Государю подлежал. Того ради я его под Вашего Царского Величества ноги, со всепокорнейшим почтением, подлагаю.

Вестерос, апреля
в 7 день 1715 году.

Вашего Царского Величества
Моего Всемилостивейшего
Царя Государя
нижайший раб А. М.»

Здесь автор говорит, что посвятить труд государю особенно побудила его слава дел и побед последнего: «особно повелело мне то славных В. Ц. В. дел и над неприятелми побед великолепие». Миллер, не поняв этого места, пишет: «Одно обстоятельство из сего приношения привести достойно. Пишет князь Хилков, что имел на сей труд повеление, а особливо чтоб описать главные Его Царского

Величества дела и над неприятелями побед Его великоление. Сие повеление, кажется, разуместь должно о знатнейших его в полону сотоварищах, князь Иване Юрьевиче Трубецком и о прочих, которые, по-видимому, его почтили за способнейшего к исполнению сего, а может быть, его и снабдили потребными на то российскими летописцами да розрядными и родословными списками сверх тех, которые чаятельно князь Хилков сам привез из Москвы». Миллер говорит также, что исправил во всей книге те места, которые искажены переписчиками; но при этом исправлении он иногда переменил и смысл и даже пропускал иное. Правописание и многие слова, попадающиеся в рукописи, заставили Востокова признать в авторе малороссиянина; мы с своей стороны готовы подтвердить это, основываясь на внутренних качествах слога, ярко обличающих малороссиянина.

Чтобы оценить значение «Ядра» в русской исторической литературе, необходимо обратиться к ее состоянию в то время. Попытки к составлению учебных книг по русской истории или сколько-нибудь стройного, связанного извлечения из летописей мы видим на Москве еще в XVII веке: так, в 1676 году известный дьяк Федор Грибоедов сочинил *Сокращение Российской истории* в 36 главах, от Св. Владимира до вступления на престол царя Феодора Алексеевича. Но книга эта, написанная, как видно, для царского употребления исключительно, не была издана. В Южной Руси потребность учебника Русской истории вследствие давно уже распространенного школьного учения должна была явиться ранее, и вот мы видим там в 1674 году издание Гизелева Синописа; следовательно, для оценки «Ядра» мы можем сравнивать его только с Синописом, которым автор мог пользоваться. «Ядро», так как и Синопис, начинается произведением русского народа от Мосоха, сына Яфетова, причем автор особенно настаивает на то, что народ русский ведет свое происхождение от человека, а не от ложных богов, как другие народы: «Наши Русские, Славяне и прочие народы Сарматские не летают по поднебесию для произведения предков своих, но истинною своею добродетелию не от богов, но от человека явно начало свое производят»⁵. Русские народы, по автору «Ядра», назывались прежде от Мосоха Яфетовича мосхами, мосохами, мессахами, модоками, моссенами, мосхои-коиками; потом «ради смешения иных народов и порубежности, или для различных туда и инде походов и войн, старое свое прозвание пренебрегше, званы и писаны были от князя своего Русса, который от Мосоха произведение свое вел, Руссианы, Роксоляны, Роксаны, Руфоны, Россианы и держава их Россия»⁶. Здесь разница от Синописа, где приводятся разные производства руссов от города Роси, от реки

⁵ [«Ядро»]. Стр. 10.

⁶ Стр. 11.

Роси, от русских волос, но автор считает самым достоверным и приличным производством от рассеяния (см. Стрыйковского, т. I, стр. 108 и след., изд. 1846 г.⁷); оба, и автор Синописа, и автор «Ядра», смешивают сармат с славяно-руссами и производят имя славян от славы, которую предки наши заслужили воинскою храбростию⁸, причем автор «Ядра» опровергает мнение тех писателей, которые имя славян смешивают в значении с италианским *schiaivo* или *sclavo*, невольник, и ссылается на рассуждение *eruditissimi Vossii* кн. 2 de vitiis sermonis, где он говорит, что слово *sclavo* происходит от пленных славян.

Потом следует перечень подвигов славянских в древности, гораздо пространнее, чем в Синописе; прибавлены, между прочим, победы русских над шведами; повторено о помощи славян Филиппу Македонскому и сыну его Александру⁹, который дал им грамоту, золотыми словами писанную; автор «Ядра» прибавляет, что эта грамота и ныне хранится в архиве султана Турецкого. Основателей Киева (Кия и братьев его) «Ядро», согласно с Синописом, ведет от Мосоха: «Правителей Россияне изстари над собою имели князей и вождей, но за тем, что те народы, больше в войне и непрестанных походах упражняясь, и паче мечами своими по неприятельским головам и шеям пишучи, грамоты, или писать в старину не знали, подлинного их и порядочного последования изъяснить и описать не можно»¹⁰. Согласно с Синописом, Радим, Вятко и Дулеб названы полководцами Кия, Щека и Хорива, равно как Аскольд и Дир у обоих названы потомками Кия (см. Стрыйк., стр. 112). Призвание варягов-руси описывается одинаково с Синописом, то есть Стрыйковским (стр. 113): Гостомysl убеждает призвать трех известных братьев; автор Синописа варягов называет славянами и через несколько строк говорит, что князья Варяжские пришли от *Немец*; автор «Ядра» умалчивает о народности варягов и Рюрика производит от «семени Прусса, двоюродного брата Кесаря Августа, и их предков пришествие из италийских стран было купно с Палемоном или Публием Ливоном, князем Римским, в которого дружине было 250 благородных римских лиц, и четыре рода первейших, Урсины, Коломны, Кесарины и Кентаври, в кораблях морем Средиземным около Гишпани и Франции, чрез Атлантический и Британский океаны теснотами Зундскими и чрез Балтийское море дивным жребием Божиим в полуденные места, где ныне Жмудь, Лифляндия и Курляндия»¹¹. Сомнения насчет этого предания автор «Ядра» отстраняет следую-

⁷ *Strykowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmódzka i wszystkiej Rusi. t. I, II. Warszawa, 1846. (Примеч. ред.)*

⁸ [«Ядро»]. Стр. 14.

⁹ Стр. 20.

¹⁰ Стр. 22.

¹¹ Стр. 27.

щим образом: «Пусть судят как хотят, то истинная правда, что Палемон со многими князи Римскими в полуночные страны приплыл; о чем многие историописатели твердят и все летописцы русские и литовские, хотя бы их кто тысячу одни с другими спустить хотел, объявляют»¹² (см. Стрыйковского, I, стр. 57 и 114, изд. 1846 года).

Синописис не объявляет ничего о бездетной смерти Синеуса и Трувора; «Ядро» говорит, что по смерти Синеуса Белозерская волость досталась младшему брату Трувору, по смерти которого, вместе с Изборскою волостию, перешла уже к Рюрику¹³. В Синописисе повторено сказание начального Киевского летописца о том, что Аскольд и Дир были мужами Рюрика, у которого отпросились идти в Царьград, тогда как прежде сказано было, что Аскольд и Дир были потомками Кия; желая согласить оба свидетельства, автор Синописиса оговаривается так: «Беста у Рурика, князя Великоновгородского, некая два нарочита мужа, о них же не бе тамо известно, аще идоша от колена основателя и первого князя Киевского Кия»¹⁴. В «Ядре» мы не находим такого неловкого соглашения: здесь Аскольд и Дир постоянно являются потомками Кия, самостоятельными князьями полян, безо всякого отношения к Рюрику (см. Стрыйк., стр. 115). Согласно с Синописисом, то есть слово в слово по Стрыйковскому, автор «Ядра» так отзывается об них¹⁵: «И так наследие *законных* князей русских Киевских, от колена Яфетова и Мосохова происшедших, в Оскольде и Дире, обманом Олега убитых, скончалося, а из *иностранных* князей иные государи на владение и, престол всея России пришли Руриком и сыном его Игорем». В обоих сочинениях, по следам Стрыйковского (стр. 117); Ольга названа правнукою Гостомысловою; в обоих подробно рассказывается поведение Ольги относительно древлян и в Константинополе, но не упоминается о ее внутренних распоряжениях; при этом в «Ядре» помещено *политическое рассуждение о супружестве государей владетельных*¹⁶; для образца приведу отзыв автора «Ядра» об Ольге: «Ольга паче мужественных монархов мужественно показалася, как богатырыня, которая Вавилонской Семирамиде и Иудейской Юдифе, Артемизии Карийской и Галикарнаской, Аглинской Елисавете и прочим героиням сравняться по достоинству может; понеже неприятелей крепко побив, верою христианскую Россию просветив, молода после мужа оставишь, чисто и честно жив и за другого, хотя царя Греческого, который того искал, посягнуть не хотел, такого вменения удостоилася и сына Святослава родила храброго, многожды Греков спесивых

¹² Стр. 29.

¹³ Стр. 31. Изборск в Синописисе иначе назыв. Сворцами, по Стрыйк.

¹⁴ Стр. 24.

¹⁵ Стр. 35.

¹⁶ Стр. 47.

после того побившего». Следующие княжения описаны одинаково с Синописом, то есть со Стрыйковским, почти исключительным источником и Синописа и «Ядра». При исчислении жен Владимировых в «Ядре» мать Бориса и Глеба названа княжною Болгарскою¹⁷, тогда как в Синописе и у Стрыйковского сказано просто: от Болгарыни. После описания победы русского богатыря над печенежским автор прибавляет: «Кроме сего Яна многие иные храбрые и славные богатыри были у в. князя Владимира: Илия Иванович Муромец, которого тело даже доньше в пещерах Киевских лежит нетленно; Рогдай, который на 300 неприятелей один вооружен напущал, Александр Попович, Андриан Доблянков, Добрыня и прочие»¹⁸.

Вслед за описанием крещения Земли русской автор «Ядра» приводит свидетельство Стрыйковского (см. Стрыйков., стр. 130) о гербе *Российского самоначества* над Пропонтидою с надписью, содержащею похвалу Св. Владимира; потом сказку о происхождении *Холопьего городка*, найденную в старых русских летописцах и у Герберштейна. При раздаче волостей сыновьям Владимира читаем, что Тматуракань ныне называется Астрахань; что Смоленск дан Станиславу, которому Владимир «нарек по смерти своей владеть Киевом и Берестовым княжениями»¹⁹ (у Стрыйков. стр. 152, прибавлено: Судиславу Псков, а Позвизду Вольтынь; им же, как младшим, по смерти своей, Киев и Берестов назначил). Об Ярославле Новгородском говорится по Стрыйковскому, что он, «не быв уделом своим, от отца данным, доволен, на прочих братий своих княжества нападать начал»; потом нанял варягов и печенегов и захватил с ними нечаянно Киев; Владимир, узнав об этом, выслал сына своего Бориса против печенегов, а сам между тем умер в Берестове; по смерти Владимира Святополк и Борис поразили Ярослава, после чего Святополк занял Киев и замыслил братоубийство²⁰. Разделение волостей между сыновьями Ярослава в «Ядре» показано правильно, тогда как в Синописе, по Стрыйковскому, Игорю дан Смоленск и Владимир, а Вячеславу Псков и Великий Новгород²¹.

О событиях по смерти Ярослава Великого в обоих сочинениях неправильно: в Синописе Всеслав Полоцкий назван Вышеславом, князем Польским; в «Ядре» он смешан с Вячеславом Ярославичем Смоленским. В «Ядре» смешан также Ростислав Владимирович, внук Ярослава Великого, с Ростиславом Всеволодовичем, братом

¹⁷ Стр. 60.

¹⁸ Стр. 64.

¹⁹ Стр. 79.

²⁰ Стр. 80.

²¹ Впрочем, Стрыйковский оговаривается, что, по Меховию, Игорю достался Владимир, Вячеславу — Смоленск.

Мономаха, и Володарь с Васильком являются детьми последнего ²². О Владимире Мономахе автор «Ядра» отзывается следующим образом: «Многие смятения и междуусобия, между князьями Русскими удельными бывшие, усмирил; иных войною, иных грозой и советом в союзство привел и тем государство Русское, бедствующее и от несогласия, убивств и междуусобных войн сынов и наследия Владимира Великого, Самодержца Российского, всю Россию святым крещением просветившего, разоренное воздвигнул. Поистинне он от погибели своим мечом все княжения Русские разорванные храбростию и промыслом своим паки в едино тело и самодержавство совокупил, несогласных князей укротивше» ²³.

После Мономаха автор перечисляет его потомков от старшего сына Мстислава, описывает судьбу Галицкой Руси; потом перечисляет потомство второго сына Мстислава Великого, Ростислава Смоленского; преемство князей в Киеве по смерти Мономаха обозначено в коротких словах до Юрия Долгорукого; при описании княжения последнего автору «не без дела быть показалось, коротко и обще дать ведать о Уложении, которого ныне все Европейские народы употребляют, и им правятся, откуда оно взято: и зане в сии времена, сиесть во время владения в Киеве Ярополка Владимировича, сына Мономахова, то ведение приказного дела Римского в Италии, в году от Р. Х. 1135, свершилось, и потому здесь о том помянуть достойно мнится» ²⁴. После краткой истории римского права автор опять обращается к русским князьям, которые, «к властолюбию будучи чрезмерно склонны, в покое сами ужиться не могли и иным такожде покоя не давали» ²⁵.

Но как ни странны иногда отступления автора «Ядра», как ни ошибочны бывают иногда его показания, все он несравненно выше автора Синописа, который, следуя постоянно литовским и польским источникам, преимущественно Стрыйковскому, перемешивает князей и события, опускает главное, выставляя незначущее, сопоставляя разноречивые свидетельства об одном и том же событии; так, например, говорит, что Владимир Мономах добыл цепь, пояс и шапку княжюю от старосты Кафинского, которого поборол на поединке, и на другой же странице говорит, что все эти вещи были присланы Мономаху из Византии; Роман Ростиславич Смоленский смешан с Романом Мстиславичем Волынским; о Северной Руси мы не находим ничего в Синописе, и после взятия Киева Батыем автор прямо переходит к описанию Мамаева побоища; это описание занимает с лишком 50 страниц (тогда как во всей книге только 224 страницы); потом, после Мамаева побоища, автор обращается опять к Батыю, к его походам на запад; перечисляет князей

²² Стр 96

²³ Стр 100

²⁴ Стр 110

²⁵ Стр 120

северных и южных, говорит о перенесении митрополичьего престола из Киева прямо в Москву (!), о взятии Киева Гедимином, о разделении митрополии, об учреждении патриаршества в Москве, о превращении княжества Киевского в воеводство, о присоединении Киева к Москве — кратко, в общих чертах, и оканчивает свою книгу Чигиринским походом. Но автор «Ядра» после рассуждения о римском праве обращается к Северной Руси, куда видит перенесение Всероссийского престола, и приводит причину этого перенесения:

«Главнейший престол Всероссийский из Киева в город Владимир перенесен таким случаем, что как о Киеве, начальнейшем Русском княжении, не по наследству, но силою князи побочные добиваться, а особливо князи Переяславские, с помощью иных как большой Руси, так и Волынских князей, доставать того стали, Князь Андрей Юрьевич Боголюбский, хотя от того, что он боголюбив был, прозвище такое принял и был благодушен, zelo, однако, пылая властолюбием и желая сделать себя над всею Россиею Самодержцем, престол себе во Владимире утвердил»²⁶. Последующие события на Севере показаны верно, кроме мест: в одном князь Михаил Юрьевич назван князем Московским²⁷, в другом князю Ивану Всеволодовичу дан в удел Стародуб Северский²⁸. Второе нашествие татар описано неправильно: великим князем вместо Юрия назван Андрей, битва при Сити помещена прежде взятия Владимира и т. п.

После рассказ событий по княжениям почти везде правилен; приведем отзыв автора об Иоанне III, которого он называет Грозным: «Иоанн Васильевич, сей великий князь Московский, за великие свои добродетели, бдение и попечение за соблюдение государства, паче всех своих предков хваления удостоился и с великим оным Владимиром Святославовичем, всяя России монархом, по справедливости сравниться достоин; зане из-под неволи и ига Татарского, под которым прежние Русские князи стонали, себя и Русь всю попечением и промыслом своим высвободил, а воздаятельно Золотую Орду под свое послушание покорил... Казань, Пермь, Лапонию, Югорию, Болгары на Волге, Заволжские страны на восток солнца даже до моря Хвалынского, себе часть под послушание, часть под власть привел; с шведы, а особливо с лифлядцами и финнами щастливую войну вел; от Литовского княжества с 70 городов великих и малых возвратил под Русскую державу и, завоевав Великий Новгород и прочие Русские княжения, в одно монархии Российской тело привел и совокупил. В своем государстве излишние пирования, а особливо пьянство, имянным своим указом запретил. И толь великими добродетельми, которыми от при-

²⁶ Стр 122.

²⁷ Стр 125

²⁸ Стр 128.

роды одарен был, стал всем окрестным соседям страшен; после которого самоначалство русское весьма утвердилось и пришло в цветущее состояние»²⁹.

Для образца, как автор сокращает известия, можно привести рассказ его о семейных распоряжениях Ивана III: «Первому сыну своему, князю Иоанну Иоанновичу, который от первой его супруги Марии Михайловны (то есть Борисовны), князя Михаила (то есть Бориса) Тверского дочери, ему родился, дал во удел Тверское княжение, который как преставился, отец князь Иоанн Московский престол назначил дать в удел сыну его, а своему внуку, Дмитрию Иоанновичу. Но как о сем уведомилаcь вторая его супруга София Фомична, к мужу своему ласковыми словами приступила и испросила у него, чтоб он сына Василия, от нее перворожденного, вместо внука Дмитрия на главнейший престол Московский посадил. Итак, великий князь Василий Иоаннович еще при жизни отца своего Москвою владеть вместе с отцом начал»³⁰. Причиной жестокости Иоанна IV выставлено поведение бояр во время его малолетства: «Владели государством бояре, которых несоюзство, зависть и ненасытное мздоимание и лихоимство дало причину, что как великий князь Иоанн Васильевич потом возмужал, и в леты и рассуждение пришел, и такие неправоты рассмотрел, несколько жестоко и чрез обычай свирепо к ним, а после того и к прочим своим поданным поступал»³¹. В «Ядре» встречаем при описании царствования Грозного первое известие о *Поганой* книге: «Царь Иоанн Васильевич на место искорененных в Новгороде во время того разорения дворянских многих родов выбрал несколько семей из княжеских и первейших боярских дворов, их людей; и на побитых поместьях в Новгородском уезде поселил, сделав их дворянами Новгородскими. Их имена записаны в книге, называемой *Поганая*, которая есть в Москве на Государеве Каменном дворе и в Новгороде в Приказе»³². Князь Щербатов подтверждает это известие, прибавляя, что *Поганая* книга написана дьяком Китаевым³³.

О поступках Бориса Годунова встречаем в «Ядре» следующее любопытное известие: «Как царь Феодор Иоаннович в том же году ходил в Троицкий монастырь, в его отсутствии Москва, по научению Бориса Годунова, зажжена, и которых дворы сгорели, тех Борис чрез советников своих научил, чтоб били челом о вспоможении ему, Борису, а не царю Феодору Иоанновичу, и тех всех Борис наградил и наделил, а все то делал задобряя себе народ, чего ради и со всем родом Шуйских, за которых народ его хотел убить, при-

²⁹ Стр. 216

³⁰ Стр. 217

³¹ Стр. 227.

³² Стр. 244.

³³ Ист. Рос. VIII, стр. 227 // История Российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым Т V Ч. 2. СПб., 1789. С. 227.

мирился, но для виду только, и ласково с ними поступил, чрез что у них сделал, что они в народ дали знать себя довольными быть Бориса Годунова дружбою»³⁴. Здесь же встречаем подтверждаемое некоторыми хронографами известие о сценах при избрании Годунова, напр. о мочении глаз слюнями вместо слез³⁵. Встречаем также известие, что князь Василий Шуйский обличал Лжедмитрия в самозванстве в самый день въезда его в Москву³⁶. При описании царствования Шуйского упоминается о каком-то казацком полковнике *Истоме*, который в начале царствования нагнал сильный страх на Москву; Болотников назван Попутником³⁷. При описании поступков Сигизмунда III с московскими послами, Филаретом и Голицыным, читаем: «Держал их девять лет в земляных тюрьмах великою жестокостию, не дав пить и есть, и для того тогда они простой воды ведро по 5 рублей купили»³⁸. При описании междуцарствия помещено известие о победе Полянского; вот как читается все место: «Поляки (по убиении второго самозванца), с советом и помощью Михаила Салтыкова, достальных ратных людей русских с Москвы по городам разослали, решетки по улицам разрубили, русским людям с саблями и с пищальми ходить не велели и дров толстых, а особливо бревен к Москве возить запретили. Сами поляки, по улицам ходя, московских граждан рубили и мучительно побивали, так что русское трупье по улицам валялося, ряды все и дома граждан выграбили, Москву многожды зажигали и такое делали утеснение, что русским людям от них нанесенного страдания описать не можно. По уездам и по другим городам такое же разорение и грабеж от них был, которого русские стерпеть не могли, самих поляков и их начальников множество, обороняя себя, побивали. В тож время одного воеводу из Русских князей, который у поляков и русских изменников был приводцем, так поразил и разбил Иван Васильев, сын Полянский, что он насилу сам с несколько своих ратных людей к Москве ушел»³⁹.

Потом с большими подробностями рассказывает автор о взятии Новгорода Делгарди: причина тому заключается в тогдашнем положении целого русского народа, боровшегося со шведами, и в положении самого автора в особенности: настоящая вражда заставила живее припомнить неприязнь древнюю; описав неправды шведского полководца, автор продолжает: «На те грабленные имения новгородские де ла Гардие в Стокгольме превеликие палаты, медью покрытые, где ныне арсенал и кирка или церковь св. Иякова, ни Нордермалме, построил; за то однак обманство и сребролюбие

³⁴ [«Ядро»]. Стр. 258.

³⁵ Стр. 264.

³⁶ Стр. 292.

³⁷ Стр. 316, 317.

³⁸ Стр. 334.

³⁹ Стр. 340.

так от Бога сердцевида на казан стал, что когда уже церковь помянутая совсем отделана была, а он смотреть ее приходил, как из нее вышел, в том же мгновении ослеп. Тем же грабленным новгородским именем де ла Гардие построил великий и богатый каменный замок недалече от Стокгольма, который от его имени называли прежде сего Якобс-Даль, а ныне Улрикс-Даль называется, и чрез то награбленное в Руси богатство де ла Гардиевы потомки в Швеции очень цвели и в знать вышли. Часто помянутый де ла Гардие в грабление новгородцев и иных русских городов жителей вводившись, и святые места, церкви и монастыри грабить, а разграбив, жечь велел, где и посвященным сосудам не щажено; зане потири и диски браны были грабительными руками, и не только украшения иные церковные и оклады луплены были, но и свечи восковые из церквей и монастырей взяты и вывезены в Швецию, каких две толстые в Вестероском уезде, в деревне графа Пипера, зовомой Энгшю, 2 мили от Вестероса, в церкви тамошней я сам в году от Р. 1714 видел, из которых на одной около верховья надписано русскими словами: «Лета 7113, генваря в 7 день, Кирил Кирилов сын, стрелецкий пятидесятник в Рядове на Крестце в Великом Новгороде, по обещанию своему, поставил в дому Пресвятыя Богородицы Благовещения свечу местную на красках, 1 с половиною пуд весом». На другой: «Лета 7117, июня в 30 день, на Встретенке, пятидесятник в Стрелецкой слободе, в Великом Новгороде, Чудинцове монастыре Великомученицы Параскевы, нареченные Пятницы, свечу местную на красках поставил, весом 1 с половиною пуд...» Ныне, читатель благохотный, правду и истинну шведского народа перед русскими рассудишь, когда подумаешь, как господа Шведы в такое смутное время на помощь против поляков призваны, и так публично, си есть уступлением Корелы города и уезда, как и приватно от царя Василия Шуйского богатыми поминки сам де ла Гардие и его войска надарены, сами враждебно против Руси войну подняли; и рассмотришь, имели ли причину государи Русские по времени сие отомстить и войну праведную против Шведской короны во отмщение двинуть, а особно когда примечаем оное политическое правило, что неправедно отнято и владено было, то праведным оружием отыскать и возвратить достоин... Си то тепер помянутые подлинные и ведомые с шведской стороны Руси деланные обиды суть ближайшая вина войны, которую Царь Петр Алексеевич в году от Р. Х. 1700 против Шведской земли поднял, желая неправду праведным оружием отсудить; и для того Бог его праведное оружие частыми над неприятелем победами увенчать изволил»⁴⁰.

В остальном рассказе, доведенном до 1712 года, не находится ничего особенно замечательного; мы приведем только последние строки, в которых заключается отзыв о Петре Великом: «Сей Госу-

⁴⁰ Стр. 354 и след.

дарь Царь Петр Алексеевич своим неусыпным промыслом державу Русскую от неприятелей оборонил; народ неученый, который всякими свободными науки прежде брезговал, в ученость привел; а чтоб то удобнее сделал, сам, как выше сказано, в иные государства странствовал и молодых господ из подданных своих в Италию, Францию, Германию и инде посылал; училища многие в Руси завел, всяких художеств, как гражданских, так и воинских, подданных своих научить привел и, одним словом сказать, всю Русь художества и ведением просветил и будто снова переродил. Воистине, по преславному и всему свету удивительным делам Его Величества, как в гражданском управлении, так и в многотрудных войнах и над неприятелями победах, похвальных в старине Навуходоносоров Вавилонских, Киров Перских, Александров Великих Македонских, Улиссов Греческих и славных их дел превосходит, почему бы и историю о сем государе подробно исследовать и по достоинству описать надлежало: но меня от того по сие время удержало, что... будучи в Швеции в плену под жестоким арестом, едва вышписанное к объявлению сыскать мог, а больше известий и записок не имея, принужденным нахожуся перо покинуть и прочее для описания преславного нашего Монарха бессмертных дел другим оставить».

К сочинению приложено описание гербов державы Российской и уездов, в ней содержимых.

Обратив внимание на средства автора «Ядра Российской истории» и сравнив это сочинение с предшествовавшим ему опытом, Синопсисом Гизеля, мы не усумнимся дать ему почетное место в нашей исторической литературе: исключая древнейший период, события переданы в нем беззастенчиво, обстоятельно, почти безошибочно; не забудем, что и после когда начали появляться более обширные сочинения по части русской истории, то они касались обыкновенно древнейших ее периодов, и «Ядро» оставалось относительно самым полным руководством к изучению русской истории: этим объясняется то, что оно достигло четырех изданий (1770, 1784, 1791, 1799).

II. ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ ТАТИЩЕВ

Чтобы понять характер деятельности Татищева, нужно обратиться к характеру той знаменитой эпохи, к которой принадлежал он, — эпохи преобразования. Великий царь созидал все и сам без усталости работал над всем, чтобы удовлетворить вдруг, как можно скорее потребностям юного государства. Петр нуждался в многочисленном сонме сотрудников даровитых; он набрал их, но эти сотрудники не были приготовлены к известным, определенным родам деятельности; он послал их приготовляться, учиться за гра-

ницу, но дел было больше, чем людей, и потому систематическое распределение занятий было невозможно: взявшись за одно дело, видели, что с ним соприкасается несколько других необходимых пригготовительных занятий, за которые нужно было также взяться; одна работа вела к другой, и один деятель должен был удовлетворять вдруг несколькими потребностям; призван ли, пригготовлен ли был к ним деятель? На эти вопросы при тогдашних обстоятельствах нельзя было обращать большего внимания: ревность и талант должны были заменять пригготовление. Мы знаем, чем должен был заниматься Ломоносов, призванный, собственно, к занятию одними естественными науками. Ломоносова сравнивают в этом отношении с Петром Великим. Но многообразие деятельности необходимо проистекало для всех тогдашних деятелей из состояния юного общества, было необходимо по множеству дела, по недостатку даровитых и образованных деятелей; разве один Ломоносов подвергся этой участи? Его многообразная деятельность только виднее вследствие высокой степени его таланта; ни один ученый, ни один писатель того времени не мог быть специалистом. Ту же участь должны были разделить и целые учреждения: Академия, по словам самого Устава, предназначалась быть и Академиею наук, и университетом, и гимназиею. Таков был характер эпохи.

Общая участь постигла и Татищева. Он был два раза отправляем Петром за границу для изучения горного дела; как он воспользовался своим пребыванием за границею, какими обладал способностями и как развил эти способности трудом, свидетельствуют важные услуги, оказанные Татищевым горному делу в России. Но если Татищев был человек деятельный и даровитый, то он в эпоху преобразования не мог ограничиться одним каким-нибудь занятием, и вот горный чиновник, впоследствии астраханский губернатор, является первым собирателем и критиком материалов русской истории. Как же это случилось? Быть может, Татищев чувствовал в себе измлада призвание к историческим трудам, измлада любил посвящать им свои досуги? Быть может, он родился историком и только по служебным обязанностям должен был заниматься горным делом? Нисколько! Татищев сам рассказывает, что граф Брюс, под начальством которого он служил, занимался составлением полной и верной русской географии; сперва Татищев только помогал Брюсу в этом деле, а потом должен был один взять на себя географические труды. Ставши разбираться в них хозяином, Татищев заметил, что без полной и верной истории нельзя успеть в составлении полной и верной географии, — и вот он начинает заниматься русскою историею, собирает летописи, делает выписки из немецких и польских исторических книг, потому что сам знает эти два языка; из книг же, написанных на языках ему неизвестных, заставляет переводить все, относящееся к России. Легко понять, какого труда стоило это Татищеву, нисколько не

приготовленному к своему новому занятию; но Татищев был человек даровитый, труда не боялся, что видно из следующих слов его: «Причина начатия сего моего труда хотя от графа Брюса: но в продолжении так многому снисканию и произведению главнейшее было желание воздать должное благодарение вечной славы и памяти достойному Государю, Его Императорскому Величеству Петру Великому, за его высокую ко мне показанную милость, якоже к славе и чести моего любезного отечества». Целью Татищева, как человека умного, понимавшего свои средства и способности, вовсе не было написание прагматической русской истории: он хотел только собрать материалы и разобраться в них; рассмотрим же, как он это сделал и как в его трудах отражается век со своими понятиями и состояние тогдашнего общества.

Предложив во введении понятие истории, под которою разумеет *деяния* в смысле всех явлений и приключений, а не одних только дел человеческих; предложив разделение истории на священную, церковную, политическую и ученую, Татищев переходит к пользе истории. Из сочинений других писателей видно, как встречены были науки у нас в эпоху преобразования, как ученые и писатели должны были, сообразуясь с понятиями века, настаивать на *полезности* наук. Было много людей, которые толковали о бесполезности вообще всех наук; но так как очевидный опыт показал пользу некоторых наук для удобств житейских, то, не будучи в состоянии спорить против пользы всех наук вообще, обратились против тех, которые не удовлетворяли прямо материальным потребностям: в числе этих последних наук, разумеется, была история; вот почему Татищев говорит: «О пользе истории не потребно бы толковать, которую всяк видеть и ощущать может: однакож как некоторые не обыкли о вещах внятно и подробно рассматривать и рассуждать, много крат от повреждения их смысла полезное вредным, а вредное полезным поставляют, след., в поступках и делах погрешают, как то мне таких о бесполезности истории не без прискорбности рассуждения слышать случалось, и для того я за полезно рассудил о том кратко изъяснить».

Как же Татищев рассуждает о пользе истории? Разумеется, согласно с понятиями века, он рассуждает о ее полезности, выставляет ее значение как науки опыта только, а не как науки народного и человеческого самопознания: по его мнению, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, вождь не могут с успехом исполнять своих должностей без знания истории. Не могли возвыситься до понятия об истории как науки народного и человеческого самопознания, Татищев и его современники не могли определить точно значения и пользы отечественной истории. Вычислив пользу истории, как науки опыта для разных званий, Татищев говорит: «Что собственно о пользе Русской истории принадлежит, то равно как о всех прочих разуметь должно, и всякому народу и области знание

своей собственной истории и географии весьма нужнее, нежели посторонних» Это почему? Не сказано, да и не следует из предыдущего, если история есть только наука опыта и полезна только в этом одном отношении.

Не будучи в состоянии вследствие господствовавших понятий века выказать ясно пользу отечественной истории, Татищев, упомянув об этой пользе слегка, переходит к пользе изучения русским иностранной, а иностранцам русской истории, собственно для лучшего обработки науки исторической; но это уже совершенно другой вопрос. Здесь он показывает, что одни отечественные источники недостаточны для составления вполне беспристрастной истории, потому что отечественные писатели в своих суждениях могли руководствоваться любовью или страхом. Западноевропейские историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе истории древних народов, обитавших в областях нынешней России; притом иностранцы только чрез изучение русской истории могут получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. Здесь же, между прочим, Татищев сообщает известие о понятиях русских, своих современников об отечественной истории. В это время для русских чужое было доступно, свое скрыто: историю чужих народов было легко изучить; свою невозможно; свое прежнее являлось все более и более во враждебном виде, потому что представители его, старое поколение людей своим сопротивлением новому порядку, своими выходками против просвещения все более и более вооружало против себя новое поколение, которое, враждуя, смотря с презрением на представителей, не могло не враждовать, не смотреть с презрением и на время, ими представляемое. Старина была синонимом невежества, тьмы; твердили, что только с начала XVIII века появился свет и разогнана тьма; отсюда необходимо низкое мнение о прошедшем, мнение, что у наших предков не могло быть ничего порядочного, как было у других народов; отсюда понятны нам следующие слова Татищева: «Хотя нас Европейские историки тем порицают, яко бы мы историй древних не имели и о древности своей не знали, для того что они о том, какие мы истории имеем, неизвестны; а хотя некоторые, сочиняя выписки краткие или какое-либо обстоятельство, перевели, то другие, думая, что мы лучше оных не имеем, и для того оную презирают: *сему некоторые наши неведущие согласуют*, а некоторые, не хотя в древности потрудиться и не разумея подлинного сказания, яко бы для лучшего изъяснения, но паче для потемнения истины, басни сложа, внесли и сущую правость сказания древних закрыли». Второе было необходимым следствием первого.

Рассуждение свое о пользе истории Татищев заключает обычным в то и позднейшее время указанием нравственной пользы от истории: «Сия то есть потребность Истории, но что всякому человеку нужно знать, что можно легко уразуметь, что в истории не

токмо нравы, поступки и дела, но из того происходящие приключения описуются, яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благополучие, а порочным, несмысленным, лихоимцам, скупым, робким, превратным и неверным бесчестие, поношение и оскорбление вечное последуют: из которого всяк обучаться может, чтоб первое колико возможно приобрести, а другого избежать».

За этим следует указание вспомогательных наук для истории, разделение ее по содержанию (общие, пространные, участные, особенные истории), по времени; потом рассуждение о качествах, необходимых для историка; здесь читаем: «Одни мнят, что непотребно более как довольное чтение и твердая память, а к тому внятной склад; другие мнят, что невозможно не во всей философии обученному Историю писать; но я мню сколько первое скудно, столько другое избыточественно; однако же обоих кратко отвергнуть нельзя, понеже подлинно писателю много книг, как своих, так иностранных читать, и что читал, то запоминать нужно; но сие еще недостаточно, властно как человек домовитый к строению дому множество потребных припасов соберет и в твердом хранилищи содержит, дабы, когда что потребно, мог взять и употребить, но к тому потребно *смысл*, чтоб прежде начатия определение о порядке строения и употребления по местам пристойным припасов положить, а без того строение его будет или нетвердо, нехорошо, непокойно; тако к писанию Истории весьма нужно свободный смысл, к чему наука Логика много пользует; другое суждение, чтоб яко строитель мог разобрать припасы годные от негодных, гнилые от здоровых, тако писателю Истории нужно с прилежанием рассмотреть, чтоб басен за истину и неудобных за бытия не принять, а паче беречься предрассуждения, и о лучшем древнем писателе, для которого науку критики знать не безужно; третье, как всякое строение требует украшения, так всякое сказание красноречия и внятного в нем сложения, которому наука Риторика наставляет».

За рассуждением о качествах историка следуют правила исторической критики. Здесь, говоря о преимуществе своих писателей пред иностранными, Татищев замечает, что для последних большим препятствием служит язык: «Понеже многих обстоятельств иногда не выразишь и без пристрастия легко погрешить может, а паче имены людей, мест и проч. В нашей Истории и Географии весьма для сего три языка, Татарский, Сарматский (финский) и Словенский, достаточно знать нужно, а по малой мере лексиконы полные или переводчиков для помощи искусных иметь».

После изложения правил исторической критики Татищев перечисляет источники русской истории, разделив их: 1) на общие, или генеральные, к которым относит: а) Несторов временник, б) Степенную книгу, с) Хронограф, д) Синописис с продолжателя-

ми; 2) предельные, то есть местные, летописи; 3) акты; 4) частные, то есть биографии, описания отдельных событий, жития Святых. Краткие отзывы о разных перечисленных источниках вообще правильны; между материалами Татищев упоминает и о таких сочинениях, которые были известны ему только по имени и которых, несмотря на все старания, он нигде не мог достать; таковы: летопись Смоленская, Луговского — описание походов царя Алексея и суд над Никоном, Лихачева — жизнь царя Федора Алексеевича. Но если сам Татищев откровенно говорит, какие книги у него были и какие он знает только по имени, подробно рассказывая, какие из них находились у кого из известных людей, то, видя такую добросовестность, имеем ли право обвинять его в искажениях, подлогах и т. п.? Если бы он был писатель недобросовестный, то он написал бы, что все имел в руках, все читал, все знает. Мы имеем полное право в его своде летописей принимать одно, отвергать другое, но не имеем никакого права в неправильности некоторых известий обвинять самого Татищева. Непонятно, как смотрели на Историю Татищева позднейшие писатели, позволявшие себе выставлять его как выдумщика ложных известий. Как видим, они пренебрегли первым томом, не обратили внимания ни на характер, ни на цель труда и, взявшись прямо за второй том, смотрели на его содержание как на нечто вроде Истории Щербатова, Елагина, Эмина. Мы же с своей стороны должны произнести о Татищеве совершенно противоположный приговор: важное значение его состоит в том, что он первый начал обрабатывание русской истории, как следовало начать; первый дал понятие о том, как принятая за дело; первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения; Татищев собрал материалы и оставил их неприкосновенными, не исказил их своим крайним разумением, но предложил это свое крайнее разумение поодаль, в примечаниях, не тронув текста.

Сперва Татищев начал было сочинять историю «историческим порядком, сводя из разных мест к одному делу, и наречием таким, как ныне наиболее в книгах употребляем». Но ясный смысл, к счастью, заставил Татищева переменить свое намерение: он нашел в списках летописи разногласия, причем, сочиняя историю, разумеется, должен был выбирать; кроме того, списки находились в разных руках, отчего затериваются, ссылаться на них нельзя, «и естлиб, — по словам Татищева, — наречие и порядок их переменить, то опасно, чтоб и вероятности не погубить». Это заставило Татищева свести все списки «тем порядком и наречием, каковыи в древних находятся, собирая из всех полнейшее и обстоятельнейшее в порядок лет, как они написали, не переменяя, не убавлявая из них ничего, кроме не надлежащего к светской летописи, яко жития святых, чудеса, явления и проч., которые в книгах церковных обильнее находятся, но и те по порядку некоторые на конце

приложил: також ничего не прибавливал, разве необходимо нужное для выразумения слово положить, и то отличал вместиительною». Потом, думая, что такой свод будет невразумителен для большинства читателей и особенно неудобен для перевода на иностранные языки, Татищев перевел его на употребительный в его время язык, подлинник же отдал в Академию наук.

После исчисления материалов Татищев предлагает разделение своего труда на четыре части: первая заключает известия о летописях и описание трех главных народов — скифов, сарматов и славян — до 860 года; вторая заключает свод летописных известий от 860 года до нашествия татар; третья — от татар до Иоанна III; четвертая — от Иоанна III до царя Михаила. Татищев хотел остановиться на избрании царя Михаила, во-первых, потому, что события, начиная с этого времени, еще в свежей памяти и писать историю новой династии никому не будет трудно; во-вторых, потому, что «в настоящей истории явятся многих знатных родов великие пороки, которые естьли писать, то их самих или их наследников подвигнуть на злобу, а обойти оные, погубить истинну и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже было с совестью несогласно». При этом Татищев говорит, что книг, могших служить ему руководством, собрал он более 1000; жалуется на недостаток искусных переводчиков, на неправильность польских сочинений, искажавших древние имена переводом их на новые; говорит, что принесли ему пользу лексиконы — Буддеев всеобщий исторический, Генсиусов или Мартиньеров географический, Байлев истории критический, но жалуется, что относительно русской истории в них нет ни одного верного известия, ибо иностранцы не знают русской истории и географии. «И они в том невинны, — прибавляет Татищев, — когда того и у нас нет».

Введение свое Татищев заключает указанием причины всех приключений и деяний: эта причина, по его мнению, есть ум или отсутствие его, глупость; расчету ума, следовательно, Татищев подчиняет все: отсюда сухость, жесткость в приговорах о некоторых явлениях, непонимание, неуменье оценить нежного нравственного чувства, которое иногда заставляет человека действовать вопреки расчетам ума⁴¹. Этот взгляд объясняет нам также некоторые поступки автора, о которых сохранились предания⁴². Ум просвещенный называет Татищев разумом, в истории он замечает три

⁴¹ Такою же жестокостию отличается суждение, помещенное в примечан. 213. 214 // История Российская с самых древнейших времен, неусыпными трудами через тридцать лет собранная и описанная покойным тайным советником и астраханским губернатором Васильем Никитичем Татищевым. Кн. 2. М., 1773. С. 417. Примеч. 213, 214

⁴² См. у Голикова анекдоты о Петре В. 104, 105 // Анекдоты, касающиеся до государя императора Петра Великого, собранные Иваном Голиковым М., 1807. С. 411—421; № 104, 105.

способа всемирного умопросвещения: изобретение букв, пришествие Иисуса Христа на землю, изобретение книгопечатания⁴³.

Таково содержание введения. Так как первым способом умопросвещения Татищев положил изобретение письмен, то первая глава первой части заключает рассуждение *О древности письма Славян*. Здесь Татищев вооружается против писателей, которые утверждали, что письменность на Руси началась очень поздно, но вместе с тем он заподозривает свидетельство западных славянских летописцев о древности письмен славянских; согласен, впрочем, допустить, что русские славяне имели письмена до Кирилла, к этому побуждает его древний Закон Русский (Русская Правда), в котором, по его мнению, «речения и обстоятельства включены, которых задолго до Владимира и нигде у славян во употреблении уже не было, но были в самой древности». Если были письмена, то могла быть и история: у Нестора Татищев находит следы, что летописец имел перед собой книги, иначе он не мог знать о пришествии славян на Дунай, о нашествии волохов и проч.; договоры с греками со слов так порядочно написаны быть не могли, по словам автора.

Так как второй способ умопросвещения есть христианство, то вторая глава заключает рассуждение *О идолослужении бывшем*, «ибо, по словам автора, порядок требует показать, что прежде приятия закона Христова было, ибо, не зная зла, не можно внятно о добре рассудить, или, не представля чернейшего, нелегко можно познать разность белизны». Мифология славян и в наши времена представляет самую недостаточную, необработанную часть славянских древностей, следовательно, мы не имеем права ожидать от Татищева большего выяснения этого предмета; заметим одно любопытное мнение, которое повторилось в наши времена: Татищев думает, что божества киевские, поименованные у начального летописца, не были славянские, но сарматские (финские) или варяжские. В наши времена те исследователи, которые держатся одностороннего мнения об исключительности скандинавского влияния в древнейший период нашей истории, объясняют все явления его из скандинавской национальности, дошли необходимо до мысли, что и богослужение руссов было не славянское.

В следующей (третьей) главе Татищев рассуждает о крещении славян и Руси, замечает о проповеди апостола Андрея, что если апостол водрузил крест на горах киевских, то еще не следует предполагать проповеди и крещения народа, о которых ни слова не говорит предание.

Глава IV заключает знаменитую Иоакимовскую летопись. И за эту летопись, как за некоторые места в своде, не отысканные в известных нам списках, Татищева обвинили в сочинении, в подлоге,

⁴³ Надобно заметить, что Татищев размещает эти способы не по важности, а по времени

тогда как его нельзя упрекнуть даже и в недостатке критики, потому что он обязан был сводить все известия, бывшие у него под руками. Татищев рассказывает подробно, каким образом досталась ему Иоакимовская летопись и в каком виде. Отыскивая повсюду исторические рукописи, он обратился с вопросом к свойственнику своему Мелхиседеку Борсчову, архимандриту Бизюкова монастыря, нет ли чего и у него в обители. Мелхиседек отвечал, что нигде в известных ему монастырях нет никаких рукописей, но что один монах, Вениамин, набрал по монастырям и частным домам много книг и из своего собрания уделил ему, Мелхиседеку, три тетради, которые он и отсылает Татищеву. «Сии тетради, — говорит последний, — видно, что из книги сшитой выняты по разметке 4, 5 и 6, письмо новое, но худое, склад старый, смешанный с новым, но самый простой, и наречие новгородское: начало видимо, что писано о народах, как у Нестора, с изъяснениями из польских, но много весьма неправильно, яко Славян Сарматами и Сарматские народы Славянами именовал, и не в тех местах, где надлежало, клал, в чем он, веря польским, обманулся. По окончании же описания народов и их поступков зачал то писать, чего у Нестора нет, из которых я выбрал токмо то, чего у Нестора не находится или здесь иначе положено». По внимательном рассмотрении отрывка оказывается, что он составлен в позднейшие времена, но составитель имел в руках начальную Новгородскую летопись с именем епископа Иоакима, или хотя и без имени, но с ясными указаниями, что она написана этим епископом. В рассказе о походе Аскольда на Царьград и следствиях его недостает двух листов, на стороне заметка: «утрачены в летописце два листа». Оканчивается отрывок описанием рассылки сыновей Владимировых: «Прочих жен и дочерей даде в жены ближним своим, неимущим жен, и запрети да всяк...»

Получа отрывок, Татищев послал к Мелхиседеку с просьбою доставить самую книгу, откуда выдрана летопись; но в ответ получил известие, что Мелхиседек умер и пожитки его расхищены или запечатаны. После этого Татищев просил своих приятелей осведомиться о монахе Вениамине у келейников Мелхиседека; нашелся монах Вениамин, бывший казначей покойного архимандрита: этот Вениамин никаких книг не собирал, но об искомой книге объявил, что она была у Мелхиседека, который рассказывал, что списал ее в Сибири, а иногда говорил, что чужая, и никому не показывал; на книге переплета не было, но тетради связаны и обернуты кожей; после в пожитках его книги не нашлось. Узнав из этих подробностей, что книга принадлежала самому Мелхиседеку, который берег ее как редкость, Татищев и написал в первом примечании: «Вениамин монах токмо для закрытия вымышлен».

И что же? Критики наши на этой заметке основали мнение о подлоге и обвинили в нем самого Татищева! Такой умный чело-

век, как Татищев, сочиня летопись и все обстоятельства, как она ему попала, вдруг сам признается, что он выдумал имя монаха Вениамина для закрытия! Теперь мы этим критикам предложим вопрос: для чего было Татищеву сочинять Иоакимову летопись? Богатый и знатный сановник с какою целию мог прибегнуть к такому средству? Для подтверждения своих любимых мыслей? Но какие его любимые мысли подтверждает Иоакимова летопись? Разве в примечаниях он не опровергает некоторых ее мест? Например, в 3-м примечании вооружается против братства Славена и Скифа; потом Татищеву хотелось бы, чтобы Аскольд был сын Рюрика, пасынок его второй жены, матери Игоря; но в Иоакимовой летописи этого нет, и Татищев принужден прибегнуть к натяжке (примеч. 29). Можно как угодно ценить так называемую Иоакимовскую летопись, принимать ее известия в соображение при исследованиях или не принимать — это другое дело; но никак не должно обвинять Татищева за то, что он сохранил нам отрывок, во всяком случае любопытный, или приписывать ему самому подлог; надобно только удивляться осторожности Татищева, благодарить его за подробное описание отрывка и обстоятельств, при которых он ему достался, потому что он мог бы внести известия Иоакимовой летописи в текст свода и в примечаниях сослаться на нее, точно так как сосылается на Раскольниковый список и другие, нам неизвестные, но вот что он сам говорит об этом: «Я намерен был все сие в Несторову дополнить, но рассудя, что мне ни на какой манускрипт известный сослаться нельзя, и хотя то верно, что сей архимандрит, яко мало грамоте изучен, сего не сложил, да и сложить все неудобно, ибо требуется к тому человека многих книг читателя и в языке Греческом искусного; к тому многу в ней находится, чего я ни в одном древних Несторовых манускриптах не нахожу, а находится в прологах и Польских историях, которые, как Стрыковский говорит, из Русских сочинили... Сего ради я сию выписку особою главою положил»⁴⁴.

В главе V помещено исследование о Несторе. Татищев положил начало исследованиям о Несторе, первый утвердил за ним начальную Киевскую летопись: «Безсумненно есть, что Нестор творец тоя летописи»; первый указал место, где Нестор должен был остановиться; первый указал на позднейшие вставки, и хотя указанные им места более принадлежат начальному летописцу, чем другие; но здесь важны приемы, взгляд на дело, а не частные замечания,

⁴⁴ Елагин свидетельствует (Опыт пов. о России, стр. 101), что «Крекшин открыл древнюю рукопись Иоакима, первого Новгородского Епископа, из которой потом рачительный господин Татищев, не могший целую достать, оставил нам перечень в первой части своей летописи» // Опыт повествования о России. Сочинение Ивана Елагина, начатое на 65-м году от его рождения, лета от Р. Х. 1790, двора его императорского величества обер-гофмейстера. Кн. I. М., 1803. С. 101.

которые могут быть неверны или спорны. В главе VI говорится о последовавших Нестору летописателях; в VII — о рукописях, употребленных при своде: подробное описание всех списков, которыми пользовался Татищев, уничтожает всякое подозрение в недобросовестности; в VIII — о счислении времени и начале года: здесь объясняются запутанности в наших летописях, происшедшие от разного времясчисления; в IX — о происхождении, разделении и смешении народов. Здесь видно, как Татищев возвышался над своими современниками, с презрением отвергая старания выводить руссов от библейского Роса, и т. п.; здесь же Татищев отозвался с похвалою о наших летописцах за отсутствие у них генеалогических басен.

Оставляя в стороне все этнографические толки, Татищев прямо приступает к трем народам, которые, по его мнению, имеют непосредственное отношение к русской истории — скифам, сарматам, под которыми разумеет финнов, и славянам; но так как первое, что останавливает историка при подобных вопросах, — это разноречивые показания и смешение имен народных у разных авторов, то X главу Татищев посвящает объяснению *Причин разности званий народов*, исследование, по тому времени превосходное. В главе XI заключается исследование об имени и жилищах скифов; в XII изложены известия Геродота о скифах, сарматах и других народах. Главы эти снабжены пояснениями и замечаниями Татищева: между ними попадаются любопытные известия из жизни современного автору общества; например, в 24-м примечании к IV главе по поводу сна Гостомыслова Татищев говорит: «Нам таких вымыслов от суеверных пустосвятов, льстецов и лицемеров слышать нередко случалось, каковых мог бы я много с довольным доказательством привести, да едино токмо вспомяну, которое многим ведомо, а никому в обиду быть не может. Двор царицы Праскевы Федоровны от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов: между многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумасбродный подьячий, которого за святого и пророка суеверцы почитали, да не токмо при нем, как после его предсказания вымыслили; он императрице Анне, как была царевною, провещал быть монахинею и называл ее Анфисою, а после как Анна императрицею учинилась, сказывали, якобы он ей задолго корону провещал». В примечании 50 к главе XII по поводу Геродотовых известий о превращениях невов Татищев замечает: «У нас многие и не весьма глупые, но от неучения суеверством обладающие сему твердо верят. Я не весьма давно от одного знатного, но нерассудного дворянина слышал, якобы он сам несколько времени в медведя превращался, что слышащие довольно верили. В 1714 году, едучи я из Германии чрез Польшу, в Украине заехал в Лубны, к фельдмаршалу графу Шереметеву, и слышал, что одна баба за чародейство осуждена на смерть, которая о себе сказывала, что в сороку и дым

превращалась, и она с пытки в том винулася. Я хотя много представлял, что то неправда и баба на себя лжет, но фельдмаршал нимало мне не внимал; я просил его, чтоб позволил мне ту бабу видеть и ее к покаянию увещать, по которому послал он со мною адъютантов своих». Татищеву удалось усостить ведьму, и она призналась, что все взвела на себя напрасно и ни в чем не виновата, кроме обманов и лечения некоторыми травами.

В главе XIII помещены известия Страбона; в XIV — Плиния; в XV — Птоломея; в XVI — Константина Порфирородного, последние по Байеру, с примечаниями Татищева; в XVII — северные писатели по Байеру; в XVIII — остатки скиф, турки и татара; отсюда ясно, кого разумел Татищев под именем скифов — племена турецкие; здесь Татищев хозяин и в ничей помощи не нуждается; в главе XIX — разность скифов и сармат; в XX — сармат имя, произшествие и обиталище; в XXI — сарматы по русской и польской историям; в XXII — оставшие сарматы; здесь с финским племенем смешано латышское; в XXIII — о гетах, готах и гепидах: Татищев отличает гетов от готфов; последних причисляет к сарматам, первых, вместе с фраками, даками и енетами, к славянам. К этой главе Татищев почел за нужное присоединить следующее примечание: «В Польских историках есть главная и всем им общая погрешность, что Хронологии и Географии в их сказаниях не наблюдали и тем немалое смятение наносят, а от недостатка достаточных публичных библиотек нередко авторов неисправно приводят, для которого есть небезопасно их приводам верить, но нужно тех самых авторов смотреть». В XXIV — о кимбрах и киммерах; в XXV — о болгарах и хвалисах; у древних аргипей и исседони. Татищев не хочет допустить мнения, что болгары получили свое название от Волги (волгары), потому что русским не нужно менять букву *в* на *б*, и потому производит имя болгар от имени главного их города; хвалисов считает за одно с козарами. В XXVI — о печенегах, половцах и торках — все три народа причисляются к сарматам; в XXVII — об уграх и обрах: угры принимаются за гуннов, обры — за аваров, древнейшее их имя — исседоны; в XXVIII — об аланах, роксоланах, рокаланах, аланорсах и литаланах: отвергается мнение, что роксоланы — славяне и предки русских. В XXIX — о Древней Руси.

Здесь рассматриваются скандинавские названия Древней Руси, встречающиеся в сагах; в этой главе обращают наше внимание слова Татищева, где высказывается взгляд его на некоторые известия летописи: опровергнув басню о войне скифов с холопями, Татищев продолжает: «Некоторые наши писатели, неосторожно от иностранных древностей взяв, в Русские вносили и присвоили, знатно думая, что другие тех не знают и впредь знать не будут, подобно как старые и ветхие лоскутья к своему новому к белому платью для разпещрения пришивали, которое не токмо явно неправо, но

и непристойно, яко избавление Милета Тразибулом из Геродота Белуграду, Владимиру Мономаху поединок с Корсунским воеводою из Геродота же и пр. Но я еще к сей холопей войне нечаянно достал прочитать историю града Ростова, она не токмо ветха, но и по письму и бумаге, мню, более 200 лет писана; в ней о сем страннее, нежели инде находится: место то же, что в летописи Муромской. Колязин монастырь разумеет быть холопий град. Сказует, что к сражению у вождей и у царей Скифских были трубы, литавры и сурны, а у холопей одни свирели и рожки пастушьи; Скиф предводители Стражмир, Громислав и Бедислав; у холопей Загуми, Разрываи и Угоняи; оружие у царей самострелы и мечи обоюду остры; у рабов сабли и луки холопии и проч. Правда, что вымысел не худ, как имена музыки и ружье по пристойности людей положил, токмо знатно он того не знал, что тогда литавр, не говорю о самострелах, не было; другое, что Скифы не были Славяне, потому имен Славенских употреблять не могли. Сия погрешность у многих вымышляющих находится, как о Славенских Князях, вымышленных Новгородцами, в гл. I показано. Он же имя Ростова от роста производит, не справясь, оной град прежде в тех местах населившихся Славян был ли, а народ в том пределе был Сарматской Меря, или Мордва, как Нестор точно сказует; также и другие многие басни и чудеса внес, однакож в сей истории есть неколико и нуждного, особливо каким порядком оное княжение Великим Князем пришло и какие в том способы и распри с Ярославскими Князи были, в оной описаны, что в дополнение и для ясности третьей части весьма нужно».

В главе XXX говорится о Руси, рутенах, Роксании, Роксолании и России: русы суть сарматы, или финны; Русь по-сарматски значит *чермный*, или *красный*; у финнов был главный город *Старая Руса*; славяне пришли в финские пределы, покорили тамошнее народонаселение и построили *Новый Город*; Татищев отвергает указание на библейское *Рос*, принимая это слово в значении *главы*, или *верховности*. Глава XXXI содержит исследование о варягах: Рюрик есть князь Финляндский; руссы — финны, они же могут быть причислены и к варягам вместе со скандинавами, потому что это название промысла (разбойничества), а не народное. Надобно заметить, впрочем, что эта глава самая запутанная у Татищева; видно, сам автор не ясно еще определил для себя происхождение варягов-руси; гораздо яснее опровергнуто мнение о происхождении призванных князей из Славянской Вагрии и из Прус. Глава XXXII содержит исследование Байера о варягах; к этой главе, как видно по номерам, были присоединены примечания Татищева, но в печатной книге их нет. В XXXIII главе говорится о славянах: здесь выражена подтвержденная теперь мысль о древности славян в Европе и в тех местах, где они до сих пор обитают: «Хотя подлинно о старости звания сего, сколько мне известно, прежде Прокопия не упо-

минается, но народ, без сомнения, так стар, как все прочие; и хотя оное прежде за отдалением Римлянам знаемо не было, однакож то вероятно, что оное весьма древнее и всем того языка или по малой мере по Днестру и Днепру обще употребляемо было, да и на Север не поздно перенеслось; а по уделам каждый предел особливо именовался, как в Европе около Дуная и в Азии многих разных Славенских званий народов задолго прежде Прокопия находилось, что у древнейших землеописателей находим». Дальнейшее рассуждение, где автор отвергает обычное тогда производство от Мосоха и прочия, может служить по тому времени образцом здравого смысла, ясного взгляда на предмет. Отвергнув производство Москвы от Мосоха, Татищев говорит: «Я правее разумею быть имя Москвы реки Сарматское *болотная*, ибо в вершине оной болот не мало, или *крутящаяся*, ибо весьма криво многими и великими излучинами течет, и от того оное произошло; и град Москва построен в 1154 году, от реки имя получил, а до того о Москве ничего у Русских не упоминалося».

В главе XXXIV говорится о древних жилищах и прехождении славян под разными именами: здесь Татищев увлекся авторитетом Феофана Прокоповича (который амазонок сделал славянами), впал в общую современную болезнь словопроизводства: доказывая пребывание славян в Сирии, Татищев хочет найти в еврейском языке славянские слова и в славянском еврейские, и Моисей объясняется чрез слова дочери Фараоновой *мой сей*; так и осторожный Татищев заплатил дань веку. В XXXV главе говорится о енетах: это перевод третьей главы Бельского с примечаниями и поправками Татищева; здесь в 11-м примечании он говорит следующее о происхождении Малороссийских черкас: «Оные прежде из Кабардинских Черкес в 14 стѣ в княжестве Курском, под властью Татар, собравши множество зброда, слободы населили, и воровством промышляли, и для многих на них жалоб Татарских губернатором на Днепр переведены, и град Черкасы построили, потом, усмотря Польское беспутное правление, всю малую Русь в Козаки превратили, гетмана или атамана избрав, все Черкесы именовались, а при Царе Иоанне на Дон с князем Вишневецким перешли, град Черкасской построили». В 14-м примечании Татищев отвергнул существование грамоты Александра Македонского, данной славянам. В XXXVI главе — о болгарях и козарах: болгар, пришедших с Волги и поселившихся на Дунае между славянами, Татищев считает однородцами последних: для объяснения причины перехода славян от Волги на Дунай Татищев приводит следующее известие из Степенной Новгородской книги, применяя это известие вместо ильменских славян к волжским: «Уведав Славяне о утеснении Славяном на Дунае живущим от Грек и Волотов (Римлян), подъявшеся с дома своими, идоша на помощь оным, победиша Грек и Волотами обладаша». Козаров Татищев считает также славянами. В

XXXVII главе говорится о восточных славянах: здесь встречаем попытку объяснить Птоломеевы народные названия из славянского языка, которую в наше время повторил Шафарик. В XXXVIII главе говорится о южных славянах; в XXXIX — о западных; в XL — о северных; в XLI — о языке славянском и разности наречий.

Здесь замечателен отзыв Татищева о русском языке: «Мы хотя можем похвалиться, что наш язык многих полнее и плодотвее, и мню, что в философии, мафематике и прочих науках не хуже Французского и Германского, но еще кратче изъяснить можем, что некоторые члены Русской Академии изданием преизрядных книг засвидетельствовали, особливо господина профессора Ломоносова изрядная реторика и другое, якоже Тредиаковского и господина Сумарокова стихотворения хвалы достойны; однакож много таких видим, которые никакого языка не знают, ниже своего достаточно учились, а чужих слов в речении и письмах со избытком употребляют; а как они силы их не знают, так часто неправильно оные кладут и не в той силе их разумеют, на что господин Сумароков изрядную сатиру издал». В XLII говорится о умножении и умалении славян и языка их. Здесь, между прочим, читаем: «В Греции Славенской язык был в таком употреблении, как ныне в Германии Французский; ибо не токмо министры и придворные знатные, но сами Императоры оным говорить не гнушались, особливо же Константин Порфирогенит оной разумел. Да слышал я от ученого Грека, что Император Василий Македонянин некоторую книгу историческую Славенским языком писал, которая до днесь у Патриарха хранится; но сие в сумнительстве, что никто о том не воспоминает. Из всех Славянских областей Руские Государи наиболее всех распространением и умножением языка Славенского славу свою показали, и хотя Славян во всей Руссии до Рюрика было много, но пришествием Рюрика с Варяги род и язык Славенской был уничижен; блаженная же Ольга, будучи сама от рода князей Славенских, народ Славенской возвысила и язык во употребление общее привела. Таже приятием крещения чрез Болгар и книги Славенские церковные наиболее утвердила, от чего чрез много лет великим тицанием Государей завоеванные Сарматские и Татарские пределы язык Славеноруский приняли, а свой прежний забыли и почитаются за Славян, следовательно, все сие великое государство от моря Ледовитого к югу до Меотиса, а с запада от реки Двины и Днепра на восток до Восточного океана и моря Тихого, не иначе как за государство Славенское почестья может, хотя между тем идолопоклонников и Магометан и неприявших крещения не мало; но довольно есть причин, что не в продолжительном времени оные остатки свои законы и языки оставят».

В главе XLIII говорится о географии вообще и о русской; в XLIV — о древнем разделении Руссии: по Татищеву, Великая Русь заключает в себе княжества: Новгородское, Псковское, Белозер-

ское, Полоцкое; Белою Русью он называет Ростово-Суздальскую область, или после область Московского государства, говоря, что древнейшие рукописи всю эту страну, кроме Смоленского княжества, Белою Русью именуют. Кроме Червонной Руси Татищев упоминает еще о Черной, причем ссылается на некоторые грамоты царя Алексея Михайловича и на Стрыйковского. В главе XLV — о древнем правительстве Русском и других в пример. Здесь говорится о происхождении общества; первое общество — муж и жена, второе родовое — родители и дети, третье домовное — господин и слуги. В этом месте находится важное для юристов указание на известия патриарха Иова и царя Василия Ив. Шуйского об устройстве означенного общества. Четвертое общество, по мнению Татищева, есть гражданство, имеющее целию взаимную защиту своих членов и разделение занятий. Выбор лучших для управления делами гражданства произвел аристократию; аристократы, не будучи между собою согласны, должны были поручить всю власть одному — явилась монархия. Здесь опять встречаем любопытное указание на собственную историческую деятельность Татищева и на один важный древний акт, для нас потерянный: в 1730 году Татищев подавал Верховному тайному совету письменное мнение о необходимости восстановить монархическое неограниченное правление; при этом Татищев, по его собственным словам, привел «достаточные приклады о монархиях Ассирийской, Египетской, Персидской, Римской и Греческой, как правления древние и законы в пользу общую хранили, доголе власть их почтенною и всем соседям страшною представлялась; когда же подданные дерзнули для собственного любоимения или властолюбия власть монархов уменьшать, тогда вскоре государство с крайнею бедою прежде подвластным бывшим в рабство подвергнулось, о чем царь Иоанн Грозный речью, князем под власть монарха покоренным, презрядно изъяснил».

С этой точки зрения Татищев смотрит и на всю русскую историю; надобно заметить, что как в этом отношении, так и во всех почти других Татищев более чем кто-либо другой из его современников был питомцем Петра Великого, с которым он вполне разделял эту жажду государственного порядка, строгой подчиненности. В сочинениях Татищева видно везде это благоговение пред государством, которому, по мысли Петра, все должноствовало быть принесено в жертву, без пощады преследует он в истории всякое уклонение от общих государственных интересов в пользу интересов частных; у Татищева есть любимое слово для означения таких уклонений — *беспутство*: беспутна в его глазах древняя жизнь Новгородская, беспутны княжеские междуусобия и т. д. Что же касается до сочувствия к Петру и его делу, то Татищев сильно выражает его в следующих словах: «Все, что имею — чины, честь, имение и, главное, над всем разум, единственно все по милости

Его Величества имею; ибо есть ли бы он в чужие край меня не послал, к делам знатным не употреблял, а милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить».

В остальных четырех главах первого тома Татищев говорит о Русском гербе, о родословии государей русских, о иерархии, причем, также согласно с господствующими понятиями и направлениями века, сильно вооружается против папской власти и, между прочим, упоминает о Спасском училище при Годунове; в последней, сорок девятой главе говорит о чинах и суевериях древних.

Таково содержание первой книги; остальные заключают свод летописных известий, снабженный примечаниями составителя; в этих примечаниях виден тот же здравый смысл и догадливость, которые обнаруживаются и в приготовительном труде; встречаем также любопытные известия о событиях и памятниках, по другим источникам неизвестных; приведем важнейшие из этих примечаний. В рассказе летописца о разделении сынов Ноевых Татищев видит заимствование из греческого писателя⁴⁵; под влахами, вытеснившими славян, разумеет римлян, победивших при Траяне даков⁴⁶; указаны хронологические затруднения в жизни в. к. Игоря⁴⁷, также в Олеговом договоре с греками⁴⁸, о котором произнесен верный приговор: «По обстоятельствам тогдашних времен сомнительства о договоре сем невидимо, сие же видимо, что с Греческого переведен на Славенской, или паче на Болгарской тогдашней язык, и во всех списках кроме описок согласен». Опровергнуто известие о сватовстве императора Греческого за в. к. Ольгу⁴⁹; верно замечено о различии законных и незаконных детей в языческом и христианском браке⁵⁰; сообщено любопытное известие о Ярославовой грамоте, данной новгородцам: «О грамоте же уставной о податях, в которой Новгородцы скажут, о вольности их написано, видим, что великие о ней споры были, и Князь Великий Иоанн Васильевич оную, яко подложную, облича истребил, но удивительно, что с нея списка нигде не находится»⁵¹.

В примечании к известию о приглашении в. князем Святополком и Мономахом Олега Черниговского в Киев для полюбовного разбора дел в присутствии духовных властей и бояр Татищев сообщает также любопытное известие относительно Никоновского дела: «Сие сказание Никон Патриарх неправильно ко утверждению власти духовной над Государи употребил, что ему тогда же довольно вообразено, еже сие тогдашнее наречение *пред Епископы*

⁴⁵ [Татищев В. Н.], т. II, стр. 349.

⁴⁶ Стр. 351

⁴⁷ Стр. 365

⁴⁸ Стр. 377.

⁴⁹ Стр. 391

⁵⁰ Стр. 394.

⁵¹ Стр. 424.

не значит, яко судиями, но при Епископах и боярах, как Олег и то за обиду почел, чтоб они при том присутствовали, хотя его ответ неправой; ибо такие дела наилучше чрез поверенных, нежели самим Государям, разбирать, но то ясно, что они не яко судии, но яко поверенные к разобранию беспристрастному спор определены быть имели, а не судии над Государии»⁵².

В примечании к известию о примирении в князя Ярополка и братьев его с племянниками Мстиславичами, после чего Юрий Долгорукий возвратился в *Белую Русь*, Татищев говорит⁵³: «Белая Русь в сем месте первое в раскольничьем и ростовском манускриптах упомянута»; Татищева поражала странность этого названия для Северной Руси, и потому он почел за нужное указать, в каких списках впервые находится это название: за такую осторожность его обвинили в выдумке, как будто ему была какая польза называть Северную Русь Белою.

Не оставляя без объяснения почти ни одного явления древней русской жизни, Татищев так говорит о посадниках и тысяцких⁵⁴: «Посадники сначала были от князей, которые потом наместники, ныне губернаторы именованы, с начала же и наместники князи были и для того над посадниками преимуществовали. Новгородцы по милости князей посадника себе сами из своих сущих граждан, или знатнейшего шляхетства, выбрали, которой у них во всем княжении главный был, подобен консулу или бургомистру Римскому, первое место по князе имел; *какая же ему власть и сила была, того нигде в историях не описано*. Во время войны бывали два посадника, и старший войском управлял, иногда же оба, но в разные места с войском ходили. Их время неопределенное; некоторые чрез много лет до смерти управляли, и иногда их народом скидывали и убивали, дома их грабили. Тысяцкой же во всяком княжении был один, яко генерал над войском. Они обыкновенный знак гривну золотую и цепь на шею носили». Здесь заметим выражение: *«какая же ему власть и сила была, того нигде в историях не описано»*; так не стал бы выражаться охотник до выдумок, особенно при таком удобном для них случае. Также объяснено звание тиуна *судьею* по юридическим памятникам⁵⁵; слово «боярин» объяснено из финского языка — *умная голова* или *умный человек*⁵⁶.

Как внимательно Татищев сводил известия разных рукописей и добросовестно уведомлял читателей о различиях, видно из примечания к известию о борьбе Ольговичей с Мономаховичами при в. князе Всеволоде Ольговиче. «Здесь, — говорит Татищев, — я положил Печенеги из Радивиловского и Раскольнического, в Нико-

⁵² т. II, стр. 445.

⁵³ Стр. 468.

⁵⁴ Стр. 468.

⁵⁵ Кн. III, стр. 489.

⁵⁶ Кн. III, *ibid.*

новском Черные Клобуцы, в Голицынском Торки, в Новгородском одном Берендеи»⁵⁷. Такая же осторожность и добросовестность видны в примечании к известию о походе смоленских князей на полоцких: «Сей поход на князей Полоцких находится в одном Голицынском; но тут конец утрачен, и на стороне того же писца рукою отмечено: *здесь утрачено*»⁵⁸. Под 1197 годом замечено, что этим годом кончился манускрипт Раскольничий, которого конец утрачен⁵⁹. После известия о предложении князя Романа Волынского замечено, что этого предложения ни в одной рукописи, бывшей в руках у Татищева, не находится, а сообщено Хрущовым, который выписал его из древнего летописца в Новгороде, и только древний слог отрывка заставил Татищева внести его в свод⁶⁰.

Таков труд Татищева, известный под неправильным названием «Истории Российской». Из предложенного обзора видно его значение в нашей исторической литературе. Заслуга Татищева состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России,— одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русскою историею. Кто посвятил себя научным исследованиям, тот знает, как важны первые указания на предмет, на его различные стороны, как бы мнения первого указателя ни были неправильны, тот оценит великие услуги Татищева, как первого указателя; не говорю уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописи, которые, быть может, навсегда для нас потеряны; важность же этих известий для науки становится день ото дня ощутительнее.

Несмотря, однако, на такое важное значение труда Татищева, труд этот был отвергнут современниками и подвергся такой скорбной участи, какой, быть может, мы не найдем еще другого примера в летописях науки. Что труд Татищева был отвергнут современниками, это объясняется самою важностию его, которой тогдашнее общество не могло еще понять. Татищев необходимо должен был очутиться между двух огней: одни из современников его, имевшие понятие о древних и новых исторических трудах, нашли труд Татищева странным по форме; видя в тексте свода одну летописную перечень событий, отсутствие красивого рассказа, рассуждений и выводов самого автора, заключили, что последний *не имеет фило-*

⁵⁷ Кн. II, стр. 472.

⁵⁸ Кн. III, стр. 489.

⁵⁹ Стр. 504.

⁶⁰ Стр. 505.

шенно иначе: для некоторых объяснять летопись или, что еще хуже, опровергать казалось дерзостью необычайною; послушаем самого Татищева о приеме, который получила его рукопись:

«Как скоро я историю сию в порядок привел и примечаниями некоторые места изъяснил, прибыв в 1739 году в С.-Петербург, многим оную показывал, требуя к тому помощи и рассуждения, дабы мог что пополнить, а невнятное изъяснить, так скоро я принужден был от разных разные рассуждения слышать, иному то, другому другое ненравно было, что один хотел, дабы пространнее и яснее написать, то самое другой советовал сократить или совсем оставить... Одни подвергали недостаток во мне наук, но тем я вышеобъявленное (что преславные философы в сочинении историй погрешают и не науки полезные сочиняют) к моему извинению представил, рассуждая, когда они более науками преисполнены, тоб сами за сие весьма нужное отечеству взялись и лучше сочинили; другие о порядке и складе порицали, которым кратко сим изъяснил: что я не новое и не для увеселения читающих красноречивое сложение сочиняю, но от старых писателей самым их порядком и наречием собирал, как они положили, а притом если что для изъяснения от иноязычных нужно было, то я так переводил, чтобы сущей разум одного писателя показать, дабы сущие деяния или приключения ясны и доказательны были, а о сладкоречии и критике не прилежал, а как в философии не учен, для того я все дивные чудесные и недовольно вероятные дела мало или весьма не толковал, опасаясь, дабы за недостатком оных наук в чем не погрешить. Вместо же того прилежал, чтоб необходимо к гражданской истории нужные обстоятельства, то есть время — когда, место — где и род государей, или народов, о которых скажется, изъяснил; ежели же где моего мнения или довода какая погрешность явится, то надеюсь, что благоразумный может легко презреть, рассуждая, что еще доднесь ни одна история, каким бы она мудрецом и в науках всех прославившимся сочинена ни была, никогда совсем совершенною не явилась и от неученых иногда полезное улучила. Чему в пример Нестор преподобный: за его доброхотный к отечеству труд вечной похвалы и благодарения достоин; ибо естли бы он начало не учинил, то бы, может, и другой не скоро к сочинению одного взялся. Для того как первых, так других не поносят и порицать непристойно, но паче прилежать о том, чтоб те погрешности исправить и в лучшее состояние для пользы общей привести. Сих ради обстоятельств я меньше опасаясь, чтоб кто имел причину меня порицать, но паче надеюсь, естли кто из таких в науках превосходный, к пользе отечества столько же, как я, ревности имеющий, усмотря мои недостатки, сам потщится погрешности исправить, темноты изъяснить, а недостатки дополнить и в лучшее состояние привести, тот себе большее благодарение, нежели я требую, приобрести имеет. О предвержении рассуждающих, якобы

мы древних историй довольно имеем, переправлять оные нет нужды, другие рассуждают, якобы древних времен историй вновь лучше и полнее прежних сочинить не можно, разве от себя что вымышлять, которого ради якобы все новосочиненное о древности правым назвать не можно: но на сие отвечает сама сия собранная история, когда благосклонный читатель увидит дополнения, изъяснения и доказательства от таких древних писателей, о которых он прежде не думал, чтоб в таком от нас отдалении о нас или наших предках писали, да может не токмо книг тех не читал, но имен их не слышал, то он подлинно поверит, что еще прилежному рачителю и в других потребных к тому языках искусному более сего обрести, изъяснить и дополнить возможно, следовательно, сей мой труд, и, познав причину моего начала, в продерзость мне не поставит».

Все возражения остались тщетными: Татищев не видал издания своего труда; только в 1769 году при императрице Екатерине II было приступлено к изданию его истории; явление любопытное, многозначительное для историка: только при Екатерине II вспомнили о труде одного из ревностных сподвижников Петра Великого; книге Татищева прилична та же надпись, которую читаем на известной скале: «Петру I Екатерина II». Издание было поручено Миллеру: он напечатал три книги по списку, наполненному не исправностями, потому что подлинник сгорел немного спустя по смерти Татищева; четвертую книгу Миллер не согласился издавать, потому что нашел ее более других искаженною; она была издана уже в С.-Петербурге в 1784 г.⁶¹ и оканчивалась 1462 годом; догадывались, что по расположению Татищева недоставало еще одной книги; она нашлась и была напечатана Московским историческим обществом в издаваемых от него «Чтениях». Остаются неизданными любопытные записки о царствовании Годунова, Лжедмитрия, царей Михаила и Алексея Михайловича, хранящиеся в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел.

Но злая судьба не переставала преследовать труд Татищева: мало было того, что современники отвергли его при первом появлении; мало было того, что его напечатали по смерти автора с искаженного списка и печатание было поручено человеку, не способному не только исправить искажения, но даже уразуметь настоящий смысл сочинения, чему лучшим доказательством служит непонятый смысл предисловия к «Ядру Российской истории»; труду Татищева предстояло еще вытерпеть ученые нападки, быть отвергнутою наукою, прежде чем явиться с настоящим своим важным значением для последней. Тщетно лучший представитель русской науки во вторую половину XVIII века, талантливый Болтин, повторял, что писатели русской истории должны подражать *достопамят-*

⁶¹ Первая часть первой книги издана при Московском университете в 1768 году, другая в 1769; вторая книга в 1773, а третья в 1774.

ному нашему Татищеву в приуготовительных приемах; тщетно твердил, что «Татищев не из головы своей писал, ибо не примечено, чтоб он единое слово, не только речь или целое бытие, от себя к тексту повествования где прибавил, но токмо исправлял погрешности и пополнял упущения из других летописей; свои же мнения и рассуждения писал в примечаниях, а потому и повествование его достойно есть совершенной доверенности», — юная историческая критика хотела на труде Татищева испытать свои неопытные силы, и вот объявлено *выдумкою* Татищева все то, что не согласовалось с известиями дошедших до нас списков летописи. Явилась так называемая *скептическая школа*: заподозривая Нестора, скептики должны были заподозрить также Иоакима, за которого поплатился Татищев: с непостижимою в наше время невнимательностью пробежав опровергаемый памятник, глумились над Иоахимом, глумились и над Татищевым, ставили его наряду с Елагиним, Эминим!

Но это было уже последнее испытание; защитники Нестора вооружились и за Татищева⁶², а между тем наука возмужала; отдельные исследования показали важность известий, помещенных в свод Татищева, и наступило время отдать должное знаменитому труженику.

Но, говоря о заслугах Татищева для русской истории вообще, нельзя не упомянуть также о заслугах его для истории русского права; и здесь он является первым издателем памятников и первым истолкователем их; так, приготовлены им к изданию Русская Правда и Судебник Царя Иоанна с дополнительными статьями⁶³. В примечаниях к Судебнику видим первую попытку объяснить наши древние юридические термины; нам не нужно распространяться о важном значении первых попыток в науке; и здесь, как во введении и в примечаниях к своду летописей, рассеяны любопытные указания на потерянные для нас памятники и на современные автору события; так, например, читаем о местных законах⁶⁴: «Как Князь Великий Василий Темный Ростовским боярам велел судить по их старым законам, так Иоанн Великий, по просьбе Рязанских бояр, позволил судить по их законам. Таковых я у князя Голицына (Дм. Мих.) видел собрано книга не малая».

И здесь заслуга Татищева увеличивается при сравнении его понятий с понятиями современников о предпринятых их трудах; так, он говорит в предисловии к изданию Русской Правды и Судебника: «Не безызвестно и сие, что неведущие пользы из того, оные древности не токмо складом и наречием порицают; но их и печатать

⁶² Самый правильный взгляд на труды Татищева находим у г. Буткова в «Обороне Несторовой летописи» // [Бутков П. Г.] Оборона летописи русской, Несторовой, от навета скептиков. СПб., 1840.

⁶³ Напечатаны в Продолжении Древ. Росс. Вивлиоф., ч. I // Продолжение Древней Российской Вивлиофики/Изд. Академии наук, ч. I. СПб., 1786

⁶⁴ Ibid, стр 6

более за вред и поношение, нежели за пользу и честь почитают, говоря: когда мы их в суде употреблять не можем, то они останутся втуне, и что их странное сложение и обстоятельства поносны. Да оное никто мудрый не скажет, разве не ведущий древностей, не токмо иностранных, но и своих. По сей причине мною не в избыток изъяснить, что всякая древность к знанию полезна, для которого многие мудрые люди с великим тщанием прилежат древние истории собирать и для пользы всех издавать». Наконец, Татищеву же принадлежат и первые труды по русской географии⁶⁵.

Такова громадная деятельность Татищева, которому наряду с Ломоносовым принадлежит самое почетное место в истории русской науки в эпоху начальных трудов.

III. М. В. ЛОМОНОСОВ

При рассмотрении деятельности Татищева мы видели, как в эпоху начальных трудов не могло быть разделения ученых занятий, но всякий способный человек должен был заниматься вдруг многими предметами, ибо дел было больше, чем способных людей; мы видели, как горный чиновник Татищев от трудов географических должен был перейти к трудам историческим. Та же участь постигла и Ломоносова: величайший из писателей века не мог не коснуться великого дела — *открыть свету древность Российского народа и славные дела Государей*, хотя он нисколько не был приготовлен к занятию русскою историею, хотя и для него, как для всех его современников, история отечества была доступна менее всех других знаний. Мы видели, что Татищев умел понять свои силы и средства и ограничился сводом летописных известий, примечаниями к ним и предварительными исследованиями о древностях. Татищев мог так поступить, потому что он занимался русскою историею не официально, а как охотник только; но от Ломоносова были другие требования: хотели, чтобы он в красноречивом повествовании представил события древней русской истории. Сам Ломоносов так понимал свою задачу, то есть смотрел на историю с чисто литературной точки зрения, и, таким образом, явился у нас отцом того литературного направления, которое после так долго господствовало. Легко себе представить, каково должно было выйти произведение Ломоносова при отсутствии целостного изучения и, следовательно, ясного понимания предмета, при отсутствии живых вопросов, которые бы заставили историка обратить особенное внимание на известные отношения, при истекавшем от того неумении схватывать особенности в истории известного народа, при стремлении перевести летопись на язык похвального академического слова.

⁶⁵ См. Словарь Русских светских писателей, т. II, стр. 190 и след.

Могучий талант Ломоносова оказался недостаточным при занятии русскою историею, не помог ему возвыситься над современными понятиями, и потому исторический труд его разделяется по достоинству на две половины: в первой части, в исследованиях о древностях, где нужно было только разобрать известия писателей и вывести из них заключение, там иногда блещит во всей силе великий талант Ломоносова и он выводит заключения, которые наука после долгих трудов повторяет почти слово в слово в наше время. Здесь Ломоносов стоит так высоко потому, что этот предмет был ему вполне доступен, после тщательного изучения он мог овладеть им в полном, по тогдашнему состоянию науки, объеме; вторая же часть, где Ломоносов приступает к изложению событий, представляет не иное что, как сухой, безжизненный риторический перифразис летописи, подвергающейся иногда сильным искажениям, и легко понять, почему вторая часть так ниже первой. Автору не доставало ни времени, ни средств изучить вполне русскую историю; он начал учиться, когда нужно было писать, и начал учиться предмету, совершенно для него новому, не имевшему связи с прежними его занятиями; исторические занятия были, как видно, чужды Ломоносову вообще, а уже тем более занятия русскою историею, которая по необработанности своей очень мало могла входить в число приговорительных познаний тогдашнего Русского человека; вот почему события древней нашей истории должны были представляться ему отвлеченно, как события всякой другой истории. Рассматривая их в этой отвлеченности и отрывочности, Ломоносов искал в них только предметов для украшенного описания.

Чтобы показать понятия самого Ломоносова о своей задаче, мы приведем письма его к Шувалову о сочинении Русской истории. В одном письме к Шувалову, который, как видно, торопил его писать Русскую историю, Ломоносов отвечал: «Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтоб оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать; однако оно само собою такого есть свойства, что требует времени. Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможною способностью древность Российского народа и славные дела наших Государей свету откроются, то весьма чувствую. И, читая от Вашего Превосходительства ко мне писанные похвалы, которые мое достоинство далеко превосходят, благодарю от всего сердца; и, радуясь, по предприятию моему намерению со всякою ревностию в собрании нужных известий стараюсь, без которых отнюдь ничего в истории предпринять невозможно. Могу Вас, Милостивого Государя, уверить в том заподлинно, что перьвой том в нынешнем году с Божиею помощию совершить уповаю. Что ж до других моих в физике и химии упражнений касается, чтобы их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды, ни же возможности. Всяк человек требует себе от трудов упокоения: для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домаш-

ними препровождения времени, картами, пашками и другими забавами, а иные и табачным дымом; от чего я уже давно отказался, за тем что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне на успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение Российской истории и на украшение Российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтоб их вместо бильяру употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменю материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют; и сверх сего пользу и честь отечеству, конечно, принести могут, едва меньше ли первой».

Из другого письма мы видим, сколькими занятиями был обременен Ломоносов и, следовательно, чего можно было требовать от занятий его русскою историею: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества и должен еще на срок поставить, от того я ничего больше требовать не имею и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы только что путное родилось».

Как приготовлялся Ломоносов к сочинению Русской истории, видно из рапорта его о своих занятиях: под 1751 годом находим: «Читал книги для собрания материй к сочинению Российской Истории: Нестора, за ним Приславли (?), большой летописец Татищева первый том, Кромера, Нейсея, Гелмолда, Арсолда и другие, из которых брал нужные эксцепты или выписки и примечания, всех числом 653 статьи, на 15 листах». Под 1752 годом: «Читал Кранца, Претория, Муратория, Иорнанда, Прокопия, Павла Дьякона, Зонара, Феофана исповедника, Леона грамматика и иных эксцептов нужных на 3 листах в 161 статье». Под 1753-м: «1) Записки из упомянутых прежде авторов приводил под статьи числами; 2) Читал Российские академические летописцы, без записок, чтобы общее понятие иметь пространно о деяниях Российских».

Во вступлении к своему историческому труду⁶⁶ Ломоносов излагает свои понятия об истории; как выше было сказано, он смотрит на нее только со стороны искусства: «Всяк, кто увидит в Российских преданиях равные дела и героев, Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывшей наш недостаток в искусстве, каковым Греческие и Латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Не имея возможности изучить вполне

⁶⁶ Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским советником, профессором химии и членом Санкт-Петербургской императорской и Королевской Шведской Академий наук. СПб., 1766 (Примеч. ред.).

русскую историю, Ломоносов, разумеется, не мог уяснить себе ее хода, характера главных явлений, определяющих эпохи; вот почему он не мог представить никакой системы и удовольствовался, как выражается сам, «некоторым общим подобием в порядке деяний Российских с Римскими, где находит владение первых королей соответствующее числом лет и Государей самодержавству первых самовластных Великих Князей Российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство Кесарей представляет согласным самодержавству Государей Московских».

После такой странной системы читатель поражается блистательным по тогдашним средствам науки решением некоторых частных приготовительных вопросов; так, например, о сарматах и скифах читаем: «Славяне и Чудь по нашим, Сарматы и Скифы по внешним писателям, были древние обитатели в России. Единородство Славян с Сарматами, Чуди со Скифами для многих ясных доказательств неоспоримы». Это мнение сильно поддерживается еще теперь учеными. Потом встречаем превосходное замечание о составе народов: «Сих народов, положивших по разной мере участие свое в составлении Россиян, должно приобрести обстоятельное по возможности знание, дабы уведать оных древность и сколько много их дела до наших предков и до нас касаются. Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в уничижение. Ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он сначала стоял сам собою, без всякого примешения. Большую часть оных видим военными беспокойствами, преселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество».

Несмотря на то, увлеченный современными отношениями, Ломоносов не хочет признать скандинавского происхождения варягов-руси, выводит Рюрика из Пруссии и делает пруссаков славянами. Ломоносов заметил дружинный состав народов, являющихся в начале средних веков. «К доказательному умножению Славянского могущества не мало служат походы от Севера Готов, Вандавов и Лонгобардов. Ибо хотя их по справедливости от Словенских поколений отделяю, однако имею довольные причины утверждать, что не малую часть воинств их Славяне составляли, и не токмо рядовые, но и главные предводители были Словенской породы». В главе «О дальней древности Славенского народа» Ломоносов повторил мнение Татищева, которое в наше время выражено почти в тех же самых словах и подтверждено Шафариком:

«Имя Славянское поздно достигло слуха внешних писателей и едва прежде царства Юстиниана Великого, однако же сам народ и язык простирается в глубокую древность. Народы от имен не начинаются; но имена народам даются. Иные от самих себя и от соседев

единым называются. Иные разумеются у других под званием, самому народу необыкновенным или еще и неизвестным. Нередко новым проименованием старинное помрачается или старинное, перешед домашние пределы, за новое почитается у чужестранных. Почему имя Словенское, по вероятности, много давнее у самих народов употреблялось, нежели в Грецию или в Рим достигло и вошло в обычай. Но прежде докажем древность; потом поищем в ней имени. Во-первых, о древности довольно и почти очевидное уверение имеем в величестве и могуществе Славянского племени, которое больше полуторых тысяч лет стоит почти на одной мере; и для того помыслить невозможно, чтобы оно в первом после Христа столетии вдруг расплодилось до толь великого многочисленства, что естественному бытию человеческого течению и примерам возвращения великих народов противно... Правда, что Славяне, от полунощной страны перешед за Дунай, в Далмации и в Иллирике поселились в начале шестого века. Но следует ли из того, чтобы они или их единоплеменные там прежде никогда не обитали? Не могло ли быть, чтобы Римскую силою утесненные, Иллирические Славяне во время войны уклонились за Дунай к полунощным странам; потом, приметив Римлян ослабление, старались возвратиться на прежние свои жилища? Имеем сего явственные у себя следы. Нестор утверждает, что в Иллирике, когда учил Апостол Павел, жительствовавали Славяне и что обитавшие около Дуная, убегая насильного владения нашедших и поселившихся меж ними Римлян, перешли к северу. Уже свидетельств довольно; но, сверх того, Плиний объявляет, что ему названия Иллирических народов выговаривать трудно. Ясное доказательство, что ни от Греческого, ни от Латинского языка взяты, в кои он, без сомнения, был искусен. Города многие издревле показывают Славенской голос, с делом согласной, и возводят вероятность на высочайший степень. Признаки древнего имени Славянского явствуют, во-первых, у Птолемея под названием Ставан. Свойство Греческого и Латинского языка не позволяет, чтобы они выговорить могли Славян имя, ради того прежде Ставанами, после Склаванами и Сфлаванами называли. Амазоны, или Алазоны, Славенской народ, по Гречески значит Самохвалов; видно, что сие имя есть перевод Славян, то есть Славящихся, с Славянского на Греческий». О слове «скиф» Ломоносов делает замечание, которое и теперь не потеряло еще силы между учеными: «Имя Скиф по старому Греческому произношению со словом Чудь весьма согласно; не происходит от Греческого и, без сомнения, от Славян взято».

После таких любопытных и правильных замечаний тем резче чувствуется переход собственно к повествованию о событиях русской истории, тем сильнее подтверждается правило самого Ломоносова, что насильственные поступки с Музами не остаются безнаказанны. Чтобы показать характер и все недостатки повествования Ломоносова, мы приведем описание мести Ольгиной за Игоря: «По

убиении Игореве приняла владение Великая Княгиня Ольга, ради несовершеннолетнего возраста единого сына своего Святослава. Древлянам показалось вдовство ее и младость Святославля по их силам, чтоб не токмо от подданства освободиться, но и князя своего возвести на владение Киевское, сочетав его с Ольгой браком, и тем взять большинство над Россами и Полянами. Отправленные для того в Киев двадцать человек знатных приехали водою и пристали под Боровичем Ольга, услышав о приезде, *возмутилась печалию, видя наглость убийцев своего супруга. Слезам и плачу ее соответствовал весь народ рыданием и воплем*⁶⁷. По некотором утолении великой печали предприняла Великая Княгиня в сердце своем отмстить Древлянам смерть супружню всевозможными способами». Потом, описав, как Ольга велела бросить послов древлянских в яму, Ломоносов продолжает: «И, приближаясь, спросила: «Довольно ль приятна им оказанная на сватовстве почеть?» Древляне с раскаянием и страхом в яме кричали, что Игореву смерть не принесла им пользы и что за их злодеяние преданы достойной казни». Это вместо летописного: «Приникши Ольга и рече им: «Добра ли вы честь?» Они же реша: «Пущи ны Игоревы смерти»».

Как понимал Ломоносов историческую критику, видно из того, что он рассказывает о мести Ольгиной безо всякой оговорки, но останавливается с недоумением на некоторых подробностях: «Немедленно отправляются нарочные в Древлянскую землю, чтоб для совершения сватовства присланы были от Древлян знатные люди, кои бы приняли и привели Ольгу к своему князю с должною честью, и чтоб ее Киевляне удобнее отпустили. Древляне, не видев от своих прежде посланных для уверения ни единого человека, *о сельская простота!* поверили. Пятьдесят правителей земли Древлянской без укушения приехали в Киев. Спросили ль о своих прежних посланцах? Ничего о том не упоминается. Здесь что-нибудь Нестором упущено; без того невероятно больше кажется Древлянская оплошность». Вот описание приема, сделанного древлянами Ольге, и тризны по Игорю: «Древляне, в праздничном платье цветно надевшись, выезжают из города на встречу и принимают ее, Ольгу, с великою честью. На вопрос о первых и вторых посланных ответствовано, что следуют с тяжкими возами великого богатства княгинина, которое она уже больше Древлянам вверяет... Веселящимся и даже де отягощения упившимся Древлянам казалось, что уже в Киеве погреваются всем странам Российским; и в буйстве поносили Игоря перед супругою его всякими хульными словами». Все это вместо летописного: «Они же (древляне) то слышавше (то есть что Ольга идет к ним), свезоша меды многи зело, взвариша... Посем седоша Древляне пити, и повеле Ольга отрокам своим служити пред ними;

⁶⁷ Напечатанных курсивом слов нет в летописи

реша Деревляне к Ольге: где суть дружина наша, их же послахом по тя? Она же рече: идуть по мне с дружиною мужа моего».

Так по понятиям первого ученого своего времени удовлетворялась народная потребность знать свою историю

IV. В. К. ТРЕДЬЯКОВСКИЙ

Профессор химии Ломоносов должен был писать Русскую историю, чтобы открыть свету древность Российского народа и славные дела государей; профессор элоквенции Тредьяковский должен был также писать рассуждения в пользу древности и превосходства русского имени и народа⁶⁸. Вопрос о происхождении русского имени и народа был господствующим в первой и в начале второй половины XVIII века; естественно было начать исторические исследования сначала, и Петр Великий сносился с Лейбницем насчет разрешения этого вопроса; но господству его у нас в России в означенное время и после благоприятствовали другие обстоятельства. Начальная летопись наша указывает пришлецов из-за моря, положивших основание Русскому государству; отсюда вопрос о происхождении этих пришлецов, едино- или чужеземники они главному, славянскому народонаселению государства? Признать чуждое происхождение этих главных деятелей нашей начальной истории было оскорбительно для народного самолюбия; сюда присоединились еще два обстоятельства: признав, по известным указаниям летописи, чуждое происхождение варягов-руси, нужно было согласиться, что они принадлежат к скандинавам; но в это время со Швециею только что окончилась ожесточенная борьба, да и после ее окончания шведы считались главными и самыми опасными врагами, готовыми воспользоваться первым удобным случаем, чтобы отнять у России недавнюю ее добычу, и вот надобно выводить из Швеции первых наших князей!

Но этого мало: вследствие тесного сближения с Западною Европою иностранцы, то есть ближайшие соседи наши — немцы, принимают деятельное участие в настоящих событиях: в академию для обработки между прочими науками и русской истории призваны также немцы; они овладевают вопросом о происхождении, как самым доступным для них из всех вопросов нашей истории, и решают его в пользу скандинавского происхождения. Но между немцами и русскими в академии загорается борьба, и вопрос о происхождении варягов-руси вмешан в нее: русские ученые видят или хотят видеть в объявлении варягов-руси скандинавами посягательство на честь

⁶⁸ Эти рассуждения суть 1) О первенстве Словенского языка пред Тевтоническим, 2) О первоначалии Россов, 3) О Варягах Руссах Славянского звания, рода и языка

русского имени и стремятся дать силу мнению противоположному, настоять на славянском происхождении первых наших князей. Тредьяковский откровенно высказывает нам главную причину спора, которую последователи его прикрывают именем науки:

«Хотя нет ни одного, мню, в истинных Россианах, собственно так называемых ныне, который бы не всем желал сердцем, чтоб презнаменитым Варягам Руссам, прибывшим к нам государствовать в нас и бывшим достославными предками великоименитых Самодержцев наших, быть точно сими нынешними и всегдашними Россианами, произойти издревле от сего, конечно, Российского корене и говорить с самого начала сим одним нашим языком Славенороссийским: однако утверждения иностранных и еще не бесславных писателей оных не токмо делают наши желания тщетными, но еще и всех нам путей едва не пресекают, чтоб мощи сердца нашим хотя только того желать уже с основанием. Сие коль есть ни превосходное и твердое предрассуждение о достоинстве первоначальных наших Государей, для того что писатели как на перерыв друг перед другом присвояют их к разным славным и храбрым народам, однакож нам несколько предосудительное, как отъемлющее у нас собственно наше и дражайшее добро и чрез то лишаящее нас природной нашей славы. Когда ж инославный писатели изобрели за должное, по единому самолюбию токмо, как мнится, повествовать о высокославных Варягах и, вводя своих читателей по степеням вероятности, потщались удостоверять их, что будто сии Варяги нам чужеродны и от нас разноразличны, то мы не ободрились ль изобрести за должнейшее, имея в том преискреннейшее участие, чтоб нам, утверждающимся на самой, поскольку возможно, достоверности, описать наших началобитных Самодержцев как единопознанными, так и тождеродными с нами? Возможно ль, говоря откровенно, и достолепно ль пребыть своим бездейственным при чужих пререкающем усильствии, да и не стремиться к исторжению отъемлемого у нас не по праву? Высота, светлость и превосходство первенствовавших верховно у нас Великих Князей к тому нас обязывают: а честь цветущего всегда и ныне Российского народа, не умолкая, возбуждает. Должно, должно было давно уже нам препоясаться силами, не токмо к воспрепятствованию не весьма удостояющихся рассуждению сего заключений, но и к утверждению, и как будто ко вкореняемому насаждению светозарной истины и непоколебимой правды».

Кто же такие были варяги-русь, по Тредьяковскому? Варяги суть *предворители* — *aborигены*; Русь — ружане Померанские. Таким образом, впервые было научно высказано знаменитое мнение о Рюгенском отчестве Рюрика, которого так сильно держатся сборники славянского происхождения варягов-руси, хотя при этом стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова. Каким же путем шел Тредьяковский к своим выводам? Путем, об-

щим всем исследователям того времени, путем внешних филологических сближений; послушаем его рассуждения: «Един был с самого начала у Иафетфских племен Скитфский с Целтическим языком, то есть един был издревле, но, по смешении. Словенский. Доказывают сие самые первые имена Скитфов и Целтов. Что же знаменует Скитф? Скитф есть Скит; и, следовательно, Скитфы суть Скиты от скитания, то есть от свободного прохождения с места на место: а слова *скитание* и *скитаться* суть точные Словенские».

Кельты, по Тредьяковскому, суть Желты, то есть светло-русые; Гелон — Челон, то есть челюстый; Агатирс есть Окодырж, то есть Окодержь — от надсмотра или надзора. Геродотово известие о происхождении Скифов истолковано следующим образом: «От Таргитая, чрез преложение писмен Дрогида, Скитфского вождя, как дающего станицам своим дороги или как водящего их по дорогам, родились три сына, именно же: Липоксаис, Арпоксаис и Колаксаис. Первый есть Лепоша от лепоты; второй Ярпеша от ярого, или скорого, пешеходства; третий Колаша от колесницы». Сарматы тоже скифы и говорили по-славянски; их имя происходит от За-раматы, или Царьметы; Амазоны суть Омужены, то есть жены мужественные; Испания от Выспания (Выспа — остров); Лузитания — Лишедения от лишения дня, как страна, самая последняя на западе; Британия — Бородания от бород или Братания от братства; Каледония — Хладония от холода и пр. и пр.

Мы привыкли смеяться над таким словопроизводством наравне с другими странностями творца Телемахиды; но должно припомнить, что эта странность была общая тогда у исследователей: академик Байер, имя которого с благоговением произносится особенно поборниками норманнского происхождения варягов, Байер был подвержен той же странности, и Тредьяковский сражался с ним одинаким оружием: Байер производит Москву от Москового, то есть мужеского, монастыря; Псков от псов, город псовый; если Тредьяковский впал в крайность, производя все от славянского языка, то подобную же крайность замечаем и у Байера, который в имени Святослав непременно хочет видеть скандинавский корень *свен*, во Владимире — Валдемера, в Всеволоде — Визавалидура. Для нас Тредьяковский имеет значение именно как противник Байера и Миллера, как основатель учения, которое с немногими изменениями продолжается до сих пор: если мы сравним исследования Тредьяковского с исследованиями современных нам поборников славянского происхождения варягов, то увидим, что у них и метод одинакий, и выводы те же.

V. КНЯЗЬ М. М. ЩЕРБАТОВ

При Екатерине II Россия отдохнула после долгих и тяжких трудов; новый путь, столь трудный прежде, был установлен и уравнен искусною правительственною рукою; блестящие успехи во внешних делах, материальное могущество оправдали дело Петрово. Подобные эпохи в жизни народов бывают всегда благоприятны для развития литературы, и царствование Екатерины II не было в этом отношении исключением. Но при усиленной литературной деятельности отечественная история не могла остаться в забвении: самый блеск настоящего уже придавал значение прошедшему, великий народ должен быть велик всегда, от самой колыбели своей. Руководимые примером свыше, от престола, русские близко познакомились с образцовыми произведениями литератур иностранных, древних и новых, и захотели испытать свои силы в подражании иностранным образцам во всех родах; разумеется, что и история не могла быть забыта: если были русские Расины, русские Буало, русские Пиндары, русские Лафонтены, то должны были быть русские Юмы; если при Елисавете чувствовали потребность открыть свету древность российской истории народа и славные дела государей, то тем более должна была чувствоваться эта потребность при Екатерине. И вот явилась «История Российская от древнейших времен, сочинена князь Михайлом Щербатовым». Чего ж мы должны ожидать от этого труда?

Мы видели характер Истории Ломоносова; видели, что главный недостаток ее состоял во внешности взгляда, в отсутствии целостного изучения и потому ясного понимания предмета, в стремлении перевести летопись на язык похвального слова, в преобладании риторического элемента над научным, историческим; причины этих недостатков мы нашли в неприготовленности Ломоносова к историческим занятиям вообще и к занятиям русскою историею в особенности. От Ломоносова до Щербатова прошло не много времени; взгляд на науку не мог перемениться, ближайшего знакомства с русскою историею не могло быть сделано, и Щербатов вовсе не был из числа тех людей, которые бы одними своими трудами могли заменить труды многих; не покажется ли всякому смешною дерзостью, если бы кто вздумал хотя на сколько-нибудь приблизить Щербатова к Ломоносову относительно талантов? И, несмотря на то, История Щербатова принадлежит почетное место в нашей исторической литературе.

Князь Щербатов был человек умный, трудолюбивый, добросовестный, начитанный, был хорошо знаком с литературою других народов, с их историческою литературою; он не изучил всецело русской истории: везде видно, что он стал изучать ее, когда начал писать; он не уяснил для себя ее хода, ее особенностей; он понимает ее только с доступной ему, общечеловеческой стороны, рассмат-

вает каждое явление совершенно отрешенно, ограничивается одною внешнею логическою и нравственною оценкою, вероятно или невероятно, хорошо или дурно, собственно же исторической оценки он дать не в состоянии. Но зато там, где Ломоносов старается только-только украшено передать известие летописи, Щербатов думает над этим известием; хорошо зная явления всеобщей истории, он сравнивает их с явлениями русской, замечает особенности последней и старается объяснить их, разумеется, он не успевает в этом нигде вполне, часто вовсе не успевает, ибо собственный ход русской истории остается для него тайною; но, повторяем, он останавливается на явлении, думает над ним, старается объяснить его, а известно, какую услугу науке оказывает тот, кто первый обращает внимание на известное явление, первый начинает объяснять его, хотя бы его объяснения были и неудовлетворительны; Щербатов не ученый, он занимается историею как любитель; но он занимается историею для истории, сознает, или, чтобы не сказать много, предчувствует в истории науку, и потому труд его так возвышается и над трудом Ломоносова, и над трудами последующих писателей, которые, пиша историю, имели в виду единственно краснописание.

В предисловии к своему труду князь Щербатов рассуждает о различии русской истории от историй других народов, которые имеют мифическое начало. «И у нас, — говорит он, — народная память должна была сохранять предания о знаменитых делах и имена героев-благодетелей: чего же ради в Российских летописях таких басен не находится, которые бы по крайней мере могли многие древности объяснить? Сие произошло от того, что Россия не так, как другие страны, которые по степеням из грубейшего невежества выходили; но можно сказать, что вдруг сделала один шаг из самой грубости, каковую кочевой народ может иметь, гораздо к великому просвещению, то есть что, принявши вдруг христианский закон, обще с ним приобрел смягчение своих суровых нравов и письмены, которых, конечно, прежде не имел, и тогда воставшие писатели, яко первый у нас был преподобный Нестор, не токмо не тщались сохранить баснословные древние идолопоклоннические преложения, но паче у не утвержденного в христианском законе народа старались их совсем из памяти изгнать».

Таким образом, видим уже попытку объяснить себе явление, останавливающее в русской истории человека, знакомого с историею других народов; Татищев только хвалит Иоакима и Нестора за *лучшую совесть*, которая заставила их отбросить басни, Щербатов понимает значение этих басен в истории; знает, что они могут многие древности объяснить, и объясняет, почему Нестор не мог внести мифов в свою летопись. Много делает чести смыслу Щербатова то, что он не любит вдаваться в словопроизводные объяснения, страстию к которым были заражены предшествовавшие и современные ему исследователи; вот что говорит он об этом предмете:

«При сочинении сей истории о старобытных народах я не тщился обретающиеся промежки догадками наполнять и по знаменованию имен изыскивать, какие были языки тех народов, следственно, и самым ныне пребывающим нациям начало от какого-либо старобытного народа приписать, зная, коль великого сие труда стоит, а со всем тем, наконец, читателей не может удовольствовать; да и действительно, по малому числу оставшихся нам имен, поврежденных времен и неправильным выговором чужестранных, которые нам их предложили, есть ли их знаменование и сходствует на какой язык, весьма трудно заключить единоплеменство единого народа с другим. Приложим к сему, что древние писатели не токмо в таковых вещах ошибались, но также неподлинное их звание самых имен народов, которые они часто единые с другими смесили, сие затруднение приумножает. Однако я весьма отдален охулять таковые изыскания, которые могут некоторое просвещение в мраке древнейших времен истории учинить; но как мое желание к другому концу стремилось, то есть чтобы, не вступая ни в какие неподлинные системы, разные состояния, в которых было мое отечество, разные его перемены и знатные случившиеся в нем дела показать: того ради я, сократяся на простое повествование бывших приключений у старобытных народов, оставляя тем, которые пожелают взять на себя сей труд, выводить свои заключения».

Одна из главных трудностей для каждого начинавшего заниматься русскою историею состояла в генеалогии князей; Щербатов не обошел этой трудности, но предпринял, по его собственным словам, *несказанные* усилия для составления родословных. Мы видели странный рассказ Ломоносова о событиях нашей древней истории: он не умел отличить народных преданий от несомненных фактов; у Щербатова встречаем то же неуменье; но зато у него нет таких странных прибавок к рассказу летописца, как у Ломоносова, хотя и у Щербатова перифразис слишком вольный, стирающий колорит с летописного рассказа; например, в описании сражения с древлянами, где малолетний Святослав первый бросил копьём: «В бою Святослав великие опыты своей храбрости оказал и принудил чрез сие других к подражанию себе»⁶⁹. Щербатов не прошел молчанием затруднительного места о летах Ольги⁷⁰ и, не догадываясь, что имеет дело с народным преданием, объясняет так рассказ летописца о хитрости Ольги относительно ее крестного отца — Греческого императора: «По крайней мере ей было уже около семидесяти лет; следственно, как же было Императору влюбиться в ее красоту? Чего ради не могли лучшего решения дать, предлагаю мое мнение, состоящее, что коль престарелая Великая Княгиня Ольга во время

⁶⁹ I, 218 // *Щербатов М. М. История Российская от древнейших времен. Сочинена князь Михайлом Щербатовым. Т. I. СПб., 1770. С. 218.*

⁷⁰ I, 223.

своего крещения ни была, но могла еще остатки прежней своей красоты сохранять, которая еще приумножалась ее великою премудростию. Но мню, что более всего воспламенилось сердце Императора тем, что, взяв ее себе в жену, мнил наследством и всю пространную Россию иметь или по крайней мере таковым супружеством таким себе сделать союзником Святослава, что не токмо сам не будет нападать на Греков, но и от других врагов сию уже ослабевающую империю защитит. Политические виды, которые, конечно, могут и престарелому лицу красоту придавать, которых, не разумея, мню, тогдашние писатели к красоте Ольгиной приписали то, что единственно политика Императора Греческого была».

Нам кажется странным такое объяснение, потому что мы имеем иной взгляд на источники; при взгляде же автора или взятое отрезанно, объяснение несколько не странно. Непонимание века и характеров того времени повело Щербатова и к следующему ложному объяснению ответа Ольгины императору, когда тот прислал требовать от нее даров: «Блаженная Ольга, смеясь его корыстолюбие, отвечала, что она получила дары за то, что он был ее восприемник; то естли он в таком состоянии, в каком она пред ним была, пред нею был бы, и она ему даров не пощадит дать»⁷¹. Но верно выведено заключение о походе Святослава на греков, понято, что противоположность русского и греческого рассказа происходит от пристрастия: «И тако из сего всего я заключаю то, естли поход сей Святославов и не столь нещастлив был, как Греки повествуют, но и не толь славен для него, как повествуют наши писатели; ибо с обеих сторон надлежит опасаться, чтоб, последуя писателям, не впасть за ними в тоже пристрастие, каковое они каждые к своей стране имели»⁷². Не оставлена без объяснения и причина скорого принятия христианства киевлянами: все войско, по мнению Щербатова, приняло крещение в Корсуни с Владимиром: киевские язычники, боясь войска, не смели оказать никакого сопротивления⁷³. Вследствие неприготовленности своей Щербатов никак не мог сначала понять порядка престолонаследия между князьями, каким образом князю наследует брат, а не сын; так, начиная описывать княжение Всеволода I Ярославича, он говорит: «Хотя сие его восшествие на престол и не совершенно порядочно является, потому что подле Изяслава остались сыновья уже в довольном возрасте, дабы принять правление Княжения отца их; однако по непоследовавшим от сего никаким смущениям и потому что упоминается, что Всеволод дал Ярополку, сыну Изяславову, Владимир с причащею еще Турова, мнится мне, что сие возведение его на Киевский престол учинено в следствие учиненного между им и Ярополком

⁷¹ I, 224.

⁷² I, 235.

⁷³ I, 265.

какого договору, коему обычаю, чтоб брат после брата в престолах наследовал, и впредь почти всегда последовали, яко будем иметь случай о сем яснее предложить»⁷⁴.

Но как бы ни было объяснено происхождение явления, явление было подмечено, над ним задумались, его старались объяснить. Любопытно видеть, с каким трудом это характеристическое явление древней русской истории принималось в сознание писателя XVIII века, впервые начавшего всматриваться в ее особенности: в восшествии Владимира Мономаха на стол Киевский мимо детей Святополковых Щербатов видит уже установленный порядок наследства; несмотря на то, требует от летописцев объяснения этого явления и опять предполагает договоры между Мономахом и детьми Святополка⁷⁵. Здесь, как и после еще, мы будем иметь случай заметить эту добросовестность Щербатова, который не может успокоиться до тех пор, пока не объяснит явление, поражающее его своею странностию, добросовестность, которая, разумеется, не может не возбудить нашего полного сочувствия. Наблюдательность Щербатова, которая заставляла его отступать от показаний летописи относительно причин явлений и характера действующих лиц, видна в отзыве его о князе Вячеславе Владимировиче, уступившем киевский престол Всеволоду Ольговичу: «Хотя Российские писатели единогласно приписывают такое уступление Киевского престола Вячеславам к великому его человеколюбию и к отвращению видеть проливать напрасно кровь человеческую; но я не мню, чтоб какая нравочительная притчина могла справедливо воспрепятствовать законному Государю, общим желанием народа на престол посажденному, для избежания пролития крови справедливую защитительную войну производить и отдать Богом врученной ему народ во власть Государя, которой вооруженною рукою на него пришел. И тако мнится мне, что не было ли к тому и других каких притчин, как является мне оные и приметить; первое в том, что не мог увериться на Киевлян, которым почти так же чужд был, как и Всеволод, и второе в самой слабости его нрава, слабость, которая во всей его жизни, как в следствии сего труда представится, довольно является»⁷⁶.

Щербатов заметил и то различие, которое обнаруживается в нашей древней истории в характере явлений до Андрея Боголюбского и после него, и потому после смерти Юрия Долгорукого положил грань периодам, поместив *рассмотрение о состоянии России, ее законов, обычаев и правлений*⁷⁷, — первая попытка коснуться и внутренней истории общества. Здесь Щербатов опять обращается

⁷⁴ II, 30 // Там же. Т. II. СПб., 1805. С. 30.

⁷⁵ II, 87.

⁷⁶ II, 141 // Там же. С. 141—142.

⁷⁷ II, 253.

к странному для него явлению, к преемству престола, переходившего к старшему в роде; он замечает, что этот обычай не был утвержден законом, однако соблюдался и был главною причиною всех неустойств и разорения России. Видно, как автор постоянно думал над этим явлением и не успокоился до тех пор, пока не нашел следующего объяснения:

«Притчина толикого странного порядка в наследстве является была следующая, что как тогда Российские народы обретались в беспрестанных бранях, сами ли на соседственные земли чинили набеги, или от соседственных народов оные претерпевали, и тако высочайшая добродетель в государе тогда почиталась неустрашимая храбрость и мудрое предводительство войск, и всегда или по крайней мере по большей части государи сами оные предводительствовали, или в противном случае войска ослабевали; но как малолетнего правление не могло бы для сего способно быть, и тако предупреждая сие, дабы, с одной стороны, сохранить всегда престол крови царской, а с другой — от слабости малолетнего избежать, являлся полезным и ввелся сей обычай, чтоб престол от брата к брату, а после, как все братья оным владели, сыну старшего переходил». Щербатов понял, какое влияние подобный порядок вещей производил на отношения между князьями и народонаселением: «Сие же самое наследство, как выше оно означено, приключало, что Российский народ не имел особливой обязанности к своему государю, которая бы и на сына его преходила, но обще ко всему роду Князей распростирал оную; а понеже сей род был весьма многочислен, то происходило из сего, что по мере разделения сей любви и обязанности к толь великому числу лиц, оная разделялась, и царствующей Государь, не имея ничего более пред другими, окроме права владения, не мог совершенно ни в верности, ни в усердии привыкшего к переменам народа уверен быть».

Что касается характеристики государей, то у Щербатова, как и следует ожидать, не может правильно определяться значение того или другого государя в русской истории, потому что автор не уяснил для себя хода этой истории; характеристики его суть характеристики отвлеченные: такой-то государь был добр, умен, не любил войны, однако, где нужно, обнаруживал твердость и т. п. От недостатка уяснения для себя хода истории происходит у Щербатова и у последующих за ним историков внешний взгляд на события, который породил столько трудных к искоренению заблуждений. Разумеется, мы не станем обвинять в этом Щербатова: таков был естественный и необходимый ход исторической науки; и последующие историки разделяют взгляд и повторяют ошибки Щербатова. Щербатов первый произнес следующий приговор об Иоанне III:

«Он был великий Государь, и который первый положил основание величеству России, и все сие без великих кровопролитий, предпочитая всегда именованье мудрого в правительстве Государя

наименованию непобедимого». Тот же приговор, хотя в более изящных выражениях, встречаем и у последующих историков, у которых Иоанн III является так же творцом величия России. То же сходство находим мы и в приговоре о Василии Иоанновиче: «Что касается до обычая сего Государя, то хотя не обретаем мы в нем толь блистательных качеств, каковыми отличался его родитель и которыми отличался его сын, Царь Иоанн Васильевич; однако обретаем в нем сие набожие несуетное и на добродетели основанное, которое есть основание твердых правил мудрого правительства; сию мудрость не спешащую делами и жертвующую иногда тщетную славу для пользы государства; сию твердость, в следствии дел, могущую довести до конца труднейшие предприятия. Он всегда старался отбегать от войны, почитая ее всегда вредною государствам, а паче по тогдашним обстоятельствам России; однако в случае справедливого защитения себя никогда от нее не убежал, но твердо показывал, что он готов ее со всею бодростью производить» и проч. Характеризуя деятельность Иоанна III, Щербатов заметил, как православие много помогло этому князю в борьбе с Новгородом и Литвою⁷⁸: «Можно еще сказать, что самая твердость его в Греческом Католицком законе много ему и в политических делах послужила: ибо, быв почитаем истинным защитником православной веры, ту часть Новгородцев, которые не хотели ради разности вер поддаться Полякам и Литовцам, по самой обязанности к вере, в доброжелательстве к себе удержал, и, когда началась брань с Князем Александром Литовским, тогда многие Князья и с вотчинами своими по единоверию под власть Великого Князя Московского предались».

После порядка престолонаследия у древних князей ничто так не затруднило Щербатова, как объяснение характера Иоанна Грозного: как там, так и здесь по несколько раз принимается он за объяснение загадочной перемены в поведении царя. К чести Щербатова, надобно заметить, что он обратил внимание на характер одного из главных источников истории Грозного, на сочинения Курбского, понял его пристрастие, чего не хотели понять последующие историки. Вот как вначале он объясняет перемену в характере и поступках царя: «Стараясь различать истину от того, что озлобленный князь Курбский мог противу сего Государя писать, думаю со справедливостию сделать следующее заключение. В младенчестве своем зрел Царь Иоанн Васильевич непокорство и смущения бояр; прияв владычество, оказанием строгостей к некоторым из них, хотя и справедливых, приучил, может статься, более к милосердию сердце свое расположенное на жизнь подданных своих устремляться. Таковой поступок хотя некоторых и устрошил, но еще семена смущения оставались в сердцах многих, которые и оказывались в неко-

⁷⁸ V, 364 // Там же. Т. IV. Ч. 2. СПб., 1783. С. 364.

торых случаях, яко в бывшем смущении в Коломне во время походу его на Казань и в других случаях, которые хотя милостию своею он тогда и прикрывал, однако чувствование в сердце его оставалось. Наконец, взяв Казань, покорив многие прежде подвластные сему царству народы, снабдя милостями своими всех вельмож, со справедливостию надеялся, что любовь и почтение к себе и роду своему приобретет и истребит мысли о его рождении, яко от живой супруги бракосочетавшийся Великий Князь Василий Иоаннович его и брата его произвел. Но как в болезни своей восхотел престол малолетнему сыну своему утвердить, тогда предубеждение о его рождении и малая преданность к нему облагодетворенных им бояр явно оказались не токмо сопротивлением оных по приказанию его сходственному с правом рождения присягу малолетнему Князю его сыну, но и преклонностию их возвести на престол двоюродного его брата Князя Владимира Андреевича, обойдя не токмо сына его Царевича Дмитрия, яко малолетнего, но и брата его, Князя Георгия Васильевича. Тако, с единой стороны, огорчен всеми таковыми поступками, а с другой — от жестокости болезни имея нрав свой переменен к жестокости к несчастию к России и ко вреду имени своего начал преклоняться»⁷⁹.

Но это объяснение не могло успокоить Щербатова; не умея из предшествовавших событий уяснить себе политической стороны явления, мало обратив внимание также и на рассказ о воспитании Иоанна, Щербатов не мог понять этой резкости перехода, этой страшной крайности в жестокостях Иоанна: «Не мог бы я никогда поверить, чтоб сей Государь, весьма строгий, но и разумный, который до сего во всяком случае строгость свою умерял, сей Государь, именимый между Российскими Государями, возмог такие бесчеловечия чинить; но колико князь Андрей Михайлович Курбский ни был огорчен на сего Государя, колико он ни желал очернить его память; однако не мню, чтоб сей сановитый муж осмелился приписать убийство толиких знатных особ, когда они естественною смертию померли или в живых находились. Сохраненные списки его летописей не токмо в частных домах, но даже в государственных архивах, наименование, приданное Царю Иоанну Васильевичу *Грозной*, общее согласие всех окружающих народов, повествующих о его жестокостях, повестие князя Курбского, вероятно, чинят; а паче взятые Российским Государем поручные грамоты со многих знатнейших людей, чтоб они в Польшу, Литву и в другие чужестранные области не отъезжали, грамоты подлинные, хранящиеся в государственных архивах; а взятие сих грамот уже предполагает неудовольствие от подданных; число недовольных, худобу и непорядок правления... Правда, что из сих князь Иван Дмитриевич Бельский сам чрез грамоту свою признается, что он имел переписку с Сигизмундом,

⁷⁹ VII, 454 // Там же. Т. V. Ч. 1. СПб., 1786. С. 454—455.

Королем Польским, и опасную грамоту для езды своей от него получил. Такое преступление, имеющее вид измены, подавало причины Государю всю монаршую строгость противу его употребить, и самые жестокости государевы не могут его в строгом изыскании нравственных должностей гражданина и подданного оправдать: но если возьмем в примечание его сан боярский, знатность, в какой весь его род находился и которой, конечно, не мог льститься иметь при Польском Дворе, разность веры, а паче, что она тогда же мешала в Польше и преимуществами многими пользоваться; то не можем мы представить, чтоб он без важных каких причин в такое преступление покусился впасть... Невероятно притом есть, чтобы многие знатнейшие бояре, привязанные любовью к отечеству своему, к родственникам и домам их, могли желать его оставить и преселиться навеки во вражескую страну, если бы жестоким правлением Государя к тому побуждены не были: и тако самые сии взятые грамоты с них и сохранные в архивах суть свидетели жестокому начавшемуся правлению Царя Иоанна Васильевича и истинне повествования Князя Курбского»⁸⁰.

Наконец князь Щербатов нашел, по его мнению, удовлетворительное объяснение перемены, происшедшей в характере Иоанна IV: «Колико сие исследование ни отвращает меня от продолжения исторического повествования приключений, но я принужденным себя нахожу, дабы возмог, елико возможно, вывести причины поступку Царя Иоанна Васильевича и истину историческую проникнуть, еще размышления мои продолжать, тем наипаче, дабы не могли меня обвинить, что я, не войдя во все обстоятельства, якобы охотно хотел, последуя его злодею Курбскому, во всех приписуемых бесчеловечиях сего Государя обвинять. Но проникнем, ежели возможно, во внутренность, от чего сей Государь, до сего толико мудрый и великий, хотя строгий, но умеющий горячность и строгость свою умерять, переменялся? Решение на сие, кажется, нам может дать самое повествование князя Курбского, по причине убийства князя Михаила Петровича Репнина... Естество вещей самое является истинну сего повествования утверждать; ибо сей Государь, лишась своей подруги и быв в крайнем оскорблении о ее кончине, имел двояких утешителей: единые ему представляли необходимость сего часа и увещевали его повиноваться Божиему изволению; тогда как другие старались, упраздня его весельями, изгнать печаль из мысли его. Не токмо в северных наших краях, но и в полуденнейших упивание вином, яко веселящее человека, входило во все пиршества; сим и начали отвращать его огорчение. Вышеименованный монах Сукин с единым Шаховским и с Малютою Скуратовым, приметя, что Государь оказал склонность к такой жизни, приумножили свои старания беспрестанно в таких вредных ему

⁸⁰ VIII, 89 // Там же. Т. V. Ч. 2. СПб., 1789. С. 89—91.

самому и государству забавах содержать, а пользуясь сим иступленным состоянием, употребили горячий и склонный к суровостям нрав государев для отмищения недругам своим или для погубления всех тех, которых имели причину страшиться; сам же Государь, быв сурового с природы нрава, вспоминая прежде чиненные ему огорчения от бояр, в иступлении пьянства мнил дело глубокия политики истребить всех тех, которые могли ему какое сумнение наводить»⁸¹.

По окончании повествования о царствовании Иоанна IV Щербатов не удержался, чтобы опять не обратиться к объяснению загадочной перемены в характере этого государя, и сделал еще следующие дополнительные замечания: «Да не спросит кто меня: чего ради Царь Иоанн Васильевич не малое время, яко я и в самой первой части его истории описал, не таков являлся! Ответствую: расположение его сердца было таково же; но, чувствуя себя еще недовольно утверждена на престоле, а к тому имел мудрую и доброжелательную супругу Царицу Анастасию Романовну, сдерживал суровой свой обычай: но взятием Казани, сим полезным завоеванием утвердив свою власть, в болезни быв огорчен боярами, не хотящими присягать малолетному сыну его Димитрию, а потом и лишась столь добродетельной супруги, впадши в разные распутства, дал волю своему обычаю». Должно прибавить, что Щербатов заметил высокую роль духовенства при печаловании⁸².

Но при несомненных достоинствах, какими отличается повествование Щербатова о царствовании Иоанна IV, оно отличается и недостатками, общими целому труду его, а именно: странною рассеянностью, неумением вникать в подробности известий, объясняемыми, впрочем, громадностью труда, за который Щербатову суждено было первому приняться. От этой рассеянности и неприготовленности мы видим в первых частях труда смешение разных, но одноименных городов; например, Владимира Клязменского — с Волынским, Переяславя Русского — с Залесским; в повествовании о царствовании Иоанна IV встречаем еще более неприятную ошибку: здесь Щербатов из одного знаменитого Сильвестра сделал двух, о которых дал самые противоположные отзывы: о Сильвестре, могущественном советнике царском, он выражает одностороннее мнение, объясняющееся из известных понятий XVIII века, господствовавших между писателями: «Сей священник был родом Новгородец, и хотя приял священный чин, но мысли и душа его любопытством исполнены были, под видом благочестия и с саном священника был льстив и пронырлив и сими только часто к несчастью народов качествами толикую приобрел себе милость от Царя Иоанна Васильевича, что он его не токмо духовного, но и гражданского

⁸¹ VIII, 91 // Там же С. 91—93.

⁸² VII, 110 // Там же. С. 110.

совета соучастником учинил и с такою силою или, лучше сказать, с такою к нему поверенностию, что он, яко самовластитель в обоих сих правлениях, Митрополиту, Епископам и боярам повелевал. Сей коварный муж, притворяющийся иметь совершенное усердие к Государю, не оставил тогда же пещись, в случае каковой перемены защитников себе приобрести»⁸³. Но потом, когда нужно стало говорить о гонениях на Сильвестра по смерти Анастасии, то автор позабыл уже о прежнем могущественном Сильвестре, коварном, по его мнению, муже, и Сильвестр гонимый является у него благочестивым и добродетельным пресвитером, духовником Царя⁸⁴. В такую ошибку Щербатов был введен разноречивым свидетельством двух противоположных источников: в Царственной книге читаем отзыв о Сильвестре почти в том же тоне, как и первый отзыв Щербатова, у Курбского же Сильвестр выставлен совершенно в другом свете.

На Годунова Щербатов смотрел так, как смотрели летописцы и как смотрели историки, последовавшие за Щербатовым: все перемены предпринимаются Годуновым для достижения своей корыстной цели. Но Щербатов и здесь умел сделать некоторые любопытные вопросы; например, говоря о том, что Годунов запретил помянуть на ектениях царевича Димитрия, автор спрашивает: почему бояре не воспротивились этому?⁸⁵ И объясняет, что боярам нравилась эта мера, что они могли надеяться наследовать бездетному Федору, с успехом поспорить с Годуновым, пред которым у них было много прав. Важно также и следующее заключение о Годунове: «Не уповательно, чтоб он при самом начале царствования Царя Федора Иоанновича имел такие мысли (наследовать престол); но самое его возведение в такое могущество сии в нем возродило»⁸⁶. Другое верное замечание встречаем при описании следственного дела о убиении царевича Димитрия: «Единое его (Клешнина) присутствие довольно было сдержать сего князя (Шуйского) от того, естли бы справедливое он что сделать восхотел»⁸⁷. В описании избрания Годунова для красоты картины не пожертвовано замечательными подробностями, которые показывают, что избрание происходило вовсе не так единодушно и умирительно. Щербатов заметил, что Годунов тотчас после избрания, высылая войско против крымского хана, назначал во все полки воеводами татарских царевичей⁸⁸. Относительно Лжедимитрия Щербатов также проницательнее других историков; так, он говорит: «Когда, может статься, он показал некоторую к сему (то есть самозванцу) преклонность,

⁸³ VII, 449 // Там же. Т. V. Ч. 1. СПб., 1786. С. 449—450

⁸⁴ VIII, 86 // Там же. Т. V. Ч. 2. СПб., 1789. С. 86.

⁸⁵ XI, 237 // Там же. Т. VI. Ч. 1. СПб., 1790. С. 235—238.

⁸⁶ XI, 254 // Там же. С. 254.

⁸⁷ XI, 300 // Там же. С. 300.

⁸⁸ XIII, 23 // Там же. Т. VII. Ч. 1. СПб., 1790. С. 23.

то не было ли еще кого из знатных, которых как по ненависти на Царя Бориса, так и для своего возвышения, поелику легко считая восстановленного сего слабого кумира низринуть и самому его место занять, тайно его к тому побуждал; ибо в самом деле не нахожу я почти возможности верить, чтоб сын боярской, быв менее двадцати лет юноша и постриженный в монашеской чин, мог вздумать, а еще меньше сам собою упорствовать в таком великом предприятии»⁸⁹.

Надеюсь, что этот обзор «Истории» князя Щербатова способен подтвердить сказанное нами вначале о значении этого труда в нашей исторической литературе. Критика благодаря особенно Болтину и Шлёцеру дала большие средства последующим писателям превзойти Щербатова, преимущественно в древней нашей истории; но относительно глубины взгляда на некоторые важные явления они не сделали большого шага вперед. Уже не говорим о заслуге, оказанной Щербатовым приложением к своей Истории многих драгоценных, но до тех пор неизвестных актов, что так много облегчило труд последующим писателям. Но почему же, при таких несомненных достоинствах, труд Щербатова не пользовался и не пользуется должным уважением? Это явление объяснить нетрудно: в то время, когда в истории всего более ценили изящество формы, краснописание, труд Щербатова отличался противоположною крайностью, слогом крайне тяжелым, неправильным; стоит прочесть выходы краснописца Елагина против Щербатова, чтобы понять, почему труд последнего так много проигрывал в глазах современников. Но этого мало: едва успел Щербатов выдать первые части своего труда, как восстал против него Болтин, критик строгий, неумолимый, писатель с дарованием блестящим; не обратив внимания ни на одно достоинство автора, Болтин беспощадно выставил все ошибки и небрежности его, обвинил в неправильном понимании всей нашей древней истории, в незнании исторических приемов, в неумении разбираться в фактах, распределять их по степени важности. Щербатов не нашел защитника против Болтина; его труд продолжал иметь значение только как полнейшая русская история, которую можно было с пользою употреблять при замечаниях Болтина; но явилась История Карамзина, в которой с полнотою соединилось беспримерное изящество формы,— и труд Щербатова был забыт.

VI. И. Н. БОЛТИН

Чтобы понять значение исторических трудов Болтина, необходимо обратить внимание на ту перемену во мнении о науке и просвещении, которая обозначилась со времени вступления на престол

⁸⁹ XIII 204 // Там же. С. 205.

императрицы Екатерины II. Начиная с эпохи преобразования до этого времени на науку смотрели с материальной точки зрения: науку считали необходимою, старались о ее распространении, но единственно для того, чтобы увеличить материальные силы, материальное благосостояние, хотели пользоваться плодами науки для удобств житейских, старались умножать число ученых, точно так же, как старались об умножении числа полезных ремесленников; о нравственном же влиянии науки на человека, о воспитании молодого поколения не заботились или заботились очень мало, полагая главное в ученье, а не в воспитании. Тщетно Кантемир в бессмертных своих сатирах указывал на это зло, тщетно указывал на необходимость воспитания для улучшения народной нравственности: благородный голос раздавался в пустыне; даже самые ученые, и между ними самые талантливые, подчиняясь вполне духу времени, выказывали пользу науки преимущественно с материальной стороны. Но прошло полвека, и следствия такого порядка вещей сказались явственно: с распространением наук и внешнего образования народная нравственность не улучшалась; заметно было даже явление противное, — и вот с самого вступления на престол Екатерины II обнаруживается стремление поправить зло, дать науке нравственное значение в воспитании просвещенных граждан, а не ограничивать ее действия только приготовлением ученых-ремесленников.

Раздался голос Бецкого, который потребовал нравственного перерождения общества посредством воспитания, указал на необходимость воспитанием произвести *новую породу* людей; резкими словами высказал он перемену во взгляде на просвещение между предшествовавшей эпохой и своим временем. «Петр Великий, — говорит он Екатерине, — создал в России людей; Ваше Величество влагаете в них души». Лучшие люди сочувствовали требованиям Бецкого и повторяли его слова, так, например, Фон-Визин в «Недоросле» представил урода, произведение прежнего грубого, физического воспитания; но к этому старинному воспитанию присоединено еще новое, какое требовалось в первой половине XVIII века, воспитание форменное, следовательно, вполне бесполезное, с одной стороны, а с другой — страшно вредное по выбору воспитателей; прямо высказана господствующая мысль века о воспитании в разговоре Правдина и Стародума. *Правдин*: «Чтоб в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особое старание о воспитании». *Стародум*: «Оно должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну, что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям».

Такой образ мыслей не мог не отразиться и во взгляде на русскую историю: в первой половине XVIII века борьба с невежеством, злоупотреблениями и предрассудками, которые прикрывались

именем старины, естественно, производила вражду, презрение к этой старине в приверженцах нового порядка вещей; они считали себя детьми света, воссиявшего для России с начала XVIII века, что прежде — то было мрак, от которого нужно как можно более удаляться. Но во второй половине века стремление усвоить себе внешнее, формальное образование, это стремление признано недостаточным, борьба переменяла характер: лучшие умы стали вооружаться теперь уже не столько против вредных следствий старинного, допетровского быта, сколько против вредных следствий одностороннего стремления ко всему новому и чужому: отсюда недовольство предшествовавшим направлением. Борьба с ним нечувствительно влекла к примирению со стариною, которая уже не возбуждала более сильной вражды, ибо признала себя побежденною и прикрылась другим слоем, а на место ее явился другой, новый враг, более опасный; в борьбе с недавним злом нечувствительно стали бросать благоприятные взгляды на старину отдаленную, именно уже потому, что она была враждебна новому врагу, против которого нужно было вооружиться всеми средствами, нужно было показать его незаконное вторжение на место прежнего, лучшего, а между тем старина вследствие самого отдаления своего и неизвестности начала представлять приятные образы.

Это недовольство направлением, господствовавшим в первую половину XVIII века, и примирение с враждебною ему стариною допетровскою объясняют нам взгляд Болтина на древнюю русскую историю. В то время как неудовольствие на дошедшее до крайности пристрастие к чужому сильно было уже возбуждено в лучших людях, в это время вышла в Париже известная книга Леклерка «Естественная, нравственная, гражданская и политическая история древней и нынешней России», где автор поверхностно и по большей части враждебно отзывался о нашем отечестве. Книга явилась очень кстати, чтобы дать случай высказаться новому взгляду и неудовольствию на предшествовавшее направление; Болтин нашел в книге Леклерка «ложь и клевету на Россию, пристрастие, с каким автор переиначивает факты, самые известные, наглость, с какою говорит о вещах, совершенно ему неизвестных, нелепость рассуждений, пустоту доводов, бесчисленные и грубые во всех родах ошибки» и написал опровержение. Следя за Леклерком, Болтин изучил всецело русскую историю, с тем чтобы защитить ее, чтобы произнести над нею благоприятный приговор; следовательно, книга Болтина есть первый труд по русской истории, в котором проведена одна основная мысль, в которой есть один общий взгляд на целый ход истории; у Болтина мы не встречаем толков о пользе истории как науки опыта и примера, но у него первого видим попытку смотреть на историю как на науку народного самопознания, старание сделать из истории прямое приложение к жизни, отыскать живую связь между прошедшим и настоящим, задать вопрос об отно-

шениях старого к новому. Ломоносов хочет только прославлять героические подвиги деятелей нашей истории; Щербатов вглядывается в отдельные явления, старается уяснить некоторые, особенно паразитические для него явления русской истории, не связывая, однако, их друг с другом; Болтин старается уяснить целый ход русской истории, как русской истории, не похожей ни на какие другие, и показать живую связь между прошедшим и настоящим.

Болтин вооружается на Леклерка за представление наших предков IX и X веков дикарями; вот знаменитые положения, выведенные им из рассмотрения договоров наших первых князей с греками; говорю «знаменитые» потому, что они повторяются еще и теперь в наших исторических исследованиях: «Из обстоятельств сего условия явствует, что в тогдашнее уже время имели Русские правление, на коренных законах и на непременных правилах утвержденное; что народ разделен был на разные сословия, яко на бояр, дворян, гостей, купцов, свободных и рабов, кои не иные были как пленники; что каждое сословие пользовалось особенными правами, преимуществами и отличностями; что все вообще имели суд и расправу; что успехи имели в торговле внутренней и внешней, мореплавании, художествах, ремеслах и в рассуждении тогдашнего века нарочитом просвещении. Не ясно ли все сие доказывает, что древние Руссы иначе жили в городах своих, нежели дикари в лесах, о благоустройстве общежития своего согласно пеклися, руководствуемы будучи здравым смыслом и рассуждением, на опытах основанным; имели благонамеренные виды, осторожность в поступках, мудрое предусмотрение, искусство в исполнении своих намерений и проч.»⁹⁰.

Болтин заступает за русские летописи, которые Леклерк обвиняет в сухости, недостатке занимательных известий: «Если бы г. Леклерк мог читать Русские летописи, нашел бы он многое, чем пустоту времен и недостаток любопытных деяний, на которой он столь часто жалуется, дополнить: описания характеров Государей, бессмертия достойных, их мудрые рассуждения, благонамеренные виды и попечения достойны суть предания в незабвенную память»⁹¹. В другом месте он говорит: «Какое государство может похвалиться, чтоб в толь короткое время имело у себя столько мудрых, благоразумных, мужественных, храбрых, добродетельных, благосердных, великодушных и благотворительных государей, каковы все сказанные были и коих Россия меньше нежели в два века видела над собою царствовавших»⁹². В истории Смутного времени Болтин резко выставляет противоположность поведения русских

⁹⁰ Замеч. на Леклерка I, стр. 75 // Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. Т. I, II. СПб., 1788.

⁹¹ I, стр. 270.

⁹² I, стр. 275.

и поляков: «Г. Леклерк описывает их (поляков) победы, — говорит он, — но молчит о средствах, коими они те одержали, и о действиях, сопровождавших оные»⁹³. Болтин вооружается на Леклерка за то, что тот говорит, будто Уложение дает тиранскую власть мужу над женою⁹⁴; по этому поводу Болтин представляет картину семейного быта в России в его время и доказывает, что благодаря заграничным людям муж стал рабом жены: ясно заметно, что похвала старине происходит в авторе от недовольства новым.

Защитив наших древних князей и показав, что древние короли французские были гораздо хуже, Болтин доказывает, что России не нужно принимать завоевательного характера, ибо природа так ее благодетельствовала, что жителям ее не нужно искать других стран и отнимать богатства у чужих народов. Потом Болтин заступает за русский язык; Леклерк говорит: «Почти для всего, что не имеет тела и образа, для выражения вещей, не подпадающих чувствам, недостает в русском языке речений». Болтин возражает:

«Если бы сие было правда, то бы не могли быть переведены с Греческого языка на Славянский столько творений знаменитейших Отцов Восточной Церкви, из коих вся красота, пышность, чистота и великолепие Еллинского витийства, и без заимства слов чуждых, пренесены в язык Славянский, и на оном поднесь чтутся не с меньшею ясностию, услаждением и удивлением, яко и на Греческом. Русской язык не столько богат, как Славянский, однакож и на него многие книги важных и глубокомысленных творцов переведены без потери ясности и красоты. Я не скажу того, чтобы всех языков слова в Русском языке тождественные и равносильные обретались. Всякой язык имеет нечто особенное и единому ему свойственное, и в сем разуме можно сказать, что и в самом недостаточном найдутся такие слова, кои на самые изобильнейшие одним словом не могут быть переведены. Правда и то, что в Русском языке недостает многих слов, относительных до наук и художеств, коих в России не было прежде. Но какой же язык может тем похвалиться, чтобы, вводя новую науку и искусство, не заимствовал или не вводил и новых речений, употребляемых в той науке или искусстве? Но сие есть явная клевета, якобы в недостатке речений условных, к выражению умоначертаний сложных, принуждены были ввести в язык природный безобразное смешение языков различных. Все знающие язык Русской хорошо, согласятся со мною, что в речениях сказанных недостатку мы не имеем и что странного смешения разных наречий в языке нашем никогда не бывало и нет. Автор слышал, будучи в России, от Русских жалобу, что в разговорах употребляют много слов иностранных без нужды, и, не поняв того, отнес оную к недостатку языка. Жалоба их вот в чем состояла: в царствование Импе-

⁹³ I, стр. 416.

⁹⁴ I, стр. 469.

ратрицы Елисаветы введено было в язык Русской множество слов Французских не по нужде, а по буйственному пристрастию ко всему, что называется Французским; но лет с двадцать странной сей вкус начал выходить из употребления, тем с большею удобностию, что чуждые те слова в писание не были введены, понеже употребляли их по большей части люди безграмотные. Незвизрая, однакож, на всеобщее осмеяние и укоризну, довольно еще остался таких, кои, будучи воспитаны в руках Французских и научась от них от юности все Русское презирать, не стараются или не хотят узнать природного своего языка и по необходимости, не умея на нем объяснить, мешают в разговоре своем половину слов Французских. Знающие же природный свой язык, кроме необходимости, иностранных слов в разговорах не употребляют, а на письме и того меньше. Может быть, г. Леклерку случилось таковых француз-русских петиметров слышать разговаривающих между собою, а по их разговорам заключил, что и все таким же странным языком говорят, как они»⁹⁵.

Леклерк утверждал, что в старину «всякое сообщение с чужеземными Руским было запрещено, и считали за смертный грех разговаривать с ними». Болтин, возражая, приводит всегдашнюю необыкновенную терпимость русского народа и правительства и ответ последнего Поссевину, требовавшему изгнания лютеранских пасторов, «что в Российском царстве всяких вер люди живут по своим обычаям»⁹⁶. Удивляясь ошибкам Годара и Леклерка, Болтин, между прочим, замечает: «О России судить, применяясь к другим государствам Европейским, есть тож, что шить на рослого человека платье по мерке, снятой с карлы. Государства Европейские во многих чертах довольно сходны между собою; зная о половине Европы, можно судить о другой, применяясь к первой, и ошибки во всеобщих чертах будет немного; но о России судить таким образом не можно, понеже она ни в чем на них не похожа, а особливо в рассуждении физических местоположений ее пределов»⁹⁷.

Наконец, восставая против утверждения Леклерка, что в старину запрещен был иностранным ученым въезд в Россию, а русским — выезд за границу для науки, Болтин резко выражает мысль своего времени о необходимости нравственного, просвещенного, народного воспитания и о недостаточности средств предшествовавшей эпохи; образованность людей этой эпохи он прямо называет мнимым просвещением, говорит о них, что они старое позабыли, а нового не переняли, потому что слишком спешили, строили здание без основания; какое же основание предполагал Болтин, это

⁹⁵ II, стр. 29.

⁹⁶ II, стр. 115.

⁹⁷ II, стр. 152.

видно из следующих слов его: «Познал Петр Великий, что надобно начать хорошим воспитанием, а кончить путешествием, чтоб видеть желаемый плод. Ныне предпринимаются ко исправлению поврежденного благонадежнейшие средства, коих мудрое предрасположение подает великую в успехе надежду»⁹⁸.

Таково направление Болтина. Из собственно ученых его замечаний приведем следующие. Болтин отстаивает родство руссов с готфами и опровергает родство их с гуннами; с извительною насмешкою вооружается против странных словопроизводств, которыми отличалось и сочинение Леклерка: Болтин производит имя славянского божества Лель от арабского *леиль* — ночь, потому что утечи, которых Лель был божеством, совершались под покровом ночи. «Почему мне не выдумать такого производства, — говорит он, — если Леклерк произвел Гуронского божка Ареской от русского слова — *орешки*?»⁹⁹ Происхождение казаков Болтин объясняет так: «В самую отдаленную древность в юге России жили многие племена Татарские, Сарматские и Славянские под разными именами, но жили городами, селениями, имели правление, начальство. Из сих племен некоторые, отдаваясь от жилищ в степи, составили особенную шайку, питаются звероловством и разбоем. Сих бродяг называли Татара, по свойству их состояния и образа жизни, *казаками*, то есть *бездомовными*, *бродягами*. Своевольная жизнь и привольные места были привадою всем распутного житья удальцам умножать их общества»¹⁰⁰. Болтин читает и половцев казаками и имя их производит от *поле* или *полон*. О варягах утверждает против Леклерка, что они не были просвещеннее призвавших их племен, но, «живучи в соседстве, общие и одинакие имели с ними познания». Утверждает, что России не следует страшиться участи древних огромных государств, которые распались вследствие своей громадности; доказывает, что составление частей Русского государства происходило особым образом¹⁰¹.

Необходимость возражать противнику, сравнивать беспрестанно состояние других европейских государств с состоянием России в разные времена для показания, что там было не лучше, если не хуже, чем у нас, — все это заставляло Болтина вникать глубже в явления русской истории; так, он говорит о значении татар: «В Российском народе таких чувствительных и скорых перемен, как сказано было о Европейских государствах, история не представляет, понеже оный, будучи тесним, разоряем и порабощаем, никогда от победителей своих истребляем не был. Число его всегда оставалось превосходнейшим его победителей, коим победам и завоеваниям

⁹⁸ II, стр. 253.

⁹⁹ I, стр. 111.

¹⁰⁰ I, стр. 339.

¹⁰¹ II, стр. 143.

более способствовало разделение и междоусобия Россиян, нежели слабость их и бессилие. Татары, завоевав удельные княжества одно по одному, наложили на поработанных дани, оставили для взыскания сей своих баскаков и по городам войска, сами возвратились восвосяи. При владычестве их управляемы были Руские теми же законами, кои до впадения их имели, и те же самые и по низвержении ига их непремненными при них остались. Нравы, платье, язык, названия людей и стран остались те же, какие были прежде, исключая малые некоторые перемены в общежительных обрядах, поверьях и в нескольких словах языка, кои мы заимствовали от Татар. Все сие доказывает, что раззорение и опустошение России не столь было великое и повсеместное, как государств Европейских»¹⁰².

Среди более или менее правильных мнений встречаются иногда у Болтина и странности: подчиняясь понятиям своего времени, он иногда обвиняет Леклерка в том, за что должен был бы благодарить, уже для того только, чтобы быть последовательным в своей главной мысли; так, например, на 60-й странице второго тома встречаем следующее мнение о народных песнях: «В старинных песнях, обносящихся между черни, каковы суть о Ильи Муромце, о пирах Князя Володимира и проч., в песнях подлых, без всякого складу и ладу, находит автор (Леклерк) искры пиитического духа, краткость мыслей и силу выражений и признает их за верное изображение тогдашнего вкуса и нравов народа. Подлинно таковые песни изображают вкус тогдашнего века, но не народа, а черни, людей безграмотных и, может быть, бродяг, кои ремеслом сим кормились, что, слагая таковые песни, пели их для испрошения милостыни. Сказанные песни такого же точно рода, как сии нищенские, называемые стихами, и сочинены подобными авторами, следовательно, вкуса и нравы народа тогдашнего века летописи Несторова, Иоакимова, законы Ярославовы и Изяславовы, договоры мирные, грамоты, изложения духовные и политические и подобные сим».

Болтин, который, опровергая Леклерка, всецело подумал над русскою историею, Болтин не мог с одобрением встретить Историю Щербатова, в которой именно недоставало этого всецелого обдумания, живой связующей мысли и надлежащего ученого приготовления; прибавим, что Болтин и талантом стоял гораздо выше Щербатова, обладая светлым взглядом и особенною живостию ума, которая отразилась и в слоге живом, стремительном. Болтин превосходил Щербатова и обширную начитанностию, знанием языков древних и новых. В примечаниях на Леклерка Болтин не раз коснулся с невыгодной стороны Истории Щербатова, например, в одном месте читаем: «Весьма те ошибаются, кои думают, что всякой тот, кто по случаю мог достать несколько древних летописей и

¹⁰² II, стр. 295.

собрать довольно большое количество исторических припасов, может сделать историком; многого еще ему недостанет, если, кроме сих, ничего больше не имеет. Припасы необходимы; но необходимо также и умение располагать оными, которое вкупе с ними не приобретается»¹⁰³.

Подобные намеки и нападки на некоторые мнения Леклерка, сходные и с мнениями Щербатова, заставили последнего отвечать Болтину. Этот ответ носил название: «Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской Истории, к одному его приятелю, в оправдание на некоторые сокрытые и явные охуления, учиненные его истории от Господина Генерал-Майора Болтина». Эта книжка замечательна тем, что в ней предложены возражения против подлинности Иоакимовой летописи: Щербатову нужно было оправдаться в том, что он умолчал о ней. Болтин не замедлил написать ответ, который начинается стремительным, немилосердным нападением: «Сочинитель письма извиняется пред своим приятелем в темном и необстоятельном написании о происхождении Русского народа, незнанием ученых языков, несведением слов разных населяющих Россию народов и других и неимением тогда довольной помощи... Положим, что приятель его сочтет такое извинение достаточным, относительно к разысканию о происхождении Русского народа, однакож и при сем случае, по долгу дружества, должен будет ему сказать: «Но кто ж принуждал вас братья за дело выше своих сил и возможности? Не лучше ли бы, по неимению сказанных помощей, оставить вещи так, как они были, нежели, писав из головы и без всякого основания, в вящшую приводить их темноту, запутанность и безобразие...» Какое же может сочинитель письма дать приятелю своему объяснение, ежели ему вздумается его спросить: «На чем основываясь написали вы, что Сарматы, Гунны и Скифы суть соплеменные? Где написано, что народ Русской до крещения был кочевой? Какое есть на то доказательство, что язык Славянской сходен был с Русским? Какая приличность была вам назвать Рурика с братьями Немцами, а Кия, Щека и Хорива Персиянами? С какой стати Гуннов сделали вы строителями Киева и заставили их и Аваров говорить языком Татарским? и проч. и проч.»

Болтин не ограничился здесь одними теми местами, которые опровергал в примечаниях на Леклерка, но прибавил еще и другие, из Истории Щербатова. Последний отвечал на них в начале 10-й книги своего сочинения, а Болтин на это издал два тома примечаний. Здесь важны для нас слова автора, где он высказывает понятия свои об обязанности историка: «Всякую историю вновь сделать, а особливо сделать хорошо, очень трудно, и едва ли возможно одному человеку, сколько бы век его ни был долог, достичь до исполнения намерения такового, при всех дарованиях и способностях, к тому

¹⁰³ I, стр. 268

потребных. Ибо, прежде чем начато будет здание истории, надлежит потребные к тому припасы приискать, разобрать, очистить, образовать, а для сего требуется несравненно более трудов и времени, нежели на совершение целого здания... Сии самые способы употребляли все историки к достижению цели своего намерения. Достопамятный наш Татищев тем же путем шестие свое начал... К. Щербатов, устраняясь сего трудного пути, избрал для себя другой, несравненно легчайший, то есть начал писать историю, не заботясь нимало о предварительном снабдении себя сказанными способами; разных списков летописи между собою не согласил, разбора между ними не учинил, к пониманию разума сказуемого ими себя не приуготовил, а о Географии ниже малейшего внимания употребить не хотел и тем самым отверз свободный вход в свою историю не токмо всем заблуждениям историков иностранных и всем ошибкам, вкрадшимся в наши летописи от приписок, но и бесчисленному множеству новым, происшедшим от собственных недостатков и нерадения»¹⁰⁴.

Болтин вооружается на Щербатова за достоинство нашей древней исторической литературы, выставляет на вид древность Нестора пред летописцами всех соседних народов, верность его сказаний, многочисленность летописцев; оправдывая летописцев, которых Щербатов обвинял в суеверии, Болтин делает колкое обращение к самому Щербатову: «Едва ли можно из современных писателей Нестору найти другого, который бы меньше его сему пороку был подвержен. Чудесами и чрезыестественными явлениями наполнены летописи Никоновская и Новгородская, однакож кн. Щербатов не оставил большей части написанных в них чудес поместить в свою историю, не поверя Нестору, что их не бывало и что прибавлены они от суеверных невеж — сочинителей тех летописей: такоу суть басни о идоле стяншем и проч.»

Болтин отвергает ссылки на Библию относительно происхождения народов, потому что в Библии сказано только: «И разсея их Господь по лицу земли»; следовательно, все генеалогии народов от сыновей Ноевых суть позднейшие выдумки. О различии древних народов, населявших Россию, выразился положительно: «Между Скифов, Славян и Сармат не менее разности во всем, сколько между Галлов, Римлян и Греков»¹⁰⁵. Любопытно мнение Болтина о призвании князей: мнение это хотя неверно в основании, но важно как попытка связать это событие с последующими явлениями новгородской истории¹⁰⁶. О платеже в 300 гривен, которым были обязаны новгородцы, Болтин думает, что он назначался для варягов замор-

¹⁰⁴ I, стр. 16 // Критические примечания генерал-майора Болтина на первый и второй том Истории князя Щербатова. Т. I, II. СПб., 1793—1794.

¹⁰⁵ I, стр. 66.

¹⁰⁶ I, стр. 176.

ских¹⁰⁷. Болтин полагает, что причиною скорого принятия христианства было давнее знакомство с ним в Киеве; о следствиях принятия христианства он говорит, что для успешнейшего действия новой религии на нравы народа «потребно было учение, просвещение, примеры и попечение Государя и начальников, многие труды и немалое время. Вижу я впоследствии Владимирово попечение о том, средства надежные, употребляемые им на сей конец, но за неимением достаточных орудий сомневаюсь о знатном в намерении его успехе. Целого государства переменить нравы, смягчить жестокое сердца варваров, диких, каковыми мнит быти автор (к. Щербатов) Руссов тогдашнего времени, в толь короткое время было бы чудо несравненно большее, нежели стонание и рыдание идола, влекомого к потоплению в Киеве, и другого такого же в Новгороде человеческим гласом провещание».

VII. Ф. А. ЭМИН

В то время как Щербатов начал задумываться над поразительными явлениями русской истории; в то время как он оказывал важную услугу, познакомив русских впервые с историею позднейших времен, начиная с Иоанна III, и приложив к своему сочинению драгоценные источники, хранившиеся в архивах грамоты, статейные списки и проч.; в то время как талантливый Болтин указал ошибки Щербатова и таким образом дал русским читателям необходимое дополнение к книге последнего¹⁰⁸, — в это время *риторическое* направление продолжалось и достигло самых неприятных крайностей в сочинениях Эмина и Елагина. Книга Эмина носит заглавие «Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойные памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере златого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая». Эмин хвалится в предисловии, что оказывает услугу, очищая русскую историю от разных несходных с правдою повествований и от многих суеверий. Для этой очистки он берет Бог знает какие источники, Бог знает какие списки летописей и начинает витийствовать, сочиняя факты и речи действующих лиц, не щадя никаких средств для достижения своей цели, то есть для украшения рассказа.

«Должен я всех уведомить, — говорит он, — что многие речи, которые в сей истории разные говорят лица, выдуманы; например, речь, которую говорит Гостомысл к мятущемуся народу, уговаривая оный, дабы призвать Рюрика на владение, ни в одном нашем

¹⁰⁷ I, стр. 203.

¹⁰⁸ I, стр. 287.

летописце не обрящется. Но если Гостомысл оной не говорил, то по малой мере должен был говорить что-нибудь тому подобное, чтобы взволновавшийся, гордый и ничего не рассуждающий народ мог усмирить и привести к здоровому рассуждению. Естли бы он так, как пишут наши летописцы (то есть автор «Ядра»), только сказал: мы все потеряли разум, единства не знаем, должно нам призвать из чужой земли Государя, — то за таковое увещевание они бы его в куски изрубили; но, конечно, он им говорил речь, наполненную важными причинами и доказательствами, что умел их склонить к толь великому и странному предприятию. Может статья, Гостомыслова речь была важнее и гораздо трогательнее той, которая в сей книге изображена; но я, сообразуясь с тогдашним временем, в которое красноречия или, лучше сказать, протяженного и пухлого штиля не знали, старался говорить языком каждого человека, состоянию сродным, составляя разные речи по большей части со всевозможной важности причин и обстоятельств. Таковую вольность простит мне каждый, когда я скажу, что все историки думали, что им она не только позволительна, но и необходима нужна для того, чтобы можно было историю различить от сказки. Многие сказки имеют в себе много правды, но историею их назвать нельзя, которой свойство состоит в том, дабы не только человеческое любопытство уведомлять о прошедших делах, но и важностию речей и разными полезными рассуждениями научать тех, кои довольного просвещения не имеют. Когда же бы только просто безо всяких поучительных рассуждений исторические действия были описаны, то многие, естли бы им в подобные обстоятельства впасть случилось, не знали бы, как себе или другим помочь и от оных или освободиться, когда они вредные, или оным следовать, когда полезны».

Говорить о религии славянских племен Эмин не хочет по следующим причинам: «Разные оные народы разные имели веры, которых описание было бы напрасно как потому, что историки ни в повествовании о том весьма несогласны, так по той причине, что читателям весьма бы противно было читать такие древние обыкновения, которые ныне и ушам человеческим противны; да и что за польза видеть на письме мерзость в невежестве погруженного народа? Правда, что любопытство человеческое и такие описания довольствоваться могут. Но не должен ли летописец в описании своем скромность в высочайшей наблюдать степени?»¹⁰⁹

Несогласие историков, удержавшее Эмина от мифологических исследований, не могло удержать его от вопроса о происхождении

¹⁰⁹ 1, стр. 17 // Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойные памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере златого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. Сочиненная Федором Эмином. Т. I. СПб., 1767. С. 17—21.

племен, и мы обязаны ему мнением, что авары были славяне. «Из всех Славянского народа колен, — говорит он, — обрии были жестокосердее и храбростию своею всех своих иноплеменцов превосходили»¹¹⁰. Говоря о чудском племени, Эмин не удержался, чтобы не сказать о главном божестве его — Юмале; он изменил здесь своей привычке не говорить о языческих божествах, потому что не хотел скрыть от своих читателей следующей гениальной догадки: «Сей народ (Чудь) поклонялся идолу Ямоллу. Ливонцы и Финцы тем именем Бога называют. Чаятельно, что некоторые Африканцы в то время в Чудь по какому-нибудь случаю преселились, и от них произошли некоторые знатные Российского дворянства фамилии. Ибо между Готами множество Славян и Чуди воевало, а те с оружием своим до Африки простирались. Константин Порфирогенит, Царь Греческой, в Администрации своей пишет, что Руссы и Чудь издревле даже до Египта езжали морем. Почему не удивительно, что между Чюдами Рускими жили многие Египтяне и Африканцы. От того произошло, что в Чюдском языке не мало есть слов Арабских. Я Алла есть слово Африканское или, лучше сказать, Арабское, которым-то языком все Африканцы говорят. Арабы в случаях своего несчастья употребляют сие восклицание: я Алла! То есть о Боже! Статься может, что в Чюди поселившиеся Африканцы, употребляя в своих злключениях восклицательным образом имя Божие, были тому причиною, что Чюды, сделав себе идола, дали оному имя вместо я Алла — Ямалла, а потом Финцы и прочие народы тем именем Бога называть начали»¹¹¹.

Мы видели, что Эмин в предисловии обещал заставить Гостомысла говорить речь, сообразную духу того времени; вот эта речь: «Вижу, что между нами единства нет. Каждый из нас по своей мысли и прихоти править и судить хочет, не зная, что его правление немного продлжится и что от частых таких перемен земли наши разорятся. Неприятели к нам придут, поимут наших жен и будут творить с ними по своей воле и похоти. Мы с детьми нашими будем привязаны по хлевам, и будут нас продавать вместо скота. А кто не имеет волов, тот на хребте нашем все потребное возить будет. Девуцы наши претерпят бесчестное насилие, и мы, зря чады наши, стыдом и кровию покрыты, будем слезами обливаться, не могучи им сотворити никакого вспоможения. Помыслите, друзья, о сем и ужаснитесь в сердцах ваших»¹¹² и проч. Прибытие Рюрика с братьями описывается следующим образом: «Рюрик, Синеус и Трувор со многочисленною свитою прибыли к Славянам, которые, вышед из города несколько верст, встречали их с чрезмерною радостью. Гостомысл больше всех был рад прибытию сих Князей, от которых

¹¹⁰ I, стр. 21.

¹¹¹ I, стр. 39.

¹¹² I, стр. 59.

он надеялся отрады и освобождения отечества от междоусобия, которым оно многократно было угнетаемо. Князья — Рюрик, Синеус и Трувор столько к народу показывали благосклонности, сколько оный имел радости, увидя сих смиренного вида Князей»¹¹³.

О браке Игоря с Ольгою читаем: «Бракосочетание их было торжественно с великою радостью народа и с приличными такому случаю увеселениями; ибо в то время первый из Славянских Князей, в Севере владеющих, был Игорь, который торжественно с Ольгою и при множестве народа во храме Перуна вступил в супружество. По той причине радость и удивление народа, думать можно, что были чрезвычайны»¹¹⁴.

Нападение воинов Ольги на древлян описывается так: «Яко разъяренные львы, которые, долгое время не имея пищи, нашед какого-либо зверя, в малые оного терзают частицы; так Киевцы, долгое время слушая Древлян, поносящих бывшего их государя имя, и за то отмстить времени ожидая, с чрезмерною на них бросались яростию и в мельчайшие мечами своими их рассекали частицы. Ольга, паки взошед на могилу своего супруга, прослезясь, сии промолвила слова: «Приими, любезный супруг, сию жертву и не думай, что она последняя. Сколько сил моих будет, стараться не премину о конечном убийцев твоих разорении»¹¹⁵.

Святослав на советы Ольги принять христианство отвечает следующей речью: «Нелегко и недолговременную переменить привычку; кольми паче трудно закон истребить из памяти, к коему человек привык с младолетства и к которому при начале нашей жизни родителями нашими почтение внушено. Я теперь намерен испытать ту подданных моих любовь, которой давно великие вижу опыты. Естли же теперь пред моим походом стану их принуждать, чтобы они от своего отступили закона, то любовь ко мне в сердцах их погаснет. Положим, хотя бы они теперь и крестились; но я сегодня отправляюсь в поход; полки мои уже все выступили в поле. В один день, ниже в неделю, естли бы я и на столько хотел отложить свой поход, христианскому закону они обучиться не могут, а свой потеряют; в таком случае будут они со мною продолжать путь, не имея никакого закона. Чего же можно надеяться от людей, зверям подобных и никакого закона не знающих?» и проч.¹¹⁶

Какое Эмин сам имел мнение о своих заслугах, видно из следующих слов его: «Могут со временем такие сыскаяться летописи, которые историю мою или поправят либо обогатят, и такие пера, которые будут счастливее моего; но то сказать смею, что большую поло-

¹¹³ I, стр. 70.

¹¹⁴ I, стр. 114.

¹¹⁵ I, стр. 189.

¹¹⁶ I, стр. 210.

вину тернистой и густотою суеверия, непросвещения и противоречий заросшей дороги я им очистил, а инде и совсем новые открыл стези, которые прежде моего писания были неизвестны».

VIII. И. П. ЕЛАГИН

Риторическая школа еще не достигла своих крайностей в сочинении Эмина: она достигла их в сочинении Елагина «*Опыт повествования о России*». Елагин, подобно Эмину, был литератор, славился своим красным слогом и вот на старости лет счел за полезное посвятить этот свой красный слог отечественной истории. Елагин сам объявляет на первых строках предуведомления, что он принялся за сочинение русской истории так, от нечего делать: «Не тщеславие, но непривычка к праздности и времени избыток суть виною сего сочинения». Риторическое направление Елагина высказалось в его отзыве о предшествовавших ему писателях русской истории; он говорит, что «не нашел в них ничего, деяниям достойного; нет в них ни слога приличного, ни описания важности, ни верви, повествованию свойственной, ни же внимательного к разбору дел и к услаждению читателя старания. Слабое в летописях изображение лиц действующих весьма недостаточно к возбуждению страстей правилами витийства, от писателей требуемого; и самые предлагаемые без причин и порядка действия недовольны к удовлетворению любопытства».

«Повествователь, — по мнению Елагина, — занимает краткости наше соображение и острою рассудок. Он учит нас любознанию и политике, но не вводит в скучное училищ преподавание. Се есть существенная его должность!» И вот с целию научить любознанию и политике Елагин объявляет, что в Новгороде во времена язычества был сенат, диктатура, *Magister equitum*, что посадник был вместе и верховным жрецом; в Холмограде, недалеко от Новгорода, Елагин почел необходимым поместить седалище первосвященника, хранилище богов и капище идолослужения. О религии древних славян автор говорит, что «вера наших предков ослепляла та же самая, какая в Египте, Греции и Риме была: Сатиры или лешие землю, Нимфы или русалки воду, неугасимые по многим местам огни, огонь и полет вещающих птиц воздух у них представляли»¹¹⁷.

Из упомянутого описания новгородского устройства уже можно догадаться, на какие ходули будут подняты последующие явления: так, например, описывается состояние Киева при Олеге: «По про-

¹¹⁷ Стр. 120 // Опыт повествования о России. Сочинение Ивана Елагина. начатое на 65-м году от его рождения, лета от Р. X. 1790, двора его императорского величества обер-гофмейстера. Кн. I. М., 1803. С. 120.

шествии Угров до 902 года упражнялся Олег в благоустройении государства и в утверждении в подданстве народов покоренных. Киев под державою его вознес горделивую главу над пространством земель обширных и над множеством городов, ему подверженных. Стечением отвсюду народа распространился сей престольный град, и Греческая в здании и домов красота являться в нем стала. Торговля привлекла Болгаров и прочих чужеземцев и приносила в него богатство; а Цареградцы, деющие куплю, благонравие поселяли»¹¹⁸. Битву киевских полков с древлянами, когда ребенок Святослав пустил первое копьё, упавшее к ногам его лошади, Елагин описывает так: «Святослав, подобно юному льву, первое стадо овец гонящему, летает по рядам вражиим, и лютая смерть пред пенящимся в ярости конем его парит. Все падает от мышц его размахов. Кони и всадники супостат пораженных бугристый творят за ним помост; а противостоящих ему ни броня, ни отважность, ни самый бег от смертоносных его ударов не спасают. Лиющаяся струями окрест его кровь указывает его следы вождям и ратникам, бесстрашно ему следующим. Неприятель уступает храбрости; облегчается бросанием тяжкого оружия и совершенному вдается побегу. Страх и меч бегущих ко граду провождают; одни теснятся во врата и затворяются в стенах; другие остаются за рвом и в жертву смерти на бранном предаются поле; а прочие все разными путями в разные града свои удаляются. Тако кончился бой, и победа первыми Святослава увенчала лаврами. Без отдохновения посылает герой отряды войск своих на покорение области и градов отдаленных; а сам облежание Искореста предприимлет»¹¹⁹.

Елагин довершает свой труд достойным образом, утверждая, что летописное предание о присылке к Владимиру послов от разноречивых народов с увещаниями было не иное что, как театральное представление, устроенное гречанкою, женою в. князя¹²⁰.

IX. МИТРОПОЛИТ ПЛАТОН

Над сочинением Эмина произнес строгой приговор Шлёцер, над сочинением Елагина — митрополит Платон, которого труд («Краткая церковная Российская история») с честью заканчивает в нашей исторической литературе XVIII и начинается XIX век. Подобно Елагину, и Платон занялся своим трудом в преклонной старости, 68 лет, но в противоположность автору «Опыта» запечатлел свое сочинение печатью могучего, юного таланта. Мы приведем сперва отзыв Платона об Елагине: «Не могу оставить при сем, чтоб не

¹¹⁸ Стр 194

¹¹⁹ Стр 256

¹²⁰ Стр 392

упомянуть о странном повествовании писателя помянутого «Опыта», который, в противность всех наших летописцев, не приемлет, чтоб к Владимиру были посланные от разных народов, склоняющие его к принятию каждый своей веры, а утверждает, что сие все представляла на театре жена Владимирова... Таковое суетное и из неочищенного духа происшедшее мечтание и опровержения не требует, яко с первого взгляду само собою странное. Какие при Владимире театры? Какие в Греческих монастырях у монахинь театральные представления?.. Мню, что сие произошло от излишнего о себе самом мечтания и чтоб блеснуть какою-нибудь новизною, может быть уверяя себя, что и другим, таковым же, каков он, будет служить то к увеселению... Я почитаю сие плодом малопросвещенного, но высокомерного о себе воображения; он, как бы любясь, сам себе говорил: *чего не знаю я?*¹²¹

Для образца собственных взглядов Платона приведем суждение его о древней славянской религии, которое и теперь поражает нас своею свежестию и верностию: «Примечания достойно, что в Руси едва ли были храмы и жрецы. Летописцы пишут, что Перунов идол стоял в Кieve на холме; тот же Перун в Новгороде на берегу реки Волхова; в Ростове бог Велес, или Волос, на поле; а нигде в летописцах наших ни о храмах, ни о жрецах не упоминается. И кажется, никак бы нельзя оставить, чтоб где-нибудь летописцам не помянуть, что при введении Христианства храмы их разрушены или на церкви пременены, так как в историях других народов обыкновенно о сем упоминается особливо, когда повествуют о разрушении идолов; как же миновать, чтоб о их храмах ничего не вспомнить, ежели они были? Поминается, что при разрушении идолов истребляемы были и *требища*; но *требища* не суть храмы, или капища, а жертвенники или особо устроенные открытые места, на коих жертвы приносимы были. Да и никаких нигде в Кieve и других местах не найдено ни развалин, ни следов, чтоб там были когда-либо языческие прежних Русских храмы, хотя таковые развалины во многих народах, где были храмы, и доселе видны. Но и о жрецах никак бы не могло быть опущено, чтоб об них не помянуть где-нибудь; особливо что ежели кому, то жрецам должно было быть весьма прискорбно разрушение идолопоклонства и их прежнего служения и состояния. И конечно бы, не оставлено было сказать, что они о том или негодовали, или противились, или какие представления делали, или при отправлении жертв действовали. Но всего того ни в какой нашей летописи не приметно. Требовали, например, Христианина на заклятие богам: сие бы весьма могло присвоено быть жрецам, по ненависти их и злобе к Христианству;

¹²¹ 1, стр 27 // Церковная Российская краткая история, сочиненная Платоном, митрополитом Московским, с присовокуплением Трех слов Максима Грека о исправлении славянских церковных книг Ч 1, 2 М., 1805

но сего нет. А сказано в Несторе, что сего требовали *старцы*, то есть старейшины, и князи, и народ. Из сего можно заключить, что всяк мог жертву приносить идолам, на открытых местах стоящим, когда бы по каким-либо случаям заблагорассудил. А потому едва ли были какие-либо установленные для празднования дни или для жертвоприношения обряды. Всяк как хотел и когда хотел жертву приносил, и правилом служило обыкновение. Ежели сие правда, что в Руси ни храмов, ни жрецов не было, как то без дальнего сомнения утвердить следует: то сие может почесть весьма приметным знаком Русского народа, отличающим его от всех почти других народов. Сие особенное Русского народа свойство чему приписать? Особенному ли просвещению, что они почли обидным для богов, чтобы их в храмах, яко в темнице заключать, а служить им на открытом воздухе и всякому почитать себя жрецом богов, или крайнему невежеству и дикости? О сем представляю другим рассуждать и заключать».

Знаменитый старец отступил перед страшным вопросом, о решении которого должны были завести горячий спор последующие поколения уже относительно всей нашей древней истории.

Нельзя также не привести мнения Платона о Самозванце. Уже князь Щербатов догадывался, что первый Лжедмитрий был орудием для чужих замыслов. Митрополит Платон также утверждает, что Самозванец был подставлен другими; вот его слова: «Утверждаю общее со всеми нашими писателями, что Гришка не был царевич Димитрий, но точный Самозванец, отваживаюсь изъяснить мое новое мнение, что сей первый самозванец не был и Гришка Отрепьев, дворянина Галицкого сын, но некто подставной, от некоторых хитрых злодеев выдуманный и подставленный, чужестранный или Россиянин; или, может быть, и самый Гришка Отрепьев, Галицкого мелкого дворянина сын, но давно к тому от злоумышленников приготовленный, расположенный и обработанный; а не тот, которого наши летописцы выдают; или и тот, но не таким образом все сие дело происходило, как они описывают, утверждая свое описание только на одних наружных и открывшихся обстоятельствах, а не проникая во глубину сего злохитрого и огромного замысла...»¹²² «Мнение же сие утверждаю я нижеследующим: совсем непостижимо, а потому и невозможно, чтоб мелкого дворянина сыну, в дальнем и диком Галицком уезде воспитанному, и в самой младости, 14 или 15 лет сущему, могло прийти когда на мысль, чтобы себя почесть и разглашать, что он царевич Димитрий»¹²³ и проч. Платон приписывает подстановку Лжедмитрия иезуитам.

Возвышаясь талантом, правильностию исторического взгляда над современными историками, митрополит Платон отличался от

¹²² Стр 168.

¹²³ Стр 172.

Елагина с товарищи и скромностию, с какой отзывался о своем незабвенном труде: «О сем моем сочинении я не велемудрствую и не почитаю оное в своем роде совершенным, но еще может быть, и недостаточным, а негде, мню, и погрешительным. Но по крайней мере, по неимению доселе никакой церковной Российской истории, послужит оно в духовных училищах к некоторой пользе, хотя на время, а тем, кои просвещеннее и с большим в сию материю вниманием взойдут, подаст оно случай обстоятельнее и исправнее издать Российскую церковную историю. Почему от таковых и ожидаю, что они недостатки мои своим благоразумием дополнят и погрешности исправят, и в большей полноте и точности издадут повествование о деяниях Российской Церкви. А всех читателей прошу, дабы, найдя какие-либо в сем издании недостатки, извинили меня моею старостию: ибо, уже быв 68 лет, в сей труд вступил я».

ДРЕВНЯЯ РОССИЯ

«Персы говорят, что финикияне были первыми виновниками вражды между Европою и Азией, потому что они в Аргосе похитили греческих женщин; греки старались отомстить им за это. Потом Александр, сын Приама, похитил Елену из Лакедемона. Персы говорят: если похищать женщин есть дело несправедливое и достойное наказания, то, с другой стороны, стараться мстить за подобного рода оскорбления есть дело людей неразумных. Азиаты никогда не придавали большой важности этим похищениям, тогда как греки из-за лакедемонянки разрушили Трою».

Так Геродот начинает свой знаменитый рассказ, который с таким восторгом слушали греки, которому с таким участием внимают все образованные народы. Это участие объясняется легко: Геродот рассказывает о великой борьбе между греками и персами, между Европою и Азией, борьбе, в которой нравственные силы восторжествовали над силами материальными, европейское качество победило азиатское количество. Наше сочувствие к победителям в этой борьбе возбуждается уже первыми строками Геродотова рассказа, ибо в этих строках мы уже ясно видим различие между Европою и Азией и причину постоянной борьбы между ними. Азиатец для удовлетворения своей чувственности похищает женщину у европейца; сын Приама нарушает семейную святыню, на которой зиждется европейское общество, и грек жестоко мстит ему за оскорбление: величайший эпос, оставленный нам древним миром, имеет содержанием своим эту месть. Азиатец никак не может понять этого: мстить за похищение женщины он считает делом неразумным. По его мнению, на такое оскорбление не стоит обращать большого внимания, ибо для него женщина — вещь, и потому он считает себя вправе иметь много жен и не заботиться, когда у него их похищают. Иначе смотрел на дело грек, представитель Европы и потому однополовец: из-за одной лакедемонянки он разрушил Трою. Так великий историк древнего мира подметил существенное различие между Европою и Азией и обозначением его начал рассказ свой о борьбе между ними.

Борьба с Азией, которую должны были вести греки во все про-

должение своей истории, условливалась географическим положением страны их, юго-восточной европейской украины, где поэтому с незапамятных времен должны были происходить столкновения европейских народов с азиатскими. Когда историческая жизнь Европы сосредоточивалась на берегах Средиземного моря, когда здесь сосредоточивались духовные, нравственные силы европейского народонаселения, — тогда видим блистательные торжества Греции над Азией; тогда последний герой Греции, Александр Македонский, успел разрушить империю Ксеркса. По следам героев греческих шли римские легионы для завладения богатыми остатками Александровой добычи, и Азия долго должна была признавать владычество Европы. Но когда историческая жизнь начала отливать с юга Европы на север; когда Греция и Рим передали свою деятельность новым, молодым народам: германцам на западе и славянам на востоке — тогда Азия начала опять наступательные движения на юго-восточную европейскую Украину. Несмотря на то что здесь Римская империя сосредоточила последние свои силы, Новый Рим, Византия сравнительно с новыми, юными государствами Европы представляла одряхлевшее здание и потому не могла долго выносить тяжелых ударов азиатского народа. Таким образом, из всех европейских стран добычею Азии сделалась именно та знаменитая страна, которая в древности прославилась своим торжеством над Азией; представительница древнего мира, Византия пала перед турками, в то время когда новые государства на двух противоположных концах — Россия на северо-востоке, Испания на юго-западе — отбились с торжеством от азиатцев: Россия — от татар, Испания — от аравитян.

Подобно юго-восточной европейской Украине, Греции, северо-восточная европейская Украина, принявшая с половины IX века название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатцами, первая принимает на себя их удары. В то время как юго-восточная Украина, Греция, с таким успехом, с такою славой отбивалась от персов, северо-восточная Украина, сколько знала ее тогда история, находилась под владычеством кочевых азиатцев, которым оседлое народонаселение рабствовало. Такой порядок вещей продолжался до половины IX века по Р.Х. Славянские предания сохранили память об азиатских движениях, об этих исполинах (обрах, аварах), гордых своею материальною силою и любящих показывать эту силу над существами слабыми, что так противно тем нравственным понятиям, которыми отличались народы европейские; предание говорит, что когда нужно было ехать обрину, то он не велел впрягать в телегу ни коня, ни вола, но приказывал впрягать по три, по четыре, по пяти женщин. Были обры, продолжает то же предание, телом велики и умом горды, и Бог истребил их, все померли, не осталось ни одного, есть поговорка на Руси и теперь: «Погибли как обры». Но гибель

обров не спасла славян от ига других азиатцев. Только с основания Русского государства начинается освобождение славянских племен, оседлого европейского народонаселения восточной Украины от ига кочевых и полукочевых азиатцев. Новое государство берет на себя удары степных хищников, долго борется с переменным счастьем. Но вот в XIII веке Азия вследствие сильного движения в степях своих высылает на запад бесчисленные толпы кочевников — Русь склоняется перед ними, но не погибает под их ударами, собирает силы, и, в то время как Византия падает пред турками, Россия, Московское государство торжествует над татарами и начинает в свою очередь наступательное движение на Азию. Что же дало России силы устоять против Азии и потом явиться великою державою среди держав европейских? Эти силы должны были быть силы нравственные, ибо материальные были, бесспорно, на стороне Азии.

В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенца. Так бывает и в обществах человеческих: одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские вследствие слабости несложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV века представляет непрерывные убоицы: «Тогда земля сеялась и росла убоицами; в княжих крамолах век человеческий сокращался. Тогда по Русской земле редко раздавались крики земледельцев, но часто каркали вороны, деля между собою трупы; часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: «Это мое, а это мое же», и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на Землю Русскую. Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями; тоска разлилась по Русской Земле». Русь превратилась в стан воинский; бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно?

Общество может существовать только при условии жертвы, когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему. Общество образовалось не по контракту, как думали в XVIII веке; члены первоначального общества не договаривались жертвовать личным интересом общему; но, как провозгласил великий философ древности, человек есть животное общественное, и потому первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, уже основано на жертве: отец и мать перестают жить для самих себя и живут для существ, от них рожденных. Общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что

основа общества есть жертва; Греция была на вершине внутренней силы и могущества, когда за нее умирал Леонид; Рим — когда за него умирал Деций; и благо тому обществу, где молодое поколение воспитывается в сочувствии Леонидам и Дециям, в сочувствии бессмертным творениям, прославляющим их подвиги. Но если основа общества есть жертва, если общество тем крепче, чем яснее сознает эту основу свою, то понятно, как могущественно должна содействовать укреплению общества религия, проповедующая Великую Жертву, принесенную за мир.

Менее чем по прошествии 150 лет по основании государства религия христианская была провозглашена господствующею на Руси, и легко заметить, как эта религия в трудные времена государственного младенчества поддерживала общество в его основе. Юный народ при сильном кипении страстей, при отсутствии тех сдержек, которые могут выработаться обществом только после долгой государственной жизни, — юный народ увлекался часто к нарушению нравственных законов. Но та же самая сила молодости давала лучшим природам средства, когда раздавались слова спасения, с неустойчивым могуществом стремиться в другую, лучшую сферу и являть подвиг добра, подвиг силы нравственной подле подвига силы материальной, подле дела насилия; та же самая сила молодости, которая с неустойчивою стремительностью влекла к падению, та же самая сила помогла человеку встать после падения и заглазить дурные дела подвигом покаяния.

Переходы от зла к добру были быстры в юном, свежем, могучем народе, и эта самая быстрота движения содействовала к поддержанию общества, делая его способным подчиняться спасительному влиянию учения христианского. Сильны были болезни в неустроенном юном теле; но благодаря этой юности сильные были и противодействия болезням, охранявшие тело от разрушения. Как сильные были нравственные беспорядки, как часто были насилия, так же сильны были и подвиги нравственные лучших людей, так же сильна была борьба их со страстями, с требованиями материальной природы; так же велики лишения, которым они подвергались во имя природы нравственной, чтобы дать ей торжество над материальною. Навстречу богатырю, гордому своею вещественною силою, безнаказанно дающему волю страстям своим, выходил другой богатырь, ополченный нравственною силою, величием нравственного подвига, славою торжества духа над плотию, — выходил монах, и в борьбе этих двух богатырей юное общество было на стороне второго, ибо хорошо понимало, что его подвиг выше, труднее, и этим сочувствием заставляло первого богатыря признавать себя побежденным, снимать свой железный панцирь и просить другого, более почетного — мантии монашеской.

Таково было значение нашего древнего монашества, нашего древнего монастыря. Подле городов, острожков, строившихся для

защиты материальной, мы видим ряд монастырей, этих твердынь, явившихся для нравственной охраны общества; то были светлые точки при тогдашнем мраке; к ним обращались лучшие люди за советом, за подкреплением нравственным; отсюда преимущественно исходили голоса, напоминавшие о высших, духовных началах, которыми должно спасаться общество; отсюда исходила проповедь не словом только, но делом, следовательно, более действительная, более благотворная. И общество спаслось тем, что внимало этой проповеди, и внимало неравнодушно: обитатели монастырей, умершие для мира, были так живы, так исполнены святой ревности, что не могли допустить равнодушия к тому, к чему сами были неравнодушны, и общество было так юно, так свежо, сильно и живо, что не могло равнодушно внимать слову, оживленному делом. Общество спаслось тем, что, внимая проповеди о лучшем, не мирилось со злом; при увлечении грубыми страстями, при падении не теряло сознание о греховности падения, о необходимости удовлетворить высшим требованиям, и это-то сознание и препятствовало обществу закоснеть во зле, оно-то и двигало его вперед, и давало возможность выхода в быт лучший.

Эта юность древнего русского человека, как и вообще средневекового европейца; юность, условливавшая быстрые переходы от зла к добру; юность, стремительно увлекавшая ко злу и потом дававшая силы загладить зло подвигами добра при сознании о необходимости удовлетворить высшим нравственным требованиям,— эта юность дает историку ключ к уразумению характера действующих лиц. Некоторые, например, обнаруживают сомнение относительно верности летописных известий о знаменитом Ермаке, сперва буйно разгуливавшем по Волге, широкому раздолью казацкому, а потом, во время сибирского похода, сделавшемся чрезвычайно религиозным, наложившем на себя и на всю дружину свою обет целомудрия. Но если мы не хотим верить летописцу, подозреваем его в намеренном изменении характера, не понимаем быстрого перехода от волжского казака к благочестивому предводителю, который дает своему походу значение религиозное, то должны поверить древней народной песне, которая представляет своих героев вполне соответственно характеру времени.

Герой одной из старинных народных песен богатырь Василий Буслаев предпринимает путешествие ко Святым местам, подвиг, вовсе не соответствующий его прежним подвигам, и при этом говорит: «Смолоду много было бито, граблено, под конец надо душу спасти». Этот наш Василий Буслаев объясняет нам не только характер древнего русского человека, но и характер средневекового европейца вообще: и на Западе рыцарь, славный смолоду насилиями, вдруг приходил в сознание своей греховности и спешил спасти душу подвигом религиозным. И здесь, и там, и на Востоке, и на Западе, общество поддерживалось тем, что члены его имели способ-

ность, имели силу быстро переходить от зла к добру; увлекаясь бурными страстями молодости ко злу, сохраняли при этом силу не мириться со злом, сохраняли способность покаяния — признак нравственного могущества, залог преуспевания. Общество поддерживалось тем, что на всех его явлениях лежала печать юности, которая уравновешивала силы нравственные и материальные: против сильной болезни выставлялось и сильное лекарство; подле рыцаря или богатыря, представителя силы материальной, общество могло выставить монаха, представителя силы нравственной, подвижника духовного. Отсюда эти два образа, богатырь (или рыцарь) и монах, суть два господствующие образа средних веков, и понятно, что оба они часто соединяются в один, часто под мантиею инока мы подмечаем кольчугу богатыря; неудивительно нам в древних русских князьях и богатырях видеть это стремление к монашеству, это желание постригаться, хотя перед смертью; неудивительно читать в сказании, что в первых рядах русского войска на Куликовском поле бились два монаха; на Западе же встречаем военно-монашеские ордена, в которых средние века так ясно отпечатлеваются.

Между тем общество мужало; Земля собиралась; утверждалось единовластие. Но эти явления не могли произойти без борьбы, борьбы тяжелой, кровавой, ибо все, что держалось старым порядком вещей, все, что находило в его сохранении свои выгоды, должно было бороться отчаянно. В таких отчаянных борьбах не бывает хладнокровия, не бывает умеренности; действуя по инстинкту самосохранения, противники не щадят друг друга; падшим нет пощады. Таковы были на Руси последние усобицы княжеские, такова была борьба государей Московских с притязаниями людей, смотревших назад, которым новый порядок вещей не представлял тех выгод, какие представляла старина. Борьба эта, начавшаяся во времена Иоанна III, продолжавшаяся при сыне его Василии, доведена была до страшных крайностей при Иоанне IV. При борьбе с таким характером, при развитии чувства самосохранения, при частых насилиях, к которым привыкли, гражданские чувства, на которых зиждется общество, ослаблялись все более и более; сознание о необходимости пожертвования частным благом общему, о необходимости бескорыстного исполнения общественных обязанностей затмевалось; на происходившее отсюда зло слышались отовсюду громкие жалобы, зло сознавалось, но не сознавались настоящие, действительные средства для его уничтожения. Общество показывало признаки страшной внутренней болезни, и в то же время на границах государства, в степях, толпились люди, разрознившие свои интересы с интересами государства, — люди, хотевшие жить чужим трудом, люди, искавшие в степях безнаказанного удовлетворения своим противобщественным привычкам; как хищные птицы, они толпились около пораженного тяжелою болезнью тела,

ождая удобной минуты беспрепятственно напасть на него. Они ждали недолго, Смутное время начиналось.

Оно началось кровью младенца, пролитою в Угличе. За убийством следовал обман; явился самозванец, Лжедмитрий, или заставил его явиться. Когда это орудие оказалось более ненужным и опасным, то от него поспешили избавиться с помощью заговора, обмана, мятежа, убийства; закричали, что поляки бьют того, кого большинство признавало царем Димитрием; граждане, не участвовавшие в заговоре, бросились защищать этого Димитрия; но им выкинули обезображенный труп его, крича, что он был злодей, обманщик, еретик и чернокнижник. Его место занял новый царь, главный участник в гибели своего предшественника. Недавно области получили из Москвы известие, что Годунов был похититель престола, что законный наследник, сын царя Иоанна, явился и низложил Годунова; области поверили, ибо привыкли верить известиям, приходившим к ним из Москвы. Но вот приходит к ним другая весть из Москвы: что тот, кого Москва признала Димитрием, истинным сыном царя Иоанна, обманул ее, явился еретиком, чернокнижником, вследствие чего и погиб, а на месте его сидит другой, которого области должны признавать царем законным.

Вследствие этого признания в обмане, вследствие темноты дела, отсутствия подробностей в известиях о нем рушилась нравственная связь между Москвою и областями, которые потеряли к ней доверие; явились смуты, колебание, шатость, по тогдашнему выражению. Не знали, кому и чему верить, когда опять явился Димитрий с объявлением, что он спасся от вторичного покушения на его жизнь; потерявши веру в одно законное, всеми признанное, впали, естественно, в суеверие, начали верить всем и всему; дух лжи повеял гибелью на государство. Вследствие потери доверия и сочувствия ко власти, в Москве пребывающей, вследствие отсутствия твердой опоры нравственной у граждан добрых отнялись дух и руки, у злых же, напротив, развязались руки на всякое зло, им открылась полная возможность преследовать свои личные, корыстные цели в ущерб пользе общественной. Толпы степных отверженных общества потянулись на опустошение государства под знаменами разноименных самозванцев; к ним примкнуло много внутренних отверженных общества, воспользовавшихся случаем пожить на чужой счет; люди более значительные, которые не надеялись получить почестей и выгодных мест от Шуйского в Москве, потянулись к царю в Тушино; когда царик ослабел, стали продаваться королю польскому за богатые пожалования. От этого страшного разврата, от принесения общей пользы в жертву личным расчетам и корыстям, государство быстрыми шагами шло к гибели, становилось предметом презрения и посмеяния для народов соседних, уже заранее деливших легкую добычу.

Между добрыми гражданами обнаружилось движение для подаяния помощи государству; но это движение сначала обнаружилось во имя материальных интересов, нарушаемых приверженцами Тушинского вора, причем у граждан выказалось также колебание, равнодушие, а все это не могло произвести движения сильного, единодушного. Устюжане писали к вычегодцам: «В Ярославле правят тушинцы по осьмнадцати рублей с сохи, а у торговых людей у всех товары переписали и в полки отсылают. Пожалуйте, помыслите с миром крепко и не спешите крест целовать (Лжедмитрию); не угадать, на чем совершится; если послышим, что Бог пошлет гнев свой праведный на всю Русскую землю, то еще до нас далеко, успеем с повинною послать». Устюжане решили не целовать креста тому, кто называется царем Дмитрием, стоять накрепко и людей собирать. «Не будем целовать крест тому, кто называется царем Дмитрием», — говорили граждане; следовательно, они вовсе не убеждены в самозванстве Тушинского царика и потому не убеждены в законности Шуйского; не будем целовать крест, ибо приверженцы Тушинского царя разоряют поддавшиеся им города: ясно, что побуждением к сопротивлению служат одни материальные интересы; подождем, до нас далеко, еще успеем крест поцеловать Дмитрию, если он возьмет верх над соперником своим: эти слова показывают господствующую мысль об одних себе.

С такими господствующими мыслями нельзя было спасти государство. Приведенные в ужас неистовствами самозванцев, граждане ждали спасения от успехов племянника царского, князя Скопина-Шуйского; на него возлагали всю надежду, в нем видели точку опоры для настоящего и будущего. Но Провидению угодно было путем испытаний довести Московское государство до полного очищения; Провидению не угодно было, чтобы государство спаслось верою в человека, и Скопин-Шуйский умер внезапною смертию. Поляки и Лжедмитрий явились под Москвою, которая должна была выбирать между ними и выбрала в цари Владислава, но отец его Сигизмунд захотел сам царствовать в Москве, Сигизмунд — притеснитель православия в своих владениях. Вере отцов стала грозить страшная опасность от замыслов Сигизмундовых; интерес высший, духовный, интерес религиозный выступает на первое место, отстраняя все другие материальные интересы, и чрез это открывается возможность к спасению.

Земля встала; собралось ополчение и пошло для очищения Москвы от поляков. Но ополчение это не имело успеха, ибо полного нравственного очищения еще не было. Во главе ополчения стоял Ляпунов, человек даровитый, с природою сильною, но вместе с тем человек плоти и крови, человек, дававший полную волю своим страстям, менее всякого другого способный сознать, что основа общества есть жертва; что для успеха общего святого дела необходимо принести самую тяжелую для человека жертву — пожертво-

вать страстями своими. «Отецким детям, — говорит летописец, — было много от Ляпунова позору и бесчестия, не только детям боярским, но и самим боярам: придут к нему на поклон и долго дожидаются у его избы, пока выйдет; никого не пускал к себе прямо, и при малейшем прекословии, при малейшем неудовольствии бранные речи сыпались на всех без разбора». Помраченный страстями ум Ляпунова не мог понять, что дело чистое может быть совершено только людьми чистыми; страсти не позволяли Ляпунову никогда разбирать средств для достижения цели. Из ненависти к Шуйскому, из желания действовать на первом плане он сам стоял прежде под знаменами самозванца и теперь пригласил хищные толпы Заруцкого, Просовецкого и других действовать заодно с добрыми гражданами, со служилыми людьми государства для его очищения. Ляпунов пал жертвою этого непонимания дела: казаки убили его. Но тут всего яснее обнаружилось, как вследствие тяжелых испытаний нравственные силы общества уже были напряжены; как лучшие люди достигли до сознания о необходимости жертвы — явился признак выздоровления общественного тела: при убийстве Ляпунова враг его Ржевский бросился к нему на помощь и пал вместе с ним под ударами убийц.

Общество, в котором граждане умеют умирать, как умер Ржевский, не может погибнуть вследствие гибели одного человека. Города, объявляя друг другу о гибели Ляпунова, не обнаруживают нисколько признаков отчаяния в деле спасения государства; напротив, показывают твердую решимость продолжать начатое дело; они пишут: «Под Московю промышленника и поборателя по Христовой вере, который стоял за православную веру и за Московское государство, Прокофья Петровича Ляпунова казаки убили. Но мы все сговорились, чтоб быть нам всем в совете и в соединении, за Московское государство стоять и держать приговор крепко до тех пор, пока нам даст Бог на Московское государство государя; и выбрать бы нам на Московское государство государя всею Землею Российской державы; а если казаки станут выбирать государя по своему изволению, одни, не сославшись со всею Землею, то нам такого государя на государство не хотеть».

И действительно, несмотря на временное торжество шаек Заруцкого и Просовецкого, присягнувших третьему самозванцу по смерти Ляпунова, несмотря на то что враги внешние овладели и Смоленском и Новгородом Великим, несмотря на то что материальные силы государства были повсюду поражены, нравственные силы росли день ото дня. Среди немощи человеческой слышался голос Бога живого — и мертвое оживлялось, как некогда пред очами пророка; кость слагалась с костию и облекалась плотию, и веял дух. Явилось сознание о необходимости всеобщего нравственного очищения, сознание, выразившееся во всеобщем строгом посте, и вот наконец послышались слова, которые показывали ясно, что

общество путем испытаний поняло наконец, что должно его спасти; поняло, что основа общества есть жертва. «Будет нам похотеть помочь Московскому государству, — говорил Минин в Нижнем Новгороде, — то не жалеть нам животов своих, не жалеть и дворы свои продавать, и жен и детей закладывать».

Что говорил Минин, то было на мысли, то было на сердце у всех, и потому все встали на слова Минина. Поднялись последние, основные, коренные люди. Бури Смутного времени смели людей более или менее слабых нравственно, способных колебаться, шататься, подобно Ляпунову, увлекаться в разные стороны страстями своими; теперь дело дошло до людей крепких, основных, которые противопоставили бурям, поднятым врагами внутренними и внешними, несокрушимую нравственную твердость. «Как Иерусалим был очищен последними людьми, — говорит летописец, — так и в Московском государстве последние люди собрались и пошли против безбожных латын и против своих изменников». Второе ополчение достигло своей цели — успело очистить государство, во главе его стоял человек, по характеру своему вовсе не похожий на Ляпунова. Пожарский умел говорить: «Если бы теперь такой столб, как князь Василий Васильевич Голицын, был здесь, то за него бы все держались; и я бы за такое великое дело мимо его не принял; а теперь меня бояре и вся Земля к такому делу силою приневолили». Будучи главным вождем ополчения, Пожарский умел подписывать свое имя в земских грамотах на десятом месте, уступая первые девять мест людям более сановным; следовательно, Пожарский умел жертвовать тем, чего Ляпунов никак не мог принести в жертву общему делу. С другой стороны, опыт Ляпунова научил вождей ополчения, что дело чистое может быть совершено только людьми чистыми, и потому они отреклись от союза с шайками Заруцкого.

Москва была очищена; избран государь всею Землею. Послы от Собора отправились в Кострому бить челом новоизбранному, чтобы принял царство. Мать молодого Михаила возражала, что сын ее в несовершеннолетних годах; что люди Московского государства измалодушествовались, прежним государям не прямо служили; что государство разорилось до конца и новому государю нечем служилых людей жаловать, свои обиходы полнить и против недругов стоять. Послы отвечали ей, что теперь не прежнее время; что тяжелое испытание очистило, умудрило людей; что они понаказались все и пришли в соединение во всех городах. В подобные времена великие слова не произносятся всуе, но сопровождаются великими делами: соборные послы утверждали перед новоизбранным царем, что люди Московского государства понаказались, очистились, поняли, на чем зиждется общество, получили способность жертвовать всем для общего дела — и Сусанин падает за Михаила. У народов существует поверье, что никакое здание не прочно без жертвы;

возрожденное русское общество после бурь Смутного времени могло обещать себе прочность, оно основывалось на крови Ржевского, Сусанина и многих других безымянных жертв.

Великий подвиг был совершен; но очистителям государства предстояло подвиг еще более великий, еще более трудный: им предстояло продолжать дело нравственного очищения; им предстояло отыскивание средств, чрез которые между гражданами распространялись бы познания обязанностей гражданских, познания того, на чем зиждется благосостояние общества; познания своего отечества; познания, чрез которые всякий мог быть полезен отечеству, содействовать его процветанию, его славе. Нравственное очищение и совершенствование возможно только при сознании несовершенств и при твердой решимости от них избавиться: и вот Россия XVII века громко вопиет против этих нравственных недостатков; правительство церковное и гражданское в сильных, беспощадных выражениях указывает на общественные язвы, требуя их исцеления, употребляя к тому средства, вооружаясь против людей, которые не сознавали того, что гражданин прежде всего должен иметь в виду общее благо, а не частные корыстные цели. Такое глубокое сознание своих несовершенств, такое сильное, искреннее, горячее искание выхода в положение лучшее не могли не принести плода: средство упрочить крепость, благосостояние и величие государства было найдено — это средство было просвещение. Восточная Греческая церковь, которой в ее тяжком положении были так дороги благосостояние и слава России, единственной независимой православной державы, — Восточная церковь устами одного из своих святителей благословила новый путь, на который вступала Россия. «Если бы меня спросили, — говорил Паисий Лигарид, митрополит Газский, — если бы меня спросили: «Какие столпы Церкви и государства?» — то я бы отвечал: «Во-первых — училища, во-вторых — училища и в-третьих — училища»».

Убеждение в этой истине укоренялось все более и более между русскими людьми, и царь Феодор Алексеевич объявил, что, подобно Соломону, он ни о чем не хочет так заботиться, как о мудрости, «царских должностей родительнице, всяких благ изобретательнице и совершительнице, с нею же вся благая от Бога людям даруются».

Такова была древняя Россия. Уже давно, с прошлого века, в нашей исторической литературе поднят вопрос о характере древней России, о ее отношении к новой. Уже давно некоторые писатели наши, оскорбленные упреком иностранцев, а также и русских, вторивших этим упрекам, старались показать, что предки наши и до XVIII века не были варварами. Для этого они старались доказать, что предки наши издавна имели законы, много похвальных обычаев, промышленность, вели торговлю, и даже очень обширную, оставили нам множество письменных памятников и т. п. Но эти

доказательства убеждали не многих, ибо возражать на них было легко. Турки, персияне, китайцы, индейцы имеют законы, похвальные обычаи; занимаются с большим успехом известными отраслями промышленности, ведут торговлю, хранят в архивах своих много письменных памятников и, несмотря на все это, слывут варварами; во-вторых, в древней России легко было найти много таких явлений, которых никак нельзя было защитить. Варварство и не варварство народа в известную эпоху его бытия определяются по другим признакам: варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может назваться варварским, если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворительность и стремится выйти к порядку лучшему; при этом, чем более препятствий встречает он на своем пути к порядку, тем выше его подвиг; если он преодолевает их, тем более великим является такой народ перед историею. Итак, были ли наши предки варварами?

Брошенные на край Европы, оторванные от общества образованных народов, в постоянной борьбе с азиатскими варварами, подпадая даже игу последних, русские люди неутомимо совершали свое великое дело, завоеывая для европейско-христианской гражданственности неизмеримые пространства от Буга до Восточного океана, завоеывая не оружием воинским, но преимущественно мирным трудом, русский народ должен был сам все создавать для себя в этой стране, дикой и пустынной. Находясь в обстоятельствах самых неблагоприятных, предоставленные самим себе, предки наши никогда не утрачивали европейско-христианского образа. Ни один век нашей истории не может быть представлен веком коснеяния; в каждом замечается сильное движение и преуспеяние. После сильного движения, имевшего следствием намечение границ государственной области, собрание племен, с одной стороны, и принятие христианства — с другой, наступает период, знаменуемый господством родовых княжеских отношений. Князья борются друг с другом вследствие своих родовых счетов; а между тем дело внутреннего порядка идет вперед: христианство распространяется; общество постоянно выделяет из среды себя людей, которые словом и делом дают силу нравственным началам. Славяно-русская колонизация распространяется все далее и далее на северо-восток, основываются города, заселяются пустыни. Народонаселение из племенного быта переходит в областной, находит средоточие свое в главных городах областей, стольных городах княжеских. И эти области, несмотря на видимую особенность свою, имеют общее средоточие, имеют общий главный интерес вследствие этих же родовых княжеских отношений; потому что благодаря единству княжеского рода и происходящему отсюда перемещению князей с одного стола на другой перемена, происшедшая в Киеве, отзывается в

Чернигове, Смоленске, Новгороде и Суздале, и поэтому все части России живут одною общею политическою жизнью.

Несмотря на громадные пространства, на которых рассеялось русское народонаселение, в нем все более и более укореняется сознание о своем единстве. Южная, днепровская Русь сходит с главной сцены; на ее место выступает Русь Северная, с новым характером, с новою деятельностью; начинается собирание Земли, утверждение единовластия. Оканчивается это трудное дело. Новое государство Московское, продолжая борьбу с Азиею, в то же время обращает взоры на Запад, к тем европейским государствам, которые были поставлены в более благоприятные обстоятельства, и старается усвоить себе плоды цивилизации. Но и тут новые трудности, требующие новых подвигов. Россия должна завоевывать плоды европейской цивилизации, ибо соседние государства, боясь ее могущества, не хотят допустить ее до свободного пользования этими плодами. Польский король Сигизмунд-Август так писал английской королеве Елизавете о причинах, заставивших его препятствовать нарвской торговле: «Московский государь день ото дня увеличивает свое могущество благодаря тому, что получает он чрез Нарву, ибо сюда привозится оружие, до сих пор ему неизвестное, мало того, сюда приезжают сами художники и привозят к нему свое искусство — эти средства доставили ему возможность побеждать всех. Вашему величеству, конечно, известно его могущество. Мы до сих пор побеждали его тем только, что он был лишен искусства, не знал цивилизации. Но если приход кораблей к Нарве будет продолжаться, то что останется ему неизвестным?»

И вот русские люди с берегов Волги, где боролись со гнездом татарских хищников, должны были отправиться в поход на запад, к берегам балтийским, чтобы завоевывать цивилизацию, чтобы иметь возможность не бояться Азии. Таким образом, эти мнимые варвары являются пред историею борцами за цивилизацию и на Востоке и на Западе; а когда наступили внутренние смуты, какую способность к очищению показали русские люди, какие подвиги совершили, какие жертвы принесли! А потом этот громкий вопль, слышимый в продолжение XVII века, вопль против общественных и нравственных беспорядков, неутомимое искание средств выйти из положения, недостаточность которого была сознана, и наконец отыскание этих средств — вот подвиги предков наших, пред которыми благоговейно и признательно должны мы преклоняться. Вечная слава им за то, что они не умели помириться со злом; что они постоянно и неутомимо искали выхода к добру.

Но если подвиг тем выше, чем более препятствий к его совершению; если подвиги предков велики, потому что они постоянно должны были вести тяжелую борьбу с азиатскими ордами, потому что русский славянин, населитель и цивилизатор неизмеримых пустынных пространств Восточной Европы и Северной Азии, дол-

жен был одною рукою вести плуг по земле, им очищенной, а в другой держать оружие для защиты себя и своего благодетельного труда от степного хищника; если для предков наших с этою тяжелою борьбою против Азии соединялся еще более тяжелый труд установления внутреннего порядка — дела трудного, медленного уже по самой громадности государственного тела; если древних русских людей можно назвать передовым отрядом европейско-христианских народов, отрядом, выставленным на самое опасное, самое трудное место, где он непрерывно должен бороться с врагами, подвергаться в то же время непогоде и всякого рода лишениям, то когда по совершении трудного подвига эти передовые люди возвратятся, чтобы занять заслуженное ими почетное место, неужели вместо удивления к их подвигам мы станем укорять их за то, что они явятся перед нами в непривлекательном виде, израненные, покрытые пылью и кровью? Древнее русское общество имеет, бесспорно, много черных, непривлекательных сторон, но должны ли они смущать нас, когда мы знаем, что предки не мирились с этими сторонами, искали средства избавиться от них, нашли и передали его нам?

Если же наука представляет предков наших не только не варварами, но борцами за цивилизацию, людьми, сохранившими высокую способность не мириться со злом, неутомимо и победоносно с ним борющимися; если при внимательном изучении жизни их, многотрудной, суровой и подвижнической, может возбуждаться только чувство удивления и благодарности, а не упрек, то, с другой стороны, какое значение могут иметь попытки тех людей, которые стараются расцветить и раскрасить эту суровую и многотрудную жизнь предков, нашить яркие заплатки на их простую одежду? Что могут прибавить к славе древних русских людей утверждения, что они давно уже чеканили свою монету, что они еще до Рюрика производили обширную торговлю, что они имели важные общественные учреждения еще во времена Русской Правды, первая статья которой говорит: «Если убьет человек человека, то убийце должен мстить такой-то и такой-то родственник убитого»? Прибавить к славе предков подобные утверждения не могут, но убавить могут очень много, ибо когда обнаруживаются средства, то необходимо рождается упрек, зачем же не воспользовались этими средствами, зачем с их помощью не скоро вышли из того состояния, которое признано было неудовлетворительным? Не говорим уже о вреде, который наносится этими утверждениями правильному пониманию отечественной истории, ибо читатель, видя общество расцветенным вначале и не находя соответствующих этому явлений после, необходимо приходит к мысли, что общество не преуспевало, но шло назад. Здесь дело идет не о чисто ученых вопросах: как, например, веком ранее или веком позднее начали у нас бить монету? Как обширна была торговля в древней России? Кем построена известная

церковь — византийскими, западными или русскими художниками?

Дело идет не о подмечании любопытных учреждений и обычаев, не об отыскании связи между ними и последующими учреждениями и обычаями, дело идет о той неприличной, вредной для науки раздражительности, с какою решаются эти вопросы. Явится статья, в которой доказывается, что известное полезное учреждение, известный похвальный обычай явился в древней России веком позднее, — и вот на нее нападают с гневом, заподозривают автора в намерении помрачить славу предков. Найдут какое-нибудь любопытное учреждение, обычай и, вместо того чтобы приискать ему надлежащее место в ряду других явлений, лишают его всякого места, преувеличивая его значение. Крайность вызывает другую крайность: люди, оскорбленные подобными преувеличениями, перегибают дугу в противоположную сторону, стараются указывать в древнем русском обществе одни черные его стороны и, как обыкновенно бывает при страстных увлечениях, начинают верить, что в древней России все было дурно, тогда как противники их начинают верить, что все в ней было хорошо. Но легко понять, как вредно для науки, как препятствует верному пониманию прошедшего, верному объяснению настоящего из прошедшего это стремление отыскивать только хорошее или дурное, причем большею частью явления берутся отдельно, без связи друг с другом.

Нам скажут, что из борьбы противоположных мнений возникает наконец истина. Справедливо, однако, наука не может же становиться на противоположных концах, на севере или на юге, на востоке или на западе, ибо на противоположных сторонах необходимо найдется односторонность, следовательно, отсутствие истины; обязанность науки — спешить уяснением дела, спешить прекращением спора, продолжение которого может быть очень вредно в таком важном деле, как познание отечественной истории, народное самопознание. Многие из людей, желающих расцветить старину, действуют так из чувства в высшей степени почтенного, из чувства любви к своему; но увлечение всяким чувством, как бы оно почтенно ни было, может повести к очень вредным последствиям: чувства должны руководиться светом разума; известно, что позволяли себе жрецы Цибелы и других азиатских божеств, увлекавшиеся чувством очень почтенным — желанием служить и жертвовать своему божеству.

Мы сравнили наших предков с людьми передовыми, которые, подвергаясь всякого рода лишениям, физическим и нравственным, совершили многотрудный подвиг и по тому самому часто не могут являться перед нами в привлекательном образе. Если есть люди, которые из любви к своему стараются изукрасить этот образ, не думая, что этим самым уменьшают подвиги предков, то могут найтись также люди, которые, взяв этот образ, как он есть, постараются

приравнять к нему свой собственный образ, позабыв, что предки как только вздохнули свободнее после великого труда, так начали искать средства изменить этот образ, в чем оставили для нас священный завет и пример. В великую эпоху возрождения наук в Европе, когда пред сгорающими жаждою познания людьми открылся дивный мир произведений древнего гения, нашлись люди, которые до того увлеклись, что начали жалеть об исчезнувшем древнем мире, о его верованиях, и некоторые даже действительно заставляли себя уверовать в олимпийские божества. Неудивительно, что и у нас когда перед сгорающими жаждою народного самопознания людьми открылись древние памятники, то некоторые увлеклись и признали превосходство старого пред новым, позабыв, что новое бесконечно выше старого именно этою возможностью народного самопознания, приготовленного знанием вообще, знанием, которое досталось нам вследствие многотрудного подвига предков. Но есть надежда, что эпоха увлечений приближается к концу; что недолго изучение отечественной истории будет для нас делом новым, допускающим увлечение; что скоро мы получим способность стать пред лицом науки просто, внимать ее вещаниям благоговейно и спокойно, как прилично важности предмета.

1856 г.

АВГУСТ ЛЮДВИГ ШЛЁЦЕР ¹

¹ August Ludwig Schlözer's öffentliches und Privat-Leben, von ihm selbst beschrieben. Göttingen, 1802. — August Ludwig von Schlözer's öffentliches und Privat-Leben, aus originaler Kunden vollständig beschrieben von dessen ältesten Sohne Christian von Schlözer. Leipzig, 1828. — Некроп. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen übersetzt und erklärt von A. L. Schlözer. Göttingen, 1802.

I

Обширные, почтенные труды были совершены в XVIII столетии по русской истории русскими людьми и чужестранными учеными, призванными на служение русской науке. Поле было необозримое и нетронутое, потребно было изумительное трудолюбие и сила воли, чтобы отважиться на его расчистку, и, однако, деятели явились и честно совершили свое поприще. Много было сделано этими неутомимыми работниками, много относительно времени и сил человеческих, но мало относительно обширности предмета. Дело было только еще в начале, собирали материалы, знакомили с их содержанием, останавливались на любопытных эпохах, поразительных явлениях и старались изложить, объяснить их; но вопрос о критике источников не поднимался еще надлежащим образом, для этого явился Шлёцер.

Германская наука в первой половине XVIII века дала русской науке для обработки русской истории двух ученых, имена которых всегда будут произносимы с уважением в истории нашей литературы, — Байера и Мюллера.

Байер явился в Россию уже ученым, приобретшим известность; но, к сожалению, поприще Байера на Руси было непродолжительно, и незнание языка русского древнего и нового позволяло ему касаться только немногих вопросов, при решении которых он мог довольствоваться одними иностранными языками, как, например, при мастерском своем решении вопроса о происхождении варягов-руси.

Мюллер приехал в Россию двадцати лет и все силы своей долгой молодости посвятил России, русской науке; от берегов Невы до берегов Амура, в архиве московском и в областных архивах по сю и по ту сторону Уральского хребта неутомимый Мюллер черпал известия о судьбах необозримой страны, так недавно еще открытой для Европы, выписывал, переписывал, собирал, непрерывно развлекаемый вопросами, сыпавшимися на него со всех сторон. Архивариус, профессор, академик, историограф, путешественник, географ, статистик, журналист, Мюллер был вечным работником при громадной машине русской цивилизации. Мюллер работал неутомимо над отысканием, собиранием материалов из разных эпох рус-

ской истории, для объяснения той или другой стороны в настоящей жизни русского народа, а между тем в его старом отечестве, в Германии, наука шла вперед; и когда утомленный Мюллер потребовал у Германии себе помощника, который бы трудился подобно ему, содействовал ему в отыскании и собирании материалов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов, — Германия выслала ему Шлёцера, представителя новой науки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлёцер; требования Мюллера Шлёцер считал странными, унижительными для себя, и двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, скоро растолкнулись двумя враждебными силами, из которых одна называется *старым*, а другая *новым*.

Что же нового сделала историческая наука в Германии после Мюллера? Как воспитался Шлёцер? Почему он явился с новыми требованиями, которых уже не понимал Мюллер?

Шлёцер родился 5 июля 1735 года от сельского пастора в графстве Гогенлоэ-Кирхбергском, лишился отца на пятом году жизни, и ранняя нужда закалила характер беспомощного сироты, который сам должен был пробивать себе дорогу в жизни. Первоначальное образование получил он в доме деда своего по матери пастора Гайгольда, потом в городской школе в Лангенбурге; отсюда в 1745 году, следовательно будучи десяти лет, Шлёцер написал деду Гайгольду латинское письмо, дед отвечал ему: «Скажи мне сущую правду — ты это письмо не сам написал? Это тебе новый учитель написал? Если же ты сам написал письмо, то тебе нечего больше делать в Лангенбурге, я переведу тебя в Эринген». Но план скоро переменялся: Шлёцера перевели не в Эринген, а в Вертгейм, где начальником школы был Шульц, муж старшей сестры Шлёцера, в доме которого последний мог жить. Здесь десятилетний ребенок уже начал сам давать уроки и, таким образом, с ранней молодости привык добывать себе хлеб тяжелым трудом преподавателя; здесь-то, когда все вокруг него уже спало, ребенок сидел над мелким шрифтом маленьких изданий классиков и приобрел навсегда сильную близорукость.

В 1752 году Шульц объявил своему семнадцатилетнему воспитаннику, что ему нечего больше у него учиться, Шлёцер перешел в Виттенбургский университет; здесь он не встретил ни одного преподавателя, который бы имел на него сколько-нибудь сильное влияние; другое было в Гёттингене, куда он перешел года два спустя. Здесь он встретил знаменитого Михаэлиса, начинавшего своими лекциями новую эпоху в исторической науке. Михаэлис при изучении еврейских древностей впервые начал требовать критики текста, исследования точного значения слов, знакомства с родственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его поэзией, воскрешал таким образом прошедшее живую обстановкою настоящих отношений.

Под влиянием чтений Михаэлиса определился навсегда харак-

тер ученой деятельности Шлёцера². Как большая часть живых, любознательных детей, Шлёцер давно уже питал страсть к путешествиям; чтения Михаэлиса дали определительную цель пламенным мечтам молодого человека, и путешествие на библейский Восток сделалось заветною думою Шлёцера, наполнявшею всю его молодость. Шлёцер начал усердно заниматься арабским языком; как он смотрел на свою цель, видно из письма его к матери, которая ничего больше не желала, как видеть сына где-нибудь подле себя деревенским пастором. «Прежде, — пишет ей Шлёцер, — действительно не о чем было больше думать; но потом я сам заметил в себе божественное призвание, влекущее мое сердце к предметам высшим. Я принял намерение совершить далекое и дорогостоящее путешествие, и в доказательство, что это намерение есть действительно божественное призвание, Провидение указало мне пути, которые пред глазами всех людей таинственны и совершенно неожиданны. На таком-то пути я нахожусь теперь, и дело, которым я занимаюсь, есть Божие дело. Кто хочет мешать этому делу намеренно, из своекорыстных целей, тому я буду противиться во имя Бога, меня призывающего; кто же будет мешать моему делу по неведению, о том я сожалею и молю Всевышнего, да отпустит ему грех его».

Сам Шлёцер называл свое предприятие дорогостоящим; на такое далекое путешествие действительно нужно было много денег, а у него денег не было; для их накопления он должен был еще много и долго трудиться. Михаэлиса просили сыскать домашнего учителя в Стокгольм, он предложил это место Шлёцеру, и тот отправился в Швецию; на дороге в Гамбурге познакомился с книгопродавцем Хейсом, издателем газеты *Postreuter*, и взял от него поручение за 25 талеров в год сообщать политические известия из Стокгольма. Эта обязанность корреспондента политической газеты сильно раз-

² Вот что сам Шлёцер писал об этом влиянии Михаэлису: «*Est praeterea aliud in me beneficium tuum, si non tam illustre (дело идет о рекомендации Шлёцера в Швецию), aequè tamen magnum, aut majus etiam, si quid priori illo majus esse potest. disciplina tua. Nunquam ita ingratus adversus eam fui, quin, ut primum me illi commissem, animadverterem, illico, quantum auditiones tuae cum superiorum praeceptorum meorum auditionibus differant; sed tanquam qui, ex diuturna caligine in solem protracti, dispicere incipiunt, ita laetabar vehementissime, meamque mihi felicitatem gratulabar, qua casu quodam, nullius impulsu Gottingam delatus, in talem praeceptorem incidissem*». («К тому же ты оказал мне еще одно благодеяние, хоть и не столь явное (дело идет о рекомендации Шлёцера в Швецию. — *Примеч. С. М. Соловьёва*), однако столь же значительное и даже большее, если вообще что-нибудь может быть больше, чем первое: твое наставничество. Был я достаточно понятлив, чтобы сразу заметить, сколь отличны твои лекции от лекций прежних моих преподавателей. И подобно тем, которые начинают различать [предметы], когда после долгого пребывания в тумане они выведены к солнцу, я горячо радовался и себя же поздравлял со своим счастьем, благодаря которому я, попав в Гёттинген, случайно, без побуждения с чьей-то стороны, наткнулся на такого, как ты, наставника». — *Примеч. ред.*).

вила в Шлёцере любовь к политике, как после сам он рассказывал. Стокгольм оставил Шлёцер в 1756 году и отправился в Упсалу, где перед толною грубых, бедных студентов, сидевших на лекциях в овчинных тулупах, читали Ире, Линней. Шлёцер близко сошелся с Ире, изучал готский перевод Евангелия Улфила, занимался исландским языком. Из Упсалы через год он отправился опять в Стокгольм, в дом к богатому купцу Зееле, у которого занимался немецкою корреспонденциею. Здесь Шлёцер среди занятий в купеческой конторе написал свой первый литературный опыт: «Новейшая история литературы в Швеции»; кроме того, не оставлял занятий арабским и финским языками и начал у одного приятеля учиться по-польски. Зееле очень полюбил молодого труженика; по целым вечерам Шлёцер должен был ему рассказывать о прошедшем и настоящем; но в этих рассказах любознательного купца всего более занимала история торговли; с особенным любопытством слушал он, что во времена Моисея был народ, производивший обширную торговлю и, вероятно, посещавший берега Швеции. Это так увлекло Зееле, что он предложил Шлёцеру написать на шведском языке Историю торговли и вызвался быть издателем книги. Шлёцер принял предложение и в 1758 году выдал «Историю торговли и мореплавания», которая потом, в 1761 году, была переведена на немецкий язык Гадебушем.

Но жалованье за труды в купеческой конторе и выручка за книгу об истории древней торговли употреблялись для накопления капитала, а капитал этот назначался по-прежнему для путешествия на Восток. Любопытен план, который составлял в это время Шлёцер для осуществления своей любимой мысли: план этот покажет нам, какие сведения молодой ученый считал необходимыми для изучения древностей библейского Востока; как во взгляде Шлёцера на изучение древностей отразился взгляд Михаэлиса, который на своих лекциях толковал о Линнее и Монтескье, о естественных науках и политике, о земледелии и скотоводстве. Прежде всего Шлёцер хотел в Данциге изучить торговые операции и привлечь на свою сторону богатых купцов, которые должны были войти в его виды и дать ему денежное вспоможение; если бы это ему удалось — ехать на год в Германию для изучения сельского хозяйства и промыслов, но два года еще прожить собственно в Гёттингене для изучения физических и математических наук и древностей, наконец, пробыть несколько времени в Гамбурге для изучения мореплавания. Отсюда хотел он отправиться в Смирну, сыскать место при одной из тамошних купеческих контор, в то же время заниматься арабским языком и выискивать случая обойти пешком соседние страны.

Семилетняя война заставила Шлёцера избрать своим местопребыванием вместо Данцига Любек. Здесь он, как следовало ожидать, не нашел людей, которые бы вошли в его планы относительно пу-

тешества на Восток; он занимался здесь преподаванием в разных домах; кроме того, приготовил к печати два сочинения: биографии знаменитых шведских мужей и собрание шведских анекдотов; за первое он получил от издателя по два талера за лист; за второе получил двадцать семь червонцев, хотя оно состояло только из девяти с половиною писанных листов; наконец, Шлёцер продолжал издание своей «Истории шведской литературы». Ошибшись в расчете относительно любекских купцов, Шлёцер в апреле 1759 года отправился в Гёттинген, откуда в июне писал к одному из своих друзей: «Я в Гёттингене и бегая без устали из одной коллегии в другую; надобно вам знать, что я признал необходимым для моей цели (то есть для путешествия на Восток) изучение медицины. Пробуду здесь, вероятно, года два, потом поеду в Швецию на полгода, потом в Бордо, потом в Амстердам, потом в Лиссабон, потом в Египет и Месопотамию». Но он не отправился ни в Бордо, ни в Амстердам, ни в Лиссабон: отправился прямо на восток, только не в Месопотамию, а в Россию.

В декабре 1760 года гёттингенский профессор Бюшинг вызван был в Петербург для занятия места пастора при тамошней немецкой церкви Св. Петра. При этом случае Бюшинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюллера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе домашнего учителя. Бюшинг обратился с этою просьбою к Михаэлису, и тот, зная задушевную мысль Шлёцера, счел своею обязанностию предложить место ему: Михаэлис представлял Шлёцеру, что из России может он совершить путешествие на Восток и новость пути придаст этому путешествию большой интерес; путешествие может быть совершенно покойнее и безопаснее, потому что, без сомнения, русская академия, а может быть, и само правительство будет ему покровительствовать и русское влияние при Константинопольском дворе доставит ему такие выгоды, какими не пользовался еще ни один европейский путешественник. «Совершить далекое путешествие, имея в виду еще дальнейшее, — кого больше меня могло прельстить подобное предложение? — говорит сам Шлёцер. — Предложение Мюллера быть у него домашним учителем за сто рубл. в год считал я для себя столь же мало униженным, как мало униженным считал для себя в романах молодой маркиз находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы».

Но здесь уже видим мы начало тех недоразумений, которые не обходимо должны были повести к вражде между Мюллером и Шлёцером: Мюллер вызывал студента, домашнего учителя, который должен был также помогать ему и заниматься тем, что он сам ему укажет; Шлёцер же не считал себя студентом только, но известным писателем, которого знали и уважали ученые знаменитости Германии; он смотрел на место у Мюллера не как на цель, но как на средство для достижения другой цели; видел, что условия для него

унизительны, а между тем принимал их. Он видел в отдалении только место невыгодное, но временное и ведущее к желанной цели; видел преимущественно эту цель, исполнение своего желания; видел одного себя и позабыл о другом человеке, о Мюллере, у которого были также свои цели, свои желания: одним словом, вражда Мюллера с Шлёцером произошла из того же источника, из которого происходят обыкновенно все столкновения и вражды человеческие, — из стремления видеть везде только одного себя, а в других видеть только или орудия, или препятствия при достижении своих целей, не признавать в других одинакового с собою права — права иметь свои цели, свои желания. Как обыкновенно так же бывает, обе стороны считали себя правыми. Шлёцер считал себя вправе утверждать, что поступил с Мюллером добросовестно: он писал к Мюллеру о своем плане путешествия на Восток; и Мюллер отвечал, что для осуществления этого плана в России легко можно найти случай. Но старик, разумеется, улыбнулся над мечтою студента и не захотел в наказание за эту мечту лишить его места и возможности выгодно устроить свою судьбу в России.

Шлёцер принял место у Мюллера, как влюбленный маркиз принимал место слуги у отца своей дамы; но, допустив причину, он не хотел допускать следствий: согласившись быть у Мюллера домашним учителем за сто рублей в год, он начал досадовать на него, зачем он смотрит на него как на домашнего учителя, приглашенного за сто рублей в год. Он просил у Мюллера выслать ему денег на путевые издержки; тот прислал ему десять дукатов; Шлёцер обиделся: «Петербургский сапожник не выслал бы меньше подмастерью, которого выписывал из Германии!» Но путевые издержки должны были соответствовать годовому жалованью; сапожник мог быть гораздо богаче Мюллера, и подмастерье мог получать у него больше ста рублей. Так начались уже неудовольствия, досады прежде личного свидания. Самолюбие одного из самых самолюбивых, самых желчных и самых жестких людей было оскорблено.

Однако первое впечатление, произведенное на Шлёцера Мюллером, его семейством и домом, способно было изгладить прежние неприятные чувства. У Мюллера был большой каменный дом на Васильевском острове, в 13-й линии, на набережной; все обличало здесь не роскошь, но довольство; у Мюллера был хороший немецкий стол, был свой экипаж; он получал 1700 рублей жалованья и не имел долгов. Сам Мюллер, имевший 56 лет от роду во время первой встречи с Шлёцером (в 1761 году), был чрезвычайно красивый мужчина, поразительно высокого роста и крепости. Эти физические качества также немало содействовали к его переселению в Россию из отчества, прусской Вестфалии, потому что прусские вербовщики не давали ему покоя; даже после, когда он уже в звании русского профессора путешествовал по Германии, то везде в Пруссии предлагали ему вопрос, не хочет ли он вступить в военную службу.

Но всего любопытнее для нас выслушать отзывы Шлёцера о нравственном характере Мюллера: «Это был остроумный, находчивый человек; из маленьких его глаз выглядывал сати́р. В образе мыслей его было какое-то величие, справедливость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмотря на то что тогда держали его еще в черном теле; в суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоинства Мюллера не были как должно оценены, потому что, во-первых, он не мог пресмыкаться; во-вторых, ему чрезвычайно много вредила по службе его горячность. От этого природного недостатка не могли излечить его гонения, претерпленные им в академии по возвращении из Сибири; напротив, он усилился в нем еще более от глубокого чувства своего собственного достоинства и от сознания ничтожества гонителей. Он нажил себе множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными от жесткости в обращении. Он в литературном деле был то же самое, что Мюних в военном. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одной степени».

Мы не имеем возможности поверить это изображение. Трудно заподозрить Шлёцера в пристрастии, потому что изображение чрезвычайно лестно для Мюллера. Правда, в изображении Мюллера, которое написано Бюшингом, родственником, другом и почитателем его, мы не найдем указания на те недостатки, о которых говорит Шлёцер: но неужели Мюллер был без недостатков? Причиною его служебных неудач и гонений оба, и Бюшинг и Шлёцер, полагают неумения ползать, искать. Шлёцер прибавляет еще горячность, но тут же говорит, что эта горячность увеличивалась от сознания собственного достоинства и ничтожества гонителей, а далее говорит, что этот чрезвычайно вспыльчивый человек не позволил себе с ним, Шлёцером, ни разу ни одной вспышки: значит, Мюллер был горяч с Шумахерами, Таубертами, не мог удержать себя там, где видел несправедливости, оскорбления, а в других случаях, как говорит Бюшинг, был застенчив, робок, особенно там, где нужно было искать, выставлять себя.

Семейство Мюллера состояло из жены и четверых детей. Прислугу составляли: кучер — русский; экономка — шведка; крепостная служанка — чухонка (русских крепостных иностранцы, кроме фабрикантов, не могли иметь) и несколько других русских слуганок. В доме жили двое пансионеров, братья Кондоиди, с своим гофмейстером, двое немецких студентов, к которым присоединился теперь третий, Шлёцер, и скоро потом четвертый, известный Бакмейстер. В это время множество немцев приезжало в Петербург искать мест и счастья. Многие приезжали не только безо всяких рекомендательных писем, но даже без гроша денег в кармане и до приискания места должны были жить в городе, где жизнь была очень дорога. В такой крайности они обращались к известному по

своему великодушию Мюллеру и жили у него месяца по три. Мюллер же доставлял им места домашних учителей. В доме у него слышалось постоянно четыре языка: немецкий, русский, финский и шведский — и часто пятый, французский.

Расположившись у Мюллера, Шлёцер задал себе три дела: во-первых, выучиться по-русски; во-вторых, помогать Мюллеру в издании его «Русского исторического сборника» (*Sammlung Russischer Geschichte*), что можно было делать и не выучившись еще по-русски, потому что у Мюллера было множество немецких манускриптов; в-третьих, заняться источниками русской истории, читать летописи, для чего нужно было еще изучение церковнославянского языка. Учителя русского языка, какого нужно было Шлёцеру, он не нашел. Надобно было заниматься одному. Другой грамматики он не мог достать, кроме той, которая приложена к Вейсманову немецко-латино-русскому лексикону; лексиконом служил Cellarius; но гораздо более помогал живой лексикон — Мюллер; первая русская книга, которую Шлёцер стал переводить, было изданное Мюллером описание Камчатки Крашенинникова. В один месяц сделаны были такие успехи, что Мюллер стал рассказывать о них как о чуде.

Однако Шлёцер сам признается, что русский язык достался ему гораздо труднее, чем все пятнадцать языков, которые он изучал прежде. Первое затруднение состояло уже в том, что при изучении этого нового языка он должен был изучать новый алфавит. Здесь, впрочем, помог ему греческий алфавит, из которого копты и славяне заимствовали свои алфавиты. Шлёцеру была знакома уже и русская буква *ш*, в которой он узнал одну из букв еврейского алфавита. «Изобретатель славянского алфавита, — говорит он, — в этом заимствовании показал себя гораздо умнее изобретателя немецкого алфавита». Греческий язык помогал Шлёцеру не только при чтении русских слов, но даже и при понимании их. Но всего более помогала ему *охота за корнями*, как он выражается, охота, в которой он упражнялся с одиннадцатого года своего возраста; зная сто корней в каком-нибудь языке, Шлёцер уже легко усваивал себе четыреста производных слов. Потом, при изучении нескольких языков, он увидал, что из десяти коренных слов почти всегда девять было таких, какие можно найти и в другом каком-нибудь языке, а иногда в двух-трех языках вместе, и первоначальное тождество этих слов в разных языках можно было доказать по верным правилам, без детски натянутых словопроизводств.

В это время словопроизводства, основанные на одном только внешнем сходстве звуков, словопроизводства, которыми прославились Рудбек за границу, Тредьяковский — у нас, возбуждали отвращение и смех в ученых, каков был, например, Мюллер; сравнительная же этимология как наука с верными правилами только что начиналась. Мюллер не имел никакого понятия об этих новос-

тях, говорит Шлёцер, и хотя он признавался, что *nacht, natt, nox, notte, nuit, νόξ, night* — *ночь*, что *ego, io, je, ἐγώ, ich, ek, iag, я* и проч. — одно и то же слово и что сходство между греческим *βρος* и славянским *гора* не может быть случайным; хотя он признавал это и удивлялся, как сам прежде не заметил, что славянин идею нахождения выражает точно так же, как и римлянин: *in-venio на-и-ти*, однако когда Шлёцер начинал уверять его, что *viel* и *plurimus, finster* и *tenebrae* происходят из одного корня (первое чрез посредствующие слова *λόλυς* и шведское *flere*, второе чрез древнее германское *thimster* и славянское *тьма*), то этого Мюллер уже никак не мог понять и начинал бранить нового филолога Рудбеком. Шлёцер приставал к Мюллеру с вопросом, что означают вообще русские окончания *есть, тель, ив, ший*; тот не понимал вопроса, потому что, говорит Шлёцер, в его студенческие годы еще не существовала философия языка.

В пример, как он прилагал новые, неизвестные Мюллеру хитрости при изучении русского языка, Шлёцер приводит изучение слова «всемилоствейшему»: а) корень: *мил, mil, mild* во всех немецких диалектах, несомненно, греческое *μειλ* в *μείλλα, μείλιχος, μείλιχα*, и проч.; б) формация: от *мил* — существительное *милость*, отсюда прилагательное *милоствив* (ср. латинскую форму *irum*); в) декомпозиция: *все* от *весь*, греческое *πᾶς*; д) флексия: *ейший, ейшему* — правильная превосходная степень (*s* везде знак превосходной степени: *clementi-ss-imus, gnädig-s-ter, κρατi-σ-τος*); *ему* — дательный мужского рода единственного числа (ср. *de-m, ih-m*, древнешведское *her-rano-m*).

Вторым занятием Шлёцера, как мы видели, было помогать Мюллеру при издании его «Русского исторического сборника». Русская география и статистика были главным содержанием разговоров между Мюллером и Шлёцером, и здесь было иное дело, чем в филологических разговорах: здесь уже Шлёцер был приводим в изумление громадными познаниями Мюллера и громадным собранием рукописных сочинений по всем возможным предметам. Часто, говорит Шлёцер, когда за чаем или за обедом заходил разговор о Бухарии, или о реке Амур, или о горных промыслах, Мюллер брал меня в свой кабинет, вытаскивал рукописи одну за другой, то русские, то немецкие, и приговаривал: «Здесь работа и для вас, и для меня, и для десятерых других на целую жизнь». «Но когда я, — продолжает Шлёцер, — умолял его, чтоб позволил мне взять какую-нибудь рукопись с собою, то он мне говорил: «Не горячитесь, еще будет время, не должно торопиться». В семь месяцев, проведенных мною у Мюллера, я получил от него только четыре рукописи».

Но что всего больше лежало на сердце Шлёцера — это русские летописи: это была, по собственному признанию, вторая заветная мечта его жизни после восточного путешествия. Перед ним было нетронутое поле, которое он первый должен был обработать; его

прельщала честь быть первым издателем, первым объяснителем летописей народа, первого по своему могуществу в Европе. Он уже изучил грамматику древнего славянского языка (Москва, 1722 года), чтобы понимать язык Нестора. Когда он потом читал жития святых и переводы творений греческих святых отцов на церковнославянском языке, то изумлялся богатству, великолепию и силе последнего в звуках и выражении. В составлении слов ни один язык, кроме греческого, не может с ним соперничать; по мнению Шлёцера, Гомер, переведенный на церковнославянский язык, будет лучший перевод.

Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные Шлёцером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о помещении своего домашнего учителя в академию, сначала в звании адъюнкта. Но место адъюнкта не удовлетворяло Шлёцера. Вот как он сам рассуждал о своих достоинствах и соответственных им претензиях: «Я должен был заниматься русскими летописями, критикою их. Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди безо всякого ученого образования; люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история; люди, которые не знали никакого другого языка, кроме своего отечественного: Татищев знал только по-немецки, князь Щербатов только по-французски. Но я по крайней мере был ученый критик, четыре года учился в школе Геснера, Михаэлиса, Ире. Я был в этом отношении единственный человек в России; я уже с 1755 года был автором, и мои сочинения не подвергались ни одной неблагоприятной рецензии. Большая часть тогдашних членов Санкт-Петербургской Академии, конечно, не могли стыдиться моего товарищества. Как адъюнкт, я должен был получать триста рублей жалованья. Слишком мало! Мюллер говорил: «Я начал с двумястами рублей». Я отвечал ему: «Вы начали на двадцатом году вашей жизни, а мне уж скоро будет двадцать семь лет, я уже давно начал, и не на русские деньги»». Других условий Шлёцер также не хотел принять, не хотел заключать и обычного контракта с академиею на пять лет, тогда как Мюллер толковал об обязательстве не оставлять никогда русской службы, потому что ученому, занимающемуся русскою историею, могут быть вверены государственные тайны и нельзя потом позволить ему уехать за границу и обнародовать их: сам Мюллер был связан таким обязательством.

Мюллер рассердился на упряма, не хотевшего, по его мнению, собственного счастья, и, говоря с ним в последний раз об адъюнкту в академии (май 1762 года), кончил так: «Ну так ничего не остается больше вам делать, как с первым кораблем отправиться назад в Германию». «Эти слова, — говорит Шлёцер, — показались мне неблагоприятными, несправедливыми. Целые полгода с большими усилиями работал я на совершенно новом для меня поле; самые тяжелые приуготовительные работы были уже кончены, до вершины

горы оставалось мне пройти менее половины; и вот, когда только что я начал с удовольствием и выгодой пожинать посеянное в поте лица, мне говорят: ступай домой! В эти шесть месяцев я изучил много, узнал то, о чем ни один немецкий ученый не имел понятия: какая польза из всего этого выйдет для моих будущих ученых занятий? Какая польза для меня и в финансовом отношении? Капиталец, приготовленный для путешествия на Восток, я не только не увеличил, но еще значительно истратил. Но что всего более меня оскорбило, так это то, что я был еще завлечен (*gelockt*) надеждою, которую мне подал письменно честный человек, надеждою, что он будет помогать моему любимому плану; но теперь честный человек называет этот мой любимый план прямо мне в лицо *вздором* (*Grille*)! Тут в первый раз покинуло меня счастливое юношеское легкомыслие, поддерживавшее меня до сих пор. Я открыл, что вступаю в двадцать восьмой год моей жизни: это открытие было для меня ново и ужасно. Я потерял целый год, и двадцать седьмой год моей жизни — драгоценный год! Неоценимая потеря для человека в том возрасте, когда настанет время думать о верном будущем, особенно для человека, который хотя и не заносится вверх, однако и не может выносить застоя! Чтоб не потерять этот драгоценный год безвозвратно, я принял намерение прожить еще год в России. Я понимал по-русски; у меня были две летописи: вот уже у меня был в руках материал, который я мог издать в Германии для первого опыта и потом восполнить пробел средневековой русской истории, от 1050 до 1450 года, хотя и не из самых летописей, но по русским же пособиям (*auctoribus secundariis*), — вот какой был мой план; но чтобы привести его в исполнение, мне необходимо было еще год жить и работать в Петербурге.

«Но жить целый год на свой счет в Петербурге, где все так дорого, было мне нельзя. Я стал просить Мюллера доставить мне на один год место домашнего учителя, обязываясь давать уроки четыре часа в день за 200 рублей с квартирою и содержанием, тогда как многие французские парикмахеры имели места домашних учителей за 400 и за 600 рублей. Этот год, говорил я Мюллеру, хочу я употребить на переводы с русского и также помогать ему, Мюллеру, в издании его «Исторического сборника». Но Мюллер остался глух к моим просьбам. Однажды он пришел ко мне с предложением ехать при русском посольстве в Пекин. Но что я стал бы делать в Китае, где все иностранные посланники содержатся как невольники, где без сторожа нельзя сделать ни шага из дому? Потом, что бы я стал делать в Китае, не зная по-китайски? Начать же учиться по-китайски одному или при помощи китайского переводчика Разсохина — для этого уже было мало времени. Я отказался от Китая и просил опять о месте домашнего учителя; но все понапрасну! Я был точно оглушен. «Неужели, — думал я, — этот человек не хотел исполнить моего желания за то только, что я не хотел

служить слепым орудием для выполнения его плана?» Ибо исполнить мою просьбу, найти мне место домашнего учителя было для него так легко. С первого раза могло показаться, что он поступает так из мщениа: но этого в настоящем случае слишком мелкого чувства я никак не мог согласить с обычною возвышенностию его мыслей и поступков; нет, это не было мщение; это было другое чувство, которому часто поддаются и благородные характеры: это было ученое тщеславие, соперничество, зависть. Русскому историографу, который до сих пор, как историограф, сделал очень мало (хотя отчасти и не по своей вине), было очень неприятно *заграничное* издание Русской истории. Видя, что я успел сделать в шесть месяцев, он легко мог заключить, что я в состоянии был сделать в следующие двенадцать месяцев: то есть то, чего историограф не сделал в двадцать лет и никогда не мог сделать. Теперь я понял, почему этот деятельный человек стеснял мою деятельность, почему он не позволял мне работать, не давал своих рукописей. Почитатели Мюллера извиняли его здесь тем, что он смотрел на меня как на человека, который не останется в России, но, собравши материалы о ее истории и настоящем состоянии, уедет издавать их в Германию. Так как тогда в России вследствие поступка Гмелина смотрели подозрительно на таких людей, то Мюллер боялся через меня нанести себе неприятностей. Но, во-первых, почему Мюллер не позволял мне обрабатывать своих бесчисленных рукописей под своим надзором, для себя, для своего «Исторического сборника»? Во-вторых, разве я был тогда единственный иностранный собиратель материалов в Петербурге? Разве не собирал их также прилежно Бекман и еще больше Бюшинг, которому сам Мюллер сообщал их столько для напечатания за границей? В-третьих, из множества статей о России, которые я потом издал, есть ли хотя одна, которую бы я приобрел в Петербурге непозволительным образом? Ясно, что единственною причиною, по которой Мюллер теперь и после еще раз, в 1764 году, хотел моего совершенного удаления из России, была не боязнь, что я обнародую государственные тайны и навлеку этим на него неприятности, ибо он меня вызвал, но он чувствовал свою старость, свою слабость в слоге, свое незнание иностранных литератур: он не хотел, чтобы что-нибудь было издано по русской истории и не под его именем».

Так рассуждал Шлёцер о своих отношениях к Мюллеру после шестимесячного знакомства с ним; эти отношения в короткое время уже успели определиться: они были явно враждебные или по крайней мере казались Шлёцеру такими. Ложное положение обоих в отношении друг к другу началось еще, как мы видели, в Гёттингене, началось оно с десяти дукатов. Мюллер вызывает Шлёцера как домашнего учителя для детей и помощника для ученых трудов своих: Шлёцер едет в Россию только для того, чтобы удобнее отправиться на Восток. Мюллер, видя способности и трудолюбие молодого че-

ловека, предлагает ему место адъюнкта в академии с известными условиями: Шлёцер не соглашается на условия и выставляет на вид путешествие на Восток; Мюллер, не понимая, как можно предпочесть аравийские степи академическим креслам, называет план Шлёцера вздорным; говорит, что если человек, с такою охотою желающий заниматься русскою историею, не хочет быть академиком, то зачем же ему оставаться в России, пусть с первым кораблем отправляется назад в Германию. Шлёцер оскорбляется еще более, находит эти слова неблагоприятными и несправедливыми: сам Мюллер завлек его в Россию надеждою на осуществление любимой мечты, а теперь гонит назад, когда Шлёцер, по его собственным словам, только что начал пожинать плоды своих занятий русским языком. Мюллер предлагает ему самое лучшее средство пожинать эти плоды: стать членом С.-Петербургской Академии; но Шлёцер не соглашается, говорит, что хочет ехать в Аравию. Начать с таким жаром заниматься русским языком и летописями, оказать при этом такие большие успехи и ехать продолжать эти занятия, пользоваться плодами этих успехов в Аравии — этого Мюллер уже понять никак не мог, не мог удержаться от рокового слова *вздор*, которое так оскорбляло, раздражало Шлёцера. Шлёцер просит у Мюллера место домашнего учителя на *один год*; Мюллер не доставляет ему такого места; Шлёцер обвиняет его в нежелании исполнить его просьбу, тогда как ему так легко найти место; но можем ли мы в том положиться на слова Шлёцера, что Мюллеру было так легко найти ему место? Из нескольких условий, предложенных Шлёцером, не забудем одного: он требовал места на один год. Много ли Мюллер мог найти отцов, которые бы согласились взять к своим детям учителя только на год? Положим, что кто-нибудь согласился бы взять Шлёцера на год, но мог не согласиться на другие условия относительно часов или денег; вспомним, что от иностранца-учителя требовалось обыкновенно, чтобы он был и гувернером, на что не соглашался Шлёцер. Кроме того, могли быть и другие причины, почему Мюллер не хотел рекомендовать Шлёцера: нам известен тяжелый характер Шлёцера, особенно в близких отношениях; что этот характер высказывался очень неприятным образом во время пребывания Шлёцера в доме Мюллера, свидетельствует Бюшинг в своей биографии Мюллера: можно ли было требовать от последнего, чтобы он решился рекомендовать такого *домашнего* учителя?

Наконец, как обыкновенно бывает при подобных отношениях, раздраженный Шлёцер нашел *удовлетворительную* для себя причину, почему Мюллер не хотел доставить ему место домашнего учителя, почему указывал ему обратный путь в Германию. Это была зависть, боязнь, чтобы Шлёцер не превзошел его в своих трудах по русской истории, не прославился более его за границу. Но не Мюллер ли хлопотал о том, чтобы Шлёцер не только остался в России для занятий русскою историею, но и остался навсегда? Мюллер

боялся, чтобы Шлёцер не прославился своими заграничными изданиями по русской истории? Но если бы Шлёцер остался при академии, то что мешало ему свои труды по русской истории сделать также известными за границу? Мюллер сам издавал почти все свои сочинения на двух языках, на русском и немецком; то же самое мог бы делать Шлёцер и затмить Мюллера и в России, и в Германии. Мюллер мог бояться этого и, однако, как видно, не боялся или умел великодушно подавить свою боязнь, когда хотел, чтобы Шлёцер остался адъюнктом при академии.

Не соглашаясь быть адъюнктом академии, Шлёцер вдруг начал просить Мюллера, чтобы он доставил ему очистившееся место корректора в академической типографии: Мюллер разразился смехом, называл после этого Шлёцера *corrector vitiorum academicorum*³, а Шлёцер сердился все больше и больше.

Мюллер мог доставить Шлёцеру место адъюнкта только при законных условиях, при обязательстве служить не менее пяти лет; но в академии были люди, которые могли обойти требования закона, доставить Шлёцеру место адъюнкта безусловно и постарались это сделать хотя бы потому только, что Мюллер не предполагал возможности это сделать, хотя бы для того только, чтобы доставить Мюллеру неприятную минуту, показавши, что, если кто хочет что-нибудь получить, тот должен бросить Мюллера и обратиться к ним, его врагам. Таков был Тауберт, библиотекарь академии, вместе с Ломоносовым правитель академической канцелярии и в этом звании правитель академии, потому что президент, гетман граф Кирилла Разумовский, не имел времени заниматься ее делами. Когда Шлёцер рассказал ему свою историю (Шлёцер говорит, что рассказывал только факты, без малейшей жалобы на Мюллера), Тауберт отвечал: «Вы останетесь у нас, вы будете довольны». Шлёцер обратился к нему с просьбою о месте корректора и в ответ получил то же восклицание, что и от Мюллера: «Как! Лучше быть корректором без чина с 200 руб. жалованья, чем адъюнктом с 300-ми?» Шлёцер объяснил ему, что все препятствие к принятию адъюнктского места состоит в обязательстве служить пять лет, и чрез несколько времени получил следующие предложения: 1) быть адъюнктом при академии на *неопределенное* время с жалованьем по 360 рублей в год; заниматься русскою историею и переводами; 2) иметь место учителя при детях графа Разумовского с квартирою, столом, мебелью, прислугою. Понятно, что Шлёцер принял эти предложения.

Когда Мюллер узнал об этом от Тауберта, все уже было обделано. «Яд и желчь закинули в его груди; обыкновенное благородство и великодушные покинули его совершенно», — говорит Шлёцер. Прочтя эти слова, мы ожидаем, что вот Мюллер начнет теперь употреблять

³ Игра слов, основанная на двойном смысле фразы 1) справщик ошибок, [допущенных] академиками, 2) порицатель академических пороков (*Примеч ред*)

всевозможные средства, чтобы вредить Шлёцеру, закричит о неблагодарности, станет чернить его во всех углах; устно и печатно, прямо от своего имени и через других начнет терзать каждое сочинение Шлёцера, объявлять никуда не годным и прочее тому подобное. Вместо этого Шлёцер сообщает нам следующее доношение Мюллера президенту академии графу Разумовскому:

«Я уже стар и обременен занятиями; если постигнет меня смерть, то многое начатое мною останется недоконченным, ко вреду российской истории. Для избежания этого необходимо было бы придать мне молодого ученого, знающего науки исторические, древности, необходимые европейские и отчасти восточные языки, который бы мог под моим руководством заниматься изданием собранных мною исторических и географических известий о России и других северных и азиатских народах и продолжать эти занятия и после моей смерти. Не находя подобного человека здесь, я в прошлом году выписал на мой счет из Гёттингена кандидата господина Шлёцера, который был мне рекомендован как человек, могущий вполне удовлетворить моим требованиям, и который жил полгода в моем доме для того, чтоб я мог поверить эту рекомендацию. Теперь я вполне убедился, что означенный г. Шлёцер знает ученые языки, латинский и греческий, отчасти еврейский и арабский: кроме своего отечественного языка знает языки французский и шведский, имеет сведения в исторических науках, особенно в истории северных народов, которою он занимался во время своего пребывания в Швеции, и здесь в Петербурге с немалым успехом занимался русскою историею. Он уже издал на немецком и шведском языках разные исторические книги, которые были приняты учеными с одобрением. Кроме того, в кратковременное свое здесь пребывание он так прилежно занимался русским языком, что теперь уже может переводить с русского на иностранные языки, чему свидетельством служат два переведенные им и напечатанные указа. Вследствие чего смею рекомендовать его вашему сиятельству с просьбою назначить его адъюнктом с обыкновенным адъюнктским жалованьем и с тем, чтобы впоследствии он мог быть профессором, если на самом деле покажет плоды своего прилежания в русской истории».

Что же нашел здесь Шлёцер оскорбительного для себя? В чем, по его мнению, выказались здесь яд и желчь, которые питал против него Мюллер? «Как высоко этот человек говорит здесь о себе! — восклицает Шлёцер. — Действительно, его познания во всем относящемся к России были изумительно велики: но это одно могло ли доставить ему высокий почет? Во всех отраслях иностранной литературы был он невежда и должен был быть таким. Калмыцкий лама может знать о своем народе и о своей земле более, чем все европейские ученые вместе; но это дает ли ему право превозноситься над ними всеми? И наоборот, с какою отвратительною гордостью говорит он обо мне! Он, который двадцати лет, еще до окончания акаде-

мического курса, был адъюнктом, и двадцати пяти лет, не будучи ничем еще известен публике и не зная по-русски, был профессором, — он не постыдился двадцатисемилетнего ученого трактовать как кандидата, которого он выписал за 100 рублей».

Здесь при удобном случае высказалось наконец-то чувство, которое заставляло Шлёцера питать враждебное чувство к Мюллеру, — это оскорбленное самолюбие. Шлёцер считал себя гораздо выше Мюллера по способностям и ученому приготовлению и между тем принужден был стать адъюнктом Мюллера; Мюллер, этот невежда, этот калмыцкий лама, осмелился рекомендовать его, хватить как новичка, кандидата, которого он выписал за 100 рублей; Мюллер, который должен был преклониться перед ним, признать его своим учителем при первом появлении его в Петербурге, — Мюллер осмелился пойти наперекор его желаниям, осмелился смеяться над ним, назвать вздором план его путешествия на Восток! Вся беда произошла оттого, что Мюллер принял к себе в дом не того, кого ожидал. Шлёцер сам объявил, что он принял на себя роль маркиза, переодевшегося слугою; но, сказавши это, он сам обличил себя в обмане: он переодетый вошел в дом Мюллера, выдал себя не за того, кем был, нанявшись к Мюллеру в домашние учителя за 100 рублей: кто же был обманщик и кто обманутый? Кто имел больше права сердиться?

И обман продолжался, то есть Шлёцер с Таубертом продолжали обманывать Мюллера: Шлёцер поступил адъюнктом к Мюллеру вследствие требования и рекомендации последнего; если эта рекомендация показалась так оскорбительною для Шлёцера, то зачем же он с Таубертом не отверг ее? Если Шлёцер считал унижительным для себя быть помощником Мюллера; если думал, и действительно имел права думать, что связь с Мюллером, подчиненность ему может препятствовать успеху его ученых занятий, что они не могут понимать друг друга и должны беспрестанно сталкиваться и мешать друг другу, что новая заплата раздерет еще больше ветхое рубище — то зачем же он не сказал этого прямо Тауберту, Теплому, Разумовскому? Зачем всемогущий в академии Тауберт не создал для него совершенно независимого от Мюллера положения?

После присяги в академической канцелярии Шлёцер с Мюллером поехали вместе домой, и дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы начнете свои адъюнктские занятия; прежде всего составите реестр к последнему тому «Русского исторического сборника»». Шлёцер отвечал: «Составлять реестры слишком унижительно для адъюнкта императорской академии!» Но для чего же Шлёцер взял место вследствие представления Мюллера, который требовал себе помощника при издании собранных им материалов? Но по крайней мере ответ был короток и ясен: Мюллер с этих пор не давался уже более в обман, покончил с Шлёцером, не предлагал ему более ни составлять реестры, ни что-либо другое. Он не мог

поступить благоразумнее и, надобно прибавить, благороднее. Шлёцер освободился от Мюллера и вместо составления реестров к «Историческому сборнику», вместо перевода и издания разнородных материалов мог посвятить свое время и свои ученые средства занятиям источниками древней русской истории. Колумб плыл в Восточную Индию — и открыл Америку; Шлёцер плыл в Палестину и Аравию — и нашел Нестора, которого имя так тесно соединилось с его именем и дало ему бессмертие. Шлёцер уверяет, что он нисколько не думал еще покидать намерения посетить Восток; но тут же говорит, что некоторые работы по русской истории отлагал до возвращения из Иерусалима: занятия русскою историею заходили, следовательно, за путешествие на Восток; за этою прежде исключительно любимую целию виднелась другая любимая цель. Бедная восточная литература! У нее явилась страшная соперница, и переодетый маркиз, решившийся пойти в услужение для удовлетворения своей страсти, недолго останется верен предмету первой любви.

По собственному признанию Шлёцера, древняя русская история была с тех пор любимым его занятием: его прельщала новость, неразработанность предмета, при занятии которым без особенного таланта и учености можно было легко заслужить благодарность образованной публики, нужно было только знать по-русски и трудиться. Читать летописи было ему еще очень трудно: беспрестанно попадались ему места, слова, обороты, которых никто и никакая книга объяснить ему не могли. Это заставило его прервать перевод печатавшегося тогда при академии списка летописи и сравнение его с другими рукописями, заставило его вообще отказаться от критического изучения летописей и заняться приуготовительными работами. Прежде всего ему хотелось составить полную генеалогию всех русских князей до пресечения Рюриковой династии. Иностранца неприятно поразил обычай русских летописцев называть князей только по имени да по отчеству, почему в одном веке встречается пять Святославов, и из них трое с одним отчеством: неудивительно, что Шлёцер не понял причины этого обычая, когда у нас и теперь, сто лет спустя, не хотят еще понять ее и продолжают толковать о владениях в Древней Руси, о князьях черниговских, смоленских, волынских, тогда как летописцы не знают их, а знают только Святославов, Ростиславов, Мстиславов.

Чтобы избежать смешения князей, прежде всего необходимо было иметь родословные таблицы; таблицы, напечатанные Ломоносовым и Мюллером, Шлёцер нашел очень неудовлетворительными; лучшие нашел он в рукописном Татищеве; но гораздо более пользы принесли ему огромные, из многих листов составленные таблицы от Рюрика до Елисаветы, с краткими указаниями главнейших событий, должно быть Феофана Прокоповича. Шлёцер переписал и сличил все эти таблицы, причем, естественно, нашел множест-

во вариантов в генеалогических и хронологических показаниях, но по крайней мере у него уже была основа. Потом спешил он составить общее обозрение событий, особенно четырех совершенно неизвестных ему веков (от 1050 до 1450 г.). Тауберт доставил ему для этого список Татищева; но и Татищев был еще труден для Шлёцера: по крайней мере он не мог делать из него извлечений скоро. Но вот, к неописанной радости Шлёцера, Тауберт доставил ему два рукописных фолианта из академической библиотеки, содержащие немецкий перевод одной из полнейших летописей. Переводчик, как узнал Шлёцер из устных преданий, был немецкий ученый, именем Селлий, принявший православие и бывший потом монахом в Александро-Невской лавре под именем Нестора. Рука в этих фолиантах была небрежна, но разборчива; перевод сделан верно, слово в слово. 31 июля 1762 года начал Шлёцер извлекать из Селлиева перевода и к 25 сентября осилил уже половину фолианта. Но как же извлекал Шлёцер? Он не следил за связью событий, но отыскивал великих князей, которых история была особенно богата событиями и важна. Легко понять, как верно должно было быть представление Шлёцера о русской истории, составившееся из подобных извлечений! Но не должно забывать, что так обыкновенно начиналось историческое изучение; не должно забывать, что 50 лет спустя у нас хотели было начать писать русскую историю с великого князя, которого правление было богаче событиями, с Иоанна III.

Чем далее шел Шлёцер в изучении летописей, тем явственнее становилось для него, что в русских летописях все было византийское. Поэтому он начал изучать византийцев, Георгия Пахимера, Константина Багрянородного. Византийский дух находил он на каждой странице летописей, в образе мышления и представления предметов, даже в словах и выражениях: и здесь и там монах называется старцем и черноризцем, принять схиму значит постричься в монахи и т. п. Это заставило его обратиться к Дюканжеву *Glossarium mediae Graecitatis*.

Как удивлялся он, находя здесь русские слова, которых никто прежде не думал искать в Константинополе! Как обыкновенно бывает, важность открытия была преувеличена Шлёцером: византийское влияние на памятники древней нашей литературы, и особенно на летописи, вовсе уже не так сильно, как показалось сначала Шлёцеру, объяснившему себе несколько слов из Дюканжева лексикона; но это убеждение в важности византийского влияния, убеждение, высказанное Шлёцером, до сих пор еще сильно в нашей науке. Скоро Шлёцер заметил, что с помощью Дюканжа и византийцев нельзя объяснить себе очень многих слов в летописях, слов, утратившихся в новом русском языке; ученик Михаэлиса вспомнил правило учителя: «Если в еврейском языке какое-нибудь слово встречается один раз или очень редко, то ищи его в родственных диалектах» — и обратился к изучению славянских наречий. Первыми пособиями

ему при этом изучении были: 1) Поповича *Untersuchungen vom Meere*, 1750, и 2) Францеля *Origines linguae sorabicae*, 1693. Познакомившись с византийцами, Дюканжем, потом с Поповичем и Францелем, Шлёцер провозгласил: «Кто решается заниматься русскими летописями, не изучив византийской литературы и славянских наречий, похож на тех чудаков, которые хотят объяснить Плиния, не зная естественной истории и технологии!» Нам не нужно распространяться о значении этого Шлёцера положения в истории нашей науки.

Подле этих трудов, открытий, которыми полагалось такое прочное основание научной обработке источников русской истории, видим еще другую деятельность Шлёцера, педагогическую, которую мы также не можем оставить без внимания, принимая в соображение то влияние, какое она имела в свое время. Мы видели, что Шлёцер по рекомендации Тауберта получил еще место домашнего учителя при детях графа Разумовского, гетмана Малороссийского и президента Академии наук. «Граф Кирилла, — говорит Шлёцер, — был хороший человек и потому хотел дать сыновьям своим хорошее воспитание; в средствах к тому он не нуждался, получая 600 000 рублей годового дохода. Но главное препятствие к воспитанию гетманских детей представляла маменька: тогда какой-то умный человек присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высылая их, однако же, из Петербурга». Совет был принят, и вот нанят был большой дом на Васильевском острове, в 10-й линии, и прилично меблирован. Здесь поселились трое молодых графов Разумовских — Алексей, Петр и Андрей; с ними вместе воспитывались еще три мальчика — Теплов, Олсуфьев и Козлов. Гувернером при детях был Mr. Bourbier, французский лакей, но образованный лакей, умевший писать по-французски без ошибок, потому что много читал. При нем были три учителя, которые жили в доме и обедали: один полученный, иезуитский воспитанник из Вены, и двое ученых, два адъюнкта академии: Румовский — математик и Шлёцер; другие учителя приезжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10 000 рублей, а содержался он великолепно, по словам Шлёцера, который с восторгом говорит не об одной внешней обстановке жизни в этом институте; он с восторгом говорит о согласии, которое было постоянно между гувернером и учителями, о юношеской веселости, которая господствовала в доме. Шлёцер занимался сначала шесть часов в неделю, и — что было всего важнее для него — никто не мешался в его занятия; он мог учить так, как хотел.

Как же он учил? Чтобы успешнее шел латинский язык, он с самого начала стал говорить по-латыни с учениками, начал преподавать географию по-латыни. Но чтобы ученики могли объясняться по-латыни не об одних научных предметах, для этого сделан был большой выбор фраз из комедий Теренция и Плавта. «Таким обра-

зом, ожил у нас, — говорит Шлёцер, — древнеримский разговорный язык». Маленький Теплов должен был по требованию отца особенно заниматься латинским языком: для этого ребенка Шлёцер выбрал преимущественно из Марциала и Овена 172 больших и малых стихотворений, которые Тауберт велел напечатать при академии под заглавием: *Epigrammata, in quibus tirocinium ponere latinae linguae queant*. Книга начиналась маленькими пьесами из 2, 3, 4 строк и оканчивалась длинными стихотворениями Овидия *Pyramus et Thisbe* и *Ariadne Theseo*.

Общий план преподавания составлен был без Шлёцера, и он не нашел в нем географии! Шлёцер потребовал немедленно географии от Тауберта, обер-инспектора института; мало того, он представил необходимость другой науки для детей одного из первых вельмож, необходимость *познания отечества* — так он назвал статистику. В 10-й линии Васильевского острова был сделан первый опыт преподавания русской статистики человеком, которого имя с таким уважением упоминается в истории этой науки. Первый урок начался вопросами: «Как велика Россия сравнительно с Германиею и Голландиею? Что такое юстиц-коллегия? Каким товаром производит торговлю русский человек? Откуда получает он свое золото и серебро?» Новая наука так понравилась Тауберту, что Шлёцер кроме шести латинских уроков должен был взять еще пять уроков статистики и получить за это 100 рублей прибавочного жалованья. Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься статистикою России; как легко было ему сначала заниматься ею, показывает следующий случай: осенью 1763 года спросил он в одной купеческой компании, почему нынешнею весною вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил цифру вывоза: один маклер отвел его в сторону и просил не делать вперед подобных вопросов и не обнаруживать таких опасных знаний. «Вас могут принудить, — сказал он, — объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете через это человека несчастным». Здесь Шлёцер приглашает читателя сравнить такое жалкое состояние русской статистики с тем обилием статистических материалов, которое мы видим после благодаря просвещенному взгляду императрицы Екатерины II.

Понятно, что Шлёцер должен был сначала преподавать своим воспитанникам русскую статистику по иностранным, исполненным ошибок источникам; но скоро Тауберт, по знакомству с президентами и членами коллегий, начал доставлять ему источники чистые, из которых Шлёцер делал извлечения; потом о каждом предмете статистики составлял маленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитанникам; на книжках была надпись: «à l'usage de l'Académie de la X ligne»⁴ (то есть Васильевского острова). Рус-

⁴ «Для употребления в Академии 10-й линии» (*Примеч ред*)

ская география явилась в таком же маленьком формате и быстро распространилась; многие домашние учителя списывали ее; по ней преподавалась русская география и в академической гимназии. Скоро Mr. Bourbier, гувернер, обязанный преподавать всеобщую историю, не сдвинул с нею и передал ее также Шлёцеру. Всеобщая история была более известна тогда, чем статистика: ее преподавали обыкновенно по учебнику Sigas с вопросами и ответами, переведенному на русский язык с прибавкою русской истории. В 1762 году вышло уже второе издание этой книги; по ней преподавали в гимназии; но Шлёцер не хотел преподавать по ней, начал составлять свой учебник и при этом составлении попал на те мысли, которые после развивал он на лекциях в Гёттингене.

В С.-Петербурге, приноравливаясь к потребностям русских учеников своих, Шлёцер пришел к мысли, что надобно ввести в историю целые народы, едва прежде известные в ней по имени: калмыки и монголы, думал он, потрясавшие вселенную, гораздо важнее ассириян или лонгобардов. Но если, по мнению (совершенно, впрочем, ложному) Шлёцера, для русских учеников важнее было знать подробности монгольской истории, чем лонгобардской, то зачем же он после перенес это уважение к монголам в Гёттинген, где преподавал немцам, для которых, конечно, подробности лонгобардской истории были важнее подробностей монгольской? Это объясняется из материальных стремлений Шлёцера: в истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлением духовных сил человека и народов: в его глазах Мильтиад — деревенский староста в сравнении с Аттилою или Тамерланом; гёттингенские слушатели Шлёцера помнят, как горячо он защищал с кафедры права внешней жизни или материальные интересы против духовных требований⁵.

Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлёцера; мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могут обнаруживаться безо всякой защиты и поощрения; мы знаем, что они должны быть поставлены в служебное отношение к духовным требованиям; в истории мы видим осязательно истину священного изречения: «Дух есть иже живит, плоть не пользует ничесоже». Мы знаем, когда являются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели вселенной; когда общество презрит духовную жизнь, духовные силы, когда предается чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху, требующему кровавых жертв; тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтобы овладеть запродавшеюся им добычею. Заслуга Шлёцера состоит не в установлении верных взглядов на явления

⁵ Schlosser's Geschichte des XVIII Jahrhunderts. IV, 261.

всемирной истории: его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику, научное исследование частных, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории. Благодаря Шлёцеровой методе наука стала на твердых основаниях, ибо он предпослал изучению исторической физиологии занятие историческою анатомиею; по счастью, судьба привела самого мастера в Россию, чтобы поставить и русскую историю на это прочное основание.

Наступил 1764-й год. Шлёцер приближался к тридцатому году своей жизни. Ему было хорошо и приятно в Петербурге; но его беспокоило будущее. «До сих пор, — писал он к Михаэлису, — перекочевывал я, как номад, из одной науки в другую, не по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обстоятельств. Многоразличные сведения, которые я чрез это приобрел, должны быть мне полезны, когда я наконец остановлюсь на чем-нибудь одном». Путешествие на Восток, по его словам, еще не выходило у него из мыслей, хотя можно сомневаться в искренности его слов. Определяясь в академию, Шлёцер думал, что Тауберт будет смотреть иначе на восточное путешествие, чем Мюллер, но ошибся и ошибку свою заметил скоро. «Мне нельзя было открыть рта о путешествии на Восток, — говорит Шлёцер, — мне смеялись в лицо, меня называли мечтателем, искателем приключений». Оплакавши любимую мечту своей молодости, как следует, с причитаниями, успокоивши самолюбие свое тем, что судьба не хотела осуществить эту мечту, что, как нарочно, умер и Редерер, человек, у которого одного только можно было выучиться медицине, что и в арабском языке в продолжение трех лет не сделано было ни шага вперед (как будто это было возможно, если бы Шлёцер три года назад все еще жил мыслию о путешествии на Восток?), — успокоивши себя таким образом, Шлёцер начал думать, следует ли ему посвятить себя вполне настоящему своему занятию — издавать русские летописи, создать русскую статистику, распространить в великом русском народе познания о других народах. Первое, изучение русских летописей, было для него всего привлекательнее. Препятствия были преодолены: он знал по-русски; мало того, по стечению случайностей, он был способнее к этому изучению, чем всякий другой: он знал северную, византийскую и восточную литературы.

«Но какая же, — думал Шлёцер, — будет мне награда, если я, изменив первому моему плану, посвящу себя русской истории? При счастливом случае — место экстраординарного профессора с 660 рублей жалованья, и в самом счастливом случае — место ординарного профессора с 860 рублей жалованья! Но в Петербурге этим жить нельзя, особенно если жениться. Меня прельщали надеждою, что я могу занять место Мюллера, место российского императорского историографа с 1200 рублей жалованья; но Мюллер был здоровый, крепкий пятидесятивосьмилетний мужчина, который легко

мог прожить еще лет двадцать». Шлёцер начал думать, что надобно оставить Россию и в Германии издать свои *Russica*, то есть приобретенные материалы по русской истории и статистике. В апреле 1764 года он подал доношение в академию, где, во-первых, просил о трехлетнем отпуске в Германию; во-вторых, просил, что если академия одобряет его деятельность и считает достойным оставаться при ней, то чтобы соблаговолила сообщить ему свое решение до его отъезда; что он ожидает приказа представить академии план занятий, которые он намерен предпринять в будущем для пользы наук вообще и для распространения их в русской публике. Между тем Шлёцер уже подал в академию опыт под заглавием *Periculum antiquitatis russicae, graecis collustratae luminibus* (Опыт [изучения] русской древности в свете греческих источников.— *Примеч. ред.*); здесь заключались четыре статьи: I) *Nestoris ex Kedreno risticuti specimen* (Образчики восстановленного по Кедрину Нестора.— *Примеч. ред.*). II) Некоторые непонятные слова в Несторе; также исследование о греческом огне. III) *Lingua russica graecisans triplici vocabulorum genere demonstrata* (Грецизирующий русский язык, разъясненный [с помощью] трех видов имен.— *Примеч. ред.*). IV) Объяснение окончания *вич* в отечественных именах, например Иванович и проч. Главная тема Шлёцера состояла здесь в том, что исследователь русской истории должен разуместь по-гречески и особенно изучать византийцев.

Академия потребовала план; Шлёцер представил их два. Первый заключал в себе «Мысли о способе, как должна быть обрабатываема русская история». Главная тема здесь была та, что русская история еще не могла быть изучаема, но долженствовала быть создана. Это создание другим европейским государствам стоит вековых трудов; но при методическом прилежании, которое дает возможность избегать ошибок, сделанных другими, можно поставить русскую историю также высоко в 50 лет. Шлёцер предложил для этого следующие работы и себя в работники: I) *Studium monumentorum domesticorum*, изучение отечественных памятников, то есть летописей. Летописи должны быть обрабатываемы: а) *критически* (с малою критикою): рукописи одной и той же летописи должны быть собраны, их различные чтения сравнены, и прежде всего должен быть добыт чистый, верный текст; б) *грамматически*: добытый текст должен быть объяснен, потому что в нем встретятся многие нынешним русским людям уже более невразумительные слова, которых значение должно отыскивать в славянском переводе Библии, в остальных славянских наречиях, должно осведомляться о нем у русских людей, знакомых с древнею отечественною литературою; с) *исторически*: летописи и другие исторические сочинения должны быть сравнены друг с другом по содержанию, отмечены особенности и лишки. II) *Studium monumentorum extrariorum* (изучение чужестранных памятников); здесь Шлёцер заметил, как бедна бу-

дет русская история, составленная из одних своих летописей, ибо хроники польские, венгерские, шведские, преимущественно (?) византийские и монголо-татарские, даже немецкие, французские и папские начиная с X века заключают в себе известия о России. Критическое изучение должно производиться таким образом: все рукописи, сколько бы их ни было, должны получить постоянные имена и быть описаны дипломатически; всю русскую историю разделить на отделы, всего лучше по великим князьям, о каждом отделе составить особую книгу, в которую занести все сравнения, объяснения, дополнения и противоречия из всех русских и иностранных источников. Для предварительного обзора Шлёцер хотел составить Учебник русской истории, без критики, по Татищеву и Ломоносову.

Второй план касался распространения сведений в русском народе. Миллионы людей, представлял Шлёцер, могут читать и писать, сотни тысяч могут читать книги и страстно стремятся к приобретению сведений. Но иностранные языки известны немногим, следовательно, надобно помогать большинству в приобретении познаний посредством переводов! Кто же должен помогать? Разумеется, академия, столь богатая средствами; ее призвание состоит не в том только, чтобы делать открытия по наукам для целого мира; ее русский мир к ней ближе. Но что она сделала? В первые годы ее существования (1726—1736) Байер и другие издали очень хорошие, самостоятельные, непередаваемые учебники для молодого императора Петра II, но с 1736 по 1764 год печальное затишье и ни одного самостоятельного сочинения, все одни переводы; латинские комментарии академии заключали в себе, конечно, важные статьи, но русские не читали их, русские считали большие суммы, которые шли на академию, и громко говорили, что за такие большие суммы народ получает только календарь; от этого уменьшается уважение к иностранцам, из которых преимущественно состояла академия. Последняя, по мнению Шлёцера, должна была употребить следующие средства для распространения сведений в русском народе: распространять эти сведения в малых приемах; Римскую историю, например, издать не в двадцати шести томах, а в одном или двух; многотомные классические сочинения иностранных писателей не издавать: венгры слишком поторопились перевести на свой язык *Esprit des Lois* (имеется в виду сочинение Монтескье «Дух законов». — *Примеч. ред.*); даже легкие, всем доступные иностранные сочинения должно не переводить, а переделывать. Шлёцер предлагал свои услуги при составлении учебников или народных книг по предметам, ему известным, по истории, географии и статистике; он предлагал или переделывать уже существующие иностранные сочинения, или из девяти хороших сочинений составлять десятое. Слог должен быть легким, такой, как в книжках pour l'Académie de la X ligne, следовательно, и перевод их на русский язык должен

быть также легок, всякий молодой русский студент мог принять его на себя; о правильности его мог судить сам Шлёцер; за чистотой языка мог наблюдать один из русских ученых.

Большая часть академиков одобрила планы Шлёцера; но Ломоносов подал следующее мнение: «Отзывы иностранных профессоров о познаниях господина Шлёцера в русских древностях не могут быть приняты во внимание, потому что они, как иностранцы, сами не имеют о них никакого понятия. Что касается до меня, то я думаю, что упомянутый Шлёцер должен еще много учиться, прежде чем быть профессором русской истории. Притом же для него нет и места в академии: господа Мюллер и Фишер занимают должности профессоров истории, а я сам пишу Русскую историю; следовательно, упомянутый Шлёцер не может быть русским историком и нет ему места».

Начались жаркие споры; чтобы положить им конец, решено было подавать письменно голоса: Эпинус, Штелин, Фишер, Леман, Браун и Цейхер подали свои мнения в самых лестных выражениях для Шлёцера, но указывали только на то обстоятельство, что для него нет места при академии; Ломоносов, в своем мнении, удивлялся дерзости Шлёцера, который, «проведя очень немного времени в России, и то в кругу иностранцев, уже возмнил, что может при определении значения слов соперничать со старыми учеными, при создании русской истории указывать источники и предписывать законы; возмнил, что понимает древний славянский язык не хуже кого-нибудь из наших ученых. Он не может сослаться на пример шведа Ире, который при объяснении древних немецких манускриптов явился искуснее, чем немец Вахтер; пусть Шлёцер вспомнит, что из славянских языков нет для него ни одного отечественного, что ни одного из них он не изучил, а в русском новичок; и пусть, с другой стороны, представит себе кого-нибудь из русских, с младенчества налитанного народным русским языком и славянскою грамотою, уже в преклонных летах находящегося, все церковные книги, на древнем славено-моравском языке написанные, прилежно прочитшего, все областные наречия русского языка, все слова, в дворце, между духовенством и в народе употребительные, изучившего, сверх того знающего польский и другие родственные языки, за литературные заслуги свои особенную похвалу приобретшего! не дерзок ли покажется тот, кто с таким захочет соперничать? Наглость Шлёцеровских требований ясна для каждого, кто знает труды, мною для отечественного языка и отечественной истории подъятые».

Сильное раздражение Ломоносова против Шлёцера проистекало, во-первых, от сильного раздражения его против немецкой стороны в академии, особенно против Тауберта, а Шлёцер был клиентом Тауберта; Ломоносову казалось, что Тауберт выставляет ему в Шлёцере соперника по занятиям русскую историю и русским

языком, что видно из начальных строк его отзыва⁶. Этот новоприезжий немец уже осмелился соперничать с ним, первым русским писателем, осмелился сочинить русскую грамматику! Известен отзыв Ломоносова об этой грамматике, написанный в тех же выражениях, как и приведенный отзыв об исторической программе: «Хотя всяк российскому языку искусный легко усмотреть может, сколь много нестерпимых погрешностей в сей печатающейся беспорядочной грамматике находится, показующих сочинителевы великие недостатки в таком деле; но больше удивится его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных Россиян, не обинулся приступить к этому и как бы некоторой пигмей поднял Алпийские горы. Но больше всего оказывается не токмо незнание, но и сумасбродство в произведении слов российских. Кроме многого, что развратно и здравому рассудку противно, внесены еще ругательные чести и святости рассуждения». Приведя несколько словопроизводств, например князь от Knecht и проч., Ломоносов заключает: «Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Во-вторых, Шлёцер в своем *Periculum*, представленном в академию, затронул прямо Ломоносова: в начальной летописи встречается слово *суда*; Ломоносов в своей Истории перевел это слово чрез *пролив*, Зунд; Шлёцер опровергнул это толкование на том основании, что пролив нельзя сечь, как сказано в летописи, и представил из Дюканжа другое объяснение, что *суда* означало ров, обнесенный палисадом и находившийся пред Константинополем. Шлёцер рассказывает и о личном столкновении своем с Ломоносовым: однажды Шлёцер в академической канцелярии занимался переводом одного указа на немецкий язык; Ломоносов, вошедший в это время в канцелярию, взял у него перевод, на первых строках которого находилось выражение *Glück und Wohlstand des Reiches*. «*Wohlstand*⁷, — заметил Ломоносов, — употреблено здесь неправильно: это значит только *decorum*»⁸. Шлёцер возразил, что *Wohlstand*⁹ имеет еще другое значение. «Вы еще слишком молоды, чтоб поправлять меня», — сказал на это Ломоносов. «Молодой немец знает по-немецки лучше, чем старый русский», — отвечал Шлёцер и ушел.

Второй важный для решения дела отзыв был отзыв Мюллера

⁶ «*Doleo eius temeritatem, quam quidem excusandam existimo, quod non proprio, ut videtur, instinctu, sed aliorum potius suasu ductus, graviora quam exiles adhuc nervi illius in nostratibus literis ferre queant attrahere ausus sit*. («Сожалею о его дерзости, но считаю ее извинительной, поскольку взять на себя ношу, более тяжкую, чем та, какую способны нести [его] пока еще слабые в нашей отечественной словесности силы, он, вероятно, решился не по собственному побуждению, а под влиянием чужих уговоров». — *Примеч. ред.*)

⁷ Счастье и благосостояние Государства. «Благосостояние..» (*Примеч. ред.*).

⁸ Пристойность, благопристойность (*Примеч. ред.*).

⁹ Благосостояние (*Примеч. ред.*).

как историографа. Мюллер писал: «Так как мне достаточно известны способности и прилежание г. Шлёцера, то я несколько не сомневаюсь, что он может оказать услуги академии, если захочет посвятить ей несколько лет или всю свою жизнь; но так как я верно знаю, что к этому побудить его невозможно, то считаю бесполезными все попытки подобного рода. Если он обяжется служить два, три, пять, положим, десять лет, то, чем долговременнее будет его пребывание в России, тем более он добудет в свои руки известий о ней, которыми по возвращении в Германию он воспользуется с большою для себя выгодною: но я не вижу, что же выйдет из этого для чести и пользы России? Притом писать о России в Германии чрезвычайно трудно, если бы даже кто имел при себе верные известия и летописи, ибо у писателя всегда будет при этом множество сомнительного и неизвестного, чего ему там никто объяснить не в состоянии. Склонность к свободе в писании может заставить напечатать многое, что здесь будет неприятно. Нельзя, по моему мнению, давать в руки иностранцу, не желающему оставаться в России, такие известия, из которых он после может сделать употребление, не соответствующее здешним намерениям. Если г. Шлёцер согласен посвятить всю свою жизнь русской истории и службе Российской империи, то никто более меня не может быть этому рад, потому что тогда достигнута будет цель, для которой я его вызвал, держал полгода у себя, снабжал всем нужным, давал жалованье. Тогда он будет продолжать то, что я начал, но, препятствуемый другими занятиями, не мог кончить; ни в чьи другие руки я не передам с такою охотою мои рукописи. Но если этого достигнуть нельзя, то думаю, что академия должна постараться извлечь из способностей и прилежания г. Шлёцера всю возможную пользу: можно назначить его иностранным членом с пенсиею, причем обязать его без ведома академии не печатать ничего, что касается до России, или лучше все сочинения свои о России присылать сюда для напечатания. Если попадутся в них ошибки, то оне могут быть здесь исправлены, сомнительные, неизвестные вещи могут быть объяснены; печатать здесь еще тем удобнее, что в сочинении о России часто нужно приводить русские слова и целые места из летописей, которые не могут быть иначе напечатаны, как русскими буквами. Желая я, чтобы сюда вместо г. Шлёцера был вызван искусный и трудолюбивый человек, который бы еще при моей жизни мог работать над всеми неоконченными статьями. Сам я не решаюсь на мой собственный счет сделать вторую попытку, потому что первая так мало удалась мне».

Шлёцер считает этот отзыв Мюллера гораздо опаснее для себя, чем отзыв Ломоносова. «Мюллеров план, — говорит Шлёцер, — был ясен: он хотел удалить меня из Петербурга; я должен был остаться под условием, какого я никогда принять не мог, и это он знал лучше всякого другого. Но у меня были известия и летописи, которые

я должен был взять с собою и издать их за границую. Предложить отнять их у меня — для этого Мюллер был слишком тонок, он боялся общественного мнения за границую и потому придумал другое средство сделать эти известия и рукописи и за границую для меня неупотребительными: связать мне руки пенсиею».

Пусть, по мнению Шлёцера, отзыв Мюллера был для него опаснее отзыва Ломоносова; но последний не ограничился одним отзывом: узнав, что ненавистный иностранец собрал разные известия о России, рукописи и едет за границу, чтобы там издать все это, он обратился прямо к сенату с донесением об угрожающей опасности; сенат предписал Коллегии иностранных дел не выдавать Шлёцеру паспорта, а канцелярии академической — отобрать у него неизданные исторические известия. Встревоженный Тауберт рано утром приехал к Шлёцеру на квартиру, схватил рукописи, которые прежде ему передал, и объявил, что, может быть, бумаги его подвергнутся пересмотру. Пересмотра, однако, не было; Шлёцер получил только запрос из академической канцелярии, брал ли он из библиотеки книги и рукописи для списывания; какие именно брал, когда; когда списал, с какою целию и возвратил ли их опять в библиотеку. Понятно, что адъюнкту академии, обязавшемуся «упражняться в собрании и сочинении всяких до российской истории касающихся известий», легко было отвечать на эти вопросы. Но прошло несколько месяцев, и паспорта Шлёцеру не выдавали; тогда он чрез генерал-рекетмейстера Козлова, отца одного из своих воспитанников, подал просьбу императрице; в конце просьбы Шлёцер испрашивал всемогущественнейшего соизволения продолжать начатые труды «под собственным ее величества покровительством, в безопасности от притеснений и всякого рода препятствий обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикава дома, по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической истины и добросовестно, как следует вернейшему ее величества подданному. В случае же, если он, Шлёцер, не будет иметь счастья достигнуть этого лучшего из своих желаний, да удостоится он и по отъезде своем пребывать в связи с академиею ее величества в качестве иностранного члена-пансионера». Любопытно видеть, как Шлёцер воспользовался мыслию Мюллера о звании иностранного члена-пансионера, мыслию, которая казалась ему такой опасною в предложении Мюллера!

Через несколько дней Тауберт получил приказание передать все акты, относящиеся к Шлёцерову делу, секретарю императрицы Теплову. Теплов был прежде адъюнктом академии, наставником ее президента гетмана Разумовского; его сын, как мы видели, воспитывался вместе с сыновьями последнего; Шлёцер поэтому был ему очень хорошо известен; кроме того, Теплов был заклятый враг Мюллера и приятель Тауберта: Шлёцер понял, что его дело попало

в хорошие руки. Действительно, скоро после того Теплов передал ему вопрос императрицы: «Хочет ли он остаться на ее службе и как?» Шлёцер испросил дозволения представить письменный план и представил три плана, из которых императрица имела утвердить, какой ей было угодно: 1) путешествие на Восток для собрания коммерческих известий в гаванях Черного и Средиземного морей; 2) занятие древнею русскою историею, и охотнее при Академии художеств, под начальством Бецкого, чем при Академии наук; 3) оставить его на два года работать в Гёттингене с титулом и жалованьем члена академии, которая назначит ему предметы для занятий или предоставит ему самому их выбор; без академической цензуры не будет он ничего печатать о России; если он выдержит это двухгодичное испытание, то можно будет его вызвать для исполнения первого или второго плана (значит, теперь академическая цензура не связывала ему рук за границею!).

Тауберт дал знать Шлёцеру, что императрица избрала второй план и что он должен представить дальнейшие условия. Под диктовку Тауберта он написал следующее: быть при Академии наук в качестве профессора и ординарного члена по историческому классу, как скоро академия получит новый устав; пользоваться всеми правами и жалованьем ординарного академика, в ожидании чего будет получать по 860 рублей в год. Древняя русская история будет его главным занятием; он будет снабжен всеми необходимыми пособиями для этого; будет иметь полную свободу пользоваться всеми книгами, рукописями и мемуарами императорской библиотеки. Кроме исторических разысканий он будет заниматься и другими предметами, особенно касающимися торговли и воспитания, когда угодно будет ее императорскому величеству удостоить его своими приказаниями. Дабы он имел возможность обнаружить свое усердие пред глазами публики, дабы его сочинения не были запрещаемы, его превосходительство Теплов будет защищать его от врагов и, в случае нужды, повергать его жалобы к подножию престола. Контракт этот будет заключен на пять лет. Будущею весною будет ему позволено отправиться в Германию на три месяца. Если условия не будут приняты, то ему дана будет свобода возвратиться немедленно в отечество.

Но прежде чем эти условия были утверждены, Шлёцер должен был преодолеть большое искушение, ибо вместо них Теплов предложил ему следующие: «В ожидании места при академии Шлёцер получает 600 рублей жалованья и будет зависеть только от его превосходительства, действительного статского советника Теплова, обязанного доставить ему все нужные пособия для занятий, которые будут на него возложены. Он будет получать приказания ее величества чрез означенного Теплова и чрез него же отдавать отчет в сделанном. Как скоро академия получит новый устав, он вступит в нее в качестве ординарного академика. Контракт заключается на

три года. Шлёцер пользуется столом и квартирою в доме его превосходительства».

Шлёцер хорошо понял, что значил подобный контракт; ему предлагали переменить ученые занятия на административные. Служба под начальством Теплова представляла несомненные выгоды и могла повести далеко. «Но, — думал Шлёцер, — это уже в третий раз я должен менять свои занятия! Востоком я пожертвовал для русской истории, а теперь русскою историею должен пожертвовать для новых неизвестных занятий, пробыв три года на испытании! А если по прошествии этих трех лет я буду принужден оставить Россию, то тридцати-четыре лет что еще в четвертый раз начну в Германии?» Шлёцер отказался от предложений Теплова, и 4 января 1765 года условия его относительно вступления в академию были утверждены, причем условие о покровительстве было изменено таким образом: «Дабы его исторические статьи и другие труды могли беспрепятственно являться в печати, дозволяется ему всеподданнейше представлять их ее императорскому величеству или тому, на кого от нее будет возложен просмотр их».

В феврале 1766 года возвратился Шлёцер в Гёттинген и пробыл там до июля. Все это время он не был без дела; по рекомендации Михаэлиса пригласил для академической гимназии ученого корректора Стриттера, впоследствии знаменитого автора *Memorie populorum*; написал двадцать пять ответов на запросы академии, касающиеся разных предметов; занимался решением вопроса «о *Лехе*» по поводу премиальной задачи института Яблоновского в Данциге; печатал свое сочинение «Опыт русских летописей» (*Probe russischer Annalen*); написал статью «*Memoriae slavicae*» для корольевского ученого общества и для гёттингенских ученых ведомостей занимался рецензиею исторических сочинений, касавшихся Северной Европы.

По возвращении в Петербург Шлёцер предался своему занятию, отыскиванью и сравненью рукописных летописей; при этом он искал между русскими себе помощника и нашел его в переводчике при академии Башилове, который получил очень хорошее школьное образование, но не имел познаний в истории и тем менее в исторической критике; скоро приобрел он те и другие под руководством Шлёцера и, по словам последнего, мог бы обессмертить свое имя в истории русской исторической литературы, если бы по достоинству был оценен академиею; но Башилов оставил ее и умер в 1770 году в звании секретаря сената.

При главном и любимом занятии своем, сличении текста летописей, Шлёцер не упускал из виду других, которые бы могли знакомить русских людей с их древнею историею и с надлежащим способом издавать древние памятники; с этою целию в 1767 году он издал Русскую Правду буква в букву. Такое издание Шлёцер хотел противоположить безобразному изданию Кёнигсбергского спис-

ка летописи, сделанному по Таубертову распоряжению Барковым, который позволил себе добавления, выпуски и замещение древних форм языка новыми. В 1768 году издан был Судебник царя Иоанна Башиловым под руководством Шлёцера. Чтобы приготовить русских людей к чтению летописей, Шлёцеру хотелось издать такой список, язык которого не был бы очень древен, не отвращал бы читателей непонятными словами, а, с другой стороны, был бы по возможности полон, заключал бы в себе события русской истории от начала до XVII века; этим требованиям удовлетворял Никоновский список, и в 1767 году Шлёцер вместе с Башиловым издали первую часть списка, до 1094 года; вторую часть — до 1237 года — издал один Башилов, но по плану Шлёцера. Мы видели, что изучение византийских исторических писателей Шлёцер провозгласил необходимым приготовительным трудом для русского историка; но есть ли возможность ученому, имеющему в виду громаду собственно русских источников, прочесть еще сорок фолиантов византийских писателей, прочесть от доски до доски, чтобы не пропустить ни малейшего известия, относящегося к русской истории? Шлёцер считал необходимым, чтобы один какой-нибудь ученый принял на себя исполинский труд — извлечь из Византийцев все известия, относящиеся к русской истории. Когда Стриттер потерял место корректора при академической гимназии, то Шлёцер при содействии академика Фишера убедил других академиков и самого директора академии графа Орлова (Владимира) возложить на него упомянутый труд. «Если я оказал какие-нибудь услуги при распространении исторических сведений, то, быть может, это самая большая из них», — говорил сам Шлёцер.

Мы видели также, что Шлёцер в своей академической программе обещал прежде критического издания летописей удовлетворить как можно скорее потребности русского общества — издать краткий учебник Русской истории, составленный без критики, из готовых материалов, преимущественно по Татищеву. С этою целью в 1769 году он издал *Tableau de l'histoire de Russie*, где означены были только периоды русской истории; книжка была тотчас же переведена на русский, датский и итальянский языки. В том же году в таком же маленьком карманном формате он издал на немецком языке *Историю России, первая часть, до основания Москвы* (*Geschichte von Russland. Erster Theil bis auf die Erbanung von Moskau im I. 1147*). Так как эта книжка была первым учебником русской истории в собственном смысле (не говоря о Синописе и «Ядре»), то мы и должны на ней остановиться. В предисловии Шлёцер говорит: «Введение составлено заботливо: но я не стою за отрывок русской истории до основания Москвы. Я написал его пять лет тому назад для детей: для этого употребления он был довольно хорош. Для серьезных читателей я не способен написать связную русскую историю, тем менее для ученых историков-критиков. Хотя я очень

старался, чтоб не сказать чего-нибудь несправедливого, но есть ли возможность избежать ошибок при извлечении известий из летописей, несколько не обработанных? Но как бы ни был несовершен мой труд, все же он может быть полезен: из него окажется, что русские летописи вовсе не похожи на северные *Konunga längder*, не заключают в себе только сухое перечисление имен и чисел, но содержат события, над которыми можно думать, содержат ряды событий, которые можно превратить в пищу для духа. О, если бы этот труд мой через десять лет сделался бесполезен! то есть если бы летописи в это время были критически обработаны и из них был бы составлен прагматический, вполне удовлетворительный учебник русской истории!»

Введение, которое занимает почти треть книжки, разделяется на две части: первая содержит статью об основании Русского государства, вторая — разделение на периоды и краткий обзор событий, в них заключающихся. В первом параграфе первой части автор говорит о народах, обитавших в нынешней России до основания государства; во втором — о славянах, которые признаются исконным европейским народом: «Славяне искони европейский народ, жили в Венгрии, на северном берегу Дуная; в V веке по Р. Х. часть их, вытесненная Влахами и Булгарами, удалилась к Днепру и основала Киев» и т. д. В третьем говорит о варягах, которые признаются корсарами из Дании, Швеции и Норвегии. В четвертом — о призвании князей: «Новгород по изгнании Варягов был свободен: но скоро в нем возникли внутренние беспокойства, естественное зло демократических государств; соперничество возбудило ненависть, составились партии; бургомистр и совет были не в состоянии охранить свободу, справедливость и граждан. Тогда Гостомysl, старец, имевший большое влияние на своих сограждан, дал им совет избрать в государи иностранных князей. Как Вортигерн предложил притесненным Бриттам Саксонцев, так Гостомysl предложил Новгородцам прежних врагов их — Хазаров и Норманнов».

В заключение статьи автор говорит: «Суеверие и невежество прежних веков исказили историю всех народов. То же случилось и с нашей историею. Было время, когда наших предков узнавали уже при построении Вавилонской башни, находили Славян при осаде Трои, этих истых Европейцев помещали в Прикавказье или на Волге. Было время, когда думали, что Тобольск получил свое имя от Тубала, Москва — от Месеха, правнука Ноева, и Киев — от Ки, потомка этого Месеха. Показывали патент, полученный Новгородом от Александра Македонского; составляли родословные, в которых Рюрик по прямой линии происходил от Римского императора Августа, и т. д. Невежество изобрело эти нелепости; история, руководимая здравым смыслом и критикою, презирает их, и Федор Емин — последний, который им верит».

Во второй части введения помещено знаменитое разделение на

периоды, которое так долго господствовало и провозглашалось с университетской кафедры, разделение на пять периодов. Русь рождающаяся, разделенная, угнетенная, победоносная, процветающая. С такого чисто внешнего деления по необходимому закону должна была начаться наука. «В начале Провидение даровало Русскому государству семь правителей, из которых каждый чем-нибудь содействовал благу государства, и последнее достигло обширных размеров и могущества; но едва оно этого достигло, как разделения Владимира и Ярослава повергло его в прежнюю слабость, следствием которой было иго монгольское. Но вот явился великий человек: под творческими руками Иоанна III образовалось могущественное государство; Россия исполинскими шагами пошла от завоевания к завоеванию: целые царства соделались ее провинциями; отторгнутые некогда земли возвратились под ее державу, и беспокойные соседи должны были получить мир с потерей целых областей».

При таком внешнем взгляде на историю государства историку, разумеется, не было дела до постепенности внутреннего развития общества, до изображения характеров действующих лиц соответственно той эпохе, в которую они являются. Это всего резче заметно в книжке Шлёцера, который любит сравнивать лица глубокой древности с лицами новой истории; так, например, он говорит о Святославе: «Он был великодушен, как Карл XII, который не оскорблял никого, кто не навлекал на себя его мщения, и не прощал никому, кто его оскорблял; чувствителен к прекрасной Малуше, как тот к Авроре Кёнигсмарк; несчастлив подобно Карлу, ибо должен был пасть пред могуществом Греческой империи, и потом на возвратном пути был убит печенегами». Любопытно также изображение Владимира Великого: «Велик на войне и в мире, страшен соседям, обожаем войском, которому щедро раздавал плоды своих побед, а сам ел деревянными ложками; усердно заботился о процветании своей Земли, строил города, учреждал школы, завел торговлю с Волжскими Болгарами и посылал путешественников в Вавилон и Египет, чтобы пересадить искусства с берегов Евфрата и Нила на берега Днепра и Дона». А между тем о Русской Правде сделано следующее (единственное) замечание: «Ярослав дал Новгороду знаменитое городовое право, в котором вырванный из бороды волос оценивается в четыре раза больше, чем отрезанный палец». О порядке престолонаследия у древних русских князей Шлёцер рассуждает так по поводу беспокойств, происходивших в княжение Всеволода I: «Двое последних великих князей, Изяслав и Святослав, оба оставили уже возрастных сыновей; но Россия не имела определенного порядка престолонаследия; дядя, если он был сильнее или хитрее племянников, овладевал престолом, который принадлежал последним, и племянники должны были довольствоваться уделами».

Все эти труды свои Шлёцер называет введениями, приготовительными работами, *captationes benevolentiae*¹⁰. Главным занятием своим считал он критическую обработку летописей и в 1769 году во время пребывания своего в Гёттингене издал пробный лист под заглавием «*Annales Russici, slavonice et latine cum varietate lectionis ex codd. X. Lib. I. usque ad annum 879*»¹¹. Продолжения не было. Еще в 1766 году в академии произошли перемены, неприятные для Шлёцера: директором ее назначен был граф Владимир Орлов; сначала Тауберт оставался с прежним значением при новом начальнике, в звании советника, по-прежнему вместе с графом управлял академической канцеляриею, то есть академиею; потом канцелярия была уничтожена, и вместо нее учреждена комиссия из шести академиков под председательством графа; Тауберт, покровитель Шлёцера, потерял чрез это всякое значение. Осенью 1767 года Шлёцер отправился в Гёттинген и не возвращался более в Петербург. «В 1770 году, по истечении срока моему контракту с академиею. — думал Шлёцер, — мне уже будет тридцать пять лет; с 860 рублями в Петербурге нельзя пользоваться никакими удовольствиями жизни: приобрету ли я что-нибудь литературными трудами — не известно. Профессор не имел значения в обществе, если он по крайней мере не коллежский советник; движение к чинам и большому жалованью медленно, более же скорое к ним движение оскорбит товарищей; во всякой другой коллегии служить было выгоднее, чем при академии; кто хотел идти дальше и скорее, оставлял ее. Я утомился, *lassus maris et viarum*¹²; пятнадцать лет, проведенные мною между проектами и опасностями, казались мне тридцатью; я жаждал покоя, хотел жениться, жить в тиши и работать, быть независимым».

Отпуск Шлёцеру оканчивался весною 1769 года, контракт — в начале 1770-го; он вступил в переговоры с академиею, просил позволения остаться в Германии на неопределенное время, на том основании, что для составления комментариев к летописям ему необходимо гёттингенская библиотека; просил, чтобы и Стриттер отпущен был в Гёттинген на некоторое время для дополнения своих *Memoriae porulogium* из других анналистов кроме византийцев; просил; чтобы при нем, Шлёцере, находилось постоянно несколько молодых русских людей, которые бы учились у него исторической критике, как то было с Башиловым; при этом Шлёцер просил 1000 рублей жалованья в год, чина надворного советника и, в случае женитьбы, обеспечения ежегодной пенсии жене в 200 рублей. Шлёцер соглашался вступить навсегда в русскую службу, если ему дадут

¹⁰ Снискание благосклонности [читателя] (*Примеч. ред.*).

¹¹ «Русские анналы, по-славянски, по-латыни, с указанием разночтений в рукописях. X. Кн. I до года 879» (*Примеч. ред.*).

¹² Уставший [от странствий по] морю и суше (*Примеч. ред.*).

звание историографа с чином коллежского советника и 1500 рублей жалованья (!!). Академия отвечала, что Шлёцер может оставаться при ней на тех же самых условиях, как и все прочие ее члены. Последние были оскорблены желанием Шлёцера проедать свое жалованье в Германии, как они выражались, и Шлёцер остался в Гёттингене, где он был назначен действительным профессором (титулярным был он уже с 1764 года). «С тяжелым сердцем, — говорит Шлёцер, — расстался я с русскою историею, которая в продолжение восьми лет, лучших лет моей жизни, была главным и любимым моим занятием».

Но и расставшись с русскою историею, Шлёцер не переставал с горячим участием следить за ее успехами в России и за границею; сильно радовало его деятельное издание источников, летописей; сильно огорчал его недостаток ученого приготовления, ученых приемов в людях, писавших о русской истории, издававших ее источники. «Многие, — говорит Шлёцер, — толковали о том, что без сравненного Нестора нельзя ничего начать, но только никто не хотел заняться этим сравнением, и эти господа продолжали, как и прежде, в свободное время заглядывать в две, три рукописи, сравнивать их *savaliègement*¹³ и выбирать чтение, какое понравится, не заботясь о том, принадлежит ли оно Нестору или явилось вследствие неразумия переписчика. Величайший из русских знатоков русской истории, Болтин, вопреки ясному показанию летописей выдал вместе с Татищевым руссов за финнов, а Варяжское море — за Ладожеское озеро; объявил подлинным отрывок Иоакимовой летописи, от которой отказался Мюллер, отказались даже Ломоносов и Щербатов; толкуют об ост-индской торговле чрез Россию до времен Рюрика, о монете Ярослава, наконец, выкопали из могилы давно почившего Мосоха и Скифа, Афетова правнука». Тут экспрофессор русской истории потерял всякое терпение и написал «Нестора».

29 ноября 1800 года началось печатание «Нестора»; когда оно уже приходило к концу, Шлёцер обратился к Крюднеру с вопросом, может ли он посвятить или по крайней мере поднести свое сочинение императору Александру. Крюднер отвечал, что государь с *удовольствием* принимает посвящение. Шлёцер отослал Крюднеру экземпляр; но Крюднер в это самое время умирает, и Шлёцеру дают знать, что экземпляр, назначенный для государя императора, потерян. Шлёцер пишет об этом происшествии к министру коммерции графу Румянцеву, и тот спешит поднести государю свой экземпляр. Вследствие этого Шлёцер получает бриллиантовый перстень, при письме, которое приводит в восторг старика, особенно выражение, что подарок есть *faible marque de son estime*. «Grand

¹³ Произвольно (*Примеч. ред.*).

Dieu ¹⁴, — восклицает Шлёцер в письме к сыну, — так пишет император, император Российский, профессору!» Затем Шлёцеру прислан был орден Св. Владимира 4-й степени; когда он обратился с вопросом к графу Румянцеву, имеет ли он право вырезать себе печать, на которой бы хотелось ему изобразить русского инока (Нестора), то Румянцев прислал ему желаемый герб, начерченный сенатором Козодавлевым.

¹⁴ Слабым знаком уважения к нему. «Боже мой!» (*Примеч. ред.*).

ШЛЁЦЕР
И АНТИИСТОРИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ¹

¹ См. о жизни Шлёцера. «Русский вестник», 1856 г. Т. II, № 8, стр. 489—533 // Настоящее издание, с. 277—313.

I

Задолго еще до Шлёцера начались исследования об иноке Киево-Печерского монастыря Несторе, как первом русском летописце, о времени и обстоятельствах его жизни, о сочинениях его, о значении его летописи. Этими исследованиями — исследованиями Татищева, Мюллера — Шлёцер пользовался; подобно предшественникам своим, он признал несомненным существование Нестора, первого русского летописца, в XI веке. Но в этом вопросе Шлёцер впервые взглянул на явление собственно исторически, начал рассматривать явление летописца не отдельно, как это делалось прежде, а в связи с современным состоянием русского общества, занялся решением вопроса о возможности появления летописца в Киеве в XI веке при обстоятельствах временных и местных. Из рассмотрения этих обстоятельств Шлёцер вывел возможность летописи; после так называемые скептики отрицали возможность явления, также основываясь на современном состоянии общества; защитники Нестора утверждали противное, опять на том же основании: но основание это было положено Шлёцером, который задал вопросы: как житель Приднепровья в XI веке мог достигнуть известной степени образованности? Как напал он на мысль написать летопись, и написать ее на отечественном языке? Кто служил ему образцом? Из каких источников почерпал он известия? И как вообще он поступал при своем летописании?

Возможность известной степени образованности Шлёцер объяснил христианством и постоянным сообщением Киева с Византиею; византийские летописи могли быть занесены на Русь, и, таким образом, русский человек мог прийти к мысли стать летописателем своего народа; образцами его были византийские летописцы, а не авторы sag; что же касается до источников, то многое он описывал как современник, остальное по устным преданиям. Осторожный и проницательный критик, Шлёцер остановился пред вопросом: имел ли Нестор пред глазами древнейшие письменные известия? Нестор, по мнению Шлёцера, начинал свою летопись чисто по-византийски, с разделения земли между сыновьями Ноя;

но изложение его не византийское, а библейское. «Философских идей об истории народов, — говорит Шлёцер, — никто не станет требовать от приднепровского инока XI века; мало говорит он о внутренней истории Руси; его более занимают внешние события, войны и т. п. Но, несмотря на все недостатки, русский летописец возвышается над позднейшими исландскими и польскими рассказчиками на столько же, на сколько рассудок, хотя часто заблуждающийся, возвышается над постоянною глупостию».

«Философских идей об истории народов никто не станет требовать от приднепровского инока XI века». Так условиями места и времени объяснился, определился характер летописи: мы не вправе от летописца XI века ожидать того, что привыкли встречать у историков XIX века; но мы вправе ожидать от него добросовестной, бесприкрасной передачи виденного и слышанного; в этом отношении Нестор превосходит, возвышается над современными и даже позднейшими летописцами других народов; и потому он *главный* источник первоначальной истории Севера. Как же этот главный источник представляет нам первобытный Север вообще и дорюриковскую Россию в особенности? Это представление должно оправдать отзыв Шлёцера о *честном* Несторе: «*Честный* Нестор представляет свою страну до Рюрика пустынею, где живет несколько народцев, которых он называет всех по имени, которых места жительства часто с точностью определяет; эти народцы живут оседло, не кочуют, живут в городах, то есть в огороженных деревнях. Первым шагом к образованности у них было появление монарха, вторым принятие христианства». Чтобы понять всю важность этого Шлёцера вывода из показаний Нестора, стоит только вспомнить, что им были убиты представления о Древней Руси, к которым причисляли русских людей XVIII века Елагины и Эмины. Шлёцер вывел строгую науку, древний летописец раскрыл свой простой, правдивый рассказ, и произведения бездарных риториков упразднились; с появлением законного царя исчезли самозванцы.

Шлёцер коснулся и вопроса о языке летописи Несторовой. «Когда же, — спрашивал он, — славянская литература будет иметь своего Вахтера, своего Ире, которые сравнят славянские наречия между собою и с их общим источником?» Шлёцер не ограничился одним заданием вопроса, одним изъявлением желания, но сам приступил к исследованию о языке церковнославянском, потом изложил историю русской историографии. Понятно, что Шлёцер, имея в виду исключительно критику источников, не мог вполне оценить достоинства трудов Татищева, Щербатова, Болтина; его отталкивало от них отсутствие критики, как он понимал ее, отсутствие ученого приготовления, ученой обработки вопросов; при односторонности своего направления он забывал, что для русских людей кроме объяснения темных мест Нестора важно было объяснение и княжеских отношений в древней России, и характера Иоанна

Грозного, и событий Смутного времени. Вот почему во второй половине XVIII века Шлёцер видит в русской историографии шаг назад, тогда как мы теперь видим большой шаг вперед; несмотря на то, Шлёцер все же умеет найти достоинства и в Татищеве, и в Щербатове, и в Болтине; его отзывы о них далеко не так неблагоприятны, как отзывы, которые мы встречаем во второй четверти XIX века, — отзывы людей, не почетших за нужное перед произнесением суда над писателем познакомиться с его сочинением.

После этих предварительных статей Шлёцер приступает к главному труду — своду рукописей, разбору каждого слова, нуждающегося в объяснении, указанию источников, откуда почерпал Нестор свои известия, сличению известий других авторов и т. п. Мы не будем распространяться о важном значении этого труда в русской науке, первого, превосходного образца низшей исторической критики: это значение давно уже признано. Мы не будем входить также в подробный разбор каждого из мнений Шлёцера: эти мнения и суждения, споры о них между позднейшими учеными также хорошо известны. Мы обратим внимание читателей на те достоинства Шлёцера труда, которые сохранили вполне свою поучительность в настоящее время, которые в настоящее время имеют, быть может, гораздо более значения, чем имели когда-либо прежде.

Шлёцер находил высокий интерес в занятиях начальной русской летописью; сам говорил, что это было его любимое занятие; Шлёцер нашел в Несторе важные достоинства, предпочел его всем другим современным летописцам и, по своему обычаю, резко выразил это предпочтение: несмотря на то, он умел удержаться в должных границах, не увлекся своим любимым писателем. Признав достоверность Несторовой летописи, показав возможность появления летописца в Приднепровье XI века, Шлёцер и смотрит на него как на летописца начального, как на монаха XI века, на общество им описываемое, как на общество новорожденное, первоначальное: «Философских идей об истории народов никто не станет требовать от приднепровского инока XI века. Мало говорит он о внутренней истории Руси, его более занимают внешние события, войны и т. п.». Зная, что имеет дело с начальным летописцем, Шлёцер знает также, что имеет дело с начальным, первобытным обществом; критик потому уважает Нестора, что в простом рассказе его не находит ничего, что бы не соответствовало этому первобытному состоянию. Гласно и решительно высказалось мнение, что рассказ об известном времени в жизни известного общества должен соответствовать этому времени во всех чертах своих, это соответствие выставлено как непогрешительная поверка подлинности памятника, оно выставлено главною нравственною обязанностью повествования, и труд, отличающийся таким соответствием, назван *честным*.

Шлёцер указал на закон исторического развития положением, что все великое в природе начинается с малого². Отсюда необходимое заключение для историка, что это малое и должно быть представлено малым, не должно быть похоже на позднейшее великое, образовавшееся вековым путем постепенного движения. Нестор есть *честный* летописец, потому что, описывая начало государства, рассказывая о быте племен, вошедших в состав его, изображает малое малым, простое простым. От сознания этой честности, как главной обязанности историка, проистекало у Шлёцера это уважение к известиям источников, отвращение от произвольных прибавок и украшений; другие позволяли себе прибавлять, что Рюрик при конце своей жизни был болен и слаб; что он остальное время своего правления провел в покое, занимаясь внутренним устройством государства. «А я, — говорит Шлёцер, — не знаю *ничего*, потому что Нестор не говорит ничего об этом. Два первые года по смерти Рюрика ничем не наполнены в истории; а мне бы очень хотелось знать, что случилось в эти важные годы! Как вели себя недовольные в Новгороде? Спрашивали ли их о преемстве престола? Признали ли они наследственное право Игоря и опекуновское правление Олега? Не было ли опять беспокойств и как вел себя Олег при этом? Все это и многое другое хотелось бы мне знать: но история ничего не говорит, а вымыслами нельзя наполнять исторических пробелов»³.

Елагины и Эмины, стараясь вымыслами оживлять и украшать летописные известия, представляя первых князей в виде монархов XVIII века, не могли, однако, сообщить начальной русской истории никакого величия: Шлёцер, ограничиваясь одними краткими, сухими известиями летописца, умел показать величие событий и величие заслуг исторических деятелей: «Кто прочел историю этих четырех всемирно-исторических людей (Рюрика, Олега, Ольги и Владимира) у Татищева, Ломоносова, Щербатова, Елагина и других, тот нелегко поймет великое, общезанимательное, которое источники действительно представляют, ибо это великое погребено под хламом мелочей, посторонних прибавок, нейдущих к делу рассуждений, преувеличений, народных сказок». Шлёцер указал на важное значение деятельности Олега, который положил начало будущему величию России, могущественному влиянию ее на всем Севере, умел понять важность утверждения Олега в Киеве, соединения Севера с Югом⁴.

² Нестор, III, 24: Siehe da, die Wiege Deines alten grossen festen Reichs, Russischer Alexander! Es hat, wie alles Grosse in der Natur, klein angefangen» («Взгляни же: тут колыбель твоего древнего, великого и прочного царства, Российский Александр! Как все великое в природе, оно началось с малого». — *Примеч. ред.*) // Нестор. Russische Annalen in ihrer Slavischen Grundsprache... Th. I—V. Göttingen: Dieterch. 1802—1809.

³ Нестор, III, 33, 37, 40.

⁴ Нестор, III, 5, 6.

Шлёцер, имея дело только с краткими, сухими известиями летописца, честно обходясь с ними, не позволяя себе никаких прибавок, лучше всех риториков понял величие русского народа, населителя третьей части земного шара, давшего ей гражданственность, историю⁵; в этом отношении Шлёцеру принадлежит первый разумный взгляд на русскую историю; ему принадлежит научное введение русского народа в среду европейских исторических народов. Путем честного, строго научного обращения с источниками, уразумев достоинство русской истории, Шлёцер требовал, чтобы она обрабатывалась достойным образом, а не так, как изображали ее риторики XVIII века⁶. То же честное обращение с источниками дало Шлёцеру возможность уразуметь различие начала русской истории от начала истории других европейских государств: будучи иностранцем, немцем, он не увлекся, однако, норманизмом, хотя, по ясности туземных и чужих известий, и не мог не признать первых князей норманнами:

«Между пятью народцами, действующими в начале русской истории, только один принадлежит к славянскому племени — новгородцы (да разве еще кривичи); и эти новгородцы не отличаются ничем пред другими, не первенствуют. Несмотря на то, славяне становятся главным народом новой монархии и поглощают не только четыре остальных народца, но и самих завоевателей: все становится славянским! Через 200 лет от варягов не остается ни малей-

⁵ Там же, 26, 27. «Das grösste Drittel unsers Erdtheils, der unwirthbare Nordöstliche Norden diesseit der Ostsee bis zum Eismeer und Ural, dessen Dasein kein Grieche und Römer erfahren hatte, wohin noch kein Deutscher gedungen war weil die Entfernung zu gross war. Siehe da bildete sich vor 1000 Jahren, durch Amalgamirung mehrer ganz verschiednen Horden, ein Volk, Russen genannt, das mit der Zeit Menschheit in Gegenden bringen sollte, die von dem Vater der Menschheit bis dahin vergessen zu sein schienen. Ein Zusammenfluss, eine Verkettung von Zufälligkeiten, leitete diese hohe Zwecke auf eine auffallende Weise. Menschen waren hier, vielleicht schon seit Jahrtausenden, aber nur wenige, sie wohnten auf einer ungeheuren Strecke Landes zerstreut, one Verbindung unter sich, die Verschiedenheit der Sprachen und Sitten erschwerte: und Menschheit ist doch nur das Werk de la population rassemblée, u. s. w.» («Целая треть нашей части света, негостеприимный Северо-Восток ее северного конца, простиравшийся от Балтийского моря до Ледовитого океана и Урала, о чьем существовании не было известно ни одному греку или римлянину и куда еще не проникал ни один немец, ибо слишком велика отдаленность! И вот, тысячу лет назад из слияния самых разных кочующих племен здесь образовался народ, названный русским, который должен был со временем заселить людьми те области, которые до тех пор казались позабытыми даже Отцом людей. Некое стечение и сцепление обстоятельств замечательным образом вело к этим людям. Люди обитали здесь уже, пожалуй, не одно тысячелетие, но их было совсем мало, они обитали на пространстве земли колоссальной протяженности, не имея между собой никакой связи, ибо ей мешало различие языков и нравов, а ведь человечество — это именно создание de la population rassemblée [собранного вместе населения] и т. д.» — *Примеч. ред.*)

⁶ Нестор, II, 282.

шего следа; даже скандинавские собственные имена после Игоря исчезают из княжеского дома и заменяются славянскими. Славянский язык не терпит ни малейшей перемены от норманнского языка повелителей. Совершенно иначе происходит в Италии, Галлии, Испании и других странах: сколько германского внесено франками в латынь галлов! Новое доказательство, что норманнские дружины, поселившиеся в стране, не были многочисленны»⁷.

II

Нам не нужно много распространяться о важном значении главных положений Шлёцера в истории нашей науки. Исследования Шлёцера ограничиваются начальным периодом русской истории; о дальнейшем ходе событий он имел ошибочные понятия по недостатку подробного фактического изучения; он только начал, но начал как следует, именно *начал сначала*, и потому его труд лег в основу исторического направления в нашей науке. Все великое начинается с малого; чтобы определить правильно это малое и наблюдать многосторонне и, по возможности, непогрешительно за его возрастанием в большое, надобно вникнуть в простой, правдивый рассказ честного летописца, не искажая его, не примешивая к нему представлений, из другого времени взятых. Вопрос: что было в нынешней России в то время, как на ней еще русского имени не было? Вопрос этот, правильно, на основании летописных показаний решенный, — чрезвычайной важности, ибо только посредством его решения мы получим ключ к уразумению начала нашего государства и дальнейшей его истории.

Как же изображает нам летописец это дорюриковское состояние своей страны? «Честный Нестор представляет свою страну до Рюрика пустынею, где живет несколько народцев». Страна — пустыня, и какая пустыня, каких размеров? Это громадная равнина от Белого моря до Черного и от Каспийского до Балтийского! Если эта обширная страна в половине IX века была пустынею, то могла ли она скоро перестать быть пустынею, скоро населиться? Явные следы постепенного и медленного населения ее мы видим в продолжение всей нашей истории; видим, как древние южные князья, как потом северные князья, государи Московские, тяготея малочисленностью народонаселения, стараются увеличить последнее; в XV, XVI, XVII веках путешественники описывают большую часть страны пустынею, покрытою на обширных пространствах дремучими лесами, болотами, по которым можно ездить только зимою, а не летом. Вспомним, какое ничтожное относительно пространства народонаселение имело Московское государство при переходе сво-

⁷ Нестор, III, 21, 22

ем во Всероссийскую империю и после, в XVIII веке! Но, вспоминая все это, мы не будем удивляться медленности государственного развития, медленности установления наряда на Земле великой, ибо знаем, как огромное пространство с редко-разбросанным народонаселением препятствует быстроте и правильности отправления государственного организма. Какие важные явления нашей истории, нашей жизни легко объясняются, когда историк начнет сначала, когда начнет с того, что страна наша в половине IX века была пустынею, по которой редко были рассеяны разные народцы, что до половины IX века здесь не было истории!

Честный летописец изображает восточную равнину до Рюрика пустынею, где живет несколько народцев; но как он изображает быт этих народов? «Каждый жил особо с родом своим на своем месте, владел родом своим, свой обычай имел». На севере, в некоторых племенах эти особные роды были приведены к единству под одну общую власть сперва силою; потом, когда эта власть была отстранена, родовая особность высказалась вновь в усобицах: «встал род на род»; но средство прекратить это положение было недавно испытано, и общая власть призывается. Призванные князья, благодаря соединенным силам призвавших племен, заставляют и все другие племена восточной равнины подчиниться одной общей власти: происходит соединение племен, вместо племен видим волости, каждую со своим князем; но эти князья суть члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство Русской земли во время государственного младенчества; потом волости соединяются в одно государство, многие князья исчезают, является единовластие. Внутренний процесс государственного объединения оканчивается, тяжелый, медленный процесс опять вследствие громадности страны, составляющей свой отдельный мир. По окончании этого процесса государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным, по своим средствам, влиянием, но в то же время подвергаясь влиянию и других государств, что необходимо в общей жизни народов, необходимо для успехов народной жизни.

Но мы не можем высказать это последнее положение как общепринятое, ибо существует мнение противное, существует направление, противоположное *историческому* направлению, которое начинается Шлёцеровым Нестором. В чем состоит это направление, которое мы должны назвать *антиисторическим*, оказывается из положений, высказанных его последователями.

Первое положение состоит в том, что у восточных славян и у славян вообще не было родового быта, а если и был, то рушился во времена доисторические. Отрицать господство родового быта у славян в половине IX века и сильное влияние его после в отношениях самых видных, именно в отношениях княжеских и вельможеских, можно, только отвергая свидетельства честных летописцев и дру-

гих неоспоримых источников, чего последователи исторического направления позволить себе не могут. Последователи антиисторического направления могли это сделать, или заподозривая подлинность летописи, или перетолковывая ясный смысл летописных известий, употребляя натяжки. Они предпочли второй способ. Там, где на сцене прямо явление из родового быта, как, например, если братья владеют нераздельно отцовским имуществом, там последователи антиисторического направления видят явление семейное! Летописец говорит ясно, что у восточных славян каждый жил особо с родом своим и владел им; нет, говорят, это значит, что славяне владели по родам, целым родом совокупно — и таким образом, вопреки своему желанию, прямо доказывают господство родового быта. Всем, сколько-нибудь знакомым с языком древних памятников, известно, что слово «род» употреблялось для означения современной совокупности всех живых родственников; последователи антиисторического направления отвергают и это; говорят, что слово «род» означало только семью; родовые княжеские отношения они объясняют тем, что князья не были славянского племени, не указывая на тот не славянский народ, у которого это явление было бы в такой степени развито, и умалчивая о тех славянских народах, в которых оно было развито.

Отвергнувши родовый быт, последователи антиисторического направления поставили изначальную общину договорную, провозгласили, что общинный быт есть господствующее явление нашей истории. Тщетно им говорят, что существование общинного быта в России никто не оспаривает; тщетно говорят им, что быт этот и в гораздо большем развитии видим в истории других народов; тщетно говорят им, что явление должно быть объяснено исторически: последователи антиисторического направления продолжают утверждать, что был общинный быт, господствовал — и только! Как начался, вследствие каких причин усиливался или ослаблялся, в какие эпохи замечаем это усиление или ослабление — на эти вопросы они не отвечают. Были вечевые города, говорят они.

Действительно, были, и давно уже историки обратили внимание на эти города, на их историю, указывая происхождение вечевого быта, его развитие и упадок. Были вечевые города в начале общественной русской жизни, исчезли при образовании государства, которое исключило эту форму городского или областного быта. Сначала видим особые, замкнутые, самостоятельные роды; потом, вследствие известных влияний, эти роды заменяются обществами, члены которых соединены не родственною связью, обществами, более или менее самостоятельно управляющимися; но эти общества, или общины, так же замкнуты и особны, так же страдают эгоизмом, как и роды; народ, который остановится на этой ступени, недолго может поддерживать свою самостоятельность. Чтобы достигнуть высшей ступени развития, чтобы достигнуть единства государствен-

ного, ясного сознания об этом единстве и способности пожертвовать всем для его сохранения, народ должен отказаться от этой общинной особенности, пожертвовать ею, а потом, когда государство окрепнет, когда сознание о его единстве утвердится — тогда вопрос о той или другой форме областного управления может решиться так или иначе, вследствие различных условий. Мы знаем, как в Московском государстве решаем был этот вопрос; как давалось самостоятельное управление мирам, местным общинам; как потом, вследствие стремления частей государственного организма к большему развитию, община местная должна была пасть перед сословною, образование которой было делом новой России, завещанным ей старою. При этом мелькала неясная мысль о возможности не исключать местную общину сословную, а соединить их; но, как обыкновенно бывает, одно начало, пролагая себе дорогу, стремилось исключить совершенно другое; способность, не утрачивая старого, соединить его с новым есть принадлежность поколений, крепких просвещением, крепких мудростию гражданскою. Об этом надеемся поговорить подробнее в другой статье.

Новгород не подержал Ростова, Псков выдал Новгород — вот обычное поведение общин! Северо-Восточная Россия для объединения своего, для собрания земли, отреклась от вечевого быта. У народов исторических в известные эпохи замечаем известные симпатии и антипатии, показывающие историку, какое начало вырабатывает в себе народ, начало, необходимое для продолжения его исторической жизни, для выхода на более широкий путь: отсюда понятно у московских летописцев это отвращение к вечу, это нерасположение к новгородцам, вечникам, крамольникам. Что выиграла Северо-Восточная Русь этим отречением от вечевого быта, показал ясно 1612 год, когда народ, вследствие сознания государственного единства, мог встать как один человек для охранения этого единства.

Третий вопрос, которого коснулись последователи антиисторического направления, был вопрос о земских соборах. Вот мнение их о происхождении этого явления⁸:

«До московского периода, при множестве отдельных княжеств, мы беспрестанно (?) видим веча, видим сильный элемент совещательный. Что же с ним случилось, с этим элементом? Внутри государственного состава произошла перемена. Отношения государя к дружине переменялись. А что же отношения государя к земле? Переменялись ли они или нет? Как переменялись? И чем стали они? Как отразилась или обозначилась правительственная перемена в отношении к народу?»

Древние областные веча, не всегда остававшиеся в пределах одного мнения, но примешивавшие нередко употребление грубой

⁸ Русск. Беседа. 1856. № IV. Критика. С. 1 и сл.

внешней силы, преобразились, при единой державии, в земский собор всей России — явление, уже имеющее одну чисто нравственную силу мнения, без всякой примеси внешней принудительности, силу, к которой обращалось правительство, как к самой надежной и верной подпоре. Обратимся к самой истории, к самым событиям. Первым движением Иоанна-царя было: созвать на Красную площадь земский собор. На этом соборе царь возвестил только Земле, что наступила новая эпоха, новые между ними отношения. На этом соборе царь и Земля увидались друг с другом, и ярко выступил новый состав России: единый царь и вся Земля. Созвание земского собора было собственным действием Иоанна, внутренним сознанием значения царя в России. Новое возведенное начало, заявившее себя созванием от царя первого земского собора, было приложено к делу впоследствии. В 1566 году Иоанн IV созвал опять земский собор и спрашивал мнения, мириться ли с Польшею на предложенных ею условиях или воевать, требуя больших уступок. Если скажут, что созвание земского собора не имело того значения, что это было личное действие Иоанна, его личное желание, то в ответ на это мы укажем на целый ряд земских соборов, отсюда возникающих и продолжающихся вплоть до самого Петра I, так что последний земский собор распускается от имени Петра. Нам скажут, что этих соборов мы не видим ни в царствование Феодора, ни в царствование Годунова. Отвечаем на это, во-первых, что, начиная с царя Михаила Феодоровича, нельзя уже не признать целого ряда соборов и что все-таки первый земский собор был созван первым Русским царем. Во-вторых, только о некоторых соборах сохранились известия полные, целые протоколы заседаний, об иных известия краткие; об иных узнаем из грамот, до них касающихся, а об иных из грамот, даже не касающихся до них, но где, однако, ясно и определенно о них говорится в нескольких строках. Итак, мы можем предположить, что земские соборы могли быть при Феодоре и Борисе, но что известия о них или потеряны, или существуют в других грамотах, между множеством посторонних слов».

В этом изложении мнения о соборах вполне обнаруживается способ, какой употребляют последователи антиисторического направления в своих рассуждениях. До московского периода были вече, был сильный элемент совещательный. Что с ним случилось в период московский? Его нет, говорят нам источники; мало того, в этих самых источниках находим сильные выходы против него; если этот элемент был силен, то зачем он исчез, зачем не обнаружился при деле собирания Земли? Что ему мешало? Ясно, следовательно, что новое общество строилось на других началах, исключавших вечевого элемент; и действительно, когда Иоанн III потребовал от вечевого Новгорода, чтобы он принял обычаи московские, и новгородцы спросили, какие это обычаи, то Иоанн отвечал: не быть вече. И вот этот совещательный элемент, которого не было в новой Се-

веро-Восточной Руси, вдруг является, воскресает при новом титуле, который принял Иоанн IV! Не являлся он, когда дело собирания Земли совершилось на факте, при Иоанне III, при сыне его Василии, государях *всей Руси*, и явился только тогда, когда Иоанн IV назвал себя царем! Преображение одного явления в другое можно допустить только тогда, когда между ними есть очевидная связь, когда можно указать на посредствующие звенья, посредствующие формы; но можно ли сближать между собою явления, между которыми нет никакой связи, которые отделены друг от друга веками?

Созвание выборных на Красную площадь не было следствием существования когда-то и где-то вечей; не было и явлением случайным, не было личным действием Иоанна: это явление вытекало естественно и необходимо из отношений царя к дружине, из естественного стремления найти себе опору против заподозренной дружины. Зачем Иоанн созвал выборных, что он им сказал? То, что в его малолетство бояре беззаконствовали, и он не был виноват в этих беззакониях; теперь, когда он возмужал, сам принял власть — подобных беззаконий уже не будет. Как несправедливо приписывать усиление выборного начала в областном управлении борьбе Иоанна с дружиною, ибо это усиление началось прежде Иоанна вследствие ясно высказавшихся государственных потребностей, точно так же несправедливо приписывать созвание выборных чему-либо иному, а не этой борьбе, ибо здесь побуждения, проистекающие прямо из этой борьбы, ясно высказываются. Автор приведенного мнения о происхождении собора от веча говорит, что собор 1566 года, по поводу войны Литовской, был приложением к делу начала, заявившего себя в созвании выборных на Красной площади. Действительно, связь между этими явлениями ясна: они оба проистекали из одного источника; но между ними было еще посредствующее, однородное им явление: это обращение Иоанна к московским горожанам по отъезде в Александровскую слободу. Но если созвание выборных на Красную площадь, обращение к горожанам московским по отъезде в Александровскую слободу и призыв на собор 1566 года кроме духовенства, бояр и дворян также приказных людей, гостей и лучших купцов московских суть явления однородные, из одной причины проистекающие, то уже ни в каком случае они не могут подтверждать мнения, что здесь высказалась мысль народная, что собор 1566 года был собором *всей России* — ибо нам известно, кто был на этом соборе: духовенство, бояре, окольные, казначеи, государевы дьяки, дворяне и дети боярские первой и второй статьи, помещики с западных литовских границ как люди, которым более других были знакомы местные отношения, дьяки и приказные люди, гости, лучшие купцы московские. Где же выборные из городов, из областей? Где же *вся Земля*, позванная на совет вследствие объединения государства? Значит, гости и лучшие куп-

цы *московские* были представителями всех областей объединенной России?

Самому автору приведенного мнения представилось сильное выражение: «Нам скажут, что земских соборов мы не видим ни в царствование Феодора, ни в царствование Годунова». Как же он опровергает это возражение? «Начиная с царя Михаила Феодоровича, нельзя уже не признать целого ряда соборов, и все-таки первый земский собор был созван первым Русским царем». Выходит, что при царе Иване было единое государство и мысль народная высказывалась на совете всей Земли; при царе Михаиле было то же самое; что же было при царе Феодоре и при царе Борисе? Единство государственное рушилось, стало быть, и мысль народная замолкла? Любопытно это *«все-таки»*: «все-таки первый земский собор был созван первым Русским царем». Как легко человеку, который не обладает предметом своего мышления, но которым этот предмет обладает, впасть в мистицизм! Разве это не мистицизм — настаивать на таинственную связь первого собора с первым царем? Но еще любопытнее второй ответ автора: Земские соборы *могли* быть при Феодоре и при Годунове, но известия о них потеряны! Спрашивается, чего нельзя доказать таким образом? Всякое явление, которое нам нужно, *могло* быть, а если о нем нет известий в источниках, то это потому, что они потеряны: вопрос порешен!

Мы привели мнение автора о возможности соборов при царе Феодоре и Борисе Годунове для показания способа, какой употребляют последователи антиисторического направления при решении ученых вопросов. Что же касается до фактов, то в начале царствования Феодора, если мы и не можем решительно указать на настоящий земский собор, то, по крайней мере, можем указать на приготовления к нему, ибо со смерти Иоанна IV уже начинается время смут, из которых государство могло выйти только с помощью всей Земли, начинается время действительных земских соборов. По смерти Иоанна IV уже возник вопрос, кому из двоих сыновей его быть царем — ибо старший, царевич Феодор, признавался неспособным. Возникли вследствие этого беспокойства, поддерживаемые честолюбцами. Англичанин Горсей говорит, что 4-го мая 1584 года созван был собор (parliament), на котором присутствовали митрополит, архиепископы, епископы, игумены и все дворянство (all the nobility whatsoever); наши летописи говорят: «По преставлении государя И. В. приидоша изо всех городов к Москве именитые люди из всего государства Московского и молиша со слезами государя царевича Феодора Иоанновича, чтоб был на Московском государстве царем и венчался царским венцем».

Мы не знаем, были ли эти именитые люди из городов на соборе, или дело их ограничилось только просьбой царевичу Феодору. Но кто были эти посланные люди? Название *«именитый»* — неопределенно означает вообще *знатного* человека; Горсей говорит, что

на соборе было дворянство, и надобно заметить, что англичане в этом отношении очень точны, они постоянно различают дворянство и горожан: тот же Горсей в том же месте говорит о беспокойствах между дворянством и горожанами. Джон Мерик о Годунове говорит, что он был избран кроме дворянства и всеми горожанами. Но как бы то ни было, для нас важно то, что великий вопрос о престолонаследии, поднявшийся впервые, впервые вызывает участие всей Земли, здесь впервые слышится ее голос, ибо на Красной площади, где говорил царь Иоанн Васильевич, ничьего голоса, кроме его, не было слышно; на соборе 1566 года выборных из городов не было; а в 1584 году явились именные люди (кто бы они ни были) из всех городов всего Московского государства и просили царевича Феодора принять престол. Тот же самый великий вопрос об избрании царя повторился по смерти Феодора и был решен всею Землею на соборе. Началась эпоха смут, явилось несколько искателей престола, наконец, на Москве не стало более никакого царя; боярская дума, преданная иноверцу Владиславу, не удовлетворяла требованиям Земли, и Земля чрез своих представителей должна была принять на себя правительство; грамоты писались от имени всей Земли; по очищении Земли собор избирает царя, которому дает слово, что смуты не повторятся более; что, несмотря на страшное расстройство всех государственных отправлений, у нового государя будут средства установить наряд и укротить врагов. Это положение государства и это обещание, данное Землей новому государю, условливали если не постоянный земский собор, то, по крайней мере, очень частое его созывание, что и видим на самом деле в царствование Михаила Феодоровича.

Состояние государства, значение собора, его необходимость в царствование Михаила Феодоровича всего яснее видны из переписки нового царя с земским советом еще до прибытия Михаила в Москву; так, он пишет из Ярославля: «От царя и великого князя Михаила Феодоровича всея Руси богомольцу нашему Кириллу митрополиту Ростовскому, архиепископам, епископам и всему освященному собору, боярам нашим, и окольничим, и стольникам, и стряпчым, и дворянам большим, и приказным людям, и жильцам, и дворянам, и детям боярским из городов, головам стрелецким, сотникам, атаманам, козакам, стрельцам, гостям, торговым и из городов приезжим людям и всем Московского государства всех чинов людям. Писали вы к нам, чтоб нам идти к Москве вскоре, и прислали роспись, что у вас на Москве, на дворце всяких запасов: и по той росписи запасов во дворце мало, и с обиход наш того не будет и на приезд наш. А которые сборщики от вас посланы, по городам для кормов: и те сборщики к Москве не ввалили, а денег ни в котором приказе в сборе нет, а Московское государство от польских и литовских людей до конца разорено, на наш обиход запасов и служилым людям на жалованье денег и хлеба собирать не с кого. Ата-

маны и козаки беспрестанно нам бьют челом и докучают о денежном жалованье, о своих и конских кормах, а нам их жаловать нечем и кормов давать нечего. И вам бы приговор учинить: чем нам ратных людей жаловать, и свои обиходы полнить, и бедных служилых людей чем кормить и поить, и ружным и оброчникам на жалованье деньги и хлебные всякие запасы давать? и про то б вам про все учинить полный приговор, как кому быть, и к нам отписать вскоре. А то вам самим и всему Московскому государству, служилым и жилецким людям, ведомо: учинились мы царем вашим прошеньем и челобитьем, а не своим хотеньем; крест нам целовали вы своею волею; и вам бы всем, помня свое крестное целованье, нам служить, и о всяком деле радеть, и приговор свой учинить, как то всему быть».

Автор приведенного мнения о соборах говорит: «Отстояв свою независимость, Русская Земля вновь призвала государство и вновь поставила себе царя, избранного всею Землею. Отсюда начинается уже целый ряд земских соборов: государство часто призывает Землю на совет. Три первых царя из рода Романовых охотно собирают земские соборы, как скоро встречается важное дело, касающееся до всей России. При одном царе Михаиле Феодоровиче насчитывается до 12 земских соборов. При царе Алексее Михайловиче для обсуждения Уложения был собран земский собор. Когда Малороссия просила царя о присоединении ее к России, то решение этого важного вопроса было предложено также земскому собору» (заметим, что по малороссийскому делу было два собора).

При царе Михаиле 12 соборов, а в долговременное и обильное важными событиями царствование Алексея Михайловича только два (собственно 3!). Для последователей антиисторического направления это ничего не значит, ибо им нет нужды до истории явления; вот почему происхождение собора у них мистически соединено с принятием царского титула Иоанном IV, а окончание также мистически соединено с именем Петра, ибо последний собор, по их мнению, распущен именем Петра, хотя Петр был в то время младенец. Но для последователей исторического направления эта разница, что при царе Михаиле было 12 соборов, а при царе Алексее только 2, чрезвычайной важности, ибо это ясно показывает вымирание явления, ослабление причины, его производившей. При царе Михаиле государство находилось в самом бедственном положении; у правительства, как мы видели, не было никаких средств, и оно постоянно обращалось за этими средствами к Земле, созывало соборы, требуя от них средств для известного предприятя. Но мало-помалу государство оправилось, приобрело средства, и соборы по делам внешней политики, для войн прекращаются. Последний такого рода собор был при царе Алексее Михайловиче, именно по случаю присоединения Малороссии, и в обстоятельствах созвания собора ясно видно, что явление вымерло. осталась одна форма, кото-

рую сочли нужным еще исполнять из уважения к обычаю предшествовавшего царствования. 6 сентября 1653 года царь Алексей Михайлович отправил к гетману Богдану Хмельницкому ближнего стольника Родиона Стрешнева и дьяка Бредихина, а в верующей грамоте писал:

«Послали мы, для наших государственных дел, к тебе и ко всему войску Запорожскому ближнего нашего стольника... а с ним послали к тебе наше государское жалованье, и о чем они тебе говорить учнут, и тебе б им в том верить»⁹. Что же должны были говорить гетману Стрешнев и Бредихин? Об этом дает знать сам гетман в отписке к царю: «Зело утешились есмя, когда грамоту прочитали есмы, от твоего царского величества присланную до нас, всего войска Запорожского, через ближнего стольника Р. М. Стрешнева и дьяка М. Бредихина, которые нам объявили, что твое пресветлое царское величество пожаловал нас и *изволил принять под свою крепкую руку*. И мы тому обрадовались вельми, и рады твоему пресветлому царскому величеству верно во всем служить и крест целовать»¹⁰.

Итак, 6 сентября государь послал к гетману с объявлением, что он принял его в подданство, а 1 октября созван собор для рассуждения о том, принять ли гетмана в подданство! Положим, что Алексей Михайлович был уверен в согласии собора, ибо об этом было рассуждаемо прежде; но в таком случае для чего созывать вторично собор и предлагать снова дело на обсуждение? Если же хотели большего, окончательного удостоверения, то зачем было созывать собор после решения дела? При Михаиле Феодоровиче, при каждой новой войне, требовавшей особых издержек, сбора десятой деньги, созывался земский собор; при царе же Алексее Михайловиче, перед началом войны с турками, сбор десятой деньги решили духовенство, бояре, окольные и думные люди.

Таким образом, земский собор, бывший следствием известных причин, действовавших в XVII веке, вымирает с уничтожением этих причин; вымирает в древней же России, прекращается в царствование Алексея Михайловича, и неправильно автор приведенного мнения распушение последнего собора соединяет с именем малолетнего Петра. «Царь Феодор Алексеевич, — говорит он, — в свое короткое царствование созывал два собора: один — для уничтожения местничества; на этом соборе были только служилые люди, ибо вопрос о местничестве до Земли не касался: Земля не служила и не местничалась. Другой — был земский собор, предмет которого был весьма важен. Он был созван для уравниения всяких служб и податей».

⁹ С. г. г. и д. III, № 156 // Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел Ч 3 М., 1822 № 156.

¹⁰ Там же, № 159.

Первый собор насчет местничества не был земским собором, следовательно, о нем и говорить не следовало в статье «О земских соборах»; наука требует точности; таких соборов, как собор о местничестве, созывалось много и прежде, и в XVI веке. Что же касается до созвания выборных для уравниения служб и податей, то и это — не земский собор, таким он нигде и не назывался. Если же угодно подобные созывания выборных из областей называть земскими соборами, то упомянутое созвание 1682 года вовсе не будет в таком случае *последним* земским собором, и не нужно распушение последнего земского собора мистически соединять с именем Петра, ибо обычай этот существовал и в XVIII веке точно так же, как в XVII; здесь нет, следовательно, грани между древнею и новою Россиею. Так, в царствование Петра II, в 1728 году, для сочинения Уложения велено было выслать к Москве из офицеров и из дворян добрых и знающих людей из каждой губернии, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири, по пяти человек за выбором от шляхетства. При Анне Иоанновне повелено определить к составлению Уложения добрых и знающих в делах людей, по рассмотрению Сената, выбрав из шляхетства и духовных и купечества, из которых духовным и купецким быть в то время, когда касающиеся к ним пункты слушаны будут. При императрице Елисавете в 1761 году также по поводу сочинения Уложения правительство объявило: «Как оное сочинение Уложения, для управления всего государства гражданских дел весьма нужно, следственно, всего общества и труд в советах быть к тому потребен, и потому всякого сына отечества долг есть советом и делом в том помогать. Того ради Пр. Сенат приказали: к слушанию того Уложения из городов из всякой провинции, кроме новозавоеванных, тако же Сибирской, Астраханской и Киевской губерний, штаб- или обер-офицеров, происшедших из дворян, и знатного дворянства, не выключая из того и вечно отставных от всех дел, токмо к тому делу достойных, по два человека из каждой провинции, за выбором всех тех городов шляхетства; ежели же они кого из обретающих в С.-Петербурге, у статских дел, к означенному делу выбрать пожелают, то в том дается им на волю; по тому ж и купцов за таким же от купечества выбором по одному человеку. Губернаторам, воеводам, также и магистрату в те их выборы ни во что не вступать». Потом велено выслать к слушанию Уложения из дворян и купечества тобольского, иркутского, киевского, нежинского и оренбургского. Нам не нужно говорить об известной Комиссии для Уложения при Екатерине II.

Переходя к новой России, к объяснению отношения ее к Руси древней, последователи исторического направления тесно связывают обе половины русской истории — допетровскую и послепетровскую; в явлениях последней видят результаты явлений первой. Последователи противного направления отрицают эту связь, отрицают законность происхождения явлений новой России из явлений

древней, видят в первых уклонение от естественного, правильного хода, замечаемого ими во вторых. «Время,— говорят они,— есть мыслимое, внешнее выражение и ограничение развития, есть форма, которая беспрестанно готова распасться в ничто без внутреннего содержания, без того, что совершается во времени. Этой формы и содержания невозможно разнять человеку в труде земного развития; но еще опаснее смешать и слить их, ибо тогда ускользнет вечное и существенное. То, что *после*, окажется тогда непременно *выше*, несмотря на то, что по отношению к прежнему существенному развитию оно может быть ниже. И вот пример. Мы знаем форму просвещения, господствующую у нас в оболочке времени последних полутора столетий; но и прежде того мы видим на Руси существеннейшее стремление к просвещению, шаг за шагом выражавшее себя яснее и яснее: выводят отсюда, что просвещение новой Руси есть искомая задача древней, есть удовлетворение и ответ на ее стремления. Но, *может статься*, те былые стремления разногласят в сущности с новой формой? *Может статься*, донныне хранятся в глубине народа от древности иные задатки, иные требования, как слабая искра, пеплом закрытая и для поверхностного взгляда темная, в сравнении со светом поверхностного просвещения? Видите ли, что основа заблудившегося вывода лежит в смешении формы и содержания?»¹¹

Ничего не видим, ибо вы нам ничего не показали. Вы сказали: *может статься*, есть тут что-нибудь, и непосредственно после этого: *может статься*, позволяете себе говорить: «видите ли, что вы ошибаетесь, не усматривая, что тут *действительно* есть что-то!» Но обратимся к фактам. Приведенное мнение высказано по поводу важного явления в истории просвещения древней Руси, именно собрания книг Священного Писания воедино, сделанного известным новгородским архиепископом Геннадием в XV веке. Оказывается, что дело это совершенно неудовлетворительно, а именно: текст занят был не всегда древнейший и лучший; текст, взятый из списков толковых, не везде очищен от толкований и кой-где перебит вносками; порядок в последовании книг всюду почти соображен с латинскою Библиею; некоторые оглавления и предисловия заимствованы не только с подлинника латинского, но даже и немецкого; некоторые книги ветхозаветные или места из них, в древнейшем славянском переводе неизвестные Геннадию или затерявшиеся, приняты им в переводе с латинского.

Для последователей исторического направления это явление вполне понятно, труд Геннадия был первый опыт собрания книг Св. Писания воедино, опыт, предпринятый при очень неудовлетворительном состоянии просвещения и потому не могший быть совершен вполне удовлетворительным образом. Но иначе считают своею

¹¹ Русск Бес 1856 II Критика С 45

обязанностию смотреть на дело последователи антиисторического направления. Дело, совершенное в Древней Руси, не может иметь недостатков; если же имеет их, то это вина не общества, а частного лица, совершившего труд. И вот Геннадий подвергается упрекам за небрежность, за нежелание отыскать славянские рукописи и выбрать из них древнейшие и лучшие. Не хотят объяснять дело самым простым и естественным образом, что рукописи древнейшие и лучшие были редки, неизвестны, затеряны по разным углам обширной страны; что Геннадий и его сотрудники, несмотря на все свое желание и старание, не могли отыскать и, отыскавши, по недостатку необходимых познаний, не умели выбрать лучшего; нет, из желания отстоять мысль о непогрешительности Древней Руси предпочитают осыпать упреками одно из самых почтенных лиц нашей древней истории! Прекрасные древние рукописи были на Руси; но вот когда один из самых просвещенных (если не самый просвещенный) пастырей Церкви задумал собрать воедино книги Св. Писания, то не мог найти или не умел выбрать лучших! Кажется, это явление должно служить самым лучшим мериллом просвещения на Руси в XV веке.

Доказывая, что Геннадий заставлял переводить некоторые книги с латинского по небрежности, по нежеланию заняться хорошенько делом, а не потому, что греческий текст был неизвестен и недоступен, говорят: «На Руси, стоявшей в постоянных и ближайших сношениях с Грецией, на Руси, употреблявшей в некоторых местах греческий язык даже при богослужении, принимавшей к себе множество Греков, а в Грецию посылавшей столько путешественников, столько иноков и торговых людей на постоянное житье; имевшей в греческих монастырях своих особых переписчиков; в языке торговых переходящих людей, Варягов, сохранившей наполовину слова греческие; справлявшей постоянно, и в это самое время, текст св. книг, конечно, не без подлинника греческого; наконец, продолжавшей переводить с греческого некоторые книги и незадолго перед тем имевшей в главе духовенства Грека, митрополита Фотия: на этой Руси не было людей, достаточно знающих греческий язык? Положим. Но при этом да потрудятся объяснить нам: как на этой же Руси, в этот же век Геннадия, нашлись достаточные переводчики с языка латинского, который никогда не привлекал особенного расположения нашего народа, называвшего все католичество латинством? Как у Геннадия нашлись люди для переводов с немецкого, с языка того народа, который по преимуществу назван на нашем языке немым, как бы не признан даже языком, или, по счастливому выражению Нестора, признан за язык, но только *язык нем?*»

Любопытно, что автор считает трудным ответ на свои вопросы, употребляет выражение: да потрудятся! Кто же не знает, что в веке Геннадия и после латинский и немецкий языки были необходимы для внешних сношений; что у нас были постоянно толмачи латин-

ские и немецкие, к числу которых принадлежал известный Димитрий, помогавший Геннадию своими познаниями? Что же касается до языка немецкого, то в Новгороде и Пскове, епархии Геннадиевой, вследствие непрерывных связей с немцами, должны были всегда находиться знатоки немецкого языка. Просим также автора указать нам на *множество* Греков, на *столько* путешественников, иноков и торговых людей; но если бы даже их было действительно *множество* и *столько*, то неужели всякий грек, всякий купец, паломник и монах был способен заняться важным делом перевода или исправления книг?

Да попробует автор, встретивши первого богомольца, возвратившегося с Афона, из Константинополя, предложить ему перевести что-нибудь с греческого! Неужели автор думает, что и варяги способны заняться этим делом и что греческие слова, сохранившиеся в их языке, были следствием знакомства наших предков с греческою литературой? Где доказательства, что в Геннадиево время происходило исправление св. книг с греческого подлинника? Какое влияние могло иметь греческое происхождение митрополита Фотия на век Геннадиев? Должны мы, наконец, остановиться и на том, что последователи антиисторического направления называют наших летописцев *счастливыми* выражениями; к этим выражениям они относят выражение *язык нем*, для обозначения языка иностранного, непонятного; происхождение такого выражения понятно как следствие младенческого взгляда, и *счастливым* можно назвать его разве по отношению к известному выражению «*счастливое младенчество*». Если выражение *счастливо*, значит, оно — верно, верно само по себе, верно для всех времен, значит, по мнению последователей антиисторического направления, язык германцев действительно язык нем? Этот взгляд на иностранные языки очень любопытен; надобно надеяться, что он будет изложен в надлежащей полноте.

От существования в XV веке людей, знающих латинский и немецкий языки, автор, не обративши внимания на служебное значение этих людей, заключил о существовании людей, знающих греческий язык, способных заняться переводом книг с греческого, исправлением старых переводов по греческому подлиннику. Но автор встретил непреодолимое возражение; какими же средствами он думал преодолеть его? «Вы указываете, — говорит он, — на Максима Грека, который, немного лет спустя, вызван был в Москву, потому что здесь не находили хорошо знающих греческий язык. Позвольте сказать, что это несправедливо; не потому был вызван Максим, а для того, чтобы служить ему руководителем и исправителем сведений и занятий; явление это подтверждает только наше исконное стремление к просвещению и само говорит в подтверждение наших сношений с Грециею. Другим делом Максима, за которое тотчас и посадили его по приезде, был разбор книжных

русских сокровищ, которые в то время и после так удивляли иностранцев и для которых именно нужен был иностранец, со сведениями иностранных университетов. И вот новый вопрос против того предположения, будто бы в наших книгохранилищах не находили в то время — чего же! — даже греческого текста Библии».

Сначала уступим, согласимся, что Максим Грек был призван для того, чтобы служить руководителем и исправителем сведений и занятий, а также для того, чтоб разобрать книжные русские сокровища. Отсюда выходит прямо, что русские люди конца XV и первой половины XVI века не могли сделать ничего исправного без помощи ученого грека, приобретшего свою ученость в иностранных университетах; не могли оценить и разобрать своих книжных сокровищ. Спрашиваем теперь: какое же право имел автор порицать Геннадия за то, что он не умел найти того, что ему было нужно, не умел выбрать лучшего, не умел исправить того, что у него было? Не ясно ли, следовательно, что погрешности дела Геннадиева были следствием состояния современного общества, а не личности самого делателя. Далее автор говорит, что призыв Максима для исправления и руководства подтверждает наше исконное стремление к просвещению; но как же тот автор позволил себе вооружиться против положения, что в Древней Руси существовало исконное стремление к просвещению; что потребность эта высказывалась все яснее и яснее и, наконец, нашла себе удовлетворение в мерах, знаменующих деятельность новой России. Если в XVI веке для исправления, руководства и разбора своих сокровищ, которым не знали цены, не умели пользоваться, понадобился воспитанник иностранных университетов, то на каком основании считать каким-то уклонением от законного пути сближение с иностранными университетами в XVIII веке? Не ясно ли, что Древняя Русь собственными средствами не могла удовлетворить своему исконному стремлению, и средство к этому удовлетворению, употребленное новой Русью, было естественно, необходимо, законно и было не ново, потому что употреблялось уже и Древнею Русью?

Наконец, мы не можем исполнить просьбу автора, не можем позволить ему сказать, будто несправедливо, что Максим Грек был вызван по недостатку в Москве людей, хорошо знающих греческий язык. Известно, что Максим Грек был переводчик, а не руководитель только; как он переводил, об этом свидетельствует ученик его, знаменитый Зиновий Отенский: «Когда пришел от Св. Горы Максим, то великий князь Василий повелел ему переводить толковую псалтирь с греческого языка на русский; Максим взял толмачей латинских и перевел псалтирь с греческого языка на латинский, а толмачи латинские перевели с латинского на русский, потому что Максим по-русски плохо разумел». Если бы в то время в Москве были люди, знавшие греческий язык, то для чего Максиму было поступать таким образом: переводить сначала на латинский язык?

Чтобы оправдать Древнюю Русь в недостатке просвещения и возложить всю вину на Геннадия, автор старается доказать, что в XVI веке делу Геннадия не сочувствовали, не одобряли его: «По совершении дела Геннадия, оно впоследствии не было признано открыто, служебно, письменно и действительно ни государством, ни Церковию и духовенством». Но спрашиваем: какие формы, по мнению автора, должна была употребить Древняя Русь для выражения этого признания? Дело, совершенное архиепископом, нуждалось ли в каком-нибудь признании? Признание было полное и торжественное; один список Геннадиева труда принадлежал митрополиту Варлааму, который отдал его как вклад по своей душе и по своих родителях в Троицкий монастырь; второй принадлежал царю Иоанну; третий — епископу Рязанскому; наконец, что всего важнее, когда князь Константин Острожский обратился к царю Иоанну с просьбою прислать ему полный список Библии для печатания, царь послал ему список Геннадиевский: ясный знак, что в Москве признавали этот труд вполне достойным.

Мы должны довольно долго остановиться на этом антиисторическом взгляде на труд Геннадия, ибо взгляд этот показывает всего яснее, к чему ведет вообще антиисторический взгляд на Древнюю Россию: если признали своею задачею доказывать превосходство древнего русского общества, то необходимо должны все явления, которых нельзя назвать превосходными, приписать случайности, сложить всю вину несовершенства на исторического деятеля. Последователи исторического направления с глубоким сочувствием остановятся на деле Геннадия, скажут слово сочувствия и тому обществу, в котором могло явиться такое дело, особенно когда знают, при каких неблагоприятных обстоятельствах развивалось это общество. А последователи антиисторического направления, во-первых, должны выставить в черном свете труд и характер совершителя труда, лишить Древнюю Русь одного из лучших ее людей; во-вторых, употребить тяжелую и крайне неловкую натяжку, утверждая, что труд не был признан обществом. Но одною этою натяжкою ограничиться уже стало нельзя, ибо у всякого читателя готово возражение: пусть Геннадий, вследствие личных своих недостатков, не хотел и не умел сделать дело как должно; но как же, однако, восхищаться состоянием общества, которое не имело полного списка священных книг?

Все же, значит, Геннадий совершил великое дело. Как же отвечать на это возражение? Иначе нельзя, как прибегнувши к самому отчаянному средству. Зачем иметь полный список св. книг? Стоит ли это труда? «Неужели, — говорит автор разбираемой статьи, — для Древней Руси может служить каким-нибудь упреком то, что не все св. книги были у ней собраны и записаны в один список? По свойству жизни ее, не чаявшей гибели, было ли даже нужно, необходимо или естественно предпринимать такой труд, как бы пред

смертию, ради одной только пользы потомков? И естественно ли целому народу заботиться о таком письменном завещании духовном, о каком вправе думать только отдельный человек, да и тот не всегда думает? Чтобы сокровищ моих не разбросали, должен ли я при жизни держать все их в куче?»

Верные своему взгляду, последователи антиисторического направления нынче должны развенчать одно знаменитое историческое лицо Древней Руси, завтра принуждены будут сделать это с другим и т. д. В XV веке Геннадий предпринял ненужный труд; в XVI — митрополит Макарий составил свои знаменитые Минеи, громадный сборник известных тогда книг религиозного содержания. Во-первых, зачем было предпринимать такой труд ради одной только пользы потомков? Древняя Русь в нем не нуждалась. При том же в этом сборнике видим погрешности; труд с погрешностями не был достоин Древней Руси, это личное дело Макария, он один должен быть осужден за ошибки, которые произошли по его небрежности. Над Сильвестром уже произнесен приговор: в его «Домострое» находятся правила, которые не могут нам теперь нравиться: древнее русское общество не могло выставить таких требований, Сильвестр их выдумал от себя и потому должен быть один осужден.

Но Сильвестр и Макарий в глазах последователей антиисторического направления вовсе не так виноваты, как Геннадий, ибо этот новгородский архиепископ осмелился объявить, что в современном ему русском обществе господствовало сильное невежество, даже между людьми, долженствовавшими учить других, и требовал учреждения школ. Геннадий, таким образом, является в XV веке человеком новой России, человеком отрицательного направления. Да не подумают читатели, что это наша собственная догадка, наш собственный вывод; нет, последователи антиисторического направления, не обинуясь, высказали свое мнение насчет Геннадия. В Синодальной библиотеке хранится псалтирь, переведенная в конце XVII века переводчиком Посольского приказа Фирсовым. Фирсов возбудил страшное негодование последователей антиисторического направления, ибо этот *выскочка*, как они его величают, осмелился в приписке к своей книге сказать следующее: «Свидетельствована сия св. книга псалтирь со многих печатных древних книг, ради истинные ведомости, в разуме, и уверения неразумных и простых людей, понеже наш Российский народ грубый и неученый, не токмо простыя, но у духовного чина: истинные ведомости и разума во Св. Писании не ищут, и ученых людей поносят, и укоряют, геретиками их называют». Автор разбираемой статьи замечает: «Геннадий так же точно жаловался на необразованность своего времени. Видно, что во все времена люди отрицательного направления одинаковы».

Бедные ревнители просвещения в Древней Руси! Не избежали вы участи ревнителей просвещения России новой; не спасло вас то,

что вы жили в XIV, XV, XVI веках: тем не менее вы люди нового времени, выскочки, люди отрицательного направления. Киприан, Курбский, архимандрит Дионисий и товарищи его, знаменитые мученики просвещения в XVII веке, — все это люди отрицательного направления, потому что жаловались на невежество современного им общества. Отрицательного направления будут и церковные соборы XVII века, которые в более резких выражениях, чем Геннадиевы, жалуются на необразованность своего времени! Уже не говорим о Матвееве, этом архивыскочке; о Нащокине, этом человеке отрицательнейшего направления. Арсений Глухой, товарищ Дионисия по исправлению книг, так писал: «Есть иные и таковы, которые на нас ересь возвели, кои едва и азбуке умеют, а то ведаю, что не знают, кои в азбуке писмена гласные и согласные и дwoегласные, а еже 8 частей слова разумети и к сим пристоящая, то им ниже на разум всхаживало». Жалоба на необразованность времени, отрицательное направление! А было от чего Арсению Глухому сделаться человеком отрицательного направления: кузнецы и другие ремесленники московские хотели побить исправителей книг, ибо люди положительного направления распустили между ними слух, что исправители книг хотят огонь из мира вывезть. Какое же основание слуха? Исправители уничтожили в требнике лишние слова: «и огнем», в молитве при водоосвящении!

Таким образом, последователи антиисторического направления сами дошли до того необходимого вывода, что направление, которое они называют отрицательным и которое, по их мнению, господствует в новой русской истории, существовало также и в древней истории. Уже не начать ли нам новую русскую историю с XV века, со времен Геннадия? Но вот в XIV веке слышатся жалобы митрополита Киприана на невежество составителей толстых сборников; а там, из глубокой древности, слышим жалобы на преданность язычеству, на суеверия, которыми заражен народ: это тоже жалобы на невежество; следовательно, тоже отрицательное направление. Где же мы, наконец, найдем покой от этого отрицательного направления? В половине IX века? Но и здесь, о ужас! Племена, призывающие князей, говорят: «В земле нашей наряда нет». Жалоба на дурное состояние современного общества значит опять отрицательное направление! Кому угодно избежать отрицательного направления, тот пусть занимается чем-нибудь другим, а не историею, ибо то, в чем он видит отрицательное направление, есть начало *историческое*, начало движения, начало развития, без которого истории нет.

Так и русская история начинается с тех пор, как племена сказали: «В нашей земле нет наряда: будем искать средств, чтоб установить его». Истории не было, когда дреговичи и радимичи, дулебы и вятичи жили при господстве блаженного положительного направления, не сознавая потребности выйти из своего состояния и не сознавая средств к этому выходу. Нас упрекнул в повторении вещей

всем известных, если мы скажем, что назначение человека — жить в обществе; что только в обществе себе подобных, при постоянном и беспрепятственном размене мыслей и плодов своей деятельности, при разделении занятий, при взаимном вспомоществовании может он развивать свои способности, извлекать из них все возможное для себя и для других добро. Но что справедливо в отношении к одному человеку, то справедливо и в отношении к целому народу, который также может развиваться и совершенствовать свой быт, и в нравственном, и в материальном отношении, только в обществе других народов. Что мы замечаем в народе, который живет особняком? Необходимо застой; ибо только разнообразное, новое, противоположное оживляет мысль и деятельность человека, мысль и деятельность народа; однообразие форм, господствующее в народе, который живет особняком, необходимо усыпляет мысль и заставляет смотреть человека и целый народ на это постоянство форм, как на нечто необходимо вечное, носящее в самом себе условие самостоятельности и вечности, одним словом — как на нечто божественное. У народов языческих это ведет прямо к обоготворению форм и отношений, постоянно существующих, освященных этим постоянством, долговременностию; но и народы христианские, если долго живут особняком, не освобождаются от суеверного поклонения формам, обряду, букве, чему ясным доказательством служит русское раскольниковство, естественный и необходимый плод особой жизни народа.

Против этого последователи антиисторического направления возражают: «Китай и Япония жили в полнейшем разобщении с остальным человечеством: но, сколько нам известно, никто до сих пор не оспаривал у них оригинальности развития. Правда, они стоят, может быть, ниже всех в семье человечества, но вовсе не по развитости или бесцветности своего развития, а по ложности духовных начал, из которых вытекла их неоспоримо богатая образованность. Возьмем другой пример в Европе. Из всех западных народов в сравнительно большем разобщении с другими развивалась Англия; со всех сторон обнесенная морем, она, по самому своему положению, вела более сосредоточенную в себе жизнь, чем Франция или Австрия; но помешало ли это оригинальности и самостоятельности ее развития? Вправе ли мы думать, что она менее внесла от себя и более заимствовала у других общечеловеческих истин, чем ее соседи на европейском материке?»¹²

Мы согласны, что Китай и Япония ниже всех в семье человечества по ложности духовных начал, из которых вытекла их образованность. Но какое средство для Китая и Японии стать на высшую степень в семье человечества, изменить ложные духовные начала своей образованности на истинные? Принятие христианства, вступ-

¹² Русск. Бесед. 1856 № 2 Смесь С 103

ление в семью христианских народов, отречение от своей замкнутости, исключительности! Все нехристианские народы имеют ложные духовные начала своей образованности; ложность этих начал именно и выражается в том, что народы эти должны жить особно, не могут признать народного братства, каждый кланяется своему богу, а в этом поклонении и лежит основа замкнутой, отталкивающей народности. Отсюда и проистекает эта основная форма жизни языческого мира — разобщенность и вражда, в силу которых народы существовали на счет друг друга, то есть сильнейший покорял себе слабейшие, образовывались громадные царства и падали, сменяя друг друга, — явление, которого не терпит новое европейское общество, основанное на совершенно ином начале, на христианстве. Христианство упразднило языческое распадение на варваров, еллинов, скифов; оно не упразднило отдельных народностей, но подчинило их высшему началу, началу единства всех народов во Христе, едином Пастыре единого стада. Любопытно, что в древнем языческом мире высшей образованности, до какой только могло достигнуть языческое общество, достигла Греция, и почему? Потому что формы ее политической жизни представляют что-то похожее на формы политической жизни новой христианской Европы. Греция была разделена на множество отдельных государств, которые, при особности своего внутреннего управления, были соединены, однако, одним общим началом, сознанием своего еллиназма, учреждениями, которые поддерживали это сознание. Так благотельно бывает это взаимодействие особности и общности! Как вредно, следовательно, выводить одно из этих начал из должной ему меры!

Что же касается до примера Англии, то, конечно, это обмолвка со стороны почтенного автора, приведшего этот пример, ибо известно, что Англия, несмотря на то что обнесена морем, постоянно принимала самое деятельное участие в общей жизни Европы: стоит только вспомнить, что изучение истории Англии невозможно без изучения истории Франции: так тесно связаны судьбы этих двух стран! Стоит только вспомнить участие Англии в крестовых походах; о новой истории, начиная с протестантизма, мы уже не говорим; наконец, заметим, что на почве Англии столкнулись две крепкие народности — саксонская и норманно-французская; из взаимодействия этих двух народностей и произошла крепкая народность английская. Если уже указывать в Европе государства, которые, особенно в новой истории, начали отличаться большею сосредоточенностью в себе самих, меньшим внутренним участием в общеевропейской жизни, так это государства Пиренейского полуострова, и следствия этого положения их очевидны.

Мы имеем возможность изучить характер древнего русского общества в большей или меньшей полноте в настоящее время на одном из сословий, именно — на сословии земледельческом, в об-

щих чертах одинаковом везде. Однообразие, простота занятий, подчинение этих занятий природным условиям, над которыми трудно взять верх человеку, однообразие форм быта, разобщение с другими классами народа ведут в земледельческом сословии к господству форм, давностию освященных, к бессознательному подчинению обычаю, преданию, обряду. Отсюда в этом сословии такая удерживость относительно старого, такое отвращение к нововведениям, осязательно полезным, такое бессилие смысла пред подавляющею силою привычки. В земледельческом сословии сохранились предания, обряды, идущие из глубочайшей древности: попробуйте попросить у земледельца объяснения смысла обряда, который он так суеверно соблюдает, — вы не получите другого ответа, кроме: «так водится»; но попробуйте нарушить обряд или часть его — вы взволнуете человека, целое общество, которые придут в отчаяние, будут ждать всех возможных бедствий от нарушения обряда. Но понятно, какую помощь оказывает это сословие государству, когда последнее призовет его на защиту того, что всем народом признано за необходимое и святое. Поэтому справедливо называют земледельческое сословие по преимуществу охранительным. Почтенные свойства этого сословия, *как сословия*, не могут быть оспариваемы: но что же, если целый народ живет в форме быта земледельческого сословия?

Необходимое в государстве противодействие этой форме представляет город, как центр торговли, мануфактурной промышленности, умственной деятельности. Здесь разнообразие занятий именно таких, где человек вполне владеет предметом и может совершенствовать его до бесконечности, где, следовательно, он имеет полную возможность упражнять, совершенствовать свои умственные способности; беспрестанное столкновение с людьми из различных сфер общественной деятельности, из различных стран расширяют горизонт, окрыляют мысль и ведут народ к успехам *гражданственности*. Это слово *гражданственность* всего лучше показывает нам значение города в народной жизни.

Итак, если человек для полноты своего человеческого развития должен жить в обществе себе подобных; если народ для полноты своего народного развития должен жить в обществе других народов — то вопрос решен о значении петровской эпохи, эпохи преобразования, вопрос решен об отношениях древней России к новой. Древнее русское общество, несмотря на величие подвигов, совершенных им в деле внешнего государственного созидания, в преодолении препятствий, этому созиданию противопоставленных, не могло двигаться далее на пути нравственных и материальных улучшений, не вступив в семью европейско-христианских народов, да и по характеру своему не могло не вступить в эту семью при первой возможности. Следствия особой жизни так явны в нашей древней истории, что о них не нужно много распространяться; бессознательное, суеверное подчинение обычаю, обряду, форме, букве, ос-

лабление веры в дух, который живет, слишком явны. Древняя Россия именно пребывала в формах быта земледельческого; в ней господствовало село, деревня; город не имел того значения, какое мы теперь с ним соединяем: это было укрепление для защиты от неприятельского нашествия, это был административный центр — и только; городские жители точно так же занимаются хлебопашеством, как сельчане и деревенщики; мануфактурная промышленность находится на самой низкой ступени развития.

Чтобы выйти из состояния застоя, оцепенения нравственного, чтобы понять себя и свое, для человека и для народа одно средство — сообщество с другими людьми, другими народами, и вот Россия в начале XVIII века вступает в это сообщество. Какие же должны быть следствия этого вступления? Мы видели, что в народе, живущем долгое время особняком, развитие мысли задерживается постоянным однообразием форм быта, начинает господствовать бессознательное подчинение преданию, обычаю, обряду. Необходимым следствием этого бессознательного подчинения старине бывает бессознательное же подчинение новому, когда подобный народ вдруг входит в сообщество с другими народами, более развитыми, более образованными. Вот почему так странен упрек, делаемый Петру Великому и вообще русским людям XVIII века за то, что они рабски подражали чужому, брали все без разбора, не обращая внимания на свое, на приложение чужого к своему: подобный разбор, подобная рассудительность, беспристрастная оценка своего и чужого могли бы быть только следствием развитого сознания; но как же оно могло быть развито прежде, при бессознательном подчинении принятому, освященному веками?

Это ясное различие своего и чужого, это разумное, глубокое обращение внимания на себя и на свое могло быть только плодом долговременной жизни народа в обществе других народов, могло быть только плодом долговременного упражнения мысли народной, плодом глубокого просвещения. Вследствие бессознательного подчинения своему, стариною освященному, человек, когда раз освобождался от этого подчинения, являлся совершенно чистым, ибо прежняя связь его с своим и старым существовала без ведома его разума, коренилась только в одной половине его существа, без ведома другой. Русский человек XVIII века явился совершенно чистым, вполне готовым к восприятию нового — одним словом, явился ребенком, ребенком чрезвычайно способным, восприимчивым, но ребенком, для которого наступила пора учения, пора подражания — ибо что такое учение, как не подражание?

Юн был русский народ в начале XVIII века, юн во всю жизнь был и гениальный представитель этого народа — Петр Великий. Эта неутомимая деятельность, эта страстная восприимчивость, чуткость к всем явлениям, беспокойное обращение внимания на все, пылливость, торопливое желание все узнать, до всего дотро-

нуться самому, все попробовать, все сработать самому! Разве это не ясные черты юности? Разве мы не видим в Петре гениального юношу, пред которым открылся вдруг новый мир явлений и который, побуждаемый благородною жадностию, хочет забрать все себе?

Даровитый восприимчивый ребенок начинает учиться; узнает много нового, чего другие не знают; первое необходимое следствие этого в ребенке — гордость, чувство своего превосходства над другими, желание высказывать это превосходство, хвастаться, щеголять новоприобретенным знанием. Новое, чужое, что им приобретено, имеет для него необыкновенную прелесть; старое, свое, всем известное, всем доступное — не имеет никакой. Ребенок необходимо педант, ибо не имеет силы овладеть новым предметом и овладеть самим собою при пользовании этим предметом и потому носит-ся с ним, всем показывает и хвастает: отсюда страсть употреблять некстати научные положения и слова, страсть употреблять иностранные слова вместо своих, говорить без нужды на иностранном языке, подражать иностранным обычаям, даже и таким, которые ничем не лучше своих прежних. Все это мы видим у русских людей XVIII века, и все это было естественным, необходимым следствием состояния русского общества в допетровское время: чего Древняя Русь не завещала, того новая вдруг из ничего создать не могла; для создания нового, чего именно недоставало Древней Руси, потребны были века.

Существует странное мнение, что так называемый петровский переворот совершился насильственно в том смысле, что противники его выставляли ему разумное сопротивление. Этого не было и быть не могло; известий об этом нет нигде. Человек, который не хотел переменить старого покроя своего платья и сбрить бороды, не рассуждал так: «Неразумно менять свое, приспособленное к климату, на чужое; не может произойти отсюда никакой пользы: одежда должна служить внешним выражением народности» и т. д. Он не хотел изменить покроя одежды и сбрить бороду в силу бессознательного подчинения введущемуся из старины обычаю, нарушить который он считал грехом. Точно так же и приверженцы нового брили бороды и надевали немецкое платье, бессознательно увлекаясь стремлением к новому, бессознательно подчиняясь силе нового начала, под влияние которого вступал тогда народ русский. Приверженцы нового не рассуждали так: «Правда, что одежда должна служить внешним выражением народности; но у нас на первом плане вопрос: к семье каких народов должен принадлежать народ русский? Он должен принадлежать к семье народов европейско-христианских, а покрой одежды его есть азиатский: следовательно, должен быть изменен; и притом согласие всех европейских народов ознаменовать свое единство одним покроем платья есть такое прекрасное явление, что мы, русские, не имеем права не подражать им в этом».

Недоразумения, споры, искажения фактов происходят от непростительной для уважающего науку человека привычки навязывать настоящие наши воззрения предкам. Чтобы объяснить себе явления петровского времени, мы должны обратиться к современникам Петра. В этом отношении драгоценны известия и взгляды Посошкова, человека из народа, человека неприязненного к иностранцам и потому вполне беспристрастного. Подозрительность, неприязнь к иностранцам ясно видна из его слов: «Не помалу дивлюся и недоумеваюся, что сказываются Немцы люди мудры и правдивы, а учат все нас неправдою; они торгуют торгами и всякими промыслами промышляют компанствами единодушно, и во всяких делах они и свою братию хранят и возносят, а нас ни во что вменяют. Не компанствами ли они и войну чинят, будто нам помогают, а все блазнят нас, а самую истинною, чаю, ради тому, чтоб их одних рука высоко была, а наши всегда б в поношении были и всегда б их за господ себе имели».

Посмотрим же теперь, как этот русский человек петровского времени рассуждает о старине и преобразовании. «Паче вещественного богатства надлежит всем нам пещися о невещественном богатстве, то есть о истинной правде. В немецких землях вельми людей берегут, а наипаче купецких людей; и того ради у них купеческие люди и богаты зело. А наши судьи ни мало людей не берегут и тем небережением все царство в скудость приводят; ибо в коем царстве люди богаты, то и царство то богато. Что то у наших людей за разум, что ничего впрок государству не прочат, только прочат имения себе, и то на час, а государству так они прочат, что ни за что многие тысячи рублей теряют. Не точию у иноземцев, свойственных христианству, но и бусурманы суд чинят праведен, а у нас вера святая, благочестивая, на весь свет славная, а судная расправа никуда не годная, и какие указы ни состоятся, все ни во что обращаются, но всяк по своему обычаю делает. И донележе прямое правосудие у нас в России не устроится и совершенно не укоренится оно, то никакими мерами, от обид, богатым нам быть, яко и в прочих землях, невозможно, такожде и славы добрыя нам не нажить, понеже, все пакости и непостоянство в нас чинится от неправого суда, и от нездорового рассуждения, и от нерассмотрительного правления, и от разбоев. И какая гибели ни чинятся, а все от неправды».

Какие же средства предлагает Посошков для искоренения главного, основного зла, которым страдало древнее русское общество и которое передавалось новому во всей полноте? Прежде всего Посошков предлагает средства насильственные. Убеждение в пользе крутых насильственных мер должно было господствовать в Древней Руси и в первой половине XVIII века и было опять необходимым следствием неразвитости сознания, было следствием уважения ко внешнему, к веществу, непризнания могущества сил духовных в человеке и обществе. Убеждение в недействительности насиль-

ственных мер, в необходимости для прекращения пороков действовать на внутреннюю природу человека посредством просвещения, нравственно-религиозного воспитания, общественного мнения — такое убеждение есть плод сознания, плод просвещения и могло явиться только позднее. Такого убеждения мы не можем искать в петровское время, и потому Посошков говорит: «Аще ради установления правды правителей судебных и много падет, быть уже так. А не таким страхом не чаю я того злого корения истребить: еще бо кое и земля вельми задернеет, и дондеже того терния огнем не выжгут, то не можно на ней пшеницы сняти: тако и в народе злую застарелость злом надлежит и истребляти».

Вторая мера, предлагаемая Посошковым, — это коренной переворот, совершенное разрушение старого здания и создание нового. Эта страсть к коренным переворотам, к полному отрицанию старого и созданию нового, есть также плод неразвитости сознания. Одна крайность — бессознательное подчинение старому — ведет необходимо к другой крайности — к бессознательному стремлению к новому. Вообще все крутые, коренные перевороты, в каком бы смысле ни происходили и откуда бы ни шли, сверху или снизу, суть следствие неразвитости сознания, детства народного, и способны к ним обыкновенно бывают те народы, которые, при видимой возмужалости, сохраняют в своем характере много детского. Ясный признак неразвитости сознания, детскости, представляет нам и то явление, когда постановления беспрерывно изменяются. Дети — безжалостный, истребительный народ: что ни дай им — все сломают; они любят и строить — картонные домики, беспрестанно разрушают их сами, чтобы вновь строить; а если ветер сдует, сердятся, кричат и плачут. Коренные, насильственные перевороты суть следствия отчаяния, нетерпеливости, а это также детские качества, следствия слабости. Вот почему Посошков, представитель петровского времени, рассуждает так: «Ради совершенныя правды никоими делы, древних уставов не изменя, самого правосудия насадить и утвердить невозможно. Видим мы все, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного; он на гору аще и сам-десять тянет, а под гору миллионы тянут; то как дело его споро будет? И аще кого он и жестоко накажет, ажно на то место готовы (замечательное противоречие вышесказанному!). И того ради, не изменя древних порядков, сколько ни бившись, покинуть будет. Не токмо суда весьма застарелого, не рассыпав его и поподробну не рассматрив, не исправить, но и хоромины ветхия не рассыпав всея и не рассматрив всякого бревна, всея гнилости из нее не очистити».

По-видимому, справедливо рассуждает Посошков; но когда дошло дело до того, как, разрушивши старую храмину и очистив каждое бревно от гнилости, создать новую, то и обнаружилось, с каким обществом имеем мы дело. Когда человек почувствует несостоя-

тельность старого, своего и с неразвитым сознанием переходит к новому, чужому, то как он обыкновенно поступает? Своего самостоятельно образовавшегося убеждения он не имеет, ибо к старому у него были бессознательные отношения, разнообразие новых явлений поражает его одиночно, без внутренней связи между ними — и он становится эклектиком, выбирает то, что кажется ему лучше, и, набравши таким образом отовсюду всякой всячины, думает, что поступил как нельзя лучше.

Как советует Посошков поступать при составлении нового Уложения? «Правосудного ради уставу надлежит древнего суда уложения и новоустановленные гражданские и военные, печатные и письменные, новосостоявшиеся и древние указные статьи собрать, и по приказам из прежних, вершенных дел, выписать такие приговоры, на которые дела ни в уложениях, ни в новоуказных статьях решения не положено. И, к таковым вершениям применяясь, надлежит учинить пункты новые, дабы впредь такие дела не назидать вершить. И к тем русским рассуждениям, прежним и нынешним, приложить из немецких судебныхников, и кои статьи из иноземных уставов будут к нашему правлению пригодны, то те статьи взять и присовокупить к нашему судебнику. И лучшего ради исправления надлежит и турецкий судебник перевести на славянский язык и прочие их судебные и с гражданского устава порядки управительные переписать, и кои сличны нам, то бы тые и от них принять; слышно бо о них, яко всякому правлению расположено у них ясно и праведно паче немецкого правления. И того ради и дела у них скоро и право решат, и бумаги, по-нашему, много не тратят, а и хлеба напрасно не теряют, а наипаче купечество праведно хранят».

Узнавши такое мнение русского человека петровской эпохи, нам нисколько не удивительно уже будет встретить в 1715 году резолюцию на доклад генерала Вейде: достать иностранных ученых и в правостях искусных людей для отправления дел в коллегиях. Эти иностранные ученые отправляли свою должность посредством толмачей. Последнее обстоятельство казалось крайне затруднительным, и потому дан был наказ резиденту при Австрийском дворе Веселовскому достать из чехов и моравов шрейберов. В 1716 году уже придумано было новое, лучшее средство: послать в Кёнигсберг человек сорок молодых подьячих учиться, чтобы после быть в коллегиях, но дожидаться этих подьячих было долго, а потому в 1717 году предложено шведским пленным вступить в гражданскую службу при коллегиях. В 1718 году видим указ: об устройстве судебных мест по примеру шведских, о переводе шведского уложения и об учинении свода российских законов со шведскими; об определении в губерниях должностных лиц согласно с шведским земским управлением.

Как в первой половине XVIII века слабо развито было сознание о необходимости знать свое и как потом благодаря большему и боль-

шему просвещению это сознание укоренилось, видно всего лучше из истории изучения своего прошедшего и настоящего. Когда в царствование Анны Иоанновны учрежден был кадетский корпус, не имевший вначале значения специального военного училища, то в нем преподавалась универсальная история и *история немецкого государства*. При учреждении Московского университета в философском факультете назначен был профессор истории для показания истории универсальной и *российской*. Наконец, потребность знать свое во всей силе высказывается в инструкции, данной Екатериной II князю Салтыкову при назначении его к воспитанию великих князей: «Пока дети учатся языкам, начать географию общую и частную Российской империи. Русское письмо и язык надлежит стараться, чтоб знали как возможно лучше. Предписывается от одиннадцати лет до пятнадцати употреблять по несколько часов в день для спознания России во всех ее частях. Сие знание столь важно для их высочеств и для самой империи, что спознание оной главнейшую часть знания детей занимать должно; прочие знания, лишь применяясь к оной, представлять надлежит. Историю российскую им знать нужно, и для них сочиняется». Мы не можем в настоящей статье рассмотреть все явления второй половины XVIII века, в которых ясно видно различие этой половины века от предшествующей, ясно видны признаки возмужалости народа, развития сознания, обращения от внешнего к внутреннему, обращения внимания на самих себя, на свое. Надеемся поговорить об этом подробнее в особой статье.

Итак, если мы, не впадая в мистицизм, сохраняя власть над предметом познаваемым, а не позволяя ему владеть нами, будем внимательно следить за ходом явлений нашей истории, то связь между так называемой древнею и так называемую новою Россией будет ясна; ясен будет и характер деятельности великого исторического лица, которое стоит на грани между древнею и новою Россией. Историк не может настраивать своего повествования о делах Петра Великого на тон хвалебных песнопений в стихах и прозе, крещинских и ломоносовских, не может восклицать, что Петр внес свет в Россию, что Петр привел русских людей от небытия в бытие и т. п. Историк очень хорошо знает, что век Петра был веком не света, а рассвета; с рассветом начинается движение, пробуждение, но рассвет, полумрак, мерцание усложняет также хождение ощупью, спотыкание, захождение не туда, куда надобно, вследствие неясного различения предметов. Величие Петра состоит в том, что он начал великое дело народного просвещения, с юношескою силой и самоотвержением отдал этому делу всего себя и в силу своей гениальности в короткое время сделал изумительно много, разумеется, во внешнем, материальном отношении преимущественно, ибо его призвание было начинать, *а человек всегда и во всем начинает со внешнего*. Христианские народы не могут делать из своих ге-

роев богов и полубогов: религия и наука заодно тому противятся. Вот почему наука не может принять ни того мнения, по которому деятельности Петра приписываются сверхъестественные, нечеловеческие размеры, ни того, по которому Петру приписывается также сверхъестественное, нечеловеческое дело, будто он, одною своею волей, совратил народ с настоящего пути. Как безусловные поклонники Петра, так и его противники грешат одинаково, ибо одинаково делают человека богом; и у тех, и у других взгляд на деятельность Петра ненаучный, антиисторический. Исторический народ, каков русский, не допускает деятелей, подобных гуннским, татарским, Аттилам, Чингисханам, Тамерланам, которые силою своей воли увлекают народные массы, передвигают их с одного места на другое; повинувшись увлекающей силе, народы эти движутся стремительно, но потом останавливаются, возвращаются к прежнему образу жизни, когда вождей нет более.

У народов исторических великий деятель есть полный представитель своего народа в известную эпоху, исполнитель потребностей, чувствуемых народом в известное время, вождь, за которым народ идет свободно и продолжает начатое дело, когда вождя уже нет более. Таков был именно Петр Великий, полный представитель своего народа, сын своего века, передовой человек в том стремлении, которое являлось как необходимое. Любопытно, что люди, которые так часто говорят о любви к русскому, к русской истории, позволяют себе унижать русский народ, низводить его на степень неисторического народа, предполагая, что один человек мог увлечь его на неправый путь. Если нам скажут, что масса низшего народонаселения не последовала за Петром, осталась при старом, то мы ответим, что движение, сообщенное Петром, не было движением вроде сообщенного Чингисханом своему народу: физический двигаться целый народ может за своим вождем, но нравственно не может; это нравственное движение совершается в продолжение веков. Вспомним, как принималось христианство: когда в Новгороде явился волхв, то масса простого народа бросилась к нему; подле епископа остался только князь с дружиной. Дело известное, что восходящее солнце освещает сначала только верхи гор.

Но не все последователи антиисторического направления указывают падение самобытной русской образованности в конце XVII и начале XVIII века, в эпоху Петра Великого; некоторые начинают гораздо раньше: «Древнерусская православно-христианская образованность, лежавшая в основании всего общественного и частного быта России, заложившая особенный склад русского ума, стремящегося ко внутренней цельности мышления, и создавшая особенный характер коренных русских нравов, проникнутых постоянною памятью об отношении всего временного к вечному и человеческого к божественному, — эта образованность, которой следы до сих пор еще сохраняются в народе, была остановлена в своем развитии,

прежде чем могла принести прочный плод в жизни или даже обн­ружить свое процветание в разуме».

Признавши, что дерево самобытной древнерусской образованности не только бесплодно, но и бесцветно, автор задает себе вопрос: «Чья вина была в том, что древнерусская образованность не могла развиваться и господствовать над образованностью Запада?» — и отвечает: «Нельзя не предположить, что хотя сильные внешние причины, очевидно, противились развитию самобытной русской образованности, однако же упадок ее совершился, и не без внутренней вины русского человека. Стремление к внешней формальности, которое мы замечаем в русских раскольниках, дает повод думать, что в первоначальном направлении русской образованности произошло некоторое ослабление еще гораздо прежде петровского переворота; когда же мы вспомним, что в конце XV и в начале XVI века были сильные партии между представителями тогдашней образованности России, которые начали смешивать христианское с византийским и по византийской форме хотели определить общественную жизнь России, еще искавшую тогда своего равновесия, — то мы поймем, что в это самое время, и, может быть, в этом самом стремлении, и начинался упадок русской образованности. Ибо действительно как скоро византийские законы стали вмешиваться в дело русской общественной жизни и для грядущего России начали брать образцы из прошедшего порядка Восточно-Римской империи, — то в этом движении ума уже была решена судьба русской коренной образованности. Подчинив развитие общества чужой форме, русский человек тем самым лишил себя возможности живого и правильного возрастания в самобытном просвещении и хотя сохранил святую истину в чистом и неискаженном виде, но стеснил свободное в ней развитие ума и тем подвергся сначала невежеству, потом, вследствие невежества, подчинился непреодолимому влиянию чужой образованности»¹³.

Итак, древнерусская образованность, создавшая особенный характер коренных русских нравов, проникнутых постоянно памятью об отношении всего временного к вечному и человеческого к божественному, могла допустить внутреннюю порчу русского человека, могла позволить ему принять какую-то чуждую форму, которая испортила все дело! На такой превосходной почве, каковы древние коренные русские нравы, могло вырасти что же — забвение одной из необходимых основ общественной добродетели: уважение к святыне правды! «Если есть какое зло в России, — говорит автор разбираемой статьи, — если есть какое-нибудь неустройство в ее общественных отношениях, если есть, вообще, причины страдать русскому человеку: то все они первым корнем своим имеют неуважение к святости правды».

¹³ Русская беседа 1857 № 1 Науки С 2 и след

Автор решился объявить, что это неуважение к святости правды явилось в последние 150 лет вследствие господства чуждой образованности. А громкие голоса против неправды, дошедшие до нас из Древней Руси, когда не было чуждой образованности, голоса, сохранившиеся во множестве памятников? Уж не отнести ли лучше начало неуважения к правде к концу XV и началу XVI века и приписать втеснению чуждой формы? Мы порицаем раскольников за уважение к форме; а сами приписываем ей какое могущество? Народ живет в высоком, блаженном состоянии, нравы его проникнуты постоянною памятью об отношении всего временного к вечному, человеческого к божественному — и вот является какая-то чуждая форма, незваная, непрошенная, — и все портит! Наместник, волостель не уважает правды — здесь влияние одной формы, положим, византийской; а в Новгороде целый конец можно было поднять посулом: здесь влияние какой формы? Тоже византийской? Да и что это за чуждые византийские формы, когда мы знаем, что формы, господствовавшие в конце XV и начале XVI века, были произведением внутренних условий русской общественной и государственной жизни?

Бедная, бедная русская история! Последние полтора столетия лет должны быть из нее вычеркнуты: здесь порча вследствие господства чуждой образованности. Но, по крайней мере, древняя допетровская история остается у нас? Нет, из нее должны быть исключены два века, XVI, XVII, самые блестящие, самые любопытные, самые зиждательные века! Ибо здесь также порча от византийской формы. Да кроме того, из древней русской истории надобно исключить все те знаменитые лица, которые жаловались на недостатки современного им общества за недостаток образованности, ибо это все вольнодумцы, выскочки, люди отрицательного направления! И такое разрушение русской истории производится во имя любви к ней! После этого истинные любители русской истории не имеют ли права сказать: «Читая сочинения последователей антиисторического направления, невольно думаешь: что за несчастная судьба толкнула их и толкает постоянно на предмет, которого терпеть они не могут?»

Любопытнее всего то, что последователи антиисторического, отрицательного направления обвиняют других — в чем же? В отрицательном направлении! Вышла книга об областных учреждениях в XVII веке, автор которой указывает на недостаточность этих учреждений и тем самым указывает на необходимость нового порядка, который и явился в веке последующем. И вот со стороны последователей антиисторического направления поднялись крики: отрицательное направление! Автор означенной книги говорит, что суд в Древней Руси рассматривался с точки зрения частного права, что судья кормился от суда. Ему возражают. «Известно всем, что никакое общество не может существовать без суда — конечно, не

в смысле кормления; что суд составляет существенную потребность всякого общества — конечно, не ради поборов, с ним сопряженных; так в чем же заключалось понятие народа о том, что есть суд сам по себе и чем должен быть судья для подсудимых, в чем выражалось это понятие и как оно относилось к официальному воззрению служилого сословия? Эти вопросы не со стороны примыкают к главному тезису; они в нем содержатся, и, взявшись определить характер целого общественного устройства по характеру судебных учреждений, нельзя было миновать их разрешения. Если не нашлось для этого никаких данных в юридических актах, в чем позволительно усомниться, то вольно ж было ими ограничиваться. Здесь, *вероятно*, пригодилась бы к делу справка с проповедями и посланиями, посредством которых Церковь проводила в гражданское общество идеальные понятия, прививавшиеся ко всем сословиям; *может быть*, и повествования летописцев, особенно те, на которых лежит отпечаток народных преданий, дали бы указание для воспроизведения понятий Древней Руси о правде и о суде»¹⁴.

Можно ли позволить себе при важных возражениях употреблять слова: *вероятно, может быть*? Далее: есть ли какой-нибудь народ на свете, который бы понимал суд иначе как суд правый? Народ требует суда правого, а до того, кто его судит, ему дела нет. Творится суд правый — народ молчит; беззаконствует судья, грабит подсудимых — раздаются жалобы. Эти громкие жалобы, дошедшие до нас из Древней Руси, свидетельствуют о неправом суде и в то же самое время свидетельствуют, что жалующиеся, подсудимые, и верховная власть, подтверждающая законность жалоб, также Церковь, напоминающая о суде правом, имеют иное понятие о суде, чем судьи. Этот разлад между идеальными понятиями и действительностью и служит нам меркою для оценки общественного состояния и заставляет нас произнести приговор, что это состояние было неудовлетворительно, требовало выхода из него и если общество ищет этого выхода, то оно вполне оправданно возбуждает в нас полное сочувствие. Но жалоба — какого рода она? Если мне попадает под руку юридический акт или множество актов такого содержания: Кузьма прибил Ивана безвинно, а судья, взявши посул с Кузьмы, обвинил Ивана же, — то эти акты не имеют для меня, как для историка, никакого значения, не могу я на их основании произнести приговора относительно нравственного состояния общества; не могу сказать, что в известное время судьи беззаконствовали, ибо это отдельные случаи.

Но если в акте земского собора целое сословие говорит: «Мы разорены не войною, а московскою волокитою», то я не имею никакого права отвергнуть это свидетельство, как голос всей Земли.

¹⁴ Русская беседа 1857 I Критика С 105

Заподозривают юридические акты, указывают на летописи. Мы не станем говорить, что в летописях, *вероятно, может быть*, ничего не найдем; в летописях мы найдем кой-что: Годунов, говорит летописец, старался искоренить взяточничество, но никак не мог. При описании известного видения в Успенском соборе читаем страшные слова: «Неправеден суд творят и правым насилуют и грабят чуждые имения, несть истины во всем народе»; уже не говорю о жалобах псковского летописца. Это для XVII века; а если обратимся к глубокой старине, к тому блаженному времени, когда русские нравы были проникнуты постоянною памятью об отношении всего временного к вечному и человеческого к божественному,— то найдем, что у народа слово *тиун* было синонимом беззаконника.

Историку встречается явление, о котором современники выражаются, положим, так: «Мерзость запустения на месте святе». Историк, пораженный таким явлением, начинает разыскивать причины, по которым оно произошло, а ему кричат: «Как не стыдно? Какое одностороннее, отрицательное направление! Толкует об одной мерзости запустения, а святого места не видит, у народа была не одна мерзость запустения, было и святое место». Разумеется, историку отвечать легко на эти крики: «Если бы мерзость запустения была на приличном ей месте, а не на святом, то я бы о ней и не говорил».

Положительная сторона в трудах по русской истории обозначилась ясно; последователи исторического направления с глубоким вниманием и сочувствием следят за строением великого здания; замечают, как участвует в этой постройке каждый век, каждое поколение, что прибавляет к зданию прочного, остающегося; участие к строителям, к передовым людям в деле созидания усиливается при виде тех страшных препятствий, с которыми они должны были бороться; с особенным сочувствием прислушиваются к жалобе на недостаток света. И вот наконец является свет, сначала слабый, потом постепенно распространяется; но чем более распространяется он, тем более чувствуется в нем нужда; требуется, чтобы все здание было освещено; чтобы все работники видели друг друга и тем согласнее могли действовать; чтобы не было темных углов, куда бы могли укрыться и лень, и зло; отовсюду слышится громкий утешительный вопль: «Света! Больше света!»

А тут слышатся другие голоса: «Что ваше здание? Началось оно строиться хорошо, материал был свой, крепкий; но ничего не вышло, ни цвета, ни плода; с конца XV века уже начало подгнивать; выскочки, люди отрицательного направления стали кричать, что света нет, взяли свет чужой, и стало еще темнее прежнего».

Антиисторическое, отрицательное направление высказалось, кажется, вполне. Кажется, между последователями его уже начинает пробуждаться сознание его несостоятельности; по крайней мере один из их поэтов недавно сказал:

...Как плащем, рядясь борьбою
Пустой, не давшей плода,
Стою пред жизнью живою
Без животворного труда.
Порыв, упрек, негодованья,
Как мне наскучил наш причет!
Увы! путь мертвый отрицанья
Плодов живых не принесет!

Пользуемся этими прекрасными стихами, чтобы закончить статью словом сочувствия: Бог помочь на новой дороге!

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА

I

...Я понимаю твоё нетерпение: столько важных вопросов возбуждено в науке и жизни, жизнь так много требует от науки, настоящее требует так много объяснений от прошедшего! Ты меня закидываешь вопросами: как я думаю об этом; как я смотрю на то; не отыскал ли я в архивной пыли какого-нибудь известия, которое бы объяснило нам то и то. С чего же начать мне мой ответ?

Не раз я замечал в твоих письмах горькое чувство, сомнение насчет будущности европейского человечества. В одном письме, обозревая состояние европейского общества и литературы, ты говоришь: «Что это такое? Утомление ли от слишком быстрого движения, желание отдохнуть, оглядеться, подумать, чтобы, собравшись с новыми силами, пуститься опять в путь, или действительно одряхление, неспособность идти далее по дороге жизни? И что это за протест против настоящего, поднимаемый во имя прошедшего? Какой его смысл?»

Постараюсь сначала отвечать тебе на этот вопрос. Но прежде всего надобно условиться в смысле слов, которые мы будем всего чаще употреблять. Сколько раз в твоих письмах встречается слово «прогресс»: в его значении, думаю, мы прежде всего должны условиться.

Ряд изменений, замечаемых при развитии семени в дерево или яйца в животное, состоит в движении от простоты и однообразия устройства к его разнообразию и сложности. На первой ступени каждый зародыш состоит из вещества однообразного во внутреннем составе и внешнем строении. Первый шаг в развитии обозначается появлением различия между частями этого вещества; потом каждая из различившихся частей начинает в свою очередь обнаруживать различие частей. Процесс этот беспрестанно повторяется, и через бесконечное умножение такого выделения частей образуется наконец сложная сеть тканей и органов, составляющая животное или растение в полном его развитии. Это явление, которое мы называем прогрессом, общее всем организмам, как природным, так и общественному. Первый шаг к прогрессу в человечестве, заключавшемся в одном человеке, было появление различий между мужчиною и женщиною. «Не добро быти человеку единому», — сказал

Виновник жизни, и явилась женщина. В обществе, на низкой степени развития находящемся, дикарь производит сам все для себя нужное; но потом постоянно является разделение занятий, образуются отдельные органы общественные. В обществах недовольно развитых первосвященник и государь слиты в одном лице, религиозные и гражданские законы смешаны: в силу прогресса все это мало-помалу различается, разделяется. Тот же самый прогресс в языке, от однозвучия животных до членораздельных звуков человеческих и т. д.

Но прогресс не состоит в одном только бесконечном членоразделении; для образования организма необходимо, чтобы части, органы, выделяясь, обозначаясь, находились в тесной связи между собою; отдельного, тем менее враждебного друг другу положения они иметь не могут; движение, жизнь, прогресс обуславливаются соединением, следствие одиночества — бесплодие, неподвижность. Чем развитее организм, чем развитее его члены, органы, тем в более тесной связи находятся они друг с другом, тем менее для них возможности одиночного существования. Этот общий закон организма имеет силу и в применении к высшему из организмов, организму общественному. Но если среди организмов природных, чем выше организм, тем с большею медленностию развивается, тем большего требует для себя старания, ухода — то нечему удивляться, что организм общественный так медленно совершенствуется, что истины относительно его образования достаются человечеству с таким трудом. Из глубокой древности идет притча о том, как члены человеческого тела отказались служить друг другу и этим довели тело до гибели; давно, следовательно, принимали одинаковость законов как для организмов природных, так и для общественного, давно старались обращать внимание людей на эту одинаковость.

Дело уяснения законов общественного организма начато давно, но вот прошло столько веков, а все кажется, что оно только еще в начале. Легко сравнивать организм с организмом общественным: действительно, сходство поразительное, законы одни и те же; но не должно забывать, что члены общественного организма суть существа свободно-разумные или целые соединения таких существ; что каждое из них первоначально вращается в тесной сфере, где видит преимущественно только себя; что сфера эта расширяется чрезвычайно медленно; медленно члены общественного организма приходя к сознанию о необходимости тесной внутренней связи друг с другом для поддержания полной жизни каждого из них и, наоборот, о необходимости полнейшего развития каждого из органов для поддержания тесной внутренней связи между ними, для совершеннейшего развития общественного организма. Прежде чем достигло этого сознания, сколько раз человечество приходило в отчаяние от прогресса, протестовало против него, старалось остановить его, уйти от него; в древнем мире — начиная от индийских воззре-

ний в сфере религиозно-философской и оканчивая республикою Платона в сфере философско-политической; в новом мире...

Но я вижу издали твое нетерпение, желание остановить меня и потребовать прежде всего объяснения, что за связь между индийскими воззрениями и воззрениями Платона.

Самый мягкий, самый дряблый из народов Востока, народ индийский — первый наскучил борьбою жизни, не мог сладить с прогрессом, привести в возможную гармонию отношения, им порождаемые, и протестовал против него. Он объявил: что все многообразие явлений видимого мира не имеют действительного существования; что задача человека состоит в удалении от этого кажущегося существования, от этого непрерывного коловращения мира и в погружении в Брахму, душу вселенной, находящуюся в совершенном бездействии, покое. В буддизме индеец старался также избежать от «неугомонного вращения колеса мира», от жизни, исполненной страданий. Что за причина старости, смерти, всякого рода страданий? Рождение. Что за причина рождения? Зачатие, вожделение, чувства. Чтоб уничтожить страдание, надобно уничтожить рождение; чтоб уничтожить рождение, надобно уничтожить зачатие, вожделение, чувства, надобно уничтожить соприкосновение с миром, — человек через это отрешение, через это самоуничтожение должен перейти в пустоту, из которой не может быть возрождения к ненавистой жизни. Какой же смысл всех этих воззрений для историка? Здесь обнаруживается неспособность народа выдержать борьбу с жизнью, распорядиться разнообразием отношений, страшная слабость, одряхление, порождающие сильное желание покоя, стремление уйти от прогресса, от движения, возвратиться к первоначальной простоте, то есть пустоте, в состоянии, до прогресса бывшее.

Когда греки, в конце своего блестящего, но одностороннего развития, не могли сладить с прогрессом, то и у них, у лучших людей, у лучших умов между ними, явился протест против прогресса, который преимущественно обнаружился в политических сочинениях Платона («Государство» и «Законы»). Здесь высказалось стремление возвратить общество к первоначальной простоте, единству, остановить дальнейшее движение, развитие личных отношений, личных способностей, личных средств, и высшим идеалом поставлено то общество, в котором у человека отняты семейство и собственность, два могущественных двигателя при развитии силы человека. Понятно, что мысль о подобном общественном устройстве могла явиться в языческом мире, когда господствовал самый низкий взгляд на достоинство человека.

Человек, по этому взгляду, вечно ребенок, вечно нуждающийся в строгой опеке, обязанный вечно пребывать в школе, и общество должно быть устроено по образцу школы или, если угодно, по образцу лагеря, дисциплиною своею так близко подходящего к школе.

И в обществе, как в школе, человек-ребенок встает, ложится, ест, работает в определенное время вместе с другими; каждому дано в собственность ни больше ни меньше, как и другим: у школьника есть своя кровать, платье, столик, книги, все это совершенно такое же, как и у других; в обществе Платона у каждого свой участок земли, который нельзя ни увеличить, ни уменьшить; движимое имущество — это язва, от него больше всего надобно беречься, приобретение его надобно затруднять всеми средствами, ибо понято было, что движимое имущество — самое сильное средство движения, развития общественного. Человек — ребенок; дайте ребенку нож, он его в пользу не употребит и скорее всего порежется или другого порежет, лучше до греха отнять у него нож; дайте человеку семейство, дайте возможность приобретать, увеличивать собственность: человек с этим не сладит, не будет от них добра ни ему, ни другим, а пойдут только ссоры, тяжбы, бедный будет завидовать богатым; лучше отнять у человека и семейство, и собственность!

Надеюсь, теперь ты оставишь за мною право сблизить политические мечтания одряхлевшей Греции с религиозными воззрениями Индии: и здесь и там одно и то же отвращение от движения жизни, неумение сладить с прогрессом и стремление остановить его, возвратиться к первоначальной простоте, однообразию, небытию; и здесь и там одинаковое непризнание достоинства человека, одинаковое презрение к его нравственным силам, которые не могут дать ему средств сладить с прогрессом и устроиться при разнообразии общественных отношений. Какими же средствами ветхий мир мог быть обновлен, мог быть спасен от этих грустных воззрений, так ясно обличавших истощение нравственных сил в древнем человечестве? Разумеется, спасение могло прийти от воззрений противоположных. Для обновления мира нужно было поднять значение отдельного лица, объявить, что человек не есть ребенок, долженствующий быть вечно в школе, но совершеннолетний, могущий владеть всем, не употребляя во зло для себя и других; надобно было вдохнуть в человека сознание об этом совершеннолетии его, об обязанностях, какие оно налагает, о трудных обязанностях самостоятельной жизни; надобно было внушить человеку сознание его нравственных сил, обязанность их непрерывного развития; надобно было внушить ему, что идеал деятельности человека состоит не в страдательном только повиновении закону, но в свободном превышении закона, в предупредении его требований. Древнее общество говорило: отнимем у человека собственность, и он перестанет ссориться и тягаться; новое общество должно было сказать: совершенствуем человека нравственно, искореним в его сердце побуждение к вражде, ссоре, и дадим ему все; пусть пользуется на благо себе и другим.

Древнее человечество, не признавая нравственного достоинства человека, веровало в формы, искало только в них спасения. Но история показала тщету этого верования; показала, что все эти мно-

гообразные политические здания, в строении которых упражнялась языческая древность, строились на песке. Надобно было поэтому начать постройку здания с другого конца; для прочности здания общественного надобно было заняться нравственным совершенствованием отдельных членов общества; надобно было оставить заботу о формах и заняться содержанием; надобно было упразднить веру в плоть и уверовать в дух.

Все это было совершено христианством, которое провозгласило, что человек более не раб, но сын и наследник, что он есть храм Духа Святого. Высоко стало значение человека, высоко стало значение ближнего; обязанный любить ближнего, как самого себя, человек необходимо получил обязанность уважения, страха пред ближним, страха пред его мнениями (до Бога высоко, до царя далеко, но до ближнего близко).

Новое вино не было влито в старые мехи; для образования новых обществ явились новые народы, ибо одною из могущественных причин древних государств было одностороннее развитие городской нормы жизни. Что такое Древняя Греция? Царство городов: один город существует, сел нет, земледельческое народонаселение не имеет ничего общего с городским; это были рабы, привезенные из разных стран, не имеющие не только гражданских, но и человеческих прав, без семейства, без религии, низведенные на степень рабочего скота. Империя Римская была империей города: колонии Рима, которые он выводил в покоренные провинции, были его оттисками, были городами; когда Рим овладел всею Италией, то в этой стране начали господствовать две формы: город и пустыня, где бродили многочисленные стада, пасомые скотоподобными пастухами-рабами. Развивая исключительно городскую форму жизни, не признав подле города свободного, единоплеменного сельского населения, древнее общество произносило себе приговор; как Ахиллес, оно выбрало блестящее, но кратковременное существование: у городских жителей были все права, но зато на них же одних падали и все обязанности; и когда вследствие этого городское народонаселение истощилось, то откуда могла быть вознаграждена его убыль? Из села не могли прийти для этого в город сильные, свежие люди, могшие продолжать движение, начатое в городе, по одинаковости народного характера, способностей, воззрений, верований, — одним словом, по тесной общественной связи, которая всегда существовала между ними и горожанами; из полей могли прийти в древний город только люди, совершенно чуждые его прошедшего и настоящего, и приход таких людей, испомещение их по необходимости в число граждан окончательно губили город, то есть государство, ибо государство состояло из города! Какой же смысл имеет так называемое великое переселение народов, утверждение варваров в областях Римской империи? Они восполнили то, чего именно не выработало древнее общество: деревенщина, варвары нахлыну-

ли из лесов для продолжения обновленной христианством европейской жизни, к которой не было более способно истощенное народонаселение города; но так как это вторжение варваров было насильственно и внезапно, то образованность исчезла на долгое время, деревня в свою очередь подавила город.

В новом обществе видим несколько общественных органов друг подле друга, связанных единством народным и государственным, видим церковь, замок, город, село. Правильнейшее определение отношений между общественными органами, такое определение, при котором бы эти органы не враждовали, не исключали, не подавляли друг друга, но, сознавая значение каждого, поддерживали друг друга, такое определение отношений составляет задачу европейско-христианского общества. Наука, разумеется, всем своим могуществом должна помогать при решении этой задачи; и прежде всего история должна способствовать установлению правильного взгляда на настоящее, устанавливая правильный взгляд на отношения настоящего к прошедшему. Как же в настоящее время наука исполняет эту великую обязанность свою? Чтобы удобнее отвечать на этот вопрос, я обращаюсь к книге, которая произвела сильное впечатление в ученой Германии, книге Риля «*Die Naturgeschichte des Volkes*»¹; она, как вижу из твоих писем, произвела сильное впечатление и на тебя: ты часто упоминаешь о ней то с удовольствием, то с неудовольствием; видно, что она тебя занимает и смущает.

Я понимаю, что цель сочинения Риля, как сам он ее высказывает, должна была возбудить твое полное сочувствие: «Общественная жизнь может быть улучшена только тогда, когда каждый отдельный человек и целые сословия приобретут способность ограничиваться, не выходя из должных пределов. Пусть человек среднего сословия желает быть опять человеком среднего сословия, поселянин — поселянином, аристократ да не считает себя особою привилегированною, для господства над всеми другими рожденною. Пусть каждый с гордостью и радостью признает себя членом того общественного круга, к которому он принадлежит по рождению, воспитанию, образованию, призванию; пусть с презрением отбросит от себя обычай выскочки, который играет роль знатного господина. Эту роль играют теперь почти все состояния, исключая настоящее сельское народонаселение, которое я потому и особенно люблю. Общественное преобразование должно состоять в раскаянии, обращении отдельных членов общества».

Цель сочинения прекрасная; в наблюдательности и таланте у автора нет недостатка, приемы при изучении земли и народа образцовые; надобно желать, чтобы русские люди покороче ознакомились с этими приемами и воспользовались ими при изучении

¹ *Riehl W. H. Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politic. Bd 1—3. Stuttgart, Augsburg, 1855 (Примеч. ред.).*

своей земли и своего народа. Но как достоинства, так и недостатки подобных сочинений не должны оставаться под спудом. При решении общественных вопросов прежде всего необходимо правильно историческое понимание, а его-то иногда и недостаёт у Рилия. Чтобы понять ясно требования настоящего, удовлетворить им вполне, но не увлекаясь крайностями стоящего на очереди начала, надобно прежде определить отношение последнего к началу, выработанному предшествующею эпохою. В истории существует строгое разделение занятий между эпохами; каждая эпоха вырабатывает свое начало. При этом господствующее направление обыкновенно позволяет себе злоупотребления; вырабатываемое эпохою начало доводится до крайности: это значит, что начало еще вырабатывается, что общество не доросло еще до настоящего пользования им, не ясно сознает, в чем дело. Как же скоро это сознание является, то общество отбрасывает крайности и стремится к выработыванию нового начала — наступает новая эпоха, причем выработанное предшествующею эпохою начало во всей полноте и чистоте переходит в сокровищницу исторического человечества, в вечное ему пользование, и новое начало может быть крепко, может с успехом вырабатываться только тогда, когда основывается на предшествовавшем, тесно прилегает к нему и через него имеет связь со всеми прежде выработанными историею началами. Новая эпоха может иметь непосредственное отношение только к эпохе ближайшей; новое начало получает непосредственно свое питание от начала, только что перед ним выработавшегося; в истории нет эпох пустых; нет эпох, вырабатывавших только какие-нибудь вредные для человечества начала, через которые человечеству нужно перескочить назад, чтобы получить нравственное питание, жизненные средства от начал, выработанных отдаленнейшими эпохами.

Средние века, века юности европейского человечества, представляют нам государственные тела в хаотическом состоянии: члены тела, общественные органы, налицо, но они еще в борьбе друг с другом, в неправильном отношении друг к другу. Начало, связующее части, дающее единство телу, согласное, стройное направление его деятельности, — это начало еще слабо. Части, отдельные общественные союзы живут особо, так сказать, циклопически; общество в крайне незавидном состоянии: человек только и безопасен в кружку своего частного союза, вследствие чего частные союзы эти развиты и крепки, обнаруживают много жизни и движения, ибо вся жизнь человека, все его интересы сосредоточиваются здесь; далее стен своего города человек не видит ничего. Каждое жилище, каждое местечко укреплены; горожанин, который так отважен, что решается выступить из стен своего города, подвергается величайшим опасностям: вот вдали, на скале, висит гнездо хищной птицы — рыцарский замок; там уже завидели путешественника — это добыча; опускается подъемный мост, и из ворот неподвижного

замка выдвигается несколько подвижных замков, что-то вроде человека на лошади, но и конь и всадник залиты в железо, и не видать человеческого образа: нет спасения бедному страннику-горожанину!

Ибо он член не того частного союза, к которому принадлежат эти подвижные замки, и потому между ним и последними нет ничего общего, они в постоянной вражде. Но вот цельное государство мало-помалу образуется, усиливается стремление к единству, усиливаются средства того начала, которое блюдет за соединением частей для достижения общей цели, блюдет за соблюдением мира и согласия между частями, за общественную безопасность, начала правительственного. Как скоро водворяется мир, является общественная безопасность, обнаруживается сила закона, дающего покровительство каждому и везде, то стены, защищавшие до сих пор частные союзы и отделявшие их друг от друга, рушатся: происходит явление, подобное которому жители холодных стран видят при наступлении теплых весенних дней, когда стар и млад с радостью выходят из закуренных по-зимнему домов, чтобы подышать свежим воздухом, полюбоваться широким раздольем.

Преграды рушились, можно двигаться свободно; горожанин может безопасно отправляться по своим делам куда ему угодно: его не ограбят, не убьют; горизонт расширяется; вместо своей маленькой общины человек видит перед собой целое государство; перед ним открыты бесчисленные сферы деятельности, из члена частного союза он делается членом государства, пред ним открывается возможность широкой общественной деятельности: что же ему прежний узкий, сдерживающий его деятельность частный союз? Он более не нуждается в нем и пренебрегает им; в силу общественной безопасности перед купцом, членом какой-нибудь городской общины, открывается обширный круг деятельности; свободно и безопасно переезжает он из одного места в другое, перед его кораблями открываются неведомые океаны, открываются новые части света с их неистощимыми богатствами: что же ему после того старая его маленькая община? Будет он о ней много заботиться? Таким образом, вследствие водворения общественной безопасности, вследствие расширения круга деятельности частные союзы, крепкие прежде по недостатку общественной безопасности, но узкие, не могшие более удовлетворить новым потребностям общества, оказались несостоятельными, стали ослабевать, могли с прежнею крепостью сохраниться только в тех сферах, куда стремительный поток новой жизни еще не проник. Наступила великая эпоха, в которую вырабатывалось начало единения: человек освобождался из тесных замкнутых союзов и становился членом государства, определялись непосредственные отношения каждого человека к государству; отсюда естественным необходимым путем выработалась идея человечества.

Великая эпоха совершила свое дело; были увлечения, крайности при этом совершении; но один из знаменитейших современных историков сказал вполне справедливо об этой эпохе: ей много останется, потому что возлюбила много. Наступила другая эпоха, в которой нельзя не заметить, как один из отличительных признаков, стремление к частным союзам, к образованию новых частных союзов, к скреплению старых, родового, сословного, общинного, ибо дознано, что только с помощью крепких частных союзов человек может воспитаться, привыкнуть к гражданской деятельности; что только с помощью частных союзов частная деятельность, развитие частных средств и сил могут быть вполне обеспечены: государство доставляет безопасность, но оно не может заменить для каждого ни отца, ни брата, ни собрата. Что же — это стремление к частным союзам есть ли возвращение к старине, выражение несостоятельности направления предшествовавшей эпохи? Нисколько! Благодаря началу, выработанному предшествовавшей эпохой, частные союзы, скрепления которых требуют наше время, не имеют никакого непосредственного отношения к частным союзам, существовавшим при начале европейских обществ, в средние века. Новый европейский человек стремится скрепить частные союзы, но благодаря началам, выработанным предшествовавшей эпохой, он возвращается в эти союзы иным человеком, с иными понятиями, с иными условиями, в силу которых новые частные союзы будут гораздо крепче; так, например, относительно семейного союза иные поставлены отношения между старшими и младшими, между отцом и детьми, между мужем и женою; формы те же, но дух иной, а это главное, это — все.

Новый европейский человек хочет скрепить сословный союз: но разве отношения между сословиями теперь те же, что были в средние века? Все сословия, как органы одного тела, должны поддерживать друг друга, дружно, со взаимным уважением стремясь к одной общей цели, зная, что ослабление одного органа болезненно отзовется во всех других; а эта мысль откуда взята новым европейским человеком, разве из XII века? Теперь люди с одинаковыми занятиями, с одинаковым положением стремятся, для поддержания друг друга, к частным союзам: но разве эти союзы могут быть похожи на старинные цехи? Цель частного союза — обеспечение свободной широкой частной деятельности, а не ограничение, не стеснение ее какими-нибудь материальными условиями, например общим владением. Члены частного союза не должны идти скованные об ногу друг с другом, а должны для частной и общей пользы двигаться свободно и быстро, но при первом колебании собрата должны стремиться к нему на помощь, поднимать его всеми средствами, материальными и нравственными.

Одним словом, древние частные союзы, удовлетворявшие потребностям своего времени, не могли удовлетворять более потреб-

ностям европейского общества, двинувшегося вперед по широкому пути развития; их ослабление в известную эпоху, которое дало возможность вырабатывавшемуся в эту эпоху началу доходить до крайности, показывает ясно их несостоятельность. Частные союзы, эти необходимые органы общества, должны были пересоздаться на новых, более широких началах, а эти новые начала выработались именно в эпоху, предшествовавшую нашей эпохе.

Итак, ты видишь, любезный друг, что стремление нашего времени к частным союзам не есть возвращение к отдаленной старине, не есть протест против направления непосредственно предшествовавшей эпохи, но есть прямое произведение последней, имеет прямое, непосредственное отношение к ней, а не к эпохам отдаленным. Вот почему так странен тот антиисторический взгляд, порожденный плохим знанием и плохим пониманием истории, по которому, найдя в отдаленных эпохах явления, по-видимому сходные с теми, которых требует настоящее время, устремляют к ним свое сочувствие, упрекая эпоху непосредственно предшествовавшую, будто бы она, вырабатывая новые, чуждые, вредные начала, подавила старые прекрасные начала, которые во что бы то ни стало нужно воскресить. Но такой взгляд, во-первых, показывает слабость, несостоятельность этих хваленых начал древности, потому что если бы они были крепки, удовлетворительны, то не дали бы подавить себя; во-вторых, люди с антиисторическим взглядом, толкуя о любимых явлениях отдаленной древности, поднимают, изукрашивают их сообразно с своими настоящими понятиями и тем самым свидетельствуют, что им нужно вовсе не то, что представляет седая древность. Наконец, во всех этих антиисторических толках повторяется старинное явление: протест против прогресса вследствие нравственной слабости, неумения сладить с ним; отсюда — пристрастие к первоначальному, простому, неразвитым формам быта, политический буддизм.

В книге Рилля мы часто встречаемся с этим нашим старым знакомым буддизмом. Наш автор сильно наскучил этим беспрестанным коловращением мира, беспрестанным шумом, движением, господствующим в городах, в больших городах; он проклинает город — большой город преимущественно — и спешит в поле. Он говорит, что земледельческое сословие ему особенно нравится, потому что в нем меньше стремления высказываться; но это сказано не совсем откровенно. В книге читатель легко заметил другую причину пристрастия автора: это именно господство в земледельческом сословии первичных, простых форм и бессознательное стремление к их сохранению. Но автор недоволен и полем; как истый буддист, он ищет большей пустоты и стремится в лес, который пользуется особенным его сочувствием. Затем, любезный друг, как протест против прогресса, буддизм необходимо связывается с крайним материализмом, ибо одно из основных положений наших но-

вых буддистов таково: человечество было только тогда юно, свежо, когда жило в лесу, при начальных формах быта, при господстве общего владения.

Вышедши из этого состояния, оно одряхло, не в состоянии более восстанавливать своих сил; шаг из лесу в поле и шаг из поля в город — не суть шаги вперед, но шаги назад, шаги к дряхлости, к порче. Это положение основано на вере в одни материальные условия, на отрицании духовных сил человека и общества. У Риль это суеверное обожание форм высказывается очень резко: так, он условием нравственной крепости семьи полагает постоянное пребывание в одном доме, и так как это постоянное пребывание господствует в селе, а не в городе, где большинство народонаселения живет в наемных квартирах, то сельское народонаселение относительно семейной крепости и нравственности имеет громадное преимущество перед городским. Не ясно ли ты видишь здесь полное подчинение человека, его духовной деятельности, его нравственных, чисто человеческих отношений — материи? Дом, дерево, камень здесь главное! Как скоро человек освобождается от этих материальных условий, то его нравственные отношения необходимо портятся, человек ниже дерева и камня, он не может от них освободиться и сохранить свое достоинство, крепость нравственных связей!

«Нечего рассуждать, — говорит Риль, — о естественной связи семейства с жилищем в наше время, когда большинство горожан живет на наемных квартирах. Многие ли из них знают, в каком доме они родились? Удивительно еще, что столько людей знают, сколько им лет!»

Острота пошла не впрок нашему автору, ибо всем хорошо известно, кто обыкновенно не знает, сколько ему лет: не горожанин, имеющий квартиры, а селянин, живущий постоянно в доме прапрадедовском. Человеку не нужно знать, какие стены были свидетелями его рождения: ему нужно знать, к кому он должен иметь нравственное, чисто человеческое отношение; ему нужно знать, к какой семье он принадлежит. И бобр строит плотину, и медведь имеет свою берлогу, и птица вьет гнездо: один человек имеет семейство. В другом месте Риль говорит: «Во многих местах Северной Германии (как и в Скандинавии) каждый крестьянский дом имеет свой знак, о происхождении которого ученые ломают голову. Этот домовый знак для крестьянина так же дорог, как для дворянина герб. Но между ними большое различие: крестьянская семья, переменив двор, что, конечно, случается редко, перемениет и свой домовый знак, тогда как герб дворянина привязан к фамилии и от фамилии переносится уже на замок; герб не есть знак владения, но знак рода, тогда как крестьяне берут свой знак прямо от дому». Автор не хочет понять всю важность этого различия: при первоначальных формах быта, господствующих в земледельческом со-

словии, материальное — дом — господствует и подчиняет себе человека и его человеческие отношения, человек, семья не имеют своего знака, отмечают все знаком своего господина — дома; тогда как в другой сфере род, чисто человеческое отношение, преобладает, человек есть господин дома и отмечает его родовым знаком.

Ты очень хорошо знаешь, что новые буддисты смотря на важность земледельческого сословия вовсе не с той точки зрения, какая показана в начале моего письма. Земледельческое сословие, свободное, единоплеменное со всеми другими сословиями, составляет необходимый орган государственного тела, и пренебрежение этим органом ведет неминуемо к падению государств, как доказал пример древних языческих государств и пример одного нового государства, павшего также вследствие одностороннего, исключительного развития одного органа на счет других. Риль убедительно доказывает это; но, к сожалению, он не довольствуется признанием важности земледельческого сословия, важности существования села подле города: он как будто хочет дать первенство первому над вторым, обнаруживает невольное пристрастие к селу и непримиримую вражду к городу. «Немецкий народ, — говорит он, — есть народ сельский, тогда как греки и римляне были народы городские. Немецкий народ жил сначала дворами и избами, и только впоследствии, под *иностранным* влиянием, образовались города. Процветание римских национальных нравов выражалось словом *урбанитет*; процветание немецких национальных нравов должно означаться словом *рустицитет*». Читатель, разумеется, захочет знать, в чем же состоит эта противоположность между римскими и германскими национальными нравами. Что такое римский *урбанитет*, германский *рустицитет* как выражения различных народностей? Читатель не найдет ответа на эти вопросы; ибо все это не иное что, как игра в пустые выводы из положений, не основанных ни на истории, ни на настоящей действительности. Впрочем, из одного места книги можно отчасти видеть, что автор разумеет под желанным *рустицитетом*. «Рассказывают, — говорит Риль, — о старобаварских местностях, где пирушка не считается веселою, если обходится без смертоубийства. Здесь уже слишком много природы, но все же ведь это натура».

Понятна ненависть Рили к большим городам, на которые он смотрит как на язву государства. «Уже в 1840 году, — говорит он, — на 45 пруссаков приходился один берлинец, на 35 французов — один парижанин и из 15 англичан один жил в Лондоне. В этих цифрах, выражающих переселение страны в большой город, скрывается для развития нашей народной жизни гораздо большая сумма опасностей, чем в цифрах переселений в отдаленные части света».

Но спрашиваем. где же эти опасности? Разве народонаселение больших городов увеличивается на счет сельского народонаселения? Разве около новых европейских больших городов, как в стари-

ну около Рима, образуются пустыни? Новые буддисты в слепой ненависти к большим городам, как могущественным органам прогресса, не хотят понять, что большие города живут не на счет той страны, где находятся, а на счет всего мира, и потому не истощают родной страны, а увеличивают ее благосостояние. Пусть они потрудятся расчесть, сколько англичан, жителей Лондона, живет на счет Англии, а сколько на счет других стран Европы и преимущественно других частей свега. Новые буддисты не хотят понять, что в этих громадных городах находит себе убежище та часть народонаселения страны, которая без них или должна была бы выселиться, или, оставаясь, заставить переселиться другую равную ей часть народонаселения. Спрашивается: куда бы девался пятнадцатый англичанин, который живет в Лондоне и кормится на счет Португалии, например?

К буддистским стремлениям обыкновенно присоединяется самозванное стремление к народности. Новые буддисты обыкновенно жалуются, что цивилизация, содействуя общению народов, сглаживает народные черты, делает образованного немца похожим на француза, па англичанина. При этом они обыкновенно указывают на земледельческое сословие, до которого цивилизация не коснулась или коснулась очень мало, которое поэтому сохранило во всей чистоте народные черты и потому должно служить образцом для образованных сословий: последние должны возвратиться к нему, приравняться к нему, чтобы возвратить себе народный образ, потерянный чрез прогресс, чрез цивилизацию.

И здесь, как везде, новые буддисты видят мираж; предметы представляются им вверх ногами: они не догадываются, что прогресс, цивилизация не уничтожают народности, а, наоборот, могущественно развивают ее. В книге Рияля есть превосходное место, которое резко противоречит другим встречаемым у него воззрениям и которое ясно указывает на значение прогресса, цивилизации относительно народности; это место читается там, где он говорит о значении женщины, против так называемой эмансипации последней. «В противоположности мужчины и женщины уже предвещаются многие основные черты естественного расчленения общества: с другой стороны, сословный быт также могущественно действует на эту противоположность. На низших ступенях общества характеристические черты мужчины и женщины еще не обрисовываются во всей полноте. Противоположность их образов вырабатывается вполне только благодаря цивилизации: ибо *истинная* цивилизация разделяет, расчленяет, *дурная* равняет. Крестьянская баба во всех отношениях и по наружности — еще полумужик, только при высшей образованности женщина в каждой черте выражает противоположность свою мужчине».

Ты, конечно, догадался, почему я подчеркнул слова *истинная* и *дурная* цивилизация; они не имеют смысла и употреблены авто-

ром только из желания оговориться, ибо он понимал, как указанное им важное явление противоречит встречающемуся у него воззрению на цивилизацию и на отношение к ней земледельческого сословия: если истинная цивилизация разделяет, а дурная равняет, то выходит, что в земледельческом сословии господствует дурная цивилизация! Дело в том, что цивилизация, прогресс вообще разделяет, расчленяет; при отсутствии прогресса сохраняется единообразие.

Высказанную мысль автор развивает далее: во всех почти изображениях знаменитых красавиц прошлого времени поражает нас резкость черт: все эти головы кажутся нам слишком мужественны в сравнении с первообразом женской красоты, который носитя перед нами, людьми нового времени. Старинные изображения мадонн и других святых девиц имеют в себе резкие черты, которые делают их мужевидными или несколько старообразными; Ван-Ейковские мадонны смотрят тридцатилетними. Живописец следовал природе, а природа с тех пор переменилась; триста лет тому назад молоденькая девушка сохраняла еще мужеские черты; Мария Стюарт, эта прославленная красота своего времени, поражает глаза XIX века своими мужскими чертами. У бедных, уединенно живущих земледельцев, равно как у бедных работников городских, голова мужчины и женщины имеет почти одинаковую физиономию; женщину из этого класса нарисуйте в мужском платье — и вы не отличите ее от мужчины; особенно старики и старухи похожи друг на друга как две капли воды. Даже средняя величина тела в низших классах ровнее для обоих полов, чем в образованных; наши маленькие городские женщины подле высоких мужчин облачают следствия образованности. Даже звуки голоса меж людьми, в простоте быта живущими, сходнее у обоих полов, чем меж людьми образованными. То же самое замечается и относительно одежды: одежда обоих полов у древних народов, у народов азиатских, у народов, сохранивших первоначальную простоту быта, сходна: сравните одежду турка и турчанки, тирольца и тирольки; но какая противоположность между фракком образованного европейца и между длинным и широким платьем его жены! Какая противоположность между их шляпами!

Так наглядно объясняет Риль положение, что цивилизация, прогресс разделяет, а не равняет; но он как будто не догадывается, что цивилизация, прогресс обнаруживает точно такое же действие и относительно народности: чем сильнее прогресс, тем резче обозначаются народные черты, народные различия. Это явление у нас перед глазами (разумеется, если мы их не зажмурим): когда народности, народные стремления обозначались резче, как в наше время, чудесами цивилизации, так сблизившей народы, заставившей их жить в одной тесной семье? Вот англичанин, француз, итальянец, немец: с обыкновенною быстротою примчались они по

железным дорогам из разных концов Европы в условленное по телеграфу место; рассуждают об общем деле, говорят на одном языке, одеты в одинаковое платье, и между тем какое различие между ними! Кто по их лицам и слову не признает в них членов четырех различных народов? И чем ближе они друг к другу, чем теснее соединены их интересы, тем сильнее чувствуют они различие своих народностей; цивилизация не уравнила их, не сгладила их народных черт — она произвела только то, что они могут столкнуться об одном общем деле, тогда как вследствие отсутствия цивилизации обыкновенно и люди одного народа никак не могут столкнуться между собою. Новые буддисты никак не могут понять, что, по общему, непреложному закону развития, люди низших слоев общества, в которых, по их мнению, сохраняется истинный народный дух, по всем понятиям, обычаям, поверьям гораздо сходнее с подобными же себе у других народов, нежели члены образованного общества в разных народах, и народный дух, следовательно, обитает по преимуществу в образованных классах общества, ибо здесь высшая, духовная область, область сознания.

Такое непонимание зависит от узкого представления народности, от мелкой, недостойной великого народа вражды, зависти к другим народам. Так, у Рилья ненависть к предшествовавшей эпохе соединяется с ненавистью к французам, которые в эту эпоху при распространении господствующего направления ее играли самую видную роль. Немцы сначала блаженствовали в лесах, потом вследствие чуждого нехорошего влияния сделали шаг назад, стали жить в отдельных городках, общинках, из которых каждая знала только самое себя; хуже им стало против прежнего, лесного быта, но все же еще хорошо *рустицитет* соблюдался. Но вот явились французы со своими вредными идеями о человеке и человечестве и перевернули доброе старое немецкое общество: *рустицитет* исчез и — *finis Germania!* За это защитники немецкой народности поклялись к французам вечною ненавистью и объявили, что для спасения Германии ее сынам надобно возвратиться в леса; но так как лесов, к несчастю, осталось уже мало, то по крайней мере надобно возвратиться к средневековым формам жизни. «Идея гуманизета, — восклицает Риль, — поглотила мысль о семействе, за человечеством позабыли людей!» Это он решается сказать о предшествовавшей эпохе, которая больше всего хлопотала о том, чтобы в человеке не забывали человека; чтобы прежде всего видели в нем это значение! Идея гуманности не поглотила мысли о семействе; но вследствие этой идеи было сознано, что не человек для семейства, а семейство для человека; что человек не есть раб семейства, но свободный член его, свободно, сознательно исполняющий святые обязанности, налагаемые этим первым человеческим частным союзом. Ослабление семейных связей было именно следствием того, что старая семья со своею материальною связью, со своими

обычными формами не удовлетворяла уже общества; нужна была для семьи другая, более прочная духовная связь, и эта связь была получена чрез гуманные идеи; чрез заявление достоинства человека. Но пусть сам автор покажет нам и характер старой семьи, и новые требования общества.

«Во французско-немецких театральных пьесах того времени, — говорит Риль, — комический задор состоит в том, что дети обманывают своих родителей, жены — мужей и наоборот. Над этим обманом смеялись, как над тонкою, ловкою интригою, тогда как старые немецкие народные фарсы, где комическое обыкновенно состояло в том, что муж колотил свою жену, были презираемы как безнравственные и низкие. Я тоже считаю эти драматические палочные эффекты очень низкими, однако и наполовину не столь низкими, как тонкие обманы между супругами, родителями, детьми, родственниками, которые даже теперь очень часто составляют интригу комедий, из Франции к нам завозимых. Наша знатная и образованная публика охотно смотрит эти комедии, тогда как нравственно оскорбленная, она оставила бы ложки, если бы ей представили на сцене старую пьесу, в которой муж наделяет жену свою палочными ударами. Средство было выбрано действительно грубое, но цель побоев была очень похвальна».

Почтенный автор никак не может догадаться, что обманы между членами семейства, которые составляли обыкновенную интригу комедий в известное время, были естественным следствием тех палочных эффектов, без которых не обходились древние народные фарсы: там, где, с одной стороны, сильный, пользующийся без отчета своею силою, не видящий в слабом прежде всего человека, а с другой — слабый, ничем не обеспеченный от насиллий сильного, — там необходима неразвитость сознания о нравственном достоинстве, о нравственных обязанностях человека; там разврат и, со стороны слабого, обман для избежания мести сильного. Автору можно было бы припомнить, что и в старинных народных фарсах комическим задором служит обман, за что обманувший, то есть обманувшая, и получала палочные удары.

Итак, в старину общество потешалось зрелищами с обманом и палочными ударами; потом начали потешаться зрелищами без палочных ударов, но с тем же обманом, ибо палочные удары не вывели обмана и безнравственность из семьи, а еще более усилили их: что же, это отсутствие палочных ударов, которые омерзили общество, эта материальная безнаказанность обмана сгубила общественную нравственность вконец? Пусть отвечает Риль на этот вопрос: «Надобно признаться, к чести настоящего поколения, что мы теперь тонкие непристойности школы Виланда и Коцебу, которые нашим отцам казались благородными, считаем уже чем-то неблагородным. Скромность усиливается в нашем обществе вместе с укреплением семейного духа». В нескольких местах автор рас-

пространяется об улучшении семейной нравственности в настоящее время и, несмотря на то, вследствие непонимания истории, отречения от нее не может понять непосредственного отношения этого улучшения к началам, проповеданным предшествовавшей эпохе; руководясь узким национальным взглядом, не перестает делать выходки против французов за проповедание этих начал, вздыхать о немецкой старине и указывать на деревенскую избу как на единственную купель очищения для образованного немецкого общества

«Французское представление социальной свободы и независимости отличается от немецкого существенно тем, что французы хлопочут только о личной самостоятельности и независимости, тогда как, по немецкому представлению, личная независимость должна заключаться в силе и независимости общественной группы и семьи, к которой индивидуум принадлежит. Эта противоположность двух представлений всего яснее видна из следующего. В Пфальце французское представление о личной независимости так вкоренилось, что произвело перемену в сельских общественных и хозяйственных отношениях. Стремление каждого частного лица совершенно свободно стоять на собственных ногах повлекло к имущественному раздроблению, какого в других немецких странах мы не найдем. Индивидуум не хочет жертвовать своею личною независимостию блеску и силе семейства; отец не мог бы умереть спокойно, если бы он для сохранения своего семейства в чести и богатстве уменьшил наследство младших сыновей и завещал бы им для поддержания семьи служить старшему брату в виде помощников.

Это последнее, чисто немецкое и глубоко нравственное распоряжение кажется безнравственным жителю Пфальца, пропитанному французскими идеями. Наследство дробится на разные части, и большая часть сыновей принуждена через это искать хлеба в услужении у чужих людей. С изумительным прилежанием и постоянством трудятся люди, чтобы голодать на маленьком участке и быть свободными, зависеть от ростовщиков-жидов и быть свободными, служить чужим людям, быть в поденщиках и быть свободными. Удивительное противоречие! Работать в доме родного брата в виде помощников и привилегированных слуг для охранения собственности семейства, как нравственного лица, — это называется нестерпимым рабством, а быть в службе у чужих людей — называется свободою!»

Автор не хочет понять, что всякий частный союз, а также и родовой, тогда только крепок, когда основан на нравственных, а не на материальных отношениях; а где же тут нравственное отношение, когда для поддержания значения и богатства рода одному члену дается все, а другие должны находиться у него в услужении! Родовой союз может быть только тогда крепок, когда братья, получив равные доли, для взаимного поддержания и обеспечения свободно

соединит свои материальные и нравственные средства в общей деятельности или, употребляя, по призванию, свои силы в различных сферах деятельности, тем не менее сохраняют нравственное единство рода, считая священной обязанностью обеспечивать благосостояние друг друга. Толкуя, что член рода должен приносить свою личную самостоятельность в жертву роду, этому естественному, первому частному союзу, Риль, однако, требует, чтобы жертва приносилась некоторыми членами рода, а не всеми! Да и зачем эта жертва при *чисто немецком и глубоко нравственном распоряжении*, на которое указывает Риль? Старший, богатый брат для поддержания чести и богатства фамилии вовсе не нуждается в услугах младших, обделенных братьев: у него есть средства приобрести и других работников, а у младших братьев нет никакого нравственного побуждения предпочитать службу у родного брата службе в чужих людях; но так как тут оскорбительно и невыгодно сталкиваются противоположные друг другу отношения, родственные и рабочие, то младшие братья и бегут из дому старшего, чем последний, разумеется, должен быть очень доволен.

Немецкая семья мир спасла — это факт несомненный, по мнению Риль; немецкая семья создала новую эпоху немецко-христианских средних веков. Но чтобы какой-нибудь западник, лишенный патриотизма, не посмел сделать возражения, автор спешит представить немецкую семью в язычестве, когда она еще не подвергалась влиянию чуждых, враждебных начал: «На могиле господина, по древнеязыческому немецкому обычаю, закалались рабы. Здесь мы не должны видеть одного только варварства: здесь выражается глубокомысленное представление *целостности дома*, так как индийское сожжение вдов есть символ семейной неразрывности. Слуга в целостном доме должен признавать свою судьбу неразрывно связанною с судьбою господина». Конечно, и ты, любезный друг, согласишься вместе со мною в глубокомыслии этого немецкого обычая, хотя он есть вместе и скифский, как известно; но не могу удержаться от одного замечания: ведь гораздо лучше было бы для выражения нераздельности семьи, целостности дома, на могиле отца заколоть одного из сыновей, а не раба. Мне кажется, что эти язычники, будучи чрезвычайно глубокомысленны и нравственны, были себе на уме: кололи рабов да жен, которых считали также рабами, но сыновей не трогали.

После попытки придать глубокий нравственный смысл умерщвлению рабов на могиле господина нас, разумеется, уже не может ничто удивить в книге почтенного германофила, например следующее великолепное место: «Глубокомысленное немецкое представление дома как личного, из семейной жизни выросшего существа всего более выражается в многочисленных народных преданиях о домашних духах. Домашние духи не только покровители и друзья дома, но они также мстят и наказывают за пренебрежение домом.

Таким образом, мы имеем здесь дело с народным суеверием, в основании которого лежат великие нравственные народные идеи, идеи органической (!) связи между жилищами и семьями, личности дома и святости домашней жизни. Следует ли такие народные верования называть суевериями? Должно ли искоренять их, если известно, что вместе с ними искоренятся прекраснейшие обычаи крестьянского дома?»

Итак, господин пастор! Остерегайтесь говорить своему немецкому крестьянину, что вера в фрау Гольду есть недостойное для христианина суеверие; а прежде всего постарайтесь освободиться от убеждения, что религия, вами проповедуемая, способна без помощи верований в фрау Гольду очистить, укрепить и освятить семейную жизнь в избе и палатах!

В своем письме, указывая на это место Рилевой книги, ты выразил удивление, как автор забыл *Немецкую мифологию* Гримма и предания о домашних духах решил назвать выразителями немецких представлений, тогда как эти предания общи разным народам, славянам столько же, как и германцам. Но, любезный друг! Если бы Риль не позабыл многого еще, кроме мифологии Гримма, если бы не освобождался от науки как от докучного произведения ненавистного прогресса, то не был бы германофилом и не стал бы искать немецкой народности именно там, где ее нет; тогда бы он знал, что немецкая народность выразилась в творениях Шиллера и Гёте, Баха и Моцарта, Канта и Шеллинга, а не в преданиях избы, одинаких у разных народов, в избах живущих.

Книга Риля, писателя с таким талантом, с такою благонамеренностью, показывает всего яснее, к каким невероятным странностям и к какому бесплодию ведет антиисторическое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте отношений — стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неумение сладить с прогрессом, материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на высшее общественное поприще. Быть может, ты мне ответишь: «Все это так; но грустно состояние общества, в котором являются подобные воззрения и возбуждают внимание; грустно, что и такие люди, как Риль, высказывают эти воззрения: это плохой знак!»

Но разве, отвечая тебе, прежде этого не бывало? И однако, общество в угоду буддистам не отказывалось от прогресса. В XVI веке, когда начиналось неслыханное до того времени движение в европейском мире, когда книгопечатание окрылило мысль человека, когда открыт был Новый Свет и неведомые пути к отдаленным частям Старого, — тогда послышался протест против прогресса от одного из самых ученых людей времени: Томас Морус написал утопию, где предлагал обществу возвратиться к родовому быту.

Но общество, приняв к сведению курьезную книгу, шло своим путем. Известно пристрастие к первоначальному быту, к невинным будто бы нравам неразвитых обществ, пристрастие, обнаружившееся в XVIII веке. Мы сами были свидетелями, как буддистское направление проникло в поэзию и поэты в звучных стихах жаловались, зачем они родились в образованном обществе, а не в хижине дикаря:

О Боже! Если б мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса

Так воспевалось, когда господствовала идея человечества; теперь под влиянием идеи народности начались воздыхания по крестьянской избе, куда будто бы укрылась народность. И Бог весть, сколько еще форм переменит буддизм на европейской почве; но будь покоен, любезный друг: «отважное потомство Яфета» не изменит своему характеру.

Извини за длинное вступление: я считал его необходимым. В следующих письмах постараюсь изложить тебе историю общественных отношений в нашем отечестве, которой ты так от меня домогаешься.

II

И мы были в Аркадии, любезный друг! И наши предки жили в том блаженном состоянии, о котором мечтают новые буддисты. Разбросанные на неизмеримых пространствах, затерянные в непроходимых дремучих лесах, они жили отдельными родами, жили независимо, просторно, владели землею сообща. Несносного шума от непрерывного коловращения жизни не было слышно, слышен был шум дубрав, да стоны раненых, да вопли убиваемых: «убивали друг друга», говорит летописец. Впрочем, надобно ли верить летописцу? Летописец был человек грамотный, ученый, оставший от народной жизни, которая для него потеряла смысл; он имел свои идеалы уже в другом обществе, в другом народе. Житель города, испорченного цивилизацией, чуждым влиянием, он враждебно смотрел на старину, сохранившуюся в селе, клеветал на нее; явление частное, случайное он сделал общим, охарактеризовал им быт племен: «убивали друг друга». А впрочем, что же, если и убивали друг друга? Конечно, тут уже слишком много природы, но все же ведь это природа! Главное — господствовало однообразие, простота, одним словом, жизнь вне прогресса: «жили как звери», говорит летописец.

Но недолго блаженствовали предки; некоторым из них вздума-

лось поселиться неподалеку от моря, этой коварной, подвижной стихии, которой человечество так много обязано за бедствие прогресса. Благодаря морю и наши предки познакомились с чужим, новым, и это новое, чужое разъело старое, свое. Явилось недовольство старым бытом, сознание его недостатков: отсюда основная перемена в быте, явление князя и дружины. В земле великой и обильной, но *безнарядной* начался прогресс: в однообразной прежде массе народонаселения произошло расчленение на дружину и не дружину; скоро города, по крайней мере некоторые, стали резко различаться от сел; с принятием христианства выделилось духовенство; из белого духовенства выделились монахи; завязались взаимные отношения между этими членами, органами общественными.

Я не буду распространяться, любезный друг, о вещах уже известных, не стану повторять и то, что пора бросить старые толки о различии наших и западных общественных отношений на основании завоевания и незавоевания — на том основании, будто бы что на Западе было завоевание, а у нас его не было. И у нас было завоевание: этого факта нельзя вычеркнуть из летописей, несмотря ни на какие натяжки. Дело в том, как происходило завоевание, в какой стране, при каких природных и общественных условиях: от этих условий и происходит все различие в общественных отношениях на Западе и у нас. Там, на Западе, члены завоевательной дружины прежде всего стали землевладельцами и чрез это получили самостоятельное, независимое положение. Потом, при образовании феодализма, мелкий владелец свободного участка отдавал его богатому, сильному землевладельцу и получал его обратно уже в виде лена, владение которым налагало известные обязанности: везде здесь землевладение на первом плане, все делится между землевладельцами.

У нас же нет и помину о разделении земель между членами княжеской дружины; нет помину о их самостоятельном, независимом значении как землевладельцев, о их столкновениях друг с другом и с князьями в этом значении. Все споры, все усобицы идут только между князьями; дружинники по воле и поневоле переезжают с князьями из одной волости в другую, и это самое уже показывает отсутствие крепких, прочных отношений к известной местности, к земле, потому что подобные отношения необходимо прекратили бы ту сильную передвижку князей и дружин их, какую видим в древней России до XIII или XIV века. Есть, наконец, и прямое, ясное свидетельство в летописи о положении дружинника в отношении к князю. С сожалением вспоминая о старом времени, летописец говорит о прежних князьях: «Те князья не собирали много имения, вир и продаж неправедных не налагали на людей; но если случится правая вира, ту брали и тотчас отдавали дружине на оружие. Дружина этим кормилась. Не говорили дру-

жинники князю: «Мало мне ста гривен»; не наряжали жен своих в золотые обручи; ходили жены их в серебре, — и вот они расплодили Землю Русскую». И в первой, и во второй половине этого важного известия говорится ясно о денежном жалованье, о том, что дружина содержалась, кормилась из доходов княжеских. Понятно, что возможность землевладения, как постоянного, так и временного, не исключалась для дружинника; но главное здесь то, что землевладение не было на первом плане.

«Мало мне ста гривен», мог говорить дружинник князю, и князь должен был исполнить его требование; князь не должен был ни в чем скупиться для дружинника, потому что последний при первом неудовольствии отъезжал к другому князю, более щедрому, более ласковому. Эта возможность отъезда при множестве князей служила полным ручательством выгодного положения дружинников. князья обращались с ними как с товарищами, как с братьями, не прятали от них богатств, не таили и дум своих: без совета дружины ничего не делалось.

Но вся выгода положения дружинника в древней России основывалась на этом внешнем, чуждом для него условии — на многовластии: исчезло многовластие — исчезло для дружинника и всякое ручательство в его самостоятельном, независимом положении. Помешать утверждению единовластия он не мог, ибо при раздробленности дружин по князьям и при подвижности дружинников, при неимении постоянного места и в одной какой-нибудь дружине, в одном каком-нибудь княжестве дружинник должен был ограничиваться интересом личным или родовым; до сознания интереса сословного, до возможности общего действия он не достигал. Кроме старого права отъезда, он ничего не знал, и действительно, в старину это право обеспечивало ему все, и вот он в отчаянии, не видя выхода, вопиет о праве отъезда, не понимая, что это бессмыслица при единовластии. «Отъедешь от меня в Литву или в Крым, — говорит ему единовластец, — и будешь изменник». Отвечать на это было нечего, и после бесплодной борьбы все притязания замолкли. И вот, из князей Рюриковичей, потомства князей великих и удельных, из пришлых Гедиминовичей, из старой дружины Московской и из дружин всех присоединенных русских областей образовалось... что образовалось? Не знаем что: ни в одном древнем памятнике нет слова ².

Нет слова, значит, не было и ясного понятия, не сложился и самый предмет определенно.

Что же было у нас, в Московском государстве? — спросишь ты у меня; что образовалось из князей, дружины Московской, дружин

² Неопределенное название *дружина* исчезло, нового не образовалось. Совмещать все чины — от боярина до сына боярского — под общим именем *служилых* людей нельзя, ибо в памятниках высшие чины под именем ближних людей противопоставляются низшим *служилым* людям.

областных? Образовались *чины*, любезный друг! Но что такое *чины*? Тебе, вероятно, опять представляется Запад со своими *états*, которые у нас так невпопад переводятся словом *чины* вместо *сословия*. Там было три сословия: духовное, благородное и третье,— так представители их тремя отдельными группами и являлись в важных случаях. Но чтобы понять нашу старину, постарайся позабыть об этих западных явлениях, о западных сословиях; обрати внимание на ближайшее к нам явление, на то, что мы теперь называем *чинами*, — это поведет ближе к делу. В важных случаях, когда на Западе представители трех сословий собирались в три отдельные группы, как собирались наши *чины* (наши древние Соборы имеем полное право называть *собранием чинов*?). Собирались митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, старцы, бояре, окольниковичи, казначеи, думные дьяки, думные дворяне, стольники, стряпчие, дворяне, дети боярские, дьяки, гости, торговые люди, всяких *чинов* люди. Эти всяких *чинов* люди не соединялись в несколько групп, представлявших сословия, они оставались в своем чиновном раздроблении, ибо понятия о сословном единстве, об общих сословных интересах не существовало. Боярин не имел ничего общего с окольниковичем, тем менее с думным или простым дворянином, еще менее с сыном боярским, сколько *чинов*, столько отдельных кругов, не связанных друг с другом.

Жили розно, «особе, каждо с родом своим». Действительно, при отсутствии сословного интереса господствовал один интерес, родовой, который в соединении с чиновным началом породил местничество. Все внимание чиновного человека сосредоточено было на том, чтобы при чиновном распорядке не унизить своего рода. Но понятно, что при таком стремлении поддерживать только достоинство своего рода не могло быть места для общих сословных интересов, ибо местничество необходимо предполагало постоянную вражду, постоянную родовую усобицу между чиновными людьми: какая тут связь, какие тут общие интересы между людьми, которые при первом назначении к царскому столу или береговой службе перессоривались между собою за то, что один не хотел быть ниже другого, ибо какой-то его родич когда-то был выше какого-то родича его соперника?

Приведу примеры, как начала чиновное и родовое господствовали над началом сословным. В 1613 году князь Иван Михайлович Воротынский, высчитывая по наказу неправды короля Сигизмунда, должен был сказать, что король посажал на важные места в московском управлении людей недостойных, худородных, и в числе последних упомянул двоих князей. Другой пример еще поразительнее, потому что относится ко временам Петра Великого, когда родовое начало было, по-видимому, совершенно поражено. Петр велел записывать дворянских детей в Москве и определять на Сухареву башню для изучения мореплавания. Родители вопреки указу от-

дали детей в Заиконоспасское училище; тогда рассерженный царь велел взять молодых дворян из Спасского монастыря в Петербург и там заставил их бить сваи на Мойке, где строились пеньковые амбары. Адмирал граф Апраксин, один из сильных приверженцев старины, узнав, что царь едет осматривать амбары, поспешил туда, снял с себя андреевскую ленту, мундир, повесил их на шест и начал сам вбивать сваи. Царь приехал и с удивлением спросил его: «Федор Матвеевич! Ты адмирал и кавалер: как же ты вбиваешь сваи?» «Государь, — отвечал Апраксин. — Здесь бьют сваи мои племянники и внучата; а я что за человек? *Какое имею в роде преимущество?*» Не сказал он: «Здесь бьют сваи дворяне, люди одинакового со мною сословия и происхождения, и это занятие их унижает все наше сословие»; нет, он говорит: «Здесь бьют сваи мои племянники и внучата, а я какое имею *в роде* преимущество?» Каждому было дело только до своего рода; до понятия о высшем частном союзе, союзе сословном, еще не достигли. Отсюда понятно, почему так долго держался у нас обычай, по которому вместе с виновным подвергались опале и родичи его: от понятия о родовом единстве трудно было освободиться.

В силу местничества наверху чиновной *лестницы* постоянно являлись *одне* и те же фамилии. «Бывали на нас опалы и при прежних царях, — говорит известный нам князь Воротынский польским панам, — но правительства у нас не отнимали». Действительно, и Грозный, заподозривая, *опалаясь* беспрестанно на вельмож своих, окружив себя опричниною, не отнял у бояр земского управления. Бояре, оставшиеся после Грозного, были, разумеется, не похожи даже на тех, которые пережили опалы Иоанна III и сына его Василия: у этих было еще в свежей памяти прежнее положение князей и дружины; они помнили, что еще Иоанн III обращался с ними не так круто, как сын его Василий, поведение которого поэтому представлялось чем-то новым, еще случайным, но поведение Грозного отняло последние надежды, сломило все притязания, всякое сопротивление. Иные, с иным духом вышли поэтому бояре из тяжелого испытания; но все еще у них оставалась старина: несмотря на опалы, правительства с них не снимали. Понятно, какое важное значение должны были приобрести фамилии, которые постоянно находились у правительственного дела, *всякую думу ведали*, как они сами выражались: при отсутствии просвещения подобная практика заменяла все; знание обычая предания при исключительном господстве обычая и предания — такое знание было верховною государственною мудростию, и люди, которые сами, которых отцы и деды думу ведали, казались нижестоящим, непосвященным, столпами государства, особенно же те из них, которые отличались умом и деятельностью. Так, мелкочиновный по-тогдашнему человек, *стольник* князь Дмитрий Михайлович Пожарский, говорил о великочиновном человеке, *боярине* князе

Василии Васильевиче Голицыне: «Если б теперь такой столп, как князь Василий Васильевич, то за него бы вся Земля держалась и я бы при нем за такое великое дело не принялся». После самого внимательного изучения событий мы никак не можем понять, отчего князь В. В. Голицын мог казаться так высок знаменитому воеводе-освободителю? Но сам Голицын объяснит нам дело. «Нас из думы не высылавали, мы всякую думу ведали», — говорит он.

Но Голицын погиб в плену литовском; брат его Андрей погиб, отстаивая честь думы, оскверненной присутствием Федьки Андронова с товарищи; оба они погибли вследствие событий смутной эпохи, которая имеет важное значение в судьбах древней московской знати. Такая буря не могла пройти без того, чтобы не разтрясти многого; особенно сильно было потрясение, когда после гибели первого Лжедмитрия началась усобица между двумя царями — царем Московским, Шуйским, и царем таборским, или Тушинским, вторым самозванцем: последний, чтобы иметь средство бороться с Шуйским, чтобы иметь и двор, и думу, и войско, обратился к людям, которые не могли быть при дворе, в думе, в войске Московского царя или по крайней мере не могли получить в них важного значения Тушинский самозванец и воеводы его восстановляли не одни самые низшие слои народонаселения против высших, предлагая первым места последних; сильное брожение поднялось во всех сферах: все, что только хотело какими бы то ни было средствами выдвинуться вперед, получить чины высшие, каких при обыкновенном порядке вещей получить было нельзя, — все это бросилось в Тушино, от князей, которые хотели быть поскорее боярами, до людей из черни, которые хотели быть дяками и думными дворянами, и все эти люди получили желаемое.

После Клушинской битвы, уничтожившей окончательно средства Шуйского, бояре, чтобы не подчиниться холопскому царю, второму Лжедмитрию, провозгласили царем королевича Польского. Но тушинские выскочки уже прежде забежали к королю и, готовые на все, чтобы только поддержать приобретенное в Тушине положение, присягнули самому королю вместо королевича, обязались хлопотать в Москве в пользу Сигизмунда, и вот бояре, которые готовы были на все, чтоб отделаться от ненавистного Тушина, с ужасом увидали, как тушинцы ворвались в Московскую думу под прикрытием поляка Гонсевского; как торговый мужик Федька Андронов засел вместе с Мстиславским и Воротыньским. Это была уже им смерть, по их собственным словам; но делагь было нечего, они были в плену у поляков; кто из них поднимал голос, того сажали за приставов, как посадили Андрея Голицына и Воротыньского. А между тем Земля поднималась во имя православия; за неимением *столпов* Земля должна была обратиться к людям незначительным, и вот опять пошли вперед незначительные люди. Начальниками первого восстания были: Ляпунов, один из первых, который вос-

пользовался Смутным временем, чтобы выдвинуться вперед, — Ляпунов, враждебно ставший к боярам и вообще *отецским детям*; подле Ляпунова тушинские бояре, князь Трубецкой и казак Заруцкий.

«Как таким людям, как Трубецкому и Заруцкому, государством управлять? Они и своими домами управлять не могут», — писали бояре из Москвы по областям. Русские люди были согласны в этом с боярами, но никак не хотели согласиться в том, что надобно держаться Владислава, то есть дожидаться, пока придет сам старый король в Москву с иезуитами, — выставили второе ополчение. И здесь то же явление: главный воевода — член захудалого княжеского рода, малочинный человек, *стольник* Пожарский, а подле него мясник Минин.

Ополчение успело в своем деле: государство было очищено; избран царь; большинство, лучшие люди, истомленные смутой, громко требовали, чтобы все было по-старому; старина была восстановлена, но по-видимому только, ибо в народе историческом никакое событие не проходит бесследно, не подействовав на ту или другую часть общественного организма. Новое с новыми людьми просочилось всюду, а старое со старыми людьми, носителями старых преданий, спешило дать место новому. В первенствующих фамилиях оказался недочет: Романовы перешли на престол, исчезли Годуновы, исчезли Шуйские беспотомственно, за ними Мстиславские, за теми Воротынские; изгибли самые видные, самые энергичные из Голицыных; а при чиновном, несловном составе тогдашнего общества, при малочисленности фамилий, стоявших наверху и хранивших старые предания, исчезновение важнейших из этих фамилий имело решительное влияние. Любопытно видеть, как при царе Михаиле Федоровиче оставалось мало людей, которые знали предания и обычаи: при каждом случае делались длинные выписи, как поступали в подобных случаях прежде, точно Смутное время отшибло память о старине.

И потому нам уже неудивительно видеть, что при втором государе из новой династии на самом видном месте являются люди новые, не из столповых фамилий — сын незначительного областного дворянина Ордын-Нащокин, человек неизвестного происхождения Матвеев. Браки царей выводят также на вид незначительные фамилии. А тут новые нудящие требования государственные, которым во что бы то ни стало надобно было удовлетворить: надобно было преобразовать войско; видели ясно, что с местничеством воинский успех невозможен, — и местничество рухнуло, рухнуло потому, что было уже подкопано. Но когда местничество рухнуло, что же осталось? Чины, прохождение по которым теперь уже не встречало никакого препятствия ни для кого, ибо дорога в служилые люди во все продолжение нашей древней истории оставалась незапертою; и Московский государь, царь всея Руси, сохранял в этом отноше-

нии характер старого князя киевского или черниговского: всех охотно принимал к себе в дружину, только служи, сейчас же дадут землю, поместья; давно уже с особенною охотою принимали на службу иностранцев, делали их также землевладельцами³; в конце XVII века потребность в них сильно увеличилась, и их начали принимать на службу толпами. Таким образом, ворота государевой службы оставались отворенными и в XVII и в XVIII веках, как в X.

В таком положении находились дела, когда наступил XVIII век, когда наступила эпоха преобразования. Что же сделал преобразователь относительно предмета, нами рассматриваемого? Он потребовал от людей, не имевших никакого значения, кроме служебного, — он потребовал от них постоянной службы, постоянного нахождения налицо при знамени, ибо постоянное войско было нудящею потребностью государства. Но постоянного войска только было мало; надобно было, чтобы это постоянное войско не уступало в искусстве войскам других европейских народов, с которыми оно должно переведываться: отсюда необходимость для ратных людей быть грамотными и образованными, знать известные науки; без этого они опять теряли всякое значение, ибо теряли значение без службы, а понятие о службе теперь тесно соединилось с понятием об известном искусстве, об известном знании, об известном приготовлении. Чтобы уяснить для себя явления первой половины XVIII века в нашей истории, перенесись, любезный друг, к началам истории обществ, представь себе образование громадной дружины около могущественного вождя, безусловно повелевавшего; материал для образования дружины налицо, но это только материал, не сложившийся вследствие вышеприведенных причин, не принявший определенного образа.

Петр Великий не был здесь собственно преобразователем, ибо прежнего образа, который бы он изменил, не было: если что и было прежде, то разрушилось до него. И вот преобразователь или, лучше сказать, образователь распоряжается материалом, сортирует его: подобно древним вождям дружин, он принимает каждого и дает ему место по мере способности. В древних дружинах большая или меньшая храбрость определяла место дружинника, степень приближения его к вождю; в дружине Петровой одной храбрости было мало, прежде всего требовалось искусство, образование; и так как иностранцы превосходили в этом отношении русских, то понятно, почему так много их вошло в дружину Петрову. Но Петр, как царь Русский, при распоряжении своим материалом, который давал ему так мало твердого, сложившегося, определившегося, перед чем бы он должен был остановиться, — Петр остановился, прекло-

³ О землевладении будет сказано в следующих письмах по отношению к земледельческому народонаселению.

нился перед одним — перед народностью. В годах зрелых у него было правило: высшие места в управлении поручать русским, хотя бы они и уступали способностями и знанием иностранцам; последним же давать только места второстепенные; от этого, хотя дело Петра и совершено было при помощи иностранцев, явившихся учителями, руководителями, однако не только при самом Петре, но и после, в продолжение двух царствований, Екатерины I и Петра II, иностранцы не могли выдвинуться на первый план, — этого они могли достигнуть только при императрице Анне.

Итак, настоятельная государственная нужда заставила потребовать наших старых ратных людей к постоянной службе, заставляла потребовать от них известного искусства, образования, делавшего их способными к службе при новых условиях: отсюда естественно соединение понятий образованного и служащего человека, образованного и благородного человека, — соединение, которое до сих пор еще у нас существует: на целый народ нельзя было наложить обязанности приобрести известные знания; но на известную часть народа, призванного на службу государственную, *обязаны* были положить эту обязанность.

До сих пор шла речь о войске, ибо основное разделение народа в древней России — это войско и не войско, дружина и не дружина; слово *служба* означало преимущественно военную службу, что и теперь сохранилось в народных словах *служба*, *служивый* — для означения ратника, солдата. Но как в особе князя соединилось два значения — вождя дружины и правителя гражданского, то такое же двойственное значение должна была носить и дружина. Князь из членов своей дружины назначал в правительственные должности; и как вначале военный характер, характер вождя дружины, преобладал в князе над характером правителя гражданского, так преобладал он и в дружиннике, который был постоянно преимущественно воин; правительственное его значение было случайное, подчиненное. Но легко понять, что даже и в обществе, не отличавшемся высоким развитием, правитель, назначаемый из дружины, не мог обойтись без людей невоенных, которые знали обычаи управления и суда, а главное — без людей грамотных.

Так, с самых древних времен должен был явиться особый класс людей, дьяки и подьячие, которые при лице правительственном из дружины, каким бы именем он ни назывался (посадник, наместник, воевода), заправляли всем, ибо знали законы, формы, были грамотны. Последнее условие, грамотность, — громадная сила в обществе неграмотном — не замедлило обнаружить свою важность и у нас точно так же, как и на Западе, хотя нашим дьякам и подьячим при их грамотности недоставало просвещения, недоставало научной обработки права. Дьяки, несмотря на всю свою необходимость для дружинников, придавленные значением последних, увидели, что пришло их время, когда московские государи

начали борьбу против дружинных притязаний. При великом князе Василии Ивановиче, при Иоанне Грозном дьяки становятся самыми доверенными людьми, захватывают в свои руки большую власть в Москве и областях, заведывают Приказами; в царствование Феодора Ивановича Годунов, стремившийся к месту правителя, должен был для достижения своей цели соединиться с дьяком Щелкаловым, назвать его себе отцом. Значение дьяков несколько не уменьшилось ни в Смутное время, ни при первых государях из дома Романовых: стоит только вспомнить о значении знаменитого Ивана Тарасовича Грамотина в царствование Михаила Феодоровича, Грамотина, человека безнравственного, но считавшегося необходимым по уму, ловкости, знанию дел, наконец, по той способности, от которой получил свое знаменательное прозвание.

В царствование же Михаила, когда по известным обстоятельствам голос разных чинов людей раздавался слышнее, высказалась вражда разных людей к дьякам, людей меча к людям пера. На Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Твои государевы дьяки и подьячие пожалованы твоим государским денежным жалованьем, поместьями и вотчинами, а будучи беспрестанно у твоих государевых дел и обогатев многим богатством неправедным, своим мздоимством, купили многие вотчины и дома построили многие, палаты каменные такие, что неудобосказаемые; при прежних государях и у великородных людей таких домов не бывало, кому было достойно в таких домах жить».

Таким образом, у дьяков была сила, они заправляли всем и пользовались своею силою для приобретения огромных материальных средств, и в то же время это были люди худородные, которым, по мнению дворян и детей боярских, неприлично было жить в каменных палатах, в каких и великородные лица прежде не жилали. Это господствовавшее в древней России понятие, что дружинник есть военный человек, что гражданское значение он может получить только случайно, между прочим, высказалось в приговоре первого ополчения под Москвою, при Ляпунове, когда определено было, чтобы все служилые люди находились налицо, а правительственные должности раздавались бы только неспособным к военной службе (инвалидам). На упомянутом Соборе 1642 года дворяне и дети боярские говорили: «Которые ныне в твоих государевых городах по воеводствам и по Приказам у твоих государевых дел: вели, государь, тем быть на свою государеву службу против нечестивых бусурман».

Но такое дружинное первобытное безразличие, смешение служб, господствовавшее в древней России, должны были уступить место прогрессу, явственные признаки которого замечаемы еще в царствование Феодора Алексеевича. Безразличие служб в древней России, естественно, поддерживалось отсутствием постоянного войска. Сознанная в XVII веке необходимость последнего

вела, с одной стороны, к уничтожению местничества, с другой — к различению служб военной и гражданской. И вот, в царствование того государя, при котором уничтожено местничество, видим и проект различения служб. По проекту уже Феодора Алексеевича о чинах, первую степень занимает сановник гражданский — боярин, предстатель и рассматритель над всеми судьями царствующего града Москвы, который вместе с 12 заседателями из бояр и думных людей должен постоянно пребывать в устроенной к тому палате и ведать, чтобы всякий судья исполнял царского величества повеление и градский суд правильно и рассудительно

Вторую степень занимает сановник военный — боярин и дворовый воевода, который во время похода должен быть при государе, охранять последнего, но, кроме того, промышлять о всяких воинских околичностях, сиречь смету ратям и устройство и приготовленные оружия и всяких хлебных и воинских запасов. Третью степень занимает опять сановник гражданский — боярин и наместник Владимирский, занимающий первое место между наместниками, заседающими в Совете государственных дел. Четвертую степень занимает военный сановник — боярин и воевода Северского разряда, имеющий постоянное пребывание в Севске; он оберегает польскую (степную) Украину, имеет у себя многих воевод и ратных людей всегда в готовности к отпору неприятеля. Пятая степень — боярин и наместник Новгородский; занимает второе место между титулярными наместниками в государственном Совете. Шестая степень — боярин и воевода Владимирского разряда; всегда пребывает во Владимире, устраивает рати конные и пешие, всегда пребывает во всяком воинском приуготовлении и, получив государское повеление, идет против неприятеля со своим разрядом куда потребуется. Седьмая степень — боярин и наместник Казанский и т. д. и т. д. Таким образом, табель о рангах, где подле чинов военных видим и чины гражданские, уже не поразит нас как нечто совершенно новое.

Вследствие нудящих потребностей государственных, которым спешила удовлетворить так называемая эпоха преобразования, служащие люди были собраны, выделены, разделены на чиновников военных и гражданских. От них потребованы известные знания, так называемая образованность, которою они стали отличаться от остального народонаселения; одновременно с этим стали отличаться от него и внешним видом, платьем, бритою бородою, стали отличаться тем, что, как обязанные службою и получающие за нее жалованье, не платили подушного оклада. Петр Великий обратил внимание и на хозяйственное положение служащих, на материальное их обеспечение и для этого ввел майорат. Побуждения, которыми они руководили при этом, были следующие: 1) один лучше может льготить подданных; 2) фамилии не будут упадать; 3) младшие не будут праздны, но будут приносить пользу государству.

Но, вводя майорат, Петр вводил то, для чего не была приготовлена почва историею: майорат есть учреждение чисто сословное, плод ясного сознания членов высшего сословия о своем сословном положении, об отношениях к другим сословиям, о необходимости поддержать сословное значение, сословные интересы, о необходимости для этого поддержания делать пожертвования нравственные и материальные.

Но как могло явиться это сознание, эти побуждения в древней России, где понятие о сословии, о сословных интересах и отношениях еще не выработалось; где были только чины и каждый жил розно, особо с родом своим, сохраняя равенство между всеми членами этого рода? Могла ли быть приготовлена почва для майората между подданными в той стране, где и в роде владельческом майорат утвердился еще недавно и с таким трудом, с таким кровопролитием? Как могло явиться побуждение к майорату между старинными русскими дворянами и детьми боярскими, обязанными службою и получающими за эту службу поместья, денежное жалованье, доходные места? Они были обеспечены сами, были обеспечены и все дети их, сколько бы их ни было: каждый будет служить, за службу будет получать поместья и жалованье. Вследствие этого жили они день за день, не заботясь ни о чем, безо всякого понятия о сословных интересах, сословных обязанностях; да и как было им много заботиться об улучшении своего хозяйства, об увеличении доходов при той промышленной неразвитости, какая господствовала в древней России?

Впрочем, как обыкновенно бывает, неразвитость эта, будучи, с одной стороны, причиною общественной неразвитости, с другой стороны, была ее следствием. И вот, при таком-то состоянии русских помещиков и хозяйств их вдруг на них налагают майорат, который, разумеется, ведет вовсе не к тем явлениям, каких ожидал от него законодатель. Отсюда постоянная служба и майорат были самым тяжелым бременем для русского *шляхетства* в первой четверти XVIII века; это чужое слово *шляхетство* входит теперь в употребление, ибо сословие возникает, является понятие о нем, но слова русского нет; чужое слово *шляхетство* могло быть вытеснено русским *дворянство* только впоследствии, когда уже изгладилось из памяти, что *дворянство* означало только один из чинов, и чинов вовсе не высоких.

В 1730 году для шляхетства представился случай высказаться против постоянной службы и майората, получить ограничение первой и совершенное уничтожение второго. По старой привычке каждому чину жить особо и высшим чинам смотреть с презрением на низшие, не обращая внимания на одинаковость происхождения, члены Верховного тайного совета вздумали захватить в свои руки правление, ограничив власть избранной ими императрицы Анны. Сенаторы, генералитет и остальное шляхетство, оскорбленные по-

пыткою *верховников* (так тогда называли членов Верховного тайного совета) и не находя выхода из разногласия проектов нового государственного уложения, восстановили прежний порядок. При этом случае они просили ограничения постоянной службы и уничтожения майората — и получили желаемое. В декабре 1736 года издан был манифест о шляхетской службе, которым постановлялось: 1) Кто имеет двух или более сыновей, из них одному, кому отец заблагорассудит, остаться в доме для содержания экономии; также которые братья родные два или три, не имея родителей, пожелают оставить в доме своем для смотрения деревень и экономии кого из себя одного, в том давать им на волю, но с тем, чтобы эти оставшиеся в домах довольно грамоте и по последней мере арифметике обучены были, дабы к гражданской службе годны были. 2) Прочие все братья, коль скоро к воинской службе будут годны, должны вступать на военную службу. Но понеже какое время быть в воинской службе по сие время определения было не учинено, и отставляются весьма старые и дряхлые, которые, приехав в свои дома, экономию домашнюю как надлежит смотреть уже в состоянии не находятся; для того всем шляхтичам от 7 до 20 лет возраста их быть в науках, а от 20 лет употреблять в военную службу, и всякий должен служить в военной службе от 20 лет возраста всего 25 лет; а по прошествии 25 лет всех, хотя бы кто еще и в службе был годен, от воинской и статской службы отставлять с повышением одного ранга и отпускать в дома; а кто из них добровольно больше служить пожелает, таким давать на их волю. 3) За болезнями и ранами могут быть отпущены до урочных лет.

Но гораздо раньше, еще в декабре 1730 года, уничтожен был майорат. В докладе сказано, что пункты Петра Великого «по состоянию здешнего государства не по пользе происходят, а именно: 1) Отцам не точию естественно есть, но и закон Божий повелевает детей своих всех равно награждать, и для того, которые у себя имеют по два или по три сына и по несколько дочерей, те всячески ищут, каким бы образом всех равно удольствовать, рассуждая, ежели по тем пунктам в недвижимом наследника учинить кого одного, а прочим движимым наградить нечем, то принуждены с крестьян излишнее брать, и тем им тягость наносить, или те деревни, которые надлежит дать меньшим детям, продать в чужой род, чтобы деньги на раздел прочих оставить или те же деревни перепродавать чрез несколько персон для укрепления меньшим детям, и для того в платеже пошлин несут великие убытки; а буде кто того при себе не учинит, то принужден написать в духовной чей-нибудь на себя немалый долг и с клятвою наследнику завещать под тем образом заплатить меньшим своим детям, и некоторые, исполняя волю отческую, платят, продав тоже отцовские деревни, а иные наследники, ведая, что на отце их такого долгу не было, такие духовные спорят, и происходят между ними ненависти и ссоры и продолжи-

тельные тяжбы с великим с обеих сторон убытком и разорением, и в такой ненависти и злобе вечно принуждены оставаться и не безызвестно есть, что не токмо некоторые родные братья и ближние родственники между собою, но и отцов дети побивают до смерти. 2) В деревнях обретающийся хлеб, лошади и всякий скот за движимое почитают и отдают меньшим братьям с сестрами, и тако у наследника без хлеба и без скота деревни в состоянии быть не могут, а у меньших братьев без деревень хлеб и скот пропадают, а как наследники, так и кадеты от того в разорение приходят, и хотя по тем пунктам определено, дабы те, которые по деревням не наследники, искали б себе хлеба службою, учением, торгами и прочим, но того самим действием не исполняется, ибо все шляхетские дети, как наследники, так и кадеты, берутся в одну службу сухопутную и морскую в нижние чины, что кадеты за двойное несчастье себе почитают, ибо и отеческого лишились и в продолжительной солдатской или матросской службе бывают, и тако в отчаяние приходят, что уже все свои шляхетские поступки теряют. 3) Деревень за дочерьми в приданое давать не велено, чтоб оные в чужие роды не выходили, сие такоже с немалою тягостию происходит, ибо вместо того, чтоб дать в приданое деревни, принуждены оные продавать и те деньги за дочерьми давать, понеже, кроме такой продажи, дать нечего, и потому такие деревни стали больше выходить из роду, нежели как давать приданое, а от того фамилиям нималого умаления быть не может, потому: когда кто деревни отдает за дочерью, то вместо того сын его возьмет за женою из другого рода. 4) Сверх всего вышеписаного в делах превеликое затруднение и волокита происходят, понеже те пункты, яко необыкновенные сему государству, разными образы толкуют, и хотя в прошлом 1725 году выданы еще пополнительные пункты, но и тех недовольно, и, хотя бы от времени до времени еще как не пополнять, едва ли к пользе что уповать можно».

Действительно, трудно понять, как при вечно обязательной службе всех членов русского дворянства, или шляхетства, и при введении постоянного войска можно было говорить о той пользе от майората, что младшие будут добывать себе хлеб службою, наукою, торговлею? Где были у них средства и где время заниматься наукою или торговлею? Еще у богатого помещика были бы к тому средства, было бы время; вспомним, что рассказывает Данилов в своих записках о зяте своем Астафьеве, которому досталось после брата 900 душ.

«В вотчинной коллегии учинены были от родственников его споры. Зять мой Астафьев подарил свою прежнюю вотчину бывшему тогда в вотчинной коллегии секретарю Каменеву. Каменев, получа деревню себе во владение, рассмотрел дело в коллегии вправду и утвердил законным наследником зятя моего. Зять мой Астафьев, получа большое наследство, не прилежно стал уже в

полку служить; а как тогдашнее время отставки от службы не было или трудно ее получить было, то он нашел милостивца в полковом секретаре, который его отпускал в годовые отпуска за малые деревенские гостинцы. Секретарь доволен был, когда за пашпорт получает душек двенадцать мужеска пола с женами и с детьми, с обязательством таковым, когда зять мой Астафьев на срок оных подаренных крестьян не вывезет, куда назначено было, тогда неустойка награждалась прибавкою к двенадцати душам. Чтобы не потерять дружбы, таковым полезным от секретаря отпуском зять мой пользовался каждый год по договору. Случалось мне и то видеть самому, при самом его уже в отпуск отъезде из полку, не оставят у него писари полковые и ротные постели и подушек, хотя он даже сидел в кибитке: и то вытаскивали из-под него и делили по себе, как завоеванную добычу. Полковой писарь был гораздо совестнее секретаря своего: он брал только по одному человеку за пашпорт». Такими средствами богатые могли еще получать годовые отпуска; а бедные, младшие? «В отчаяние приходили и все свои шляхетские поступки теряли».

Несмотря на то что гражданская служба была поставлена при Петре рядом с военною, дворянскою, или шляхетскою, службою продолжала считаться военная по укоренившемуся в древней России взгляду на дружинника как на воина. Но мы уже видели, что при императрице Анне, когда дворянство испросило позволение некоторым членам семейства оставаться дома для смотрения за деревнями, выговорено было правительством, чтобы эти оставшиеся обучены были грамоте и арифметике, дабы годными были к гражданской службе. В следующем же году (1737) велено было недорослей из дворян, более способных к гражданской, чем к военной, службе, распределить по коллегиям; секретари обязаны были обучать их приказному порядку, знанию указов и прав государственных, уложения и прочего; оным же дворянам назначить два дни во всякой неделе обучаться арифметике, геометрии, геодезии, географии и грамматике, и обучаться им грамматикою один день в неделю, а другой день прочим наукам. Но еще в 1731 году учрежден был Кадетский корпус, который при отсутствии университетов не мог быть специальным военно-учебным заведением, и потому говорилось, что корпус учреждается, «дабы шляхетство от молодых лет к военному искусству в теорию обучены, а потому и в практику годны были. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцования, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, потому ж и к учению определять».

В 1737 году дан был указ Кадетскому корпусу: «Понеже нам известно учинилось, что в оном находящихся кадетов наиболее и

почитай ежедневно обучают токмо воинской экзерциции, отчего им в обучении прочих наук немалое препятствие происходит, и хотя оным весьма надлежит достаточно обученным быть воинской экзерциции, однако ж прочие науки весьма полезнее как в обращениях при воинской, так и при гражданской службах, а помянутой воинской экзерциции могут довольно обучены быть, хотя бы оные учились и не по всякой день. Того ради одного корпуса командирам чрез сие от нас повелевается с сего времени впредь кадетов воинской экзерциции обучать в каждую неделю по одному дню, дабы оным оттого в обучении других наук препятствия не было».

Но, открывая для дворянства одинаково оба служебные поприща, и военное и гражданское, правительство с прежнею строгостию требовало, чтобы оно приготавливалось к тому и другому образованию. В 1737 году встречаем указ: «Недорослей, шляхетских детей, которые обучаются в родительских домах, свидетельствовать дважды, после 12 и 16 лет»; если некоторые из них по последнем свидетельстве окажутся невеждами в Законе Божием, арифметике и геометрии, таких определять в матросы без выслуги. Руководясь с конца XVI века одною постоянною мыслию, «что всякое добро происходит от просвещенного разума и зло искореняется; что наука везде нужна и полезна, ибо посредством нее просвещенные народы превознесены и прославлены над живущими во тьме неведения людьми», правительство, карая, с одной стороны, дворян за недостаток необходимых сведений, с другой — не могло стеснять их в стремлении приобретать дальнейшие сведения. В 1756 году позволено недорослям из шляхетства обучаться в новоучрежденном Московском университете до 16, а смотря по их склонности к наукам — и до 20 лет; кроме того: «Которые ж из тех обучающихся в Московском университете действительно в воинской и гражданской службе записаны и впредь будут записаны же, а лета и склонности их дозволяют им обучаться наукам, таким для обучения дозволить при университете остаться до вышепоказанных же лет возраста их; а чтоб они не могли чрез то потерять свое произхождение, оные как в воинских, так и в гражданских командах, где они в службу записаны, в повышениях старшинством не обходить, а произхождение им с прочими в тех командах чинить по указам».

Таким образом, обязательная служба для дворян с известных лет должна была необходимо повести к известным распоряжениям при поступлении их в высшие учебные заведения, — к распоряжениям, клонившимся к тому, чтобы они ничего не теряли пред сверстниками, поступившими с определенных лет в действительную службу. Но приближалось время, когда обязательная служба должна была прекратиться. В царствование императрицы Анны дворянство исходатайствовало уничтожение майората и ограничение обязательной службы; уже и при этом мы не можем не заметить, как сословные понятия начинают укореняться: кроме того

что начинают употреблять слово для означения целого сословия, говорится уже о шляхетских поступках; жалуются, что младшие дворянские сыновья при обязательной службе в нижних чинах теряют шляхетские поступки. Может быть, ты мне заметишь, что эти понятия идут сверху только, разделяются немногими членами сословия, наверху стоящими: тем важнее это для нас, любезный друг! Очень важно, что члены сословия, наверху стоящие, принимают к сердцу не одни интересы племянников и внучат своих, но интересы всех членов сословия, оскорбленные тем, что некоторые из этих членов подвергаются искушениям вести себя не так, как прилично члену этого сословия. Желая уничтожить майорат также очень важно в этом отношении, ибо невыгоды майората, на которые жаловалось шляхетство, вовсе не были так тяжки для богатых и знатных дворян, как для незначительных и бедных; ясно, что понятие о своем перешло узкие грани естественного, родового, союза и прилагается к членам союза сословного.

Прошло около 30 лет от этого первого шага к ограничению обязательной дворянской службы; прошли суровые, оскорбительные для русских людей времена Бироновские; прошло царствование Елизаветы, замечательное по распространению лучших понятий о человеке и его общественных отношениях: в это время воспиталось новое поколение людей с нравами более мягкими — людей, которые должны были действовать во второй половине века, в царствование Екатерины II. И вот, в преддверии этого знаменитого царствования, 18 февраля 1762 года, при императоре Петре III издается манифест, в котором говорится, что «при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы, истреблена грубость в нерадивых, о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу; одним словом, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была». Так произошел этот великий переворот в судьбе русского дворянства, — переворот, по которому оно слагало с себя древний характер дружины. Но это новое положение дворянства потребовало необходимо сословно-общинного устройства, чему и было удовлетворено в знаменитом устройстве губерний при Екатерине II, которым закончилось сословное образование дворянства.

Из всего сказанного ты можешь видеть, любезный друг, на какие три периода распадается история русского дворянства. В первом периоде мы видим его в неопределенной форме дружины, при-

вязанной к своему князю, зависимой от него в средствах жизни, следующей за ним из одного княжества в другое, наконец, переходящей свободно от одного князя к другому. С образованием Московского государства начинается второй период: дружина усаживается вследствие единовластия и вместе с тем распадается на множество отделов, которые живут розно. Наконец, в третьем периоде, во времена Российской империи, вырабатывается из этих отделов общая сословная связь, образуется дворянство.

III

Ты меня спрашиваешь, любезный друг, откуда происходит то явление, что немцы и славяне одинаково хлопочут об общине и каждое из этих племен хочет присвоить себе общину как произведение своей национальности. Где взять нового Соломона, говоришь ты, который бы решил этот спор о дорогом детище. Я не думаю, любезный друг, чтобы нужна была мудрость Соломонова при решении этих вопросов. В одном из прежних писем моих к тебе я старался показать, что вопросы о частных союзах стали главными вопросами настоящего времени; историю же вопроса об общине ты знаешь хорошо: сначала поднялся вопрос о городской общине вследствие того, что среднее сословие в Европе приобрело такое важное значение с конца прошлого века; это сословие хотело знать свою историю. Ты знаешь заслуги знаменитых французских историков в этом отношении для их истории; знаешь, как немецкие ученые обработали этот предмет; помнишь спор, поднятый о том, какого происхождения городская европейская община, римского или германского, — спор, нашедший отголосок в книге нашего Кудрявцева («Судьбы Италии»⁴).

Но к вопросу об истории среднего сословия скоро присоединился вопрос о судьбах сельского народонаселения, важный вопрос о землевладении, поднятый страшилищем пролетариата; таким образом, выдвинулся вопрос и о сельской общине. Русская жизнь и русская наука не могли остаться чуждыми этих вопросов. Здесь дело не в подражании — дело в том, что волею-неволею мы вошли в семью европейских народов, живем общею с ними жизнью: «Мы европейцы, и ничто европейское не может быть нам чуждо». Но при этом мое положение будет всегда одно и то же: нет пользы, взявши вопрос из жизни, насильно навязывать его науке. Жизнь имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торо-

⁴ Кудрявцев П. Н. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим. Обзорение Остготско-Лангобардского периода итальянской истории М., 1850 (Примеч. ред.).

пить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки споры долгие, и беда, если она ускорит эти споры; и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное, вследствие господства того или другого взгляда, жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее.

Что же касается вопроса, составляет ли община явление германской или славянской народности, то об этом говорить много не нужно: всякий, кто хотя сколько-нибудь знаком со сравнительным изучением истории общественных форм и явлений у разных народов, знает хорошо, что общинный быт есть столько же национальное явление и у славян, как у германцев. Вопрос может идти только об особенностях и степени развития. Решением этого-то вопроса я и хочу теперь занять тебя.

С половины IX века через внесение новых общественных элементов вследствие появления князей Варяжских произошло между нашими восточными славянами движение, поведшее необходимо к ослаблению первоначального родового быта и к развитию быта общинного. Перед нами община новорожденная, община первобытная, со всею простотою и неопределенностью отношений. Определение было впереди. Определение более или менее точное есть следствие более или менее ясного сознания отношений, прав и обязанностей; сознание в последующие времена является как результат науки, но в древние времена, о которых идет речь, более или менее ясное сознание есть следствие более или менее резких столкновений, резких сопоставлений общественных элементов и равномерно сильного их развития; сознание добывается тут путем факта. Завоеватель и завоеванный лицом к лицу в ежедневной жизни... вот резкое сопоставление и отсюда резкое определение отношений; у одного все права, у другого одни обязанности; сознание этих отношений ясно и у того, и у другого. Если завоеванный с течением времени приобретает силы для борьбы с завоевателем, то оба вступают в борьбу при ясном определении своих отношений, и изменение в этих отношениях происходит также сознательно и потому резко определено; все происходит выпукло и крепко. Кто осилил окончательно в борьбе — это другой вопрос; иногда осиливает третий элемент, не вступавший первоначально в борьбу; иногда между борющимися сторонами заключаются сделки; мировые относительно третьей стороны, с ясным определением отношений к последней и друг к другу: во всяком случае, борьба не остается без влияния на укрепление общественного организма. Иначе бывает, когда в первоначальном, неразвитом обществе элементы общественные находятся в неопределенном, мягком отношении друг к другу. При таких условиях определение отношений идет очень медленно, перерывчиво, нетвердо; сознание общественного человека не ясно. Это медленное, без всякого сознания, оцупью идущее внутреннее дви-

жение еще более затрудняется, останавливается, когда происходит сильное внешнее государственное движение, когда внутреннее движение не уравнивается со внешним, общественное — с государственным; отсюда при неразвитости форм общество готово принять чужие формы, выработанные чужою жизнью. Здесь, разумеется, спасение в просвещении: наука дает ясность сознанию; но теория не так спора без практики.

Но обратимся к древней русской общине, посмотрим, как были определены отношения к князю и наместнику. Говорили ли славянские послы Рюрику, что его призывают для *правды*, или не говорили — для нас это все равно; для нас важно то, что в словах летописца высказалось сознание современного ему общества об отношениях князя к подвластному народонаселению. Действительно, как бы князь или посадник его сами ни смотрели на свои отношения к общине, община видела в них людей, призванных для правды. Но как производилась правда, какое участие, какое значение имел здесь князь или его посадник? Это было лицо постороннее, чужое, обязанное смотреть: чтобы в общине была правда, чтобы все споры и столкновения решались по правде, чтобы лихим людям не было воли делать дурно; чтобы вред, ими причиненный, был вознагражден. Но это лицо должно было смотреть, чтобы сама община, сам мир судил и рядил по правде, чтобы община не держала у себя лихих людей безнаказанными, чтобы община хлопотала о сохранении порядка. Князь или посадник вовсе не хотели брать на себя обязанности или присваивать себе право самим все судить и рядить, не имели понятия о необходимости этой обязанности, о выгоде этого права для себя, наконец, не имели материальных средств пользоваться этим правом.

Ложность современных взглядов на древнее состояние общества происходит оттого, что мы никак не можем отрешиться от своих понятий, от своих привычек к определенности, к резкому разграничению между правами и обязанностями, тогда как в древнем обществе этой определенности, этого разграничения вовсе не было: что теперь считается правом, то прежде считалось обязанностью — и обязанностью тяжелою. Первоначально суд принадлежал миру, общине; когда община не могла решить дела, когда являлась жалоба на неправду, на насилие сильных, тогда решал дело наместник или сам князь. Первоначальный вид мирских или общинных судов представляют нам суды сельских общин Западной России, как они существовали еще в XVI веке: на *вече*, *куну*, *копу* или *громаду* сходились все домохозяева; их сыновья и братья, не имевшие отдельных хозяйств, также женщины являлись на сходку только по особому требованию копы, и не для совещания, а только для свидетельских показаний. Между домохозяевами, сходатаями или судьями копными отличались старцы, чьих мнение пользовалось уважением особенно в таких случаях, когда нужно было постано-

вить приговор на основании давних решений. В древности, когда родовой быт был крепче, роды были обширнее, родоначальники, старцы, имели все представительство, и в Советах первых князей наших подле бояр мы находим этих старцев городских, представителей мира, общины. После, с ослаблением родового быта, с размельчением родов, представителями общины являются домохозяева, многочисленнейшие прежних родоначальников, и Совет их принимает необходимо вид веча, купы, громады, скупчины, особенно в больших общинах; отсюда мы видим естественный, незаметный переход от решения дел князем в Совете с боярами и старцами к решению дел на вече. С дальнейшим развитием общин место старцев, имеющих превосходство по естеству, по возрасту, заступают лучшие люди, имеющие превосходство не по одному возрасту; с появлением этого аристократического элемента в общине лучшие люди являются представителями общины; без них нет суда. Что было сказано относительно суда, то же самое соблюдалось и относительно всех важных дел, касающихся одной общины и целой волости княжеской: сперва эти дела решались князем в Совете с боярами и старцами, потом на вече.

Таковы были первоначальные отношения действующих сил в древней русской общине. Но теперь рождается самый важный вопрос: подобные отношения служили ли ручательством за благосостояние общины, были ли они в состоянии препятствовать той или другой силе уклониться от правды, от насилия? Очень рано слышатся уже жалобы на несправедливые поступки посадников и тиунов: при Всеволоде I слышатся жалобы, что до людей перестала доходить княжая правда; слышатся жалобы, что посадники своими неправдами опустошили целые волости; при Всеволоде II Ольговиче тиуны княжеские — один разорил Киев, другой — Вышгород. Откуда же происходили такие явления? Человек, посылаемый князем в общину для правды, был членом дружины княжеской; князь давал ему это назначение вместо жалованья, как кормление; отсюда естественное стремление в этом человеке кормиться как можно сытнее, вместо соблюдения правды потворствовать кривде, притягивать невинного к суду, чтобы заставить его платить штраф. Что же община? Какие у нее были средства освободиться от подобного блюстителя правды? Для уяснения дела сравним или противоположим западные общины. Там вследствие хорошо известных тебе явлений вельможа духовный или светский, какое бы название ни носил он, владел общиною наследственно или пожизненно, имел силу, власть сам по себе, имел известное право владеть общиною, над ним был верховный повелитель, глава государства.

Но власть этого главы государства была очень слаба именно вследствие большой власти, самостоятельности вельмож, номинально ему подчиненных, номинально зависимых; между главою

государства и этими вельможами, которые были сильны сами по себе, при первом случае, при первом столкновении — открытая борьба. Община, выведенная из терпения насилиями своего непосредственного владельца, восстанет на него, обращаясь к главе государства, верховному блюстителю правды, и, опираясь на его высокое право, с его согласия определяет в свою пользу отношения к непосредственному владельцу, определяет крепко, точно, ибо эти отношения постоянные, тут нет ничего личного, случайного. В Древней Руси лучшие, богатейшие, более развитые общины были под непосредственным управлением князей, совершенно самостоятельных в делах внутреннего управления, без всякой зависимости, даже и номинальной, от старшего в роде, или великого князя.

Чиновники княжеские были слуги князя или, лучше сказать, товарищи, дружинники; интересы князя не находились в противоположности с их интересами — напротив, были тесно соединены; князь нуждался в них как в защитниках, людях, с которыми мог приобрести серебро и золото. По словам св. Владимира, князь содержал этих нужных, близких ему людей на счет общин, и потому последним, в своих столкновениях с ними, трудно было найти себе управу, если князь не обладал таким широким нравственным взглядом, как, например, Владимир Мономах. Возможность, однако, выйти из этого положения представилась для общины в соперничестве князей друг с другом, в усобицах между ними. Вследствие появления многих князей-соперников, из которых каждый предъявлял свое право, общины получили возможность выбора между князьями, не восставая нисколько против власти княжеской, против князя вообще.

Общины (киевская и новгородская, ибо о других нам ничего не известно по неимению полных летописей их) вследствие соперничества, усобицы князей, приобрели себе право выбора правительственных лиц. Игорь Ольгович, слыша неудовольствия киевлян на тиунов и грозимый движениями Изяслава Мстиславича, к которому киевляне обнаруживали расположение, — Игорь Ольгович дал им право выбирать тиунов; после видим, что киевляне заключают ряды с новыми князьями. Новгородцы, восставшие против князя своего Всеволода Мстиславича за то, между прочим, что он не блюдет смердов, благодаря соперничеству князей, возможности находить у одного помощь против другого, утвердили за собою право выбора правительственных лиц, право сажать в суде подле самого князя своего выборного посадника, наконец, право выбирать самих князей, право, которое потом было отнесено как пожалование ко временам Ярослава I.

Таким образом, древние русские общины определили свои отношения выбором правительственных лиц. Что касается других подробностей общинного быта в старых русских городах, то он нам известен в Новгороде и Пскове. Известны также и причины паде-

ния этих общин: неуменье уладить отношения между лучшими и меньшими людьми к выгоде обоих, причем большинство легко отказалось от тех форм быта, которые были выгодны только для меньшинства. Что же касается до форм общинного быта в других городах, то мы не имеем права предполагать здесь сильное развитие. Не надобно забывать продолжительности особого существования Новгорода и Пскова, тогда как Киев, Чернигов и другие города Юго-Западной Руси были разрушены татарами еще в XIII веке, да и те старые города, которые избежали этого разрушения, например Полоцк с своими белорусскими собратиями, принимают чужое, немецкое общинное устройство, так называемое магдебургское право; но дело очень хорошо известное, что чужие формы, чужие определения принимаются только тогда, когда нет своих форм и определений, выработавшихся самостоятельно: чужие формы и определения могут быть даны насильственно; но дело также очень хорошо известное, что магдебургское право не было насильственно дано русским городам.

Так было в древней Западной Руси, отошедшей к Литве, и в обломках древней Руси, сохранивших связь с новою, Восточною Россией, в Новгороде и Пскове. Теперь обратимся к общинному быту в Восточной России, в которой совершилось дело собрания Земли и дело централизации. Сказавши это, я уже определил значение общинного быта в Восточной России, ибо здесь на очереди другое начало, которое усиливается беспрестанно и позволяет присутствию при себе других начал только в той степени, в какой они не мешают ему усиливаться. Возникновение и усиление одного какого-нибудь начала необходимо предполагает слабость других начал, не могущих ему препятствовать, не могущих заявить свою силу, свою способность к единовременному и однопорядковому с ним существованию.

Какие же были причины усиления централизации и причины слабости других начал? Причины, могшие замедлять централизацию, могли заключаться или в географических, или в этнографических, или в политических особенностях частей, причем должно заметить, что эти причины особенности обыкновенно соединяются. Кто знаком хотя бы сколько-нибудь с географиею областей, составивших Московское государство, тот знает, что здесь нет природных препятствий к централизации: нет высоких гор, нет степей, столько же разделяющих народы, как и горы; нет резких переходов; здесь одна речная область, область Верхней Волги. Особность больших, издавна самостоятельных племен могла препятствовать централизации: так, на особность больших племен в Германии указывают как на условие, помешавшее государственному соединению этой страны. Но в Восточной России и этого условия, препятствовавшего централизации, не было. В древней Западной России видим отдельные племена, из которых составила Русь; но и здесь,

без натяжки, мы не можем указать значение этих племен в истории; ибо для того, чтоб особенность племен имела влияние в истории, надобны еще другие условия: надобно, чтобы эти племена изначала имели особое свое правительство; чтобы эти правители племен только насильственно подчинялись общему правительству и стремились к независимости при первом удобном случае; надобно, чтобы стремления правителей совпадали с стремлениями самих племен, из которых ни одно не хотело бы подчиниться другому.

Но ничего подобного не было у нас в Древней Руси, где племена одновременно получили правителей из чужого народа, где не поляне завоевали северян и древлян, где в Чернигове, например, сидел не князь из племени северян и не вельможа варяг, который, из стремления к самостоятельности, тесно соединил бы свои интересы с интересами северян. Мы знаем, что в Чернигове сидел князь, который очень мало обращал внимания на единство своих интересов с интересами черниговцев или северян, который постоянно думал, как бы поскорее бросить Чернигов и перебраться в Киев. Полная независимость младших княжеств от старшего относительно внутреннего управления уничтожала враждебное столкновение между ними. Но если и на Юго-Западе, где видим вначале отдельные племена, невозможно указать влияние этих племен на судьбу страны, то на Северо-Востоке и племен-то вовсе не было. Здесь вначале были племена финские; но напор славянской колонизации, совершившейся уже в исторические времена, или отодвинул финнов, или ослабил их; движение же славян происходило не целыми отдельными племенами, но вразброд. Да и поселившись в новой стране, славяне не могли развить здесь племенного быта, ибо условия общества были уже иные: здесь владели князья, которые строили города, куда приглашали насельников.

Племенную противоположность нельзя даже положить одною из причин вражды между старым городом Ростовом и молодыми городами, которых Ростов был представителем, ибо нельзя предположить Ростов во времена Андрея Боголюбского финским городом в противоположность новым славянским городам — Владимиру, Переяслави и другим. Причина вражды прямо указана в источниках, причина политическая, а не племенная; ростовцы говорят: «Сожжем Владимир или посадим в нем своих посадников, потому что владимирцы наши холопы каменщики».

Новые города, следовательно, принимали в себя ту часть народонаселения старых городов, которая называлась меньшими, младшими людьми в противоположность лучшим людям. Этот вывод колонии из меньших людей не всегда происходил с согласия лучших людей, ибо не всегда уходили в новые города только свободные меньшие люди, уходили и несвободные, желавшие этим уходом достать себе свободу. Вспомни, любезный друг, предание о Холопьем городке, предание, которое ясно произошло от названия

города; но это название не нуждается ни в каком предании для своего объяснения, ибо нам известен общий закон переселений, и в частности нам известно происхождение вятского народонаселения, происхождение казачества. Наконец, слова ростовцев, что владимирцы их холопы, не оставляют никакого сомнения насчет того, как образовывалось народонаселение новых городов хотя отчасти, ибо не принимать слов, сказанных ростовцами, буквально — будет уже натяжка с нашей стороны.

Андрей Боголюбский и братья его утвердились в новых городах, в пригородах, дали им первенство, и Ростов Великий не устоял в борьбе с ними. Пал город старый, вечевой, остались города, не привыкшие к вечу, к самостоятельности. Что же нас останавливает в этой борьбе Ростова с Владимиром, Переяславлем? Что представляют ростовцы и что владимирцы? Первые представляют лучших людей, вторые — меньших. Ростовцы вместе с боярами противятся централизации, начинаемой Боголюбским и братьями его. Владимирцы с братиею, не имея никаких выгод поддерживать те формы быта, которые выгодны только для ростовцев, дают поддержку централизующей силе, ибо все выпуклое мешает централизации, ровное же представляет самый крепкий фундамент для нее. То же самое случилось после, в XV веке: Новгород потерял свои особенности, приравнялся к другим городам, к городам низовым: лучшие люди, выпуклая часть новгородского народонаселения, стояли за особность; но большинство, ровная часть народонаселения, тянуло к приравнению, ибо не видало для себя в особности тех выгод, какие имело меньшинство, выпуклая часть народонаселения.

Не знаю, любезный друг, какое впечатление производимо было на тебя возражениями, направленными будто бы против моей гипотезы об отношениях между старыми и новыми городами и важном значении этих отношений. Никогда не думал я строить гипотезу, указывая на ясную, в глаза бросающуюся связь судеб Новгорода Великого с судьбами других русских общин, указывая в XII веке на начало борьбы, которая кончилась в XV; никогда не думал я строить гипотезу, решившись на живой борьбе общественных отношений, решившись показать, как подле междукняжеских отношений образовывалась почва, складывался внизу фундамент, на котором построилось здание Московского государства. Ты помнишь, как восстали на меня за это перенесение истории из воздушных пространств на твердую почву, за это обращение внимания на другие явления, без которых от смены начала родового вотчинным или семейным решительно ничего бы не вышло. Ты помнишь, как упрекали меня за то, что у меня между родовым и государственным началом целая пропасть. Возражатели, исключительно носясь в высоких воздушных сферах начал, не хотели заметить, что эта пропасть наполнена щебнем из развалин Ростова и Новгорода.

Теперь взгляд переменялся; но теперь новые странности в на-

шем незрелом, зеленом обществе: слышится голос капризного ребенка, который кричит на весь дом, требует у няньки, чтоб она дала ему то, чего нет. «Ступай, нянька, зимою в сад и сорви яблоко!» Ловкая нянька вынимает из кармана сухую заморскую сливу. «Ах, душенька, какая добрая сестрица! Сбегала в сад и вот что сорвала! Ах, что выросло у нас в садике; ах, какая вкусная ягодка!» Честь и слава ловкой няньке! Она хорошо знает, что с ребенком нельзя рассуждать о том, что зимою яблоки не растут. Так нечего противопоставлять разным крикам серьезные рассуждения о том, что если одно начало усиливается, то это происходит необходимо вследствие слабости других начал, которые все более и более ослабляются вследствие большего и большего усиления одного начала; что, ослабляясь все более и более, они тем самым уходят на задний план, все менее и менее действуют, следовательно, все менее и менее заявляют себя перед историею, и если действуют, то по отношению к господствующему началу; что их развитие, если оно происходит, подчиняется влиянию господствующего начала, влиянию того хода событий, который обуславливается движением господствующего начала; что историк не имеет права, бросивши то, что действует, и своим действием объясняет нам все в прошедшем и настоящем, обратить внимание преимущественно на то, что находится в бездействии или действует слабо, развивается медленно; что обязанность историка — показать причины, почему одно начало действует на первом плане, а другие действуют слабо, медленно; что здесь обязанность его оканчивается, ибо этим он вполне освещает настоящее как результат прошедшего; что историк, увлекшись каким-нибудь сочувствием, не смеет перемешивать явления по произволу, не смеет выставить на первом плане то, что на нем не находится, ибо настоящее сейчас же обнаружит фальшь: настоящее есть такая же проверка прошедшего и наоборот, как в арифметике вычитание поверяется сложением, сложение — вычитанием.

Но возвратимся к нашему делу. Главное явление, которое останавливает нас на севере, — это неразвитость городских общин вследствие неразвитости промышленности и торговли, вследствие бедности городов. Факт неоспоримый, что развитие общинного быта везде и у нас в России основывалось на материальном благосостоянии, на развитии промышленности и торговли. Почему Новгород, Псков, Киев, Полоцк, Смоленск вписали свое имя в историю общинного быта в России? Потому что это были самые богатые, самые торговые города. Путь из Варяг в Греки, западная полоса России от Балтийского до Черного моря, — это главный торговый путь и главная историческая сцена в нашей древней истории; на ней богатые торговые города и сильные городские общины, обнаруживающие свою самостоятельность. Чем далее к востоку, тем страна дичее и беднее, торговля и промышленность слабее, народонаселение реже. Отсюда необходимое следствие, что когда историческая сцена

перенесется на этот восток, то здесь ход истории будет иной, чем на западе; что на востоке мы не встретим тех явлений, которые характеризовали нам древнейшую историю, историю Западной России, новое начало необходимо должно было явиться и усилиться там, где старое было слабо и потому не могло выставить новому сильным препятствий. Новгород отбил от Андрея Боголюбского, от Всеволода III и сына его Ярослава и до половины XV века мог сохранить свою самостоятельность; Ростов же пал скоро перед Юрьевичами — знак того, как лучший, старший город на востоке был беднее, слабее лучшего города на западе.

После падения Ростова восток не представляет нам вовсе таких выпуклых явлений в городской жизни, какие представляет запад: здесь бедность развития промышленного и торгового провела уровень между городами и даже между городами и селами. Судьба городов в Московском государстве одинакова с судьбою дружины: для силы как дружины, так и городов необходимо было одно и то же условие — богатство, а его-то и не было. Когда начало слагаться государство, мы не видим членов дружины, вельмож, богатых, имеющих обширные земельные владения, имеющих в своей наследственной власти целые области и города, могущих приобрести многочисленных подручников, которые бы получали от них земли, недвижимое, так могущественно содействующее скреплению всяких связей и отношений. Не было больших частных союзов, не было того, чтобы множество малых сил группировались около больших сил. Не забудь, любезный друг, что я говорю: не было *больших* частных союзов, ибо частные союзы были у нас в древней России в разных видах, а именно: на первом плане союз родовой, самый могущественный в старину частный союз во всех слоях народонаселения.

О силе родového союза между людьми высших чинов не нужно распространяться, эта сила слишком резко отметила себя в истории; укажу только на самые характеристичные черты родového союза даже в XVII веке: знаменитый Шеин в то время, когда шло дело об освобождении его из польского плена, желая сообщить боярам важные известия, прислал в русский стан спросить их, нет ли с ними какого-нибудь его, шеинского, человека или человека родичей (*повинных*) его, Салтыковых или Морозовых, ибо только такому он может поверить тайну. В XVII же веке Милюков, женившийся на рабе князя Сонцева-Засекина, должен был заплатить за это сто рублей, и эти сто рублей были разложены на весь многочисленный род Милюковых. На силу родového союза вообще во всех слоях народонаселения ясно указывает то, что государство смотрит на гражданина не иначе как на родоначальника, представителя своего рода, обязанного отвечать за своих младших родичей: всякий не представлялся один с своею семьей, но с братьями и племянниками, и князь Пожарский, жалуясь государю на дурное поведе-

ние своего взрослого племянника, описывая, что никакие строгости и наказания, употребляемые дядьями, не помогают, обнаруживает в конце жалобы боязнь, чтобы государь не положил на него опалы за дурное поведение племянника.

Но кроме родового союза существовали и другие частные союзы, необходимые при государственной неразвитости, когда правительство, закон не имеют достаточно силы, чтобы дать каждому защиту, вследствие чего слабый стремится приютить себя под защиту ближайшего сильного: таково происхождение наших старинных *закладников, соседей, подсоседников и захребетников*. Все это начало тех самых отношений, которые на Западе развились в феодализм; у нас же не развились именно потому, что у нас сильные не были достаточно сильны для содействия себя центрами больших частных союзов; что эта сила сильных ослаблялась постоянно присутствием и непосредственным влиянием централизующей силы, начавшей развиваться очень рано.

Дружинники были бедны своими вотчинами; самыми богатыми землевладельцами должны были быть князья, вступившие в службу к государям Московским; но они вступили в московскую службу не как владельцы своих прежних княжеств, своих прежних городов, от которых удержали только одно прозвание; их города, их княжества отошли к Московскому государю; у них оставалась только частная княжеская собственность; но эта собственность дробилась и умалялась вследствие сильного расположения членов княжеских родов, вследствие отсутствия майората и вследствие обычая давать вотчинные земли монастырям на помин души.

Но дружинники составляли войско. В старину на Юго-Западе дружинники говорили князю при начале предприятия: «Ты это, князь, сам по себе задумал, мы об этом не знали; так не идем за тобою». Князь, покинутый дружиною, лишался средств действовать и поддерживать свое значение. На Северо-Востоке централизующая сила скоро нашла возможность освобождаться из-под влияния старой дружины, и эта возможность, разумеется, нанесла окончательный удар старым дружинным княжеским и боярским притязаниям. Централизующая сила имела возможность создать большое войско, вполне от нее зависящее. Эту возможность доставило огромное количество земель, находившихся в полном распоряжении централизующей власти, и вот явилась *поместная система*, имевшая такое могущественное влияние на судьбы Московского государства.

Дружинники были бедны, не могли выделять из своих вотчин участков другим с условием подручных, вассальных обязанностей; один только Московский государь был так богат землею, что мог выделять из нее многочисленные участки желавшим служить у него с полною и непосредственною зависимостью от него. Охотников нашлось много. Иоанн III, приведши Новгород в свою

вою, сказал его жителям: «Великий Новгород должен нам дать волости и села, без того нам нельзя держать государства своего в Великом Новгороде» — и взял волости владычни и монастырские; эти земли были розданы детям боярским в поместья: Иоанн показал, что значило, по его выражению, держать государство. Иоанн не был брезглив в выборе тех людей, посредством которых хотел держать государство: он велел распустить из княжеских и боярских дворов служилых людей, *послужильцев*, и дать им поместья. Таким образом у князей и бояр отнималось средство быть самостоятельными чрез своих послужильцев; великий князь переводил посредством раздачи поместий этих послужильцев в непосредственную зависимость от себя, делал их своими послужильцами. Польские вельможи, приобретшие самостоятельность и силу именно через земельное богатство, через возможность сосредоточивать около себя большое количество послужильцев, — польские вельможи ясно понимали различие положения своего от положения вельмож московских и одним из препятствий к избранию Московского царя в короли Польские представляли то, что царь богат и потому будет иметь возможность отвлечь от них всю бедную шляхту и превратить ее в своих послужильцев.

Вопрос о земле, о владении ею сделался господствующим вопросом в Московском государстве начиная с половины XV века, начиная именно с образования государства. После хаотической эпохи движений, переходов, когда *недвижимое* — земля — было далеко не на первом плане, наступила эпоха оседлости, и земля получает важное значение, цена ее начинает сильно чувствоваться. Вспомни, любезный друг, какой вопрос могущественно занимает русское общество с половины XV века до конца XVI века, с каким вопросом встречаешься ты постоянно при всех важных спорах, при всех движениях, в которых сказывалась умственная жизнь русских людей, при всех движениях, в которых принимали участие самые живые, самые выпуклые личности: это вопрос о том, следует ли владеть монастырям селами. Неужели один чистый вопрос монастырской дисциплины и нравственности мог так сильно волновать общество?

Дело в том, что теперь и централизующая сила, и люди, желающие воспрепятствовать централизации, понимают силу землевладения. За землю начинается спор. С одной стороны, Московские государи видят, какое могущественное средство доставляет возможность распоряжаться большим количеством земли, приобретать через нее непосредственных послужильцев. Но количество земель, которыми могло располагать правительство, могло уменьшиться; государство владело и приобретало все более и более земель на Юге, Юго- и Северо-Востоке; но эти громадные пространства были не населены, тогда как для испомещения послужильцев необходимы были земли, ближайшие к государственному центру, способные иметь население, ибо только эта способность давала помещику

средства нести службу; но такими именно землями были архиерейские и монастырские вотчины, расположенные в старых областях, а не в степной Украине и не в безлюдных пустынях вятских и пермских. И монастырские вотчины продолжали увеличиваться подобными же землями вследствие отказа по душе старинных вотчин землевладельцами разного звания. Таким образом, правительству чрезвычайно выгодно было бы иметь в своих руках монастырские земли для цели испомещения служилых людей, и потому не могло оно равнодушно смотреть на то, что служилые люди, через отказ вотчин в монастыри, все более и более оскудевали наследственными землями, следовательно, все более и более нуждались в поместьях; и эти требования переходили наконец уже границу выгоды, происходивших для правительства от нужды служилых людей в поместьях: ибо вотчина не очень крупная не могла быть опасна, а служила только подспорьем для поместья, и ее исчезновение из рук человека было только вредно для правительства.

С другой стороны, самые видные представители вельможных родов, яснее других понимавшие в чем дело, — князь Патрикеев с товарищами — также вооружились против права монастырей владеть селами, ибо хорошо видели, какой ущерб проистекает для знатных родов от обычной отказывать вотчины монастырские и от права монастырей покупать вотчины, причем монастыри, не делившие своих имений и постоянно богатевшие, разумеется, имели важное преимущество перед беднейшими вследствие разделения имений светскими вотчинниками. Таким образом, против монастырских вотчин был интерес централизующего начала вместе с интересом людей, вовсе не сочувствовавших централизации. Иоанн III прямо вооружился против монастырских вотчин, но считал за нужное уступить сильному сопротивлению, встреченному в духовенстве. При сыне Иоанна III Василии вопрос был поднят с новым силою князем Патрикеевым (Вассианом Косым) и Максимом Греком, но не получил окончательной поддержки от великого князя вследствие вражды, которую стал питать Василий к Патрикееву и Максиму по делу о разводе.

Иоанн IV вследствие ожесточенной вражды своей к вельможам и вследствие непрерывных и тяжелых войн, им веденных во все царствование, решительно выдвинул на первый план землевладельческий интерес служилых людей, войсковой массы. Отбирая вотчины у богатых князей, объявляя себя наследником вотчин после бездетных князей, с исключением дочерей, сестер и родственников, Иоанн в то же время вооружился и против увеличения монастырских вотчин в ущерб служилым людям: в 1551 году запрещено было архиереям и монастырям покупать вотчины без царского позволения; в 1573 — запрещено давать вотчины по душе в большие монастыри, велено отдавать их роду и племени служилых людей, чтобы в службе убытку не было и земля из службы не выходила бы; позво-

лено было давать вотчины только монастырям малым с позволения государства; в 1580 году запрещено было вовсе отказывать вотчины по душам в монастыри, велено брать их наследникам, хотя бы кто и далеко был в роду. Наконец, при сыне Грозного, вследствие того что, как указано выше, был выдвинут интерес служилых людей на первый план, последовало прикрепление сельского народонаселения, опять по поводу столкновения этого интереса с интересами церкви по вотчинам. «Земли митрополичьи, архиерейские, владычьи и монастырские в тарханах никакой царской дани и земских разметов не платят, а воинство, служилые люди эти земли оплачивают; оттого большое запустение за воинскими людьми в отчинах их и поместьях; а крестьяне, вышедши из-за служилых людей, живут за тарханами в льготе, и от того великая тощета воинским людям пришла», — говорилось на Соборе 20 июля 1584 года.

Но в то время как поместье — это могущественное средство централизации в Московском государстве — сыграло такую важную роль наверху и внизу, в судьбах старших членов дружины, с одной стороны, и в судьбах сельского народонаселения — с другой, в то же время оно сыграло не менее важную роль и в судьбах городов, ибо уничтожило необходимость в городовой вооруженной силе или необходимость обращаться к городам за деньгами для содержания наемного войска. В Древней Руси князь имел нужду, во-первых, в дружине, с которою мог приобрести серебро и золото и которая уходила, если с нею не спрашивались; но дружина не была многочисленна: для больших походов против внешнего врага или против родича-соперника князь нуждался в городовой вооруженной силе; известно, например, какую помощь оказывал любимым князьям *сильный полк* киевский. Главным содержанием обращений князя к городовой вооруженной силе был призыв к походу, на что, по разным обстоятельствам и отношениям, следовало согласие или несогласие. На севере же возможность создать войсковую массу посредством поместья уничтожила необходимость в городовой вооруженной силе. В начале княжения Иоанна III мы встречаем последнее известие о походе московской городовой рати, с особенным воеводою, ибо звание тысяцкого, постоянного воеводы городовой вооруженной силы, было еще прежде уничтожено прадедом Иоанна III. Возможность иметь свое войско посредством поместья уничтожила необходимость в наемном войске.

Таким образом, в Московском государстве в XV веке мы видим то же явление, те же отношения по землевладению между государем и служилыми людьми, какие видим в западных европейских государствах в первом веке их существования, то есть отношения бенефициальные, или поместные. Но разница в том, что на Западе отношения по землевладению выдвигаются на первый план при самом образовании государств; после того, в силу столкновения разных начал в новорожденном государстве, отношения по землевладению проходят разные фазы и содействуют образованию раз-

ных новых отношений, пока государство, выходя из средних веков, окончательно складывается. Но у нас первые века после рождения государства проходят в брожении и передвижке князей и дружин их, причем отношения по землевладению на первый план не выдвигаются, получают они важное значение только тогда, когда передвижка прекращается. Московское государство слагается окончательно с громадным перевесом централизующей силы, которая теперь имеет возможность все отношения употреблять в свою пользу. «У вас войска чужие, наемные, — говорят московские послы послам западных соседних государств, — а у нашего государства свои бесчисленные рати». Печальный опыт показал, что эта бесчисленность не помогала: малочисленные, но искусные отряды западных наемников разбивали московские полки почти при каждой встрече. Видя это, начали принимать в службу иноземцев, но старались и их ввести в поместные отношения...

1858 г.

ИСТОРИЯ ПАДЕНИЯ ПОЛЬШИ

В 1620 году католицизм праздновал великую победу: страна, в которой некогда было высоко поднято знамя восстания против него во имя славянской народности, — страна, которая и теперь вздумала было восстановить свою самостоятельность вследствие религиозного движения, — Богемия была залита кровию; десятки тысяч народа покидали родину; иезуит мог на свободе жечь чешские книги и служить латинскую обедню. Теперь оставались только два самостоятельных славянских государства в Европе — Россия и Польша; но и между ними история уже постановила роковой вопрос, при решении которого одно из них должно было окончить свое политическое бытие. В том самом 1620 году, столь памятном в истории славян, в истории борьбы их с католицизмом¹, на Польском сейме волынский депутат, описывая нестерпимые гонения, которые русский народ в польских областях терпел за свою веру, закончил так свою речь: «Уже двадцать лет на каждом сеймике, на каждом сейме горькими слезами молим, но вымолить не можем, чтобы оставили нас при правах и вольностях наших. Если и теперь желание наше не исполнится, то будем принуждены с пророком возопить: «Суди ми, Боже, и рассуди прю мою»».

Суд Божий приближался: русские люди были не одни среди врагов своей веры и народности, за ними стояло обширное и независимое Русское, православное государство. После целого ряда восстаний, страшной резни и опустошений по обеим сторонам Днепра Малороссия поддалась русскому царю. Заветная цель собирателей Русской земли, Московских государей, государей всея Руси, казалось, была достигнута. После небывалых успехов русского оружия, после взятия Вильны царь Алексей Михайлович имел право думать, что Малороссия и Белороссия, Волынь, Подолия и Литва останутся навсегда за ним. Но великое дело только что начиналось,

¹ В этом году православные Западной Руси получают своих архиереев, поставленных Иерусалимским патриархом Феофаном, вследствие чего приобретают новые силы в борьбе. См. Историю России с древн. врем. Изд. 4-е, 1888 г. Т. X. С. 73 и след. (Издан. Товар. «Общ. Польза». Кн. 2. Т. 1. Стб. 1462.) // Соловьев С. М. Соч. Кн. V. М., 1990. С. 413 и др.

и для его окончания нужно было еще без малого полтора года лет. Шатость, изменчивость казаков дали возможность Польше оправиться и затаили войну, истощившую Московское государство, только что начавшее собираться с силами после погрома Смутного времени²; гетман Западной Украины Дорошенко передался султану — и этим навлекал и на Польшу, и на Россию новую войну со страшными тогда для Европы турками. Россия и Польша, истощенные тринадцатилетнею борьбою, спешили прекратить борьбу ввиду общего врага; в 1667 году заключено было Андрусовское перемирие: Россия получала то, что успела удержать в своих руках в последнее время, Смоленск, Чернигов и Украину на восточной стороне Днепра, Киев удерживала только на два года, но потом, по Московскому договору 1686 года, Киев был уступлен ей навеки.

Здесь почти на сто лет приостановлено было собиранье Русской земли. Сначала опасность со стороны турок требовала не только прекращения борьбы между Россиею и Польшею, но и заключения союза между ними; вслед за тем преобразовательная деятельность Петра Великого подняла другую борьбу — с Швециею. С основания Русского государства, в продолжение осьми веков мы видим в нашей истории движение на восток или северо-восток. В XII и XIII веках историческая жизнь видимо отливает с Юго-Запада на Северо-Восток, с берегов Днепра к берегам Волги; Западная Россия теряет свое самостоятельное существование; Россия Восточная, Московское государство, сохраняя свою самостоятельность, распространяется все на восток, обхватывает восточную равнину Европы и потом занимает всю Северную Азию вплоть до Восточного океана, а на западе не только не распространяется, но теряет и часть своих земель, которые в первой четверти XVII века отошли к Польше и Швеции. Уход русского народа на далекий Северо-Восток важен в том отношении, что благодаря ему Русское государство могло окрепнуть вдали от западных влияний: мы видим, что те славянские народы, которые преждевременно, не окрепнув, вошли в столкновение с Западом, сильным своею цивилизациею, своим римским наследством, поникли перед ним, утратили свою самостоятельность, а некоторые даже и народность. Но и вредные следствия удаления русского народа на Северо-Восток также видны: застой, слабость общественного развития, банкротство экономическое и нравственное³.

Окрепнув, Русское государство не могло долее ограничиваться одним Востоком; для продолжения своей исторической жизни оно необходимо должно было сблизиться с Западом, приобрести его цивилизацию — и в конце XVII века Россия переменяет свое преж-

² См. Историю России с древн. врем. Т. XI. (Издан. Товар. «Общ. Польза». Кн. 3.) // *Соловьев С. М.* Соч. Кн. VI. М., 1991.

³ См. Историю России с древн. врем. Т. XIII. Гл. 1. (Издан. Товар. «Общ. Польза». Кн. 3.) // *Соловьев С. М.* Соч. Кн. VII. М., 1991. С. 7—172.

нее направление на восток, поворачивает к западу. Этот поворот, который мы обыкновенно называем преобразованием, тяжкий для народа, пошедшего в науку к чужим народам, теперь, однако, не мог повредить его самостоятельности, ибо Россия являлась перед Европою могущественным государством. Этот поворот России с востока на запад не замедлил обнаружиться и тем, что границы ее начинают расширяться на запад; по-видимому, Россия с начала XVIII века принимает наступательное, завоевательное движение в эту сторону. Всмотримся попристальнее в явление.

С начала XVIII века в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: Шведский, Турецкий, или Восточный, и Польский; иногда они соединяются вместе по два, иногда все три. Первый поднялся — Шведский, потому что поворот России с востока на запад был поворот к морю, без которого она задыхалась как без необходимой отдушины, а море было в шведских руках. Россия после упорной и тяжкой борьбы овладела балтийским берегом. Швеция не могла забыть этого и при удобных случаях, при затруднительном положении России, предъявляла свои притязания на возврат старых владений.

Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря, Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями, Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря и утверждаетя в Новгороде, а второй уже утверждаетя в Киеве и победоносно плавает в Черном море.

Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому при первых князьях Русских завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства, *Греческой веры*; а по нижнему Дунаю и дальше на юг сидели все родные славянские племена, тем более близкие к русским, что исповедовали ту же греческую веру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы, Московское государство осталось единственным независимым государством греческой веры; понятно, следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова. Но в каком отношении находился султан Турецкий к христианскому народонаселению своих областей, в таком же отношении находился государь Московский и всея России к мусульманскому народонаселению своих восточных областей. Московские послы, возвращавшиеся из Турции, привозили вести: «Христиане говорят одно: дал бы Бог хотя малую победу великому государю, то мы бы встали и начали промышлять над турком. К султану приходили послы от татар казанских и астраханских и от башкир, просили, чтобы султан освободил их от русских и принял под свою власть царство Казанское и Астраханское. Султан принял этих послов ласково, но сказал, чтобы подождали немного».

Чего же надобно было дожидаться, с одной стороны, христианскому народонаселению Турецкой империи, с другой — мусульманскому народонаселению восточных областей России? Дождаться, чтобы взял верх кто-нибудь из двоих: царь Русский, единственный на свете православный государь восточный, как выражались в XVII веке; или султан Турецкий, естественный покровитель всего мусульманства. Кажется, ясно, как этот вопрос относится к истории Европы и христианства!

Вопрос не был решен ни в XVII, ни в первой половине XVIII века; победы Миниха только смыли позор прутский. Россия, так поднятая в глазах Европы Петром Великим, Россия, которой союза наперерыв искали западные державы, — Россия в отношении к хищническому народонаселению Востока находилась в том же положении, в каком остановилась еще в XVI веке. Нестерпимое хищничество орд — Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской — заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских — с Крымскою, которая находилась под верховною властью султана Турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью; чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков.

Вопрос Крымский не был решен в первой половине XVIII века и передан второй. Передан был и другой подобный же вопрос — вопрос Польский.

Во второй половине XVIII века, волею-неволею, России надобно было свести старые счета с Польшею. Привели дело к концу: 1) русское национальное движение, совершавшееся, как прежде, под религиозным знаменем; 2) завоевательные стремления Пруссии; 3) преобразовательные движения, господствовавшие в Европе с начала века до конца его.

Религиозная борьба, подымавшая Русь против Польши в XVI веке, повела во второй половине XVIII-го к знаменитому вопросу о диссидентах, игравшему такую роль в истории падения Польши. Здесь связь явлений, кажется, очень ясна; распространяться о ней не нужно. Что касается до завоевательных стремлений Пруссии, то мы за объяснениями их можем обратиться к немецким историкам, которые скажут нам следующее:

«Шляхетская республика (Польша) в XVI столетии взяла на себя относительно Восточной Европы ту же самую роль, какую, относительно Запада, взял на себя Филипп Испанский, то есть: стремление к всемирному владычеству во имя католицизма. Как Филипп, в качестве защитника старой Церкви, старался подчинить

себе Англию, так Сигизмунд Польский старался подчинить себе свою родину, Швецию; как Филипп имел приверженцев во Франции, держал гарнизон в Париже и имел в виду посадить дочь свою на Французский престол, так Сигизмунд имел партию в Москве, занимал своим войском Кремль и, наконец, видел избрание сына своего в цари Московские. Но и следствия были одни и те же как на востоке, так и на западе: повсюду кончилось неудачей.

Как Франция соединилась около Генриха IV, так Россия собралась около Михаила Романова; как в борьбе с Филиппом развилась юная морская сила Англии, так в польских войнах вырос герой протестантизма, Густав-Адольф⁴. Польша вышла из борьбы столь же изможденною и лишенною средств к жизни, как и Испания. Такая роль Польши в религиозных войнах, конечно, не могла смягчить той застарелой ненависти, которая изначала существовала между Польшей и Немецким Севером. Целые века оба народа вели борьбу за широкие равнины между Эльбой и Вислой, которые сначала были заняты германцами, потом, по удалении последних во время великого переселения народов, стали жилищами славян. Здесь немецкая колонизация снова завоевала Бранденбургские марки и Силезию, потом немецкий меч покорил Прусские земли. Господство Немецкого ордена утвердилось здесь сначала с согласия поляков; но когда орден перестал признавать верховную власть Польши, последовала смертельная борьба, кончившаяся, после вековых войн, полным покорением ордена. Восточная Пруссия стала польским леном, западная — польскою провинцией. Страны эти приняли протестантизм, и Восточная Пруссия сделалась через это светским герцогством, которое скоро после того досталось курфирстам Бранденбургским.

Западная Пруссия, которой горожане и дворянство большею частью были протестантами, приняла относительно короля Сигизмунда положение, подобное положению Нидерландов относительно Филиппа II; враждебное отношение провинции к королевству, немецкого языка к польскому было усилено враждою религиозной, здесь победа католической реакции повлекла бы за собою непосредственно падение немецкого элемента. Курфирстам Бранденбургским удалось принудить Польшу отказаться от своих ленных прав, и Восточная Пруссия стала самостоятельным государством. Польша подчинилась необходимости, но не забыла своих притязаний: скоро потом она заключила союз с Людовиком XIV для возвращения себе Пруссии, и, когда Фридрих I принял титул Прусского короля, посыпались протесты польских магнатов. Так родилось Прусское государство в борьбе за немецкую национальность и сво-

⁴ Здесь немецкий историк пропустил, что отпадение Малороссии вследствие религиозной борьбы вполне соответствует отпадению Нидерландов от Испании. Мы увидим, куда он по своему взгляду отнесет это соответствие.

боду вероисповедания, в полной внутренней и внешней противоположности к Польше. Вражда заключалась здесь в натуре вещей. Кто об этом не пожалеет? Но что значит человеческое сожаление в отношениях между народами? Пока Польша существовала, она должна была стремиться сделать Кёнигсберг опять польским городом, а Данциг — католическим. Пока Бранденбургия оставалась страной немецкою и протестантскою, главная задача ее состояла в том, чтобы сделать мархию и герцогство целостным государством чрез освобождение Западной Пруссии»⁵.

Третьею причиной падения Польши указали мы преобразовательные движения XVIII века. Преобразовательная деятельность европейских правительств началась на востоке в последних годах XVII века: вследствие преобразовательной деятельности Петра Великого Восточная Европа приняла новый вид и соединилась с Западною; во второй половине века на новые движения в литературе и обществе откликнулись три монарха: Екатерина II — в России, Фридрих II — в Пруссии, Иосиф II — в Австрии. Во Франции правительство не сумело удержать в своих руках направление преобразовательного движения — и следствием был страшный переворот, взволновавший всю Европу. Среди преобразовательных движений, которыми знаменовался век, — среди движений, происходивших всюду около, Польша не могла оставаться спокойною, тем более что в ней преобразования были нужнее, чем где-либо: вследствие безобразно одностороннего развития одного сословия, вследствие внутреннего безнравья Польша потеряла свое политическое значение; ее независимость была только номинальною, более века она уже страдала изнурительною лихорадкою, истощившею ее силы. Естественно, что некоторые поляки должны были прийти к мысли, что единственным средством спасения для их отечества было преобразование правительственных форм; с этой мыслию вступил на престол король Станислав-Август Понятовский, который хотел быть для Польши тем же, чем его знаменитые соседи — Екатерина, Фридрих, Иосиф — были для своих государств. Но что бывает спасительно для крепких организмов, то губит слабые, и попытка преобразования только ускорила падение Польши. Станислав Понятовский взял на себя задачу, которая приплаась не по силам его как короля и не по силам его как человека.

Чтобы понять преобразовательные попытки в Польше во второй половине XVIII века, мы должны обратиться к устройству республики, в каком застал ее Станислав-Август. Польша представляла собою обширное военное государство. Вооруженное сословие, шляхта, имея у себя исключительно все права, кормилась на счет земледельческого, рабствующего народонаселения; город не подни-

⁵ Sybel: *Geschichte der Revolutionszeit*, I, 157 // Sybel H. *Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1800*. Bd 1. Dusseldorf, 1859.

мался, и его народонаселение не могло сопоставить с шляхтою другою, уравнивающую силу, потому что промышленность и торговля были в руках иностранцев, немцев, жидов. Войско, следовательно, было единственною силою, могшею развиваться беспрепятственно и опрелелить в свою пользу отношения к верховной власти, которая была сдержана в самом начале Польской истории и потом все никла более и более перед вельможеством и шляхтою⁶. Отсутствие государственных и общественных сдержек, сознание своей силы, исключительной полноправности и независимости обуславливали в польской шляхте крайнее развитие личности, стремление к необузданной свободе, неумение сторониться с своим я перед требованиями общего блага.

Король избирался одною шляхтою. Шляхта, собиравшаяся на провинциальные сеймы (сеймики), выбирала послов на большой сейм, давала им наказы, и по возвращении с сейма они обязаны были отдавать отчет избирателям своим. Сейм собирався каждые два года сам собою. Для сеймового решения необходимо было *единогласие*: каждый посол мог *сорвать сейм*, уничтожить его решение, провозгласивши свое несогласие (*veto*) с ними: знаменитое право, известное под именем *liberum veto*. В продолжение 30 последних лет все сеймы были сорваны. Против произвольных действий правительства было организовано и узаконено вооруженное восстание — *конфедерация*: собиравлась шляхта, публиковала о своих неудовольствиях и требованиях, выбирала себе вожда, маршала конфедерации, подписывала конфедерационный акт, представляла его в присутственном месте, и конфедерация, восстание получало законность.

Для управления при короле находились независимые и бесменные сановники, в равном числе для Польши (для короны) и для Литвы: 2 великих маршала для гражданского управления и полиции; 2 великих канцлера и 2 вице-канцлера заведовали судом, были посредниками между королем и сеймом, сносились с иностранными послами; 2 великих и 2 польных гетмана начальствовали войсками и управляли всеми войсковыми делами; 2 великих казначея с 2 помощниками управляли финансами; 2 надворных маршала заведовали двором королевским.

ГЛАВА I

Редкий государь восходит на престол с такими миролюбивыми намерениями, с какими взшла на русский престол Екатерина II. Это миролюбие проистекало из убеждения в необходимости прежде

⁶ См. Ист. России с древн. врем. I, II, III. (Издан. Товар. «Общ. Польза»). Кн. 3) // Соловьев С. М. Соч. Кн. VII. Главы 1—3.

всего заняться внутренними делами, поправить расстроенные финансы, а для этого нужно было, по расчету императрицы, по крайней мере пять лет мира. Отсюда понятно, с каким беспокойством смотрела Екатерина на Польшу, в которой происходили сильные волнения партий, грозившие еще усилиться, потому что королю Августу III оставалось недолго жить и предстояли королевские выборы. Екатерина должна была поддерживать свою партию между польскими вельможами, оказывать покровительство русскому православному народонаселению, подававшему ей жалобы на притеснения от католиков; должна была заботиться, чтобы избран был в короли человек, от которого ей нечего было бы опасаться в будущем, и в то же время должна была хлопотать изо всех сил, чтобы все это было достигнуто мирным путем. Задача очень нелегкая! В Польше боролись две партии: партия придворная, во главе которой стояли всемогущий при Августе III министр Брюль и зять его Мнишек, и партия, во главе которой стояли князья Чарторыйские; последняя партия держалась России, и это определяло взгляд русского двора на польские дела: чтобы поддержать своих, надобно было действовать против брюлевской, или саксонской, партии, противодействовать ее стремлению возвести на польский престол по смерти Августа III сына его, курфюрста Саксонского.

Трудность задачи, как мы видели, состояла в том, чтобы достигнуть своих целей мирным путем и в то же время не показать слабости, неспособности к решительным действиям. Встревоженная известиями, что придворная партия готова употребить насилия над членами партии Чарторыйских, Екатерина 1 апреля 1763 года послала приказание послу своему при польском дворе Кайзерлингу: «Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кёнигсштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу Запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбления, которые наносит им король Польский». Относительно православных Екатерина писала Кайзерлингу: «Епископ Георгий Белорусский⁷ подал мне просьбу от имени всех исповедующих греческую веру, с жалобами на бедствия, которые они претерпевают в Польше; поручаю их вашему покровительству; сообщите мне, что нужно для усиления моего значения там, моей партии; я не пренебрегу ничем для этого». Но в то же время она требовала от Кайзерлинга, чтобы он сдерживал рьяность партии Чарторыйских; так, писала она от 4 июля: «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацию; но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни короля Польского? Говорю вам сущую правду: мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя; моя армия не может

⁷ Знаменитый Конисский

выступить в поход в этом году; и потому я вам рекомендую сдерживать наших друзей, а главное, чтобы они не вооружались, не спросясь со мною; я не хочу быть увлечена далее того, сколько требует польза моих дел». От 26 июля: «В последнем моем письме я приказывала вам удерживать друзей моих от преждевременной конфедерации; но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем поддерживать во всем, что благо-разумно, будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать, без сомнения, в их пользу».

Между тем не одну Варшаву волновал вопрос: кому быть королем по смерти Августа III? Сильно занимались им также в Петербурге и Москве, и Нестор русских дипломатов граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин настаивал, что всего лучше возвести на престол сына Августа III, будущего курфюрста Саксонского. Но иначе определил Совет, созданный императрицею, когда получено было известие, что король очень слаб: Совет решил, что при будущих выборах надобно действовать в пользу Пяста (природного поляка), и именно стольника Литовского графа Станислава Понятовского; если же его нельзя, то двоюродного брата его, князя Адама Чарторыйского, сына князя Августа, воеводы Русского; хранить это в тайне, держать 30 000 войска на границе и еще 50 000 наготове.

Наконец решительная минута наступила: 5 октября 1763 года умер король Август III. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля Польского; король Прусский из-за стола вскочил, как услышал», — писала Екатерина Панину. Старик Бестужев опять подал мнение в пользу курфюрста Саксонского, которого следовало поддерживать: «во-1) главнейше вследствие того намерения, которое уже о нем при государыне императрице Елисавете Петровне принято и союзным дворам — Венскому, Французскому и самому Саксонскому — сообщено было, а притом и в таком рассуждении, что 2) всякий избираемый природный поляк, или Пяст, сколь бы знатен и богат ни был, без чужестранной денежной помощи себя содержать не в состоянии; следовательно, в случае перевеса от кого-либо другого денежной дачи для России и вредителен будет. 3) Равномерно и из иностранных принцев, а того больше из усилившегося Бранденбургского Дома для России и ее интересов отнюдь индифферентен быть не может. 4) Государь Петр Великий по своей прозорливости и находя пользу своих интересов об удержании польской короны в Саксонском доме со всею колеблемостию оного наивозможнейше старался. 5) Избрание помянутого курпринца, может быть, не столько затруднений возымает, когда без суждения поляки уже к тому исподволь приготовлены, так что, может быть, и нужды не будет великих денег на то отсюда тратить».

Между тем по имеющимся в Коллегии иностранных дел делам

известно, что хотя поляки желают лучше себе королем Пяста, но в то же время, подвергая выбор одного сколько от самих себя, столь же больше от мелкого шляхетства крайним затруднениям или и самой невозможности, устремляются уже в своих мыслях главнейше на двух иностранных князей, то есть принца Карла Лотаринского и ландграфа Гессен-Кассельского, из которых о первом Венский, а о последнем Берлинский двор стараются, имея уже для того в Польше некоторые партии. Но как избрание того или другого из сих принцев российским интересам в рассуждении натуральной их преданности и зависимости от Венского или Берлинского двора полезно, а потому и индифферентно быть не может, то необходимо нужно немедленно избрать и назначить из других иностранных принцев или из Пястов такого кандидата, на которого бы Россия совершенно полагаться могла и который бы свое возвышение только ее императорскому величеству долженствовал и от нее единой зависим был. Если ее императорскому величеству неугодно будет избрать и назначить к тому нынешнего курфюрста Саксонского, то выбор из других иностранных или из его же Саксонского дома удельных принцев ничем разниться не мог бы и от самых Пястов, потому что неминуюмо надлежало бы избираемого из первых или последних короля Польского для обязательства к России ежегодными денежными субсидиями снабждать.

Что особливо до Пястов касается, то, сколько графу Бестужев-Рюмину известно, находятся в Польше только двое к тому способных, а с другой стороны, и для России надежных, а именно — князь Адам Чарторижский да стольник Литовский граф Понятовский. Но как первый очень богат, следовательно, не имея большой нужды в получении от России денежного вспоможения, хотя в руки какой другой иностранной державы и не отдастся, однако ж и от России совсем зависим быть не похочет; то в рассуждении сего важного обстоятельства и в случае если всевысочайшее ее императорского величества соизволение точно на выбор Пяста будет, не без основания кажется, что сей последний, то есть граф Понятовский, для России и ее интересов гораздо надежнейшим и полезнейшим был бы, столь наипаче, что, пользуясь в прибавок к своему собственному достатку некоторым ежегодным отсюда денежным вспоможением, натурально был бы в российской зависимости, а сверх того и возвышение свое единственно ее императорскому величеству долженствовал бы».

Старик жил воспоминаниями прошедшего времени, когда он был канцлером императрицы Елисаветы и сватал саксонскую принцессу за наследника русского престола. Странно было теперь толковать о кандидатуре Саксонского курфюрста, когда поддерживать последнего значило губить «своих друзей»; когда в Курляндии русские войска действовали против принца Карла, сына Августа III. Говорили, будто Бестужев действовал против Понятовского

в угоду Орловым, врагам последнего; но мы видели, что Бестужев предлагал Понятовского, если уже непременно нужно выбрать Пяста; вернее, что самолюбивый старик защищал собственное дело: при Елисавете Петровне было порешено оставить Польскую корону в Саксонской династии!

Король Прусский выскочил из-за стола, как услышал о смерти Августа III. Мысль об увеличении своих владений на счет Польши не покидала Фридриха II; но теперь было не время ее высказывать. За приобретение Силезии от Австрии он поплатился очень дорого. Истощенный Семилетнею войной, которая едва было не довела его до гибели, он стоял одинок и сильно желал опереться на союз с императрицею Русской. С этою целию он решил войти в виды Екатерины относительно избрания нового короля, поддерживать ее кандидата, лишь бы он не предпринимал никаких преобразований в государственном устройстве Польши. Екатерина, лично нерасположенная к Саксонской династии и к Марии-Терезии, сочувствуя Фридриху как человеку и не имея причин опасаться его как государя, рада была действовать с ним заодно в Польше, и самая дружеская переписка завязалась между ними.

Фридрих не щадил фимиама перед императрицей и женщиною; Екатерина отвечала ему в том же тоне. Еще до кончины Августа III Фридрих сообщил Екатерине известия из Вены, что там думают, какие имеют подозрения относительно видов на Польшу со стороны России; просил не тревожиться мнениями и подозрениями Венского двора, потому что в Вене нет денег, и Мария-Терезия вовсе не в таком выгодном положении, чтобы могла начать войну. «Вы достигнете своей цели, — писал Фридрих, — если только немножко прикроете свои виды и накажете своим посланникам в Вене и Константинополе опровергать ложные слухи, там распускаемые; в противном случае ваши дела пострадают. Вы посадите на Польский престол короля по вашему желанию и без войны, а это последнее в сто раз лучше, чем опять погружать Европу в пропасть, из которой она едва вышла. Саксонцы сильно встревожились; причины тревоги — дела курляндские и вступление в Польшу отряда русских войск под начальством Салтыкова. Крики поляков — пустые звуки; короля Польского бояться нечего: едва в состоянии он содержать семь тысяч войска. Но они могут заключить союзы, которым надобно воспрепятствовать; надобно их усыпить, чтоб они заранее не приняли мер, могущих повредить вашим намерениям». Фридрих не скрывал, что желал бы видеть на польском престоле Пяста; Екатерина отвечала, что это и ее желание, только бы этот Пяст не был старик, смотрящий в гроб, ибо тогда начнутся новые волнения и интриги с разных сторон в чаянии скорых выборов.

Смерть Августа III повела к объяснениям более решительным относительно его преемника. Едва Август успел испустить дух, как невестка его, новая курфирстина Саксонская, отправила письмо

к Фридриху II с просьбою помочь ее мужу в достижении польского престола и быть посредником между ним и Россией, предлагая сделать для последней все возможные удовлетворения Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург, писал Екатерине: «Если ваше императорское величество подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то велите только Чарторыйским попросить вашего покровительства; эта формальность даст вам предлог в случае нужды отправить войско в Польшу; мне кажется, что если вы объявите Саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли Польские, то Саксония не двинется и не запутает дела».

Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Берлин. «Получивши известие о смерти короля Польского, мне было естественно обратиться к вашему величеству, — писала Екатерина Фридриху, — так как мы согласны насчет избрания Пяста, то следует нам теперь объяснить, и без дальнейших околичностей я предлагаю вашему величеству между Пястами такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник Литовский — граф Станислав Понятовский, и вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее, следовательно, наиболее обязан будет тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя сказать о главах нашей партии: тот из них, кто достигнет престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столько же и своему уменью вести дела. Ваше величество мне скажете, что Понятовскому нечем будет жить; но я думаю, что Чарторыйские, заинтересованные тем, что один из их дома будет на престоле, дадут ему приличное содержание. Ваше величество, не удивляйтесь движениям войск на моих границах: они в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно».

Фридрих отвечал, что согласен и что немедленно же прикажет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кайзерлингом в пользу Понятовского. Прусскому королю дали знать, что французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтобы внушить полякам отвращение к Пясту; но Фридрих не боялся этих интриг: он был твердо уверен, что, если русский и прусский министры вместе объявят главным вельможам о желании своих государей, — те сейчас же согласятся. Фридрих был спокоен и относительно Австрии: по его убеждению, Венский двор не вмешивается в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. «Что же касается Порты Оттоманской, — писал Фридрих Екатерине, — то я в этом отношении предупредил ваши желания». Фридрих приказал своему министру в Константинополе действовать согласно с желаниями обоих дворов, брался внушить интернунцию, что избрание Пяста в короли Поль-

ские вполне согласно с интересами султана. «Я с своей стороны, — писал Фридрих, — не пощажу ничего, что бы могло успокоить умы, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития, и я заранее поздравляю ваше императорское величество с королем, которого вы дадите Польше». Король не упускал случая высказаться, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астраханских арбузов; Фридрих (7 ноября 1763 г.) отвечал на эту любезность: «Кроме редкости и превосходного вкуса плодов бесконечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в подарок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом: но вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности; та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе».

Прошел 1763 год. В начале 1764-го Фридрих не переставал утврждать Екатерину в тех же надеждах: Франция и Австрия будут мешать при выборах только тайком, интригами, а не силою; надобно бояться одного — чтобы они своими интригами не подняли Порту. Относительно поляков Фридрих беспокоился менее всего: «Деньгами и угрозами вы заставите их сделать все, что вам угодно; но, разумеется, сначала должно употребить все кроткие меры, чтобы не дать соседям предлога вмешаться в дело, которое вы считаете своим». Фридрих уверял, что не будет ничего серьезного, основываясь на своем знании национального польского характера: «Поляки горды, когда считают себя вне опасности, и ползают, когда видят опасность. Я думаю, что не будет пролито крови: разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сеймике. Поляки получили некоторую сумму денег от Саксонского двора; кто захочет получить их, тот произведет некоторый шум; но все и ограничится шумом. Ваше величество приведете в исполнение свой проект: этот оракул вернее Калхасова».

Оракул действительно оказался верным. Как обыкновенно бывало при королевских выборах, Польша взволновалась борьбою партий: в челе одной стороны стояли Чарторыйские, в челе другой, противной им стороны находились — великий гетман коронный Браницкий⁸, первый богач Литвы князь Карл Радзивилл и киевский палатин — граф Потоцкий; в Литве против Радзивилла действовали Масальские: один — гетман, другой — епископ Виленский. По обычаю, усобица была прекращена иностранным оружием: Чарторыйские призвали русские войска, которые заставили Браницкого и Радзивилла бежать за границу; восторжествовав-

⁸ Браницкий сам думал о короне. Рассказывали, что между ним и Саксонским курфирстом был заключен договор: если курфирст потеряет надежду на успех, то будет поддерживать Браницкого. Курфирст имел в виду при этом, что гетман стар, скоро умрет и тогда можно будет опять возобновить свои искательства. Но вместо старика гетмана умер молодой курфирст, и смерть его нанесла страшный удар саксонской партии.

шая сторона выбрала королем Станислава Понятовского (7 сентября 1764 г.). «Поздравляю вас с королем, которого мы сделали, — писала Екатерина Никите Ивановичу Панину, управлявшему внешними сношениями, — сей случай наивяще умножил к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры».

Что всего важнее было для Екатерины — торжество ее в Польше не повело к нарушению мира в Европе; Австрия и Франция не двинулись. Несмотря на то, спокойствие со стороны Польши не могло быть продолжительно: с одной стороны, поднимался там старый вопрос о диссидентах, с другой — новый, о преобразованиях. Еще до королевского избрания Чарторыйские, пользуясь своим торжеством, выказали явное стремление к преобразованиям, и новый король вступил на престол с тем же намерением. Фридрих II встревожился. «Многие из польских вельмож, — писал он Екатерине⁹, — желают уничтожить *liberum veto* и заменить его большинством: это намерение очень важно для всех соседей Польши; согласен, что нам нечего беспокоиться при короле Станиславе; но на будущее время? Если ваше величество согласитесь на эту перемену, то можете раскаться, и Польша может сделаться государством, опасным для своих соседей; тогда как, поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у вас всегда будут средства делать перемены, когда сочтете это для себя нужным. Чтоб воспрепятствовать полякам предаться первому энтузиазму, всего лучше оставить у них русские войска до окончания сейма».

Екатерина дала знать Понятовскому, чтоб он удержался от преобразований. Король исполнил ее желание, но отвечал откровенно, что это самая тяжелая для него жертва: «Смею думать, ваше императорское величество, видите самое сильное доказательство моего безграничного уважения к вам в той жертве, которую я принес на нынешнем сейме: я пожертвовал тем, что мне всего дороже. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение *liberum rumpo* составляют предметы самых пламенных моих желаний. Но вы пожелали, чтоб этого еще пока не было, — и это даже не было предложено». Чтобы выпросить у Екатерины позволение приступить немедленно к реформам, Станислав-Август начал представлять ей, что реформы необходимы для исполнения главного его желания — полноправия диссидентов. «Вы хотите, чтобы Польша оставалась свободною, — писал он ей¹⁰, — вы желаете, чтобы союз Польши с вашей империей стал еще теснее и выгоднее для обоих народов, чем прежде; чтобы каждый гражданин польский, включая сюда и диссидентов, любил вас и был вам обязан. Я также хочу, чтобы

⁹ 30 октября 1764 года

¹⁰ 15 ноября 1764 года

Польша оставалась свободною, и потому-то я желал бы извлечь ее из того страшного беспорядка, который в ней царствует. Множеству ревностных патриотов до того стала противна анархия, что они начинают громко говорить, что предпочитают абсолютную монархию тем постыдным злоупотреблениям своеволия, если уже невозможно достигнуть свободы более умеренной. От этого-то отчаяния я хочу их предохранить; но для того единственное средство — сеймовые преобразования. Ваше величество принимает живое участие в диссидентах: но для их дела, как для всякого другого, нужно более порядка на сеймах, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков».

Но Станиславу-Августу было трудно убедить кого бы то ни было в последнем. Опыт был сделан, и оказалось, что успех дела диссидентов не мог зависеть от преобразования сеймиков и сейма: едва только примас упомянул на сейме о требованиях диссидентов, как страшный, всеобщий крик остановил дело; здесь, следовательно, не один шляхтич своим veto сорвал сейм. Сам король уведомил об этом Екатерину, выставляя трудность дела и свое усердие в исполнении желаний русской императрицы: «Никогда во всю мою жизнь ничего не добивался я с таким трудом, с каким добился у сейма позволения вступить с вами в переговоры насчет предметов, вами желаемых. Вопреки мнению всех моих советников я поднял вопрос о диссидентах, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса в моем присутствии»¹¹.

Но могла ли Екатерина отказаться от своего требования? Могла ли Россия отказать в помощи русскому народу? Дело шло не об одном уравнении прав православных с католиками; дело шло о том, что полтораста церквей были отняты у православных. Екатерина не могла не помочь диссидентам, показывая в то же время, что готова одинаково помогать и Польше, защищать ее от своего союзника, короля Прусского. Чтобы сколько-нибудь поправить истощенную казну, польское правительство издало тариф относительно привозных товаров. Прусскому королю это очень не понравилось, потому что пошлины легли преимущественно на привозимые из его владений товары. Чтобы отомстить, он устроил на Висле, недалеко от Мариенвердера, таможню, снабженную батареей; пушки грозили гибелью каждому польскому судну, которое бы отказалось заплатить пошлину с перевозимых товаров, а пошлина простиралась от 10 до 15 процентов. Поднялся всеобщий вопль. Станислав-Август обратился к Екатерине с просьбой о помощи, написав к Фридриху письмо в сильных выражениях. По поводу этого письма Екатерина писала к Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Написано прекрасно, но вовсе не прилично. О, как бы вы забранились, если бы

¹¹ 20 апреля 1765 года

я написала такое блестящее, но вредное для моих дел письмо! Прошу вас, поставьте Польского короля на ту же ногу, на какую вы поставили меня. Вы этим доставите ему величайшее благо, то есть спокойное и благоразумное царствование; сдержите его живость, не дайте ему показывать столько остроумия насчет пользы его дел».

По ходатайству русской императрицы мариенвердерская таможня была снята. «Уничтожение мариенвердерской таможни,— писал Станислав Екатерине,— доказывает, с одной стороны, истинную дружбу вашего императорского величества ко мне, с другой — силу вашего влияния на короля Прусского. Страшно мне было думать, что несчастье, неизвестное Польше при моих предшественниках, постигло ее в мое царствование и что беда пришла со стороны того государя, который содействовал моему избранию; уже начались было толки, что мариенвердерская таможня была выговорена в награду за это содействие».

Важная услуга была оказана; но за нее следовало заплатить. Вопрос о диссидентах стоял на очереди.

ГЛАВА II

В 1653 году посол Московского царя Алексея Михайловича князь Борис Александрович Репнин потребовал от польского правительства, чтобы православным русским людям вперед в вере неволи не было и жить им в прежних вольностях. Польское правительство не согласилось на это требование, и следствием было отпадение Малороссии. Через сто с чем-нибудь лет посол Российской императрицы, также князь Репнин, предъявил то же требование, получил отказ, и следствием был первый раздел Польши.

Мы видели, какую важную долю влияния на благоприятный исход польских дел императрица приписывала Никите Ивановичу Панину: «Я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры», и это говорилось не в рескрипте, назначенном для публики. Панин был недоволен стариком Кайзерлингом, неудовлетворительностью его донесений о положении дел, и потому, не отзывая Кайзерлинга, отправил к нему на помощь родственника своего князя Николая Васильевича Репнина. В сентябре 1764 года Кайзерлинг умер, и Репнин остался один. Всякому, кто знаком с иностранными известиями об описываемых событиях, Репнин необходимо представляется человеком стремительным на захват, на решительные, насильственные меры. Не предупреждая событий, мы позволим себе только напомнить, что Репнин был орудием Панина, действовал по его инструкциям; но в характере Панина была ли эта стремительность? Все отзывы о Панине согласны в одном: все указывают на его медленность. Мы видели из собственного признания Екатерины, какое влияние эта медленность, осторожность мини-

стра производили на решения пылкой императрицы: «О, как бы вы забранились, если бы я написала такое блестящее, но вредное для моих дел письмо! Прошу вас, поставьте Польского короля на ту же ногу, на какую вы поставили меня».

Действительно, инструкции Панина послам в Польше проникнуты осторожностью, желанием как можно менее обнаруживать вмешательства в дела. Так, например, когда Кайзерлинг и Репнин дали знать, что Чарторыйские требуют русского войска, Панин подал мнение: «Тысяча легких войск уже готова, и ожидают польских комиссаров для препровождения, что казалось бы уже и довольно в соответствие саксонским войском; но, по-видимому, наши друзья ищут сколько возможно облегчать свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресурсами, почему мое всеподданнейшее мнение: другую тысячу, по их желанию, хотя и заготовить, но, однако ж, к графу Кайзерлингу наперед написать, чтоб наши друзья гораздо осмотрелись, *не могут ли они таким безвременным введением к себе чужестранных войск воспричинствовать против себя национальную недоверенность и противу нас подозрение*, чем наипаче противные могут воспользоваться и от чужестранных держав достать себе большее деньгами подкрепление, а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми делами с их стороны.

Итак, не лучше ли остаться при первом нашем плане, чтобы, не притворяясь и не отлагая, устремиться к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движениями наших войск на границах и перепущением в Польшу готовых уже тысячи казаков, и потом стараться единодушно взять поверхность над противными ныне раздробленными фракциями собственным вооружением благонамеренных магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кредитом и нашею в их делах инфлюенциею, соединенною с королем Прусским, и, наконец, тою опасностью, которую натурально поляки иметь должны от нас, когда их дело пойдет против нашей воли, а особливо в такое время, как у нас со всех сторон руки останутся свободны, что мы несумненно иметь и будем, если с *благоразумною умеренностию* пойдем в сем деле, не напрягая излишне свои струны». На этом мнении Екатерина написала: «Я весьма с сим мнением согласна и, прочитав промеморию, почти все те же рефлексии делала».

Имеем право ожидать, что и в диссидентском деле Панин будет поступать так же с благоразумною умеренностию — и не ошибаемся. Вот что писал он Репнину 13 октября 1764 года: «От проницания вашего, согласия с прусским послом и от соображения имеющих у вас ее императорского величества постановлений долженствует зависеть благовременное кстати употребление таких *откровенно* избираемых и употребляемых способов (изъяснения с королем и лучшими по характеру магнатами), дабы если совершенная невозможность одержать для диссидентов все у них похищенное, по

крайней мере, однако же, что ни есть довольно знатное и важное в пользу их восстановлено и исходатайствовано было. Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и честь отечества нашего, а особливо персональная ее императорского величества слава интересованы в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения.

Для приклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже, и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское величество для пользы республики не жалела ни трудов, ни денег, дабы ее, в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междоцарствия, сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и других с оным неразлучно соединенных бедствий, безо всякой для себя из того корысти, то коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всея республики, чтоб правосудие и столь к персональной ее величества славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века служащее предстательство и заступление ее возымели действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои, вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий, невинно страдают под игом порабощения за одно исповедание других признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны.

К сим представлениям может ваше сиятельство присовокупить все те, кои вы сами за приличные почести изволите, отзываясь в случае крайности, то есть когда все другие средства втуне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское величество, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства приневоленною одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы иначе достигнуть не могла, и чтоб для того ее величество не указала далее ставить в землях ее те самые войска, кои по сию пору столь охотно и с таким знатным изживением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая должнаствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство. При вынужденном иногда употреблении сей угрозы надобно будет вашему сиятельству согласовать с словами и самое дело и сходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывание, дабы, по крайней мере, страхом вырвать у поляков то, чего от них ласково добиться не можно было. *Не думаю я, да и думать почти нельзя,* чтобы можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились: довольно когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены и для

перед от нового гонения совершенно ограждены будут, дабы инако продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единовольные, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть».

Впоследствии (15 сентября 1766 года) Репнин получил от императрицы подробную инструкцию, чего требовать для диссидентов: «Мы не удаляемся, конечно, от дозволения и сохранения господствующей религии некоторых пред терпимыми отличностей, как во всяком благоустроенном правлении обыкновенно бывает, а посему и согласимся мы охотно на исключение диссидентов из сената и от чинов вне оно, всю доверенность республики требующих, то есть гетманских, если б во взаимство сей важной уступки возвращено было диссидентам право избрания в послы на сейм, в депутаты к трибуналу и городовые старосты, с узаконением, чтоб для соблюдения им навсегда сего права, быть из них в некоторых воеводствах непременно к каждому сейму третьему послу при двух католиках. За важную бы от вас услугу нам и отечеству сочли мы одержание от вас всего вышеписаного, но если и не будет во всем пространстве соответствовать успех сему нашему определению, не припишем мы, однако, недостатку усердия или трудов ваших, зная весьма, сколько трудно или паче невозможно преодолеть гидру суеверия и собственную корысть в людях; и так полагаем мы за ультиматум нашего желанья, чтоб всемерно одержать для диссидентов способность владеть городскими старостами, дабы они тем или другим образом некоторое участие в земском правлении, а чрез то самое и вящую, нежели ныне, сами по себе важность приобрести могли с совершенною свободой исправления их религии во всех пунктах, до церкви касающихся.

Если сейм не согласится ни на что, надлежит вам, имея в Варшаве диссидентов сколько возможно в большем числе, приготовить их к тому, дабы они, отъезжая тогда все вдруг от сейма с учинением по тамошним обрядам правительства протестации, могли составить между собою конфедерацию и оною формально просить помощи и защищения у нас или же и вообще у тех своих соседей, которые ныне в их пользу интересуются. Мы верно полагаемся на ваше благоразумие в таком крайнем ресурсе, что вы его, без самой неизбежной нужды и с нами не описавшись, в действо не произведете, однако ж тем не меньше вы можете оным яко последнюю нашу твердую резолюцией воспользоваться и при негоцияциях ваших тут, где надобно будет, в конфиденцию об ней сообщать, с тем чтоб поляки знали и удостоверены были, что мы не допустим успокоить сие дело по их единовидным желаньям, а поведем оное лучше до самой крайности».

Напрасно в Петербурге, желая действовать с благоразумною умеренностью, урезывали требования диссидентов: в Польше не хотели уступить ничего. Мы видели, что еще в 1763 году право-

славный епископ Могилевский, Георгий Конисский, подал императрице жалобу на жестокие притеснения. «Гонители благочестия святого, — писал Конисский, — не видя себе в том гонительстве ни от кого воспящения, тем паче свирепеют и на все церкви благочестивые, особливо в городе Могилеве состоящие, напасть вскоре при случае нынешнего между королевства намерены, и некоторые священники, страха ради, на унию уже предаются; особенно же живший в монастыре моем иеромонах Никанор Митаревский, кой родицею малороссийский, быв прежде в семинарии Переяславской префектом и тамо в важные преступления впав, от священнодействия отлучен, избег из России и у униатов был, после пришед ко мне в Могилев для единого только исправления его при мне без священнодействия держан, ныне в отсутствии моем предан к униатам в Онуфриевский, прежде благочестивый бывший, а ныне униатский монастырь, к живущему в том монастыре архиепископу униатскому, родимцу же малороссийскому, Лисянскому, и оной Митаревский, согласясь с плебаном Кричевским Рейнолдом Изличом, превеликое священству благочестивому, а особливо строителю монастыря Охорского Кричевского, делают угнетение, так что тот строитель с братиею по лесам принужден от них крытись». От Киевского митрополита пришло известие, что Трёмбовльский староста Иоаким Потоцкий насильно четыре православных церкви отнял на унию; Пинский епископ Георгий Булгак отнял на унию четырнадцать церквей, изуевичил игумена Феофана Яворского.

Когда русская партия восторжествовала, когда кандидат русской императрицы избран был в короли, Конисский получил надежду, что его жалобы будут выслушаны в Варшаве, и в 1765 году решился сам туда отправиться; но вот что он доносил синоду об успехе своего путешествия: «Когда я прошлого июня 15 дня, получивши от команды смоленской трех драгун в конвой, выехал из Могилева, а июля 11 прибыл в Варшаву, то по отдачи прежде поклону фамилии его королевского величества и министрам коронным и литовским представлен был его королевскому величеству. Его величество, выслушав мою речь ¹² и приняв челобитную, сам оную, хотя и большая была, изволил вычитать и обнадеживал во всем том удовольствие учинить, на что имеем права и привилегии, только велел обождать приезду в Варшаву вице-канцлера литовского,

¹² В этой речи Конисский говорил, между прочим: «Христиане от христиан угнетаемы, и верные от верных более, нежели от неверных, озлобляемы бываем. Затворяются наши храмы, где Христос непрестанно восхваляется; отверсты же и беззаветны жидовские синагоги, в коих Христос непрестанно поруган бывает. Что мы человеческих преданий в равной с вечным Божиим законом важности иметь, и землю мешать с небом не дерзаем, — за то раскольниками, еретиками, отступниками нас называют; и что гласу совести бесстыдно противоречить страшимся — за то в темницы, на раны, на меч, на огонь осуждаемы бываем».

г. Предзецкого. По прибытии своем он, вице-канцлер литовский, в Варшаву велел мне челобитную мою переделать на две челобитные, из коих одну заключил — обиды, внутрь экономии Могилевской починенные, подать в камеру королевскую, другую — с обидами, вне экономии поделанными, расписав на три экземпляра, подать им, министрам, коронным канцлеру и вице-канцлеру, и ему, вице-канцлеру литовскому, что я и учинил. С того же времени как начали водить, то и поныне водят без всякого и малейшего успеха. Росписали до некоторых в челобитной моей показанных обидчиков, чтоб в ответы на мои жалобы присылали; я о том, от них же, господ министров, известясь, представлял им, что мне чрез такое собрание ответов новая причиняется обида, понеже и не ко всем обидчикам за таковыми ответами послано, и посылать ко всем невозможное дело, яко большая их часть на суд Божий позвана, и я с таковых никакой сатисфакции не прошу, только возвращения отнятого или только чтобы впредь подобных обид делать запрещено, да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не признают, и в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и таким способом собрания ответов да доказательств конца не будет, и как им, обидчикам, таковых ответов и доказательств с домов своих без малейших убытков присылка очень поноровочна, так мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несосно, и что на остаток с моих жалоб некоторые суть таковые, которые, по рассмотрении документов письменных, никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление место у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не доведется».

Удивительное зрелище представляла в это время Польша: народные силы, казалось, пробуждались после долгого усыпления, обнаруживалось необыкновенное единодушие, но для чего? Для того ли, чтобы установить лучший порядок, освободиться от иностранного влияния? Нет, для того, чтобы не сделать ни малейшей уступки требованиям диссидентов, чтобы не признать никаких прав за христианами других вероисповеданий, кроме католического. И в то же время все ограничивалось страдательным упорством, ограничивалось одними криками; никто не думал о средствах деятельного, серьезного сопротивления соседним державам, России и Пруссии, которые не могли бросить диссидентского дела; фанатизм только гальванизировал мертвое тело, но к жизни его не возбуждал. Репнин был в изумлении. «Что это такое? — писал он в Петербург. — Нашим требованиям уступить не хотят; но на что же они надеются? Своих сил нет, иностранцы не помогут».

Положение Репнина в Варшаве было незавидное. Из Петербурга

присылают к нему умеренные, но твердые требования относительно диссидентов, тогда как на месте он видит ясно, что требованиям этим ни малейшей уступки быть не может. Всякому дипломату бывает очень неприятно, когда на него возлагают поручение, которое исполнить он не видит возможности; он не может освободиться от тяжелой для его самолюбия мысли, что правительство его может усумниться, действительно ли дело невозможно, не виновато ли в этой невозможности, хотя отчасти, неумение уполномоченного. Поэтому неудивительно, что Репнин сначала сделал было отчаянную попытку убедить свой двор отказаться от диссидентского дела, решился представить, что стоит ли заступаться за диссидентов — между ними нет знатных людей! Понятно, что попытка не удалась: «польза, честь отечества и персональная ее величества слава» требовали, чтобы Репнин проводил диссидентское дело. Таким образом, посол был поставлен, с одной стороны, между неуклонными требованиями своего двора и, с другой — упорством поляков, отвергавших всякую мысль к уступчивости и сделке. Но неужели Репнин не мог ни в ком найти себе помощи? Неужели фанатизм одинаково обуял всех? Что король? Что Чарторыйские?

Репнин был отправлен в Польшу, чтобы поддержать там русскую партию, партию Чарторыйских, и содействовать возведению на престол племянника их, Станислава Понятовского. До достижения этой цели Чарторыйские и Понятовский составляли одно, что, разумеется, облегчало положение Репнина, упрощая его отношения к этим лицам. Но с достижением цели, с восшествием на престол Понятовского, положение посла затруднилось. Королю хотелось освободиться из-под опеки дядей, действовать самостоятельно; но, как человек слабохарактерный, он не мог этого сделать вдруг, решительно, да и человеку с более твердым характером нелегко было бы это сделать в положении Станислава-Августа. В отсутствие дядей король был храбр и самостоятелен; но только кто-нибудь из стариков являлся — король не имел духа в чем-либо попротиворечить, в чем-либо отказать ему. Умные старики, разумеется, сейчас же поняли, что эта уступчивость невольная, что тут нет искренности, что они своими личными достоинствами и своим значением в стране делают только насилие королю. Понятно, что вследствие этого возникла холодность между дядьми и племянником, а это затруднило положение Репнина. Держаться теперь на одной ноге и с королем, и с Чарторыйскими стало тяжело: естественно, что Репнину хотелось упростить свои отношения, то есть — иметь дело с одним королем и для этого желать полной независимости последнего от дядей. При этом естественном стремлении Репнин легко перешел границу: Чарторыйские заметили, что посол ближе с королем, чем с ними, и оплатили ему тем же удалением и холодностью. Репнин стал жаловаться на них в Петербург: «Что касается до моего обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма ко-

ронации, усумняясь о их прямотушии, а особливо после, как я отказал платить впредь до указу воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основание делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю».

В Петербурге были уверены, что по милости Чарторыйских не удалось диссидентское дело на первом сейме; мы видели, в каких выражениях писал об этом король императрице: «*Вопреки мнению всех моих советников* (Чарторыйские были самые близкие советники) я поднял вопрос о диссидентах, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса в моем присутствии»¹³. В Петербурге хотели, чтобы Чарторыйские всем своим могущественным влиянием проводили диссидентское дело на сейме — и вместо того узнают, что они даже отговаривали короля начинать его! Еще 12 февраля 1765 года Панин писал Репнину: «Мы не можем и не хотим поставлять польские дела совсем оконченными, пока не сделано будет справедливое поправление состоянию тамошних диссидентов, хотя б то и самой вооруженной неогонии требовало. Здесь удостоверены, что Чарторыйская фамилия есть та, которая в сем пункте больше других недоброжелательна, и она существенно причиною в вашей неудаче на последнем сейме. Вам надлежит ту фамилию убеждать и склонять, в случае же в том безнадёжности, воспользоваться настоящею расстроичею между ею и королем, и его величество ободрять противу ее. Кроме зачинающихся в вашем месте женских сплетен и интриг между фамилиею и кроме духа господствования двух братьев Чарторыйских, новый государь больше горячо, нежели прозорливо, за свои дела принимается; надобно опасаться, чтобы таким образом, примеривая все ко внутреннему польскому аршину, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстроичу весь северный акорт и его посадить между двух стульев. Благоразумие, конечно, требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточною весьма политическою экономиею и уважением касаться до своих внутренних дел, и сколько возможно, воздерживался от всего того, что истолкование и вид новости получить может, а вместо того гораздо вернее и надежнее быть кажется, если б усугубил свое старание акредитовать и укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые возобновление природных королей в Польше постановляют частию их политической системы».

В этом письме Панин излагает свой взгляд на польские отношения и дает видеть связь этого взгляда с своим главным стремлением. Последнее состояло в том, чтобы северные европейские государства — Россия, Пруссия, Англия, Дания, Швеция и Польша —

¹³ См первую главу, письмо короля от 20 апреля 1765 г

составляли постоянный союз, противоположный австро-французскому союзу Южной Европы. Польский король своею поспешностью в нововведениях мог возбудить против себя неприязнь короля Прусского и этим нарушить северный *акорт*, поставить Россию в затруднительное положение между Польским и Прусским королями, одинаково ей союзными, и, что всего хуже, если вражда между Пруссией и Польшею разгорится, то последняя может перейти к австро-французскому союзу. Соответственно этому основному своему взгляду Панин писал Репнину, чтобы его всеми силами содействовал браку польского короля на дочери короля португальского, ибо *это выгодно для северной системы*: португальский двор связан с Англией, и его влияние никогда не будет вредить союзу Польши с Россией и со всем севером.

Но если в Петербурге сердились на Чарторыйских за охлаждение к русским интересам, тем не менее не хотели разрыва с могущественною фамилией и предписывали Репнину сначала убеждать и склонять ее. Сам Репнин, жалуясь на Чарторыйских, в то же время писал о их могуществе и слабости короля и тем самым, разумеется, обвинял себя в слишком поспешном предпочтении племянника дядьям. «Я уже пред сим доносил, — писал он к Панину¹⁴, — сколь двое братьев Чарторыйских духом владычества исполнены, а притом что и кредит их весьма в нации велик, который более еще возрос, тем, что они в последнее междоцарствие были шефами нашей партии и что через их руки все деньги шли для приумножения партизанов, которые им преданы и остались; к тому же тот кредит содержится в своей силе слабостию короля, который еще не может осилиться и из привычки выйти им что-либо отказать, хотя часто и с неудовольствием на их требования соглашается». Чем более Репнин сближался с королем, тем более удостоверился в его слабости. «Во время бытности на охоте, — писал¹⁵ он Панину, — имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей Чарторыйских и о необходимой нужде, чтоб он наконец старался сам господином быть, а не вечно бы в зависимости их остался. По несчастию, он себе в голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит. Слабость его столь удивительна, что не узнают его перед тем, как он партикулярным был человеком».

Но слабость короля естественно заставляла возвратиться к Чарторыйским, особенно ввиду сейма 1766 года, когда снова должно было подняться диссидентское дело. Заблагорассудили войти в непосредственную переписку с Чарторыйскими: старики уверяли, что преданность их к России не изменилась, жаловались на короля, на то, что он их не слушается, жаловались и на Репнина, приписы-

¹⁴ 13 мая 1765

¹⁵ 2 января 1766

вая его холодность к себе веселостям, которым предавался посол. Репнин по этому случаю писал Панину¹⁶: «Князей Чарторыйских содействие на будущем сейме, конечно, необходимо нужно, не потому чтобы на их прямодушное усердие считать точно было можно, но потому что кредит их весьма велик, и что хотя при двоякости их сердец, но головы, признаться должно, имеют здравее, нежели все другие в сей земле. Изъяснения их к вашему высокопревосходительству не все справедливы, как, например, говоря о королевском поведении. Согласен я весьма, что слабости и скоропостижности в том чрезвычайно много; но не могу я на то согласиться, чтобы какое-нибудь, однако ж, дело хотя маловажное было сделано без их сведения и согласия. Что же касается до моего против них положения, то не веселья, конечно, мое отдаление воспричинствовали, но двоякость их и неблагодарность к нашему двору».

Как бы то ни было, Репнин должен был сделать первый шаг к сближению с Чарторыйскими. Один брат, Михаил, канцлер Литовский, проводил лето 1766 года в своих деревнях, и потому Репнин обратился к князю Августу, воеводе Русскому, прося его назначить свободный час для переговоров о некоторых интересных делах; воевода отвечал, что завтра сам приедет к послу. Репнин начал разговор уверением «о возвращении к нему, Чарторыйскому, высочайшей доверенности и благоволения ее императорского величества, в том точно уповании, что его усердие и преданность совершенно соответствуют сей высочайшей милости». «Мне повелено, — продолжал Репнин, — с истинною откровенностью во всех наших делах с ними и с канцлером литовским соглашаться и обще с ними к успеху оных доходить. Всемилостивейшей государыне желательно и приятно будет, чтоб его польское величество также против них в совершенной откровенности и доверенности был и советы б их предпочитал прочим». Репнин заключил приветствием, что он с удовольствием получил сии высочайшие повеления и что приятно ему будет их в самой точности исполнять. Чарторыйский отвечал уверениями в своем усердии, преданности и благодарности. После этих взаимных учтивостей Репнин приступил к делу, обратился к Чарторыйскому с просьбою открыть с доверенностью все те способы, которые могут привести диссидентское дело к желанному успеху. Воевода опять начал речь уверениями в своем усердии, но кончил объявлением, что не хочет отвечать за успех дела.

«Кто первый станет говорить об этом деле на сейме? Я, признаюсь, сделать этого не осмелюсь», — сказал Чарторыйский. Репнин стал говорить, что волнения между католиками по поводу диссидентского дела раздувают епископы своими возмутительными разглашениями: Виленский — Масальский, Краковский — Солтык и Каменецкий — Красинский. «Не пристойно ли бы было, для

¹⁶ 21 августа 1766.

их усмирения и для обуздания впредь прочих, расположить по их деревьям находящиеся теперь в Польше российские войска?» — спросил Репнин. Чарторыйский против этого «крепко уперся», говоря, что такой поступок встревожит, оскорбит и отвратит «все духи» от русской стороны. Репнин согласился, особенно когда услышал и от короля такое же мнение. «Рассудил я лучше от сего поступка удержаться, — писал он Панину, — дабы не дать им претекста сказать, что я горячностью своею испортил то, чтоб они усердною лаской и приветствием исполнить могли. Признаюсь, что мнение мое с ними не согласно, считая, что в таких возмутительных покушениях твердостью одною дела в порядок можно привести; но чувствую, однако ж, что, сделав то против их согласия, чрез оное дам только им претекст к извинению в случае неудачи». Чарторыйский, мало того что не согласился на занятие русскими войсками епископских деревень, но и выразил мнение, что считает полезным вывести совсем русские войска из Литвы во время сейма: этим, говорил он, нация будет обрадована, и докажется желание России не силою, но ласкою приводить дела к концу: «тем более, — прибавил воевода, — что русские войска всегда могут опять сюда вступить по обстоятельствам».

На это Репнин заметил с учтивостию, что конфедерация еще не разрушена, и потому причина, приведшая русские войска в Польшу, остается по-прежнему. (Конфедерацию устроили и русские войска призвали Чарторыйские!)

Разговор с воеводою Русским привел, однако, Репнина в отчаяние, что видно по тону письма его к Панину¹⁷: «Повеления, данные (из Петербурга) по диссидентскому делу, ужасны, и истинно волосы у меня дыбом становятся, когда думаю об оном, не имея почти ни малой надежды, кроме единственной силы исполнить волю всемилостивейшей государыни касательно до гражданских диссидентских преимуществ». Репнин поехал к королю и объявил ему подробно, чего требует Россия для диссидентов, прибавя, что это последнее слово, и если на нынешнем сейме всего этого не исполнят, то уже 40 000 войска готовы на границах для подкрепления требований. «Король, — по словам Репнина, — представлял трудности или, паче сказать, невозможности к сему нацию согласить; всячески он меня оборачивал и выпрашивал, подлинно ли сие наше последнее слово и подлинно ли наши вступят, коли всего на сейме не исполнят, в чем я его твердо уверял. Разговор кончился вопросом от короля: могу ли я точным образом ему отвечать, что ее императорское величество, коли все требуемое мною исполнится, совершенно оным довольна будет и далее сего дела и вперед не поведет, на которое я ему донес, что я считаю, что сие обещание совершенно сделать могу».

¹⁷ 6 сентября 1766.

После этого разговора с Репниным король написал к своему министру при Петербургском дворе, графу Ржевускому, чтобы он представил императрице всю невозможность исполнить ее требования относительно диссидентов. «Последние приказания, данные Репнину, — писал Понятовский, — приказания ввести диссидентов даже в законодательство — громовой удар для страны и для меня лично. Если еще человечески возможно, то представьте императрице, что корона, которую она мне доставила, делается для меня одеждою Нессоса: она меня сожжет, и смерть моя будет ужасна. Мне предстоит или отказаться от дружбы императрицы, или явиться изменником отечеству. Если Россия непременно хочет ввести диссидентов в законодательство, то это будут (если бы даже их было не более 10 или 12) законно существующие главы партии, которая будет видеть в государстве и правительстве Польском врагов и которая будет необходимо и постоянно искать против них помощи извне».

Между тем Репнин сделал новую попытку у Чарторийских: он обратился к ним с просьбою, чтобы дали честное слово, не отвечая за успех, приложить все свои старания к доведению диссидентского дела до желаемого конца, то есть чтобы открыты были диссидентам все гражданские чины в судебных местах и дано было участие в правлении, допустив их хотя в ограниченном числе в земские послы (депутаты) на сеймы. Чарторийские отвечали, что не могут дать слова и не в состоянии употреблять свои труды во вредном для отечества деле. Репнин обратился к королю за решительным ответом, и тот объявил, что не может стараться о диссидентском деле. Репнин напомнил и королю, и Чарторийским о прежнем обещании их содействовать диссидентскому делу: ответ был один, что тогда разумелась одна терпимость.

Уведомивши об этом свой двор, Репнин писал от 24 сентября 1766: «Для того я решился к генерал-майору Салтыкову от сего ж числа чрез курьера повеление послать вступить с своим корпусом в деревни епископов Краковского и Виленского, питаюсь на их коште, ибо ничего уже хуже по диссидентскому делу быть не может, как то, что есть, а может быть, сей поступок импрессию сделает и что-либо поправит. Никакой надежды нет без употребления силы в сем деле предуспеть: и так на нее одну остается уповать, ибо не только часть сейма сему делу противна будет, но и все головой, когда сверх всего духовенства и его инфлюенций присовокуляются к противникам король, князь Чарторийские и их партизаны, что уж в себе все и заключает. Должен я донести, что во время сеймиков и для будущих расходов на сейме по требованиям королевским мной ему выдано 11 000 червонных, из которых 6000 уже выданы после объявления королю во всем пространстве наших требований по диссидентскому делу: почему, следовательно, я и надеялся, что сие его заведет согласно с нами о полном успехе

оного работать, а теперь я в беспокойстве нахожусь по сим издержкам».

На это донесение императрица отвечала Репнину рескриптом ¹⁸, что, *если* на сейме диссидентское дело не будет доведено до формальной с ним, послом, и с диссидентами негоциации, из которой бы резонабельных плодов ожидать было можно, и если опять потерю всякой надежды должно будет приписать одному коварству стариков Чарторыйских, в таком случае, определя с разборчивостию положение дел, употребить все старание к разрыву генеральной конфедерации и сейма, потому что Чарторыйские посредством конфедерации хотели провести преобразования, и Август Чарторыйский был маршалом конфедерации. «В самом начале должно прямо адресоваться к тем из соперников фамилии Чарторыйских, которые приобретенному ее во делах перевесу наиболее завидуют. Нельзя сомневаться, чтоб такой во мнениях наших оборот не произвел важной в духах перемены и чтоб многие из соперников князей Чарторыйских, кои теперь диссидентскому делу противны, не обратились на лучшие по оному мысли».

Дело усложнилось тем, что король под шумок хотел провести на сейме важные преобразования, именно, чтобы вопросы об умножении податей и войска решались большинством голосов. Но противники нововведений дали знать Репнину о замыслах, от которых он имел наказ удерживать короля. Вместе с прусским послом Бенуа Репнин сильно воспротивился проведению большинства голосов; Чарторыйские из нерасположения к королю, с одной стороны, а с другой — видя невозможность успеха и желая показать русской императрице свою преданность, желая показать, что они готовы служить ей во всем, что возможно, — Чарторыйские помогли Репнину в этом деле, помогли и в деле распущения конфедерации. Король с страшною тоской в сердце должен был отказать от своих намерений и публично заявить об этом. Репнин был действительно подкуплен поступками *фамилии* ¹⁹, писал с похвалой в Петербург о ее поведении и холодность ее к диссидентскому делу приписывал единственно его непреодолимой трудности.

«Прошу покорнейше ваше высокопревосходительство, — писал он Панину ²⁰, — не только графу Ржевускому, но если можно к самим Чарторыйским, включая великого маршала коронного, князя Любомирского, ласково отозваться за содействие их по делам истребления множества (большинства) голосов и разрыва конфедерации, а особливо князю Адаму Чарторыйскому, хотя чрез письмо ко мне, кое бы я мог показать: ибо он (князь Адам) был мне первым инструментом к приведению стариков на мою сторону».

¹⁸ 6 октября 1766 года

¹⁹ Говоря о Чарторыйских, обыкновенно употребляли это слово.

²⁰ 9 ноября 1766 г.

В следующем донесении писал²¹: «Я в сем деле (уничтожения большинства голосов) как точным содействием короля, так и Чарторыйских совершенно доволен. Я должен по справедливости доносить, что успех диссидентского дела не в силах короля, ни Чарторыйских. Лучшее доказательство сему сие самое истребление множества голосов, которое они вчерась сделали. Неоспоримо, оное дело им гораздо дороже было и нужнее, но, видя пропасть разверстую, сами разделали то, что им драгоценнее всего было, и тако и диссидентское б дело сделали, коль бы могли, ибо тех же точно крайностей и по оному ожидают, не имея, однако ж, таковой же противности к нему, как к первому. Одним словом, антузиазм и сумасбродство, заразившиеся от внушений духовенства и от скупости, чтоб аванжажи коронные не разделять с диссидентами, столь чрезвычайны, что совершенно свыше всех здешних сил. Король же, коего я нынче видел во дворце при обыкновенном по воскресеньям съезде, в таком унынии духа, что я оного изобразить довольно не могу. Я лишь подошел к нему и помянул об разрушенном деле множества голосов с благодарением, что он сам о том публично говорил, то он вдруг при всей публике громко заплакал и ничего не был мне в состоянии отвечать. Сия самая горесть доказывает, сколь он к сему делу привязан был».

Чарторыйские не переставали увиваться около Репнина, выставляя свою преданность России, просить о возвращении прежней милости и наговаривать на короля. Репнин писал Панину²²: «Канцлер Литовский сим утром у меня был, чтоб мне сообщить дружески об учиненном разрыве конфедерации, при чем я его благодарил за содействие их в оном и в истреблении множества голосов по материям умножения податей и войска. Он много уверений делал о преданности к нашему двору, и что, быв в последних временах в некоторой у нас недоверке, лестно бы ему было и с братом иметь уверение от вашего высокопревосходительства о возвращении к ним покровительства и милости ее императорского величества, для достижения которой они все сделали, что им возможно было. Канцлер Литовский со мною изъяснился, что король час от часу более к ним недоверия имеет, несогласие их умножася в сем последнем сейме, чрез противность, которую они ему, в угодность к нам, показали, и в чем король не иначе согласился, как по необходимости. Канцлер прибавил, что, уверяся в согласии хотя принужденном королевском, нужно будет учредить все пункты нового союза (с Россиею), которым они весьма желают убавить требования королевские, коим он во многом лишности дает».

Но все эти уверения в преданности и выказывание услуг не могли повести ни к чему, благодаря роковому делу о диссидентах.

²¹ 12 ноября

²² 19 ноября 1766

В другой раз на сейме всякое соглашение по этому делу было отвергнуто с прежним ожесточением: грозились изрубить в куски депутата Гуровского, начавшего речь в пользу диссидентов. Репнин имел право доносить в Петербург, что не в силах Чарторыйских преодолеть фанатизм своих сограждан; в Петербурге могли этому верить; но из этого не следовало еще, что должно было принять позор неудачи и отказаться от дела, когда еще оставалось средство возможное и законное в Польше. Репнину уже было указано это средство: конфедерация между диссидентами, которые должны были обратиться к России с просьбою о помощи и, если Чарторыйские откажутся содействовать делу, поднять противную им партию. Панин непосредственно обратился к *фамилии* с вопросом, будет ли она помогать диссидентскому делу. Чарторыйские отвечали уклончиво. Репнин заметил им это, заметил, что мало толковать о своем добром желании, надобно его доказать на деле: «Вы говорите об опасностях от диссидентской конфедерации для самих диссидентов, а не указываете других средств, которые можно было бы употребить вместо конфедерации; опасность будет грозить не диссидентам, а тем, которые позволят себе причинить какое-нибудь насилие диссидентам, потому что Россия отомстит страшно обидчикам». Репнин показал ответ Чарторыйских главным из диссидентов и спросил: когда они будут готовы к своей конфедерации. Те назначили 9 марта 1767 года. С другой стороны, вполне предавшийся Репнину референдарий коронный Подоский отправился в объезд по главным членам противной *фамилии* партии, к Потоцкому, Оссолинскому, Мнишку, епископам — Солтыку и Красинскому, испытать их расположение, обещая покровительство России, посредством которого они могут взять верх над Чарторыйскими, если только с своей стороны согласятся содействовать диссидентскому делу.

ГЛАВА III

Вожди диссидентов сдержали слово, данное Репнину. К назначенному сроку в марте 1767 года образовалась конфедерация из протестантов в Торне, маршалом которой был граф фон Гольц; в то же время образовалась другая конфедерация в Слуцке под маршалством генерала Грабовского: к ней принадлежали православные Новогрудска и других соседних областей. Чтобы поднять католическую конфедерацию из врагов *фамилии* и дать этой конфедерации сильного вождя, еще в январе начаты были сношения с изгнанником, князем Радзивиллом, первым богачом Литвы: ему обещано было позволение возвратиться в отечество с восстановлением во всех правах и в прежнем значении, но под условиями: действовать в интересах императрицы Всероссийской, особенно поддер-

живать ее намерения относительно диссидентов, не притеснять их в своих имениях, возвратить им их церкви, выдавать русских перебежчиков, вести себя благоразумно. Последнее условие было необходимо, потому что знаменитый вельможа особенно под веселый час (а эти часы случались нередко) позволял себе дикие выходы. Радзивилл был в восторге и отвечал Репнину²³, что, проникнутый чувством самой живой признательности к императрице за предлагаемое покровительство, покорный ее великодушной воле для блага республики и всех добрых патриотов, провозглашает и обещает, что будет всегда держаться русской партии; что приказания, которые угодно будет Русскому двору дать ему, будут приняты всегда с уважением и покорностью и что он будет исполнять их без малейшего сопротивления, прямого или косвенного (*déclare et promet qu'il sera toujours du parti russe, qu'il fera dépendre toutes ses démarches de la cour de Russie, et que les ordres qu'il plaire à cette cour de lui faire donner, seront toujours reçu avec respect et soumission, et qu'il les suivra sans la moindre opposition directe ou indirecte*).

Чтобы не оставить и тени сомнения насчет его поступков, чтобы не дать врагам ни малейшей возможности чернить его и в знак покровительства императрицы Радзивилл просил, чтобы при нем постоянно находился русский чиновник, который бы давал ему непосредственно знать о намерениях императрицы. В заключение Радзивилл обещал содействовать успеху диссидентского дела всеми силами и в тех размерах, какие русский двор заблагорассудит дать этому делу.

С Радзивиллом дело было улажено; и относительно других вельмож, врагов *фамилии*, пришли благоприятные вести. Мы видели уже, что о составлении католической конфедерации хлопотал коронный референдарий Гавриил Подоский; в начале марта он возвратился из своего объезда и донес Репнину, что виделся с епископом Краковским Солтыком, с воеводою Волынским, Оссолинским, с надворным маршалком коронным, с великим подскарбием (казначеем) коронным, с кухмистром Литовским — Виельгурским, с воеводою Киевским и другими Потоцкими, которые все согласны общим письмом просить покровительства императрицы, а потом образовать конфедерацию под ее протекцией и провести диссидентское дело по ее желанию, но хотят прежде всего видеться с русским послом. Репнин дал им знать, чтобы приезжали в Варшаву не позднее 10 апреля нового стиля. «Кажется, сие начало столь хорошо, сколь желать было можно, — писал Репнин Панину²⁴, — однако я, быв уже здесь столько раз каждым особо обманут, за успех отвечать совсем не смею, а стараться не упущу оный верным сделать». Кроме Подоского Репнин нашел себе еще союзника и не между поля-

²³ 28 февраля 1767, из Дрездена

²⁴ 7 марта

ками: разрыв с Чарторыйскими, неподатливость короля в диссидентском деле, движение русских войск в польские владения возбудили в принце Карле Саксонском надежду на важные перемены в Польше, которыми он мог воспользоваться. Агент Карла Алоэ получил от него приказание сблизиться с Репниным и во всем сообразоваться с его желаниями. Это было очень выгодно для русского уполномоченного, потому что Алоэ был в сношениях со всею старою саксонскою партией, с которою теперь хотел действовать заодно против Чарторыйских. При помощи Алоэ и Подоского Репнин составил проект литовской католической конфедерации.

Что же король? В январе месяце, когда делались приготовления к конфедерации, Станислав-Август удивил Репнина вопросом: как он думает — французская актриса Клерон предлагает ему, королю, свои услуги, и он хочет ими воспользоваться, но беспокойства нынешнего года не помешают ли удовольствиям. Репнин отвечал, что удивляется, как его величество серьезные дела мешает с такими мелочами. Но король продолжал разговор об актрисе и кончил вопросом: «Не пойдете ли вы на нас войною?» Репнин отвечал, что это зависит от них, потому что война бывает там, где есть сопротивление; кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у других, но, видя и право и силу в соединении, старается им удовлетворить *добрым манером*, смотря с терпением на подвиги их, тот не может опасаться войны. «Мое мнение то же самое, — сказал на это король, — уверяю вас, что не хочу ни прямо, ни стороною противиться России в случае вступления ваших войск сюда; но кроме этого что вы мне присоветуете еще сделать?» «Удовлетворить нашим требованиям, — отвечал Репнин, — если это удовлетворение будет соединено с осторожным и благоразумным поведением, то ваше величество непременно достигнете прежней дружбы с Россиею»²⁵.

Случай последовать совету Репнина скоро представился: конфедерации Торнская и Слуцкая потребовали, чтобы правительство признало их законность, чтобы король принял их послов. Чарторыйские настаивали, чтобы король не соглашался на это, а между тем в глаза уверяли Репнина, что не только ничего не предпринимают против русских мер, но готовы и пособлять им по возможности; король же давал разуметь послу, что дядья не позволяют ему принять конфедератов. Во второй половине марта созван был сенатский Совет, в котором читались русская и прусская декларации в пользу диссидентов и самый акт диссидентской конфедерации. Заседание кончилось тем, что назначили собрать генеральный сенатский Совет к 25 мая. Король дал знать Репнину, что он нарочно отложил так надолго срок генерального Совета, чтобы дать время русским войскам углубиться в польские владения. Но Репнину не этого хотелось: он хотел, чтобы король прямо и открыто действо-

²⁵ Репнин Панину 31 января 1767 г

вал в пользу диссидентов²⁶. 4 апреля он призвал к себе пана Огородского, управляющего королевским кабинетом, и потребовал немедленного и прямого решения вопроса: примет ли король диссидентских депутатов или нет? Посол кончил свой разговор с Огородским словами: «Если король и министерство не захотят депутатов с пристойностию принять, то его величество рискнет лишиться дружбы нашей всемилостивейшей государыни». Слова эти произвели немедленное действие: Огородский возвратился с объявлением, что «король, уважая дружбу ее императорского величества и всегда желая доказывать свою к ней преданность, хотя Совет его и противился, намерен, однако же, принять депутатов диссидентских»²⁷.

28 апреля нового стиля был этот прием. После предъявления своих желаний депутаты были допущены к королевской руке, что было знаком утверждения законности диссидентской конфедерации. Но уже не было тайною, что конфедерация не ограничивается пределами диссидентской; что готовится генеральная конфедерация, поднимаемая врагами Чарторыйских и короля; что Радзивилл будет ее маршалом. В мае месяце Станислав-Август обратился к Репнину с вопросом: «Правда ли, что князь Радзивилл будет маршалом генеральной коронной (польской) конфедерации?» «Правда!» — отвечал посол. «А для чего это делается?» — спросил опять король. «Для того, — отвечал Репнин, — что я более уверен в его зависимости от нас, чем в зависимости всякого другого; я желаю иметь людей послушных, а не ждать из чужих рук исполнения моих собственных дел, тогда как я уже столько раз был обманут фальшивыми обещаниями». Репнин, впрочем, кончил уверением, что поведение Радзивилла останется совершенно в границах умеренности. После этого открытого объяснения с королем являлся к Репнину Чарторыйский, воевода Русский: «Конфедерации начинаются, обстоятельства такие деликатные: не знаю, как вести себя с *фамилией* и приятелями; боюсь, чтобы по незнанию не сделать чего-нибудь неприятного императорскому двору, которому мы так преданы».

«Знаю силу твоих слов, — подумал Репнин и отвечал: — Конфедерации эти делаются против вредных новостей, введенных в правление, делаются против нарушения древних законов и формы правления, согласны, следовательно, с полезными видами ее императорского величества насчет республики здешней; а сверх того, так как эти конфедерации прибегают к покровительству ее императорского величества и ручательства ее просят для непоколебимого сохранения прав республики и вольностей, то это высочайшее покровительство им и следует, с утверждением по их желанию на все века

²⁶ Репнин Панину 28 марта (8 апреля) 1767 г

²⁷ Репнин Панину 4 апреля старого стиля 1767 г

формы здешнего правления и преимуществ каждого. Но так как великодушные и человеколюбие суть основание справедливого поведения ее императорского величества, вследствие того и не должны эти конфедерации никого силою принуждать к соединению с ними, а только тех за злодеев почитать будут, которые против них действовать дерзнут. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать к конфедерациям или нет, оставаясь покойными и нейтральными зрителями». Чарторыйский рассыпался в благодарности, превозносил умеренность русского правительства, нежелание употреблять силу, в заключение предлагал свои услуги, сколько может. Но услуги Чарторыйского могли теперь только затруднить Репнина: опять сблизиться с Чарторыйскими значило удалить всех новых приверженцев, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнин разладил с *фамилиею* ²⁸.

Репнин, принужденный прибегнуть к такому сильному средству, как конфедерация, хлопотал, однако, как бы предотвратить беспорядки, потрясения, бывшие обыкновенно следствием конфедерации. По старому обычаю, как скоро конфедерация образовывалась и получала признание, то вдруг все прежние власти переставали действовать, авторитет всех существующих магистратур и юрисдикций исчезал; все подчинялось верховной воле сконфедерованной шляхты; король, сенат, все высшие чиновники и суды должны были отдавать ей отчет. Репнин не хотел на это согласиться: «Понеже напрасно бы я короля тем оскорбил, ибо по нашим видам оное не нужно, а только б дало более власти конфедерации, отмщевая прежние дела по внутренним судам, несправедливости делать. Сверх того, запретив все юрисдикции, запретили б чрез то и комиссии скарбовую и военную, а их поправка хотя точно нужна, но совершенное испровержение мне кажется не авантажно; и тако держусь сколько возможно и противлюсь сему закрытию юрисдикций, а меж тем пользуюсь сим же, *удобность и приятство тем делаю королю*, которого для переду в преданности я хочу соблюсть к нашему двору, находя за полезное, *чтобы не всегда здесь с употреблением силы все делать*. Сверх же того должен я и в том по справедливости признаться, что его величество, не входя явным образом в содействие с нами, противностей, однако же, никаких не делает, и хотя с оскорблением иногда и с натуральною просьбой, чтобы друзей его сберегали, но все почти по внутренним здесь моим мерам к исполнению допускает и удерживает преданных себе от безрассудной горячности» ²⁹.

Действительно, король допускал все по внутренним мерам русского посла: смертью примаса, князя Лубенского, очистилось первое духовное место в королевстве, архиепископство Гнезенское, и

²⁸ Репнин Панину 16 (27) мая 1767 г

²⁹ Репнин Панину 31 мая (11 июня)

король согласился на желание Репнина возвести Подоского на это место. Репнин был очень доволен. «Возвышение Подоского в примасы великое приумножение нашей инфлюенции здесь сделает, — писал он в Петербург³⁰. — Он (Подоский) открытым образом мне предан был и как бы секретарь мой во всех настоящих обстоятельствах работал; через его же возвышение увидит нация вся, коль мы великолепно награждаем тех, которые нам прямо и усердно служат. Увидит она, что можно совершенно полную доверенность иметь к покровительству нашего высочайшего двора, когда в самое сочинение столь оскорбительной королю конфедерации не мог он отказать первый чин в государстве тому точно, который в угодность России главным и начальным работником в том был».

Между тем к началу июня 1767 года в Литве образовалось уже 24 конфедерации, маршалами которых повсюду выбраны были друзья Радзивилла, а сам он был выбран маршалом подляшской конфедерации. В Польше и Литве конфедерация считала под своими знаменами до 80 000 шляхты. 3 июня Радзивилл, окруженный толпами шляхты, имел торжественный въезд в Вильну, а через три недели после этого провозглашен был генеральным маршалом соединений польско-литовской конфедерации, собравшейся в Радоме (в 15 милях от Варшавы). Но Репнин тотчас же увидел, что этим дело не кончается, а только начинается.

Репнин поднял генеральную конфедерацию, чтобы покончить диссидентское дело: не хотели кончать его король и Чарторыйские, пусть покончат враги их. Но конфедераты откликнулись на приглашение русского посла, имея в виду свергнуть короля и сделать с Чарторыйскими то же, что те сделали с ними во время своего торжества. Начальные люди конфедерации к диссидентскому делу были равнодушны, а толпа была одушевлена тою же нетерпимостию, как и прежде; следовательно, опять Репнин, чтобы преодолеть это тупое сопротивление, должен был прибегать к крайним средствам, к военной силе. Рядом с предложением о правах диссидентов шло предложение о том, чтобы все постановленное на будущем сейме было гарантировано Россией. В Радоме предложения прошли, и то вследствие присутствия русских войск; но в провинциях шляхта волновалась — а что будет на сейме? Краковский епископ Солтык стал в челе религиозного движения: пятнадцать секретарей день и ночь писали его пастьрские послания.

«Любезнейшие сыны, пастьрству нашему порученные! — гласили послания. — Упражняйтесь во всякого рода добрых делах, взывайте с сокрушением духа к трону милосердия, чтобы ниспослал Духа Святого на сейм для утверждения веры св. католической, для мужественного отпора претензиям диссидентов, для сохранения кардинальных прав вольности. Чтобы во все продолжение сей-

³⁰ 14 (25) июня 1767 г

ма во всех косцелах ежедневно происходило молебствие пред св. тайнами, с пением: Святый Боже!» В этом послании Солтык является перед нами как епископ католический, но в письме к одному из приятелей своих, Виельгурскому, он является как политик. «Императрица, — пишет он, — домогается двух вещей: генерального поручительства и восстановления диссидентов. Гарантировал король Польский курляндские вольности, утвердил привилегии земель прусских, а через это обе нации привлечены были в зависимость от республики. Главное средство отбиться от гарантии — это поднять вопрос, что Турция не позволит. Что касается до диссидентов, то покой нации зависит от того, чтобы диссиденты, а именно не униаты, не были ни в сенате, ни в министерстве; довольно будет припомнить, что в России есть тридцать фамилий, которые ведут свой род из Польши, а раздача достоинств в Польше находится во власти императрицы Русской: так хорошо ли будет, когда сенат Московский перенесен будет в Польшу, а нас передвинут в Сибирь? Главная политика польских недовольных должна состоять в продлении сейма для того: 1) чтобы конфедерация пришла в совершенство; 2) чтобы иностранным дворам дать время к негоциации; 3) чтоб электор (Саксонский) пришел в совершеннолетие; 4) чтобы лучше изъясниться с двором петербургским чрез наших посланников, а не чрез того деспота (Репнина); 5) для слабости короля Прусского: если бы умер, то что бы помешало саксонскому войску войти в Польшу?»

Для большего воспламенения умов в Польше явилось циркулярное письмо к епископам папы Климента XIII против прав диссидентских; на копии письма, пересланной Репниным в Петербург, отмечено тою же рукою, которая писала Наказ: «Куда папа горазд сказки сказывать!» Но что были сказки в Петербурге, тому с благоговением внимали в Польше. «Я не могу довольно изобразить, — писал Репнин, — сколь заражена здешняя нация суеверием и фанатизмом закона, и думаю, что не могло то в сильнейшем градусе быть и во времена самых крозаздов»³¹. Но кроме фанатизма толпы Репнина приводело в отчаяние двоедушие людей, руководивших толпою: посол видел, что и прежний верный секретарь его, новый примас Подоский, стакнулся с Солтыком, с Красинским (епископом Каменецким), маршалом Мнишком, Потоцким (воеводою Киевским) и подскарбием Весселем; но, действуя заодно, эти люди приезжали к Репнину и Бог знает что наговаривали друг на друга. «Изволите видеть, — писал Репнин, — с сколь честными людьми я дело имею и сколько приятны должны быть мои обороты и поведение, истинно боюсь, чтобы самому, в сем ремесле с ними обращаясь, мошенником наконец не сделаться». Но главным мучителем посла был все тот же Солтык. «Истинно я ему от себя б что ни есть пода-

³¹ Репнин Панину 5 (16) августа

рил, чтоб он отсель куда-нибудь провалился: надоел уже мне смертельно», — писал Репнин. Однажды приезжают к нему два прелата, Подоский и Солтык, и начинают жаловаться на насилие русских войск во время сеймиков, на арест шляхтича Чацкого, сделанный по приказанию Репнина. «Если мы, — говорит Солтык, — не можем сносить деспотизма собственного короля, то тем менее можем сносить деспотизм иностранной государыни, которая к тому же еще объявляет, что поддерживает нашу свободу». Репнин отвечал ему прямо: «Если вы так смотрите на дело, то объявите войну императрице и ее войскам, собирайте для этого собственные войска». «У меня никогда не было в голове столь страшных и безумных идей, — сказал на это Солтык, — я не хочу даже воевать с посланником императрицы; желаю только для себя и для нации пользоваться высоким покровительством императрицы, дружбою и благосклонностию ее посланника». Во время этого разговора Подоский сидел, не открывая рта³².

Приближалось время сейма. «Если хотим мы успеха на диссидентском деле на будущем сейме, — писал Репнин, — то необходимо надобно будет епископа краковского и подобных фанатиков забрать под караул, а инак с ними никаким образом не совладеем». Получив на это позволение из Петербурга, посол отвечал Панину: «Имею честь отвечать с уверением накрепчайшим, что без самой крайней необходимости, конечно, пользоваться не буду позволением употреблять меры силы против здешних противников, но признаюсь, что весьма боюсь, чтобы к тому не был принужден»³³.

Страх был не напрасный. Солтык разослал по сеймикам письма, в которых объявлял, что и на будущем сейме будет поступать в диссидентском деле точно так же, как и на прошедших; то же самое говорил всем в Варшаве. Репнин поручил Подоскому поговорить дружески Солтыку: чтобы он остерегался; что терпению бывает конец, что перед российской императрицею он не важный господин; что его могут взять и не выпустить. «Не стану молчать, когда интерес религии потребует моей защиты», — отвечал Солтык. «Сокрушает он меня своим непреодолимым упорством прогив диссидентского дела, — писал Репнин. — Я уже ему стороной внушал, чтоб он на сейм не ездил, коль не хочет участвовать диссидентскому восстановлению и коль не может воздержаться, чтобы против них не говорить, но и на то не соглашается»³⁴.

Наконец Солтык дал знать Репнину, что желает войти с ним в соглашение, ругаясь за всех епископов и за всю свою партию. Репнин отвечал, что в формальное трактование он может войти только с теми, кто по чину в республике имеет на то право: епископ же

³² Репнин Панину 30 августа (10 сентября)

³³ Репнин Панину 6(17) сентября

³⁴ Репнин Панину 30 августа (10 сентября)

Краковский и все епископы вместе этого права не имеют; если же он хочет по-приятельски договориться, то пусть приезжает сам безо всяких церемоний; но прежде всего надобно согласиться в самом главном, а именно, чтобы диссиденты были уравнены в правах с католиками, без чего ни в какие договоры вступать нельзя. В ответ на это Солтык начал разглашать, что скорее тело свое на рассечение даст, скорее умрет со всеми своими приятелями, чем позволит на уравнивание диссидентов с католиками. Желая показать, что готов подвергнуться той участи, какую грозил ему Репнин, он стал готовить подарки для тех, которые придут брать его под стражу, так что, по словам Репнина, комната его стала похожа на нюрнбергскую лавку. Но мученичество, как видно, не очень нравилось Краковскому епископу, и он дал знать Репнину, что берется уговорить всех ревностных католиков дать удовлетворение диссидентам, если русский посол позволит ему продолжать прежнее поведение для сохранения кредита в своей партии. Репнин отвечал ему через Подоского, что никак не может на это согласиться: или епископ не понимает, что такое поведение может причинить только вред делу, а не пользу, что не делает чести его голове; или он хитрит, чтобы, испортив дело, после вывернуться и всю вину сложить на других, выставляя на вид, что внутренне согласен был с ним, послом. «Я прошу епископа, — продолжал Репнин. — чтоб он и словами и поступками, прямодушно и явно действовал в пользу совершенного равенства диссидентов с католиками»³⁵.

Между тем король понимал, что только тот может утишить бурю, кто ее поднял; понимал, что только Репнин может защитить его от врагов — и отдался в полное распоряжение русского посла. «Король, — писал Репнин, — со мною разговор имел, в котором неоднократно с клятвами обещал именно сими терминами, что хотя бы все струны лопнули, хотя бы все наши партизаны от нас отстали, хотя бы, наконец, один он остался, но непременно и непоколебимо нас держаться станет и без изъятия все то делать будет, что я потребую для успеха диссидентов и желанных нами дел, то есть и ручательства»³⁶. Но надобно было условиться с королем: чего же именно требовать для диссидентов, как разуметь уравнивание прав.

Подчиняя все политическим расчетам, Панин прямо писал Репнину, что русское правительство, стараясь о диссидентском деле, вовсе не должно иметь в виду распространения в Польше православия и протестантизма в ущерб католицизму. Самое видное право, которое всего лучше свидетельствовало об уравнивании православных с католиками, состояло в том, чтобы православные архиереи могли присутствовать в сенате наравне с католическими, — право, которое еще в XVII веке было уступаемо православным на

³⁵ Репнин Панину 12 (23) сентября

³⁶ Репнин Панину 30 августа (10 сентября)

бумаге; но на деле католики никогда не могли решиться пустить православного архиерея в сенат. Теперь православные требовали, чтоб епископ Белорусский получил место в сенате; но король требовал, чтобы вместе с православным епископом вошли в сенат и два униатские. Россия требовала уравниения прав не для одних православных, но для всех диссидентов, действовала тут не одна, но вместе с другими державами протестантскими, следовательно, исключительности быть не могло.

Но Панин взглянул на дело и с другой стороны. «Хотя, — писал он, — помещение в сенате двух епископов униатских и согласует отчасти в существе своем с вышеположенным главным правилом (чтобы не иметь в виду распространения других вероисповеданий в ущерб католицизму), однако же в рассуждении настоящего, совсем разнствующего случая было бы весьма *прикро* для славы ее императорского величества. Не может ли такое униатских епископов помещение показаться свету как бы нарочно сделанное в досаду ее величества, когда, напротив, самое состояние дел требует, чтоб все ее желания исполнены были».

На второе и третье требование короля, чтобы королем мог быть только католик и чтобы католическая религия была признана господствующею, Панин изъявлял согласие, но не соглашался на четвертое — об определении наказания отступникам от господствующей религии. Панина затрудняло то, что издавна позволено было униатам переходить в православие, и потому надобно, писал он, «сохранить пред глазами публики непорочность наших намерений, касающихся до нашей собственной веры». На пятое королевское требование, чтобы необходимое число диссидентов в сенате и сейме было с точностию определено, Панин соглашался; требование это он даже считал для себя желательным, потому что без точного определения числа королю-католику и шляхте католической, составляющей огромное большинство, легко будет вовсе удалять диссидентов; но Панин не хотел согласиться на шестое требование — чтобы четыре епархии, отступившие в унию, оставлены были в настоящем их состоянии нетронутыми. «Требование это, — писал он, — будучи само по себе согласно с главным нашим правилом, не повстречало бы, конечно, с нашей стороны препятствия; но как всякое о сих епархиях упоминание может подлежать неудобству, выше сего описанному, то дабы в рассуждении их не навести себе и королю польскому новых и напрасных хлопот, всего лучше будет оставить их со всею униєю как на сейме, так и в будущем трактате в полном и неприкосновенном молчании, яко такую секту, которая ни с тем, ни с другим законом прямо соединенною считаться не может»³⁷.

Эти решения Панина не остались без сильных возражений со

³⁷ Панин Репнину 14 августа 1767 г.

стороны Репнина. «Если воспрепятствовать введению униатских епископов в сенат, то это будет значить, что мы требуем уже не равенства, а преимуществ; давая православным больше прав, побуждаем униатов переходить в православие: как же не будем иметь в виду распространение нашей веры? Правда, что по закону 1635 года позволено было свободно переходить из унии в православие и наоборот, но о католиках нигде не упоминается, а есть найстрожайшие законы, которые запрещают отступать от католической религии: каким же образом будет успокоить сумасбродство и фанатизм, представляющий себе, что мы хотим совсем другое исповедание здесь ввести и их всех от католической религии отвортять, когда не позволим возобновить этих законов? Нельзя определять необходимое число диссидентских депутатов на сейме, потому что несколько сеймиков в разных местах может разорваться, но это не мешает собираться сейму, хотя в нем и не будет депутатов с разорванных сеймиков; теперь может случиться, что сеймики разорвутся именно в тех местах, которые должны будут присылать диссидентских депутатов, то неужели сейм не будет иметь права собираться вследствие отсутствия диссидентских депутатов, когда он собирается при отсутствии католических? Разве мы можем этого требовать? В сенате может быть допущено определенное число диссидентских членов, но, разумеется, отсутствие кого-нибудь из них по болезни или другой какой-нибудь причине не может уничтожить сенатских советов. Чтоб оставить в молчании четыре отпадные на унию наши епархии, стараться я стану; но если сумасбродство и фанатизм представляют себе, что мы хотим увеличить здесь число своих исповедников, чем же то успокоить?»³⁸

Сами диссиденты усиленно просили, чтобы не вводить их в правительство определенным числом: с лишком полуторавековое гонение, испытанное ими от господствующей религии, истребило между ними знатную шляхту, и потому у них не было достаточного числа кандидатов на высшие места. Самое назначение епископа Белорусского в сенат встречало затруднение: как сенатору ему следовало быть шляхетского происхождения. Конисский думал, что в Малороссии есть монахи из польской шляхты, и Репнин просил Панина осведомиться об этом и дать знать, если найдутся люди, соединяющие с шляхетским происхождением личные качества, достойные сенаторского звания³⁹.

Но в то время как Репнин думал еще о возможности утушить фанатизм, сохраняя уважение к законам страны, не касаясь прав господствующей религии, Солтык с товарищами вели дело к другой развязке. Получив возможность сконфедероваться благодаря России, с помощью русского войска, теперь, чтобы отвергнуть русские

³⁸ Репнин Панину 6 (17) сентября

³⁹ Репнин Панину 21 сентября (2 октября).

требования, они, разумеется, прежде всего должны были требовать удаления этого войска. «Сейма нельзя держать при иностранных войсках!» — кричали они. Чтобы заглушить эти крики, король и маршалы конфедераций согласились с Репниным, чтобы конфедерация декретом своим объявила русские войска дружескими и помогающими вольности народной; потом для избежания противоречия и *шумов* конфедерация должна была объявить, что все присяги, принесенные на сеймиках земскими послами в противность смысла акта конфедерации и в противность точных прав, уничтожаются. Но конфедераты отвергли оба декрета, несмотря на все старание обоих генеральных маршалов, и главным деятелем в этом случае явился незначительный шляхтич Кожуховский, креатура маршала Мнишка. Репнин велел взять Кожуховского под арест и потом скоро выпустил; но уже кратковременного ареста было достаточно, чтобы сделать Кожуховского мучеником веры: папский нунций отправился к нему с визитом, за нунцием — поляки толпами. Тогда Репнин отослал Кожуховского в его деревню под караулом⁴⁰.

23 сентября должен был начаться сейм. В этот день, когда послы съехались у князя Радзивилла, чтобы оттуда вместе отправиться на первое заседание, приезжает нунций и начинает говорить, что вера погибает, что их долг — защищать ее до последней капли крови, а не допускать до уравнивания с прочими религиями. Именем папским объявил он, чтобы никак не соглашались на назначение от республики делегатов с полною мочью для переговоров с русским послом, ибо следствием будет необходимо гибель веры. Собрание было сильно наэлектризовано: послышались со всех сторон рыдания, клятвы, что готовы погибнуть за веру, что мученическая смерть будет им приятна. В самый разгар этих сцен вдруг является в собрание Репнин. Несколько умеренных депутатов выбежало к нему навстречу с увещаниями, чтобы возвратился, иначе они ни за что не отвечают; но Репнин не принял их советов и вошел прямо в середину толпы, которая встретила его криком, что все готовы умереть за веру.

«Перестаньте кричать! — сказал громко Репнин. — А будете продолжать шуметь, то и я с своей стороны шум заведу, и мой шум будет сильнее вашего». Тут оправились и маршалы конфедераций, стали уговаривать депутатов перестать кричать. Когда водворилась тишина, Репнин начал: «Я приехал только с визитом к князю Радзивиллу, а не трактовать с вами, потому что никто из вас этой чести иметь не может, не будучи уполномочен от республики; но частным образом, по-приятельски, скажу вам, что удивляюсь и сожалею, видя вас в таком возмутительном состоянии; вы позабыли, сколько имеете доказательств доброжелательства ее императорского вели-

⁴⁰ Репнин Панину 21 сентября (2 октября)

чества; позабыли, что только под ее покровительством могли вы сконфедероваться для сохранения своей вольности и прав».

Тут речь Репнина была прервана криком: «Мы соединились также и для сохранения закона католического!» В другой раз объявил Репнин, чтобы перестали шуметь, иначе сам шуметь станет, и, когда крики утихли, продолжал: «Никто не отнимает у вас права иметь ревность к своему закону, эта ревность, конечно, похвальна; но разве кто хочет нарушать права римского вероисповедания? Если вы подлинно верны своему закону, то должны исполнять его справедливые предписания, чтобы никому в вере принуждения не делать, быть непоколебимыми в сохранении своих обязательств и в отдаении справедливости каждому. Если хотите жить в добром соседстве с Россией и пользоваться покровительством ее императорского величества, то соблюдайте договоры». Ответа на эту речь не было, но раздались крики: «Освободить Кожуховского!» «Если станете кричать, — отвечал Репнин, — ничего не сделаю; криком у меня ничего не возьмете; просите тихим, учтивым, порядочным образом, и тогда, может быть, сделаю вам удовольствие». Подошел Радзивилл и стал просить учтиво о Кожуховском; Репнин обещал и немедленно исполнил обещание.

Теперь надобно было хлопотать, чтобы на сейме тем или другим образом началось дело о диссидентах. Репнину хотелось, чтобы сейм прислал к нему делегатов спросить, чего ее императорское величество желает для диссидентов. Если бы противники воспрепятствовали этому, то не оставалось другого средства, как послать на сейм для прочтения мемориал и просить решительного ответа. Во всяком случае Репнин хотел действовать сообща со всеми иностранными министрами, поддерживавшими вместе с Россиею диссидентское дело. Главным между ними был прусский министр Бенуа; но Репнину дали знать, что Бенуа под рукою препятствует успеху диссидентского дела, уверяя, что русские только грозят, а никогда угроз своих не исполнят, да и король прусский не выдаст поляков; особенно Бенуа хлопотал, чтобы не была принята русская гарантия. Так же под рукою тихо, но усердно работали против гарантии Чарторыйские, видаясь по ночам с краковским епископом. Со стороны Чарторыйских особенно сильно действовал против России князь Любомирский, великий маршалок коронный, но также под рукою. Зная расположение к России князя Адама Чарторыйского, старики дядья запретили ему под проклятием и лишением наследства быть делегатом для трактования с Репниным о диссидентском деле. Репнин имел по этому случаю разговор с князем Адамом, уговаривал его быть делегатом, представляя, какие вредные следствия могут произойти от их упорства. Чарторыйский отвечал, что чувствует всю правду слов Репнина, но согласиться на его требование не может. Репнин видел, что бедный Адам говорил от искреннего сердца, потому что навзрыд плакал.

Между тем благодаря стараниям Солтыка с товарищами умы всех депутатов были так настроены, что нечего было ожидать согласия на начатие переговоров с Репниным относительно диссидентского дела и гарантии. Сеймовое заседание 1 (12) октября началось речью епископа киевского, который в своих выходках против диссидентов дошел до того, что вольность, утвержденную законом, назвал дьявольскою, а не вольностию правоверных; потом начал протестовать против ареста Кожуховского и, обратясь к королю, требовал, чтобы тот не на словах только, а на деле показал свое правоверие. Король отвечал, что кроме усердия к вере католической он обязан еще иметь попечение о благополучии отечества; напомнил об обязательствах, в которые сама нация вступила чрез конфедерацию и посольство, отправленное к императрице; указал на вред, который произойдет, если этих обязательств не исполнить, и в заключение потребовал, чтоб прочтен был приговор конфедерации.

Когда приговор был прочтен, то начался страшный шум; со всех сторон крики: «Кто подписал грамоту?» На это отвечал секретарь конфедерации, что подписали маршалы по приговору соединенной генеральной конфедерации. Тут поднялся Солтык: «Вся конфедерация и сочинявшие ее советники отроду кредитных грамот не читывали и, верно, грамоте не умеют, если такую грамоту подписали». «Впрочем, — продолжал он, — я этому не удивляюсь, потому что конфедерация принуждена была к этому силою от абсолютной державы; но мы теперь можем и должны все ею сделанное ко вреду Польши ниспровергнуть, в том числе и эту грамоту, как противную религии и вольности; вольность наша нарушена совершенно взятием Чацкого и Кожуховского; надобно послать к русскому послу делегатов от сейма с требованием письменного ответа: по чьему повелению он так поступал и имел ли на то инструкцию. Прежде получения ответа от Репнина и прежде освобождения Чацкого не позволяю ничего ни делать, ни говорить на сейме. Согласны ли все на это?» Большая часть послов закричала: «Согласны!» Опять король начал тихую речь: «Сами не знаете, чего хотите; такая делегация оскорбит достоинство самой императрицы; вместо всего этого надобно прилежно рассмотреть поданный при начале сейма князем Радзивиллом проект, сличить его с основанием, то есть с актом конфедерации, и с грамотою, отправленною к ее императорскому величеству; для этого даю я времени до 16-го числа этого месяца». Заседание кончилось.

Узнавши эти подробности, Репнин почел необходимым покончить с Солтыком. Во вторник 2 (13) числа у краковского епископа собралось провинциальное заседание Малой Польши. Тут хозяин говорил еще сильнее, чем на сейме, против диссидентов и гарантий и объявил, что сейма нельзя продолжать более как два дня, будущую пятницу и субботу, потому что обыкновенный двухнедельный

срок для чрезвычайных сеймов этими двумя днями закончится. Еще сильнее Солтыка говорил воевода краковский Венцеслав Ржевуский, за ним архиепископ львовский и епископ киевский — Залуский. Вся провинция была согласна с ними, исключая одного маркиза Великопольского, краковского земского посла, который тщетно противился этим решениям: никто его не слушал. Князь Чарторыйский, воевода Русский, быв в заседании, прямо противился гарантии, о диссидентах же и продолжении сейма говорил меж зубов.

Когда заседание кончилось и все разъехались, Солтык поехал ужинать к маршалу Мнишку. Узнав здесь, что команда, отправленная Репниным, уже дожидается его на возвратном пути, он расположился ночевать у Мнишка; тогда полковник Игельстром вошел в дом к Мнишку и арестовал Солтыка, оттуда отправился к Залускому, захватил его, а между тем подполковник Штакельберг забрал Ржевуского и сына его Северина, старосту Долинского. Все захваченные отправлены были с достаточным конвоем в Вильну, к генерал-поручику Нумерсу, которому приказано было содержать их с довольством и не оскорблять ничем⁴¹. На третий день после арестов явились к Репнину делегаты, по одному сенатору из каждой провинции, с просьбою, чтобы арестованным была возвращена свобода и чтобы остальные депутаты получили ручательство за свою безопасность. «Арестованных не выпущу, — отвечал Репнин, — потому что они заслужили свою участь: я не отдаю никому отчета в моих поступках, кроме одной моей государыни, и, если хотите, можете обратиться прямо к ней с своею просьбой. По всемилостивейшему обещанию ее императорского величества преимуществу и безопасности каждого члена республики будут свято соблюдены: если вы в свою очередь будете свято сохранять свои обязательства, заключающиеся в последних актах конфедерации и в грамоте, отправленной к ее императорскому величеству с посольством всей сконфедерованной республики; если земские послы поступать будут в силу данных им от сеймиков инструкций».

Все успокоилось. Назначена была комиссия для окончательного решения диссидентского дела и 19 ноября постановила следующее: все диссиденты шляхетского происхождения уравниваются с католическою шляхтой во всех политических правах; но королем может быть только католик, и религия католическая остается господствующею. Брак между католиками и диссидентами дозволяется; из детей, рожденных от этих браков, сыновья остаются в религии отца, дочери — в религии матери, если только в брачном договоре не будет на этот счет особенных условий. Все церковные распри между католиками и диссидентами решаются смешанным судом, состоящим наполовину из католиков и наполовину из диссидентов.

⁴¹ Репнин Панину 4 (15) октября

Диссиденты могут строить новые церкви и заводить школы; они имеют свои консистории и созывают синоды для дел церковных; всякий и не принадлежащий к католическому исповеданию может приобрести индигенат в Польше.

Между тем Репнин, которого обыкновенно представляют тираном короля Станислава, старался рассеять то впечатление, какое было произведено в Петербурге врагами Понятовского, членами посольства, отправленного к императрице конфедерациею, Виельгорским с товарищами. Он старался выставить услуги, оказанные королем России в последнее время; старался показать, что нет никакой нужды приносить Станислава-Августа в жертву врагам его, которые вовсе не сильны, и что конфедерация не имеет той важности, какую ей приписывают ее посланники в Петербурге; стоит только удовлетворить троих или четверых вождей — и все успокоится. Репнин представлял, что интересы императрицы требуют уважать короля, доказать ему, что с ее дружбою тесно соединено его благополучие, приобрести его полную доверенность и прямую привязанность; приверженный к России, король не будет отказывать ее посланнику в просьбах о награждении людей, преданных России, и таким образом легко будет составить себе сильную партию. Но как привязать к себе короля, как составить себе партию из лучших, достойнейших людей? Король и лучшие люди желали ограничения *liberum veto*.

Репнин по этому поводу писал Панину: «Если вы намерены Польше дать какую, хоть малую консистенцию, для употребления иногда против Турок, то внутренний сей порядок позволить нужно, ибо без оного никакой, ни самой малой услуги или пользы мы от нее иметь не будем: понеже сумятица и беспорядок в гражданстве и во всех частях в таком градусе, что уже более быть не могут. Если желаете, чтобы по-прежнему все головою материи на сеймах под единогласием трактовались, чтобы чрез *liberum veto* сеймы, как и прежде, разрывались, то и оное исполню. Сила наша в настоящее время все может. Но осмелюсь то представить, что не только тем не утвердим доверенность нации к нам и нашу здесь инфлюенцию, но, напротив, совсем оные разрушим, оставя в сердцах рану всех резонабельных и достойных людей, которые разделения законов желают (на государственные, проходящие единогласием, и внутренние, принимаемые по большинству голосов), на которых одних надеяться можно и которые наконец одни же только и могут чрез свой рассудок нацией предводительствовать, следовательно, и оскорбим мы ту большую часть нации, если подвергнем ее прежнему беспорядку чрез совершенное разрывание сеймов, особливо когда желаемый ими порядок нам не вреден, чрез которое легко будет доказать всей нации, что мы много не желаем, как ее видеть в порабощении и сумятице. Такое мнение произведет натурально крайнюю недоверку и сильно, следовательно, препятствовать будет к

собранию нам в не зависимую ни от кого, кроме нас, партию надежных и достойных людей, на коих бы мы характер и на их в народе инфлюенцию полагаться могли. Если ж нашу партию соберем из людей, кои почтения в нации не имеют, то они нам более будут в тягость, нежели в пользу, не имея сами по себе никакого кредита: и так принуждены будем все делать единственною силой, которая совершенно разрушает сей важный предмет, чтобы свою независимую в земле партию иметь; из сего же то произойдет, что при первом случае, при коем аттенция наша или силы отвращены будут в другую сторону, Польша, по бессилию только снося строгость нашего ига, тем воспользоваться захочет, дабы одного избавиться. Правда, нами сделаны обещания чрез декларацию о испровержении всего того, что вопреки вольности народной последними сеймами постановлено было, обещая соблюсть нацию в ее преимуществах. Но не сдержим ли мы торжественным образом наши обещания, когда форму правления чрез кардинальные законы так утвердим, что уже не только конфедерации, но и самое единогласие того переменить не будет в силах? Не оставим ли мы нацию в преимуществах *liberum veto*, когда все штатские материи одним единогласием на вольных сеймах решены быть могут? Достойное все принадлежит до единого порядка, как-то внутренности судебного обряда, тож економии учрежденных уже доходов и содержания имеющегося уже войска. Большая часть нации, в том числе все резонабельные люди, того желают. Не верьте, ваше сиятельство, тем, кои вам противное сему от имени сконфедерованной нации говорят. Заседания конфедерации совсем с начала сейма ни единого не было, а без собрания такового никакие повеления именем ее посылаться не могут. Сии все доношения, вам чинящиеся, суть токмо плоды интриги, желая при настоящем случае в мутной воде рыбу ловить и забирая на свои персоны репрезентации нации»⁴². Репнин оканчивает свои представления словами: «Какая слава составить счастье целого народа, позволив ему выйти из беспорядка и анархии! Я верю в возможность соединения политики с человеколюбием; я льстился быть исполнителем намерений императрицы и вместе содействовать счастью народа, у которого я имею честь быть ее представителем»⁴³.

«Для чего бы не позволить пользоваться соседям некоторым нам индифферентным порядком, который еще и нам иногда может в пользу оборотиться?» — заметила императрица на донесение Репнина, и вследствие этого относительно сеймовой формы было постановлено, что в первые три недели будут решаться только экономические вопросы — и решаться большинством голосов; все же государственные дела будут решаться в последние три недели — единогласием.

⁴² Репнин Панину 11 (22) декабря 1767 г

⁴³ Репнин Панину 12 (23) декабря

ГЛАВА IV

В начале 1768 года в Петербурге могли думать, что тяжелое польское дело окончено. Репнин был щедро награжден; конфедерация, как достигшая своей цели, распущена; русские войска вышли из Варшавы, готовились выйти из королевства, как в марте месяце были получены в Варшаве известия о беспоконствах в Подолии. Подкоморий Розанский Красинский, брат епископа Каменецкого, вместе с Иосифом Пулавским, известным адвокатом, захватили город Бар, принадлежавший князю Любомирскому, и подняли там знамя восстания за веру и свободу. Монах-фанатик Марк из Бердического монастыря с крестом в руках ходил по селам и местечкам, проповедуя необходимость приступить к конфедерации. В Галиции образовалась другая конфедерация, под предводительством Иоахима Потоцкого, подчасшего литовского; Рожевский провозгласил конфедерацию в Люблине. Но восстание это вовсе не было народным: громкие слова «*вера и свобода*» не производили впечатления на массу; трудно было подниматься за веру, полагаясь только на слова какого-нибудь отца Марка, не видя, кто и как утепняет веру; трудно было подниматься за свободу, которую пользовалась одна шляхта, и пользовалась ею для того, чтобы составлять конфедерации то против одного, то против другого, приглашая на помощь чужие войска, а теперь хотела поднять конфедерацию для вытеснения этих войск, провозглашая их врагами свободы; но в чем состояла эта враждебность — понять было очень трудно. Кроме недостатка сочувствия в народе успехам конфедерации вредила поспешность, с какою она была провозглашена, неприготовленность средств, недостаток военных способностей и военной школы в вождах конфедерации. Поэтому конфедераты ждали спасения только от чужеземной помощи. Каменецкий епископ Красинский обегал дворы — Дрезденский, Венский, Версальский, проповедуя всюду, что Россия хочет овладеть Польшею и какая беда будет от этого всей Европе! Но более всего защитники веры ждали помощи от турок.

Несмотря, однако, на это невыгодное положение конфедератов, они могли на первых порах затянуть борьбу с Россией вследствие малочисленности русских войск в Польше: страшных притеснителей веры и свободы польской было не более 16 000 во всем королевстве, причем особенно мешал успешному преследованию конфедератов недостаток в легкой кавалерии. 27 марта состоялось сенатское решение — просить императрицу Всероссийскую, как ручательницу за свободу, законы и права республики, обратиться к своим войскам, находившимся в Польше, на укрощение мятежников. Репнин двинул войска в разных направлениях, и конфедераты нигде не могли выдержать их напора. Города, занятые конфедератами, — Бар, Бердичев, Краков — были у них взяты; но трудно было уго-

няться за мелкими шайками конфедератов, которые рассыпались по стране, захватывали казенные деньги, грабили друга и недруга, католика и диссидента, духовного и светского человека. Награбивши денег, шайки эти дубегали в Венгрию или Силезию.

Страшная смута и рознь господствовали повсюду: брат не доверял брату; у каждого были свои виды, свои интересы, свои интриги; никому не было дела до отечества, лишь бы страсть его была удовлетворена, лишь бы частные его дела обделались; один брат писал громоздкие манифесты против русских и соединялся с конфедератами — другой заключал контракты с русскими, брался поставлять в их магазины хлеб и овощи⁴⁴. Между конфедератами особого рода удалью отличался ротмистр Хлебовский: встретив на дороге нищего, жида или так какого-нибудь пешехода, сейчас повесит на первом дереве, так что, говорят современники-поляки⁴⁵, русским не нужно было проводников: они могли настигать конфедератов по телам повешенных. Шайка Игнатия Малчевского, старосты Сплавского, полтора года водила за собою русских; где могли русские ее настигнуть, всякий раз били; но шайка не уменьшалась, потому что плата хорошая, корму много, и притом дарового, разврат, полная власть над жителями страны, унижение самых знатных панов перед конфедератами, которые недавно были их слугами, — все это тянуло под знамена конфедерации всякую голь, дворовую служню, горожан и крестьян, которые не хотели работать. За один или два часа страха, испытанного при встрече с русскими и в бегстве от них, достаточною наградой было роскошное гулянье по стране в одежде защитника веры и вольности⁴⁶. К опустошению страны конфедератами присоединился еще бунт гайдамаков, который начался таким образом.

Князя Любомирские, маршалок великий коронный и брат — воевода Любельский, заставили третьего Любомирского, слабоумного пьяницу, подстолия литовского, владельца огромных имений, передать торжественным актом это имение своим детям, причем ему самому и жене его выговорена была ежегодно значительная сумма из доходов. Так как дети Любомирского были малолетние, то назначены были опекуны. Но эта сделка не нравилась Сосновскому, писарю литовскому, любовнику княгини Любомирской, обманутому в надежде составить себе состояние. Он стал наговаривать княгине, чтобы выкрала мужа из Варшавы и пусть он опять примет имение в свое заведование: тогда она будет управлять слабоумным мужем и его имением, а не фамилия Любомирского и не опекуны. Княгиня взбунтовала мужа, выкрала его из Варшавы

⁴⁴ Депеша саксонского посланника Ессена к своему двору, 7 декабря 1768

⁴⁵ Pamiętniki do panowania Augusta III, 1 pierwszych lat Stanisł Augusta, II, 73

⁴⁶ Там же, стр 90

и привезла на контракты в Львов в 1768 году. Здесь люди совестливые не входили с ним ни в какие сношения; но наехали игроки из Варшавы, обыграли Любомирского и заставили заплатить карточный долг именьями под видом покупки. Но покупщики очень хорошо знали, что дело не обойдется легко, что опекуны детей Любомирского не впустят их ни в одно имение. Надобно было найти людей, которые, получив полномочие от Любомирского, приняли бы на себя обязанность бороться с опекунами и ввести во владение покупщиков. Такие люди нашлись: два шляхтича, Бобровский и Волынецкий.

Бобровский отправился комиссаром в имение Любомирского Побереже; но его никто там не хотел слушать, едва ушел поздорову, потому что один из опекунов, Швейковский, узнав о львовских проделках, разослал по всем именьям приказы, чтобы никто из управляющих не смел слушать Бобровского и Волынецкого, какие бы бумаги от князя Любомирского они ни показывали. Бобровский, выгнанный из Побережа, снесся с Волынецким, и оба решили ехать в другое имение Любомирского, Смилянщизну, и поднять здесь крестьян обещанием уничтожения унии. Чтобы иметь помощь и с другой стороны, они отправились в Бар к Пулавскому, маршалу конфедерации, с просьбою, чтобы признал их советниками конфедерации и дал свои бланкеты для написания разных приказов его именем, за что обещали ему доставить для конфедерации тысячу вооруженных казаков. Пулавский легко согласился на их желание. Получивши бланкеты, Бобровский и Волынецкий с торжеством поехали в Смилу, укрепленный замок Любомирского. Но ворота заперты, пускать не велено; управляющего Вонжа нет дома, но отлично распоряжается всем его жена; в замке 50 казаков гарнизона, пороху и всяких запасов много. «Муж мой не знает никаких комиссаров князя Любомирского, кроме опекунов молодых князей», — велит жена управляющего отвечать Бобровскому и Волынецкому на их требования отворить замок и на их угрозы. Тогда комиссары обращаются к казакам, живущим на землях в имении, и уговаривают их атаковать замок, но гарнизонные казаки отбивают нападение. Бобровский и Волынецкий придумывают средство: велят схватить жен и детей гарнизонных казаков и ставят их в первую линию казаков, идущих на вторичный штурм. Но и это средство не помогло: гарнизонные казаки стреляют, несмотря на то что от их пуль падают их жены и дети. Видя такой страшный грех, казаки не пошли на штурм и отказались повиноваться комиссарам. Бобровский и Волынецкий, которые за несколько дней перед тем обещали им ратовать за православие, теперь начали им грозить, что придет Барская конфедерация и истребит их всех до одного человека и псы будут лизать их кровь за их непослушание. Угроза не подействовала: казаки не шли штурмовать замок. Тогда Бобровский и Волынецкий решились ехать в Бар и, чтобы исполнить обе-

шание, данное Пулавскому, велели начальнику казаков Тымберскому ехать за ними туда же со всеми казаками. Тымберский не смел послушаться приказа, написанного от имени маршалка конфедерации (на бланкете Пулавского), и повел казаков вслед за комиссарами.

Тымберский был человек огромного роста и толщины, тяжело ему было ехать верхом, и коню было тяжело везти его — стал просить Бобровского и Волынецкого, чтобы позволили ему сойти с лошади и пересесть на телегу. Те позволили. Но как скоро Тымберский переселился на телегу, казацкие старшины, сотники, атаманы, есаулы, остановили его и обступили Тымберского с вопросом: «Куда нас ведешь, пан полковник?» «Приказ имею от маршалка конфедерации Барской явиться с вами в Бар», — отвечал тот. «Если хочешь, пан полковник, — сказала старшина, — то ступай себе в Бар один, — и, обратившись к казакам, крикнули: — Молодцы! За нами, домой, в Смилянщизну!» И след простыл. Бобровский, Волынецкий и Тымберский поскакали одни в Бар, боясь за собою погони казацкой.

Вспомним, что Волынецкий грозил казакам и крестьянам приходом войск конфедерации, которые истребят их всех. Как нарочно, чрез несколько дней разнесся слух, что идут две польские хоругви, ведут пойманных на разбое гайдамаков, чтобы сажать их на кол на месте преступления в Смилянщизне. Казаки, боясь, что это войско прислано для их наказания за покинутие Бобровского и Волынецкого, стали перебегать за русскую границу, за Днепр, под Переяславлем, где их пускали и с лошадьми, оставляя только оружие их при рогатках.

Между посаженными на кол гайдамаками находился родной племянник игумена, эконома переяславского архиерея. Этот игумен, раздраженный позорною смертью племянника, стал уговаривать бывших в то время в Переяславле на богомолье запорожцев и главного между ними — Железняка, чтобы они подняли с поляками войну за веру, потому что поляки устроили Барскую конфедерацию против православной веры. Для сильнейшего убеждения игумен показал Железняку на пергаменте указ императрицы подниматься против поляков за веру; титул был написан золотыми буквами, подпись и печать подделаны. Железник отвечал игумену, что с несколькими сотнями запорожцев он не может начать этого дела; тогда игумен сказал ему: «А вот недалеко, при рогатках, много беглых казаков, которые убежали от войск конфедерации, потому что поляки хотели их всех истребить; уговорись с этими казаками, и ступайте в Польшу, режьте ляхов и жидов; все крестьяне и казаки будут за вас».

Железник пошел к казакам, показал им поддельный указ императрицы — и все вместе вторгнулись за Днепр, поднимая крестьян и казаков, истребляя ляхов и жидов. На деревьях висели вместе:

поляк, жид и собака — с надписью: «Лях, жид, собака — вера одна».

Так рассказывает о происхождении гайдамацкого бунта поляк-современник, слышавший подробности от людей, самых близких к событию. При начале своего рассказа он говорит: «Это дело имело вид, как будто бы произошло по наущению русского правительства, но в самом деле поводы были другие»⁴⁷.

Репнина сильно раздосадовал гайдамацкий бунт. Он указывал на переяславского архиерея Гервасия и матренинского игумена Мелхиседека как на «некоторую причину» волнения, особенно вооружался против Мелхиседека, известного ему своим беспокойным характером; требовал, чтобы все православные польских областей были отданы в ведомство епископа Белорусского, которого через это можно вывести из нищеты, предосудительной для достоинства православного закона⁴⁸.

Бунт ширился, обхватил Смилянщизну, грозил Умани, принадлежавшей киевскому воеводе Потоцкому. У Потоцкого главным управителем здесь был Младанович, а кассиром Рогашевский. Управляющий и кассир посылали тайком жидов к воеводе наговаривать друг на друга. Для разбора, кто из них прав, кто виноват, Потоцкий отправил в Умань пана Цесельского, который рассказал Младановичу и Рогашевскому, какие доносы на них были сделаны воеводе. Те, вместо того чтобы заподозрить друг друга, заподозрили сотника Гонту, которого любил Потоцкий и поручил ему заселение слобод, почему Гонта и ездил часто к воеводе. Управляющий и кассир стали мстить Гонте, потребовали 100 злотых за сотничество, и это в то время, когда казацкий бунт кипел по соседству.

Пришло требование от Барской конфедерации, чтобы выслали в Бар всю милицию и казаков воеводы киевского. Но воевода распорядился иначе: он велел Цесельскому забрать всех казаков и поставить их на степи, над рекою Синюхою, составлявшею границу с Россиею, а к Пулавскому написать, что вместо казаков, которые не будут охотно биться с русскими, он приказал сформировать из шляхты конную и пешую милицию и отослать с трехмесячным жалованьем и провиантом в Бар. Цесельский, Младанович и Рогашевский, чтобы не истощать казны воеводской сформированием милиции, назначили на этот предмет чрезвычайный побор с казаков — и все это когда казацкий бунт кипел по соседству и уманьские казаки стояли в степи, на Синюхе, под начальством сотника — Дуски, Гонты и Яремы, готовые союзники для Железняка.

Одни жида чуяли беду и явились к Цесельскому с представлениями, что надобно остерегаться Гонты, тем более что он теперь главный: Дуска умер в степи. Жида говорили, что Гонта наверное

⁴⁷ *Pamiętnik do historii polskiej* Adama Moszczyńskiego Стр 126 и след

⁴⁸ Репнин Панину 20 (31) августа 1768 года

сносится с Железняком; что есть слух, будто Гонта предлагал Дуске соединиться с Железняком, но будто тот отвечал: «Семь недель будете пановать, а семь лет будут вас вешать и четвертовать».

Напуганный жидами, Цесельский послал приказ Гонте немедленно явиться в Умань. Тот прискакал и был сейчас же закован в кандалы, а на другой день уже вели его на площадь, под виселицу. Но с счастливой руки Хмельницкого казацких богатырей все спасали женщины. И тут взмолилась за Гонту жена полковника Обуха: «Оставьте в живых, я за него ручаюсь». Тронулся Цесельский просьбами пани Обуховой и отпустил Гонту — опять в стан на Сихоуху начальствовать казаками! Жида увидели, что судьба их в руках того, кого они подвели было под виселицу: они наклали брыки сукнами и разными материями, собрали денег и отвезли Гонте с поклоном: «Батюшка! Защити нас!» Гонта сказал жидам: «Выхлопочите у пана Цесельского мне приказание выступить против Железняка». Жида выхлопотали приказ; но Цесельский велел трем полковникам принять начальство над казаками. Эта мера не помогла; на дороге Гонта объявил полковникам: «Можете, ваша милость, ехать теперь себе прочь, мы в вас уже не нуждаемся». Полковники убралась поскорее в Умань, а Гонта соединился с Железняком. Скоро вся толпа явилась под Уманью; в ближнем лесу разостлали ковер, на котором уселись Железняк с Гонтой, казаки составили круг, и какой-то подьячий читал фальшивый манифест русской императрицы. Потом началась попойка и шла всю ночь.

В замке Уманьском уже не было больше Цесельского: он исчез; главное начальство перешло к Младановичу. К нему явился комендант Ленарт и объявил, что пьяные казаки ночуют на фольварке и что их ничего не стоит вырезать, сделавши вылазку из замка. Но Младанович никак на это не решился; он созвал жидов, велел им нагрузить брыки дорогими материями и везти к Железняку и Гонте в подарок с просьбою о капитуляции. Гонта и Железняк, пьяные, приняли подарки с удовольствием, но переговоры отложили до утра.

Действительно, утром на другой день оба предводителя со всею старшиной подъехали верхом к городским воротам, перед которыми был мост, переброшенный через глубокий ров. Комендант Ленарт велел зарядить картечью четыре пушки; но Младанович и Рогашевский, увидавши это, закричали: «Что вы делаете? Вы нас всех погубите!» Шляхта полегла на пушках и отогнала артиллеристов, а между тем Младанович спешил окончить переговоры с Железняком; положили: 1) казаки не будут резать католиков, шляхту и поляков вообще, имения их не тронут; 2) в жидах и их имения казаки вольны. По заключении капитуляции все поляки пошли в костел, а казаки ворвались в город и начали резать жидов. Потом, когда все жида были перерезаны, добрались до милиции, назначенной в Бар; покончив с нею, пошли к костелу и начали вытаскивать

оттуда мужчин, женщин, детей и бить; некоторых женщин, которые понравились, взяли за себя замуж, а детей усыновляли. Младанович и Рогашевский погибли от Гонты; весь город был устлан трупами, глубокий колодезь на рынке наполнился убитыми детьми. Крестьяне по селам в это время били жидов, вязали посессоров и шляхту и привозили в Умань, где пьяные казаки убивали их.

После этих подвигов Гонта провозгласил себя воеводою брацлавским, а Железняк — киевским, и разослали в разные стороны отряды резать шляхту и жидов. Но Железняк и Гонта недолго наводствовали: они были схвачены по распоряжению генерала Кречетникова; гайдамацкий бунт потух; но следствия его обнаружались неожиданным образом. Один из разосланных Железняком и Гонтою гайдамацких отрядов под начальством сотника Шила направился к Балте, пограничному местечку, которое речка Кодыма отделяла от татарского местечка Галты. Балта славилась своими ярмарками, на которые приводили лошадей, рогатый скот, овец; для закуски лошадей приезжали ремонты из Пруссии и Саксонии. Местечко богатело от этих ярмарок; в нем жило много жидов, греков, армян, турок и татар: было кого порезать гайдамакам, было что пограбить. Шила со своим отрядом явился в Балту и начал тем, что поколол всех жидов; потом, прожив дня четыре спокойно, собрал свое войско и вышел из Балты. Увидав, что этим все кончилось, турки в Галте подняли крик и вместе с жидами перешли с татарской стороны на польскую; одни пошли на гору в погоню за гайдамаками, другие начали бить православных — сербов и русских, — грабить товары и зажгли предместье. Шила, услышав, что турки и жида напали на православных, возвратился, прогнал неприятелей на татарскую сторону, перешел вслед за ними в Галту и все здесь разорил и пограбил. На другой день битва возобновилась нападением турок, которые опять были прогнаны в Галту. После этого гайдамаки помирились с турками и много отдали им назад из пограбленного. Но как скоро Шила выступил в другой раз из Балты, турки и жида явились опять в местечке, начали ругать христиан, многих постреляли и порубили, церкви ограбили. Вслед за басурманами явились конфедераты — и православным стало не легче: каждый день поляки *ревизовали христиан*, били и убивали до смерти. Православные обратились с просьбою о защите к русскому полковнику Гурьеву и в просьбе рассказали, как было дело. Просьба оканчивалась так: «Конфедераты очень хотят, чтобы нас теперь переловить и погубить; того ради просим не оставить нас и показать над нами жалость, просим нам, бедным, дать конвой, чтобы мы могли свое забрать. К сему отношению подписалось целое братство наше купеческое, греческое»⁴⁹. Уже давно Франция хло-

⁴⁹ Копия с доношения христианских обывателей Балты Гурьеву от 16 июня 1768 г приложена к депеше Репнина

потала в Константинополе, чтобы заставить турок вмешаться в дела польские и объявить войну России. Турецкое правительство придралось к событиям в Балте, обвинило Россию в нарушении границ и объявило ей войну. Восточный вопрос соединился с Польским. Турецкая война разделила русские силы, дала возможность конфедератам держаться, затруднила положение русского посла в Варшаве.

«Стараться я, конечно, всячески буду о восстановлении спокойствия; но, к несчастью, не все так идет, как желается»⁵⁰, — писал Репнин в Петербург. Чарторыйские увидели затруднительное положение России, принужденной теперь вести томительную и бесплодную войну, и заговорили иначе; особенно переменили они тон, когда началась Турецкая война, вначале неудачная для России. Чарторыйские начали заговаривать с Репниным о необходимости изменить постановление о диссидентах и гарантии. Королю, который до сих пор преклонялся перед силою России, — королю показалось, что в Барской конфедерации высказалась другая сила — сила польской национальности. Как обыкновенно поступают люди с его характером, он испугался этой новой силы, стал кланяться перед нею и также заговорил с Репниным о необходимости для прекращения волнений отступить от диссидентского дела и гарантии. «Я сам знаю, — писал Репнин, — что волнения прекратятся, если мы отступимся от этих двух пунктов, но дороже бы сия тишина была куплена, нежели она стоит», и потому он «сделал королю самый короткий и ясный отказ». Прусский посланник Бенуа также обратился к Чарторыйским с просьбою, чтобы они откровенно объявили его государю о способах примирения; но Чарторыйские отвечали, что ни во что мешаться не могут и что судьба республики зависит единственно от хода событий, от того, как пойдет Турецкая война⁵¹.

Для успешного хода этой войны русским войскам необходимо было занять две крепости в польских владениях, Замосц и Каменец-Подольский, особенно последний, ибо, воюя с конфедератами и не зная, какой оборот может еще принять эта война, опасно было оставлять в тылу у себя такую важную крепость, которая могла быть сдана туркам. Замосц находился в частном владении у Замойского, который был женат на сестре королевской; поэтому Репнин частным образом обратился к брату короля, обер-камергеру Понятовскому, не может ли король написать партикулярно своему родственнику, чтобы тот не препятствовал русским войскам в занятии Замосця. Но король, вместо того чтобы отвечать частным же образом, собрал министров и объявил им, что русские хотят занять Замосц. Вследствие этого Репнину была прислана нота, что министер-

⁵⁰ Репнин Панину 20 (31) августа

⁵¹ Репнин Панину 5 (16) декабря

ство его величества и республики за долг поставляет просить не занимать Замосця.

Репнин не принял ноты, ответив, что он не требовал ничего относительно этой крепости, а великому канцлеру коронному Млодзеевскому заметил, что русские войска призваны польским правительством для успокоения страны: на каком же основании не давать им выгод, одинаких с выгодами польских войск? Когда же Репнин стал пенять королю, зачем он не сделал различия между поступком *конфидентной откровенности и министериальным*, то Станислав-Август прямо сказал: «Не сделай я так, ведь вы бы заняли Замосц». Репнин отвечал также прямо, что занятие Замосця необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега и что таким поступком король не удержит его от занятия крепости: «Я ее займу, хотя бы и с огнем». «Это занятие очень важно,— продолжал король,— стоит только начать». «Не разумеете ли вы Каменца?» — спросил Репнин. «Именно», — отвечал король. Тут Репнин сказал ему: «Мы из Польши в турецкие границы не выйдем, прежде нежели не будем иметь Каменец для учреждения там нашего магазина и пласдарма; итак, если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, то отдайте нам Каменец». Зная, что король уже повидался с дядюшками, Репнин спросил его: «Как ваше величество теперь с ними? Рассуждали ли о настоящих обстоятельствах?» Король несколько смутился и отвечал: «Они со мною по-прежнему холодны; что же касается настоящих обстоятельств, то они говорят то же, что и вам говорили, то есть что нужно посредничество чужестранных держав и что иначе нацию успокоить нельзя как отступиться от гарантии и диссидентского дела, позволить диссидентам только свободу вероисповедания, отнявши доступ в судебные места и в законодательство». «Это лекарство хуже болезни, и, конечно, мы его не употребим», — отвечал Репнин, — вам, другу России, обязанному ей престолом, не годится уничтожать общего дела: вы должны продолжать свою преданность к России, особенно когда видите, что все стараются свергнуть вас с престола, что и на Россию-то все сердятся за то, что мы поддерживаем вас на престоле». «Я бы охотно свое место оставил,— отвечал король,— если бы мог скоро успокоить свое отечество и доставить нации то, чего она так желает, то есть уничтожение гарантии и диссидентского дела».

В Совете королевском враждебные России голоса явно взяли верх: маршал коронный князь Любомирский и граф Замойский от своего имени и от имени Чарторыйских предложили, что войско правительства польского, назначенное под начальством Брианицкого действовать против конфедератов, должно немедленно распустить по непременно квартирам, иначе русские подговорят его на свою сторону и употребят против турок, из чего султан может заключить, что Польша заодно с Россиею против Турции. Любомир-

ский с товарищами сильно восстали против последнего сенатского Совета, который решил просить у России помощи против конфедератов. Браницкий противился распусшению войска, говорил, что это произведет неудовольствие в народе и возбудит подозрение в русском правительстве; но Замойский продолжал настаивать на распусшении войска и требовал, чтобы отныне принята была следующая система: не давать России явных отказов, но постоянно находить невозможности в исполнении ее требований, льстить, но ничего не делать; королю нисколько не вмешиваться в настоящие волнения, нейти против нации, не вооружаться и против турок, но выжидать, какой оборот примут дела. Король во время этих споров не отворял рта и наконец пристал к мнению Браницкого. Положено не распускать войска, но запрещено ему приближаться к турецким границам; позволено требовать русской помощи и соглашать с русскими войсками свои движения только против бунтующих крестьян; но вместе с русскими нигде не быть, не показывать, что польское правительство заодно с русскими⁵².

Вопрос о Каменце не переставал занимать Репнина, потому что императрица предписала стараться о занятии Каменца всеми способами — кроме насилия. Зная, что король снова подпал влиянию Чарторыйских, Репнин обратился к ним, выставляя необходимость занятия Каменца. Чарторыйские отвечали: «Лучше подвергнуть весь тот край совершенному опустошению, чем подать туркам причину к объявлению войны, тем более что еще неверно, обратятся ли турки к польским границам; да хотя бы и этих причин не было, то отдать Каменец недостойно патриотов». Репнин обратился к ним с вопросом: «Что, по вашему мнению, для вас выгоднее — чтобы Россия или Порты взяла верх в настоящей войне? Ибо от решения этого вопроса должно зависеть все ваше поведение». «Ни то, ни другое. — отвечали Чарторыйские. — Выгода наша состоит в том, чтобы не путаться нисколько в это дело». «Достоинство вашей короны страдает от презрительных отзывов Порты на ваш счет», — сказал Репнин. «Где нет бытия, там нет и достоинства, мы все потеряли», — отвечали Чарторыйские, и Литовский канцлер примолвил: «Il vaut mieux ne rien faire, que de faire des riens»⁵³.

Репнин обратился к королю. Те же ответы, какие слышал и от Чарторыйских. Репнин представил ему, что он глядит не своими глазами и что никогда не предстояло ему такой нужды быть в самом полном согласии с Россией, потому что она одна может спасти его от падения, которое ему готовят Порты и Франция и большая часть

⁵² Репнин Панину 20 (31) декабря: «Я все, что в приватном совете у короля происходило, знаю чрез весьма верного человека, который сам в том находился».

⁵³ «Лучше ничего не делать, чем заниматься пустяками» — непереводимая и ра слов, буквально: «Лучше ничего не делать, чем делать ничего» (*Примеч. ред*)

поляков. «Все это я очень хорошо вижу,— отвечал король,— но есть такой период бедствий, в который уже никакая опасность нечувствительна; я теперь именно в этом периоде и потому отдаю свой жребий во власть событиям». «Умоляю ваше величество подумать,— сказал на это Репнин,— теперь у вас еще есть хотя малая армия, а в марте месяце и той заплатит будет нечем; тогда если бы вы и захотели на что-нибудь решиться и к нам приступить, то уже будет не с кем».

Король отвечал на это уверениями, что он с своим войском не сделает ни шагу против русских. Репнин этому вполне верил, но знал, что как скоро жалованье прекратится, то весь этот сброд составит новые разбойничьи шайки. Репнин опять спросил короля: «Можем ли мы на вас надеяться?» «Я, кажется, доказал свое усердие, потеряв через него весь кредит в своей нации и дошедши до бессилия, которое мне в вину поставить нельзя», — отвечал король. «Конечно,— продолжал Репнин,— прошедшая ваша дружба забыта не будет, но надобно ее продолжать; а как скоро вы ее прекратите, то и все кончится». «Если ее императорское величество,— отвечал король,— даст мне возможность быть ей полезным, согласясь отступить совершенно от гарантии и частью от диссидентского дела,— даст мне через это способы возратить к себе любовь и доверенность моих подданных, то я докажу действительным образом, что нет человека преданнее меня ее императорскому величеству; но если она этого не сделает, то я хотя и останусь другом, но в совершенном бездействии и небытии».

Репнин отвечал, что императрица не может отступить от своих прав и компрометировать свое достоинство. Король повторил также решительный отказ относительно сдачи Каменца, и Репнин кончил разговор словами, чтобы король пенял во всем на себя, а русские будут уметь взять предосторожности, какие им нужны⁵⁴. В другом разговоре с Репниным король повел речь о возможности своего близкого падения. Репнин заметил ему, что всегда неприятно с престола сходить, а согнату быть и стыдно. «Меня, конечно, не сгонят,— отвечал король,— я умру, давши себя застрелить в своем дворце, а места своего не покину, буду здесь защищаться». «Лучше бы не дожидаться такой крайности,— возразил Репнин,— славнее было бы умереть в поле, а не в своей комнате, я сам пойду к вам в адъютанты, если только вы примете это мужественное намерение и соедините свои силы с нашими; слава и счастье сами не приходят, а надобно идти к ним навстречу и их искать». «В моем положении нельзя думать о славе,— отвечал король,— выше славы поставлю свой долг, а долг запрещает мне переменить свое поведение»⁵⁵.

⁵⁴ Репнин Панину 24 декабря 1768 г (4 января 1769 г)

⁵⁵ Репнин Панину 28 января (7 февраля) 1769 г

Итак, решение, принятое королем и Чарторыйскими, обозначилось ясно: или заставить Россию переделать свое дело, или оставаться в совершенном бездействии, дожидаясь, чем кончится борьба России с Турцией и конфедератами и как будут смотреть на эту борьбу другие державы; поставить через это Россию в самое затруднительное положение, ибо до сих пор ее уполномоченный в своих действиях опирался на польское правительство, а теперь это правительство складывало руки; но, объявляя себя не за Россию, оно тем самым объявляло себя против нее. В Петербурге хорошо понимали затруднительность этого положения, и, как обыкновенно бывает, нашлись люди, которые поспешили обвинить во всем Репнина: не так принялся за дело, слишком натянул, тем более что в жалобах из Польши на деспотизм посла не было недостатка. И людям, более сдержанным, не спешащим отсылать в пустыню козла очищения, могло казаться, что по новым обстоятельствам роль Репнина в Польше должна кончиться; что надобно попробовать, нельзя ли выйти из затруднительного положения путем некоторых уступок и соглашений, а для этого нужен был другой человек, которому легче было начать другой образ действий, чем Репнину.

Репнин был отозван в июне 1769 года; на его место назначен князь Михаил Никитич Волконский. Эта перемена, каким бы путем ни дошли до убеждения в ее надобности, была ошибкою. Князь Репнин был именно человек необходимый в Польше в описываемое время. Он отлично знал страну, знал людей и умел обходиться с ними. Пред началом каждого дела он соображал его трудности, могущие произойти неблагоприятные последствия и не таил их от своего правительства; но как скоро убеждался в необходимости действовать или получал решительное приказание из Петербурга, то принимался за дело — и уже ни шага назад, ни малейшего колебания. Репнина могли ненавидеть, но его не могли не уважать; при том несчастном характере, которым отличалось большинство польских деятелей, именно был нужен человек, которого бы уважали, которого бы боялись, как Репнина. Это было нужно не для одних поляков: началась война такого рода, которая наиболее могла способствовать ослаблению дисциплины в русской войске. Толпы конфедератов пробегали страну разбойничьими шайками, преследователи их могли легко увлечься примером: если свои поступали так, то чужие и подавно, особенно в стране, где враждебность к русским в известной части народонаселения, давившей остальные, высказывалась беспрестанно самым мелочным образом, наиболее вызывающим к насилию. Репнин не позволил бы ни одному русскому отряду подражать конфедератским шайкам: ручательством служило его поведение относительно генерала Кречетникова, занявшего себя корыстолюбием. Наконец, Репнин обладал военным талантом, что при тогдашних обстоятельствах было делом первой важности.

Прежде нежели приступим к обзору деятельности князя Волконского в Варшаве, взглянем, что делали конфедераты. Находившиеся в Валахии Иоахим Потоцкий и старик Пулавский перессорились насмерть. Потоцкий обнес своего врага перед турецким правительством — и Пулавский умер в константинопольской тюрьме. Двое сыновей Пулавского, Казимир и Франц, ворвались с своими бандами в Литву, но были окружены русскими и поражены при Ломазах: Франц был убит, Казимир бежал за австрийскую границу. Австрия давала убежище конфедератам в своих владениях, и главная квартира их была сначала в Тешене — в Силезии, потом в Епериесе — в Венгрии. Генеральным маршалом конфедерации провозглашен был Михаил Пац, староста Зёловский. С большими деньгами явился к конфедератам Радзивилл, снова отставший от русских и принужденный бежать от них из Литвы.

Австрия довольствовалась тем, что давала убежище конфедератам; Франция хотела оказать им более деятельную помощь. В 1768 году первый министр Людовика XV герцог Шуазэль отправил к конфедератам на границы Молдавии драгунского капитана Толеса. Толес приехал с значительною суммою денег; но, познакомившись с конфедератами поближе, нашел, что не стоит тратить на них французских денег; что ничего нельзя сделать для Польши, и решился возвратиться во Францию. Желая уведомить об этом решении своем герцога Шуазёля и боясь, чтобы письмо его не попало в руки к полякам, Толес написал: «Так как я не нашел в этой стране ни одной лошади, достойной занять место в конюшнях королевских, то возвращаюсь во Францию с деньгами, которых я не хотел употребить на покупку кляч»⁵⁶.

В 1770 году Шуазэль отправил в Епериес знаменитого впоследствии Дюмурье, чтобы помочь конфедератам установить порядок в их движениях против русских. Но и на Дюмурье конфедераты произвели такое же впечатление, как на Толеса. Вот что он рассказывает о них в своих записках⁵⁷. Нравы вождей конфедерации азиатские. Изумительная роскошь, безумные издержки, длинные обеды, игра и пляска — вот их занятия! Они думали, что Дюмурье привез им сокровища, и пришли в отчаяние, когда он им объявил, что приехал без денег и что, судя по их образу жизни, они ни в чем не нуждаются. Он дал знать герцогу Шуазёлю, чтобы тот прекратил пенсии вождям конфедерации, и герцог исполнил это немедленно. Войско конфедератов простиралось от 16 до 17 000 человек; но войско это было под начальством осьми или десяти независимых вождей, несогласных между собою, подозревающих друг друга, иногда дерущихся друг с другом и переманивающих друг у друга солдат. Все это была одна кавалерия, состоявшая из шляхтичей,

⁵⁶ Lettres du baron de Viomenil, p 7

⁵⁷ Liv 1, chap VII et VIII

равных между собою, без дисциплины, дурно вооруженных, на худых лошадях. Шляхта эта не могла сопротивляться не только линейным русским войскам, но даже и казакам. Ни одной крепости, ни одной пушки, ни одного пехотинца. Конфедераты грабили своих поляков, тиранили знатных землевладельцев, били крестьян, завербованных в войско. Вожди ссорились друг с другом. Вместо того чтобы поручить управление соляными копиями двоим членам Совета финансов, вожди разделили по себе соль и продали ее дешевою ценою силезским жидам, чтобы поскорее взять себе деньги. *Товарищи* (шляхта) не соглашались стоять на часах — они посылали для этого крестьян, а сами играли и пили в домах; офицеры в это время играли и плясали в соседних замках.

Что касается до характера отдельных вождей, то генеральный маршал Пац, по отзыву Дюмуре, был человек, преданный удовольствиям, очень любезный и очень ветреный; у него было больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем мужества. Он был красноречив — качество, распространенное между поляками благодаря сеймам. Единственный человек с головою был литвин Богуш, генеральный секретарь конфедерации, деспотически управлявший делами ее. Князь Радзивилл — совершенное животное, но это самый знатный господин в Польше. Пулавский очень храбр, очень предприимчив, но любит независимость, ветрен, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки по своей склонности к преувеличениям ставят выше подвигов Собеского.

Поляки храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу; они охотно жертвуют этой страсти имуществом и жизнью; но их социальная система, их конституция противятся их усилиям. Польская конституция есть чистая аристократия, но в которой у благородных нет народа для управления, потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, покупают, меняют, как домашних животных. Польское социальное тело — это чудовище, составленное из голов и желудков, без рук и ног. Польское управление похоже на управление сахарных плантаций, которые не могут быть независимы.

Умственные способности, таланты, энергия в Польше от мужчин перешли к женщинам. Женщины ведут дела, а мужчины ведут чувственную жизнь.

Дюмуре верно взглянул и на русских, на их положение в Польше. «Это превосходные солдаты, — говорит он, — но у них мало хороших офицеров, исключая вождей. Лучших не послали против поляков, которых презирают». Действительно, Турецкая война отвлекла русские силы — и силы лучшие. Это печальное обстоятельство должно было отражаться и на русской дипломатии в Варшаве.

Преемник Репнина был человек достойный, но не Репнин; да и задача, возложенная на князя Волконского, была так трудна, что

мы никак не решимся сложить на него всю вину ее исполнения. Он должен был действовать и твердо, и вместе мягко; он не должен был позволять никаких важных, существенных изменений в том, что было сделано Репниным, — мог сделать только некоторые незначительные уступки. Но как скоро показана была готовность к уступкам, то вместе показана была слабость, сознание затруднительности своего положения, и это показано было людям, которые привыкли преклоняться только пред силою, которые привыкли поднимать голову выше, чем следовало, при первой уступке. Уже на смену Репнина смотрели как на победу: видели в этом сознание слабости со стороны России и тем более начали заискивать перед другою воображаемою силою, которую называли нацией; преклоняясь пред Россией, оскорбили нацию. Теперь со стороны России уступчивость — признак слабости, а нация высказала свое неудовольствие и обнаружила некоторые признаки силы в Барской конфедерации, и потому начали прислуживаться к нации, думая, что лучшим средством прислужиться к нации было заставить Россию отказаться от всего вытребованного ею в последнее время или по крайней мере не уступать ей ни в чем.

Действуя так, Понятовский, с одной стороны, надеялся приобрести расположение нации; с другой — был уверен, что лично ему нечего опасаться от России, которая не могла решиться на свержение короля, ею возведенного на престол. Таким образом, перемена лица, перемена тона, большая мягкость и уступчивость не вели ни к чему; надобно было или уступить все, чего хотели, то есть отказаться от гарантии и диссидентского дела, или не уступать ничего. Положение Волконского вследствие этого было затруднительное и неприятное: во дворце на все его увещания и требования ответили холодным «нет». Он хлопотал об образовании новой русской партии, об образовании реконфедерации; но люди, которые ему казались приверженцами России, были привержены только к русским деньгам; видя, что преемник Репнина действует не по-репински, они видели в этом сознание в слабости России и потому служили двум господам. Притом Волконский был человек хворый, подагрик; наконец, относительно военных действий он во всем положился на генерала Веймарна, а у Веймарна недоставало ни распорядительности, ни твердости для поддержания дисциплины: он знал, как дурно ведут себя некоторые начальники русских отрядов, но ограничивался бесплодными сожалениями.

Волконский привез с собою в Варшаву инструкцию относительно требований короля и Чарторыйских. Во-первых, относительно гарантии он мог обнародовать декларацию, в которой заключалось точное и полное изъяснение гарантии, как вовсе не представляющей опасности для польской самостоятельности. Во-вторых, относительно диссидентского дела послу было наказано: «Не входя и не участвуя никак в модификации постановленных диссидентам пре-

имущества, умалчивать о тех уступках, которые иногда они сами между собою сделать согласятся для скорейшего успокоения и примирения со своими соотчичами». Впоследствии Панин уяснил Волконскому этот пункт наказа таким образом: «Надобно, чтобы сами диссиденты добровольно вошли в точное рассмотрение, стоит ли для них, собственно, сохранение на последнем сейме приобретенных прав и преимуществ того, чтобы покупать оное гражданскою в отечестве войной, или же не лучше ли жертвовать добровольно частию выгод для восстановления общей тишины и для обеспечения другой части тех самых выгод. Со всем этим слава и достоинство ее императорского величества не позволяют, чтобы покушение о нужде и пользе такого поступка было от нас, а надобно, чтобы диссиденты сами на то попали или же по крайней мере вашим сиятельством чрез третьего весьма нечувствительным и искусным образом доведены были, чтобы диссиденты отозвались добровольно к ее императорскому величеству, королю и правительству с представлением своего собственного желания принести некоторую часть своих преимуществ в жертву восстановлению внутреннего покоя».

Первым делом Волконского по приезде в Варшаву было опять поднять вопрос о Каменце. Панин дал знать еще Репнину о домогательствах французского посла в Цареграде, чтобы турки как можно скорее овладели Каменцом для утверждения себя в Польше; Панин поручил Репнину представить королю, что если польское правительство не могло согласиться отдать эту крепость под защиту русского войска, то правило нейтралитета требует необходимо, чтобы русские получили формальное и точное обнадежение, что Каменец не будет отдан в руки их неприятелю, а будет защищаем всеми силами заодно с русскими войсками. Обнадежение это получил уже Волконский. Новый посол нашел короля в совершенной зависимости от Чарторыйских, без которых он ничего не смел предпринять. Два раза по своем приезде Волконский виделся с королем и оба раза выслушал от него одне речи, что прекратить волнения в Польше нельзя без уступки в гарантии и диссидентском деле; что он, король, должен *менажировать* нацию, для чего необходима означенная уступка. Волконский отвечал, как и Репнин, что уступки в этих двух пунктах не будет. Несмотря, однако, на эти старые ответы, сейчас же стало заметно, что дела идут не по-старому; примас Подоский прямо объявил Волконскому, что Польша не может быть счастлива, имея национального короля; что Понятовский ненавидим нацию и нет средства успокоить ее без его свержения. Волконский отвечал ему, что русское правительство не допустит никогда уничтожить собственное свое дело; но примас остался при своем мнении. Из разговоров своих с польскими магнатами Волконский приметил, что они не хотят ни за что приниматься в ожидании, как пойдут дела у русских с турками; Волконский дал также знать в Петербург, что двор и министры польские чуждаются его,

ничего не сообщают, не входят ни в какие соглашения, желая показать пред нацией, что не имеют ничего общего с Россией⁵⁸.

Но, *менажируя* нацию и показывая для этого холодность к России, Понятовский вовсе не обнаруживал холодности к русским деньгам. Мы видели, что, несмотря на мнение Любомирского и Замойского, в королевском Совете было решено не распускать войска, находившегося под начальством Браницкого. Теперь это войско выступало в поход против конфедератов, и король, не дававший знать Волконскому ни о чем, в этом случае дал знать, но вместе попросил на экспедицию 3000 червонных. Волконский дал деньги; но едва Браницкий дошел до Брест-Литовского, как получил повеление не вступать в дело с конфедератами и возвратиться назад со всем корпусом: Чарторыйские и Любомирский успели внушить королю, что движение Браницкого против конфедератов огорчит нацию. Станислав-Август послал за Волконским, объявил ему об отозвании Браницкого, извинялся, но сказал, что не может открыть причины такого поступка⁵⁹. Браницкий отдал назад Волконскому 2400 червонных, а 600 уже были издержаны понапрасну.

Чарторыйский, великий канцлер Литовский, в разговорах с Волконским упорнее прежнего держался того, что без уступки в диссидентском деле и в гарантии никогда ничего сделать нельзя. Волконский отвечал, что это надобно выбить из головы, причем заметил, что возмутители собираются в Ловиче и около Варшавы. Чарторыйский сказал на это, что, может быть, они составят генеральную конфедерацию. «Генеральная конфедерация, — возразил Волконский, — будет против короля, следовательно, против вас самих». «Я не знаю, — отвечал Чарторыйский, — что с нами будет, но Польша останется всегда Польшею». Король опять обратился к Волконскому с предложением, не лучше ли будет, если трактат и вся последняя конституция будут уничтожены и составится новая конституция? Волконский прервал его: «Надобно это из головы выложить, потому что республика требовала у ее величества гарантии чрез торжественное посольство». «Все это было сделано силою», — заметил король. «Неправда, — отвечал Волконский, — нельзя было силою заставить высылать торжественное посольство»⁶⁰. И вскоре после этого разговора король обратился к Волконскому с просьбою, нельзя ли дать денег, потому что доходы его забраны конфедератами и ему почти есть нечего. Волконский дал 5000 червонных и написал Панину: «Он поистине рад бы для нас что-нибудь сделать, но не смеет и не умеет; я никогда не думал найти его в такой слабости, он совсем предался Чарторыйским». Из Петербурга пришло приказание выдать королю еще 5000 червон-

⁵⁸ Волконский Панину 11 (22) июня 1769 г

⁵⁹ Волконский Панину 26 июня (7 июля), 22 июля (2 августа)

⁶⁰ Волконский Панину 26 июля (6 августа), 27 июля (7 августа)

ных: иначе войско его, не получая жалованья, разбежится и увеличит собою толпы мятежников ⁶¹.

Волконский хлопотал, во-первых, о том, чтобы не допустить конфедератов до образования генеральной конфедерации; во-вторых, о том, чтобы составить генеральную конфедерацию, которая бы действовала заодно с Россией. От времени до времени являлись к Волконскому люди с проектами подобной конфедерации; но дело не шло далее проектов. Так, известный нам граф Браницкий и коронный кухмистр Понинский предложили план генеральной конфедерации для успокоения Польши при содействии России и, чтобы *менажировать* нацию, потребовали не изменений в Репнинском трактате, а уступки Польше Молдавии и Бессарабии, когда они будут завоеваны русскими у турок. Панин, уведомленный об этом, писал Волконскому, чтобы обещал присоединение к Польше Молдавии и Бессарабии для ободрения благонамеренных поляков к генеральной конфедерации и для побуждения их вступить с Россией в явные обязательства против турок; «теперь, — заключает Панин, — нужны России не военные силы республики, но естественные и беспрепятственные выгоды от земли, из которых главным должно считать получение в наши руки Каменца и распоряжение им во все время войны. Что же касается до Молдавии, то присоединение ее к России не может быть полезно для последней; Молдавия сама собою не в состоянии защищаться ни против кого, и отдаление ее от наших границ всегда затруднит нашу собственную защиту, тогда как очень важно для России, если православное молдавское дворянство, присоединясь к Польше, выговорит себе под нашим покровительством все права польского дворянства» ⁶².

Несмотря на эти обещания, генеральная конфедерация не образовывалась; король брал русские деньги и ничего не делал для России, менажируя нацию. Первое после короля лицо в республике, примас Подоский также брал русские деньги и, мало того что ничего не делал для России, интриговал еще в пользу Саксонского дома, что было противно видам России. Россия должна была поддерживать свое влияние в Польше, потому что в подобной стране отказаться от влияния значило уступить его другому государству, которое стало бы пользоваться им для своих целей. Сохранение русского влияния в Польше, по мысли Панина ⁶³, было необходимо для поддержания северной системы, без которой Россия никогда не могла достигнуть роли державы первого класса. Для России было нужно, чтобы королем в Польше был Пяст; курфюрст Саксонский не мог быть королем по разнообразным и часто изменяющимся интересам наследственных его земель, которые по своему положению

⁶¹ Панин Волконскому 4 сентября

⁶² Панин Волконскому 30 сентября

⁶³ Волконский Панину 31 октября

между Австрией и Пруссией и по разным отношениям этих государств к Франции могли очень часто переходить от одного союза к другому, увлекая за собою Польшу в ту или другую сторону. По этим соображениям Панин писал Волконскому, что примасу надобно производить помесечно некоторую определенную и умеренную дачу (потому что расходы в настоящее время очень велики становятся), но надобно держать его в железных рукавицах, потому что он саксонец душою и сердцем.

Чарторыйские уже давно объявили, что ничего не предпримут; что будут ждать, как пойдет война между Россией и Турцией. В августе пришло известие, что русские дела идут плохо; что главнокомандующий князь Голицын принужден был перейти Днестр — и Чарторыйский, воевода Русский, объявил Волконскому: «Не как послу, но как моему старому другу откроюсь чистосердечно, что кто здесь будет сильнее, того сторону мы и примем; я отсюда, из Варшавы, не поеду, а королю себя спасти надобно, вы здесь не так сильны, чтобы могли нас защитить»⁶⁴. Чарторыйские поспешили сделать первый шаг вперед против России, оказавшейся в их глазах слабою; они уговорили короля созвать сенат, где было решено отправить послов к Русскому и другим дворам с объявлением, что последний трактат с Россией, как вынужденный князем Репниным, должен быть уничтожен. Это было 30 сентября. Волконский отправился к королю: «Не стыдно ли вашему величеству приписывать насилую князя Репнина все сделанное на последнем сейме, когда вы знаете, что все это одобрено ее императорским величеством; да и зачем же вы сами с сеймом ратифицировали это дело? Пусть частные люди опасались насилый от князя Репнина, который, впрочем, не мог бы ни на что решиться без повеления своего двора, но ваше величество чего боялись? Ведь вас князь Репнин не взял бы! Сверх того, для чего вы молчали по сю пору; а теперь, когда больше всего надобно бы вам быть благодарным России за избавление от турок и от своих злодеев, вы с нею вздумали разрывать!» Король сначала ничего не отвечал, стоял как остоленелый; но потом, оправившись, начал уверять в своей преданности к императрице, что и не думал сделать ей что-либо неприятное, но, будучи поляком, должен был доказать нации свое попечение о ее благоденствии⁶⁵.

Понятовский только сначала испугался сильной речи Волконского: он не привык слышать от него таких речей; ему, вероятно, показалось, что перед ним опять Репнин. Но потом он успокоился; его уверили, что 30 сентября он совершил геройский поступок; он стал бодр и весел, и когда Волконский чрез несколько времени в другой раз подошел к нему с представлением, что Чарторыйские

⁶⁴ Волконский Панину 22 августа (2 сентября)

⁶⁵ Волконский Панину 1 (12) октября

ведут его к погибели, то король ничего не отвечал, улыбнулся и отошел прочь. Чарторыйские стали громко говорить, что они никогда еще не были на такой твердой ноге, как теперь, и когда кто-то заметил, что Россия не может быть довольна их поведением, то воевода Русский отвечал: «Правда, что первый удар может быть для нас чувствителен, но время все успокоит»⁶⁶. Волконский в раздражении имел неосторожность истратить последний заряд, он спросил у короля, надеется ли он остаться на троне хоть неделю, если ее императорское величество лишит его своей защиты? Понятовский ничего не сказал на это, «только пожался»⁶⁷. Посол позабыл правило: не грозить, когда нет силы или желания привести угрозу в исполнение.

На основании сенатского решения 30 сентября хотели отправить князя Огинского в Петербург с протестом против Репнинского трактата; но из Петербурга дали знать, что Огинского не примут. Между тем король совершенно успокоился после угрозы Волконского, потому что не было ничего похожего на приведение ее в исполнение; он имел ежедневные конференции с приближенными к нему людьми, а они, особенно трое: Чарторыйский (канцлер Литовский), маршал Любомирский и вице-канцлер Борх, публично кричали, что никогда еще Польша и они сами не находились в лучшем состоянии, несмотря на то что Россия начала успешно действовать против турок; из разных углов им давали знать, что эти самые успехи побудят другие европейские государства вооружиться против России. Однажды епископ Куявский заметил Борху, что они и себя губят, и других в погибель влекут, действуя явно против России, от которой одной Польша может ожидать помощи; особенно безрассудно раздражать Россию теперь, когда она взяла верх над турками. Борх отвечал, что России бояться нечего; хотя она и победила турок в эту кампанию, но, конечно, будет побеждена в будущую кампанию; да если бы этого и не случилось, то вся Европа, чтобы воспрепятствовать усилению России, вступится за Польшу, особенно Австрия, которая, верно, не будет смотреть, поджав руки, на победы русских над турками и вступится за Польшу. Борх прибавил, что Россия, имея силу в руках, не посмеет, однако, тронуть ни их лично, ни имений их, ибо до сих пор ничего им не дает⁶⁸.

Среди торжества, которое доставляло королю и его советникам уверенность, что Россия слаба, потому что посол императрицы никого не хватает, ничьих имений не конфискует, а только дает деньги, и что вся Европа заступится за Польшу, — среди этого торжества король был несколько потревожен внушениями прусского по-

⁶⁶ Волконский Панину 12 (23) октября

⁶⁷ Волконский Панину 18 (29) ноября

⁶⁸ Волконский Панину 27 ноября (8 декабря)

сланника Бенуа от имени Фридриха II, чтобы Понятовский не терял дружбы российской императрицы.

При первом свидании с Волконским Станислав-Август начал разговор словами, что он не желает делать ничего противного императрице; но, не зная, о чем идет дело, не может слепо предаться России. «Дело идет о том, — отвечал Волконский, — чтобы удержать вас на престоле и успокоить Польшу. Надобно вашему величеству, не теряя времени, подумать о себе, оставя злых советников; я не могу изъясняться о мерах, предпринимаемых нами для избавления вашего и Польши, прежде чем вы не отстанете от этих советников, потому что нет сомнения насчет желанья их умножать замешательства. Канцлер Литовский беспрестанно пишет в Литву, возмущая ее против нас, а маршал коронный (Любомирский) явно говорит, что они не смéют ничего предпринять против республики; когда же спросили у него, что он разумеет под республикой? — то он отвечал: Барскую конфедерацию. Борх душой саксонец и, в случае несчастья вашего величества, конечно, от вас отречется».

Король сказал на это, что Чарторыйские ему родня и потому отстать от них ему нельзя; что он не может обещать исполнить все, чего хочет Россия, потому что, может быть, Россия захочет ниспровергнуть все полезное для Польши, сделанное в его царствование; наконец, что слухи, дошедшие до посла о Чарторыйском и Любомирском, ложны. «Дядей своих вы можете почитать как родню, — возразил Волконский, — но не слушать их советов; ее величество от трактата своего и диссидентского дела никогда не отступит, насчет гарантии сделает изъяснение на известном основании. Отняв же однажды от дядей ваших свою высочайшую протекцию, навсегда их ее лишила; они возвысились одною ее милостию, приобрели кредит, богатство и могущество, а после употребили во зло милость ее величества». Король спросил: «Кто же будут нашими друзьями? Разве Потоцкие, которые оказали вам такую неблагодарность?» «Не знаю, — отвечал Волконский, — благодарны или нет Потоцкие; но знаю то, что Чарторыйские неблагодарны и что Потоцким несколько раз мы жертвовали для возвышения Чарторыйских». Король разгорячился и спросил: «Что же вы с Чарторыйскими делаете? Неужели схватите их, как Солтыка?» «Не ручаюсь и за это, если они поведения своего не переменят», — отвечал Волконский. «В таком случае лучше схватить и меня», — сказал король. «Надеюсь, — продолжал он, — что ее императорское величество, по великодушью своему, не принудит меня отстать от родни». В этом же разговоре король упомянул, что недурно было бы взять в посредники какую-нибудь католическую державу. «Ваше величество, верно, желаете Францию?» — спросил Волконский. «Да, ее или Австрию, потому что дело идет о вере», — отвечал король. «Зачем эта медиация, — покончил Волконский, — какие нужны медиаторы между императрицею и вами, которого она возвела на престол и удержи-

вает на нем? Медиацию же между Россией и бунтовщиками, которых вы называете нацией, мы принять не можем»⁶⁹.

Между тем польский резидент в Петербурге Псарский дал знать королю, что русский двор намерен совершенно отступить от гарантии и согласиться на исключение диссидентов из законодательства, если диссиденты сами добровольно пришлют о том с просьбою в Петербург. При первом свидании король показал Волконскому депешу Псарского. Посол отвечал, что об отступлении от гарантии никакого повеления не имеет; что гарантию можно только изъяснить чрез декларацию или новый пополнительный трактат; что же касается диссидентов, то думает, что если бы они сами добровольно пожелали отказаться от каких-нибудь прав, то затруднения в этом со стороны русского двора не будет. Король, услышав о пополнительном трактате, пришел в восторг и сказал: «Прекрасно! Надобно работать!» Но Волконский умерил его восторг, заметив, что прежде всего надобно получить удостоверение, что Чарторыйские и прочие советники королевские будут устранены от содействия и что вперед король будет раздавать награды не по их представлениям, а по совету с ним, послом. «Лучше дам себя на куски изорвать, чем на это соглашусь!» — отвечал король с жаром. «В таком случае, — сказал Волконский, — если нужда дойдет до конфедерации, то мы принуждены будем составить ее и без вашего величества». «Не лишу я своих советников доверенности, — продолжал король, — потому что если бы я их от себя отдал, то нация увидала бы, что я их бросил за их враждебность к России». «Из этого выходит, — сказал Волконский, — что ваше величество и сами стараетесь показать себя врагом России; а по-моему, ваше величество крепче сидели бы на троне, если бы нация уверилась, что вы с нами». Король, увидев, что проговорился, не отвечал ни слова⁷⁰.

Наступил 1770 год. Волконский получил наказ: «Сколько король, по лукавым советам дядей своих, ни будет стараться о примирении с мятущеюся частию нации, примирения этого никогда не последует: поэтому в ожидании перемены в делах, которые из этих самых тщетных стараний скорее произойти должны, и надобно нам поступать относительно короля с некоторою умеренностию, дабы не отнимать у него всей надежды на будущее время; в рассуждении же возмутителей действовать всеми силами, бить их, где только случай представится, не давая им нигде утвердиться, и составить нечто целое и казистое, представляющее корпус республики, который бы по наущению Франции и саксонского двора мог объявить престол вакантным. Низвержение ныне царствующего короля, как ни мало надежен он для империи нашей по личному своему характеру, не может, однако, никоим образом согласоваться с славою и

⁶⁹ Волконский Панину 14 (25) декабря

⁷⁰ Волконский Панину 17 декабря 1769 г (7 января 1770 г)

интересами нашими, потому что, уступив польский престол курфирсту Саксонскому или кому-нибудь другому, подверглись бы мы пред светом ложному мнению, что либо северная наша система сама по себе несостоятельна, или же что влияние наше в Польше против французского устоять не могло по недостатку естественных сил России, следовательно, и по невозможности уделить из них во время войны с Турками столько, чтоб они первое одною Россиею вздвинутое политическое здание могли охранить от падения. Но положим, что мы сами по неблагодарности короля польского решились лишить его короны и доставить ее кому-нибудь другому: кого же тут избрать, чтобы нации был угоден, и интересам нашим не противен, и мог с пользою и успехом способствовать нам в примирении Польши? Курфирста саксонского исключает наша северная система и многие вследствие ее заключенные трактаты и торжественные декларации; а всякий другой Пяст соединит в себе все те же, а может быть, большие еще неудобства, какие мы с нынешним королем встретили». Панин прибавлял от себя: «По моему мнению, мы ничего не потеряем, оставляя еще на некоторое время польские дела их собственному беспутному течению, которое, истощаясь само собою, приблизится к пункту того перелома, которым ваше сиятельство с лучшим успехом воспользоваться можете»⁷¹.

Но до этого перелома было далеко, и положение русского посла в Варшаве становилось все тяжелее. В самом начале января Понятовскому дали знать из Франции, что тамошнее правительство обещает ему помощь, одобряет его поведение, считает сенатский декрет 30 сентября геройским делом, хвалит короля за то, что, будучи в руках России, так отважно действует против нее. Слабый, легко всем увлекавшийся, король пришел в восторг и публично говорил, что почитает этот день самым счастливым в своей жизни. Вицеканцлер Борх кричал, что теперь-то все видят, какие плоды произвели их тайные конференции и чего от них можно надеяться. Волконский спросил у короля, точно ли он получил письмо из Франции. Тот резко и сухо отвечал, что не получал. Станислав-Август, видимо, развизался: прежде он смущался, когда русский посол обличал его в чем-нибудь, прежде он жаловался на насилия Репнина — теперь уже начал говорить, что Репнин его обманывал. Жалуясь епископу Куявскому на Волконского, что тот не хочет сноситься с его министерством, король сказал: «Волконский поступает точно так же, как и Репнин, с тою только разницей, что Репнин обманывал меня нагло, а Волконский обманывает под рукою, скрытно». Но в чем состоял обман, этого король не объяснил. Волконский говорил, что Россия возвела Понятовского на престол: это была правда, а не обман; Волконский говорил, что Россия хочет поддержать его на престоле — и это была правда; король верил это

⁷¹ Панин Волконскому 3 апреля 1770 г

му и как этим пользовался! Станислав-Август забыл, что Репниным и Волконским нет нужды обманывать Понятовских; Понятовских обманывают Млодзеевские: великий канцлер коронный Млодзеевский взял у Волконского 1000 червонных и рассказывал ему, что происходит у короля на тайных конференциях⁷².

В мае Волконский услышал, что король разослал письма по сенаторам по поводу сейма, который должно было созвать в 1770 году. Волконский отправился к королю и выразил ему свое удивление, что делаются приготовления к сейму, который, кажется, ни предпринять без согласия, ни привести к концу без русского содействия нельзя. «Не надеялся я, — прибавил Волконский, — что советники вашего величества и тут принудят вас от нас скрываться». «Я это сделал, — отвечал король, — не по принуждению от советников, но чтоб узнать мнение сенаторов по поводу сейма; всякий хозяин волен в своем доме, хотя и случается, что у него солдаты стоят по-стоям; делать все с вашего согласия — значит быть у вас в подданстве». «Подданства тут нет никакого, — сказал на это Волконский, — намерение ее императорского величества состоит в том, чтобы удержать вас на троне и успокоить Польшу, для этого и войска ее здесь находятся. Следовательно, и о мерах, служащих к достижению этой цели, нам должно условливаться. Если солдаты стоят на квартире для безопасности хозяина, то благоразумие требует от него предупреждать их о своих распоряжениях в доме, дабы не произошло какого вреда по незнанию солдат, и такие сношения хозяина с солдатами нисколько не показывают его подданнической зависимости от них». «Я должен с вами сноситься, — сказал король, — а вы со мной не сноситесь, когда распоряжаетесь операциями своих войск». «Очень естественно, — отвечал Волконский, — потому что ваше величество поверяете все своим советникам, а из них некоторые сносятся с мятежниками и обо всем их уведомляют» (Волконский разумел здесь Любомирского, который переписывался с конфедератами чрез Длуского, подкомория Люблинского). «Для чего же, — спросил король, — вы не укажете этих мятежничьих сообщников?» «Если их указать, — отвечал Волконский, — то надобно и наказать, к чему время еще не ушло»⁷³.

Положение Волконского становилось невыносимым: играть в глазах поляков роль Репнина, но без смелости, решительности и казистости последнего было нелестно для Волконского; ждать, когда беспутное течение дел само приблизится к пункту перелома, и в этом ожидании ничего не делать и подвергаться неприятностям от людей, ободренных таким бездействием, которое являлось им бессилием, было слишком тяжело. Волконский стал просить об отзыве; его не отзывали; только позволили на лето ехать лечиться на

⁷² Волконский Панину 8 (19) января, 7 (18) февраля, 18 (29) марта

⁷³ Волконский Панину 20 (31) мая

воды, и в его отсутствие место его занимал Веймарн. По возвращении Волконского в Варшаву, осенью 1770 и зимою 1771 года, дела не переменались. Наконец, весной 1771-го Волконский был отозван и на его место назначен Салдерн, человек с другим характером, как увидим.

ГЛАВА V

На место Волконского хотели назначить в Варшаву кого-нибудь вроде Решнина и назначили Салдерна. Салдерн действительно отличался характером, противоположным характеру Волконского, которого он называл старою бабой, позволявшею себе сносить всевозможные оскорбления. Но дуга была перегнута в противную сторону: Салдерн, человек очень даровитый, отличался большою энергией; но тут примешивалась значительная доля раздражительности, увлечения, недоставало необходимой в его положении холодности, спокойствия. Салдерн, человек старый и больной, ехал в Варшаву очень неохотно, составив себе наперед самое печальное представление о том, что его ожидало; его уговорили ехать только обещанием, что больше года не пробудет на своем poste. Это нерасположение к делу, которое Салдерн взял на себя, разумеется, не могло содействовать успокоению его раздражительности. И так как большинство польских магнатов, с которыми посол должен был иметь дело, не могло внушить к себе никакого уважения, то Салдерн дал полную волю своему презрению к ним и сердился на тех из русских, которые были сдержаннее в этом отношении. С другой стороны, Салдерн, по болезненной впечатлительности своей, готов был преувеличивать трудности, опасности своего положения и положения представляемого им государства относительно Польши.

Приехав в Варшаву, Салдерн занялся изучением лиц и партий и результаты этого изучения отправил к императрице. Посол делил действующих в Польше лиц на пять частей: 1) король, 2) мнимые королевские друзья, 3) мнимые друзья России, 4) конфедераты явные, 5) конфедераты тайные. Конфедератами он называет всех тех, которые ненавидят короля и число которых превышает $\frac{3}{4}$ населения государства. Саксонскую партию посол нашел гораздо многочисленнее, чем думали: первые фамилии в Варшаве держались еще Саксонского дома. Кроме преданных Саксонскому дому был другой род конфедератов — именно те, которые не терпят короля; число их немалое, ибо невероятно, до какой степени простирается ненависть к этому государю. «Если я,— пишет Салдерн,— с генералом Веймарном сегодня выеду из Варшавы, взяв с собою войска и пушки, то в 24 часа вся Варшава сконфедеруется и короля во дворце убьют камнями. Я не скрыл от короля этой истины и видел его в жестокой необходимости со мной согласиться. Но

есть еще другой род конфедератов: это духовные, которыми Польша, и особенно столица, преисполнена. Эти адские служители злоупотребляют властью своею над слабыми душами до такой степени, что под страхом отлучения от святых тайн и неразрешения грехов принуждают их помогать явно и тайно конфедератам. Женщины служат вместо шпионов и набирают солдат для конфедераций. Сюда же должно причислить и газетчиков, наполняющих Варшаву и рассылающих по всем провинциям ложные новости». Характеры действующих лиц Салдерн очерчивает таким образом. Мнимые друзья России:

1) Примас Подоский, не терпящий короля саксонец, непримиримый враг Чарторыйских, имеющий в деньгах наших нужду, есть первый из друзей наших. Он не имеет ни закона, ни веры, ни кредита, не уважается народом, презрен большими и не любим малыми. В нем есть одна добрая черта — он имеет честность объявлять: «Если я не могу иметь короля из Саксонского дома, то всегда из благодарности буду повиноваться воле ее императорского величества». Впрочем, он такой человек, которому никогда никакой тайны вверить нельзя, которого действующим лицом употребить нельзя и с которым ни один честный человек здесь действовать вместе не согласится.

2) Епископ Виленский князь Масальский, человек тонкого и хитрого разума, но так ветрен, как французский аббат петиметр, надутый в то же время своими достоинствами и дарованиями, стремящийся к приобретению важного значения в стране, желающий возвыситься с падением Чарторыйских. Надежда собрать сильную партию привлекла его к нашей стороне. Это человек лукавый, ненадежный; он имеет некоторый кредит в Литве, но и то у мелких людей. Более его кредита в Литве имеет 3) граф Флеминг, воевода Померанский, единственный твердый и надежный человек; он друг России по внутреннему убеждению.

4) Воевода Подляшский получает от нас пенсию; деньги — единственное божество его. За деньги нам верен и добрый крикун, если нужда потребует.

5) Воевода Калишский, вполне предавшийся графу Мнишку, без системы и трус преестественный.

6) Зять его, граф Роголинский, похож на тестя и для дел наших совершенно бесполезен.

7) Великий канцлер коронный епископ Познанский Млодзеевский, Макиавель Польши, продающий себя тому, кто даст дороже, без уважения и кредита в государстве.

8) Епископ Куявский, брат Познанского, во всем подобен ему, только не так умен.

9) Великий кухмистр коронный Понинский получает пенсию. Легкомыслен и любит играть важную роль; для вестей способен, проворен.

10) Маршал Литовский Гуровский — хитрый человек, с разумом, но без искры честности. «Я буду иметь в нем нужду для разведывания чужих тайн и мыслей».

Мнимые друзья королевские:

1) Воевода Русский — князь Чарторыйский. Он перед всеми отличается великими качествами души. «Кажется мне, что он сильно начинает упадать. Несмотря на то, он управляет всеми движениями государства, человек просвещенный, проникательный, умный, знающий совершенно Польшу, уважаемый одинаково друзьями и врагами; тверд в намерениях и осторожен, с беспримерным дарованием приобретает себе сердца человеческие, хитростью разделяет, красноречием соединяет, проникает других, а сам непроницаем. Воевода Русский умел заставить короля отстать от России; король делает все, что он захочет. 2) Брат воеводы Русского, канцлер, человек разумный, в коварствах весьма много обращавшийся, ныне уже престарелый и служащий только орудием своему брату, но, впрочем, любимый народом и умевший найти себе друзей в государстве, а особливо в Литве. 3) Князь Любомирский, великий маршал коронный, зять воеводы Русского, человек проворный, предприимчивый, но среднего разума, действующий только тогда, когда старики его заводят. Ненавидит короля, невзирая на родство; не любит России. Есть еще два человека, которых можно назвать спутниками князя Чарторыйского, — Борх и Пржездецкий, один — вице-канцлер коронный, а другой — Литовский: оба ябедники, оба жалкие политики, без уважения и кредита. Граф Браницкий, один из друзей королевских, который говорит ему правду твердо и не обинуясь. «Он один, на которого я могу положиться. У короля честное сердце, но слаб он до невозможности; широты и твердости нет в его разуме, не привыкшем рассуждать и повелевать воображением. Он непременно требует руководителя, прежде чем на что-нибудь решится, и после того, как уже решение принято».

Убедившись очень скоро в слабости и лукавстве мнимых друзей России, Салдерн решился действовать на короля, чтобы привлечь его и друзей его на свою сторону. Он постарался представить Станиславу-Августу весь ужас его положения: ненависть к нему народа, отсутствие всякой помощи извне, ибо и русская императрица готова лишить его своего покровительства. Посол постарался уничтожить в нем убеждение в невозможности последнего, объявив, что если король будет поступать по-прежнему, то он немедленно же выедет в Гродно, забрав с собою войско и всех тех, кто захочет за ним следовать, и в Гродно будет дожидаться дальнейших приказаний императрицы. Испуганный король дал запись: «Вследствие уверений посла ее величества императрицы Всероссийской в том, что августейшая государыня его намерена поддерживать меня на троне Польском и готова употребить все необходимые сред-

ства для успокоения моего государства; вследствие изъяснения средств, какие, по словам посла, императрица намерена употребить для достижения этого дела; вследствие обещания, что она будет считать моих друзей своими, если только они будут вести себя как искренние мои приверженцы, и что она будет обращать внимание на представления мои относительно средств успокоить Польшу, — вследствие всего этого я обязуюсь совещаться с ее величеством обо всем и действовать согласно с нею, не награждать без ее согласия наших общих друзей, не раздавать вакантных должностей и староств, в полной уверенности, что ее величество будет поступать со мною дружественно, откровенно и с уважением, на что я вправе рассчитывать после всего сказанного ее послом Подписано 16 мая 1771 года. Станислав-Август король».

Салдерн с своей стороны дал королю запись: 1) кроме ее императорского величества только два человека будут знать о записи королевской: граф Панин и граф Орлов. 2) Россия не сообщит об этом ни одному двору иностранному и ни одному поляку — одним словом, запись остается под глубочайшим секретом. 3) Запись будет возвращена королю по восстановлении спокойствия в Польше. 4) Императорский посол будет обходиться с королевскими друзьями, которые станут на сторону России, как с друзьями, искренно примирившимися. 5) Императорский посол в течение трех дней распорядится освобождением из-под секвестра имений тех лиц, список которых представит король.

Чтобы показать свое единение с Россиею, король согласился вывести в поле против конфедератов двухтысячный отряд своего войска под начальством Браницкого. Но прежде всего нужно было обратить внимание на состояние русского войска. Отправляясь в Варшаву, Салдерн представил императрице свои опасения насчет генерала Веймарна — представил, что у него недостает твердости и быстроты в исполнении. Императрица согласилась, что у Веймарна действительно недоставало многих способностей, необходимых в его положении. Приехав в Варшаву, Салдерн убедился еще более в неспособности Веймарна. Посол был поражен жалобами, которые слышались со всех сторон на поведение русских войск в городах и селах. «Веймарн столько же огорчен этим, как и я, — писал Салдерн императрице, — но что толку в его бесплодном сожалении? Он стал желчен, нерешителен, робок, мелочен. Я не смею надеяться на успех, если здесь не будет другого генерала»⁷⁴. Салдерн просил прислать или Бибикова, или князя Репнина; относительно последнего он писал: «Смею уверить, что здесь мнения переменялись на его счет; предубеждение исчезло и уступило место уважению, какое действительно заслуживают его честь и достоинства. Здесь начинают даже желать его возвращения; все, кого я только

⁷⁴ 11 (22) мая 1771 года

видел, только от его присутствия ждут улучшения своего положения относительно русского войска».

Войска этого было тогда в Польше 12 169 человек да в Литве 3818, пушки и при них 316 артиллеристов. Волконский и Веймарн разделили все войско по постам — неподвижным и подвижным. Под именем неподвижных постов разумелись городские гарнизоны и посты, необходимые для поддержания сообщений. Подвижными постами назывались летучие отряды, назначенные действовать против конфедератов всюду по мере надобности. Салдерн никак не мог согласиться, чтобы было полезно ограничиться одною оборонительною войною, как было в последнее время, и употреблять на борьбу с конфедератами только четвертую часть войска, оставляя другие три части в гарнизонах. Войска, по мнению Салдерна, портились от постоянного пребывания в гарнизонах, приучались к неряществу, солдаты начинали заниматься мелкою торговлею, как жидаы. «Я,— писал Салдерн,— займусь серьезно установлением лучшего порядка и лучшей полиции в столице и ее окрестностях, нимало не беспокоясь, будет ли это нравиться его польскому величеству или магнатам. Я выгоню из Варшавы конфедератских вербовщиков: дело неслыханное, которое уже два года сряду здесь делается! Я не позволю, чтобы бросали камень и черепицу на патрули русских солдат; дерзость доходит до того, что в них стреляют из ружей и пистолетов. Я не буду терять времени в жалобах на эти преступления великому маршалу, который находит всегда тысячу уверток, чтоб уклониться от предания виновных в руки правосудия. Образ ведения войны в Польше мне не нравится. Первая наша забота должна состоять в том, чтоб овладеть большими реками. Недостаток в офицерах, способных командовать отрядами, или маленькими летучими корпусами, невероятен. Есть храбрые воины, но не способные управлять ни другими, ни самими собою. Другие думают только о том, как бы нажиться. На способность и благоразумие офицеров генерального штаба положиться нельзя. Все, что здесь делается хорошего, делается только благодаря доблести и неустрашимости солдат. Исключая генерал-майора Суворова и полковника Лопухина, деятельность других начальников ограничивается тем, чтобы давать от времени до времени щелчки конфедератским шайкам. Давши один-другой щелчок, наши командиры ретируются с добычею, собранною по дороге в имения мелкой шляхты, и, расположившись на квартирах, едят и пьют до тех пор, пока конфедераты не начнут снова собираться. Бывали примеры, что наши начальники отрядов съезжались с конфедератскими и вместе пировали»⁷⁵.

Порешивши с королем, Салдерн обратился к нации; 14 мая (по ст. стилю) он издал декларацию, в которой от имени императрицы

⁷⁵ Салдерн императрице 1 (12) июня

приглашал благонамеренных поляков соединиться и подумать о средствах вывести Польшу из того ужасного положения, в каком она находилась, приглашал снести насчет этого с ним, послом; обещал убедить нацию в бескорыстии императрицы, которая не жалеет ничего, что могло бы вредить независимости республики; наконец, приглашал и конфедератов к примирению. Оказалось, что декларация была написана слишком мягко: нас зовут, значит — в нас имеют нужду; значит, мы сильны и можем не пойти на зов; делай что хочешь — что возьмешь? Салдерн начал хлопотать, как бы поправить дело, стал повторять всем, что приехал вовсе не с тем, чтобы выпрашивать Христа ради или покупать успокоение Польши. Потом Салдерн в продолжение восьми дней избегал разговоров с глазу на глаз с кем бы то ни было, давая чувствовать, что он сделал свое дело, перед всею Европою сказал свое слово королю и нации; теперь их черед отвечать ему. 27 мая явилась к послу торжественная депутация от имени королевского. Оба великих канцлера — коронный и Литовский — рассыпались в похвалах, в выражениях удовольствия и глубочайшего уважения к ее императорскому величеству по поводу декларации. Посол отвечал на все это, что если король хочет воспользоваться декларациею, то должен созвать всех епископов, сенаторов, сановников и шляхту, находящуюся в Варшаве, и представить им печальное состояние государства ⁷⁶.

Король исполнил желание Салдерна, созвал всех и предложил вопрос: что делать при настоящих обстоятельствах? За ответом король обратился к первому примасу Подоскому. Тот отвечал, что надобно подождать, какое впечатление декларация произведет в стране, и особенно между конфедератами. Двое других *друзей России* — Виленский епископ Масальский и кухмистр Понинский — отвечали, что надобно снести с конфедератами и потом созвать сейм для рассуждения о том, что русский двор представит для будущих соглашений. Раздраженный Салдерн принялся за Подоского, объявил ему, что интриги его с саксонским министром и конфедератами для низложения короля известны: «Вы меня больше не обманете вашими уверениями в искренности, которая вам известна только по имени». Потом посол пересчитал ему все мелкие плутовства, которые архиепископ позволял себе при Волконском, вода старика за нос. На все это примас отвечал с некоторого рода гневом, что хочет выехать из Варшавы. «Для этого, — сказал Салдерн, — я дам вам эскорту, достойную того места, какое вы занимаете в государстве, и которая может заменить саксонскую гвардию». Надобно заметить, что прелат жил в Саксонском дворце, что прислуга его состояла частию из саксонцев и гвардиею служили ему два отряда саксонских войск, которым позволено было оставаться в Варшаве.

⁷⁶ Салдерн Панину (28 мая) 8 июня

Салдерн упрекал Подоского за разные плутовства его при Волконском; но и с ним архиепископ сыграл хорошую штуку. вызвался перевести декларацию на польский язык — и в разных местах переделал; так, например, в одном месте говорилось о Польше, что она до последнего печального времени была цветущею, а в переводе Подоского оказалось: «Под правлением Саксонской династии цветущая». В другом месте говорилось: «Добродетельные граждане, которые стенают в молчании»; а Подоский перевел: «Добродетельные граждане, которые стенают в Сибири». Когда Салдерн стал упрекать его за такие искажения, примас сложил всю вину на переписчика. «Вот с такими людьми должен я иметь дело в этой стране, куда Бог перенес меня в крайнем гневе своем», — писал Салдерн Панину ⁷⁷.

После примаса Салдерн принялся за двоих других друзей России. Два часа старался он «исправить голову Масальского», но понапрасну потерял время. Посол говорил ему о делах государственных, а епископ гнул все в одну сторону, чтобы Салдерн помог ему в процессах, которые он вел в литовских трибуналах. Выведенный из терпения, посол сказал ему начисто, что считает для себя бесчестным вмешиваться в частные тяжбы и помогать кому-нибудь в судах и что императрица будет презирать всех тех, которые будут иметь в виду свои частные интересы в то время, когда идет дело о прекращении бедствий общественных. Епископ заметил на это, что в Литве 52 000 шляхты тайно сконфедерованной. «Жаль, что не вы командуете этою шляхтой, — отвечал Салдерн, — потому что 6000 русских солдат, находящихся в Литве, разбили бы вас в пух». Наконец, дело дошло до Понинского. Салдерн прямо выставил ему всю злостность его ответа в то время, когда дело шло о спасении отечества, ответа, обнаружившего скрытый яд, который он давно уже носил в своей груди. «Я за вами следил, я знаю, как вы вели себя с князем Волконским, которому вы обещали содействовать всегда намерениям России, у которого вы вытянули 2000 червонных зараз и пенсию в 200 червонных каждый месяц. Я считаю вас негодным человеком и не дам вам ни копейки пенсии» ⁷⁸.

Дней через двадцать после этих объяснений Салдерн имел конференцию с обоими канцлерами, коронным и Литовским, и маршалом Любомирским по поводу декларации. Эти господа начали уверениями в правоте своих намерений: что они очень хорошо чувствуют свои бедствия и потому серьезно желают их прекращения, но, прежде чем вступить в реконфедерацию, они должны взвесить все последствия предприятия, которое, может быть, еще губительнее для их отечества, и потому считают необходимою со стороны России новую декларацию публичную, в которой бы яснее высказались

⁷⁷ Салдерн Панину 1 (12) июня

⁷⁸ Салдерн Панину 4 (15) июня

намерения императрицы относительно двух пунктов, наведших такой ужас на нацию, именно относительно гарантии и диссидентов. Они настаивали, чтобы посол изъяснился положительно насчет каждого пункта, и только тогда они могут поручиться ему за довольно значительное число довольно сильных людей, могущих содействовать образованию представительного корпуса. При этом они ловко намекнули, что их кредит чрезвычайно ослабел с некоторого времени, что враги короля в то же время и их враги и что они нуждаются в оружии для устрашения завистников и врагов. Они намекнули также очень тонко, что иностранное влияние противодействует их спасительным видам, и старались внушить послу опасения насчет двусмысленного поведения Венского двора, который не переставал явно покровительствовать конфедератам. Наконец, они высказали свои сомнения и насчет поведения короля Прусского, который не желает прекращения смут в Польше. Салдерн отвечал им, что их авторитет и кредит чрезвычайно возвысились с тех пор, как они овладели особою короля и стали располагать важнейшими местами и всеми староствами. Салдерн удостоверил их, что он очень хорошо знает степень их влияния и большое число их креатур. Посол кончил тем, что не откажется дать им письменные объяснения и декларации, если они со своей стороны дадут ему манифест какой должно, в выражениях ясных и приличных, подписанный значительным числом лиц, которые желали бы составить конфедерацию и предложили бы ему, послу, хлопотать вместе для умножения членов этой новой конфедерации. Конференция этим и кончилась ⁷⁹.

Канцлеры приходили только затем, чтобы узнать, на какие уступки готова Россия, находившаяся, по их мнению, в очень затруднительных обстоятельствах. Король также оправился от страха, нагнанного на него Салдерном в первое время, и также уверился, что Россия больше всего нуждается в успокоении Польши и что, следовательно, надобно только твердо держаться и этим принудить ее ко всевозможным уступкам. Король и Любомирский торжественно проповедовали придворным и молодежи, что их твердость в последние два или три года положила границы русскому господству в Польше; что только эта твердость заставила Россию отказаться от гарантии и диссидентов. Эти речи страшно мучили раздражительного Салдерна, вонзали кинжал в сердце, по его собственному выражению. «Я вполне убежден,— писал он в Петербург,— что князь Репнин совершенно прав во всем том, что он здесь сделал; бывают минуты, когда я плачу о том, что он не сделал больше, то есть зачем не выслал из Польши Любомирского и Борха. Этих двоих людей я боюсь гораздо больше, чем всех конфедератов» ⁸⁰. Твердость короля и окружающих его, которою они так хвалились, под-

⁷⁹ Салдерн Панину 25 (6 июля)

⁸⁰ Салдерн Панину 13 (24) июля

держивалась известиями из Вены: оттуда писал брат королевский, генерал Понятовский, находившийся в австрийской службе, что навряд ли Россия заключит мир с Турцией этою зимой; что война, быть может всеобщая, неизбежна. Король и Любомирский с товарищами толковали, что бояться нечего; что успехи русских в Крыму и на Дунае вовсе не так велики, как о них идет молва. Они нарочно говорили это при людях, которые могли пересказать их речи Салдерну. У бедного посла портилась кровь; были и другие обстоятельства, которые ее портили: дом, в котором жили предшественники Салдерна, обветшал, и ни один из вельмож не хотел отдать своего дома внаймы русскому послу, хотя дома стояли пустые, владельцы не жили в Варшаве. Русских казаков, которых рассылал Салдерн, били везде; около Варшавы происходили беспрестанные воровства и убийства⁸¹.

«Неизвестность, в какой я нахожусь, и страх сделать слишком много меня убивают», — писал Салдерн Панину. Наконец, известия о восстании в Литве, возбужденном гетманом Огинским, переполнили чашу горести, и посол отправил отчаянное письмо в Петербург: «Большинство пробуждается от летаргического сна. Нация начинает себя чувствовать. Ее поджигают со всех сторон. Австрия не только не хочет ее выводить из заблуждения, но колет ее, стыдит, что горсть русских держит ее в рабстве. Франция всюду кричит, что надобно принимать более к сердцу польские интересы. Присылка офицеров и денег из Франции поддерживает пустые надежды в несчастных поляках. Все это увеличивает наши затруднения. Присоедините к этому бунт Огинского в Литве. Если этот огонь разгорится, то будьте уверены, что все наши преимущества будут потеряны. Краков не продержится шести недель, у нас мало людей в этом городе. Прибавьте к тому, что мы принуждены будем очистить Познань. Каково же будет наше положение! Время не терпит, настает крайняя необходимость принять другие меры, меры сильные, которых никто не ожидает. Нельзя ли, чтобы прусский король отправил несколько гусарских полков к литовским границам — это испугает. Наше положение гораздо хуже, чем я его вам описываю. Наше войско в Литве — жалкий отряд, внушающий всем презрение; полковник Чернышев — человек совершенно без головы. Вообще воинский дух, с немногими исключениями, исчез. Оружие у наших солдат негодное; лошади — хуже себе представить нельзя, в артиллерии дурная прислуга»⁸².

Посол не имел никакого права так отчаиваться, и нечего было выставлять на вид неспособности какого-нибудь полковника. В Польше был Суворов. Ночью, с 22 на 23 сентября, Суворов разгромил Огинского — и восстания литовского как не бывало. Вместо

⁸¹ Салдерн императрице 15 (26) июня.

⁸² Салдерн Панину 3 (14) сентября.

Веймарна прислан был Бибииков. Салдерн успокоился с этой стороны; но возникло другое новое беспокойство — и теперь уже не от польских, но от прусских войск.

Еще в половине 1770 года австрийские войска из Венгрии вступили в польские владения, заняли два староства, причем вместе с 500 деревень захватили богатые соляные копи Велички и Бохни. Это было не временное занятие: установленное в этих землях правление употребляло печать с надписью: «Печать управления возвращенных земель». Земли объявлены были возвращенными на том основании, что в 1412 году они отошли к Польше от Венгрии. Прусский король под предлогом защиты своих владений от морового поветрия, свирепствовавшего в южной Польше, занял своими войсками пограничные польские земли. Осенью 1770 года принц Генрих Прусский заехал из Стокгольма в Петербург, прогостил здесь довольно долго и впервые повел речи о разделе Польши. Речи эти остались без непосредственных последствий: Екатерина вовсе не придавала большого значения польским волнениям. Успокоение Польши и полное восстановление в ней русского влияния было бы немедленным следствием прекращения Турецкой войны. Войну эту, ознаменованную такими блистательными подвигами русских, императрица хотела прекратить с честью, положить первое начало освобождению христианских народов из-под турецкого ига. Для России она выставила самые умеренные требования: обе Кабарды, Азов с его областью, свободное плавание по Черному морю, один остров на Архипелаге; но вместе с тем она потребовала освобождения Крыма и Дунайских княжеств из-под власти султана. Когда Екатерина сообщила эти условия Фридриху II, то он отвечал: «Турки никогда не согласятся на уступку Молдавии, Валахии и острова в Архипелаге; независимость татар встретит также большие затруднения, и надобно бояться, чтобы Порты, если довести ее до крайности, не бросилась в объятия Венского двора и не уступила ему Белграда. Австрия также скорее начнет войну, чем согласится на отнятие у Турции Молдавии и Валахии. Все, что может Турция уступить, — это обе Кабарды, Азов с его областью и свободное плавание по Черному морю. Если Россия согласится на это, то он, Фридрих, делает первый шаг к начатию переговоров; в противном случае он не двинется, ибо не предвидит никакого успеха — предвидит одно, что эти требования присоединят к старой войне еще новую»⁸³.

Екатерина отвечала на это подробным объяснением своих требований: «Я не требую никаких приобретений собственно для моей империи. Обе Кабарды и Азовский округ принадлежат, бесспорно, России: они так же мало увеличат ее могущество, как мало уменьшили его, когда из них сделали границу; Россия чрез возвращение

⁸³ 4 января 1771 года.

своей собственности выигрывает только то, что пограничные подданные ее не будут подвергаться воровству и разбоям, что стада их будут пастись спокойно. Свободное плавание по Черному морю есть такое условие, которое необходимо при существовании мира между народами. Россия согласилась на это ограничение, уступила варварским предрассудкам Порты из любви к миру; но этот мир нарушен с презрением всех обязательств. Если я имею право на какое-нибудь вознаграждение за войну, столь несправедливую, то, конечно, не здесь я могу и должна его найти. Я могла бы быть вознаграждена уступкою Молдавии и Валахии; но я откажусь и от этого вознаграждения, если предпочтут сделать эти два княжества независимыми. Этим я доказываю свою умеренность и свое бескорыстие; этим я объявляю, что ищу только удаления всякой причины к возбуждению войны с Портою.

Венский двор не понимает своего прямого интереса, позволяя себе так живо обнаруживать зависть относительно этого пункта. Я не отодвигаю своих границ ни на одну линию; я остаюсь в прежнем расстоянии от его владений; если венский двор доволен тем, что имеет в Турке такого слабого соседа, то должен быть еще более доволен соседством маленького Молдо-Влахийского государства, несравненно более слабого и равно независимого от трех империй. Если положение Турок таково, что они должны получить мир только с уступками, то они поступят очень странно, если уступят Белград, которым спокойно владеют, а не уступят княжеств, которые уже более не их и возвращение которых будет всегда зависеть от жребия войны. Притом это еще вопрос — чьи владения им желательно увеличить: русские или австрийские? Но установление двух независимых княжеств вопрос решает.

Я знаю, что венское министерство по нынешней своей системе много настаивает на равновесии Востока, которое до сих пор еще не фигурировало с таким блеском в интересах западных государств и изобретением которого мы, быть может, обязаны союзу Австрии с Францией; однако я готова уступить этому политическому равновесию; но кто определит, что баланс верен, когда границы турецких владений простираются до Днестра, и что баланс нарушен, если эти границы находятся на Дунае? Жалко положение Востока, если от такой разницы в расстоянии может зависеть его разрушение! Дело освобождения Татар есть право человечества, которого требует целая нация: я ей не могу отказать в помощи. Восстановление независимости Татар не уменьшает ни в чем могущества Порты и не увеличивает ни в чем могущества России, но отстраняет только пограничные неудобства последней. Венский двор не имеет Татар своими соседями и потому не имеет никакой причины к беспокойству. Остров, требуемый мною в Архипелаге, будет только складочным местом для русской торговли; я вовсе не требую такого острова, который бы один мог равняться целому государству, как, на-

пример, Кипр или Кандия, ни даже столь значительного, как Родос. Я думаю, что Архипелаг, Италия и Константинополь даже выиграют от этой сделки северных произведений, которые они могут получить из первых рук и, следовательно, дешевле. Надеюсь, ваше величество согласится наконец, что если Молдавия и Валахия будут провозглашены независимыми, то в этом одном острове будет заключаться все мое вознаграждение, и что, отказываясь от него, я откажусь решительно от всего»⁸⁴.

Но Фридрих добивался, чтобы Россия взяла в вознаграждение не маленький остров, а большую область, только не от Турции. 2 марта 1771 года прусский посол в Петербурге граф Сольмс получил от своего короля следующую депешу: «Из паспорта, данного правителем польской области, занятой австрийцами, одному старосте, оказывается ясно, что Венский двор смотрит на эту область уже как на принадлежащую к Венгерскому королевству, и нельзя надеяться, чтоб Австрия отказалась от нее, если не будет принуждена к тому силою. Это заставляет меня думать, что мы с Россией должны воспользоваться благоприятным случаем и, подражая примеру Венского двора, позаботиться о собственных наших интересах и приобрести какую-нибудь существенную выгоду. Мне кажется, что для России все равно, откуда она получит вознаграждение, на которое она имеет право за военные убытки, и так как война (Турецкая) началась единственно из-за Польши, то я не знаю, почему Россия не может взять себе вознаграждение из пограничных областей этой республики. Что же касается до меня, то я никак не могу обойтись без того, чтобы не приобрести себе таким же способом часть Польши. Это послужит мне вознаграждением за мои субсидии⁸⁵, равно как за потери, которые я также потерпел в этой войне. Я буду очень рад возможности говорить, что новым приобретением я обязан России, что еще более укрепит наш союз и даст мне возможным быть полезным России в другом случае».

Депеша была передана Сольмсом Панину. Прошел март, апрель, половина мая; 16 мая Сольмс пишет Панину: «Перед отъездом в Царское Село имею честь еще раз напомнить вашему сиятельству о последних представлениях моих насчет необходимости прекратить военные действия против турок, по крайней мере на море. Осмелюсь также напомнить о деле, которое касается особенных интересов короля, моего государя, равно как и особенных интересов России. Король горячо заинтересован этим делом, не отступится от него, и если я не буду в состоянии дать ему скоро положительных удостоверений, то навлеку на себя жестокие выговоры и, сверх того, не ручаюсь за решение, которое его величество примет по собствен-

⁸⁴ 19 января 1771.

⁸⁵ Фридрих II вследствие союзного договора платил субсидии России на время войны

ному усмотрению. Он руководится следующим: так как в этом деле будет только подражание примеру другого, то этот другой не может вооружиться против нас, дело идет только о приведении в исполнение уже решенного. Умоляю ваше сиятельство не отлагать решения здешнего двора».

Решение последовало: войти в соглашение с прусским королем и потребовать у графа Сольмса изложения видов и требований его двора. 11 июня об этом решении дано было знать Салдерну в Варшаву. Но еще прежде Бенуа сказал Салдерну: «Я знаю, что вы друг моего государя; ради Бога, устроим так, чтоб ему можно было получить достаточную долю Польши; я вам отвечаю за благодарность моего государя». Салдерн отвечал холодно: «Не нам с вами делить Польшу»⁸⁶

Между тем депеша за депешей из Берлина в Петербург, от Фридриха II к Сольмсу. Россия должна согласиться на раздел Польши: это единственный для нее выход; Австрия не даст ей вознаграждать себя на счет Турции, не согласится никогда на независимость Молдавии и Валахии — к двум войнам у России будет еще третья, с Австрией; Пруссия будет не в состоянии помогать ей. Если же Россия согласится на раздел Польши, тесно сблизится для этой цели с Пруссией, то Австрия не посмеет ничего сделать. «Австрия, — писал Фридрих Сольмсу для сообщения Панину, — нисколько не может рассчитывать на помощь Франции, которая находится в таком страшном истощении, что не могла оказать никакой помощи Испании, когда та готова была объявить войну Англии. Я рассуждаю так: если бы Венский двор и желал начать войну, то захочет ли он объявить ее без надежды иметь кого-либо союзником и вести войну с Россией и Пруссией в одно время? Это невероятно, и потому нам нечего бояться при исполнении проекта на счет приобретений от Польши. Я гарантирую русским все, что им захочется взять; они поступят точно так же относительно меня; а если австрийцам покажется их доля мала, то их можно успокоить тою частью венецианских владений, которые отрезают Австрию от Триеста; а если б они тут заупрямились, то я отвечаю головой, что тесный союз Пруссии с Россией заставит их сделать все, что нам угодно. Вот почему я принимаю на себя всевозможные гарантии, каких только Россия потребует от меня относительно областей, которые она почтет нужными для своего округления, и думаю, что не рискую войной вследствие этих гарантий. Это дело требует только твердости, и я отвечаю за успех именно потому, что австрийцы должны переводываться с двумя державами, не имея ни одного союзника»⁸⁷.

Россия для окончания Турецкой, а следовательно, и Польской

⁸⁶ Салдерн Панину 4 (15) июня 1771 года

⁸⁷ Депеша от 14 июня

войны требует независимости Молдавии и Валахии. Если Австрия на это согласится, то Польша останется нетронутой; но этого Фридрих II никак не хочет допустить: «Молдавия и Валахия будут всегда камнем преткновения; но если их присоединить к Польше, то Австрия не будет противиться их отторжению от Турции. Это присоединение к державе, которая слаба сама по себе, не может возбудить в Австрии никакой ревности, тем более что оно должно служить вознаграждением Польше за области, которые возьмут у нее Россия, Пруссия и Австрия, следовательно, Польша не получит больше того, сколько прежде имела»⁸⁸.

За успокоениями, обещаниями всевозможных гарантий следовали угрозы: «Если Венский двор объявит войну России за Турцию, то надобно ожидать, что австрийцы станут действовать соединенно с турками в Молдавии и Валахии, чтобы вытеснить оттуда графа Румянцева. Вот уже большая опасность иметь перед собою двух врагов вместо одного, но это еще не все. Как только поднимется Австрия, то в Польше образуется генеральная конфедерация против России, изберут другого короля, и, быть может, поляки сделают впадение в Россию и принудят содержать отдельный корпус для прикрытия собственных границ. Мне говорят на это, что если я сделаю диверсию, то Россия легко управится, но в таком случае я обращаю на себя все силы Австрийского дома, союзный корпус французский⁸⁹ и все войска, которые Венский двор наберет у мелких владельцев германских, так что у меня может очутиться на плечах 200 000 врагов. Прибавьте к тому два года сряду неурожая в Пруссии, что отнимает у меня возможность выставить и 10 000 войска. После этого спрашиваю, не требует ли благоразумие попытаться уладить дело посредством мирных соглашений?.. Я думаю, что австрийцы вооружаются только для того, чтобы дать больше весу своим предложениям. Я думаю, что они никогда не согласятся на отделение Молдавии и Валахии от Турции. Я думаю, что присоединение Азова и все то, чего Россия потребует от Турции в видах торговых, не встретит затруднения. Я думаю, что татарское дело (то есть независимость Крыма) может еще уладиться по желанию России. Все эти мои мнения основываются на объяснениях, которые я имел с Венским двором. Вот почему я предлагаю, что для вознаграждения себя за военные издержки Россия должна получить в Польше кусок по своему выбору. Если она согласится на это вознаграждение, то я ручаюсь, что она его получит без кровопролития»⁹⁰.

Итак, было ясно, что Россия может рассчитывать на прусскую помощь только при условии раздела Польши; в противном случае

⁸⁸ Дешеша от 3 июля

⁸⁹ Вспомним, как прежде утверждалось, что Франция никак не может помочь Австрии

⁹⁰ Дешеша 10 сентября

она должна будет без союзника бороться против Турции, Польши и Австрии. Относительно последней Фридрих II не ошибался и имел полное право закладывать голову, что при условии вознаграждения России на счет Польши, а не Турции войны не будет. Не дать России утвердить свое влияние на Дунае, сохранить целостность Турции, не входя в опасную войну с Россией за Турцию, выйти из затруднительного положения, не потеряв ни одного человека и ни гроша денег,— мало того, приобретя богатую добычу,— все это было неотразимо привлекательно.

5 февраля 1772 года Фридрих II дал знать Сольмсу о разговоре своем с австрийским послом в Берлине бароном фон Свитеном.

Фон Свитен: «Для предотвращения всех недоразумений хорошо было бы объясниться насчет претензий относительно Польши, насчет раздела, который намереваются сделать». *Король:* «Это трудно, потому что еще нет решенного; впрочем, дело возможное». *Ф. Свитен:* «По крайней мере можно дать письменное удостоверение, что доли трех государств будут совершенно равные». *Король:* «Дело возможное; думаю, что и Россия от этого не откажется». *Ф. Свитен:* «Нельзя ли нам поменяться: Австрия уступит в. в-ству свою долю Польши, а вы возвратите ей графство Глац?» *Король:* «У меня подагра только в ногах; а такие предложения можно было бы мне делать, если бы подагра была у меня в голове; дело идет о Польше, а не о моих владениях; притом я держусь трактатов и удостоверений, сделанных мне императором, что он не думает более о Силезии». *Ф. Свитен:* «Но Карпатские горы отделяют Венгрию от Польши, и все приобретения, какие мы можем сделать за горами, нам невыгодны». *Король:* «Альпы отделяют вас от Италии, однако вы вовсе не равнодушны к обладанию Миланом и Мантуею». *Ф. Свитен:* «Нам было бы гораздо выгоднее приобрести от турок Белград и Сербию». *Король:* «Мне очень приятно слышать, что австрийцы не подверглись еще обряду обрезания, в чем их обвиняют, и что они хотят получить свою долю от своих приятелей турок». *Ф. Свитен:* «Но что ваше величество думает об этой идее?» *Король:* «Я не думаю, чтобы было невозможно осуществить ее». *Ф. Свитен:* «Я напишу об этом к своему Двору, который будет очень рад».

Но 22 февраля Фридрих дал знать Сольмсу, что в Вене переменили намерение: отказываются от Сербии и хотят взять свою долю из Польши.

Дело было покончено в Петербурге, Вене и Берлине. Теперь возвратимся в Варшаву, к Салдерну, которого мы оставили в сильном беспокойстве насчет поведения прусских войск в польских областях. «Тягости, налагаемые королем прусским, становятся день от дня невыносимее,— писал он Панину.— Пруссаки забирают все в десяти милях от Варшавы. Я не знаю, как генерал Бибиков извернется, чтобы наполнить обыкновенные магазины, назначенные для продовольствия наших войск, которые теперь в Польше,

не говоря уже о тех войсках, которые мы беспрестанно поджидаем. Поведение прусских офицеров приводит в движение всю Польшу. Всякий ищет средств, как помочь беде, и, сколько голов, столько умов. Одни кричат, что надобно сделать представления трем дворам, петербургскому, венскому и самому берлинскому, насчет крайностей, какие позволяет себе прусский король; другие в ярости требуют самых нелепых мер; но все одинаково кричат против притеснений и насилий. Когда мне об этом говорят публично, то я отвечаю одно: обратитесь к прусскому министру. Когда же мне говорят меж четырех глаз, я отвечаю, что это наказание Божие за то, как поляки поступили этим летом относительно декларации ее императорского величества, и за то, что они кричали против русских войск»⁹¹.

Через несколько дней пошла новая депеша из Варшавы в Петербург, опять о пруссаках: «Поведение прусских офицеров становится день ото дня оскорбительнее. Не жалобы поляков заставляют меня говорить об этом, но жестокая необходимость, наше собственное существование, самая ужасная будущность, которая нас ожидает. Прусские войска забирают весь хлеб в воеводствах, и продовольствия нам не будет доставать здесь, как уже недостает для наших отрядов в Ловиче и Торне. Голод неизбежен, и необходимым следствием голода будет возмущение шляхты и крестьян. Бедствия умножают беспрестанно число конфедератов. Прусский министр глух ко всему этому, говорит, что король не отвечает ему ни слова на все его представления. К довершению бедствия прусский король ввез в Польшу посредством жидов два миллиона фальшивых флоринов»⁹².

Салдерну отвечали из Петербурга, что нельзя делать представлений прусскому королю при тех отношениях, в каких находится теперь петербургский двор к берлинскому. Представления Салдерна о бедствиях настоящих и будущих для русского войска в Польше от поведения пруссаков много теряли силы вследствие донесений Бибикова, который, по характеру своему, смотрел на вещи другими глазами, чем Салдерн, то есть гораздо спокойнее. Вот что писал он Панину в конце 1771 года: «Не заботьтесь о конфедератах: они так малы, что если не помешает что особенное, то будущую весну выживу и из тех гнезд, в которых они теперь величаются со всеми французскими вертопрахами, а разве одно им убежище будут австрийские земли. Да беда моя общий наш друг посол: такая горячность и такая нетерпеливость, что с ноги бьет. При самой пустой и неосновательной от поляков вести (а их, к несчастью, здесь много) зашумит и заворчит: вот конфедераты усиливаются, вот уже они там и сям, а мы ничего не делаем! Мы пропадем! Они

⁹¹ Салдерн Панину 19 (30) ноября 1771 года

⁹² Салдерн Панину 3 (14) декабря

все субстанции у нас отнимут. Вся моя холодность и все почтение к сему старику нужны бывают, чтобы сохранить в пределах его запальчивость и напуски. Но будьте уверены, ваше сиятельство, что сохраняю, невзирая на странности его свойств. Часто мне кажется, что он совсем не тот, которого мы прежде знали, подозрения странные в нем примечаю, между прочим, кажется ему, что я с поляками очень вежлив и что я на его счет хочу быть любимым; иногда не довольно бедного посла почитаю. Нередко уже и объяснялись, и я от него не раз слышал: «Souvenez, mon cher et digne ami, que je suis representant de la Russie et votre pauvre ambassadeur»⁹³. Я его иногда смехом, иногда суриозно переуверю, что у меня в голове нет его уменьшать и что я и без посольства его почитать привычку сделал, да и теперь он дороже мне, как мой друг Салдерн, нежели посол. И после сего опять хорошо идет. А когда придет на вежливость мою подозрение, то начнет говорить: «Vous donnez un démenti à votre ami et à votre ambassadeur, vous êtes si poli vis-à-vis de ces coquins de Polonais, il fant les traiter en canaille comme ils méritent»⁹⁴. В сем случае нужно мне бывает мое красноречие и шутка, и с смехом стану я ему говорить, что я не могу этак грубиянить, как он; ему как старому человеку больше простят, нежели мне, а про меня скажут: русский невежа жить не умеет. Клянусь вам Богом, что временем делает он мне больше заботы, нежели все вместе конфедераты. Здешние наши политические дела буде имеют по желанию нашему какой успех, тому глупость, трусость и нерешимость польскую извольте твердо почитать основанием и ни к чему иному его не приписывать, как сим польским качествам. А ненависть их на нашего друга непересказуема. Боятся же его, как какое пугалище».

Отдаленные от описываемых событий почти веком, мы можем спокойно взглянуть и на деятельность Салдерна, и на деятельность Бибикова. Мы не можем не заметить в Салдерне раздражительности, запальчивости, склонности к преувеличениям. *Грубиянить* действительно было не нужно: твердость и силу всего лучше можно выказать без грубиянства. Но с другой стороны, лучше было подальше гнать от себя мысль, что скажут «русский невежа жить не умеет». Хорошо еще, когда были Бибиковы да Суворовы; но при другой обстановке мысль эта приносила большой вред русским людям, которые с чужими иногда чересчур сдерживались этою мыслию, а со своими ничем не сдерживались. Последними строками своего письма Бибиков дает понять Панину, что если есть какой успех, то его никак нельзя приписать Салдерну, а только

⁹³ «Вспомните, мой дорогой и уважаемый друг, что я представитель России и ваш бедный посол» (*Примеч ред*)

⁹⁴ «Вы проявляете недоверие к вашему другу и вашему послу, вы столь вежливы с этими мошенниками-поляками, а с ними надо обходиться как со сбродом, они того заслуживают» (*Примеч ред*)

дурным качествам поляков. Бибиков выставляет трусость поляков как средство к успеху для русских; но чтобы пользоваться этим средством, чтобы заставить труса трусить, надобно его пугать. Салдерна боялись, говорит Бибиков, и этими словами вместо обвинения оправдывает Салдерна, прямо показывает, что Салдерн был полезен, умел пользоваться качествами врагов.

В начале 1772 года, когда в Петербурге, Берлине и Вене дело подвигалось к окончательному соглашению между тремя державами относительно раздела Польши, в Варшаве все еще толковали о притеснениях от прусских войск. В квартире русского посла шел разговор между Салдерном и коронным канцлером Млодзеевским: *Канцлер*: «Не считаете ли вы приличным, чтобы король обратился к ее императорскому величеству, отправил к ней министра для уведомления о поступках и притеснениях Прусского корбля?» *Посол*: «Я думаю, что императрица не примет никакого посла от Польши, пока смута продолжается. Ее императорское величество очень хорошо помнит все происшедшее здесь в продолжение многих лет; она замечает не только равнодушие польского двора относительно ее, но и явное сопротивление всем ее добрым намерениям. Как вы хотите, чтоб императрица заступилась за Польшу перед прусским королем, когда это единственный государь, который действует единодушно с нею в настоящих делах, и как вы можете думать, чтобы моя государыня захотела сделать неприятность другу, заступаясь за поляков, которые ни теплы, ни холодны и на которых можно смотреть как на врагов России? Я говорю не об одних конфедератах, но и обо всех тех, которые хотя не замешаны открыто в настоящие смуты, но которые действуют под рукою и которые наполняют Варшаву. Я не исключая даже двора. Ее императорское величество не забудет холодности, невнимания, непоследовательности и несправильности в поступках, какие король и его фамилия позволили себе, покровительствуя части народа, которая возмутилась против своего короля, поддерживаемого моею государыней. После моей декларации я несколько раз имел разговоры с дядьми короля и вице-канцлерами и объявил им о намерениях ее императорского величества успокоить Польшу, излагая им, что императрица согласна на изменения в самых существенных пунктах последнего договора; именно, что даст объяснения относительно гарантии и не откажется ограничить права диссидентов в том случае, если они согласятся сами пожертвовать частью своих прав для отнятия предлога у злонамеренных людей продолжать разбойничества под религиозным знаменем. Что же касается внутренних дел, то императрица требует только сохранения *liberum veto* для всей шляхты... Они были очень довольны, но захотели ли воспользоваться добрыми намерениями ее императорского величества? Приступили ли к делу? Князь воевода русский сказал, что у нас мало войска в Польше для поддержания этого дела, что республика на-

ходится в кризисе и положение ее таково, что не может ухудшиться. Я очень хорошо понимаю смысл этих слов: воевода хотел сказать, что у нас на плечах война, которая может пойти для нас неудачно, ибо он не мог не знать, что у нас в Польше 12 000 войска, число, очень достаточное для их поддержания, если б они захотели серьезно воспользоваться нашим добрым расположением, вместо того чтоб увеличивать смуту своим бездействием.

Короля и республику никто не поддерживает, кроме императрицы: но оказывается ли к ней доверие? Король обращается в другую сторону, обольщаясь надеждою, что может найти подпору в соседе, который до сих пор не оказал ему ни малейших знаков дружбы и пользы, наоборот, покровительствует людям, посягающим на его власть и жизнь. Венский двор знает и видит все, что король прусский делает в Польше. В другое время он не смотрел бы на это равнодушно. Теперь Австрия не только овладела польскими землями, но, быть может, имеет еще какие-нибудь скрытые виды. Императрица требует у короля и республики благоразумной дружбы, основанной на поддержании естественной польской конституции. Если король и его друзья предпочитают оставаться в бездействии и упорствовать в своем равнодушии, то не ее вина, если она примет меры, соответствующие ее достоинству и интересам ее империи. Я предсказываю, что Польша должна ждать крайней смуты. Не раз я давал вам чувствовать, что прошлое лето вы упустили самую благоприятную минуту успокоить Польшу вашими собственными силами при поддержке России; я давал вам чувствовать, что по упущении этой благоприятной минуты успокоение Польши уже не будет более зависеть от свободной нации, но что вы получите законы и мир из рук ваших соседей. Когда начались жалобы на поведение короля прусского, то никогда не скрывал я ни от короля, ни от вас, что этот король будет для вас еще тягостнее и что он более всех пользуется смутою польскою»⁹⁵.

Посол высказался ясно насчет того, что ожидало Польшу. Это было последнее его объяснение. Вслед за тем Салдерн стал умолять об отзыве. «Я не сплю больше, желудок у меня уже больше не варит!» — писал он Панину⁹⁶. Не он должен был присутствовать при исполнении своих предсказаний. В июле 1772 года он получил желанный отзыв, но, покидая свой пост, старик не утерпел, послал в Петербург жалобу на Бибикова: «Поведение Бибикова вовсе не соответствует русской системе. Король, его братья и дядья поймали его за его слабую сторону: им управляют женщины — жена маршала Любомирского, гетмана Огинского и другие, подставленные королем, чтобы не дать ему прийти в себя. Чарторыйский канцлер, эта старая лисица, вызвал с тою же целию из Литвы дочь Пржез-

⁹⁵ Салдерн Панину 20 января (1 февраля) 1772 года

⁹⁶ 24 января

децкого. Бибиков делает все, что эти люди внушают ему посредством женщин, ему не дают ни одного дня отдыха, чтоб он мог опомниться: то охота, то загородная прогулка, то бал, развлечения всякого рода, сопровождаемые самой низкою лестью и угодничеством со стороны поляков, держат его в цепях. Он не пропускает ни одного вечера у госпожи Огинской, бывать у которой генерал Веймарн запретил русским офицерам по причине поведения мужа и фамилии и по причине азартной игры. Но теперь все позволено. Бибиков забывается до такой степени, что преследует всех тех, которых ненавидят Чарторыйские и брат короля. Судите, ваше сиятельство, сколько случаев имеет войсковой начальник притеснить кого захочет. Я употреблял все средства для удержания его от этого и иногда успевал, особенно когда обращался к нему письменно: он боялся, что отошлю копию ко двору. У него нет секрета, как скоро найдено средство возбудить его тщеславие. Лень, которая берет свое начало в образе его жизни, останавливает движение дел, часто случается, что более 60 приказов по 8 дней лежат без подписи»⁹⁷.

Преемником Салдерна был Штакельберг. 7 (18) сентября 1772 года вместе с прусским уполномоченным Бенуа (австрийский, барон Ревницкий, еще не приезжал) он подал министерству декларацию о разделе⁹⁸. Начались частые конференции между королем и его приближенными, результатом было решение — сносить все терпеливо, ничего не уступая добровольно, пусть берут все силою, и требовать помощи у дворов европейских; при этом провозглашать время, противопоставлять требованиям трех держав целый лабиринт шиканств и формальностей⁹⁹. Король одним декламировал против России, другим внушал, что русская императрица согласна вместе с ним на образование конфедерации против раздела; король даже дал знать об этом австрийскому послу, чтобы пустить черную кошку между союзниками. Штакельберг вследствие этого старался внушить полякам, что Россия не покровительствует королю и что так как Чарторыйские теперь более не монополисты наших сношений в Польше, то нация не рискует быть обманутою¹⁰⁰.

В конце октября Штакельберг имел объяснение с королем. Станислав-Август приготовился и дал полную свободу своему красноречию. «Претерпев столько страданий за отечество, запечатлев своею кровью дружбу и приверженность к императрице и видя, что государство мое обирают самым несправедливым образом и меня самого доводят до нищенства, я понимаю, что меня могут постигнуть еще большие бедствия, но я их уже не боюсь. Убитый, умирающий с голода, я научился — погибнуть». Штакельберг отвечал спокойно: «Красноречие вашего величества и сила вашего вооб-

⁹⁷ Салдерн Панину 25 июля (5 августа)

⁹⁸ Штакельберг Панину 8 (19) сентября

⁹⁹ Штакельберг Панину 13 (24) сентября

¹⁰⁰ Штакельберг Панину 14 (25) октября

ражения перенесли вас к лучшим страницам Плутарха и древней истории; но все это не может служить предметом нашего разговора; удостойте, ваше величество, снизить к истории Польши и к истории графа Понятовского». За этим последовало изложение обстоятельств, поведших к несчастью, которое оплакивал король. От прошедшего Штакельберг перешел к настоящему и предложил вопрос: что станет с ним, королем, если 100 000 войска наводнят Польшу, возьмут контрибуцию, заставят сейм подписать все, что угодно соседним державам, и уйдут, оставя его, короля, в жертву злобе врагов его? Король побледнел. Штакельберг воспользовался этим и начал доказывать ему, что его существование зависит от двух условий: от немедленного созыва сейма и отречения от всякой интриги, которая бы имела целью ожесточить поляков и вводить их в заблуждение. Король обещал делать все по желанию посла¹⁰¹.

Штакельберг еще не привык к варшавским сюрпризам и потому не верил своим ушам, когда через два дня после приведенного разговора король призвал его опять к себе и объявил, что считает своею обязанностью отправить Браницкого в Париж с протестом против раздела. «Мне ничего больше не остается, — отвечал Штакельберг, — как жалеть о вашем величестве и уведомить свой двор о вашем поступке. Чего вы, государь, ожидаете от Франции против трех держав, способных сокрушить всю Европу?» «Ничего, — отвечал король, — но я исполнил свою обязанность»¹⁰². 23 ноября (4 декабря) Штакельберг подал декларацию: «Есть предел умеренности, которую предписывают правосудие и достоинство дворов. Ее величество императрица надеется, что король не захочет подвергать Польшу бедствиям, необходимому результату медленности, с какою его величество приступает к созыву сейма и переговорам, которые одни могут спасти его отечество». Но, в то время как Штакельберг принимал меры, чтобы заставить короля переменить его несчастное поведение, Бенуа твердил ему: «Оставьте его; тем лучше для нас, мы больше возьмем»¹⁰³.

Это стремление больше взять было причиною, что Штакельберг в мае 1773 года получил от Панина следующие инструкции для предстоящих переговоров по поводу раздела и вообще устройства польских дел: «Так как Польша более всего опасается короля прусского и так как торговля по Висле составляет самый важный пункт для нее, то вы должны взять на себя роль посредника; вы должны пригласить барона Ревницкого присоединиться к вам и вдвоем однообразными представлениями старайтесь доставить Польше самые сносные условия. Отправляясь от начала, что три двора намерены

¹⁰¹ Штакельберг Панину 29 октября (9 ноября)

¹⁰² Штакельберг Панину 1 (12) ноября

¹⁰³ Штакельберг Панину 26 ноября (6 декабря)

сохранить Польшу в положении державы посредствующей, которая имела бы соответственную этой цели силу, вы можете представить слабость, до какой доведена Польша многолетнею смутою и усобицами, потерями от раздела, и сколько нужно лет, чтоб она могла оправиться, а оправиться ей будет нельзя, если пресекутся к тому способы относительно торговли. При определении отношений к Австрии есть один важный предмет — это соль, предмет первой необходимости: надобно, чтобы поляки могли получать ее по умеренным ценам; говоря за поляков в этом случае, вы исполните предписание сострадания и человечества. Я чувствую, как подобное поведение ваше будет щекотливо относительно короля прусского, которого распоряжения обличают совершенно другие виды; но по крайней мере вы можете требовать, чтобы дали Польше вздохнуть, прежде чем извлекать из нее новые выгоды, и чтобы первые годы после раздела были наименее тяжки для нее. Всякий раз, как прусский министр будет советовать вам употреблять силу, а вы заметите, что есть еще другие способы, то умеряйте его стремление и принимайте его мнения только в крайности. Представляйте ему дружески, не вмешивая свой двор, все, что узнаете вопиющего насчет поведения прусских войск, уговаривайте его сдерживать их, представляйте ему, что временные выгоды солдата, который сытно кормится в чужой земле, не идут в сравнение с необходимостью извлечь Европу из кризиса, в котором она теперь находится: внушайте все это осторожно, но вместе с силою истины».

Когда дело было покончено, раздел совершился, Белоруссия была присоединена к России, Сольмс в Петербурге получил письмо от принца Генриха: «Во всем этом деле я не думал о собственных выгодах. Когда дело идет о счастья государств, не должно примешивать сюда частных интересов. Я вмения себе в славу, что служил великой императрице и был полезен королю и моему отечеству; это мне льстит гораздо больше, чем приобретение какой-нибудь области. Я имею право говорить, что пребывание мое в Петербурге ознаменовано началом сношений, поведших к теснейшему союзу между королем и Россией. Я имею доказательство более чем в 20 собственноручных письмах короля, что я поставил вопрос, который повел к соглашению. Но я не требую за это вознаграждения; я ищу только славы и признаюсь вам, что я буду счастлив, получа эту славу из рук ее величества императрицы русской; желание мое исполнится, если она удостоит, по случаю принятия во владение земель от Польши, почтить меня письмом, которое будет служить доказательством, что я содействовал этому великому делу. Повторяю вам откровенно, что я буду смотреть на это письмо как на величайший монумент моей славы».

Желание принца было исполнено — императрица написала ему: «По принятии во владение губернии Белорусской, считаю справедливым засвидетельствовать вашему королевскому высоче-

ству, сколь чувствую себя ему обязанною за все заботы, употребленные им при совершении этого великого дела, которого ваше высокочество может считаться первым виновником».

ГЛАВА VI

После раздела Польша должна была принять от России, Австрии и Пруссии следующие условия, на которых она могла сохранить свое политическое бытие: 1) она должна была навсегда удерживать избирательную форму правления; 2) только природный поляк (Пяст) мог быть королем; 3) Польша сохраняла все свое прежнее республиканское устройство; 4) законодательная власть оставалась у сейма, состоявшего из короля, сената и рыцарства, исполнительная была у вновь учрежденного *Постоянного совета*, состоявшего из короля, 18 сенаторов и 18 послов сеймовых. Этот Постоянный совет делился на пять комиссий: а) иностранных сношений, б) полиции, в) военную, г) юстиции, е) финансовую. Католическая партия, поддерживаемая Австриею, настояла, чтобы шляхта греческого неумианского закона и диссиденты не могли быть ни в сенате, ни в Постоянном совете; на сеймах из них не могло быть более трех послов. Русские уступили, потому что масса православного народонаселения принадлежала к низшим сословиям — значительной шляхты было очень мало.

После первого раздела история дала Польше 15 лет отдыха, мира. Это время прошло в борьбе короля с оппозициею, во главе которой стоял великий гетман коронный Франц-Ксаверий Браницкий, соединившийся с князем Адамом Чарторыйским, человеком ничтожным, вовсе не похожим на своего отца и дядю¹⁰⁴. Браницкий хотел играть первую роль в стране и враждебно столкнулся с Постоянным советом, который своею военною комиссиею ограничивал власть гетмана над войском. Русский посол Штакельберг стоял за Постоянный совет — и отсюда ненависть у Браницкого к Штакельбергу, поездка в Петербург, хлопоты там, чтобы неприятный посол был отозван, чего Браницкий надеялся достигнуть с помощью Потемкина. Потемкин шел против Панина, а Панин покровительствовал Штакельбергу.

Но интрига в России против Штакельберга не помогла; посол крепко сидел на своем месте; не помогали интриги и в Польше против короля: тщетно запивали и обдаивали шляхту¹⁰⁵ перед выборами на сейм 1776 года; король обратился к Штакельбергу с просьбою о вооруженном вмешательстве, и появление двух русских эскадронов в Литве положило здесь конец *патриотической* деятель-

¹⁰⁴ Князь Михаил Чарторыйский, великий канцлер Литовский, умер вскоре после раздела, князь Август, палатин Русский, прожил еще семь лет

¹⁰⁵ Считали, что истрчено было на подкуп до 150 000 золотых

ности Браницкого и Чарторыйского. Вместе с депутатами явились в Варшаву на сейм и русские войска. *Патриоты* были сдержаны, вследствие чего нескольким юристам под председательством графа Андрея Замойского было поручено составление нового Уложения, более соответствующего духу времени, более благосклонного к низшим классам народонаселения, власть гетманов была ограничена; четыре гвардейских полка были подчинены непосредственно королю. Король делал все, что мог, для воскресения Польши в этот пятнадцатилетний промежуток между первым и вторым разделами: заботился о варшавском и виленском кадетских корпусах, которые и начали доставлять порядочных офицеров; учреждена была артиллерийская школа; явились пушечный и оружейные заводы; построены цейхгаузы, казармы, тогда как прежде этого ничего не было. *Воспитательная комиссия и Воспитательный совет* хлопотали не без пользы о поднятии университетов и школ. Любовь короля к науке и искусству, мода на них при дворе также не остались без влияния: таланты находили простор и почет.

Но все эти цветки, показавшиеся на поверхности почвы при некоторых благоприятных условиях, не были признаками возрождения Польши, которая неминуемо должна была поплатиться жизнью за всю свою историю. Признаки этой наступающей расплаты были явны для всякого внимательного и разумного наблюдателя. Вот эти признаки:

«Вельможи, постоянно недовольные, в постоянном соперничестве друг с другом, гоняются за пенсиями иностранных дворов, чтоб подкапываться под свое отечество. Потоцкие, Радзивиллы, Любомирские разорились вконец от расточительности. Князь Адам Чарторыйский часть своего хлеба съел еще на корню. Остальная шляхта всегда готова служить тому двору, который больше заплатит. В столице поражает роскошь, в провинциях бедность. На 20 миллионов польских золотых ввоз иностранных товаров превысил вывоз своих. Ежедневно происходят такие явления, которые невероятны в другом государстве: злостные банкротства купцов и вельмож, безумные азартные игры, грабеж всякого рода, отчаянные поступки, порождаемые недостатком средств при страшной роскоши. Преступления совершаются людьми, принадлежащими к высшим слоям общества. И какому наказанию подвергаются они — никакому! Где же они живут, эти преступники, — в Варшаве, постоянно бываю у короля, заведывают важными отраслями управления, составляют высшее, лучшее общество, пользуются наибольшим почетом. Хотите знать палатина, который украл печать? Или графа, мальтийского рыцаря, которому жена палатина Русского (Галицкого) недавно говорила: «Вы украли у меня часы, только не велика вам будет прибыль: они стоят всего 80 червонных». Кавалеры Белого Орла крадут у адвокатов векселя, предъявленные их заимодавцами. Министры республики отдадут в заклад свое сереб-

ро через камердинера, отошлют потом этого камердинера в деревню да и начинают иск против того, кто дал деньги под заклад, под предлогом, что камердинер украл серебро и бежал, а через полгода вор опять служит у прежнего господина. Другой министр захватил имение соседа; Постоянный совет решил, что он должен возвратить захваченное; несмотря на то, похититель велел зятю своему, полковнику, вооруженною рукою удерживать захваченное; загорается битва между солдатами полковника и крестьянами законного владельца; полковник прогнан, но 30 человек остались на месте битвы. Один палатин уличается перед судом в подделке векселей; другой отрицается от своей собственной подписи; третий употребляет фальшивые карты и обирает этим молодых людей — в числе обгнанных был родной племянник короля; четвертый продает имения, которые ему никогда не принадлежали; пятый, взявши из рук кредитора вексель, раздирает его в то же мгновение и велит отколотить кредитора; шестой, занимающий очень важное правительственное место, захватывает молодую благородную даму, отвозит в дом, где велит стеречь ее своим лакеям, и там насилует. Покойный маршал Саксонский имел полное право говорить, что немецкий полумошенник в Польше честнейший человек».

Мы едва ли бы решились без оговорки приводить эти свидетельства, если бы они шли от русского, австрийца или пруссака; но они идут от саксонского резидента Эссена, который не имел никаких побуждений чернить поляков — напротив: имел все побуждения сочувствовать им, смотреть на них с самой благоприятной стороны. «Я трепещу при мысли, — пишет Эссен, — что курфюрст возложит на меня обязанность указать ему между поляками троих значительных и вместе честных людей: я не могу указать ему ни одного. Польские вельможи громко говорят: «Государи при сношении друг с другом имеют в виду одну собственную выгоду; мы республиканцы и государи и потому не делаем ничего для других государей без соблюдения собственной выгоды». Россия, — продолжает Эссен, — эта великая и страшная империя, принуждена тратить ежегодно от 40 до 50 000 червонных на пенсии, чтобы в Постоянном совете и в комиссиях иметь своих людей, и, кроме того, должна еще содержать эскадрон легкой кавалерии, готовый лететь всюду при первой надобности. Несмотря на то, несмотря на все письма и указы императрицы к послу, русские подданные часто проигрывают процессы. Английский посланник Дальримпл с каждою почтою просит свое правительство отозвать его отсюда; он говорит, что, исполняя здесь обязанности министра, он унижает тем свое достоинство честного человека. Бóльшая часть здешнего высшего блестящего общества в другой стране подверглась бы преследованию закона»¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Донесение Эссена см у Herrmann Geschichte des russischen Staates, VI Band // Herrmann E Geschichte des russischen Staates Bd 6 Hamburg, 1832—1853

«Мы республиканцы и государи, — говорила польская шляхта, — мы соблюдаем везде только собственные выгоды». И вот, когда на сейме 1780 года представлено было новое Уложение, требующее равенства всех перед законом, главного судопроизводства, улучшения участи горожан и крестьян, то «республиканцы и государи» с ужасом и злобою отвергли такой еретический кодекс.

Преобразовательная деятельность Станислава-Августа только слегка коснулась поверхности; пораженное неизлечимою болезнью, общественное тело способно было только к судорожному предсмертному движению, когда поднялся *Восточный вопрос*.

Россия вследствие раздела Польши отказалась от своих требований относительно независимости Дунайских княжеств, отказалась от острова на Архипелаге для себя, но неожиданно и, к великой досаде Австрии, силою оружия заставила Турцию в Кючук-Кайнарджи признать независимость Крыма. Это последнее событие не могло остаться без последствий: оно заставило Россию отказаться от северного *акорта*, переменить прусский союз на австрийский.

Турция долго не могла переварить условий Кайнарджийского мира, долго бросалась во все стороны с просьбою о помощи, нельзя ли как-нибудь переменить эти условия. Понятно, что всего чувствительнее была для нее потеря Крыма. По условиям Кайнарджийского мира, за султаном оставалось в Крыму религиозное значение как преемника калифов; но он упорно домогался верховных прав в области гражданской и политической. Россия, разумеется, не могла уступить этим домогательствам, ибо тогда где же была бы независимость Крыма? Вследствие враждебных друг другу влияний с двух сторон — русской и турецкой — образовались партии на полуострове и вступили в борьбу друг с другом, вполне напоминающую нам борьбу двух партий, русской и крымской, в Казани перед ее падением. Ханы сменялись вследствие движения партий. Уже в 1775-году свергнут был преданный России хан Сагиб-Гирей и возведен на престол преданный Турции Девлет-Гирей. Россия свергнула последнего и возвела на его место Шагин-Гирейя. Шагин хотел быть действительно независимым и ввести необходимые для усиления своего государства преобразования, стал вводить при этом новые, европейские обычаи; но этим он возбудил против себя сильную старореческую турецкую партию: началась опять усобица, в которой Россия должна была поддерживать Шагина. Такое положение дел становилось час от часу несноснее для России. Война ее с Турцией продолжалась в Крыму; благодаря Крыму ежедневно готова была вспыхнуть и непосредственно, в более широких размерах. Тем сильнее становилось желание покончить с Крымом, который не мог оставаться независимым; тем охотнее должны были выслушиваться предложения вроде следующего, которое представил Потемкин:

«Крым положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с Турком по Бугу или со стороны кубанской — во

всех сих случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний Туркам неприятен: для того, что он не допустит их чрез Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу — вот вдруг положение границ прекрасное: по Бугу Турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны кубанской, сверх частых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительна, мореплавание по Черному морю свободнее, а то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемиловитившая государыня! Неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить: презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел: Франция взяла Корсику, Цесарцы без войны у Турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный — да кому? Туркам: это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе: с Крымом достанется и господство в Черном море, от вас зависеть будет запираť ход Туркам и кормить их или морить с голоду. Хану пожалуйте в Персии что хотите — он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сем просьбу. Сколько славно приобретение, столько вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот, она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон! Ис тебя истекло к нам благочестие: смотри, как Екатерина Вторая паки вносит в тебя кротость христианского правления».

Но «свести бородавку с носу» было нельзя без войны с Турциею, а для этого нужно было обеспечить себя со стороны соседних держав — Пруссии и Австрии, преимущественно со стороны последней. Недавно соглашение этих держав помешало России заключить мир с Турциею на желанных условиях, заставило Россию войти в виды Пруссии и Австрии относительно Польши; и теперь исход крымского дела зависел от того, будет ли по-прежнему существовать это соглашение между Пруссией и Австрией, или можно будет разрознить их интересы и заставить ту или другую державу войти совершенно в виды России. Поведение Фридриха II относительно турецких дел не могло не охладить к нему Екатерины: он действовал

вовсе не так, как бы можно было надеяться от верного союзника; не хотел принять известных объяснений справедливости русских требований от Турции, что не могло не оскорбить; явно преследовал только свои интересы и заставил сообразоваться с ними. Разумеется, обвинять за это прусского короля, явно на него жаловаться не имело никакого права, тем не менее горечь осталась. Но вначале, то есть после раздела Польши и Кайнарджийского мира, нельзя было думать об ослаблении союза с Пруссией, ибо Австрия не давала возможности сближения с собою. Мы видели, что Потемкин в приведенной записке указывал, как она без войны взяла у турок более, чем мы. Действительно, еще до заключения Кайнарджийского мира Австрия, под шумок, отрезала себе на границах довольно значительный участок земли. На запрос Петербургского кабинета по этому делу Венский отвечал, что за эти земли уже идет столетний спор; Венский двор очень бы желал, чтобы это дело окончилось мирным путем, к удовольствию обеих сторон; но опыт показал, как трудно улаживаться с Портою, и потому почтено за лучшее занять спорную область вооруженною рукой.

Делать было нечего: Турция одна не могла защищаться, а Россия и Пруссия также не могли начать войны с Австрией. Но подобное поведение последней, конечно, не могло содействовать сближению Петербургского кабинета с нею, и Панин имел возможность продолжить систему *северного акорга*. 10 октября 1776 года он подал мнение о продолжении прусского союза: «На сих днях читал мне граф Солмс полученную им от короля, своего государя, депешу, в которой его прусское величество, изъявляя вновь желание свое о продолжении с вашим императорским величеством настоящего союза еще на 10 лет, повелевает ему сделать вторично о том представление в такой силе, что его величество, видя при изнемогающих силах приближение конца жизни своей, более всего имеет на сердце получить от вашего императорского величества то дружеское утешение, чтоб оставить преемника своего в обязательствах и интересах вашего величества, следовательно же, и в теснейшем соединении с империею Всероссийскою. А как по случаю первого о том внушении угодно было вашему императорскому величеству мне повелеть, чтоб я мое по оному мнению представил, то я, донося чрез сие о таковом вторичном отзыве графа Солмса, поставлю в долг себе всеподданнейше изобразить здесь собственные свои по оному мысли.

От собственного вашего императорского величества прозорливейшего усмотрения зависит определить, колико донныне союз наш с берлинским двором мог в течении и производстве дел наших полезен быть повсеместному почти успеху их. Происшедшие между Англией и американскими ее селениями распри, а из оных и самая война предвещает знатные и скорые, по-видимому, перемены в настоящем положении европейских держав, следовательно же, и во

всеобщей системе. Удастся ли селениям устоять в присвоенной ими ныне независимости, или же предупредит напоследок Англия истощительными ее усилиями поработить их своей властью, что без внутреннего тех селений вконец изнеможения рассудительным образом предполагать не может: но в обоих сих случаях на верное считать надлежит, что лондонский двор потеряет весьма много из своей настоящей знатности и что оный, как совсем отделенная держава от твердой земли Европы, тогда наипаче принужден будет сокращать политику свою в теснейших еще пределах островов своих. Естественным оборотом из сего сколь вероятного, столько же и не удаленного последствия получат Бурбонские, толь тесно между собою соединенные дома, а особливо Франция, при непререкаемости коренных и локальных их сил и пособий, свободнейшие руки укоренять свою инфлюенцию и свою поверхность там, где оные доныне в пределах умеренности содержаны были противувесием английских сил и интересов, что с политическими правилами вашего императорского величества никак согласовать не может, тем паче, что и венский двор по настоящей своей связи с версальским найдет тогда в большей беспечности собственного своего положения, когда ему сей последний, без всякого уже от Англии помешательства, будет в состоянии оказывать всякие снисхождения к его интересам, а взаимно таковые же и для себя от венского с явщею выгодой взаимствовать. Из чего, собственно, для России такое неудобство родиться может: когда станет приходиться к истечению союз наш с королем прусским, тогда венский двор, и в чистейшем намерении содружения своего с нами, будет, конечно, размерять выгоды свои в оном по выгодам имеющегося с Францией союза. В рассуждении всего сего продолжение тесного вашего союза с королем и короною прусскими есть лучший и надежнейший способ к сохранению установленной вами в делах политической системы и к охранению не одного севера, но и всей уже Европы от перевеса инфлюенции версальского и венского дворов».

Союз с Пруссией был возобновлен, но только по форме. Крымские дела, с одной стороны, и баварское наследство — с другой, вели необходимо к перемене системы. Иосиф II хотел во что бы то ни стало приобрести для Австрии Баварию после пресечения тамошней династии; Фридрих II для безопасности Пруссии и целой Германии считал необходимым противодействовать всеми средствами такому усилению Австрии. Оба для своих целей должны были заискать у России — у одной России, ибо Франция, занятая англо-американскими делами и истощенная вконец, не могла обнаружить своего влияния на решение баварского дела. На чью же сторону склонится Россия? Разумеется, на ту, которая обещает ей свое действие для решения крымского дела; Австрия поспешила дать это обещание.

В мае 1779 года Иосиф II обязался за себя и за преемников сво-

их гарантировать России все ее владения и все ее договоры с Портою; в случае нарушения договоров с турецкой стороны — объявить Порте войну; если во время этой предполагаемой войны с турками на Россию нападет какая-нибудь другая держава, то Иосиф будет помогать России всеми своими силами. Пруссия опоздала с своими предложениями, и что же предложила она? Тройной союз между Россией, Пруссией и *Турцией* против Австрии!

«17 сентября 1779 года ее императорское величество соизволила читать сообщенную от прусского посланника графа Герца депешу ему от короля, государя его, с приложением таковой же от прусского поверенного в делах при Порте Оттоманской Гафрона относительно заключения тройного союза наступательного и оборонительного между империей Всероссийскою, короною прусскою и Портою Оттоманскою. Ее величество предложения сии не нашла вовсе себе удобными и сходственными с прямою пользою для государства ее; ибо, не упоминая уже о том, koliko оскорбителен был бы для деликатности ее союз с державою неприязненною всей христианской республике, ниже коль вредные впечатления может он произвести в народах, под игом турецким пребывающих, коих венский двор вящше тогда от нас отвратить и привязать к себе не упустит, встречаются тут ее величеству следующие размышления. Если сей союз предполагается единственно преградою горделивым замыслам венского двора, то не довольно ли опытом доказано, что для обуздания одного достаточно сил ее императорского величества, соединенных с королем прусским, и особливо после того, когда и Франция, невзирая на разные свои с венским двором обязательства, явила свету, сколь удалена она пособствовать дальнейшему могуществу австрийского распространению, и когда, по признанию прусского в делах поверенного, из отзывов посла французского заключаемому, двор его поставляет себе в тягость союз с Австрийцами. От Турок помощь не нужна, и потому союз с ними может быть полезен только им: огражденные от внешнего страха поправятся и приключат России большую заботу, чем прежде. По непостоянству Турок вследствие частой перемены министерства союз сей при первом дел обороте ни во что обращен быть может. Если будет заключен союз между Пруссией и Турцией, то в случае распрей и войны между Россией и сею последней, к которым дела татарские, затруднения в торговле и мореплавания и другие по соседству и невежеству турецкому недоразумения причину подать могут, будем мы связаны и самим союзником нашим, который пользу свою, конечно, в том полагать будет, чтоб бытие нового его союзника, то есть Порты Оттоманской, ни малейшему ущербу подвержено не было, — словом, что все наше с той стороны поведение зависеть будет от двора берлинского. Посему угодно ее величеству, чтоб сие королем прусским учиненное приглашение отклонено было образом благопристойным. Что же касается собственно до Порты, то поелику настает уже ныне с нею

трактат мира и дружбы, да и ко взаимной торговле положено основание, ее величество желает, чтоб связь сия вяще могла утверждена быть посредством коммерческого трактата. К сему не нужно ничье постороннее посредство».

В 1779 году говорилось еще о возможности утверждения связи с Турцией коммерческим трактатом; но иначе пошли дела в 1782 году, когда вспыхнуло восстание против Шагин-Гирея под предводительством родных его братьев, и хан должен был удалиться в Таганрог. Екатерина обратилась к новому союзнику своему, Иосифу II, и получила от него самый удовлетворительный ответ: «Получить письмо вашего императорского величества и отвечать на него в продолжении тех же двадцати четырех часов было во мне одним чувством и одним действием. Мне не нужно ни размышлений, ни соображений, ни расчетов, когда мое сердце чувствует и когда дело идет о том, чтобы служить, смею сказать, моей императрице, моему другу, моей союзнице, моей героине, да, я готов всегда ко всякому соглашению с вашим императорским величеством относительно всех возможных событий, каковые могут произойти от смут в Крыму»¹⁰⁷.

«Моя радость равна была моей признательности при чтении письма, которое вашему императорскому величеству угодно было написать мне, — отвечала Екатерина — Ваше императорское величество привыкли счастливить людей; вы спешите содействовать счастию и вашей союзницы. Обещание вашего императорского величества войти в соглашение со мною относительно всех событий, могущих произойти от крымских смут, это обещание служит для меня драгоценным залогом вашей дружбы, за что позвольте выразить мою живейшую благодарность»¹⁰⁸.

Должно быть, в это время Безбородко написал свою знаменитую записку. «Россия не имеет надобности желать других приобретений, как 1) Очаков с частию земли между Бугом и Днестром, 2) Крымского полуострова, буде бы, паче чаяния, тамошнее правление по смерти нынешнего хана или по каким-либо непредвидимым замешательствам нашлось для нас невыгодным и вредным, и, наконец, 3) одного, двух или трех островов в Архипелаге для пользы и нужд по торговле. Напротив того, венский двор возвращением Белграда с частию Сербии и Боснии, а может быть, и банната Краиовского учинился бы в положении пред нами выгоднейшем. Но можно позволить ему сие расширение пределов своих, если он согласится с нами относительно дальнейшего жребия монархии Оттоманской. Сей жребий определиться может в двух следующих степенях: 1) Ежели обе державы, находя продолжение войны для

¹⁰⁷ 17 июля 1782 года

¹⁰⁸ 1 августа 1782 года

себя весьма убыточным, а завоевания ненадежными, предпочли бы заключение мира без разрушения Турецкого государства, в таком случае сверх обоесторонних приобретений полезно было бы им условливаться и постановить, чтоб Молдавия, Валахия и Бессарабия, под именем своим древним Дакии, учреждена была областью независимую, в которую владетель назначен был бы закона христианского, там господствующего, если не из здешнего императорского дома, то хотя другая какая-либо особа, на которой верность оба союзника могли бы положиться; новая сия держава не может быть присоединена ни к России, ни к Австрии. Но положим, что упорство Порты, с одной стороны, а успехи — с другой, подали бы способы к совершенному истреблению Турции и к восстановлению древней Греческой империи в пользу младшего великого князя, внука вашего императорского величества. Тут также заранее предопределить нужно точные границы сея империи, назначая их во владениях турецких в Европе на твердой земле и в островах архипелажских, разумея те, кои за удовлетворением других останутся: ибо предполагать должно, что при таковом в пользу нашу снисхождении венский двор захочет иметь какое-либо основание в Средиземном море для торговли своей; что Англия и Франция и Гишпания, может быть, востребуют и себе некоего приобретения, что республика Венецианская предъявит свои притязания на Морею, которой ей уступать не должно, а лучше заменить в островах, может быть, что Франция и Гишпания устрелят намерения свои на порты в Египте или другие на африканских берегах, в чем еще менее затруднения делать следует».

На этих основаниях отправлено было в Вену следующее предложение: «Между тремя монархиями должно быть навсегда независимое от них государство. Это государство, в древности известное под именем Дакии, может быть образовано из провинций Молдавии, Валахии и Бессарабии под скипетром государя религии греческой. Что касается до равенства в приобретениях, то Россия желает: 1) город Очаков с областью между Бугом и Днестром; 2) один или два острова в Архипелаге для безопасности и удобства торговли. Хотя положение и плодоносие турецких областей, соседних с государством вашего императорского величества, дают вашим приобретениям совсем иное значение, однако моя личная дружба к дорогому союзнику не позволит мне колебаться и одной минуты сделать ему это пожертвование, ибо я твердо уверена, что если наши успехи в этой войне дадут нам возможность забыть Европу от врага имени христианского изгнанием его из Константинополя, то ваше величество не откажетесь содействовать восстановлению монархии Греческой, под неперменным условием с моей стороны сохранять эту возобновленную монархию в полной независимости от моей, и возвести на ее престол младшего внука моего, великого князя Константина, который даст обязательство не иметь никогда пре-

тензий на престол российский, ибо две эти короны никогда не должны быть соединены на одной главе»¹⁰⁹.

Иосиф отвечал, что присоединение к России Очакова с означенною областью не может встретить никакого затруднения. Что же касается до образования нового государства Дакии и возведения на Греческий престол великого князя Константина, то это будет зависеть от успехов войны; с его же стороны не будет затруднения в исполнении всех этих желаний, если только будут исполнены и его желания, которые состоят в следующем. Для Австрийской монархии нужно присоединить: город Хотин с небольшою областью, прикрывающею Галицию и Буковину, часть Валахии, которую огибают Алута, Никополис и отсюда оба берега вверх по Дунаю, следовательно, города Виддин, Орсову и Белград для прикрытия Венгрии. От Белграда протянуть линию самую прямую и самую короткую к Адриатическому морю, включая Golfo della Drina¹¹⁰, и, наконец, все владения венецианские на твердой земле и с прилежащими островами должны отойти к Австрийской монархии, ибо только этим средством произведения ее земель получат ценность. Полуостров Морея, который принадлежал некогда венецианам, острова Кандия, Кипр и другие архипелажские могут богато вознаградить этих республиканцев; он, император, может иметь тогда морские суда и быть, следовательно, гораздо полезнее для России; дунайская торговля останется совершенно свободною для австрийских подданных как при входе в Черное море, так и при выходе из него через Дарданеллы. Новые государства — Дакийское и Греческое — обяжутся не взимать никаких пошлин с австрийских судов¹¹¹.

Эти соглашения развязывали руки относительно Крыма; здесь Шагин-Гирей был восстановлен с помощью России. Но в ожидании новых смут и покушений со стороны Турции Потемкину отправлен был следующий рескрипт 14 декабря 1782 года: «Предполагая, что политический состав Оттоманской монархии разными обстоятельствами был бы еще отдален от конечного его разрушения и чтоб мы даже после войны нашли еще один раз в необходимости сделать мир с сею державою: не были ль бы мы обязаны ответом пред совестью нашей, есть ли бы, имея в руках своих надежные средства удалить на времена будущие всякий повод к новой войне и предварить всечасные беспокойства, да с такою выгодною для государства нашего случай тот благопоспешный из рук выпустили? Известно, что одним из главнейших поводов к распрям нашим с Турками от давнего времени служил полуостров Крымский, из недр коего не однажды обеспокоены были границы наши. Преобразование его в вольную и независимую область обратилось только в

¹⁰⁹ 10 (21) сентября 1782

¹¹⁰ Дринский залив (*Примеч. ред.*).

¹¹¹ 13 октября 1782.

новые для нас заботы со знатными издержками. Опыты времени от 1774 года доказывают, что таковая независимость мало свойственна татарским народам, ибо, чтоб удержать ее, надлежит почти всегда нам быть вооруженными и посреди мира изнурять войска трудными движениями, неся большие убытки как бы во время войны, без всякой надежды заменить оные. При малейшем со стороны нашей послаблении Турки, пользуясь единоверием Татар и разными связями, предуспевают там только умножать свою силу, что почти всякий раз паки к войне прибегать должно, дабы только дела поставить в прежней степени. Таковое бдение над крымскою независимостью принесло нам уже более 7 000 000 чрезвычайных расходов, не считая непрерывного изнурения войск и потери в людях, кои превосходят всякую цену. В уважении на сии обстоятельства приняли мы намерение решительным образом тамошним делам дать совсем иной оборот и при дальнем со стороны турецкой против нас не пристойном и интересам нашим вредном поведении так их устроить, чтоб полуостров Крымский не гнездом разбойников и мятежников на времена грядущие остался, но прямо обращен был на пользу государства нашего, в замену и награждение осмилетнего беспокойства, вопреки миру нами нанесенного и знатных иждивений на охранение целости мирных договоров употребленных, чем и будет изъят впредь всякий повод к войне с Турками, если они сей шаг, нам самую необходимостью вынужденный, не почтут за точную причину к явному разрыву: но и в сем последнем случае находим мы полезнее однажды навсегда кончить дела наши с помянутою державою, нежели быть во всегдашней от нее тревоге, чтоб не допустить ее паки к крайнему нам вреду усилиться в татарской области и почти поработить себе оную. Вследствие того волю нашу на присвоение того полуострова и на присоединение его к Российской империи объявляем вам с полною нашею доверенностью и с совершенным удостоверением, что вы к исполнению сего не упустите ни времени удобного, ни способов, от вас зависящих, но не иначе, что поводом к такому присвоению Крыма должны служить случаи: 1) Буде постигнет смерть ныне владеющего хана или неприятели его увезут; или утвердить его на владении тамошнем будет ненадежно. 2) Буде он, паче чаяния, окажется изменником или вовсе сомнительным в доброхотстве к Российской империи; или же сделает непристойное затруднение в удержании нами Ахт-Ярской гавани либо других интересов наших. 3) Буде Порты не подается на прочие главные артикулы, нами требуемые. 4) Буде она пошлет войска в Крым или на Кубань либо морские силы в Черное море; или же начнет поджигать татар каким бы то образом ни было к беспокойству и мятежу. 5) Буде она в другой части, нам ближней или на другой, станет против нас тайно или явно собою или чрез других действовать. 6) Буде император римский распространит далее свой кордон, или границу, на счет Молдавии или Валахии; в таком

случае и мы должны искать средства к соблюдению с ним равенства».

Потемкин должен был всячески стараться приклонить татар на свою сторону и внушать им, чтобы подали просьбу о присоединении Крыма к России; хану внушать, что будет осыпан милостями. Если Порта согласится отступить от всякого к татарам прикосновения и исполнит мирный договор во всем его объеме, то присоединение Крыма отложить до другого времени, заняв только Ахт-Ярскую гавань.

В 1552 году жестокости последнего Казанского хана Шиг-Алея заставили казанцев просить Иоанна IV свести от них ненавистного Алея и прислать наместника московского; в 1783 году жестокости хана Шагин-Гирея произвели такое же движение в Крыму и повели к уничтожению его самостоятельности. 7 февраля 1783 года Екатерина послала Потемкину повеление:

«Из донесений, присланных к вам от генерал-поручика графа Дебалмена, а к министерству нашему от посланника Веселицкого, мы с сожалением уведомляемся о казни многих из Татар, кои вовлечены были в участие в последнем там происшедшем беспокойстве, несмотря на то что хану Шагин-Гирею от помянутого посланника внушаемо было от имени нашего о показании при сем случае всякой кротости и человеколюбия во прощении виновных. По сродной нам жалости, желая отвратить по крайней мере впредь всякую жестокость и особливо чтоб она там место не имела, где силы наши воинские обращаются, соизволяем мы, чтоб вы предписали графу Дебалмену объявить помянутому хану в самых сильных выражениях, с каким прискорбием получили мы сие неприятное известие; что когда восстановление его обладания совершилось подъятием оружия нашего без всякого пролития крови и когда участвовавшие в возмущении приведены были в раскаяние, то не требовало ли самое человечество пощадить обратившихся к повиновению? Примеры прежние долженствовали его в том научить; мятеж в 1777 году укрошен был, конечно, не его строгостию. Казни, при том случае употребленные и повторенные потом многократно, не могли устрашить других, а только огорчили его подданных и предуготовили последнее возмущение. Он должен ведать, что если бы мы таковую суровость с его стороны предвидели, не обратили бы войск наших на его защиту, ибо несходно то с правилами нашими, чтоб силой нашею низверженных попускать на истребление. Скорее мы оставим всякое ему пособие, нежели распространим оное на угнетение рода человеческого; что милость и покровительство наше не на одну его особу, но вообще на все татарские народы распространяется и что потому желаем, дабы он управлял сими народами с кротостию, благоразумному владельцу свойственною, и не подавал причины к новым бунтам, ибо не может ему быть неощутительно, что сохранение его на ханстве не составляет еще для государства нашего такого

интереса, для которого мы обязаны были бы находиться всегда в войне или по крайней мере в расприх с Портою, а и ни для чего не согласимся славу оружия нашего, известную столько же победами, сколько и пощадою побежденных, подвергать какому-либо предсуждению. Заключив сие изъяснение требованием, чтобы, до совершенного приведения в порядок дел в том крае, он отдал на руки военного нашего начальства родных своих братьев и племянника, також и прочих под стражею содержащихся, быв уверен, что как, с одной стороны, жизнь сих людей охранена будет от всякого против их покушения, так, с другой — не может он опасаться от них новых беспокойств. Между тем нет нужды скрывать в народе его на истине самой основанные внушения, дабы Татары видели, что подобные казни нам и военному нашему начальству всемерно отвратительны, что мы ничего не оставим употребить к пресечению их и что все те, кои прибегнут под защиту войск наших, воспользуются полною безопасностью; да и действительно предпишите о помещении их под охранением нашим, где и как выгоднее, и о соблюдении их безопасности. Если бы, паче чаяния, хан не с удовольствием принял такое увещание и ежели бы он сделал затруднение в отдаче нам братьев и племянника своих с другими Татарами, в заключении содержащимися, в таком случае повелеваем всю стражу, при нем находящуюся, взяв, отправить к Ахт-Ярской гавани или куда вы за лучше признаете и потом и помышлять только о своих делах, о своей безопасности, об удержании твердой ноги в Крыму и о приведении упомянутых дел к желаемой и выгоднейшей для нас цели, оставляя его (то есть хана) между народом. Впрочем, казнь означенных князей крови его долженствует служить поводом к совершенному отъятию руки нашей от сего владетеля и сигналом к спасению Крыма от дальнейших мучительств и утеснений способом, в рескрипте нашем от 14 декабря 1782 года вам подписанном».

Шагин-Гирей отказался от престола, и Крым был присоединен к России указом 8 апреля 1783 года. Бывший хан оставался жить в Тамани; императрица распорядилась, чтобы его перевели в Воронеж, но он не послушался и в ответе вошел в разные «нескладные» изъяснения. Тогда отправлен был к нему генерал Игельстром с приказанием, чтобы непременно выехал из Тамани, выбрав для жительства из трех городов: Воронеж, Орел или Калугу. Игельстром должен был внушить хану, что «с русской стороны не было упущено ничего к сохранению его на престоле: собственное его поведение, наипаче жестокость отдалила от него всех подвластных; Татары принимали ханом всякого иного, кроме его, и многие отзывались, что они лучше повиноваться будут всякому российскому начальнику, нежели ему. С другой стороны, Порта готова была, да и начала уже пользоваться сим заботливым положением дел. Благо и тишину империи нашей не могли мы не поставить выше всякого

уважения к хану Шагин-Гирею или к кому бы то ни было; что хан отрекся от правления без всякого предварительного соглашения с ним или с поставленными от нас начальниками; что сама Порта подтвердила присоединение Крыма, следовательно, непристойно и непозволительно ему, хану, человеку теперь частному, вступаться в какие-либо дела, касающиеся до земель сих; не должен он жаловаться на министров или генералов наших, ведая, что они исполняли только волю нашу».

Шагин-Гирея перевели в Калугу.

ГЛАВА VII

Несмотря на сильное волнение, произведенное в Турции вестию о присоединении Крыма к России, Порта на первых порах нашла необходимым признать это присоединение, что и было сделано конвенциею 28 декабря 1783 года. Но это было только на первых порах. Чем более приходила Турция сама в себя после громового удара, тем яснее сознавала всю важность потери: последнее татарское царство подпало власти русской, подпал этой власти весь северный берег Черного моря, откуда враждебные корабли не преминут при первом случае явиться пред Константинополем, и флот действительно заводился. Предупредить страшную опасность, кинуться на врага, когда он не ожидает нападения, не приготовился к нему, — вот поступок, который мог быть внушен Порте отчаянием и вместе благоразумием. Летом 1787 года рейс-ефенди представил русскому послу в Константинополе Булгакову ультиматум, которым требовались: выдача молдавского господаря Маврокордата, удалившегося в Россию; отозвание русских консулов из Ясс, Букареста и Александрии; допущение турецких консулов во все русские гавани и торговые города; признание грузинского царя Ираклия, поддавшегося России, турецким подданным; осмотр всех русских кораблей, выходящих из Черного моря. Булгаков отверг требования, и Порта объявила войну России. Посол вопреки условию Кайнарджийского мира был заключен в Семибашенный замок. «Поселили меня в доме коменданта, — доносил Булгаков о своем заключении. — Поступают со мною учтиво, но не допускают никого не только ко мне, но даже и в крепость. Интернунций, сколь ни старался обо мне, всегда с презрением и даже с ругательством был отвергаем. В несчастии моем нашелся, однако, человек, который оправдал совершенно и мою доверенность, и свою преданность к высочайшему двору, а именно г. Гонфрис, датский агент. Он в самый день моего заключения изыскал средства прислать ко мне все нужное и находит оные поныне меня кормить, содержать, утешать и доставлять известие о происходящем. Сколь ни скоропостижно меня схватили, успел я скрыть наиважнейшие бумаги, цифры, архиву моего времени, до-

рогие вещи и проч. Казна также в целости, хотя и не велика»¹¹².

Россия была застигнута врасплох; положение Потемкина, обязанного защищать Новую Россию, было крайне затруднительно; он не знал, куда обратиться, с чего начать; предвидел еще большие затруднения, если Пруссия и Англия станут действовать неприязненно; писал в Петербург, что надобно ласкать эти две державы. Екатерина старалась поддержать его дух: узнавши из его донесения об осаде Кинбурна турками, она писала: «Что Кинбурн осажден неприятелем и уже тогда четыре сутки выдержал канонаду и бомбардираду, я усмотрела из твоего собственноручного письма: дай Боже его не потерять, ибо всякая потеря неприятна; но положим так, то для того не унывать, а стараться как ни на есть отместить и брать реванж; империя останется империя и без Кинбурна; того ли мы брали и потеряли? Всего лутче, что Бог вливает бодрость в наших солдат там, да и здесь не уныли, а публика лжет в свою пользу, и города берет, и морские бои и баталии складывает, и Царьград бомбардирует. Я слышу все сие с молчанием и у себя на уме думаю: был бы мой князь здоров, то все будет благополучно и поправлено, если бы где и вырвалось чего неприятное. Усердие Александра Васильевича Суворова, которое ты так живо описываешь мне, весьма обрадовало; ты знаешь, что ничем так на меня не можно угодить, как отдавая справедливость трудам, рвению и способности. Ласкать Англичан и Прусаков ты пишешь: кой час Питт узнал о объявлении войны, он писал к Воронцову, чтоб он приехал к нему, и по приезде ему сказал, что война объявлена и что говорят в Царьграде, что на то подущал Турок их посол, и клялся, что посол их не имеет на то приказания от великобританского министерства. Сие я верю, но иностранные дела Великобритании не управляемы ныне английским министерством, но самым ехидным королем по правилам гановерских министров; его величество уже добрым своим правлением потерял 15 провинций, так мудрено ли ему дать послу своему в Царьграде приказание в противности интересов Англии? Он управляется мелкими личными страстьми, а не государственным и национальным интересом. Касательно Прусаков, то им и поныне, кроме ласки, не оказано, но они хотят не ласки, и то может быть не король, а Герцберх. Молю Бога, чтобы тебе дал силы и здоровья и унял ипохондрию. Как ты все сам делаешь, то и тебе покоя нет; для чего не берешь к себе генерала, который бы имел мелкой деталь? Скажи, кто тебе надобен, я пришлю; на то даются фельдмаршалу генералы полные, чтоб один из них занялся мелочию, а главнокомандующий тем не замучен был. Что не проронишь, того я уверена; но во всяком случае не унывай и береги свои силы: Бог тебе поможет и не оставит, и царь тебе друг и покровитель. Проклятое оборонительное состояние! И я его не люблю. Старайся

¹¹² 25 августа 1787 года

его скорее оборотить в наступательное: тогда тебе да и всем легче будет и больных тогда будет менее; не все на одном месте будут»¹¹³.

Ипохондрия Потемкина не проходила: он прислал просьбу о позволении сдать начальство над войском Румянцеву, а самому приехать в Петербург. Просьба сильно не понравилась императрице, она отвечала: «Не запрещаю тебе приехать сюда, если ты увидишь, что твой приезд не расстроит тобою начатое либо производимое. Приказание к фельдмаршалу Румянцеву для принятия команды, когда ты ему сдашь, посылаю к тебе; вручишь ему оное как возможно позже, если последуешь моему мнению и совету; с моей же стороны пребываю хотя с печальным духом, но со всегдашним моим дружеским доброжелательством»¹¹⁴.

Новое несчастье окончательно отняло дух у Потемкина. Любимое его создание, севастопольский флот был разбит бурей; сын счастья пришел в совершенное отчаяние, когда увидел, что начинает быть несчастливим: «Матушка государыня, я стал несчастлив; при всех мерах возможных, мною предприемлемых, все идет навыворот. Флот севастопольский разбит бурей; остаток его в Севастополе, все малые и ненадежные суда и, лучше сказать, неупотребительные; корабли и большие фрегаты пропали. Бог бьет, а не Турки. Я при моей болезни поражен до крайности; нет ни ума, ни духу. Я просил о поручении начальства другому. Верьте, что я себя чувствую; не дайте чрез сие терпеть делам. Ей, я почти мертв; я все милости и имение, которое получил от щедрот ваших, повергаю стопам вашим и хочу в уединении и неизвестности кончить жизнь, которая, думаю, и не продлится. Теперь пишу к графу Петру Александровичу (Румянцеву), чтоб он вступил в начальство, но, не имея от вас повеления, не чаю, чтоб он принял, и так Бог весть что будет. Я все с себя слагаю и остаюсь простым человеком; но что я был вам предан, тому свидетель Бог»¹¹⁵. В отчаянии Потемкин писал, что надобно вывести войска из Крыма.

«Конечно, все это нерадостно, однако ничто не пронало, — отвечала ему Екатерина. — Крайне сожалею, что ты в таком крайнем состоянии, что хочешь сдать команду; сие мне более всего печально. Ты упоминаешь о том, чтобы вывести войска из полуострова; если сие исполнишь, то родится вопрос: что же будет и куда девать флот севастопольский? Я думаю, что всего бы лучше было, если бы можно было сделать предприятие на Очаков либо на Бендеры, чтоб оборону оборотить в наступление. Прошу ободриться и подумать, что бодрый дух и неудачу поправить может. Все сие пишу к тебе, как лучшему другу, воспитаннику моему и ученику, который

¹¹³ 24 сентября 1787 года

¹¹⁴ 25 сентября 1787 года

¹¹⁵ 24 сентября

иногда и более еще имеет расположения, нежели я сама; но на сей случай я бодрее тебя, понеже ты болен, а я здорова. Ты нетерпелив, как пятилетнее дитя, тогда как дела, на тебя возложенные теперь, требуют терпения невозмутимого»¹¹⁶.

Победа Суворова над турками у Кинбурна несколько ободрила Потемкина. С грустью, но уже спокойно стал говорить он о потере флота, о своем отчаянии при этом: «Правда, матушка, что рана сия глубоко вошла в мое сердце. Сколько я преодолевал препятствий и труда понес в построении флота, который бы через год предписывал законы Царюгороду! Преждевременное открытие войны принудило меня предпринять атаковать раздельный флот турецкий с чем можно было; но Бог не благословил. Вы не можете представить, сколь сей нечаянный случай меня почти поразил до отчаяния».

Мы видели, что Екатерина указывала на Очаков, взятием которого надобно было оборонительную войну переменить на наступательную. В другой раз, после кинбурнского дела, императрица писала Потемкину: «Понеже Кинбурнская сторона важна и в оной покой быть не может, дондеже Очаков существует в руках неприятельских, то за неволю подумать нужно о осаде сей, буде инако захватить не можно по нашему суждению»¹¹⁷. — «Кому больше на сердце Очаков, как мне? — писал Потемкин. — Несказанные заботы от сей стороны на меня все обращаются. Не стало бы за доброй волей моей, если б я видел возможность. Схватить его никак нельзя, а формальная осада по позднему времени быть не может — и к ней столь много приготовлений! Теперь еще в Херсоне учат минеров как делать мины, также и прочему. До 100 000 потребно фашин, и много надобно габионов. Вам известно, что лесу нет поблизости. Я уже наделал в лесах моих польских, откуда повезут к месту. Очаков нам нужно, конечно, взять, и для того должны мы употребить все способы верные для достижения сего предмета. Сей город не был разорен в прошлую войну; в мирное время Турки укрепляли его беспрерывно. Вы изволите помнить, что я в плане моем наступательном, по таковой их тут готовности, не полагал его брать прежде других мест, где они слабее. Если бы следовало мне только жертвовать собою, то будьте уверены, что я не замешкаюсь минуты; но сохранение людей столь драгоценных обязывает иттить верными шагами и не делать сумнительной попытки, где может случиться, что потеря в несколько тысяч пойдет не взявши, и расстроимся так, что, уменьша старых солдат, будем слабее на будущую кампанию. Притом, не разбив неприятеля в поле, как приступить к городам? Полевое дело с Турками можно назвать игрушкою; но в городах и местах таковых дела с ними кровопролитны»¹¹⁸.

¹¹⁶ 2 октября

¹¹⁷ 2 ноября 1787 года

¹¹⁸ 1 ноября 1787 года

Преждевременное начатие войны и соединенные с ним невыгоды положения — естественно внушали желание как бы поскорее освободиться от войны. Но здесь важный вопрос: как другие державы будут смотреть на дело? Мы видели, что Потемкин сильно беспокоился насчет Пруссии и Англии. Легко было прийти к мысли повторить средство, уже испытанное в первую Турецкую войну, — отправить флот в Средиземное море; но как на это посмотрят морские державы — Англия и Франция? «Французские каверзы, — писала Екатерина Потемкину, — по двадцатипятилетним опытам мне довольно известны; но ныне спознали мы и английские, ибо не мы одни, но вся Европа уверена, что посол английский и посланник прусский Порту склонили на объявление войны. Теперь оба сии двора от сего поступка отступаются. Они же (англичане) никогда и ни в какое время ни на какой союз с нами согласиться не хотели в течение двадцати пяти лет. Франция, конечно и бесспорно, находится в слабом состоянии и ищет нашего союза; но koliko можно долее себя менажировать (должно) с Франциею и с Англиею; без союза нам будет полезнее иногда, нежели самый союз тот или другой, понеже союз навлечет единого злодея более. Но в случае если бы пришло решиться на союз с тою или другою державою, то таковой союз должен быть распоряден с постановлениями, сходными с нашими интересами, а не по дуде и прихотям той или иной нации, еще менее по их предписаниям. Я сама того мнения, что войну сию укоротить должно koliko возможно. Советую вам на мой собственный счет закупить в Украине, или где удобнее найдете, тысяч на сто рублей или более баранов и быков и оными производить порции солдатам, по сколько раз в неделю как заблагорассудите. Буде никакой надежды к миру чрез зиму не будет, то как ранее возможно весной отправить отселе флот; нужно, чтобы оному от Англии не было препятствия. Конечно, когда мои двадцать кораблей пройдут Гибралтарский залив, тогда признаюсь, чтобы полезно быть могло, чтоб авангард его была эскадра французская и ариергард той же нации, а наши бы корабли составляли корп-дарме и так бы действовали и шли кончить войну, проходя проливы. За сию услугу Французам бы дать можно участие в Египте, а Англичане нам в сем не подмогут, а захотят нас вмешать в свои глупые и бесполовые германские дела, где не вижу ни чести, ни барыша, а пришло бы бороться за чужие интересы; ныне же боремся по крайней мере за свои собственные; и тут кто мне поможет, тот и товарищ»¹¹⁹.

Но помощников и товарищей не являлось, а затруднения увеличивались беспрестанно. 1788 год начался очень печально: к страшной дороговизне присоединились болезни. «Дай Боже, чтоб болезни скорее пресеклись, — писала императрица Потемкину. — Дорого-

¹¹⁹ 4 ноября 1787 года

визна во всем ужасная; дай Боже силу снести все видимые и невидимые хлопоты»¹²⁰. Теперь Потемкин в свою очередь написал ободрительное письмо: «Болезни, дороговизны и множество препятствий заботят меня, и к тому совершенное оскудение в хлебе. Но и в Петербурге, как изволите писать, недужных много. В сем случае, что вам делать? Терпеть и надеяться неизменно на Бога. Христос вам поможет. Он пошлет конец напастям. Пройдите вашу жизнь, увидите, сколько неожиданных от Него благ по несчастии вам приходило. Были обстоятельства, где способы казались пресечены пути (sic), — вдруг выходила удача. Положите на Него всю надежду и верьте, что Он непреложен. Пусть кто как хочет думает, а я считаю, что Апостол в ваше восшествие (на престол) припал не на удачу: «вручаю вам Фиву, сестру вашу суцу, служительницу церкви, да примете ю о Господе достойне святым». Людям нельзя испытывать, для чего попускает Бог скорби; но знать надобно то, что в таких случаях к Нему должно обращаться. Вы знаете меня, что во мне сие не суеверие производит».

В затруднительных обстоятельствах, в каких находилась тогда Россия, самым выгодным представлялся Потемкину союз с ближайшим государством, с Польшею. Еще в то время, когда рассуждалось о пользе австрийского союза для войны Турецкой и Безбородко указывал, что со стороны Польши нечего бояться препятствий, Потемкин заметил: «Справедливость требует, по увенчанию успехами предприятий ваших, уделить и Польше, а именно: землю, лежащую между рек Днепра и Буга». Теперь, 15 февраля 1788 года, Потемкин писал императрице: «Примите мое усерднейшее предложение, решите с Польшей, обещаите им приобретение; несказанная польза, чтоб они были наши; ей-ей, они тверже будут всех других; привяжите богатых и знатных, почтив их быть шефами наших полков или корпусов; они сами к России прилепятся и большие деньги от себя в пользу полков наших употребят».

Екатерина не разделяла надежд Потемкина, слишком во всем давшего волю своему пламенному воображению; однако употребила все средства для склонения Польши к союзу. Она отвечала Потемкину: «Касательно польских дел, в скором времени пошлются приказания, кои изготовляются, для начатия соглашения; выгоды им обещаны будут; если сим привяжем Поляков и они нам будут верными, то сие будет первый пример в истории постоянства их. Если кто из них (исключительно пьяного Радзивилла и гетмана Огинского, которого неблагодарность я уже испытала) войдти хочет в мою службу, то не отрекусь его принять; наипаче же гетмана графа Браницкого, жену которого я от сердца люблю и знаю, что она меня любит и помнит, что она Русская; храбрость же его известна; также воеводу русского Потоцкого охотно приму, потому что он

¹²⁰ 26 января 1788 года

честный человек и в нынешнее время поступает сходственно совершенно с нашим желанием. Впрочем, Поляков принять в армию и сделать их шефами подлежит рассмотрению личному, ибо ветренность, индисциплина или расстройство и дух мятежа у них царствует. Впрочем, стараться буду, чтобы соглашение о союзе не замедлилось, дабы нация занята была. Дай Боже, чтоб болезни прекратились; если роты сделать сильнее, то и денег и людей более надобно; вы знаете, что последний набор был со ста душ; деньгами же стараемся быть исправны, налогов же наложить теперь не время, ибо хлебу недорода; и так недоимок не малое число. Признаться должно, что мореходство наше еще слабо и люди непривычны и к оному мало склонны; авось-либо в нынешнюю войну лучше приравнены будут Морские командиры нужны паче иных»¹²¹.

В это время, когда Потемкин так торопился с Польшею, венский двор сообщил петербургскому о беспокойствах своих относительно намерений Пруссии приобрести земли от Польши. Кауниц предлагал вооружить поляков против Пруссии обещанием возврата уступленных Пруссии по разделу земель. Но в Петербурге нашли, что неблагоприятно таким поступком вооружать против себя прусского короля. Безбородко подал записку: «В условиях с Австрией было поставлено, что Россия подаст помощь Австрии, если Пруссия или Франция нападут на нее. Но Венский двор сверх диверсии от короля прусского предполагает другой случай, тот, если бы сей государь решился, воспользуясь войною нашею с Портой, сделать без обнажения меча приобретение на счет Польши или где инде. Целость настоящих владений польских предохранена ручательством ее императорского величества. От решения ее величества зависит, следует ли принять покушение короля прусского присвоить Данциг и какую-нибудь часть земли польской за нарушение мира и тому воспрепятствовать всеми силами. Нельзя не признаться, что такое без войны приобретение дало бы королю прусскому гораздо выгоды более, нежели нам, кои долженствуем несть убытки в людях и деньгах. Можно будет Венскому двору отвечать, что мы уже подали им достаточные уверения в исполнении обязательств наших на случай диверсии короля прусского; что относительно подозрения в завладении им частию из Польши, святость и сила разных трактатов, ручательство наше сей республике утвердивших, да и самые интересы наши могут совершенным образом Венский двор обнадежить, что мы признаем подобное покушение за противное миру и, поколику возможность дозволит, тому воспротивимся. Кауниц, упоминая с похвалою о намерении нашем заключить союзный трактат с Польшею, внушает о представлении Полякам перспективы на возвращение от короля прусского, в случае враждебных его покушений, той части, которая уступлена ему раздельным

¹²¹ 26 февраля 1788

трактатом. Известно, что подобные дела в Польше негодуются с целым почти народом; каким же образом можно, прежде настояния случая, делать подобные обнадеживания? Сие значило бы совершенно неприязненные намерения наши и вызов короля прусского к войне, которую мы теперь отдалять должны».

Хлопотали об отдалении войны Прусской, потому что опасность начала грозить со стороны Швеции. Здесь царствовал двоюродный брат императрицы Екатерины по матери Густав III, человек, способный начинать важные дела, но не способный рассчитывать средства к их успешному окончанию. В 1772 году ему удалось усилить королевскую власть на счет шляхетской демократии, ослаблявшей Швецию с 1720 года. Это не могло, разумеется, нравиться в Петербурге: по господствующему правилу тогдашней политики каждая держава должна была стараться о том, чтобы в соседней державе сохранялась такая форма правления, которая бы давала как можно менее силы ее правительству и, таким образом, делала ее безопасною для соседей. Так, соседи Польши давно уже вносили в свои договоры статью — поддерживать господство шляхетской демократии в Польше; так, Россия, Дания и Пруссия обязаны были друг перед другом трактатами поддерживать и в Швеции форму правления, установленную там с 1720 года. Несмотря на то, родственники — императрица русская и король шведский — продолжали находиться в самых приятных отношениях. Густав III посетил Екатерину в Петербурге в 1777 году; когда в 1782 году у короля родился второй сын, он просил Екатерину быть приемницей, причем напоминал о слышанной им от нее русской поговорке, что только два сына — сын. Императрица отвечала, что он ошибается, поговорка говорит: «Один сын не сын, два сына — полсына, три сына — сын». В следующем 1783 году у родственников было условлено свидание в Фридрихсгаме, в Финляндии; но Густав упал с лошади и разбил себе руку, отчего свидание и не состоялось. Любезности продолжались: известно, что Екатерина любила заниматься русской историей, которая была в связи с шведскою, поэтому императрица просила короля прислать к ней шведских исторических книг. Густав поспешил исполнить просьбу и к посылаемым книгам приложил реестр с кратким изложением содержания каждой книги; он писал, что реестр составлен им самим. Екатерина отвечала: «Я сомневаюсь, чтобы ваши ученые знали лучше вас шведскую историю. С этих пор я смотрю на ваше величество не как на короля — короли, как все знатные особы, знают все, не учившись ничему, — но я смотрю на вас как на знатока истории, как на одного из самых достойных членов моей Академии».

Но отношения переменились при начале войны Турецкой. Густав возбудил в Швеции сильное и основательное подозрение, что он намерен предпринять еще новые перемены в форме правления, еще более усилить свою власть. Это повело к тому, что на сейме

1786 года он встретил сильную оппозицию и не мог провести своих предложений. Королю хотелось поправить дела воинскими подвигами, приобрести силу и значение Густава-Адольфа, опереться на победоносное войско и на всех тех, которым дорога слава отечества. Удобный случай к тому представила война России с Турцией, — война, вследствие которой северо-западные границы России были обнажены от войск. Густав думал, что ему легко будет напасть с суши и с моря на незащищенный Петербург и вынудить у Екатерины уступку завоеваний Петра Великого. Шведский вопрос примкнул к Восточному.

Когда русский посол в Стокгольме граф Разумовский дал знать своему двору о враждебных движениях в Швеции, Екатерина написала: «Императрица Анна Иоанновна, имея в 1738 или 39 году пребывание свое летнее в Петергофе, получила известие, что Шведы намереваются сделать высадку войск на здевшем берегу, приказала сделать Шведам объявление в такой силе, что буде осмелятся учинить подобное чего, то что бы за верное полагали, что она в самом Штокгольме камень на камне не оставит. По твердости сего объявления или по иным причинам, остановилась тогда назойливость шведская. Но то неоспоримо, что доходы империи и ее силы морские и сухопутные, коммерция и многолюдство были против теперешнего едва ли не в половине и считалось несколько губерний менее теперешнего, чего сообщить графу Разумовскому, дабы он легкомыслию, ветрености, назойливости и лживо рассеянным слухам знал чем преграду учинить».

В то время как с севера начали приходиться зловещие слухи, на юге великолепный князь Тавриды опять запел печальную песню о необходимости покинуть Тавриду. Екатерина отвечала ему: «На оставление Крыма, воля твоя, согласиться не могу; об нем идет война, и, если сие гнездо оставить, тогда и Севастополь, и все труды, и заведение пропадут, и паки восстанутся набеги татарские на внутренние провинции, и кавказский корпус от тебя отрезан будет, и мы в завоевании Тавриды паки упражнены будем и не будем знать, куда девать военные суда, кои ни в Днепр, ни в Азовское море не будут иметь убежища; ради Бога, не пуцайся на сии мысли, коих мне понять трудно и мне кажется неудобны, понеже лишают нас многих приобретенных миром и войною выгод; когда кто сидит на коне, тогда сойдет ли с одного, чтобы держаться за хвост? В Польшу давно курьер послан и с проектом трактата, и думаю, что сие дело уже в полном действии. Великий князь (наследник Павел Петрович) собирается к вам в армию, на что я согласилась, и думает отселе выехать 20 июня, буде шведские дела его не задержат; буде же полоумный король шведский начнет войну с нами, то великий князь останется здесь»¹²².

¹²² 27 мая 1788

С шведской стороны начались враждебные демонстрации с целью вынудить русских сделать что-нибудь такое, на что можно было бы указать как на нарушение мира с русской стороны. Но Густав ошибся в расчете: с русской стороны не было ни малейшего враждебного движения. Екатерина все еще надеялась, что дело кончится одними демонстрациями. «Мне кажется, они не задерут, а останутся при демонстрации,— писала она к Потемкину.— Осталось решить лишь единый вопрос: терпеть ли демонстраций? Если бы ты был здесь, я б решилась в пять минут что делать, переговора с тобою. Если бы следовать моей склонности, я б флоту Грейгову да эскадре Чичагова приказала разбить в прах демонстрацию: в сорок лет Шведы паки не построили бы корабли; но, сделав такое дело, будем иметь две войны, а не одну. Начать нам и потому никак не должно, что если он нас задерет, то от шведской нации не будет иметь по их конституциям никакой помощи, а буде мы задерем, то они дать должны: так полагаю, чтоб ему дать свободное время дурить, денег истратить и хлеб съесть»¹²³.

В то время как *Catherine le Grand*¹²⁴ (по выражению принца де Линя) умела сдерживать свою склонность, побуждавшую ее разбить в прах демонстрацию, у Густава III уже закружилась голова: он уже приглашал своих придворных дам на бал, который собирался дать им в Петергофе, приглашал их к молебну в петербургский собор; ему уже представлялось, что его имя разносится по странам Азии и Африки как мстителя за Оттоманскую империю. Шведы задрали: король явился в Финляндию и отправил к русскому вице-канцлеру графу Остерману под видом условий мира насмешливый вызов к войне. Король требовал не более не менее как возвращения Швеции всех земель, уступленных ею по Нистадтскому и Абовскому мирам, возвращения Порте Крыма и т. д.

«Мы отроду не слыхали жалоб от него,— писала Екатерина Потемкину,— и теперь не ведаю, за что разлился; теперь Бог будет между нами судиею. Здесь жары преужасные и духота, я переехала жить в город. У нас в народе превеликая злоба против шведского короля сделалась, и нет рода брани, которым бы его не бранили большие и малые; солдаты идут с жадностью, говорят: вероломца за усы приведем; другие говорят, что войну окончат в три недели, просят идти без отдыха; одним словом, диспозиция духов у нас и в его войске в моей пользе. Трудно сие время для меня, это правда; но что делать? Надеюсь в короткое время получить великое умножение, понеже отовсюду ведут людей и вещей»¹²⁵.

После сражения при Хохланде Екатерина писала: «Усердие

¹²³ 4 июня 1788

¹²⁴ Екатерин[а] Великий (шутливое выражение де Линя — *Примеч ред*)

¹²⁵ 3 июля 1788

и охота народная против сего неприятеля велика; не могут дожидаться драки; рекрут ведут и посылают отовсюду; мое одно село Рыбачья Слобода прислала добровольных охотников 65, а всего их 1300 душ. Царское Село возит подвижные магазины. Тобольскому полку мужики давали по 700 лошадей на станции. Здешний город дал 700 не очень хороших рекрут добровольною подпиской; как услышали сие на Москве, пошла подписка, и Петр Борисович (Шереметев) первый подписал 500 человек. Остров Эзель прислал (ты скажешь: куда конь с копытом, туда и рак с клешнею), дворянство и жители, что сами вооружатся и просят только 200 ружей и несколько пороха. Здесь жары так велики были, что на термометре на солнце было $39\frac{1}{2}$. В сей духоте, в городе сидя, я терпела духоту еще по шведским делам. В день баталии морской, 6 июля (при Хохланде), дух пороха здесь, в городе, слышен был: «ainsi, j'ai aussi senti la poudre» ¹²⁶.

Но и *фуфлыга-богатырь* (как называла Екатерина Густава III) также испытал духоту в Финляндии. Когда он дал приказ войскам своим напасть на Фридрихсгам, офицеры объявили, что не будут исполнять этого приказанья, потому что несправедливая война с Россией начата без согласия чинов, вопреки конституции. Вследствие этого шведские войска отступили от Фридрихсгама и Нейшлота, и король возвратился в Стокгольм. Мало этого: финляндские войска отправили майора Егергорна в Петербург для непосредственных переговоров с императрицею. Екатерина так писала об этом Потемкину: «Прислан ко мне от финских войск депутат майор Егергорн с мемориалом на шведском языке, что они участия не имеют в неправильно начатой королем войне против народного права и их законов, и много еще от них словесных предложений. Мой ответ будет в такой силе, что если они изберут способы те, кои их могут сделать от Шведов свободными, тогда обявуюсь их оставить в совершенном покое и переведаюсь со Шведами» ¹²⁷.

Не на радость возвратился Густав III и в Швецию: здесь датчане вследствие союза с Россией напали на его владения; но Пруссия и Англия поспешили к нему на помощь — не с войсками, разумеется; они угрозами заставили Данию удержаться от нападения на Швецию; Пруссия объявила, что если Дания будет продолжать Шведскую войну, то прусские войска вступят в Голштинию.

Наконец прусский король предложил свое посредничество в примирении России с Швециею. Фридрих-Вильгельм извинял Густава III — представлял, что он начал войну по недоразумениям; изъявлял надежду, что Россия заключит с Швециею мир, не требуя никаких вознаграждений; представлял, что король шведский первый обнаружил склонность к примирению. Фридрих-Вильгельм

¹²⁶ 13 июля 1788 («так что я понюхала пороха» — *Примеч. ред.*)

¹²⁷ 31 июля.

предлагал свое посредничество и в примирении с Турцией и, чтобы склонить к принятию этого посредничества, указывал на свой союз с Англией и Голландией; упоминал об интересе своем сохранить равновесие на севере и востоке. Императрица передала прусские предложения на рассмотрение Совету, собранному 18 сентября. Совет нашел в этих предложениях не слова, а вещи колкие:

«Король говорит в первом своем рескрипте о миролюбивых короля шведского расположения, признавая сам их недостаточными к учинению из того употребления; но во втором изражает пристрастно, будто сей государь вовлечен в войну недоразумением, а весь свет знает, что он получил от Порты деньги и, в надежде получать оные, решился напасть на Россию. Упрежая всякое дружеское изъяснение, которое с нашей стороны иметь с ним старались, присоединил к внезапному вероломству вредное хотение оторгнуть от России многими иждивениями и кровию предков приобретенные земли. Но извинениям таковым по себе непристойным прибавил король прусский хуже того изречение, что ожидает от двора нашего согласия восстановить мир с Швециею в том состоянии вещей, в каком были оне до воспоследовавшего разрыва. Намерение таково доказывает явное неуважение к тягости оскорбления, причиненного ее императорскому величеству королем шведским, и ни во что поставляются его покушения на вред империи. Вместо удовлетворения, соразмерного обиде, король прусский понимает оным то, что король шведский первый отзыв учинил к миру. Но какой государь, чувствующий силу, может поступить на такую низость и оставить пример соседу нападать, в чаянии при всякой неудаче покрыть злое дело единым токмо хотением мира? Еще сия неприличность не столько бы нас трогала, когда бы король прусский вязался только за одну Швецию, но он распространяет свое настояние и на войну нашу турецкую! Понять не трудно, что, говоря о союзе своем с Англией и Голландией, упоминая об интересе своем же сохранить равновесие на севере и востоке, он страшит нас общею от сих держав препоною в успехах наших в том и здешнем краях. Посему в виде медиатора зрится восстающий нетерпимый повелитель не токмо на настоящие наши дела, но и на будущие, которые Россия в свою оборону или для пользы государства предпринять бы могла.

Соображая таковой подвиг во всех его следствиях, совет весьма удален согласиться на предлагаемую от короля прусского настоящую медиацию; ибо податливость на оную предосудительна достоинству империи Всероссийской и царствованию ее величества, чрез 27 лет великою славою сопровождаемому. Что уничтожительнее оной крайности, как приять великой империи закон от прусского государя? Всякое уважение к нуждам и к тягости новой войны при сем размышлении исчезает. А по сему всемерно следует медиации сего государя отклонить; хотя, впрочем, с твердостью,

но в изъяснениях на сей раз дружеских, можно бы во 1) сказать, что ее императорское величество по дружбе, толь долголетне пребывающей, ожидать не могла, чтобы предлагаемая медиация исключала всякое должное удовлетворение государю и государству за учиненные оскорбления или уважение приобрести безопасность границам на будущее время от подобных насильств; 2) сказать о невозможности трактовать с королем шведским, поелику на его слова и обеты положить не нельзя; 3) по шведским делам предложены добрые услуги и со стороны двора Версальского: но как ее величество состоит в союзных обязательствах по шведской войне с королем датским, а против Турков с императором римским, то без предварительного сношения с сими союзниками не может на такие предложения дать полного ответа.

Думая, что король прусский не удовольствуется нашими объяснениями, совет полагает, что турецкую войну должно обратить в оборонительную, готовиться к войне с Пруссиею и приобретать союзников, заключить союз с Францией и другими бурбонскими домами, ибо на стороне Пруссии Англия и Голландия. Ни унывать, ни бояться не должно, Россия без всякого напряжения имеет 300 000 боевого войска». Мнение подписали: Брюс, Панин, Вяземский, Остерман, Воронцов, Стрекалов, Завадовский. Граф Андрей Шувалов не согласился, принимая в соображение тяжелое состояние финансов, и подал мнение: объявить Англии и Пруссии, что мы не хотим от Швеции никаких земель, а требуем только восстановления прежней формы правления, Россию гарантированной; Англии то не может быть противно. В то же время открыть с Англиею негоциацию о сближении торговым трактатом. Союз с Франциею вреден: она тесно связана с Швециею и Турциею.

Через несколько дней пришла депеша от Штакельберга из Варшавы, что прусский двор явно препятствует собранию сейма и утверждению союза с Россиею, толкует о вооруженном посредничестве вместе с Англиею. Прочтя депешу, Екатерина сказала: «Буде два дурака не уймутся, то станем драться. Графа Румянцева-Задунайского обратим для наступательной войны на Пруссию, чтоб отнять те земли, что я ему отдала. Князь Потемкин-Таврический будет действовать оборонительно»¹²⁸. Из этих слов было видно, что императрица не согласится с мнением Шувалова; тем прискорбнее было для нее услышать, что граф Дмитриев-Мамонов разделяет мнение Шувалова. В сильном раздражении почти сквозь слезы сказала Екатерина: «Неужели мои подданные, видя делаемые мне обиды от королей Прусского и Английского, не смеют сказать им правды? Разве они им присягали?»¹²⁹

¹²⁸ Записки Храповицкого (по изд. Москов. Истор. Общ.), стр. 110 // Храповицкий А. В. Памятные записки А. В. Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины Второй. М., 1862.

¹²⁹ Там же, стр. 115.

Дипломатическая война между Россией и Пруссией уже началась в Польше, вследствие чего здесь между поляками уже образовались два лагеря, русский и прусский. Прусский посланник Бухгольц получил от своего двора значительную сумму денег для составления прусской партии. Прусский министр Шуленбург писал великому гетману Литовскому Огинскому, что пришло время дать Польше возможность играть роль и самому Огинскому участвовать в этой роли. Для объяснения, что значат эти слова, Огинский отправил в Берлин адъютанта, который был представлен королю, и Фридрих-Вильгельм II прямо сказал ему: «Я желаю Польше добра, но не потерплю, чтоб она вступила в союз с каким-нибудь другим государством. Если республика нуждается в союзе, то я предлагаю свой с обязательством выставить 40 000 войска на ее защиту, не требуя для себя ничего за это». Министр Герцберг прибавил, что король может помочь Польше в возвращении Галиции от Австрии, лишь бы поляки не затрагивали турок.

В октябре 1788 года собрался в Варшаве сейм, которому был предложен союз с Россией при решении Восточного вопроса. Россия обязывалась вооружить на свой счет и содержать во все продолжение войны двенадцатитысячный корпус польского войска и даже после заключения мира в продолжение шести лет выплачивать на его содержание ежегодно по миллиону польских злотых; предложены были большие торговые выгоды; дано обязательство вытребовать такие же выгоды и от Турции при заключении мира. Король был всей душою за этот союз. Но Бухгольц подал сейму ноту, что его король не видит для Польши ни пользы, ни необходимости в союзе с Россией; что не только Польша, но и пограничные с нею владения прусские могут пострадать, если республика заключит союз, который даст туркам право вторгнуться в Польшу. Если Польша нуждается в союзе, то его прусское величество предлагает ей свой; его прусское величество употребит все старания, чтобы избавить знаменитую польскую нацию от всякого чужестранного притеснения и от нашествия турок, обещает всякую помощь для охранения независимости, свободы и безопасности Польши.

Чего же хотела, собственно, Пруссия? Противодействовать России и Австрии на счет Турции; противодействовать успехам этого ненавистного для нее союза между двумя соседними империями; отомстить России, показать ей, что она может только потерять от перемены прусского союза на австрийский. Но кроме этого у Пруссии были еще другие цели. Россия и Австрия вступили в войну с Турцией для увеличения своих владений на ее счет: пусть их достигнут этой цели, если и Пруссия при этом также увеличит свои владения. Фридрих II воспользовался первою Турецкою войною — и получил часть Польши; надобно воспользоваться второю Турецкою войною и достигнуть того же и таким же образом, то есть без

войны, дипломатическим путем, как произведен был раздел Польши при Фридрихе II. Для этого министр Фридриха-Вильгельма II хочет заключить союз с Портою, которая, как добрая союзница, должна взять на себя издержки увеличения прусских владений, а именно: Россия и Австрия должны получить земли от Турции; за это Россия уступит клочок Финляндии Швеции, Австрия — Галицию Польше; Польша, получив Галицию, должна уступить Данциг и Торн Пруссии; а Швеция, получив вознаграждение от России, должна уступить Пруссии же свою Померанию. Может быть, Турция не будет довольна? Турция останется довольна: за все свои потери она получит громадное вознаграждение: четыре державы — Россия, Пруссия, Австрия и Англия — гарантируют на будущее время целостность остальных ее владений.

В Польше ничего не знали об этих соображениях. Здесь прусские деньги приготовили умы и сердца, а великодушные обещания бескорыстной поддержки, возбужденная надежда с помощью Пруссии освободиться из-под влияния России, надежда играть роль — покончили дело. Невозможно было описать того восторга, с каким была встречена нота Бухгольца; все, что было способно увлекаться громкими словами, блестящими надеждами, бросилось в прусский лагерь. Король был за Россию: следовательно, все люди, ему недоброжелательные, должны были стать за Пруссию. Королевская и русская партия пали, число и дерзость оппозиции возросли; Штакельберг нашел невозможным провести союзный русский трактат¹³⁰, ибо никто из самых приверженных к России людей не решился бы его поддерживать.

Сейм, преобразовавшийся в конфедерацию, отвечал Бухгольцу на его ноту, что конфедерация вовсе не имеет в виду союза с Россией, но восстановление свободной формы правления и принятие мер, необходимых для защиты страны. Первою подобною мерою, разумеется, должно было быть увеличение числа войска, и Валевский, староста Серецкий, предложил увеличить число войска до 100 000. Взрыв рукоплесканий, слезы, объятия были ответом на это предложение. Все ликовало, как будто бы стотысячная армия уже маневрировала под стенами Варшавы, и Европа с уважением смотрела на Польшу; никто не подумал о бездельце: чем содержать стотысячное войско — доходы простирались до 18 миллионов злотых, а на одно содержание стотысячной армии надобно было 50 миллионов! В пылу восторга многие предложили добровольные пожертвования; но когда восторг охладел — пожертвования оказались ничтожными. Четыре года потом толковали об увеличении податей и налогов, не дотолковались до удовлетворительного результата — и число войска не превысило 60 000 человек.

После решения о стотысячном войске пошла ломка. Военное

¹³⁰ Штакельберг вице канцлеру Остерману 15 октября 1788

управление было отнято у Постоянного совета и поручено совершенно независимой Военной комиссии под очередным председательством четырех гетманов. Сейм объявлен бессрочным, чтобы иметь время привести в исполнение все преднамеренные реформы. Штакельберг объявил, что императрица будет смотреть на это нарушение гарантированного ею устройства как на разрыв дружественных отношений между Россией и Польшею. Сейм отвечал нотой, в которой отвергал претензию России ограничивать верховные права республики; в другой ноте сейм потребовал, чтобы польские владения были очищены от русских войск. Ветер, раздувавший весь этот пожар, дул из Берлина; там прямо высказывались русскому посланнику: «Что взяли, оставши от нас и соединившись с Австриею? Если бы были с нами, то все бы получили; и теперь если опять будете с нами, то все получите». Герцберг, пожимая руку посланнику императрицы Нессельроду, говорил: «Если бы на нас положились, то и Крым, и Очаков были бы ваши». Екатерина отметила против донесения Нессельрода: «Наместник Божий, вселенно распоряжающийся: зазнались совершенно».

Когда русский двор дал знать берлинскому, что императрица отступает от союза с Польшею, Герцберг отвечал: «Если императрица, по свойству великой души своей, отступает от союза, могущего нанести Польше вред, то король, его государь, надеется, что войска русские ни входить, ни проходить, ни довольствоваться в Польше не будут, чтоб не дать повода и туркам то же делать». Екатерина отвечала: «Поступок сей Прусского двора похож на поступки Шведские нынешнего года. Я говорила, чем больше им уступать, тем более они требуют»¹³¹.

6 декабря Потемкин взял Очаков, и это торжество, конечно, не могло заставить его согласиться, что надобно ограничиться оборонительною войной с Турцией и сосредоточить все силы на севере. Он писал императрице в духе шуваловского предложения: «Честь царствования требует оборота критического нынешнего положения дел. Все подданные ожидают сего. Я не нахожу невозможности, лишь бы живее действовать в политике и препоручить людям преданным Во-первых, усыпить прусского короля, поманя его надеждою приобрести прежнюю доверенность, что можно сделать, изъясняясь с ним ласково о примирении нас с Турками, согласясь тут с императором для отнятия у него подозрения. Полякам ежели показать, что вы намерялись им при мире с Портою доставить часть земли за Днестром, они оборотятся все к вам и оружие, что готовят, употребят на вашу службу. Ускорите с Англиею поставить трактат коммерческий; сим вы обратите к себе нацию, которая охладела противу вас. Напрягите все силы успеть в сих двух пунктах, тогда не только бранить, но и бить будем прусского коро-

¹³¹ Записки Храповицкого, стр 126

ля. Иначе прусский король легко отделит противу цесаря 80 000 своих, да 25 000 Саксонцев, 80 000 против нас да поляков с 50 000. Извольте подумать, чем против сего бороться, не кончив с Турками? Я первый того мнения, что прусскому королю заплатить нужно, но помирись с Турками». Относительно Франции Потемкин был пророком: «La France est en délire¹³², — писал он, — и никогда не поправится, а будет у них хуже и хуже».

Увещания с юга приходились не ко времени. Во-первых, легко было Потемкину из Очакова советовать уснуть прусского короля: но в Петербурге хорошо видели всю трудность, невозможность этого дела; во-вторых, раздражение, произведенное тоном прусских предложений и положением прусского правительства, ставшего на всех дорогах, чтобы мешать России, — раздражение было чрезвычайное. Императрица в ответе своем дала заметить Потемкину: возможное ли дело при настоящем антагонизме Австрии и Пруссии сблизиться с последнею, не разрывая союза с первою, — союза, заключение которого сам Потемкин больше всех советовал. Потемкин оскорбился, что в нем предположили колебание мыслей. «Ежели мысль моя о ласкании короля прусского не угодна, — писал он, — на сие могу сказать, что тут нейдет дело о перемене союза с императором, но о том, чтобы, лаская его, избавиться препятствий, от него быть могущих. А Вы изволите упоминать, что союз с императором есть мое дело: сие произошло от усердия; от оно же истекал и польский союз; в том виде и покупка имения Любомирского учинена¹³³, дабы, сделавшись владельцем, иметь право входить в их дела и в начальство военное. Мои советы происходили всегда от ревности; ежели я тут не угодил, то впредь, конечно, кроме врученного мне дела, говорить не буду».

Несмотря на счастливое, по-видимому, окончание 1788 года, новый 1789 год не принес никаких благоприятных перемен. Перед взятием Очакова, жалуясь на короля прусского и его союзников, Екатерина писала Потемкину: «Они позабыли себя и с кем дело имеют. Возьми Очаков и сделай мир с Турками; тогда увидишь, как осядутся, как снег на степи после оттепели, да поползут, как вода по отлогим местам». Очаков был взят; но блестящие надежды, которые возлагались на это событие, не оправдались. Затруднительное положение обоих союзных императорских дворов весной 1789 года всего лучше очерчено в письме Иосифа II к Екатерине: «Прусские интриги достигают в Константинополе все больших и больших результатов. Безумие англичан и голландцев; энтузиазм поляков к королю Прусскому; Дания, силою принужденная к миру; король Шведский, держащий на все и который успел усилить свою власть и свои средства; эта неудобная конфедерация германская;

¹³² «Францию лихорадит» (Примеч ред.)

¹³³ Имение куплено было Потемкиным

печальное состояние Франции и ложные принципы Испании — все это мудрость вашего величества сумеет оценить и найдет средства противодействовать злу. Мне остается только повторить уверенность, что буду всегда готов помогать вашему величеству всеми моими силами»¹³⁴.

Густав III Шведский, освобожденный Англиею и Пруссиею от Датской войны, действительно успел провести на сейме такие постановления, которые делали власть его почти неограниченною; сейм взял на себя королевские долги и дал Густаву новые денежные средства к продолжению Русской войны. Война эта и в 1789 году кончилась неудачно для шведов; но они не заключали мира, и, следовательно, Россия нисколько не была облегчена с этой стороны; а тут война грозила ежеминутно со стороны Пруссии и Польши. «С Прусакom употребляется что возможно, — писала Екатерина Потемкину, — но с врагами вообще нет ничего исцелительнее, как их бить». Но бить четырех врагов зараз было слишком трудно. На юге, несмотря на блистательные победы Суворова, дело не подвигалось к концу; от австрийцев была плохая помощь; Потемкин жаловался на них. На эти жалобы Екатерина писала: «Каковы цесарцы бы ни были и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая сопряжена во всем тем, что в свете может только быть придумано, поносным и несносным. Мы Прусакom ласкаем; но каково на сердце терпеть их грубости и ругательством наполненные слова и дела!»¹³⁵ В одной из записок императрицы, относящихся к этому времени, читаем следующие слова: «Молю Всевышнего, да отмстит Прусаку гордость. В 1762 году я его дядюшке возвратила Пруссию и часть Померании, что не исчезнет в моей памяти. Не забуду и то, что двух наших союзников он же привел в недействие; что со врагами нашими заключил союз; что Шведам давал деньги и что с нами имея грубые и неприлично повелительные переписки. Будет и на нашу улицу праздник авось либо!»

Но праздника надобно было еще подождать. Союзник Иосиф II умирал, изнемогая под тяжестью неприятностей, видя, как его реформы возбудили повсюду волнения, ненависть, видя необходимость отказаться от некоторых из них. Екатерина питала сочувствие к Иосифу, но не одобряла способа его действий при реформах, не одобряла излишней стремительности, неровности и мелочности: «Император сам ко мне пишет (уведомляя Екатерина Потемкина), что он очень болен и печален по причине потери Нидерландии. Если в чем очень оправдать нельзя, то в сем деле: сколько тут перемен было! То он от них все отнимал, то возвращал, то паки отнимал и паки отдавал. О союзнике моем я много жалею, и странно, как,

¹³⁴ 20 мая 1789

¹³⁵ 18 октября 1789

имея ума и знания довольно, он не имел ни единого верного человека, который бы ему говорил пустяками не раздражать подданных; теперь он умирает ненавидим всеми. Венгерцы мать его спасли в 1740 году от потери всего: я бы на его месте их на руках носила»¹³⁶.

Австрийский союз принес мало пользы и при Иосифе, нельзя было ждать лучшего при его преемнике Леопольде, а между тем Пруссия продолжала находиться относительно России в угрожающем и раздражающем положении, и две войны — Турецкая и Шведская — не обещали скоро прекратиться. Печально начался 1790 год: мирное предложение, сделанное Россией Швеции посредством испанского посланника, осталось без действия; Польша заключила союз с Пруссией. «Мучит меня теперь несказанно (писала Екатерина Потемкину), что под Ригою полков не в должном числе для защиты Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется повсюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю; только то знаю, что одна премудрость Божия и Его всеильные чудеса могут всему сему сотворить благой конец. Странно, что воюющие все хотят и им нужен мир, Шведы же и Турки дерутся в угодность врага нашего скрытного, нового европейского диктатора (короля Прусского), который вздумал отнимать и даровать провинции, как ему угодно: Лифляндию посулил с Финляндиею Шведам, а Галицию Полякам; последнее заподлинно, а первое моя догадка, ибо шведский король писал к испанскому министру, что, когда прусский король вступит в войну, тогда уже без его согласия нельзя мириться, да и теперь ни на единый пункт, испанским министром предложенный, не соглашается, а требует многое себе по-прежнему»¹³⁷. На другой день императрица писала: «Если визирь выбран с тем, чтобы не мешать миру, то, кажется, ты нам вскоре доставишь сие благополучие; с другой же стороны дела дошли до крайности. ЕСТЬЛИБ в Лифляндии мы имели корпус тысяч до 20, то бы все безопасно было, да и в Польше перемена ускорила».

Весною Густав III возобновил неприятельские действия. На сухом пути они были по-прежнему незначительны; но на море произошли два важных сражения, представившие быструю перемену военного счастья; в первом русские одержали блистательную победу над шведским флотом, запертым в Выборгском заливе; во втором — потерпели поражение от шведов: «После сей, прямо славной победы (писала Екатерина Потемкину) шесть дней (спустя) последовало несчастное дело с гребною флотилиею, которое мне столь прискорбно, что после разнесения Черноморского

¹³⁶ 10 января и 6 февраля 1790

¹³⁷ 13 мая 1790 г

флота бурею ничто столько сердце мое не сокрушило, как сие»¹³⁸.

Но последняя победа дала только возможность Густаву III с честью окончить войну, для продолжения которой он не имел средств. Поэтому новое предложение России было принято — и 3 августа 1790 года заключен был Верельский мир: границы обоих государств остались те же, какие были до войны; Густав обязался не вмешиваться в дела турецкие; Екатерина отказалась от права вмешиваться во внутренние дела шведские. «Велел Бог одну лапу высвободить из вязкого места (писала Екатерина Потемкину). Сего утра я получила от барона Игельстрома курьера, который привез подписанный им и бароном Армфельдом мир без посредничества. Отстали они, если сметь сказать, моею твердостью личною одною от требования, чтоб принять их ходатайство у Турок»¹³⁹. Оставалось покончить с последними. «Одну лапу мы из грязи вытащили; как вытащим другую, то пропоем аллилуйя», — читаем в другом письме¹⁴⁰. Потемкин писал, что стал спать покойно с тех пор, как узнал о мире со шведами. Императрица отвечала: «Ты пишешь, что спокойно спишь с тех пор, что сведал о мире с Шведами; на сие тебе скажу, что со мною случилось: мои платья все убавляли от самого 1784 года, а в сии три недели начали узки становиться, так что скоро паки прибавить должно меру; я же гораздо веселее становлюсь»¹⁴¹.

ГЛАВА VIII

«Вытащить другую лапу из грязи», то есть покончить войну с Турциею честным миром, было дело очень трудное. Пруссия и Англия, а за ними Голландия и Польша сохраняли прежнее враждебное положение относительно России и Австрии, по-прежнему грозили войною, если императорские дворы не помирятся с Турциею с восстановлением прежних условий, существовавших до войны (*statu quo*). В Берлине было в это время две партии: партия войны, главою которой был Герцберг, желавший во что бы то ни стало приобрести для Пруссии Данциг и Торн от Польши, и партия мира, главою которой был любимец короля Бишофсвердер. В Англии не хотели воевать за Турцию с Австриею и Россиею — хотели союзами и вооружениями напугать их, заставить заключить с Турциею мир *statu quo*. Английским посланником в Берлине был Эварт, имевший сильное влияние на прусские решения по своим способностям и энергии; официальным представителем России в Берлине был Нессельрод; но в то же время важные сношения

¹³⁸ 17 июля 1790 г

¹³⁹ 5 августа 1790 г

¹⁴⁰ 9 августа 1790 г

¹⁴¹ 29 августа 1790 г

были ведены другим дипломатом, Алопеусом, не имевшим официального значения.

Англия и Пруссия успели напугать Австрию. Преемник Иосифа II Леопольд нашел свое государство в самом печальном положении вследствие преобразований Иосифа, приходившихся часто не ко времени и не к месту. Леопольду нужно было во что бы то ни стало заключить мир с Турцией и отклонить войну с Пруссией, чтобы заняться внутренним успокоением своего пестрого государства. По восшествии своем на престол ¹⁴² Леопольд написал прусскому королю письмо, наполненное изъявлениями мирных желаний; Фридрих-Вильгельм отвечал ему в том же тоне. «Мое честолюбие в настоящую минуту состоит в том, чтоб содействовать успокоению Европы; у меня никогда не будет стремления к завоеваниям. Вот мое исповедание веры» ¹⁴³. Король предъявил и условия мира: «Или, по предложению Английского короля, восстановление status quo, или, что лучше, по моему мнению, такое общее распоряжение, которое бы уравновешенною меною примиряло интересы государств, участвующих в теперешних смутах». Ясно было, в чем должно состоять это общее распоряжение: Пруссия безо всякой войны и безо всякой мены должна получить Данциг и Торн.

Но Леопольду делать было нечего, надобно было мириться на том или на другом условии. Старый канцлер Австрии знаменитый Кауниц написал Потемкину: «Дела дошли до такого кризиса, что требуют самых скорых и самых действительных мер. Ожесточение Пруссии и ослепление Англии заставляют наши два двора выбирать из двух крайностей — одна хуже другой: или купить сохранение общего спокойствия жертвованиями, которые будут очень тяжелы после несчастной войны; или рисковать всеобщей войною, лучший исход которой для нас будет, если ничего не потеряем и получим мир с Портою сколько-нибудь сносный. Нам надобно проложить дорогу посредине этих двух крайностей, и всего лучше обеспечить для себя упомянутый исход, не подвергаясь случайностям, потерям и неисчислимым бедствиям всеобщей войны. Нечего колебаться в выборе между уменьшением выгод и важными, существенными потерями. Никакие выгоды не могут вознаградить нас за потерю Нидерландов и Галиции; что же касается России, то ничто не может вознаградить ее за потерю влияния в Польше и за соединение английского флота с шведским; для обоих дворов одинаково ничто не может вознаградить за преобладание Пруссии на севере и за исключительное господство ее в Польше» ¹⁴⁴.

В Вене приходили в ужас от одной мысли, что Пруссия может

¹⁴² 25 марта 1790 года

¹⁴³ 14 апреля

¹⁴⁴ 2 мая 1790

увеличить свои владения, усилить где-нибудь свое влияние, и потому придумали средство: предложить возвращение Галиции Польше, но с тем, чтобы Пруссия и Россия также отказались от своих долей, полученных по разделу 1772 года. Кауниц написал австрийскому посланнику в Петербурге Люи Кобенцелю: «Мы бы очень желали, если б Русский двор согласился возвратить свою долю. Нельзя ожидать никакой опасности от несдержания слова, а Пруссия подвергается явному предосуждению, особенно в глазах поляков»¹⁴⁵.

Но в Петербурге смотрели иначе на дело: страхом всеобщей войны Екатерину нельзя было заставить отдать Белоруссию или, предложив это возвращение, не сдержать слова. Она накидала на бумагу следующие пункты по поводу австро-пруссских дел: «1) Всякая несправедливость внушает ужас. Поведение Берлинского двора относительно Венского отличается такою несправедливостью, какой я еще не знаю примера. Берлинский двор требует, чтобы двор Венский уступил Польше большую часть Галиции, обладание корою гарантировано покойным Прусским королем и нами. Вознаграждение Австрии Берлинский двор обещает на счет Турок, Турок, с которыми Берлинский двор только что заключил оборонительный и наступательный союз. 2) Но, отдавая области своих союзников, Пруссия уверена ли, что Турки уступят их? Следовательно, хотят ограбить Австрию и обещают ей в вознаграждение то, что, может быть, Турки еще и не уступят, то есть почти что ничего. 3) Все это делается Берлинским двором для приобретения Торна и Данцига с частию Познани — вот и другой новый союзник Прусского короля, которого он хочет ограбить. То есть дерет с живого и с мертвого. 4) Надобно уверить Венский двор, что мы вполне исполним свои обязательства во всяком случае. 5) Мы желаем мира с Турками, общего или отдельного, единственно для того, чтобы деятельнее помогать нашему союзнику против общих врагов. 6) Я предпочитаю прямые переговоры с Портою; и справедливо, чтоб и Венский двор трактовал в то же время. 7) Если Венский двор будет трактовать отдельно с посредниками или без посредников, то справедливость требует, чтоб и мы могли делать то же самое, то есть отдельно».

Леопольду нужно было прежде всего отвратить грозу с севера, где Пруссия в подкрепление своих требований выставляла большое войско; в Галиции поляки волновались. Леопольд согласился на конгресс, который должен был собраться в Рейхенбахе, в Силезии, в июле 1790 г. Австрийские и прусские уполномоченные должны были уладиться при посредстве английского и голландского уполномоченных. В первой конференции австрийские уполномоченные уступили в пользу Польши часть Галиции во 144 мили

с 308 000 душ. Прусские уполномоченные отвергли это предложение с угрозами и потребовали округа Бохни, Тарнова, Замосця, города Брод, что составляло 500 000 душ с 700 000 флоринов дохода. В вознаграждение соглашались на присоединение к Австрии турецкой Кроации и всего того, чем владела Австрия по миру Пассаровицкому, но с условием срытия Белградской крепости. Тут же пруссаки объявили, что хотят взять Данциг, Торн, Дубно, землю между Нетцою и Вартою¹⁴⁶. Но им скоро напомнили, что они не одни с австрийцами в Рейхенбахе: английский уполномоченный объявил Герцбергу, что Англия никогда не будет способствовать к тому, чтобы турки без их согласия лишены были своих владений; что ни Пруссия, ни Австрия не могут отказаться от основания переговоров — *status quo*, и если Австрия принимает его, то нет никакого предлога к начатию войны. Это значило, что если Пруссия будет настаивать на своем проекте мены владений и объявит Австрии войну, то будет воевать одна с Австрией и Россией. Явился из Варшавы прусский посланник при польском дворе маркиз Люкезини и объявил, что Польша решительно не согласна на уступку Данцига и Торна. План Герцберга рушился. 15 июля он должен был предложить австрийским уполномоченным — немедленно же заключить перемирие с турками на основании *status quo*. Австрия согласилась, причем обязалась ничем не помогать России к продолжению войны.

Герцберг с бешенством возвратился из Рейхенбаха. Увидавшись с Алопеусом, он начал уверять его, что никогда не хлопотал о *status quo*; что его план, одобренный уже и Австриею на Рейхенбахских конференциях, был совсем другой и Россия была бы им очень довольна. Австрийский двор соглашался уступить Польше Броды, Замосць, Жолкву, с 500 000 жителей, на условии, чтобы Польша уступила Пруссии два города, совершенно бесполезные для Польши, Данциг и Торн, с народонаселением едва ли во 100 000; Пассаровицкие границы были бы восстановлены между Турциею и Австриею, и Очаков остался бы за Россиюю. «Таков был мой проект, — продолжал Герцберг, — этот проект был внушен мне патриотизмом; но когда все было улажено, все в одну минуту разрушилось, потому что иностранцы (то есть Люкезини)¹⁴⁷, которые

¹⁴⁶ Дешеша вице канцлера Филиппа Кобенцеля из Вены австрийскому послу Люю Кобенцелю в Петербург 13 июля

¹⁴⁷ Герцберг говорил после полякам «Votre plus grand ennemi c'est ce serpent Italien (Люкезини) C'est lui qui a compromis et qui compromet sans cesse les interets de la Pologne et de son roi Les Italiens ont moins de politique que de ruse Ils ne combattent pas, ils harcèlent ce sont les cosaques de la diplomatie» (Булгаков Безбородку 11 (22) августа 1792 года) — «Эта итальянская змея (Люкезини) — ваш самый главный враг Он постоянно ставил и ставит под угрозу интересы Польши и ее короля Итальянцы больше хитрят, чем занимаются политикой Они не сражаются, а изматывают противника, это казаки дипломатии» (Примеч ред)

естественно не могут иметь такой же привязанности к стране, как я, в ней родившийся, иностранцы захотели приобрести себе важность насчет Пруссии. Я не понимаю этого человека (Люкезини): прошлую зиму он уверял, что поляки будут совершенно согласны уступить Данциг и Торн, если им отдадут эту часть Галиции; а теперь он утверждает, что им надобно всю Галицию; но вы понимаете, что это невозможно. Тут-то пришли к этому знаменитому *status quo*, который давно уже был предложен Англиею и который всегда нравился королю. Я не мог идти против потока и стал просить отставки; король не согласился. По моему мнению, есть еще средство прийти к соглашению насчет Очакова, если Русский двор обяжется тайно не препятствовать уступке Данцига и Торна; я знаю, что со стороны поляков будут затруднения, но эти затруднения могут быть побеждены. Необходимо, чтоб Россия и Пруссия пришли наконец к соглашению; Пруссия вовсе не хочет противодействовать влиянию России в Польше. Россия хотела вовлечь Польшу в войну с турками и обогатить ее насчет последних; политика Пруссии требовала этому противодействовать, потому что увеличение Польши было ей противно и, следовательно, ей нужно было отстранять все, могущее этому содействовать. Действительно, наш двор обязался в отношении к Турции помочь ей возратить все потерянное в последнюю войну; но так как императрица требует такой малости — Очакова с областью до Днестра, то можно заставить турок понять, что они должны согласиться на это условие; надобно только, чтоб с вашей стороны было сделано нам предложение в такой форме: если королю Прусскому удастся посредством дипломатических сношений и сделок, а не путем силы склонить Польшу к уступке ему Данцига и Торна, то Петербургский двор не воспротивится этому, напротив — будет помогать посредством своей партии в Польше. Даю вам честное слово, что король запретил мне говорить об уступке Данцига и Торна; но если предложение будет сделано с вашей стороны, то я могу, несмотря на все запрещения, не только принять его для донесения (*ad referendum*), но и подкреплять его; мне будет легко доказать, что приобретение дружбы России и обладание Данцигом и Торном гораздо важнее дружбы государства, для которого мы сделали так много и которое само не в состоянии ничего сделать».

Алопеус донес в Петербург об этом разговоре с Герцбергом, прибавив, что между королем и его министром господствует сильное несогласие, но что король, несмотря на свое природное упрямство, не имеет духа удалить Герцберга от дел¹⁴⁸.

Россия осталась одна, но не думала уступать требованиям Пруссии и Англии и заключать мир с Турциею на основании *status quo*: приобретение Очакова с прилежащею областью между Бугом

¹⁴⁸ Алопеус Остерману 25 ноября (6 декабря) 1790

и Днестром было объявлено ею как необходимое условие мира. Англия и Пруссия, успев напугать Австрию вооружениями, думали, что могут напугать тем же и Россию. Первый министр Георга III знаменитый Питт разослал приказы усиливать флот и держать его в готовности выйти в море. Пруссия также продолжала истощать свои финансы, держа наготове многочисленное войско, причем она по-прежнему не теряла из виду Данцига и Торна, и Англия, имея общее дело с Пруссией, считала необходимым потворствовать ее желаниям.

В ноябре 1790-го польский посланник в Голландии Огинский получил от своего правительства поручение ехать в Лондон и проведать, как там смотрят на стремление Пруссии приобрести Торн и Данциг. «Какая вам, полякам, выгода владеть Торном и Данцигом? — спросил его Питт. — Какая вам выгода иметь эти два рынка для ваших произведений при той слабости, в какой вы находитесь до сих пор, стоя под гарантию Петербургского двора? Король Прусский, предлагая вам свою дружбу и союз, представляет вам средства выйти из этого презренного положения, и это одно стоит некоторых пожертвований. Но чего требует Прусский король — это даже нельзя назвать и пожертвованиями, потому что, с своей стороны, он отказывается от значительного дохода, получаемого с таможен». Тут министр показал Огинскому копию с письма к нему прусского короля: Фридрих-Вильгельм II откровенно объяснял побуждения, которые заставляли его желать Торна и Данцига.

«Неужели вы считаете ни за что купить эту цену торговый трактат с Англиею и Голландиею? — продолжал Питт. — Вы говорите, что, потеряв Данциг, единственное свободное место, где вы сбываете ваши произведения, вы должны будете подвергаться всем таможенным придишкам и платить все пошлины, какие от вас требуют. Но не должно забывать, что вы теперь платите гораздо больше, чем будете платить по новому торговому трактату, вам предлагаемому. Наконец, что касается придирок, то ваши опасения могли бы быть еще основательны, если бы вы не имели дело с союзником и другом и если б у вас не было гарантий Англии и Голландии. Вы лучше меня знаете, какие были старинные сношения торговые у Польши с Англиею и Голландиею. У вас была маленькая гавань на Балтике подле реки Свенты, если не ошибаюсь; гавань эта засорилась — и вам нечего жалеть о ней; но у вас было много городов во внутренности страны, где купцы голландские и английские имели богатые конторы и где вы складывали ваш хлеб; его покупали у вас на месте, вам не нужно было возить его до балтийских гаваней. Я нынче утром смотрел на карте положение Ковна и Мереча. Первый из этих городов, расположенный на двух судоходных реках, был, как говорят, очень населен и производил большую торговлю; за городом сохранились еще следы нескольких

сотен домов, которые, как говорят, были заняты голландскими и английскими купцами. Что было прежде, то может быть восстановлено, и если торговый трактат с Польшею осуществится, то мы сумеем освободить вас от ваших придирок данцигских таможенных чиновников, приезжая за вашими произведениями во внутренность страны, чтоб получать их из первых рук. Торговля с Польшею для нас очень выгодна, потому что у вас нет фабрик, вы потребляете много иностранных товаров и предметов роскоши и с лихвою отдаете нам то, что от нас берете. Так будьте уверены, что мы принимаем горячее участие в судьбе Польши и ее торговли и никогда не потерпим, чтобы торговый трактат, о котором идет дело, не гарантировал вашей стране всех выгод, на которые она имеет право».

«Я объяснился с полною откровенностью, — закончил Питт, — я не утаил моего образа мыслей, который вместе с тем и образ мыслей нашего правительства». Таков был образ мыслей короля и его министров; Георг III и Питт хотели непременно заставить Россию заключить мир с турками *statu quo* и, чтобы иметь с собою Пруссию, готовы были отдать ей Данциг. Но Огинский мог сейчас же убедиться, что дело еще вовсе не решено, если правительство так думает; что есть люди, которые думают иначе, и эти люди могут решить дело иначе в палатах. Огинский повидался с Фоксом и с другими членами оппозиции: все изъявили свое сочувствие к Польше, к движениям, в ней происходящим; но Фокс при этом процитировал известный латинский стих: «*Incidit in Scyllam qui vult vitare Carubdim*» (Впадает в Сциллу, кто хочет избежать Харибды). «Не очень доверяйте вашему новому союзнику (королю Прусскому), — сказал он Огинскому, — рассчитывайте на свой патриотизм, на свою энергию, на дух времени — и вы сумеете обеспечить свою свободу и независимость»¹⁴⁹.

Что же делала в это время Австрия? Австрия спешила пользоваться рейхенбахскими постановлениями, вознаградить себя за унижительные условия, какие должна была принять, спешила успокоить волнения в Галиции, Венгрии и Бельгии, восстановить поколебленное было свое государственное здание, чтобы потом явиться на арену европейской борьбы с новыми силами, с развязанными руками. Обязавшись в Райхенбахе не помогать России, Австрия в сношениях с последнею не переставала называть себя самою верною ее союзницею. 2 января 1791 года Кауниц писал Кобенцелю в Петербург: «Все, чего Русский императорский двор может требовать от самого верного союзника, — это положительное удостоверение с нашей стороны, что он может рассчитывать на нас с первой минуты, как только нам будет возможно прийти к нему на помощь. Восстановление наших внутренних дел было в настоящее

¹⁴⁹ *Memoires de Michel Oginski* I, 88—402 // *Memoires de Michel Oginski sur la Pologne et les polonais depuis 1788 jusqu'a la fin de 1815* T 1 Paris, 1826

время самую большую и единственную услугою, которую наш августейший монарх мог оказать своей союзнице, ибо восстановление внутреннего порядка даст нам средство быть ей полезными по-прежнему: отсутствие сил могло бы повести только к тому, что дела не были бы в соответствии с обещаниями».

Австрийский министр был на этот раз совершенно искренен: Австрия боялась больше всего на свете, чтобы Россия не потерпела неудачи в предстоящей борьбе и ненавистная Пруссия не поднялась на ее счет. Очаковские степи, которых требовала Россия, не возбуждали зависти в Вене, а между тем раздражение против Пруссии и Англии за вмешательство и наложение условий мира с турками было страшное. В Берлине некоторые поняли это положение Австрии — поняли, что восстановившая свои силы Австрия будет опасна с тылу при готовящейся борьбе с Россиею, и решила попытаться, нельзя ли сблизиться с Австриею и оттянуть ее совершенно от России и нельзя ли опять поднять вопрос о приобретении Данцига и Торна, причем пусть нарушается *status quo* при мире Австрии и России с турками. Война с Россиею опасна при враждебности Австрии и при неуверенности, как-то еще будет помогать Англия; гораздо выгоднее избежать опасной войны и получить польские земли, как было сделано при Фридрихе II. Разумеется, возможности для Пруссии сблизиться с Австриею никак не мог понять Герцберг, племянник Фридриха II: вражда к Австрии вошла у него в плоть и кровь; это было чувство, без которого Герцберга нельзя было представить. Следовательно, надобно было действовать мимо Герцберга — и придумали *средство*.

По Берлину вдруг пронеслась весть, что любимец короля Бишофсвердер подвергся опале и должен оставить столицу. Бишофсвердер действительно исчез из Берлина — и очутился в Вене, где потребовал тайных переговоров с Кауницем; тот отвечал, что не может сам вести эти переговоры, ибо это возбудило бы всеобщее внимание и помешало делу, но что поручит переговоры вице-канцлеру графу Филиппу Кобенцелю. 20 февраля 1791 года происходил первый разговор Кобенцеля с Бишофсвердером:

«Бишофсвердер: «Мой первый вопрос, на котором основана вся моя комиссия, состоит в следующем: угодно ли его императорскому величеству переменить соперничество, так долго существующее между двумя дворами, на тесную дружбу?» Кобенцель: «Император ничего так пламенно не желает, как жить в мире и дружбе с королем, знаменитым как по своему могуществу, так и по личному характеру, потому что он считается государем — честным человеком». Бишофсвердер: «Но скажите: вполне здесь уверены, что король действительно таков? Если у вас есть сомнения на этот счет, скажите, на чем они основаны, чтоб мне можно было их уничтожить». Кобенцель: «Император нисколько в этом не сомневается, и если иногда случаются вещи, которых мы никак не можем согла-

сией с совершенною правотою, то мы обыкновенно приписываем их дурным советникам». *Бишофсвердер*: «Прекрасно! Это именно так и есть. Король — это сама честность и хочет, чтоб вся вселенная была в этом убеждена. Несмотря на такое счастливое расположение, его часто вовлекают в заблуждение; его часто заставляют действовать вопреки его благородному образу мыслей: вот почему, желая пламенно сблизиться с его императорским величеством, он посылает к нему не ученого и просвещенного министра, но человека, которого он удостоивает своею доверенностью, который не большой знаток в государственных делах, но который знает сердце и образ мыслей своего государя лучше всех его министров и который будет считать себя счастливейшим человеком в мире, если успеет упрочить благо двух народов тесною дружбою между двумя дворами. Герцберг всегда представляет это королю делом невозможным, но не убеждает короля. Многие из нас, верных слуг королевских, думают одинаково с королем, и должно сказать, что общее мнение не за нас; одинаково с нами думают Моллендорф и герцог Брауншвейгский; последний помог мне уговорить короля послать меня сюда для такого спасительного дела без ведома Герцберга, который будет всегда против подобного проекта. Хотят уговорить короля к сближению с Россиею; представляют, что ему стоит только исполнить желание императрицы, и она за это доставит ему все нужное для Пруссии. Нам дают это чувствовать очень ясно. Вы можете быть уверены, что от нас зависит жить в ладах с Россиею, когда только захотим, и эти лады доставят нам величайшие выгоды; но король предусматривает еще большие выгоды в тесном союзе с Австрийским домом. Он бы не хотел способствовать усилению России, как это делаете вы из желания противопоставить Пруссии страшного врага, который день ото дня будет становиться страшнее также и для Австрии. Он бы хотел, чтобы вместо этого император заключил тесный и постоянный союз с Пруссиею, под защитою которого обе монархии, наслаждаясь глубоким миром между собою, не боялись бы никакого другого государства, имея возможность соединить свои силы против всякого, кто бы захотел их обеспокоить или нарушить равновесие Европы, и против всякого иностранца, который захотел бы присвоить себе влияние на дела Германии. К этому союзу, заключенному между нашими двумя дворами, присоединились бы все настоящие союзники Пруссии». *Кобенцель*: «Также и турки?» *Бишофсвердер*: «Почему нет? Ваш собственный интерес требует больше всего, чтобы турки не были изгнаны русскими из Европы». *Кобенцель*: «Тогда надобно будет отказаться с обеих сторон от всякого приобретения?» *Бишофсвердер*: «Вы, без сомнения, знаете, что поднят вопрос о Данциге, и действительно это приобретение было бы очень желательно для короля, если бы он мог его сделать с полного согласия Польши, вознаградив республику другими выгодами. Мы уверены, что Россия будет на это со-

гласна, если мы согласимся содействовать ее настоящим видам; король надеется, что и император не будет против, если дружба и союз между ними раз установится. Впрочем, не должно думать, что король никак уже не может отказаться от мысли о Данциге. Прежде всего он желает союза с Австрийским домом: всякая другая идея, всякий другой проект уходит на второй план». *Кобенцель*: «Его прусское величество, конечно, уже имеет в виду основания, на которых соизрядется этот союз?» *Бишофсвердер*: «Да, есть много оснований, в которых мы условились с герцогом Брауншвейгским. Вот эти основания: примирение России с турками без опасности для последних быть изгнанными из Европы; противодействие русскому влиянию на дела Германии; поддержание соединенными силами германской конституции; соглашение, как действовать против французской революции».

При этом Бишофсвердер объявил, что у него есть инструкция, написанная герцогом Брауншвейгским. Кобенцелю казалось это очень странным; он не понимал, как подобный трактат мог быть заключен без Герцберга. Бишофсвердер растолковывал ему: «Я условлюсь здесь в главных основаниях; потом произойдет свидание между императором и королем, после которого король велит Герцбергу сочинить договор — и тот сочинит, потому что дело уже сделано, слово дано, спорить больше нельзя». Кобенцель заметил, что было бы гораздо проще сменить министра. Бишофсвердер отвечал, что нет никого, кто бы мог занять его место. Наконец, Бишофсвердер рассказал, как русский посланник в Берлине Алопеус был у него и просил уговаривать короля войти в виды России, обещая сделать за это королю всякое удовольствие, а его, Бишофсвердера, обогатить; но он, Бишофсвердер, отклонил предложение¹⁵⁰.

4 марта Бишофсвердер имел второй разговор с Кобенцелем. Неизбежный Данциг опять явился на сцену. Бишофсвердер объявил: «Если бы мы могли сделать это приобретение или в вознаграждение за нашу уступчивость требованиям России, или в вознаграждение за издержки вооружения, а быть может, и целой кампании, то нашлась бы возможность и вам удержать что-нибудь из ваших завоеваний; например: король мог бы на Чистовском конгрессе (где велись переговоры между Австриею и Турциею при посредничестве Пруссии и ее союзников) настаивать на строгое *statu quo*; он мог бы даже сам склонить турок к уступке, дав им почувствовать, что мир для них необходим и что король не может доставить его им на других условиях. Но для этого не нужно было было спешить заключением мира. По-моему, было бы благороднее и даже полезнее для короля отказаться от всякого приобретения; но не все так думают в Берлине, и проект изменения *status quo* в пользу Австрии будет

¹⁵⁰ Rapport de Vice-Chancelier de Cour et d'Etat au Chancelier pr de Kaunitz Richtberg sur la conversation avec M de Bischofswerderr le 20 fevr 1791

всегда крайним средством и найдет защитников, которые предпочтут его намерению riskовать войною с Россиею без уверенности, как поступит в этом случае Австрия, и без уверенности, в какой мере Пруссия может надеяться на серьезную помощь со стороны Англии». Кобенцель отвечал, что его двор, *быть может*, выслушает предложение Пруссии, если ему поставят на вид возможность получить вознаграждение насчет Турции. Кобенцель при этом дал заметить, что венский двор не может полагаться на совершенную откровенность прусского министерства; не может быть уверен, что в это же самое время Пруссия не трактует с Россиею насчет Данцига и Торна. Бишофсвердер в ответ показал ему письмо к себе короля, которое оканчивалось так: «Не увлекайтесь никакими предложениями Алопеуса; как бы ни были велики выгоды, предлагаемые Россиею, я все нахожу гораздо больше выгоды в союзе с императором; союз с Россиею от нас не уйдет, если австрийцы не захотят нас».

Из Вены дали знать в Петербург обо всех этих разговорах. Кауниц писал Люи Кобенцелю¹⁵¹, что оба императорских двора должны сообщать друг другу все внушения, какие будут приходить к ним из Берлина; что оба двора должны показывать берлинскому двору решительное отвращение трактовать с ним отдельно о предметах, оба их одинаково интересующих; особенно императорские дворы должны хлопотать о том, чтобы прусскому королю не досталась добыча, тогда как Австрия останется без вознаграждения за Турецкую войну. Австрия отказалась от этого вознаграждения, но с условием, чтобы и Пруссия ничего не получила. Австрия охотно соглашается на приобретения, которые сделает Россия, если Турция согласится принять ее ультиматум; но главное, чтобы общий враг (Пруссия) не получил при этом ничего. Император проникнут принципом, что приобретения союзников насчет Турции вовсе не желательны, если они уравниваются прусскими приобретениями, особенно насчет Польши; и если надобно будет приступить к подобному соглашению между тремя государствами, то это только в последней крайности.

Австрия приняла холодно попытку Пруссии к сближению; ничего не надобно нам, лишь бы Пруссия ничего не получила, — вот принцип, которым был проникнут император Леопольд. Бросились к России. По возвращении из Вены Бишофсвердер предложил Алопеусу заключить секретную конвенцию: «Прусский король обязывается не препятствовать императрице посредством соглашений получить от Турции Очаков с областью до Днестра; король даже будет помогать ей в этом деле своими дружескими и убедительными представлениями. За это императрица обязывается тотчас по заключении мира с Портою возобновить прежний союз

¹⁵¹ 28 марта 1791

России с Пруссией»¹⁵². Екатерина, прочтя депешу Алопеуса, написала: «Кабалу на себя дать я не намерена; Очаков же, также как Туркам от Прусского двора гарантированный Крым, в моих руках находится без дозволения его Прусского величества. Угорелые кошки всегда повсюду мечутся».

В Вене неудача, в Петербурге неудача, а между тем упрямый Питт не хочет слышать ни о каких сделках, вследствие которых Россия могла бы что-нибудь получить от Турции. Он хочет непременно заставить ее заключить мир с Портою *statu quo* до войны и уговливается с Пруссией, что Англия пошлет 35 линейных кораблей в Балтийское море, а король прусский войдет с 85 000 войска в Лифляндию, за что получит Данциг. Курьер был готов везти ультиматум в Петербург, как только предложение Питта пройдет в парламенте; но это был еще вопрос — пройдет ли оно в парламенте.

27 марта 1791 года Питт держал совет со своими товарищами по Кабинету о необходимости войны с Россией. Не все были согласны с мнением первого министра. Герцог Ричмонд счел своею обязанностию вечером того же дня написать Питту, что чем более думает он об этом деле, тем более приходит к убеждению, что Англия страшно рискует, начиная войну без уверенности, что Голландия и Польша будут с нею и что английским кораблям будет свободный ход в шведские гавани. «Я взвесил все ваши аргументы и не могу сказать, чтоб они меня убедили»¹⁵³.

Но письмо Ричмонда не могло остановить Питта. На другой день, 28 марта, он внес в палату общин объявление от имени короля: «Так как старания его величества и союзников его прекратить войну между Россией и Портою остались бесполезными, то он считает необходимым увеличить немного свои морские силы и надеется, что его верные общины назначат сумму на покрытие нужных для этого издержек». Только что объявление было заслушано, как поднялся глава оппозиции Фокс и заявил свое несогласие; в следующий день и потом несколько раз он вооружался против проекта с обыкновенною своею силою; в палате общин его поддерживали Грей, Шеридан и Уэйтбрид, в палате пэров — лорд Лоборо, лорд Стормон и лорд Норт. Красноречие ораторов оппозиции произвело сильное впечатление: начинать войну, делать огромные издержки — для чего? Чтобы не дать России куска степи между Бугом и Днестром и полуразрушенной крепости! Министерство получило большинство, но большинство 80 голосов. В стране война становилась день ото дня непопулярнее. Питт почувствовал, что надобно отступить, и отправил немедленно курьера к английскому

¹⁵² Алопеус Остерману 8 (19) февраля 1791

¹⁵³ Stanhope — Life of William Pitt, II, chap XV // *Stanhope, Ph* Life of the right honourable William Pitt Vol 2 London, 1867

посланнику в Петербург, чтобы тот удержался от подачи Остерману грозной ноты, уже заготовленной им.

Екатерина торжествовала; она одержала одну из самых блистательных побед своих: ее твердость, неуступчивость пред угрозами англо-прусской коалиции увенчались совершенным успехом; Екатерина имела полное право говорить: «Мы никогда войны не начинаем, но защищаться умеем» — и повторять стих Расина:

Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point
d'autre crainte
(Боюсь Бога, и нет у меня другого страха) ¹⁵⁴

И другая лапа была вытащена из грязи, ибо скорый и честный мир с Турцией быть теперь несомнителен. Питт хлопотал только о том, как бы отступить с наименьшим позором. Он боялся, что Россия увеличит теперь свои требования, и предложил императору Леопольду оборонительный союз между Англией, Пруссией, Австрией, Голландией и Турцией, которые должны взаимно гарантировать ненарушимость своих владений, причем Австрия, разумеется, немедленно же должна заключить мир с Турцией на строгом *status quo*. Что же касается Данцига, то это дело чисто торговое: Англия согласна на присоединение его к Пруссии, если Польша согласится на это свободно. Питт надеялся, что одно объявление об этом пятерном союзе заставит Россию заключить мир с Турцией. Леопольд, проникнутый своим принципом, отвечал, что он тогда только исполнит свои рейхенбахские обязательства, когда Пруссия откажется от намерения искать приобретений в Польше. Пруссия отказалась. Но скоро надежды ее опять были возбуждены сильнее прежнего: польские отношения получили новый вид вследствие революции 3 мая.

ГЛАВА IX

Мы оставили Польшу в конце 1788 года, когда, раздуваемая из Берлина, стала сильно разгораться вражда к России и обнаружилось стремление к ломке учреждений, Россией гарантированных. Видели Россию в затруднительном положении — и хотели воспользоваться этим; не могли воспользоваться для того, чтобы вдохнуть новые силы в разбитое параличом государственное тело, зато впол-

¹⁵⁴ Екатерина не забыла союзников Записки Храповицкого, стр 243 «Требую мраморный бюст Фокса, с которого сделав бронзовой, поставлю на колонна де, подле Демосфена, он красноречием своим не допустил Англию до войны с Россией» — Я (Храповицкий) «Il se croira trop honore» — «Non, je ne puis autrement exprimer ma reconnaissance» («Он сочтет, что его удостоили чересчур большой чести» — «Ну нет, я не могу иначе выразить мою признательность» — *Примеч ред*)

не насладились удовольствием лягнуть льва, не разобравши, что лев не только не был при смерти, даже не был и болен.

Партия реформы выступила смелее с 1789 года: в челе ее находились двое братьев Потоцких, Игнатий и Станислав, самые блистательные члены польской аристократии по талантам и образованию. Игнатий тридцати лет был уже великим маршалом Литовским; к нему примыкали два человека, приобретшие громкую известность в последнее время Польши,— Пиатоли и Коллонтай. Италианец Пиатоли, капуцин, домашний учитель у княгини Любомирской, рекомендованный ею королю, он скоро сделался самым доверенным у него человеком; поклонник Руссо, он стал оракулом тогдашних польских прогрессистов и главным излагателем их планов. Коронный референдарий Гуго Коллонтай не уступал Пиатоли в способностях; но это был человек самой легкой нравственности, без убеждений, раб всякой силы, будь то человек, будь то партия.

Игнатий Потоцкий составил проект уничтожения Постоянного совета. 19 января 1789 года было бурное заседание сейма: дело шло об этом уничтожении. Несколько раз король принимался говорить против предложения об уничтожении Совета; примас Понятовский, брат короля, протестовал, что предложение это противно конституции; в том же смысле говорил князь Масальский, епископ Виленский, Иосиф Косаковский, епископ Ливонский, еще трое епископов. Из светских против уничтожения Совета были великий маршал коронный Мнишек, граф Ожаровский, кастеллан Войницкий, прямо говоривший о том, что не должно раздражать России; несколько других сенаторов и послов, числом до пятидесяти, были того же мнения. Совет удержался бы, если б не начал говорить против него гетман Браницкий: «Я подаю голос за уничтожение Совета как потому, что всегда был против него, так и потому, что сама императрица сказала мне в 1774 году, что не хочет навязывать нации этого Совета. Курьер был отправлен по этому случаю к графу Штакельбергу; но посол, несмотря ни на что, один настоял на учреждении Совета». Это объявление произвело сильное впечатление на большинство. За Браницким произнес речь Игнатий Потоцкий; он не счел нужным, подобно Браницкому, успокаивать сейм уверением, что русская императрица будет равнодушна к уничтожению Постоянного совета. Потоцкий старался раздуть ненависть к России. «Я бы желал,— сказал он,— чтоб меня отправили в Петербург, как в 1768 году сослали в Сибирь епископов и сенаторов». Когда таким образом масло было подливо в огонь, пророческие слова короля не могли произвести впечатления. «Я хочу,— говорил Станислав-Август,— быть навеки неразлучным с моим народом, и потому-то я приглашаю его внимательнее подумать над нашею общею судьбою, особенно в эту критическую минуту, ибо кто знает: эта минута не есть ли последний предел, назначенный Провидением для существования Польши?» Король хотел отсрочить заседа-

ние, но ему стали грозить восстанием — и предложение об уничтожении Совета прошло ¹⁵⁵.

Что же Штакельберг? Оказал полное равнодушие. Это было всего благоразумнее в его положении, когда он не мог, подобно своим предшественникам, опираться на вооруженную силу. Он доносил своему двору, что надобно предоставить самим себе толпу безумцев; что настоящий сейм — это болезнь, в которой надобно оставить действовать природу, чтобы не убить больного лекарствами ¹⁵⁶. Но на природу нельзя было надеяться при тогдашних обстоятельствах. Равнодушие Штакельберга к уничтожению Постоянного совета сначала озадачило патриотов, они увидали в этом сознание слабости и тем сильнее начали действовать. Самыми яростными выходками против России отличался маршал сеймовый со стороны Литвы князь Казимир Сапега, генерал артиллерии литовской, племянник гетмана Браницкого, горячая, страстная натура, способная к самым резким переходам. Предводитель знатной польской молодежи в ночных оргиях, Сапега был способен превратить и сеймовое заседание в оргию.

Сдержки не было: Штакельберг уклонялся, разыгрывал равнодушного и тем самым уступал поле действия послу прусскому. Преемником Бухгольца в Варшаве был маркиз Люкезини — выбор чрезвычайно удачный относительно целей берлинского двора. С одушевлением, с огнем в глазах, восторженным тоном проповедника говорил италианец полякам о необходимости и возможности в настоящее время восстановить силу, свободу, самостоятельность Польши, заставить ее играть роль в Европе, говорил о великодушных намерениях Фридриха-Вильгельма, защитника угнетенных; говорил он это среди народа, так способного увлекаться горячими, громкими, красивыми словами, и, разумеется, успех проповедника был громадный. Сапега с товарищами кричит об освобождении Польши из-под влияния России, но Россия тут, в самой Польше, и в этой России также могут раздаться крики об освобождении от Польши! Сапега с товарищами толкуют о волнениях в Украине, и вдруг приходит страшная весть из Волыни, что богатый шляхтич Вельченский ночью зарезан с женою и пятью домашними. «Вот начало бунта!» — кричат патриоты; толкуют, что уже схвачен русский священник, участник в заговоре. Гетман Браницкий за обедом у Штакельберга сказал ему, что, по мнению многих, бунты начнутся по наущению русских чиновников ¹⁵⁷. И действительно, чего ждать хорошего, когда русские войска проходят через Польшу; русские купцы и возчики снуют по ней во всех направлениях, а тут естественные враги Польши, русские попы, которые не хотят

¹⁵⁵ Штакельберг Остерману 10 (21) января

¹⁵⁶ Штакельберг Остерману 13 (24) января

¹⁵⁷ Штакельберг Остерману 28 марта (8 апреля)

знать католического правительства Польши и молятся за свою покровительницу, единовенную русскую царицу? Что могут они внушить своим духовным детям?

Сеймовое заседание 5 апреля началось чтением известий из Волыни о тамошних мнимых волнениях, возбужденных попами и московскими купцами и возчиками. Депутат Немцевич говорит: «После таких доказательств дружбы со стороны России я представляю мудрости сейма решить, можно ли пускать через Польшу русские транспорты и войска, чтоб они окончили начатое дело?» За Немцевичем говорят другие патриоты в том же смысле. Король закрывает заседание, но эта мера только усиливает раздражение. На другой день Сапега открывает заседание самую зажигательную речь, какой никогда еще не произносил: нельзя позволять России держать свои войска в Польше; не должно пропускать русских войск через польские владения в Турцию; надобно обратиться с просьбою о помощи в этом деле к прусскому королю, другу и подпоре республики. Сапегу поддерживал депутат Кублицкий, объявивший, что король прусский никогда не был тираном Польши. За Кублицким говорили в том же духе депутаты Суходольский и Миржеевский, а депутат Сухоржевский кричал, что надобно объявить войну России и выслать Штакельберга. Несмотря на все эти речи, патриоты не могли заставить сейм отказать России наотрез в пропуске ее войск через Польшу¹⁵⁸.

Через неделю новая причина волнения, новые оскорбления России: Сапега с Виленским палатином Радзивиллом обвинили православного епископа Виктора Садковского в том, что он волнует крестьян в Слуцкой области и даже взял с них присягу. Поднялись крики, что надобно заключить в оковы изменника. Тщетно Штакельберг представлял, что Виктор, епископ Переяславский, викарий киевский, — подданный императрицы. Посол мог добиться только того, что Виктора привезли в Варшаву в сопровождении офицера для безопасности и обещали не осуждать его, не выслушавши¹⁵⁹. Но арестом епископа, русского подданного, не удовлетвоались: солдаты ворвались в домовую церковь русского посла и схватили священника для предания его суду. Штакельберг потребовал удовлетворения; удовлетворения не было дано. Сейм постановил, чтобы со всего русского духовенства взята была присяга на верность республике, но в Литве некоторые отказались присягать без приказа императрицы¹⁶⁰.

При этих внутренних причинах к раздражению не было недостатка и во внешних побуждениях: шведский резидент при варшавском дворе Енгстрем сильно подливал масла в огонь; английский

¹⁵⁸ Штакельберг Остерману 7 (18) апреля

¹⁵⁹ Тот же тому же 14 (25) апреля

¹⁶⁰ Штакел Остерману 29 апреля (10 мая)

министр Гэльс (Hales) говорил полякам: «Если вы теперь не сядете на коней, то навсегда останетесь нацией без значения». Люкезини был умереннее всех: он советовал не подниматься без нападения со стороны России. Охота следовать совету английского министра была очень не у многих, и, чтобы не дать этим немногим возможности действовать на большинство, в Петербурге было решено вывести русские войска из Польши и транспортам не касаться польских границ. Цель была достигнута: патриоты до времени должны были прекратить свои выходы против России¹⁶¹.

Средина и конец 1789 года прошли спокойно, но в начале 1799 года Штакельберг начал бить тревогу, пугать свой двор, толковать, что надобно во что бы то ни стало заключить мир с турками — иначе придется плохо: дело идет о союзе между Пруссией и Польшею; поднимается вопрос о престолонаследии после Станислава-Августа. Штакельберг доносил о тайном совещании, происходившем между маршалом Малаховским, Игнатием Потоцким и двумя братьями Чацкими: читали письмо Люкезини, в котором тот обещает согласие своего короля на установление наследственного правления в Польше, если выберут принца из его дома.

Екатерина не хотела заключать постыдного мира с турками и потому решила спокойно смотреть, что бы ни происходило в Польше. Поэтому она отправила следующий рескрипт к Штакельбергу: «Я нужным нахожу предписать, чтоб вы по настоящим делам удержались от всяких на письме деклараций, отговаривая от того же и римскоимператорского поверенного в делах, потому что я для пользы службы моей считаю на нынешнее время сходнее спокойно смотреть на неистовства Поляков, в собственный их вред обратиться могущие, нежели ускорять дальние беспокойства. Сами словесные ваши внушения и объяснения должны быть располагаемы с крайнею осторожностью с людьми, которые всякое слово переносят неприятелям и завистникам нашим»¹⁶².

13 февраля¹⁶³ Люкезини формально предложил польскому правительству об уступке Данцига и Торна за уменьшение таможенных пошлин. Впечатление, произведенное этим предложением, было самое неблагоприятное для Пруссии, вследствие чего из Берлина поспешили дать знать, что берут назад предложение — «ведь это было только простое предложение на случай, если Польша признает его выгодным для своей торговли». Это предложение не открыло глаза ослепленным: они и тут не поняли, в чем дело, и, вместо того чтобы вести себя осторожнее относительно Пруссии, начали превозносить умеренность Фридриха-Вильгельма и торопиться заключением с ним союза¹⁶⁴.

¹⁶¹ Тот же тому же 18 (29) апреля, 9 (20) мая, 19 (30) мая

¹⁶² 7 февраля 1790

¹⁶³ Старого стиля

¹⁶⁴ Штакельб Остерману 2 (13) марта 1790

Как же вел себя в этих обстоятельствах король Станислав-Август? Своим ясным умом он хорошо понимал, в чем дело, и продолжал плыть против течения, хотя можно было уже видеть, что ненадолго станет у него нравственных сил для этого. Он объявил Штакельбергу, что непременно присоединит предложение о торговом трактате с Пруссией к предложению о союзном трактате с нею для того, чтобы отстранить последний или по крайней мере протянуть время. Накануне того дня, в который дело должно было быть предложено сейму, во дворце был дипломатический ужин. Штакельберг видел, как несчастным королем завладел сначала Люкезини, а потом сейчас же Гэльс, который истощал все свое красноречие, чтобы отвлечь короля от его намерения насчет двойного трактата. Штакельберг понапрасну дождался, пока уедут прусский и английский министры. Люкезини остался до самого конца; король только успел сказать Штакельбергу мимоходом, что Люкезини ему грозил.

Между тем Сапега приготавлился к бурному заседанию. Так как на заседании допускались и посторонние лица, так называемые *арбитры*, с правом выражать свое одобрение или неодобрение речам депутатов и решениям их, то Сапега поил этих посетителей и внушал им, что можно будет взяться и за сабли. Сейм начался изложением хода переговоров с Пруссией; затем следовало чтение депеш, присылаемых польскими министрами при иностранных дворах. Князь Яблоновский из Берлина выдавал за верное, что петербургский двор предлагал берлинскому Данциг и Торн на условии, чтоб Пруссия отказалась от союза с республикою. Деболи из Петербурга писал о том же, хотя не таким решительным тоном. Приготовивши умы этими известиями, предложили проект союза с Пруссией. Депутаты — Кублицкий, Немцевич и Вейссенгоф — произнесли речи с сильными выходками против России, требуя прусского союза без торгового трактата. Начнет кто-нибудь говорить в другом смысле — крики, угрозы заставляют его замолчать. Стал говорить король, изложил подробно, что можно сказать за и что против союза, упирая более на то, что не следует разделять двух трактатов, но кончил словами: «Если нация противного мнения, то я с нею соглашаюсь». Раздались рукоплескания. Адам Чарторыйский говорил за союз; в том же смысле говорил Игнатий Потоцкий, кончивший словами, что ничто не может быть хуже одиночества. Несмотря на все эти речи, по замечанию Штакельберга, большинство было бы против союза, если бы король обнаружил больше твердости ¹⁶⁵.

Следственная комиссия по делу епископа Виктора окончила свои занятия, и 15 марта доклад был прочитан сейму. «С тех пор, — говорилось в этом докладе, — как Киев перестал принадлежать рес-

¹⁶⁵ Штакельб Остерману 7 (18) марта

публике и греки-неуниаты вышли из-под власти Константинопольского престола, Россия стала для них вторым отечеством. Их воспитание, их священники, их зависимость от новой метрополии — все с детства привязывало их к России. Будучи подданными республики по месту жительства, они тянули к чужому государству по отношениям нравственным, которые сильнее политических. На области, в которых они обитали, можно было смотреть как на провинции России». Поведение епископа Виктора докладчик описывал так:

«Садковский, преданный ученик епископа Могилевского (Конисского), был главным деятелем в этих скрытных и ловких движениях против Польши. Место священника при русском посольстве в Варшаве дало ему возможность вполне ознакомиться с положением дел. Захваченные у него бумаги открывают достаточно, с какою заботливостью старался он поражать взоры неуниатов польских действиями благосклонного покровительства, оказываемого им Россиею; с каким усердием питал он в их сердцах тайное отвращение ко власти *национальной* (!). Почти все священнические места были мало-помалу, без обращения внимания на право прихожан заняты духовными, присланными из России. С 1783 года являясь в Польше указы русского Синода. Садковский сделан Слуцким архимандритом по рекомендации русского посла. В Польше распространен русский краткий катехизис. Архив Садковского наполнен синодскими указами, содержание которых составляют: празднования счастливых для империи Российской событий, публичные молитвы за Императрицу и Царствующий дом, определение монахов и священников русских на вакантные места без ведома прихожан, наконец, самые мелочные распоряжения Петербургского Синода. Рапорты Садковского о точном исполнении полученных указов и о различных распоряжениях или уже сделанных, или долженствующих сделаться ясно показывают решительное намерение не оставлять ничего *национальному* правительству в делах польских греков, неуниатов (*Grecs non unis de Pologne*). По мысли Конисского, учреждена епископия Слуцкая и епископ должен быть коадьютором митрополита Киевского, чтоб удобнее держать польских греков неуниатов в подчинении России. Садковский сделан епископом Переяславским и дал присягу хранить тайну ненарушимо и верно исполнять все ему порученное: никакой потентат в мире и никакое *народное множество* не возмугут отвлечь его от повиновения. Со времени посвящения Садковского в епископы число православных церквей в его епархии возросло от 94 до 300».

Докладчик верно изобразил ход дела: разделение Западной России от Восточной в политическом отношении под две различные династии повело в XV веке к разделению церковному: великий князь Литовский, владевший Западною Россиею, не хотел, чтобы духовенство, а чрез него и все народонаселение последней зависело

от митрополита, жившего в Москве, и настоял, чтобы в Киеве был особый митрополит. В XVII веке политическое воссоединение Киева с Москвою необходимо повлекло к воссоединению церковному — Киевский митрополит подчинился Московскому патриарху, а с уничтожением патриаршества — Синоду; с этим вместе Синоду подчинялось и все православное духовенство во владениях Польской республики. За все это поляки могли сердиться на историю, но не имели никакого права обвинять епископа Виктора за то, что он повиновался своему начальству, принимал от него приказания, исполнял их и доносил об их исполнении. В этом отношении доклад был составлен крайне недобросовестно — именно с целью во что бы то ни стало обвинить. Епископ был виноват в том, что все делал по сношению с Синодом, не давая никакого участия национальному (!) правительству в церковных делах православного исповедания, но докладчику прежде всего нужно было объяснить, в чем же должно было выражаться это участие. Епископ виноват в том, что увеличил число церквей; виноват в том, что распространял русский катехизис — но какой же другой следовало ему распространять? Епископ присягал не повиноваться никакой власти в мире, если ее приказания противоречили его обязанностям в отношении к церкви, к церковному правительству, — и эта присяга поставлена в вину!

Обвинить Переяславского епископа не было никакой возможности; но понятно, что изложение дела в докладе должно было сильно раздражить сейм, затрагивая самое больное место; архиерейская присяга сейчас же получила политический смысл: архиереи присягают в повиновении русскому Синоду, а нашего правительства кланутся не слушать! В недрах республики находится многочисленный народ, подчиненный русскому правительству! Потом начали читать письма Конисского, захваченные у Виктора, толкуя их все в одном смысле и оканчивая толкования криками о необходимости прусского союза! Станислав-Август уже совершенно выбился из сил, не мог более плыть против течения и объявил, что среди таких великих опасностей надобно спешить опереться на прусский союз. Оборонительный союз был заключен 29 марта 1790 года; союзные державы обязались подавать друг другу помощь войсками: Пруссия выставляет 16 000, Польша — 12 000 войска, которое, по требованию, могло быть увеличено — со стороны Пруссии до 30 000, со стороны Польши — до 20 000, а в случае нужды союзники обязывались помогать друг другу и всеми своими силами. Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Польши, и если представления Пруссии будут недействительны, то она обязана подавать выговоренную помощь. Обе державы гарантировали владения друг друга и отказались от всяких притязаний.

Относительно России сейм решил напечатать обо всех ее злодействах: рассылает синодские указы к архиереям, Синоду под-

ведомственным; рассылает катехизисы и т. п. — и сообщить всем европейским дворам. Определили, чтобы польский министр в Константинополе уладился с тамошним патриархом насчет будущего церковного управления греков-неуниатов. Маршалам велено публиковать манифест, усложняющий неуниатов относительно свободы их исповедания; призвать в Варшаву двоих неуниатов и двоих диссидентов и сообща с ними уладить их церковные дела ¹⁶⁶.

Константинопольский патриарх отклонил предложение польского правительства взять опять православную церковь в Польше в свое заведование. Тогда начали думать о том, как бы учредить в самой Польше консисторию или синод для православных; определили, что если будет в Польше независимый русский митрополит, то дать ему место в сенате ¹⁶⁷.

В это время последовало отозвание Штакельберга и назначение на его место Булгакова, освобожденного из едикула. Потемкин настаивал на эту перемену: он и прежде не любил Штакельберга по разговорам гетмана Браницкого (женатого на племяннице Потемкина, Энгельгардт), а теперь еще больше рассердился на него за неудачу русского дела в Варшаве ¹⁶⁸. Императрица не разделяла раздражения Потемкина, не обвиняла Штакельберга в том, что он не заключил союз с Польшею и позволил господствовать прусскому влиянию; она не отзывала его до тех пор, пока посол действительно не провинился в ее глазах. Провинился он тем, что поступил не так, как следовало в деле епископа Садковского ¹⁶⁹; потом испугался и позволил себе давать советы о заключении постыдного мира с турками: Екатерина не любила таких советов, особенно от тех, кого не спрашивала. Наконец, Штакельберг позволил себе без спросу непосредственно сноситься с русским посланником в Берлине графом Нессельродом, поручать ему, чтобы старался узнать мысли тамошнего министерства насчет наследства польского престола. Екатерина заметила Штакельбергу по этому случаю: «Не могу оставить без примечания, чтоб вы таковых препоручений не делали, ибо помянутый министр имеет отсюда достаточные наставления, как и о чем говорить с сим кабинетом, от которого, конечно, никакого дружественного и чистосердечного поступка ожидать не можно».

Новый русский посол нашел Варшаву в сильном движении по

¹⁶⁶ Штакельб Остерману 20 (31) марта

¹⁶⁷ Аш Остерману 17 (28) июля

¹⁶⁸ В одном письме Потемкина к императрице находим о Штакельберге «Он всюду бьет в набат, если б он не подписал своего имени, то я бы мог его письмо принять за Лукезиниево» В другом письме «Из неограниченного моего усердия говорю, что вреден в Польше Стакельберг»

¹⁶⁹ Екатерина заметила по этому делу «Il (Штакельберг) n a rien fait de ce qu'on lui a ordonne, et il a fait tout ce qui lui etoit defendu, oûtre cela il entend tout infiniment mieux que nous autres» («Он (Штакельберг) не сделал ничего из того, что мы ему велели, зато сделал все то, что ему было запрещено, а между тем он намного лучше нас все понимает» — *Примеч ред*)

поводу предложения основных перемен в правительственной форме. Предложение ввести наследственное правление встретило сильное сопротивление; должны были ограничиться предложением избрать при жизни короля наследника престола. Продолжающиеся хлопоты Пруссии о Данциге и Торне охладили энтузиазм поляков к великодушному союзнику; но при этом вражда к России не уменьшалась: польский посланник в Константинополе Петр Потоцкий хлопотал о заключении союза между республикою и Портою.

Когда Булгаков дал знать в Петербург об этом положении дел в Польше, то получил следующий наказ от императрицы¹⁷⁰: «Теперь имею вам предписать не иное что, как только чтоб вы продолжали тихим, скромным и ласковым обхождением привлекать к себе умов, пока наш мир с Турками заключен будет. Друзей наших обнадежьте, что преданность их к нам не останется без признания, но к сему еще время не настало. Рейхенбахский конгресс открыл глаза многим Полякам, сдернул бельмо с очей ослепленной публики и в прочих землях, ибо тут явно открылось, что ни о чем ином дело не шло, а кроме о собственной гордости и барышей того, который вздумал сделаться диктатором Европы и который в самом деле лишь только что целит на Польские possessions и для того заводит их в хлопоты и отдаление от нас, яко державы, которая одна ему пренятствует своею неустрашимой твердостью выполнить его намерения. Ежели мы могли сие обдержать посреди Турецкой и Шведской войны, то теперь, когда со Швецией мир заключен, то нас тем паче к тому руки развязаны. Польша, заключая союз оборонительный и наступательный с Портою, в самом деле сильнее не будет, понеже слабое и расстроенное состояние Турок вам довольно известно; но сей химерой лишь ее от нас стараются отдалить, тогда как она более всего может иметь нужду в нас для обеспечения ее целости. Кто ей словами обещал Галицию и Молдавию, тот ей ныне сулить может Киев, Белорусь, Смоленск и Москву. Мы бы с более основанными речами могли им обещать всю ост и востовую Пруссию, ежели бы не почитали за нелепу и непристойность сулить и обещать чужое и что неподвластно нам ныне, но тридцать лет назад в наших руках, однако, завоевано оставалось, а прочее не иначе как по заключенной с ними и с Венским двором конвенции занято, по тогдашним неотступным докукам теперешних союзников нынешнего сейма Польского.

Что войска речи посполиты подвинулись к Украине, к нашей границе, сие нам известно, и наши расположены же кордоном войска на всякой отпор. Пусть король Прусский сыплет деньгами: скорее его сокровища исчерпнуты (будут), в чем сам министр его, пишучи к своему одному другу, признался такими словами: мы возвратимся в Берлин с пустым кошельком, со страшными воору-

¹⁷⁰ От 25 сентября

жениями по пустому и с непримиримыми врагами. Понеже надворный маршал Потоцкий (Игнатий), не смотря на присягу свою, к деньгам оказался лаком: где полезен быть может, вы то к случаю не оставьте сие употребить в нашу и друзей наших пользу. Касательно особы короля Польского слабое его поведение нам довольно известно; понеже он кроме нас всегда мало имел подпору, то вы к нему, как и ко всей нации, сохраните все должное уважение; если же он избегает обращения с вами, то и вы лишнее не окажите стремление приблизиться к нему. Не умножит он к себе почтение, брав со всех сколько может и быв окружен Италианцами, приверженными к единоземцу своему маркизу Лукезинию. Личное разорение многих из сеймующих, кои, бросая дела, разъезжаются, оставляя все в руках у тех, кто живет прусскими деньгами, и выводимые ваши из того заключения, что все будут падки на деньги, когда кто дороже заплатит, суть весьма справедливы; но время еще не настало, ни за что приниматься не надлежит, дондеже мир с Турками не заключится, а до тех пор пусть Поляки чувствуют все неистовство своего поведения и да поживут на счет короля Прусского; кто похочет и вы сказать можете, что не деньги, не приказание ни имеется ни на что и совершенно пассивной (будьте) смотритель происходящего и бдите единственно сохранение (о сохранении) доброго согласия между нами и республики.

Касательно умысла сделать Польскую корону наследною с удовольствием вижу, что оной обратился счастливо в ничто. Патриотический фанатизм принудил короля стараться о том; равномерно, не успев в одном, принимаясь он за другое: и именно, чтоб наследник был выбран при его жизни и тотчас; но сие противно законам тем польским, кои гласят, что при жизни короля да не изберется король или преемник короны. Но каково бы при разосланном вопросе по провинциям — хочет ли народ теперь выбрать наследника? не действовали прусские деньги, сей вопрос сам по себе либо в последствии не решится без нас, и тут подкрепить вам надлежит сперва мысли тех, кои сему незаконному выбору найдете противны, они довольно имеют и примеры до того не допустить, и буде явно будут рекламировать подпору и помощь нашу, то непременно дадим; желательнее было, если б дело протянулось до мира, но, однако, в приговлении умов пройти могут несколько месяцев, а мир, если Бог изволит, не замешкается долее заморозы. Не единой из кандидатов Лукезины нами до Польской короны допущен быть не может, понеже по чести и достоинству должны будем держаться статьям трактата: да не падет выбор на иного, кроме Пиаста, из Пиастов не на (кого, кроме) неколебленно привязанного к России. Но теперь казус не о выборе короля, которой еще здравствует, но о кандидате к наследию, Прусским королем Польше даруемом: для того либо препятствовать и не допустить сего выбора, либо нам придет изгнать избранного, а без нас дело не обойдется. Король Станислав

на обещанные ему деньги для уплаты своих долгов не более класть может надежду, как король Шведский на субсидии, в надежде коих разорил себя и свою землю. Постарайтесь под рукою колко можно умы удержать, дондеже получите известие о заключении мира, после которого тон возвысим.

Приласкайте Поляков как возможно больше; ежели их видите склонны к реконфедерации и к рекламации нашей помощи, то примите то и другое на донесение пассивное, а за ними не ходите, и не оказывайте, что нам сие нужно либо на сердце лежит. Доброжелающим, подпору требующим, кои разумеют под оною какой-нибудь поступок (уступку) с нашей стороны в пользу Польши, скажите, чтоб они вам открылись явнее, в чем оной поступок состоять имеет для их пользы. Я мышлю, что в их деле, по злобе нации Польской к России, мешаться не должно, дондеже часть нации меня не призывает, разве откроется впредь случай такой, где с пристойностию к тому приступить могу, которого не упущу, конечно. С удовольствием вижу, что гетмана графа Браницкого расположения таковы, как вы их описываете. Вы не оставьте его племянника и сестру подкрепить в нынешнем их переменявшем (ся) образе мыслей».

Булгаков сообщил в Петербург план Игнатия Потоцкого соединить Польшу с Пруссиею под одним королем¹⁷¹. Императрица отвечала: «Когда за несколько лет у некоторых Поляков приходила мысль о соединении России с Польшею, тогда от нас сей план оставлен был в молчании, понеже мы взирали на Польшу, яко на державу посереде четырех сильнейших находящуюся и служащую преградою от многих соседственных раздоров. Сию преграду сохранить елико возможно долее мы пеклись донныне и пешись будем; дондеже зlostные затей врагов наших и самой Польши нас не принудят переменить наше об ней благое расположение, и всякой благомыслящий Поляк в нас найдет, следовательно, во всякое время защиту свою и отечества его. Таковые и тому подобные рассуждения дозволяем вам употребить и внушать друзьям нашим».

План Потоцкого не нашел поддержки; гораздо более приверженцев имел курфирст Саксонский. В октябре положено было, чтобы сконфедерованный старый сейм оставался в полном составе до тех пор, пока утвердится новая форма правления, но число депутатов должно быть удвоено новыми выборами. В конце 1790 и начале 1791 года преобразователей одушевляло враждебное положение Пруссии и Англии относительно России по вопросу о status quo турецкого мира: ждали войны, в которой хотели принять деятельное участие и между тем беспрепятственно провести преобразования. Но вот приходит страшная весть, что англо-прусская коалиция против России расстроилась и Польша будет предоставлена самой себе. Решили не медлить более и вдруг провести на сейме

¹⁷¹ Дешеша 12 (23) октября 1790 года

новую конституцию: иначе приверженцы старины и России усилятся и помешают делу. Игнатий Потоцкий, Пиатоли и Коллонтай принялись работать над новой конституцией; для проведения ее к ним присоединились сеймовый маршал Станислав Малаховский, братья Чацкие, Станислав Солтык, племянник известного епископа, Потоцкий, Чарторыйские, Немцевич, Вейссенгоф, Мостовский, Матушевич, Выбицкий, Забелло. Наступала Пасха, приходившаяся в этот год 24 апреля (нового стиля). На Пасху многие депутаты разъезжались из Варшавы по домам и не могли возвратиться к началу заседаний, то есть к Фомину понедельнику, 2 мая. Хотели воспользоваться отсутствием противников, а свои были все тут, не разъезжались. Вторник, 3 мая, назначен был для переворота. Послушаем одного из очевидцев событий знаменитого дня ¹⁷²:

«На рассвете меня будят: «Пан! что это в Варшаве делается? войска валят к замку, Краковским предместьем». Я вскочил с постели и на улицу: идет полк; полковник знакомый, — я к нему: «Что это значит?» «Хоть убей, не знаю, — отвечал полковник. — Ночью получил приказ выступать». Идет полк конной гвардии; капитан знакомый — я к нему: тот же ответ! Встретил еще несколько знакомых: никто ничего не знает; одни говорят, что король умер, другие, что бунт какой-то. Пустился я к замку: Краковское предместье залито войском, стоят пушки. Теснота страшная, булавке негде упасть! а никто не знает, что такое. Здесь и там раздавались крики: «Виват, круль!» Из Краковских ворот показывается густая толпа народу с криками: «Виват, Малаховский!» В середине несут на руках Малаховского, маршала сеймового, окруженного сенаторами и депутатами. Окна соседних домов унижены зрителями, мажут платками, хлопают в ладоши, кричат: «Виват!»»

Так было на улице, но посмотрим, что делается в *Избе* (сеймовой зале). *Изда* наполнена сенаторами, послами (депутатами), генералами, арбитрами (посторонними посетителями); король тут. Сеймовый маршал Малаховский открывает заседание объявлением, что польские министры, находящиеся при разных дворах, прислали печальные вести. Новое несчастье грозит Польше! Станислав Солтык трагическим тоном объясняет, в чем дело: «Не только дипломаты, все поляки, находящиеся за границую, пишут согласно, что иностранные дворы готовят новый раздел Польши. Медлить нельзя, мы должны воспользоваться настоящею минутою для спасения отечества». Тут Сухоржевский, прежде один из самых сильных крикунов против России, а теперь ставший выборником старой воли, просит позволения говорить. Ему не дают говорить; он бросается на колени, проползает между ногами предстоящих к трону и умоляющим голосом просит позволения говорить. Король дает ему это позволение. Сухоржевский начинает говорить о заговоре

¹⁷² Pamiętniki Ochockiego II, 48

против свободы; кричит, что не хочет наследственного правления. После этой сцены читаются депеши из Гааги, из Петербурга: сообщаются слухи о разделе; о том, что мир с турками будет заключен насчет Польши. Дипломаты советуют для избежания удара торопиться великим делом новой конституции¹⁷³. Игнатий Потоцкий обращается к королю, чтобы тот в своей мудрости указал средства спасти отечество. «Мы погибли,— отвечает король,— если долее будем медлить с новою конституциею. Проект готов, и надеюсь, что его нынче же примут; промедлим еще две недели — и тогда, быть может, уже будет поздно». Читают проект:

1) Господствующею признается католическая вера, все прочие терпимы. 2) Все привилегии шляхты сохраняются. 3) Все города вместе имеют право присылать на сейм 24 депутата, когорыс представляют желания своих доверителей, право же голоса имеют только при рассуждении о тех делах, которые непосредственно касаются городского сословия. Горожане получают право служить в войске, кроме национальной кавалерии, которая составляется из шляхты, в духовном звании — могут быть прелатами и канониками; вместе с шляхтою заседают в комиссиях полицейской, финансовой и в ассессорских судах, где решаются в последней инстанции споры городов и мещан с шляхтою. Во всех этих верховных комиссиях мещане имеют голос действительный и решительный по всем делам, касающимся городов и торговли. После двух лет службы в означенных комиссиях мещане возводятся в шляхетское состояние; в военной службе они достигают этого по достижении капитанского чина. Мещанин может покупать шляхетские земли и получает чрез это шляхетские права на первом сейме. Каждый сейм будет жаловать шляхетские права 30 мещанам, избирая таких, которые отличились или на военном поприще, или на промышленном, отличились устройством мануфактур, фабрик и предприятиями, полезными для торговли. 4) Сохраняются договоры, которые землевладельцы заключили со своими крестьянами или впредь заключат. Иностранцы пользуются полною свободою. 5) Законодательная власть принадлежит сенаторской и посольской избе. Каждые два года собирается обыкновенный, каждые двадцать пять лет — конституционный сейм. 6) Исполнительная власть принадлежит королю и его Совету, который состоит из шести министров, ответственных пред нациею; король может их назначать и увольнять; он должен их сменить, если две трети сейма того потребуют. 7) Устанавливается наследственное правление; по смерти царствующего короля престол принадлежит ныне царствующему курфюрсту Саксонскому, а по нем — его дочери; король и нация изберут для нее супруга. 8) Конфедерации и *liberum veto* уничтожаются.

¹⁷³ Эссен и Гэльс утверждают, что депеши были фальшивые — сфабрикованы в Варшаве.

Маршал Малаховский начинает превозносить проект. «У нас перед глазами два республиканских устройства,— говорит он,— английское и американское; наш проект, по моему мнению, превосходит их оба и обеспечивает нам свободу, безопасность и независимость. Умоляю короля принять вместе с нами эту новую конституцию и тем обеспечить благополучие Польши».

Но некоторые депутаты не хотят этого благополучия; начинаются горячие споры. Чтобы поддержать защитников проекта, король объявляет: «Иностранные министры хлопочут изо всех сил, чтоб помешать принятию новой конституции; один из них признался, что если проект пройдет, то это повлечет за собою большие перемены в европейской политике и они будут принуждены почтительнее обходиться с Польшею». Но споры продолжаются; многие депутаты не хотят сейчас же принять проект, без обсуждения; защитники проекта требуют от короля, чтобы он сейчас же присягнул на новой конституции, «все любящие отечество поляки последуют его примеру». Король провозглашает, что всякий, кто любит отечество, должен быть за проект, и спрашивает: «Кто за проект, пусть отзовется!» В ответ крики: «Все! все!» Не хотят даже допустить вторичного чтения проекта. Арбитры кричат: «Да здравствует новая конституция!» — и заглушают крики: «Nie ma zgody!» («Не согласны»). Королю подносят Евангелие, и он присягает. Заседание кончилось: король встает, чтобы идти в костел Св. Яна; большинство за ним; познаньский депутат Мелжынский, противник новой конституции, падает наземь перед дверями, чтобы воспрепятствовать выходу, но понапрасну: шагают через него, топчут. Около 50 депутатов остаются в Избе и решают подать протест против принятия новой конституции.

Но протеста не принимают в городском суде. Вся Варшава охвачена восторгом. В костеле Св. Яна присягают на новой конституции сенаторы и депутаты, после чего отправляется благодарственный молебен. Воздух потрясается от грома пушек и восклицаний многочисленной толпы. 4 числа приезжает в Варшаву гетман Браницкий с 400 шляхты, хочет подать в градском суде протест против решения сейма 3 мая, но суд заперт. 5 мая опять заседание сейма с восторгами; сеймовый секретарь читает проект: так как теперь все сословия равны перед законом и мещанам открыт доступ до высших чинов, то и шляхте дозволяется заниматься торговлею и участвовать в правах городских. Проект принят с восторгом, без рассуждения. Король начинает говорить. Исчисливши выгоды для страны от новой конституции, он заканчивает словами: «За все претерпенное мною в продолжение царствования я награжден этим восторгом и единодушием моего народа». При этих словах король заливается слезами; Изба потрясается криками: «Да здравствует король! Да здравствует возлюбленный Станислав-Август! Король с народом, народ с королем!» По окончании заседания оба маршала сеймовые,

сенаторы, депутаты, арбитры потянулись к ратуше; там Малаховский, Сапега и другие объявили, что желают вписаться в число мещан. Это произвело новый взрыв восторга; толпа выпрягла лошадей из кареты Малаховского и привезла на себе нового мещанина. На другой день Сапега явился на сейм в кожаной лакированной португее, на которой виднелась бляха с надписью: «Король с народом, народ с королем!» С такими же бляхами явилось и несколько депутатов литовских. Не прошло трех дней, как эти бляхи были уже на большей части жителей Варшавы; золотых и бронзовых дел мастера, седельники, бросив все другие работы, только и делали, что португеи с бляхами. Вечером в Саксонском саду показалось несколько знатных дам с голубыми поясами, на которых черными буквами были выбиты слова: «Король с народом, народ с королем!» — и вот все варшавянки бросились заказывать себе такие же пояса ¹⁷⁴.

Гетман Браницкий не решился плыть против течения и вместе с другими противниками конституции 3 мая подписал ее. Успех Игнатия Потоцкого с товарищами, по-видимому, был полный. Но, взглядевшись внимательнее, легко было увидеть, что знаменитая реформа была делом партии, была проведена заговором. 3 мая присутствовало на сейме не более 157 членов, отсутствовало не менее 327 ¹⁷⁵; богатые варшавские мещане были за реформу, которая открывала им дорогу к шляхетству; их восторг был неподдельный, но много было также и поддельных голосов. Многочисленные противники реформы, привыкшие уступать всякой силе, теперь испугались варшавских восторгов и замолкли, но вовсе не отказались от своих старых убеждений и ждали только удобного времени, чтобы подняться, опираясь на какую-нибудь внешнюю силу. За скорую победу ручалось им, во-первых, то, что в провинциях большинство было враждебно или равнодушно к реформе; во-вторых, паралич государственного и народного тела, которое нельзя было возбудить к жизни никакими реформами, никакими восторженными криками, португеями и поясами, к чему присоединялась еще слабохарактерность короля и между виновниками реформы отсутствие человека с великими государственными способностями; в-третьих, наконец, отношение к соседним державам: в продолжение нескольких лет были употреблены все средства, чтобы раздражить Россию; раздражили Россию в угоду Пруссии, а Пруссию оттолкнули отказом уступить ей Данциг и Торн.

Майские события не переменили несколько политики петербургского двора относительно Польши. «Мы как прежде, так и теперь останемся спокойными зрителями до тех пор, пока сами Поляки не потребуют от нас помощи для восстановления прежних законов республики», — отвечала Екатерина на донесения Булга-

¹⁷⁴ Pamiętniki Ochockiego II, 56

¹⁷⁵ Дешени Эссена у Hermann, Geschichte des russischen Staates, VI, 358

кова о перевороте¹⁷⁶. После событий 3 мая внимание русского посла было особенно обращено на русское дело в Польше. Еще в ноябре 1790 года Булгаков писал в Петербург: «Дело архиерея Слуцкого начинает подавать надежду к доброму концу. Король спрашивал комиссию, его судящую, заклиная сказать правду. Главный его неприятель Залеский отвечал, что, по совести говоря, не находит в нем вины. Приняли намерение выпустить его на волю, если никакое новое обстоятельство не переменит их добрых расположений». Добрых расположений не оказалось; епископ продолжал сидеть под стражею 2 мая 1791 года православные подали сейму просьбу об установлении у себя иерархии и отправлять повсюду свободно все обряды своей религии. Правительство позволило им держать для этого предмета конгрегацию в Пинске. 15 июня собрались здесь 100 православных депутатов духовных и мирян и в продолжение двух недель держали конференцию, сочиняли проекты об учреждении в Польше церковной иерархии, составляли списки церквей и всех лиц, исповедующих греческую веру, а 1 июля в присутствии присланного от сейма комиссара, сендомирского посла Кохановского, принесли присягу на верность королю и республике, на повиновение и защиту конституции 3 и 5 мая, отрекаясь от всякой заграничной зависимости и сохраняя по духовным только делам отношения к Константинопольскому патриарху, пока республика не укрепит в своих владениях отдельной грековосточной иерархии¹⁷⁷.

Когда узнали об этом в Риме, то забили тревогу. Кардинал-префект *пропаганды* сейчас же написал мемуар из трех пунктов: 1) Неприлично в католической стране давать чуждому исповеданию те же права, какими пользуется господствующая вера. 2) Такой пример очень опасен и повлечет за собою множество дурных последствий для господствующей религии, которая будет все более и более ослабевать и которую постараются уничтожить окончательно. 3) Не одни религиозные побуждения, но и политические причины не позволяют давать больших прав в Польше грекам-диссидентам, ибо они каждую минуту могут нарушать спокойствие государства и будут орудиями, которые Россия употребит для достижения своей цели, а эта цель — порабощение Польши, превращение ее в русскую провинцию.

14 сентября нунций подал королю грамоту от своего двора с представлениями против дарования прав православным. Король отвечал, что дело зашло слишком далеко и воспрепятствовать ему нельзя, тем более что затеяли его лица очень почтенные, которые не захотят отстать от него. «Притом же,— прибавил король,— мы надеемся извлечь большую выгоду от Пинского конгресса, а имен-

¹⁷⁶ О своем участии в событиях Булгаков доносил «Сколь ни разглашают, что я издержал 60 000 червонных не издержал я ничего ибо, предвидя все, было бы деньги бросать в воду» Булгаков императрице 30 апреля (11 мая)

¹⁷⁷ Булгаков Остерману 9 (20) июля 1791 г.

но — совершенно отвлечь греков от России и таким образом освободиться от ее влияния». «А по моему мнению, — отвечал нунций, — дело невозможное отчудить греков от России, потому что между ними связь самая крепкая — связь религиозная. Они теперь дают обещания и клятвы для того только, чтоб получить известные выгоды. Патриарх Константинопольский на жалованьи у России и, следовательно, будет поддерживать всегда между греками привязанность к России и отвращение к тем, которые не одной с ними веры».

После этого нунций получил из Рима такой наказ: «Нет сомнения, что приверженцы новой философии стараются повсюду, следовательно, и здесь распространять учение о неограниченной терпимости и смешивать таким образом все религии, чтоб не было потом ни одной. Нет сомнения, что проповедники нового учения настроили и греков предъявить свои требования. Если уже непременно хотят удовлетворить некоторым требованиям греков, то вы должны соглашаться только на самые неважные. В крайности можно допустить, чтоб у них был один епископ и чтоб все оставалось по-старому».

Таким образом, новые польские порядки возбудили сильное негодование в Риме. Иначе было в Вене. Здесь все взгляды, все отношения подчинялись одному основному правилу. не давать усиливать Пруссии. «Императорские дворы, — писал Кауниц Люю Кобенцелю в Петербург, — должны выбирать одно из двух или противиться утверждению нового порядка вещей в Польше, или расстроить виды Берлинского двора, объявивши себя за революцию. Несомненно, что первое из этих решений будет иметь необходимым следствием тесный союз между Польшею, Саксониєю и Пруссиею — будет содействовать именно тому, чего Берлинский двор может желать более всего в своей вражде к обоим империям. Притом же настоящие обстоятельства вовсе не благоприятствуют такому предприятию, которое встретит всякого рода препятствия, и успех будет очень сомнителен. Напротив, Австрии и России очень выгодно объявить себя за революцию 3 мая. Разумеется, в случае окончательного утверждения нового порядка вещей в Польше могут встретиться вещи, вовсе не желательные обоим императорским дворам; но ведь дело идет об учреждениях, для утверждения которых надобны года и года: Австрия и Россия, продолжая искреннее согласие во всем, касающемся их интересов, могут легко найти средство положить преграду тому, что для них неудобно. Верно одно, что в настоящую минуту нечего больше делать, как отнестись дружелюбно к последним польским событиям, и это особенно необходимо относительно Саксонии, которой нейтралитет так полезен в случае войны с Пруссиею»¹⁷⁸.

¹⁷⁸ 24 мая 1791 года

Легко понять, как принято было это внушение в Петербурге. Объявить себя за революцию 3 мая! Легко было это говорить Кауницу, потому что Австрия не подвергалась в Польше с 1788 года постоянным, нестерпимым для могущественной державы оскорблениям: Австрии не было дела до того, что Станислав-Август с Игнацием Потоцким хотели восстановить дело Витовта, уничтоженное Московским договором, разделить русскую церковь, но для России это был жизненный вопрос. Первый раздел Польши, предложенный Пруссией, представлялся в Петербурге преимущественно разделом Польши, и потому на него неохотно согласились, но когда в Варшаве вздумали восстановить дело Витовта, то вопрос получил для России уже настоящее значение: дело пошло уже не о разделе Польши, а о соединении русских земель. Польша стала грозить разделением России, и Россия должна была поспешить политическим соединением предупредить разделение церковное. Австрия твердила о вражде Пруссии к обоим императорским дворам; но императорский Российский двор хорошо знал, от чего эта недавняя вражда у Пруссии к России: от того, что Россия соединилась с враждебной для Пруссии Австрией; это соединение произошло потому, что Австрия согласилась поддерживать виды России относительно Турции; но Турецкий, Восточный, вопрос терял на время свое значение: на первом плане стоял вопрос Польский, и если Австрия отказывалась тут содействовать видам России, то надобно было сблизиться с Пруссией, которая всегда будет в восторге от этого сближения. Но война Турецкая еще не кончена, и потому не время приступать к чему-нибудь решительному — надобно отмалчиваться и ждать, когда настанет пора говорить и действовать. А между тем на западе Европы происходят явления, которые подают надежду, что не нужно будет менять союз австрийский на прусский — можно сделать то, что было совершенно невысказано прежде — остаться в союзе с Австрией и в то же время возобновить союз с Пруссией и заставить обе державы содействовать видам России: эту надежду подавали воинственные движения революционной Франции.

Со вниманием с самого начала следила Екатерина за разгаром Французской революции, указывала на ошибки правительства, меньше пользоваться людьми¹⁷⁹, сердилась на слабость Людовика XVI, на его *двуволие*, не ждала ничего доброго от этого, предвидела, до каких крайностей может дойти движение¹⁸⁰. Когда эти

¹⁷⁹ Записки Храповицкого, стр 202. Разговор о Франции «Со вступления на престол я всегда думала, что ферментация там должна быть, ныне не умели пользоваться расположением умов Фаэты, *comme un ambitieux* («как истец» — *Примеч ред*), взяла бы к себе и сделала своим защитником! Заметь, что делали здесь с восшествия?»

¹⁸⁰ Храповицкий, стр 206 «Да, ils sont capables de pendre leur roi a la lanterne, c'est affreux» («они способны повесить своего короля на уличном фонаре,

крайности обнаружилась, когда революционная Франция начала грозить европейским монархиям войною и пропагандою своего политического учения, Екатерина заговорила о необходимости единодушною действия против революции, охотно приняла предложение Австрии и Пруссии действовать заодно, сейчас же назначила большую сумму денег для вспоможения принцам, братьям Людовика XVI, и эмигрантам. Хлопоча о составлении и поддержании коалиции против Франции, Екатерина имела две цели: с одной стороны, она считала необходимым для безопасности престолов остановить революционные движения и пропаганду. Самым лучшим средством для этого она считала возбуждение внутреннего антиреволюционного движения во Франции, во главе которого должны стать принцы, братья королевские. Они должны были опереться не на иноземные войска, но на многочисленных французов, не сочувствующих революции или ее крайностям, сосредоточить их около себя, обещанием забыть прошлое должны были успокоить противников — одним словом, действовать, как действовал знаменитый предок их Генрих IV, успокоивший взволнованную Францию. Успех был несомненен, ибо Франция, по убеждению Екатерины, была страна монархическая. С другой стороны, возбуждая Швецию, Пруссию и Австрию к согласному действию против революционной Франции, Екатерина хотела отвести внимание этих держав от востока на запад, приобрести этим для себя полную свободу действия, восстановить то блистательное положение России, которое имела она до 1788 года¹⁸¹.

Густава III Шведского легко было отвлечь на запад: русская императрица представила ему, какую честь, славу и пользу получит он, принявши начальство над войском, которое пойдет восстанавливать Французскую монархию, по примеру Густава-Адольфа, который спас Германию от Австрии. Густав III тем более обязан это сделать, что Швеция поручилась за Вестфальский договор, нарушенный теперь Франциею, которая изменила отношения Эльзаса к Германской империи, выговоренные в Вестфальском договоре. Труднее было убедить германские государства, Пруссию и особенно Австрию, вступить за Германскую империю; труднее было

э. о. ужасно» — *Примеч. ред.*) Стр. 209 — Изволила мне счастливо, что король с фамилиею перевезли на житье в Тюльери («il aura le sort de Charles I») («ему суждена участь Карла I») — *Примеч. ред.*)

¹⁸¹ Записки Храповицкого, стр. 258 — «В воскресенье при разборе московской почты показас мне «Je me casse la tete» («Я ломаю себе голову») — *Примеч. ред.*) чтоб подвинуть Венской и Берлинской дворы в челя французские Прусский бы пошел, но останавливается Венский» Написали записку к вице канцлеру «Они меня не понимают: ai je tort? Il y a des raisons que on ne peut pas dire, je veux les engager dans les affaires, pour avoir les soudoes franches («я не права? Есть соображения, которые нельзя выказать, я хочу вовлечь их в дела, чтоб развязать себе руки») — *Примеч. ред.*), у меня много предприятий неоконченных и недобно, чтоб они были заняты и мне не помешали»

убедить императора Леопольда вступить за свою сестру, французскую королеву Марию-Антуанетту. Императору Леопольду не хотелось вмешиваться во французские дела, пока он не вывел еще окончательно Австрию из того затруднительного положения, в каком оставил ее Иосиф, и пока не кончился Восточный вопрос; притом Леопольд с радостью думал, что революция обессилит Францию; что вследствие ограничения королевской власти уже не явится оттуда новый Людовик XIV. Если нельзя избежать войны с Францией вследствие задирок ее революционного правительства, то по крайней мере Леопольд хотел вести эту войну не один, а в союзе с Англией, Россией и Пруссией. Так уже Французская революция начала действовать на перемену политической системы, которая сначала условливалась религиозною борьбою и стремлением Габсбургского дома, потом стремлениями Людовика XIV, далее стремлениями Фридриха II Прусского, а теперь Французская революция заставляет Восточную и Среднюю Европу соединяться с Англией против Франции. Польша погибнет при этом образовании новой системы; Восточный вопрос отложится; но система созреет не скоро, ей будет особенно мешать соперничество Австрии и Пруссии; чтобы она созрела, нужен будет Наполеон и его гнет над Европою.

В августе 1791 года император Леопольд имел свидание с прусским королем в Пильнице. Сюда же явился младший брат Людовика XIV граф Артуа и передал обоим государям записку, в которой требовал: чтобы родственники королевы Марии-Антуанетты и государи Бурбонского дома протестовали против действий Французского национального собрания, объявили решения его недействительными и со стороны короля вынужденными; чтобы старший после короля брат, граф Прованский, был объявлен регентом; чтобы жители Парижа объявлены были под смертною казнию ответственными за безопасность королевской фамилии; чтобы император вместе с Пруссией и Сардиниею двинул войска к французским владениям и позволил эмигрантам вооружаться в своих владениях. Император и король отвечали: восстановление порядка и монархии во Франции — вопрос важный для всей Европы; государи имеют намерение пригласить к соучастию все державы, и если они согласятся, то Австрия и Пруссия обещают свое деятельное вмешательство. Но Англия уже объявила, что в случае разрыва между Австриею и Франциею будет содержать строжайший нейтралитет.

Французские принцы обратились к русской императрице; посредником был принц Нассау-Зиген, которого они ввели в свой совет. Екатерина назначала 500 000 рублей на вспоможение принцам, но писала к Нассау: «Буду хлопотать изо всех сил о союзе держав против революционной Франции, но для успеха первое и самое существенное условие состоит в том, чтобы принцы полагались гораздо более на самих себя и на своих многочисленных привер-

женцев французов, чем на какую-нибудь внешнюю помощь; пусть установят порядок и дисциплину у себя, пусть господствуют между ними любовь и взаимная доверенность, пусть поддерживают мужество, внушают энтузиазм, необходимый для окружающих, пусть выбирают удобную минуту и, выбравши, действуют немедленно. Денежные затруднения будут продолжаться, только пока они находятся вне границ Франции. Я писала к королю Прусскому, к императору, к королю Шведскому, послала убедительные внушения и к королеве Французской, чтоб она действовала заодно с принцессами»¹⁸².

Екатерина обещала хлопотать изо всех сил о союзе против революционной Франции; Леопольд хлопотал изо всех сил, чтобы как-нибудь отклонить Французскую войну. Его сильно беспокоило молчание России относительно Польши, относительно революции 3 мая; а тут новое сильное беспокойство со стороны Пруссии; 9 октября берлинский двор сообщил венскому, что принцесса Оранская, сестра короля Фридриха-Вильгельма II, хочет женить второго сына своего на принцессе Курляндской Бирон, с тем чтобы Курляндия перешла к этому принцу. Король писал императору, чтобы тот осведомился в Петербурге, согласится ли на это Россия.

В сильном беспокойстве о Польском вопросе Кауниц писал Кобенцелю в Петербург: «Тяжелый опыт в продолжение слишком столетия давал чувствовать Европе тот перевес, который имела Франция под неограниченным правлением, благодаря физическому положению и громадным средствам этого государства. Австрия убеждена, что ничто не может так обеспечить ее рассеянные и окруженные могущественными врагами владения, как ослабление внутренних пружин этой грозной монархии — ослабление, которое отвлечет ее энергию от внешних предприятий. Оба императорские двора должны немедленно и откровенно объясниться насчет польского дела. Еще 23 мая мы сообщили Петербургскому кабинету наши идеи, просили дать нам знать об идеях императрицы. Не раз вашему превосходительству был обещан ответ. Медленность в исполнении этого обещания ставит нас вдвойне в затруднительное положение: во-первых, потому, что из настоящих внутренних и внешних отношений республики могут выйти самые невыгодные результаты, если оба императорские двора не примут сейчас же определенного решения. Во-вторых, так как нашему двору необходимо отвечать дворам Дрезденскому и Берлинскому благоприятно относительно новой польской конституции, то нам будет очень прискорбно, если мы в этом случае, по незнанию, будем говорить разное с нашей союзницею Россиею. У Австрии и России одни виды насчет Польши: обе должны желать, чтоб Пруссия не увеличивалась насчет Польши и чтоб Польша не усиливалась и не стала опас-

¹⁸² 20 сентября 1791

ною соседкою, тогда как Пруссия желает слабости Польши с единственною целию распространить свои владения на ее счет.

Из сказанного выводятся следующие заключения. 1) Дальнейший раздел Польши может быть выгоден только одной Пруссии, значит, более вреден, чем полезен, обоим императорским дворам. 2) Необходимо полагать ограничения королевской власти в Польше и вообще поддерживать дух независимости в польской шляхте. 3) Не менее, однако, необходимо в будущем положить конец этому крайнему беспорядку: ничто так не выгодно для прусских планов, как эти частые выборы королей и легкость, с какою меняются конституции благодаря страшной неправильности в управлении и сеймах. 4) Наследственный король Польский будет всегда искреннее предан обоим императорским дворам, чем король избирательный, который никогда не может действовать по одной постоянной системе. Наследственный король будет тщательно охранять целостность владений республики, взирая на эти владения, как на наследство и поддержку своей фамилии, — поэтому будет сильнее противиться прусским видам, чаще требовать помощи у других своих соседей, преимущественно у России, чем король избирательный, готовый всегда жертвовать владениями, которые по его смерти перейдут к другой фамилии. Пример показал нынешний король Польский, который благоприятствовал прусскому проекту сделать из уступки Данцига статью простого торгового трактата. 5) Легче будет обоим дворам императорским препятствовать улучшению состояния Польши, ибо и Пруссия никогда не позаботится об этом улучшении. 6) Шляхта будет сильнее противиться дальнейшему усилению королевской власти при короле саксонце или вообще при иностранце, чем при Пясте. 7) Если не дать польской форме правления большей твердости, то надобно бояться, чтоб французские демократические принципы не взяли здесь верха, что будет опасно для соседей. 8) Установление наследственности Польского престола, быть может, представляет лучшее средство к уничтожению энтузиазма и тщеславия поляков, их желания существовать самостоятельно, их удаления от всякого постороннего влияния, их страсти к образованию могущественной армии, их склонности к патриотическим пожертвованиям и значительным субсидиям. Оно внесет дух несогласия, породит партии в этой беспокойной нации по предметам внутреннего управления, особенно усилит противодействие малейшему увеличению государевой власти»¹⁸³.

Понятно, что венский двор не мог никого убедить этими доводами в Петербурге — мог только раздражить, идя с такою назойливостию против русских интересов. Кобенцель не получил и на этот раз никакого ответа. Императрица высказалась перед своими об австрийской ноте в таких выражениях: «По делам Француз-

¹⁸³ 12 ноября 1791

ским Венский двор пишет и делает такое противоречие, которое ни на что не похоже. Речам же императора впредь мало веры дать можно. По его доказательству и предложению мы вошли в его дела ни противоречить, ни переменить наше поведение я не нахожу пристойно, еще менее плясать по переменчивому Италианскому макиавеллизму, который, сделав шаг вперед, поворачивается назад, не смотря на то, теряет ли достоинство и пристойность. Положение короля Французского отчаянное: он и члены семейства его — люди мертвые. Очень бы я желала быть дурною пророчицею. Вести переговоры с бунтовщиками не нужно. Все, что может сделать Венский двор самого благоразумного в пользу короля и королевы Французских, — это держать наготове значительный корпус войска, который мог бы войти во Францию в случае нужды. Надобно согласиться, что план Венского двора настоящий Австрийский, план прирожденного врага Франции. Император с королем Прусским будут владычествовать в Германии. Я боюсь их гораздо более, чем старинную Францию во всем ее могуществе и новую Францию с ее нелепыми принципами. Поведение императора не показывает ни благородства в мыслях, ни благородства в действиях, ни одной определенной идеи, везде недостаток принципов и энергии, и это они называют мудростию, благоразумием: поздравляю их с этим, но подражать им не хочу. Заметьте, что Венский двор всегда старался удалить нас от европейских дел, исключая случаев, когда для собственных целей увлекал нас ко вмешательству. С течением времени французы все более и более будут примыкать к партии принцев, братьев королевских, ибо монархическое правление есть единственное приличное для Франции; всегда здесь, во всех восстаниях против монархического правления, оно торжествовало напоследок. Я читаю будущее в прошедшем»¹⁸⁴.

Относительно Польского вопроса Екатерина писала: «У нас трактаты с Польшею; трактаты имели для нас всегда священную обязательность, и так как от этого зависит безопасность Империи со стороны Польши, то у нас не будет других правил, кроме наших трактатов. Все, что противно нашим трактатам с Польшею, противно нашему интересу. Заключив трактат с республикою, гарантировав *pacta conventa* (ограничительные условия) нынешнего короля, нарушенные конституциею 3 мая, я не соглашусь ни на что из этого нового порядка вещей, при утверждении которого не только не обратили никакого внимания на Россию, но осыпали ее оскорблениями, задирали ее ежеминутно. Но если другие не хотят знать Россию, то следует ли из этого, что и Россия также должна забыть собственные интересы? Я даю знать господам членам Иностранной коллегии, что мы можем сделать все, что нам угодно в Польше, потому что противоречивые полуволи дворов Венского и Берлинского

¹⁸⁴ Собственноручная записка Екатерины 4 декабря 1791

противопоставят нам только кипу писаной бумаги и мы покончим наши дела сами. Я высказываюсь враждебно только к тем, которые хотят меня испугать. Екатерина II часто приводила в трепет врагов своих, но не знаю, чтоб враги Леопольда II когданибудь его трусили». Когда некоторые советовали составлять русскую партию в Польше и делать внушения соседним дворам, то Екатерина наши сала: «А я говорю, чтоб дворам не сказывать ни слова, а партия същется всегда, когда нужно будет. Нельзя, чтоб не было людей, кои бы лучше желали старину; тут же дело идет о продаже староств и о уничтожении гетманов. Взять, кажется, тут Волинию и Подолию много разных предлогов, лишь выбрать»

Наконец решительная минута наступила в конце декабря 1791 года заключен был у России мир с турками в Яссах, и в то же время революционное французское правительство своим поведением относительно Германии заставляло Австрию и Пруссию приняться за оружие. 7 февраля 1792 года последовало соглашение между Австрией и Пруссией: каждая обязалась выставить от 40 до 50 000 войска для войны Французской. *Союзники поневоле*, занимаясь делами Франции, не могли забыть о Польше, и тут Леопольд для поддержания союза должен был уступить Пруссии, которая объявила, что конституция 3 мая противна ее интересам, что союз ее с Польшею 1790 года нисколько ее не обязывает относительно новой конституции. Леопольд мог выговорить только следующий сепаратный артикул: «Союзники согласятся и пригласят императорский Российский двор к соглашению с ними в том, что они не посягнут на целост владений и на свободную конституцию Польши (qu'elles n'entreprennent rien pour alterer l'intégrité et le maintien d'une libre constitution de la Pologne), что они никогда не будут стараться посадить на Польский престол одного из своих принцев ни посредством брака на принцессе инфанте Саксонской, ни в случае новых выборов и не употребят своего влияния на этих выборах в пользу какого-нибудь другого принца, без взаимного соглашения друг с другом».

Через 10 дней по заключении этого договора прусский посол в Петербурге Гольц получил следующее внушение от двора, при котором находился: «Среди дружественных сообщений между дворами Петербургским и Берлинским по поводу дел французских министерство его величества прусского сделало несколько намеков и относительно дел польских. Ее императорское величество не поколебалась бы отвечать на это с полною доверенностью, но она сочла за нужное отложить дело до окончания мирных переговоров с Портою. Теперь, когда эта счастливая минута наконец наступила, императрица, не теряя времени, пользуется ею, чтоб изложить свой образ мыслей относительно событий в Польше. Если дело 3 мая прошлого года должно остаться и крепнуть, то нет сомнения, что Польша в соединении с Саксонию и при помощи новой организа-

ции сделается опасною или, по крайней мере, неудобною соседкою Правда, что Россия тут будет обязана только наблюдать за безопасностью своих границ; но Пруссия, кроме того, должна иметь в виду еще Германию, где Саксония, благодаря соединению своему с Польшею, непременно усилит свое влияние и, быть может, получит перевес. Обо всем этом Россия и Пруссия должны серьезно подумать и согласиться как можно скорее насчет мер, которые они должны принять, дабы уладить дела соответственно своим интересам».

Алопеус давал знать, что в Берлине думают отложить вмешательство в польские дела до окончания дел французских. Вице-канцлер Остерман отвечал ему (в феврале): «Вразумляйте, что, чем более дадут времени новому порядку вещей утвердиться в Польше, тем труднее будет после его искоренять, тогда как теперь для этого потребуются очень небольшие усилия, которые несколько не могут ослабить вооружений против Франции».

В это самое время, когда Австрия своими представлениями, противными самым существенным интересам и достоинству России, заставила последнюю сблизиться с Пруссиею, умирает император Леопольд II. Наследник его Франц II сначала хочет следовать политике отцовской: опять идет из Вены предложение в Берлин — согласиться на введение в Польше наследственного правления, а для безопасности соседям от нового соединенного Польско-Саксонского королевства гарантировать постоянный нейтралитет Польши, чтобы она никогда не имела более 40 000 войска. Это предложение приводит короля Фридриха-Вильгельма в сильное негодование «Никогда, — говорит он, — никогда не соглашусь на это! Для Пруссии не может быть ничего опаснее подобной державы, образованной из соединения Польши и Саксонии; при ее союзе с Австриею у Пруссии не будет Силезии, с Россиею — не будет Восточной Пруссии. Ограничение числа войска — вздор, потому что при первой войне это условие исчезнет само собою». Но король не хотел останавливаться на том, чтобы только помешать соединению Польши с Саксониею: 12 марта он объявил своим министрам, что новый раздел Польши всего выгоднее для Пруссии, а 20 апреля Франция объявила войну Францу II, что заставило и Австрию уступить эту выгоду Пруссии.

Но в то время, когда судьба Польши решалась в Петербурге, Берлине и Париже, что делалось в Варшаве?

ГЛАВА X

В Варшаве все громче и резче высказывались неудовольствия против майской конституции. Самое сильное неудовольствие возбуждено было мерою, предпринятою для увеличения финансовых

средств: решено было отобрать староства¹⁸⁵ и продавать их. Двое первостепенных вельмож стали во главе недовольных майским переворотом: Феликс Потоцкий, генерал артиллерии коронной, и Ржевуский, гетман польный коронный. Осенью они отправились в Молдавию к Потемкину хлопотать о русской помощи. Потемкин умер: они обратились к Безбородко, ведущему в Яссах мирные переговоры с Турциею. К ним присоединился и великий гетман Браницкий, отправившийся в Россию под предлогом получения наследства после Потемкина. По всем провинциям Потоцкий и Ржевуский разослали письма с обещанием помочь нации возвратить ее старые права и вольности; Ржевуский прислал формальный протест против конституции 3 мая, обращенный к королю и Совету министров (Стражу).

Сейм отнял у Потоцкого и Ржевуского их должности, но это несколько не помогло. Гроза приближалась. Скорый мир у России с Турцией был несомнителен. Польское правительство перетрусилось, как нашалившее дитя, почуяв приближение гувернера. Стали кланяться, заискивать у государыни, которую в продолжение нескольких лет постоянно оскорбляли. в декабре 1791 года отправили в Петербург в очень учтивых выражениях уведомление о перевороте 3 мая, тогда как другим дворам это уведомление было послано давно — берлинскому на другой же день, 4 мая. Раздражили Россию в угоду Пруссии: так, по крайней мере, в Пруссии найдут себе защиту от России. Обратились к Пруссии с просьбою решительно объясниться насчет конституции 3 мая и подкрепить ее своим признанием. Люкезини словесно объявил Станиславу-Августу ответ своего государя: «Его прусское величество сохранил дружбу свою к республике и намерен исполнять все обязательства, содержащиеся в трактате союза; но ни мало не будет вмешиваться в то, что воспоследовало в Польше после заключения этого трактата». Эта декларация сильно встревожила двор, а тут еще другая причина тревоги. прусский король запретил своим подданным покупать в Польше староства¹⁸⁶

Наконец 17 января 1792 года получена была в Варшаве страшная весть о подписании в Яссах мира между Россией и Турциею. В то же время польский министр при петербургском дворе Деболи доносил о своем разговоре с вице-канцлером Остерманом насчет уведомления о майских событиях. Остерман сказал ему: «Я еще не говорил императрице о сделанном вами сообщении, и, признаюсь, у меня едва достанет смелости говорить ей об этом, ибо поляки слишком долго медлили дать ей знать сюда о своей новой конституции, о которой императрица узнала из газет. Ее величеству нечего вам отвечать. Польша объявила, что не хочет допускать никакой гарантии; объявила, что хочет управляться сама собою, без

¹⁸⁵ Государственные имущества, раздававшиеся в пользование знати

¹⁸⁶ Булгаков Остерману 15 (26) января 1792 г

вмешательства какой бы то ни было державы: следовательно. Русский двор не может подать нам никакого совета». Деболи прибавлял, что Россия, согласясь с соседними державами, не даст благоприятного ответа и ожидает только удобной минуты, чтобы обратиться свое оружие против Польши. Это донесение так поразило короля, что он упал в обморок. Со всех сторон неприятные вести. в Берлине оказывают большую холодность; в Дрездене курфирст вовсе не спешит принять опасный дар — наследство польской короны, делает бесконечные возражения, выставляет формальности, в Вене, видимо, хитрят, покажут надежду, которая вдруг исчезнет; ясно одно — что император не отступится от союза с Россией и не побежит за мечтою. Надобно защищаться одним, надобно готовиться к войне, но где средства, а главное — где привычка к такому образу действия? Военные недовольны, жалуются на приказания Войсковой комиссии, кричат против тиранства. Ян Потоцкий, возвратясь из Красного Става (под Люблином), рассказывает о худом состоянии войск, о их ропоте. Князь Иосиф Понятовский, назначенный главнокомандующим, не хочет принять начальства, прежде нежели дадут ему все нужное¹⁸⁷.

А тут еще на руках тяжелое дело о епископе Викторе и русских священниках, обвиненных в подстрекательстве к бунту. В начале 1792 года король созвал разгневанных членов следственной комиссии и приказал им поспешить окончанием дела. Опять допрошены были епископ и священники — и опять ничего нельзя было вывести преступного из их показаний. Как быть? Какой дать оборот делу; как привязаться к тому, чтобы не иметь в Польше архиерея, зависящего от России? Оправдать Виктора — значит признать в сделанной ему несправедливости и отнять у себя способ отдалить его от епархии; а осудить, выслать из Польши — не за что! Сделали запрос епископу: зачем он в разных случаях искал покровительства русского посла, как это оказалось из его бумаг? Виктор отвечал, что он следовал общему обыкновению, видя, что не только сенаторы и вельможи, но и сам король находил это нужным¹⁸⁸.

Между тем Феликс Потоцкий и Ржевуский явились в Петербурге с просьбою о помощи для восстановления старого порядка. Мы видели, что уже давно было решено: оставаться в покое до тех пор, пока сами поляки не потребуют помощи для восстановления конституции, гарантированной Россией¹⁸⁹. 9 марта отправлено было

¹⁸⁷ Булгаков Остерману 15 (26) января, 4 (15) февраля

¹⁸⁸ Булгаков Остерману 6 (17) марта

¹⁸⁹ Записки Храповицкого, 7 марта. Рассматривая почту московскую, сказали что «устали, никогда столько дел не было. Да еще приезд Потоцкого и Ржевуского время занимает. Как их не принять? Один 30 лет нам верен и предан, а другой, из неприятеля, по обстоятельству, сделался нам друг, потому что Польская республика не может устоять против России. По польским делам есть один из самых неблагоприятных — *est le roi* (таков король — *Примеч ред*)»

приказание Булгакову выйти из прежнего недействительного положения, обещать приверженцам старины помощь России. Булгаков прислал два списка — первый заключал имена тех, на которых уже теперь можно было положиться; здесь было 16 сенаторов и 36 послов сеймовых (депутатов); сенаторы были: 1) епископ Инфляндский Косаковский, 2) епископ Жмудский Гедройц, 3) воевода Сирадский Валевский, 4) кастелян Троцкий Платер, 5) воевода Витепский Косаковский, 6) воевода Мазовецкий Малаховский, 7) воевода Мстиславский Хоминский, 8) гетман коронный Браницкий, 9) великий канцлер коронный Малаховский, 10) маршал надворный коронный Рачинский, 11) кастелян Войницкий Ожаровский, 12) кастелян Гнезенский Мясковский, 13) кастелян Инфляндский Косаковский, 14) кастелян Премышльский князь Антон Четвертинский, 15) кастелян Любачевский Рышевский.

Второй список заключал имена лиц, которые, будучи недовольны действиями сейма, присоединяются к первым, как скоро увидят хоть малую надежду на успех; здесь было 19 сенаторов и 20 послов. Булгаков писал при этом, что епископ Косаковский, канцлер Малаховский, маршал Рачинский и кастелян Ожаровский могут заправлять всем делом, на них твердо можно положиться: люди опытные, с связями и кредитом в Польше и с самого начала движения не переставали отличаться преданностью к России. Начать ниспровержение новой формы правления в Варшаве было невозможно, по мнению Булгакова: «Вся сила, все способы обольщения, наград, обещаний, угроз, наказаний, одним словом — казна, войско, суды находятся в полной зависимости господствующей факции. При наималейшем здесь покушении или сопротивлении всех их сомут. Сие самое заставляет всех недовольных пребывать в молчании до способного времени не только здесь, но и по провинциям, где их, по моим сведениям, весьма много, без вступления в Польшу сильного войска не можно ни к чему открытым образом приступить»¹⁹⁰.

Деболи продолжал извещать свое правительство о враждебных намерениях петербургского двора, и господствующая факция сильно хлопотала об усилении средств к защите: сейм все более и более увеличивал власть короля, который сам собирался командовать войском. Столько лет толковали о слабости, бесхарактерности короля — теперь все забыли, не умели вникнуть в смысл этих слов: «Станислав-Август — диктатор! Станислав-Август — военачальник!» Послали занимать деньги в Голландии, генералов и офицеров выписывали из Пруссии. Толковали о самых сильных мерах: о поголовном вооружении (посполитое рушение), об освобождении крестьян. Хотели действовать на Белоруссию, на тамошних крестьян. Игнатий Потоцкий предложил в Комиссии полиции перевести и напечатать на русском языке конституцию 3 мая и разо-

¹⁹⁰ Булгаков императрице 31 марта (11 апреля) 1792

слать по русской границе; в Вильне печатались прокламации для возмущения русских крестьян. Игнатий Потоцкий приходил в восторг, что так легко исполняются его преобразовательные замыслы, говорил: «Поляки так добры, что, несмотря на их набожность и суеверие, я берусь заставить их переменить религию, если это будет необходимо».

Иногда, впрочем, эти восторги и самонадеянность реформатора сменялись грустными размышлениями: новый военачальник, Станислав-Август, обнаруживал беспокойство, во дворце господствовал панический страх. Боялись внутренней немощи, разврата, легкости, с какою можно было подкупать поляков; боялись ложных братий, которые ждали первой минуты, чтобы заговорить: «Вы навлекли на нас войну с вашей прекрасною конституциею; мы жили так счастливо и спокойно без нее». Игнатий Потоцкий говорил: «Мы не боимся войны, но боимся легкости, с какою Россия может сделать контрреволюцию, особенно теперь, когда столько недовольных. Религия — готовое орудие в руках русской императрицы, которым она может поднять наших украинских крестьян и заставить их биться против нас». 3 мая хотели праздновать годовщину революции заложением церкви во имя *Промысла Божия*. Когда узнали, что проповедь¹⁹¹ поручена говорить епископу Малиновскому, то прислали ему безыменное письмо, в котором предлагали следующий текст для проповеди из книги Бытия: «И сниде Господь видети град и столп, его же созидаша сынове человечестии... И разсея их оттуда Господь по лицу всея земли: и престаша жиждуще град и столп». Был еще другой пророк, который восторженным, поэтическим языком также предсказывал разрушение града и столпа: то был маркиз Люкезини. «Гром гремит вдалеке,— говорил он,— небо омрачается со стороны Борисфена, гроза приближается, и ясность 3 мая исчезнет навсегда»¹⁹².

Гроза приблизилась: 19 (30) апреля Булгаков получил от своего двора извещение, что между 1 (12) и 11 (22) мая русское войско под начальством генерала Коховского вступит в Польшу; одновременно с вступлением русских полков образуется на границах конфедерация для восстановления старого порядка вещей; маршалом конфедерации будет Феликс Потоцкий. Около этого же времени Булгаков должен подать польскому правительству декларацию императрицы. Он ее подал 7 (18) мая. В декларации говорилось, что честолюбцы, недовольные настоящим своим положением, представили русскую гарантию, как тяжкое и постыдное иго, тогда как величайшие государства, между прочим Германия, ищут подобных гарантий, как самого крепкого основания для своих владений и независимости; описывалось, с какими насилиями был произве-

¹⁹¹ In partibus infidelium (В области неверных — *Примеч ред*)

¹⁹² Булгаков императрице 12 (23) апреля, 6 (17) мая

ден переворот 3 мая; исчислялись оскорбления, нанесенные России виновниками переворота: настояли, чтоб русские войска и магазины были удалены из польских владений; мало того: предъявили притязания на пошлины при провозе чрез Днестр запасов, которые были закушены у польских землевладельцев, к великой выгоде последних. Подданные императрицы, находившиеся в Польше по делам торговым, были злостно обвинены в возбуждении местных жителей к бунту; были, под этим предлогом, схвачены и брошены в тюрьмы. Судьи, не находя никаких следов преступления, прибегали к пыткам, чтобы вынудить признание, и, вынудивши его, приговаривали несчастных к смертной казни. Жители православного греческого исповедания подверглись преследованию. Епископ Перейславский, подданный императрицы, несмотря на свой сан и чистоту нравов, был схвачен и отвезен в Варшаву, где и теперь находится в тяжком заключении. Народное право не было соблюдено и в отношении к послу императрицы: солдаты вторглись в его домовую церковь и схватили священника. Отправили чрезвычайное посольство в Турцию, находившуюся в открытой войне с Россией, чтобы предложить ей союз против России. В сеймовых речах не сохранено надлежащего уважения к особе императрицы. Эти оскорбления, не считая опущенных для краткости, могут вполне оправдать пред Богом и государствами самое сильное возмездие. Но императрица не хочет смешивать всего польского народа с известною его частию. Большое число поляков, знаменитых происхождением, саном и личными достоинствами, составили законную конфедерацию против незаконной Варшавской и прибегли с просьбою о помощи к императрице, которая сочла себя обязанною трактатами подать им эту помощь и приказала части войск своих войти во владения республики. Они являются друзьями, чтобы содействовать восстановлению старинных прав и вольностей польских. Те, которые примут их в этом значении, получают кроме совершенного забвения прошедшего всякого рода помощь и безопасность, как для себя лично, так и для имуществ своих ¹⁹³.

Декларация произвела сильное волнение. Немедленно созван был Страж (Совет министров); через день декларацию прочли на сейме; король говорил речь: «Вы видите, господа, с каким презрением в этом акте отзываются не только о нашем деле 3 мая, но и обо всех ваших прежних постановлениях. Вы видите усилия, с какими хотят разрушить до основания власть и самое существование настоящего сейма, уничтожить в то же время всю нашу независимость. Вы видите, что наши соотечественники, которые противятся воле и благу отечества, получили открыто помощь. Вы видите, наконец, что целой нации делают самые гордые угрозы, а чрез это види-

¹⁹³ Recueil des traites, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne, par le comte d'Angeberg, p 274

те явное наступательное движение на нас со стороны России. Вы видите, что мы, с своей стороны, должны необходимо позаботиться о всех возможных средствах для защиты и спасения отечества. Средства эти двух родов: средства первого рода заключают в себе все то, к чему могут побудить храбрость и отвага. Все, что вы поставите в этом отношении, я одобряю, мало того — явлюсь лично всюду, где мое присутствие будет полезно или для придания духу в опасностях, или для лучшего направления ваших сил. Второго рода средства для нашего спасения заключены в переговорах. Прежде всего мы должны обратиться к нашему союзнику, королю Прусскому. Помните, что, с самого начала настоящего сейма, все самые важные распоряжения наши были предприняты по внушению и советам его прусского величества, именно: наше освобождение от русской гарантии, посольство в Турцию, вывод из наших владений магазинов и войск русских. Тот же наш великодушный сосед выразил желание, чтоб мы учредили у себя твердое правительство, на основании которого он хотел упрочить свой союз с нами. Вследствие этого союза, торжественно обещал нам сначала посредничество (*bona officia*), а потом и действительную помощь, в случае, если посредничество не приведет к желанному результату, не прикроет нашей независимости и наших границ!» В заключение речи король изъявил надежду, что и русская императрица, узнавши лучше истину, затемненную Феликсом Потоцким с товарищами, откажется от своих враждебных намерений ¹⁹⁴.

Принялись за средства первого рода: удвоили все подати, платимые в казну, что могло увеличить доходы до 18 миллионов; приняли проект универсала к народу с изложением нынешних обстоятельств и причин, почему сейм продолжается на неопределенное время; учрежден чрезвычайный сеймовый суд из пяти человек; дана власть королю распорядиться всеобщим вооружением в каждом воеводстве и повете, когда увидит в том надобность; дано королю два миллиона злотых на стол и на приготовления к походу. Депутация, рассматривавшая дело о мнимых бунтах православного народонаселения, читала свой доклад и мнение: положено — епископа Переяславского и игумна держать до дальнейшего времени, а двоих других захваченных выпустить ¹⁹⁵. 13 мая по всей Варшаве по улицам прибито было печатное объявление, неизвестно от кого, приглашавшее резать всякого, кто говорил, писал, противился или впрямь будет это делать против конституции 3 мая, с обещанием награды всякому такому убийце. Полиция сорвала объявления. Расставленные повсюду шпионы и угрозы тем, кто отважится бывать у русского посла, прервали сообщения Булгакова с целым городом, так что он писал: «Теперешняя моя жизнь походит совер-

¹⁹⁴ Булгаков Остерману 17 (28) мая

¹⁹⁵ Булгаков Остерману 19 (30) мая

шенно на едикульскую. Послано приказание жечь хлебные скирды повсюду, где пойдут русские войска»¹⁹⁶.

В то же время было употреблено и средство второго рода: обратились к великодушному союзнику, королю прусскому. Мы уже видели, какой ветер подул в Берлине с начала весны. Шуленбург, заведовавший внешними сношениями Пруссии, 24 апреля пригласил к себе Алопеуса и начал его уверять, что король никоим образом не будет препятствовать действиям ее императорского величества в Польше, желательно одно, чтобы в Петербурге вошли в подробности насчет того, что намерены делать, открылись искренне, потому что тут множество предметов, заслуживающих внимательного обсуждения; восстановить в Польше совершенно старый порядок трудно, чтобы не сказать невозможно. Взимание налогов, например, совершенно переменяло прежний характер. вся шляхта согласилась платить наравне с остальным народонаселением. Необходимо соседним державам условиться, как действовать в том случае, если поляки решатся на отчаянные средства, например, вздумают отдаться одному из соседей, на что, разумеется, другие соседи никак не могут согласиться¹⁹⁷.

Алопеус доносил¹⁹⁸ о сильной тревоге в Берлине, когда узнали, что русские войска готовы вступить в Польшу, а между тем не последовало никакого соглашения между соседними державами. Министры английский и голландский начали сильно кричать против властолюбивых намерений России. Венский двор, негодуя на сближение России с Пруссией, был также не прочь напугать Фридриха-Вильгельма II. «Но я отвечаю, — писал Алопеус, — что все это не поведет ни к чему, если мы подкрепим графа Шуленбурга. Он предан России по принципу и по убеждению. Он даже вот что мне сказал: «Было бы очень хорошо, если б ваш двор изъявил желание, чтоб для заключения союза отправлен был в Петербург Бишофсвердер: польщенный этим поручением и обласканный у вас, он сделается вашим»». Придумали средство подойти поближе к цели: Шуленбург сказал Алопеусу: «Я буду писать к графу Гольцу, что со всех сторон нам дают знать, будто императрица хочет соединить дела польские с французскими; я не понимаю, что это значит, и потому пусть граф Гольц попросит у вашего вице-канцлера объяснений»¹⁹⁹.

В это самое время, когда в Берлине хотели соединить дела польские с французскими, то есть за Французскую войну получить вознаграждение на счет Польши, и послали в Петербург предложить эту мысль, как будто идущую из Петербурга, — в это самое время

¹⁹⁶ Булгаков Остерману 15 (26) мая

¹⁹⁷ Алопеус Остерману 24 апреля (5 мая)

¹⁹⁸ Алопеус Безбородку 27 апреля (8 мая)

¹⁹⁹ Алопеус Остерману 8 (19) мая

приезжает в Берлин Игнатий Потоцкий с письмом от своего короля к великодушному союзнику. Станислав-Август писал: «Я пишу в то время, когда все налагает на меня обязанность защищать независимость и владения Польши. Те и другие подверглись нападениям со стороны ее величества, императрицы Российской. Если союз, существующий между вашим величеством и Польшею, дает право обратиться к вам за помощью, то мне существенно важно знать, каким образом вашему величеству угодно будет исполнить свои обязательства. Положительные сведения о чувствах вашего величества так же необходимы для моего поведения, как необходимы ваши войска для моих успехов. Среди беспокойств и страданий я утешаюсь тем, что стою за святое дело и опираюсь на союзника, самого почтенного и самого верного в глазах современников и потомства».

Потоцкий привез следующий ответ от верного союзника: «Из письма вашего величества с сожалением вижу те затруднения, в какие теперь поставлена республика Польская; но скажу откровенно, что их легко было предвидеть после того, что произошло в Польше год тому назад. Вспомните, ваше величество, что не один раз маркизу Люкезине поручаемо было передавать вам мои справедливые опасения на этот счет. С той минуты, как восстановление общего спокойствия в Европе позволяло мне объясниться, и с тех пор, как императрица Российская обнаружила решительно свою враждебность к новому порядку вещей, установленному революциею 3 мая, мой образ мыслей и язык моих министров никогда не изменялись, и, взирая спокойным оком на новую конституцию, которую дала себе республика, без моего ведома и содействия, я никогда не думал ее поддерживать или ей покровительствовать. Напротив, я предсказывал, что угрожающие меры и военные приготовления, к которым не переставал прибегать сейм, непременно вызовут враждебное чувство со стороны императрицы Российской и навлекут на Польшу бедствия, которых думали избежать. Не будь этой новой правительственной формы, не выкажи республика усилий для ее поддержания — Русский двор не решился бы на те сильные меры, которые он теперь приводит в исполнение. Какова бы ни была дружба, питаемая мною к вашему величеству, и участие, принимаемое мною во всем, до него касающемся, оно поймет само, что вследствие совершенной перемены дел со времени заключения союза между мною и республикою и вследствие настоящих отношений, созданных конституциею 3 мая и неприложимых к обязательствам, в трактате постановленным, от меня не зависит удовлетворить ожиданиям вашего величества, если намерения патриотической партии остаются те же самые и если она непременно хочет поддержать свое создание. Но если оно захочет возвратиться назад, обращая внимание на затруднения, возникающие со всех сторон, то я буду готов снестись с императрицею и с Венским двором, по-

стараясь примирить различные интересы и согласить относительно мер, могущих возратить Польше спокойствие».

Патриотическая партия не захотела возвращаться назад, разрушать собственное создание: она попыталась без союзника помериться с Россиею. Польша могла выставить в поле не более 45 000 войска, большая часть которого находилась на Украине, под начальством племянника королевского князя Иосифа Понятовского, находившегося прежде в австрийской службе и начавшего свое военное поприще в последней войне австрийцев с турками. Второстепенными вождями при нем были: Михаил Виельгорский и Фаддей Косцюшко, который воспитывался в варшавском кадетском корпусе, потом был во французской и американской службе. Другая, меньшая часть польской армии находилась в Литве, под начальством генерала Юдицкого. Русские войска в числе около 100 000 должны были войти в польские владения с трех сторон: с юга, востока и севера. Южная армия, закаленная в Турецкой войне, двигалась из Бессарабии, под начальством генерала Коховского. Тотчас по вступлении ее в польские владения в маленьком украинном городке Тарговице образовалась конфедерация для восстановления старого порядка вещей; Феликс Потоцкий был провозглашен ее генеральным маршалом, Браницкий и Ржевуский — советниками; к ним присоединились Антон Четвертинский, Юрий Виельгорский, Мошинский, Сухоржевский (знаменитый сначала своими выходками против России, а потом своим сопротивлением конституции 3 мая), Злотницкий, Загорский, Кобылецкий, Швейковский и Гулевич. Война состояла в том, что польские войска постоянно отступали перед русскими. Значительная битва была в начале июня при деревне Деревичи, недалеко от Любара, где потерпел поражение Виельгорский. Второй упорный бой был при Зеленце (недалеко от Полонного); здесь генерал Марков, несмотря на превосходное число неприятеля, удержал поле сражения. В Литву русские войска вступили под начальством генерала Кречетникова и не встречали сопротивления; 31 мая занята была Вильна, где с торжеством была провозглашена литовская конфедерация для восстановления старины; 25 июня был занят Гродно, а на другой день, 26-го, Коховский занял Владимир-Волынский; в начале июля перешел он Буг и выбил Косцюшко из неприступного положения его при Дубенке (или Ухинке), между Бугом и австрийскою границею.

Это было последнее дело. В Варшаве давно уже увидали, что дело проиграно, и спешили просить прощения в России. 7 июля, ночью, приехал к Булгакову Литовский вице-канцлер Хрептович от имени короля просить о перемирии. Булгаков отвечал: «Перемирие от меня не зависит и места иметь не может прежде, нежели здесь совершенно во всем прежнем раскаются, поданную мною декларацию примут за основание всему, чистосердечно и с доброю верою прибегнут к великодушию ее императорского величества».

Хрептович объявил, что сейчас же отправляются к князю Понятовскому два королевских адъютанта с приказанием отступить для избежания сражений и предложить русскому главнокомандующему перемирие. Наконец, Хрептович признался, что прислан к Булгакову за советом: что им делать. Посол отвечал: «Я не могу в формальные переговоры вступить иначе, как в смысле декларации, которую прежде всего надлежит вам принять за основание; а ежели хотите иметь ко мне доверенность, то единый совет могу вам дать тот, чтобы прибегнули, не теряя времени, к великодушию ее императорского величества. Но и в этом случае нужны неллицемерное чистосердечие и добрая вера, без которых ничто прочно быть не может».

Хрептович объявил, что не только король, но и маршал Малаховский, Коллонтай и другие главные зачинщики зла согласны прибегнуть к великодушию императрицы. «Мы сами все видим, — говорил Хрептович, — что нет другого для нас спасения, как я всегда это твердил, предсказывал и подвергался за то злобе и гонению. Намерение и желание короля и всех истинно любящих отечество поляков есть: предложить польский трон с наследством для великого князя Константина Павловича, с просьбою к ее императорскому величеству учредить новое и прочное правление для Польши. Ежели это предложение не будет соответственно желаниям ее императорского величества или встретит какие политические неудобства, мы удовольствуемся и тем, чтобы соблаговолили выбрать нам государя при нынешнем короле, кого заблагорассудить изволят. Ежели и это ее императорское величество отвергнет, то просим заключить союз с Польшею вечный или временный, на каком угодно основании. Ежели и это не удостоится высочайшей апробации, то просим поправить нашу форму правления, выбросить из нее то, что негодно, внести — что угодно. Наконец, ежели и это не понравится, то предаемся неограниченно воле ее императорского величества и желаем, чтоб Польша и Россия составляли впредь, так сказать, единый народ». Булгаков отвечал: «Вот это всего лучше, и надобно составить новый сейм с помощью начавшейся новой генеральной конфедерации». Хрептович прервал его: «Этого-то мы и боимся: кто будет в новом сейме? Все те же поляки, те же вражды, те же злобы, те же мщения, то же легкомыслие, безрассудность, несообразность, личность, собственный интерес. Они, следовательно, могут наделать конституций еще нынешней хуже, и, для избежания этого, желаем мы, чтоб ее императорское величество соблаговолила сама поправить форму правления и нам ее дать готовую». «Опасаться нечего, — отвечал Булгаков, — конфедерация составлена под покровительством и с помощью ее императорского величества: следовательно, надлежит надеяться, что не выступит из пределов, которые сама себе предписала; впрочем, российский здесь министр будет иметь за нею смотрение и не попустит, чтоб будущий

сейм уподобился нынешнему. Чрезвычайно было бы полезно, если бы его величество препроводил все эти предложения письмом к ее императорскому величеству, не красноречием, но искренностью наполненным».

10 числа Хрептович привез к Булгакову письмо королевское к императрице, запечатанное, копию с него и записку, содержащую предложения; но все это было очень кратко, темно и поверхностно. Булгаков сказал Хрептовичу наотрез, что эти бумаги не заключают в себе того, что было условлено, и потому не могут произвести действия, какого ожидает от них король. Все это было перепутано, как выражается Булгаков, Игнатием Потоцким, который хотя и согласился на то, чтобы король вошел в сношения с императрицею, однако советовал не забывать достоинства республики и равенства ее с другими державами, которое они, Потоцкий с товарищами, ей доставили. Увидав неудовольствие посла, Хрептович тотчас объявил, что король переменит письмо, как будет угодно Булгакову. «Я советую держаться того, как мы с вами условились», — отвечал Булгаков. Хрептович уехал и чрез несколько часов возвратился с черновым, совершенно новым письмом. Булгаков сделал на него некоторые примечания. Хрептович поправил отмеченные места и на другой день прислал пакет с копию, прося переслать письмо к императрице со своими представлениями о настоящем положении польского правительства и о чистосердечном намерении короля искать спасения только в покровительстве императрицы. Письмо было следующего содержания:

«Я объяснюсь откровенно, потому что пишу к вам. Удостоите прочесть мое письмо благосклонно и без предубеждения. Вам нужно иметь влияние в Польше; вам нужно беспрепятственно проводить чрез нее свои войска всякий раз, как вам угодно будет заняться или турками, или Европою. Нам нужно освободиться от беспрестанных революций, к которым подает повод каждое междуцарствие, когда все соседи вмешиваются в наши дела, вооружая нас самих друг против друга. Сверх того, нам нужно внутреннее правление более правильное, чем прежде. Теперь удобная минута согласить все это. Дайте мне в наследники своего внука, великого князя Константина; пусть вечный союз соединит обе страны; заключим и торговый договор взаимно полезный. Сейм дал мне власть заключить перемирие, но не окончательный мир. Поэтому я умоляю вас согласиться на это перемирие как можно скорее — и я вам отвечаю за остальное, если вы мне дадите время и средства. Здесь теперь произошла такая перемена в образе мыслей, что предложения мои, вам сделанные, принимаются, быть может, с большим энтузиазмом, чем все совершенное на этом сейме. Но я не должен от вас скрыть, что если вы настойчиво потребуете всего того, что содержит ваша декларация, то не во власти моей будет совершить все то, чего я так желаю. Еще раз умоляю вас, не отвергайте моей просьбы, дайте

нам поскорее перемирие, и смею повторить, что все, предложенное мною, будет принято и исполнено нацию, если только вы удостоите одобрить средства, мною предложенные».

Отправляя в Петербург королевское письмо, Булгаков доносил: «Перемена мыслей в самых запальчивых головах велика. Все теперь кричат, что надлежит к России прибегнуть, все вопиют на короля Прусского, все почти упрекают Потоцких и других начальников факции, что погубили они Польшу, а сии извиняются тем, что хотели сделать добро, что обстоятельства тому воспротивились и что прусский король изменил»²⁰⁰.

Но *факция* обнаруживала еще свое существование, хотя в предсмертных, судорожных движениях: Переяславского епископа Виктора отправили с конвоем в Ченстохов для содержания в тамошней крепости. Разглашали, что англичане и французы возбудили Порту опять начать войну с Россиею; что турки взяли уже Очаков; что 50 000 татар вошли в русские границы. Появилось печатное сочинение, побуждающее короля ко всеобщему вооружению (посполитому рушению). Король, понуждаемый Игнатием Потоцким с товарищами, выдал универсал по всем цивильно-войсковым комиссиям, чтобы высылали в лагерь, собранный под Варшавою, шляхту, вписавшуюся в реестры на защиту государства; чтобы снабдили всем нужным начальников над такими охотниками и увещевали остальную шляхту приниматься за оружие. Но большинство мало ожидало пользы от этого замаскированного посполитого рушения, если бы даже оно и состоялось: две трети Польши заняты были уже русскими войсками, время упущено к созданию шляхты, и не принято никаких мер к ее прокормлению. У театра приклеили сатиру на лагерь под Варшавою: «Антрепренеры национальной защиты будут иметь честь дать печальной публике представление новой оригинальной комедии, сочиненной Варшавским Военным Советом, под заглавием: «Экспедиция против комаров, или Смехотворный лагерь за Прагою»; затем непосредственно актеры, немецкие и русские, дадут большую трагедию под заглавием: «Разрушение Польши». Так как последняя пьеса стоит казне около 20 миллионов, то вход для публики бесплатный».

Между тем Хрептович продолжал ездить к Булгакову и спрашивать у него советов; между прочим, он сказал, что король намерен собрать сейм, представить ему положение дел и распустить его. Булгаков отвечал, что ничего не может быть вреднее для короля. Хрептович согласился и предложил созвать *senatus consilium* (заседание Сената. — *Примеч. ред.*). Булгаков отвечал, что если будет нужда, то это может быть сделано, когда конфедерация будет в Варшаве; но главное, чтобы король приступил к конфедерации. Потом Хрептович спрашивал о тайном Совете при короле: оставить ли

²⁰⁰ Булгаков императрице 11 (22) июня

прежний, придать ли к нему, кого захочет он, посол, или составить совершенно новый и из кого? Булгаков отвечал, что лучше составить совершенно новый, и назвал имена лиц, из которых он должен состоять. Хрептович объявил, что Малаховский (сеймовый маршал) и Игнатий Потоцкий принуждали короля ехать в лагерь, угрожая в противном случае издать против него манифест, и спрашивал, будет безопасен король, когда русские войска придут в Варшаву? Булгаков отвечал, что если король оставит Варшаву, то это будет побег; манифест пускай они пишут он ничего не значит и им во вред обратится; для короля нет места безопаснее Варшавы, когда русские войска придут, но должно ему тогда тотчас подписать конфедерацию, чего он теперь, не подвергаясь явной опасности, сделать еще не может ²⁰¹.

Наконец был получен ответ императрицы (от 2 (13) июля) на письмо королевское: Екатерина писала, что она обещала помогать конфедерации и исполнит свое обещание и что король, не дожидаясь последней крайности, должен приступить к конфедерации. Вице-канцлер Остерман сообщил Булгакову объяснения, почему предложения королевские не могут быть приняты. «Предложение наследства Польского престола В. Князю Константину, когда императрица одною из главных причин войны объявила намерение свое восстановить прежний закон республики относительно избирательности королей,— есть предложение, с одной стороны, противное образу мыслей императрицы и видам ее относительно устройства своей фамилии; с другой — способное заподозрить ее бескорыстие и потревожить доверенность и согласие, царствующее между нею и дворами Венским и Берлинским, в особенности относительно дел польских. Предлагается императрице заключить союзный и торговый договоры: но она предполагает их постоянно существующими между Россиею и настоящею республикою Польскою, несмотря на бесчисленные нарушения, сделанные похитителями власти, предлагать заключить подобные трактаты,— значит, стараться вовлечь императрицу в сношения с похитителями власти; значит — хотеть вынудить у нее некоторое признание опасных нововведений, против которых она вооружилась и которые старается ниспровергнуть. Домогаться, наконец, у нее перемирия,— значит, хотеть дать вид, что война идет у государства с государством, тогда как на деле этого нет. Россия в искреннем и совершенном союзе с настоящею республикою против ее внутренних врагов»

Булгаков был болен, когда получил бумаги из Петербурга, и потому не мог сам ехать к королю. 11 июля он призвал к себе Хрептовича и пересказал ему содержание присланных приказаний. Хрептович записал для памяти сообщенное и признался, что в на-

²⁰¹ Булгаков Остерману 18 (29) июня, 19 (30) июня, 30 июня (11 июля), 7 (18) июля

стоящем печальном состоянии короля нужно его к этому приготовить и что он примет меры вместе с князем-примасом Переговорив с последним, Хрептович подал королю письмо императрицы и сообщил обо всем, слышанном от Булгакова. Станислав-Август пришел в отчаяние и в первом порыве приказал Хрептовичу ехать к Булгакову, просить его отправить курьера к императрице с донесением, что он, король, готов сложить корону, лишь бы новая конституция осталась в целости. Хрептович заметил ему, что сложение короны не поможет конституции, и, следовательно, он сделает только себе вред, а Польше не поможет. Поуспокоившись, король послал Хрептовича к Булгакову с условиями, на которых он согласен исполнить волю императрицы: 1) целость владений республики; 2) сохранение армий; 3) чтобы конфедерация не судила обывателей чрез так называемые санциты, 4) чтобы до прибытия ее король сохранял власть над скарбовою и войсковою комиссиями, 5) чтобы обеспечены были сделанные республикою займы

Булгаков отвечал, что условия в настоящем положении иметь места не могут, но, для успокоения его величества, он скажет собственное свое мнение. 1) целость владений есть главный пункт декларации ее императорского величества и акта генеральной конфедерации; 2) вся польская армия едва ли составляет теперь 30 000 человек, то есть именно такое число, которое было гарантировано Россиею, и потому бесполезно говорить о ее сохранении, 3) конфедерация, будучи занята важнейшими государственными делами, не будет иметь времени упражняться в санцитах, да и не осмелится, находясь под высочайшим покровительством. Исполнение четвертого и пятого пунктов зависит от конфедерации. В тот же день Станислав-Август прислал к Булгакову проект письма, в котором обещал приступить к конфедерации, посол, прибавя несколько слов, нашел письмо достаточным.

Впоследствии Станислав-Август поступал очень недобросовестно, утверждая, что ему обещана была целость владений республики и что только на этом условии он приступил к конфедерации. Булгаков ему прямо объявил, что *условия иметь места не могут*, и потом прибавил свое собственное мнение; но личное мнение посла и обещание, данное правительством,— две вещи совершенно разные.

На другой день, 12 числа, король созвал Совет министров, прочел письмо императрицы, представил настоящее положение дел и требовал мнения каждого. Князь-примас просил как можно скорее приступить к конфедерации, так как ниоткуда никакой нет надежды. Великий маршал коронный Мнишек сказал, что он никогда не был согласен на новую форму правления, тем более теперь не желает терять драгоценного времени. Великий маршал Литовский Игнатий Потоцкий объявил, что признает одну конфедерацию — Варшавскую, и всякая другая, хотя опиралась на пяти монархах, есть незаконная, и что он готов на все несчастья Великий канц-

дер коронный Малаховский высказался в сильных выражениях, что, не теряя времени, сейчас же надобно вступить в сношения с конфедерациею. Вице-канцлер коронный Коллонтай также изъявил согласие на приступление к конфедерации. Вице-канцлер Литовский Хрептович просил не терять времени. Великий подскарбий Тишкевич сказал, что с самого начала был противником конституции 3 мая, и просил о приступлении к конфедерации. Маршал надворный Литовский Солтан говорил, что не надобно отчаиваться: храбрость народа может поправить дело; указывал на пример Голландии, которая также находилась на краю гибели, но нашли способ подняться. Подскарбий надворный коронный Островский советовал королю приступить к конфедерации, но о себе сказал, что не может этого сделать по убеждению в пользе конституции 3 мая. Подскарбий надворный Литовский Дзяконский соглашался на приступление к конфедерации. Маршал сеймовый коронный Малаховский говорил, что с бунтовщиками (тарговицкими конфедератами) и говорить не следует, но что можно продолжать переговоры прямо с петербургским двором. Маршал сеймовый Литовский Сапега объявил, что он во всем последует за королем. Оказалось восемь голов против четырех за приступление к конфедерации. Король подписал акт, не дожидаясь даже и присылки депутатов от конфедерации ²⁰².

Когда Булгаков узнал, что акт приступления к конфедерации подписан, то первым его делом было освободить епископа Переяславского Виктора: король послал тотчас повеление в Ченстохов; епископ был привезен в Варшаву и помещен в доме русского посла. Через месяц с чем-нибудь, когда торжествующая конфедерация взяла в свои руки правление, она признала епископа невинным, обещала доставить ему удовлетворение в понесенных им убытках и разорениях, велела дать ему конвой как для безопасности в дороге, так и во время пребывания его в Слуцке, куда он должен был отправиться для вступления в прежнюю должность и для приведения в порядок расстроенных во время заключения его дел ²⁰³.

Когда по Варшаве разнеслась весть о приступлении короля к конфедерации, то 13 числа литовские волонтеры, служители при разных комиссиях и разный сброд собрались в Саксонском саду в числе от 200 до 300 человек, бранили короля, грозили его убить, министров, согласившихся подписать акт приступления, перевешать, перебили окна у канцлера Малаховского — и разошлись. На другой день начали было опять собираться, угрожая перевешать королевскую фамилию; но все кончилось одним шумом. Маршалы Игнатий Потоцкий и Солтан ходили по улицам и уговаривали горожан к восстанию, но без успеха. Тогда, отчаявшись поддер-

²⁰² Булгаков Безбородке 16 (27) июля

²⁰³ Булгаков Остерману 28 июля (8 августа), 18 (29) сентября

жать конституцию 3 мая внутренними средствами, маршал сеймовый Малаховский, Игнатий Потоцкий и Солтан сложили свои должности и выехали за границу; за ними последовал и Коллонтай²⁰⁴.

Судьба конституции 3 мая решилась на берегах Вислы, судьба Польши решилась на берегах Майна и Рейна.

ГЛАВА XI

Французская война, как справедливо рассчитывала Екатерина, заставила Австрию прекратить свое заступничество за конституцию 3 мая; нуждаясь в союзе Пруссии и России, венский двор должен был согласоваться с их видами относительно Польши. Еще 1 июня австрийский поверенный в делах при варшавском дворе, Декаше, получил от своего правительства следующее приказание: «Так как Венский двор не может постигнуть, на чем основаны возглашаемые в Польше толкования и надежды, что бы он будет защищать новую конституцию 3 мая: то повелевает ему, Декаше, опровергать этот неосновательный слух и отзываться, где только случай представится, что Венский двор о том никогда не помышлял; доказательством служит то, что до сих пор постоянно избегал он отвечать и изъясняться на делаемые ему частые от Польши отзывы, вопросы, представления и домогательства; хотя император любит и почитает Саксонского курфюрста, однако и это не заставит его вмешаться в польские дела, тем более что курфюрст с самого начала объявил, что никогда не примет короны без согласия Петербургского и Берлинского дворов; наконец, польские замешательства, происходящие от намерения удерживать силою новую правительственную форму, могут поколебать равновесие, нужное для спокойствия Европы»²⁰⁵.

Немного спустя Люи Кобенцель в Петербурге получил приказание от своего двора предупредить русское правительство, что его апостольское величество не колеблется согласовать свои виды с видами высокой союзницы относительно восстановления старой польской конституции 1755 года²⁰⁶.

Но вопрос о восстановлении старой польской конституции сейчас же должен был уступить место другому вопросу в сношениях между венским и берлинским дворами. Австрия, Пруссия и Россия начинают войну с Францией — войну, требующую больших издержек: и где же вознаграждение за эти издержки? Шуленбург, разговаривая в июне месяце с принцем Нассау об этом важном вопросе, выразился так: «Топографическое положение Австрии позволяет

²⁰⁴ Булгаков Остерману 16 (27) июля

²⁰⁵ Булгаков Остерману 2 (13) июня

²⁰⁶ Кауниц Кобенцелю 9 июня 1792

ей сделать земельные приобретения на счет Франции, тогда как для Пруссии и России такие приобретения невозможны; единственное вознаграждение для них — взять деньги с Франции, но денег у Франции нет»²⁰⁷. После этого разговора Шуленбург открылся Алопеусу, что Австрия могла бы сделать земельные приобретения на счет Франции и это не уменьшило бы политического значения последней страны. Венский двор боится вооружить против себя этим большую часть Европы, но в сущности действует тут не этот страх, а желание осуществить свой проект промена Бельгии на Баварию. Здесь, в Берлине, не находят в этом таких опасностей, какие находили прежде, если только посредством новых приобретений и со стороны Пруссии поддержится равновесие. Эти приобретения не могут быть для Пруссии со стороны Франции, как по причине отдаленности, так и потому, что не следует дробить Францию, как Польшу, долженствующую играть второстепенную роль; следовательно, вознаграждение для Пруссии возможно только в Польше. Шуленбург уверял Алопеуса, что он еще не знает видов короля на этот счет, но намерен говорить об этом королю. Для Пруссии важно иметь часть Польши, которая соединила бы Пруссию с Силезию; а России выгодно бы было приобрести Польскую Украину, которая бы соединила старые русские области с новыми приобретениями от Турции.

В то время, когда прусские дипломаты уже толковали о разделе Польши, поляки бросались во все стороны, чтобы не сдаваться безусловно России. Мы видели, что король Станислав-Август предлагал польский престол внуку Екатерины, великому князю Константину Павловичу, Игнатий Потоцкий в Берлине предлагал этот престол второму сыну прусского короля, принцу Людовику, а Пиатоли и Мостовский хлопотали в Дрездене, как бы заставить Англию поддерживать Польшу, писали об этом два мемуара в Лондон. Мало того, Пиатоли прислал письмо к Алопеусу, приглашая его съехаться с ним где-нибудь между Берлином и Дрезденом, обещая сообщить важные идеи; письмо было самое льстивое, например: «Его величество (Станислав-Август) и достойный министр его, граф Хрептович, беспрестанно указывали на вас, как на единственного человека, способного соединить усердие к своей государыне с искренним участием в благополучии польской нации. Вы одни можете быть ходоатаем великого (!) короля и почтенного народа пред Екатериною. Ваши политические таланты, ваша опытность, милости к вам императрицы и особенно ваша испытанная честность делают вас достойным быть человеком двух наций»²⁰⁸.

Екатерина, получивши донесение об этом, написала: «Запретить надлежит Алопеусу, чтоб он отнюдь не вошел с Пиатолием ни

²⁰⁷ Алопеус Остерману 19 (30) июня

²⁰⁸ Алопеус Остерману 22 июня (3 июля)

в какие связи. Сей интригант везде суетится как угорелая кошка Напишите скорее, дабы переписка и мошенничество пресеклись наискорее». Когда прусский король был в Лейпциге, Пиатоли явился в окрестностях этого города и выпросил свидание с Бишофсвердером: он предложил, что Польша присоединится к союзу австро-прусскому против Франции, если Австрия и Пруссия решатся действовать против России. Бишофсвердер отвечал, что не вмешается в дела, которыми заведовал Шуленбург²⁰⁹.

Наконец Австрия высказалась, что желала бы обменять Бельгию на Баварию, а Пруссия предложила вознаграждение на счет Польши. Австрийское министерство при этом дало заметить, что как ни выгоден промен Бельгии на Баварию в политическом отношении, однако Австрия потеряет относительно доходов; впрочем, если не будет и никакого вознаграждения, то венский двор не сочтет это слишком большим для себя несчастьем.

Последнее особенно встревожило Шуленбурга: он представил себе, что Австрия действительно не захочет взять никакого вознаграждения — с целью ослабить Пруссию: ибо такое государство, как Австрия, не разорится, если к массе его долгов присоединится еще сумма в каких-нибудь 50 миллионов, тогда как Пруссия с трудом перенесет опустошение своей казны, которое произойдет вследствие войны²¹⁰.

В Майнце оба союзника поневоле, Франц II и Фридрих-Вильгельм II, свиделись для соглашения в общих мерах относительно похода; накануне отъезда обоих государей из города происходила третья конференция по вопросу о вознаграждении. Положено было, что Австрия получает Баварию взамен Бельгии, Пруссия вознаграждается на счет Польши. Так как промен Бельгии на Баварию уменьшает доходы Австрии на два миллиона, то Австрия должна за это получить вознаграждение. Если план вообще не может быть приведен в исполнение или если нельзя будет найти для Австрии вознаграждение за потерю двух миллионов дохода, то обе стороны отказываются от земельных вознаграждений и получают от Франции деньги. Со стороны австрийских дипломатов сделано было предложение, чтобы Пруссия уступила Австрии, в прибавку к Баварии, Аншпах и Байрейт, и в таком случае Австрия не будет требовать вознаграждения за потерю двух миллионов дохода. Прусские министры отвечали, что доложат об этом королю²¹¹, и впоследствии Пруссия не согласилась на это предложение.

Войска союзников приближались к границам Франции; Алопеус следовал за прусскою армиею, при которой находился сам король с обоими сыновьями. Сначала пруссакам казалось, что поход

²⁰⁹ Алопеус Остерману из Франкфурта 13 (24) июля

²¹⁰ Алопеус Остерману 13 (24) июля

²¹¹ Алопеус Остерману из Люксембурга 8 (19) августа

будет веселою прогулкою: придут, увидят и победят, особенно с таким полководцем, каков был герцог Фердинанд Брауншвейгский, человек, пользовавшийся фальшивою репутациею, далеко не соответствовавшею его настоящим достоинствам. Но скоро начали прокрадываться сомнения относительно успеха предприятия. Эмигранты нахвастали, что у них повсюду соумышленники в крепостях; но оказалось, что все это неправда²¹². Сдалась пограничная крепость Лонгви, сдался Вердюнь, но этим и кончились успехи союзников. Когда пришел слух из Варшавы, что отряд русского войска под начальством Кутузова получил приказание выступить к границам Франции, то герцог Брауншвейгский сказал по этому случаю Алопеусу: «Хотя нет сомнения, что мы войдем в Париж, однако я не вижу, чтоб этот вход положил конец несчастиям Франции, нет возможности оставить там всю прусскую армию, однако без значительных сил нельзя сдержать жителей этого сильного государства²¹³. Политическое головокружение и мятеж пустили такие глубокие корни, что в один или в два года их не вырвешь, вражда, вызванная, к несчастию, правительством самым развращенным и питаемая управлением самым отвратительным, так вкоренилась, что для ее утушения нужно целое поколение. Будущее правительство, какова бы ни была его форма, не должно никогда удаляться от начал самого строгого правосудия и справедливости, но можно ли ожидать чего-нибудь подобного от эмигрантов? Эти люди приобрели неискоренимую привычку вместо правосудия опираться на королевскую благосклонность, вместо справедливости употреблять угнетение, посмотрите, как они высокомерно ведут себя даже с нами, тогда как они кормятся на счет прусского короля»²¹⁴.

Непосредственно императрице отправлено было следующее описание поведения эмигрантов: «Едва прусская армия коснулась границ Франции, как вместо 8000 эмигрантов, которых ожидали, явилось около 14 000 и в то же время и в той же пропорции усилились самые нелепые требования. Императорские министры протестовали против такого нарушения Майнцской конвенции, по которой союзники обязались содержать только 8000 эмигрантов, императорские министры объявили, что они исполняют буквально конвенцию и не дадут ни обоба больше, но король, по доброте своей, назначил принцам 13 августа еще 8000 лишних рационов, всего издержано было Пруссиею на эмигрантов 5 422 168 ливров

Несмотря на это и несмотря на пособия, которые приходили

²¹² Алопеус Остерману из Люксембурга 8 (19) августа

²¹³ Еще прежде Шуленбург говорил Алопеусу, что по занятии Франции нужно будет оставить в ней русские войска, которые менее немецких могут быть подвержены опасности увлечься французскими приманками (elles sont moins sujettes a être ébranlées que le militaire allemand, qui ne résistera pas également aux appas de la séduction française)

²¹⁴ Алопеус Остерману из Вердюна 25 августа (5 сентября)

из Берлина, Петербурга, Вены и Парижа, войско эмигрантское нуждалось в необходимом, ибо Калоннь явился в стане таким же расточителем, каким был во время министерства своего при Людовике XVI. Были генералы, которые брали на одних себя по 500 раций; у графа Артуа было более 100 адъютантов. От бывших линейных войск (гвардии и жандармерии, Royal-Allemand, Royal-Saxon и проч.) явились только жалкие остатки; вся же прочая масса эмигрантского войска представляла пеструю толпу из людей всех сословий и возрастов, способных только затруднять армию и никак не быть ей полезными. Но что всего хуже, куда только ни появлялись эти эмигранты, повсюду они обнаруживали тот же самый характер, который был для них источником несчастий во Франции, — наглость и легкомыслие. Каждый день новые планы, новые проекты и новые интриги, которые расстраивали и приводили в отчаяние начальников союзных войск. Развращение их нравов и их оскорбительное высокомерие вооружили против них народы, среди которых они нашли гостеприимство. Эти неприятные впечатления перешли и к обеим союзным армиям, и трудно себе представить ту степень ненависти и презрения, с какими обе армии смотрели на когорты, не знающие ни порядка, ни дисциплины. При вступлении во Францию вместо симпатии и помощи, которые обещаны были союзным армиям, нужно было каждый шаг вперед покупать кровию, и везде встречено было решительное нерасположение к восстановлению старого порядка вещей и непримиримая ненависть к эмигрантам. И надобно признаться, что последние употребили все средства, чтоб укрепить это чувство. Едва только они появились под покровительством прусских пушек в Лонгви и Вердуне, как главные из них начали расточать ругательства и площадные эпитеты горожанам и вообще жителям всех сословий, а другие эмигранты, не так чиновные, позволили себе даже опустошение и грабежи».

Эмигранты действительно вели себя очень дурно; но неуспех кампании не зависел единственно от дурного поведения эмигрантов. По непротестительной медленности герцога Брауншвейгского Дюмурье, начальствовавший французскими войсками, успел занять Аргоньские теснины, Фермопилы Франции по дороге к Парижу, и укрепиться тут. Та же нерешительность герцога спасла французов при Вальми, где дело ограничилось одною бесполезною канонадою. Наконец, король сделал новую ошибку: завел переговоры с Дюмурье о мире, что было очень выгодно для Дюмурье, выигрывавшего время для усиления своего войска, а пруссаки между тем пришли в самое печальное положение: по пяти дней не ели; дурная пища произвела болезни, усилившиеся еще от мокрой осенней погоды на болотистых местах, так что большие составляли треть войска. Брауншвейг 30 сентября начал отступление, а между тем еще несколькими днями прежде французский генерал

Кюстин начал наступательное движение на Германию, провозглашая войну дворцам тиранов и мир хижинам правдивых. Он захватил Шпейер, Майнц сдался при первом появлении французов, ужас распространился повсюду, все бежало, французы заняли Франкфурт.

Алопеус писал в Петербург, что для него много непонятого в отступлении Брауншвейга, хотя действительно больных много и большой недостаток в съестных припасах. По мнению Алопеуса, с небольшим пожертвованием войска можно было принудить Дюмурье к отступлению и навести страх на остальную Францию: «Осторожность герцога Брауншвейгского зашла слишком далеко, чтоб не сказать больше. Положительно верно, что он ошибся в своих расчетах, ибо после отступления неприятеля от Гранпрэ он мне сам сказал, что дорога к Парижу теперь открыта. Граф Бретейль просил меня повергнуть его к стопам императрицы и умолять Ее Императорское Величество не покинуть короля Французского в эту минуту. Он уверял меня, что спасение Людовика XVI будет зависеть от корпуса войск, который императрица соблаговолит отправить весною во Францию»²¹⁵.

После очищения Франции, в октябре, собрались в Люксембурге австрийские и прусские дипломаты и завели конференцию о вознаграждении за Французскую войну. Австрийцы повторяли старое: что промен Бельгии на Баварию не только не представляет никакого вознаграждения, но еще убыток. Следовательно, чтобы не было убытка, Австрия должна взять у Франции часть Лотарингии и Эльзаса по Мозелю, так чтобы эта река составляла австрийскую границу, но для обеспечения этой границы Австрия возьмет еще крепости Тионвиль, Мец, Понтамуссон и Нанси. Пруссаки объявили, что они возьмут вознаграждение в Польше, равномерное приобретениям Австрии, не будут ни в чем противоречить видам русской императрицы и передадут ей решение всего дела.

Получивши от Алопеуса донесение об этом, Екатерина написала: «После такой блистательной кампании, они еще смеют толковать о завоеваниях!»

Но какое бы негодование ни возбуждала блистательная кампания, надобно было забыть о ней и думать о второй, а этой второй кампании не хотели предпринимать без вознаграждения. 25 октября Пруссия объявила Австрии, что король Фридрих-Вильгельм бу-

²¹⁵ Алопеус Остерману, Вердунь, 20 сентября (2 октября) Алопеус находил много непонятого в поведении герцога Брауншвейгского. Но вспомним, что герцог Фердинанд под именем *Eques a Victoria* (Рыцарь Победы — *При меч ред*) был главным великим магистром масонства в Германии, вспомним, какую роль играло масонство в революционных движениях Франции, что главные деятели в этих движениях принадлежали к логам, вспомним, что герцог Брауншвейгский провозглашался кандидатом на французский престол по свержении Бурбонов

дет продолжать войну с Франциею только под условием, чтобы вознаграждение польскими землями было ему обеспечено Россиею и Австриею и чтобы он мог действительно вступить во владение этими землями. В ноябре Шуленбург объявил Алопеусу, что генерал Меллендорф получил королевское приказание поставить на военную ногу 17 батальонов пехоты, 20 эскадронов конницы и батарею легкой артиллерии; что, под предлогом войны Французской, это войско будут держать наготове ко вступлению в Польшу, если прусский проект относительно вознаграждений будет одобрен императрицею. Шуленбург заметил, что это сообщение вовсе не официальное, министерство не получило еще приказа сделать его, тем не менее оно решило его сделать, зная правило короля относиться во всех делах к ее императорскому величеству с беспредельною доверенностию и неограниченною откровенностию. Шуленбург прибавил, что если императрице угодно будет согласиться на проект королевский, то надобно скорее приводить его в исполнение, потому что волнения в Польше становятся день ото дня сильнее и ширится дух мятежа, который надобно задуть при самом рождении²¹⁶

Действительно, Булгаков доносил вице-канцлеру от 31 октября (10 ноября): «Неоднократно уже я имел честь доносить, что отступление назад во Франции соединенных войск и одного следствия производят в Польше, и особливо в Варшаве, некоторое волнование, которое то умножается, то уменьшается по мере получения из той стороны добрых или худых известий. Занятия Майнца и Франкфурта, взятые с них контрибуции, успехи французов в Савойи и в других местах и, наконец, сношение живущих в Лейпциге недовольных поляков с Парижем опять вскружили головы до такой степени, что начались было беспорядки в публичных местах, как-то в театрах и на раутах. По счастью, число явных оных зачинщиков весьма мало; все они почти дворяне, голые. По сие время неприметно, чтоб варшавские мешаче мешались в их шалости, которые состоят в безыменных сочинениях, в дерзких рассуждениях, в криках, в шуме, в повторениях таких пассажей из комедий, кои могут они толковать на изворот или обращать во вред и посмеяние членов конфедерации; но сия, будучи о том извещена, прислала наконец строгое повеление к маршалу коронному Мнишку о укрощении подобных буянств и обещает принять действительнейшие меры к пресечению зла. Есть некоторое подозрение, что взявшие здесь отставку, не принятые в военную службу и возвратившиеся сюда генералы Вильгорский и Мокрановский поджигают между прочими из-под тиха на заведение шума бродяг, но сами они явно нигде участниками не оказываются, в обществах же своих твердят о революции, о восстановлении конституции 3 мая и т. п. Сверх того, расположе-

²¹⁶ Алопеус Остерману, Берлин, 6 (17) ноября

ние на зимние квартиры войск наших подало повод к жалобам и крикам от недовольных, кои пользуются сим обстоятельством для приведения их в ненависть повсюду. Доходило даже до того, что в Варшаве возобновили разглашение, деланное уже во время вступления их в Польшу, о Сицилийской вечерне. Генерал Коховский, исчисля, сколько нужно на пропитание вверенной ему армии, и истребовав реестр дымов или домов в каждом воеводстве, разложил оное нужное количество на все вообще, так что, например, в Варшавской земле, где, выключая город, считается до 70 000 домов, приходит каждому дому поставить на целые семь месяцев только два четверика муки, полтора гарнца крупы, четверик овса, три пуда сена. Но маршалы и советники конфедераций воеводских или поветовых, располагая вследствие оного росписания поставку фуража, исключают деревни свои собственные, своих приятелей или покровителей, отчего тягость упадает на бедных дворян и заставляет их кричать».

От того же самого числа новое донесение: «Басням здешним по поводу французов нет конца. Одни полагают уже их близ Дрездена, другие в шести только милях от польских границ и прибавляют, что вступление их в Польшу будет сигналом всеобщего бунта и возмущения крестьян».

Эти известия — с одной стороны, с другой — несогласие прусского короля вести войну с Францией без вознаграждения на счет Польши, наконец, невозможность успокоить Польшу собственными ее средствами, ибо главы конфедерации, взявши в свои руки правление, оказались совершенно к нему неспособными, думали только о своих личных выгодах, спешили воспользоваться своим торжеством, чтобы обогатиться, и ссорились друг с другом — все это заставляло Екатерину немедленно же войти в виды Пруссии относительно второго раздела, на который после замыслов польских реформаторов относительно русского православного народонаселения смотрели уже не как на раздел Польши, но как на соединение раздробленной России. Право распоряжаться считали за собою полное, потому что Польша была завоевана и сдалась безусловно на волю победителей; конфедерация несколько не помогала русским войскам, но шла по их следам и крепла с их успехами²¹⁷.

В ноябре прусский посол в Петербурге граф Гольц представил карту Польши, где отмечен был участок, желаемый Пруссией. «Ее Императорскому Величеству всеподданнейше докладываемо о до-

²¹⁷ Записки Храповицкого, стр. 283. Из Риги получено по почте письмо Севери на Ржевуского в собственные руки. Он делает возражения на раздел Польши и описывает, сколь затруднительно теперь положение его и графа Поттоцкого. Он не верит, чтобы была на то воля ее в ства — «Я думала войти в Польшу к готовой конфедерации, но вместо того войска мои дошли до Варшавы и конфедерацию открыли за слиной армии. Они сами не сдержали слова, и теперь беру Украину в замен моих убытков и потери людей».

могательствах прусского министра графа Гольца получить ответ на предъявленное со стороны короля его желание, касающееся до приобретения им части земли от Польши, чертою на карте означенной и до введения войск его в ту часть. По рассмотрении всех бумаг и разных сведений по сей материи Ее Величество указала в высочайшем своем присутствии и под собственным Ее усмотрением протянуть черту на карте Польской для показания того удела, который предназначается к Всероссийской Империи в удовлетворение обытков ее и вследствие общих видов союзных дворов поставить Польшу в такое положение, чтоб она, служа барьером между окружающими ее, не могла, однакож, сама собою беспокоить их: в лучшее же объяснение монаршей воли описав некоторые места и урочища по той черте, Ее Величество изволила утвердить оную своеручною припискою»²¹⁸. Черта была проведена от восточной границы Курляндии, мимо Пинска, через Вольту, к границам Австрийской Галиции. Прусский удел заключал Познань, Гнезно, Калиш, Серадж, Ленчицу, Ченстохов, Торн, Данциг. Екатерина последнее время усердно занималась древнею русскою историею; ей было тяжело, что не все русские области войдут в состав Всероссийской империи, останутся за чужими стольные города знаменитых русских князей, но она рассчитывала, что со временем можно будет выменять их у Австрии на турецкие области²¹⁹.

Привести в исполнение план раздела Екатерина поручила не Булгакову, который был отозван, а Сиверсу, который умел самые неприятные дела обрабатывать таким образом, что люди, получившие неприятность, не сердились на него, оставались к нему в самых лучших отношениях. В рескрипте императрицы к новому послу говорилось следующее:

«Известно вам, на каких основаниях взаимно полезных и соседственной тишине благоприятствующих с начала нашего вступления на престол наш хотели мы учредить сношения наши с республикою польскою. Приобретенное нами в правительстве ее влияние устремлялось всегда на утверждение вольности и независимости ее с предохранением законных прав сограждан ее. Но все сии подвиги, вместо должного ими признания, произвели злобу к государству нашему, междоусобную зависть и кровопролитные мятежи, кои пресеклись наконец разделом в 1773 году, в действие произведенным. Не может быть, конечно, ни одного Поляка, несколько сведущего о делах, который бы не знал, сколь приступление наше

²¹⁸ Записка Безбородко 2 декабря 1792 г

²¹⁹ Записки Храповицкого, стр 286 Сказывали, что Елагин дивится, откуда собран родословник древних князей Российских (составленный Екатериною), и многое у себя в Истории поправил Дошли до занятия Польши «Владимир на Вольту мы теперь не взяли по причине Но со временем надобно выменять у императора Галицию она ему не кстати, а нужна прибавка к Венгрии из владения Турецкого»

к таковой мере вынуждено было обстоятельствами и тут умели мы не только ограничить собственные наши права в пределах крайней умеренности, но и воздержать лакомство и алчность других дворов, в оном с нами участвовавших. Казалось бы, по всем вероятностям, что вышеупомянутое событие послужит поучением и убеждением для переду, что дальняя целость и спокойствие Польских владений завясят нераздельно от соблюдения тесного и непрерывного согласия с нами и державою нашею. Но время и весьма короткое доказало, что легкомыслие, надменность, вероломство и неблагодарность, сему народу свойственные, не могут быть исправлены ниже самими бедствиями; ибо как скоро управляющие оным увидели нас озабоченными двумя явными войнами и происками потаенными наших завистников, то не усумнились поползнуться на расторжение всех торжественных с нами обязательств и на разные всякого рода оскорбительные поступки как против нас самих, так особливо против войск наших и даже против подданных наших, по невинным своим промыслам в Польше находившихся, увенчав напоследок все сии неистовства испровержением в 3-й день мая 1791 формы правления, нашим ручательством утвержденной. Перемена, столь несвойственная коренным пользам государства нашего, не могла быть от нас долго терпима, и мы твердо положили оную уничтожить при первом удобном случае, который нам и представился в замирении нашем с Портою Оттоманскою. Уважая вышеозначенные нарушения торжественных договоров и разлые обиды, нам от Поляков причиненные, имели мы бы неоспоримое право приступить к исполнению нашего намерения и точным объявлением войны. Но, упреждая напрасное пролитие крови и предпочитая везде и всегда способы кротости и человеколюбия, мы прибегли к средству, в Польше издавна известному и в чрезвычайных случаях обыкновенно употребляемому, то есть составлению новой конфедерации. Для сего велели мы призвать ко двору нашему изъявивших гласно неудовольствие их о переменах, в их отечестве воследовавших, от короны генерала артиллерии графа Потоцкого и польного гетмана Ржевуского и от Литвы находящегося в службе нашей генерал-поручика Косаковского; скоро присоединились к ним коронный великий гетман Браницкий и человек до 12 разных чинов из рыцарства.

Но сколь ни малоллюдно сие число, однакож при соглашении с министерством нашим о предварительных мерах и о началах будущего правления примечено было разнообразие видов, не предвещающих ни единодушия, ни прочности в созидаемом здании, каким бы образом оно ни устроилось. Одни помышляли о сохранении или распространении преимуществ чинов их, другие о приобретении оных, а третьи, исключая ручательство наше на форму правления, хотели сохранить армию Польскую в том количестве, которое определил ей последний сумасбродный сейм. Словом, мало из них, или,

лучше сказать никто, кроме генерала артиллерии графа Потоцкого, не занимались прямо благом отечества, согласуя оное с выгодами соседей его и не примешивая к тому личных и корыстолюбивых видов. Но как главный вопрос состоял не в раздроблении сих видов, а паче в поспешении предположенным делам, то и повелели их наискорее отправить к начальникам войск наших, а сим с разных сторон вступить в пределы польские и там под защиту оружия нашего обнародовать генеральную конфедерацию, которая и взяла свое бытие под именем Тарговицкой. Его Величество признал наконец конфедерацию. Но сколько поступок сей был нечистосердечен, то явно изобличается его поведением; ибо, не говоря о тех коварных предложениях, которые он нам чинил в намерении поссорить нас с другими соседственными дворами, мы достоверно знаем, что он и поныне продолжает возбуждать и питать в польском народе злобу и недоброжелательство к нам и войскам нашим, в чем он довольно и предупел, ибо вседневно обнаруживаются разные знаки таковых неприятных расположений, и особливо самым непристойным неуважением к главным начальникам помянутых войск наших.

К ваящему доказательству сей строптивости духа, ныне там господствующего, долженствует служить собственное признание главных членов присланной сюда конфедератской делегации, что как скоро войска наши выступят из пределов Польши, то все там под их щитом установленное в мгновение ока испровергнуто будет. Но не столько заботимся мы сим могущим воспоследовать событием, сколько расположением нынешнего пагубного французского учения до такой степени, что в Варшаве развелись клубы на подобие Якобинских, где сие гнусное учение нагло проповедуется и откуда легко может распространиться до всех краев Польши и, следовательно, коснуться и границ ее соседей. Нет мер предосторожности и строгости, каковых бы опасение толь лютого зла оправдать не долженствовало.

Решительный отзыв короля Прусского принудил нас войти в ближайшее соображение всех обстоятельств и околичностей в оном встречающихся. Тут усмотрели мы очевидно и ощутительно во 1) что по испытанности прошедшего и по настоящему расположению вещей и умов в Польше, то есть по непостоянству и ветрености сего народа, по доказанной его злобе и ненависти к нашему, а особливо по изъявляющейся в нем наклонности к разврату и неистовствам французским, мы в нем никогда не будем иметь ни спокойного, ни безопасного соседа, иначе как приведя его в сущее бессилие и немощество; во 2) что неподатливостию нашею на предложение короля Прусского и последующим за тем его отпадением от Римского императора в настоящем их общем деле мы подвергаем сего естественного и важного союзника нашего таким опасностям, что следствия оного вовсе опровергнут европейское равновесие, и без того

уже потрясенное нынешним положением Франции, и в 3) что король Прусский, ожесточенный бесполезностию употребленных им издержек, не взирая и на отчуждение наше от его видов, может по известной горячности его нрава или теперь силою завладеть теми землями, или, для достижения к тому надежнейшего способа, навлечь на нас новые отяготительные хлопоты, к усугублению которых сами Поляки готовы будут соделаться первым орудием. Сии и многие другие уважения решили нас на дело, *которому началом и концом предполагаем избавить земли и грады, некогда России принадлежавшие, единоплеменниками ее населенные и созданные и единую веру с нами исповедующие, от соблазна и угнетения, им угрожающих*»²²⁰.

В Берлине были в восторге от согласия России на раздел Польши; но чем веселее были в Берлине, тем печальнее были в Вене: Пруссия получит немедленно вознаграждение за войну, а Австрия? Должно ждать обмена Бельгии на Баварию, а между тем французы уже заняли Бельгию и менять стало нечего! Король Фридрих-Вильгельм писал в Петербург Гольцу: «Вы изъясните графу Остерману в самых сильных выражениях признательность, какую внушили мне поступки его государыни»²²¹.

Но в этом же письме король уведомляет, что венский двор не хочет довольствоваться вознаграждением, которое получает в промене Бельгии на Баварию, а требует польских земель во временное владение, на случай, если выговоренный промен не состоится. Чтобы отвязаться от Австрии, прусский король предлагает новую сделку: если нельзя будет отнять Бельгии у французов и нечего будет променивать на Баварию, то вознаградит Австрию церковными владениями в Германии (посредством секуляризации). В то же время²²² Кобенцель получает от своего правительства приказание настаивать в Петербурге, чтобы Россия двинула корпус войск своих из Польши против французов и гарантировала промен Бельгии на Баварию и суррогат, который должна еще получить Австрия. Филипп Кобенцель писал Люю Кобенцелю: «Мы никогда не соглашались на требуемый королем Прусским весьма знатный удел в Польше, а только был оный принят *ad referendum* (к обсуждению. — *Примеч. ред.*), буде бы согласился нам уступить при всем от него зависящем споспешествовании в баварском обмене Аншпах и Байрейт. Поелику король в сем уступлении наотрез отказал, то из сего выводится само по себе следствие, что он, по всей справедливости, удовольствуется гораздо меньшим польским приобретением и что нам, без сомнения, желать надобно всевозможного уменьшения оному, как то всеконечно интересу Российского императорского

²²⁰ Рескрипт от 22 декабря

²²¹ 26 декабря 1792

²²² 23 декабря

двора прилично. При нынешнем крайне сумнительном положении наших обстоятельств само по себе явствует, что мы не будем домогаться всевозможного соразмерного уменьшения Прусского удела в Польше, ниже настоять непосредственно на отсрочении явно приданного взятия во владения одного и прямым образом противоборствовать Берлинскому двору. Совсем различно, однако же, при сем положение Ее Императорского российского Величества, и токмо от ее твердой решительности зависит, как на всеобщий, так особенно наш интерес обратит все то деятельное внимание, которого ожидать должно от Ее дружества к Его Императорскому Величеству. Существеннейшее в сем зависеть будет от того, чтобы Ее российское Императорское Величество потщилось ограничить удел Прусский по справедливой соразмерности, причем мы вообще признаем совершенно основательным предложенное г. Зубовым правило, чтобы стараться при новом разделе удержать Польшу яко державу, посреди лежащую, и уклоняться от того, чтобы были те три двора в соседстве. Потом чтобы Ее российское Императорское Величество согласилось на раздел сей токмо с двояким *conditio sine quo non* (непременное условие. — *Примеч. ред.*), дабы, с одной стороны, король Прусский продолжал войну противу Франции со всевозможным усилием, с другой же стороны, дабы наш обмен был равным образом приведен в порядок, а после войны к окончанию».

Венский двор прямо признавался, что не смеет явно действовать против Пруссии, имея нужду в союзе ее против Франции, но тайно позволял себе действовать и против Пруссии, и против России, мешая им в Польше. Сейм 1793 года назначен был в Гродно. Сюда приехал и Сиверс и 29 марта (9 апреля) подал декларацию о разделе. Все было спокойно, сопротивления быть не могло, но скоро ²²³ посол дал знать императрице о письме польского министра при австрийском дворе Войны к канцлеру Малаховскому. Война писал, что император Франц утешал его насчет печальной участи Польши, уговаривал не терять надежды. «Я не одобряю раздела и в нем не участвую, — говорил Франц, — но мое положение таково, что не могу ничего сделать. Утешьтесь и успокойте своих поляков насчет этой беды, ибо обстоятельства, навверное, могут измениться». Австрийский поверенный в делах в Варшаве Декаше говорил громко, что его двор при других обстоятельствах стал бы противодействовать разделу. Вследствие этого король Станислав-Август тотчас переменял тон.

Между тем военное счастье перешло на сторону союзников; Бельгия была очищена от французов; несмотря на то, надежды променять ее на Баварию было еще меньше, чем прежде. Англия, присоединившаяся к союзу против Франции, требовала, чтобы Бельгия оставалась за Австриею и была усилена линиею крепостей,

отнятых у Франции: для Англии было важно, чтобы Бельгия принадлежала одному из самых сильных государств в Европе и, таким образом, сдерживала бы Францию на севере, тогда как независимая Бельгия по слабости своей не могла представлять никакой сдержки. Наследники Баварского престола также не соглашались на обмен. Это заставляло Австрию еще сильнее волноваться насчет событий, происходивших в Польше. Иностранными сношениями венского двора управлял в это время знаменитый Тугут. 16 июня он писал Кобенцелею в Петербург: «Император в промене Бельгии на Баварию никак не может видеть части вознаграждения, которое он должен получить, ибо по крайней мере сомнительно, чтоб огромная несоразмерность в народонаселении и доходах была вознаграждена выгодами округления, какие представляются со стороны Баварии. В настоящую минуту нерасположение Англии, более чем двусмысленные расположения прусского короля, сопротивление курфюрства Баварского и его наследников не позволяют императору долее останавливаться на проекте, который можно привести в исполнение только силою и который потому возбудит самые сильные жалобы со стороны главных членов империи, доставит недоброжелателям и завистникам Австрии случай оклеветать намерения его величества, отдалит от него все германские дворы и умножит этим настоящие затруднения и невыгоды нашего положения. Император, решившись избегать таких важных неудобств, не может по этому самому согласиться и на секуляризацию и ни на какое приобретение в Германии, ибо этим можно подать опасный пример для жадности Берлинского двора, который им воспользуется, сложив всю вину на нас, и вооружит против Австрии все германские государства. Из этого следует, что в случае, если нельзя будет выполнить наших намерений относительно Франции, императору не останется ничего более, как искать вознаграждения в той же Польше, по примеру дворов Петербургского и Берлинского. Его величество будет принужден, таким образом, прибегнуть к великодушной дружбе своей искренней союзницы, дабы ее величеству императрице благоугодно было наперед согласиться и гарантировать вознаграждение Австрии в Польше в том предположении, если, несмотря на все усилия императора и деятельную помощь, которой он вправе ожидать от союзников, ему нельзя будет получить вознаграждения на счет Франции. Быть может, вашему превосходительству возразят, что Польша будет совершенно уничтожена, если император будет также в ней искать вознаграждения наравне с двумя другими дворами, но я буду иметь честь вам заметить, что в том состоянии, в каком будет находиться Польша вследствие приобретений, уже сделанных на ее счет, когда она будет служить очень недостаточным барьером между пограничными державами, окончательный раздел остающегося не может повлечь за собою очень больших неудобств. Исключая крайнего случая, император вовсе не желает обогащать-

ся на счет Польши; дело идет не о том, чтоб распространять наши владения в Польше, но укрепить, сделать более сносною нашу настоящую границу. Императору желательно было бы получить город Краков: положение Ченстохова, столь грозное для Галиции, необходимо заставляет нас желать этого оборонительного пункта».

В то время как явился третий претендент на владения республики, на ее древнюю столицу, в Гродне не хотели уступать требованиям ни России, ни Пруссии. Король Станислав-Август в речи своей 20 июня объявил сейму, что он приступил к Тарговицкой конфедерации под условием неприкосновенности польских владений, что он никоим образом не будет содействовать уступке польских провинций в надежде, что и сейм будет поступать точно так же. Но Сиверс и прусский посол Бухгольц потребовали, чтобы сейм немедленно выбрал и уполномочил комиссию для переговоров с ними. Король настаивал, чтобы не соглашались на комиссию, а вместо того отправили бы посольства к дружественным дворам с просьбою о посредничестве. Несмотря на то, большинством 107 голосов против 24, было решено выбрать комиссию, но уполномочить и вести переговоры только с Сиверсом, а не с Бухгольцем

Как скоро в Вене получено было известие, что сейм выставил сопротивление требованиям послов русского и прусского, так пошла депеша от Тугута к Кобенцелю в Петербург: «Император обращается с доверенностью к августейшей союзнице, просит ее взвесить в своей мудрости — перемены, происшедшие в расположении сейма, не представляют ли важных побуждений к тому, чтоб не употреблять сильных средств к ускорению раздела, но отложить его до окончания войны. Прежде всего это единственное средство обеспечить более или менее деятельное содействие прусского короля до конца войны с Франциею. Содействие это необходимо ослабнет, если и не прекратится совершенно, с той самой минуты, как он вступит в полное владение польскими областями и не будет более видеть в них будущую награду обещанных усилий для блага общего дела»²²⁴.

Депеша опоздала. 13 июля уже начались в Гродне конференции у Сиверса с сеймовою комиссиею. Угроза, что русский посол сочтет дальнейшую проволочку дела за объявление войны, заставила сейм принять предложенный Россией договор, согласиться на уступку требуемых земель. 11 июля (ст. ст.) договор был подписан. 13 июля Бухгольц потребовал от сейма назначения новой комиссии для переговоров об уступках в пользу Пруссии. Сиверс поддержал требование прусского посла. Несмотря на то, оно было встречено упорным сопротивлением со стороны сейма: воспоминание о поведении Пруссии с 1788 года возбуждало сильную ненависть к недавним великодушным союзникам. Сейм затянул дело. Угроза Бух-

²²⁴ От 12 июля

гольца, что генерал Меллендорф начнет неприятельские действия, не помогла. Сиверс ввел русских солдат в замок, где происходило заседание сейма: комиссия была уполномочена подписать договор об уступке требуемых Пруссией земель, но с условиями: например, чтоб архиепископ-примас жил в Польше, но пользовался доходами от имений, отходящих к Пруссии; что договор об уступке земель не прежде будет подтвержден, как по заключении торгового договора между Польшею и Пруссией. Бухгольц потребовал безусловного подписания договора. Это повело к сильному волнению на сейме. Некоторые депутаты позволили себе резкие выходки против обоих дворов и их представителей. Сиверс велел схватить четверых депутатов²²⁵ и выпроводить из Гродна. Тут-то 23 сентября (н. ст.) последовало знаменитое *немое* заседание, когда депутаты думали, что могут *отмолчать* свои земли. Сиверс велел объявить, что он не выпустит депутатов из залы, пока не заговорят, не выпустит и короля. Пробыла полночь — молчание; пробил три часа утра — молчание. Наконец раздался голос Анквича, депутата краковского. «Молчание есть знак согласия», — сказал он. Сеймовый маршал Белинский обрадовался и три раза повторил вопрос. уполномочивает ли сейм комиссию на безусловное подписание договора с Пруссией? Глубокое молчание. Тогда Белинский объявил, что решение состоялось единогласное. 25 сентября (н. ст.) договор был подписан. С Россией заключен был договор, по которому обе державы взаимно ручались за неприкосновенность своих владений, обязывались подавать друг другу помощь в случае нападения на одну из них, причем главное начальство над войском принадлежало той державе, которая выставит большее число войска; Россия могла во всех нужных случаях вводить свои войска в Польшу; без ведома России Польша не могла заключать союза ни с какою другою державою; без согласия императрицы Польша не может ничего изменить в своем внутреннем устройстве. Число польского войска не должно превышать 15 000 и не должно быть менее 12 000.

Так произошел второй раздел Польши, доказавший прежде всего, что в Польше не было народа, народ молчал, когда шляхетские депутаты волновались в Гродне вследствие требований России и Пруссии. Оказались следствия того, что в продолжение веков народ молчал и шумел только один шляхетский сейм, на нем только раздавались красивые речи. Но такое явление не могло быть продолжительно, и сейм принужден был онеметь, потому что все вокруг было немом. Быть может, некоторые будут поражены этим немым заседанием сейма; быть может, в некоторых возбудится сильное сочувствие к онемевшим депутатам; но разве их не сильнее поражает еще более страшное онемение, онемение целого народа; разве

²²⁵ Краснодарского, Шидловского, Микорского и Скаржинского

они не видят в онемении депутатов последнего сейма только необходимое следствие онемения целого народа?

В то время, когда Россия и Пруссия вознаграждали себя на счет Польши, Австрия и Англия стремились вознаградить себя на счет Франции. Теперь Пруссия уже бьет тревогу и вызывает к императрице Русской, чтоб она не позволяла Австрии слишком усилиться. В конце августа в главную квартиру прусского короля явился граф Лербах с тайным поручением от императора Франца. Лербах объявил уже известное нам, именно — что промен Бельгии на Баварию труден по сопротивлению родственников Палатинского дома и по сопротивлению Англии; императору, следовательно, остается вознаградить себя на счет Франции, а в таком случае Эльзас и Лотарингия больше всего ему пригодны и завоевать их всего легче. Лербах требовал, чтобы прусский король обязался вести войну с Францией до тех пор, пока Австрия не получит это вознаграждение. Фридрих-Вильгельм отказал Лербаху и отправил жалобу в Петербург: «Ее императорское величество, руководясь чувством дружбы, нас соединяющей, отдаст мне справедливость, что я сделал гораздо больше, чем сколько обязался сделать, и что, при всем моем желании, я не могу продолжать на свой счет войны, которой я принес в жертву, в продолжении двух разорительных кампаний, мою казну и кровь моих подданных. Австрия отказалась приступить к петербургской конвенции (о вознаграждении России и Пруссии на счет Польши) и до сих пор даром пользовалась моею помощью, а теперь отвращается от настоящей цели войны и имеет только в виду завоевание французских областей, и мы не знаем еще, где будет положен предел этим завоеваниям. Нельзя поверить, чтобы граф Лербах, назвавши мне Эльзас и Лотарингию, исчерпал этим притязания своего двора; без сомнения, сюда присоединится еще Французская Фландрия, которая уже завоевана отчасти. Англия также питает завоевательные замыслы против своей старинной соперницы, и я взываю к просвещенной политике ее императорского величества: следует ли мне, к моему собственному ущербу, содействовать обширным замыслам этих обоих государств? И разве это будет большая требовательность с моей стороны, если я у них попрошу денежных пособий на издержки третьей кампании, от которой они получают главные выгоды»²²⁶.

Денежные пособия, которых Фридрих-Вильгельм II требовал у союзников, простирались до 22 миллионов; из них 9 должна была заплатить Англия, 3 — Австрия, остальные 10 должны быть распределены между членами Германской империи; но так как в последних вдруг собрать такой суммы нельзя, то пусть Австрия и Англия заплатят и эти 10 миллионов, а потом уже сами веляются с германскими владетелями. Прусский король объявил, что если

²²⁶ Депеша Гольцу 25 октября 1793

ему не заплатят этих 22 миллионов, то он по необходимости должен будет отказаться от главной роли в войне и ограничиться поданием той помощи, которую он обязан давать Австрии в ее качестве главной державы, подвергшейся нападению, независимо от прусского участка в имперской армии ²²⁷.

Венский двор в свою очередь приходил в ужас от поведения Пруссии и обращался в Петербург с горькими жалобами на «ненавистные процедуры нечестной политики Берлинского двора» ²²⁸. В Петербурге следили успокоить Вену по крайней мере относительно Польши — объявили, что у России с Польшей будет вечный союз, который исключит всякое влияние прусского двора на польское правительство. Чтобы обеспечить Польшу от дальнейших замыслов Пруссии, республика будет приглашена укрепить многие города, в том числе Краков и другие, на которые укажет Австрия как на необходимое прикрытие галицийской границы от враждебных движений Пруссии; мало того, Австрии дано будет право держать в этих крепостях гарнизоны. Россия обещала все это сделать для Австрии, лишь бы только император не настаивал на свое право — в крайнем случае искать вознаграждения в Польше; чтобы отказался от своего проекта овладеть Краковом и распространить свои владения на счет Польши.

Все эти предложения из Петербурга нисколько не могли уменьшить в Вене страшной тоски по вознаграждениям. Тугут писал Кобенцелю: «Мы знаем очень хорошо, что неизбежным следствием союза между Россией и Польшею будет неограниченное влияние первой на вторую, благодаря которому Польша превратится почти в провинцию Российской империи. Но так как император вполне уверен в чувствах императрицы и знает, что взаимные интересы обеих империй не допускают зависти относительно выгод, получаемых тою или другою из них, то послу русскому в Вене графу Разумовскому дан был самый удовлетворительный ответ насчет союза России с Польшею. Что касается двух других пунктов, то я представил графу Разумовскому, что его величество может отказаться от права в крайнем случае искать вознаграждения в Польше только при уверенности, что его августейшая союзница укажет ему на другое вознаграждение и обяжется облегчить ему его приобретение всеми своими силами и средствами» ²²⁹.

С началом 1794 года все более и более усиливались жалобы Австрии на Пруссию за ее требование пособий во Французской войне деньгами и натурою. 27 февраля Тугут писал Кобенцелю: «Император смеет ожидать с доверенностью от дружбы, великодушия и справедливости своей августейшей союзницы, что она благово-

²²⁷ Денеша Гольцу 15 ноября

²²⁸ Тугут Кобенцелю 18 декабря

²²⁹ 18 декабря

лит неотлагательно воспользоваться своим первенствующим положением и употребит самые действительные средства для предупреждения и сдержки дальнейших неправд отвратительной политики Берлинского двора». Россия платила Австрии ежегодно по 400 000 рублей на военные издержки, но в марте 1794 года Венский двор кроме этого пособия стал просить еще корпуса русских войск для прямого действия против французов²³⁰. На этот раз войска нельзя было отправить против французов: войско опять стало нужно — в Польше.

ГЛАВА XII

После печального конца майской конституции у ее приверженцев, как выехавших за границу, так и оставшихся в Варшаве, было одно средство действовать в пользу проигранного дела: составлять заговоры, возбуждать неудовольствие и дожидаться удобного случая для поднятия восстания. В Варшаве главным деятелем был генерал Дзялынский, но для успеха дела ему нужны были союзники в других сословиях, и он обратил внимание на самого видного человека между купцами, Капостаса. Капостас был родом из Венгрии²³¹; в 1780 году переехал в Варшаву, служил сначала у купца Баугофера, а в 1785 году завел сам банкирскую контору в товариществе с Мазингом. Начались преобразовательные движения; Капостас был уже купеческим старшиною и ратманом в магистрате; он составил проект банка, напечатал и представил в 1790 году сейму, за что возведен был в шляхетство.

Когда в 1793 году в исходе мая или начале июня Капостас пришел к Дзялынскому для сведения торговых счетов, то Дзялынский начал говорить ему: «Ко мне ежедневно стекаются военные и гражданские чиновники, мещане — все хотят революции, хотят видеть Польшу независимую и завоевать недавно потерянные земли». «Об этом деле надобно подумать и подумать, — отвечал Капостас, — нетрудно начать, но как кончить? Чтоб не было хуже!» «Я говорил то же самое многим, — сказал на это Дзялынский, — но мне возражают, что хуже настоящего положения быть не может, потому что если мы и будем побеждены, то можно ожидать только общего раздела всего государства; но не лучше ли быть под какою-нибудь чужою державою, нежели под нынешним нашим правлением?» Тут же Дзялынский познакомил Капостаса с людьми, принимавшими деятельное участие в движении. Для заговорщиков было важно привлечь на свою сторону Закржевского, человека очень видного, поборника конституции 3 мая и бывшего муниципальным прези-

²³⁰ Тугут Кобенцелю 13 марта 1794

²³¹ Собственные показания Капостаса генерал прокурору Самойлову в Петербурге (неизданные)

дентом в Варшаве до отмены конституции 3 мая. Дзялынский и Капостас спрашивали у Закржевского, не хочет ли он с ними соединиться и подкрепить предприятие советами и деньгами; Закржевский не согласился из любви к жене и детям. Он обещал только хранить все в тайне, прибавив: «Если вы делаете что-нибудь благоразумное, то после явного начатия дела пожертвую собою благу отечества». Главными заправителями дела стали теперь Дзялынский, Капостас, Сцис, Павликовский, Ельский и Алое. Они решили начинать дело не прежде, как удостоверятся: во 1) как расположено общество в других городах; 2) как расположены военные в провинциях — в Варшаве же заговорщики могли вполне положиться на войско, потому что офицеры были главными деятелями в распространении революционного духа; 3) имеет ли все государство доверенность к Косцюшке; 4) примет ли Косцюшко на себя опасное звание предводителя восстания; 5) могут ли заговорщики положиться хотя на тайную помощь Австрии, по крайней мере на дружественный нейтралитет, чтобы из австрийских областей получить все нужное для войны; 6) начнет ли Турция или Швеция войну против России и Пруссии; 7) нельзя ли получить от Франции взаймы денег; 8) нельзя ли начать везде вдруг, обезоружить войска русские и прусские ²³².

Дзялынский, Ельский и Капостас собрали деньги и отправили на них двоих эмиссаров: одного — в Краков с областью, другого — в Литву и Вильну испытывать расположение тамошних жителей. Два дня спустя по отправлении эмиссаров Капостас пришел к Дзялынскому и застал у него бригадира Мадалинского с подполковником Петровским, они объявили, что в краковском корпусе, состоявшем из 13 000 человек, заключена уже конфедерация, чтобы освободить Польшу и не допустить до уменьшения ее войск. Мадалинский за тем и приехал в Варшаву, чтобы присоединить к конфедерации варшавский гарнизон и мещанство. Дзялынский и Капостас уговорили его оставить это намерение и приступить к их плану, то есть чтобы выбрать Косцюшку начальником восстания. Через две недели после этого пришли известия от эмиссаров из Кракова и Литвы, также из Великой Польши, что там все готово к восстанию. Тогда варшавские заговорщики отправили двоих нарочных к Косцюшке, Игнатию Потоцкому и Коллонтаю, которые жили в Лейпциге.

Косцюшко ²³³ после приступления короля к Тарговицкой кон-

²³² Тут Капостас прибавляет «А после намеревались мы отправить немедленно в Петербург курьера с поручением, что если ее в ство позволит нам восстановить конституцию 3 мая и востребовать от Пруссии земли вооруженною рукою, то мы уступим ей в Украине и Подолии такую часть, какую она при знает нужною для сообщения с пределами турецкими, да наследство Польского престола отдали бы одному из Российских принцев»

²³³ Собственные его показания в Петербурге (неизданные)

федерации оставил службу и сначала жил в Варшаве, потом поехал во Львов, чтоб удостовериться, правда ли, что все говорили и писали в газетах, будто госпожа Косаковская подарила ему имение с 20 000 флоринов дохода. Косцюшко был у нее, и она лично подтвердила ему это известие. Косцюшко отказался от подарка, хотя был беден. При выходе в отставку у него было только 1000 червонных; потом две дамы дали ему около 1000 червонных. Публика женила его тогда разом на пяти женщинах, хотя он ухаживал за одною — вдовою Потоцкого с целью жениться, но дело не сладилось. Когда на возвратном пути из Львова Косцюшко был в Замостье, является к нему австрийский офицер с приказанием от своего правительства оставить австрийские владения, и в то же время Косцюшко получает анонимное письмо из Варшавы с предостережением, чтобы не возвращался в Польшу, потому что русские войска получили приказание его схватить. Это письмо заставило Косцюшко пролить много слез, по его собственному признанию. Он в ту же ночь оставил Замосц и отправился в Лейпциг, где напел Игнатия Потоцкого, Коллонтая, Забелло, Вейсенгофа и других эмигрантов. Получая известия о событиях 93 года в Польше, они придумывали средства, как бы помочь беде. Сначала решили обратиться к венскому двору, и Потоцкий написал поздравительное письмо к Тугуту со вступлением в министерство, но не получил никакого ответа. Потом придумали послать кого-нибудь во Францию с просьбою о помощи; выбор пал на Косцюшку, и он отправился.

Приехавши в Париж, он обратился к министру Леброну, но тот отпотчевал его неопределенными и неверными обещаниями денежного пособия и помощи со стороны турок. Косцюшко возвратился ни с чем опять в Лейпциг. Тут-то явились к нему посланцы от Варшавского комитета с просьбою принять начальство над войском, которого более 20 000. Посланцы объявили, что Варшава хочет непременно свергнуть невыносимое иго; что неудовольствие растет в стране день ото дня; что решились защищать варшавский арсенал, который русские хотят непременно взять, и надобно бояться, чтобы дело уже не началось в Варшаве. Косцюшко отвечал, что единственное желание его — сражаться за отечество и что если десять человек согласны, то он охотно пойдет в одиннадцатые, но прибавил, что Варшава не Польша: если варшавяне начнут — тем хуже для них, но если они хотят действительно предпринять защиту отечества, то должны снестись с жителями и войсками во всей Польше и запастись средствами для борьбы. Несколько недель спустя Ельский с другим товарищем приехали опять от того же Варшавского комитета с просьбою, чтобы Косцюшко из любви к отечеству приехал бы по крайней мере в Краков, потому что все в страшном отчаянии, что пришел указ уменьшить войска, хотят взять арсенал и все хотят защищать его при малейшем движении русских войск. Косцюшко отвечал, что арсенал — пустяки в сравнении с

Польшею, и дал Ельскому инструкцию с бланкетами для генералов в воеводствах, чтобы они набирали людей, доставали оружие, припасы, деньги, платье; в назначенное время генералы должны были прислать ему подробное донесение обо всем. В Лейпциге после этого нашли опять нужным отправить Барща во Францию — представить тамошнему правительству, что отчаяние заставляет поляков взяться за оружие и просить денег. Через несколько недель Косцюшко явился в окрестностях Кракова, где имел свидание с генералом Водзицким и бригадиром Монжетом, и, видя, что ничего еще не сделано по его инструкциям, и найдя очень немного из обещанных донесений, уехал в Рим, оставя письма к генералам, в которых уверял, что всегда будет с ними для защиты отечества.

Между тем в Польше все сильнее и сильнее волновались военные слухом об уменьшении армии; чтобы предупредить эту меру, они торопили восстание, приезжали в Варшаву к Дзялыньскому и требовали, чтобы до прибытия Косцюшки он сделался начальником восстания, угрожая смертью, если не согласится. То же делали офицеры краковского корпуса с Мадалинским. Дзялыньский и Капостас всеми силами старались отсрочить вспышку и единственно для успокоения горячих голов отправили Ельского и Горзковского в октябре 1793 года в Италию отыскать Косцюшко и привезти его переодетого, если не в Варшаву, так в Краков. Посланные возвратились только в январе 1794 года и объявили, что нашли Косцюшку в Риме, откуда он поехал в Дрезден, велевши сказать в Варшаве, что дело еще не готово, что нет надежды на денежное пособие и вообще на иностранные дворы и что надобно отложить революцию до будущей весны. Ответ этот не понравился офицерам, которых распалил еще больше Ясинский, полковник литовской артиллерии, приехавший делегатом литовских войск из Вильны с объявлением, что все там готовы. Дзялыньский и Капостас послали просить Косцюшку, чтобы он в начале февраля приехал в Галицию для переговоров с ними, потому что они ехали во Львов на контракты.

Горячие головы ²³⁴ несколько успокоились, Ясинский уехал в Вильну. Дзялыньский и Капостас в начале февраля приехали во Львов, но о Косцюшке не было никакого слуху. Капостас возвратился в Варшаву, Дзялыньский — в свои деревни. Между тем выдан был декрет Постоянного совета об уменьшении польской армии в исходе февраля и начале марта. Горячие головы опять взволновались, хотели поднять возмущение немедленно — начались конференции, составлялись военные планы. Капостас настоял отправить еще раз к Косцюшке, и послали Прозора, Литовского обозного, и священника Дмуховского. 25 февраля назначена была конференция у камергера Венгерского; собралось человек более 70; тут же

²³⁴ Я употребляю выражение Капостаса. Весь этот рассказ в точности составлен по соединенным показаниям Косцюшки и Капостаса

уже не говорили, начинать ли без Косцюшки или нет, но начинать ли чрез два дня или нет. Капостас начал говорить, чтобы предприятие было отложено на 5 или на 6 дней до получения ответа от Косцюшки. Но тут артиллерийский капитан Миллер выхватил шпагу и, замахнувшись на Капостаса, закричал: «Я вижу, что ты изменник; ты нарочно к нам присоединился, чтоб мешать нам и средства к спасению государства отдать в руки врагов, потому что где будут через пять или шесть дней храбрые воины и оружие наше, когда уже сегодня начинают уменьшать число их! Лучше умереть с оружием в руках, ибо странно предположить, чтоб враги не знали о наших движениях. Они нарочно притворяются для того, чтоб после уменьшения армии тем удобнее перехватить нас одного за другим». «Гораздо лучше умереть тысяче, чем несколькими стам тысяч людей вследствие нашего безрассудного предприятия», — отвечал Капостас. Собрание успокоилось, все разошлись, но на другой же день все было узнано.

Полномочным послом императрицы в Варшаве был в это время генерал Игельстром, человек, давно знакомый с Польшею, бывший в Варшаве еще при Репнине и отличавшийся точным исполнением приказов. Но, как часто бывает, верный исполнитель чужих приказаний, Игельстром оказался не совсем состоятельным, когда пришлось самому быть главным распорядителем; оказалось также, что Игельстром, несмотря на давнее пребывание свое в Польше, не совершенно изучил поляков. Между жителями Варшавы поднялся сильный ропот вследствие помещения русских войск, и особенно офицеров: благодаря распоряжению польских чиновников, о котором мы уже имеем понятие по донесениям Булгакова в 1792 году, вознаграждение за квартиры получали только избранные по разным отношениям, бедные должны были держать постояльцев даром, тратить большие деньги на отопление в зимнее время, притом же квартиры вздорожали, что было тяжело для бедных людей, не имеющих своих домов. Игельстром, слыша жалобы и желая сделать облегчение городу, вывел часть русских войск из Варшавы, но ропот не уменьшился, только уменьшились средства против заговорщиков²³⁵, что придавало духа последним, и мы видели, как начались многочисленные сборища. Сборище 25 февраля, однако, не могло утаиться от Игельстрема. На другой день он распорядился, чтобы за всеми приезжающими из-за границы был строгий надзор с целью отыскать между ними Косцюшку; также был отдан приказ схватить Венгерского, Капостаса и других подозрительных лиц. Венгерского и Серпинского схватили; они указали, как ходил слух²³⁶, начальниками предприятия — двоих Потоцких, Игнатия и

²³⁵ Записки генерала Пистора в Pamiętniki z 18 wieku I, 16

²³⁶ Seux-ci ont nomme, dit-on (говорят, что они указали — *Примеч ред*) Так выражается король Станислав-Август в своих записках (неизданных)

Станислава, Коллонтая, Малаховского, Сапегу, Косцюшко и других. Дзялынского отправили в Киев. Но Капостас был предуведомлен 28 февраля: он переночевал следующую ночь в чужом доме, зашел на другой день поутру домой, чтобы взять денег и спрятаться в предместье — Праге; здесь он получил ответ от Косцюшко: «Дождаться; уменьшение войска не так вредно, как преждевременное начатие революции». После этого Капостасу нельзя было долее оставаться в Праге; 15 марта он выехал оттуда через Краков в Кальварию, в Галиции.

Между тем Игельстром, обеспокоенный варшавскими заговорами, дал знать о них в Петербург и просил увеличить его войско. Екатерина не любила этих просьб: она думала, что *количество* — дело последнее, что без него можно легко обойтись, когда есть хорошие *качества*, и потому отвечала Игельstromу от 30 марта: «Примеченное вами дурное расположение умов и в самой Варшаве по справедливости возбуждает заботу и попечение ваши. Но казалось бы, на ускромление и удержание их в должных пределах при твердости довольно было и тех сил, кои вы поныне в вашем распоряжении в окружностях сей столицы имели. От умножения оных можно опасаться различных неудобностей, а между прочим того, чтоб не обнажить во все и других важных мест, не затруднить пропитание и притом излишними предосторожностями не придать злонамеренным отваги и наглости и не дать им более уважения, чем достойны они, а тем самым и ускорить произведением в действо враждебных их замыслов. Вы из опытов знаете, что мы почти всегда не столько числом, сколько мужеством и храбростию войск наших побеждали и покоряли наших врагов, почему и почитаем, что найдете достаточным число войск наших ныне до 10 000 в окружностях Варшавы и в ней самой простирающееся к удержанию тишины и повиновения, тем более что, не взирая на уверение гетмана Косаковского, нужно вам самим на Литву обращать все внимание и не выводить более из нее войск. Повелеваем вам употреблять все деятельные способы, в руках ваших находящиеся, к усмирению волнения, наблюдая строго поступки людей подозрительных, захватывая под стражу всех тех, которые нескромностию речей или поведения изобличатся в худых намерениях, и предавая иных сеймовому суду, а других удаляя из города в такие места, где их злые умыслы могли бы остаться без действия. Все сии деяния можете вы оправдывать силою и разумом самого союзного нашего трактата с республикою польскою, которым препоручаются нам попечения о предохранении внутренней и внешней ее безопасности».

Мы видели, что главное побуждение к революционному движению заключалось в уменьшении войска. Эту меру должно было привести в исполнение к 15 марта. Но как это делалось? Полк Дзялынского, находившийся в Варшаве, отпустил только 16 человек, объявив Игельstromу, что это весь лишек против числа, определен-

ного Гродненским сеймом²³⁷. Бригада Мадалинского, стоявшая между Бугом и Наревом, собравши свои эскадроны под Остроленкою, прямо объявила, что не допустит до сокращения своих кадр. Игельстром немедленно отправил против нее отряд войска под начальством Багреева; узнав об этом, Мадалинский решился на отчаянное предприятие: вдоль прусских границ пробраться в Галицию и там со всею бригадою вступить в австрийскую службу. Багреев не мог догнать Мадалинского, который из Млавы перешел прусскую границу и, гоня перед собою малые отряды прусских гусар, составлявших пограничную стражу, переправился чрез Вислу у Вышеграда, в 7 милях от Варшавы; отсюда пошел двумя дорогами: один отряд направился чрез Южную Пруссию, другой — варшавским округом до Иновлодза, где, перешедши Пилицу, направил путь чрез Сендомирское воеводство к Кракову. Игельстром отправил за ним войско под начальством генерала Тормасова.

Между тем Косцюшко получил известие в Дрездене, что многие заговорщики схвачены в Варшаве, что жители ее через два или три дня непременно возьмутся за оружие. Чрез несколько времени пришло верное известие, что Мадалинский начал восстание. Косцюшко рассердился на эту поспешность, но делать было нечего, выехал из Дрездена с Зайончеком, братом Коллонтая и Дмуховским. Приехавши в Краков, он нашел там уже много людей, которые его ждали, и провозгласил восстание 24 марта (н.с.). В это самое время явился в Краков и Капостас, потому что хозяин дома, где он жил в Кальварии, не хотел держать его более трех дней. Косцюшко сначала встретил Капостаса очень холодно, упрекал, зачем оставил Варшаву, и не хотел слушать оправданий, но потом смягчился, когда Капостас купил на свой счет 5000 кос и подарил их революционному войску. Соединившись с Мадалинским и набравши толпы повстанцев, вооружив крестьян косами, топорами и пиками, Косцюшко выступил из Кракова; 24 марта (4 апреля) под деревнею Рацлавицами встретил отряд генерала Тормасова и сломил его, пользуясь перевесом своих сил и невыгодою положения русских²³⁸.

Это дело, ничтожное само по себе, имело важное значение как первый удачный шаг начальника восстания, особенно в таком впечатлительном, увлекающемся народе, как поляки. Еще как только Косцюшко провозгласил восстание в Кракове, варшавские заговорщики начали сильно волноваться: на углах улиц стали появляться афишки, призывавшие народ к соединению с Косцюшкою; в театрах возбуждали патриотизм пиесами, приуроченными к настоящему положению; наконец, стали поднимать чернь частыми пожарами и всполохами. Известие о поражении Тормасова еще более

²³⁷ Пистор С 15

²³⁸ Пистор С 25

усилило революционное движение. Ни одному из русских не позволялось входить в арсенал, а между тем все знали, что там день и ночь работают, льют пули и ядра и готовят все нужное для артиллерии. Генерал-квартирмейстер Пистор предложил Игельстрому захватить арсенал, окружить ночью и побрать в плен полк Дзялынского и баталион канонерский, отличающиеся революционным духом. «Как можно,— отвечал Игельстром.— А союзный трактат с Польшею! Восстание начинает не республика, а только некоторые лица; правительство республики высказалось против Косцюшки в своем манифесте; взять арсенал — значит начать неприятельские действия против республики; шаг этот будет сигналом к восстанию целого города». Игельстром полагался на великого гетмана коронного Ожаровского, который головою ручался за верность гарнизона; Ожаровский смотрел на все глазами варшавского коменданта Циховского, а Циховский принадлежал к числу заговорщиков.

Между тем вторжение Мадалинского в прусские границы встревожило пруссаков; войска их начали стягиваться и приближаться к Варшаве, сносясь с Игельстромом насчет совокупного действия против Косцюшки. Это испугало варшавян; магистрат прислал к Игельстрому с просьбою, чтобы не позволял прусским войскам входить в город и размещаться по квартирам. Генерал обещал исполнить просьбу магистрата с условием, если варшавяне будут вести себя спокойно, в противном случае пруссаки войдут в город. Магистрат дал торжественное обещание, что он с добрыми гражданами будет противиться изо всех сил затеям головорезов. Не менее варшавян испугалось движения прусских войск австрийское правительство. Тугут, объявляя петербургскому двору²³⁹ об отъезде императора Франца в Бельгию, просил, чтобы русское правительство «наблюдало и сдерживало своими войсками вредные проекты, которыми может заняться беспокойная политика двора, равно опасного для обеих империй». Известие о некоторых оскорблениях, какие позволил себе Мадалинский, проходя вдоль новых границ прусских, едва достигло Берлина, как сейчас же был отдан приказ двинуть войска в Польшу; а между тем при дворе и в городе не скрывали радости, что это событие должно повести к разделу остальной Польши, ибо надобно положить конец правительству слабому, неспособному обеспечить спокойствие своих соседей. «Мы постоянно надеемся,— писал Тугут,— что храбрость русских войск скоро потушит смуту, возбужденную безрассудною дерзостью нескольких искателей приключений; мы надеемся также, что барон Игельстром, оправившись от первого впечатления внезапного взрыва, увидит, что собственных его сил очень достаточно для уничтожения нестройных банд и вовсе не нужно прибегать к помощи

²³⁹ Тугут Кобенцелю 10 апреля 1794

прусских войск». Тугут удивляется, что Игельстром согласился на вступление прусских войск в Польшу.

К несчастью, Игельстром не успел еще оправиться от впечатления, произведенного первым внезапным взрывом, как последовал другой. Игельстром церемонился, не хотел захватывать арсенала и войск, зараженных революционным духом, уважая права союзного государства. Но заговорщики не церемонились, разглашая, что русские намерены захватить арсенал и в наступающее Светлое Воскресенье произвести всеобщую резню в Варшаве, в которой пруссаки примут ревностное участие, что, следовательно, надобно предупредить врагов восстанием. Главными подстрекателями были военные; но они знали, что без мещан и черни ничего не сделают. Капостас ушел, и потому заговорщики обратились к другому богатому мещанину, также ратману магистрата.

В 1780 году приехал из Познани в Варшаву башмачник Ян Килинский. Молодой, ловкий, красивый, красноречивый, Килинский в короткое время приобрел большую известность у варшавских дам, сделался модным башмачником, купил два каменных дома, стал членом магистрата. Будучи самым видным человеком в цехе сапожников, многочисленном из варшавских цехов, Килинский мог оказать восстанию самую деятельную помощь; ксендз Меиер свел его с офицерами-заговорщиками, но первое братское целование с ними дорого стоило Килинскому.

О сборище донесли Игельstromу, на другой же день явился от него офицер к Килинскому и пригласил его к генералу. Килинский захватил с собою кинжал, чтобы заколоть Игельstromа и себя, если бы генерал велел засадить его в тюрьму, но он сам признается, что, когда вошел в дом, занимаемый генералом, ноги у него задрожали от великого страха²⁴⁰. Игельstrom начал его распекать: «Ах ты, бестия, бунтовщик, шельма, изменник, каналья, вор! Вот я тебя велю повесить!» Кончивши распекание, Игельstrom обратился к нему с вопросом: «Что ж ты, дурак, думаешь?» «Не знаю, за что изволите гневаться, — отвечал Килинский, — до сих пор не слышу о моем преступлении». Игельstrom пошел в кабинет и вынес рапорт, где было подробно описано вчерашнее свидание Килинского с заговорщиками. Опять у Килинского задрожали ноги и волосы встали на голове, когда генерал стал читать ему рапорт. Как быть — запереться нельзя; нельзя ли обмануть и вывернуться от беды? «Ясновероятный добродей! — отвечал Килинский — Я стою перед тобою виноватым, это правда; но кто же тому причиною, как не сам пан? У вашей милости на днях был наш президент магистратский, и вы его просили, чтоб нас, всех ратманов, от вашего имени просил наблюдать в кофейных, погребках и бильярдных, что толкуют о бунте, и доносить президенту, который будет доно-

²⁴⁰ Записка Килинского в Pamiętniki z 18 wieku I, 177

сить вам либо сам арестовывать виновных. Президент нас обо всем этом просил вашим именем, и я старался отыскивать людей, толкующих о бунте, и вчера нашел их; когда я к ним вошел, то они стали и меня уговаривать к бунту, но мне что же было им другое говорить, как только поддакивать, ибо иначе я бы ничего от них не узнал; вот я им и начал говорить все, что у вас там написано в донесении; а если б я им сказал, что не хочу быть с ними заодно, то они бы меня сейчас же вытолкали, а может, и убили где-нибудь в закулке. Я уж обо всем начал у себя писать, чтоб донести президенту, а всех офицеров-заговорщиков позвать к себе, и как бы только они ко мне пришли, то я послал бы за полицию и всех их перехватал».

Игельстром всему поверил, начал просить извинения у почтенного гражданина, что так с ним сначала обошелся, велел принести вина и потчевал Килинского, а Килинский, возвратившись с торжеством домой начал всеми силами хлопотать, как бы привлечь к заговору побольше ремесленников, только действовал осторожно.

Днем восстания назначен был четверг Страстной недели, 6 (17) апреля. Ночью было все спокойно на улицах, и, чем ближе было к взрыву, тем менее можно было ожидать его. Килинский раздавал деньги черни, роздал 6000 злотых²⁴¹. Между войском разгласили, что русские в эту ночь овладеют арсеналом и пороховым магазином²⁴². В 4 часа утра послышалось какое-то движение в арсенале, потом отряд конной гвардии выехал из своих казарм и ударил на русский пикет, который стоял с двумя пушками между казармами и железными воротами Саксонского сада. Пикет выстрелил два раза из пушек и отступил пред многочисленнейшим неприятелем. Отряд, подрубивши колеса у пушек, возвратился в казармы, вслед за тем выехала вся конная гвардия: два эскадрона направились к арсеналу, два — к пороховому магазину. Из арсенала даны были сигнальные выстрелы. Генерал Циховский послал приказ полку Дзялынского выступать, а сам из окна кричал народу: «К оружию! К оружию!» С разных сторон стремились к арсеналу войска: скарбовая милиция, народова кавалерия. В арсенале раздавали палаша и ружья всякому, кто только хотел брать; лучшие мещане сидели спокойно по домам, заперши двери; главное участие в восстании принимали ремесленники, лакеи, извозчики. Где только завидят русского — хватают, бьют, умерщвляют, офицеров забирают в плен, денщиков по большей части убивают.

Генерал Игельстром, услышав о возмущении, приказал генерал-поручику Апраксину расставить все отряды русского войска на определенных заранее местах. Главное нападение повстанцев было на квартиру Игельстрома: на Медовой улице. Несколько раз с разных концов напирала толпа и всякий раз была отражаема русскими

²⁴¹ Показания Деболи (неизданные)

²⁴² Записки короля С. А. Понятовского (неизданные)

войсками. Что же делалось в это время во дворце? Короля разбудили в 5 часов: к нему приехал маршал Постоянного совета граф Анквич с известием, что от его дома снят почетный караул; вслед за Анквичем приехали во дворец великий маршал Мошинский и великий гетман Ожаровский, которые не знали, что значит эта суматоха в городе. Король сначала посылает за своею конною гвардиею и за уланами, чтобы ехали немедленно ко дворцу, но их уже и след простыл: они отправились к арсеналу и пороховому магазину. Король сошел вниз, на дворцовый двор, чтобы увериться, тут ли по крайней мере обычные караулы, и запретил им двигаться с места; потом вышел в сопровождении пяти или шести человек посмотреть, что делается на улице, и видит, что вооруженные толпы куда-то бегут. Минут десять спустя раздается шум сзади, король оборачивается гвардейцы, которые сейчас дали ему слово не трогаться с места, бегут. Король идет к ним навстречу, кричит, машет рукою; солдаты останавливаются; молодой офицер подходит к королю и с клятвами в верности к его величеству объявляет, что они должны идти туда, куда зовет их честь. «Честь и обязанность повелевают вам быть подле меня», — отвечает король. Но в это самое время слышится выстрел в той стороне, где живет Игельстром, и гвардия бросается туда, так что король едва не был сбит с ног; во дворце не остается ни одного караульного. Час спустя является магистрат с объявлением, что он потерял всякую власть над мещанами, которые разломали оружейные лавки, вооружились и бегут на соединение с войсками. Тут король посылает своего брата к генералу Игельstromу с предложением выйти из города с русскими войсками, чтобы ему, королю, можно было успокоить город, ибо народ и солдаты кричат, что без этого они не перестанут драться. Игельстром отвечает, что принимает предложение. Подождавши час и видя, что Игельстром не трогается и стрельба не перестает, король посылает к Игельstromу старого генерала Бышевского с прежним предложением. Игельстром хотел сначала сам ехать к королю, но когда Бышевский представил ему, что он рискует подвергнуться большим опасностям со стороны народа, то Игельстром посылает племянника своего для переговоров с королем.

Вместе с молодым Игельstromом едут Бышевский и Мокрановский с целью защищать его от народа, но разъяренные толпы кидаются на Игельstromа и умерщвляют его; Бышевский, хотевший защитить его, сам тяжело ранен в голову; Мокрановский, как видно, не употреблял больших усилий к защите и потому остался цел и невредим. Станислав-Август затеял все эти переговоры и приказывал известить Игельstromа о расположении войска и народа, вовсе не зная этого расположения. Только когда убили молодого Игельstromа, король вышел на балкон и стал говорить народу, что надобно выпустить Игельstromа с войском из города. Народ закричал, что русские могут выйти, положивши оружие. Король отвечал, что

русские никогда на это не согласятся; тогда в толпе раздались оскорбительные для короля крики, и он должен был прекратить разговор. В десять часов привели к королю тамбурмажора, который отличился тем, что овладел русской пушкой. Станислав-Август не счел приличным с ним объясняться и велел ему выйти из комнаты; но тут же в виду короля и в его комнатах собрали большую подписку для тамбурмажора²⁴³. Между тем завязался сильный бой на улице Свентокржыской, где генерал Милашевич и полковник князь Гагарин удерживали полк Дзялынского, находившийся под начальством полковника Гаумана. Здесь поляки сначала хотели действовать обманом: от Гаумана явился к Милашевичу офицер с уверениями, что дзялынды не имеют никакого враждебного намерения, а идут по королевскому приказу в замок, чтобы заодно с русскими действовать против повстанцев; но Милашевич не вдался в обман, потому что имел от Игельстрома точное приказание не пропускать полка Дзялынского.

После приехал к Милашевичу генерал Мокрановский с требованием от королевского имени, чтобы пропустил полк Дзялынского, который должен действовать заодно с русскими против мятежников, но Милашевич вместо ответа показал ему приказ Игельстрома. Еще в третий раз дзялынды потребовали пропуска и, получивши опять отказ, начали стрелять картечами. Долго Милашевич и Гагарин с успехом отбивались от неприятеля; но, истративши боевые запасы и терпя сильный урон от стрельбы из окон домов, отступили на Саксонскую площадь. При этом отступлении оба генерала были тяжело ранены, отнесены в ближайшие дома, и здесь Милашевич был взят в плен, а князь Гагарин умерщвлен чернью. Это несчастье имело решительное действие. И без того русские войска находились в самом печальном положении. Русские солдаты привыкли действовать в чистом поле, брать города; а теперь они были застигнуты мятежом в тесных улицах большого города, где на каждом шагу засада, где стреляют из окон домов. До чего могло доводить это движение по закоулкам — доказательством служит, что один русский батальон, шедший для соединения с своими, встретил их, принял за поляков и так попотчевал пушечными ядрами, что те должны были рвануться в сторону. Батальоны, расположенные поодиночке в разных местах, были предоставлены самим себе, не могли стягиваться для общего дела, ибо не было общего направления, не было общего начальника, сообщения были прерваны, адъютанты не могли скакать с приказами: их били повстанцы. Сыскался один герой-медик Лебедев, который взялся передавать приказания, продираясь между рядами повстанцев; но одного Лебедева было мало, притом же ему плохо верили, не зная, кто его уполномочил!

²⁴³ Записки короля, показания Деболи

После этого нечему удивляться, что большая часть русских войск, стянувшихся под начальством генерала Новицкого, ушла из Варшавы, не зная, что делается у квартиры Игельстрома, представляя своего главного начальника собственной его судьбе. При соображении всех обстоятельств нельзя, как нам кажется, много толковать о том, что русского войска было достаточно для подавления мятежа ²⁴⁴, потому что польских войск было не более 1200 человек и столько же повстанцев из народа: число при известных местных условиях теряет свое значение — надобно принимать в соображение главное, какой вред могла наносить небольшая толпа повстанцев при благоприятных им местных условиях и какое впечатление эта возможность должна была производить на русских.

Говорят ²⁴⁵, что надобно было руководствоваться обстоятельствами, а не предписаниями. Но нельзя требовать от каждого батальонного начальника суворовской гениальности и вместе смелости взять на себя ответственность. Главнокомандующий знал, что готовится восстание, но не знал дня, когда оно должно вспыхнуть. Войска не были приготовлены; офицерам и солдатам в голову не приходило, что могло случиться что-нибудь подобное. Одному батальону была очередь говеть на Страстной неделе, и в Великий четверг, в день восстания, он находился в церкви для приобщения Св. Таин; здесь он был окружен повстанцами, перерезан или разорван в плен.

Но обратимся к генералу Игельстрому, который отбивался у своей квартиры на Медовой улице. В первый день отбиты были все нападения повстанцев. Ночью Игельстром сжег секретнейшие бумаги, но не решился оставить своей квартиры и выйти из города, воспользовавшись темнотою, хотя ему и представляли, что на другой день может быть плохо, потому что о русских войсках, которые могли бы прийти к нему на помощь, не было слышно (Новицкий уже ушел из Варшавы). На рассвете другого дня повстанцы начали нападение на квартиру генерала со стороны Подвальной улицы, открыли убийственный огонь на дом Игельстрома с домов Сенаторской улицы. Оставив отряд для защиты своей квартиры, Игельстром с остальным войском перешел на площадь Красинских, ибо на Медовой улице держаться было нельзя — ее обстреливали со всех сторон. Но и новое положение было не выгоднее старого: повстанцы сосредоточили свои силы в окрестностях, и русские попали в перекрестный огонь. Игельстром попробовал, нельзя ли дать делу мирный оборот, и послал бригадира Бауера в арсенал для переговоров. Командовавший в арсенале генерал Мокрановский велел отвечать, что неприятельские действия прекратятся, когда

²⁴⁴ 9 батальонов и две компании, 8 эскадронов, 36 пушек

²⁴⁵ Пистор, который хочет сложить всю вину на нераспорядительность русских

Игельстром запретит своим стрелять и сдастся на милость. Тогда Игельстром начал отступление и под выстрелами, преодолевая множество затруднений, пробился со своим маленьким отрядом за город и соединился с пруссаками в Повонзках (дача княгини Чарторыйской). Маленькие русские отряды, оставшиеся в разных местах Варшавы, после упорного сопротивления были истреблены или забраны.

Русских не было более в Варшаве; надобно было учредить революционное правительство. Еще в первый день восстания толпы народа ворвались во дворец, схватили здесь Мокрановского и Закржевского, понесли их в ратушу и там провозгласили: Закржевского — муниципальным президентом Варшавы, а Мокрановского — военным начальником города. На третий день, 8 (19), в ратуше устроили Правительственный совет из Закржевского, Мокрановского и 12 других особ, 8 шляхтичей и 6 мещан; в числе последних был и Килинский. Члены нового Совета послали сказать королю, что сохраняют в отношении к нему уважение и привязанность, но повинуются только Косцюшке; желают, чтобы король благоприятствовал их намерению, и требуют, чтобы он не покидал Варшавы. Король в ответ предложил им вести себя не по-якобински, уважать религию и позаботиться о полиции. На другой день, в Светлый праздник, король мог удостовериться, какое уважение будет ему оказываемо: Закржевский надел орден Белого Орла и подвергся за это оскорблениям от народа. Килинский явился с просьбою об арестовании некоторых лиц и в просьбе назвал себя главою народа.

29 апреля назначено было торжественное поминовение по убитым 17 и 18 числа. Король отправился в соборную церковь к заупокойной обедне. Во время проповеди оратор Вытошинский обратился к нему со следующими словами: «Так как вы здесь сами лично, государь, то позвольте обратиться к вам с свободою служителя алтаря и вольного гражданина. Я знаю доброту и кротость вашего характера; вы могли быть обмануты; кто знает, какие советы посмеют вам давать еще. Но теперь наступила последняя эпоха вашего царствования — дело идет о том, восстановится ли Польша на прочном основании, или могущественный и мстительный враг изгладит навсегда имя Польское; теперь вы не можете, вы не должны отдаляться от нации: вы должны или погибнуть, или спастись вместе с целым народом. Сблаговолите, государь, испытать вашу душу и приготовить ее к этим двум крайностям. Сблаговолите отвратить слух ваш навсегда от изменников и врагов отечества. Быть может, указывая вам какой-нибудь луч надежды, они будут вам советовать отделиться от народа или что-нибудь еще хуже этого: приходите в гнев и ужас при мысли об этом! Неужели вы захотите царствовать только над изменниками отечества и над рабами; неужели вы захотите приблизиться к своему трону по мо-

гилам граждан! Я знаю твое сердце, кроткое и благодетельное: ты этого не сделаешь; я уверен, что ты твердо решился жить или умереть с народом».

При этих словах король, по его собственному выражению, не мог долее удержатъ своей чувствительности, но, прервавши проповедь, сказал громким голосом: «Вы говорите не понапрасну. Я поступлю по вашим советам. Я буду всегда с народом, хочу жить и умереть с народом!»

Все это было сказано задним числом. Все это было уместно 3 или 5 мая 1791 года, когда движение происходило под королевским знаменем; когда королю готовы были вручить диктаторскую власть. Но теперь революция шла другим путем, теперь и Килинский в опьянении от новой роли называл себя главою народа. Революционеры признали верховным правителем своим *генералиссимуса* Косцюшку. Каково же было положение короля? Две власти — старая и новая — друг подле друга, что вело необходимо к образованию двух партий, к борьбе между ними. 1 мая приехал курьер от Косцюшки: генералиссимус одобрял все сделанное в Варшаве; назначил Мокрановского своим заместителем. Вместе с этим озаботился и насчет своего соперника — короля: предлагал взять предосторожности, чтобы Станислав-Август не уехал из Варшавы, ни с кем не переписывался; чтобы все особы, близкие к королю, были арестованы. Вследствие этого члены нового правления явились во дворец с требованием, чтобы один из самых сильных приверженцев России, Виленский епископ князь Масальский, отдал им драгоценный крест, полученный от русской императрицы после подписания Гродненского трактата.

В тот же день в 9 часов вечера явился к королю Мокрановский с требованием, чтобы велел арестовать Виленского епископа и выдать его правлению; король отказался, тогда правление само распорядилось — арестовало Масальского, Скорчевского, епископа Хельмского, и Мошинского, великого маршала: все трое помещены были в Брюльском дворце. Король решился завести сношения с генералиссимусом. 6 мая послал объявить Косцюшке, что тесно соединил свое дело с народным и не сделает ни одного шага для собственного спасения. Но в Варшаве не верили этим заявлениям. 8 мая король выехал погулять из Варшавы в Прагу: народ взволновался, думая, что он хочет бежать, и правление прислало просить его, чтобы он не выезжал больше из Варшавы в предместье. Между тем народ волновался и по другой причине: он требовал казни лиц, известных своею приверженностию к России, — и поспешили удовлетворить требованиям народа: 9 мая были повешены гетман коронный Ожаровский, гетман Литовский Забелло, Анквич; народ требовал казни Масальского — и епископа повесили, несмотря на протест папского нунция Литвы. Народ не был доволен: поджигаемый Килинским и каким-то Чижом, он требовал новых жертв. Тог-

да Закржевский вышел к нему и сказал: «Поставьте виселицу перед моим домом и повесьте меня первого». Эти слова произвели действие: толпы стихли.

Эмигранты возвратились: Игнатий Потоцкий, Коллонтай, Капостас. 27 мая король имел любопытный разговор с Потоцким, который клялся, что он не якобинец; но так как должно делать стрелы из всякого дерева и так как крестьяне сделали и делают много для революции, то надобно им льстить до известной степени, равно как и горожанам; а потом мало-помалу надобно обрезать все, что будет слишком.

Король: «Должно ли верить слухам, что Косцюшко имел тайные сношения с пруссаками?» *Потоцкий*: «Никогда не было прямых сношений об этом; но Косцюшко старался дать понять пруссакам на деле, что не хочет враждебно действовать даже против настоящих границ прусских, если только пруссаки не будут неприятельски поступать против нас». *Король*: «Каковы ваши отношения к Австрии? Палатин Венгерский будет ли моим наследником с условием принятия конституции 3 мая?» *Потоцкий*: «Дело об этом только начинается. Если Тугут утвердит свой кредит, то наши надежды могут увеличиться». *Король*: «Что вы мне скажете о турках?» *Потоцкий*: «Пока еще ничего; но, по моему мнению, они двинутся». *Король*: «Получили вы деньги из Франции?» *Потоцкий*: «Нет, но, может быть, получим». *Король*: «Если вы их получите, то будете принуждены следовать французской системе и французским правилам?» *Потоцкий*: «Нет, нет, нет! Вначале будет некоторое сходство, но не впоследствии»²⁴⁶.

28 мая по распоряжению генералиссимуса образовался Верховный правительственный совет, членами которого были: Сулистровский, Вавржецкий, Мышковский, Коллонтай, Закржевский, Веловейский, Игнатий Потоцкий и Яскевич. На другой день Закржевский и Потоцкий явились к королю и показали ему подлинное предписание Косцюшки, что Верховный совет обязан отдавать почет королю и сообщать ему обо всех важнейших делах. Обнародование нового учреждения произвело сильное волнение между мещанами: в прежнем Совете они были членами на одинаковых правах с шляхтою, а из нового исключены! Допущены в каждый департамент так называемые *застенницы*, но не в качестве действительных членов, ибо без решительного голоса. Килинский объявил, что воспротивится открытию нового Совета именем всего варшавского мещанства, пока Косцюшко не назначит в члены Совета и из мещан. Капостас, видя, что сопротивление Килинского может ослабить кредит Косцюшки, столь необходимый для успеха революционного дела, настоял, чтобы не принимать предложения Килинского, не мешать действию нового Совета, но отправить депутацию к Косцюшке с

²⁴⁶ Записки С - А Понятовского

просьбою исполнить желание мещанства Депутация возвратилась без успеха генералиссимус отвечал, что он, следуя желаниям своего сердца, охотно бы согласился на требования мещан, но никак не может этого сделать по разным, ему одному известным важным политическим причинам, а потому и просил ради Бога не беспокоиться. Мещанство успокоилось²⁴⁷.

Капостас, если верить его собственному свидетельству, много работал в это время: как ратман магистрата, он имел надзор за мучниками, булочниками и мясниками, чтобы они не поднимали цен на необходимые съестные припасы; наблюдал за раздачею денег бедным, большое число которых отсылалось ежедневно работать над городскими укреплениями. Капостас сочинил проект о дисциплине и правах мещанского войска, проект этот с небольшими изменениями был одобрен, напечатан и разослан ко всем начальникам мещанских войск для руководства В звании генерал-инспектора казенной ассигнационной дирекции, Капостас с помощью разных людей, особенно купцов, сочинил указ Верховного совета, которым выпускались ассигнации; написал другой проект о приведении в порядок ассигнационной дирекции и о составлении ассигнаций Несмотря на всю эту деятельность, Капостас не мог соперничать с Килинским относительно влияния на толпу: Капостас работал в магистрате, в ассигнационной дирекции, а Килинский всегда находился с толпою, начальствовал при работах на шанцах, и работать было весело благодаря тому же Килинскому, который нанимал музыку, угощал тех, которые могли доставлять ему влияние Капостас не без зависти смотрел на значение, приобретенное Килинским, что видно из отзывов о знаменитом башмачнике

Говоря об участии Килинского в заговоре, Капостас замечает «Килинский обещал в случае возмущения выставить тотчас в разных местах многие партии мещан на помощь войску. Но он, как я под рукою узнал, а особливо от Гасчеровского, тогдашнего адъютанта коронной гвардии, выполнил это очень дурно или, лучше сказать, ничего не выполнил, и если б чернь не присоединилась к войскам вскоре сама собою, то они бы погибли именно вследствие неисполнения Килинским своего обещания Даже многие сказывали мне, что не понимают, почему Килинскому приписывают так много важного, тогда как никто не знает за ним ни одного поступка, достойного таких похвал, какие ему расточают Зная самолюбие его непомерное, не сомневаюсь я нисколько, чтоб он не хвалился тридцатью подвигами, из которых едва ли справедлив тридцатый. Как ни честен характер этого человека, однако он так слаб и недальновиден, что каждый мнимый патриот может склонить его ко всему, к чему угодно»²⁴⁸. Скоро Килинский должен был оставить

²⁴⁷ Началавия Капостаса

²⁴⁸ Показания Капостаса

Варшаву, но чтобы объяснить причину этого удаления, мы должны обратиться к военным действиям

Вы видели, что по выходе своем из Варшавы генерал Игельстром соединился с пруссаками, отряд его заключал в себе около 250 человек; потом, перешедши в Лович, он стянул около себя 7000 войска. Генерал Денисов стоял с своим корпусом в Щекоцинах (на реке Пилице к северу от Кракова), в двух милях от Щекоцин, в Жарновце, стояли пруссаки под начальством генерала Фавра. К ним на помощь скоро явился с войском сам король Фридрих-Вильгельм II. Пруссаки спешили наступательными движениями на Польшу, во-первых, для того, чтобы не дать распространиться мятежу в областях, присоединенных к Пруссии; во-вторых, чтобы воспользоваться малочисленностью русских войск в Польше и взять себе здесь первенствующую роль, которая бы дала возможность приобрести хороший кусок при третьем, последнем разделе: раздел этот был несомненен при так безрассудно начатом движении со стороны поляков. 6 июня (н.с.) Косцюшко напал на соединенные русские и прусские войска при Щекоцинах и потерпел поражение. 8 июня русский генерал Дерфельден поразил при Хельме поляков, бывших под начальством Зайончека; 15 июня Краков сдался пруссакам. Косцюшко был в отчаянном положении. Он хотел поднять крестьян, набрал из них отряд, поддвлялся к ним, надел деревенскую сермягу, ел и целые дни проводил с ними ²⁴⁹.

Но все это не вело ни к чему: придавленные крестьяне не понимали, какое у них может быть общее дело с шляхтою, не понимали, зачем они должны драться, чтоб дать торжество так называемой Польской республике над ее врагами. Крестьяне не поднимались, а между тем шляхта сильно встревожилась, увидев поведение генералиссимуса относительно крестьян, и нисколько не думала сообразоваться с этим поведением. В то время, когда Косцюшко заставлял крестьян в рядах своих биться за *ойчизну*, шляхта обременила жен и детей их *паньщизною* (барщиною) Косцюшко разослал универсал, в котором стращал шляхту, что Москва старается поднять польских крестьян, указывая им на их злую долю и обещая облегчение властью императрицы Екатерины. Косцюшко требовал: чтобы крестьянин был лично объявлен свободным; чтобы рабочие дни были уменьшены; чтобы землевладелец мог отнимать у крестьянина землю, только доказавши перед судом, что тот не исполняет своих обязательств; чтобы землевладельцы и управляющие за притеснения крестьян отвечали перед судом как виновные в намерении погубить дело национального восстания ²⁵⁰. Универсал возбудил в шляхте страшный ропот на нарушение права собственности — и остался без исполнения ²⁵¹.

²⁴⁹ Pamiętnik Jozefa Zajęczka в Pamiętniki z 18 wieku II 118

²⁵⁰ D Angeberg — Recueil des traites et c p 373

²⁵¹ Zajęczek 119

В это время, когда шляхта не хотела сделать ни малейшего облегчения сельскому люду, в Варшаве в церкви Св. Креста проповедник с кафедры во время обедни произносил похвальное слово Робеспьеру. Понятно, что королю после этого стало не очень приятно в Варшаве. 16 июня, уведомляя Косцюшку о необходимости укрепить Варшаву в известных местах, Станислав-Август писал, что надобно отправить дам из города и освободить знатных арестантов, чтобы революция не носила якобинского характера. Тут же король изъявлял желание находиться в лагере подле генералиссимуса и жаловался, что Верховный совет сообщает ему о делах поверхностно, и то когда уже решение постановлено; что члены Совета избегают свидания с ним: Потоцкий и Закржевский были только раз во дворце. Когда король повторил эти желания и жалобы Деболи, тот отвечал: «Мое мнение — оставайтесь здесь и будьте покойны, оставьте правительствующим лицам делать все, что они хотят». Король сказал на это: «Если бы я руководился единственно самолюбием, то был бы вашего мнения; но я люблю народ и хочу спасти настоящее правительство». «Правительство в хаосе, оставайтесь спокойным зрителем», — отвечал Деболи²⁵². По свидетельству Немцевича, Коллонтай употреблял все средства, чтобы погубить короля²⁵³.

Вести о поражениях Косцюшки и Зайончека и о сдаче Кракова подали повод в Варшаве к явлениям, напомнившим сенгябрьские дни Французской революции. 27 июня Казимир Конопка, бывший секретарь Коллонтая, стал произносить пред народными толпами зажигательную речь, указывая на измену краковского коменданта Венявского, сдавшего город пруссакам; говорил, что в стенах Варшавы много таких же изменников, пощажённых 9 мая; увещевал народ требовать их казни. Ночью народ в разных местах поставил виселицы, а на другой день, 28 числа, толпы направились к тюрьме, повесили прежде всего начальника тюрьмы Маевского за то, что он не хотел им выдать списка заключённых, а потом перевешали без разбора и последних. Капостас вместе с Килинским старались тут утишить рассвирепевшую толпу, но понапрасну: им самим грозили виселицею. Килинский рассердился и подал в Верховный совет предложение — забрать несколько тысяч бедных и беспокойных людей, участвовавших в деле 28 числа, и отправить их в армию к Косцюшке. Предложение было принято, и самого Килинского сделали полковником и отправили к войску. «Воспользовались случаем, — говорит Капостас, — чтобы только с честью выпроводить его из города, потому что слишком сильное влияние его на чернь при всей честности его сердца, но при слабости ума могло сделаться вредным».

²⁵² Записки С.-А. Понятовского.

²⁵³ Показания Немцевича (неизданные)

Но удаление беспокойных людей и Килинского не уничтожило якобинских замыслов, которые сильно тревожили короля. 1 июля он писал Косцюшке: «Надобно, чтоб вы знали, в каком положении находится Варшава. Открыто на рынке и в питейных домах поют песню, в конце которой говорится: «Мы, краковяне, носим на поясе шарик: мы на нем повесим короля и примаса». Те же угрозы слышались в толпах 28 июня. Всей Варшаве известно, что в продолжение двух ночей перед 28 числом дворец и Вислу стерегла община рыбаков, чтоб воспрепятствовать моему мнимому бегству; слухами об этом бегстве свернули головы народу, и следствием были ужасы 28 июня. В целой Варшаве теперь нет ни одного человека, которому было бы поручено и который был бы в состоянии охранять меня. Поэтому я прошу вас прислать сюда отряд войска для сохранения безопасности и спокойствия и для моей защиты, только бы этот отряд состоял не из рекрут, недавно набранных в Варшаве».

Но Косцюшке было не до этого. После поражения при Щекоцинах он поспешил к Варшаве и ввел свои войска в линии ее укреплений; но в то же время стремился к Варшаве и король прусский и 13 июля осадил ее, подкрепляемый русским войском, которым предводительствовал Ферзен, сменивший Игельстрома. Пруссаки хотели воспользоваться своим численным преимуществом, чтобы распорядиться Польшею в свою пользу; русские, разумеется, не должны были допускать их до этого. Фридрих-Вильгельм II жаловался, что Ферзен день ото дня становится менее *traitabel* (сговорчив). К ужасу своему, король узнал, что император Франц хочет приобрести себе южные палатинаты Польши — Люблин, Хельм, Краков и Сендомир. Пруссаки сильно сердились, а Ферзен хладнокровно говорил, что австрийские желания вполне справедливы. В прусском лагере было разногласие во мнениях относительно ведения войны: Люкезини советовал действовать энергически, взять Варшаву, перейти Вислу, вступить в Литву, так чтобы после, при разделе, можно было хвалиться умеренностью, ограничившись линиею Вислы с Сендомиром и Краковом. Другого мнения был Бишофсвердер: он говорил, что не следует тратить прусских солдат в кровопролитном деле взятия Варшавы, которая должна сама сдаться, когда жители увидят серьезные приготовления к осаде. Решено было длить осаду и пускать русских биться около польских шанцев: пусть их тратят своих солдат. Но Ферзен на это не поддавался. Когда король приглашал его к отдельному нападению, то он отвечал, что слишком слаб, чтобы действовать порознь, а вместе с пруссаками готов. Гольц присылал из Петербурга вести, что там вполне одобряют поведение Ферзена; что генерал этот, пожалуй, уйдет за Вислу и оставит пруссаков одних. Фридрих-Вильгельм в августе отправил в Петербург одного из своих дипломатов. Тауенцина, который должен был внушить русскому министерству, что король желает для себя земель между Силезиею, Южною Пруссиею

и Вислою; король считает полезным, чтобы между Россией и Пруссией находилось небольшое отдельное владение; это владение Тауенцин должен был предложить графу Зубову с условием, чтобы тот поддержал прусские требования против австрийских.

Но скоро пришла весть, что король прусский отступил от Варшавы. Сам Фридрих-Вильгельм уведомил об этом императрицу следующим письмом²⁵⁴: «С горестию узнал я о варшавских убийствах, и, преисполненный таким же негодованием, какое было возбуждено и в вашем величестве, я с редкою энергиею занялся средствами наказать их виновников. Я собрал наспех все войска, какие только были поблизости, и разбил вместе с генералом Денисовым постоянно возраставшую так называемого генералиссимуса, которого повстанцы себе назначили. Не обращая внимания на тысячу военных потребностей, которым я не имел времени удовлетворить, я ускорял поход наших победоносных войск; я заставлял неприятеля покидать одну позицию за другою и заставил наконец броситься в линии Варшавы. Но если наши храбрые войска умели побеждать в открытом поле, то существуют препятствия, которых одно мужество преодолеть не в состоянии. Я нашел перед столицею, где я надеялся уничтожить гнездо мятежа, страшные укрепления, многочисленную артиллерию, а у меня именно недоставало артиллерии. В то время как я распоряжался, чтоб осадные орудия были взяты из прусских крепостей и доставлены под Варшаву с большими издержками, мятежники успели усовершенствовать свои укрепления и, что всего хуже, возбудить мятеж в провинциях, недавно мною приобретенных, и характер этого мятежа становился день ото дня опаснее. Я долго льстил себя надеждою, что, взявши Варшаву, я предупрежу взрыв, и если бы корпус генерала Дерфельдена, находившийся уже в Пулавах, не получил приказа принять другое направление, вместо того чтоб пособить мне нанести решительный удар, то, конечно, я не обманулся бы в моей надежде. Принужденный ограничиться собственными средствами, я, однако, не терял мужества, несмотря на умножающиеся препятствия. Я приказал сделать все распоряжения к последней атаке; но накануне получаю печальное известие, что суда мои с транспортом взяты или потоплены инсургентами. Со всех сторон меня извещают, что мятеж в южной Пруссии приобретает день ото дня более силы. Наши сообщения прерваны, получение запасов ненадежно, равно как и спокойствие моих провинций.

В этом положении, при потере надежды, что или корпус войска вашего величества, или императорский могут на правом берегу Вислы помочь усилиям, которые я посвящал взятию Варшавы, так как не было возможности и по опасности сообщений, и по малости времени вознаградить скоро потерю снарядов, которых я ожидал с

²⁵⁴ От 1 сентября 1794

таким живым нетерпением, то мне не оставалось другого выбора, как отступить с моими войсками, причем часть их ввести в взбунтованную провинцию, остальные же поместить в недалеком расстоянии от столицы, чтоб держать в страхе ее виновных защитников».

Когда письмо это было получено в Петербурге, то на Тауенцина повеял дипломатический холод: императрица проходила мимо молча; Марков и Остерман толковали, какую ошибку сделал король, потому что одно взятие Варшавы могло положить конец волнениям в прусских областях. Зубов на известное предложение отвечал, что слишком много чести, да и австрийцы не позволят; что всего хуже для Тауенцина, Зубов объявил, что Австрию надобно вознаграждать за ее борьбу с Французскою революцією, а вознаградить больше негде, как в Польше. Когда Тауенцин объявил притязания своего двора на земли в 1300 квадратных миль, то Зубов, Марков и Остерман отвечали, что хотя доля и велика, однако они употребят у императрицы все старания в пользу Пруссии.

Но Екатерина отвечала, что она просит короля отказаться от воеводств Краковского и Сендомирского, необходимых для Австрии; что же касается до русской доли, то сама природа указала границы: Буг и Неман, да еще к России отойдет Курляндия, потому что при двух прежних разделах Россия не получила приморских городов. Вся остальная Польша отдавалась Пруссии с городом Варшавою. При этом третьем разделе Россия получала 2000 с чем-нибудь квадратных миль, Австрия — 1000, Пруссия — с чем-нибудь 700; но хуже всего для Пруссии было то, что Австрия получала перевес. Тауенцин был в самом печальном положении. К большому его несчастию, приходит известие, что договор Пруссии с Англиею для ведения Французской войны нарушен; что генерал Мюллендорф идет назад с Рейна. «Императрица, — говорил Остерман, — не хочет обсуживать, кто здесь прав, кто виноват, Пруссия или Англия. Но ее величество не понимает, против кого Пруссии нужно усилить войска свои в Польше. Она думает, что Пруссия не должна была бы показывать себя в такой зависимости от английских денег; теперь она видит, как хорошо сделала, что не послала своих войск на запад в такую коалицию. Как блистательно отличается поведение Австрии, которая, несмотря на все пожертвования, продолжает оказывать ревность к Французской войне».

Марков говорил: «В Пруссии забыли благодеяния договора 1793 года, не хотят обратить внимание на то, что южная Пруссия составляет вознаграждение не за один, но за пять походов; позабыли, что в договоре прямо обещано не оканчивать войны до совершенного уничтожения Французской революции». Все эти разговоры заставили Пруссию торопиться начатием сношений с Францией; а России был дан ответ, что Пруссия не может уступить Кракова, который в прусских руках будет только пунктом защиты, потому что лежит на север от гор, а в австрийских — пунктом напа-

дения, и Прусская Силезия будет со всех сторон окружена австрийскими владениями. Если же нельзя удовлетворить требованиям Пруссии, то она вовсе не желает раздела ²⁵⁵.

Судьба Польши решилась русским оружием: для этого императрица отправила Суворова, хотя звание главнокомандующего носил граф Румянцев-Задунайский. Суворов поразил корпус генерала Сераковского при монастыре Крупчице, потом добил его в окрестностях Бреста 8 сентября: 8 часов бились холодным оружием, поляков едва спаслось 500 человек; пленных было взято мало — едва несколько сот. «Ее императорского величества победоносные войска, — писал Суворов Румянцеву, — платили его (неприятеля) отчаянность, не давая пощады, отчего наш урон примечателен, хотя не велик; поле покрыто убитыми телами свыше пятнадцати верст. Мы очень устали» ²⁵⁶. Суворов шел на соединение с Ферзеном; 3000 польский отряд под начальством Понинского был выслан помешать переправе Ферзена через Вислу; но он не успел этого сделать, оправдывая себя впоследствии густою мглою. В таких обстоятельствах Косцюшко решился соединиться с остатками корпуса Сераковского, с Понинским и напасть на Ферзена, не допуская его до соединения с Суворовым. Главная квартира польского войска после удаления пруссаков перенесена была в Мокотово, имение княгини Любомирской.

5 октября (н.с.) Косцюшко отдал приказ, чтобы два полка пехоты с несколькими орудиями перешли мост под Прагою и шли на соединение с отрядом Сераковского. Вечер Косцюшко, Игнатий Потоцкий, Немцевич и несколько других членов их кружка провели у Закржевского; вечер был веселый и оживленный; никто из собеседников не предчувствовал, что расстанутся так надолго и что их ожидает такое тяжелое несчастье ²⁵⁷. На другой же день, 6 числа, Косцюшко вместе с Немцевичем отправился в лагерь Сераковского; 7-го, не дождавшись ни подкрепления из Варшавы, ни Понинского, Косцюшко выступил против Ферзена с 6500 пехоты и 4000 кавалерии; 9 числа около 4 часов пополудни поляки, держа путь к селению Мацевеицы, вышли из большого леса. Косцюшко и Немцевич в товариществе нескольких уланов выехали наперед — и через несколько минут открылась им русская армия, стоявшая обозом вдоль Вислы. Польские вожди должны были признаться, что впечатление, производимое этою армиею, было и сильно, и надавало страху. Поляки немедленно же начали перестрелку с казаками, но эта перестрелка скоро утихла; ночью приготовились к битве. Русские превосходили числом войска и орудий; у поляков было выгоднейшее положение: они сгояли на земле сухой и возвы-

²⁵⁵ Sybel Geschichte der Revolutionszeit III 268 и след

²⁵⁶ Донесение из Бреста 8 сентября 1794 года

²⁵⁷ Немцевича, о битве под Мацевеицами, в Pamiętniki z 18 wieku, t. II

шенной, тогда как русские — в болоте, где с каждым шагом грязли орудия и люди. Русские действовали убийственно своею артиллериею, потом, приблизившись на карабинный выстрел, начали страшный ручной огонь. В мгновение ока земля покрылась убитыми и ранеными.

Польские пушки умолкли, поляки потеряли всякое терпение; польский отряд полковника Кржицкого рванулся было, чтобы ударить в атаку, но русские ядра стелят его мостом и не дают проходу крестьянам, вооруженным косами. Наконец поляки обращаются во всеобщее бегство. Их было побито на месте 5000 да взято в плен 1500, большею частью раненых; урон русских от отчаянного сопротивления неприятелей был не мал. Честь дела принадлежит генерал-майору Денисову; Ферзен явился уже к концу битвы. Польские генералы Каминский, Сераковский, Княжевич, бригадир Копец, Немцевич были взяты в плен. Около пяти часов вечера явился в главную квартиру отряд русских солдат, которые несли полумертвого человека: то был Косцюшко, кровь покрывала его тело и голову, лицо было бледно-синее²⁵⁸.

Получив известие о плене Косцюшки, Суворов писал Румянцеву: «Поздравляю в живых первого героя, Российского Нестора. Господь сил с нами!» Еще легче и раньше было потушено литовское восстание. И здесь, как в Польше, среди спокойного народонаселения страны волновалась одна Вильна, и небольшие отряды войска были единственными представителями восставших. Мы видели, какую роль играл артиллерист Ясинский в варшавском заговоре: легко понять, что он был главным двигателем виленского восстания, когда в Литве распространилась весть о событиях в Кракове и

²⁵⁸ Известно знаменитое выражение Косцюшки, когда он падал от ран «*Finis Poloniae*» («Конец Польше» — *Примеч ред*) Впоследствии, в 1803 году, в письме к графу Сегюру он сам отрицает это известие «Прежде всего, до окончания сражения, я был почти смертельно ранен и очнулся только два дня спустя, когда уже находился в руках моих врагов Потом, если подобное слово непоследовательно и преступно в устах каждого поляка, то оно было бы гораздо более непоследовательным и преступным в моих устах Я не был последним поляком, с моею смертию Польша не могла и не должна кончиться» (*Recueil des traites, conventions etc par le Comte d'Angeberg Page 392*)

Понятно, что в 1803 году Косцюшко считал себя обязанным опровергнуть известие о «*Finis Poloniae*» Мы вовсе не думаем уличать его во лжи, но заметим, что если он очнулся только два дня спустя, то спрашивается мог ли он помнить, что ему пришло на ум и на язык в минуту отчаяния Он защищает свою скромность, но зачем же было ему относить гибель Польши к собственной особе Польша погибла потому, что истощала последние силы, и, проигравши сражение, выигрыш которого мог бы дать еще какую нибудь, хотя слабую, надежду помериться с русскими силами, Косцюшко имел полное право сказать «*Finis Poloniae*» Немцевич, описавший нам сражение под Мацевевицами, говорит прямо, что Косцюшко был еще жив и не ранен, когда уже судьба сражения не могла быть сомнительна, когда уже русские овладели полем битвы

Варшаве. Ясинский с 300 солдат и с небольшою толпою народа взволновал Вильну. Русский генерал Арсеньев по своей невнимательности попался в плен; гетман Косаковский был повешен как изменник. Но после этого взрыва сейчас же оказалось, что в Литве нечего больше делать, ни людей с правительственными способностями, ни войска, ни денег, а между тем русские отряды перекрещивали Литву во всех направлениях. Командующим литовскою армиею Косцюшко назначил Виельгорского. Новый главнокомандующий, приехавши в Вильну, пришел в ужас от рапорта о состоянии армии; еще в больший ужас пришел он, когда, сделав смотр войскам, увидел малое число солдат, способных к бою, недостаток артиллерии. Послал к Косцюшке представить ему это бедственное состояние; Косцюшко отвечал, что, будучи сам стиснут неприятелем, находившимся у ворот Варшавы, не может разделять своих войск и подать помощь Литве; он просил Виельгорского не отчаиваться и не начинать с русскими решительного дела, чтобы иметь возможность держаться как можно долее в Литве²³⁹

Но это было трудно сделать: русские явились под Вильною; Виельгорский, большой физически и нравственно, сдал команду генералу Хлевинскому, и тот очистил Вильну перед русскими войсками, которые вошли в город 12 августа.

Оставалось покончить с Варшавою. Весть о плене Косцюшки встречена была здесь отчаянием. Верховный совет дал ему в приемники генерала Вавржецкого. Сделаны были разные распоряжения, все войска сосредоточены около столицы, всех жителей заставили работать над укреплениями Праги, но уже со всех сторон громко толковали о необходимости сдаться русским на милость. Суворов не заставил себя долго ждать, тем более что ему хотелось предупредить прусского короля. 4 ноября на рассвете русские начали атаку польских укреплений, особенно тех, которые находились на правом берегу Вислы. В короткое время все они были взяты, людей не жалели с обеих сторон, 8000 поляков погибло, вся их артиллерия досталась русским. Прага, состоявшая преимущественно из деревянных домов, представляла одни обгоревшие трубы и кучи пепла. Бомбы много зажгли домов и в самой Варшаве. Верховный совет решился наконец сдать город, сначала он отправил к Суворову Игнатия Потоцкого, но Суворов не принял Потоцкого, объявивши, что не войдет в сношения ни с одним из глав мятежа. Тогда магистрат назначил троих уполномоченных депутатов, которые и подписали с Суворовым условия сдачи: жителям обещана была личная и имущественная безопасность и прощение прошлого; они были все обезоружены.

Революционное правительство было уничтожено; король на время вступал опять во все свои права и написал Екатерине следующее

²³⁹ Mémoires de M. Oginski I 415 и сл

письмо: «Судьба Польши в ваших руках; ваше могущество и мудрость решат ее; какова бы ни была судьба, которую вы назначаете мне лично, я не могу забыть своего долга к моему народу, умоляя за него великодушие вашего императорского величества. Польское войско уничтожено, но народ существует; но и народ скоро станет погибать, если ваши распоряжения и ваше великодушие не поспешат к нему на помощь. Война прекратила земледельческие работы, скот взят, крестьяне, у которых житницы пусты, избы сожжены, тысячами убежали за границу; многие землевладельцы сделали то же по тем же причинам. Польша уже начинает походить на пустыню, голод неизбежен на будущий год, особенно если другие соседи будут продолжать уводить наших жителей, наш скот и занимать наши земли. Кажется, право поставить границы другим и воспользоваться победою принадлежит той, которой оружие все себе подчинило».

Екатерина отвечала: «Судьба Польши, которой картину вы мне начертали, есть следствие начал разрушительных для всякого порядка и общества, почерпнутых в примере народа, который сделался добычею всех возможных крайностей и заблуждений. Не в моих силах было предупредить гибельные последствия и засыпать под ногами Польского народа бездну, выкопанную его развратителями, и в которую он наконец увлечен. Все мои заботы в этом отношении были заплачены неблагодарностью, ненавистью и вероломством. Конечно, надобно ждать теперь ужаснейшего из бедствий, голода; я дам приказания на этот счет сколько возможно; это обстоятельство вместе с известиями об опасностях, которым ваше величество подвергались среди разнузданного народа Варшавского, заставляет меня желать, чтоб ваше величество как можно скорее переехали из этого винового города в Гродно. Ваше величество должны знать мой характер: я не могу употребить во зло моих успехов, дарованных мне благостью Провидения и правдою моего дела. Следовательно, вы можете покойно ожидать, что государственные интересы и общий интерес спокойствия решат насчет дальнейшей участи Польши».

Королю очень не хотелось выехать из Варшавы; он представил Суворову, что ему не с чем выехать в Гродно, не с чем оставить в Варшаве своих родных и служителей, потому что он давно уже не получает никакого дохода, живет в долг. Суворов отвечал, что князь Репнин позаботится об этом в Гродне. Король обратился к Репнину, и тот отвечал, что в Гродне все готово к его принятию и он не будет иметь ни в чем нужды. Барон Аш, заведовавший дипломатическими делами, уверял короля, что все остававшиеся после него в Варшаве будут обеспечены. Король в разговоре с Ашем, упомянув о новом разделе Польши, сказал, что в таком случае он согласится лучше отречься от престола и провести остаток жизни в Риме. Аш отвечал, что отречение совершенно зависит от воли королевской,

что его величество может устроить это дело в Гродне с князем Репниным. 8 января 1795 года Станислав-Август простился с главнокомандующим и был так тронут нежным прощанием Суворова, что растерялся и не припомнил всего, что хотел ему сказать²⁶⁰

Станислав-Август не возвратился в Варшаву, Польша исчезла с карты Европы²⁶¹.

²⁶⁰ Записки С. А. Понятовского

²⁶¹ В настоящем издании опущены следующие далее Приложения С. М. Соловьева, представляющие интерес главным образом для специалистов и состоящие в основном из цитирования переписки на французском языке Екатерины II, Людовика XVI, Марии Антуанетты и др. лиц.

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС

I

У нашего героя древнее и знаменитое происхождение... Восточный вопрос появился в истории с тех пор, как европейский человек сознал различие между Европою и Азиею, между европейским и азиатским духом. Восточный вопрос составляет сущность истории Древней Греции; все эти имена, знакомые нам с малолетства, имена Мильтиадов, Фемистоклов, близки, родственны нам потому, что это имена людей, потрудившихся при решении Восточного вопроса, потрудившихся в борьбе между Европою и Азиею. Ожесточенная борьба проходит чрез всю европейскую историю, проходит с переменным счастьем для борющихся сторон; то Европа, то Азия берет верх: то полчища Ксеркса наводняют Грецию; то Александр Македонский со своею фалангою и Гомеровою Илиадою является на берегах Евфрата; то Аннибал около Рима; то римские орлы в Карфагене и в его метрополии; то гунны на полях Шалонских и аравитяне подле Тура; то крестonosная Европа в Палестине; то татарский баскак разезжает по русским городам, требуя дани, и крымский хан жжет Москву; то русские знамена в Казани, Астрахани и Ташкенте; то турки снимают Крест со Св. Софии и раскидывают дикий стан среди памятников Древней Греции; то турецкие корабли горят при Чесме, при Наварине и русское войско стоит в Адрианополе. Все одна великая борьба — все один Восточный вопрос.

Но разумеется, Восточный вопрос имеет наибольшее значение для тех европейских стран, которые граничат с Азиею, которых борьба с нею составляет существенное содержание истории: таково значение Восточного вопроса в истории Греции; таково его значение в истории России вследствие географического положения обеих стран. С лишком шесть веков с начала основания Русского государства протекло для него в постоянной и тяжелой борьбе с азиатскими варварами. Благодаря этой борьбе русская историческая жизнь отлила от юго-запада на северо-восток, из степной Украины, наиболее подверженной опустошительным набегам хищных орд, в лесную сторону, более безопасную от них, и тут-то сложилось государство, которое к концу XVI века выказало явное торжество Европы над Азиею. Досуг, полученный вследствие торжества Европы над

Азиею, дал возможность нашему народу обратиться к Западу за получением своей доли в наследстве греко-римской цивилизации, поделенной западноевропейскими народами. XVI век в нашей истории представляет поворот от востока к западу, от степи к морю.

Степь и море — две формы, равно противоположные в своих влияниях на историю: как благотельно влияние моря, которое соединяет народы, возбуждает их силы, постоянно служит проводником цивилизации, так вредно влияние степи, которая разобщает народы и беспрестанно извергает из себя хищные орды, эти бичи Божии, умеющие только разрушать, а не созидать. Под этим-то тлетворным влиянием степи прожила Россия свою древнюю историю, в тяжком труде созидания государства, при самых неблагоприятных условиях, отбиваясь и отбивая Европу от исчадий степи; под этим-то тлетворным влиянием степи жила Россия в то время, когда Западная Европа жила под благотельным влиянием моря и достигла такого широкого развития своих сил. Легко понять, почему Россия, совершивши великий подвиг на востоке, освободивши себя и Европу от влияния степи, стала стремиться к западу, за живую водою моря.

Но тут роковое столкновение: в то самое время, как Россия, торжествуя на востоке, обращается на запад для собрания своей Земли и для достижения моря, другое славянское государство — Польское — стремится к ней навстречу с запада на восток и сталкивается с нею в самых существенных ее интересах, именно — в собрании Русской земли и в движении к морю. Польша, самое сильное из западных славянских государств, не умела исполнить своей обязанности в отношении к западным славянам, которых должна была быть естественной опорой. Польша не сдержала натиска немцев, дала им онемечить Силезию, Померанию; не умела сдержать пруссов, для борьбы с ними призвала также немцев, которые, онемечив Пруссию, сделались опасными соседями для самой Польши. Но если Польша теряла на западе, уступая перед немцами, то за эти потери она спешила вознаградить себя на востоке: она захватила Галич, устроила брак владельца других западных русских областей Литовского великого князя Ягайлы со своею королевною Ядвигаю, имея в виду соединение Литвы с Польшею; настойчиво стремилась к этому соединению — достигла его и начала под знаменем католицизма усиливать польский элемент в русских областях.

Но в это же время, как уже сказано, Россия, торжествуя на востоке и сильная внутреннею крепкою верховною властью, поворачивала с востока на запад и столкнулась с Польшею, стремившеюся на восток и захватывавшею русские области. «Все эти области искони наши отчины!» — объявили московские собиратели Русской земли, и начался кровавый расчет за Смоленск и Киев — смертельная борьба, во время которой то польские знамена развевались на кремлевских стенах, то русские в Вильне. Кроме захвата русских

земель Польша пошла наперекор и стремлению России к морю. благодаря талантам Батория она выхватила Ливонию из-под рук у Ивана IV и с лишком на столетие оттолкнула Россию от моря; но добыча не пошла впрок Польше, скоро она должна была уступить ее Швеции. К концу XVII века исход борьбы обозначился ясно: у Польши вследствие внутренней болезни и внешних ударов уже начиналась агония, а Россия усиливалась все более и более. Но в то время, когда Польский вопрос вследствие ослабления Польши терял свое прежнее значение для России, вопрос Восточный принимал новую постановку.

Мы видели, что на великой восточной равнине в XV и XVI веках Европа торжествовала в лице России над Азией; здесь Азия должна была преклониться перед молодыми и крепкими государствами европейскими; на противоположном конце, на юго-западе, на Пиренейском полуострове, Азия также должна была уступить перед молодым и крепким европейским государством; но на юго-востоке, на Балканском полуострове, у Европы было слабое место — одряхлевшая империя Византийская. Азия в лице турок подстерегла это слабое место, овладела Константинополем, утвердилась на полуострове и стала грозить соседям — Италии, австрийским владениям, Польше, отчасти, посредственно, и России. Наиболее угрожаемые турками державы бьют тревогу в целой Европе; но Европа этого времени, занятая своими сильными движениями и борьбами, не могла отозваться общим дружным движением на восток, крестовым походом, — и турки пользуются благоприятными обстоятельствами, пользуются усобицами европейскими. Азии не в первый раз приходилось пользоваться ими: и в борьбе Древней Греции с Персией темным пятном лежит бесславный, изменнический Анталкидов мир, когда Спарта отдала персам греческие малоазиатские колонии; и в новой истории Восточного вопроса не обошлось без подобных же явлений. Франция, чтобы иметь помощь в борьбе с Габсбургами, заключает союз с султаном и остается верна этому союзу, который, конечно, нельзя назвать священным, за то антихристианские писатели и прославляют подвиг Франции, которая, по их словам, первая вышла из узкого круга христианских отношений и оказала услугу Европе, введя в ее политическую систему такой благодетельный для европейской цивилизации народ, как турки.

В западном углу Европы, у христианнейших королей, у рыцарского народа — сочувствие к храбрым оттоманам! Габсбурги, видя это сочувствие и видя турецкие границы в недалеком расстоянии от Вены, обращаются на северо-восток, шлют в Москву посольство за посольством с представлениями, что Россия имеет обязанность бороться с турками для защиты своих единоверцев и для получения наследства, оставленного ей Византиею. В Москве очень хорошо знают обязанности России; но, посылая дорогие меха в помощь

Габсбургам против турок, указывают на Польшу, которая лежит поперек дороги и отнимает у России всякую возможность движения. Но наступила вторая половина XVII века, тело, лежавшее поперек дороги, начало разлагаться. Украина двинулась к своему родному и живому; Россия непосредственно столкнулась с Турцией, и следствием того было, что она вступает в союз с Австрией, Венециею и Польшею против Турции; этот союз, ознаменованный важным успехом и со стороны русских, и со стороны австрийцев, и со стороны венециан, подорвал могущество Турции, которая с начала XVIII века уже является больным человеком. Это, разумеется, должно было дать новую постановку Восточному вопросу, тем более что подле больного человека явился человек здоровый.

Переворот, происшедший в Восточной Европе в первой четверти XVIII века, отозвался немедленно в Европе тем, что политические отношения ее должны были измениться, осложниться вследствие появления нового, сильного государства. Для Европы сила России, разумеется, должна была выказываться не только в обилии ее внутренних средств, но и в ее положении, чрезвычайно выгодном в политическом отношении: на юге смертельно больная Турция, на западе — смертельно больная Польша, на северо-западе — истощенная, принужденная отказаться от прежнего важного значения Швеция; здоровый, сильный человек, окруженный больными, ослабленными. Отсюда особенная чувствительность держав к Восточному и Польскому вопросу, отсюда соединение этих вопросов, ибо Россия, за исключением немногих чрезвычайных положений, постоянно относится к Европе посредством Восточного и Польского вопросов. Поддерживать больных людей против здорового и пытаться, нельзя ли поразить здорового человека какою-нибудь болезнью, становится целью политики западных держав, преимущественно Франции. Тотчас же после Полтавской победы, с которой начинается новое значение России для Европы, Франция уже поднимает Турцию против России и соединяет вопрос Восточный с Польским, внушает турецкому правительству, что для него не так важно возвращение Азова от России, как то, чтобы царь отнюдь не вмешивался в дела Польши.

Но если западные державы так поставили Восточный вопрос, если они решились прекарать извечную борьбу с Азиею и поддерживать господство последней на европейской почве, то как должна была Россия поставить для себя Восточный вопрос? Россия не менее других европейских держав имела побуждения поддерживать Турецкую империю. В 1802 году один из русских государственных людей, хорошо знавший Турцию, на вопрос, как принимать внушения Наполеона о близком распадении Турецкой империи, отвечал: «Или делить Турцию с Австриею и Франциею, или отвратить столь вредное положение вещей. Последнее предпочтительно, ибо Россия не имеет нужды в расширении и нет соседей покойнее турок, и

сохранение естественных неприятелей наших должно действительно впредь быть коренным правилом нашей политики».

Но это только одна сторона дела, потому что кроме интереса охранения Турецкой империи Россия имела еще священную обязанность охранять европейский элемент народонаселения этой империи от гнета азиатского элемента. Все европейские державы волею-неволею признавали общую обязанность; но для России здесь была еще обязанность особенная — по единоверию и единоплеменности; Россия не могла не исполнять этой обязанности, не отказавшись от своих преданий, от своей истории, от самой себя. Эта-то особенная обязанность, это-то необходимое влияние, при условии которого только Россия могла вместе с другими державами поддерживать турок в Европе, представила новое затруднение, возбуждая постоянную ревность других держав, постоянные опасения, чтобы Россия не перешла границ необходимо уступленного ей влияния. В этом трудном и натянутом положении утешительные для спокойствия Европы замыслы легко находили готовую для себя пищу, как ясно оказалось в последней Восточной войне, которую союзники кончили своего рода Анталкидовым миром. К Турции и Польше не переставали обращаться люди, считавшие свою обязанностью возбуждать вражду к России. Когда Франция, сближенная с Россией политикой реставрации, оттолкнулась от нее революционной политикой 1830 года, то сейчас же пошла составлять программы враждебных действий против России.

В 1831 году Тьер сказал в палате, что существование Польши невозможно между Россией, Австрией и Пруссией. Ему возразили в журнале: «Есть Польша, возможная между Россией, Пруссией и Австрией; ее границы — Двина и Днепр со стороны России; она должна владеть берегами Балтийского моря от устьев Двины до устьев Вислы. Независимая и сильная Польша необходима для континентальной Европы. Россия в своем положении имеет громадные выгоды перед всеми континентальными державами: чего ей стоит порисковать 80 или 100 тысячами людей на дорогах Швейцарии, Италии или Рейна? Истребят ее армию, но в ее пределы не войдут. Два-три года после поражения она будет в состоянии начать снова: она вознаградит свои потери, лишь только позабудут ее на некоторое время в ее холодных пустынях. Ее можно побороть только революциями, когда ее раздробят»¹.

Незадолго перед тем генерал Ламарк начертал перед палатой план Восточной кампании против России: «Как восстановить Польшу? Пойдем ли мы одни против северного колосса? Если бы Англия и Франция, которые имеют общий интерес в этом великом споре, захотели прямо вмешаться и выслали несколько линейных кораблей, несколько фрегатов, несколько транспортов, которые бы вошли

¹ National, 22 сентября 1831

в Черное море, уничтожили Севастополь и его эскадру, Одессу и ее магазины!»

Несмотря на все желание поддержать больного человека, болезнь, очевидно, смертельная; агония может быть продолжительная, но все же это агония. Волею-неволею надобно будет когда-нибудь распорядиться наследством после умершего. И здесь у нас есть свои предания: «Россия не имеет нужды в расширении». Это было принято ею за правило относительно Восточного вопроса еще во второй половине прошлого века. Приняв такое правило, Россия сочла необходимым при очевидном разложении Турецкой империи содействовать образованию из нее независимых христианских государств, начиная с ближайших Дунайских земель (Дакийского государства). Такова была мысль Екатерины II в первую Турецкую войну при ней, — мысль, не приведенная в исполнение вследствие сопротивления Австрии и Пруссии; такова была мысль и знаменитого Греческого проекта: опять образование самостоятельного Дакийского государства, и в случае если бы большой человек скончался, то восстановление Греческой империи без всякой возможности соединения с Российской².

Великие начала, вернейшие средства при решении известных вопросов, рано или поздно, волею или неволею должны быть признаны. В 1839 г. по поводу Восточного вопроса Гизо говорил в палате: «Историческая и национальная политика Франции — поддержание европейского равновесия чрез поддержание Оттоманской империи — возможна ли? Вопрос зависит от двух вещей: от состояния самой Оттоманской империи и от состояния великих европейских держав. Что касается Оттоманской империи, то ее падение очевидно. Но посмотрим, как совершается это падение? Турецкая империя много потеряла; она потеряла провинции, из которых можно составить хорошие государства; но как она их потеряла? Как она почти потеряла Дунайские провинции, совершенно потеряла Грецию, наполовину потеряла Египет? Ведь это камни, которые естественно отпали от ветхого здания. Думаете ли вы, господа, что без этой перспективы, без надежды, что из всех этих обломков Оттоманской империи образуются новые государства, мы бы стали принимать такое живое участие в событиях на Востоке, в судьбах Греции?.. Поддерживать Оттоманскую империю для поддержания европейского равновесия; но когда силой обстоятельств вследствие естественного течения событий какая-нибудь провинция отделилась от падающей империи, благоприятствовать образованию из этой провинции нового независимого государства — вот политика, которая пригодна для Франции». Но историк забыл, что эту поли-

² См подробности в книге автора «История падения Польши» Греческий проект грешил одною своею стороною — австрийскою, ибо Австрия за союз требовала себе добычи

тику указала Западной Европе Россия еще в прошлом столетии.

Итак, у России по отношению к Восточному вопросу есть своя историческая, национальная политика, которой она должна остаться верною. Бог благословил ее тем, что при исполнении этих обязанностей ее не может смутить нечистая мысль, корыстное побуждение; Россия не может желать распространения своей государственной области, и без того громадной. При таком благословении может ли Россия в отношении к восточным славянам вести себя так, как Польша вела себя в отношении к западным? Пусть живут свободно и независимо родные по вере и крови народы; пусть умножают запас новых деятелей на поприще европейской цивилизации, которое требует именно деятелей самостоятельных, своеобразных. Старые деятели этой цивилизации с недоверчивостью, свойственною их возрасту, смотрят на новых деятелей; их напуганному воображению представляются все властолюбивые замыслы, какая-то опасность, грозящая их цивилизации, — и вот, для спасения этой цивилизации они поддерживают владычество турок и, чтобы уменьшить число наших родных, стараются перевести турецких христиан из константинопольского лазарета в римский, от султана к папе. Предоставим времени успокоить их; не станем убеждать людей, которые то верят, что великороссийское племя — финского происхождения, то верят в подлинность завещания Петра Великого. Наше дело — уяснить собственное наше сознание, очищать собственные наши чувства. Если же, по господствующему в нашей жизни началу, мы должны желать добра и врагам нашим, то желаем им от души, чтобы они вперед не старались заключать Анталкидовых миров.

1867 г.

II

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС 50 ЛЕТ НАЗАД

В 1800 году в записке, поданной графом Раstopчиным императору Павлу, говорилось: «Порта, расстроенная во всех частях, отнимает нерешимостию и последние силы своего правления. Все меры, ею ныне предпринимаемые, ни что иное, как лекарство, даваемое безнадежному больному, коему медики не хотят объявить об его опасности». Вследствие такого приговора Раstopчин предлагал раздел Турции. «Я предлагаю, — писал он, — раздел Турции, согласясь с Пруссиею, Австриею и Франциею. Россия возьмет Романию, Булгарию и Молдавию; Австрия — Боснию, Сербию и Валахию; Пруссии, взамен и в удовлетворение, отдать все курфиршество ганноверское и епископство падернборнское и минстерское; Франции — Египет. Грецию со всеми островами архипелагскими

учредить, по примеру венецианских островов, республикою под защитою четырех держав, делящих владения Порты Оттоманской».

Прошел год с чем-нибудь; в 1802 году граф Кочубей подал императору Александру I совершенно другое мнение. По поводу слухов о покушениях Бонапарта на Турцию Кочубей спрашивал: «Что в таком случае Россия делать должна?» — и отвечал: «Поведение ее не может быть иное, как или приступить к поделу Турции с Франциею и Австриею, или стараться отвратить столь вредное положение вещей. Сомнения нет, чтоб последнее не было предпочтительнее, ибо независимо, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении, нет соседей покойнее турков и сохранение сих естественных неприятелей наших должно действительно впредь быть коренным правилом нашей политики». Кочубей советовал снестись по этому делу с Англиею и предостеречь Турцию.

И Раstopчин, и Кочубей не упоминают в своих записках, что недавно, в царствование Екатерины II, Россия имела в виду еще третий план: на развалинах Турции, не имеющей средств к жизни, создавать независимые христианские государства, имеющие эти средства.

Граф Кочубей справедливо вооружался против плана о разделе Турции замечанием, что Россия в пространстве своем не имеет уже нужды в расширении. Но напрасно он так безусловно принимал положение Монтескье, что для государства нет ничего выгоднее слабых соседей. История показала ясно, что слабое государство всегда служит поводом к столкновению и борьбе между сильными, ибо слабое государство подчиняется влиянию каждого сильного и ни одно государство не может позволить другому усиливать свое влияние над слабым, брать его в опеку, делать исключительно своим орудием. Граф Кочубей смеется над выражением, что турки — естественные неприятели России, требуя, чтобы сохранение этих естественных неприятелей стало коренным правилом нашей политики. Но надобно осторожно смеяться над словами, которые переданы нам предками; надобно прежде решить вопрос: действительно ли опустели слова, лишившись своего смысла, действительно ли исчезли отношения, которые предки выражали в этих словах; действительно ли, например, слабая Порта отказалась от старой привычки притеснять своих подданных и рушилась ли связь между ними и Россиею, связь, которую предки считали основой, сутью отношений? Слабость не всегда безвредна; в истории часто повторяется сказка о богатыре и его любимом коне: конь давно умер, от него остались одни кости, но в костях гнездится змея.

«Нет соседей покойнее турок, и сохранение их должно быть коренным правилом нашей политики». Положим, что сами турки были покойны; но обязанность охранять их разве не влекла к сильным беспокойствам? Разве война с Франциею на турецкой почве, война для сохранения Турции, была менее опасна, чем война с са-

ими турками? Слабость Турции налагала тяжелую обязанность борьбы с другими государствами, которые захотели бы усилиться на ее счет или усилить в ней свое влияние с исключением русского влияния, — борьбы, необходимой в слабом государстве, открытым для всех влияний. Русский посол в Париже, граф Морков, доносил своему двору, что Бонапарт наводит постоянно разговор на близкое распадение Оттоманской империи, и 24 декабря 1802 года канцлер Воронцов отправил Моркову письмо, в котором уполномочивал его каждый раз отвечать ясно, что император никак не намерен принять участие ни в каком проекте, враждебном Турции. Это заявление было нужно для охранения естественных неприятелей России. Но можно ли было охранять этих покойных соседей, когда Порты подпала под влияние французского посла Себастиани, который заставил ее нарушить договоры с Россией и обнаружить явно враждебные намерения, объявив ей, что всякое возобновление или продолжение союза с врагами Франции, каковы Англия и Россия, будет не только явным нарушением нейтралитета, но участием Порты в войне, которую эти державы ведут с Францией. И вот, несмотря на все желание охранять Турцию, надобно было с нею воевать.

Через восемь лет по окончании этой войны, в 1821 году, вспыхивает греческое восстание, и турки, свободные от всяких политических перестановок народных чувств и отношений, продолжая считать себя естественными врагами России, а русских — естественными врагами Турции, непременно хотят видеть в греческом восстании дело России, против нее обращают всю свою злобу, ее оскорбляют. Опять должна начаться война с этими слабыми, покойными соседями. Но в Европе не хотят спокойно смотреть на эту войну, ибо здесь также главным правилом политики объявлено охранение Турции, недопущение, чтобы сильная Россия сокрушила Турцию или усилила над нею свое влияние, опираясь на единоверное и единоплеменное народонаселение. С этих пор четверть века в Европе готовился антикрестовый поход на Восток, поход против христианской России и ее единоверцев в защиту магометанской Турции.

3 февраля 1822 года русский посол в Вене (Татищев) получил от императора Александра многознаменательный рескрипт: «Я не хочу войны. Я это доказал. Я это доказываю. Но единственное средство предупредить войну состоит в том, чтоб говорить туркам от имени Европы, и говорить языком, ее достойным. Дело нейдет о том, чтоб сделать Турцию европейским государством. Дело идет о том, чтоб заставить ее занять то же место, какое она занимала в политической системе до марта месяца прошлого года. И для этого не нужно церемониться с турками. Надобно насильно спасти их. Попытки, беспрестанно повторяемые и постоянно бесполезные, кончатся тем, что лишат союз всякого уважения. Порта делается

неисправимою, и, конечно, не такую соседнюю державу союзные дворы хотят завещать России, чтоб упрочить систему, на которой основано спокойствие Европы».

Спокойствие Европы, по мнению императора Александра, основывалось на Священном союзе, на решении важных европейских дел, на успокоении волнений сообща, на съездах, конгрессах государей и министров их, причем Россия готова была служить Европе, ее спокойствию всеми своими средствами, как послужила к освобождению от Наполеона. И неужели, спрашивал император Александр, союзные дворы захотят отнять у России такую благодетельную для Европы роль, завещавши ей неисправимых соседей, которые не будут давать ей покою?

Союзные дворы именно этого и хотели. Во-первых, они никак не хотели допустить Турцию почувствовать влияние России, заставить ее подчиняться требованиям последней, дать России сделать что-нибудь для турецких христиан и тем скрепить связь между ними и Россиею. Во-вторых, им невыносимо тяжело было значение России в этом общем управлении европейскими делами, это агамемноновское место русского императора в собраниях государей. Они воспользовались средствами России для свержения материального ига Наполеона; но теперь им тяжело казалось важное значение России, нравственное влияние русского императора.

На конгрессах после русского императора самым видным лицом являлся австрийский канцлер Меттерних, влиянию которого приписывался поворот Александра от либеральной политики к охранительной. Собственно, поворот произошел вследствие революционных движений, снова начавших волновать Европу; но Меттерних воспользовался этими движениями, чтобы дать силу своим внушениям и советам, и действительно торжествовал уступки, сделанные русским императором в пользу охранительного начала. И Александр, и Меттерних поставлены были греческим восстанием в самое затруднительное положение. По поводу революционных движений в разных краях Европы было провозглашено: что восстание подданных против правительства непозволительно; что союз правительств должен вмешиваться в таких случаях и уничтожать революционное движение. И вот, греки восстают против своего правительства точно так, как испанцы и итальянцы восставали против своих правительств; и если союз объявил себя против восстания, то и теперь должен был объявить себя против греков, на стороне султана, по крайней мере для избежания противоречия не должен был заступаться за бунтовщиков. Но с другой стороны, восстали христиане для свержения ига мусульманских поработителей. Если и Западная Европа не могла отказаться от сочувствия этому явлению, то отказаться от сочувствия ему для России, для русского государя значило — вступить в вопиющее противоречие с собственной историей и с одним из самых живых чувств народных. Затруднительное

положение Меттерниха условливалось затруднительным положением императора Александра: австрийский канцлер должен был трепетать при мысли, что глава охранительного союза имеет могущественные побуждения изменить провозглашенным началам союза, тогда как подобная измена принципу, во мнении Меттерниха, была непосредственно вредна существенным интересам Австрийской монархии. Освобождение греков должно было повести к освобождению и других христианских подданных Порты, славян, что усиливало влияние России на Балканском полуострове. Кроме того, государственные люди Австрии тревожились еще другим опасением: освобождение славян турецких могло отозваться среди многочисленных славянских подданных самой Австрии.

Меттерних твердил, что греческое восстание есть явление, тождественное с революционными движениями Италии, Испании, и произведено по общему революционному плану, чтобы повредить Священному союзу и его охранительным стремлениям. Император Александр не спорил против этого; но озлобленные греческим восстанием турки свирепствуют против христиан, оскорбляют Россию. Русский государь предлагает следующую систему действия: если позволить туркам подавить восстание, то известно, как они воспользуются своим торжеством, и это опозорит союз, опозорит правительство перед народами; необходимо следующее: уладить дело вмешательством европейских держав по общему их соглашению; Порта не согласится допустить это вмешательство; надобно принудить ее к тому силою — и русское войско будет готово привести в исполнение приговор конгресса по восточным делам, причем русский император обязывается не думать о своих частных выгодах.

Но этого предложения испугались, как дара Данаев. Мысль впустить русское войско в турецкие владения, дать ему возможность занять Константинополь, — эта мысль приводила в трепет. Притом тут противоречие принятой системе: в Италии войско ходило против возмущившихся подданных для восстановления законного правительства, а в Турцию войско пойдет против правительства, чтобы заставить его не очень строго поступать с возмущившимися подданными.

В Вене было положено действовать осторожно, не раздражать русского императора, сдерживать султана, не допускать войны между Россиею и Турциею, тянуть время, а между тем туркам удастся задавить греческое восстание. Австрийский интернунций в Константинополе действовал поэтому очень мягко; но английский посланник лорд Стратфорд с островитянской бесцеремонностью выражал свое сочувствие к Турции и враждебность к России и тем усиливал в турецком правительстве опасные надежды, что его поступки найдут одобрение и поддержку в британском кабинете. Несмотря, однако, на видимое различие в способе действия предста-

вителей Австрии и Англии при Порте, обе державы имели в виду одну цель — покончить греческое восстание как можно скорее, но покончить одними турецкими средствами, без вмешательства России, и, в то время как Меттерних умолял императора Александра не сходить с политической почвы, не выдвигать религиозного интереса, английский министр лорд Кесльри умолял его продолжать систему долготерпения, чтобы дать туркам время успокоиться, покинуть свои заблуждения, перестать питать недоверчивость: ведь турецкие смуты нисколько не нарушают внутреннего спокойствия России — из-за чего же последней в них вмешиваться?

Но прежде всего кончилось долготерпение Англии, как скоро она увидела, что консервативный принцип, провозглашаемый Меттернихом, становится вреден непосредственным ее интересам; когда союзники решили на конгрессе прекратить революционное движение в Испании и поручили исполнение этого дела Франции, Англия была страшно раздражена этим вмешательством Франции в испанские дела; кроме того, не в интересах Англии было прекращение смут в Испании, ей нужно было продолжить испанскую революцию, продолжить слабость правительства испанского, чтобы дать возможность испанским колониям в Америке отделиться от метрополии, так как этого требовали торговые интересы Англии. Отсюда перемена английской политики; из консервативной она стала либеральной, что и обозначилось в деятельности нового министра — Каннинга, который отличался поддержкою революционных движений и ненавистью к России. Понятно, что перемена английской политики должна была сильно отозваться на ходе восточных дел: в Лондоне было решено принять самое деятельное участие в освобождении греков; и так как России нельзя было исключить из этого участия, то по крайней мере не дать ей здесь первого места, заслонив ее своим влиянием, показать грекам и всей Европе, что освобождение Эллады есть дело Англии, а не России.

В таком положении находился Восточный вопрос, когда с началом второй четверти века Россия увидела на своем престоле нового императора. В Париже знаменитый итальянец блюл за интересами России с горячим усердием русского патриота: император Николай Павлович потребовал у Поццо-ди-Борго его мнения относительно главных политических вопросов.

Россия, по мнению Поццо, есть такое государство, которого сила заключается не в случайных обстоятельствах; Россия имеет редкое счастье содержать в самой себе все, что нужно для выполнения ее планов, если только эти планы основаны на сущности ее средств. Приступая к рассмотрению предметов, занимавших тогда внимание кабинетов европейских, Поццо ставит прежде всего охранение общественного порядка против революционных идей и движений. В этом отношении все правительства имеют одинакие обязанности и одинакие интересы; один только министр, управляющий англий-

ским кабинетом, кажется, хочет предоставить себе гибельную свободу смотреть на революцию с точки зрения собственных выгод; это великое несчастье и великая опасность; но здесь континент Европейский от него отделяется и руководствуется одним общим интересом; здесь и мы достаточно тверды для собственного охранения.

В деле Испании и ее колоний нечего делать: русский кабинет может продолжать изъявлять мадридскому свое благорасположение и давать ему доказательства этого, не компрометируя себя и не принимая обязательств, которые нельзя выполнить. Относительно Португалии надобно ждать, ибо неизвестно, что тут замышляют Англия и Австрия. Из Италии, государства второго разряда, обращаются к России за покровительством: в их дела нужно вмешиваться только тогда, когда это совершенно необходимо. В таком же положении находятся государства германские: неблагоприятно вмешиваться в их ежедневные дела; но политика и слава требуют поддерживать убеждение, что их восстановление есть главным образом дело России и что от нее они должны ожидать охранения, когда чье-нибудь честолюбие подвергнет их опасности. Дания составляет, так сказать, часть нас самих; справедливость этого открывается при первом взгляде на карту; поэтому нам следует блюсти за ее сохранением и оберегать ее от насилий, откуда бы они ни последовали, особенно от насилий Англии. Морское могущество Соединенных Американских Штатов не может иметь столкновений с Россией, часто оно может быть ей благоприятно или выгодно; поэтому следует поддерживать добрые отношения с американцами и заставлять их смотреть на петербургский двор как единственный на континенте, с которым им выгодно быть в дружбе. Швеция слаба: не для чего ее трогать. С Пруссией нет причин к раздору, все причины к союзу. Другое дело Австрия, которая тянет к Англии. Англия стала соперничать и завидовать России, потому что Россия стала главным государством на континенте. От соперничества и зависти один шаг до вражды, когда интересы столкнутся по обстоятельствам. Каннинг ненавидит Россию. Диктаторский тон Каннинга понравился английскому народу; бравинуя весь свет, Каннинг стал популярен у себя. Россия представляет ему всякие препятствия, и он будет стараться отстранять их, не разбирая средств. Сила и природа вещей притягивают Францию к России. Эта связь между ними служит единственным способом уединить Англию и отнять у нее возможность составлять континентные союзы. Австрия представляет единственное государство, к которому она могла бы обратиться с предложением союза; но пока Франция останется свободною в своих движениях и в употреблении своих сил — Австрия не посмеет объявить России войну.

В начале 1826 года приехал в Петербург герцог Веллингтон приветствовать нового императора; Каннинг надеялся, что уваже-

ние, которое питали в Петербурге к ватерлооскому герою, поможет последнему отклонить императора Николая от войны и убедит его принять посредничество Англии как в русско-турецком, так и в греческом деле. Но Веллингтон с самого начала увидел, как трудно ему исполнить это поручение. «Я решился, — сказал ему император, — идти по стопам моего брата. Император Александр перед смертью принял формальное решение войною получить удовлетворение, которого он не мог достигнуть путем дипломатическим. Россия еще не ведет войны с Портою, но дружественные сношения прерваны между обеими странами, и я не сделаю ни шага назад, когда дело будет идти о чести моей короны». Император отклонил решительно всякое вмешательство посторонней державы в распрю между Россиею и Турциею, в то, что он считал чисто русским вопросом. Веллингтон, которого задача состояла в том, чтобы удержать императора от войны, начал представлять, что поводы к войне, выставляемые с русской стороны, не имеют достаточной важности; но курьер уже вез в Константинополь русский ультиматум, состоявший из трех пунктов: 1) полное восстановление того положения, в каком находились Дунайские княжества до 1821 года; 2) немедленное освобождение сербских уполномоченных и точное исполнение Бухарестского договора относительно выгод, полученных Сербиею, и 3) высылка уполномоченных на границу для окончания прерванных переговоров относительно собственно русских дел. Ультиматум оканчивался грозой, что если через шесть недель требуемые статьи не будут выполнены, то русское посольство оставит Константинополь.

Грозный ультиматум упал как с неба на Порту. Занятая исключительно Греческим вопросом, раздраженная переменою английской политики и оскорбительными выходками английского посла Стратфорда Каннинга, Порта выпустила из виду Россию, тем более что известие об обстоятельствах, сопровождавших восшествие на престол императора Николая, подавало ей надежду на внутренние волнения в России, которые не дадут ее государю возможности думать о внешней войне: и вдруг громовой удар разразился с той стороны, с какой его вовсе не ожидали. Первый добрый приятельский совет смущенная Порта услышала из Вены. Греческое восстание поставило Меттерниха в тяжелое положение, нарушив драгоценный ему принцип общего вспоможения правительств прогив восставших подданных. «Во всяком другом случае, — говорил он, — государства были обязаны пред европейским миром и правом помочь султану против греков; но тут религия удержала их от этого: они не могли помогать грекам без нарушения основ международного права и не могли против них сражаться без нарушения религиозных интересов. Страдательное положение было здесь самое целесообразное. Россия первая отняла у держав выгоду положения. Она взяла себе в голову, будто вмешательство во что бы то ни стало

составляет для нее необходимость, и так как она не могла действовать на греков, то устремила свою деятельность на Порту».

Эту деятельность, однако, удалось задержать на первое время, как вдруг Англия изменила. Решительный шаг императора Николая понравился в Вене; понравилось резкое разграничение, сделанное императором между двумя вопросами — Русско-турецким и Греческим. В Вену дали знать о словах императора, сказанных послам французскому, английскому и прусскому: «Дело России есть дело исполнения договоров, а не поддержка восстания, противного праву. Россия будет стараться покончить первое дело; если же другие государства захотят вмешаться во второе, то Россия может принять участие в их мудрых советах; но для этого ее отношения с Портою должны быть одинаковы с отношениями других дворов». Меттерниху также дали знать из Петербурга, что когда одного влиятельного русского сановника и ревностного защитника греков спросили, как он думает, что будет, если султан исполнит русские требования, — то он отвечал: «Тогда все пропало!»

В этих надеждах «дипломатический гений» предписал австрийскому интернунцию в Константинополе барону Оттенфельсу сообщить рейс-эфенди, что император Франц считает со своей стороны обязанностью дружбы и доброго соседства подать султану совет удовлетворить предложениям русского императора ввиду явной пользы, которая произойдет для Порты от этого удовлетворения, и важных опасностей, которые будут неизбежным следствием отказа. Представители других держав сделали Порте такие же злушения, и султан уступил: в Дунайских княжествах восстановлен был прежний порядок, сербские послы освобождены и назначены уполномоченные для переговоров с русскими уполномоченными на границах. Европейские посольства в Константинополе торжествовали это событие, думая, что все затруднения устранены; но радость была преждевременная.

Герцог Веллингтон, узнавши из слов императора и из послышки ультиматума, что Греческий вопрос у русского правительства не на первом плане, занялся им теперь с уверенностью, что здесь Англия будет играть первую роль. 24 марта (4 апреля) герцогом Веллингтоном — с английской и графами Нессельроде и Ливеном — с русской стороны был подписан протокол, в котором обе державы обязывались содействовать примирению между Портою и греками. С английской стороны ссылались при этом на просьбу греков, адресованную ими британскому правительству, и на то, что Англия уже объявила Порте о своей готовности исполнить эту просьбу; русский же двор основывал свой поступок на религии, справедливости и человеколюбию. Условия примирения были поставлены следующие: 1) Порта удерживает свою верховную власть над Грециею; 2) Греция платит ей однажды навсегда определенную дань; 3) турецкие земли в Мореe и на островах отходят к грекам за известный

выкуп; 4) Порта сохраняет известное участие при выборе правительственных лиц, которые должны все состоять из греков; 5) свобода религии и торговли; 6) отдельное и независимое управление.

Шаг был сделан; надобно было подумать о следствиях. Если Порта не согласится на означенные условия, надобно будет принудить ее к этому силой; при фанатическом упорстве турок дело легко может дойти до крайности, привести к разрушению Турецкой империи; но и независимо от этого государственный организм Турции до того слаб во всех своих частях, что грозит скорым разрушением. Надобно, следовательно, предусмотреть подобное событие, исполненное затруднениями всякого рода. «Умрет ли Турция от внутреннего истощения или от внешнего насилия — все равно, — сказал император Николай герцогу Веллингтону, — благоразумие требует не дожидаться открытия ее наследства, чтоб узнать наследников. Я готов объяснить об этом с Англиею». «Вопрос легче было бы разрешить, — отвечал герцог, — если бы в наследстве после султана Махмуда было два Константинополя. Я согласен, что Турция очень больна, но эта болезнь продолжается уже более трех столетий».

Веллингтон выехал из Петербурга, сделавши свое дело на бумаге; но едва успел он оставить русскую столицу, как в Лондон пришло известие из Константинополя от Стратфорда Каннинга, что ни греки, ни Порта не хотят принимать условий примирения, предъявленных Веллингтоном в Петербурге. «Дипломатический гений» в письме своем к барону Оттенфельсу в Константинополь не удерживается от резких выражений и насмешек над протоколом 23 марта. «Дело 4 апреля, — писал он, — все состоит из ошибок и слабости. Герцог Веллингтон приехал в Петербург с двояким заблуждением: он думал, что греческое дело здесь на первом плане и что император Николай ищет только предлогов к войне; разубедившись в этом словами монарха и посылкою ультиматума, сделанною без ведома его, герцога, он захотел спасти английское посредничество. Тут он встретился с господами Нессельродом и Ливеном; оба, испуганные тем, что их новый государь покидает святое дело греков, и желая спасти это дело, употребили все усилия, чтобы связать английское посредничество с русским. С одной стороны, страх императора Николая, чтоб англичане не присвоили себе решительного покровительства над Пелопонезом и островами, а с другой — его вполне естественная неопытность в дипломатических делах повлияли на совершение дела, исполненного слабости и смеха. Император допустил его (*l'a toléré*). В результате будет нуль. Все недовольны — обыкновенная участь дипломатических глупостей, как всяких глупостей. Оставайтесь в отрицательном положении, но будьте благосклонны к примирению. Только близкое будущее может нам доказать, есть ли еще греки, которых надобно спасать. Если французский поверенный в делах будет сильно волноваться, постарайтесь

его сдержать. Что несомненно выходит из протокола 4 апреля, так это совершенная свобода для нас поступать по собственному нашему усмотрению необходимости и приличий. Мы никогда не употребим во зло этой свободы; напротив, мы заставим ее служить общему делу и благу несокрушимого союза, который спас и спасет еще в будущем общественное и политическое тело. Наша роль в Восточном вопросе должна быть роль государства, дружественного Порте, старающегося охранить внутренний и внешний мир этой державы. Мы сознаем обязанность помогать ей нашими лучшими советами».

Но смеется тот, кто последний смеется. Несмотря на все благоговение к «дипломатическому гению», получивший это письмо, конечно, не мог не заметить некоторых странностей и противоречий, происходящих от сильного желания навязать свою любимую мысль, что русский император неблагосклонно относился к грекам; что протокол 23 марта есть дело Нессельроде и Ливена. Если император не желал передать в руки одной Англии покровительство новорожденной Греции, то этим одним уже достаточно можно было объяснить необходимость участия России в протоколе: зачем же тут является еще неопытность в делах политических? Но весь этот набор объяснений был заведомо фальшивый у Меттерниха, потому что Татищев прочел ему депешу графа Нессельроде³, в которой дело было вполне уяснено и которая не допускала возможности заключать о какой-нибудь неопытности. Изложив побуждения к отсылке ультиматума, граф Нессельроде продолжал:

«Что касается второй половины Восточного вопроса, то есть мер, относящихся к усмирению Греции, е. и. в. надеется, что союзники его отдадут справедливость побуждениям, заставившим не касаться в настоящее время такого деликатного предмета в спорах России с Портою. Во всех фазах переговоров, относившихся к вмешательству, на необходимость которого для усмирения Греции император Александр постоянно указывал, согласным желанием союзников было, чтоб Россия могла быть поставлена в Константинополе на одну линию с другими державами-посредницами и чтоб она могла обнаруживать полезное влияние. Император (Николай) имел в виду это желание; союзники легко признают, что система, им принятая, доставит все средства достигнуть в этом отношении результатов, которых требует религия, человеколюбие, интересы Европы. Если Диван, как мы надеемся, исполнит наши требования, то нет сомнения, что в таком случае оттоманская политика совершенно изменится и, присоединяя свои усилия к усилиям держав, занятых умиротворением той части Европейской Турции, где теперь свирепствует бич истребительной войны, Россия ускорит ус-

³ От 17 (29) марта 1826 года

пех этого благородного предприятия этим самым влиянием своим, которое она получит вследствие блистательного удовлетворения Портою ее требованиям. Если же, напротив, Диван принудит императора прибегнуть к войне, то решения е. и. в., принятые в этом смысле, также будут содействовать умиротворению Греции. Греческий вопрос, следовательно, может быть всегда решен по желанию императора Александра, или обдуманном вмешательством, или вследствие энергических решений, которые принуждена будет принять Россия. Но чем нельзя более медлить, что император считает еще более важным — это определение собственных отношений России к Порте. Пока эти отношения не будут определены, всякие другие окончательные переговоры невозможны, и если Россия будет принуждена оружием решать свою распрю с Портою, то император желает убедить Европу, что его требования справедливы, основаны на обещаниях неоспоримых и торжественных договорах; что его предложения представляли верное средство уничтожить всякий предмет дальнейшего спора между Петербургским кабинетом и Диваном. Император желает также, чтобы злонамеренность не могла обвинить Россию в требованиях, могущих повести к войне, обвинить в том, что для предъявления этих требований она воспользовалась восстанием. Император желает, чтобы в тот день, когда его войско выступит в поход, свойство прав, защиту которых она приняла на себя, и содержание ноты, которую он приказал передать Порте, уничтожили преступную надежду, которую люди волнений и беспорядков могли бы возложить на это событие».

Итак, если Порта удовлетворит русским требованиям, то и тут Россия воспользуется своим влиянием для окончания Греческого вопроса, то есть по меньшей мере заставит султана дать грекам самостоятельное управление, и «дипломатический гений» должен употреблять все усилия, чтобы Турция удовлетворила русским требованиям, ибо это меньшее зло — война должна повести к худшему, дипломатическая глупость Каннинга связала Англию с Россией, то есть подчинила Англию России, дала последней такое выгодное положение; Франция слаба от внутренней неурядицы; но если и примет участие в деле, то будет за Россию, а не за Австрию. Еще при восшествии на престол императора Николая Австрия сделала Франции предложение согласиться насчет средств заставить Россию продолжать прежнюю бездейственную политику относительно Греции. Франция отвечала, что в турецких делах нужно принять политику, более сообразную с законными желаниями России и с истинными интересами остальной Европы. Русский двор сведал и о предложении, и об ответе. Когда австрийское министерство узнало, что в Петербурге дело известно, то поспешило вовремя запереться, что никогда не делало никаких предложений в этом роде и желает только одного: поддержания Священного союза во всей целостности.

Выставка союза была нужна, чтобы накинуть тень на протокол 23 марта. Россия, которая до сих пор так стояла за союз, теперь согласилась с чуждою союзу Англиею, без ведома членов союза, которые и прежде готовы были согласиться на статьи, занесенные в протокол. Австрийский посланник граф Лебцельтерн высказался перед императором Николаем, что протокол должен был неприятно удивить союзников. «Герцог Веллингтон мне сказал, — отвечал император, — что существуют переговоры между некоторыми из греческих вождей и Лондонским кабинетом и в Лондоне существует мнение, что план начальствующего турецкими войсками против греков Ибрагима-паши состоит в том, чтобы переселить всех греков из Мореи и вместо них поселить мусульман. Я ему отвечал, что если это справедливо, то никто из союзников не потерпит подобного скандала. Я у него потребовал доказательств; он мне сказал, что материальных доказательств дать мне не может, но в Лондоне в этом убеждены, и британское министерство решилось предупредить такое важное событие и вмешаться в дело примирения, и он, герцог, имеет предложить мне некоторые основные пункты этого примирения. Видя, что Англия после многолетних оппозиций нашим желаниям сама идет к нам навстречу в этом деле, сама предлагает те основания, в которых союзники уже были согласны, что Англия решилась одна овладеть переговорами, я думал, что оказываю услугу союзу, присоединяя к Англии тот самый союз, которого требования она прежде отвергала; я считал себя в эту минуту представителем всех союзников, блющим за их интересами. Минута была дорогая, герцог давал мне возможность воспользоваться ею, и я воспользовался. И, предполагая даже, что относительно меня существует недоверие, я говорил сам себе: будут себя успокаивать тем, что Россия станет полагать преграды английскому честолюбию, а Англия русскому. Мои намерения были чисты. С большим доверием к ним меня бы лучше поняли. Один только прусский король оценил положение, в котором я находился; он мне это доказал прелестным письмом, которое я буду хранить как драгоценный знак его дружбы»⁴.

Вследствие уступки Порты требованиям императора Николая уполномоченные с русской и турецкой стороны съехались в Аккерман. Первая половина вопроса улаживалась окончательно; но на очередь становилась вторая, и в Вене сильно беспокоились. И что всего досаднее, греки потерпели сильное поражение; султан, следовательно, получил возможность прекратить восстание собственными средствами, а тут, как нарочно, вмешательство! Меттерних пишет австрийскому послу в Лондон князю Эстергази: «Если Пелопонез, один или с островами, представляет — чего мы не допускаем — необходимые элементы для государства политически незави-

⁴ Дешети 7 июня 1826 г

симого, то существование такого государства достаточно, чтоб сделать существование Оттоманского государства в Европе проблематическим; соединение же всех стран, населенных греками, в одно целое сделало бы существование Порты невозможным. В том и другом случае образование независимой Греции будет синонимом изгнания турок из Европы. Чего может и чего должен желать наш двор? Он постоянно будет желать, чтоб первые причины движения, игры отвратительной и опасной, исчезли как можно скорее. Он не видит другого лекарства против зла, кроме умиротворения восставших областей! Но умиротворение может произойти тремя путями: чрез добровольное подчинение греков Порте; чрез окончательное усмирение восставших силою турецкого оружия; наконец — чрез полюбовное улажение дел с помощью держав, посредничающих между султаном и его возмущившимися подданными. Это последнее средство было предметом забот нашего двора в продолжение пяти лет. И теперь благодаря торжеству Порты над восстанием дело переменялось. Никогда мы не признаем права препятствовать умиротворению, которое держава, законно существующая, может совершить собственными средствами. Говорят об истреблении целого народа, о его переселении; не допуская даже возможность этих слухов и давая требованиям человеколюбия тот вес, какого они заслуживают, мы не принесем им в жертву принципов, с падением которых рушится все, что ни есть положительного, священного в кодексе международного права».

В сентябре 1826 года кончились переговоры между русскими и турецкими уполномоченными в Аккермане. Порта уступила всем требованиям России; между обеими империями восстанавливались вполне дружественные отношения; тайный советник Рибопьер, участвовавший вместе с графом Воронцовым в аккерманских переговорах, отправился теперь послом в Константинополь; но здесь задача его была труднее; здесь он вместе с представителями других европейских держав должен был настаивать, чтобы Порта дала Греции устройство, согласно петербургскому протоколу 23 марта. Австрия не могла уклониться от общего дела, но, как охотно соглашался на это князь Меттерних, видно из депеш его Оттенфельсу от 30 декабря (н. с.): «Говоря с рейс-эфенди, вы не осуждайте, не оправдывайте, даже не вводите в рассуждение насчет средств, предлагаемых дворами Лондонским и Петербургским; вы только поддерживайте как существующий факт планы, на которых остановились дворы». Не уклоняясь от общего действия для решения Греческого вопроса, Меттерних продолжал, однако, настаивать, чтобы это решение было актом воли султана, а не следствием посредничества европейских государств. С русской стороны доказывали ему всю непрактичность подобного требования. «Если бы, — писал граф Нессельроде Татищеву, — можно было дать такой характер окончанию печальной борьбы, то, конечно, мы не стали бы этому проти-

виться; думаем, что Англия и другие дворы не стали бы возражать против такой развязки, если бы только акт Порты был точно так же гарантирован, как гарантированы акты, относящиеся к Молдавии, Валахии, Сербии, ибо без этой гарантии греки будут смотреть на уступки Порты как на обман».

Наступает 1827 год, в который Греческий вопрос так или иначе должен был решиться. В Петербурге видели ясно, что он может решиться только энергическими средствами. «Мы не скрываем, — писал гр. Нессельроде Татищеву, — что средства ведения дела, в которых мы условились уже с союзниками, кажутся нам недостаточными. Мы на них согласились, потому что нам нужно исчерпать все пути примирения; но мы не верим в их действительность, ибо наш собственный опыт заставляет нас предвидеть случай, когда эти средства окажутся недействительными, и мы предлагаем Великобритании условиться насчет дальнейших средств. Решено, в случае отказа со стороны турок, пригрозить им признанием независимости Греции. Можно ли иметь уверенность, что эта угроза склонит Порту к уступчивости; Турки не могут не видеть, что Греция, разделенная на партии, управляемая эфемерными властями, не может еще быть признана союзными державами как независимое государство. Только в отдаленном будущем турки могут предусматривать возможность осуществления сделанной им угрозы, и этот страх пред отдаленною бедою заставит ли их согласиться на пожертвование непосредственное? Не думаем. То же самое можно сказать и о решении более энергическом — отозвать посланников. И это решение не дает полной уверенности в успехе. И сначала Порта умела различать, с свойственной ей проницательностью, простые дипломатические демонстрации от твердо принятых решений. Издавна она привыкла быть равнодушной к первым и готовою уступить вторым. В 1821 году мы прервали с нею дипломатические сношения; наши союзники не пощадили угроз, и, однако, нашим самым справедливым требованиям не было удовлетворения; но Порта по инстинкту угадала минуту, когда ее сопротивления должны были прекратиться, — и в пять месяцев покончено было дело, которое не могло быть кончено в десять лет, как скоро Порта признала, что ее упорство может возыметь для нее опасные следствия».

Для приглашения союзников к постановлению дальнейших мер, в случае упорства Порты, Россия воспользовалась предложением Франции обратиться протокол 23 марта в договор и, таким образом, дать обязательствам более торжественный характер. И в протоколе 23 марта Россия и Англия отказывались от всяких исключительных выгод; то же самое Россия предлагала внести и в договор. Порта ускорила заключение этого договора: на требования Стратфорда Каннинга рейс-эфенди отвечал, что султан, по закону божественному, по праву завоевания и по торжественному признанию от всех держав, есть законный государь областей, находящихся теперь

в возмущении, и потому никогда не признает ни за каким иностранным двором права вмешиваться между ним и возмутившимися подданными. Так как Порты не вмешивается во внутренние распри Англии и ирландскими католиками, то надеется, что и Англия удержится от вмешательства в греческий мятеж. На представлении Рибоьера, что мир и дружба, восстановленные между Россиею и Портою в Аккермане, могут утвердиться окончательно только с умиротворением Греции, которое одно установит мир в Европе, — рейс-эфенди выразил удивление, что Россия теперь мир и дружбу между обеими империями приводит в зависимость от греческих дел, тогда как в Аккермане она высказалась, что не предъявит никаких требований относительно греков.

«Вы ошибаетесь, — отвечал Рибоьер, — никогда русские уполномоченные этого не объявляли и не могли объявить, потому что император никогда не отказывался и не откажется от своих прав стараться об умирении Греции; если граф Воронцов в жару разговора вам сказал, что Россия не будет говорить в Аккермане о греческих делах, то эти слова имели такой смысл, что Русский двор не хотел усложнять еще более распри между двумя правительствами; он хотел прежде всего покончить свою честную распрю, чтоб потом обратиться к Порте, как держава дружественная, с представлением о необходимости умирить Грецию». «Ни угрозы, ни оружие, — возразил рейс-эфенди, — не заставят Порту отказаться от решения не допускать постороннего вмешательства, и если этот предмет подаст повод к перерыву дружественных отношений между обеими империями, то Порты и тут не переменит своего решения; она знает страшные силы России; знает, что не может бороться с нею: но отоманы предпочтут скорее удалиться в Азию, чем допустят принцип, разрушающий верховную власть и независимость, именно принцип вмешательства державы между государем и его возмутившимися подданными!» И Рибоьер, и рейс-эфенди говорили решительно, но ни с той, ни с другой стороны не было перейдено за пределы дружественного тона; но барон Оттенфельс, передавая об этом Меттерниху, в то же время передавал ему и тревожные вести: Рибоьер говорил одному из доверенных лиц: «Я приехал в Константинополь не затем, чтоб интриговать; я иду прямо к цели, потому что я орган силы!»

Другие известия сообщил барон Оттенфельс Меттерниху о Стратфорде Каннинге, который, по этим известиям, являлся кающимся грешником, ищущим спасения в совете и поддержке австрийского интернунция. «Англия и Австрия, — говорил Стратфорд Каннинг Оттенфельсу, — Англия и Австрия — два государства, которые представляют настоящих хранителей европейского равновесия; они не могут желать его разрушения и встретятся наконец, как бы ни были по наружности различны пути, по которым они идут. Нас несправедливо осуждают за этот несчастный протокол

4 апреля (23 марта); я не перестану никогда жалеть о том, что он появился на свет, и очень бы хотел уничтожить его тем или другим способом; но есть ли теперь какой-нибудь способ к этому? Чтобы судить нас по справедливости, надобно взять во внимание время, когда протокол был подписан. Тогда мы были убеждены во враждебных замыслах России против Порты, и, хотя бы собственно русские вопросы были решены удовлетворительно, что казалось тогда невероятным, все же Петербургский двор нашел бы в греческих делах предлог к войне с турками, и, чтоб именно связать ему руки, мы и задумали эту сделку. Теперь мы видим, куда это нас завело; ясно, что Россия имела в виду только свои интересы, свои честолюбивые виды. Осуждают наше поведение относительно испанских колоний в Америке и видят сходство в нашем поведении относительно Греции и нашим поведением относительно Испании. Но в Америке дело шло только о наших торговых выгодах; тут мы виноваты разве только в том, что скорее других народов увидели, что американские колонии потеряны для Испании; мы первые поняли дело так, как оно есть; другие государства не замедлили последовать нашему примеру. Но все это неприменимо к Греции; наши торговые выгоды требуют щадить Порту; правда, быть может, мы слишком уступили давлению общественного мнения в Англии и в Европе, которое высказывается сильно в пользу греков, но вы знаете наше положение: английское правительство не могло пойти прямо против общественного мнения. Но что сделано, то сделано. Теперь только вы можете мне помочь. Надобно уяснить Порте настоящие виды Англии. Сам я этого сделать не могу; мне никогда не поверят; я своим поведением раздражил Порту; рейс-эфенди ненавидит меня и мое правительство». На другой день барон Оттенфельс написал рейс-эфенди, что британский посланник является *кающимся грешником* (se présente en pécheur pénitent) и желает помириться с его превосходительством.

Но раскаяние было бесплодно. *Что сделано, то сделано*, и надобно было, хотя бы и поневоле, доделывать. От русского вопроса: «Что будем делать, если Порта отвергнет наши представления?» — нельзя было уклониться. Франция, которой очень не нравилась связь между Россией и Англией, требовала общеевропейского постановления и действия. 6 июля (н. с.) в Лондоне заключен был договор уполномоченными России, Англии и Франции. Договаривающиеся державы предложат Порте свое посредничество для примирения между нею и греками. Предложение будет сделано сообщая, и в то же время от обеих воюющих сторон потребуются перемирие. Остальные условия примирения оставлены те же, какие были означены в петербургском протоколе 23 марта 1826 г. Договаривающиеся державы обязались не искать никакого земельного приобретения, никакого исключительного влияния, никакой особенной торговой выгоды. Если по истечении месячного срока одна из вою-

ющих сторон не согласится на перемирие, то договаривающиеся державы принимают меры для воспрепятствования дальнейшим столкновениям между воюющими сторонами, не принимая, впрочем, участия во враждебных действиях между ними.

1876 г.

III ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС В 1827, 1828 И 1829 ГОДАХ

6 июля 1827 года в Лондоне уполномоченными России, Англии и Франции был заключен договор, по которому эти державы обязались сообща предложить Порте свое посредничество для примирения ее с восставшими греками, причем потребовать от обеих воюющих сторон перемирия. Когда в Вену пришло известие об этом договоре, то Меттерних написал интернунцию в Константинополь: «Договор может повести к чему угодно, только не к тому, для чего заключен. Наверное, поведет он к войне между Россией и Портою. Англия будет этому содействовать, но сама воевать не будет; Франция будет игрушкой своих союзников и своих собственных ложных расчетов».

16 августа (н. с.) представители России, Франции и Англии (Рибопьер, Гильемино и Стратфорд Каннинг) передали рейс-эфенди ноту: почти уже шесть лет великие европейские державы стараются склонить высокую Порту Оттоманскую к умирению Греции. Их старания оставались бесплодными — и затянулась война истребительная, результатами которой были, с одной стороны, страшные бедствия для человечества, а с другой — потери, ставшие нестерпимыми для торговли всех народов. Поэтому невозможно допустить, чтобы судьба Греции касалась исключительно одной Порты Оттоманской. Вследствие договора, заключенного нами, три державы предлагают Порте свое посредничество и перемирие и будут ждать решения оттоманского правительства 15 дней; в случае же нового отказа или уклончивого и недостаточного или совершенного молчания прибегнут к средствам, которые сочтут самыми действительными для прекращения положения, несовместимого с истинными интересами Порты, с безопасностью торговли и спокойствием Европы.

Ответа не было. По прошествии срока посланники переслали другую ноту, что союзные дворы постараются всевозможными средствами достигнуть перемирия, то есть, другими словами, постараются не допустить дальнейшего столкновения между турками и греками, причем дружеские отношения союзных держав к Порте должны остаться ненарушимыми. Ответа не было. Рейс-эфенди гово-

рил австрийскому драгоману: «Посмотрим, как далеко пойдут меры наших врагов. Греция, свобода, прекращение кровопролития — все это одни предлоги. Нас хотят выгнать из Европы» Египетский вице-король Мехмед-Али дал знать султану, что к нему является английский полковник Кроудок с предложением от имени трех союзных держав отозвать сына, Ибрагим-пашу, из Мореи, и за эту услугу державы предлагают независимость Египта; но Мехмед-Али не принял предложения. 8 августа (н. с.) умер Каннинг, оставший своим преемником тяжелое наследство: со страшным неудовольствием, с сознанием, что освобождение Греции вовсе не в интересах Англии и даже опасно ей, — они должны были продолжать греческое дело, потому что бросить его, начавши с таким жаром, выставившись на первый план, — до этого не могла дойти даже и бесцеремонность английской политики. Раздражение, происшедшее от сознания трудности дела, усиливалось сильным беспокойством, подозрительностью относительно намерений России. Лорд Дадлей, принявший управление иностранными делами, обратился однажды на прогулке с такими словами к австрийскому послу князю Эстергази: «Что вы думаете о намерениях России в греческом деле?» «Следовало бы мне скорее обратиться к вам с этим вопросом, — отвечал Эстергази, — я чувствую себя неспособным отвечать на него; впрочем, я не поколеблюсь признаться в своих опасениях, что Англия зашла слишком далеко вперед в этом деле против собственных своих интересов и интересов Европы».

В Вене вздохнули свободнее, когда узнали о смерти Каннинга. Здесь увидели, что три державы и Порта находятся в таком положении, которое отымает у них свободу движения; им трудно, пожалуй и невозможно, ни двинуться вперед, ни податься вперед, ни податься назад. Но Австрия совершенно свободна и потому может предложить свое посредничество, причем дело может пойти по ее желанию: интересы союзников различны и даже противоположны; следовательно, связь между тремя державами искусственная и хрупкая. Предложение посредничества сделано Порте и принято ею; в письме великого визиря Мегемета-Селима-паши к Меттерниху говорилось, что Порта готова вступить снова в дружеские отношения со всеми державами, если прекратится их несправедливое вмешательство в ее внутренние дела.

Из Лондона пришло новое утешительное известие, доказывавшее, что в Вене не обманулись в том, что «связь между тремя державами была искусственная и хрупкая». Лорд Дадлей сообщил кн. Эстергази под секретом наказ, отправляемый в Константинополь Стратфорду Каннингу. Последний должен был объявить дивану, что британское правительство адресует еще раз единственно от себя в дружеском тоне к Порте: оно советует ей принять предложение трех держав. Британское правительство, желая положить конец настоящим ужасам и анархии и спасти часть греческого народа

от верной гибели, желает в то же время упрочить политическое существование Турции, а средство для этого — согласие на предложение трех держав. Естественно, что Порты может находить достаточные основания для своих беспокойств и подозрений насчет одной из трех держав, подписавших Лондонский договор; но ее должны успокоить чувства двух других держав — Франции и Великобритании. Принятие ею предложений будет иметь непосредственным следствием то, что она восстановит свои прежние отношения с поименованными двумя державами, которые будут тогда в состоянии или удалить от нее всякую опасность, могущую родиться от развития честолюбивых видов третьей державы, или обеспечить ее с успехом, чего она не достигнет, если поведет себя иначе.

Но эти внушения не успели еще достигнуть Порты, как она была поражена известием, что флот ее истреблен в Наваринской гавани соединенными эскадрами трех союзных держав: Россия, Англия и Франция объявили, что прекратят военные действия между турками и греками; для исполнения этого обещания необходимо было их соединенным эскадрам не дать движения турко-египетскому флоту Ибрагим-паши, что и было сделано в Наваринской гавани; вопрос состоял в том, согласятся ли турки на бездействие; первый выстрел последовал с их стороны, и флот их был истреблен.

И после этого события в Константинополе продолжался дипломатический турнир, который мог доставить удовольствие одному только австрийскому интернунцию, желавшему во что бы то ни стало протянуть время. Посланники союзных держав оставались при своих прежних требованиях. «Наваринская битва, — говорили они, — есть необходимое последствие Лондонского договора, и наши дворы будут крепко его держаться». Турки требовали, чтобы союзные державы отказались от всякого вмешательства в греческие дела и вознаградили Турцию за истребление ее флота. «Если греки, — говорил рейс-эфенди, — получают льготы вследствие измены и бунта, то как это подействует на остальных райев? Наша уступчивость заставит наших друзей ежедневно прибегать к новому вмешательству. Разве вы не можете тогда нам сказать: «Если ваши бунтовщики получили льготы, дайте такие же льготы вашим верным подданным», эти льготы, которые изменяют все положение райев, разве не образуют государства в государстве?» «Мы требуем льгот не для всех греков, а только для жителей собственной Греции», — представляли посланники. «Ваши требования не могут быть исполнены, — говорил рейс-эфенди, — они противны религии и национальности, и никакой договор не дает державам права вмешательства. Вы говорите о собственной Греции и упускаете из виду, что религия и патриарх соединяют всех греков. Если эта связь будет существовать, все греки будут требовать того, что уступлено одной их части». «Все католические государства признают одного папу, и это несколько не мешает их независимости», — говорили послан-

ники. «Так наши друзья желают для греков отдельного управления? — возражал рейс-эфенди. — Султан объявил последние уступки, которые он может сделать грекам: не требовать с них за шесть протекших лет поголовной подати, которую они не заплатили; не требовать вознаграждения за понесенные убытки, со дня покорности освободить их от всех податей на год». Посланники объявили, что эти уступки недостаточны. Порта замолчала. Посланники потребовали паспортов, но и тут сделали последнее представление: «Не согласится ли Порта дать грекам обозначенные в Лондонском договоре права, если греки сами будут с покорностью просить о них пред престолом султана». Получив отказ, посланники оставили Константинополь 8 декабря (н. с.).

Таким образом, в 1828 году дело должно было решиться оружием. Как же будет вестись эта война и чем она должна кончиться? Этот вопрос занимал газеты всех партий, и, по обычаю, газеты толковали о гигантских проектах русской политики, о замышляемых ею приобретениях, о желании разрушить Оттоманскую империю, овладеть Константинополем. Зная, что кабинеты (преимущественно английский) вовсе не чужды этих газетных мнений; зная, что выражение «союзные державы — Россия, Англия и Франция» заключало в себе большую иронию, но желая вместе с тем всеми зависящими средствами поддержать союз, вести дело втроем сообща, император Николай приказал графу Нессельроде отправить в Лондон князю Ливену откровенное изложение русской политики, ее интересов и требований. Перерывом дипломатических сношений с Портою Россия поставлена в печальное положение; ничьи интересы так не страдают от этого, как ее — страдают интересы материальные, торговые, страдают интересы нравственные относительно Дунайских княжеств, Сербии, отношения которых определялись было Аккерманским договором, а теперь ничто не будет исполнено.

С великим удовольствием император узнал, что князь Ливен (11 декабря н. с.) подписал новую декларацию союзным державам, что они по-прежнему будут действовать бескорыстно, к каким бы мерам ни принудила их политика дивана. В этом случае не отвлеченное правило великодушия, не пустое славолубие руководит политикою императора, *здесь настоящий интерес России*. Для России важно, чтобы в Греции образовалось государство, могущее вести свободную торговлю с Черным морем; и этот интерес тождествен с интересом других торговых государств. Для России также важно пользоваться на Востоке влиянием, принадлежащим ей по праву; но это влияние не исключает влияния других дворов европейских и по тому самому не может возбудить ни основательных опасений, ни законного соперничества. Россия, с другой стороны, не имеет *никакого интереса* увеличивать свои владения или разрушать Оттоманскую империю; с того дня, как Греция будет органи-

зована на основании договора 6 июля, а турецкое правительство соблюдет условия, вытребованные нами в Аккермане, — это правительство будет в наших глазах самым удобным соседом, и мы не можем желать более благоприятного блага России. Мы не перестанем повторять, что ни падение Турции, ни завоевание не входят в наши виды, потому что они были бы для нас более вредны, чем полезны. Впрочем, если бы, несмотря на наши намерения и усилия, Божественное Провидение предназначило нас быть свидетелями последнего дня Оттоманской империи, идеи его величества относительно расширения русских пределов останутся те же самые. Император не раздвинет границ своих владений и потребует от своих союзников только такого же отсутствия честолюбия и своекорыстных интересов, которого он первый покажет пример.

Таков будет неизменно наш единственный ответ на фразы, наполняющие газеты всех партий, относительно гигантских проектов русской политики, относительно приобретений, о которых она мечтает, относительно нашего желания разрушить Оттоманскую империю и овладеть Константинополем. Ручательством нашей умеренности служат для союзников *наши истинные интересы и наши торжественные обещания*. Существуют ли между государствами гарантии более верные? Относительно средств заставить Порту подчиниться условиям договора 6 июля Россия конфиденциально предложила союзникам следующее: русское войско перейдет Прут, займет Молдавию и Валахию и не остановится, пока Порты не примет всех условий Лондонского договора, исполнение которого будет единственною целью этих мер. Русские войска займут турецкие области во имя трех дворов — русского, французского и английского. Со стороны всех означенных дворов будет торжественно объявлено, что провинции эти будут возвращены немедленно Порте, как скоро цель войны будет достигнута; союзники, сверх того, обнаружат свои взаимные обязательства не искать завоеваний и исключительных выгод. Союзные эскадры должны содействовать сухопутным русским войскам, защищая греческие берега или действуя наступательно, нападая на места, занятые турками в Морее, на Александрию, и даже явиться пред Константинополем для предписания мира султану. По мнению императора, чуждое вмешательство в отношения союзников к Порте не должно быть допущено ни в коем случае, ни под каким видом; оно не может повести к удовлетворительным результатам и противно достоинству трех дворов, которые должны одни достигнуть этого результата.

Последние слова предложения, разумеется, относились прежде всего к Австрии: император Франц объявил Татищеву, что он не только не будет поддерживать Порту, но прямо объявит ей, чтобы не ожидала ни посредничества, ни поддержки со стороны Австрии. Это объявление вызвало письмо от императора Николая (7 января 1828 года), в котором русский государь заявлял императору Фран-

цу, что союзники никогда не позволят себе удалиться от основного принципа союза, который не позволяет завоеваний и исключительных выгод: таким образом, действия союзников никак не нарушат интересов Австрии, никакое общее колебание не потрясет настоящего положения владений и равновесия государств, установленных актами 1814, 1815 и 1818 годов.

Но Поццо-ди-Борго от 2 февраля писал: «Невозможно объяснить противоречия Венского двора. 15 декабря император Франц обещает Татищеву уговаривать Диван, чтоб тот принял предложения союзников, и объявляет, что в случае упорства Порты не должна ждать никакой поддержки от Австрии. От 22 января граф Аппони (австрийский посланник в Париже) сообщает Тюльерийскому кабинету длинную ноту, где дает союзникам совершенно другие советы, чем какие его кабинет дал туркам. Французское министерство сообщило об этом обстоятельстве лондонской конференции, и лорд Дадлей объявил, что сам князь Эстергази (австрийский посланник в Лондоне), спрошенный об этом деле, отвечал, что ничего не знает».

В то же время князь Ливен сообщил Поццо из Лондона известие, что Австрия хочет устроить Галицию под именем Польского государства для сына Наполеона, герцога Рейхштадтского. Дело было в том, что Австрия не хотела ни под каким видом освобождения Греции; Англия не хотела, чтобы при этом освобождении главная роль принадлежала России, чтобы Турция принуждена была согласиться на это освобождение походом русского войска, который мог иметь неожиданные последствия, разрушить Турецкую империю, по крайней мере нарушить ее целость и во всяком случае усилить влияние России. Пусть русский император дает торжественные обещания, что он не увеличит своих владений и не желает разрушения Оттоманской империи: дело не в увеличении владений, а в усилении влияния России на Балканском полуострове. Вот почему в ответе на русское предложение говорилось, что «нашествие на Оттоманскую империю» (*l'invasion de l'Empire Ottoman*), какими бы уверениями оно ни сопровождалось, породит опасения и возбуждает страсти, несовместимые с спокойствием цивилизованного мира; после долгой тишины, которою наслаждалась Европа, невозможно государственному человеку спокойно смотреть на первое движение великих армий и первое столкновение великих государств. Опыт заставляет бояться, что такая борьба будет только началом длинной цепи замешательств и бедствий. Сознание опасности нарушения мира выражалось постоянно в поведении союзников; мирный дух обнаруживается и в самом Лондонском договоре. Положено было принять меры для установления фактического перемирия между Портою и греками; но исполнение этих мер не должно было вести к настоящим неприятельским действиям. Наваринская битва нарушила эту предосторожность; но это неожиданное событие не пере-

менило ни природы договора, ни намерения союзников, обнаруженного в новых заявлениях в Константинополе, не изменило мирных отношений между этими государствами и Портою.

Договор имел исключительно в виду состояние Греции; следовательно, операции, ограниченные Грециею, будут иметь двойную выгоду — содействовать конечной цели предприятия и не возбуждать опасений насчет целостности Оттоманской империи, которые непременно возбудятся, если сухопутные войска и флот отправятся к ее столице и будут заняты области, отдаленные от страны, в пользу которой условлено действовать. Война между Россиею и Портою в настоящих обстоятельствах получит характер религиозной войны. Турки, расвирепевши от нападения, направленного, по их мнению, против их веры и владений, не будут сообразоваться с правилами, которыми обыкновенно руководятся державы в войнах чисто политических. Восстания обнаружатся повсюду в их империи, и дело, начатое в видах примирения и человеколюбия, кончится сценами убийства и опустошений.

Британское правительство предлагало ограничиться очищением Морея от турок и занятием Коринфского перешейка, после чего будет приступлено к организации Греции под покровительством союзных эскадр и с помощью торговых агентов; морские разбои были бы прекращены, и мирная торговля народов получила бы правильное течение. Чтобы заставить Порту согласиться на принятие посредничества, нужно: с точностию определить пространство страны, к которой оно относится; определить дань, которую греки должны платить Порте; определить вознаграждение, которое должны получить турки за свои земли в Греции; наконец, определить права надзора Турции над Грецией.

«Английская нота, — писал Поццо-ди-Борго, — составлена в таком смысле, как будто бы никогда не было Лондонского договора и как будто бы вопрос начался только сегодня, тогда как инструкции, данные посланникам и адмиралам, устанавливали употребление силы, чтобы заставить Порту согласиться на план примирения. Из этих инструкций очевидно, что употребление принудительных, то есть враждебных, мер было принято в принципе и приложено на практике. Мы должны серьезно исследовать положение, в какое ставит нас завистливая политика Англии и деятельная и неутомимая ненависть Австрии. По нашему мнению, Императорский кабинет напрасно будет рассчитывать на успех коллективной системы, для которой его великодушие принесло столько жертв. Принимая эту систему, он имел целью посредством общего действия достигнуть результатов, получить которые своими одиночными усилиями ему казалось слишком опасным. С своей стороны Великобритания, соединяясь с Россиею, хотела воспрепятствовать этому одиночному действию и предполагавшейся его цели. Франция присоединилась к двум другим государствам, чтоб не остаться одинокою и в надеж-

де устранить столкновения. Австрия избрала враждебную роль с явным намерением уничтожить все эти соображения, замедляя все, способствовавшее их осуществлению, и держа себя в готовности воспользоваться обстоятельствами для внесения смуты в союз. Английский план составлен для того, чтоб оставить Россию и на будущее время в тех неприятных отношениях, в каких она находится к Турции. *Разум нам указывает, что смелость и меры правительства, враждебных или завистливых, будут всегда в противоположном отношении к идее, которую они составят о нашем могуществе*⁵

Положению Австрии и Англии мы должны противопоставить свое собственное и уверить их на деле, что нас нельзя захватить врасплох и что мы в состоянии воздать с лихвою за зло, которое захотят нам сделать. Если князь Меттерних убежден в этой истине, то не посмеет компрометировать империю, которую управляет; а если осмелится, то почувствует следствия. Его слабость сообщится Англии. Для ослабления этой державы наша рука должна быть поднята над Австрией; интерес Англии, состоящий в том, чтобы не подставлять Австрию под удары и не давать нам случая к торжеству, сделает ее посговорчивее. Если эти истины не утвердятся в головах герцога Веллингтона и князя Меттерниха, то мы будем встречать во всем препятствия, и нет интриги или заговора, которых бы против нас не употребили. Франция вела себя твердо и честно. »

Порта упрощала отношения, вызывая Россию на войну. Она разослала ко всем начальникам провинций гатти-шериф, в котором Россия была представлена как непримиримый враг Оттоманской империи и мусульманства: Россия произвела восстание греков; по ее ухищрениям Англия и Франция отнеслись враждебно к Порте; она нарочно возбудила против Турции внутренних и внешних врагов, чтобы помешать преобразованиям, которые должны были возвратить Турции прежнюю силу. Тщетно австрийский интернунций и прусский министр хлопотали изо всех сил, чтобы воспрепятствовать обнародованию этого гатти-шерифа: европейская печать овладела им, и никто не смотрел на него иначе как на объявление войны. За словом следовало дело: все русские подданные были изгнаны из турецких владений. Наследник персидского престола Аббас-Мирза сообщил генералу Паскевичу, что Порта приглашает персиян продолжать войну с Россией, обещая им в скором времени деятельную помощь; наконец, Порта объявляла, что она вовсе не обязана исполнять Аккерманский договор.

Князь Ливен должен был объявить английскому правительству, что если Порта объявляет войну России, возбуждая против нее всех мусульман, то Россия должна вступить в борьбу и даже по-

⁵ Тогда разум, а теперь опыт, и какой опыт? Вспомним Крымскую войну

спешить этим вступлением, чтобы поскорее покончить войну, чтобы не быть принужденною сделать ее слишком решительною и быть в состоянии уменьшить затруднения мира. Какое государство может позволить, чтобы его торговля была остановлена, его подданные выгнаны, его честь оскорблена, его договоры затоптаны ногами? Какое государство может оставить подобные действия безнаказанными? Права России в этом случае неоспоримы и независимы от всех соглашений с другими государствами. Император принужден отвечать войною на войну, и его войска немедленно перейдут Прут. Публичная декларация будет предшествовать этой мере. Все европейские государства найдут в ней обычную умеренность его императорского величества. Россия не предположит для себя ни завоеваний, ни падения Оттоманской империи. Она будет искать только средств обеспечить безопасность и свободу своей торговли, возобновить договоры, нарушенные Портою, помочь христианским народам, которых эти самые договоры ставят под покровительство императора, наконец, получить вознаграждение за убытки торговые и военные. Во всяком случае Россия, раз принужденная прибегнуть к оружию, считает обязанностью чести привести в исполнение Лондонский договор. Английское правительство (с герцогом Веллингтоном во главе) было в крайне затруднительном положении; оно не могло отвергать права России начать войну с Турциею и в то же время больше всего боялось этой войны и успехов России, которые дадут последней главную роль и приведут Греческий вопрос к иному решению, чем какого желала для него Англия. Эта затруднительность положения и раздражение, отсюда происходящее, выразились в ответе князю Ливену. В ответе прямо высказывалось, что теперь союз между Россиею, Англиею и Франциею должен рушиться.

Франция и Англия должны идти по дороге, указанной Россиею, или вовсе не действовать. Война России с Турциею величалась нашествием (invasion) на Турецкую империю, и объявлялось несочувствие его британского величества к этому нашествию. Указывалось на опасность, какую это нашествие грозит спокойствию Европы. Английский кабинет должен был признаться, что принятием побудительных мер, *Наварином*, удалялись от главного правила, запрещающего иностранным державам вмешиваться в распри государя с подданными: но здесь позволено было только требуемое необходимою, а в прочем король хотел по возможности держаться предписаний народного права. Недаром ждали целых шесть лет (и как будто хорошо делали?), прежде чем перешли за линию дружественных внушений. Надобно было давать время на размышление державе, которую вовсе не хотели уничтожить или унижить, а только направить на путь спасения и спокойствия (и после еще 50 лет направляли — с большим успехом!). Продолжительность бедствий необычайных может оправдать решение необычайное; но

вмешательство не должно переходить меры зол, которые предположено целить; было бы несправедливо и неразумно рисковать разрушением империи для возможности улучшить положение части ее подданных, и уничтожение пиратства на морях левантских обошлось бы слишком дорого, если бы следствием была всеобщая европейская война (вот до каких мелких размеров был низведен Восточный вопрос!).

Оканчивали угрозою: «Война между двумя великими державами не может никогда быть так ограничена, чтоб не оставляла за остальною Европою права наблюдать за ее ходом и обсуждать результаты. Россия, считая себя оскорбленною, может требовать удовлетворения; но в эпоху окончательного решения спора интересы других государств, не принимавших участия в борьбе, должны будут также быть приняты в соображение». Кн. Ливен отвечал выражением удовольствия своего правительства, что английский кабинет по своему просвещению и справедливости признал за русским императором право объявить войну Турции. Это признание есть акт, который, открывая Порте глаза относительно одиночества, в какое она себя ставит, может только содействовать сокращению войны. Франция и Пруссия также признали справедливость русского дела; сама Австрия не выражает ни малейшего намерения поддерживать Турцию. Такое единодушие держав рассеет заблуждение Порты; а если европейские державы желают, чтобы Россия не была принуждена продолжать и распространить свои военные действия, дать им силу, которая подвергнет опасности судьбы Оттоманской империи; если державы желают, чтобы император не увеличивал количества вознаграждений по мере делаемых им жертвований, то это единодушие представляет лучшее ручательство в успехе их усилий, лучшее средство получить счастливые и важные результаты. Англия говорила: пусть Россия начинает войну; но пусть знает, что за ее действиями будут зорко следить, не дадут ей распорядиться в Турции, как ей угодно; заставят ее сообразоваться с интересами тех держав, которые и не воевали. Россия отвечала: от европейских держав зависит, чтобы война скоро прекратилась, Турция не подверглась большой опасности и выгоды других государств не были нарушены: пусть только будут спокойны и не вмешиваются в войну.

Но если Россия требовала единодушия держав относительно вмешательства, то в Англии старались уничтожить это единодушие. Французский посланник в Лондоне князь Полиньяк должен был предложить английскому кабинету присоединиться к плану русского двора и действовать в духе договора 6 июля, несмотря на причины, заставившие Россию приняться за оружие. Но Полиньяк скоро должен был известить свой двор, что он не надеется на успех своего предложения; Англия выходит из союза, будет действовать смотря по обстоятельствам и будет искать союзников на континенте.

те. Прежде всего она стала предлагать Франции остаться в союзе с нею и объявить Россию вышедшею из союза, но встретила сильный отпор. Король сказал Поццо-ди-Борго, что герцог Веллингтон заблуждается; что идея исключить Россию из участия в исполнении договора 6 июля противна праву и политике; что во всяком случае вмешательство императора в восточные дела есть условие необходимое, особенно же когда 200 000 русского войска стремятся в сердце страны, о которой надобно совещаться; что Франция употребит все возможные старания не ссориться с Англиею, но что не скомпрометирует себя относительно России и не разлучится с нею никогда. «Во Франции, — писал Поццо, — желают освобождения греков, усматривают вдали изгнание турок из Европы, завидуют Англии и, однако, не знают, как извлечь какую-нибудь существенную для себя выгоду из успехов России. При таком нерешительном положении господствует одна идея — приготовляться и ожидать событий».

Но в России, зная враждебность Англии и Австрии, желали большей определенности в отношениях к Франции. Поццо обратился к министру иностранных дел Лаферронне с вопросом: что будет делать Франция, если Англия и Австрия объявят войну России? 9 апреля Поццо был позван за ответом к самому королю; Карл X сказал ему: «Война императора с Портою справедлива, потому что султан нарушил договор, которого печать еще не успела простыть. Я не думаю, чтоб Англия объявила вам войну. Если такое несчастье случится, то я найдусь в большом затруднении, ибо если я вступлю в союз с Россиею, то должен буду ожидать, что все удары обратятся на Францию, которая не имеет средств отплатить равною монетою в войне чисто морской. Но если мы сделаем значительные приготовления и будем поддерживать с императором самые дружественные отношения, то английское правительство не раз подумает, прежде чем решится; а если решится, то положение Франции, готовой принять участие в борьбе смотря по обстоятельствам, сильно будет ее беспокоить». Тут Поццо сказал: «Государь! Есть еще обстоятельство: если Австрия соединится с Англиею против России?» Король прервал его и сказал решительным тоном: «Тогда император найдет во мне искреннего друга и верного союзника. Но нам нужно ввести Пруссию в нашу систему; она подбавит большую тяжесть на весы, и Франция получит бесконечное облегчение, если избегнет необходимости бороться с нею».

В то время как Поццо пересылал в Петербург описание своего разговора с Карлом X, австрийский посланник в Петербурге граф Зиши пересылал князю Меттерниху описание своего разговора с императором Николаем. Император начал подробным рассказом о том, как началось дело с приездом герцога Веллингтона в Петербург: «Он мне начал говорить о восстании греков; о невозможности со стороны Порты потушить восстание и установить порядок; о

страшных страданиях человечества; о крови, несправедливо пролитой, без достижения цели; наконец, о торговых потерях, претерпенных уже всеми народами, и потерях, которые они должны будут претерпеть, если не положить конец такому состоянию дел. Я отвечал герцогу, что буду очень рад присоединиться ко всякой мере, которую он сочтет удобною для достижения этой цели, но что, сказать правду, я такой новичок в делах и в дипломатии, что не вижу возможности достигнуть цели путем дипломатическим; что если он желает предложить мне свои идеи, то я охотно приму всякое средство, ведущее к цели. Протокол 4 апреля был результатом этого моего требования. Я должен вам заметить, что по моему настоянию включена была в протокол пятая статья, говорящая, что ни одно из договаривающихся государств не будет иметь в виду расширения своих владений, ни исключительного влияния, ни какой-нибудь особой торговой выгоды.

Подумавши несколько дней, герцог Веллингтон согласился на эту статью. Я думаю, что тут первый раз получено было от Англии бескорыстное обязательство участвовать в предприятии, требующем издержек и риска и не представляющем никакого приобретения, никакой торговой выгоды. Я помню, что я говорил тогда герцогу Веллингтону: «Скажите, как, по вашему мнению, турки взглянут на наши меры, имеющие целью воспрепятствовать им в укрощении восставших подданных? Неужели они спокойно согласятся на наши требования?» Герцог Веллингтон мне отвечал: «О! Турки не поведут дела до крайности, когда увидят, что наши решения серьезны. С помощью нескольких фрегатов мы заставим их прекратить военные действия, напугаем их и принудим слушаться рассудка; мы никогда не дойдем до войны». Я спросил опять: «Если, однако, наши фрегаты принуждены будут стрелять, неужели турки примут это за мирные выстрелы?» Герцог отвечал прежнее, что никогда дело не дойдет до такой крайности. Лондонский трактат был следствием Петербургского протокола. Вы и Пруссия не сочли нужным приступить к этому договору, о чем я не перестану искренне сожалеть, будучи вполне убежден, что если бы все пять Кабинетов держали в Константинополе одинаково грозные речи и если бы мы все согласились относительно формы усмирения восставших областей, то не было бы ничего, что теперь случилось.

Я не скрываю от себя неудобства и важных опасностей, сопряженных с предприятием, которое я начинаю; но это не заставит меня отступить от исполнения моих обязанностей. Я искренне буду сожалеть, если обстоятельства мимо человеческих расчетов приведут Порту на край гибели. Я бы желал, чтоб этой печальной катастрофы не было. Я приму начальство над войском, чтоб каждую минуту быть в состоянии выслушивать предложения султана и немедленно остановить войска, когда сочту это необходимым. Я буду вести войну не по-турецки. Впрочем, никакое препятствие не заста-

вит меня оставить мое предприятие, если бы даже последовало падение Оттоманской империи. Без сомнения, это было бы новое несчастье, ибо я не вижу еще никаких средств восстановить это здание, если оно рухнет. Но и это важное соображение не остановит меня. Я не могу себя убедить, чтоб мы успели склонить Порту простыми угрозами или переговорами. Только пушкой и штыком можно победить сопротивление султана. Все мои меры уже приняты, и я не могу отступить ни перед каким препятствием. Убытки, причиненные настоящим положением дел в Одессе, уже простираются до 20 миллионов рублей. По последним известиям, турки позволяют себе страшные жестокости в Сербии вопреки Аккерманскому договору; товары лежат без движения в моих гаванях, потому что Константинопольский пролив заперт для моих кораблей. У меня в руках материальные доказательства, что турки хотели воспрепятствовать миру моему с Персией в минуту его заключения. Я, однако, успел заключить почетный мир с Персией, и если Бог мне поможет в настоящем предприятии, то я заключу мир с Портою, и все убедятся, что я требую от нее только необходимого для русской торговли и того, чем я владел по договорам. Я докажу Европе, что не мечтаю ни о каких завоеваниях, будучи доволен своим положением, как оно есть».

В конце апреля русские войска перешли Прут. Известно, что результаты кампании 1828 года не были так удовлетворительны, как надеялись в России, как опасались в Лондоне и Вене. Здесь, разумеется, были очень рады, а в Константинополе подняли головы. «Дипломатический гений» счел обстоятельство благоприятными для начатия своей кампании; он начал внушать о необходимости для четырех важнейших держав вступить в войну между Россией и Турциею, причем уговаривал английский кабинет действовать на Францию, оттягивая ее от России, обещая с своей стороны действовать в том же смысле на Пруссию. Поццо объявил Лаферроннэ, что никогда император не допустит никакого вмешательства посторонних держав в свои дела с Портою, и французский министр дал решительный ответ, что Франция отвергает всякое подобное предложение. Осенью был в Вене возвращавшийся с театра военных действий герцог Мортемар. Меттерних спросил у него, какое впечатление вынес он о русском войске и о русских генералах. Мортемар отвечал, что вынес о русской армии самое выгодное мнение. Меттерних презрительно улыбнулся и сказал: «Вы, французы, позволяете себе поддаваться блеску; спросите об этом деле нас: мы наблюдаем русских сто лет; их сила только напоказ, и в эту минуту это верно более, чем когда-либо; что касается потерь их, то они громадны, Россия нескоро и нелегко от них оправится».

То же самое было повторено в Париже. 1 декабря австрийский посланник при французском дворе граф Аппони прочел Лаферроннэ депешу Меттерниха, где говорилось, что для прекращения

Восточной войны необходимо собрать конгресс из воюющих сторон и главных государств Европы: настоящие обстоятельства представляют великие удобства для того, чтобы действовать на дух русского императора; русская армия находится в совершенном разрушении и разложении, физическом и нравственном; генералы потеряли дух, ссорятся друг с другом. Император в глубоком унынии; турки увеличивают свои силы и мужество, они отымут у русских Варну зимою; великий визирь поклялся в этом своею головою — у него будет 150 000 войска для этой операции; в будущую кампанию 300 000 турок бросятся на русские владения, опустошат все на своем пути.

Разумеется, «дипломатический гений» не верил ни одному слову из всего этого; но ему нужно было напугать Францию, принудить ее отстать от России и соединиться с Англиею и Австриею, без чего ни той, ни другой нельзя было предпринять ничего против России. Герцог Веллингтон также вел атаку на Карла X. Для успеха дела нужно было переменить настоящее французское министерство, ибо Лаферроннэ был сильный приверженец русского союза. Влияние Веллингтона, которого военная слава далеко превышала дипломатическую славу Меттерниха, было сильнее и тем опаснее для России. Веллингтон выставлял себя охранителем монархических принципов во Франции с большею умеренностью, чем Меттерних; но это самое делало его влияние еще опаснее. Французский посланник в Лондоне князь Полиньяк, приобревший вскоре потом такую печальную известность, был оболещен Веллингтоном и собственным честолюбием и готовил себе министерское место. Полиньяк, приехавши на время в Париж, попробовал склонить короля к соглашению с Англиею и Австриею; но Карл X остался непреклонен. Он сказал ему прямо: «Я хочу остаться в союзе с Россиею; если император Николай нападет на Австрию, то я буду действовать смотря по обстоятельствам; но если Австрия нападет на Россию, то я сейчас двину войска против первой. Быть может, война против Австрии мне будет полезна, потому что прекратит внутренние смуты и займет нацию в широких размерах (en grand), как она желает».

Но если бы даже Франция оказала и более податливости, то это не вывело бы лондонский кабинет из того затруднения, в какое он был повергнут политикою Каннинга и тройным договором относительно Греции. Благодаря этому договору Россия, Франция и Англия продолжали считаться союзными державами и по-прежнему продолжали совещаться. Постоянные выходы Меттерниха против греческого дела, против Лондонского договора только раздражали английское министерство, которое сочло нужным наконец бесцеремонно дать понять хозяину австрийской политики, что не соответствует дипломатической гениальности толковать одно и то же попусту, ибо ничто на свете не побудит Англию отклониться

от Лондонского договора, хотя бы она сама считала его досадным промахом; что если Меттерних хочет действовать с пользой для Австрии, то должен прежде всего употребить все свое влияние в Константинополе, чтобы заставить турок принять предложение трех держав относительно Греции, а потом мир между Россиею и Портою уже легко может быть заключен.

26 декабря 1828 года отправлена была из английского министерства иностранных дел знаменитая депеша к лорду Коулеу, посланнику его британского величества в Вене. Без сомнения, можно допустить, говорилось в депеше, что русская кампания сравнительно с ожиданиями императора Николая и его армии и несмотря на взятие Варны совершенно не удалась. Эта неудача соединена с значительными потерями всякого рода, потерю лошадей, багажа, военного продовольствия и — что еще чувствительнее — потерю, по крайней мере временную, репутации непобедимости, приписываемой русскому войску, может быть, и с излишнею легкостью. Но остережемся выводить из этого ложное заключение! Эти потери можно вознаградить, после них можно оправиться. Очевидно, что опасение несчастий, испытанных русскою армиею, очень преувеличено. Не забудем, что не было ни одного генерального сражения и что император не испытал никакого значительного поражения. Были сделаны ошибки в плане кампании и в операциях относительно перехода Балкан; но ничто нас не уполномочивает предполагать повторение этих ошибок. Верно также, что ряд случайных препятствий, на возвращение которых никак нельзя рассчитывать в другую кампанию, останавливал успехи русского войска. Чрезвычайное поднятие дунайских вод замедлило переход через реку на шесть недель. Сухость лета была почти беспримерна, а в стране между Дунаем и Балканами, не имеющей рек и постоянно дурно орошаемой, армия много потерпела от дурного качества воды и недостатка ее, потому что источники пересохли. Зима отличалась таким же чрезвычайным характером. Необычайно жестокие холода начались очень рано и сделали осадные работы невозможными. Но каковы бы ни были русские потери и какое бы влияние ни оказали причины естественные и неизбежные, мы сильно ошиблись, воображая, что император Николай будет от этого иметь менее средств будущей весной выставить силу, превосходящую ту, с какою он начал первую кампанию.

И что противопоставит ему султан Махмуд? Он сам, несомненно, обладает твердостью характера и силою воли в уровень с трудным и опасным положением. Народ его одушевлен религиозным энтузиазмом, способен на большие жертвования, чтобы противиться нападению, по общему мнению несправедливому. В организме Оттоманской империи могут быть скрыты или мало видимы пружины, значение которых трудно определить с точностью; но никто не посмеет рассчитывать на долгое и деятельное сопротивление

ние государства, которое не обладает никакими финансовыми средствами, которого войска представляют буйную толпу без всякой дисциплины и которого вся правительственная система состоит в разрушении и анархии. В депеше предписывалось лорду Коулею обратить внимание Меттерниха на неизбежные последствия завоевания Турции русскими, на противоположность между турецкими областями и областями всякого другого европейского государства. В последних после самых кровавых войн и самых широких завоеваний мир излечивает все раны. Формы правления изменяются, династии низвергаются или восстанавливаются, а состояние общества и действие законной власти остаются нетронутыми. Но оттоманскую власть, раз разрушив, восстановить невозможно. Каждая провинция находится в состоянии смут и возмущения не только против верховной власти султана, но и против всякой власти и всякой собственности. Нельзя хладнокровно смотреть на ужасы подобной войны; нельзя предвидеть ее конца, верно одно — что мы достигнем этого конца только после долгих терзаний и смертоубийств. Известно, как важно для короля поддержание независимости Турецкой империи. Но каковы бы ни были обязанности и желания на этот счет, теперь, когда Турция еще существует, вопрос изменяется, если Турецкая империя будет разрушена и мусульмане изгнаны из Европы; ибо тогда какой государь будет в состоянии наложить на своих подданных тяжести и пожертвования с целью возвратить турок в среду христианских народов?

Эти замечания, быть может, склонят австрийское правительство действовать в том направлении, которое мы считали самым благоприятным для мира, единственным, которым, как нам кажется, можно его достигнуть. До тех пор пока статьи Лондонского договора не будут исполнены, Англия и Франция не будут в состоянии с успехом содействовать ни установлению всеобщего мира, ни сохранению султанского престола. Что бы ни случилось, они не могут разорвать своих обязательств и, предположив даже вражду с Россией, они не будут в состоянии отстать от своего договора. Венский двор никогда не одобрял начал, на которых постановлен Лондонский договор, и у нас нет намерения входить здесь в споры о достоинствах этого договора. Допустим, что заблуждения и несправедливость участвовали в его происхождении. Если договор был зло, то это зло твердо установившееся, и такое зло, которого вред увеличивается по мере его продолжения. Если австрийский министр думает, что предвиденные им затруднения заставят нас нарушить наши обязательства, то он впадает в роковую ошибку. Его величество искренне желает независимости и твердости Турецкой империи, но сохранение собственной чести для него дороже, и, пока обязательства Лондонского договора будут существовать, его величество не перестанет соблюдать их. Поэтому главным делом австрийского кабинета должно быть употребление всего своего влияния в

Константинополе, чтобы достигнуть улажения греческого дела, потому что этим условия Лондонского договора будут исполнены, Англия и Франция освободятся от их обязательств. Выполнение этого условия облегчит всеобщее замирение гораздо более, чем попытка произвести прямое сношение Порты с Россиею. Как скоро Лондонский договор будет исполнен, Франция и Англия сейчас же будут в состоянии содействовать примирению. Мир будет восстановлен посредничеством, которое обеспечит его твердость Император Николай, позволительно надеяться, согласится покончить распрю с Портою на условиях умеренных. Заявления его императорского величества и его характер дают полное право так думать; а если бы случилось иначе, то нетрудно будет указать средства, которыми Англия и Франция могут добиться условий мира справедливых и приличных. Так вот что теперь должно быть целию всех усилий князя Меттерниха. Оставя все свои прежние возражения против Лондонского договора и хлопоча о его исполнении так же усердно, как бы он был *делом австрийского кабинета*, князь даст двум державам возможность содействовать великой цели, в которой они одинаково заинтересованы.

Тяжело, унижительно было «дипломатическому гению» получить такое внушение, бесцеремонно говорилось ему, чтобы он бросил свои широковещательные возражения против Лондонского договора и старался о его исполнении точно так, как если бы он был творением его рук; бесцеремонно говорилось ему, чтобы он не рассуждал, а исполнял. Страшное унижение для человека, который любил выставлять себя руководителем европейской политики, руководителем государей. Предписание велит стараться об исполнении ненавистного дела, как будто это дело было его собственное: оскорбительная насмешка! Но делать нечего, надобно исполнить приказание. Уже и прежде Меттерних отчаивался в возможности уничтожить Лондонский договор и придумывал, как бы из двух зол выбрать меньшее, пришел к тому заключению, что гораздо выгоднее совершенно освободить Грецию из-под власти турок, ограничив ее территорию Морею и островами, ибо оставление Греции под властью султана поведет к гарантии, к вмешательству, причем русское влияние будет господствующим. Меттерних приказывал интернунцию обращать внимание Порты на то, что вассальная Греция поведет к таким же хлопотам, как и вассальные Дунайские княжества.

Меттерних должен повиноваться приказанию западной силы; но он, слабый, поставлен в самое затруднительное положение: западная сила, несмотря на соперничество, не хочет, не может разрывать с восточною силою. Надобно, следовательно, умиловить и другую силу. В Петербург отправляется граф Фикельмон с письмом императора Франца к императору Николаю и с словесными объяснениями. Цель этих объяснений состояла в том, чтобы оправдать поведение Австрии в начале войны; уничтожить неприятные

впечатления, которые часто производило это поведение; отречься от всякой попытки вмешательства между Россиею и Портою. Средство достигнуть своей цели было употреблено обычное: указать на революционное движение, господствующее во многих странах, что грозит великою опасностью в будущем.

Татищев должен был отвечать на это кн. Меттерниху по депеше гр. Нессельроде от 24 февраля 1829 года: так как Турецкая война продолжается и так как по *чуждым влияниям* сопротивление Порты приняло характер упорства, то Россия должна обратить все свое внимание на интересы, касающиеся ее чести и благосостояния ее подданных, и потому средства, которые она могла бы выставить против обнаружений революционного духа, необходимо будут парализованы. Австрия больше всех других государств должна желать заключения мира, но мира славного для императора и выгодного для империи, ибо, если мир не будет носить этого характера, значение и политическое влияние России потерпит ущерб и нравственная поддержка, которую Россия должна будет дать государствам дружественным или союзным, будет непродолжительна и недействительна. Но, по удивительному противоречию, Австрия сочла своею обязанностью вести себя совершенно иначе: она одобряет сопротивление султана; ее нейтралитет не всегда беспристрастен, ее сочувствия клонятся, очевидно, в пользу Турции; язык ее газет умаляет наши успехи и преувеличивает ничтожные неудачи. Пусть Австрия откажется от плачевной политики, какой она следовала до сих пор; пусть ее агенты в Лондоне поддерживают русское требование, чтобы новая греческая территория имела обширнейшие пределы, а не ограничивалась Мореею и Цикладами.

Это желание России увеличить греческую территорию встретило в начале 1829 года сильное препятствие. Преданный русскому союзу французский министр Лаферроннэ, опасно заболев, должен был сложить с себя должность и уехать в Ниццу. Король прочил на его место любимца своего Полиньяка, который окончательно усилил бы английское влияние. Это удалось; несмотря на то, Поццо писал: «Очевидно, что наши противники не восторжествовали; но и мы далеки от победы, особенно по отношению к Греции. Герцог Веллингтон имеет над королем (французским) большую власть, которою он имеет случай ежегодно пользоваться благодаря близости двух столиц. Недовольный своим внутренним положением, этот государь тоскует о своих любимцах и не имеет никакого доверия и мало уважения к тем, которых должен употреблять в настоящее время. Герцог Веллингтон льстит этому чувству и одобряет его; кн. Полиньяк служит посредником их тайных сношений. Подле интересов и мотивов столь личных и страстных греческое дело становится второстепенным, и люди, которые советуются с герцогом о том, как должно управлять Францией, не станут бороться с ним, когда пойдет дело об определении границ Греции. Из этой запу-

танности и из этого ложного положения проистекают противоречия между обещаниями, мне данными в Париже, и неопределенным языком, которым французские агенты говорят в Лондоне. Что касается народного чувства, то оно никогда не высказывалось так громко за Россию, как теперь. Роялисты, называющие себя чистыми, и конгрегация высказались против нас, как сумасшедшие, проповедуя учения Англии и Австрии: этой непонятной глупости было достаточно, чтоб заставить всех других обратиться на нашу сторону».

Вследствие усиления английского влияния Франция согласилась на возвращение своего посланника вместе с английским в Константинополь для улажения греческого дела; но союз по этому делу был тройной; и так как русский посланник не мог возвратиться в Константинополь, то Россия здесь фактически исключалась из союза. Когда Поццо заметил Карлу X о неожиданности такого решения со стороны Франции, то король отвечал, что нельзя было позволить, чтобы один английский посланник возвратился в Константинополь, а это было дело решенное и отговорить от него герцога Веллингтона не было никакой возможности. Султан, окруженный австрийским интернунцием и английским посланником, будет смотреть только их глазами и слушать их ушами, тогда как французский посланник граф Гильемино может не только наблюдать за их поведением и за характером их внушений, но сдерживать их и противоречить им в случае надобности, так что представитель Франции будет вместе и представителем России; император будет уведомляем обо всем, что ни произойдет в Оттоманской столице.

Поццо, разумеется, не мог быть успокоен этими словами и прямо высказал королю, что кн. Полиньяк действовал слабо в Лондоне; но в Париже старались по возможности поправить дело: Гильемино действительно было наказано, что если султан откажется смотреть на обоих посланников как равно уполномоченных и России, то он должен немедленно порвать все сношения с Портою по греческому делу и отдать отчет королю, не позволяя Гордону (английскому посланнику) уговорить себя к какой бы то ни было сделке, что он должен считать себя представителем русских интересов более, чем своего товарища; покровительствовать русским подданным, оказывать им всевозможную помощь; ему дается право делать непосредственные сообщения в Петербург, если сочтет это своею обязанностью, и, наоборот, если бы император поручил ему что-нибудь, должен исполнить поручение немедленно.

Между тем кампания 1829 года началась. От 26 июня (н. с.) Гордон писал своему министерству из Константинополя «Кажется, очень верно, что военные действия ограничатся линиею Дуная и другой год пройдет прежде, чем русские получат надежду перенести свои операции на эту сторону Балканов». Менее чем по про-

шествии двух месяцев после этого русское войско уже занимало Адрианополь. Император Николай велел спросить у Поццо, что делать, если упорство султана заставит овладеть Константинополем. Поццо отвечал, что «все зависит от обстоятельств взятия этого города: если султан в порядке отступит в Азию, то с ним можно договариваться, предложить ему мирные условия и, если согласится, восстановить его в Константинополе. Если же он погибнет и Турецкая империя разрушится, тогда, принявши военное положение, самое способное заставить уважать русскую политику, император может пригласить главные государства Европы под его председательством распорядиться некоторым образом судьбою страны, которую его величество освободил своим оружием и которую желает возвратить цивилизации и правительству благоустроенному. При этом Россия должна получить Константинополь, оба берега Босфора, Дарданеллы и остров Тенедос. Константинополь можно сделать вольною гаванью, город получит самоуправление; но в нем будет русский гарнизон, который будет давать России, так сказать, молчаливое влияние. Слабому государю отдать Константинополь нельзя, потому что тут будет постоянная борьба между русским и английским влиянием».

Но султан не хотел ни уходить в Азию, ни погибать в Константинополе, он спешил мириться; 24 августа (н. с.) двое сановников Порты отправились к главнокомандующему русскою армиею с мирными предложениями; им было наказано относительно всех статей договора *полагаться на волю и справедливость* императора Николая. Гильемино писал своему министерству, что условия мира, предложенные с русской стороны, бесконечно великодушны. Французский посланник прибавлял, что раздражение и отчаяние его товарища Гордона выше всякой меры и что он нисколько их не скрывает.

1876 г.

ПРОГРЕСС И РЕЛИГИЯ

Десять лет тому автор предлагаемой статьи считал нужным вооружиться против нападков на прогресс, которые находил вредными для правильного исторического понимания. Тогда он писал: «К каким невероятным странностям и к какому бесплодию ведет анти-историческое направление и этот буддистский протест против прогресса, это стремление возвратиться к первоначальной простоте отношений, — стремление, обличающее недостаток нравственных сил, неумение сладить с прогрессом, материализм, неверие в нравственные силы человека, который, по мнению новых буддистов, тогда только чист и свеж, когда живет в лесу, и портится, когда выступает на высшее общественное поприще»¹. Теперь чувствуется надобность вооружиться против крайностей направления противоположного, против обоготворения прогресса, которому должно быть подчинено все, которому должна быть подчинена религия, из чего выводится необходимость новой религии, ибо христианство, говорят, не соответствует более той степени прогресса, на которой находится теперь человечество. Мы не берем на себя задачи, которая не по силам нашим, — задачи защищать христианство; мы не коснемся богословских вопросов; мы ограничимся одною научною историческою средою и ее средствами постараемся уяснить вопрос об отношении прогресса к религии, и именно к христианству, потому что без решения этого вопроса невозможно и решение других важных исторических вопросов.

Люди, с мнениями которых мы будем иметь дело, глубоко, как говорят они сами, убеждены, что «религия есть неистребимая потребность натуры человеческой; если иногда кажется, что потребность эта ослабевает и будто засыпает, то потом она вдруг пробуждается с большею силою. Ясно также, что новые учения не представляют достаточной пищи для веры, для потребности верить. Те, для которых религия есть вдохновение чисто индивидуальное, могут довольствоваться верованиями, которые теперь существуют в

¹ См «Исторические письма» // См с 353—404 настоящего издания / Слово «новых» в «Исторических письмах» отсутствует (*Примеч ред*)

общем сознании. Но религия прежде всего есть связь душ: отсюда необходимость церкви и богослужения. Человек не довольствуется проходящим существованием на земле, как бы оно прекрасно ни было; он жаждет вечности. И дело идет не об одном бессмертии, которого он желает: дело — в связи с бесконечным Существом, от Которого он получил свое существование и без Которого он не сумеет жить. Кто будет его руководителем по тернистому пути жизни? Кто будет его вдохновлять в борьбе страстей против требований долга? Где найдет он опору и утешение в неизбежных бедствиях, которые сопровождают самые нежные привязанности? Кто будет поддерживать его надеждой? Кто укрепит его веру в минуты сомнений, изнеможения нравственного? Бог — и только один Бог.

Следовательно, связь между существом конечным и Существом Бесконечным необходима, и эта связь составляет сущность религии. Не признавая этой связи и отвергнув идею религии, философы XVIII века тщетно поставили на ее место человечество: одни обязанности к человечеству не составляют религии. Пусть человек посвятит всего себя ближним; эти действия любви недостаточны для наполнения его души. Если в человеке не удовлетворяется потребность стремления к бесконечному, потребность самая сильная; если бы как-нибудь можно было уничтожить всякую идею, которая не относится к сему должному миру; если бы человек не видал другого горизонта, кроме того, который пред его глазами, то не иссяк ли бы источник самопожертвования? Что осталось бы душе, исключенной в такую тесную темницу, кроме эгоизма, кроме наслаждения удовольствиями этой кратковременной жизни? Если не таков был плод ложных учений философов XVIII века, так это потому, что человек никогда не даст себя изувечить нравственно. Он носит в себе знамение своего божественного происхождения, элемент бесконечного, и не расстаётся с этим стремлением даже в заблуждениях своих. Это не мешает, однако, заблуждению быть губительным, и потому надобно возвратиться к истине. Если б учение о чувствах не смутило свободных мыслигелей XVIII века, вера в бесконечный прогресс, которая их воодушевляла, должна была бы повести их к верованию в бесконечное существование. В самом деле, если допускается, что развитие наших способностей есть цель нашей жизни, то невозможно допустить остановки. Таким образом, идея прогресса, приложенная к индивидууму, тождественна с идеей его бессмертия. В этом философия и христианство сходятся; материализм с своими странностями и пантеизм с своими мечтами не найдут никогда доступа в общее сознание. Общество не может жить без религиозных верований: ему нужна вера, как нужен хлеб»².

² *Laurent* Etudes sur l'histoire de l'humanite XII, p 9, 51, 63, 68, 71, 78, 183, 221

Итак, мы имеем дело не с материалистами и их странностями, не с пантеистами и их мечтами, а с людьми верующими, верующими в личное существование Бога и в бессмертие души человеческой. Мало того, мы имеем дело с людьми, которые требуют положительной религии. «В двух противоположных движениях разрушения и реакции, которые мы видим в XVIII и XIX веках, заключается великое поучение. Разрушение не удовлетворяет: люди никогда не покинут веры, как бы она ни была несовершенна, для ничтожества; они говорят, что лучше иметь какое-нибудь убежище против бурь жизни, чем выставлену быть на ненастье без одежды и крова. Пока длится борьба, люди, принимающие в ней участие, могут вдохновляться разрушением, ими совершаемым; но когда почва усеяна развалинами и осколками и воинский жар потух, что остается борцам? Что остается тем, которые, будучи чужды борьбе, не хотят покинуть своего жилища, как бы оно ни было неудобно, чтобы расположиться под открытым небом на развалинах? Время разрушения прошло, и, только застроивши вновь, мы можем уничтожить то, что осталось от ударов XVIII века. Возведем величественное здание, которое может принять всех требующих убежища, и они поспешат покинуть свои избушки. Как построить это новое здание? Достаточно ли собрать безобразные камни, которые лежат здесь и там, — печальные остатки старой религии? Прочное здание не строится из ветхих, гнилых материалов. Когда хотим восстановить религиозные верования, то надобно вдохновляться не прошедшим, а будущим. Надобно, чтобы прошедшее преобразовалось под влиянием чувств и идей, семена которых Бог вложил в недра человечества. Воспользуемся уроком и примемся за работу; Бог не оставит нас своею помощью»³.

Где-то на Западе хотят строить величественный храм новой религии; по какому плану и рисунку, из каких материалов — не открывают, говорят только отрицательно, что старого не будет. Конечно, можно было бы сказать: подождем, увидим. Но дело в том, что мы принадлежим к страстным приверженцам прогресса, а дожидаться — значит остановиться. Нам скажут: «Зачем останавливаться, сидеть сложа руки и дожидаться — ступайте к нам строить величественный храм!» Мы бы охотно пошли, но прежде позвольте предложить два самых простых вопроса: возможна и нужна ли эта постройка?

Вера признается необходимо несокрушимою в человечестве, но что такое вера? Я знаю то, что совершенно ясно понимаю, чем мой разум овладел вполне собственными средствами; я верю тому, чего понять не мог, для овладения чем средства моего разума несостоятельны. Все, что подлечит моим чувствам, все, что существует материально, подчиняется общим законам бытия, — все это я

³ Там же С 223

могу знать. Но для мыслящего существа есть необходимость признавать разумную причину причин, Высшее Существо, есть необходимость в самом себе признавать то, что не подлежит уничтожению, что должно существовать и по разрушении видимого организма; таким образом, есть необходимость признавать существование особого мира, который мы называем духовным. Явления этого мира и его отношения к подлежащему нашим чувствам миру для нас непостижимы — и здесь-то область веры. Но кому же мы будем верить относительно этих явлений и отношений? Никакому человеку мы не поверим, ибо ни один человек собственными средствами постичь их не может. Отсюда необходимость религии откровенной: только Сам Бог может открыть о Себе и наших отношениях к Нему, сколько для нас нужно и возможно. Но что сам Бог нам откроет, то есть истина вечная и неизменная, ибо только в таковую мы можем верить. Язычник или магометанин нынче верит так, завтра он убеждается в превосходстве христианского учения — и принимает его, потому что верит ему, как единому истинному и божественному. Но если вы скажете человеку, что то, во что он верует теперь, упразднится; что будет религия высшая, но и эта другая, высшая религия упразднится в свою очередь вследствие прогресса человечества, то кто будет верить, кто согласится признавать известное учение истинным, будучи убежден, что спустя некоторое время это учение будет отвергнуто как ложное и заменится другим, а это в свою очередь сменится третьим и т. д.! Нас приглашают строить храм новой религии и позволяют себе толковать о прочности этого здания, не подозревая, что смеются сами над собою самою злою насмешкой: кто пойдет строить *прочное* здание с убеждением в его непрочности? Вся эта бессмыслица происходит оттого, что люди, взявшиеся толковать о вере, не взяли труда уяснить себе сущность предмета, не спросили у первого верующего, будет ли он верить, когда убедится в изменемости вероучения. Для каждого понимающего сущность веры очевидно, что она не может подчиняться прогрессу.

Религия предполагает неизменяемость, прогресс предполагает изменение; но это различие условливает ли их взаимное исключение? Нисколько, если не смешивать насильственно области религии и прогресса. Это будет очевидно из разбора мнений писателей, виновных в таком насильственном смешении, — из разбора их мнений относительно прогресса и христианства, которое они хотя и упразднить как не удовлетворяющее более потребностям времени. Они обращаются к христианству с упреками за то, что оно есть — религия! «Философия и религия, — говорят они, — могут жить в согласии только под одним условием, чтобы религия не происходила путем чудесного откровения и не провозглашала догматов, которых разум принять не может. Если же, напротив, религия считает за собою божественное происхождение; если как основание для сво-

его учения устанавливает таинства, которые разум человеческий не понимает или отвергает, то согласие между философией и религией невозможно»⁴.

Но разум не помешал вам признать бытие Бога и бессмертие души? И разве в то же время разум дал вам средства изучить этот иной, совершенно различный от нашего мира, мир, который мы называем духовным? Разве вы посредством разума узнали существо Бога и существо души человеческой, отдельно от тела пребывающей? Разве разум не признает все это непостижимым, невозможным для изучения, неизвестным? Но какое же мы имеем право заключать от известного к неизвестному, не имея возможности проверить этого заключения опытом? Какое право мы имеем требовать, чтобы условия этого совершенно иного существования были тождественны с условиями известного нам существования? Вы смеетесь над легендами, порожденными детской фантазией толпы, в которых отношения духовных существ представляются в формах здешней жизни; а сами что делаете, требуя, чтобы там не было ничего такого, что бы не походило на здешнее, что бы было непонятно нам, знающим только здешние условия бытия?

Верованиям, догматам христианским противостоят какие-то философские верования и догматы — относительно чего же? Относительно будущей жизни. Говорят: «Если признано, что развитие наших способностей есть цель нашей жизни, то невозможно, чтобы была остановка в этом развитии; следовательно, идея прогресса, приложенная к индивидууму, тождественна с идеей его бессмертия». В этом пункте философия согласна с христианством; но философы, соглашаясь с христианами относительно признания жизни бесконечной, сильно расходятся с ними относительно условий жизни будущей, и причиной тому опять идея прогресса. Христианство учит, что будущая жизнь есть состояние неизменяемое; философы думают, что будущая жизнь для всех существ сотворенных есть продолжение их предшествовавшего существования, непрерывное движение к совершенствованию. Тварь, будучи несовершенна по своей сущности, будет всегда приближаться к цели, никогда ее не достигая; но и никогда не может быть приведена в такое состояние, где бы всякое развитие сделалось невозможным. Нет, следовательно, ни ада, ни рая, но жизнь прогрессивная, имеющая целью идеал совершенства. Прогрессивное существование индивидуума принадлежит к области веры; наука не может утверждать, существовал ли человек прежде чем родился; равно она не знает, где и в каких условиях будет препровождаться будущее его существование⁵.

Итак, вы признаетесь, что не знаете условий будущей жизни;

⁴ Laurent, XII, 68, 69

⁵ Laurent, XII, 217

по какому праву вы утверждаете, что там будет такая же форма бытия, какая заключается здесь, именно форма прогресса? Вы сами говорите, что прогрессивное существование человека принадлежит к области веры: но кто открыл вам эту тайну? Кто проповедал этот догмат? Кому вы поверили? Каким-то философам, которые из идеи прогресса вывели личное бессмертие! Но другие философы, очень известные, вовсе не считали нужным с идеею прогресса соединять личное бессмертие: кому же мы должны верить? В этих вещах можно верить только одному Богу; христиане и верят Ему Одному, не считая для себя позволительным мечтать о формах загробной жизни и переносить в нее формы здешней жизни, ибо это позволительно только детской фантазии необразованной толпы да, как видно, еще каким-то философам.

Последуем за проповедниками прогрессивной религии и будущей жизни в настоящую. Они переносят дело на историческую почву и считают себя здесь твердыми. «Религия подчиняется ли общему закону прогресса?» — спрашивают они и отвечают: «Защитники христианства говорят, что нет, и с их точки зрения они правы, ибо они думают, что обладают истинною абсолютною, а совершенное совершенствоваться не может. Разумеется, те, которые отвергают абсолютную истину, должны по этому самому допустить прогресс истины религиозной как всякой другой истины. Христианство не есть ли прогресс относительно язычества и даже мозаизма? Как этот прогресс совершился? Философы говорят, что переворот совершился работою человечества; верующие утверждают, что христианская религия есть чудесное откровение Божества. История за философов: она учит нас, что прогресс совершался в области религии, как во всех сферах человеческой деятельности. Это решительно для великого вопроса, поднятого нами. Если был религиозный прогресс в прошедшем, то почему он невозможен в будущем?»⁶

Во-первых, здесь незаконное смешение области религии с другими сферами *человеческой деятельности*. Если в известной сфере совершилось что-нибудь похожее на совершающееся в другой сфере, из этого не следует еще, что обе сферы сходны и в обеих господствует один закон. Мы видели, что веровать можно только в абсолютно истинное. Мы знаем одну откровенную религию, в двух заветах состоящую: в Ветхом Завете основным верованием было верование в будущее, в исполнение обетований и завершение всего; в Новом, когда исполнилось и завершилось все, не говорится ничего о возможности будущей новой религии, говорится о будущей жизни в совершенно иных пред нынешними условиях, но в необходимой связи с христианскими верованиями.

Но как скоро наши философы апеллировали к истории, то мы

⁶ Laurent XII 72

с этою апелляцией расстаться не можем. Что такое прогресс, как нам показывает его история? История показывает нам, что все органическое, к которому принадлежат народы и целое человечество, проходит одинаково чрез известные видоизменения бытия, рождается, растет, дряхлеет, умирает. История показывает нам различные степени развития у разных народов, сошедших с исторической сцены и пребывающих на ней; показывает высокую степень развития народов арийского племени, особенно тех, которые поселились в Европе. История этих народов представляет два отдела — древний и новый, языческий, или греко-римский, и христианский. Народы, действовавшие в первом отделе, прошедши известные видоизменения бытия, умерли, передав богатое наследство своим преемникам; те в свою очередь пережили возраст детства; когда пришло время учиться, принялись за книги, оставленные древними, воспользовались богатым наследством и обнаружили блестящие успехи, явили сильную степень развития.

Но в христианстве нет догмата, чтобы народы, его исповедующие, не сходили никогда с исторической сцены, никогда не дряхлели и не умирали, и потому имеем обязанность признать и относительно народов, теперь действующих, общий закон. Когда-нибудь и они перестанут действовать, перестанут существовать. Придет ли очередь кочевникам Средней Азии, неграм Африки, патагонцам Америки — мы не знаем; но закон остается неизменен: человечество в своих настоящих условиях на обитаемой им планете должно одряхлеть и умереть. Христиане веруют, что человечество будет жить иною, высшею жизнью; и наши философы говорят, что веруют в то же самое; но поступают при этом самым непростительным для философов образом: хотят на эту новую жизнь распространить законы и формы жизни иной, старой, прекратившейся — жизни, протекавшей в совершенно других условиях. Прогресс как условие жизни здешней должен прекратиться с ее прекращением, *если не ранее*. Когда последует это прекращение, мы не знаем; *с исторической, до сих пор прогрессивною жизнью человечества на земле находится в связи* то явление в области откровенной религии, что Ветхий Завет сменяется Новым; связь видимая, для нас доступная, состоит в том, что смена Ветхого Завета Новым условила сильнейший прогресс у народов, принявших христианство, — и только. Но из этого никак не следует, чтобы человечество для своего земного бытия нуждалось не в двух заветах, а в пяти или шести. Таким образом, то, что мы называем прогрессом человечества, в историческом смысле условилось тем, что даровитые и в выгодное положение поставленные народы по смерти своей были сменены даровитыми же и в еще более выгодное положение поставленными народами. Идти дальше этого явления историк не имеет никакого права.

Человечество нуждается, говорят, в новой религии, ибо христи-

анство не удовлетворяет более, и вот его вина: «Есть прогресс индивидуальный и прогресс социальный; какое же между ними отношение? Ограничивать прогресс учреждениями социальными и политическими есть заблуждение, в котором виновны социалисты. Социалисты забывают, что человек есть виновник прогресса; следовательно, он должен совершенствовать общество; но как он это сделает, если сам останется неподвижен? Пусть поместят дикаря в самое совершенное общество; он возвратится в свои леса, ибо найдет там существование, более соответствующее своим вкусам и понятиям. Хотите преобразовать общество — начинайте с преобразования человека. Есть еще погрешность более важная в учении социалистов: они низводят человека до животного или до машины; нет нужды до умственного и нравственного развития, лишь бы машина была искусно устроена; человек низведен до инструмента; не он становится целью, но общество, вследствие чего индивидуум поглощается обществом, уничтожается. Но есть другая крайность, состоящая в том, чтобы все приписывать индивидууму, его совершенствованию и равнодушно смотреть на социальные учреждения. Это — стремление стоицизма, и в известных отношениях христианское учение воспроизвело ошибки стоиков. Эпиктет равнодушно сносил свое рабское состояние, ибо внутренне он был свободен, освободившись от тиранства страстей. И христианину не было нужды до деспотизма Римской империи: гражданин небесного Иерусалима, пришлец в мире сем, он имел одну цель — обеспечить спасение души. Христиане, подобно стойкам, забывали, что человек по своей природе — существо общественное, точно так же, как одаренное разумом. Совершенствовать общественные учреждения — значит трудиться для своего собственного совершенствования. Общество и индивидуум находятся под взаимным влиянием друг друга»⁷.

Итак, выходит, что христиане равнодушны к общественным учреждениям, к их усовершенствованию. Но вы сами признаете, что общественное совершенствование находится в необходимой связи с индивидуальным, именно в связи следствия и причины: общественное совершенствование невозможно без индивидуального; человек, неспособный, не приготовленный к лучшему учреждениям, уйдет от них; каким же образом учение, имеющее целью нравственное совершенствование индивидуума, может не иметь приложения к совершенствованию общественному; как может быть мыслима причина без следствия и следствие без причины? Эпиктет мог быть равнодушен к своему рабскому состоянию, освобождая себя, как ему казалось, от господства страстей; христианин-раб так же может быть равнодушен к своему состоянию; но у него есть обязанность любить своего ближнего как самого себя; точно такая же обя-

⁷ Laurent, XII. 75.

занность лежит и на его господине. Если бы слабость человеческая допустила на земле такое общество, все члены которого были бы проникнуты христианским чувством, все любили бы друг друга как сами себя и желающие быть большими были бы всем слугами, то спрашивается: какой бы имели смысл слова: раб, господин, деспотизм и т. п. — спрашивается, какая была бы нужда изменять общественные и политические формы? Но христианство именно ставит такое требование от общества и государства, такой идеал; изменения форм, прогресс в этом отношении происходит от более или менее ясного сознания этого идеала и от невозможности приблизиться к нему по недостатку средств человеческих, от невозможности достигнуть высокой степени индивидуального совершенствования, при которой формы не требовали бы изменений. К чему, например, нужны были бы законные гарантии, ограничения власти, если бы все, владеющие и подчиненные, любили друг друга, как сами себя?

Христианство, постановив такое высокое нравственное требование, которому человечество, по слабости своих средств, удовлетворить не может — а если бы удовлетворило, то упразднились бы изменения форм и прогресс, — христианство, по тому самому, есть религия вечная. Известная религия тогда только может уступить место другой, высшей, когда человечество в своем развитии переступит ее требования, которые окажутся ниже его нравственных стремлений, как и действительно случилось с религиями наиболее развитых народов древности перед пришествием Спасителя. Но когда требования, выставленные религиею, так высоки, что пребудут для человечества недосыгаемым идеалом, то какое основание мечтать о какой-то новой высшей религии? Позволительна ли такая мечта на основании прогресса, когда прогресс именно условливается недосыгаемостью идеала? Таким образом, прогресс несколько не противоречит христианству, ибо он есть произведение слабости человеческих средств и высоты религиозных требований, поставленных христианством; христианство поднимает человечество на высоту, и это-то стремление человечества к идеалу, выставленному христианством, есть прогресс в мире нравственном и общественном.

Прогресс освящается христианством и противоречить ему не может. Но в то же время христианство, ставя наивысший идеал, не может иметь дела непосредственно ни с какими обществами и политическими формами, потому что если бы христианство остановилось на каких-нибудь формах и освятило их, то этим самым оно прекратило бы прогресс. Нашим философам желательны теперь известные общественные и политические формы, и они негодуют на христианство, зачем оно не освятило их; но хороши поклонники прогресса, которые думают, что развитие этих форм уже закончилось! Если же оно не закончилось, то зачем требовать от хри-

стианства, чтобы оно освящало формы преходящие и, связываясь с ними, делалось бы необходимою религиею временною? Наши философы чувствуют свою опасность в этом вопросе и стараются избежать ее; они говорят: «Справедливо, что Иисус Христос приносит глубокомысленное слово, которое служит как бы постоянным побуждением к совершенствованию: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Если человек, существо несовершенное по своей природе, должен беспрестанно приближаться к совершенству Создателя, то чрез это ему задается бесконечная работа совершенствования. Вот, по-видимому, прогресс, и прогресс бесконечный. Но он не производится работою человека, и поэтому здесь не может быть речи о совершенствовании. Как нет прогресса, если Бог открывает истину миру путем чудесным, так точно нет прогресса, если человек получает сверхъестественный свет благодати. Философы также допускают божественное вдохновение, руководство Провидения; но они допускают их чрез посредство человечества, и разум есть орудие индивидуального совершенствования, точно так же, как и социального прогресса»⁸. Отчаянное средство не удалось: хотя и есть прогресс, да нет его; хотя мы и допускаем божественное действие, божественную помощь, божественное руководство, но не допускаем ничего иначе как через разум человеческий. Вам так угодно, гг. философы; вам не нравится средство совершенствования, признаваемое христианами; но своим непозволительным уклонением от настоящего дела к вопросу о средствах вы не достигаете цели: остается очевидным, что христианство требует бесконечного прогресса: «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен».

Удар, направленный против христианства во имя прогресса, не достигает цели: оказывается, что христианство требует бесконечного прогресса. Для наших философов остается ряд жалких придинок, издавна повторяемых. Рассмотрим и эти придирки.

«Зачем, — говорят, — Иисус Христос и апостолы не осудили рабства? Из этого ясно, что христианство есть религия индивидуальная, имеет дело только с отдельным человеком, занимается только его спасением, введением его в общение святых: вот единственная свобода, единственное равенство, единственное братство, которые имеют в виду ученики Христа. Мир политический они оставляют кесарю и прилаживаются ко всем формам правления»⁹.

Отвечаем: если религия требует, чтобы я видел в рабе брата, то этим она укрепляет или ослабляет, подкапывает рабство? Разумеется — второе. Если бы христианство обратилось к народам с требованием уничтожения рабства, то прежде всего они не признали бы

⁸ Laurent, XII. 85, 86.

⁹ Laurent, XII. С. 21.

такой религии; но христианство, отрекаясь от всяких политических форм, обратилось к человеку со своими требованиями индивидуального совершенствования. Лучшие люди, наиболее способные к совершенствованию, послушались призыва, христианство утвердилось и начало подкапывать не нравственные явления в обществах, в том числе и рабство. Что частные люди перед смертью начали отпускать рабов, думая видеть в этом дело, угодное Богу, очищающее грехи, показывает лучше всего, как христианство действовало против рабства, как приготавливало его уничтожение, воспитывая народ в том понятии, что рабство — дело нехорошее; что нельзя иметь рабом человека, искупленного кровию Спасителя, — человека, который есть храм Духа Святого, и т. д. Христианство, отрекаясь от временных политических форм, доступно всем векам, всем народам, на какой бы степени развития они ни находились, и ведет их к возможному совершенствованию, не насилуя их, не требуя от младенца того, что доступно только взрослому, но во всякое время, во всяком возрасте отдельного человека и целого народа, действуя благодетельным, смягчающим образом.

В то время, когда экономические и другие препятствующие развитию условия не позволяют народу освободиться от рабства, христианство действует, смягчая отношения, преклоняя на милосердие господ, доступных его внушениям, и поднимая нравственно рабов. Рабство и теперь не исчезло из христианских стран в разных своих видах, и неизвестно, когда исчезнет; но христианство будет всегда обнаруживать свое смягчающее влияние. Известно, что в странах наиболее развитых и обильных народонаселением, где предложение труда превышает требование, владелец промышленного заведения может относиться к работникам совершенно как господин к рабам и может позволять себе в отношении к ним безнаказанно такие же безнравственные поступки, если отказался от христианства, как религии, не удовлетворяющей более его высоким потребностям, и ждет построения храма новой, высшей религии.

Упрекают христианство за нетерпимость и говорят, что терпимостью мы обязаны философии XVIII века. Здесь видно также отсутствие правильного исторического взгляда. Христиане считали и считают свою обязанностью проповедовать, распространять свою религию и охранять ее; в века грубости то и другое могло совершаться средствами насилия; во времена, отличающиеся большею мягкостью нравов, это совершается другими средствами; но эту мягкость произвело то же христианство, по своей сущности как религия любви. Утверждать противное — значит отказаться от исторического и всякого смысла, отнять у христианства его историческое значение и пойти прямо к отрицанию прогресса. Христианство ведет борьбу с неверием, и не должно думать, что эта борьба недавняя, что ее надобно начинать с XVIII века. Мы встречаемся с неве-

рием во все века; во все века встречаемся с людьми, которые говорят: «Жестокое слово это; кто его может послушать?» Но в одни времена более неверующих тайно: одни — люди равнодушные, исполняющие религиозные обязанности по привычке, ибо все окружающие так делают; нет движения, которое возбуждало бы их к противоположному, не слышится вопроса: «Ты на какую сторону?»; другие из страха выдают себя за верующих; третьи — из политического убеждения, что для массы надобно поддерживать религию, как начало консервативное. В иной век более видимой религиозности — вследствие материальных сдержек правительства и общества; в иной — вследствие нравственных сдержек, то есть более людей, сильных словом и делом, которые ратуют за религию, как, например, в XVII веке на Западе; а иногда таких людей нет, и перевешивает другая сторона, как было там же в XVIII веке.

В это же самое время обнаруживается в обществе стремление к свободе и терпимости, что дает неверию возможность высказаться. Но это стремление произошло вследствие долгой работы веков под влиянием христианства, а не было произведено вдруг учением философов XVIII века, ибо успех на неприготовленной почве есть чудо; а философы чудесного не допускают; да и философы XVIII века, проповедуя терпимость *для себя*, в минуту откровенности признавались, что если бы можно, то они охотно стали бы действовать против христианства диоклетиановскими средствами. Вольтер в письмах своих к Фридриху II жалеет, что философы не довольно многочисленны и не довольно ревностны, чтобы произвести возрождение мира *огнем и мечом*. Понятно, что свобода и терпимость суть важные благоприятствующие условия для христианства в борьбе его с неверием, ибо они всего яснее обнаруживают могущество его средств. Могущество это обнаруживается тем сильнее, чем сильнее напор враждебных сил. Христианство вышло с торжеством из эпохи материального гонения. Философы во Франции воспользовались своим временем в конце XVIII века и возобновили было материальное гонение; но дух нового времени не дает возможности продолжаться этому гонению, и наши философы должны прибегнуть к другим средствам — к гонению насмешками над суеверием, над верою в чудесное, к гонению во имя науки, разума, против верующих, как против невежд и слабоумных, что сильно действует на толпу полубразованных людей, не могущих вникнуть в дело и определить правильно отношение науки к религии. Тяжесть этого гонения усиливается еще друзьями, которые хуже врагов, — людьми, которые в защите религии не разбирают средств и тем самым показывают слабость своей веры, ибо кто верит в божественность и вечность христианства, тот не станет поддерживать его мелкими, нечистыми средствами.

Несмотря на то, дело наших философов находится, по их же словам, не в желанном положении. Так называемые философы XVIII

века сказали все, что можно было, против христианства, так что их последователи XIX века должны твердить только зады. Но как же эти последователи смотрят на деятельность своих предшественников и ее результаты? «Философия, — говорят они, — не считала разрушение исключительным своим делом; если она разрушила, то для того, чтобы на месте старого здания воздвигнуть новое»¹⁰. Теперь послушаем, чем дело кончилось. «Начавшись против суеверия, борьба кончилась враждою ко всякой религии и даже нравственности. Дошли до материализма, до отрицания Бога, духовной стороны в человеке, до отрицания свободы, нравственного закона, дошли до фатализма. Все эти выводы были допущены свободными мыслителями XVIII века, правда, не без протеста. Руссо и Вольтер протестовали против атеизма и его гибельных последствий, но их голос не был услышан; самые смелые шли до конца и на конце находили то, что по справедливости можно назвать ничтожеством. Если здесь вся философия XVIII века, то надобно осудить ее решительно, ибо она ложна в основании. Поспешим сказать, что то, что принимают за учение философов, не есть их настоящее учение: это только оружие против христианства, искаженного церковью. В глазах XVIII века религия была синонимом суеверия, жреческих плутней, господства духовенства; он не хотел этого ни под каким видом и потому не хотел поддерживать идеи Бога, бессмертия души, то есть основных догматов всякой религии, потому и пристал преимущественно к материалистическому учению»¹¹.

Хорошо объяснение и вместе оправдание! Люди шли последовательно от одного вывода к другому и дошли до ничтожества. Но это, говорят, не есть учение, это только оружие. А в XIX веке разве нейдут тою же дорогой и не доходят точно таким же образом до ничтожества? Где же настоящее-то учение? Где же новое здание, имеющее быть построенным из ничтожества, ибо ничего другого в результате не оказалось? Материал отличный! Пора, кажется, приниматься за работу. А между тем старое здание все стоит невредимо; оружие, против него направленное, оказывается недействительным.

Повторяют, что христиане равнодушны к миру сему, ибо религия Христа есть религия другого мира; христианам нет дела до известных политических и общественных форм. Но мы уже говорили о том, что религия вечная не должна быть связана ни с какими временными, преходящими формами, ибо в противном случае она остановила бы прогресс и упразднила бы свободную волю человека или перестала бы быть вечною. Говорят: «Надобно достигнуть такой религии, которая бы давала удовлетворение природе конечной человека и вместе его природе бесконечной: человеку нужна ре-

¹⁰ Laurent, XII 56

¹¹ Laurent, XII 42, 43

лигия этого и другого мира; противоположность между этим и другим миром должна исчезнуть»¹²

Спрашивается, какое другое удовлетворение может дать религия конечной натуре человека, кроме того, которое дается ей в христианстве? Кинут темную фразу об уничтожении противоположности между настоящей и будущей жизнью, об удовлетворении потребностям конечной и бесконечной природы и думают, что сказали что-нибудь, решили что-нибудь. Человек при условиях земной жизни стремится к подчинению себя потребностям своей конечной природы; чтобы не допустить его до совершенного подчинения этим потребностям, надобно его беспрестанно будить, указывать ему на необходимость удовлетворять потребностям бесконечной его природы, что и есть дело религии. Религии не нужно внушать человеку, чтобы он удовлетворял потребностям своей конечной природы: это он сделает без всякого внушения; но величайшего труда стоит ему оторваться от удовлетворения этим потребностям и удовлетворить других; религия напоминает ему об этом; но одних напоминаний мало: нужен пример — и являются избранники, которые показывают возможность для человека освободиться из-под гнетущего влияния потребностей конечной природы и удовлетворять преимущественно потребностям природы бесконечной по предписаниям религии. Против этих-то людей и вооружаются наши философы, их-то и упрекают в оставлении мира сего для мира иного, в нарушении равновесия между потребностями двух природ человека, конечной и бесконечной.

Но посмотрим, может ли быть и должно ли быть поддерживаемо это равновесие? Как скоро вы произнесли эти два слова: *конечное* и *бесконечное*, то вы уже определили, что одно, бесконечное, выше другого, конечного, и последнее необходимо должно находиться в подчиненном отношении к первому. Наши философы утверждают, что человека по смерти ждет не рай и не ад, но прогресс, дальнейшее развитие. Им при этом выгодно скрыть правду, правосудие; но такой отчаянный способ пользы им не приносит. Кто из людей, убежденных в существовании будущей жизни, может отрешиться от представления, что в этой высшей жизни будет господствовать правда, что каждому, следовательно, воздастся по делам его? Умалчивая об этом, наши философы делают упрек христианству в том, будто оно внушает своим последователям корыстное побуждение к добру: поживешь хорошо, будешь в раю; станешь вести себя здесь дурно — попадешь в ад. Но философы наши умалчивают и здесь о главном, а именно о том, что христианство предписывает своим последователям любовь, исключаящую всякое корыстное побуждение; в христианстве проповедуется и величайшее милосердие в случае обращения от зла к добру, но вместе проповедуется и прав-

¹² Laurent, XII 53

да: иначе не была бы удовлетворена одна из самых важных потребностей нравственной природы человека.

Наши философы утверждают, что нет ни рая, ни ада, но есть прогресс в будущей жизни; но так кидать словами нельзя, надобно объясниться. Если человек не исчезнет по смерти, но будет продолжать существование, и притом будет развиваться, совершенствоваться, прогресс должен находиться в необходимой связи со здешним его существованием. На какой ступени развития переняла его смерть, от той он должен поступать к дальнейшему совершенствованию. Но одних смерть застает на самой низкой ступени духовного развития, других — на высокой; так как в развитии скачков быть не может и на этом основании нельзя предположить, чтобы по смерти все люди были равны, то необходимо следует допустить, что существование людей по смерти будет различное на основании той степени развития, какой они достигли в здешнем мире; существование того человека, который начинает свое развитие с высшей ступени, будет естественно выше и блаженнее существования того человека, который должен будет начинать с низшей ступени, первый уйдет далеко перед вторым. А высшая ступень развития что-нибудь да значит; ведь это высшая ступень блаженства. Если человек, принявший учение наших философов о прогрессе в будущей жизни, сделает приведенный вывод (а не сделать его он не может), то он непременно скажет самому себе: за гробом ждет меня дальнейшее развитие на основании здешнего, но ясно, что при других условиях; тело свое оставлю здесь; следовательно, там будет развиваться только моя духовная сторона, на основании того развития, какое я дам ей здесь; следовательно, я должен преимущественно заботиться о том, что останется со мною, а не о том, что погибнет; и, по христианскому учению, будет тело — да другое; условий здешней жизни не будет, люди будут жить, как ангелы.

Таким образом, если наши философы, отвергая, как они говорят, странности материализма и мечты пантеизма, основываясь на общем сознании, допустят будущую жизнь; как скоро подле смертности тела, подле прекращения условий здешней жизни будет поставлено бессмертие души, то, как бы ни представляли они будущую жизнь, никто не придет к заключению, что возможна религия, в которой исчезла бы противоположность между этим и другим миром.

Необходимый вывод будет тот, что надобно принять между обоими мирами отношение, постановленное в христианстве: «Ищите прежде царствия Божия и правды Его, и вся сия приложатся вам». «Вся сия», то есть удовлетворение потребности конечной природы человека; условия здешней жизни не отвергаются, благословляются, но поставлены в правильное отношение к бесконечному, то есть — в подчиненное, зависимое. Правильность этого отношения складывается на ежедневном опыте: только удовлетворительное

нравственное состояние человека и общества обеспечивает им и материальное благосостояние; и до какой бы степени могло достигнуть последнее, если бы вместо мечты о построении храма новой религии побольше людей занялись исполнением предписаний старой, занялись бы водворением любви и правды между ближними. «Вся сия» приложились бы.

Итак, как скоро предполагается будущая жизнь, то конечное необходимо становится в подчиненное отношение к бесконечному. Вот почему люди, желающие, как они говорят, *восстановить права материи*, так вооружаются против бессмертия; отсюда все «странности материализма и мечты пантеизма». Но, удерживая веру в бессмертные души, требовать, чтоб уничтожена была противоположность между здешнею и загробною жизнью, — это всего страннее и мечтательнее; отношение между ними может быть только такое, какое постановлено в христианстве. Здешняя жизнь необходимо является временною и слишком кратковременною в сравнении с вечностию, с будущим, является необходимо приготовлением к этому будущему; следовательно, все внимание должно быть обращено на эту цель. Но так как стремления, отвлекающие внимание человека от этой цели и погружающие его вполне в здешнюю земную жизнь, страшно могущественны, то религия постоянно возвращает его внимание к настоящей цели бытия, причем сильно действует пример людей, богатых духовными средствами, которые умели не терять из виду этой цели. Упрекать этих людей, то есть истинных христиан, в том, что они для будущего забывают настоящее, есть бессмыслица. Надобно поставить вопрос прямо: забывают ли эти люди свои обязанности к настоящему? И как они могут забыть их, когда главная обязанность, им предписанная, есть любовь к ближнему; когда, по их учению, блаженная будущность будет для них потеряна, если они в каждом страждущем ближнем не будут видеть Бога и откажут ему в помощи? Разве можно истинного христианина приравнять к тем безнравственным лицам, которые выражали свой крайний эгоизм, свое равнодушие к участи ближних, долженствовавших остаться после них на земле, знаменитым выражением: «После нас потоп»? Разве та же самая любовь не заставляет христианина заботиться и о будущности общества, где после него остаются те же ближние? И разве исполнение обязанности к ближнему, предписываемое христианством, не ведет прямо к благосостоянию общества?

Христианин, говорят, должен, по своему учению, терпеть обиды и потому не может содействовать утверждению правды в обществе, обузданию насилий сильного. Но говорить таким образом — значит самым недобросовестным образом притворяться не понимающим дела, самым недобросовестным образом обходить сущность его. Действительно, христианин обязан терпеть обиды, ему наносимые; но разве он обязан терпеть обиды, нанесенные

его ближнему? Разве тут не предписано ему положить душу свою за него? Христианство предписывает своему последователю то, что мы называем великодушием, и то, что мы называем гражданским мужеством, — добродетели, на которых зиждется благосостояние общества. Доходят до того, что упрекают христианство в стремлении уничтожить идею права, потому что апостол Павел упрекает коринфских христиан за их любовь к тяжбам! Говорят: «Если бы все христиане последовали апостолу, то что бы случилось с правосудием?» Скажут: в нем бы не было нужды. Да, не было бы нужды, если бы мы были на седьмом небе, но мы на земле — мы существа несовершенные, хотя и стремящиеся к совершенству, и потому правосудие есть необходимость нашей природы. Религия, которая уничтожает идею права, годна не для общества, годна только для монахов»¹³. Хорош вывод! Мы на земле, мы существа несовершенные, хотя и стремящиеся к совершенству; но спрашивается: большое количество тяжб есть ли признак общества более совершенного? Что же, по-вашему, апостолу Павлу следовало похвалить коринфян за то, что между ними было много тяжб? Не беспокойтесь, тяжбы не прекратятся; но важно то, чтобы судьи следовали предписаниям христианства, подчинялись требованиям своей бесконечной природы, и тогда будет правосудие; если же они будут подчиняться потребностям своей конечной природы, то правосудие исчезнет.

Но любопытнее всего то, что подобные выходки против христианства, против его неспособности удовлетворять более потребностям общества, против его стремления отвлечь людей от исполнения их гражданских обязанностей делают писатели, занимающиеся историею; делая эти выходки, они совершенно забывают, что сами прежде говорили о деятельности христиан на общую пользу. Вот что они, например, говорили:

«Провинции Римской империи, беспрестанно опустошаемые народами Севера, ежедневно призывали на помощь мирное вмешательство епископов. Некоторые из них нашли славную смерть, идя против ярости варваров, еще язычников, и потому нечувствительных к увещаниям, которых не понимали. Но иногда мужество епископа поражало победителя: варвары изумлялись, когда их останавливал старик; они удивлялись душевной силе — и повиновались иногда, как дети. В древности не было связи между народами, паганизм был источником ненависти и угнетения, тогда как христианство сделало из всех людей братьев. Благотворительность святых целила язвы, которых они не могли предотвратить. Св. Амвросий беспрестанно взывал к благотворительности в пользу пленных. «Самое богоугодное дело, — говорит он, — возратить отечеству гражданина, отцу его ребенка и спасти целомудрие женщин». Он

¹³ Laurent, XII 204

жертвовал церковными сосудами для выкупа пленных. «Лучше,— говорил он,— сберечь души для Бога, чем золото. Он не дал своим апостолам золота для проповедания Евангелия». Нужна была благотворительность, доведенная до героизма, для облегчения таких страшных страданий. Св. Елифаний стоял в уровень своему положению; но он нашел себе достойного соперника в апостоле Норики, Св. Северине. Северин удалился сначала в одну из восточных пустынь; но неодолимое призвание извлекло его из приятного уединения и поставило среди варваров. Ему предложили епископство; он отказался, чтобы посвятить всего себя подвигам благотворительности. Он утвердил свое пребывание в странах придунайских, где происходило непрерывное движение варварских народов; опустошения, резня, пленение были событиями ежедневными. Северин поднял мужество побежденных, человек мира явился сильнее воинов. При виде его варвары испытывали чувства уважения и страха: святой пользовался этим, чтоб удалять их или заставлять их отпускать пленных. Апостол Норики поучал побежденных сносить лишения их бедственной жизни, налагал на самого себя произвольные лишения, и т. д.»¹⁴.

Слишком долго было бы исчислять примеры исполнения гражданских обязанностей во всех общественных положениях, которые представляет нам история христианства. И после этого решиться толковать, что христианство есть религия другого мира; что оно препятствует исполнению наших обязанностей здесь на земле! Как будто основная заповедь любви не обуславливает необходимо исполнения этих обязанностей, ибо, требуя самоотверженности, христианство требует самого горячего участия к судьбе ближних; а разве человек может быть отделен от общества? Указывают на людей, бежавших от общества, удалившихся в пустыни, и упрекают их за то, что в этом удалении они видели наивысшее исполнение требований христианства; но забывают, что пустыня не оставалась запертою для общества, которое нуждалось в примере людей, сильных духом, могущих, во имя высших требований, отказаться от всего того, что имеет для большинства неотразимую прелесть. Разве ежедневный опыт не показывает нам, что привязанность к телу, чем пренебрегли пустынники, служит для человека побуждением ко всему дурному, ко всякой неправде, именно заставляет его изменять общественным интересам, не исполнять гражданских обязанностей, отчего и страдает общество: отсюда необходимость и высокое значение явления, что человек может стать выше всех этих мелких интересов и привязанностей. Разве история не показывает нам, что в этих пустынях и монастырях воспитывались герои христианства, проповедники, совершавшие такие подвиги, какие были

¹⁴ Laurent, V 70 и след

не под силу людям, оставшимся в обществе? Пусть человек, называющий себя историком, скажет, положив руку на сердце, что монашество даром приобрело важное значение и могущественное влияние на общество. Если же не даром, то для чего эти выходки против него, выходки против христианства за то, что оно произвело и осватило такое явление?

В заключение мы можем посоветовать одно нашим философам: не становиться на историческую почву — это для них крайне опасно.

1868 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ К ШЕСТНАДЦАТОЙ КНИГЕ «СОЧИНЕНИЙ» С. М. СОЛОВЬЕВА

Произведения, включенные в шестнадцатую книгу «Сочинений» С. М. Соловьева¹, очень различны и по времени и цели их написания, и по жанру, а следовательно, и по используемым автором приемам и стилю изложения. Часть этих работ являются самостоятельными исследованиями по крупным проблемам отечественной истории, другие — труды историографического характера, третьи — публицистические статьи, полемические или с элементами популяризации. И все же есть нечто общее, что объединяет их. Все они писались параллельно с работой над главным трудом Соловьева — его «Историей России с древнейших времен» и на основе собранных для нее материалов, и все они в той или иной мере ее дополняют. Внимательный читатель найдет в этих работах развитие как отдельных сюжетов «Истории России», так и отдельных мыслей и представлений автора о русской истории и об историческом процессе в целом. Есть и прямые цитаты. Причем в ряде случаев публикуемые здесь статьи Соловьева были изданы раньше соответствующих томов «Истории России», и при их подготовке он включал в них по существу конспект той или иной статьи. Такие же работы, как «История падения Польши» и «Восточный вопрос», непосредственно продолжают повествование главного труда Соловьева, оборванное на 1775 г. Но, дополняя «Историю России», помещенные в данном томе работы дополняют и представление о ее авторе и, более того, дают весьма цельную картину эволюции его как ученого-историка.

* * *

Всякое историческое исследование всегда начинается с изучения историографии, уже существующей к этому времени. Открывая новые факты и переосмысливая уже известные на современном ему уровне, историк соглашается с выводами тех, кто работал до него, развивает и дополняет или отвергает их. Собственно, историческая наука таким образом и развивается, удовлетворяя потребность общества в познании и осмыслении своего прошлого. Но то, насколько бережно и уважительно относится исследователь к наследию предшественников, не только ярчайшим образом характеризует его как человека, но и служит показателем степени его научной добросовестности. Чем глубже пытается историк проникнуть в творческую лабораторию ученых предыдущих поколений, понять причины, мотивы, обстоятельства, в силу которых они пришли к тем или иным умозаключениям, тем серьезнее и основательнее его собственные изыскания. Именно с этой точки зрения и следует прежде всего подходить к рассмотрению историографических работ Соловьева.

¹ Впервые они были собраны под одной обложкой в его собрании сочинений, осуществленном издательством «Общественная польза» в 1904 г.

Автор «Истории России с древнейших времен» поставил перед собой невероятную сложную и масштабную задачу — не просто дать систематическое изложение отечественной истории, какого не существовало прежде, но и предложить принципиально новую концепцию этой истории. Поэтому вполне понятно, что уже выход из печати первых томов его труда вызвал упреки критиков Соловьева в самонадеянности, в стремлении превзойти своим трудом «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, остававшуюся к тому времени еще весьма популярной. Таким образом, не случайно начиная с 1853 г. параллельно с выходом 3—7-го томов «Истории...» в журналах появляются и работы Соловьева о его предшественниках. Сперва — статья о Карамзине, над которой он продолжал работать вплоть до 1856 г.², затем в 1854 г. — статья о Г. Ф. Миллере³, в 1855 г. — «Писатели русской истории XVIII века»⁴ и, наконец, в 1856—1857 гг. — две статьи о А. Л. Шлёцере⁵. Однако было бы наивным видеть в этих работах Соловьева просто попытку самооправдания. Его цель была куда более значительна: проследить развитие русской исторической мысли, дабы четче обозначить задачи, стоящие перед ним самим. В своем труде Соловьев видел принципиально новый этап отечественной историографии, более высокий уровень осмысления русской истории (и это несомненно так и было), и дабы уяснить суть этой новизны, и необходимо было описать достижения предшественников. С этой точки зрения историографические работы Соловьева представляют огромный интерес, ибо позволяют узнать, какими видел историк свое место и роль в процессе изучения русской истории.

На первый взгляд в статье о Карамзине Соловьев в основном просто пересказывает том за томом содержание «Истории государства Российского», причем написание отдельных частей работы совпадало, по-видимому, с подготовкой соответствующих томов «Истории России с древнейших времен». Собственные комментарии Соловьева очень немногочисленны и осторожны. Лишь один сюжет — проблема периодизации русской истории, — сюжет, крайне важный для концепции самого историка, заставляет его отступить от избранной манеры изложения и вступить в полемику с критиками Карамзина. Но, защищая Карамзина, Соловьев защищал и самого себя, поскольку проблема периодизации поднималась в рецензиях на первые тома его собственной «Истории...». Вместе с тем и первое впечатление об авторе статьи как простом популяризаторе Карамзина исчезает, как только становится ясно, что собственно вся статья построена на сравнении «Истории государства Российского» с трудами историков XVIII в., и прежде всего М. М. Щербатова. Такой подход Соловьева к поставленной проблеме также оказался уязвимым, поскольку не только его современники, но и некоторые позднейшие исследователи (например, П. Н. Милюков в его «Главных течениях русской исторической мысли») усмотрели в нем стремление доказать вторичность Карамзина, его зависимость от Щербатова, а следовательно, и принизить значение карамзинского труда. Однако на деле цель Соловьева — показать не зависимость «Истории государства Российского», а преемственность, показать труд Карамзина как этап в развитии русской исторической мысли. «От Соловьева мы научаемся только знать, — заметил впоследствии, возражая Милюкову, С. Ф. Платонов, — что Карамзин отлично испол-

² Соловьев С. М. Н. М. Карамзин и его литературная деятельность: История государства Российского // Отечественные записки. 1853. Т. 80. № 10. С. 31—50; 1854. Т. 92. № 2. С. 125—140; Т. 94. № 5. С. 33—46; 1855. Т. 99. № 4. С. 101—142; Т. 100. № 5. С. 35—60; 1856. Т. 105. № 4. С. 405—450.

³ Соловьев С. М. Герард Фридрих Мюллер (Федор Иванович Миллер) // Современник 1854. Т. 47. № 10. С. 115—150.

⁴ Соловьев С. М. Писатели русской истории XVIII века // Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изд. Н. Калачовым. М., 1855. Кн. 2. Ч. 1. С. 3—82.

⁵ Соловьев С. М. Август Людвиг Шлецер // Русский вестник. 1856. Т. 2. № 4. Кн. 2. С. 489—533; *Он же*. Шлецер и антиисторическое направление // Русский вестник 1857. Т. 8. № 4. Кн. 2. С. 431—480.

зовал все, что давала ему предшествующая историография, и в то же время оставался самостоятельным писателем»⁶.

Стремление проследить ход развития русской исторической мысли заставило Соловьева обратиться к трудам историков XVIII в., первым из которых не случайно оказался Г. Ф. Миллер, поскольку как с его опубликованным, так и с неизданным наследием историк был уже хорошо знаком и продолжал пользоваться им и впоследствии. Сделав обобщающий обзор трудов Миллера и дав им высокую оценку, Соловьев «продемонстрировал в высшей степени уважительное отношение к работам своего предшественника по русской истории и попытался вписать их в русскую историографию»⁷. Особо отмечал он влияние Миллера на последующих авторов в вопросах о скандинавском происхождении варягов, роли Ивана III в создании единого Российского государства, в трактовке истории республиканского Новгорода, образа Бориса Годунова. К этим сюжетам Соловьев не раз возвращался и в других работах. Так, именно цитатами из Миллера начинаются разделы статьи о взглядах Карамзина на время Ивана III и Годунова. К миллеровской характеристике Годунова Соловьев возвращается вновь много лет спустя, в 26-м томе «Истории России с древнейших времен», отмечая, что «Опыт новой русской истории» Миллера, откуда взята эта характеристика, «представляет замечательный труд»⁸.

Высоко оценивая заслуги Миллера, Соловьев вместе с тем, описывая судьбу «Истории Российской» В. Н. Татищева, неожиданно с раздражением замечает, что ее издание «было поручено человеку, не способному не только исправить искажения, но даже уразуметь настоящий смысл сочинения» (С. 219 наст. изд.). Критика Миллера за недостатки впервые осуществленного им издания «Истории Российской» была широко распространена в литературе и до, и после Соловьева, однако, как справедливо заметил С. Н. Валк, ссылаясь на прецедент Миллера ко второй и третьей книгам этого издания, «все последующие упреки Миллеру повторяли по существу только то, что он сказал в этих предупреждениях, так как ни тех рукописей, которыми пользовался Миллер, ни других каких-либо рукописей «Истории...» Татищева никто из критиков его издания в руках не держал»⁹. Архивные находки последних лет также показывают, что упреки эти были несправедливы¹⁰.

Вряд ли справедлив и еще один упрек Соловьева Миллеру, когда, доверившись воспоминаниям Шлёцера, он сперва в статье «Август Людвиг Шлёцер», а затем на страницах 26-го тома «Истории России...» утверждал, что Миллер отстал от современной ему западноевропейской науки. Но гораздо важнее то, что самим фактом написания отдельных статей о Миллере и Шлёцере, а затем общего очерка о, как им было подчеркнуто, *русских* историках XVIII в. Соловьев впервые «резко противопоставил русских и иностранных исследователей, положив в основу этого деления сугубо внешний признак — национальную принадлежность»¹¹. Это противопоставление надолго закрепились в литературе по историографии и полностью не преодолено до сих пор. Однако для самого Соловьева это разделение историков на «русских» и «немцев» не было столь многозначительным, а скорее чисто механическим и носило рабочий характер. Во всяком случае оно никак не сказалось на его отношении к тем, кому он посвятил свои статьи, да и, с другой стороны, показа-

⁶ Платонов С. Ф. Карамзин — историк // Отечественные архивы. 1993 № 2. С. 51 / Публ. А. Н. Арцизова и Б. В. Левшина.

⁷ Белковец Л. П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в.: Г. Ф. Миллер и А. Ф. Бюшинг Томск, 1988 С. 28.

⁸ Соловьев С. М. Сочинения. М., 1994. Кн. XIII С. 518.

⁹ Валк С. Н. О рукописях первой части «Истории Российской» В. Н. Татищева // Татищев В. Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. 1 С. 68

¹⁰ См. Каменский А. Б. О первом издании Судебника Ивана Грозного с примечаниями В. Н. Татищева // Советские архивы. 1983. № 5. С. 64—66, *Он же*. Незавесные татищевские документы в «Портфелях Г. Ф. Миллера» ЦГАДА // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1984 С. 202—203

¹¹ Киреев Р. А. Изучение отечественной историографии в дореволюционной России с середины XIX в. до 1917 г. М., 1983. С. 134

тельно, что специальные работы он написал именно о Миллере, Шлёцере и Карамзине, как бы подчеркивая особое значение их трудов для русской исторической науки. Надо также принять во внимание, что, по всей видимости, опубликованные в первой половине 50-х годов историографические статьи Соловьева замысливались им как часть более крупного труда по русской историографии XVIII в., о чем свидетельствует авторская сноска в начале статьи «Писатели русской истории XVIII в.» (С. 187).

Но была, видимо, и еще одна причина, по которой очерки о девяти авторах XVIII в. оказались объединенными в одной работе: в ней Соловьев также впервые попытался выделить в русской исторической мысли определенные направления. Для него история (и эта мысль неоднократно повторяется во всех его историографических работах) — это наука «народного самопознания». И основной упрек, который он бросает своим предшественникам, это упрек в неспособности понять ход русской истории в целом, т. е., собственно, разобраться в том, почему она развивалась именно так, как развивалась, «сделать из истории прямое приращение к жизни, отыскать живую связь между прошедшим и настоящим, задать вопрос об отношениях старого к новому» (С. 243—244). Однако по крайней мере для двух историков — А. И. Манкиева и В. Н. Татищева — Соловьев делает исключение, отлично сознавая, что они были людьми своего времени, а состояние тогдашнего исторического знания попросту не позволяло им подняться не только до решения, но даже до постановки столь глобальных вопросов. Им Соловьев и не пытается предъявить подобные требования, отдавая дань значению Татищева прежде всего как первопроходца. Иное дело историки, работавшие во второй половине века, и в первую очередь М. М. Щербатов. Отмечая его добросовестность, скрупулезность, настоячивые попытки решить самые сложные вопросы, Соловьев постоянно подчеркивает отсутствие в щербатовской «Истории Российской» единой, объединяющей мысли, концепции. Такая попытка, считает он, впервые была сделана И. Н. Болтиным, в чьей книге «проведена одна основная мысль, в которой есть один общий взгляд на целый ход истории» (С. 243). Однако появление истинно «исторического», научного направления в изучении русской истории Соловьев связывает с именем А. Л. Шлёцера.

Некоторые исследователи, сравнивая суждения Соловьева о Татищеве и Шлёцере и обнаруживая схожесть использованных им выражений (ср.: С. 204, 217, 320), считали возможным говорить, что историк противоречил сам себе¹². Однако вряд ли это справедливо. В лучшем случае Соловьева можно упрекнуть в недостаточной четкости выражений, обусловленной, возможно, и полемическим характером статьи «Шлёцер и антиисторическое направление». Однако мысль его вполне ясна: Шлёцер, считает он, — основатель подлинно научного, критического направления в историографии и метода изучения источников по русской истории, в то время как Татищев — первый, кто вообще принялся за обработку русских летописей и создание систематического курса отечественной истории. Появление Шлёцера должно было уничтожить ненавистное Соловьеву так называемое риторическое направление, ярчайшими представителями которого он считал Ф. А. Эмина и И. П. Елагина. Впрочем, к «риторическому» направлению он причислил и Карамзина, замечая при этом, что его талант позволил ему возвыситься над этим направлением и создать поистине великий труд.

Говоря об историографических работах Соловьева, следует заметить, что по большей части его оценки отдельных историков не устарели и поныне, хотя у всех их он в первую очередь «подчеркивал положения, предвосхищавшие его собственные»¹³. Но подобный подход оказался плодотворным, и эти оценки получили в дальнейшем развитие в трудах В. С. Иконникова, В. О. Ключевского, П. Н. Милюкова, А. С. Лаппо-Данилевского и др. В советское время серьезной трансформации подвергались соловьевские оценки исторических трудов Ломоносова, а также его

¹² Киреева Р. А. Указ. соч. С. 134—135.

¹³ Шанский Д. Н. Из истории русской исторической мысли: И. Н. Болтин. М., 1983. С. 5

идейных противников — Миллера и Шлёцера. Тезис Соловьева о том, что «могучий талант Ломоносова оказался недостаточным при занятии русской историей» (С. 222), был признан «совершенно несостоятельным»¹⁴. На протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца 40-х годов XX в., по мотивам, далеким от науки, происходило неумеренное возвеличивание значения трудов Ломоносова по русской истории в ущерб его оппонентам. Однако в последние годы начался постепенный возврат к более трезвым и, соответственно, более близким к соловьевским оценкам, исключаяющим как чрезмерную апологетику, так и полное неприятие.

Исследователей творчества Соловьева всегда волновал вопрос о том, в какой мере его концепция русской истории уже сложилась ко времени начала работы над «Историей России с древнейших времен». В. Е. Иллерицкий полагал, что «в определенной, но далеко еще не завершенной форме такая концепция у Соловьева, несомненно, сложилась к началу 50-х годов»¹⁵. Однако тот же автор заметил, что опубликованная в 1852 г. статья «Взгляд на историю установления государственного порядка в России до Петра Великого» имела программное значение, «так как в ней излагалась в обобщенной форме сущность его концепции русской истории, положенной в основу первых 12 томов «Истории России...»»¹⁶. Действительно, в этой статье мы найдем важнейшие положения концепции Соловьева. Здесь и тезис о том, что «ход событий постоянно подчиняется природным условиям» (С. 6), и идея о колонизационном характере государства в Северо-Восточной Руси, и знакомое по 1-му тому «Истории России...» описание взаимоотношений князя и его дружины¹⁷. Концепция Соловьева в целом и отдельные ее положения с самого момента ее опубликования находились в центре ожесточенных споров, и уже сама по себе она имеет обширную историографию, включающую и комментарии к томам настоящего издания. Однако развитие исторической науки нередко приводит к тому, что проблемы, казалось бы хорошо изученные и известные, подчас неожиданно приобретают новое звучание и вновь привлекают внимание исследователей, но уже в ином аспекте. Так, проблема взаимоотношений князя и дружины традиционно обсуждалась главным образом в связи с вопросом о степени развития феодальных отношений в Древней Руси, и в этом значении она по-прежнему остается актуальной и дискуссионной¹⁸. Однако в том, как описывает эти отношения Соловьев (С. 15—16), можно увидеть и некоторые подходы к другой актуальной для современной науки проблеме — о зарождении на Руси системы служебной организации. Эта тема получила развитие и в «Исторических письмах» Соловьева, впервые изданных в 1858—1859 гг. Кратко описав взаимоотношения князя и дружины периода раздробленности, историк прямо делает вывод о том, что на базе этих отношений не могли образоваться сословия, подобные западноевропейским. «И вот из князей Рюриковичей, — замечает он, — потомства князей великих и удельных, из пришлых Гедиминовичей, из старой дружины Московской и из дружин всех присоединенных русских областей образовалось... что образовалось? Не знаем что: ни в одном древнем памятнике нет слова. Нет слова, значит, не было и ясного понятия, не сложился и самый предмет определенно. Что же было у нас, в Московском государстве?.. что образовалось из князей, дружины Московской, дружин областных? Образовались *чины*... Эти всяких чинов люди не соединились в несколько групп, представлявших сословия, они оставались в своем чиновном раздроблении, ибо понятия о сословном единстве, об общих сословных интересах не существовало» (С. 375—376).

Читателю, не слишком искушенному в том, что в наши дни является предметом спора среди историков, приведенные слова Соловьева могут показаться анахронизмом, ведь в советской историографии на протяжении многих десятилетий все социальные группы русского средневекового общества принято было называть

¹⁴ Иллерицкий В. Е. Сергей Михайлович Соловьев М., 1980. С. 75.

¹⁵ Иллерицкий В. Е. Указ. соч. С. 93.

¹⁶ Там же. С. 85.

¹⁷ Ср. С. 15—16 и Сочинения. Кн. I. М., 1988. С. 218—219.

¹⁸ Ср.: Фроянов И. Я. Киевская Русь. Л., 1980. С. 64—98, Свердлов М. Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. Л., 1983. С. 194—219

словами или классами-сословиями. Однако в последнее время возникает все больше сомнений в правомерности использования этого термина в подобном значении. Оформление полноценных сословий связывают с законодательным оформлением их статуса, что происходило преимущественно в 80-х годах XVIII в.¹⁹ У Соловьева подход несколько иной. Важнейшим признаком сословия он считал «сословно-общинное устройство» и потому завершение процесса образования, например, дворянского сословия связывал не с Жалованной грамотой 1785 г., а с губернской реформой 1775 г. (С. 389).

Весьма примечательно замечание историка, что «совмещать все чины — от боярина до сына боярского — под общим именем *служилых людей* нельзя, ибо в памятниках высшие чины под именем ближних людей противопоставляются низшим — *служилым людям*» (С. 375). (Впрочем, у самого Соловьева в 7-м томе «Истории России...» встречается такое выражение: «члены дружины, теперь принявшие название людей служилых»²⁰.) Не потеряли своей актуальности и рассуждения историка о земских соборах в статье «Шлецер и антиисторическое направление», где Соловьев резко возражает против попыток славянофилов придать земским соборам «мистический» характер, связать с вечными порядками Древней Руси, а их исчезновение — с именем Петра I (С. 323—330).

«Исторические письма» Соловьева, как и «Шлецер и антиисторическое направление», — статьи публицистические, полемические, направленные против почвенничества, воплощенного для историка в славянофильстве. И в соответствии с жанром перед нами совершенно иной, незнакомый Соловьев — язвительный, остроумный, быстрый, а временами даже резковатый в суждениях и оценках. Вероятно, эти статьи воспринимались бы исключительно как факты историографии и истории общественной мысли России середины XIX в. Но в конце XX в. поднятые в них вопросы вновь оказались в центре общественного внимания и звучат столь же современно и остро. Так, например, следующие строки Соловьева выглядят так, будто взяты из газетной статьи 90-х годов нынешнего столетия: «Вот англичанин, француз, итальянец, немец: с обыкновенною простотою примались они по железным дорогам из разных концов Европы в условленное по телеграфу место, рассуждают об общем деле, говорят на одном языке, одеты в одинаковое платье, и между тем какое различие между ними! Кто по их лицам и слову не признает в них членов четырех различных народов? И чем ближе они друг к другу, чем теснее соединены их интересы, тем сильнее чувствуют они различие своих народностей; цивилизация не уравнила их, не сгладила их народных черт — она произвела только то, что они могут столкнуться на одном общем деле, тогда как вследствие отсутствия цивилизации обыкновенно и люди одного народа никак не могут столкнуться между собою» (С. 367—368).

В своих полемических статьях еще более, чем в трудах сугубо научных, Соловьев предстает перед читателем как убежденный «западник». Однако он ни в коем случае не сторонник возможных крайностей этого направления. Так, в статье «Древняя Россия» (впервые опубликована в 1856 г.) он столь же энергично протестует против попыток характеризовать русский народ в древнейший период его истории как народ варварский. При этом он дает весьма широкое и опять же не устаревшее и поныне толкование понятия культурной отсталости народов, а его представление о варварстве («варварский народ тот, который сдружился с недостатками своего общественного устройства, не может понять их, не хочет слышать ни о чем лучшем; напротив, народ никак не может назваться варварским, если при самом неудовлетворительном общественном состоянии сознает эту неудовлетворительность и стремится выйти к порядку лучшему», с. 272) прямо перекликается с используемым современной социологией понятием «традиционных обществ».

¹⁹ См., например, *Медушевский А. Н.* Утверждение абсолютизма в России. М., 1994. С. 36. *Каменский А. Б.* Реформы в России XVIII века в исторической перспективе // Сословия и государственная власть в России XV — середины XIX в. М., 1994. Ч. 1. С. 136—152.

²⁰ *Соловьев С. М.* Сочинения. М., 1989. Кн. IV. С. 14.

Истинная позиция Соловьева становится яснее и после чтения статьи «Прогресс и религия» (впервые опубликована в 1868 г.), где он выступает противником «обоготворения прогресса» (С. 674) в ущерб христианству. Весьма примечательно заключение этой статьи, в котором Соловьев предостерегает непрофессионалов от использования исторических аргументов в философских рассуждениях.

Как уже упоминалось, из публикуемых в настоящем томе работ Соловьева две — «История падения Польши» и «Восточный вопрос» — являются прямым продолжением его «Истории России с древнейших времен» и, следовательно, носят сугубо научный характер. Первая из них появилась в печати в 1863 г., то есть в год крупного восстания в Польше, и потому традиционно ее написание и издание исследователи творчества Соловьева связывают с этим событием. «Самый этот факт, — считал В. Е. Иллерицкий, — характеризует прежде всего политическую позицию буржуазного историка», а сама книга явилась откликом на «политическую потребность реакционных сил»²¹. Отрицать связь «Истории падения Польши» с польскими событиями, конечно, бессмысленно. Однако подчеркнем, что Соловьев выступил в данном случае не с публицистической статьёй, где выразить собственные политические взгляды ему было бы много легче, а именно с исследованием, в котором, опираясь на исторические факты, он должен был отразить то, что считал научной истиной. При этом в основу книги легли материалы, собранные историком много раньше для соответствующих томов «Истории России с древнейших времен». Другое дело, что, если бы его представление об исторической истине не соответствовало официальной точке зрения того времени, книга вряд ли увидела бы свет.

Сама тема книги — история трех разделов Польши — была весьма непростой и болезненной не только во время ее написания, но и много позже. Не случайно вплоть до наших дней эта книга остается не только первым, но и фактически единственным в отечественной историографии трудом по этой проблеме²². При этом Соловьев сразу же очень «высоко поднял планку», рассмотрев польскую проблему не изолированно, но в соответствии со своей концепцией этой проблемы в контексте истории международных отношений в Европе второй половины XVIII в. в целом. Рассматривая содержание и оценивая «Историю падения Польши», следует помнить об особой сложности и деликатности темы, о ее новизне для историографии и о комплексном характере априорно поставленной автором задачи.

Построение книги, авторский стиль изложения — такие же, как в его «Истории России...». Соловьев также приводит тут длинные цитаты из дипломатических документов того времени, используя при этом не только архивные материалы, впервые вводимые им в научный оборот, но и зарубежные публикации, также на первый взгляд беспристрастно излагает ход исторических событий. Его авторский комментарий минимален, а его собственное отношение к описываемому можно определить главным образом по употребляемым эпитетам. Лишь изредка историк считает необходимым вмешаться в повествование. Такова, например, его характеристика русского посла в Польше Н. В. Репнина, о смещении которого он прямо говорит как об ошибке (С. 463). Причем если принять во внимание, что Репнин был сторонником скорее более мягкой линии и Соловьев неоднократно приводит его слова о невозможности выполнения польским правительством русских требований, то можно предположить, что Соловьев считал ошибкой не только замену Репнина в Варшаве, но и изменение самого курса польской политики Петербурга.

Но какова же собственно соловьевская концепция истории разделов Польши? Как хорошо известно по его «Истории России с древнейших времен», Соловьев с сочувствием относился к колонизаторской политике российского самодержавия, и народы, вошедшие в состав России, по существу не рассматривались им как объект истории. При этом историк не делал особых различий для внешней политики России до- и послепетровского времени. Поэтому не случайно в качестве

²¹ Иллерицкий В. Е. Указ соч. С 156, 157

²² Краткую библиографию основной отечественной и зарубежной литературы о разделе Польши см.: *Cegielski T., Kadziela L. Rozbiory Polski. 1772—1793—1795.* Warszawa, 1990. 347—350.

одной из важнейших причин «падения Польши» он называет «русское национальное движение, совершавшееся, как прежде, под религиозным знаменем» (С. 409). Заметим сразу, что уже в этой формулировке имелась определенная двусмысленность, ведь история знает самые различные движения под религиозным знаменем, далеко не всегда отражавшим суть этих движений. Вместе с тем из дальнейшего изложения Соловьевым хода событий нельзя не увидеть, что защита православных в Польше была для русского правительства прежде всего предлогом для вмешательства в польские дела. Соловьев неоднократно дает понять, что предъявляемые Россией требования были по существу невыполнимы, а когда под давлением русской военной силы они все же были выполнены, то лишь недальновидный политик мог не усмотреть в этом залог еще большей внутренней нестабильности в Польше. Более того, из приводимых Соловьевым данных легко увидеть, что польские православные по существу не могли воспользоваться тем, чего добились для них русская дипломатия, поскольку среди них практически не осталось таких, кто мог доказывать свое шляхетское происхождение. И тут нельзя не увидеть еще одно противоречие русской внешней политики этого времени, о котором Соловьев хотя и не говорит прямо, но о котором свидетельствуют приводимые им факты.

Речь идет о второй называемой Соловьевым причине разделов — «завоевательные стремления Пруссии». Действительно, середина — вторая половина XVIII в. — это время резкой активизации внешней политики этой страны, вступающей в противоборство с другими европейскими державами за новый пердел Европы. При чем агрессивность, готовность решать свои задачи силовым методом, «завоевательные стремления» были характерными чертами этой политики. Однако, как известно, с восшествием на престол Екатерины II произошла переориентация русской внешней политики от противостояния этим стремлениям в союзе с Австрией к сближению с Пруссией. Соловьев связывает этот поворот опять же с польским вопросом, поскольку для возведения на престол Станислава Понятовского Россия нуждалась в поддержке Пруссии. Но, заручившись этой поддержкой и сделав Станислава польским королем, русское правительство оказалось в ловушке, поскольку сохранить за диссидентами те права, которых удалось добиться, можно было лишь путем изменения польского государственного строя, что противоречило условиям русско-прусского союза.

Следует отметить, что трактовка событий с акцентом на вине Пруссии в уничтожении польской государственности получила в отечественной, в том числе советской, историографии широкое распространение. Тем самым с Россией как бы снималась часть вины за разделы Польши. Однако этот тезис находится в противоречии с другим, также традиционным для историографии положением о том, что земли, полученные в результате разделов, были исконно русскими и потому Россия имела на них едва ли не законные права. Но это по существу отражение российской внешнеполитической доктрины того времени, тот аргумент, которым оправдывалось и само правительство Екатерины II. План отторжения этих земель от Польши без всякой инициативы со стороны Пруссии обсуждался при русском дворе еще в 1763 г., но не был реализован лишь потому, что в тот момент другие европейские державы этого бы не допустили. Именно поэтому сохранение в неизбылемости основ польского государственного строя, который в те времена принято было называть «республиканским», составляло основу не только прусских, но и русских интересов в Польше. Эту русскую позицию неоднократно и вполне откровенно подчеркивала Екатерина II и в официальных, и в неофициальных документах. Так, например, в апреле 1792 г., то есть в то время, когда русская армия готовилась войти в Польшу для борьбы с Конституцией 3 мая, императрица в частной записке А. А. Безбородко писала: «Я думала доныне, что по польским делам не было еще следовано от 1714-го иному проекту, кроме одинакому, то есть чтоб сохранить республику и вольность ея колико возможно в целости»²³ Именно поэтому и Конституция 3 мая, которая, по характеристике современных польских историков, «наряду с американской и французской являвшаяся одной из трех пер-

²³ Рос гос архив древних актов, ф 5, оп 1, д 120, л 69

вых в мире конституций,— стала символом оздоровительных реформ»²⁴, не могла быть принята и тем более одобрена в Петербурге. Откровенно неприязненно пишет о событиях 3 мая и Соловьев, делая акцент на отсутствии у поляков единства по вопросу о принятии конституции. И когда речь заходит о решении польских православных перейти под власть непосредственно константинопольского патриарха, историк, явно подменяя понятия, замечает, что «дело пошло уже не о разделе Польши, а о соединении русских земель» (С. 561).

Отношение Соловьева к Конституции 3 мая в определенной мере объясняет, почему кризис польской государственности не называется им в качестве одной из причин разделов: его, как историка, интересует не судьба Польши, а интересы России. Лишь однажды он замечает, что Польша «неминуемо должна была поглотиться жизнью за всю свою историю» (С. 499). Однако, как уже сказано, причины «падения Польши» он рассматривает весьма широко, в контексте всей европейской истории этого времени, и в качестве третьей причины называет «преобразовательные движения, господствовавшие в Европе с начала века до конца его» (С. 409). Под «преобразовательными движениями» Соловьев, по-видимому, имеет в виду в первую очередь эволюцию турецкой проблемы, которая находилась в центре международной политики этого времени и которая для России была проблемой крымско-турецкой. Логика рассуждений историка довольно своеобразна: «Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью, чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников...» (Там же). Иначе говоря, существование независимого Крымского государства могло стать камнем преткновения на пути спасения Европы от голодной смерти. Между тем ко второй половине XVIII в Крымское ханство уже вряд ли могло угрожать безопасности России, которая фактически распоряжалась Крымом по своему усмотрению, что и проявилось в описываемых Соловьевым событиях.

Всем, кто знаком с историей XVIII в., хорошо известно, что силовой метод решения спорных вопросов был в то время по существу основным в международных отношениях. Именно так, руководствуясь правом сильного, действовала в то время и Россия в решении польской и крымской проблем. Соловьев никак не пытается заглушать эту сторону истории разделов Польши, и читатель узнает даже о случаях разбоя в отношении местных жителей со стороны русских войск. Однако при внимательном чтении нетрудно заметить, что акцент автор делает прежде всего на дипломатической стороне конфликта, о военных действиях упоминая лишь вскользь. Но и тут его рассказ не полон. Так, период между первым и вторым разделами, когда с 1775 по 1788 г. Польша управлялась фактически не столько королем Станиславом-Августом, сколько русским послом Штакельбергом, описан в книге Соловьева весьма схематично. Между тем именно двойственность политики русской дипломатии, с одной стороны, заверявшей короля в поддержке его курса на укрепление государственности, а с другой — противостоящей этому курсу, и привела к событиям, последовавшим после 1788 г., когда польские патриоты попытались освободиться из-под сильно надоевшей им опеки России.

Можно было бы и далее продолжить обсуждение концепции и отдельных положений книги Соловьева, однако в этом вряд ли есть смысл, тем более что, как уже сказано, она остается единственной работой на эту тему в отечественной историографии и по существу история разделов Польши еще ждет своего исследователя. С этой точки зрения «История падения Польши», несомненно, не потеряла своей научной ценности. Другое дело, что спустя сто тридцать лет после первого издания книги Соловьева мы имеем более глубокое представление об исторических последствиях этих разделов как события, не столько решившего некие проблемы, сколько породившего новые, гораздо более серьезные. Отныне, как заметила английская

²⁴ Кондзеля Л., Цегельский Т. Концерт трех черных орлов (Споры о разделах Польши) // Историки отвечают на вопросы М., 1990 С. 97

исследовательница И. де Мадарьяга, польская проблема была «в центре русской внешней политики в Европе, и Россия не могла и шагу ступить без опасения нарушить хрупкое равновесие между тремя державами — участницами разделов»²⁵. Эти слова относятся не только к XVIII — началу XIX в., но и к более позднему времени, ибо результаты разделов Польши продолжали сказываться на европейской политике и в XX в. Именно поэтому тематика, связанная с историей разделов, не будучи освобождена от политического значения, так долго оставалась полузапретной и не стала предметом специальных исследований в отечественной историографии. Но именно поэтому и новое издание «Истории падения Польши» Соловьева имеет не только историографический интерес. Ее тема продолжает быть живой и актуальной, а современный читатель наверняка увидит в описываемых в ней событиях и определенные аналогии. В этой связи с современностью можно, пожалуй, увидеть торжество важнейшего для Соловьева принципа исторического исследования — «отыскать живую связь между прошедшим и настоящим, задать вопрос об отношениях старого к новому».

Определенные ассоциации с современностью, вероятно, вызовет у читателя и чтение другой работы Соловьева — «Восточный вопрос». В отличие от «Истории падения Польши» это не цельная работа: две ее части написаны с разрывом почти в десять лет²⁶. Появление в печати последних ее частей предшествовало русско-турецкой войне 1877—1878 гг., на том этапе мировой истории сыгравшей немаловажную роль в решении восточного вопроса, а в творческой биографии самого Соловьева — изданию книги об Александре I²⁷. Первая часть «Восточного вопроса» — это по существу публицистическая газетная статья, в которой автор обозначает свою общественно-политическую позицию. Противостояние Европы и Азии, по его мнению, важнейшая особенность всей мировой истории еще со времен античности. Для России же, в силу ее географического месторасположения, восточный вопрос имеет особое значение, поскольку от его решения зависит ее собственная безопасность. Политика России всегда была миролюбивой: она не стремилась к территориальным захватам, но выступала за создание на территории распадающейся Османской империи новых самостоятельных государств. Публицистический характер работы позволял Соловьеву высказать свое отношение к так называемому «греческому проекту», о котором он упоминал в «Истории падения Польши» и который к этому времени в Западной Европе воспринимался как олицетворение русского экспансионизма. В отличие от историков последующего времени, пытавшихся вовсе отрицать существование «греческого проекта»²⁸, Соловьеву подобная мысль в голову не приходила, однако он старался представить дело так, будто речь шла о восстановлении совершенно независимой от России Греческой империи. Между тем, как известно, на престол этой империи (Соловьев упоминает об этом в «Истории падения Польши») Екатерина II предполагала посадить своего внука Константина, что само по себе делало независимость этого государства от России весьма сомнительной.

Две другие части «Восточного вопроса» значительно отличаются от первой. Это уже сочинение научного характера, изобилующее цитатами из архивных документов, которые, так же как и документы, использованные в книге о разделах Польши, были извлечены Соловьевым из тогдашних секретных архивов, публиковались впервые и уже потому придавали его работе большую научную ценность. Описание здесь дипломатической борьбы начала 20-х годов XIX в., и в особенности по греческому вопросу в связи с восстанием 1821 г., вошло позднее в монографию

²⁵ *Madaryaga, I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. New Haven; London, 1981* Р. 451.

²⁶ *Соловьев С. М. Восточный вопрос // Москва. 1867. № 1; Он же. Восточный вопрос 50 лет назад // Древняя и новая Россия. 1876. Т. 1. № 2. С. 129—141; Он же. Восточный вопрос в 1827, 1828 и 1829 годах // Там же. Т. 3. № 10. С. 105—119.*

²⁷ *Соловьев С. М. Император Александр Первый: Политика — Дипломатия. СПб., 1877* Эта работа Соловьева публикуется в 17-й книге настоящего издания.

²⁸ См., например: *Маркова О. П. О происхождении так называемого греческого проекта (80-е годы XVIII в.) // История СССР. 1958. № 4. С. 52—78.*

об Александре I. Описание событий после смерти Александра, относящихся к 1826—1829 гг., продолжает и дополняет ее.

Вполне очевидно, что, работая над статьями по истории восточного вопроса, так же как при работе над «Историей падения Польши», Соловьев не был свободен ни от политических обстоятельств того времени, ни от собственных общественно-политических пристрастий. И так же, как в книге о разделах Польши, это не могло не сказаться на излагаемой им версии событий — очевидно апологической по отношению к российской внешней политике. Вряд ли есть смысл подробно разбирать эту версию в рамках данного комментария (тем более что обсуждать ее целесообразно вместе с книгой об Александре I): читатель, знакомый с дальнейшим развитием событий, легко сможет вынести о ней собственное суждение. Но каково бы оно ни было, как излагаемые в «Восточном вопросе» исторические факты, так и мастерски описанные хитросплетения европейской политики того времени, вероятно, дадут возможность лучше понять и существо процессов, происходящих в мире, в частности на Балканах, в конце XX века.

Завершая обзор работ Соловьева, включенных в 16-ю книгу нового издания его «Сочинений», еще раз подчеркнем, что в них он предстает перед нами и как уже известный по «Истории России...» глубокий исследователь, и как публицист, популяризатор истории, и как страстный полемист. Современное звучание этих работ, не потерявших своей научной значимости, делает их особенно интересными. Без них наше представление об одном из самых выдающихся деятелей русской исторической науки, его вкладе в отечественную историографию было бы далеко не полным.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аббас Мирза, наследник персидского престола 660
Абдыл-Летиф, казанский царь 142, 143
Август III Фридрих, польский король 413, 414, 416
Август, римский император 191, 309
Аврора Кенигсмарк 310
Агриппина, великая княгиня рязанская 151
Адашев А. Ф., окольный 158—160, 162—166
Азис, хан Золотой Орды 98
Александр, сын Приама 261
Александр I, российский император 54, 312, 637—641, 643, 646, 647, 702, 703
Александр Васильевич, князь суздальский 114
Александр Иванович, князь литовский 123, 236
Александр Казимирович, великий князь литовский 133—135, 137, 142
Александр Македонский, царь 139, 191, 199, 212, 262, 309, 630
Александр Михайлович, князь тверской, великий князь владимирский 91—94, 118
Александр Попович, богатырь 193
Александр Ярославич Невский, князь новгородский и псковский, великий князь владимирский 89, 118, 140
Алексей Михайлович, русский царь 40, 41, 57, 184, 204, 214, 219, 328, 329, 406, 421
Алексей Петрович Хвост, московский тысяцкий 94, 101
Алексей (Алексий), русский митрополит 95, 102
Алое 437, 603
Алопеус, дипломат, русский посланник в Берлине 532, 534, 535, 540—542, 568, 575, 585—587, 589, 590
Амвросий, святой 690
Анастасия Романовна, московская царица, жена Ивана IV 151, 162, 164, 165, 239, 240
Андрей, апостол 64, 206
Андрей, протопоп, духовник Ивана IV Грозного 169
Андрей Александрович, князь городецкий и костромской, великий князь владимирский 89, 90, 95
Андрей Владимирович, князь волынский 83
Андрей Иванович, князь старицкий 148
Андрей Константинович, князь суздальский и нижегородский 97, 98
Андрей Юрьевич Боголюбский, великий князь владимирский 28—31, 59, 84—90, 117, 119, 195, 234, 396, 399
Анриан Доблянков, богатырь 193
Андронов Ф., торговый мужик 378
Анквич Ю., граф, краковский депутат 599, 612, 616
Анна, греческая царевна, жена великого князя Владимира I Святославича 72
Анна Ивановна (Иоанновна), российская императрица 209, 330, 346, 381, 384, 387, 388, 520
Антоний (Антип), игумен Киево-Печерского монастыря, святой 26
Аппони, граф, австрийский посланник в Париже 658, 665
Апраксин, генерал-поручик 611
Апраксин Ф. М., граф, адмирал 377
Арапша, татарский царевич 102
Аргины, татарские князья 143
Аристотель. См. Фиоравенти
Армфельд, барон 531
Арсений Глухой, товарищ Дионисия по исправлению книг 337
Арсеньев Н. Д., русский генерал 626
Арсолд 223
Артемизия Карийская и Галикарнас-ская 192
Артизов А. Н., историк 695

- Артуа, граф 563, 588. См. также Карл X
Аскольд, древнерусский князь 68, 69,
192, 207, 208
Астафьев, зять Данилова 386
Аттила, предводитель гуннов 298, 347
Ахмат, хан Золотой Орды 137
Аш, барон 627
- Баарыковы, татарские князья 143
Байер Г. З., немецкий историк 47, 66,
210, 211, 229, 278, 301
Барков И. С., русский поэт 308
Барц, деятель польского освободитель-
ного движения 605
Басманов А. Д., московский боярин
156
Баторий Стефан, польский король 173,
175, 632
Батый, монгольский хан 54, 121, 122,
129, 136, 172, 194
Баугофер, купец 602
Бауер, бригадир 614
Бах И. С., немецкий композитор 372
Башилов С. С., русский историк, пере-
водчик 307, 308, 311
Бедислав, мифический предводитель
скифов 211
Безбородко А. А., князь, русский госу-
дарственный деятель, дипломат 506,
517, 518, 534, 569, 575, 583, 592, 700
Беклемишев (Берсень) И. Н., москов-
ский боярин 141, 146
Бекман, историк 289
Белинский П., сеймовый маршал 599
Белковец Л. П., историк 695
Бельские, князья 148
Бельский 212
Вельский И. Д., князь 237
Бельский И. Ф., князь, боярин, воевода
149, 150, 153—155, 161, 166
Бельский С. Ф., князь, боярин, воевода
148
Бенуа, прусский посол в России 433,
447, 459, 472, 488, 495, 496
Бер М., пастор, тещь Буссова, ему до
1850 г. приписывалось авторство
буссовских записок 180
Бердата, царевич 110
Бередников, историк 172
Берсень. См. Беклемишев
Бестужев-Рюмин А. П., граф, русский
государственный деятель и дипломат
414—416
Бецкой (Бецкий) И. И., русский госу-
дарственный деятель 50, 242, 306
Бибииков А. И., русский государствен-
ный и военный деятель, генерал-ан-
шеф 479, 485, 490—495
Бирон, принцесса курляндская 564
Бирон Э. И., граф 389, 564
Бишофсвердер, прусский государствен-
ный деятель 531, 538—541, 575, 586,
621
Богуш, генеральный секретарь конфе-
дерации 465
Болотников И. И., предводитель восста-
ния 1606—1607 гг., беглый холоп
197
Болтин И. Н., русский историк 46, 61,
66, 67, 70, 72, 74, 80, 87, 185, 186, 219,
241, 243—250, 312, 316, 317, 696
Борецкие, новгородские бояре 127, 128
Борецкий И. А., новгородский посад-
ник 112
Борис, князь тверской 196
Борис Владимирович, князь ростов-
ский 25, 193
Борис Константинович, князь ниже-
городский и городецкий 97, 98
Боровский, шляхтич 454, 455
Борх, вице-канцлер 471, 472, 474, 478,
483
Браницкий Ф.-К., граф, великий гетман
коронный 418, 460, 461, 468, 469,
478, 479, 496, 498, 499, 517, 544, 545,
548, 551, 554, 558, 569, 571, 577, 593
Браун, академик 302
Брауншвейгский К. В. Ф. (Браун-
швейг), герцог 539, 540, 587—589
Бредихин, дьяк 329
Бретейль, граф 589
Брюль, министр при дворе Августа III
413
Брюс Я. В., граф, русский государст-
венный и военный деятель 200, 201,
524
Буало Н., французский поэт 230
Бугреев, русский военачальник 608
Будат, казанский князь 166
Булгак Г., епископ пинский 425
Булгаков Я. И., русский посол в Кон-
стантинополе 512, 534, 551, 552, 554,
558, 559, 569—572, 574, 575, 577—
584, 590, 592, 606
Бурбоны, королевская династия во
Франции 589
Бурсов (Буссов) К., автор записок о
Москвии 180
Бутков П. Г., русский историк 220
Бутурлин А. А., боярин 155
Бухгольд, прусский посланник в Поль-
ше 525, 526, 545, 598, 599
Бышевский, польский генерал 612

- Бюшинг А. Ф., геттингенский профессор 282, 284, 289, 290, 695
- Ваврецкий Т., член Верховного правительственного совета, генерал 617, 626
- Валевский, воевода сирадский 571
- Валевский, староста серецкий 526
- Валк С. Н., историк 695
- Ван-Ейк (Ван Дейк), художник 367
- Вандад, мифический князь славян 61
- Варлаам, митрополит 335
- Варсонофий, епископ смоленский 152
- Василий Буслаев, герой былин новгородского цикла 265
- Василий Васильевич, князь 114
- Василий Васильевич Вельяминов, московский тысяцкий 101
- Василий II Васильевич Темный, великий князь московский 44, 108, 111—115, 118, 124, 126, 135, 137—139, 220
- Василий Дмитриевич (Димитриевич), князь нижегородский 97, 98, 125
- Василий I Дмитриевич (Димитриевич), великий князь 106—109, 111, 113, 114, 122, 150, 151
- Василий Иванович, князь, внук Дмитрия Шемяки (Шемячич) 135
- Василий Иванович Оболенский, князь, воевода 114, 115
- Василий III Иванович (Иоаннович), великий князь московский 138, 140—148, 150, 152—154, 158, 196, 236, 237, 266, 325, 377, 382, 402
- Василий Македонянин, император 189, 213
- Василий Романович, брат князя Федора Романовича Белозерского 103
- Василий Юрьевич Косой, князь звенигородский 109, 110
- Василий Ярославич, князь костромской и великий князь владимирский 89, 116, 117
- Василий Ярославич, князь серпуховской и боровский 110
- Василько Владимирович, князь 194
- Василько Ростиславич Теревольский, князь 62
- Вассиан Косой. См. Патрикеев
- Вассиан Топорков (Бесный, Бесский), епископ коломенский 160, 162, 165
- Вахтер 302, 316
- Ваиде, русский генерал 345
- Веймарн И. И., русский генерал 466, 476, 479, 480, 485, 495
- Вейсман, автор лексикона 285
- Вейссенгоф (Вейсенгоф) Ю., деятель польского освободительного движения 555, 557, 604
- Велиопольский, маркиз, краковский земский посол 449
- Веллингтон А. У., герцог, английский фельдмаршал 642—645, 648, 660, 661, 663, 664, 666, 670, 671
- Веловейский, член Верховного правительственного совета Польши 617
- Вельченский, богатый шляхтич 545
- Вельяминов В. В., московский тысяцкий 101
- Вельяминов И., московский боярин 101
- Венгерский, камергер 605, 606
- Вениамин, монах 207, 208
- Венявский, краковский комендант 620
- Веселицкий, посланник 510
- Веселовский, резидент при Австрийском дворе 345
- Вессель, подскарбий 441
- Виельгорский, польский генерал 590, 626
- Виельгорский (Виельгурский), кушмир литовский 436, 441, 450
- Виельгорский М. 577
- Виельгорский Ю 577
- Виланд К. М., немецкий литератор 369
- Витовт Кейстутович, великий князь литовский, князь гродненский 112, 137, 561
- Вишневецкие, князья 178, 179, 212
- Владимир Андреевич Храбрый, князь серпуховской и боровский 96, 98, 100, 105—107, 237
- Владимир Всеволодович Мономах, великий князь киевский, князь черниговский и переяславский 81, 82, 87—89, 111, 116, 117, 139, 140, 162, 176, 194, 211, 215, 234, 394
- Владимир I Святославич, великий князь киевский 16, 17, 19—26, 54, 57, 69, 71—77, 86, 121, 138, 139, 190, 193, 194, 206, 207, 233, 248, 256, 257, 310, 318, 394
- Владимир I Святославич, князь новгородский 21
- Владимир Ярославич, князь новгородский 75
- Владислав Сигизмундович 268, 327, 379
- Водзицкий Ю., польский генерал 605
- Войницкий, кастелян 544
- Войтех Т., епископ виленский 142
- Волконский М. Н., князь, московский посол в Польшу 463—476, 480—482
- Володарь Владимирович, князь 194
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа

- Аруэ), французский писатель и философ 686
- Вольнецкий, шляхтич 454, 455
- Вонж, управляющий князя Любомирского 454
- Ворков Б., дворянин 138
- Воронцов М. И., граф, канцлер 524, 638
- Воронцов М. С., св. князь, граф 649, 651
- Воронцов С. Р., граф, русский дипломат 513
- Воронцов Ф. С., боярин 155, 161
- Воротынские, князья 379
- Воротынский И. М., князь 376—378
- Воротынский М. И., князь, боярин 169
- Вортигерн 309
- Востоков А. Х., русский филолог, поэт 188, 190
- Всеволод Георгиевич, князь 87
- Всеволод Мстиславич, князь 394
- Всеволод Ольгович, князь черниговский, великий князь 83, 216, 234
- Всеволод II Ольгович, князь 393
- Всеволод III Юрьевич, великий князь киевский и владими́ро-суздальский 59, 86—91, 125, 399
- Всеволод Ярославич, князь переяславский 78—81
- Всеволод I Ярославич, князь переяславский, черниговский, великий князь киевский 86, 88, 233, 310, 393
- Всеслав Брючиславич, князь полоцкий 77, 193
- Выбицкий Ю., польский деятель 555
- Вытошинский, оратор 615
- Вышата, тысяцкий 16
- Вышеслав, польский князь 193
- Вяземский А. А., князь, государственный деятель 524
- Вятко, летописный предводитель славянского племени 191
- Вячеслав Владимирович, князь туровский 83, 234
- Вячеслав Ярославич, князь смоленский 193
- Габсбурги, династия, правившая в Австрии 632, 633
- Гагарин, князь, полковник 613
- Гадебуш, литератор 281
- Гайгольд, пастор 279
- Ганнибал (Аннибал), карфагенский полководец 630
- Гасчеровский, адъютант коронной гвардии 618
- Гаттерер, историк 65
- Гауман, польский полковник 613
- Гафрон, прусский поверенный в Польше 505
- Гваньини, историк 171
- Гедимин, великий князь литовский 195
- Гедиминовичи, потомки великого князя литовского Гедимина 56, 57, 375, 697
- Гедройц, епископ жмудский 571
- Гелмолд 223
- Геннадий, новгородский архиепископ 331—337
- Генрих IV, французский король 410, 562
- Генрих Прусский, принц 485, 497
- Георг III, английский король 536, 537
- Георгий Белорусский. См. Конисский Г.
- Георгий Васильевич, князь 237
- Георгий II Всеволодович, князь 87
- Георгий Пахимер, византийский историк 295
- Герасимов Д., толмач 145
- Герберштейн С., австрийский посол в Москве 138, 141, 144, 145, 193
- Гервасий, переяславский архиепирей 456
- Геристаль, германский вождь 11
- Герман, казанский архиепископ 171
- Германарих, вождь готов 63
- Геродот, древнегреческий историк 6, 7, 51, 65, 209, 211, 261
- Геронтий, митрополит 131
- Герцберх (Герцберг), прусский министр 513, 525, 527, 531, 534, 535, 538—540
- Геснер 287
- Гессен-Кассельский, ландграф 415
- Герц, граф, прусский посланник в России 505
- Гёте И. В., немецкий писатель 372
- Гизель И., архимандрит Киево-Печерской лавры, вероятный автор «Синописа» 190, 199
- Гизо Ф., французский историк 635
- Гильемино, граф, французский посланник 653, 671, 672
- Гирей, династия крымских ханов 167
- Глеб Владимирович, князь муромский 25, 193
- Глеб Святославич, князь новгородский 78, 79
- Глинские, князья 147, 155
- Глинский М. Я., князь, московский боярин 147, 156
- Гмелин И. Г., ученый-натуралист 289
- Годар 246
- Годунов Б. Ф., русский царь 35, 174—181, 183, 196, 197, 215, 219, 240, 241, 267, 324, 326, 327, 351, 382, 695

- Голиков И. И., русский историк 205
 Голицын, московский посланник 197
 Голицын А., брат Голицына В. В. 378
 Голицын А. М., князь, главнокомандующий русскими войсками в войне с Турцией 470
 Голицын В. В., князь 270, 378
 Голицын Д. М., князь 220
 Голицыны, князья 379
 Головин П., дворянин 156
 Головин Ф. П., дворянин 155, 156, 178
 Гольц фон, граф, маршал, прусский посол в Петербурге 435, 567, 575, 591, 592, 595, 600, 601, 621
 Гомер, древнегреческий поэт 8, 287, 630
 Гонсевский (Госевский) А., польский деятель 378
 Гонта, казачий сотник 456—458
 Гонфрис, датский агент 512
 Горбатый-Шуйский А. Б., князь, воевода 155
 Гордон, английский посланник 671, 672
 Горзковский, польский деятель 605
 Горностаевич, литовский посол 149
 Горсей Д., английский путешественник 326, 327
 Гостомысл, мифический предводитель новгородских славян 191, 192, 209, 251—253, 309
 Грабовский, польский генерал 435
 Грамотин И. Т., думный дяк, печатник 382
 Грей, член палаты общин 542
 Грейг С. К., адмирал 521
 Грибоедов Ф. И., русский писатель, дяк 44, 190
 Григорий Богданович, новгородский посадник 112
 Гримм Я., немецкий филолог 372
 Громислав, мифический предводитель скифов 211
 Гулевич, польский деятель 577
 Гуровский, депутат 435
 Гуровский, маршал литовский 478
 Гурьев, русский полковник 458
 Густав II Адольф (Густав-Адольф), король Швеции 410, 520, 562
 Густав III, король Швеции 519, 521, 522, 529—531, 562
 Гэльс, английский министр 547, 556, 557
 Давид, царь 19
 Давид Игоревич, князь владимиро-волынский 80, 81
 Дадлей, лорд 654, 658
 Дальримпл, английский посланник 500
 Даниил, московский митрополит 150
 Даниил Александрович, князь московский 118, 119
 Данилов 386
 Дарий I, персидский царь 7
 Дебалмен, граф, русский генерал-поручик 510
 Деболи, польский агент в Петербурге 557, 570, 571, 611, 613, 620
 Девлет-Гирей, крымский хан 501
 Декаше, австрийский поверенный в делах в Варшаве 584, 596
 Деллагарди (де ла Гардие) Я. П., граф, шведский полководец и государственный деятель 197, 198
 Де-Линь, принц 521
 Демосфен, афинский оратор 543
 Денисов Ф. П., генерал-майор 619, 622, 625
 Дерфельден В. Х., русский генерал 619, 622
 Деций Гай Мессий Квинт Траян, римский император 264
 Дзяконский, подскарбий надворный литовский 583
 Дзялынський И., польский генерал 602, 603, 605, 607, 609, 611, 613
 Димитрий, толмач 333
 Дион Хризостом, древнегреческий оратор 8
 Дионисий, архимандрит 337
 Дионисий, митрополит 175, 177
 Дир, летописный киевский князь 68, 69, 192
 Длугош Я., польский историк 139
 Длуский, подкоморий люблинский 475
 Дмитриев-Мамонов, граф 524
 Дмитрий (Димитрий) Александрович, князь владимирский и переяславский 54, 89, 90, 95
 Дмитрий Иванович (Димитрий Иоаннович) Донской, великий князь московский и владимирский 54, 94—107, 109, 111, 117, 121, 135, 137—140, 150
 Дмитрий Иванович (Димитрий Иоаннович) Углицкий, царевич 55, 162, 178, 180, 181, 196, 237, 239, 240, 258
 Дмитрий (Димитрий) Константинович, великий князь суздальский и нижегородский 95—98, 101
 Дмитрий (Димитрий) Юрьевич Шемяка, князь звенигородский и галицкий 108, 110, 113, 114
 Дмуховский Ф. К., священник 605, 608
 Добрыня, богатырь 193
 Домициан, римский император 8

- Дорошенко П. Д., гетман Правобережной Украины 407
- Дрогидай, скифский вождь 229
- Дулб, летописный полководец 191
- Дуска, казацкий сотник 456, 457
- Дюканж Ш., французский историк и филолог 295, 296, 303
- Дюмюрье Шарль Франсуа дю Перье, французский генерал и политический деятель 464, 465, 588, 589
- Еварт, английский посланник в Берлине 531
- Евфимий, архиепископ 112
- Егергорн, майор финляндских войск 522
- Едигей, татарский хан 109, 150
- Екатерина I Алексеевна, российская императрица 381
- Екатерина II Алексеевна (Екатерина Великая), российская императрица 39, 45, 54, 57, 219, 230, 242, 251, 297, 330, 346, 389, 411—414, 416—422, 485, 502, 506, 510, 513—517, 519—522, 524, 527—531, 533, 542, 543, 547, 551, 558, 561—564, 566, 567, 581, 584, 585, 589, 591, 592, 607, 619, 623, 626—628, 635, 637, 700, 702
- Елагин И. П., придворный, писатель 47, 53, 204, 208, 220, 241, 251, 255, 256, 259, 316, 318, 592, 696
- Елена из Лакедемона (миф.) 261
- Елена Васильевна, дочь князя Василия Львовича Глинского, жена Василия III, великая княгиня московская 146—149, 151—153
- Елена Ивановна, жена Александра Казимировича, великого князя литовского 134, 135, 142
- Елизавета (Елисавета) Петровна, российская императрица 230, 246, 294, 330, 389, 414—416
- Елизавета (Елисавета) Тюдор, английская королева 192, 273
- Ельский К., посол Четырехлетнего сейма 603—605
- Эмин (Эмин) Ф. А., историк, литератор 47, 53, 204, 220, 251—256, 309, 316, 318
- Энгстрём, шведский резидент при Варшавском дворе 546
- Эпиктет (Эпиктет), римский философ 681
- Епифаний, святой 691
- Ермак Тимофеевич, казачий атаман 265
- Эссен (Эссен), саксонский посланник в Польше 453, 500, 556, 558
- Железняк М., один из предводителей крестьянского движения на Правобережной Украине 455, 457, 458
- Забелло Ю., литовский гетман 555, 604, 616
- Завадовский П. В., граф, русский государственный деятель 524
- Загорский, один из участников Тарговицкой конфедерации 577
- Загряжский, посланник в Литву 133
- Загуми, мифический предводитель холопов 211
- Зайончек Ю., польский генерал 608, 619, 620
- Закржевский И., президент Варшавы 602, 603, 615, 617, 620, 624
- Залеский, один из участников Тарговицкой конфедерации 559
- Залуский, архиепископ львовский и епископ киевский 449
- Замойский А., польский граф 459—461, 468, 499
- Заруцкий И. М., предводитель казачьих отрядов 269, 270, 379
- Захарьин-Кожкин Р. Ю., окольный 151
- Захарьины-Юрьевы, московские бояре 151
- Зееле, купец 281
- Зенко, литовский посол 135
- Зиновий Огеньский, монах, ученик Максима Грека 334
- Жиши, граф, австрийский посланник в Петербурге 663
- Злотницкий, один из участников Тарговицкой конфедерации 577
- Зонар 223
- Зубов П. А., граф, русский государственный деятель 596, 622, 623
- Ибрагим, казанский царь 126
- Ибрагим-паша, египетский полководец и государственный деятель 648, 654, 655
- Иван, святой 114
- Иван (Иоанн) Андреевич, князь можайский 110, 114
- Иван Васильевич, князь суздальский 114
- Иван (Иоанн) III Васильевич, великий князь московский 44, 52—56, 58, 105, 111, 115, 122—128, 130—133, 135—141, 143—145, 150, 151, 158, 162, 173, 185, 186, 195, 196, 205, 215, 235,

- 236, 251, 266, 295, 308, 310, 324, 325, 377, 400—403, 695
- Иван (Иоанн) IV Васильевич Грозный, русский царь 32, 33, 36, 46, 55, 141, 144—147, 150—163, 165—177, 196, 212, 214, 220, 236—239, 266, 267, 308, 316, 317, 324—328, 335, 377, 382, 402, 403, 510, 632
- Иван Всеволодович, князь 195
- Иван Годинович, богатырь 16
- Иван (Иоанн) I Данилович Калита, князь московский, великий князь владимирский 54, 55, 57, 86, 90—93, 98, 111, 113, 116—119, 125, 129, 135, 136, 138—140, 146, 185, 186
- Иван Дмитриевич (Иоанн Дмитриевич), князь переяславский 118
- Иван Иванович (Иоанн Иоаннович), московский царевич 175
- Иван Иванович (Иоанн Иоаннович) Молодой, князь 196
- Иван II Иванович (Иоанн Иоаннович) Красный, великий князь московский 94, 95
- Игельстром И. А., барон, русский генерал 511, 531, 606—615, 619, 621
- Игельстром, полковник 449
- Игорь, киевский князь 16, 19, 20, 70, 208, 215, 225, 226, 254, 318, 320
- Игорь Ольгович, великий князь киевский 394
- Игорь Ярославич, князь волынский и смоленский 77—79, 193
- Изыман, польский посол 133
- Изяслав Мстиславич, великий князь киевский 83, 394
- Изяслав Ярославич, великий князь киевский 78—80, 86, 233, 248, 310
- Иисус Христос 162, 170, 206, 225, 339, 425, 481, 517, 683, 686
- Иконников В. С., историк 696
- Иларион, киевский митрополит 23—25
- Иллерицкий В. Е., историк 697—699
- Илья Иванович Муромец, богатырь 193, 248
- Имин-Гирей (Иминь), крымский хан 153
- Иоаким, епископ новгородский 61, 62, 207, 208, 220, 231, 248, 249, 312
- Иоанн I Цимисхий, византийский император 16
- Иоасаф, московский митрополит 153, 155
- Иов, патриарх 177, 178, 214
- Иовий Павел. См. Павел Иовий Новокомский
- Иона, московский митрополит 127
- Иона, ростовский митрополит 39
- Иорнанд (Иордан), остготский историк 63, 223
- Иосиф II, австрийский эрцгерцог, император «Священной Римской империи» 411, 504—506, 508, 528—530, 532, 563
- Иракий, грузинский царь 512
- Ире 281, 287, 302, 316
- Исидор, московский митрополит 113
- Ислам-Гирей, крымский хан 149
- Истома, казачий полковник 197
- Кавгадый, ханский посол 119
- Казимир IV Ягеллович, польский король и великий князь литовский 127, 132, 133, 137, 139
- Кайзерлинг, посол 413, 417, 421, 422
- Калачов Н. В., русский историк 77, 693
- Калоннь (Калонн) Ш. А., французский государственный деятель 588
- Каменев, секретарь вотчинной коллегии 386
- Каменский А. Б., историк 695, 698
- Каминский, польский генерал 625
- Каннинг С., английский министр 641—643, 645, 647, 650, 651, 653, 654, 666
- Кант И., немецкий философ 372
- Кантемир А. Д., князь, русский поэт, дипломат 242
- Капостас А., банкир 602, 603, 605—608, 610, 617, 618, 620
- Карамзин Н. М., писатель, историк 43, 48, 50—53, 55, 56, 58—82, 85—88, 90—96, 98, 100, 102, 103, 106, 108, 111, 114, 115, 121, 123—126, 128—130, 134, 136—138, 140, 141, 145—152, 157—159, 161, 162, 165—174, 176—178, 181, 182, 184—186, 241, 694—696
- Карл I, английский король 562
- Карл IX, король Швеции 182
- Карл X, французский король 663, 666, 671. См. также Артуа
- Карл XII, король Швеции 310
- Карл Великий, франкский король 10, 11, 390
- Карл Лотарингский, принц 415
- Карл Саксонский, принц 437
- Карловинги, династия 10
- Касим, татарский царевич 126
- Кауниц В. А., австрийский государственный канцлер 518, 532, 533, 537, 538, 541, 560, 561, 564
- Кедрен 300
- Кентаври, римский род 191
- Кесарины, римский род 191

- Кесльри, лорд, английский министр 641
 Ки, мифический персонаж 309
 Кий, мифический основатель Киева 191, 192, 249
 Килинский Я., башмачник 610, 611, 615—618, 620, 621
 Киприан, московский митрополит 103, 337
 Киреева Р. А., историк 695, 696
 Кирилл, ростовский митрополит 327
 Кирилл, славянский просветитель 10, 11, 206
 Кирилл, стрелецкий пятидесятник 198
 Клерон (наст. имя и фамилия Клер Жозеф Ипполит Лерис де Латюд), французская актриса 437
 Клешиин, подручный Годунова 240
 Климент XIII, папа 441
 Ключевский В. О., историк 696
 Княжевич К., польский генерал 625
 Кобенцель Л., австрийский посланник в Петербурге 533, 534, 537, 541, 560, 564, 565, 584, 595, 597, 598, 601, 602, 609
 Кобенцель Ф., граф, австрийский вице-канцлер 534, 538—541, 595
 Кобыла А. И., боярин 151
 Кобылецкий, один из участников Тарговицкой конфедерации 577
 Кожуховский, шляхтич 446—448
 Козлов, генерал-рекейтмейстер 296, 305
 Козлов, литовский гонец в Москву 166
 Козодавлев, сенатор 313
 да-Колло Ф., посол австрийского императора в Москву 144
 Коллонтай Г., коронный референдарий 544, 555, 578, 583, 584, 603, 604, 607, 608, 617, 620
 Коломны, римский род 191
 Колумб Х., мореплаватель 294
 Кондзеля Л., историк 701
 Кондоиди, братья 284
 Конисский Г., епископ могилевский 413, 425, 445, 549, 550
 Конопка К., польский революционер 620
 Константин, острожский князь 335
 Константин I Великий, римский император 189
 Константин VII Багрянородный, византийский император 122, 210, 213, 253, 295
 Константин Васильевич, князь суздальский 94
 Константин Всеволодович, князь 87
 Константин Дмитриевич (Димитриевич), московский князь 113, 114
 Константин Павлович, русский великий князь 507, 578, 579, 581, 585, 702
 Константинович, князь 114
 Контарини Амвросий, посол Венецианской республики в Персию, путешественник 144
 Копец, польский бригадир 625
 Косаковская, владелица имения 604
 Косаковский, витебский воевода 571
 Косаковский, генерал-поручик 593
 Косаковский, инфляндский кастелян 571
 Косаковский И., ливонский епископ 544, 571
 Косаковский Ш., великий гетман литовский 607, 626
 Костюшко (Косцюшко) Т., польский политический и военный деятель 577, 603—609, 615—617, 619—621, 624—626
 Коулей, лорд, британский посланник в Вене 667, 668
 Кохановский, комиссар, сендомирский посол 559
 Коховский (Каховский) М. В., русский генерал 572, 577, 591
 Коцебу 369
 Кочубей В. П., граф, государственный деятель, дипломат 637
 Кошкин Ю. З., московский боярин 151
 Кранц 223
 Красинский, каменецкий епископ 430, 435, 441, 452
 Красинский, подкоморий розанский, брат каменецкого епископа 452
 Краснодемский, депутат 599
 Крашенинников С. П., русский исследователь Камчатки 285
 Кречетников М. Н., русский генерал 458, 463, 577
 Крѣкшин П. Н., дворянин, автор записок о времени Петра I 185, 208
 Кржицкий, польский полковник 625
 Кривцов И., зодчий 131
 Кромер 223
 Кроудок, английский полковник 654
 Крузе Е., ливонский дворянин 171
 Крюднер, русский государственный деятель 312
 Ксенофонт, древнегреческий писатель и историк 160, 161
 Ксеркс I, царь государства Ахеменидов 262, 630
 Кубенский И. И., князь, боярин 155, 161
 Кубенский М. И., князь, боярин 155, 156
 Кублицкий, депутат 546, 557
 Кудрявцев П. Н., историк 390

- Курбский А. М., князь, боярин, писатель 33, 36, 151, 156—168, 171, 173, 178, 236—238, 240, 337
- Кутузов М. И., св. князь, русский полководец, генерал-фельдмаршал 587
- Кучкович, владимирский боярин 117
- Кучковичи, боярский род 84
- Кюстин, французский генерал 589
- Ламарк Ж. М., граф, французский политический и военный деятель, генерал 634
- Лаппо-Данилевский А. С., историк 696
- Лаффероннэ, министр иностранных дел Франции 663, 665, 666, 670
- Лафонтен Жан де, французский писатель 230
- Лебедев, военный медик 613
- Лебрен, французский министр 604
- Леббельтерн, граф, австрийский посланник 648
- Левшин Б. В., историк 695
- Лейбниц Г. В., немецкий философ, математик, языковед 227
- Леклерк, французский литератор 243—249
- Леман М., немецкий историк 302
- Ленарт, комендант Уманьского замка 457
- Леон, грамматик 223
- Леон, сын Константина I Великого 189
- Леонид, спартанский царь 264
- Леонтий, святой 25
- Леопольд, австрийский император 530, 532, 533, 541, 543, 563, 564, 567, 568
- Лербах, граф 600
- Лжедмитрий I, самозванец. См. Острепьев Г. Б.
- Лжедмитрий II, самозванец 378
- Ливен Х. А., св. князь, граф 644—646, 656, 658, 660, 661—662
- Ливий Тит, римский историк 51, 52
- Линней К., шведский естествоиспытатель 281
- Лисянский, архиепископ Овухфриевского монастыря 425
- Литта, папский нунций 616
- Лихачев, автор жизнеописания царя Федора Алексеевича 204
- Лоборо, лорд 542
- Ломоносов М. В., великий русский ученый, поэт 46, 47, 51, 53, 54, 66, 70, 185, 200, 213, 221—228, 230—232, 244, 291, 294, 301—305, 312, 318, 696, 697
- Лопухин, полковник 480
- Лубенский, князь, примас 439
- Луговской, автор описания похода царя Алексея 204
- Лука, евангелист 103
- Любомирская, княгиня 494, 544, 624
- Любомирские, князья 453, 499
- Любомирский, князь, великий маршал коронный 433, 447, 452, 453, 460, 461, 468, 471, 472, 475, 478, 482—484, 494
- Любомирский, князь, подстолий литовский 453, 454, 528
- Любомирский, любельский воевода 453
- Людовик, принц 585
- Людовик XIV, французский король 410, 563
- Людовик XV, французский король 464
- Людовик XVI, французский король 561, 562, 588, 589, 628
- Люкезини (Люкезиний), маркиз, посланник при Польском дворе 534, 535, 545, 547, 553, 557, 569, 572, 576, 621
- Ляпунов П. П., один из главных руководителей 1-го земского ополчения 268—270, 378, 379, 382
- Лятцкий И. В., боярин, воевода 148
- Маврокордат, молдавский господарь 512
- Магомет (Мухаммед), основатель ислама 169, 170
- Мадалинский А., польский бригадир 603, 605, 608, 609
- Мадарьяга И. де, английская исследовательница 702
- Маевский, начальник тюрьмы в Варшаве 620
- Мазинг, банкир 602
- Макарий, русский митрополит 336
- Максим Грек, публицист, богослов 213, 257, 333, 334, 402
- Максимилиан, император «Священной Римской империи», сын императора Фридриха 125
- Малаховский, великий канцлер коронный 571, 583, 596
- Малаховский, воевода мазовецкий 571
- Малаховский С., маршал сеймовый коронный 547, 548, 555, 558, 578, 581, 583, 584, 607
- Малуша, ключница великой княгини Ольги 310
- Малчевский И., староста сплавский 453
- Мальцев С., московский посланник в Ногайскую орду 172
- Малюта Скуратов-Бельский Г. Л., дум-

- ный дворянин, опричник 175, 176, 238
- Мамай, татарский темник, правитель Золотой Орды 101—105, 117, 135, 137, 140, 194
- Мамутек, сын хана Золотой Орды Улу-Махмета 110
- Манкиев А. И., русский историк 45, 188, 189, 696
- Мария, жена Бориса Годунова 177
- Мария-Антуанетта, французская королева 563, 628
- Мария Борисовна, первая жена великого князя Ивана III Васильевича 196
- Мария Стюарт, шотландская королева 367
- Мария-Терезия, австрийская эрцгерцогиня 416
- Мария Ярославна, жена великого князя Василия II Васильевича Темного 126
- Марк, монах Бердичевского монастыря 452
- Марков, генерал 577, 623
- Маркова О. П., историк 702
- Марселис П. Г., датский купец 40
- Марфа, царица, жена Ивана IV 177
- Марфа Посадница, вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, руководительница антимосковской боярской оппозиции 127, 128
- Марциал, древнеримский поэт 297
- Марья, княгиня, боярыня 134
- Масальские 418
- Масальский И. Ю., князь, епископ виленский 430, 477, 481, 482, 544, 616
- Матвеев А. С., боярин 39—41, 44, 337, 379
- Матушевич, деятель польского освободительного движения 555
- Махмет. См. Улу-Махмет
- Махмуд II, турецкий султан 645, 667
- Мегемет-Селим-паша, великий визирь 654
- Медушевский А. Н., историк 698
- Мейер Ю., ксендз 610
- Мелхиседек Борсчов, архимандрит Бизюкова монастыря 207, 456
- Менгли-Гирей, крымский хан 123, 132, 133, 142, 143
- Мерик Д., английский торговый агент в Москве 327
- Меровинги, королевская династия во Франкском государстве 10
- Месех, библейский правнук Ноя 309
- Меттерних К., князь, австрийский канцлер 639—641, 643, 644, 646, 648, 649, 651, 653, 654, 660, 663, 665—670
- Мефодий, славянский просветитель 10, 11
- Мехмед-Али, египетский вице-король 654
- Меховий (Меховский М. ?) 193
- Мещерский, князь, московский посланник 149
- Меллендорф, генерал 590, 599
- Микорский, депутат 599
- Милашевич, генерал 613
- Миллер, артиллерийский капитан 606
- Миллер (Мюллер) Г. Ф., русский историк 47, 60, 61, 66, 67, 82, 122, 174, 181, 188—190, 219, 229, 278, 279, 282—294, 299, 304, 305, 315, 693, 695—697
- Мильтиад, афинский полководец 298, 630
- Милюков, дворянин 399
- Милюков П. Н., историк, политический деятель 694—696
- Милюковы, дворянский род 399
- Минин К. М., один из руководителей 2-го земского ополчения, нижегородский посадский, потом думный дворянин 270, 379
- Миних Б. К., граф, генерал-фельдмаршал 409
- Миржеевский, депутат 546
- Митаревский Н., иеромонах Онуфриевского монастыря 425
- Митридат VI Евпатор, понтийский царь 8
- Митяй, архимандрит, любимец Дмитрия Донского 102
- Михаил, византийский император 10
- Михаил Александрович, боярин 101
- Михаил Александрович, великий князь тверской 90, 99, 101, 106, 113, 118, 119, 129
- Михаил Андреевич, князь верейский 110
- Михаил Андреевич Полотцкий, князь, воевода 105
- Михаил Федорович, русский царь 36, 38—40, 53, 140, 182, 184, 205, 219, 270, 324, 326—329, 379, 382, 410
- Михаил Юрьевич, князь 86, 195
- Михаил Ярославич Хоробрит, князь московский, великий князь владимирский 90
- Михаэлис, ученый-филолог 279—282, 287, 295, 299, 307
- Младанович, главный управитель киевского воеводы Потоцкого 456—458
- Млодзеевский, великий канцлер корон-

- ный, епископ познанский 460, 475, 477, 493
- Мнишек, граф, великий маршал коронный 179, 413, 435, 441, 446, 449, 477, 544, 582, 590
- Моисей, библейский предводитель израильских племен, пророк 212, 281
- Мокрановский С., польский генерал 590, 612—616
- Моллендорф, приближенный прусского короля 539
- Монжет, польский бригадир 605
- Монтескье Ш. Л., французский просветитель, правовед, философ 76, 129, 281, 301, 637
- Морков А. И., граф, русский посол в Париже 638
- Морозов В., московский посланник в Крым 143
- Морозовы, боярский род 399
- Мортемар, герцог 665
- Морус Томас (Томас Мор), английский гуманист, государственный деятель, писатель 372
- Мосох, библейский сын Яфета (Афета) 190, 192, 212, 312
- Мостовский Т., польский деятель 555, 585
- Моцарт В. А., австрийский композитор 372
- Мошинский, великий маршал 577, 612, 616
- Мстислав Владимирович, князь тмураканский и черниговский 16, 75, 194
- Мстислав Владимирович Великий, великий князь киевский 82, 87
- Мстислав Мстиславич Удалой, князь торопецкий 87
- Мстислав Ростиславич Храбрый, князь смоленский 89
- Мстиславичи, князья 216
- Мстиславские, княжеский и боярский род в Русском государстве 379
- Мстиславский Ф. И., русский политический и военный деятель 378
- Муратори Л. А., итальянский историк 223
- Мургоза, татарский хан 133
- Мурут, хан Золотой Орды 98
- Мышкин, каменных дел мастер 131
- Мышковский, член Верховного правительственного совета 617
- Мюллендорф, прусский генерал 623
- Мюних (Миних) Б. К., граф, фельдмаршал 284
- Мясковский, кастелян гнезенский 571
- Навуходоносор, вавилонский царь 199
- Нагой А. Ф., русский дипломат, посол в Крыму 172, 175
- Наполеон I (Наполеон Бонапарт), французский император 563, 633, 637—639, 658
- Нассау-Зиген, принц 563, 584
- Наумов, московский посланник в Крым 142
- Нейман К. И., немецкий историк 77—79
- Нейсель 223
- Некомат Сурожанин, московский купец 101
- Немцевич Ю. У., депутат, писатель 546, 555, 557, 620, 624, 625
- Нессельрод, официальный представитель России в Берлине 527, 531, 551
- Нессельроде К. В., граф, русский государственный деятель, канцлер, министр иностранных дел 644—646, 649, 650, 656, 670
- Нестор, монах, писатель и летописец 60—64, 66, 70, 71, 81, 82, 203, 206—209, 211, 218, 220, 223, 225, 226, 231, 248, 250, 258, 287, 294, 300, 312, 313, 315—318, 320, 321, 332, 414
- Никита, боярин 127, 128
- Никита Константинович, боярин 114
- Николай, святой 114
- Николай I, российский император 641, 643—645, 647, 648, 656, 657, 663, 666, 667, 669, 672
- Никон, русский патриарх 39, 59, 68, 215, 308
- Новиков Н. И., просветитель, писатель 47
- Новицкий, генерал 614
- Ной, библейский праведник, герой повествования о всемирном потопе 215, 309, 315
- Норт, лорд 542
- Нумерс, генерал-поручик 449
- Оболенский-Овчина-Телепнев И. Ф., князь, боярин, воевода 147, 151
- Образец В. Ф., наместник боровский, воевода 131, 132
- Обух, полковник на польской службе, 457
- Обухова, жена полковника Обуха 457
- Овен 297
- Овидий, римский поэт 297
- Огинская, жена гетмана Огинского 494, 495

- Огинский М. К., князь, гетман литовский 471, 484, 494, 517, 525, 536, 537
 Огородский, пан 438
 Одерборн 171
 Одесские, русские князя 143
 Ожаровский, граф, кастелян войницкий 544, 571
 Ожаровский П., великий гетман коронный 609, 612, 616
 Олеарий А., ученый, немецкий путешественник 38
 Олег, киевский князь 19, 69, 70, 139, 140, 215, 255, 256, 318
 Олег, князь рязанский 94, 100, 103—106
 Олег Святославич (Гориславич), князь черниговский и тмутараканский 78, 215
 Олсуфьев, воспитанник Шлёцера 296
 Ольга, княгиня киевская 19, 20, 23, 70, 71, 147, 192, 213, 215, 225—227, 232, 233, 254, 318
 Ольгерд Гедиминович, великий князь литовский 100, 105, 106
 Ольговичи, князя 83, 216
 Ордин-Нащокин А. Л., русский дипломат, боярин 39—41, 59, 337, 379
 Орлов В., граф, директор Академии наук 308, 311
 Орлов Г. Г., граф 479
 Орловы, влиятельный дворянский род, братья Орловы были организаторами дворцового переворота 1762 г. 416
 Оссолинский, воевода волынский 435, 436
 Остерман И. А., граф, русский вице-канцлер 521, 524, 526, 535, 542, 543, 545—547, 551, 557, 559, 568—570, 574, 575, 581, 583—585, 587, 589, 590, 595, 623
 Островский, подскарбий надворный коронный 583
 Острожский К., князь, гетман литовский 152
 Отрешев Г. Б., беглый дьякон московского Чудова монастыря 178—181, 197, 219, 240, 258, 267, 268, 378
 Оттенфельс, барон 644, 645, 649, 651, 652
- Павел, апостол 225, 690
 Павел Дьякон, лангобардский историк 223
 Павел Иовий Новокомский, итальянский историк 144, 145
 Павел Петрович (Павел I), российский император 520, 636
- Павликовский Ю., один из участников освободительной борьбы в Польше 603
 Паисий Лигарид, митрополит 271
 Палемон (Публий Ливон), мифический римский князь 191, 192
 Палецкий Д. Ф., князь, боярин 155, 156
 Панин Н. И., граф, русский государственный деятель и дипломат 414, 419—422, 428—431, 433—436, 442—446, 449—452, 456, 459, 461, 462, 467—471, 473—475, 479, 481—484, 487, 488, 490—492, 494—496, 498, 503, 524
 Параскева Федоровна, царица 209
 Паскевич И. Ф., граф, св. князь, генерал-фельдмаршал 660
 Патрикеев В. И., князь, боярин, насильно пострижен в монахи под именем Вассиана, писатель 402
 Патрикеевы, князя 146
 Пац М., генеральный маршал конфедерации, староста зёловский 464, 465
 Петр, русский митрополит 95, 130
 Петр I Великий, русский царь, первый российский император 39—41, 44, 45, 54, 55, 57, 105, 125, 139, 140, 145, 157, 184—186, 188, 189, 198—201, 214, 219, 227, 230, 242, 247, 251, 252, 324, 328—330, 341—343, 346, 347, 376, 380, 381, 383—385, 389, 407, 409, 411, 414, 520, 636, 697, 698
 Петр II, российский император 330, 381
 Петр III Федорович, российский император 389
 Петровский, польский подполковник 603
 Пиатоли, итальянец, капуцин, деятель польского движения 544, 555, 585, 586
 Пиндар, древнегреческий поэт 230
 Пипер, шведский граф 198
 Пистор Ф. И., русский генерал 606, 608, 609, 614
 Питт Уильям Младший, премьер-министр Великобритании 513, 536, 537, 542, 543
 Плавт Тит Макций, римский комедиограф 296
 Платер, кастелян троцкий 571
 Платон, древнегреческий философ 356, 357
 Платон, московский митрополит 47, 64, 256—258
 Платонов С. Ф., историк 694
 Плиний Старший, римский писатель, ученый 48, 63, 210, 225, 296

- Плутарх, древнегреческий писатель и историк 496
- Подоский Г., референдарий коронный, примас 435—437, 440—443, 467, 469, 477, 482
- Пожарский Д. М., князь, боярин, один из руководителей 2-го земского ополчения 51, 270, 377, 379, 399
- Позвизд Владимирович, князь 193
- Поликарпов-Орлов Ф. П., писатель, переводчик, издатель 44
- Полиньяк, князь, французский посланник в Лондоне 662, 666, 670, 671
- Полянский И. В., деятель в период Смуты 197
- Понинский, коронный кухмистр 469, 477, 481, 482, 624
- Понятовские, польские магнаты 475
- Понятовский, брат польского короля, обер-камергер 459
- Понятовский, брат польского короля, примас 544
- Понятовский И., брат польского короля, генерал 484, 570, 577, 578
- Понятовский С., польский король 411, 414—421, 427, 432, 437, 438, 450, 460, 466—468, 470—472, 474, 475, 478, 479, 495, 496, 501, 544, 547, 548, 550, 553, 557, 561, 569, 571, 572, 576, 582, 585, 596, 598, 606, 611—613, 616, 617, 620, 628, 700, 701
- Попович 296
- Посошков И. Т., русский экономист и публицист 343—345
- Поссевин А., папский представитель в России и Польше, иезуит 246
- Потемкин Г. А., русский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал 498, 501, 503, 508, 510, 513—518, 521, 522, 527—532, 551, 569
- Потоцкие (Поточкие), польские магнаты 436, 472, 499, 580
- Потоцкий, воевода киевский 418, 435, 441, 456, 517, 591
- Потоцкий И., великий маршал литовский 544, 547, 553—558, 561, 571, 572, 576, 579—582, 584, 585, 603, 604, 606, 617, 620, 624, 626
- Потоцкий Иоаким (Иоаким), трембовльский староста 425
- Потоцкий П., польский посланник в Константинополе 552
- Потоцкий С., польский магнат, брат С. Потоцкого, великого маршала литовского 544, 607
- Потоцкий Ф., генерал артиллерии коронной 569, 570, 572, 574, 577, 593, 594
- Потоцкий Я. 570
- Поццо-ди-Борго, корсиканец, русский дипломат 641, 658, 659, 663, 665, 670—672
- Предзецкий, вице-канцлер литовский 426
- Преторий 223
- Пржездецкий (Пршездецкий), вице-канцлер литовский 478, 494, 495
- Пржездецкая, дочь вице-канцлера 494
- Приам, троянский царь 261
- Прозор К., литовский обозный 605
- Прокопий Кесарийский, византийский писатель-историк 211, 212, 223
- Прокопович Ф., русский государственный и церковный деятель, писатель 45, 212, 223, 294
- Просовецкий, один из деятелей Смуты 269
- Прусс, мифический двоюродный брат Кесаря Августа 191
- Псарский, польский резидент в Петербурге 473
- Птоломей (Птоломей) Клавдий, древнегреческий астроном и географ 64, 210, 213, 225
- Пулавский, маршал конфедерации 454, 455, 464, 465
- Пулавский И., известный адвокат 452
- Пулавский К., конфедерат, руководитель отряда 464
- Пулавский Ф., конфедерат, брат К. Пулавского 464
- Пушкин А. С., великий русский писатель 176
- Пясты, первая династия польских князей и королей 565
- Радзивилл К., князь, воевода виленский, литовский магнат 418, 435, 436, 438, 440, 446—448, 464, 465, 517, 546
- Радзивилл Н., крупный литовский магнат 142
- Радзивиллы, княжеский род в Литве 499
- Радим, летописный князь радимичей 191
- Разин С. Т., донской казак, предводитель восстания 40
- Разрываи, мифический предводитель холопей 211
- Разсохин, переводчик 288
- Разумовский А. К., граф, русский государственный деятель 296
- Разумовский А. К., граф, русский госу-

- дарственный деятель, дипломат 296, 520, 601
- Разумовский К. Г., граф, гетман, президент Петербургской Академии наук 291—293, 296, 305
- Разумовский П. К., граф 296
- Рангони, папский нунций 178
- Расин Ж., французский драматург 230, 543
- Растопчин (Ростопчин) Ф. В., граф, русский государственный деятель 636, 637
- Ратомский, противник Годунова в Киеве 179
- Рачинский, маршал надворный коронный 571
- Ревницкий, барон, австрийский уполномоченный 495, 496
- Редерер, медик 299
- Рейнолд Излич, плебан кричевский 425
- Решин Б. А., князь, русский государственный политический деятель 421, 470
- Решин М. П., князь 238
- Решин Н. В., князь, генерал-фельдмаршал, посол Екатерины в Польше 421, 422, 424, 426—452, 456, 458—463, 465—467, 471, 474—476, 479, 483, 606, 627, 628, 699
- Ржевский, русский дворянин 269, 271
- Ржевуский, граф, польский министр при Петербургском дворе 432, 433
- Ржевуский В., воевода краковский 449
- Ржевуский С., староста долиньский, сын воеводы краковского, польский гетман 449, 569, 570, 591, 593
- Рибопьер, тайный советник 649, 651, 653
- Риль В. Х., немецкий историк 359, 360, 363—365, 367—369, 371
- Ричмонд, герцог 542
- Робеспьер М., деятель Великой французской революции 620
- Рогалинский, польский граф 477
- Рогашевский, кассир киевского воеводы Потоцкого 456—458
- Рогдай, богатырь 193
- Рожевский, польский дворянин 452
- Роман Мстиславич, князь волынский и галицкий 59, 194, 217
- Роман Ростиславич, князь смоленский, великий князь киевский 194
- Романовы, русский боярский род, затем царская и императорская династия 57, 59, 175, 184, 328, 379, 382
- Ростислав Владимирович, князь тмураканский 77—79, 193
- Ростислав Всеволодович, князь переяславский 193
- Ростислав Мстиславич, князь смоленский 194
- Рудбек, филолог 285, 286
- Румовский С. Я., математик 296
- Румянцев Н. П., граф, русский государственный деятель и дипломат 312, 313
- Румянцев-Задунайский П. А., граф, генерал-фельдмаршал 489, 514, 524, 624, 625
- Русс, мифический русский князь 190
- Руссо Ж. Ж., французский писатель и философ 544, 686
- Рышевский, кастелян лобачевский 571
- Рюрик, русский князь 14, 54, 57, 58, 68, 73, 191, 192, 208, 211, 213, 224, 228, 249, 251, 253, 254, 274, 294, 309, 312, 316, 318, 320, 321, 392
- Рюриковичи, династия русских князей 27, 28, 34, 35, 55, 56, 58, 59, 138, 294, 305, 375, 697
- Ряполовские, князья 146
- Сагиб-Гирей, казанский хан 501
- Садковский В., православный епископ переяславский 546, 549—551, 557, 570, 580, 583
- Саин-Гирей, казанский царь, сын Менгли-Гирея 149, 152, 153, 166
- Салдерн К. (Сальдерн), русский посол в Польше 476—485, 488, 490—495
- Салтыков И. П., граф, генерал 416, 432
- Салтыков М. Г., политический и государственный деятель России 197
- Салтыков Н. И., князь, граф, русский военный и государственный деятель 346
- Салтыковы, русский дворянский род 399
- Самойлов А. Н., граф, русский военный и государственный деятель 602
- Сапега К., князь Литвы 545, 546, 557, 558, 583, 607
- Сарырман, вождь казаков 172
- Сафа-Гирей, казанский хан 166
- Свердлов М. Б., историк 697
- Свидригайло Ольгердович, великий князь литовский 112
- Свитен фон, барон, австрийский посол в Берлине 490
- Святополк, моравский князь 11
- Святополк (Михаил) Изяславич, князь полоцкий, новгородский, туровский, великий князь киевский 86, 88, 215

- Святополк Окаянный, князь туровский, великий князь киевский 54, 74, 81, 193
- Святослав Игоревич, великий князь киевский 16, 17, 19, 20, 71, 192, 226, 232, 233, 256
- Святослав Ярославич, великий князь киевский 74, 77, 78, 310
- Себастиани, французский посол 638
- Северин, святой 691
- Сегюр Л. Ф., граф, француз, дипломат и государственный деятель 625
- Седиахмет, ордынский хан 133
- Селлий, немецкий ученый, монах 295
- Семен Борисович, московский боярин, посланник в Крым 132
- Семен Иванович (Симеон Иоаннович) Гордый, великий князь московский 94—97, 108
- Семен Тонильевич (Тонглиевич), боярин 90, 95
- Семирамида, царица Ассирии 192
- Сераковский Ю., польский генерал 624, 625
- Сергий Радонежский, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря 105, 106, 170
- Серпинский, участник польского освободительного движения 606
- Сиверс Я. Е., русский государственный деятель, посол в Польшу 592, 596, 598, 599
- Сигизмунд I, польский король, великий князь литовский 143, 148, 149, 152
- Сигизмунд II Сигизмундович Август, польский король, великий князь литовский 178, 179, 238, 273
- Сигизмунд III, польский король, великий князь литовский 197, 376, 378, 440
- Сильвестр, древнерусский писатель, игумен Выдубицкого монастыря 62, 81, 82
- Сильвестр, священник, русский политический деятель и писатель 150, 151, 158—160, 162—166, 239, 240, 336
- Симеон Бекбулатович, касимовский хан 172
- Синеус, летописный князь 192, 253, 254
- Скаржинский, депутат 599
- Скиф, библейский правнук Яфета 312
- Скопин-Шуйский М. В., князь, боярин, воевода 268
- Скопин-Шуйский Ф. И., князь 155, 156, 268
- Скорчевский, епископ хельмский 616
- Словен, мифический князь славян 61
- Собеский Я., король Речи Посполитой 465
- Солнцев-Засекин, князь 399
- Соловьев С. М. 47, 72, 80, 406, 407, 412, 628, 693—703
- Соломон, царь Израильско-Иудейского царства 85, 271, 390
- Солтан, маршал надворный литовский 583, 584
- Солтык, епископ краковский 430, 435, 436, 440—443, 445, 448, 449, 472
- Солтык С., племянник епископа 555
- Сольмс (Солмс), граф, прусский посол в Петербурге 487, 488, 490, 497, 503
- Сосновский, писарь литовский 453
- Софроний (Софония), рязанец, автор «Задонщины» 103
- Софья Алексеевна, русская царевна 41, 184
- Софья (София) Палеолог, племянница последнего византийского императора Константина XI, жена великого князя московского Иоанна III 122, 130, 136, 141, 143, 196
- Спафары (Спафарий) Н. Г., переводчик, дипломат, ученый 41
- Станислав Владимирович, князь смоленский 193
- Стормон, лорд 542
- Страбон, древнегреческий географ и историк 210
- Стражимир, мифический предводитель скифов 211
- Стратфорд, лорд, английский посланник 640
- Стрекалов, член Совета при Екатерине II 524
- Стрешнев Р., стольник 329
- Стригин А., князь, посол в Крым 149
- Стриттер (Штриттер) И. Г., историк и издатель 47, 102, 103, 307, 308, 311
- Стрыйковский М., автор хроники 191—194, 208, 214
- Суворов А. В., великий русский полководец 480, 484, 492, 513, 515, 529, 624—628
- Судислав Владимирович, князь 78, 193
- Сукин, монах 238
- Сулистровский, член польского Верховного правительственного совета 617
- Сумароков А. П., русский писатель 213
- Сусанин И., герой освободительной борьбы русского народа начала XVII в., крестьянин Костромского уезда 270, 271
- Суходольский, депутат 546
- Сухоржевский, депутат 546, 555, 577.

- Сципион, римский полководец 51
 Сцис, один из руководителей подготов-
 ки польского восстания 1794 г. 603
- Тамерлан. См. Тимур
 Таргитай, мифический герой скифских
 преданий 229
 Татищев В. Н., историк, государствен-
 ный деятель 45, 48—51, 53, 60—63,
 66, 68, 69, 72, 80—82, 199—221, 223,
 231, 250, 287, 294, 295, 301, 308,
 312, 315—318, 695, 696
 Татищев Д. П., русский государствен-
 ный деятель 638, 646, 649, 650, 657,
 658, 670
 Таубе И., ливонский дворянин, автор
 записок 171
 Тауэнцин, прусский дипломат 621—623
 Тацит, римский историк 9, 52, 63
 Тегиня (Тягиня), татарский мурза 112
 Темеш, крымский посланник в Москву
 149
 Темкин Ю., князь 155, 156
 Теплов, секретарь императрицы 293,
 296, 297, 305—307
 Теренций, римский комедиограф 296
 Тимофей Архипович, подьячий 209
 Тимур, государственный деятель и пол-
 ководец Средней Азии 108, 113, 298,
 347
 Тишкевич, великий подскарбий 583
 Толбузин, московский посол в Венеции
 130, 131
 Толес, драгунский капитан 464
 Толстой Ф. А., граф 103, 188
 Тормасов А. П., русский генерал 608
 Тохтамыш, хан Золотой Орды 106, 109,
 135, 137
 Траян, римский император 215
 Тредьяковский (Тредиаковский) В. К.,
 поэт, ученый 66, 213, 227—229, 285
 Трубецкой Д. Т., князь, русский поли-
 тический и военный деятель 379
 Трубецкой И. Ю., князь 190
 Трувор, летописный князь, правивший
 в Изборске 192, 253, 254
 Тубал 309
 Тугут Франц де Паула, барон, австрий-
 ский дипломат и государственный
 деятель 597, 598, 601, 602, 604, 609,
 610, 617
 Тунман Х. Э., историк 64, 65
 Тургенев А. И., историк 146
 Турунтай-Пронский И. И., князь, боя-
 рин, воевода 155
 Тучков М. В., окольниковичий 153
- Тьер А., французский государственный
 деятель, историк 634
 Тымберский, начальник казаков 455
- Угоняй, мифический предводитель хо-
 лопей 211
 Узбек, хан Золотой Орды 92, 118
 Улу-Махмет, хан Золотой Орды 110
 Улфила, переводчик Евангелия на гот-
 ский язык 281
 Урсини, римский род 191
 Уэйтбрид, член британской палаты об-
 щин 542
- Фавр, прусский генерал 619
 Федор Алексеевич Романов, русский
 царь 37, 39, 44, 181, 184, 190, 204,
 271, 382, 383
 Федор Иванович (Феодор Иоаннович),
 русский царь 175, 176, 196, 240, 324,
 326, 327, 382
 Федор Романович, князь белозерский
 103
 Фемистокл, афинский полководец 51,
 630
 Феодор, епископ 85, 86
 Феодосий, митрополит 126
 Феодосий Печерский, игумен Киево-
 Печерского мон., святой 26
 Феофан, патриарх иерусалимский 406
 Феофил, архиепископ 127
 Ферзен И. Е., граф, русский генерал
 621, 624, 625
 Фива, служительница церкви 517
 Фикельмон, граф, австрийский дип-
 ломат 669
 Филарет, русский патриарх 39, 197
 Филипп, испанский король 409, 410
 Филипп, русский церковный деятель,
 митрополит 128, 130, 131
 Филипп Македонский, царь 191, 199
 Фиоравенти (Фиораванти) Аристотель,
 художник, зодчий 131
 Фирсов, переводчик Посольского при-
 каза 336
 Фишер И. Э., историк и филолог 302,
 308
 Флеминг, польский граф, воевода по-
 меранский 477
 Фокс Ч. Д., лидер оппозиции в Велико-
 британии 537, 542, 543
 Фонвизин (Фон-Визин) Д. И., писатель
 50, 242
 Фотий, византийский патриарх 73
 Фотий, русский митрополит 332, 333

- Франц II, император «Священной Римской империи», с 1804 г. — император Австрии (Франц I) 568, 586, 596, 600, 609, 621, 644, 657, 658, 669
- Францель 296
- Фрау Гольду, сказочный персонаж немецких крестьян 372
- Фридрих I, прусский король 410
- Фридрих II, прусский король 411, 416—419, 472, 485, 487—490, 502, 504
- Фридрих III, император «Священной Римской империи», германский король, австрийский эрцгерцог 125
- Фридрих-Вильгельм II, прусский король 522, 525, 526, 532, 536, 538, 545, 547, 563, 568, 575, 586, 589, 595, 600, 619, 621, 622, 685
- Фроянов И. Я., историк 697
- Фукидид, древнегреческий историк 51, 52
- Хейс, книгопродавец 280
- Хилков А. Я., князь, русский дипломат 188—190
- Хлебовский, польский ротмистр 453
- Хлевинский, польский генерал 626
- Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович, гетман Украины 329, 457
- Ховрин В. Г., московский боярин 131, 132
- Ховрин Д. В., казначей 131, 132
- Ховрин-Голова И. В., московский боярин 131, 132
- Холмские, князья 146
- Хоминский, воевода мстиславский 571
- Хорив, легендарный князь 191, 249
- Храповицкий А. В., русский государственный деятель 524, 527, 543, 561, 562, 570, 591, 592
- Хрептович, вице-канцлер литовский 577—583, 585
- Хрущов А. Ф., коллекционер древних рукописей 217
- Цегельский Т., историк 701
- Цейхер, немецкий профессор 302
- Цесельский, польский пан 456, 457
- Цимисхий. См. Иоанн I Цимисхий
- Циховский, варшавский комендант, польский генерал 609, 611
- Чарторыйская, княгиня 615
- Чарторыйские, польские князья 413, 417—419, 422, 427—435, 437—440, 447, 459—463, 466—468, 470—473, 477, 495, 555
- Чарторыйский Август, князь, воевода русский, маршал конфедерации 430, 431, 433, 438, 439, 449, 470, 478, 498
- Чарторыйский (Чарторижский) Адам, князь 414, 415, 433, 447, 498, 499, 557
- Чарторыйский Михаил, великий канцлер литовский 430, 468, 471, 472, 494, 498
- Чацкие, братья, деятели польского движения 547, 555
- Чацкий, шляхтич 442, 448
- Чернышев, русский полковник 484
- Четвертинский А., князь, кастелян премышльский 571, 577
- Чиж Ян 616
- Чингисхан, основатель и великий хан Монгольской империи 347
- Чичагов П. В., русский адмирал 521
- Шагин-Гирей, хан 501, 506, 508, 510—512
- Шанский Д. Н., историк 696
- Шафарик П. Й., историк, филолог 213, 224
- Шахмат (Шихомат), татарский посол 107
- Шаховской (Шаховский) Г. П., князь, воевода 238
- Швейковский, польский магнат 454, 577
- Шевкал, ордынский посол 92, 93
- Шейн Д. В., московский посланник в Крым 132, 133
- Шейн М. Б., боярин, воевода 399
- Шеллинг Ф. В., немецкий философ 372
- Шемьяка Иван, князь 155
- Шемячич. См. Василий Иванович
- Шереметев Б. П., граф, фельдмаршал 209
- Шереметев П. Б., граф, генерал-аншеф 522
- Шеридан Р. Б., английский драматург 542
- Шиг-Алей, казанский хан 510
- Шидловский, депутат Сейма 599
- Шила, сотник 458
- Шиллер И. Ф., немецкий поэт 372
- Шириповы (Шириновы), татарские князья 143
- Ших-Авлиар, татарский царевич 143
- Шкуратов Дмитрий, князь 155
- Шлёйер А. Л., немецкий историк 47, 54, 60—64, 66—71, 76, 82, 122, 241, 256, 277, 279—287, 289—291, 293, 294—308, 310—321, 693, 696—698

- Штакельберг, граф, русский посол в Польше 495, 496, 498, 524, 526, 527, 544—547, 551, 557, 701
- Штелин Я. Я., академик 302
- Шуазель, герцог, первый министр Людовика XV 464
- Шувалов А., граф 524
- Шувалов И. И., русский государственный деятель 45, 222
- Шуйские, князья и бояре 150, 153, 156, 167, 177, 196, 379
- Шуйский А. М., князь, воевода 154—156, 161
- Шуйский В. В., князь, боярин 151, 152
- Шуйский В. И., русский царь 35, 181—183, 197, 198, 214, 240, 267—269, 378
- Шуйский И. В., князь, боярин 149, 150, 152, 153, 155
- Шуйский И. П., князь, боярин 175
- Шуйский П. И., князь, воевода 155
- Шуленбург (Шуленберг), прусский министр 525, 575, 584—587, 590
- Шульц, муж старшей сестры Шлёцера 279
- Шумахеры 284
- Щек, летописный князь 191, 249
- Щелкалов, дьяк 382
- Щербатов М. М., князь, историк, публицист 46, 47, 61, 63, 66, 67, 69—77, 79, 80, 83—87, 90, 92—94, 99, 100, 103—106, 108, 123, 127, 141, 147—149, 151, 157—159, 162, 173, 174, 176, 177, 181—183, 196, 204, 230—241, 244, 248—251, 258, 287, 312, 316—318, 694, 696
- Эмин Ф. А., историк 696
- Эпинус, академик 302
- Эстергази, князь, австрийский посол в Лондоне 648, 654, 658
- Юдифь, главный персонаж ветхозаветной книги одноименного названия 192
- Юдицкий, польский генерал 577
- Юлиан, римский император 21
- Юрий (Георгий) Владимирович Долгорукий, великий князь киевский, князь владимиристо-суздальский 29, 31, 73, 83, 84, 194, 216, 234
- Юрий (Георгий) Данилович, князь московский 90, 91, 118, 119
- Юрий Дмитриевич (Димитриевич), князь звенигородский и галицкий 44, 108, 109, 111, 112
- Юрий Иванович, князь дмитровский 148
- Юстиниан I, византийский император 224
- Яблоновский 307
- Яблоновский, князь 557
- Яворский Феофан, игумен 425
- Ягайло (Владислав), великий князь литовский, польский король 33, 103, 104, 631
- Ягуб, сын хана Золотой Орды Улу-Махмета 110
- Ядвига, польская королева, жена великого князя Ягайла 631
- Ямгурчай-султан, астраханский царь 143
- Ян, богатырь 81, 193
- Янай, татарский царевич 143
- Ярема, казачий сотник 456
- Ярополк Владимирович, великий князь киевский 83, 194, 216
- Ярополк Изяславич, князь волынский и вышгородский 79—81, 233
- Ярополк Святославич, великий князь киевский 20, 21, 23
- Ярослав I Владимирович Мудрый, великий князь киевский 23—25, 28, 54—57, 59, 74—77, 86, 88, 89, 125, 129, 139, 140, 223, 248, 312, 394
- Ярослав Владимирович Осмомысл, князь галицкий 59
- Ярослав Всеволодович, князь переяславский 87, 140, 399
- Ярослав Ярославич, великий князь тверской 89
- Ярославици, князья 77, 78
- Ясинский Я., полковник литовской артиллерии 605, 625, 626
- Яскевич, член Верховного правительственного совета 617
- Яфет (Афет, Иафет), библейский сын Ноя 190, 192, 312, 373
- d'Angeberg 573, 619, 625
- August St. 453
- August III Fr. 453
- Bischofswerderr 540
- Bourbier 296, 298

Cegielski T. 699
Charles I 562

Herrmann E. 500

Kadziela L. 699
Kaunitz 540

Laurent 675, 678, 679, 681, 683, 686,
690, 691

Madariaga I. de 702
Moszczyshiego A. 456

Oginski M. 537, 626

Riehl W. H. 359

Schlözer A. 61, 277, 298
Stanhope Rh. 542
Strykowski M. 191
Sybel H. 411, 624

Tatisczew V. 61

Vionietil 464

Zajezeck J. 619

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ *

- Авары 66, 210, 249, 262
Австрийцы (цесарцы) 487—490, 500,
502, 505, 529, 534, 541, 577, 589, 623,
633
Австрия 338, 411, 416—419, 464, 470—
472, 484—490, 494, 497, 498, 501—
505, 507, 518, 525—528, 531—534,
536—541, 543, 560—564, 567, 568,
584—586, 589, 590, 592, 595—597,
600—603, 617, 623, 633—637, 640,
642, 647, 649, 651, 654, 657—660, 662,
663, 666, 667, 669—671, 700
Адрианополь, г. 630, 672
Адриатическое море 64, 508
Азиаты (азиатцы) 261—263
Азия 8, 19, 22, 23, 33, 34, 40, 64, 124, 125,
212, 261—263, 273, 274, 502, 521,
630—633, 651, 672, 702
Азия Северная 273, 407
Азов, г. 38, 172, 485, 489, 633
Азовское море 172, 213, 520
Аккерман, г. 648, 649, 651, 657
Аланорсы 210
Аланы 210
Александрия, г. 512, 657
Александро-Невская лавра 295
Александровская слобода 325
Алута 508
Альпийские горы (Альпы) 303, 409
Амазонки 212
Амазоны 229
Америка 48, 294, 502, 641, 652, 680
Американцы 642
Амстердам, г. 282
Амур, р. 278, 286
Англичане 365—367, 513, 516, 528, 645
Англия (Британия, Великобритания)
126, 138, 229, 338, 339, 410, 428, 429,
488, 503, 504, 507, 513, 516, 522—524,
526, 527, 529, 531, 532, 534—536, 538,
541—543, 554, 563, 585, 596, 597,
600, 623, 634, 637, 638, 640—648,
650—656, 658—664, 666, 668, 669,
671
Андрофаги 65
Аншпах 586, 595
Арабы 253
Аравитяне 262, 630
Аравия 290, 294
Аргонские теснины 588
Аргос, г. 261
Арийское племя 680
Аркадия 373
Аркона, г. 66
Армяне 40
Астраханская губ. 330
Астраханское цар. 408
Астрахань, г. 38, 159, 172, 193, 630
Атлантический ок. 191
Афины, г. 128
Афон, мон. 333
Африка 253, 502, 521, 680
Африканцы 253
Ахт-Ярская (Ахтиарская) гавань 509—
511
Ахтуба, р. 105

* В указателе приняты сокращения: в.— волость, воев.— воеводство, г.— город, г-к — городок, гос-во — государство, гр.— графство, губ.— губерния, дер.— деревня, зал.— залив, зем.— земля, имп.— империя, кн-во — княжество, м.— местечко, мон.— монастырь, о.— остров, обл.— область, оз.— озеро, ок.— океан, пл.— племя, п-ов — полуостров, пер.— перешеек, пл.— площадь, предм.— предместье, пров.— провинция, прол.— пролив, р.— река, респ.— республика, с.— село, селение, св.— светлейший, стр.— страна, у.— уезд, ул.— улица, цар.— царство.

- Бавария 504, 585, 586, 589, 595—597, 600
 Байрейт, г. 586, 595
 Балканский п-ов 408, 632, 640, 658
 Балканы 667, 671, 703
 Балта, г-к 458, 459
 Балтийское (Варяжское) море (Балтика) 6, 64, 191, 312, 319, 320, 398, 408, 536, 542, 634
 Бар, г. 452, 454—457
 Башкиры 408
 Белград, г. 485, 486, 490, 506, 508
 Белградская крепость 534
 Белое море 6, 164, 213, 320
 Белозерская в. 192
 Белозерское кн-во 213, 214
 Белозерцы 154
 Белоруссия (Белорусь) 406, 497, 533, 552, 571
 Белорусская губ. 497
 Бельгия 537, 585, 586, 589, 595—597, 600, 609
 Бендеры, г. 514
 Бердичев, г. 452
 Бердичевский мон. 452
 Берендеев, в. Дмитровского у. 133
 Берендеи 122, 217
 Берестов, г. 193
 Берлин, г. 417, 488, 490, 493, 525, 527, 531, 538, 540, 541, 543, 547, 551, 552, 557, 568, 570, 575, 576, 585, 588, 590, 595, 609
 Берлинцы 365
 Бессарабия 469, 507, 577
 Бизюков мон. 207
 Благовещенский собор 131
 Богемия 406
 Богородичское (Богородицкое) с. Ростовской обл. 93, 138
 Болгария (Булгария) 11, 19, 64, 636
 Болгары (булгары) 64, 84, 210, 213, 256, 309
 Болгары волжские 310
 Бордо, г. 282
 Борисфен, р. См. Днепр
 Боровичи, г. 226
 Босния 506, 636
 Босфор, прол. 672
 Бохня 485, 534
 Бранденбургия 411
 Бранденбургские марки 410
 Брест (Брест-Литовский), г. 468, 624
 Бриганский ок. 191
 Бритты 309
 Броды, г. 534
 Брюльский дворец 616
 Буг, р. 272, 501, 502, 506, 507, 517, 535, 542, 577, 608, 623
 Букарест, г. 512
 Буковина 508
 Бухария 286
 Вагрия Славянская 211
 Валахия 464, 485—489, 507—509, 636, 650, 657
 Вальми, с. 588
 Вандалы 224
 Варна, г. 666, 667
 Варта, р. 534
 Варшава, г. 414, 417, 424—426, 436, 440, 442, 452—454, 459, 460, 464—468, 470, 474, 476, 477, 479—481, 484, 488, 490, 491, 493, 499, 524—526, 534, 545, 546, 548, 551, 555, 556, 558, 561, 568, 569, 571, 573, 574, 577, 580, 581, 583, 587, 590, 591, 594, 596, 602—610, 614—616, 619—624, 626, 628, 699
 Варшавянки 558
 Варяги 14, 21, 66—68, 73, 75, 76, 193, 206, 211, 213, 227, 228, 247, 278, 309, 319, 332, 396, 398
 Васильевский о. 283, 296, 297
 Великокороссия (Великая Россия, Великая Русь) 41, 213
 Величка, г. 485
 Вена, г. 136, 296, 416, 484, 490, 493, 507, 532, 534, 538, 541, 560, 568, 570, 588, 595, 598, 601, 632, 638, 640, 643, 644, 648, 653, 654, 665, 667
 Венгерское гос-во 11
 Венгрия 64, 119, 309, 453, 464, 485, 490, 508, 537, 592, 602
 Венгры (венгерцы) 11, 12, 301, 530
 Венеды 63, 64
 Венецианская респ. 507
 Венецианцы 508, 633
 Венеция, г. 130, 633
 Вердюн (Вердунь), г. 587—589
 Верей, г. 111
 Вертгейм, г. 279
 Верхней Воли обл. 7, 28, 29, 395
 Вестерровский у. 198
 Вестфалия 283
 Весь 69
 Виддин, г. 508
 Византийская имп. 632
 Византийцы 308, 311
 Византия 10—12, 18, 23, 26, 58, 194, 262, 263, 315, 408, 632
 Вильно (Вильна), г. 134, 406, 440, 449, 572, 577, 603, 605, 625, 626, 631
 Виннета, г. 66
 Висла, р. 63, 65, 410, 420, 496, 608, 621, 622, 624, 626, 634

- Владимир, г. 78, 79, 84, 89, 95, 107, 111, 118, 155, 166, 195, 233, 383, 396
 Владимир-Волинский, г. 239, 577
 Владимир Клязменский (Владимир-на-Клязьме), г. 239
 Владимирцы 396, 397
 Волга, р. 7, 40, 110, 166, 167, 172, 195, 210, 212, 265, 273, 309, 407
 Вологда, г. 114, 115
 Волок (Вышний Волочек), г. 127
 Волоты. См. Волохи
 Волохи (влахи, волоты) 64, 65, 206, 212, 309
 Волхов, р. 257
 Вольты (Вольты) 81, 85, 193, 406, 545, 546, 567, 592
 Воронеж, г. 511
 Восток 8, 9, 12, 23, 40, 41, 60, 265, 273, 279—283, 288—290, 293, 294, 299, 306, 307, 356, 407, 409, 486, 635, 638, 656
 Восточно-Римская имп. 348
 Восточный ок. 213, 272, 407
 Выдубецкий мон. 81, 82
 Вышгород (Вышегород), г. 393, 608
 Вяичи 337
 Вятка, г. 108
 Вятская обл. 108
- Гаага, г. 556
 Галиция 179, 452, 508, 525, 526, 530, 532, 533, 535, 537, 552, 592, 598, 605, 607, 608, 658
 Галиция Австрийская 592
 Галицкий у. 258
 Галицкое кн-во 56
 Галич, г. 59, 85, 114, 115, 118, 631
 Галлия 320
 Галлы 250, 320
 Галта, м. 458
 Гамбург, г. 280, 281
 Гепиды 210
 Германия 125, 144, 199, 209, 213, 279, 281—283, 287—291, 297, 300, 304, 306, 307, 311, 312, 359, 368, 395, 504, 539, 540, 562, 566—568, 572, 589, 595, 597
 Германия Северная 364
 Германская имп. 562, 600
 Германское пл. 12
 Германцы 9, 10, 65, 391
 Геты 65, 210
 Гёттинген, г. 279, 281, 282, 289, 292, 298, 306, 307, 311, 312
 Гибралтарский зал. (прол.) 516
 Испания (Гишпаниа). См. Испания
- Гларис (Гларус) 128
 Глац, гр. 490
 Гнезно, г. 592
 Гогенлоэ-Кирхбергское гр. 279
 Голландия 297, 523, 524, 531, 536, 542, 543, 571, 583
 Голландцы 528
 Голштиния 522
 Городец, г. 108, 114
 Готы (готфы) 63, 121, 210, 224, 253
 Гранпрэ 589
 Греки 6, 8, 16, 48, 51, 64, 66, 70, 71, 79, 113, 130, 192, 206, 212, 215, 233, 250, 261, 319, 332, 333, 356, 365, 398, 549, 551, 560, 639—641, 643—650, 653, 655, 656, 658—660, 663
 Греция 8, 12, 26, 63, 116, 124, 126, 130, 137, 213, 225, 255, 262, 264, 332, 333, 339, 357, 408, 630, 635, 636, 641, 644, 646, 647, 649—656, 658, 666, 667, 669, 670
 Греческая имп. 507, 635, 702
 Греческое гос-во 508
 Гродно, г. 478, 577, 596, 598, 599, 627, 628
 Гунны 210, 249, 630
- Даки 210, 215
 Дакийское гос-во 508, 635
 Дакция 64, 507, 508
 Далмация 225
 Дания 309, 428, 519, 522, 528, 642
 Данциг, г. 307, 411, 518, 526, 531—543, 547, 552, 557, 558, 565, 592
 Дарданеллы, прол. 508, 672
 Двина, р. 213, 634
 Девиный мон. 179
 Деревичи, дер. 577
 Дерпт, г. См. Юрьев
 Днепр, р. 7, 64, 65, 85, 122, 212, 309, 310, 406—408, 455, 517, 520, 572, 634
 Днепра обл. 7
 Днепроовская обл. 30
 Днестр, р. 212, 470, 486, 506, 507, 527, 535, 536, 541, 542, 573
 Дон, р. 7, 33, 103—105, 172, 179, 212, 310
 Дорогобуж, г. 81
 Древляне 66, 70, 226, 227, 254, 256, 396
 Древняя Греция 630, 632
 Дреговичи 337
 Дрезден, г. 436, 570, 585, 591, 605, 608
 Дринский зал. 508
 Дубенка (Ухинка), с. 577
 Дубно, г. 534
 Дулебы 337
 Дунай, р. 8, 9, 64, 65, 206, 212, 225, 309, 408, 484, 486, 490, 508, 667, 671

- Дунайская обл. 64
 Дунайские зем. 635
 Дунайские кн-ва 485, 501, 643, 644, 656, 669
 Дунайские пров. 635
 Дунайские стр. 64
- Евреи 144, 455—458
 Европа 8, 10, 19, 22, 23, 29, 33, 40, 48, 63, 64, 116, 117, 123—125, 130, 136, 139, 142, 184, 211, 212, 246, 261, 262, 272, 278, 287, 338, 339, 366, 368, 390, 406—409, 411, 416, 418, 419, 452, 471, 481, 496, 497, 502, 504, 507, 516, 526, 532, 539, 540, 545, 552, 561, 563, 564, 576, 579, 584, 585, 597, 628, 630—634, 638, 639, 641, 646, 647, 649, 651—654, 658, 661—663, 665, 666, 668, 672, 680, 698—702
 Европа Восточная 10, 11, 273, 411, 563, 633
 Европа Западная 9—12, 15, 22, 140, 144, 227, 265, 266, 273, 348, 374, 376, 381, 400, 403, 407—409, 411, 631, 636, 639, 676, 685, 702
 Европа Северная 307
 Европа Средняя 563
 Европа Южная 429
 Европейцы 309, 367, 390
 Евфрат, р. 310, 630
 Египет 253, 255, 282, 310, 507, 516, 635, 636, 654
 Египтяне 253
 Елец, г. 108
 Еллыны 339
 Енецы 210
 Епериес, г. 464
- Жарновец, с. 619
 Железный Борок, с. 114
 Жмудь 191
 Жолква, г. 534
- Заволочье (Двинская зем.) 112
 Замосць (Замосц, Замостье), г. 459, 460, 534, 604
 Запад. См. Европа Западная
 Западная Римская имп. 390
 Западной Двины обл. 7
 Запорожцы 455
 Зеленец, г. 577
 Златоустовский мон. 131
 Золотая Орда 44, 90, 97—99, 104, 106, 112—114, 119, 132, 133, 135—138, 143, 172, 195
- Зунд (Зундские тесноты), прол. 191
 303
- Иерусалим, г. 270, 294, 681
 Ижва, в. Московского и Дмитровского у. 133
 Иаборская в. 192
 Иледам, в. Костромского у. 114
 Иллирик, обл. 225
 Индейцы 272
 Индийцы (народ индийский) 356
 Индия 116, 357
 Индия Восточная 294
 Иновлодз, г. 608
 Испания (Гиспания, Гишпания) 126, 138, 191, 229, 262, 320, 410, 488, 507, 529, 640—642, 652
 Испанцы 639
 Исседоны 210
 Италия 124, 130, 131, 144, 194, 199, 320, 358, 390, 487, 490, 605, 632, 634, 640, 642
 Итальянцы (италианцы) 367, 534, 544, 545, 553, 639, 641
- Кабарда 485
 Казаки (козаки) 38, 40, 122, 143, 212, 247, 269, 328, 407, 422, 454—458, 484, 534
 Казаки азовские 172
 Казаки донские 179
 Казаки запорожские 179, 413
 Казаки турецкие 172
 Казанская орда 409
 Казанское цар. 126, 408
 Казанцы 158, 510
 Казань, г. 126, 135, 137, 143, 153, 158, 166—168, 195, 237, 239, 501, 630
 Казарское цар. 23
 Казары (козары) 23, 66, 210
 Казахия 122
 Каледония 229
 Калиш, г. 592
 Калуга, г. 511, 512
 Кальвария, г. 607, 608
 Каменец-Подольский, г. 459—462, 467, 469
 Камчатка, п-ов 285
 Кандия, о. 487, 508
 Каргопольцы 154
 Каринтия 66
 Карпатские горы 490
 Карфаген, г. 630
 Касахи 122
 Касимов, г. 126, 143
 Касоги 78, 79, 122

- Каспийское (Хвалынское) море 6, 7, 40,
 122, 172, 195, 320
 Кафа, г. 172
 Каширский у. 153
 Кельты 9, 64, 65, 229
 Кёнигсберг, г. 345, 411
 Кёнигсштейн, г. 413
 Киев, г. 14, 19—21, 23—26, 29, 31, 59, 64,
 65, 68, 69, 71, 74, 75, 82, 85, 87, 118,
 130, 179, 191, 193—195, 215, 226, 249,
 251, 255—257, 263, 272, 309, 315, 318,
 393, 395, 396, 398, 407, 408, 550, 552,
 557, 607, 631
 Киевец Дунайский, г. 65
 Киевляне (киевцы) 23, 226, 234, 254,
 394
 Киево-Печерский мон. 26, 60, 82, 315
 Киевская губ. 65, 330
 Киевская обл. 30, 59, 81, 84, 122
 Киевское кн-во 56, 84
 Кинбурн 513, 515
 Кипр, о. 487, 508
 Кирилло-Белозерский мон. 164, 165
 Китай 41, 100, 116, 145, 288, 338
 Китайцы 272
 Ковно, г. 536
 Кодыма, р. 458
 Коломна, г. 104—106, 118, 119, 133, 167,
 237
 Колязин, мон. 211
 Константинополь, г. 11, 20, 21, 23, 68, 69,
 71, 102, 121, 136, 192, 207, 295, 303,
 333, 408, 416, 417, 459, 467, 487, 507,
 512, 513, 515, 528, 551, 552, 632, 640,
 643—646, 649, 651, 653—657, 659,
 664, 665, 667, 669, 671, 672
 Константинопольский прол. 665
 Копенгаген, г. 136
 Коринфский пер. 659
 Корсика, о. 502
 Корсунь (Херсонес), г. 24, 233
 Костел Св. Яна 548
 Кострома, г. 109, 114, 270
 Краков, г. 452, 484, 598, 601, 603—605,
 607, 608, 619—621, 623, 625
 Краковское воев. 623
 Краковское предм. 555
 Краковяне 621
 Красинских пл. в Варшаве 614
 Красная пл. в Москве 324, 325, 327
 Красный Став 570
 Кремль 410
 Кривичи 23, 319
 Кривская (Полоцкая) обл. 7
 Кроацция. См. Хорватия
 Крупчица, мон. 624
 Крым 132, 133, 137, 142, 149, 153, 166,
 167, 172, 375, 484, 485, 489, 501, 502,
 506, 508—512, 514, 520, 521, 527, 542,
 701
 Крымская орда (ханство) 409, 701
 Крымский п-ов 506, 508, 509
 Кубань 509
 Курляндия 191, 415, 564, 592, 623
 Кючук-Кайнарджи 501

 Ладожское оз. 312
 Лакедемон. См. Спарта
 Лангенбург, г. 279
 Лангобарды 121
 Лапландия 136
 Лаппония 195
 Латышское племя 210
 Ледовитое море. См. Белое море
 Ледовитый ок. 319
 Лейпциг, г. 586, 590, 603—605
 Ленчица, г. 592
 Ливония 125, 159, 175, 184, 191, 330, 530,
 542, 632
 Ливонцы 253
 Лиссабон, г. 282
 Литаланы 210
 Литва 112, 118, 119, 124, 125, 127, 129,
 133, 135—137, 142, 148, 152, 167, 171,
 173, 178, 236, 237, 375, 395, 406, 412,
 418, 431, 435, 440, 464, 472, 477, 478,
 480, 482, 484, 494, 498, 545, 546, 577,
 593, 603, 607, 621, 625, 626, 631
 Литовское гос-во 55, 142
 Литовское кн-во 57
 Литовское племя (литва, литовцы, ли-
 товские люди) 65, 100, 104, 106, 113,
 122, 123, 236, 327, 465
 Лифляндия. См. Ливония
 Лифляндцы 195
 Лович, г. 468, 491, 619
 Ловичин, г. 133
 Лонгви, крепость 587, 588
 Лонгобарды 224
 Лондон, г. 365, 366, 536, 585, 641, 645,
 648, 652—654, 656, 658, 662, 665, 670,
 671
 Лотарингия, пров. 589, 600
 Лубны, г. 209
 Львов, г. 454, 604, 605
 Любар, г. 577
 Любек, г. 281
 Люблин, г. 452, 570, 621
 Люксембург, г. 586, 587, 589

 Майн, р. 584
 Майнц, г. 586, 589, 590

- Малороссия (Малая Русь) 41, 212, 328, 406, 410, 421, 445
 Мантуя, г. 490
 Мариенвердер, г. 420
 Мацевевице, с. 624, 625
 Медовая ул. в Варшаве 611, 614
 Меланхлены 65
 Меотис. См. Азовское море
 Мереч, г. 536
 Меря 69, 211
 Месопотамия 282
 Мец, крепость 589
 Мецкерский г-к. См. Касимов, г.
 Мизия. См. Болгария
 Милан, г. 490
 Милет, г. 211
 Млава, г. 608
 Могилев, г. 425
 Можайск, г. 118, 119, 165
 Мозель, р. 589
 Мойка, р. 377
 Мокоотово, с. 624
 Молдавия 464, 469, 485—489, 502, 507, 509, 552, 569, 636, 650, 657
 Молдо-Влахийское гос-во 486
 Монголы (моголы) 33, 34, 55, 56, 58, 104, 110, 113, 116, 117, 119, 122, 129, 139
 Моравия (Моравская держава) 11, 12
 Моравы 345
 Мордва 211
 Морея (п-ов Пелопоннес, Пелопонез) 64, 507, 508, 644, 645, 648, 654, 657, 659, 669, 670
 Москва, г. 44, 56, 84, 92—95, 97—100, 103, 105, 106, 110, 112, 113, 115, 118, 119, 124, 128, 130, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 149, 152—155, 164, 166, 167, 172, 179, 184, 190, 195—197, 212, 229, 267—270, 287, 308, 309, 326, 327, 330, 333—335, 376, 378, 379, 382, 383, 408, 410, 414, 522, 550, 552, 619, 630, 632
 Москва, р. 138
 Москвичи (москвитяне, московитяне) 105, 110, 115, 130
 Московская обл. 214
 Московское гос-во (дружина) 33—36, 39—41, 55, 57, 77, 110, 111, 113, 125, 129, 130, 132, 136, 140, 143, 144, 172, 173, 263, 268—270, 273, 320, 323, 326—328, 375, 390, 395, 397, 399, 400, 401, 403, 404, 407, 408, 697
 Московское кн-во 30, 94, 111
 Муром, г. 110, 166
 Мурома 69
 Наваринская бухта (Наварин) 630, 655
 Нанси, крепость 589
 Нарва, г. 273
 Нарев, р. 608
 Нева, р. 278
 Невры 65, 209
 Негры 680
 Нейшлот, г. 522
 Неман, р. 623
 Немцы (немецкий народ) 11, 131, 191, 227, 249, 284, 302, 303, 319, 343, 365—368, 390
 Нетца 534
 Нидерланды 125, 410, 529, 532
 Никополис, г. 508
 Нил, р. 310
 Ницца, г. 670
 Новгород (Новгород Великий), г. 14, 23—25, 44, 67, 74, 75, 77, 86, 87, 89, 94, 111—113, 119, 120, 122, 124, 127—129, 137, 154, 193, 195—198, 217, 236, 251, 255, 257, 269, 273, 309, 310, 318, 323, 324, 333, 347, 349, 394, 395, 397—401, 408, 695
 Новгород Нижний, г. 97—99, 101, 105, 108, 110, 114, 166, 270
 Новгородок (Новгород Литовский), г. 149
 Новгородская обл. 7, 112
 Новгородский у. 196
 Новгородское кн-во 56, 213
 Новгородцы 23, 67, 74, 75, 89, 94, 98, 112, 118, 127—129, 137, 154, 211, 215, 216, 236, 239, 309, 319, 394
 Новогрудск, г. 435
 Новороссийская губ. 502
 Ногаи (ногайские татары) 172
 Ногайско-Астраханская орда 409
 Норвегия 136, 309
 Норика 691
 Норманны 58, 309
 Обнора, в. Костромского у. 114
 Обры 210, 262, 263
 Одесса, г. 635, 665
 Ока, р. 126
 Оливия (Ольвия) 8
 Онуфриевский мон. 425
 Орда. См. Золотая Орда
 Орел, г. 511
 Орсов, г. 508
 Осетинцы 122
 Османская имп. 702
 Остроленка 608
 Оттоманская имп. 635, 638, 656—662, 665, 667
 Оттоманское гос-во 649
 Охорский Кривчевский мон. 425

- Очаков, г. 506—508, 514, 515, 527, 528,
534, 535, 541, 542, 580
Очаковские степи 538
- Палестина 294, 630
Ланнония 11, 64
Париж, г. 243, 410, 496, 563, 568, 587--
590, 604, 638, 641, 665, 666, 671
Парижане 365
Патагонцы 680
Пекин, г. 288
Переволок (волок, между Доном и Вол-
гой) 172
Перекоп, г. 133
Переславль (Переяславль), г. 109, 239,
396, 397, 455
Переславль (Переяславль) Залесский,
г. 118, 119, 239
Пермь, г. 195
Персия 40, 502, 632, 665
Персы (персияне) 7, 8, 249, 261, 272
Петербург, г. 643, 699, 701
Петергоф, г. 520, 521
Печенеги 7, 33, 193, 210, 216, 310
Пилица, р. 608, 619
Пильниц, замок 563
Пинск, г. 559, 592
Пиренейский п-ов 339, 632
Побережье, с. 454
Повонзки, с. 615
Подвальная ул. в Варшаве 614
Подолье (Подолія) 132, 406, 452, 567,
603
Познань, г. 484, 533, 592, 610
Половецкие степи 102
Половцы (степняки) 7, 31, 33, 78, 81
83, 210
Полоцк, г. 173, 395, 398
Полоцкая обл. 87
Полоцкое кн-во 214
Польская респ. 181, 550, 570, 576, 619
Польско-Саксонское королевство 568
Польское королевство 34
Польша (Польское государство) 33, 35,
39, 57, 64, 65, 119, 133, 142, 178, 181,
209, 237, 238, 324, 405—407, 409—
413, 415—424, 426—429, 431, 435,
437, 440, 441, 443, 448, 450—452, 455,
460, 463—465, 467—472, 474—482,
485, 487—491, 493—503, 517—520,
525—527, 529—533, 535—537, 539,
541—556, 558—561, 563—568, 570—
573, 575—580, 582, 585, 589—606,
609, 610, 615, 619, 621, 623—625, 627,
628, 631—634, 636, 658, 693, 699—703
Польша Малая 448
- Польша Южная 485
Поляки (ляхи, польский народ) 57, 65,
81, 123, 179, 197, 236, 245, 267, 268,
327, 378, 416, 418, 453, 455—457,
462—465, 469, 470, 479, 481, 489,
491—493, 495, 498, 500, 517, 518, 527,
528, 530, 533—535, 547, 552—554,
558, 572, 575, 592, 593, 595, 596, 608,
619, 625, 627
Поляне 65, 66, 226, 396
Померания 526, 529, 631
Понт. См. Черное море
Понтамуссон, крепость 589
Понтийские стр. 8
Португалия 366, 642
Порхов, г. 112
Прага, г. 580, 607, 616, 624, 626
Приднепровье 33, 315, 317
Прикавказье 309
Пруссаки (прусы) 224, 365, 490, 491,
500, 513, 529, 534, 586, 588, 589, 610,
615, 617, 619—621, 624, 631
Пруссия 148, 151, 224, 283, 409, 411, 426,
428, 429, 458, 470, 488, 489, 498, 502—
505, 513, 516, 518, 519, 522, 524—526,
528—543, 547, 550, 552, 554, 557, 558,
560—565, 567—569, 571, 575, 584—
587, 589, 591, 595, 596, 598—601, 603,
619, 622—624, 631, 634—636, 642,
662—665, 700
Пруссия Восточная 410, 568
Пруссия Западная 410, 411
Пруссия Южная 608, 621, 623
Прусское гос-во 410
Прут, р. 657, 661, 665
Псков, г. 93, 117, 120, 131, 154, 193, 229,
323, 333, 394, 395, 398
Псковичи (псковитяне) 93, 127, 128
Псковское кн-во 213
Пулавы, г. 622
Путивль, г. 132
Пфальц, кн-во 370
- Радимичи 66, 337
Радам, г. 440
Рацлавицы, дер. 608
Рейн, р. 584, 623, 634
Рейхенбах (Райхенбах), г. 533, 534, 537
Рига, г. 530
Риз положение церковь 131
Рим, г. 8, 10, 21, 48, 54, 75, 121, 130, 136,
145, 178, 224, 225, 255, 262, 264, 358,
366, 559, 560, 605, 627, 630
Римляне 9, 48, 51, 64, 65, 212, 215, 225,
250, 286, 319, 365
Римская имп. 11, 262, 263, 358, 681, 690

- Римско-Германская имп. 125
 Рокаланы 210
 Роксания 211
 Росколения 211
 Роксоланы 210
 Романия 636
 Российская имп. 37, 57, 346, 509
 Российское гос-во 43, 53, 66, 70, 77, 79, 132, 157, 167, 171, 183, 184, 186, 694, 695
 Россия (Русская земля, Русь, Русь Древняя, Русь Киевская) 6, 7, 9, 15, 18—21, 26—28, 30—35, 37, 38, 40, 42, 45, 48, 49, 51, 54, 55, 57—59, 63—65, 69, 73, 75—77, 79—81, 83, 84, 86, 87, 89—93, 95, 98, 99, 104—108, 112, 115, 116, 119—125, 129, 130, 133, 135—137, 139—154, 166, 167, 171, 172, 177—186, 192—194, 198—200, 202, 206, 208, 210, 211, 213, 217, 224, 227, 230, 231, 233—237, 242—251, 255, 257, 258, 260, 262—264, 266, 268, 271, 272, 274, 275, 278, 282—284, 287—292, 294, 297, 299—302, 304—310, 312, 315—318, 320—332, 334—336, 340, 341, 343, 346, 348—350, 374, 375, 379, 381, 382, 384, 387, 389, 390, 394—396, 398, 399, 403, 406—411, 413—415, 417, 420, 425, 426, 456, 459—461, 463, 466, 468—474, 476, 495, 497, 498, 500—508, 510—513, 517—520, 522—543, 545—547, 549, 550, 552—555, 557—575, 577, 578, 580—582, 584—586, 590, 591, 595, 596, 598—603, 616, 622, 623, 630—644, 646—663, 665—672, 693—695, 697—703
 Россия Восточная 395, 407, 549
 Россия Западная 392, 395, 399, 407, 549
 Россия Северо-Восточная 84, 323—325
 Россия Средняя 12
 Россия Юго-Западная 86
 Россия Южная 6, 7, 12, 84, 118, 409, 701
 Ростов, г. 24, 25, 84, 91, 211, 257, 323, 396, 399
 Ростов Великий 397
 Ростово-Суздальская обл. 214
 Ростовская обл. 7, 24
 Ростовское кн-во 28
 Ростовцы 397
 Рось, г. 190
 Рось, р. 191
 Русская государственная обл. 7, 73
 Русские (русские люди, руссы, россы, россияне) 23, 38, 40, 48—52, 57, 60, 66, 68, 70, 76, 89, 93, 105, 110, 115—117, 121, 122, 124, 126, 166, 168, 169, 178—180, 182, 183, 185, 190, 191, 197, 206, 209—212, 222, 226—228, 235, 244, 245, 248, 249, 251, 253, 258, 272—274, 278, 284, 299—301, 303, 311, 312, 315, 316, 341—343, 345—348, 379, 381, 406—408, 420, 421, 453, 456, 458—460, 462—465, 467, 469, 471, 484, 488, 492, 493, 498, 500, 517, 530, 539, 604, 609, 613—615, 621, 624—626, 631, 633, 647, 648, 666—668, 671
 Русское гос-во 10, 19, 23, 35, 123, 194, 227, 247, 263, 310, 406, 407, 630
 Русь Белая 214, 216
 Русь Восточная 56, 57
 Русь Галицкая 194
 Русь Западная 56, 57, 395, 406
 Русь Литовская 120
 Русь Северная 30—34, 138, 194, 195, 216, 273
 Русь Северо-Восточная 57, 58, 129, 146, 697
 Русь Червоная 214
 Русь Юго-Западная 30, 33, 56, 58, 84, 395
 Русь Южная 30—33, 119, 190, 273
 Рутены 211
 Рыбачья Слобода, с. 522
 Рядов 198
 Рязанское кн-во 56, 94
 Рязанцы 100, 105
 Рязань, г. 94, 99, 104—106, 111
 Савойя, обл. во Франции 590
 Саксония 417, 458, 560, 567, 568
 Саксонская пл. в Варшаве 613
 Саксонский сад 583, 611
 Саксонцы 309, 416, 417, 477, 528
 Санкт-Петербург (Петербург), г. 218, 219, 282, 284, 288, 289, 292, 293, 296, 298, 299, 304, 307, 311, 330, 377, 414, 417, 424, 426—429, 431, 433, 435, 440—442, 450, 452, 459, 463, 467, 468, 471, 473, 483—485, 487, 488, 490, 491, 493, 494, 497, 498, 513, 514, 517—520, 522, 528, 534, 535, 537, 541—544, 547, 552, 554, 556, 557, 559—561, 564, 565, 567—570, 575, 580, 581, 584, 588, 589, 591, 595, 597, 598, 600—603, 607, 621, 623, 642, 644, 645, 647, 650, 663, 669, 671
 Сарай, г., столица Золотой Орды 98, 105
 Сардиния 563
 Сарматы 7, 205, 207, 209—211, 224, 229, 249, 250
 Св. Николая Подкопаева церковь 131
 Свента, р. 536
 Свентокржская ул. в Варшаве 613
 Севастополь, г. 514, 520, 635

- Север 34, 37, 74, 83, 85—87, 90, 119, 122, 132, 142, 195, 212, 224, 251, 252, 254, 316, 318, 690
- Север Немецкий 410
- Северный ок. 63
- Северо-Восток 29, 319, 396, 400, 401, 407
- Северская зем. 179
- Северяне 396
- Севск, г. 383
- Семибашенный замок 512
- Сенаторская ул. в Варшаве 614
- Сендомир 621
- Сендомирское воев. 608, 623
- Серадж (Серадз), г. 592
- Сербия 490, 506, 636, 643, 650, 656, 665
- Сербы 458
- Сергиев мон. 131
- Серпухов, г. 107, 148
- Сибирская губ. 330
- Сибирская орда 409
- Сибирь 124, 136, 207, 284, 330, 413, 441, 482, 544
- Силезия 410, 416, 453, 464, 490, 533, 568, 585, 621, 631
- Силезия Прусская 624
- Синюха, р. 456, 457
- Сирия 212
- Скандинавия 10, 364
- Скандинавы 10, 23
- Скифия 7, 8
- Скифы (скитфы) 7, 8, 205, 209—211, 224, 225, 229, 249, 250, 339
- Славяне (славянское племя, склаваны, сфлаваны, аказоны, алазоны) 9, 11—13, 29, 55, 63—69, 73, 76, 190, 191, 205—207, 209—213, 215, 224, 225, 250, 253, 263, 286, 309, 319, 321, 322, 372, 390, 391, 396, 640
- Славяне восточные 66, 321, 322, 391, 636
- Славяне западные 10—12, 66
- Славяне иллирические 225
- Славяне северные 11
- Славяне южные 11
- Славянское гос-во 11, 12
- Слуцк, г. 435, 583
- Слуцкая обл. 546
- Смила, замок 454
- Смилянщина, имение 454—456
- Смирна, г. 281
- Смоленск, г. 78, 79, 135, 152, 173, 193, 269, 273, 398, 407, 552, 631
- Смоленское кн-во 214
- Соединенные Американские Штаты 642
- Соловецкий мон. 165
- Соловецкий о. (Соловки) 164
- Спарта, г. 128, 261, 632
- Спасский мон. в Петербурге 377
- Средиземное море 191, 262, 306, 507, 516
- Средняя Азия 7, 680
- Сретенский мон. 131
- Стародуб Северский, г. 195
- Стокгольм, г. 197, 198, 280, 281, 485, 522
- Стрелецкая слобода в Великом Новгороде 198
- Суздаль, г. 84, 87, 95, 96, 108, 110, 114, 273
- Суздальская обл. 84
- Суздальское кн-во 56, 59, 84
- Супой, р. 83
- Сурожик, в. Звенигородского и Московского у. 133, 143
- Сухарева башня 376
- Таврида. См. Крым
- Таганрог, г. 506
- Тамань, г. 511
- Тарговиц, г. 577
- Тарнов, округ 534
- Татары 53, 89, 92, 97—100, 102, 105, 106, 110, 115—118, 120, 121, 123, 125, 133, 150, 195, 205, 210, 212, 248, 262, 263, 395, 485, 509—511
- Татары астраханские 408
- Татары казанские 408
- Татары крымские 159
- Ташкент, г. 630
- Тверская обл. 109
- Тверь, г. 91—93, 106, 118, 119
- Тенедос, о. 672
- Терек, р. 38
- Тешен, г. 464
- Тионвиль, крепость 589
- Тиролецкие 367
- Тихое море 213
- Тмутаракань (Тмуторокань), г. 78, 79, 193
- Тобольск, г. 309
- Толстунов, г. 133
- Торжок, г. 107
- Торки 122, 210, 217
- Торне (Торн) 435, 491, 526, 531—536, 538, 541, 547, 552, 557, 558, 592
- Торопецкие в. 135
- Триест, г. 488
- Троицкий мон. 196, 335
- Троицкий собор в Сергиеве мон. 131
- Троя, г. 261, 309
- Тула, г. 182
- Тур, г. 630
- Турецкая имп. 125, 409, 633—635, 645, 658, 661, 668, 672

- Турецкое гос-во 507
 Туринги 10
 Турки 60, 116, 210, 263, 272, 367, 407, 408, 450, 452, 458—461, 467, 469, 474, 485, 486, 490, 501—503, 505, 508, 509, 513—515, 524, 527, 528, 530, 531, 533—535, 539, 542, 552, 553, 556, 567, 577, 580, 630, 632—634, 636—638, 640, 641, 645, 650, 652, 655, 657, 659, 663—667, 669
 Туров, г. 80, 233
 Турция 125, 137, 408, 441, 460, 463, 470, 484, 485, 487—490, 501, 503, 505, 506, 508, 512, 520, 523—527, 531, 532, 535, 540—543, 546, 561, 569, 573, 574, 585, 603, 633, 634, 636, 638—640, 643, 645, 647, 655, 657, 658, 660—662, 665, 668, 670
 Турция Европейская 646
 Тушино 267, 378
 Тушинцы 268
 Тюльери 562
 Углич, г. 180, 181, 267
 Угра, р. 137, 173
 Угры 210, 256
 Украина (Украйна) 172, 179, 209, 407, 516, 545, 552, 577, 591, 603, 630, 633
 Украина Западная 407
 Украина Польская 585
 Умань, г. 456—458
 Унтервальден 128
 Упсала, г. 281
 Урал 319
 Уральский хребет 7, 278
 Успенская кафедральная церковь 131
 Успенский собор в Москве 130, 131, 351
 Устюжане 268
 Феллин, г. 165
 Фермопилы, горный проход 588
 Финикияне 261
 Финляндия 519, 521, 522, 526, 530
 Финны (финцы, финское племя) 10, 23, 65, 67, 195, 206, 209—211, 253, 312
 Фландрия Французская 600
 Франкское племя (франки) 10, 121, 210, 320
 Франкфурт, г. 586, 589, 590
 Франция 126, 138, 191, 199, 338, 339, 369, 410, 411, 418, 419, 458, 461, 464, 470, 472—474, 476, 484, 488, 496, 502, 504, 505, 507, 516, 518, 524, 528, 529, 561—564, 566—568, 584—591, 595—598, 600, 603—605, 617, 632—638, 641, 642, 647, 650, 652, 653, 655, 656, 659—663, 665, 666, 668—671, 685
 Французы 365—368, 370, 417, 516, 564, 566, 588—591, 595, 596, 602, 665
 Фридрихсгам, г. 519, 522
 Хазары 309
 Хвалисы 210
 Хельм, г. 619, 621
 Херсон, г. 515
 Херсонцы 77, 79
 Холмоград, г. 255
 Холопий г-к 396
 Хорватия 534
 Хотин, г. 508
 Хохланд 521, 522
 Цареградцы 256
 Царское Село, г. 487, 522
 Царьград. См. Константинополь
 Целты 229
 Церковь Св. Иякова 197
 Церковь Св. Креста 620
 Церковь Св. Петра 282
 Циклады 670
 Ченстохов, г. 580, 583, 592, 598
 Черкасы 122, 212
 Черкесы 122, 212
 Чернигов, г. 81, 85, 118, 167, 263, 273, 395, 396, 407
 Черниговское кн-во 56
 Черниговцы 77, 78, 396
 Черное море 6, 122, 306, 320, 398, 408, 485, 486, 502, 508, 509, 512, 635, 656
 Чесма, бухта 630
 Чехи 345
 Чудинцов мон. Великомученицы Параскевы Пятницы 198
 Чудь (чудское племя) 224, 225, 253
 Чухонцы 284
 Шалонские поля 630
 Шведы 191, 195, 198, 284, 302, 345, 520—522, 529—531
 Швейцария 634
 Швеция 119, 125, 137, 138, 182, 188, 198, 227, 280—282, 292, 309, 407, 408, 410, 428, 519, 520, 522—524, 526, 530, 552, 562, 603, 632, 633, 642
 Шпейер, г. 589

Щекоцины, с. 619, 621
Щитов, г-к 619, 621

Эзель, о. 522
Эллада. См. Греция
Эльба, р. 64, 410
Эльзас 562, 589, 600
Эридан, р. 63
Эринген, г. 279

Юг 32, 64, 74, 83, 85, 119, 318, 401

Юго-Восток 401
Юго-Запад 33, 396, 400, 407
Югория 195
Юрьев, г. 110, 142, 164
Юрьевичи 399

Япония 338
Ярославль, г. 268, 327
Яссы 512, 567, 569
Ятвяги 21
Яуза, р. 131

СОДЕРЖАНИЕ

**Взгляд на историю установления государственного
порядка в России до Петра Великого**

5 — 42

**Н. М. Карамзин и его литературная деятельность:
«История государства Российского»**

43 — 186

Писатели русской истории XVIII века

187 — 259

Древняя Россия

260 — 276

Август Людвиг Шлёцер

277 — 313

Шлёцер и антиисторическое направление

314 — 352

Исторические письма

353 — 404

История падения Польши

405 — 628

Восточный вопрос

629 — 672

Прогресс и религия

673 — 692

Приложения

**КОММЕНТАРИИ К ШЕСТНАДЦАТОЙ КНИГЕ
«СОЧИНЕНИЙ» С. М. СОЛОВЬЕВА**

693 — 703

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

704 — 722

**УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ**

723 — 733

Соловьев С. М.
С 60 Сочинения. В 18 кн. Кн. XVI. Работы разных лет /
Отв. ред. И. Д. Ковальченко. — М.: Мысль, 1995. — 733,
[1] с.

ISBN 5-244-00075-6

ISBN 5-244-00753-X

Шестнадцатая книга Сочинений С. М. Соловьева включает ряд принципиально важных и проблемных работ историка, многие из которых не переиздавались с 1901 г. Разнообразные по тематике, они сохранили свою актуальность и представляют большой интерес до настоящего времени.

Для широкого круга читателей.

ББК 63.3(2)

Научная

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ

СОЧИНЕНИЯ

КНИГА XVI

РАБОТЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Художественный редактор А. И. ОЛЬДЕНБУРГЕР

Технический редактор В. Н. КОРНИЛОВА

Корректор Л. Ю. ЛАСЬКОВА

ЛР № 010150 от 25.12.91

Сдано в набор 14.09.94. Подписано в печать 27.02.95. Формат 60×90 ¹/₁₆. Бумага офсетная
Обыкновенная новая гарн. Офсетная печать. Усл. печатных листов 46. Усл. кр.-отт. 46,75
Учетно-издат листов 53,77. Тираж 60 000 экз. Заказ № 895

Издательство «Мысль». 117071, Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Набрано в ГПП «Печатный Двор» Комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 15.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового
Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Комитета Российской
Федерации по печати 113054, Москва, Валаовая, 28

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Издательство «Мысль» сообщает, что по техническим причинам книга XVI Сочинений С. М. Соловьева выходит несколько раньше предшествующей ей XV, значительную часть объема которой составляют сводные указатели к «Истории России с древнейших времен».

Сообщаем также, что по многочисленным просьбам читателей в дополнение к уже сданным в производство XVII и XVIII книгам издательство намечает выпустить еще книги XIX и XX, включив в них не издававшиеся у нас более 100 лет работы великого ученого, в том числе следующие:

История отношений между русскими князьями Рюрикова дома;

Об отношении Новгорода к великим князьям;

Русская летопись для первоначального чтения.

